

БОЛЬШИЕ КНИЖКИ

Сельма  
Лагерлёф

ПЕРСТЕНЬ  
ЛЁВЕНШЁЛЬДОВ

ИНОСТРАНКА



## Annotation

Сага о Йесте Берлинге - одна из знаменитейших книг шведской литературы. Необыкновенное сочетание фольклора и действительности, народных легенд и преданий с классическими сюжетными перипетиями реалистической драмы создают необыкновенную атмосферу и ставят этот роман в ряд наиболее оригинальных и увлекательных произведений девятнадцатого века. Впрочем, эти же слова применимы ко всем произведениям шведской писательницы Сельмы Лагерлеф.

Трилогия о семье Левеншельдов - великолепная сага, охватывающая историю пяти поколений, полная таинственных связей, роковых предзнаменований, невероятных приключений, и все это на фоне реальных исторических событий.

---

- [Сельма Лагерлеф](#)
  - [Сага о Йесте Берлинге](#)
    - [Вступление](#)
      - [I. ПАСТОР](#)
      - [II. НИЩИЙ](#)
    - [Глава первая](#)
    - [Глава вторая](#)
    - [Глава третья](#)
    - [Глава четвертая](#)
    - [Глава пятая](#)
    - [Глава шестая](#)
    - [Глава седьмая](#)
    - [Глава восьмая](#)
    - [Глава девятая](#)
    - [Глава десятая](#)
    - [Глава одиннадцатая](#)
    - [Глава двенадцатая](#)
    - [Глава тринадцатая](#)
    - [Глава четырнадцатая](#)

- [Глава пятнадцатая](#)
- [Глава шестнадцатая](#)
- [Глава семнадцатая](#)
- [Глава восемнадцатая](#)
- [Глава девятнадцатая](#)
- [Глава двадцатая](#)
- [Глава двадцать первая](#)
- [Глава двадцать вторая](#)
- [Глава двадцать третья](#)
- [Глава двадцать четвертая](#)
- [Глава двадцать пятая](#)
- [Глава двадцать шестая](#)
- [Глава двадцать седьмая](#)
- [Глава двадцать восьмая](#)
- [Глава двадцать девятая](#)
- [Глава тридцатая](#)
- [Глава тридцать первая](#)
- [Глава тридцать вторая](#)
- [Глава тридцать третья](#)
- [Глава тридцать четвертая](#)
- [Глава тридцать пятая](#)
- [Глава тридцать шестая](#)
- [Перстень Левеншельдов](#)
  - [I](#)
  - [II](#)
  - [III](#)
  - [IV](#)
  - [V](#)
  - [VI](#)
  - [VII](#)
  - [VIII](#)
  - [IX](#)
  - [X](#)
- [Шарлотта Левеншельд](#)
  - [ПОЛКОВНИЦА](#)
  - [СВАТОВСТВО](#)
  - [ЖЕЛАНИЯ](#)

- В ПАСТОРСКОМ САДУ
- ДАЛЕКАРЛИЙКА[98]
- УТРЕННИЙ КОФЕ
- САХАРНИЦА
- ПИСЬМО
- В ЗАОБЛАЧНЫХ ВЫСЯХ
- ШАГЕРСТРЁМ
- НОТАЦИЯ
- ОБРЕЗАННЫЕ ЛОКОНЫ
- БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ
- НАСЛЕДСТВО
- ДИЛИЖАНС
- ОГЛАШЕНИЕ
- АУКЦИОН
- ТРИУМФ
- ОБВИНИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ ПРОТИВ БОГА ЛЮБВИ
- ПОХОРОНЫ ВДОВЫ СОБОРНОГО НАСТОЯТЕЛЯ
- СУББОТА: С УТРА ДО ПОЛУДНЯ
- СУББОТА: С ПОЛУДНЯ ДО ВЕЧЕРА
- ДЕНЬ СВАДЬБЫ
- Анна Сверд
  - ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
    - ПОЕЗДКА В КАРЛСТАД
    - ЛОШАДЬ И КОРОВА, СЛУЖАНКА И РАБОТНИК
    - ЖЕНА ЛЕНСМАНА
    - СВАДЬБА
    - НОВЫЙ ДОМ
    - УТРО ПАСТОРШИ
    - ВИДЕНИЕ В ЦЕРКВИ
    - ВОСКРЕСНАЯ ШЛЯПКА
    - ВИЗИТ
  - ЧАСТЬ ВТОРАЯ
    - РАЙ
    - ГРЕХОПАДЕНИЕ
    - ШКАФ
    - КОЛОДА КАРТ
    - ВСТРЕЧА

- [НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ](#)
- [МАДЕМУАЗЕЛЬ ЖАКЕТТА](#)
- [АНСТУ ЛИЗА](#)
- [ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ](#)
  - [ЦЫГАНСКИЙ БАРОН](#)
  - [БАРОНЕССА](#)
  - [ЯРМАРОЧНЫЙ АПОСТОЛ](#)
  - [ОТЪЕЗД...](#)
  - [ВОЗВРАЩЕНИЕ](#)
  - [ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)

- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)

- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)

- [101](#)
  - [102](#)
  - [103](#)
  - [104](#)
  - [105](#)
  - [106](#)
  - [107](#)
  - [108](#)
  - [109](#)
  - [110](#)
  - [111](#)
  - [112](#)
  - [113](#)
  - [114](#)
  - [115](#)
  - [116](#)
  - [117](#)
  - [118](#)
  - [119](#)
  - [120](#)
  - [121](#)
-



**Сельма Лагерлеф**

**Перстень Левеншельдов**

# Сага о Йесте Берлинге

# Вступление

## I. ПАСТОР

Наконец-то пастор поднялся на церковную кафедру.

Прихожане подняли головы. Явился все-таки! Стало быть, в это воскресенье он отслужит обедню, не то что на прошлой неделе и много-много воскресений тому назад.

Пастор был молод, высок ростом, статен и ослепительно красив. Если бы водрузить на голову этого человека шлем, опоясать его мечом и надеть на грудь кольчугу, его можно было бы изваять в мраморе и дать скульптуре имя прекраснейшего из афинян.

Пастор обладал глубоким взглядом поэта и твердым, округлым подбородком полководца; все в нем было прекрасно, утонченно, выразительно, все сверкало умом и духовностью.

Люди в церкви были просто ошеломлены, увидев его таким. Более привычно было видеть, как он, пошатываясь, выходит из харчевни вместе с веселыми сотоварищами, такими, как Бееренкройц — полковник с густыми, седыми усами, и бравый капитан Кристиан Берг.

Пастор так отчаянно пил, что неделями не мог отправлять службу, и прихожанам пришлось подавать на него жалобу сначала пробсту,<sup>[1]</sup> а потом епископу и в соборный капитул. И ныне епископ прибыл в здешнюю общину, чтобы учинить розыск и суд. Он восседал на хорах с золотым крестом на груди, а вокруг него сидели школьные пасторы из Карлстада<sup>[2]</sup> и пасторы из соседних приходов.

Сомнений не было — пастор, стоявший на кафедре, поведением своим преступил границы дозволенного. Тогда, в двадцатые годы девятнадцатого века, на пьянство смотрели сквозь пальцы, но этот человек пьянства ради пренебрег своей должностью и ныне будет лишен ее.

Он стоял на церковной кафедре и ждал, пока отзвучит последний стих псалма.

Внезапно его обуяла уверенность в том, что в церкви у него — одни лишь враги, враги на всех скамьях. Среди господ помещиков на галерее, среди крестьян внизу в церкви, даже среди конфирмующихся детей в хоре — всюду были у него враги, одни лишь враги. Это его

враг нажимал на клавиши органа, а его злейший враг играл на нем. И на скамье церковных старост у него были враги. Все они ненавидели его, начиная с малых детей, коих вносили в церковь на руках, вплоть до церковного сторожа — чопорного и одеревенелого солдата, сражавшегося в битве под Лейпцигом.

Пастору хотелось пасть на колени и молить их о милосердии.

Но в следующий миг им овладел гнев. Он хорошо помнил, каков он был, когда год назад вступил впервые на эту кафедру. Тогда он был безупречен, а сейчас он стоит и смотрит вниз на человека с золотым крестом на груди, явившегося в церковь, чтобы вынести ему приговор.

И пока он читал вступление, волны крови одна за другой заливали его лицо. То были волны гнева.

Он пил — это правда, но кто смеет обвинять его в этом?! Кто из них видел усадьбу пастора, где ему пришлось жить? Еловый лес, темный и мрачный, подступал прямо к окнам. Капли сырости проникали сквозь черные крыши, стекали по заплесневелым стенам. А когда дождь или вьюга врывались в разбитые окна, когда неухоженная земля не желала родить вдоволь хлеба, чтобы утолить голод, что, кроме спиртного, могло поддержать бодрость духа?

Ведь он и есть точно такой пастор, какого они заслуживают. Ведь они сами пили — все до единого. Почему он один должен был наложить на себя епитимью? Похоронивший жену, напивался допьяна на поминках, отец, окрестивший дитя, затевал потом на крестинах пьяную пирушку. Прихожане пили, возвращаясь из церкви, так что большинство из них являлось домой хмельными. Стало быть, и спившийся пастор им под стать!

Ему случалось пить во время поездок по приходу, когда он в своей тоненькой рясе проезжал милю за милей<sup>[3]</sup> по замерзшим озерам, где все самые холодные на свете ветры назначали свидание друг другу; это случалось, когда на этих самых озерах его швыряло в лодке в бурю и непогоду; это случалось, когда он в пургу вынужден был вылезать из саней и прокладывать лошади дорогу сквозь высокие, как дом, сугробы или когда переходил вброд лесное болото. Вот тогда-то он и пристрастился к вину.

Мрачно и тяжело влачили для него дни этого года. Все мысли крестьянина и помещика день-деньской были связаны с бранным земным существованием. Но по вечерам души, раскрепощенные

спиртным, сбрасывали с себя оковы. Рождалось вдохновение, согревалось сердце, жизнь начинала сверкать всеми красками; звучали песни, благоухали розы. Харчевня на постоялом дворе казалась ему тогда южным заморским садом с цветниками. Гроздья винограда и оливы свисали у него над головой, мраморные статуи сверкали среди темной листвы, мудрецы и поэты разгуливали под пальмами и платанами.

Нет, пастор, стоявший на церковной кафедре, знал, что в здешних краях без вина не прожить. Да и все, кто слушал его проповеди, знали это, а теперь они хотят его судить!

Они сорвут с него рясу священника за то, что он хмельным являлся в их Божий дом. Ах, все эти люди! Верят ли они сами в то, что для них существует хоть какой-нибудь бог, кроме спиртного?!

Он прочитал вступление и преклонил колени, чтобы прочитать «Отче наш».

Мертвая тишина стояла в церкви во время молитвы. Внезапно пастор обеими руками схватился за тесемки, удерживавшие на нем рясу. Ему почудилось, будто все прихожане во главе с епископом крадутся вверх по лестнице, ведущей на кафедру, чтобы сорвать с него облачение. Он стоял на коленях, не поворачивая головы, но отчетливо ощущал, как они срывают с него пасторское одеяние; и он видел их так явственно — и епископа, и школьных пасторов, и пробстов, и церковных старост, и пономаря, и всю эту длинную вереницу прихожан, разрывающих в клочья и стаскивающих с него облачение. И пастор живо представил, как все эти люди, столь ревностно накинувшиеся на него, попадают друг на друга по всей лестнице, когда тесемки развяжутся. А все те, кто внизу и кому не удалось вцепиться в него, ухватятся лишь за полы сюртука стоящих впереди и тоже упадут.

Он видел это так явственно, что не мог не улыбнуться стоя на коленях. Но в то же время холодный пот выступил у него на лбу — все вместе взятое было слишком ужасно. Ему придется стать отверженным, и виной этому — спиртное. Ему предстоит стать священником, лишенным сана. Есть ли на свете участь более постыдная?

Ему придется стать одним из нищих с проселочной дороги, валяться хмельным у обочины, носить рубище, знаться со всяким сбродом.

Он кончил читать молитву. Надо было переходить к проповеди. Но тут вдруг его осенило, и слова замерли на его устах. Он подумал, что ныне в последний раз стоит тут на кафедре и возвещает славу Божью.

В последний раз! Эта мысль захватила пастора. Он забыл обо всем — и о спиртном, и о епископе. Он подумал, что ему необходимо воспользоваться случаем и восславить Бога.

Ему показалось, будто пол в церкви вместе со всеми прихожанами опустился глубоко-глубоко вниз, а свод поднялся так высоко, что он заглянул прямо в небеса. Он стоял один, совсем один на кафедре, но его душа вознеслась в разверзшиеся над ним небеса, его голос стал могуч, звучен, и он возвестил славу Божью.

Он был вдохновенным импровизатором. Он презирал написанную им проповедь, и мысли будто снизошли на него, витая над ним, словно стая ручных голубей. Ему казалось, будто говорил не он сам; но он понимал также, что ему достался самый высокий удел на земле и что никому на свете, даже утопающему в блеске и блаженстве, не выпадало удела более высокого, нежели ему, стоящему здесь, на кафедре, и возвещающему славу Божью.

Он говорил до тех пор, пока его осеняло вдохновение; когда же оно угасло и свод церкви опустился вниз, а пол снова поднялся высоко-высоко вверх, он склонился и заплакал, ибо счел, что жизнь даровала ему свой звездный час и что теперь все кончено.

После богослужения началось дознание и церковный сход. Епископ спросил прихожан, есть ли у них жалобы на приходского пастора.

Пастор не был больше гневен и строптив, как перед проповедью. Напротив, теперь он опустил голову от стыда. О, сколько посыпется сейчас злосчастных историй о его пьяных пирушках! Но ни одной не последовало. Вокруг большого стола в приходском доме стояла мертвая тишина.

Пастор поднял глаза. Сначала на пономаря, но нет, тот молчал, затем на церковных старост; он поглядел на именитых крестьян и горнозаводчиков. Все они молчали. Губы их были плотно сжаты, и они чуточку смущенно смотрели вниз, на стол.

«Они ждут, когда кто-нибудь начнет!» — подумал пастор.

Один из церковных старост откашлялся.

— Я полагаю, у нас ныне редкостный пастор, — заявил он.

— Вы, достопочтенный господин епископ, сами слышали, как он читает проповедь, — вставил пономарь.

Епископ стал говорить о том, что их пастор частенько не отправлял службы.

— Пастор вправе занедужить, как и всякий смертный, — заметили крестьяне.

Епископ намекнул на их недовольство образом жизни пастора.

Они в один голос стали защищать его. Он так молод — их пастор. Ничего худого в том нет. Пусть только он всегда читает проповеди так, как нынче, и они не променяют его даже на самого епископа.

Обвинителя не нашлось, не могло быть и судьи.

Пастор почувствовал, как отлегло у него от сердца и как быстро заструилась в жилах кровь. Подумать только, он больше не был среди врагов, он одержал над ними верх, в ту минуту, когда меньше всего ожидал, что останется священником!

После дознания и епископ, и школьные пасторы, и пробсты, и самые именитые прихожане обедали в усадьбе пастора.

Одна из соседок взяла на себя все хлопоты о праздничном обеде, поскольку пастор был не женат. Она устроила все как нельзя лучше, и у него впервые открылись глаза на то, что усадьба вовсе не была столь уж неприятна. Длинный обеденный стол был накрыт на воле под елями. На белой скатерти красовался сине-белый фарфор, хрустальные бокалы и сложенные салфетки. Две березки склонились у входа в дом, ветки можжевельника были рассыпаны на полу в сенях, наверху, совсем рядом с коньком крыши, висел венок из цветов, горницы были также украшены цветами, запах плесени был изгнан, а зеленоватые стекла в окнах дерзко сверкали на солнечном свету.

Пастор так радовался, от всего сердца. Он думал, что никогда больше не станет пить.

За обеденным столом не было никого, кто бы не радовался. Радовались те, кто был великодушен и простил его, а высокопоставленные священнослужители радовались, что избежали скандала.

Добрый епископ поднял бокал и стал говорить о том, что с тяжким сердцем отправился в эту поездку, ибо до него доходило немало дурных слухов. Он выехал сюда, дабы встретить Савла, однако

же Савл уже превратился в Павла, которому пришлось куда больше трудиться, чем им всем, вместе взятым.

И далее благочестивый господин заговорил о тех богатейших духовных дарах, кои выпали на долю их юного собрата. И он стал восхвалять эти дары, но вовсе не ради того, чтобы молодой пастор возгордился. А ради того, чтобы он напряг свои силы и пекся бы о себе самом, как и подобает тому, кто несет на плечах своих столь непомерно тяжкую и драгоценную ношу.

В тот день пастор не был пьян, но он был во хмелю. Все это великое, нежданное счастье ударило ему в голову. Пламя вдохновения осенило его по воле небес, а люди одарили его своей любовью. Кровь по-прежнему лихорадочно, с неистовой быстротой струилась в его жилах, даже тогда, когда настал вечер и гости разъехались. Далеко за полночь сидел он, бодрствуя в своей горнице, а легкий воздух лился в открытое окно, чтобы охладить этот пыл блаженства, это сладостное беспокойство, не позволявшее ему уснуть.

И тут вдруг послышался голос:

— Ты не спишь, пастор?

Какой-то человек шагал по лужайке прямо к его окну.

Выглянув в окно, пастор узнал капитана Кристиана Берга, одного из верных своих собутыльников. Бродягой без кола и без двора был этот капитан Кристиан, а по силе и росту своим — великаном. Он был огромен, словно гора Гурлита, а глуп, словно горный тролль.

— Конечно, я на ногах, капитан Кристиан, — ответил пастор. — Неужто ты думаешь, что в такую ночь можно спать?

Послушайте же, что сказал ему капитан Берг! Великана одолевали тяжкие предчувствия: он понял — пастор теперь не посмеет больше бражничать. «Не видать ему ныне покоя, — думал капитан Кристиан, — потому что эти школьные пасторы из Карлстада, проторившие сюда дорожку, могут ведь снова явиться и сорвать с него рясу, если он запьет».

Но теперь он, капитан Берг, приложил свою тяжелую руку к этому доброму делу, теперь он устроил все так, что все эти школьные пасторы никогда не явятся сюда вновь, ни они, ни их епископ. Так что пастор и его дружки смогут сколько угодно душе пьянствовать здесь, в его усадьбе.



Послушайте же, какой славный подвиг совершил он, Кристиан Берг, brave капитан!

Когда епископ и оба школьных пастора сели в свой крытый экипаж и дверцы крепко-накрепко закрылись за ними, он уселся на облучок и прокатил их милю или две в светлую летнюю ночь.

И вот тогда-то Кристиан Берг дал высокочтимым отцам почувствовать, сколь бrenна человеческая жизнь. Он гнал лошадей во весь опор. Разве можно быть столь нетерпимым к тому, что честный человек иной раз и напьется.

Думаете, он ехал с ними по дороге, думаете, он оберегал их от толчков? Вовсе нет; он мчал через канавы и прямо по жнивью, головокружительным галопом мчал он вниз по склонам холмов вдоль берега озера, так что вокруг колес бурлила вода. Он чуть не застрял в трясине, а когда гнал лошадей по голым скалам, ноги их деревенели и скользили точно по льду. А тем временем епископ и школьные пасторы с побледневшими лицами сидели в экипаже, за кожаными шторками, и бормотали молитвы. Худшей поездки у них никогда в жизни не было.

Подумать только, в каком виде приехали они, должно быть, на постоянный двор в Риссэтере! Они были живы, но их растрясло, как дробинки в кожаном патронташе охотника!

— Что это значит, капитан Кристиан? — спросил епископ, когда он отворил им дверцу экипажа.

— Это значит, что епископ еще дважды подумает, прежде чем совершить новую поездку и учинить дознание Йесте Берлингу, — ответил капитан Кристиан.

Эту фразу он придумал заранее, чтобы не сбиться.

— Передай тогда Йесте Берлингу, — сказал епископ, — что к нему никогда больше не приедут ни я, ни какой-либо другой епископ!

Вот об этом-то подвиге brave капитан Берг и поведал пастору, стоя у открытого окна в летнюю ночь. Потому что именно он, капитан, немедленно и явился к пастору с новостями.

— Теперь можешь быть спокоен, твое преподобие, дорогой мой брат! — сказал он.

Ах, капитан Кристиан, капитан Кристиан! С побледневшими лицами сидели школьные пасторы в экипаже за кожаными шторками, однако же пастор у окна казался куда бледнее в светлой летней ночи. Ах, капитан Кристиан!

Пастор даже поднял было руку, примериваясь нанести страшный удар по неотесанному, глупому лицу великана, но удержался. С грохотом захлопнул он окно и встал посреди горницы, потрясая сжатым кулаком.

Он, кого осенило пылающее пламя вдохновения, он, кому дано было возвестить славу Божью, стоял и думал: какую злую шутку сыграл с ним Бог.

Разве епископ не вправе думать, что капитана Кристиана подослал сам пастор? Разве он не вправе думать, что пастор этот целый день лгал и лицемерил? Теперь он всерьез учинит розыск, теперь он лишит его и сана, и должности.

Когда настало утро, пастора в усадьбе уже не было. Он и не подумал остаться, чтобы защитить себя. Бог сыграл с ним злую шутку. Бог не желал помочь ему. Он знал: его все равно лишат сана. Так желает Бог. Так что ему лучше сразу же уйти.

Это случилось в начале двадцатых годов девятнадцатого века в одном из отдаленных приходов Западного Вермланда.<sup>[4]</sup>

То было первое несчастье, выпавшее на долю Йесты Берлинга. Оно не стало последним.

Ведь жеребятam, которые не выносят ни шпор, ни кнута, жизнь представляется тяжелой. При любой боли, выпадающей им на долю, они мчатся прочь по нехоженным тропам прямо навстречу разверзающимся пред ними пропастями. Лишь только тропа становится каменистой, а путь горестным, им неведомо иное средство, нежели одно — опрокинуть воз и бешеным галопом умчаться прочь.

## **II. НИЩИЙ**

Однажды холодным декабрьским днем по склону холма в Брубю поднимался нищий. Одет он был в ужасающие лохмотья, а башмаки его были до того изношены, что холодный снег леденил его мокрые ноги.

Левен — длинное, узкое озеро в Вермланде, которое в нескольких местах перерезано длинным же узким проливом. На севере оно простирается ввысь, к лесам Финмарка,<sup>[5]</sup> на юге же спускается вниз к озеру Венерн.<sup>[6]</sup> На берегах Левена располагается множество приходов, но самый большой и самый богатый из них — приход Бру.

Он занимает добрую часть озерного побережья, как на восточной, так и на западной его стороне. Но на западном берегу также лежат самые крупные усадьбы, такие поместья, как Экебю и Бьерне, широко известные своими богатствами и красотой, а еще большое селение в приходе Брубю с постоянным двором, зданием суда, жилищем ленсмана, [7] усадьбой священника и рыночной площадью.

Брубю стоит на крутом косогоре. Нищий прошел мимо постоянного двора у самого подножья и из последних сил устремился наверх, к вершине, где расположилась усадьба приходского пастора.

Впереди него поднималась в гору маленькая девочка, тянувшая санки, груженные мешком с мукой. Нищий догнал девочку и заговорил с ней.

— Такая маленькая лошадка — и такой большой воз! — сказал он.

Девочка обернулась и посмотрела на него. Это была малышка лет двенадцати с острым взглядом пронизательных глазок и плотно сжатым ртом.

— Дал бы бог лошадку поменьше, а воз побольше, так и муки, верно, хватило бы подольше! — ответила девочка.

— Так ты тащишь наверх еду для самой себя?

— Слава Богу, для себя, это так. Как я ни мала, мне самой приходится добывать свой хлеб.

Нищий ухватился за спинку саней, чтобы подтолкнуть их.

Обернувшись, девочка посмотрела на него.

— Не надейся, — сказала она, — за твою помощь ничего тебе не перепадет!

Нищий расхохотался.

— Ты, верно, и есть дочка пастора из Брубю?

— Да. Беднее отцы есть у многих, хуже моего — ни у кого нет. Это — святая правда, хотя стыд и позор, что родное его дитя вынуждено такое говорить.

— Говорят, отец твой скуп и зол.

— Да, он скуп и зол, но люди думают, что дочка его станет еще хуже, коли выживет.

— Думаю, люди правы, эх ты! Да, хотел бы я знать, где ты раздобыла этот мешок?!

— Невелика важность, если я даже скажу тебе об этом. Утром я взяла зерно в отцовском амбаре, а сейчас была на мельнице.

— А он не увидит тебя, когда ты притащишься с этим домой?

— Ты, верно, слишком рано бросил школу! Отец уехал по приходским делам, понятно!

— Кто-то едет следом за нами в гору. Я слышу, как скрипят полозья. Подумать только, а вдруг это отец едет!

Девочка прислушалась, всматриваясь вниз, а потом громко заревела.

— Это отец! — всхлипнула она. — Он меня убьет! Он меня убьет!

— Да, теперь дорог добрый совет, а быстрый совет — дорожке серебра и золота, — сказал нищий.

— Вот что, — продолжал ребенок, — ты можешь помочь мне. Берись за веревку и тащи санки. Тогда отец подумает, что санки твои.

— А что мне потом с ними делать? — спросил нищий, перекидывая веревку через плечо.

— Тащи их сначала куда вздумается, но вечером, когда стемнеет, приходи с ними в усадьбу пастора. А я уж подкараулю тебя. Приходи с мешком и санками, понятно?!

— Попытаюсь!

— Берегись, если не явишься, — воскликнула девочка, убегая, чтобы успеть домой раньше отца.

С тяжелым сердцем поворотил нищий санки и стал толкать их вниз к постоялому двору.

У бедняги, когда он полубосой брел по снегу, была своя мечта. Он шел, думая о бескрайних лесах к северу от озера Левен, о бескрайних лесах Финмарка.

Здесь, в приходе Бру, где он в эту минуту вез санки вдоль пролива, соединяющего Верхний и Нижний Левен, в этом прославленном своими богатствами и весельем краю, где усадьбы и заводы стоят бок о бок, здесь каждая тропа была для него чрезмерно тяжела, каждая горница тесна, каждая кровать жестка. Здесь он дико тосковал о покое бескрайних, вечных лесов.

Здесь он слышал бесконечные удары цепов на каждом гумне, словно урожай никогда не удастся обмолотить до конца. Вozy, груженные бревнами, и повозки с плетеными корзинками для угля непрерывно спускались вниз из неистощимых лесов. Телеги с рудой нескончаемым потоком тянулись по дорогам, по глубоким колеям, оставленным сотнями их предшественников. Он видел здесь, как сани,

битком набитые ездоками, торопливо сновали меж усадеб; и ему казалось, будто сама радость держит в руках вожжи, а красота и любовь стоят на запятках. О, как мечтал бредущий здесь бедняга подняться в горы и обрести покой великих вечных лесов!

Там, вдали, где на равнинных землях поднимаются прямые, подобные столбам деревья, где снег толстым, тяжелым покровом покоится на неподвижных ветвях, где бессилён ветер и где он лишь тихо-тихо играет с хвоей в верхушках деревьев, там хотелось ему брести, углубляясь все дальше и дальше в лесную чащу. Брести до тех пор, пока однажды силы не изменят ему и он не рухнет под огромными деревьями, умирая от голода и холода.

Он мечтал о большой, осененной шелестом листвы могиле над Левеном, где его одолеют силы тленья, где голоду, холоду, усталости и винным парам удастся наконец уничтожить это брренное тело, которое могло вынести все.

Он спустился вниз к постоялому двору, желая дождаться там вечера. Он вошел в буфетную и сел, тупо расслабившись, у дверей, по-прежнему мечтая о покое вечных лесов.

Хозяйка постоялого двора сжалилась над ним и поднесла ему рюмку вина. Она поднесла и вторую после того, как он стал истово умолять ее об этом.

Но наливать ему даром она больше не пожелала, и нищий впал в полное отчаяние. Ему нужно было выпить еще и еще этого горячительного, сладостного напитка. Ему нужно было еще раз почувствовать, как сердце пляшет в груди, а мысли полыхают от хмеля. О, это сладостное пшеничное вино! Летнее солнце, пение птиц, благоухание и красота лета сливались воедино в прозрачных, волнующих глотках. Еще хоть раз, прежде чем исчезнуть во мраке ночи, жаждет он испить солнца и счастья.

И вот сначала он обменял на вино муку, потом мешок из-под муки, а напоследок — санки. Выпив, он сильно захмелел и проспал добрую часть послеобеденного времени на скамье в харчевне.

Пробудившись, он понял, что ему остается лишь одно. Раз это жалкое тело одержало верх над его душой, раз он смог пропить то, что доверил ему ребенок, раз он — позор для всей вселенной, он должен освободить ее от столь жалкого бремени. Он должен вернуть своей душе свободу, позволить ей вознестись к Богу.

Лежа на скамье в буфетной, он судил самого себя:

— Йеста Берлинг, лишенный сана пастор, обвиняемый в том, что пропил муку, принадлежавшую голодному ребенку, присуждается к смерти. К какой смерти? К смерти в снежных сугробах!

Он плакал от жалости к самому себе, к своей бедной оскверненной душе, которой должно было вернуть свободу.

Отошел он недалеко и с дороги не сворачивал.

Схватив шапку, нетвердо держась на ногах, вышел он из харчевни. У самой обочины стоял высокий сугроб. Он бросился туда, чтобы умереть. Закрыв глаза, он попытался уснуть.

Никто не знает, как долго он так лежал, но в нем еще теплилась жизнь, когда по дороге примчалась с фонарем в руках дочка пастора из Брубю и нашла его в сугробе у обочины. Она несколько часов простояла на косогоре, ожидая его. Теперь она примчалась с вершины холма в Брубю, чтобы отыскать его.

Она тотчас узнала его и начала трясти и кричать изо всех сил, надеясь разбудить.

Ей нужно было узнать, куда он девал ее мешок с мукой.

Ей нужно было вернуть Йесту к жизни, хотя бы ненадолго: пусть скажет, что случилось с санками и мешком с мукой. Милый папенька убьет ее, если его санки пропали. Кусая нищему палец и царапая ему лицо, доведенная до крайнего отчаяния, она не переставала кричать.

Тут на дороге показался какой-то проезжий.

— Черт возьми, кто это тут кричит? — спросил чей-то суровый голос.

— Хочу узнать, куда этот парень подевал мой мешок с мукой и мои санки? — зарыдал ребенок, колотя сжатыми кулачками грудь нищего.

— Так это ты когтишь замерзшего человека? А ну, брысь отсюда, дикая кошка!

Ездок оказался высокой, крепко сколоченной женщиной. Она вылезла из саней и подошла к сугробу. Схватив девчонку за шиворот, она швырнула ее на дорогу. Затем, нагнувшись, обхватила руками тело нищего, подняла его с дороги, отнесла к саням и положила его туда.

— Езжай с нами на постоянный двор, дикая кошка! — крикнула она дочке пастора. — Послушаем, что ты знаешь об этом деле!

Спустя час нищий сидел на стуле у дверей в лучшей горнице постоянного двора, а перед ним стояла та самая властная госпожа, которая спасла его от смерти в сугробе.

Тысячу раз слышал Йеста Берлинг, как описывали ее именно такой, какой он ныне увидел ее, едущей домой от угольных ям в лесах. С закопченными руками и глиняной трубкой в зубах, одетую в ничем не подбитый овчинный полушубок, в домотканую шерстяную юбку, в смазных башмаках на ногах и с ножом за поясом, — такой он увидел ее. С зачесанными назад седыми волосами, обрамляющими ее старое, красивое лицо... И он понял, что столкнулся со знаменитой майоршей из Экебю.

Она была самой могущественной женщиной Вермланда, владельницей семи заводов,<sup>[8]</sup> привыкшей повелевать и привыкшей, чтобы ей повиновались. Он же был всего-навсего несчастный, приговоренный к смерти человек, лишенный всего, знающий, что каждая тропа для него чрезмерно тяжела, каждая горница тесна... Он дрожал от ужаса, когда взгляд ее останавливался на нем.

Она молча стояла, глядя на представшего пред ней жалкого человека, погрязшего в пороках, на его красные опухшие руки, на истощенное тело, на великолепную голову, которая даже теперь, в крайней своей запущенности и неухоженности, сверкала дикой красотой.

— Ты — Йеста Берлинг, сумасшедший пастор? — спросила она.

Нищий по-прежнему сидел недвижно.

— А я, я — майорша из Экебю!

Дрожь пробежала по телу нищего. Сжав руки, он поднял на нее взгляд, исполненный тоски. Что она с ним сделает? Неужто она заставит его жить? Он трепетал пред ее силой. И все-таки он был столь близок к покою вечных лесов.

Она начала битву за его жизнь, сказав, что дочке пастора из Брубю вернули санки и мешок с мукой. И что у нее, майорши, есть для него, как и для многих других бездомных бедняг, прибежище в кавалерском флигеле в Экебю. Она предложила ему жизнь, полную удовольствий и веселья, но он ответил, что должен умереть.

Тогда, ударив кулаком по столу, безо всяких обиняков, она заставила его выслушать, о чем она думает.

— Вот как, ты жаждешь умереть, вот как, ты жаждешь этого! Меня бы это не очень удивило, если бы ты и в самом деле был жив! Посмотрите-ка на это изможденное тело, на эти бессильные руки и ноги, на эти потухшие глаза! И ты еще думаешь, будто в тебе хоть что-то еще может умереть! Неужто ты полагаешь, что мертвец — это непременно тот, кто, неподвижный и оцепеневший, лежит в заколоченном гробу?! Неужто ты думаешь, что я стою здесь и не вижу: ты, ты, Йеста Берлинг, — мертв?!

Я вижу, что вместо головы у тебя череп мертвеца, и мне кажется, будто черви выползают у тебя из глазниц! Разве ты не чувствуешь, что рот твой набит землей? Разве ты не слышишь, как гремят твои кости, стоит тебе шевельнуться?

Ты, Йеста Берлинг, утопил себя в вине, ты мертв.

Единственное, что живо в тебе и еще шевелится, — это лишь кости мертвеца, а ты не желаешь дозволить им жить. Если можно назвать это жизнью?! Это все равно что дозволить мертвецам плясать на могилах при свете звезд. Уж не стыдишься ли ты того, что тебя лишили сана, раз ты хочешь умереть. Нужно сказать, тебе было бы куда больше чести, если бы ты нашел применение своим дарованиям и принес какую ни на есть пользу цветущей земле Божьей. Почему ты сразу же не явился ко мне, я бы все уладила? Да, теперь, верно, ты ждешь великой чести от того, что тебя завернут в саван, положат на смертную солому и назовут прекрасным трупом?!

Нищий сидел спокойно, почти улыбаясь, пока она обрушивала на него гневные слова. Никакой опасности, ликовал он, никакой опасности! Вечные леса ждут тебя, и не в ее власти отворотить от них твою душу. Но майорша замолчала и сделала несколько шагов назад-вперед по горнице. Затем она села перед очагом, поставила ноги на каменную плиту и оперлась локтями о колени.

— Тысяча чертей! — сказала она и тихо засмеялась как бы про себя. — В том, что я говорю, куда больше правды, нежели мне самой приходит в голову. Уж не думаешь ли ты, Йеста Берлинг, что большинство людей в этом мире — мертвы или полумертвы? Уж не думаешь ли ты, что я жива? О, нет! О, нет!



Да, погляди на меня, погляди. Я — майорша из Экебю, и я, верно, самая могущественная госпожа в Вермланде. Шевельни я пальцем, и тотчас же примчится губернатор, шевельни я двумя, примчится епископ, шевельни я тремя — и весь соборный капитул, и советники, и все заводчики начнут отплясывать польку на площади в Карлстаде. Однако ж, тысяча чертей, мальчик, я заявляю тебе: я не что иное, как одетый труп. Одному Богу ведомо, сколь мало во мне жизни.

Наклонившись вперед на своем стуле, нищий всеми фибрами души впитывал ее слова. Старая майорша сидела, качаясь из стороны в сторону перед очагом, и говорила, не глядя на него.

— Тебе, верно, не приходит на ум, — продолжала она, — что, будь я жива, я бы при виде тебя, столь жалкого и удрученного, мигом избавила бы тебя от подобных мыслей. Нет, конечно, не приходит. Тогда у меня нашлись бы для тебя и слезы, и мольбы, которые перевернули бы твою душу, и я спасла бы ее. Но отныне я — мертва.

Слышал ли ты, что некогда я была красавицей Маргаретой Сельсинг? То было далеко не вчера, но я все еще могу оплакивать ее так, что мои старые глаза еще краснеют от слез. Почему Маргарете Сельсинг суждено было умереть, а Маргарете Самселиус — жить, почему майорше из Экебю суждено жить, ответь мне, Йеста Берлинг?

Какой была Маргарета Сельсинг? Она была стройна и тонка, застенчива и невинна. На могиле таких, как она, плачут ангелы.

Она не ведала зла, никто никогда не причинял ей горя, она была добра ко всем. Она была красавица, настоящая красавица.

И был на свете один видный и прекрасный человек. Звали его Альтрингер. Бог знает, как его угораздило попасть сюда на север, на дикие пустоши Эльвдалена,<sup>[9]</sup> где у ее родителей был собственный завод. Маргарета Сельсинг увидела его. Он был прекрасным человеком и красивым мужчиной, и он полюбил ее.

Но он был беден, и они порешили ждать друг друга пять лет, как поется в песне.

Когда прошло три года, у нее появился новый жених, уродливый и мерзкий. Но родители ее, полагая, что он богат, принудили Маргарету Сельсинг не мытьем, так катаньем, побоями и жестокосердными словами взять его в мужа. Видишь ли, Маргарета Сельсинг умерла в тот самый день.

С тех пор больше не существовало на свете Маргареты Сельсинг, а существовала лишь майорша из Экебю. И она не была ни добра, ни застенчива, она верила только в великое зло и не замечала добра.

Ты знаешь, верно, что случилось потом. Мы жили в имении Ше, майор и я. Но он не был богат, как говорили люди. И у меня нередко бывали тяжелые дни.

Но тут вернулся Альтрингер — теперь он был богат. Он стал хозяином Экебю, по соседству с Ше. Он сделался хозяином еще шести заводов близ озера Левен. Он был дельный, предприимчивый, прекрасный человек!

Он помогал нам в нашей бедности. Мы разъезжали в его экипажах, он посылал съестные припасы на нашу поварню, вина для нашего погреба. Он наполнил мою жизнь пирами и увеселениями. Майор отправился на войну, но что нам было до этого! Один день я гостила в Экебю, на другой день он приезжал в Ше. Казалось, на берегах Левена тогда вечно веселились и водили хороводы.

Но тут обо мне и об Альтрингере пошла недобрая молва. Если бы Маргарета Сельсинг была жива, ей это бы причинило большое горе, но мне было хоть бы что. Тогда я еще не понимала: я столь бесчувственна оттого, что мертва.

Но вот молва о нас дошла до моих отца с матерью, туда, где они жили, среди угольных ям в лесах Эльвдалена. Старушка, недолго думая, отправилась сюда, к озеру, чтобы поговорить со мной.

Однажды, когда майора не было дома, а я сидела за столом с Альтрингером и другими гостями, приехала она. Я увидела, как она вошла в зал, но я, Йеста Берлинг, не почувствовала даже, что она — моя мать. Я поздоровалась с ней, как с чужой, и пригласила сесть к моему столу и принять участие в трапезе.

Она хотела поговорить со мной как с дочерью. Но я сказала, что она ошиблась — мои родители умерли, они оба умерли в день моей свадьбы.

Тогда она приняла условия игры. Ей было семьдесят лет, двадцать миль проехала она за, три дня! И вот она безо всяких церемоний села за стол и принялась за еду. Она была на редкость сильным человеком.

Она сказала: как печально, что именно в этот день я понесла столь тяжкую утрату.

— Самое печальное, — сказала я, — что родители мои не умерли на день раньше, тогда не было бы и свадьбы.

— Разве вы, милостивая фру майорша, не довольны своим замужеством? — спросила она.

— Вот именно, — ответила я, — но теперь я довольна. Я всегда буду рада повиноваться воле моих дорогих родителей.

Она спросила, была ли на то воля моих родителей, чтоб я навлекла позор на себя и на них и изменяла бы мужу. Малую честь выказала я своим родителям, сделавшись притчей во языцех у всех и каждого.

— Как постелишь, так и поспишь, — ответила я ей.

И вообще, чужой госпоже должно бы понять: я не намерена допустить, чтобы кто-либо порочил дочь моих родителей.

За столом ели только мы, мы — вдвоем. Окружавшие нас мужчины сидели молча, не в силах взять в руки нож или вилку.

Старушка осталась у меня на сутки, чтобы передохнуть, а потом уехала.

Но все время, пока она оставалась у меня, я так и не смогла понять, что она — моя мать. Я знала лишь, что моя мать — умерла.

Когда она собралась уезжать, Йеста Берлинг, и я стояла рядом с ней на лестнице, а экипаж подали к парадному входу, она сказала мне:

— Сутки пробыла я здесь, а ты так и не поздоровалась со мной, как с родной матерью. По безлюдным дорогам ехала я сюда, проехала целых двадцать миль за три дня, и твой позор заставляет мое тело дрожать так, словно его иссекли плетью. Пусть же все отрекется от тебя так, как ты отреклась от меня, пусть тебя выгонят, как ты выгнала меня! Пусть проселочная дорога станет твоим домом, сноп соломы — постелью, а угольная яма — твоим очагом. Пусть позор и бесчестье будут тебе наградой! Пусть другие бьют тебя так, как бью тебя я!

И она сильно ударила меня по щеке.

А я взяла ее на руки, снесла вниз по лестнице и усадила в экипаж.

— Кто ты такая, что проклинаешь меня? — спросила я. — Кто ты такая, что бьешь меня? Такого я ни от кого не потерплю!

И я тоже дала ей пощечину.

Экипаж тут же тронулся в путь, но тогда, в тот же час, Йеста Берлинг, я узнала, что Маргарета Сельсинг — мертва.

Маргарета Сельсинг была добра и невинна, она не ведала зла. Ангелы плакали на ее могиле. Если б она была жива, она никогда не ударила бы свою мать.

Нищий, сидевший у двери, слушал, и слова майорши заглушили на миг призывный шелест вечных лесов. Надо же, эта могущественная госпожа притворилась столь же грешной, как он, стала его сестрой — такой же пропащей, как и он, чтобы вселить в него мужество жить! И ему должно было научиться тому, что не только на нем, но и на других тоже лежит отпечаток горя и позора. Поднявшись, он подошел к майорше.

— Хочешь ли ты жить теперь, Йеста Берлинг? — спросила она голосом, прерывающимся от слез. — Зачем тебе умирать? Из тебя, верно, мог бы получиться хороший священник; но никогда тот Йеста Берлинг, которого ты утопил в вине, не был столь кристально чист и невинен, как та Маргарета Сельсинг, которую я задушила своей ненавистью. Ты хочешь жить?

Йеста упал на колени пред майоршей.

— Простите, — сказал он. — Не могу.

— Я — старая женщина, закаленная множеством горестей, — ответила майорша, — и я сижу здесь и отдаю себя самое в награду нищему, которого нашла полузамерзшим в сугробе у обочины. Поделом мне! Если ты уйдешь и кончишь жизнь самоубийством, ты по крайней мере не сможешь рассказать кому-либо о моем безумстве!

— Майорша, я не самоубийца, я приговоренный к смерти! Не делайте мою смертную борьбу чрезмерно тяжелой! Я не должен жить! Мое тело одержало верх над душой, поэтому я должен освободить ее, позволить ей вознестись к Богу.

— Вот как, ты полагаешь, что попадешь туда?

— Прощайте, фру майорша, и спасибо вам!

Нищий поднялся с колен и, опустив голову, поплелся к дверям. Эта женщина сделала тяжким его путь на север, к бескрайним лесам.

Подойдя к дверям, он не мог не оглянуться. И тут он встретил взгляд майорши, молча сидевшей и глядевшей ему вслед. Никогда не видел он столь изменившегося лица, и, остановившись, он уставился на нее. Она, недавно гневная и грозная, сидела в каком-то молчаливом просветлении, а глаза ее сияли сочувствием и милосердной любовью.

И что-то в нем, в его собственной заблудшей душе растаяло под этим ее взглядом. Прижавшись лбом к дверному косяку, обхватив голову руками, он заплакал, заплакал так, что сердце его чуть не разорвалось.

Швырнув свою трубку в очаг, майорша подошла к Йесте. Все ее движения внезапно стали нежными, как у матери.

— Полно, полно, мой мальчик!

И она усадила его рядом с собой на скамью у дверей, и он плакал, уткнувшись головой в ее колени.

— Ты все еще собираешься умереть?

Тут он хотел вскочить на ноги. Ей пришлось насильно удержать его.

— Сейчас я говорю тебе: ты волен поступать, как хочешь. Но я обещаю тебе, что, если ты снова захочешь жить, я возьму к себе дочку пастора из Брубю и выращу из нее человека. Так что она сможет возблагодарить Бога за то, что ты, Йеста, украл у нее муку. Ну как, хочешь жить?

Он поднял голову и посмотрел ей прямо в глаза:

— Это — правда?

— Да, обещаю тебе, Йеста Берлинг.

В тоске и отчаянии он стал ломать руки. Он увидел перед собой острый, пронзительный взгляд, сжатые губы и исхудалые маленькие ручки. Стало быть, это юное существо обретет защиту и опеку, и следы унижительных побоев будут стерты с ее тела, а злоба из ее души! Теперь путь к вечным лесам для него закрыт.

— Я не убью себя до тех пор, пока девочка будет под вашей опекой, фру майорша, — сказал он. — Я точно знал, что вы, фру майорша, заставите меня жить. Я сразу же почувствовал, что вы сильнее меня.

— Йеста Берлинг! — торжественно произнесла она. — Я сражалась за тебя, как за самое себя. Я сказала Богу: «Если хоть что-то от Маргареты Сельсинг еще живо во мне, то дозвожь ей, Маргарете, явиться и выказать себя так, чтобы этот человек не смог уйти и убить себя!» И он дозволил это, и ты увидел ее, и потому ты не смог уйти. И она шепнула мне, что ради бедного дитяти ты, верно, посмеешь отказаться от своего намерения. Вы, дикие птицы, летаете дерзко и отважно, но Господу нашему ведома та сеть, что и вас уловит.

— Велик Бог и неисповедимы его пути, — сказал Йеста Берлинг. — Он сыграл со мной злую шутку, он отверг меня, но все же не позволил мне умереть. Да свершится его святая воля!

С того самого дня Йеста Берлинг стал кавалером в Экебю. Дважды пытался он выбраться оттуда и стать на ноги, чтобы жить своим трудом. Однажды майорша подарила ему торп близ Экебю. Он переехал туда, намереваясь жить торпарем.[\[10\]](#) Некоторое время это ему удавалось, но вскоре он устал от одиночества, от повседневной, изнурительной работы и снова стал кавалером. В другой раз это случилось, когда его пригласили домашним учителем графа Хенрика Доны в поместье Борг. В то время он влюбился в юную Эббу Дону, сестру графа, но она умерла в тот самый час, когда он полагал, что вот-вот завоюет ее сердце, и он оставил все мысли о том, чтобы стать кем-либо другим, кроме как кавалером в Экебю. Ему казалось, что для священника, лишённого сана, все пути к спасению закрыты.

## Глава первая

# ЛАНДШАФТ

Теперь я собираюсь описать длинное озеро, благодатную равнину и синие горы, поскольку они были той самой ареной, где разыгрывалась веселая жизнь Йесты Берлинга и кавалеров из Экебю.

Озеро это начиналось высоко в горах на севере, а место для озера там — просто чудесное. Лес и горы неустанно собирают для него влагу. Круглый год низвергаются туда потоки и ручьи. Для озера предназначен и сыпучий светлый песок, устилающий его дно, и мысы, и каменистые островки, которые отражаются в озерной глади и которыми все любят. Водяной и русалки играют там на вольных просторах, и озеро быстро разрастается — обширное и прекрасное. Там, в горах севера, оно веселое и дружелюбное. Стоит посмотреть на него летним утром, когда оно только-только пробуждается ото сна, окутанное пеленой тумана, чтобы заметить, какое оно бодрое. Сначала оно чуточку дурачится, затем медленно-медленно выползает из легкой дымки, такое чарующе прекрасное, что его едва можно узнать. Но вот оно одним рывком сбрасывает с себя весь туманный покров и ложится пред вами во всей своей обнаженности, в своей розовой наготе, сверкая на утреннем свете.

Но озеро не довольствуется одними лишь легкомысленными играми, оно перехватывает себе талию, превращаясь в узкий пролив, оно прорывается сквозь несколько песчаных холмов и ищет для себя новое королевство, новые просторы. И находит... Оно становится все обширнее и могущественнее, у него открываются новые глубины, которые можно заполнить водой, и столь украшающий озеро живописный пейзаж. Но внезапно вода становится темнее, берега — более однообразными, ветры — более пронизывающими, а вид самого озера — более строгим. Великолепно, прекрасно это озеро! Сколько на нем плавают судов и сплавных плотов! И поздно наступает для него время зимнего отдыха, редко раньше Рождества. Озеро часто гневается, вскипая белой пеной и опрокидывая парусные суда, а порой, раскинувшись в мечтательном покое, отражает голубое небо.

Озеро стремится выбраться как можно дальше на широкие просторы, хотя чем ниже спускается оно на юг, тем более громоздкими кажутся горы и все более тесным пространство. Так что озеру еще раз приходится, подобно узкому проливу, проползая меж песчаных берегов. Затем оно в третий раз расширяется, но, правда, уже не отличается прежней красотой и достоинством.

Берега понижаются и становятся однообразными, слабее дуют ветры, озеро рано впадает в зимнюю спячку. Оно по-прежнему красиво, но утрачивает юношескую пылкость и мужественную силу; оно становится таким же, как и все другие озера. Обеими своими руками — водными протоками — нащупывает оно дорогу к Венерну, а когда путь найден, Левен низвергается в своей старческой слабости по крутым склонам, и, свершив этот последний, сопровождаемый грохотом подвиг, отправляется на покой, погружается в спячку.

Долина такая же длинная, как и озеро. Но надо думать, что ей трудно пробиваться меж горных гряд и хребтов. Начинается долина с самой котловины у северной оконечности озера, где оно впервые осмеливается раскинуться вширь, а затем тянется все дальше, пока она победоносно не располагается на покой у берегов Венерна. Тут и речи не может быть о чем-либо ином, кроме того, что равнина охотнее всего протянулась бы вдоль берегов озера, каким бы длинным оно ни было, но горы не оставляют ее в покое. Горы — это громадные стены из серого гранита, поросшие лесом, изрезанные ущельями, в которых трудно продвигаться вперед, богатые мхами и лишайниками. В стародавние же времена здесь обитали несметные стаи дичи. Топкое болото или лесное озерцо с темной водой часто встречаются наверху в горах среди тянущихся вдаль горных гряд. То тут, то там видны также днища угольных ям или лесные просеки, откуда выбраны бревна и дрова, или же земля, выжженная под пашню. Все это — свидетельство того, что и горы могут трудиться. Но обычно они беззаботны, спокойны и довольствуются лишь тем, что заставляют тени и дневной свет играть в свои вечные игры на их склонах.

И с этими-то горами равнина, кроткая, богатая и любящая труд, ведет неустанную борьбу, впрочем, вполне дружественную.

— Я хочу быть в полной безопасности, — говорит равнина горам, — и для этого совершенно достаточно окружить меня со всех сторон вашими склонами-стенами!



Но горы не желают и слушать подобные речи. Они высылают длинные вереницы холмов и лишенных растительности плоскогорий вплоть до самого озера. Они воздвигают великолепные сторожевые башни на каждом мысу и, по существу, столь редко покидают берега озера, что равнина лишь в нескольких местах может врезаться в мягкий песок прибрежья. Но ведь сетовать все равно не имеет смысла.

— Радуйся, что мы стоим здесь на страже, — говорят горы. — Подумай о днях перед самым Рождеством, когда холодные, как смерть, туманы день за днем ползут над Левеном! Добрую службу мы служим тебе тем, что стоим здесь.

Равнина же сетует, что ей тесно и что ей открывается отнюдь не живописный вид.

— Ты глупа, — отвечают горы, — тебе надобно хоть раз испытать, как дуют ветры внизу у озера. Нужен по меньшей мере гранитный хребет и еловая шуба, чтобы выдержать такой сквозняк. А вообще-то, хватит с тебя и того, что ты смотришь на нас.

Да, смотреть на горы — этим-то как раз равнина и занимается. Ей хорошо известны все те диковинные переливы света и теней, которые скользят по их склонам. Она знает, как при дневном свете опускаются они совсем низко к самому окоему; а при утреннем или вечернем свете — они, ярко-голубые, словно небо в зените, поднимаются на большую высоту. Иногда на них падает такой резкий свет, что они становятся зелеными или сине-черными, и каждая сосна, каждая дорога и каждое ущелье видны на расстоянии многих миль.

Однако кое-где горы изволят посторониться и дают равнине выйти вперед и поглядеть на озеро. Порой ей удастся увидеть озеро в страшном гневе, когда оно, словно дикая кошка, шипит и брызжет слюной. А иной раз равнина видит его подернутым холодным туманом, который появляется оттого, что болотница варит пиво или стирает белье. И тогда равнина тотчас же признает, что горы правы, сторонясь озера, и снова прячется в свою тесную темницу.

С незапамятных времен возделывали люди эту великолепную равнину, и там вырос большой приход. Повсюду, где река со своим белопенным водопадом бросается на береговой откос, появились заводы и мельницы. На светлых, открытых пространствах, где равнина подступает прямо к озеру, были построены церкви и пасторские усадьбы. По краям же долин, у подножья гор, на каменистой почве, где

урожаи скудны, стоят дома офицеров, крестьянские и помещичьи усадьбы.

Однако следует заметить, что в двадцатые годы девятнадцатого века здешние места были далеко не так хорошо обжиты, как сейчас. Немало было в ту пору лесов, озер и болот, которые можно теперь возделывать. Вообще-то люди были тогда не столь красноречивы и добывали себе пропитание извозом и поденной работой на многочисленных заводах, а то и службой в чужих краях. Прокормиться земледелием было нельзя. Обитатели равнины одевались в те времена в домотканое платье, ели овсяный хлеб и довольствовались поденной платой в двенадцать скиллингов. Многие жили в большой нужде, но у людей был легкий, веселый нрав при врожденных дарованиях и трудолюбию, что во многом облегчало им жизнь.

Но вся эта триада — длинное озеро, плодородная равнина и синие горы составляли и составляют еще и поныне один из красивейших ландшафтов, точно так же, как здешние жители и поныне еще остаются сильными, мужественными и талантливymi. Ныне они стали также намного богаче и образованнее.

Пусть же счастье сопутствует тем, кто живет там, на севере, у длинного озера и близ синих гор! Кое-что из их воспоминаний я и хочу здесь вам поведать.

## Глава вторая

### РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ

Синтрам — так зовут злого заводчика в Форсе, того самого, с неуклюжим обезьяним телом и длинными руками, с лысой головой и уродливым, искаженным гримасами лицом. Того самого, кто наслаждается, сея зло.

Синтрам — так зовут того, кто нанимает в работники лишь мошенников да разбойников и держит в служанках лишь вздорных да лживых девиц. Того, кто доводит до бешенства собак, тыча иглами им в морду, и счастливо живет среди злобных людей и свирепых животных.

Синтрам — так зовут того, для кого составляет величайшее счастье надевать личину мерзкого врага рода человеческого — с рогами и хвостом, конским копытом и мохнатым телом, и внезапно появляться из темных углов, да из-за печки или дровяного сарая, либо стращать пугливых детей и суеверных женщин.

Синтрам — так зовут того, кто радуется, когда старая дружба сменяется старой враждой, а сердца отравляются ложью.

Синтрам — так зовут его, и однажды он явился в Экебю.

\* \* \*

— Тащите большие дровни в кузницу, ставьте их посередине и кладите на дровни днище телеги. Вот у нас и стол! Ура! Да здравствует стол, вот и стол готов!

— Давайте стулья, давайте все, на чем можно сидеть! Сюда — трехногие скамеечки сапожника и пустые ящики! Сюда — старые драные мягкие кресла без спинок, тащите сюда беговые сани без полозьев и старый экипаж! Ха-ха-ха, тащите и старый экипаж! Он будет кафедрой!

Посмотрите только на него! Сорвано одно колесо и весь кузов! Остался лишь облучок, подушки испорчены, они поросли кукушкиным льном, кожа порыжела от старости. Эта древняя

развалина — высока, как дом. Подоприте ее, подоприте, а не то она рухнет!

— Ура! Ура! В кузнице Экебю ночью празднуют Рождество!

За шелковым пологом двуспальной кровати спят майор и майорша, спят, не подозревая, что все кавалеры во флигеле все еще бодрствуют. Отяжелевшие от рисовой каши и горького рождественского пива, спят работники и служанки, не до сна лишь кавалерам из флигеля. Кто мог догадаться, что кавалеры во флигеле не спят?!

Босоногие кузнецы не переворачивают раскаленные болванки, перемазанные сажей мальчишки не тащат тележки, груженные углем. Огромный молот, словно рука со сжатым кулаком, висит наверху, под самым потолком, наковальня — пуста, печи не разевают свои огненные пасти, чтобы поглотить уголь, не скрипят кузнечные меха. На дворе Рождество. Кузница спит.

Спит, спит! О ты, дитя человеческое, ты спишь, меж тем как кавалеры бодрствуют! Длинные клещи стоят вертикально на полу с сальными свечами в клешнях. От десятиведерного котла из сверкающей меди тянется к окутанному тьмой потолку голубое пламя пунша. Роговой фонарь Бееренкройца подвешен на молот из пруткового железа. Золотистый пунш искрится в чаше, словно яркое солнце. Там есть стол, есть скамья. Кавалеры празднуют рождественскую ночь в кузнице.

Здесь царят шум и веселье, музыка и песни. Но полуночный гам никого не может разбудить. Ведь грохот из кузницы заглушается могучим ревом водопада.

Здесь царят шум и веселье. Подумать только, если бы майорша видела все это!

Ну и что из того?! Она, разумеется, села бы с кавалерами и осушила бокал вина. Замечательная женщина, эта майорша, она не гнушается ни громовой застольной песни, ни партии в килле.<sup>[11]</sup> Эта богатейшая женщина в Вермланде уверена в себе, как мужчина, горда, как королева. Она любит пение, звуки скрипки и валторны. Обожает и вино, и карты, и накрытый стол, окруженный веселыми гостями. Она следит за тем, как расходуются припасы в кладовой, но когда в доме танцуют и веселятся, ей по душе танцы да веселье в горнице и в зале, и кавалерский флигель, полный кавалеров.

Взгляните на них, когда они сидят вокруг чаши, кавалер подле кавалера! Их — двенадцать, двенадцать мужей. Это не какие-нибудь там порхающие мотыльки, не модники, а одни лишь мужи, слава которых долго не померкнет в Вермланде, отважные мужи, могучие мужи!

Не какие-нибудь высохшие старцы с пергаментными лицами и не туго набитые денежные мешки, а бедные мужи, беззаботные мужи — истинные кавалеры, кавалеры с головы до пят.

Не какие-нибудь маменькины сынки, не сонные владельцы собственного хеммана, а бродяги, веселые мужи, рыцари — герои бесчисленных приключений.

Пуст ныне кавалерский флигель, уже много лет пуст! Экебю больше не пристанище избранных, не пристанище бездомных кавалеров. Отставные офицеры и бедные дворяне не колесят больше по Вермланду в шатких одноколках. Но пусть мертвые оживут, пусть они восстанут из мертвых — веселые, беззаботные, вечно молодые!

Все эти славные мужи умеют играть на одном или нескольких инструментах, все они большие оригиналы, знают множество песен и поговорок, головы у кавалеров набиты ими, словно муравейник муравьями. Но у каждого все же есть свой собственный дар, своя редкостная добродетель кавалера, отличающая его от прочих.

Прежде всего из тех, кто сидит вокруг чаши с пуншем, я хочу назвать Бееренкройца, полковника с длинными седыми усами, игрока в килле, исполнителя песен Бельмана.<sup>[12]</sup> А рядом с ним — его друг и боевой соратник, молчаливый майор и великий охотник на медведей Андерс Фукс. Третий же в этой компании — коротышка Рустер, барабанщик, который долгое время был денщиком полковника, но удостоился звания кавалера за генеральский бас и умение варить пунш. Затем следует упомянуть старого прапорщика Рутгера фон Эрнеклу, обольстителя дам. На нем шейный платок с булавкой, жабо и парик; а нарумянен он, как женщина. Он был одним из первейших кавалеров, точно таким же, как Кристиан Берг, бравый капитан, замечательный герой, обмануть которого, однако, было столь же просто, как сказочного великана. В обществе этих двоих часто видели маленького, кругленького патрона Юлиуса, живого, веселого и ярко одаренного человека — оратора, художника, исполнителя песен и

рассказчика анекдотов. Он охотно подтрунивал над разбитым подагрой прапорщиком и глупым великаном.

Был там и огромный немец Кевенхюллер, изобретатель самоходного экипажа и летательной машины, тот, чье имя еще звучит в шелесте лесной листвы. Человек чести как по рождению, так и по внешнему виду, с длинными закрученными усами, остроконечной бородкой, орлиным носом и узкими косыми глазками, окруженными сетью скрещивающихся морщин. Там сидел и великий воин — кузен Кристофер, никогда не покидавший стен кавалерского флигеля, если только не ожидалась охота на медведя или отчаянная авантюра. А рядом с ним — дядюшка Эберхард, философ, перебравшийся в Экебю не ради игр и веселья, а ради того, чтобы, не заботясь о хлебе насущном, завершить свой великий труд о науке всех наук.

Самыми последними я называю лучших из всей плеяды, кроткого Левенборга, благочестивого человека, который был слишком хорош для этого мира и мало что смыслил в его путях-дорогах. И Лильекруну, великого музыканта, владельца прекрасного дома, о котором он вечно тосковал, но все же должен был оставаться в Экебю, ибо душа его нуждалась в богатстве и разнообразии впечатлений: иначе жизнь казалась ему невыносимой.

У всех одиннадцати кавалеров юность была позади, и многие из них вступили уже в пору старости. Но был среди них один, кому едва исполнилось тридцать, кто сохранил еще нерастраченными все силы души и тела. То был Йеста Берлинг, кавалер из кавалеров, единственный в своем роде, более великий оратор, певец, музыкант, охотник, бражник и игрок, чем все они, вместе взятые. Он обладал всеми достоинствами кавалера. Какого доблестного мужа сделала из него майорша!

Посмотрите же на него сейчас, когда он поднялся на кафедру! Над ним тяжелыми гирляндами спускается с черного потолка тьма. Его русая голова светится на этом фоне, словно голова юного бога, юного светоносца, который привел в порядок царивший в мире хаос. Он стоит, статный, красивый, жаждущий приключений.

Говорит же он с величайшей серьезностью.

— Братья и кавалеры! Близится ночь, долго тянется праздник, пора уже поднять тост за тринадцатого, сидящего за нашим столом.

— Любезный брат Йеста! — восклицает патрон Юлиус. — Здесь нет никакого тринадцатого, нас всего двенадцать!

— В Экебю каждый год умирает один человек, — еще мрачнее продолжает Йеста. — Один из тех, кто гостит в кавалерском флигеле, умирает, умирает один из веселых, беззаботных, вечно юных. И немудрено! Кавалеры не должны стариться. Если наши дрожащие руки не смогут поднимать бокалы, если наши тускнеющие глаза не смогут различать карты, чем станет тогда для нас жизнь и кем станем мы для жизни?

Умереть должен один из тринадцати, один из тех, кто празднует Рождество в кузнице Экебю. Но каждый год появляется кто-то новый, чтобы пополнить наши ряды.

Это должен быть человек, сведущий в искусстве приносить радость, тот, кто умеет играть на скрипке и в карты! Старым мотылькам должно умереть, пока светит летнее солнце. За здоровье тринадцатого!

— Но, Йеста, нас же всего двенадцать, — возразили кавалеры, не дотрагиваясь до своих бокалов.

Йеста Берлинг, которого все они называют поэтом, хотя он никогда не писал стихов, с непоколебимым спокойствием продолжает:

— Братья и кавалеры! Разве вы забыли, кто вы? Вы те, благодаря кому в Вермланде царит радость. Вы те, кто вселяет жизнь в смычки скрипок, побуждает танцевать, заставляет музыку и песни звучать по всей стране. Вы умеете отвращать ваши сердца от золота, ваши руки от работы. Не будь вас, умерли бы танцы, умерло бы лето, розы, игра в карты, не стало бы песен. И во всем этом благословенном краю не осталось бы ничего, кроме железа и заводчиков. Радость будет жить, пока живы вы. Шесть лет праздновал я рождественскую ночь в кузнице Экебю, и никто прежде не отказывался пить за тринадцатого!

— Но, Йеста, — закричали все кавалеры, — если нас только двенадцать, зачем же нам пить за тринадцатого?!

Глубокая печаль омрачает лицо Йесты.

— Разве вас только двенадцать? — спрашивает он. — Как же так? Неужто мы все должны быть стерты с лица земли? Неужто в будущем году нас останется только одиннадцать, а год спустя только десять? Неужто наши имена станут всего лишь легендой, а все мы сгинем? Я призываю тринадцатого, ведь я поднял тост за его здоровье. Из бездны

морской, из недр земных, с небес, из ада призываю я его, того, кому должно пополнить плеяду кавалеров!

Тут в дымовой трубе что-то зашумело, заслонка плавильной печи поднялась и явился тринадцатый.

Весь мохнатый, с хвостом и конским копытом, с рогами и остроконечной бородкой. При виде его кавалеры с криком вскакивают.

Но Йеста Берлинг, ликуя, восклицает:

— Тринадцатый явился! За здоровье тринадцатого!

Вот он и явился, старинный враг рода человеческого, явился к безрассудно смелым кавалерам, нарушившим мир святой ночи. Вот он — дружок ведьм с горы Блокулла, [\[13\]](#) тот, что подписывает договор кровью на черной как уголь бумаге, тот, что семь дней напролет отплясывал с графиней в Иварснесе и целых семь пасторов не могли прогнать его прочь. Он явился.

При виде его мозг старых искателей приключений заработал с лихорадочной быстротой: ради чьей души рыскает он этой ночью — недоумевали они.

Многие из них готовы были в ужасе удрать, но вскоре они поняли, что рогатый явился вовсе не для того, чтобы увлечь их в свое царство мрака, а потому, что его привлекли звон бокалов и песни. Он желал насладиться человеческой радостью в эту святую рождественскую ночь, он желал сбросить тяжкое бремя власти в эту ночь радости.

О, кавалеры, кавалеры, кто из вас помнит еще о том, что нынче — рождественская ночь? Именно в эту пору ангелы поют пастухам на полях.

Именно в эту пору дети лежат, боясь крепко заснуть, не проснуться вовремя и пропустить светлую заутреню. Скоро настанет пора зажигать рождественские свечи в церкви прихода Бру, а далеко в лесной чаще на своем хеммане юноша приготовил вечером смоляной факел, чтобы освещать дорогу в церковь своей девушке. Во всех домах хозяйки выставили в окнах ветвистые подсвечники, остается только зажечь свечи, когда прихожане пойдут мимо. Пономарь поет во сне рождественские псалмы, а старый пробст лежит и тревожится, достанет ли у него голоса, чтобы провозгласить во время обедни: «Слава Богу на небеси, миру на земле, людям с добрыми помыслами!»

О, кавалеры, лучше бы вам в эту мирную ночь спать в своих постелях, нежели якшаться с князем тьмы!



Но они приветствуют его криками «Добро пожаловать!», «За здоровье тринадцатого!». Нечистому подают чашу с пламенным пуншем. Они отводят ему почетное место за столом и глядят на него с такой радостью, словно его уродливой роже сатира присущи милые черты возлюбленных их юности.

Бееренкройц приглашает его сыграть с ним партию в килле, патрон Юлиус поет ему лучшие свои песни, а Эрнеклу беседует с ним о прекрасных женщинах, этих дивных, услаждающих жизнь созданиях.

Он благоденствует, этот рогатый, с княжеской осанкой прислоняясь к облучку старого экипажа, и вооруженной когтем лапой подносит чашу с пуншем к своей улыбающейся пасти.

Но Йеста Берлинг, разумеется, держит речь.

— Ваша милость, — говорит он, — мы долго ждали вас здесь, в Экебю, ибо доступ в какой-либо другой рай вам, полагаю, затруднителен. Как вашей милости должно быть уже известно, здесь живут вольно, не сеют и не жнут. Жареные воробьи сами летят нам в рот, а кругом в ручьях и водных протоках текут горькое пиво и сладкое вино. Место здесь, заметьте, ваша милость, прекрасное.

Мы, кавалеры, право же, ждали вас, потому что прежде наша плеяда была далеко не полной. Видите ли, дела обстоят так, что мы представляем собой нечто более значительное, нежели то, за что мы себя выдаем. Мы — те самые двенадцать, та самая поэтическая плеяда, которая живет в веках. Нас было двенадцать, когда мы правили миром там, на окутанной облаками вершине Олимпа, и нас было двенадцать, когда мы, обернувшись птицами, сидели на зеленых ветвях древа Игдрасил.[\[14\]](#) Повсюду, где только слагались поэмы, появлялись следом и мы. Разве не мы, двенадцать могучих мужей, сидели вокруг Круглого стола короля Артура[\[15\]](#) и разве не вступили мы, двенадцать паладинов, в армию Карла Великого?[\[16\]](#) Один из нас был Тором,[\[17\]](#) один Юпитером, и как на таковых должно смотреть на нас каждому еще и сегодня. Ведь сияние божества видится и под лохмотьями, а львиная грива и под ослиной шкурой. Время не пощадило нас, но когда мы здесь, кузница становится Олимпом, а кавалерский флигель — Вальхаллой.[\[18\]](#)

Но, ваша милость, плеяда наша была неполной. Ведь известно, что в поэтической плеяде двенадцати всегда должен быть и один Локи,

[19] и один Прометей. Его-то нам как раз и недоставало.

Ваша милость, я приветствую вас, добро пожаловать!

— Ну и ну! Ну и ну! — говорит нечистый. — До чего красивые слова! До чего красивые слова! Как же мне быть, у меня ведь нет времени ответить вам! Дела, мальчики, дела! Мне нужно тотчас же удалиться, иначе я охотно был бы к вашим услугам — в какой угодно роли! Спасибо за этот вечер, старые болтуны! Еще увидимся!

Тут кавалеры спрашивают, куда он намеревается пойти, и он отвечает, что благородная майорша, владетельница Экебю, ждет его, чтобы продлить с ним контракт.

Кавалеров охватывает величайшее удивление.

Строга и деловита фру майорша из Экебю. Целую бочку ржи она может взвалить на свои широкие плечи. Она сопровождает повозку с рудой, добытую в Бергслагене, в дальнюю дорогу до самого Экебю. Она спит, словно возчик, на полу сарая с мешками под изголовьем. Зимой она может караулить угольную яму, летом — сопровождать целую флотилию бревен во время сплава на Левене. Она — властная госпожа. Она ругается, как уличный мальчишка, а правит, как королева, своими заводами и усадьбами соседей, правит своим приходом, а также соседними приходами, да и всем прекрасным Вермландом. Но для бездомных кавалеров она словно мать родная, и потому они затыкали уши, когда клевета шептала им, что майорша в сговоре с дьяволом.

И вот они с величайшим удивлением спрашивают его: что за контракт подписала с ним майорша?

А нечистый отвечает, что он подарил майорше семь заводов за то, что она ежегодно будет отдавать ему душу человеческую.

Невероятный ужас сжимает сердца кавалеров.

Ведь они знали об этом и прежде, но не хотели этому верить.

В Экебю ежегодно умирает один человек, один из гостей кавалерского флигеля, умирает один из веселых, беззаботных, вечно молодых. Но на что, собственно говоря, было жаловаться? Кавалеры не должны стареть! Если их дрожащие пальцы не в силах будут поднимать бокал, а тускнеющие глаза не смогут различать карты, что тогда для них жизнь и что они для жизни? Мотылькам должно умирать, пока светит солнце.

Но теперь, только теперь начинают они постигать подлинную суть вещей.

Горе этой женщине! Так вот почему она так сытно кормит их, вот почему позволяет им пить лучшее горькое пиво и сладостное вино! Потому, что от пиршественных залов и игорных столов им суждено рухнуть вниз к проклятому владыке ада — по одному в год, по одному ежегодно.

Горе этой женщине, этой ведьме! Могучими прекрасными мужами являлись они в это Экебю, являлись на свою погибель. Ведь она их там губила. Сморщенным грибам уподоблялись их мозги, сухому пеплу — легкие, беспросветному мраку — души, когда они опускались на смертное ложе, готовые к долгому странствию безо всякого упования, бездушные, утратившие всяческую добродетель.

Горе этой женщине! Она умертвила таких, что были много лучше оставшихся в живых, да и те, какие они ни да есть, тоже умрут.

Но кавалеры недолго оставались в оцепенении, подавленные, охваченные ужасом.

— Ты — проклятый владыка ада! — восклицают они. — Больше тебе не придется заключать сделку и подписывать кровью контракт с этой ведьмой. Она умрет. Кристиан Берг, этот могучий капитан, уже взвалил на плечо самый тяжелый кузнечный молот. Он вобьет его по самую рукоятку в голову проклятой троллихи. Ни одну душу ей больше уже в жертву не принести.

А тебя самого, рогатый, мы положим на наковальню и пустим в ход молот из пруткового железа! Клещами заставим мы тебя лежать спокойно под ударами молота! Мы научим тебя, как охотиться за душами кавалеров!

Давным-давно известно, что он труслив — этот грязный посланец ада, и разговор о кузнечном молоте ему явно не по душе. Он окликает Кристиана Берга, чтобы образумить его, и начинает переговоры с кавалерами.

— Берите себе, кавалеры, в этом году семь заводов, а мне отдайте майоршу!

— Думаешь, мы — такие же подлые, как и она? — восклицает патрон Юлиус. — Экебю и семь заводов мы взять не прочь, но майоршей занимайся сам!

— Что скажешь ты, Йеста, что скажешь ты, Йеста? — спрашивает кроткий Левенборг. — Пусть говорит Йеста Берлинг! Нам нужно выслушать его мнение, прежде чем принять такое важное решение.

— Это все — безумие! — говорит Йеста Берлинг. — Кавалеры, не давайте себя дурачить! Кто мы такие рядом с майоршей! Будь что будет с нашими душами, но, по моей воле, никто из нас не выкажет неблагодарность и не поведет себя, как негодяй и предатель! Слишком долго я ел хлеб майорши и не могу предать ее!

— Раз так, Йеста, отправляйся в преисподнюю, коли тебе охота! Лучше мы сами будем править Экебю!

— Вы что, совсем взбесились или допились до умопомрачения? Вы думаете — это правда? Неужто вы думаете, что этот вот и есть сам черт? Вы что, не замечаете: это же все — обман!

— Смотрите-ка, смотрите, смотрите, — говорит нечистый, — вот он-то сам и не замечает, что он — на пути к своей гибели, хотя и прожил в Экебю целых семь лет! Он не замечает, как далеко он зашел!

Берегись, парень! Я и сам однажды чуть не сунул тебя в печь! Будто от этого что-то изменилось, будто я не такой же хороший дьявол, как кто-либо другой. Да, да, Йеста Берлинг, уж больно ты упрям! Ну и ну! Славно обработала тебя майорша!

— Она спасла меня, — говорит Йеста. — Что бы я был без нее?

— Ну и ну! Ну и ну! Ведь в ее собственных интересах — удержать тебя в Экебю! Ты можешь многих заманить в ловушку, у тебя большие дарования! Однажды ты попробовал избавиться от нее, ты заставил ее подарить тебе торп, и ты стал там трудиться, хотел есть собственный свой хлеб. Каждый день она проходила мимо торпа и с ней были красивые девушки. Однажды с ней была Марианна Синклер, и тогда ты, Йеста Берлинг, отбросил лопату, кожаный фартук и снова стал кавалером.

— Там мимо проходит дорога, скотина!

— Да, да, конечно, дорога проходит там! Затем ты явился в Борг и стал домашним учителем Хенрика Доны и чуть ли не зятем графини Мэргты. Кто же это подстроил так, что юная Эбба Дона услышала, что ты — лишенный сана пастор, и отказала тебе? То была майорша, Йеста Берлинг. Она желала заполучить тебя обратно в Экебю.

— Ну и что! — говорит Йеста. — Эбба Дона умерла вскоре после этого. Она бы все равно не стала моей женой.

Тут нечистый приблизился к Йесте и прошипел ему прямо в лицо:  
— Умерла?! Да, конечно, она умерла. Убила себя по твоей милости, вот что она сделала, но тебе об этом раньше не рассказывали.

— Однако ты хитер, дьявол! — замечает Йеста.

— Говорю тебе, все это подстроила майорша. Ей хотелось заполучить тебя обратно в кавалерский флигель.

Йеста разразился хохотом.

— Да, хитер ты, дьявол, однако! — дико восклицает он. — Почему бы и нам не заключить с тобой контракт? Стоит тебе захотеть, и ты, верно, раздобудешь нам эти семь заводов!

— Хорошо, что ты больше не противишься своему счастью!

Кавалеры облегченно вздохнули. Дело зашло так далеко, что они не могли решиться ни на что без Йесты. Не захоти он пойти на эту сделку, у них бы вообще ничего не вышло. А для обнищавших кавалеров великим делом было бы получить семь заводов и управлять ими.

— Заметь себе, — говорит Йеста, — мы берем эти семь заводов, чтобы спасти наши души, а вовсе не для того, чтобы стать какими-то там заводчиками, которые считают деньги и взвешивают железо! Нам не стать ни высушенными старцами с пергаментными лицами, ни туго набитыми денежными мешками, мы — истинные кавалеры, ими и останемся.

— Сама мудрость глаголет твоими устами, — бормочет нечистый.

— Поэтому, если ты пожелаешь отдать нам семь заводов на один год, мы их примем. Но заметь, если мы за это время свершим нечто недостойное кавалеров, свершим нечто разумное, либо нечто полезное, либо нечто свойственное женщинам, забирай нас всех, когда кончится срок, всех двенадцать, и отдай заводы кому хочешь!

Нечистый потирает в восторге руки.

— Но если мы все же поведем себя как истинные кавалеры, — продолжает Йеста, — то ты никогда больше не посмеешь заключить какой-либо контракт касательно Экебю, и никакой платы за этот год ни от нас, ни от майорши ты не получишь!

— Условие жесткое, — говорит нечистый. — О, дорогой Йеста, а может, я все же получу хоть чью-нибудь душу человеческую, одну-единственную жалкую душонку? Верно, я мог бы получить душу майорши, почему ты жалеешь майоршу?

— Таким товаром я не торгую, да, не торгую, — прорычал Йеста, — но если тебе так уж нужна какая ни на есть душонка, можешь забрать себе душу старого Синтрама из Форса. Могу поручиться, он уже созрел для этого.

— Ну и ну, ну и ну! Это стоит послушать, — говорит, не моргнув, нечистый. — Кавалеры или Синтрам — все они стоят друг друга. Хороший выдастся для меня годок.

И тут на черной бумаге, подсунутой посланцем ада, подписывается контракт гусиным пером, кровью из мизинца Йесты.

Сделка завершена, кавалеры ликуют. Отныне целый год все радости мира будут им доступны. А потом уж, верно, можно будет найти какое-нибудь средство.

Раздвинув стулья, они становятся в кружок вокруг котла с пуншем, стоящего на черном полу посреди кузницы, и начинают носиться в бешеном танце. В самой середине круга, подпрыгивая, пляшет нечистый, под конец он падает, ложится на пол рядом с котлом, наклоняет его и пьет пунш.

Тогда рядом с ним бросается на пол Бееренкройц, затем Йеста Берлинг, а следом за ними вокруг котла, который передается из рук в руки, располагаются и остальные. В конце концов котел опрокидывается от толчка, и горячий липкий напиток заливает лежащих на полу.

Когда они, бранясь, поднимаются, нечистого уже нет, но золотые горы его обещаний маячат, словно сверкающие короны перед глазами кавалеров.

## Глава третья

# РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД

На Рождество майорша Самселиус дает парадный обед в Экебю. Хозяйка сидит за столом, накрытым на пятьдесят персон во всем своем блеске и великолепии. Сейчас она уже не в коротком меховом полушубке, полосатой шерстяной юбке, и при ней нет глиняной трубки. Шуршат шелка, золото отягощает ее обнаженные руки, жемчуга украшают ее белую шею.

Однако же где кавалеры, где те, что на черном полу кузницы из начищенного до блеска медного котла пили за здоровье новых хозяев Экебю?

В углу у изразцовой печи за отдельным столом сидят кавалеры. В этот день для них нет места за парадным столом. Им блюда подают после всех гостей, вина наливают скупое, в их сторону не бросают взоры прекрасные дамы, там никто не слушает шутки Йесты.

Но кавалеры ведут себя словно объезженные жеребята, словно сытые хищники. Один лишь час сна подарила им эта ночь, потом, при свете факелов и звезд, они поехали к рождественской заутрене. Они смотрели на рождественские свечи, слушали рождественские псалмы, их лица стали похожи на лица улыбающихся детей. Они начисто забыли рождественскую ночь в кузнице, как забывают дурной сон.

Знатна и могущественна майорша из Экебю! Кто осмелится поднять руку, чтобы ударить ее, у кого повернется язык, чтобы перечить ей?

Ясное дело, не нищие кавалеры, которые долгие годы ели ее хлеб и спали под ее кровом. Она сажает их, куда вздумается, она может запереть свою дверь у них перед носом, когда вздумается, а они не в силах даже бежать, чтобы вырваться из ее власти. Да смилостивится над их душами Господь! Жить вдали от Экебю они не смогут!

За парадным столом кипит радость. Там сияют прекрасные глаза Марианны Синклер, там звучит низкий грудной смех веселой графини Доны.

Но за столом кавалеров царит мрак. Разве справедливо, что тем, кто готов ринуться в пропасть ради майорши, не должно сидеть там

же, где и другим ее гостям? Что за подлый спектакль здесь разыгрывается? Как могли поставить им стол в углу — в запечье? Как будто кавалеры недостойны составить общество более знатным людям!

Майорша горда тем, что сидит между графом из Борга и пробстом из Бру. Кавалеры повесили головы, словно брошенные дети. И мало-помалу в их умах пробуждаются мысли, зародившиеся этой ночью.

Словно пугливые птицы, долетают забавные остроты и веселые небылицы до стола в запечье. Гнев этой рождественской ночи и клятвы этой ночи постепенно овладевают там умами. Вероятно, патрон Юлиус внушает могучему капитану Кристиану Бергу, что жареных рябчиков, которыми сейчас обносят парадный стол, на всех гостей не хватит, однако радости это не прибавляет.

— На всех может не хватить, — говорит он. — Я знаю, сколько их купили. Но они не растерялись, капитан Кристиан; для нас, тех, кто сидит здесь за малым столом, они зажарили ворон.

Губы полковника Бееренкройца искривляются в слабой улыбке под суровыми усами, а у Йесты весь этот день такой вид, будто он замыслил кого-нибудь убить.

— Разве не любая еда хороша для кавалеров? — спрашивает он.

И вот наконец на малом столе появляется блюдо, наполненное до краев великолепными рябчиками.

Но капитан Кристиан все равно гневается. Ведь он всю свою жизнь ненавидел ворон, этих мерзких каркающих птиц.

Он ненавидел их такой жгучей ненавистью, что осенью напяливал на себя волочащуюся по земле женскую одежду, повязывал голову платком и делался посмешищем для каждого, только ради того, чтобы очутиться на расстоянии выстрела от ворон, клевавших зерно на полях.

Он отыскивал их весной во время любовных игрищ на оголенных равнинах и убивал.

Он отыскивал их гнезда летом и выбрасывал оттуда кричащих, неоперившихся птенцов или же разбивал яйца, из которых вот-вот должны были вылупиться птенцы.

И вот он рывком придвигает к себе блюдо с рябчиками.

— Думаешь, я не узнаю их? — рычит он на слугу. — Неужто мне нужно услышать, как они каркают, чтобы узнать их? Фу, черт! Вы



только подумайте: предложить Кристиану Бергу ворон! Фу, черт!

С этими словами он одного за другим хватает с блюда рябчиков и швыряет их о стену.

— Фу, черт! — между делом восклицает он, да так, что зал содрогается. — Подумать только! Предложить Кристиану Бергу ворон!

И точно так же, как он имел обыкновение швырять беспомощных воронят о скалы, он швыряет одного рябчика за другим о стену.

Со свистом ударяются о стену птицы, во все стороны брызжут жир и сало, разбитые же птицы, отскакивая от стены, валяются на пол.

А кавалерский флигель ликует.

Тут до ушей кавалеров доносится гневный голос майорши.

— Выгоните его! — кричит она слугам.

Он слышит ее крик и, страшный в своем неистовом гневе, поворачивается к майорше, подобно медведю, который оставляет поверженного врага, чтобы встретить нового. Он пробирается к парадному, в виде подковы, столу. С чугунным топотом ступают ноги великана. Он останавливается прямо против майорши. Их разделяет лишь столешница.

— Выгоните его! — снова кричит майорша.

Кристиан взбешен. Страх внушают его нахмуренный лоб, его сжатые губы, грубые кулаки. Он громаден, он силен, как великан. Гости и слуги трепещут, не смея прикоснуться к нему. Да и кто посмеет прикоснуться к нему, когда гнев лишил его рассудка.

С угрожающим видом стоит он против майорши.

— Я схватил ворону и разбил ее о стену. Послушай-ка, разве я неправильно сделал?

— Вон отсюда, капитан!

— И не стыдно тебе, старая карга! Подать Кристиану Бергу ворон! Черт тебя побери вместе с твоими треклятыми...

— Тысяча дьяволов, Кристиан Берг, не ругайся! Никто не смеет ругаться здесь страшнее меня!

— Думаешь, я боюсь тебя, старая троллиха?! Думаешь, не знаю, как тебе достались твои семь заводов?!

— Замолчи, капитан!

— Альтрингер перед смертью завещал их твоему мужу, потому что ты была его любовницей!

— Да замолчишь ты или нет!

— Потому что ты была такой верной женой, Маргарета Самселиус! А майор принял эти семь заводов и позволил тебе управлять ими, делая вид, будто ничего не знает. А во всем этом деле был замешан сатана. Но теперь тебе — конец!

Майорша садится, бледная и дрожащая. А затем глухим, странным голосом подтверждает:

— Да, теперь мне конец, и этим я обязана тебе, Кристиан Берг.

От звуков ее голоса капитан Берг содрогается, черты его лица искажены, на глазах от страха выступают слезы.

— Я — пьян! — кричит он. — Я сам не знаю, что говорю, я ничего не говорил! Собакой и рабом, собакой и рабом и никем иным был я для нее сорок лет! Маргарете Сельсинг я служил всю свою жизнь! Я ничего дурного не говорю о ней! Разве я могу сказать что-либо о красавице Маргарете Сельсинг! Я — пес, который сторожит ее дверь, раб, который носит на плечах все ее тяготы. Пусть она пинает меня, пусть бьет меня! Вы ведь видите, что я молчу и терплю! Я любил ее целых сорок лет. Как я могу сказать о ней что-либо дурное?!

И до чего же странно видеть, как он бросается на колени и молит простить его. А поскольку она сидит по другую сторону стола, он подползает к ней на коленях, наклоняется и целует подол ее платья, омывая пол слезами.

Но неподалеку от майорши сидит невысокий сильный человек. У него взъерошенные волосы, маленькие косые глазки и выступающая вперед нижняя челюсть. Он похож на медведя. Человек он немногословный, из тех, кто охотней всего молча следует своей стезей, ничуть не радея о судьбах мира, идущего своим собственным путем. Это — майор Самселиус.

Слушая обвинительные речи капитана Кристиана, он поднимается, поднимается и майорша и все пятьдесят гостей. Женщины плачут от страха перед тем, что должно произойти, мужчины стоят в растерянности, а у ног майорши лежит капитан Кристиан, целующий подол ее платья и орошающий половицы слезами.

Широкие, поросшие волосами руки майора медленно сжимаются в кулаки; он поднимает на жену руку.

Но женщина заговорила первой. В голосе ее слышатся не свойственные ей глухие нотки.

— Ты украл меня! Ты явился как разбойник и взял меня. А дома угрозами и побоями, голодом и злобной руганью меня принудили стать твоей женой. Я поступила с тобой так, как ты того заслуживал.

Широкий кулак майора сжался опять. Майорша отступила на несколько шагов и продолжала:

— Живой угорь извивается под ножом, насильно выданная замуж девушка берет себе любовника. Неужто ты станешь меня бить за то, что случилось двадцать лет назад?

Почему тогда ты не бил меня? Разве ты не помнишь, как он жил в Экебю, а мы — в Ше? Разве ты не помнишь, как он помогал нам в нашей нищете? Мы разъезжали в его экипажах, пили его вино. Разве мы что-нибудь скрывали от тебя? Разве его слуги не были твоими слугами? Разве его золото не оттягивало твой карман? Разве ты не принял в подарок семь заводов? Тогда ты молчал и принимал от него подарки; тогда надобно было бить меня, именно тогда надобно было бить меня, Бернт Самселиус!

Муж отворачивается от нее и обводит глазами гостей. Он читает на их лицах, что правда на ее стороне, — он принимал в подарок заводы и имения за свое молчание.

— Я этого не знал! — произносит он и топает ногой.

— Хорошо, что ты хоть теперь знаешь об этом! — пронзительно-звонко произносит она. — Разве я не боялась, что ты умрешь, так и не узнав об этом?! Хорошо, что ты знаешь об этом теперь и я могу открыто говорить с тем, кто был моим господином и притеснителем. Знай же, я, во всяком случае, принадлежала ему, тому, у кого ты украл меня! И пусть ныне знают об этом все, все, кто оговаривал меня!

Ликование старой неподвластной времени любви — в ее голосе, отсвет этой любви — в ее глазах. С поднятыми кулаками стоит перед ней муж. Ужас и презрение читает она на лицах всех пятидесяти гостей. Она чувствует: наступает последний час ее власти. Но не может не радоваться тому, что наконец откровенно, открыто говорит о сладчайших воспоминаниях своей жизни.

— Он был настоящий мужчина и прекрасный человек! А кто такой ты, что посмел встать между нами? Я никогда не встречала никого подобного ему! Он даровал мне счастье, он даровал мне богатство! Да будет благословенна память о нем!

Поднятая рука майора опускается, не ударив... Теперь-то он знает, как покарать ее!

— Вон! — рычит он. — Вон из моего дома!

Она стоит молча.

Кавалеры же с бледными лицами не спускают глаз друг с друга. Ну вот, все сбывается, все, что предсказал нечистый. Теперь они видят результат того, что контракт майорши не был продлен. Если это — правда, то, верно, правда и то, что она более двадцати лет посылала кавалеров в преисподнюю и что им тоже предназначено было сойти в ад. О, чертова ведьма!

— Вон отсюда! — продолжал майор. — Выпрашивай себе кусок хлеба на проселочной дороге! Не видать тебе радости от его денег, не жить тебе в его поместьях! Конец майорше из Экебю! В тот день, когда нога твоя переступит порог моего дома, я убью тебя!

— Ты гонишь меня из моего дома?!

— У тебя нет дома! Экебю принадлежит мне!

Страх овладевает майоршей. Она отступает к дверям, а он следует за ней буквально по пятам.

— Ты — несчастье всей моей жизни, — сетует она, — неужто и теперь в твоей власти причинить мне такое горе?

— Вон, вон отсюда!

Опираясь на дверной косяк, она закрывает лицо стиснутыми руками. Она думает о своей матери и бормочет про себя:

— Пусть тебя выгонят, как ты выгнала меня! Пусть проселочная дорога станет твоим домом, а сноп соломы — твоей постелью! К тому все и идет! К тому и идет!

Старый добрый пробст из Бру и милосердный судья из Мункеруда — это они подошли к майору Самселиусу и попытались образумить его. Они сказали, что лучше всего ему предать забвению эти старые истории, оставить все как было, ничего больше не вспоминать и простить.

Но он стряхивает их руки со своего плеча. К нему, как недавно к Кристиану Бергу, было просто опасно приблизиться.

— Это вовсе не старые истории! — восклицает он. — Я ничего не знал до сегодняшнего дня. Я не мог раньше покарать нарушившую супружескую верность!

При этих словах майорша обретает прежнее мужество и поднимает голову.

— Прежде ты уберешься отсюда. Думаешь, я отступлю пред тобой?! — говорит она.

И отходит от дверей.

Майор не отвечает, но следит за каждым ее движением, готовый нанести удар, если иначе не сможет избавиться от нее.

— Помогите мне, добрые господа, — кричит она, — обуздать и выгнать этого человека, пока к нему снова не вернется разум! Вспомните, кто я и кто — он! Подумайте об этом прежде, чем я вынуждена буду пред ним отступить! Я заправляю всеми делами в Экебю! Он же целый день сидит в медвежьей берлоге и кормит медведей. Помогите мне, добрые соседи и друзья! Здесь наступит беспросветная нужда, если меня не будет! Крестьянин кормится тем, что рубит мой лес и возит мой чугуны. Угольщик живет тем, что добывает мне уголь, сплавщик — сплавляет мои бревна. Это я даю людям работу и хлеб. Кузнецы, ремесленники и плотники живут тем, что обслуживают меня. Вы полагаете, что этот вот сумеет достойно продолжать мое дело? Говорю вам: если выгоните меня, впустите голод и нищету.

Снова поднимается множество рук, желающих помочь майорше. Снова на плечи майора, увещевая его, ложатся руки.

— Нет! — говорит он. — Убирайтесь! Кто желает защитить нарушившую супружескую верность? Я заявляю вам, я! Если она не уйдет по доброй воле, я брошу ее моим медведям.

При этих словах поднятые в защиту майорши руки опускаются.

И тогда майорша в отчаянье обращается к кавалерам.

— Неужто и вы, кавалеры, позволите изгнать меня из собственного дома? Разве я позволила вам замерзнуть в снежных сугробах зимой, разве отказывала вам в горьком пиве и в сладком вине? Разве брала с вас плату за то, что кормила и одевала вас, разве требовала, чтобы вы отработывали мой хлеб? Разве не играли вы у ног моих, безмятежные, словно дети подле матери? Разве не танцевали в залах моего дома? Разве наслаждения и веселый смех не были для вас хлебом насущным? Так не дайте же этому человеку, составившему несчастье всей моей жизни, выгнать меня из собственного дома! Не дайте же мне стать нищенкой на проселочной дороге!

При этих словах Йеста Берлинг незаметно подкрался к красивой темноволосой девушке, сидевшей за парадным столом, и спросил:

— Пять лет назад ты, Анна, часто бывала в Борге. Ты не знаешь, правда ли: именно майорша сказала Эббе Доне, что я — лишенный сана священник?

— Помоги майорше, Йеста, — только и ответила ему девушка.

— Знай же, прежде я хочу услышать, правда ли то, что майорша сделала меня убийцей.

— О, Йеста, что ты говоришь?! Помоги ей, Йеста!

— Вижу, ты не желаешь отвечать. Видно, Синтрам правду сказал.

И Йеста снова спускается вниз, смешиваясь с толпой кавалеров. Он пальцем о палец не ударил, чтобы помочь майорше.

О, зачем она посадила кавалеров за отдельный стол, в углу, в запечье! Ночные мысли вновь пробуждаются в их умах, лица их пылают гневом, ничуть не меньшим, нежели гнев самого майора.

Неумолимые и жестокие, они отвечают молчанием на ее мольбы.

Разве все, чему они стали свидетелями, не подкрепляет их ночные видения?

— Ясно, она не возобновила контракт, — бормочет один из кавалеров.

— Убирайся ко всем чертям, старая троллиха! — кричит другой.

— По правде говоря, это мы должны выгнать тебя за ворота!

— Дурни! — кричит кавалерам дряхлый и слабый дядюшка Эберхард. — Разве вы не понимаете, что все это — дело рук Синтрама?!

— Конечно, понимаем, конечно, знаем, — отвечает патрон Юлиус, — ну и что из того? Разве это может быть неправдой? Разве Синтрам не выполняет волю нечистого? Разве они не заодно?

— Ступай, Эберхард, ступай и помоги ей, — издеваются над стариком кавалеры. — Ты ведь не веришь в ад. Иди же, иди!

А Йеста Берлинг стоит неподвижно, не проронив ни слова, не шелохнувшись.

Нет, от этого грозного, бормочущего, спорящего кавалерского фланга майорше нечего ждать помощи!

Тогда она снова отступает к дверям и поднимает к глазам стиснутые руки.

— Пусть тебя выгонят, как ты выгнала меня! — кричит она в горькой скорби самой себе. — Пусть проселочная дорога станет твоим домом, а сноп соломы — постелью!

И, взявшись рукой за ручку двери, она воздевает другую к небесам.

— Запомните вы все, все те, кто позволяет мне ныне пасть! Запомните, скоро придет и ваш час! Ныне вы рассеетесь по свету, а дома ваши будут зиять пустотой. Как вам выстоять, если я не смогу вам помочь? Берегись ты, Мельхиор Синклер! Рука у тебя тяжелая, и ты дашь ей волю! Жена твоя это знает! И ты, пастор из Брубю, близок час расплаты за твои грехи! А ты, капитанша Уггла, приглядывай за своим домом, его ждет нищета! Вы же, юные красавицы, Элисабет Дона, Марианна Синклер, Анна Шернхек, не думайте, что я единственная, кому придется бежать из своего дома! Берегитесь и вы, кавалеры. Скоро грянет буря и сметет вас всех с лица земли, ваше время истекло, оно в самом деле истекло. Не себя мне жаль, мне жаль вас, ибо буря пронесется над вашими головами, а кто из вас выстоит, если паду я? А главное — сердце мое стонет от жалости к беднякам. Кто даст им работу, когда я уйду?

Майорша отворяет двери, но тут поднимает голову капитан Кристиан, он говорит:

— Сколько времени лежать мне у твоих ног, Маргарета Сельсинг? Ты не желаешь простить меня, чтобы я мог восстать и биться за тебя?

Майорше приходится выдержать жестокую борьбу с собой; но она понимает, что, если простит его, он восстанет и начнет драться с ее мужем; и человек, столь преданно любивший ее целых сорок лет, превратится в убийцу.

— Неужели я должна простить тебя? — спрашивает майорша. — Разве не ты виноват во всех моих бедах, Кристиан Берг? Ступай к кавалерам и радуйся делу рук своих!

И вот майорша уходит. Уходит спокойно, оставляя всех в ужасе. Она пала, но даже в падении своем сохранила былое величие. Она не унизилась, она даже в старости сохранила гордость и величие своей девичьей любви. Она не унизилась до сетований, взывающих к состраданию, и жалобного плача, покидая все, что имела. И ничуть не страшилась того, что ей придется с нищенской сумой и посохом бродить по дорогам. Она жалела лишь бедных крестьян да веселых

беззаботных людей на берегах озера Левен, бедных кавалеров и всех тех, кому покровительствовала и кого опекала в их нужде.

Она была покинута всеми, и, однако же, у нее достало сил оттолкнуть своего последнего друга, чтобы не сделать его убийцей.

Это была удивительная женщина, женщина с поразительной силой характера и энергией. Такие не часто встречаются на свете.

На другой день майор Самселиус оставил Экебю и перебрался в собственное поместье Ше, расположенное совсем близко от большого завода.

В завещании Альтрингера, согласно которому майору достались заводы, было четко обозначено, что ни один из них не должен быть продан или подарен. И что после смерти майора все они должны отойти по наследству его жене или, в свою очередь, к ее наследникам. Так что майор никак не мог растратить ненавистное ему наследство. И он позволил кавалерам распорядиться им по своему усмотрению, полагая, что тем самым наносит Экебю и шести остальным заводам непоправимейший ущерб.

Никто в тех краях уже больше не сомневался в том, что злодей Синтрам действовал по воле нечистого. И поскольку все, что сулил Синтрам, сбылось, кавалеры были совершенно уверены в том, что контракт до мельчайших пунктов будет соблюден. И потому-то они преисполнились решимости в течение всего этого года не предпринимать ничего разумного, ничего полезного, ничего, что свойственно женщинам. К тому же они были совершенно уверены в том, что майорша — мерзкая ведьма, жаждавшая их гибели.

Старый философ, дядюшка Эберхард подверг осмеянию их слепую веру в нечистого. Но кого волнует мнение человека, до того упрямого в своей неверии, что, очутись он даже посреди адского пламени, где у него на глазах все на свете дьяволы скалят, издеваясь, зубы, он все равно утверждал бы, что они не существуют, ибо существовать не могут. Ведь дядюшка Эберхард был великий философ!

А Йеста Берлинг никому не рассказывал о том, что думал он. Разумеется, он не считал себя обязанным майорше за то, что она сделала его кавалером в Экебю. Ему казалось: лучше умереть, чем ходить по земле, сознавая себя виновным в самоубийстве Эббы Дона. Он пальцем о палец не ударил, чтобы отомстить майорше, но ничего



не сделал, чтобы помочь ей. Он просто не мог что-либо сделать. Но кавалеры обрели великую силу и богатство. На дворе стояло Рождество с празднествами и развлечениями. Сердца кавалеров были преисполнены ликования, а что до горя и скорби, по-прежнему отягочавших душу Йесты Берлинга, никто не мог прочитать их ни в его сердце, ни на его устах.

## Глава четвертая

### ЙЁСТА БЕРЛИНГ — ПОЭТ

Наступило Рождество, и в Борге ожидался бал.

В те времена жил в Борге молодой граф Дона. Совсем недавно он женился, и у него была юная, прекрасная собой супруга. И все ожидали, что на балу в старом графском поместье будет царить веселье.

Приглашение на бал пришло и в Экебю. Но так случилось, что из всех праздновавших там в тот год Рождество лишь один Йёста Берлинг, которого все называли «поэтом», пожелал ехать на бал.

И Борг, и Экебю — оба поместья расположены у длинного озера Левен, но на противоположных берегах. Борг находится в приходе Свартше, Экебю — в приходе Бру. Когда же озеро делается непроезжим, несколько миль пути по берегу отделяют Экебю от Борга.

Бедный Йёста Берлинг! Старые кавалеры снаряжали его на этот праздник, словно он был королевским сыном и ему предстояло достойно поддержать честь своего королевства.

Он облачился в новенький фрак с блестящими пуговицами, жабо было туго накрамалено, сапоги из блестящей кожи сверкали. Он надел шубу из драгоценнейшего бобра, а на светлые кудрявые волосы — соболью шапку. Кавалеры велели устлать его беговые сани медвежьей шкурой с серебряными когтями, а везти сани должен был вороной Дон Жуан, гордость усадебной конюшни.

Йёста свистнул своего белоснежного пса Танкреда и схватил плетеные вожжи. Он ехал, ликуя, овеянный призрачной дымкой богатства и роскоши, он, и без того излучавший яркий свет телесной и душевной красоты, живого, игривого ума.

Выехал он рано, до обеда. Было воскресенье, и, проезжая мимо церкви в Бру, он услышал пение псалма. Затем он проследовал безлюдной лесной дорогой, ведущей в Бергу, где жил тогда капитан Уггла. Там он намеревался остаться к обеду.

Поместье Берга было не из богатых. Голод проторил дорогу к крытому торфом жилищу капитана. Однако принимали там Йёсту с

веселыми шутками, развлекая его, как и других гостей, пением и играми; и уезжал он оттуда так же неохотно, как и они.

Старая мамзель [20] Ульрика Дильнер, заправлявшая всем хозяйством в усадьбе, стоя на лестнице, приветствовала Йесту, как желанного гостя. Она сделала книксен, и ее накладные локоны, обрамлявшие загорелое, изрезанное тысячью морщинок лицо, заплясали от радости. Она повела его в зал и начала рассказывать об обитателях усадьбы и об их переменчивых судьбах.

— Печаль стоит у нашего порога, — говорила она, — тяжелые времена настали для Берги. У нас нет даже хрена к солонине на обед, и Фердинанду пришлось запрячь Дису в сани и вместе с барышнями поехать в поместье Мункеруд — одолжить хрену.

Капитан опять охотится в лесу и, очевидно, вернется в усадьбу с каким-нибудь жилистым зайцем, на приготовление которого пойдет куда больше масла, чем он сам того стоит. Это он называет «добывать для дома пропитание». Но это еще бы хорошо; только бы он не вернулся с какой-нибудь паршивой лисицей, самой мерзкой тварью, какую только создал Господь Бог. Пользы от нее — и от живой, и от мертвой — совершенно никакой.

Что до капитанши, да, так она еще и не вставала. Лежит, читает романы, как и всегда, все дни напролет. Не создана она, этот божий ангел, для работы...

Нет, труд, видно, — удел тех, кто стар и сед, как она — Ульрика Дильнер. Топчешься дни и ночи по усадьбе, чтобы преградить дорогу нищете. И не всегда это удается; по правде говоря, однажды целую зиму у них в доме никакого мяса, кроме медвежьего окорока, не было. И большого жалованья она тоже не ожидает, она вообще-то еще никакой платы в глаза не видела; но, верно, они не вышвырнут ее на проселочную дорогу, когда она больше не сможет зарабатывать свой хлеб. Более того, в этом доме мамзель экономку почитают за человека, и, верно, когда-нибудь ее, старую Ульрику, достойно предадут земле, если, конечно, у них найдутся деньги на гроб.

— Потому что кто знает, как все это будет! — воскликнула она, вытирая глаза; а глаза у нее всегда были на мокром месте. — Мы задолжали злему заводчику Синтраму, и он может отобрать у нас имение. Конечно, Фердинанд теперь помолвлен с богачкой Анной Шернхек, но он скоро надоест ей, помяните мое слово, надоест. И что

станется с нами, с нашими тремя коровами и девятью лошадьми, с нашими веселыми юными барышнями, которые жаждут разъезжать с одного бала на другой, с нашими засушливыми полями, где ничто не растет, с нашим милым Фердинандом, которому никогда не стать настоящим мужчиной? Что станет с этим благословенным домом, где все процветает, кроме работы?

Но вот настало время обеда, и все домочадцы собрались вместе. Милый Фердинанд, кроткий сын своих родителей, и их веселые дочери вернулись домой, одолжив хрен. Явился и сам капитан, взбодренный купаньем в проруби небольшого озера и охотой в лесу. Он распахнул окно, чтобы легче было дышать, и с недюжинной силой, по-мужски, пожал руку Йесте. Явилась и капитанша, разодетая в шелка, отделанные широкими кружевами, ниспадающими на ее белые руки, которые Йесте позволили поцеловать.

Все радостно поздоровались с Йестой; перебрасываясь веселыми шутками, они спросили его:

— Как вам живется в Экебю, как вам живется в этой земле обетованной?

И он ответил:

— Там текут молочные и медовые реки. Мы добываем железо из гор и наполняем погреб вином. Поля приносят золото, которым мы позолачиваем нищету нашей жизни. Леса же мы вырубаем, чтобы строить кегельбаны и беседки.

Однако в ответ на эти слова капитанша, вздохнув, улыбнулась, и с ее уст слетело лишь одно-единственное слово:

— Поэт!

— Много грехов на моей совести, — сказал Йеста, — но никогда не написал я ни строчки стихов.

— И все-таки ты — поэт, Йеста, этого звания от тебя не отнимешь. Ты пережил намного больше поэм, чем иные скальды сочинили.

Затем капитанша мягко, по-матерински, заговорила о его растроченной попусту жизни.

— Я должна дожить до того дня, когда увижу, что ты стал настоящим мужчиной, — сказала она.

И он почувствовал, как сладостно сознавать, что тебе желает добра и вселяет в тебя веру в жизнь такая вот женщина — верный друг,

чье мужественное, мечтательное сердце пылает любовью к великим подвигам.

Когда же они покончили с веселой трапезой и насладились солониной с хреном и капустой, хворостом и рождественским пивом, а Йеста заставил их смеяться до слез, рассказывая о майоре с майоршей и о пасторе из Брубю, во дворе послышался звон колокольчиков и вслед за этим к ним вошел злой Синтрам.

Он весь сиял от счастья, начиная с лысой головы и кончая длинными плоскими ступнями. Он размахивал длинными руками и строил гримасы. Сразу видно было, что он привез дурные вести.

— Слыхали, — спросил злой Синтрам, — слыхали, сегодня в церкви Свартше впервые огласили помолвку Анны Шернхек и богача Дальберга? Должно быть, она забыла, что обручена с Фердинандом?

Ни слова не слыхали они об этом. Они удивились и загрустили.

Они живо представили себе, что дом их разорен и опустошен ради того, чтобы выплатить долг злому Синтраму, любимые лошади проданы, продана и обветшалая мебель, унаследованная капитаншей из ее родного дома. Мысленно она видела уже конец своей веселой жизни с празднествами и бесконечными поездками с одного бала на другой. На столе снова появится медвежий окорок, а Фердинанду с сестрами придется уехать из дома и пойти в услужение к чужим людям.

Капитанша приласкала сына, заставив его тем самым найти утешение в ее неизменной материнской любви.

Однако же с ними был Йеста Берлинг, и в уме этого неисправимого фантазера уже роились тысячи планов.

— Послушайте! — воскликнул он. — Еще не время жаловаться и сетовать. Все это подстроила жена пастора из Свартше. Она обрела власть над Анной с тех пор, как та поселилась в пасторской усадьбе. Это она заставила Анну отказаться от Фердинанда и взять в мужья старика Дальберга. Но они еще не повенчаны, да и не будут повенчаны. Я тотчас еду в Борг и повидаяюсь с Анной. Я поговорю с ней, я вырву ее из власти пасторской семьи, из власти жениха. Нынче же ночью я привезу ее сюда. А уж тогда старому Дальбергу не добиться, чтоб она вышла за него замуж.

Так оно и случилось. Йеста один отправился в Борг, не позволив отвезти себя ни одной из веселых барышень. Но его сопровождали

теплые пожелания всех домочадцев Берги.

А Синтрам, преисполненный ликования оттого, что старик Дальберг останется с носом, решил дожидаться в усадьбе возвращения Йесты вместе с изменщицей невестой, чтобы увидеть все собственными глазами. В припадке дружеского расположения он даже опоясал Йесту своим зеленым дорожным кушаком, подарком самой мамзель Ульрики.

Что же до капитанши, то она вышла на лестницу с тремя небольшими книжками, перевязанными красной ленточкой.

— Возьми их себе, — сказала она Йесте, уже сидевшему в санях, — возьми их себе, если не повезет. Это — «Коринна», «Коринна» мадам де Сталь.[\[21\]](#) Не хочу, чтоб эту книгу продали с аукциона.

— Мне не может не повезти, — заверил капитаншу Йеста.

— Ах, Йеста, Йеста, — сказала она, проводя рукой по его непокрытым волосам, — самый сильный и самый слабый из людей! Сколько времени ты будешь помнить, что счастье горстки бедных людей в твоих руках?

Йеста снова помчался по проселочной дороге; вороной Дон Жуан тащил сани, позади бежал белоснежный Танкред, а душа Йесты была переполнена ликующей жадой приключений. Он ощущал себя юным полководцем-завоевателем, над головой которого незримо парит его добрый гений.

Дорога привела его к пасторской усадьбе в Свартше. Свернув туда, он спросил, нельзя ли ему отвезти на бал Анну Шернхек. И ему позволили. Красивая, своенравная девушка села к нему в сани. Да и кто бы не пожелал прокатиться в санях, запряженных вороным Дон Жуаном?

Сначала они оба молчали, но внезапно она, надменная, строптивая и вызывающая, начала беседу.

— Слышал ли ты, Йеста, что объявил нынче пастор в церкви?

— Он сказал, верно, что ты — самая красивая девушка между Левеном и Кларэльвеном?[\[22\]](#)

— Что за глупые шутки, Йеста! Пастор огласил мою помолвку со стариком Дальбергом, и это всем уже известно.

— Так бы я и позволил тебе сидеть у меня в санях! Если бы я знал об этом, то сидел бы не рядом с тобой, а позади. Я бы вообще не повез

тебя, знай я об этом!

На что гордая наследница отвечала:

— Я обошлась бы и без тебя, Йеста Берлинг!

— И все-таки, Анна, — поразмыслив, сказал Йеста, — мне жаль, что твоих отца с матерью нет в живых. Ведь на такого человека, каким стала ты, нельзя ни в чем положиться. И никто не станет больше считаться с тобой.

— Еще более жаль, что ты не сказал все это раньше, тогда бы кто-нибудь другой отвез меня на бал.

— Пасторша, как и я, считаем, что тебе нужен человек, который заменил бы тебе отца. Иначе бы она не впрягла тебя в пару с такой дряхлой клячей.

— И вовсе это не пасторша решила!

— Боже упаси, неужто ты сама выбрала такого красавца в женихи?

— Он женится на мне не из-за денег.

— Разумеется, ведь старики гоняются лишь за голубыми глазками да розовыми щечками, а как они нежны при этом.

— Ах, Йеста, как тебе не стыдно!

— Но запомни, больше тебе с молодыми людьми не флиртовать! Конец всем твоим флиртам и танцам! Теперь твое место в углу дивана; а может, ты собираешься играть в виру [\[23\]](#) со стариком Дальбергом?

Она ничего не ответила. И оба молчали до тех самых пор, пока не въехали на крутой холм Борга.

— Спасибо, что подвез меня! Долго придется тебе ждать моего согласия прокатиться с тобой еще раз, Йеста Берлинг!

— Спасибо за обещание. А я слышал, многие проклинают тот день, когда отправились вместе с тобой на вечеринку.

Местная красавица в самом дурном расположении духа вошла в танцевальную залу и оглядела собравшихся гостей надменным и строптивым взглядом.

Первым она увидела низенького плешивого Дальберга рядом с высоким, статным, светлокудрым Йестой Берлингом. И ее вдруг обуяло страстное желание выгнать их обоих из зала.

Жених подошел к ней — пригласить на танец, но она взглянула на него с презрительным удивлением.

— Вы собираетесь танцевать? Вы же не танцуете!

Знакомые девушки подошли поздравить ее с помолвкой.

— Не притворяйтесь, барышни! Ведь вы и сами не думаете, что можно влюбиться в старика Дальберга! Но он богат, богата и я, так что мы друг другу под стать.

Пожилые дамы подходили к ней, пожимали ее белую руку и говорили о величайшем счастье, выпавшем на долю Анны.

— Поздравьте пасторшу! — отвечала она. — Она рада этому куда больше, чем я.

Но тут же в зале стоит Йеста Берлинг, беззаботный кавалер; все счастливы приветствовать его за веселую улыбку и прекрасные речи, рассыпающие золотую пыльцу на серое тканье жизни. Никогда прежде не доводилось Анне видеть его таким, каким он был в этот вечер. Он не был ни изгоем, ни отверженцем, ни бездомным фигляром, нет, он был королем среди мужей, прирожденным королем.

Он и другие молодые люди составили заговор против нее. Пусть поразмыслит хорошенько, как дурно она поступает, отдавая старику свое прекрасное лицо и свои несметные богатства. Никто не приглашал ее на целых десять танцев.

Она просто кипела от гнева.

На одиннадцатый танец ее пригласил человек, с которым никто не желал танцевать, бедняга — ничтожнейший из ничтожных.

— Хлеб кончился, на стол подают пальты, — сказала она.

Началась игра в фанты. Светлокудрые девушки, прижавшись головками друг к другу, пошептались и присудили ей поцеловать того, кто ей более всех по душе. И с улыбкой на устах предвкушали они увидеть, как гордая красавица поцелует старика Дальберга.

Но она поднялась, величественная в своем гневе, и сказала:

— А нельзя ли мне с таким же успехом дать пощечину тому, кто мне менее всех по душе?

Миг, и щека Йесты запылала от удара ее твердой руки. Он покраснел, как рак, но, опомнившись, схватил ее руку и, на секунду задержав ее в своей, прошептал:

— Встретимся через полчаса в красной гостиной внизу!

Его голубые глаза сияли навстречу Анне, соединяя ее с ним властными колдовскими узами. Она поняла, что должна повиноваться.

Внизу она встретила его гордыми, недобрыми словами:

— Какое тебе дело, Йеста Берлинг, за кого я выхожу замуж?



У него пока не нашлось для нее ни единого ласкового слова, а заговаривать тотчас о Фердинанде, ему казалось, не подобало.

— То, что тебе пришлось просидеть десять танцев кряду, вовсе не беда и не слишком суровая для тебя кара. Ты думаешь, что можешь безнаказанно нарушать клятвы и обещания? Если бы не я, а более достойный человек вздумал тебя покарать, он поступил бы куда более жестоко.

— Что я такого сделала тебе и всем вам, что вы не оставляете меня в покое? Вы преследуете меня только ради денег. В Левен надо мне бросить эти деньги, и пусть тогда кто угодно выуживает их оттуда!

Закрыв глаза руками, она заплакала от досады.

Ее слезы тронули сердце поэта. Ему стало стыдно своей суровости. И он ласковым голосом сказал:

— Ах, дитя, дитя, прости меня! Прости бедного Йесту Берлинга! Ты ведь знаешь, никому нет дела до того, что такой бедняга, как я, говорит или делает. Никого не доводит до слез его гнев, с таким же успехом можно плакать от укуса комара. Это — безумие, но мне хотелось помешать нашей самой красивой и самой богатой девушке выйти замуж за старика. А получилось так, что я только огорчил тебя.

Он сел рядом с ней на диван, медленно обвил рукой ее талию, чтобы ласковой нежностью поддержать девушку, ободрить ее.

Она не отстранилась. Прижавшись к нему, она обняла руками его шею и заплакала, склонив прелестную головку ему на плечо.

Ах, поэт, самый сильный и самый слабый из людей! Разве твою шею должны были бы обнимать эти белые руки!

— Если бы я знала об этом, никогда бы не взяла в мужья старика. Я смотрела на тебя сегодня вечером, равных тебе нет на свете.

Побелевшие губы Йесты выдавили с трудом:

— Фердинанд!..

Поцелуем она заставила его замолчать.

— Он — ничтожество, нет никого на свете лучше тебя. Тебе я буду верна!

— Я ведь — Йеста Берлинг, — мрачно сказал он, — за меня тебе выйти замуж — нельзя.

— Люблю я только тебя, ты — самый знатный и благородный из всех! Тебе ничего не надо делать, никем не надо быть. Ты — прирожденный король, настоящий король!

При этих словах кровь поэта закипела. Она была так прелестна и так нежна! Он заключил ее в объятия.

— Если хочешь стать моей, тебе нельзя оставаться в пасторской усадьбе! Позволь мне увезти тебя нынче же ночью в Экебю! Там я сумею защитить тебя, пока мы не сыграем свадьбу!

Стремительно мчались они в эту ночь. Послушные зову любви, они позволили Дон Жуану везти их в Экебю. Казалось, скрип снега под полозьями был сетованиями тех, кому они изменяли. Но что им до этого? Она обняла его за шею, а он, наклонясь к ней, шептал ей на ухо:

— Какое блаженство на свете может сравниться со сладостью украденного счастья?

Что значило для них оглашение в церкви? Ведь они любили друг друга. Что значил для них гнев людской? Йеста Берлинг верил в судьбу, судьба повелела им так поступить. Никто не может бороться с судьбой.

Будь даже звезды на небе свадебными свечами, зажженными в честь ее бракосочетания, а бубенцы Дон Жуана — церковными колоколами, призывавшими людей созерцать ее венчание со стариком Дальбергом, она все равно должна была бы бежать с Йестой Берлингом. Ведь сила судьбы неодолима. Они благополучно миновали пасторскую усадьбу и Мункеруд. Им оставалось всего две четверти мили пути до Берги, а потом столько же до Экебю. Дорога шла вдоль лесной опушки.

Направо высилась темная гора, налево тянулась длинная заснеженная долина.

И тут вдруг их нагнал Танкред. Он мчался так быстро, что казалось, будто распластался на земле. Воя от ужаса, он прыгнул в сани и прижался к ногам Анны.

Дон Жуан вздрогнул и поскакал во весь опор.

— Волки! — догадался Йеста Берлинг.

Они увидели, как вдоль изгороди движется длинная серая вереница. Волков было не меньше дюжины.

Анна не испугалась. Этот благословенный день был богат приключениями, а ночь обещала быть под стать дню. Вот это и называется жизнь: мчаться стремглав по искрящемуся снегу — диким зверям и людям вопреки.

С губ Йесты сорвалось проклятие, он наклонился вперед и сильно стегнул кнутом Дон Жуана.

— Ты боишься? — спросила она.

— Они собираются отрезать нам путь вон там, на повороте.

Дон Жуан безудержно неся вперед, наперегонки с лесными хищниками, а Танкред выл от бешенства и страха. Они достигли поворота в тот же миг, что и волки, и Йеста хлестнул жока кнутом.

— Ах, Дон Жуан, мальчик мой, как легко ты избавился бы от двенадцати волков, если бы тебе не надо было везти нас, людей!

Они привязали сзади зеленый дорожный кушак. Волки испугались кушака и некоторое время держались на расстоянии. Но когда они преодолели страх, один из них, тяжело дыша, со свисающим из разинутой пасти языком, ринулся к саням. Тут Йеста схватил «Коринну» мадам де Сталь и швырнул книгу прямо в волчью пасть. Пока звери терзали добычу, Йеста и Анна снова получили небольшую передышку, а потом опять почувствовали, как волки, кусая зеленый дорожный кушак, дергают сани, и услышали их прерывистое дыхание. Анна и Йеста знали, что до самой Берги им не встретится ни единого человеческого жилья. Но хуже смерти казалось Йесте увидеться с теми, кого он обманул. Он понимал также: конь скоро устанет — и тогда что станет с ними?

Тут на лесной опушке показалась Берга. В окнах дома виднелись зажженные свечи. Йеста знал, ради кого они горят.

И все-таки... Страшась близости человеческого жилья, волки убежали, и Йеста проехал мимо Берги. Однако же дальше того места, где дорога вновь углубляется в лес, проехать ему не удалось.

Он увидел пред собой темную стаю — волки поджидали его.

— Повернем назад к пасторской усадьбе и скажем, что мы совершили увеселительную поездку при свете звезд! Нам не добраться до Экебю.

Они повернули назад, но сани тут же были окружены волками. Мелькали серые тени, в широко разинутых пастьях сверкали белые клыки, светились пылающие глаза. Волки выли от голода и жажды крови. Блестящие звериные клыки готовы были вонзиться в мягкое человеческое мясо. Волки прыгнули на Дон Жуана и крепко повисли на конской сбруе. Анна сидела и думала: съедят ли их звери до

последней косточки или что-нибудь уцелеет, так что наутро люди найдут их растерзанные останки на затоптанном, окровавленном снегу.

— Теперь дело идет о нашей жизни, — сказала она и, наклонившись, схватила за загривок Танкреда.

— Оставь, все равно не поможет! Нынче ночью волки рыскают вовсе не ради собаки.

С этими словами Йеста въехал во двор усадьбы Берга, а волки гнались за ним до самой лестницы парадного хода. Ему пришлось защищаться от них кнутом.

— Анна, — сказал он, когда они остановились у самой лестницы. — Это не угодно Господу Богу! Сделай теперь веселую мину, если ты та женщина, какой я тебя считаю, сделай вид, что ничего не случилось!

В доме услышали звон бубенцов и вышли во двор.

— Он привез ее, он привез ее! — закричали они. — Да здравствует Йеста Берлинг!

И все бросились обнимать путников, буквально вырывая их друг у друга.

Вопросов им не задавали. Ночь уже близилась к концу, путешественники, потрясенные этой ужасающей поездкой, нуждались в отдыхе. Достаточно было того, что Анна приехала.

Все обошлось. Только «Коринна» да зеленый дорожный кушак — драгоценный дар мамзель Ульрики, были уничтожены волками.

Весь дом спал. Йеста встал, оделся и выскользнул во двор. Он незаметно вывел из конюшни Дон Жуана и запряг его в сани, собираясь уехать. В тот же миг из дома вышла Анна Шернхек.

— Я слышала, как ты уходил, — сказала она, — и тоже встала. Я готова ехать с тобой.

Подойдя к Анне, он взял ее за руку.

— Неужто ты все еще не поняла? Этому быть не суждено. Это не угодно Господу. Выслушай меня и попытайся понять! Я был здесь днем и видел, как они горюют из-за твоей неверности. Я поехал в Борг, чтобы привести тебя обратно к Фердинанду. Но я всегда был негодяем и никогда не смогу измениться. Я предал его, оставив тебя для себя самого. Здесь в доме есть одна старая женщина, которая думает, что я еще могу стать человеком. Ее я тоже предал. А другая старая бедная женщина в этом доме готова голодать и холодать, только бы умереть

среди друзей. Однако же я готов был позволить злему Синтраму отобрать у них дом. Ты — прекрасна, Анна, а грех — сладок. Йесту Берлинга так легко ввергнуть в искушение! О, как же я несчастен! Я знаю, как они любят свой дом! И все же я совсем недавно готов был обречь их на разорение. Я все позабыл ради тебя, ты была столь пленительна в своей любви. Но теперь, Анна, теперь, после того, как я видел их радость, я не смогу оставить тебя себе, я этого не желаю. Ты — та, которая должна была сделать из меня человека, но я не смею оставить тебя для себя. О, моя любимая! Всевышний на небесах играет нами. Мы подвластны его воле. Пришло время склониться под его карающей десницей. Скажи, что с этого дня ты будешь нести свой крест! Все в этом доме надеются на тебя. Скажи, что останешься с ними и будешь им поддержкой и опорой! Если ты любишь меня, если хочешь облегчить мое горе, обещай мне это! Любимая моя, столь ли велико твое сердце, что сможет одержать победу над самим собой и улыбаться при этом?

Она с восторгом приняла его слова и дала обет самоотречения.

— Я сделаю все, что ты пожелаешь, пожертвую собой и буду при этом улыбаться.

— И не станешь ненавидеть моих бедных друзей?

Она печально улыбнулась:

— Пока я люблю тебя, я буду любить их.

— Только теперь я понимаю, что ты за женщина. Как тяжело мне уезжать от тебя!

— Прощай, Йеста! Поезжай с Богом! Моя любовь не ввергнет тебя больше в искушение.

Она повернулась, чтобы войти в дом. Он последовал за ней.

— Ты скоро забудешь меня?

— Поезжай же, Йеста! Ведь мы всего-навсего — слабые люди.

Он бросился в сани, но тут она вернулась.

— А ты не думаешь о волках?

— Думаю, но они уже сделали свое дело. Этой ночью я им больше не нужен.

Он еще раз простер к ней руки, но Дон Жуан нетерпеливо рванулся вперед. Йеста не взял в руки вожжи. Сидя спиной к лошади, он смотрел на Бергу. Потом, уткнувшись лицом в спинку саней, он отчаянно зарыдал.

«Счастье было в моих руках, а я сам прогнал его. Сам прогнал его. Почему я не сохранил его!»

Ах, Йеста Берлинг, Йеста Берлинг, самый сильный и самый слабый из людей!

## Глава пятая

### LA SACHUCHA [24]

О, боевой конь, боевой конь! Ты, что стоишь ныне стреноженный на пашне, вспоминаешь ли ты, старина, дни своей юности?!

Вспоминаешь ли ты, не знавший страха, день битвы?! Ты мчался тогда вперед во весь опор, словно на крыльях: словно полыхающее пламя развевалась твоя грива. На твоей черной, взмыленной груди блестели капли крови. В золотой сбруе ты мчался во весь опор вперед, и земля содрогалась от грохота твоих копыт. Ты, не знавший страха, сам трепетал от радости! О, как ты был прекрасен!

В кавалерском флигеле — серый, сумеречный час! В большой горнице наверху стоят вдоль стен красные сундуки кавалеров, а по углам на крюках развешано их праздничное платье. Отсветы огня, пылающего в открытом очаге, играют на белых оштукатуренных стенах и на занавесях в желтую клетку, скрывающих спальные боковуши в стенах. Кавалерский флигель — это вовсе не королевские покои и не сераль с мягкими диванами и пуховыми подушками.

Но там поет скрипка Лильекруны. Он играет в сумерках la sachusetts. Все снова и снова играет он этот испанский танец. Зачем он играет этот проклятый танец? Зачем он играет его, когда Эрнеклу, прапорщик, лежит в постели, в муках подагры, таких тяжких, что не может шевельнуться? Нет, вырви скрипку у него из рук и разбей ее о стену, если он сам не прекратит играть!

La sachusetts, разве этот танец для нас, маэстро? Неужто его танцуют на шатких половицах кавалерского флигеля, в этих тесных, закоптелых от дыма и жирных от грязи стенах, под этим низким потолком? Горе тебе, маэстро, зачем ты его играешь?

La sachusetts, разве этот танец для нас, для нас — кавалеров? За окном завывает зимняя вьюга. Неужто ты хочешь обучить снежинки танцевать в такт этому танцу, неужто ты играешь для легкокрылых деток вьюги?

Женские тела, трепещущие от притока жаркой пульсирующей крови. Маленькие, перепачканные сажей руки, отбросившие в сторону котелок, чтобы схватиться за кастаньеты, обнаженные ноги, а над

ними подоткнутый подол юбки. Двор, выложенный мраморной плиткой, присевшие на корточки цыгане с волынкой и тамбурином, мавританские аркады, лунный свет и черные очи — есть ли у тебя все это, маэстро? Если нет — вели своей скрипке замолчать!

Кавалеры сушат свое промокшее платье у очага. Неужто они пустятся в пляс, обутые в высокие сапоги, с подбитыми железом каблуками и подошвами шириной в дюйм? Целый день бродили они по снегу, глубиной в локоть, чтобы подойти к медвежьей берлоге. Думаешь, они в своих серых, испускающих пар сермяжных одеждах станут танцевать с косматым мишкой?

Вечернее небо, сверкающее звездами, алые розы в темных женских волосах, тревожная сладость вечернего воздуха, врожденная пластичность движений... Любовь, да, любовь, восходящая от земли, низвергающаяся дождем с неба, парящая в воздухе — есть ли у тебя все это, маэстро? Если нет — зачем заставляешь ты нас мечтать о недостижимом? Самый жестокосердный из людей, зачем трубишь ты в боевую трубу, призывая к битве стреноженного боевого коня? Рутгер фон Эрнеклу лежит прикованный к постели, в муках подагры. Пощади его, избавь его, маэстро, от щемящих душу сладостных воспоминаний. Ведь и он носил когда-то сомбреро и пеструю косынку на голове... И у него был бархатный камзол и украшенный кинжалом пояс. Пощади, маэстро, старого Эрнеклу!

Но Лильекруна играет *la cachaucha*, он неустанно играет один лишь танец *la cachaucha*. И Эрнеклу испытывает муки любовника, когда видит, как ласточка держит путь к далекой возлюбленной, муки оленя, когда он, гонимый и затравленный охотниками, пробегает мимо живительной влаги родника.

Лишь на миг отнимает Лильекруна скрипку от подбородка.

— Прапорщик! Вы помните, прапорщик, Розали фон Бергер?

Эрнеклу извергает страшное проклятие.

— Она была легка, как луч света. Она танцевала, сверкая, словно бриллиант, на кончике смычка. Вы, прапорщик, наверняка помните ее по театру в Карлстаде. Мы видели ее, когда были молоды, помните, прапорщик?

Помнил ли ее прапорщик? Еще бы! Она была невысока ростом, весела и игрива. Пылкая, как огонь, уж она-то умела танцевать *pas de deux*. Она научила всех молодых людей в Карлстаде танцевать *la*



sachucha и щелкать кастаньетами. На балу у губернатора прапорщик вместе с фрекен[25] фон Бергер, одетые в испанские костюмы, танцевали la sachucha.

И он танцевал так, как танцуют под смоковницами и платанами, танцевал, как испанец, как истый испанец.

Никто во всем Вермланде не умел танцевать la sachucha так, как он. Никто не умел танцевать этот танец так, что стоило бы говорить об этом больше, чем об Эрнеклу.

Какого же кавалера утратил Вермланд, когда подагра заставила окостенеть его ноги, а суставы покрылись подагрическими шишками! Какой же он был кавалер — какой статный, красивый, рыцарственный! «Красавцем Эрнеклу» называли его те самые юные девицы, что могли вспылать смертельной враждой друг к другу только ради одного-единственного танца с ним.

Лильекруна снова начинает играть la sachucha, он неустанно играет один лишь танец la sachucha, и воспоминания уносят Эрнеклу назад, в прежние времена.

Вот они вместе — он и Розали фон Бергер. Они только что остались наедине в актерской уборной. Она одета испанкой, он — испанцем. Ему дозволено поцеловать ее, но очень осторожно, потому что она боится его нафабренных усов. И вот они танцуют. Ах, так танцуют лишь под смоковницами и платанами! Она ускользает, он следует за ней, он становится дерзким, она — гордой, он — уязвлен, она пытается умиловить его. Когда же под конец он падает на колени и заключает ее в свои распростертые объятия, всеобщий вздох проносится по залу, вздох восхищения.

Он танцевал, словно испанец, словно истый испанец!

При таком же взмахе смычка он склонился вот так, вот так вытянул руки, выставил вперед ногу и закружился на носках. Что за грация! Его можно было бы высечь из мрамора.

Он и сам не знает, как это случилось, но он, перекинув ногу через край кровати, уже стоит, выпрямив спину. Он нагибается, потом поднимает руки, щелкает пальцами и намеревается воспарить над полом точно так, как прежде, когда носил башмаки блестящей кожи, такие тесные, что приходилось срезать ножницами часть чулка, прикрывавшую ступню.

— Браво, Эрнеклу! Браво, Лильекруна, играй, вдохни, всели в него жизнь своей игрой!

Нога не слушается его. Он не может встать на пальцы. Несколько раз он взмахивает ногой, но силы изменяют ему, и он снова падает на кровать.

Прекрасный сеньор, вы состарились!

Да и вы, сеньорита, кажется, тоже?!

Только там, под платанами Гренады, гитаны, что танцуют la sashucha, — вечно юны. Они вечно юны, словно розы, оттого что каждая весна рождает все новых и новых танцовщиц.

Так что настал час обрезать струны скрипки.

Но нет! Лильекруна, играй la sashucha, неустанно играй один лишь танец la sashucha!

Учи нас тому, чтобы, хоть тела наши в кавалерском флигеле увяли и ноги оцепенели, чувства наши не изменились, они всегда те же, мы — всегда истые испанцы!

Старый боевой конь, боевой конь!

Скажи, что ты любишь призывные звуки боевой трубы, внушающие тебе, что ты скачешь галопом, даже если вытягиваешь свою окровавленную стреноженную ногу из железных пут.

## Глава шестая

### БАЛ В ЭКЕБЮ

О, женщины минувших лет!

Говорить о вас — все равно что говорить о райском блаженстве. Все до одной — красавицы, все до одной — светлые, как день! Вы были вечно молоды, вечно прекрасны, а ласковы, словно взгляд матери, когда она смотрит на свое дитя. Нежные и мягкие, как бельчата, обнимали вы шею мужей. Голос ваш никогда не дрожал от гнева, чело ваше никогда не бороздили морщинки, ваша нежная ручка никогда не становилась шершавой и грубой. Светлою святыней, гордостью и украшением были вы в храме домашнего очага. Вам курили фимиам, вам возносили молитвы, любовь к вам творила чудеса, а поэты окружали ярким золотым ореолом ваше чело.

О, женщины минувших лет, — это повесть о том, как одна из вас одарила Йесту Берлинга своей любовью.

Через две недели после бала в Берге был праздник в Экебю.

До чего же великолепный был этот праздник! Старые мужчины и женщины снова молодели, улыбались и радовались, стоило им потом заговорить о нем.

Однако же в те времена кавалеры были полновластными хозяевами Экебю. Майорша бродила по дорогам с нищенской сумой и посохом, а майор жил в Ше. Он не смог даже почтить своим присутствием праздник, ибо в Ше началось поветрие оспы и он боялся разнести заразу по всей округе.

Сколько удовольствий доставили эти сладостные двенадцать часов, начиная с той минуты, когда за обеденным столом, громко хлопнув, вылетела пробка из первой бутылки шампанского! И, кончая последним взмахом смычка, когда уже давным-давно минул полночный час!

Бесследно исчезли, канули в Лету эти увенчанные цветами времена, чаровавшие обжигающим пламенем вина, утонченные яства, чудеснейшая музыка, остроумные театральные сочинения, прекрасные живые картины. Бесследно исчезли эти времена неистовых танцев. Где

найдешь еще столь гладкие полы, столь галантных кавалеров, столь прекрасных женщин?

О, женщины минувших лет, как умели вы украшать собою праздник! Каждого, кто приближался к вам, пленяли исходившие от вас потоки огня, сила молодости и ума. Стоило сорить деньгами, расточать свое золото на восковые свечи, чтобы озарять вашу прелесть, и на вино, рождавшее веселость в ваших сердцах! Ради вас стоило танцевать так, что подошвы башмаков обращались в прах! Стоило натрудить до онемения руку, водившую смычком скрипки!

О, женщины минувших лет, вы владели ключом к вратам рая!

В залах поместья Экебю собрались прелестнейшие из сонма прелестных. Здесь — юная графиня Дона, брызжущая весельем и жаждущая игр и танцев — под стать ее двадцати годам. Здесь красавицы дочери судьи из Мункеруда и веселые барышни из Берги. Здесь — Анна Шернхек, в тысячу раз прекрасней прежнего в своей нежной меланхолии, охватившей ее с той самой ночи, когда за ней гнались волки. Здесь и многие-многие другие, еще не забытые красавицы; но их тоже скоро забудут. Здесь и прекрасная Марианна Синклер.

Прославленная, блиставшая при королевском дворе, украшавшая своим присутствием графские замки, королева красоты, она объездила всю страну и принимала повсюду изъявления восторга. Зажигавшая везде, где только появлялась, искру любви, она почтила своим присутствием праздник кавалеров в Экебю.

Ярко сияла в те времена честь и слава Вермланда, немало было там и величавых имен. Да, множеством имен могли гордиться веселые дети прекрасного края, но, называя достойнейших из достойных, никогда не упускали они случая назвать имя Марианны Синклер.

Сказочной молвой о ее победах наполнилась вся страна.

Рассказывали о графских коронах, готовых увенчать ее голову, о миллионах, брошенных к ее ногам, о мечях воителей и лавровых венках поэтов, блеск которых привлекал ее.

Она была не только красива, но также блистательно умна, талантлива и образованна. Самые выдающиеся мужи того времени считали удовольствием беседу с ней. Сама она сочинительницей не была, но многие из идей, которые она вложила в души своих друзей-поэтов, оживали потом в их песнях.

В Вермланде, в этом медвежьем углу, она пребывала редко. Жизнь ее составляли постоянные путешествия. Ее отец, богач Мельхиор Синклер, сидел вместе с женой дома в своем поместье в Бьерне, позволяя Марианне гостить у ее знатных друзей в больших городах или в богатых усадьбах. Ему доставляло своего рода удовольствие рассказывать о всех тех деньгах, которыми она сорила. И старые ее родители жили счастливо в лучах славы блистательной Марианны.

Жизнь, полная наслаждений и поклонения, была ее стихией. Воздух вокруг нее был напоен любовью, любовь была ее светом, ее путеводной звездой, любовь была ее хлебом насущным.

Сама она влюблялась часто, да, очень часто, но никогда охватывавшее ее пламя страсти не было столь длительным, чтобы с его помощью выковать цепи, соединяющие навсегда.

— Я жду его, могучего героя, — говорила она. — До сих пор никто ради меня не брал штурмом неприступные валы и не переплывал рвы. Ручным и кротким являлся он ко мне, без страсти во взоре и безрассудства в сердце. Я жду его, сильного, могущественного, того, кто поведет меня за собой вопреки моей воле. Я хочу познать в сердце моем столь сильную любовь, чтобы мне самой трепетать пред ним. До сих пор я знавала лишь такую любовь, над которой смеется мой разум.

Ее присутствие придавало огня беседе, крепости — вину. Ее пылкая душа вселяла жизнь в смычки скрипок, а парящий полет танца был всего сладостней и пламенней на тех половицах, которых касалась ее узенькая ножка. Она блистала в живых картинах, она была добрым гением комедий, ее прекрасные уста...

Тс-с-с, это — не ее вина, никогда она не стремилась к этому. Виноват был балкон, лунный свет, кружевная вуаль, рыцарское одеяние, серенады... Бедные молодые люди были тут ни при чем.

Все это, повлекшее за собой столько несчастий, было сделано, тем не менее, с самыми лучшими намерениями. Патрон Юлиус — мастер на все руки — сочинил и поставил живые картины, замыслив, что Марианна сверкнет в них во всем своем блеске.

В театре, устроенном в одной из больших гостиных Экебю, сидели гости, а было их не меньше ста, и смотрели, как на сцене странствует по темному ночному небу золотая луна Испании. Вот Дон Жуан крадется по одной из улиц Севильи и останавливается под

увитым плющом балконом. Он переодет монахом, но из-под полы монашеского плаща виднеются блестящий клинок шпаги и вышитая манжета.

Переодетый монах запел:

Мне женских губ неведом жар,  
Неведом сладкий вкус вина  
За дорогим обедом,  
И взгляд, что полон тайных чар,  
И краски нежная волна,  
Что мной невольно зажжена, —  
Мне их язык неведом.

Являсь, сеньора, на балкон,  
Напрасно б вашей красотой  
Монаха вы смущали.  
Одной мадонне служит он,  
Он выбрал крест и плащ простой  
И чистой веры крин святой,  
Чтоб утолять печали.

Когда он умолк, на балкон вышла Марианна — в черном бархатном наряде и кружевной вуали. Склонившись над решеткой балкона, она медленно и насмешливо запела:

Зачем вы здесь в полночный час,  
Святой отец, какой обряд  
Вы здесь творите ныне?

А потом вдруг песня ее зазвучала тепло и живо:

Беги! Увидеть могут нас!  
Блеск шпаги привлекает взгляд,  
И звона шпор не заглушат  
Молитвы и амини! [\[26\]](#)

При этих словах монах сбросил плащ и под балконом предстал в рыцарском одеянии из шелка, шитого золотом, Йеста Берлинг. Невзирая на предупреждение красавицы, он, ее словам вопреки, вскарабкался наверх по одному из столбов, поддерживающих балкон, перемахнул через балюстраду и, как было predetermined патроном Юлиусом, упал на колени к ногам прекрасной Марианны.

Чарующе улыбаясь, она протянула ему руку для поцелуя, и пока эти двое, всецело поглощенные любовью, не отрывали глаз друг от друга, занавес упал.

А пред ней по-прежнему стоял на коленях Йеста Берлинг с нежным, как у поэта, и бесстрашным, как у полководца, ликом; его выразительный взгляд сверкал дерзостью и умом, молил и повелевал. Йеста был ловок и силен, пылок и пленителен.

Пока занавес поднимался и опускался, молодые люди по-прежнему оставались в той же позе. Взор Йесты притягивал прекрасную Марианну, он молил, он повелевал.

Наконец аплодисменты смолкли, занавес бесшумно упал, никто их больше не видел.

Тут прекрасная Марианна, наклонившись, поцеловала Йесту Берлинга. Она сама не понимала, зачем она это сделала, но она должна была так поступить. Он крепко держал ее голову и не отпускал ее. А Марианна целовала его снова и снова.

Да, виноват во всем был балкон, лунный свет, кружевная вуаль, рыцарское одеяние, серенады, аплодисменты. Бедные молодые люди были тут ни при чем. Они этого не хотели. Она отвергала графские короны, готовые украсить ее голову, и проходила мимо миллионов, брошенных к ее ногам, вовсе не из-за того, что мечтала о Йесте Берлинге; да и он не забыл еще Анну Шернхек. Нет, вины их в том не было, никто из них этого не хотел.

В тот день поднимать и опускать занавес было поручено кроткому Левенборгу, у которого глаза вечно были на мокром месте, а на устах постоянно блуждала улыбка. Вечно рассеянный из-за одолевавших его горестных воспоминаний, он почти не замечал, что творится вокруг, и так никогда и не научился выполнять хорошенько свои земные дела. Увидев, что Йеста и Марианна приняли новую позу, он решил, что это тоже входит в живые картины и начал тянуть занавес за шнур.

Молодые люди на балконе ничего не замечали до тех пор, пока на них снова не обрушился шквал аплодисментов.

Марианна вздрогнула и хотела убежать, но Йеста крепко держал ее, шепча:

— Не шевелись, они думают, что это входит в живые картины!

Он чувствовал, как она вся дрожит и трепещет и как пламя поцелуев угасает на ее устах.

— Не бойся! — шептал он. — Прекрасные уста имеют право на поцелуи.

Им пришлось оставаться на месте, пока занавес поднимался и опускался. И всякий раз, когда сотни пар глаз смотрели на них, столько же пар рук обрушивали на них шквал аплодисментов.

Ведь как приятно смотреть на молодую пару, олицетворяющую счастье любви. Никто и подумать не мог, что эти поцелуи вовсе не театральный мираж, не иллюзия. Никто и не подозревал, что сеньора дрожит от стыда, а рыцарь от волнения. Никто и подумать не мог, что далеко не все на балконе входит в живые картины.

Наконец Йеста и Марианна оказались за кулисами.

Она провела рукой по лбу, коснувшись корней волос.

— Сама себя не понимаю, — сказала она.

— Стыдитесь, фрекен Марианна, — сказал с гримасой Йеста Берлинг и всплеснул руками. — Целовать Йесту Берлинга, стыдитесь!

Марианна не удержалась от смеха.

— Ведь каждый знает, что Йеста Берлинг — неотразим. Моя вина ничуть не больше, чем других.

И они пришли к полному согласию — делать вид, будто ничего не произошло, чтобы никто ничего не мог заподозрить.

— Могу я быть уверена в том, что правда никогда не выплывет наружу, господин Йеста? — спросила она, когда им пора было выйти к зрителям.

— Можете, фрекен Марианна. Кавалеры умеют молчать, я ручаюсь.

Она опустила веки. Странная улыбка заиграла у нее на устах.

— А если правда все же выплывет наружу, что подумают обо мне люди, господин Йеста?

— Ничего они не подумают, они ведь знают, что это ничего не значит. Они решат, что мы вошли в роль и продолжали игру.



Еще один вопрос сорвался как бы невзначай из-под опущенных век, с натянуто улыбающихся губ Марианны.

— Ну а вы сами, господин Йеста? Что вы, господин Йеста, думаете обо всем об этом?

— Я полагаю, что вы, фрекен Марианна, влюблены в меня, — пошутил он.

— У вас нет оснований так думать, — улыбнулась она. — А не то мне придется пронзить вас, господин Йеста, этим вот испанским кинжалом, чтобы доказать вашу неправоту, господин Йеста!

— Дорого обходятся женские поцелуи, — сказал Йеста. — Неужто ваш поцелуй стоит жизни, фрекен Марианна?

И тут вдруг Марианна одарила его пламенным взглядом, таким острым, что Йеста ощутил его, как удар кинжала.

— Лучше бы мне видеть вас мертвым, Йеста Берлинг, да, мертвым, мертвым!

Эти слова пробудили старую мечту, зажгли старую тоску в крови поэта.

— Ах, — сказал он, — если б эти слова значили больше, чем просто слова, если б это были стрелы, вылетающие из темных зарослей, если б это были яд или кинжал. Если б в их власти было бы умертвить мое жалкое, мое брренное тело и помочь душе моей обрести свободу!

Она снова спокойно улыбалась.

— Ребячество! — сказала она и взяла Йесту под руку, чтобы выйти вместе с ним к гостям.

Они не сняли свои костюмы, и появление их уже не на сцене вызвало новую бурю восторга. Все восхваляли их. И никто ничего не заподозрил.

Снова начались танцы, но Йеста Берлинг покинул бальный зал. Сердце его болело от взоров Марианны так, словно в него вонзили острый стальной клинок. Он хорошо понял, что она хотела сказать.

Любить его — позор, быть любимым им — позор, позор худший, чем смерть.

Никогда больше не станет он танцевать, он больше не желает видеть их, этих прекрасных женщин.

Он хорошо знал, что эти прекрасные глаза сверкают, а эти розовые щеки пылают не для него. Не для него парящий полет легких ножек, не

для него звучит низкий, грудной смех. Да, танцевать с ним, мечтать вместе с ним — это они могут; но ни одна из них не захотела бы всерьез принадлежать ему.

Поэт отправился в курительную комнату к пожилым мужчинам и занял место за одним из игорных столов. Случайно он оказался за одним столом с могущественным заводчиком и владельцем поместья Бьерне, который восседал там, играя в кнак.<sup>[27]</sup> Вперемежку он держал польский банк, собрав перед собой целую кучу монет в шесть грошей каждая и бумажек в двенадцать скиллингов.<sup>[28]</sup>

Ставки были уже крупными, а Йеста внес в игру еще больший азарт и задор. На стол выложили уже зеленые ассигнации, а груда денег пред могущественным Мельхиором Синклером все росла.

Но и перед Йестой сгрудилось уже немало монет и ассигнаций, а вскоре он был единственным, кто не уступал в борьбе с могущественным заводчиком и владельцем Бьерне. Вскоре даже высокая груда монет перекочевала от Мельхиора Синклера к Йесте Берлингу.

— Йеста, мой мальчик! — смеясь, воскликнул заводчик, проиграв все, что было у него не только в бумажнике, но и в кошельке. — Что же нам теперь делать? Я остался без гроша, а я никогда не играю на чужие, взятые в долг деньги; я обещал это своей матушке.

Все же он отыскал средство продолжить развлечение, проиграв часы и бобровую шубу. Он собрался было уже ставить на карту лошадь и сани, когда Синтрам помешал ему.

— Поставь что-нибудь такое, на чем можно отыгаться! — посоветовал Мельхиору злобный заводчик из Форса. — Поставь что-нибудь такое, чтобы переломить неудачу.

— Черт его знает, что бы мне такое придумать?

— Ставь на прекраснейший свет своих очей, брат Мельхиор, ставь на свою дочь!

— На это вы, господин заводчик, можете ставить смело, — рассмеялся Йеста. — Этот выигрыш мне все равно никогда не получить.

В ответ на это могущественный Мельхиор только расхохотался. Правда, он терпеть не мог, когда имя Марианны упоминалось за игорным столом, но то, что предложил Синтрам, было столь безумной

нелепостью, что он даже разозлиться не мог. Проиграть Марианну Йесте, да, на это можно ставить смело.

— То есть, — пояснил он, — если ты сможешь выиграть и получить ее согласие, Йеста, — я ставлю на эту вот карту мое благословение на ваше супружество.

Йеста поставил на карту весь свой выигрыш, и игра началась. Он снова выиграл, и заводчик Синклер прекратил игру. Он видел, что противоборствовать невезенью — бесполезно.

Ночь неуклонно двигалась вперед, миновала полночь. Начали блекнуть щечки прекрасных женщин, уныло повисли их локоны, смялись воланы платьев. Пожилые дамы, поднявшись с диванов, где торжественно восседали, заметили, что праздник длится уже двенадцать часов, пора, мол, и честь знать.

Прекрасный бал на том бы и кончился, если бы сам Лильекруна не взялся за скрипку и не заиграл последнюю польку. Лошади ждали у ворот, пожилые дамы облачились в шубы и капоры, пожилые господа завязывали дорожные пояса и натягивали ботфорты.

Но молодежь никак не могла оторваться от танцев. Польку танцевали уже одетые, в верхнем платье, танцевали вчетвером, танцевали и вместе, вкруговую, танцевали, как безумные. Стоило какой-нибудь даме остаться без кавалера, как тут же являлся новый и увлекал ее за собой.

И даже опечаленный Йеста Берлинг был вовлечен в круговерть этого танца. Ему хотелось рассеяться, развеять в танце свою печаль и унижения, хотелось, чтобы пламенная жажда жизни вновь закипела в крови, хотелось быть таким же веселым, как остальные. И он танцевал так, что стены зала у него ходили ходуном перед глазами, а мысли путались.

Что это за дама, которую он увлек за собой из толпы? Она была легка и гибка, как хлыстик, и он почувствовал, что огненные токи пробегают между ними. Ах, это же Марианна!

Пока Йеста танцевал с Марианной, Синтрам уже уселся в сани внизу во дворе, а рядом с ним стоял Мельхиор Синклер.

Могущественный заводчик, вынужденный ожидать Марианну, испытывал нетерпение. Он топтал снег своими огромными ботфортами и размахивал руками, чтобы согреться, так как стоял трескучий мороз.

— Слушай, а тебе, брат Синклер, может, не стоило проигрывать Марианну Йесте? — спросил Синтрам.

— Что ты сказал?

Синтрам, взяв в руки вожжи, замахнулся кнутом, а потом ответил:

— Поцелуй эти вовсе не входили в живые картины.

Могущественный заводчик поднял было руку, чтобы нанести смертельный удар, но Синтрам уже рванулся с места. Он мчался, кнутом заставляя лошадь нестись бешеным галопом и не смея оглядываться назад, ведь рука у Мельхиора Синклера была тяжелая, а терпение — короткое.

Заводчик из Бьерне вернулся в танцевальный зал — отыскать свою дочь — и увидел, как Йеста танцует с Марианной.

Казалось, молодежь танцевала последнюю польку в каком-то безумном исступлении. Одни были бледны, у других лица пылали, как огонь; пыль стояла в зале столбом, чуть мерцали восковые свечи, догоревшие до самых подсвечников. А посреди всего этого страшного призрачного столпотворения в парящем полете танцевали Йеста и Марианна, царственно величавы, неутомимы и сильны, безупречны в своей красоте, и такие счастливые оттого, что всецело предаются дивному танцу.

Однако же, поглядев на них некоторое время, Мельхиор Синклер вышел из зала, предоставив Марианне продолжать танец. Сильно хлопнув дверью, он, страшно топая, спустился вниз по лестнице и уселся безо всяких церемоний в сани, где его уже ждала жена, и тут же уехал домой.

Когда Марианна кончила танцевать и спросила, где ее родители, их уже не было.

Узнав, что они уехали, она и виду не подала, что удивлена. Тихонько одевшись, она вышла во двор. Дамы, переодевавшиеся в театральной уборной, решили, что она уехала в собственных санях.

Она же поспешила выйти на дорогу в своих тонких шелковых башмачках, никому ни слова не сказав о постигшей ее беде. В темноте никто не узнавал ее, когда она шла вдоль обочины, никому и в голову не могло прийти, что эта поздняя странница, которую проносившиеся мимо сани загоняли в высокие сугробы, была прекрасная Марианна.

Когда ей показалось, что она может, чувствуя себя в безопасности, передвигаться посреди дороги, она побежала. Она бежала, пока не

выбилась из сил, потом шла, потом снова бежала. Ужасный, мучительный страх гнал ее вперед.

От Экебю до Бьерне, пожалуй, самое большое — четверть мили пути. Марианна вскоре была уже дома, но ей показалось, будто она заблудилась. Когда она добралась до усадьбы, все двери были заперты, все свечи — погашены. Она удивилась, подумав, что, быть может, родители ее еще не приехали.

Она подошла к входной двери и несколько раз громко постучалась. Потом, схватившись за ручку, стала трясти двери так, что грохот раздался по всему дому. Но никто не вышел отворить ей дверь; когда же она захотела отпустить железную ручку, за которую схватилась голыми ладонями, примерзшая к железу кожа слезла у нее с рук.

Могущественный заводчик Мельхиор Синклер приехал домой, чтобы закрыть двери поместья Бьерне для своей единственной дочери.

Он захмелел от выпитого в тот вечер вина, обезумел от гнева. Он возненавидел дочь за то, что ей пришлось по душе Йеста Берлинг. И вот он запер слуг в поварне, а жену в спальней. Извергая страшные проклятия, он обещал им, что уничтожит того, кто только попытается впустить в дом Марианну. И домочадцы хорошо знали, что он сдержит свое слово.

Еще никто никогда не видел его в таком яростном исступлении. Худшего горя в жизни с ним еще не приключалось. Попадись Марианна в ту минуту ему на глаза, он, быть может, убил бы ее.

Он дал ей золотые украшения, шелковые платья, он все сделал для того, чтобы воспитать в ней тонкий ум и книжную ученость. Она была его гордостью, он преклонялся перед ней так, словно она носила на голове корону. О, его королева, его богиня, обласканная им, прекрасная, гордая Марианна! Разве он жалел хоть что-нибудь для нее? Разве не считал он себя совершенным ничтожеством, недостойным быть ее отцом? О, Марианна, Марианна!

Как ему не возненавидеть ее, если она влюбилась в Йесту Берлинга и целовала его? Как ему не презирать ее, не закрыть перед ней двери своего дома, если она уронила собственное достоинство, полюбив такого человека? Пусть остается в Экебю, пусть бежит к соседям и просит пристанища, пусть спит в снежных сугробах! Она

уже обещана, смешана с грязью, прекрасная Марианна. Она уже утратила весь свой блеск. Его жизнь тоже утратила весь свой блеск.

Он лежит в кровати и слышит, как она стучит в дверь. Какое ему до того дело? Он спит. А там, за дверью, стучит та, что хочет выйти замуж за лишнего должного и сана пастора. Для такой у него в доме нет приюта! Если бы он меньше любил ее, если бы меньше гордился ею, он, быть может, и позволил бы ей войти.

Да, отказать им в своем благословении он не может. Он проиграл его в карты. Но открыть ей двери дома — нет, этого он не сделает. О, Марианна!

Прекрасная молодая девушка по-прежнему стоит у дверей родного дома. То она в бессильном гневе трясет крепкую дверь, то падает на колени, ломая свои израненные руки, и просит прощения.

Но никто не слышит ее, никто ей не отвечает, никто не открывает ей двери.

О, разве это не ужасно?! Меня охватывает страх, когда я рассказываю об этом. Ведь она вернулась с бала, королевой которого была. Она была горда, богата, счастлива и в один миг низвергнута в такую бездонную пропасть несчастья. Изгнана из родного дома, брошена на произвол судьбы, на гибель от холода. Никем не оскорблена, не избита, не проклята — просто изгнана из родного дома, изгнана с ледяной непоколебимой бесчувственностью.

Я думаю о звездной морозной ночи, раскинувшей над ней свой свод, о нескончаемой бескрайней ночи с пустынными безлюдными заснеженными полями, с молчаливыми лесами. Все спит, все погружено в невозмутимо спокойный сон, и лишь одна живая точка виднеется в этой спящей снежной белизне. Все горе, весь страх и ужас, обычно поделенные между всеми на свете, сползаются теперь к этой одинокой точке. О, Боже, как жутко страдать в одиночестве посреди этого спящего, этого обледенелого мира!

Впервые в жизни столкнулась она с бессердечием и жестокостью. Ее мать и не думает встать с кровати, чтобы спасти ее. Старые, верные слуги, лелеявшие ее с детства, слышат, как она ломится в дом, но они и пальцем не шевельнут ради нее. За какое преступление несет она кару? Где же еще ждать ей милости, как не у этой двери? Соверши она даже убийство, она все равно постучалась бы в эти двери, веря, что ее домашние простят ее. Превратись она в самое жалкое из земных

созданий и явись сюда изможденная, в лохмотьях, знайте же — она все равно бы уверенно подошла к этой двери, ожидая, что ее примут как желанную гостью, с теплотой и любовью. Ведь эта дверь вела в ее родной дом. За этой дверью ее ждала только любовь.

Разве недостаточно испытаний, которым подверг ее отец? Неужели еще не скоро отворят ей дверь?

— Отец! отец! — кричала она. — Позволь мне войти в дом! Я замерзаю, я вся дрожу. На дворе ужасно холодно!

— Матушка, матушка, ты ведь так берегла меня, не жалея сил! Сколько ночей ты бодрствовала надо мной, почему же ты спишь сейчас?! Матушка, матушка, попробуй не сомкнуть глаз еще одну-единственную ночь, и я клянусь не причинять тебе больше горя!

Она кричит, впадая время от времени в глубокое молчание, чтобы прислушаться, нет ли ответа на ее слова. Но никто ее не слышит, никто не прислушивается к ней, никто не отвечает.

Тогда она в страхе начинает ломать руки, но глаза ее по-прежнему сухи.

О, каким ужасным кажется ей в ночи молчание этого с виду нежилого, длинного, мрачного дома с закрытыми дверями и неосвещенными темными окнами. Что же будет с ней — ведь она осталась без крова! Она заклеимена и опозорена на всю жизнь! Ей остается только ждать, пока над ее головой не разверзнутся небеса. А родной отец собственной рукой прижал каленое железо к ее плечу.

— Отец! — вновь кричит она. — Что со мной будет?! Люди поверят теперь любой дурной молве обо мне!

Она плакала и терзалась, а тело ее заоченело.

Как горько, что такая беда может выпасть на долю человека, еще совсем недавно стоявшего столь высоко. И что так легко можно быть ввергнутым в пропасть отчаянья. Разве не должны мы после этого бояться жизни?! Кто может плыть без страха на своем утлом суденышке? Вокруг, словно бушующее море, бурлят волны горя. Смотрите, изголодавшиеся волны уже лижут борта суденышка, смотрите, они вздымаются, готовые захлестнуть его! О, никакой надежной опоры, никакой твердой почвы под ногами, никакого надежного судна; и насколько хватает глаз, одно лишь неведомое небо над бескрайним океаном горя!

Но тише! Наконец-то, наконец! В передней слышатся чьи-то тихие шаги.

— Это ты, матушка? — спрашивает Марианна.

— Да, дитя мое.

— Можно мне войти?

— Отец не позволяет впустить тебя.

— Я бежала по сугробам в тонких башмачках от самого Экебю. Я целый час колотила в дверь и кричала. Я замерзаю насмерть! Почему вы оставили меня одну в Экебю?

— Дитя мое, дитя мое, зачем ты целовала Йесту Берлинга?

— Скажи отцу: это вовсе не значит, что я люблю Йесту! Это было лишь в шутку, на сцене. Неужто он думает, что я хочу выйти за него замуж?

— Иди в усадьбу управителя, Марианна, и проси разрешения переночевать там! Отец пьян и никаких резонов не принимает. Он держал меня наверху взаперти — в спальне. Он, кажется, уснул, и я незаметно выбралась оттуда. Он убьет тебя, если ты войдешь в дом.

— Матушка, матушка, неужто мне идти к чужим, когда у меня есть родной дом? Неужто ты, матушка, так же жестока, как и отец? Как можешь ты позволить ему запереть двери? Если ты не вступишь меня в дом, я лягу в сугроб.

Тогда мать Марианны взялась за ручку двери, чтобы отворить ее, но в тот же миг на лестнице, ведущей в спальню, послышались тяжелые шаги, и грубый голос позвал ее обратно.

Марианна прислушалась. Матушка поспешно отошла от двери, грубый голос проклинал ее, а потом...

Потом Марианна услышала нечто ужасное. Из замолкшего дома к ней доносился буквально каждый звук.

До нее донесся шум обрушившегося удара, то ли удара палкой, то ли пощечины, затем какой-то слабый шум и снова удар.

Этот страшный человек бил ее мать! Этот огромный, богатырского сложения Мельхиор Синклер бил свою жену!

И в диком ужасе Марианна упала на колени, корчась от страха. Тут она заплакала, и слезы ее превращались в льдинки на пороге родного дома.

Смилостивитесь надо мной, сжальтесь! Откройте же, откройте двери, чтобы я могла подставить под удары собственную спину! О, как



он может бить мою мать, бить за то, что она не хотела наутро увидеть свою дочь мертвой, замерзшей в сугробе?! За то, что она хотела утешить свое дитя?!

Глубокое унижение пришлось пережить в ту ночь Марианне. Она только что видела себя в мечтах королевы, а сейчас лежала здесь, как ничтожная рабыня, которую отхлестали кнутом.

Но она все же поднялась в неистовом, холодном гневе и, снова ударив окровавленной рукой в дверь, закричала:

— Послушай, что я тебе скажу, тебе, посмевавшему бить мою мать! Ты еще поплачешь, Мельхиор Синклер, еще поплачешь!

Затем прекрасная Марианна пошла и легла в сугроб, чтобы умереть. Она сбросила с себя шубу и осталась в своем черном бархатном платье. Она лежала, думая о том, что наутро отец ее выйдет, по своему обыкновению, на раннюю утреннюю прогулку и найдет ее здесь. Ей хотелось только одного: чтобы он сам нашел ее.

О, смерть, моя бледная подруга! Мне так и не избежать встречи с тобой, хотя в этой истине кроется утешение. Ты явишься даже ко мне — самой ленивой и самой медлительной из всех тружениц на свете, вырвешь мутовку и банку с мукой из моих рук, снимешь с ног моих изношенные кожаные башмаки, снимешь домашнее платье с моего тела. Властно и милосердно уложишь ты меня на украшенное кружевами ложе, обрядишь в шелка, в ниспадающее свободными складками льняное белье. Моим ногам не понадобятся больше башмаки, но на руки мои наденут белоснежные перчатки, которые никогда уже не сможет загрязнить работа. Благословленная тобой на сладостный отдых, я засну тысячелетним сном. О, избавительница! Я, самая ленивая и самая медлительная из всех тружениц на свете! И я в сладострастном исступлении мечтаю о той минуте, когда буду принята в твое царство!

Моя бледная подруга! Ты можешь сколько угодно испытывать на мне свою силу. Но скажу тебе: борьба с женщинами минувших лет давалась тебе куда труднее. Великая жизненная сила таилась в их стройных телах, и никакой холод не мог остудить их горячую кровь. О, смерть! Ты уложила прекрасную Марианну на свое ложе, и ты сидела с ней рядом, как старая нянька сидит у колыбели, убаюкивая дитя. Ты — верная, старая нянька, и ты хорошо знаешь, что надобно дитяти человеческому. Как же тебе не гневаться, когда другие дети, товарищи

по играм, с шумом и гамом будят твое уснувшее дитя! Как же тебе не гневаться, если кавалеры подняли прекрасную Марианну с ее ложа и один из них прижал ее к своей груди, а горячие слезы, падавшие из его глаз, оросили ей лицо!

\* \* \*

В Экебю все свечи в бальном зале погасли, все гости разъехались. Наверху же, в кавалерском флигеле, вокруг последней наполовину осушенной чаши с пуншем собрались одни лишь кавалеры.

Тут Йеста, постучав о край чаши, произнес речь в вашу честь, женщины минувших лет.

— Говорить о вас, — сказал он, — все равно что говорить о райском блаженстве. Все до одной — красавицы, все до одной — светлые, как день. Вы были вечно молоды, вечно прекрасны, а ласковы, словно взгляд матери, когда она смотрит на свое дитя. Нежные и мягкие, как бельчата, обнимали вы шею мужей. Голос ваш никогда не дрожал от гнева, ваше чело никогда не бороздили морщинки; ваша нежная ручка никогда не становилась шершавой и грубой. Светлою святыней, гордостью и украшением были вы в храме домашнего очага. Мужчины лежали у ваших ног, курили вам фимиам и возносили молитвы. Любовь к вам творила чудеса, а поэты окружали золотым ореолом ваше чело.

Кавалеры тут же вскочили, хмельные от вина, хмельные от слов Йесты; от радости кровь закипела у них в жилах. Даже старый дядюшка Эберхард и ленивый кузен Кристофер не устояли и позволили увлечь себя новой затеей. Кавалеры мигом запрягли лошадей в беговые сани и поспешно помчались в морозную ночь, чтобы еще раз отдать дань тем, кого нужно славить неустанно. Чтобы спеть серенаду обладательницам розовых щек и ясных глаз, еще совсем недавно украшавших просторные залы Экебю.

О, женщины минувших лет, как, должно быть, вам нравилось, когда вас, пребывавших на небесах сладчайших снов, вдруг пробуждали серенадой верные ваши рыцари! Да, это, должно быть, вам нравилось, как нравится усопшей душе пробуждаться на небесах от звуков сладостной музыки.

Но кавалерам не удалось далеко уйти от дома в этом благоугодном походе, потому что лишь только они подъехали к Бьерне, как увидели прекрасную Марианну, лежавшую в сугробе у входных дверей ее родного дома.

Увидев ее там, они содрогнулись и вознегодовали. Это было все равно что обнаружить святыню, которой поклонялись, обезображенной и поруганной за порогом храма.

Йеста, потрясая сжатым кулаком, пригрозил погруженному во тьму дому.

— Вы — исчадья ада! — вскричал он. — Вы — ливни с градом, вы — северные бури, вы — осквернители Божьего райского сада!

Бееренкройц зажег свой роговой фонарь и осветил иссиня-бледное лицо девушки. И кавалеры увидели окровавленные руки Марианны и слезы, превратившиеся в льдинки на ее ресницах. И они начали по-женски причитать; ведь она была для них не только святыней, но и прекрасной женщиной, радостью их старых сердец.

Йеста Берлинг бросился пред ней на колени.

— Она лежит здесь, моя невеста! — сказал он. — Несколько часов назад она подарила мне поцелуй невесты, а ее отец обещал мне свое благословение. Она лежит здесь и ждет, что я приду и разделю с ней ее белоснежное ложе.

И Йеста поднял безжизненное тело сильными руками.

— Скорей домой, в Экебю! — воскликнул он. — Теперь она — моя! Я нашел ее в сугробе, и отныне никто не отнимет ее у меня! Мы не станем будить тех, кто живет в этом доме. Что ей делать за этими дверями, о которые она разбила в кровь свои руки?

Никто ему не мешал. Он положил Марианну на головные сани и сел рядом с ней. Бееренкройц встал на запятки и взял в руки вожжи.

— Набери снега и разотри ее хорошенько, Йеста! — приказал он.

Холод заставил оцепенеть руки и ноги Марианны, но ее обезумевшее от волнения сердце еще билось. Она даже не впала в беспамятство. Она сознавала, что кавалеры нашли ее, но она не могла шевельнуться. И вот она лежала, неподвижная и оцепеневшая, в санях, а Йеста растирал ее снегом, плакал и нежно целовал. И она вдруг почувствовала неистребимое желание хоть немножко приподнять руку, чтобы вернуть ему ласку.

Она помнила абсолютно все. Она лежала в санях, неподвижная и окоченевшая, но голова у нее была такая ясная, как никогда прежде. Влюблена ли она в Йесту, думала она. Да, влюблена. Не мимолетный ли это каприз, всего на один вечер? Нет, любовь эта длится уже давно, уже много-много лет.

Она сравнивала себя с ним и с другими людьми из Вермланда. Они все были непосредственны, как дети, и поддавались любым своим желаниям. Они жили лишь внешней жизнью, никогда не копаясь в своих переживаниях, в глубинах своей души. Она же стала такой, какой становятся, постоянно вращаясь в свете. Она так и не смогла всецело предаться какому-либо чувству или желанию. Любила ли она, да и вообще, что бы она ни делала, вторая половина ее «я» как бы стояла тут же и взирала на все это с холодной усмешкой на устах. Она тосковала, она мечтала о такой страсти, которая явилась бы и увлекла бы ее за собой, заставив потерять голову. И вот наконец она явилась, дикая, безрассудная страсть.

Когда она целовала на балконе Йесту Берлинга, она впервые в жизни забыла о самой себе.

И вот ее снова одолела страсть, сердце ее билось так, что она слышала его стук. Неужели она не скоро обретет власть над собой? Она испытывала чувство дикой радости оттого, что ее вытолкнули из дома. Теперь она, не задумываясь, будет принадлежать Йесте. Как она была глупа, сколько лет она боролась со своей любовью! О, как чудесно, как чудесно дать волю своим чувствам! Но неужто ей никогда, никогда не избавиться от этих ледяных оков? Раньше лед был у нее в душе, снаружи же пламень, теперь — пламенная душа в оледеневшем теле.

И вдруг Йеста чувствует, как две руки, тихонько поднимаясь, слабо и бессильно обвивают его шею.

Он едва чувствует прикосновение ее рук, но Марианне кажется, что она дала выход затаенной страсти в удушающем объятии.

Однако же когда Бееренкройц увидел всю эту картину, он пустил лошадь бежать, куда ей вздумается, по знакомой дороге. Подняв глаза, он упрямо и неуклонно смотрел в небо на Плеяды. [\[29\]](#)

## Глава седьмая

### СТАРЫЕ ЭКИПАЖИ

Друзья мои, дети человеческие! Если вам доведется, сидя или лежа, читать эту книгу ночью, подобно тому как я пишу ее в эти тихие ночные часы, то вовсе не здесь, не на этой странице вы вздохнете с облегчением. И вовсе не на этой странице вы подумаете, что добрым господам кавалерам из Экебю удалось обрести наконец сон, после того как они вернулись домой вместе с Марианной и предоставили ей удобную постель в самой лучшей комнате для гостей — в большой гостиной.

Спать-то они легли, и заснули. Но им не суждено было в тишине и покое проспять до самого обеда, как это могло бы случиться со мной или с вами, дорогой читатель, если бы мы бодрствовали до четырех часов утра, а наши руки и ноги ломило бы от усталости.

Конечно, не следует забывать, что в те времена по всей округе бродила старая майорша с нищенской сумой и посохом. А когда ей предстояло какое-нибудь важное дело, особенно зимой, ей ничего не стоило нарушить покой каких-нибудь утомившихся грешников. А в эту ночь она тем более не собиралась тревожиться о чьем-нибудь покое, потому что этой ночью она задумала выгнать кавалеров из Экебю.

Минуло то время, когда она в блеске и великолепии восседала в Экебю, сея радость на земле, подобно тому как сеет Бог звезды на небе. И пока она, бездомная, странствовала по округе, могущество и честь ее огромного поместья были отданы в руки кавалеров. Отданы для того, чтобы они пеклись о нем. Они и пеклись об Экебю, подобно тому как ветер печется о золе, а весеннее солнце — о снежных сугробах.

Порой кавалерам случалось выезжать по шесть или по восемь человек в длинных санях с упряжкой, бубенцами и плетеными вожжами. И если по пути им встречалась майорша, бродившая с нищенской сумой, то глаз пред ней они не опускали.

Лишь сжатые кулаки протягивала к ней вся эта шумная орава. Резкий рывок саней, и она вынуждена была сворачивать в сугробы у обочины. А майор Фукс, гроза медведей, всегда умудрялся трижды

сплюнуть, чтобы отвести зло, какое могла причинить встреча с этой старухой.

Они не испытывали к ней ни малейшего сострадания.

Завидев ее на дороге, они чувствовали лишь омерзение, словно им повстречалась троллиха. Случись с ней беда, они горевали бы ничуть не больше, чем тот, кто, стреляя пасхальным вечером из ружья, заряженного латунными крючками, горюет о том, что случайно угодил в пролетавшую мимо ведьму. Для несчастных кавалеров преследовать майоршу было святым делом. Если люди дрожат от страха за свои души, они часто бывают беспощадны и жестоко мучают друг друга.

Когда кавалеры, далеко за полночь, нетвердо держась на ногах, прямо от праздничных столов подходили к окнам, чтобы посмотреть, спокойна ли, звездна ли ночь, они часто замечали темную тень, скользившую по двору. И понимали, что это майорша пришла поглядеть на свой любимый дом. Тогда кавалерский флигель сотрясался от презрительного хохота старых грешников, а сквозь открытые окна к ней вниз доносились бранные слова.

По правде говоря, бесчувственность и высокомерие уже начали прочно овладевать сердцами нищих искателей приключений. Ненависть же взрастил в них Синтрам. Если бы майорша по-прежнему жила в Экебю, души их вряд ли были бы в большей опасности, чем теперь. Ведь многие погибают не в битве, а спасаясь бегством.

Майорша не питала лютой злобы к кавалерам.

Будь это в ее власти, она бы высекла их розгами, как непослушных мальчишек, а потом снова одарила бы своей милостью и благоволением.

Однако же теперь ее одолевал страх за любимое поместье, преданное в руки кавалеров, чтобы они радели о нем подобно тому, как волк радеет об овцах, а журавли о весенних посевах.

На свете, верно, немало найдется людей, на долю которых выпадало такое горе. Не одной майорше приходилось видеть, как разрушительная буря пронесется над любимым домом. Не одной ей довелось переживать, глядя, как процветающее поместье приходит в страшный упадок. Отчий дом, где зачастую прошло детство, смотрит на таких изгнанников глазами раненого зверя. И многие чувствуют себя злодеями, видя, как лишайники губят деревья, а песчаные дорожки густо порастают травой. Им хочется пасть на колени пред

полями, которые прежде гордились богатыми урожаями, и умолять не упрекать их за этот позор. И отворачиваются от несчастных старых лошадей. Пусть более храбрый встречается с ними взглядом! Они не смеют стоять у калитки, глядя, как возвращается с пастбища скот. Самое страшное на свете — пришедший в упадок дом, самое же невыносимое — это войти в него.

О, умоляю вас всех, кто печется о полях и лугах, разбивает парки и приносящие людям радость цветники — заботьтесь о них хорошенько! Заботьтесь о них хорошенько, не жалея на них ни любви, ни труда! Скверно, если природа скорбит о делах человека!

Когда я думаю о том, что пришлось выстрадать гордому поместью Экебю под владычеством кавалеров, мне хочется, чтобы покушение майорши достигло цели и чтобы поместье у них отобрали.

Майорша вовсе и не помышляла вновь завладеть Экебю.

У нее была одна мысль: освободить свой дом от этих безумцев, этой саранчи, этих одичалых разбойников, с их неистовым буйством, после которого даже трава не росла.

Бродя по округе с нищенской сумой и живя подаянием, она непрестанно думала о своей матери. И сердце ее постоянно жгла мысль о том, что нет для нее спасения, пока мать не снимет с ее плеч тяжкое бремя проклятия.

Никто еще не известил ее о смерти старухи, стало быть, мать ее по-прежнему живет на лесном хуторе Эльвдалена. Девяностолетняя женщина, она по-прежнему неустанно трудится: летом ходит с подойниками, зимой — хлопочет в угольных ямах. Трудится, не покладая рук и мечтая о том дне, когда выполнит наконец свое жизненное предназначение.

Майорша думала, что старуха так зажилась на свете для того, чтобы успеть снять проклятие, тяготевшее над дочерью. Нельзя до времени умереть матери, накликавшей такую беду на свое дитя.

И майорша надумала сходить к старухе, чтобы обе они обрели покой. Она надумала подняться в горы, на север, и пройти по темным лесам вдоль длинной реки в дом, где прошло ее детство. Ведь иначе она не могла обрести ни отдыха, ни покоя. Немало было в округе людей, предлагавших ей в те дни теплый кров и дары верной дружбы, но она нигде не задерживалась.

Угрюмая и разгневанная, она неустанно переходила из одной усадьбы в другую, потому что над ней довлело проклятие.

Ей нужно было подняться в горы, на север, к матери, но прежде ей хотелось позаботиться о любимом поместье. Не хотелось ей уходить, оставив Экебю в руках бездумных расточителей, никчемных пьяниц, сумасбродных расхитителей даров божьих, уйти, чтобы, вернувшись, застать все свое имение расхищенным, молоты в кузнице умолкшими, лошадей истощенными, слуг рассеянными по свету!

О нет, она еще раз поднимется во всей своей силе и выгонит кавалеров!

Она прекрасно понимала, что муж с радостью смотрит на то, как расточается ее наследство. Но она достаточно знала его: выгони она из поместья всю эту саранчу, он не станет заводить новую. Слишком он ленив для этого. Только бы изгнать кавалеров, и тогда ее старый управитель с приказчиком поведут хозяйство в Экебю по старой, проторенной дорожке.

Вот почему ее мрачная тень много ночей подряд скользила вдоль закопченных стен завода. Она тайком пробиралась в лачуги торпарей, шепталась с мельником и его подручными в нижней камере большой мельницы, держала совет с кузнецами в темной угольне.

И все они поклялись ей помочь. Честь и могущество огромного завода нельзя было долее оставлять в руках беспечных кавалеров, чтобы они пеклись о них так, как ветер печется о золе, а волк — об овечьем стаде.

В эту ночь, когда веселые господа вдоволь натанцуются, наиграются в разные игры и напоятся, а после, смертельно усталые, погрузятся в сон, — в эту ночь им придется покинуть Экебю. Она дала им покуражиться, этим беспечным мотылькам. Она угрюмо, не двигаясь, сидела в кузнице, ожидая, когда кончится бал. Она ждала еще дольше, когда кавалеры вернутся из своей ночной поездки. Она сидела в молчаливом ожидании до тех пор, пока ей не принесли весть о том, что последний огонек свечи в окнах кавалерского флигеля погас и что все огромное поместье спит. Тогда она встала и вышла из кузницы.

Майорша велела, чтобы все люди с завода собрались у кавалерского флигеля. Сама же поднялась в свое поместье. Подойдя к жилому дому, она постучалась, и ее впустили. Юная дочь пастора из



Брубю, из которой она воспитала хорошую служанку, встретила ее на пороге.

— Добро пожаловать, госпожа, — сердечно приветствовала ее служанка, целуя руку хозяйки.

— Погаси свечу! — приказала майорша. — Неужто ты думаешь, что я не могу обойтись в этом доме без света?

И она начала обход своего молчаливого дома. Прощаясь с ним, она обошла его от погреба до чердака. Крадучись, переходила она из комнаты в комнату, а служанка покорно следовала за ней.

Майорша беседовала со своими воспоминаниями. Служанка не вздыхала и не всхлипывала, но слезы неудержимо капали у нее из глаз. Майорша приказала открыть шкафы с бельем и шкафы с серебром. Она гладила тонкие камчатные скатерти и великолепные серебряные кувшины. Ласково перетрогала она огромную гору пуховых перин в чулане. Ей надо было коснуться всех инструментов и всех снастей, ткацких станков, мотальных машин и ручных прялок. Она проверила ларь, где хранились пряные корни, и, сунув туда руку, ощупала целые ряды тонких сальных свечей, подвешенных на железной проволоке к крышке.

— Свечи уже высохли, — сказала она. — Их можно снять и положить на место.

Внизу в погребе она осторожно приоткрывала бочки с пивом и гладила со всех сторон шеренги винных бутылок.

Она побывала в кладовой и на кухне, все проверила, все перетрогала. Протягивая руку ко всем вещам, она прощалась со своим домом.

Потом она пошла в жилые комнаты. В столовой она погладила столешницу огромного раздвижного стола.

— Многие наедались досыта за этим столом! — сказала она.

И пошла по всей анфиладе комнат. Она увидела, что длинные широкие диваны по-прежнему стоят на своих местах. Она клала руку на прохладные плиты мраморных столиков, поддерживаемые позолоченными ножками в виде грифонов; они, в свою очередь, подпирали зеркала с рельефами на рамах, изображающими танцующих богинь.

— Богатый дом! — произнесла она. — А что за чудо был человек, подаривший мне все это.

В зале, где совсем недавно еще кружились в вихре танца гости и кавалеры, были уже расставлены вдоль стен застывшие в чинном порядке кресла.

Она подошла к клавикордам и совсем тихо потрогала клавиши.

— И при мне здесь немало радовались и веселились! — сказала она.

Майорша зашла также в комнату для гостей рядом с залом.

Там было темно, хоть глаз выколи. Майорша ощупью ходила по комнате и внезапно коснулась рукой лица служанки.

— Ты плачешь? — спросила она, потому что почувствовала, как рука ее омочилась слезами.

Тут девушка разрыдалась.

— Госпожа! — воскликнула она. — Моя госпожа, они здесь все разорят! Зачем вы, госпожа, уходите от нас и позволяете кавалерам разорять ваш дом!?

Тогда майорша, дернув за шнур шторы и указав служанке на двор, воскликнула:

— Неужто это я научила тебя плакать и причитать?! Смотри! Двор полон людей, завтра в Экебю не останется ни одного кавалера!

— И тогда вы снова вернетесь, госпожа? — спросила служанка.

— Мое время еще не настало, — ответила майорша. — Проселочная дорога — мой дом, а сноп соломы — постель! Но пока меня нет, ты должна сбереечь для меня Экебю, девочка.

И они пошли дальше. Ни одна из них не знала, да и думать не думала, что именно в этой комнате спала Марианна.

Правда, она вовсе не спала. Сна у нее уже ни в одном глазу не было, она слышала все и все поняла.

Лежа в гостевой комнате, она слагала гимн в честь любви.

— О ты, дивная, возвысившая меня над самой собой! — говорила она. — Я была низвергнута в бездну несчастья, ты же превратила эту бездну в рай. Мои руки примерзали к железной ручке запертых входных дверей, они были ободраны в кровь, мои слезы, замерзнув, и превратившись в ледяные жемчужинки, остались на пороге родного дома. Ледяной холод гнева сковал мое сердце, когда я услышала, как удары палки обрушиваются на спину моей матери. В холодном сугробе хотела я заставить уснуть вечным сном мой гнев, но ты явилась! О, любовь, дитя пламени, ты явилась ко мне, замерзавшей на лютном

морозе. Когда я сравниваю мое несчастье с тем блаженством, которое обрела благодаря тебе, несчастье мое представляется совершенно ничтожным. Я освобождена от всех уз — у меня нет ни отца, ни матери, ни дома. Люди поверят любой дурной молве обо мне и отвернутся от меня. Ну и пусть, ведь так захотелось тебе, о любовь; ведь я не должна быть выше моего любимого. Рука об руку пойдём мы с ним по жизни. Бедна невеста Йесты Берлинга — он нашел ее в снежном сугробе. Так позвольте же нам жить вместе не в высоких чертогах, а в торпарской лачуге на опушке леса! Я буду помогать тебе стеречь угольню, костер, где жгут уголь, ставить капканы на глухарей и зайцев. Я буду варить тебе еду и латать твою одежду. О, мой любимый, как мне будет скучно, как я буду тосковать, сидя в ожидании тебя, в полном одиночестве, на опушке леса. Веришь ли ты мне? Да, я буду тосковать, буду, но не о прошлых днях в богатстве и неге, а только о тебе. Только тебя буду я высматривать вдаль и о тебе мечтать, о звуках твоих шагов на лесной тропинке, о твоей веселой песне, которую ты будешь петь, возвращаясь домой, с топором на плече. О, мой любимый, мой любимый! Всю жизнь могла бы я просидеть в ожидании тебя!

Так лежала она, слагая гимн в честь всемогущей богини сердца и не смыкая глаз, как вдруг в комнату вошла майорша.

Когда же она удалилась, Марианна встала и оделась. Еще раз пришлось ей надеть свой черный бархатный наряд и тонкие бальные башмачки. Завернувшись в одеяло, как в шаль, она поспешила еще раз выйти в эту ужасную ночь.

Февральская ночь — спокойная, звездная и пронизывающе холодная — еще висела над землей. Казалось, ей никогда не будет конца. А мрак и холод, рассеянные по земле этой долгой ночью, еще долго-долго не исчезнут даже тогда, когда взойдет солнце. Они не исчезнут долго-долго после того, как растают снежные сугробы, по которым брела прекрасная Марианна.

Марианна поспешила уйти из Экебю, чтобы позвать на помощь. Она не могла допустить, чтобы изгнали людей, которые подняли ее из сугроба и открыли ей свои сердца и свой дом. Она хотела спуститься вниз, в Ше, к майору Самселиусу. Она очень торопилась. Только через час она сможет вернуться обратно.

Простившись со своим домом, майорша вышла во двор, где ее ждали; и битва за кавалерский флигель началась.

Майорша расставляет людей вокруг высокого узкого дома, верхний этаж которого и есть пресловутый прославленный дом кавалеров. Там, в большой верхней горнице с оштукатуренными стенами, красными сундуками и большим раздвижным столом, где карты еще валяются в луже пролитого вина, где широкие кровати прикрыты пологам в желтую клетку, — там спят кавалеры. Ах, до чего же недальновидны эти кавалеры!

А в конюшне перед полными кормушками спят кони кавалеров, и им снятся походы в дни их молодости. Как сладостно, если на покое снятся безумные подвиги молодости, поездки на ярмарку, когда приходилось выстаивать под открытым небом днями и ночами. Если снятся бешеные скачки наперегонки после рождественской заутрени. Или пробные пробеги перед тем, как обменяться лошадьми, когда захмелевшие хозяева с вожжами, готовыми обрушиться на спины животных, перегнувшись с облучка и осыпая их проклятиями, кричат им прямо в уши. О, как сладостны эти сны! Тем более если знаешь, что уже никогда больше не покинешь теплые стойла конюшни и полные корма ясли в Экебю. О, до чего же беспечны эти кони!

В жутком и унылом старом каретном сарае, куда обычно свозили сломанные, разбитые экипажи и отслужившие свой век сани, собрано диковинное скопище старых колымаг. Здесь и выкрашенные в зеленый цвет телеги, и разные повозки — желтые и красные. Здесь и самый первый кабриолет, какой только видели в Вермланде — военный трофей, захваченный Бееренкройцем в 1814 году.<sup>[30]</sup> Здесь и всякие мыслимые и немыслимые одноколки, коляски на качающихся рессорах и почтовые таратайки, похожие на причудливые орудия пытки с сиденьем, покоящимся на деревянных рессорах. Здесь и все эти нелепые рыдваны в виде жаровни для кофе, и всевозможные кареты, напоминающие серых куропадок, воспетые еще в эпоху проселочных дорог. Здесь и длинные сани, вмещающие двенадцать кавалеров, и сани с кибиткою, принадлежавшие зябкому кузену Кристоферу. И фамильные сани Эрнеклу с побитой молью медвежьей шкурой и полустертым гербом на спинке, а также беговые сани, бесчисленное множество беговых саней.

Почти все они принадлежат кавалерам, которые жили и умерли в Экебю. Имена их забыты на этом свете и не занимают больше места в сердцах людских. Но майорша спрятала в сарае экипажи и сани, в которых кавалеры прибыли в ее поместье. Все они собраны в старом каретном сарае.

Там они стоят и дремлют, а на них густым-прегустым покровом лежит пыль. Гвозди и заклепки уже не держатся в трухлявом прогнившем дереве, длинными хлопьями отваливается краска, из дыр в побитых молью подушках и сидениях торчит набивка.

— Дайте нам покой, дайте нам развалиться наконец! — просят старые экипажи. — Мы долго тряслись по дорогам, немало впитали в себя влаги под проливными дождями. Дайте нам отдохнуть! Давным-давно миновали времена, когда мы вывозили наших молодых господ на их первый бал. Давным-давно мы, заново выкрашенные и сияющие, выезжали на санную прогулку навстречу увлекательным приключениям. Давным-давно возили мы наших веселых героев по размокшим весенним дорогам, на юг, к полям Троснеса. Большинство из них спит вечным сном, последние и самые лучшие из них намерены никогда больше не покидать Экебю.

И вот трескается кожа на фартуках экипажей, расшатываются зубчатые ободья, гниют спицы и втулки колес. Старые экипажи не хотят больше жить, они жаждут умереть.

Словно в плащаницу одевает их пыль, и под ее покровом они, не противясь, позволяют старости одерживать над ними верх. Одолеваемые неукротимой ленью, стоят они там, все больше и больше приходя в упадок. Никто не дотрагивается до них, и все же они рассыпаются на куски. Один раз в году двери сарая открываются, если прибывает новый сотоварищ, который всерьез собирается обосноваться в Экебю. Но как только двери за ним закрываются, усталость, сонливость, упадничество, старческая слабость наваливаются также и на новый экипаж. Крысы и жучки, моль и могильный червь, и как там их еще называют — словом, все на свете хищники набрасываются на него, и он также начинает ржаветь и гнить в сладостном, лишенном сновидений, покое.

Однако же сегодня, в эту февральскую ночь, майорша велит отворить двери каретного сарая.

И при свете фонарей и факелов велит отыскать и выкатить из сарая экипажи, принадлежащие ныне живущим в Экебю кавалерам: старый кабриолет Бееренкройца и украшенные гербом фамильные сани Эрнеклу, и сани с узенькой кибиткой, защищавшей от холода кузена Кристофера.

Майорше нет дела, зимние ли это сани или летний экипаж, она внимательно следит лишь за тем, чтобы каждому досталось то, что ему принадлежит.

А в конюшне меж тем уже будят их, всех старых кавалерских лошадей, которые совсем недавно, стоя перед полными корма яслями, видели свои сны.

Сны ваши сбудутся, станут явью, о вы, беспечные кони!

Вы вновь изведаете крутые склоны холмов, и затхлое сено в конюшнях постоянных дворов, и усеянный шипами хлыст захмелевших барышников. И бешеные скачки наперегонки по гладкому льду, такому скользкому, что вы начнете дрожать, еще не ступив на него ногой.

Теперь, когда низкорослых серых лошадемок, которых презрительно кличут «норвежцы», запрягают в высокую, похожую на страшное привидение, коляску, или же длинноногих, мосластых верховых лошадей — в низкие беговые сани, все эти старые экипажи вновь принимают свой прежний, истинный облик. Старые одры скалятся и фыркают, когда в их беззубые рты вкладывают удила, старые же экипажи скрипят и трещат. Жалкие, одряхлевшие одры, которым нужно было бы коротать свои дни во сне и в покое до скончания века, выставляются на всеобщее обозрение. Окостеневшие поджилки на задних ногах, хромящие передние ноги, лошадиные болезни — шпат и сап, — все извлекается на свет божий.

Конюхи все же умудряются впрячь этих лошадей в экипажи. А потом подходят к майорше и спрашивают, на чем поедет Йеста Берлинг; ведь каждому известно, что он явился в Экебю вместе с майоршей, в санях с плетеными корзинками для возки угля.

— Запрягите Дон Жуана в наши лучшие беговые сани, — велит майорша, — и постелите ему медвежью шкуру с серебряными когтями!

Когда же один из конюхов начинает роптать, она продолжает:

— Запомни: в моей конюшне нет ни единой самой лучшей лошади, которую я не отдала бы за то, чтобы избавиться от этого

малого!

Теперь уже все экипажи разбужены, точно так же, как и лошади, однако кавалеры по-прежнему спят.

Теперь настает и их черед; но вытащить кавалеров из постелей и вывести в зимнюю ночь куда труднее, чем вывести из конюшни лошадей с одеревенелыми ногами, а из каретного сарая — расшатанные старые экипажи.

Кавалеры — отважные, сильные, наводящие страх мужи, закаленные в сотнях опасных приключений. Они готовы защищаться не на жизнь, а на смерть. И не легко будет, вопреки их воле, выгнать их из постелей и усадить в экипажи, которые увезут их отсюда!

Тогда майорша велит поджечь сноп соломы, который стоит так близко от флигеля, что зарево пожара непременно должно осветить горницу, где спят кавалеры.

— Солома моя, и все Экебю — мое! — говорит она.

И когда сноп соломы ярко вспыхивает, она кричит:

— Теперь будите их!

Но кавалеры продолжают спать за крепко запертыми дверями. Тогда толпа под их окнами начинает выкрикивать страшное, внушающее ужас слово:

— Пожар! Пожар!

Тяжелый молот самого знатного из кузнецов обрушивается на входную дверь, но кавалеры продолжают спать.

Твердый снежок разбивает стекло и, влетев в горницу, ударяется о полог кровати, но кавалеры продолжают спать.

Им снится, будто прекрасная девушка бросает им носовой платок, им снятся аплодисменты в зале за опускающимся занавесом, радостный смех и оглушающий шум полуночного праздника.

Чтобы разбудить их, потребовался бы, должно быть, пушечный выстрел в самые их уши или целое море холодной воды.

С утра до поздней ночи они кланялись, танцевали, музицировали, разыгрывали роли и пели. Отяжелевшие от вина, обессилевшие, они спят глубоким, можно сказать, мертвым сном.

В этом благословенном сне — их спасение.

Люди начинают думать, что за этим молчаливым спокойствием таится угроза. А что, если кавалеры уже успели послать за помощью? А что, если они уже пробудились и, стоя у окна или за дверью, держат

палец на спусковом крючке, готовые уничтожить первого же, кто к ним войдет.

Эти люди — хитры и воинственны; что-то же должна означать эта молчаливая тишина! Кто поверит, что они дадут застать себя врасплох, подобно медведю в берлоге?!

Люди снова и снова вопят: «Пожар!», но ничего не помогает.

И вот, когда уже все трепещут от страха, майорша сама берет в руки топор и взламывает входную дверь.

Ринувшись вверх по лестнице, она, рванув дверь кавалерского флигеля, кричит:

— Пожар!

Ее голос сразу же находит более действенный отклик в ушах кавалеров, чем шум и крики толпы. Привыкнув повиноваться звукам этого голоса, все двенадцать кавалеров, как один, мигом вскакивают, видят пламя пожара и, схватив одежду, стремглав мчатся вниз по лестнице, во двор.

Но в дверях стоит огромный детина — самый знатный из кузнецов — и два дюжих подручных мельника, и тогда страшное бесчестье обрушивается на кавалеров. По мере того как они спускаются вниз, их хватают, валят на землю и, связав по рукам и ногам, уносят безо всяких церемоний в предназначенный для каждого из них экипаж.

Никто не избежал этой участи, все до одного были схвачены. Связали и унесли Бееренкройца, этого сурового полковника, точно так же, как могучего капитана Кристиана Берга, и дядюшку Эберхарда — философа.

Схвачен также самый неодолимый и грозный Йеста Берлинг. Замысел майорши удался. Она оказалась все же сильнее, чем все кавалеры, вместе взятые.

Они являют собой жалкое зрелище, сидя, связанные по рукам и ногам, в старых расшатанных экипажах и санях. Опущенные головы, злобные взгляды, а двор сотрясают проклятия и бешеные взрывы бессильной злобы.

Однако майорша обходит их всех, одного за другим.

— Поклянись, — говорит она, — что никогда больше не вернешься обратно в Экебю.

— Стыдись, ведьма!



— Ты должен поклясться в этом, — настаивает она, — а не то я собственными руками брошу тебя, связанного, обратно в кавалерский флигель, и ты сгоришь там. Потому что нынче ночью я сожгу этот флигель дотла. Знай это!

— Ты не посмеешь, майорша!

— Не посмею? Разве Экебю не мое? Ах ты, каналья! Думаешь, я не помню, как ты плевал мне вслед на проселочной дороге? Думаешь, у меня не чесались руки поджечь этот флигель, чтобы вы все сгорели с ним заодно? Разве ты поднял руку в мою защиту, когда меня выгоняли из собственного дома? Нет! Так клянись же!

Майорша стоит такая грозная, хотя, быть может, притворяясь более гневной, чем была на самом деле. И ее окружает целая толпа вооруженных топорами людей! Кавалерам поневоле приходится дать клятву, чтобы предотвратить еще большую беду.

Затем майорша отдает распоряжение вынести из флигеля всю одежду кавалеров, сундуки и велит развязать их. Затем им в руки вкладывают вожжи.

Но на все это потребовалось немало времени, и Марианна уже успела добраться в Ше.

Майор был не из тех, кто поздно встает по утрам. Когда она явилась к нему, он был уже одет. Она встретила его во дворе, куда он как раз вышел кормить завтраком своих медведей.

Немногое произнес он в ответ на ее речи и тут же направился в клетки к медведям. Надев на них намордники, он вывел их во двор и поспешил в Экебю.

Марианна следовала за ним на некотором расстоянии. Спотыкаясь от усталости, она вдруг увидела яркое зарево пожара, охватившее весь оком, и испугалась чуть ли не до смерти.

— Что за ужасная ночь! Мужчина избивает жену и оставляет свою дочь замерзать в сугробе у самых дверей родного дома! Неужели теперь эта женщина вместе с домом сожжет своих врагов? Неужели старый майор спустит медведей на своих собственных домочадцев?

Преодолев усталость и поспешно обогнав майора, она помчалась в Экебю.

Намного опередив майора, она благополучно добралась до поместья и проложила себе путь сквозь толпу. Оказавшись лицом к

лицу с майоршей, окруженной множеством людей, она закричала изо всех сил:

— Майор! Сюда идет майор с медведями!

Толпа пришла в замешательство, все взгляды искали взгляда майорши.

— Это ты привела его, — сказала она Марианне.

— Бегите! — все отчаяннее кричала девушка. — Ради бога, бегите! Не знаю, что задумал майор, но с ним — медведи.

Никто не шевельнулся, все по-прежнему стояли, не сводя глаз с майорши.

— Благодарю вас за помощь, дети мои! — спокойно сказала людям майорша. — Все, что случилось нынче ночью, было устроено так, чтобы никого из вас не притянули к ответу или чтоб вас не постигла иная беда. А теперь расходитесь по домам! Не хочу видеть, как моих людей начнут убивать или же как они сами станут убийцами. А теперь идите!

Люди по-прежнему не шевелились.

Майорша обратилась к Марианне:

— Я знаю, ты любишь, — сказала она, — и творишь безрассудство оттого, что сходишь с ума от любви. Пусть никогда не наступит такой день, когда ты в бессильном отчаянии увидишь, как отдают на разорение твой дом! Пусть всегда повинуются рассудку твой язык и твоя рука, когда гнев начнет переполнять твою душу!

— Дорогие дети, уходите же, уходите! — продолжала она, снова обернувшись к народу. — Пусть Господь Бог охранит Экебю, а мне надобно идти к моей матушке. О, Марианна, когда ты вновь обретешь разум, когда Экебю будет опустошено, а вся округа начнет задыхаться от нужды, подумай тогда, что ты натворила нынче ночью, и позаботься о людях!

С этими словами она ушла, и все последовали за ней.

Явившись на двор, майор не застал там ни одной живой души, кроме Марианны да длинной вереницы лошадей, запряженных в разные повозки, экипажи и сани. Да, длинной, унылой вереницы, где лошади были под стать экипажам, а экипажи — своим владельцам. Все они были изрядно потрепаны в жизненной борьбе.

Марианна подошла к экипажам и стала развязывать кавалеров.

Она заметила, что они кусают губы и отворачиваются. Никогда еще им не было так стыдно. Никогда еще на их долю не выпадал такой ужасный позор.

— Мне было не лучше, когда несколько часов тому назад я стояла на коленях у порога Бьерне, — утешала их Марианна.

Я даже не стану, дорогой читатель, рассказывать о том, что происходило дальше этой ночью. Не стану рассказывать, как старые экипажи вновь водворили в каретный сарай, лошадей — в конюшню, а кавалеров — в кавалерский флигель.

На востоке над горами уже занималась утренняя заря, наступал ясный и тихий день. Насколько все же спокойнее светлые, озаренные солнцем дни, чем темные ночи, под сенью которых охотятся крылатые хищники и ухают филины!

Я только хочу сказать, что, когда кавалеры снова вошли во флигель и обнаружили в последней чаше пунша несколько капель, которые и разлили по бокалам, ими внезапно овладел необычайный восторг.

— За здоровье майорши! — воскликнули они.

Бесподобная, несравненная женщина! Что может быть лучше, чем служить ей, боготворить ее?

Разве это не горько, что дьявол захватил власть над нею и что все ее силы уходят лишь на то, чтобы спровадить души кавалеров в ад?

## Глава восьмая

# БОЛЬШОЙ МЕДВЕДЬ С ГОРЫ ГУРЛИТА

Во тьме лесов живут нечестивые звери и птицы; глаза их сверкают жаждой крови, у них страшные челюсти, жуткие блестящие клыки или острые клювы. Их цепкие когти готовы вонзиться в горло жертвы, из которого тотчас же брызнет кровь.

Там живут волки, которые выходят по ночам из своего логова и гонятся за крестьянскими санями. Они гонятся до тех пор, пока крестьянка не будет вынуждена взять на руки маленького ребенка, сидящего у нее на коленях, и бросить его на съедение волкам, чтобы спасти жизнь мужа и свою собственную.

Там живет рысь, которую в народе кличут омроча, потому что в лесу, по крайней мере, опасно называть ее настоящим именем. Тот, кого угораздило произнести это имя днем, должен к вечеру хорошенько осмотреть двери и окна в овчарне, а не то рысь непременно явится туда. Она взбирается прямо по стене овчарни, ведь когти у нее очень сильные, можно сказать, стальные. Она проскальзывает в самое узкое оконце и бросается на овец. Омроча повисает на шее одной из них и пьет кровь из овечьих жил. Она убивает и, вонзив когти, терзает и разрывает свои жертвы до тех пор, пока ни одной овцы не останется в живых. Она не прекращает бешеной пляски смерти, пока хоть одна из них подает признаки жизни.

А наутро крестьянин обнаруживает, что рысь задрала всех его овец, потому что там, где свирепствует омроча, не найдешь ни одного живого существа.

Там живет филин, который ухает в сумраке ночи. Стоит его подразнить, как он с шумом и свистом налетит на своих широких крыльях и выклюет тебе глаза. Ведь филин — вовсе не настоящая птица, а нечистая сила, призрак.

И еще там живет самый страшный изо всех лесных зверей — медведь, обладающий силой двенадцати дюжих молодцов. А когда он наберет такую силу и становится матерым медведем, его можно сразить лишь серебряной пулей. Есть ли на свете более страшный зверь, наделенный ореолом ужаса, кого может сразить лишь

серебряная пуля? Что за тайная, жуткая сила скрыта в этом звере, которому не страшен обыкновенный свинец? Можно ли удивляться тому, что дети не спят часами, дрожа от страха при одной мысли об этом злобном звере, которого охраняют злые духи?

Если встретишься с ним в лесу, с огромным и высоким, словно бродячий скалистый утес, нельзя ни бежать, ни, тем более, защищаться. Надо лишь броситься на землю и прикинуться мертвым. Многие маленькие дети в мыслях своих уже пережили это. Вот они лежат на земле, а медведь возвышается над ними. Сопя, он катает их лапой по земле, и они ощущают его жаркое дыхание на своем лице. Но они лежат неподвижно до тех пор, пока он не уходит, чтобы выкопать яму и спрятать в ней детей. Тогда они тихонько поднимаются и тайком удирают; сперва медленно, а потом, словно вихрь, они мчатся прочь.

Но только подумать, только подумать, что было бы, если бы медведь поверил, что они в самом деле мертвые, и укусил бы их разок?! Если бы он был страшно голоден и захотел бы их тут же съесть?! А вдруг медведь увидел бы, что они шевелятся, и погнался бы за ними? О, Боже!

Страх — всесильный колдун! Он сидит в сумраке леса, напевая в уши людям волшебные песни, от которых леденеют их сердца. Эти песни вселяют немой ужас, омрачающий жизнь и затуманивающий прелестную улыбку окрестных ландшафтов. Природа кажется исполненной злобы, подобно спящей змее. Ей ни в чем нельзя верить. Вот озеро Левен, раскинувшееся пред тобой, во всей своей чарующей красе! Но не верь ему! Оно подстерегает добычу: ежегодно берет оно с людей дань утопленниками. Вот лес, манящий тишиной! Но не верь ему! Лес полон кровожадными зверями и птицами, в которых вселились души страшных троллих и жестоких разбойников.

Не верь ручью с прозрачной водой! Мучительные недуги и смерть несет он тем, кто перейдет его вброд после захода солнца. Не верь кукушке, что так весело поет по весне! К осени она превратится в ястреба с хмурыми глазами и грозными когтями! Не верь никому — ни мху, ни вереску, ни утесу! Природа зла, одержима скрытыми от глаз силами, ненавидящими людей. Нет такого места на земле, куда ты можешь надежно, не сомневаясь, ступить ногой. Удивительно еще, что столь слабый род человеческий умудряется избежать стольких бедствий.

Страх — всесильный колдун! Сидишь ли ты еще во тьме вермландских лесов и поешь ли волшебные песни? Затуманиваешь ли ты по-прежнему прелестную улыбку окрестных ландшафтов, вселяя немой ужас, омрачающий жизнь, в сердца людей. Уж я-то знаю, как велика власть страха. Ведь это мне положили в колыбель — сталь, а в купель — каленый уголь. Да, я хорошо знаю, что такое страх; я не раз испытала, как его железная рука сжимает мне сердце.

Но не думайте, будто я собираюсь рассказывать что-то вселяющее страх или ужас. Это всего лишь старая история о большом медведе с горы Гурлита. Я расскажу ее, и каждый из вас вправе верить ей или не верить, как любой охотничьей истории.

\* \* \*

Берлога большого медведя находится на великолепной горной вершине, которая зовется пик Гурлиты. Непрístupными кручами поднимаются склоны горы Гурлита над верхним Левеном.

Корни вывороченной сосны, на которых еще висят густо поросшие мхом кочки, образуют стены и крышу медвежьего жилища, а ветки и валежник, густо запорошенные снегом, надежно защищают берлогу. Там медведь может сладко спать от одного лета до другого. Уж не поэт ли он, не изнеженный ли мечтатель, этот косматый лесной король, этот ослепший на один глаз разбойник? Уж не хочет ли он проспять все пасмурные ночи и тусклые дни холодной зимы, покуда его не разбудят журчание ручьев и пение птиц? Уж не собирается ли он пролежать там всю зиму, мечтая о горных склонах и пригорках, покрытых краснеющей брусникой, о муравейниках, битком набитых бурыми, лакомыми существами, и о белых ягнятах, которые пасутся на поросших зеленой травой откосах? Уж не собирается ли этот счастливчик избежать и зимы жизни — заката дней своих?

В лесу метет, завывая меж сосен, поземка, в лесу рыщут обезумевшие от голода волк и лис. Почему только одному медведю дано проспять всю зиму в берлоге? Пусть он встанет, пусть узнает, как кусает мороз, как тяжело брести по глубокому снегу! Пусть он поднимется, этот лежебока.

Он так уютно разлегся в берлоге! Спит себе, словно сказочная принцесса. Ее пробудит любовь, а он хочет, чтобы его пробудила весна. Либо солнечный луч, пробивающийся сквозь прутья и согревающий его морду. Либо несколько капель талого снега, просочившихся от сугроба и замочивших его шубу. Но горе тому, кто пробудит его раньше времени!

Если бы хоть кто-нибудь полюбопытствовал, как сам лесной король желает устроить свою жизнь! Только бы не обрушился на него свистящий град пуль, проникший сквозь сухие ветки и впившийся в его шкуру, подобно злым комарам!

Внезапно он слышит крики, шум и выстрелы. Он стряхивает с себя оцепенение и расшвыривает валежник, желая посмотреть, что случилось! Да, трудно придется старому богатырю! Это не весна шумит, грохочет и свистит вокруг его берлоги, и не ветер, который опрокидывает на землю ели и поднимает снежную круговерть. Это — кавалеры, да — кавалеры из Экебю, давние знакомцы лесного короля.

Он хорошо помнит ту ночь, когда Фукс и Бееренкройц сидели в засаде на скотном дворе крестьянской усадьбы Нюгорд, хозяйева которой поджидали его в ту ночь. Только кавалеры вздремнули над бутылкой вина, как медведь перемахнул через устланную дерном крышу. Но они пробудились, когда он, задрвав в хлеве корову, собирался вытащить ее из стойла, и напали на него, пустив в ход и ружья, и ножи. Медведю удалось спасти свою жизнь, но он лишился и коровы, и одного глаза.

По правде говоря, он и кавалеры — не такие давние знакомцы. Лесной король прекрасно помнит, как они настигли его в другой раз, когда он, его царственная супруга и их детеныши только что удалились на зимний покой в своем старом королевском замке на вершине горы Гурлита. Он прекрасно помнит, как кавалеры неожиданно напали на них. Ясное дело, сам он спасся, расшвыривая в стороны все, что стояло у него на пути. Но от пули, попавшей ему в бедро, он остался хромым на всю жизнь. А когда ночью он вернулся в свои королевские владения, снег был красным от крови его царственной супруги, королевских детенышей же увели на равнину, чтобы вырастить из них слуг и друзей человека.

И вот теперь содрогается земля, сотрясается сугроб, прикрывающий берлогу, а оттуда вырывается он, большой, матерый

медведь, старый заклятый враг кавалеров. Берегись, Фукс, гроза медведей, берегись, Бееренкройц, полковник и игрок в килле, берегись и ты, Йеста Берлинг, герой сотен приключений!

Горе вам всем — поэтам, мечтателям, героям любовных историй! Там стоит Йеста Берлинг, положив палец на спусковой крючок, а медведь идет прямо на него. Почему Йеста не стреляет, о чем он думает? Отчего он сразу же не посылает пулю в широкую медвежью грудь? Ведь он стоит на таком расстоянии, откуда легче всего сразить зверя. Остальным охотникам трудно подступиться к нему, чтобы выстрелить в подходящий момент. Может, Йеста думает, что он на параде в честь его лесного величества?

А Йеста, разумеется, стоит, думая о прекрасной Марианне; в эти дни она лежит в Экебю, тяжело больная, ужасно простуженная после ночи, проведенной в сугробе.

Он размышляет о ней; ведь и она тоже — жертва проклятой ненависти, нависшей над землей. И его пробирает дрожь при мысли о том, что и сам он вышел на охоту, чтобы травить и убивать зверя.

А между тем прямо на него идет матерый медведь, кривой на один глаз от удара кавалерского ножа и хромой на одну лапу от пули из кавалерского ружья. Сердитый и лохматый, совершенно одинокий с тех пор, как кавалеры убили его подругу и увели детенышей. И Йеста видит его таким, какой он есть на самом деле — несчастным затравленным зверем, у которого он не хочет отнять жизнь, последнее, что осталось после того, как люди лишили его всего на свете.

«Пусть убивает меня, — решает Йеста, — но я стрелять не буду».

И вот, пока медведь устремляется к нему, он стоит недвижно, как на параде. И когда лесной король оказывается прямо перед ним, он берет ружье на караул и отступает в сторону.

Тогда медведь продолжает свой путь, прекрасно понимая, что не должен терять время. Он вламывается в лес, прокладывая себе путь меж сугробами, вышиной в человеческий рост, скатывается с крутых откосов и исчезает. А те, кто стоял со взведенными курками, ожидая выстрела Йесты, палят ему вслед из ружей.

Но все напрасно! Кольцо облавы прорвано, медведь скрылся. Фукс брюзжит, Бееренкройц прокликает все на свете. Йеста лишь хохочет в ответ.



Как могут они требовать, чтобы человек, столь счастливый, как он, причинил зло хоть одной из созданных Богом тварей?

Итак, большой медведь с горы Гурлита снова спас свою шкуру в этой переделке. Но его раньше времени пробудили от зимней спячки, и скоро крестьяне узнают, чем это чревато. Ни один медведь не умеет с большим проворством разворотить крышу на низеньких, похожих на погреба, скотных дворах на летних пастбищах; ни один зверь не может так ловко и хитро выскочить из засады.

Вскоре люди, обитающие на горных склонах над вершинами Левена, уже не знали, как справиться с медведем. Они посылали одного гонца за другим к кавалерам, чтобы те пришли в горы и убили медведя.

Весь февраль — день за днем, ночь за ночью — поднимались кавалеры к верховьям Левена, чтобы найти медведя, но он постоянно ускользал от них. Уж не научился ли он хитрости у лиса, а расторопности — у волка? Стоит кавалерам устроить засаду в одной усадьбе, как он уже бесчинствует в соседней. Если они преследуют его в лесу, он уже гонится за крестьянином, переправляющимся на другую сторону озера по льду. Это самый дерзкий из разбойников. Он пробирается на чердак и опустошает хозяйкины кувшины с медом, он убивает коня, запряженного в сани, прямо у хозяина на виду.

Но мало-помалу люди начинают понимать, что это за медведь и почему Йеста не смог выстрелить в него. Страшно сказать, ужасно в это поверить, но этот медведь — не простой медведь! Нечего и надеяться сразить его, если ружье не заряжено серебряной пулей. Пуля из серебра и колокольной зеленой меди, отлитая в новолуние на колокольне, да так, чтобы ни одна живая душа — ни пастор, ни пономарь — не знала об этом, такая пуля наверняка убила бы медведя, но добыть такую пулю, верно, не так-то уж легко.

\* \* \*

Есть в Экебю человек, которого, должно быть, больше всякого другого сокрушает все это. Человек этот, как вам, вероятно, уже понятно, Андерс Фукс, гроза медведей. Досадуя, что не может сразить матерого медведя с горы Гурлита, он утрачивает и сон, и аппетит. В

конце концов и ему становится ясно, что медведя можно сразить только серебряной пулей.

Грозный майор, Андерс Фукс, вовсе не был красавцем. У него было тяжелое, неуклюжее тело, широкое красное лицо с обрюзгшими щеками и несколько двойных подбородков. Над его толстыми губами топорщились маленькие черные щетинистые усы, а на голове торчали вихры черных, жестких и густых волос. К тому же человек он был молчаливый и великий обжора. Он был не из тех, кого женщины встречают солнечными улыбками и распростертыми объятиями. Да и сам он тоже не бросал на них нежных взглядов. Невозможно даже вообразить, чтобы ему когда-нибудь встретила женщина, которой он мог бы отдать предпочтение перед другими. Ведь он был так далек от всего, что связано с любовью и мечтаниями!

И вот однажды вечером, в четверг, когда серп луны, как раз в два пальца шириною, красовался на горизонте уже несколько часов после захода солнца, майор Фукс поспешно ушел из Экебю, ни слова не говоря о том, куда направляется. В ягдташе у него было огниво, жаровня и форма для отливки пуль, на спине ружье, и он поднялся к церкви в Бру, попытаться счастья.

Церковь стоит на восточном берегу узкого пролива между верхним и нижним Левеном; чтобы попасть туда, майору Фуксу надо перейти мост Сундсбру.

И вот он спускается вниз, к мосту, погруженный в свои мрачные мысли и не глядя вверх ни на холм, где на фоне ясного вечернего неба резко вырисовываются дома Брубю, ни на гору Гурлита. Залитая потоками закатного солнца, она во всей красе вздымает ввысь свою круглую макушку. Он смотрит только себе под ноги, ломая голову над тем, как бы раздобыть ключ от церкви, да так, чтобы никто об этом не знал.

Когда же он сходит вниз на мост, то слышит вдруг чьи-то крики, такие отчаянные, что ему приходится поднять глаза.

Органистом в церкви Бру был в то время маленький немец Фабер, этакий тщедушный человечек, с ничтожно малым весом и таким же точно достоинством. А пономарем был Ян Ларссон, человек дельный, из крестьян, однако же бедняк, так как пастор из Бру надул его, выманив у него отцовское наследство, целых пятьсот риксдалеров.

Пономарь хотел жениться на сестре органиста, хрупкой юнгфру[31] Фабер, но органист не желал, чтобы она вышла замуж за пономаря, и потому-то эти двое стали недругами. В этот вечер пономарь, повстречавшись с органистом на мосту Сундсбру, буквально бросился на него. Он схватил органиста за грудки, поднял его на вытянутых руках над перилами моста и, клянусь всеми святыми, торжественно обещал сбросить его вниз, в продаю, если тот не отдаст ему в жены маленькую, хрупкую юнгфру. Но маленький немец, несмотря ни на что, не желал уступать, он бился у него в руках и кричал, неустанно повторяя «нет!». Хотя прямо под собой он видел, как внизу бурлит и пенится среди берегов черная борозда открытой воды.

— Нет, нет! — кричал он. — Нет, нет!

И кто знает, может, пономарь в своем бешеном гневе и в самом деле швырнул бы его в черную холодную воду, не подоспей в ту самую минуту к мосту майор Фукс. Испуганный пономарь тут же опустил Фабера на землю и убежал со всех ног.

Маленький Фабер бросился майору на шею, чтобы поблагодарить его за спасение своей жизни, но майор оттолкнул его и сказал, что благодарить не за что. Майор недолго любил немцев с тех самых пор, когда был на постое в Путбусе на острове Рюген во время войны за Померанию.[32]

Никогда в жизни не был он так близок к тому, чтобы умереть с голоду, как в ту пору.

Тогда маленький Фабер решил тотчас же бежать к ленсману Шарлингу и обвинить пономаря в покушении на его жизнь. Но майор дал ему понять, что делать этого не надо, ведь в этой стране ничего не стоит убить немца.

Тогда маленький немец успокоился и пригласил майора к себе домой отведать свиной колбасы и выпить муммы.

Майор принимает его приглашение, так как полагает, что у органиста наверняка должен быть дома ключ от церкви. Они поднимаются в гору, туда, где стоит церковь Бру, окруженная усадьбами пастора, пономаря и домиком органиста.

— Прошу прощения! Прошу прощения! — говорит маленький Фабер, входя вместе с майором в свой дом. — У нас с сестрой сегодня в доме беспорядок. Мы резали петуха.

— Ерунда! — восклицает майор.

Вслед за этим в горнице появляется маленькая хрупкая юнгфру Фабер; она несет мумму в больших глиняных кружках. Теперь уже всем известно, что майор не бросал на женщин нежных взглядов, но на маленькую юнгфру Фабер, такую очаровательную в вышитом фартучке и чепце, ему волей-неволей пришлось взглянуть с величайшей благосклонностью. Светлые волосы гладко зачесаны, домотканое платьице такое миленькое и ослепительно чистое! Ее маленькие ручки хлопотливы и усердны, а маленькое личико — розовое и пухленькое! И майор не может не думать о том, что, встретить он такую маленькую женщину двадцать пять лет тому назад, он наверняка бы посватался.

Но при том, что она такая миленькая, такая розовощекая, такая расторопная, глазки у нее заплаканные. Именно это и внушает майору такие нежные мысли о ней.

Пока мужчины едят и пьют, она все время ходит взад-вперед, то выходя из комнаты, то снова возвращаясь. Один раз она подходит к брату, приседает и спрашивает:

— Как прикажете, братец, поставить коров в хлеву?

— Поставь двенадцать налево, а одиннадцать — направо, вот они и не станут бодаться! — отвечает маленький Фабер.

— Черт побери, неужто у вас, господин Фабер, столько коров? — спрашивает майор.

Но дело в том, что у органиста было всего две коровы, но он называл одну «одиннадцать», а другую «двенадцать». И все это для того, чтобы звучало более солидно, когда он говорил о них.

Хозяин рассказывает майору, что скотный двор перестраивается, поэтому коровы днем бродят, где придется, а ночь проводят в дровяном сарае.

Маленькая юнгфру Фабер по-прежнему ходит взад-вперед, то выходя из комнаты, то снова возвращаясь. Она снова подходит к брату, приседает и говорит, что плотник спрашивает, какой высоты должен быть хлев.

— По росту коров! — отвечает органист Фабер. — По росту коров!

Майор Фукс считает, что это очень находчивый ответ.

Тут майор начинает выпрашивать органиста, почему у его сестры такие красные глаза. И узнает, что она непрерывно плачет, так как брат не позволяет ей выйти замуж за бедного пономаря, у которого ничего нет, кроме долгов.

Услыхав об этом, майор Фукс все глубже погружается в свои мысли. Сам того не замечая, он осушает кружку за кружкой и поглощает один кусок колбасы за другим. Маленький Фабер содрогается при виде такой жажды и такого аппетита. Но чем больше майор ест и пьет, тем яснее становится его голова, и тем решительнее намерения.

Все тверже также становится его решение сделать что-нибудь для маленькой юнгфру Фабер.

Одновременно он не спускает глаз с большого ключа с изогнутой бородкой, висящего на стенке у двери. Но завладевает он этим ключом лишь тогда, когда маленький Фабер, вынужденный поддержать компанию майору за кружкой муммы, охмелев, роняет голову на стол и начинает громко храпеть. Майор Фукс тут же срывает со стенки ключ, нахлобучивает шапку и спешит прочь. Минуту спустя он уже ощупью поднимается по лестнице на колокольню, освещая ее маленьким роговым фонариком. И вот наконец-то он на колокольне, где над его головой разевают широкие пасти колокола. Там, наверху, он сначала соскребывает лучковым напильником немного зеленой колокольной меди. Но только он собирается вытащить жаровню и форму для отливки пули из ягдташа, как замечает, что ему недостает самого важного: он не взял с собой серебра. А чтобы пуля обрела силу, ее нужно отлить здесь же на колокольне. Нынче ведь все сошлось: сегодня — четверг, вечер, новолуние. Кроме того, никто и не подозревает, что он — здесь. А он, как назло, ничего не может сделать! И он оглашает ночную тишь таким звучным проклятием, что колокола начинают гудеть.

Внезапно снизу из церкви слышится какой-то легкий шумок, и ему кажется, что на лестнице раздаются чьи-то шаги. Да, в самом деле, кто-то тяжело ступает по лестнице.

Майора Фукса, стоящего на колокольне и извергающего такие страшные проклятия, что колокола начинают гудеть, охватывает легкая тревога. Он в недоумении: кто бы это мог быть, кто поднимается сюда, быть может, чтобы помочь ему отлить пулю. Шаги все ближе и ближе.

Тот, кто идет сюда, намерен, как видно, подняться на самую колокольню.

Майор незаметно скрывается между балками в самой глубине колокольни и, подув на роговой фонарик, гасит его не потому, что ему страшно, а потому, что все сорвется, если кто-нибудь увидит его здесь, наверху. И не успел он спрятаться, как над лестницей появляется чья-то голова.

Майору хорошо знакома эта голова. Она принадлежит пастору-скряге из Брубю. Пастор почти помешался от жадности и взял в привычку прятать свои сокровища в самых невообразимых местах. Сейчас он приносит с собой пачку ассигнаций, которые собирается спрятать на колокольне. Не зная, что за ним наблюдают, он приподнимает одну из половиц, кладет туда деньги и тут же уходит.

Но майор тоже — малый не промах; он тотчас приподнимает ту же самую половицу. Ой, сколько денег! Пачки ассигнаций, а между ними — коричневые кожаные мешочки, битком набитые серебряными монетами. Майор берет ровно столько серебра, сколько требуется, чтобы отлить пулю, а к остальному даже не притрагивается.

Когда он снова спускается вниз, ружье у него заряжено серебряной пулей. Он идет, размышляя над тем, какую еще удачу уготовила ему эта ночь. Всякий знает, что самые невероятные чудеса случаются именно ночью в четверг. Для начала он стучится в дверь домика органиста. Подумать только, если б этот каналья медведь знал, что коровы Фабера стоят в жалком дровяном сарае, все равно что под открытым небом!

И вдруг он и вправду видит, как что-то огромное, черное переходит поле и движется прямо к дровяному сараю; должно быть, это медведь!

Он прижимает ружье к щеке и уже готов спустить курок, но тут же останавливается.

Пред ним во мраке встают заплаканные глазки юнгфру Фабер. Ему хочется хоть чуточку помочь ей и пономарю, но ему не легко отказаться от чести самому сразить большого медведя с горы Гурлита. Позднее он сам говорил, что труднее этого для него ничего на свете не бывало. Но маленькая юнгфру так хрупка и так мила, что он просто обязан что-нибудь сделать для нее.

И вот он отправляется в усадьбу пономаря, будит его, выводит полуодетого во двор и говорит, что пономарь должен застрелить медведя, рыскающего тайком возле дровяного сарая Фабера.

— Если ты убьешь этого медведя, Фабер, верно, выдаст за тебя сестру, — говорит он. — Ведь тогда ты сразу станешь всеми уважаемым человеком. Это — не простой медведь, и самые знатные люди страны почли бы за честь сразить его собственной рукой.

И он сам вкладывает в руки пономаря свое ружье, заряженное пулей из серебра и зеленой колокольней меди, отлитой на церковной колокольне в четверг вечером, в тот миг, когда нарождается месяц. Фукс не может совладать с собой, он весь дрожит от зависти, оттого, что кто-то другой, а не он сразит матерого лесного короля, старого медведя с Гурлиты.

Пономарь целится. Господи, помоги! Он целится так, словно намеревается убить не медведя, бредущего по полю, а совсем другого огромного зверя медвежьей породы. Иначе говоря — Большую Медведицу, которая высоко в небесах кружит вокруг Полярной звезды. И вот раздается такой громкий, такой оглушительный выстрел, что его слышно на самой вершине Гурлиты.

Но как и куда бы он ни целился, медведь все равно падает. Так всегда бывает, когда стреляешь серебряной пулей. Если даже целишься в Большую Медведицу, все равно попадешь в медведя.

Со всех близлежащих дворов тотчас сбегаются люди, желая узнать, что случилось. Ведь никогда еще ни один выстрел не гремел с такой страшной силой и не будил такое громкое, многократно повторяющееся, уже было заснувшее эхо. Все восхваляют пономаря до небес, потому что медведь поистине был народным бедствием для всей округи.

Маленький Фабер также выходит из дома. Но майор Фукс жестоко обманут в своих ожиданиях. Перед ними стоит пономарь, покрытый славой; а к тому же еще он спас коров Фабера. Но маленький органист вовсе не кажется растроганным или благодарным. Он не раскрывает пономарю своих объятий и не приветствует его как зятя и как героя.

Майор, возмущенный столь бесчестным поступком, хмурит брови и гневно топает ногой. Он пытается втолковать этому алчному, жестокосердому маленькому человечку, какой подвиг совершил пономарь. Но вдруг начинает заикаться и, не в силах выговорить ни

слова, испытывает все большую и большую злобу при мысли о том, что совершенно напрасно уступил честь сразить матерого медведя.

У него совершенно не укладывается в голове, что герой, свершивший такой подвиг, по мнению Фабера, не достоин руки самой гордой невесты на свете.

Пономарь и несколько молодых парней отправляются к точильному камню — точить ножи для того, чтобы освежевать убитого медведя. Другие расходятся по домам и ложатся спать; майор Фукс остается один рядом с мертвым медведем.

Тогда он еще раз идет к церкви, снова вставляет ключ в скважину, взбирается по узкой лестнице и покосившимся ступенькам, будит спящих голубей и снова поднимается на колокольню.

А потом, когда под наблюдением майора свежуют медведя, в его пасти находят пачку ассигнаций в пятьсот риксдалеров.[\[33\]](#) Как они туда попали — непостижимо. Но ведь медведь-то не простой. А поскольку его убил пономарь, всем ясно, что деньги и принадлежат ему.

Когда весть об этом разносится по всей округе, до маленького Фабера тоже наконец доходит, какой доблестный подвиг совершил пономарь. И он заявляет, что будет горд назвать его зятем.

В пятницу вечером, почтив своим присутствием охотничью пирушку в усадьбе пономаря, а затем ужин по случаю помолвки в домике органиста, майор Андерс Фукс возвращается домой. С тяжелым сердцем идет он по дороге. Ни малейшей радости не испытывает он оттого, что его заклятый враг наконец пал. Не утешает его и роскошная медвежья шкура, подаренная ему пономарем.

Кое-кто, может, и подумает: он печалится оттого, что маленькая хрупкая юнгфру будет принадлежать другому. О нет, это его вовсе не печалит. Глубоко волнует его сердце лишь то, что старый одноглазый лесной король пал не от его руки, что не ему было дано сразить серебряной пулей большого медведя.

И вот он поднимается по лестнице в кавалерский флигель, где кавалеры сидят вокруг пылающего очага, и, не говоря ни слова, бросает им медвежью шкуру. Не подумайте, что он тут же рассказывает им о своем благородном поступке. Лишь много-много лет спустя кое-кому удалось выведать у него, как все обстояло на



самом деле. Не выдал он и тайника пастора из Брубю. А тот, верно, так никогда и не смог обнаружить пропажу.

Кавалеры разглядывают шкуру.

— Хорош мех! — говорит Бееренкройц. — Нельзя ли полюбопытствовать, как этого молодца угораздило пробудиться от зимней спячки, а может, ты убил его в берлоге?

— Его убили в Бру.

— Да, он не такой огромный, как наш медведь с Гурлиты, — замечает Йеста, — но он был все же прекрасный зверь.

— Нет! Он просто огромный! — рассуждает Кевенхюллер. — Будь он одноглазый, я бы подумал, что ты сразил самого старика. Но ведь у убитого нет ни шрама, да и ничего похожего у глаза, так что это — не наш медведь.

Фукс прокликает себя за глупость, но потом вдруг его лицо озаряется такой улыбкой, что он становится по-настоящему красив. Стало быть, не тот большой медведь пал от выстрела другого человека!

— Господи Боже мой, как ты милостив ко мне! — говорит он, складывая молитвенно руки.

## Глава девятая

### АУКЦИОН В БЬЁРНЕ

Нам, молодым, часто приходится удивляться рассказам старых людей.

— Неужели во времена вашей блистательной юности вы каждый день танцевали на балах? — допытывались мы. — Неужели вся ваша жизнь была тогда одним сплошным приключением?

— Неужели в те времена все дамы были прекрасны и обходительны, а всякое пиршество кончалось тем, что Йеста Берлинг похищал одну из них?

Тогда почтенные старцы кивали головами и начинали рассказывать про жужжание прялок и стук ткацких станков, про хлопоты на поварне, про стук цепов на гумне и взмахи топоров в лесу. Но такого рода рассказы продолжались недолго, а потом старики все равно снова садились на своего любимого конька. Вот к парадному входу подадут сани, вот кони мчатся во весь опор по мрачным лесам, увозя ватагу веселых молодых людей. Вот они кружатся в вихре танца, да так лихо, что лопаются струны скрипки.

Шум и грохот были постоянными спутниками бешеной погони за приключениями вокруг длинного озера Левен. Далеко-далеко доносились отзвуки этой дикой охоты. Лесные деревья, содрогаясь, падали на землю, злые силы, сорвавшись с цепи, вырывались на свободу, опустошая и разоряя округу. Бушевали пожары, неистовствовали водопады, хищники, подгоняемые голодом, рыскали возле усадеб. Копыта восьминогих коней затапывали в прах тихое счастье. Повсюду, где только шла дикая охота за приключениями, сердца мужчин вспыхивали бешеным пламенем, а побледневшие от ужаса женщины покидали свои дома.

Мы, молодые, сидели, дивясь этим рассказам, примолкшие, охваченные страхом, но все же счастливые. «Какие люди! — думали мы. — Нам таких уже не видать!»

— А люди тех минувших лет никогда не думали о том, что творят?

— Ну конечно, дети, думали, — отвечали старики.

— Но не так, как ныне думают молодые, — возражали мы.

Однако же старики не понимали, что мы имели в виду.

А мы, мы думали о всепожирающем самоанализе, об этом удивительном существе, всецело завладевшем нашей душой. Мы думали о нем, об этом духе, с его холодным ледяным взором и длинными крючковатыми пальцами. О том, который гнездится в самом темном уголке души и раздирает на части все наше существо, подобно тому, как старые женщины раздирают на лоскутья шелк или шерсть.

На куски раздирают нашу душу длинные, грубые, крючковатые пальцы. До тех пор, пока все наше «я» не превращается в грудку лоскутьев. Наши лучшие чувства, наши самые сокровенные мысли, все, что мы делаем и говорим, исследуется, изучается и раздирается на части. Холодный же ледяной взор духа лишь взирает на это, а губы беззубого рта презрительно улыбаются и шепчут: «Смотри, ведь это же тряпье, одно лишь тряпье».

Однако же нашлась в те далекие времена женщина, отдавшая свою душу во власть такого вот существа с холодным ледяным взором. Там-то этот дух и угнездился. Стоя на страже самых истоков всех ее поступков, презирая и добро и зло, понимая все и не осуждая ничего, исследуя, выискивая, раздирая на части, дух этот беспрерывно парализовал движения ее сердца и силу разума своей презрительной улыбкой.

В душе прекрасной Марианны поселился дух самоанализа. Она чувствовала, как каждый ее шаг, каждое слово сопровождают его ледяные взоры, его презрительные улыбки. Ее жизнь превратилась в сплошное театральное представление, где он был единственным зрителем. Она не была больше человеком, она не страдала, не радовалась, не любила, она играла лишь роль прекрасной Марианны Синклер. А дух самоанализа, угнездившись в ее душе, разрывая ее на части прилежными пальцами, неотступно следил ледяным взором за ее игрой.

Ее душа как бы раздвоилась. Одна половина ее «я», бледная, отталкивающая, презирающая, не отрывая глаз следила за тем, как действует вторая. И никогда этот удивительный дух, раздиравший на части все ее существо, не находил для нее ни единого слова сочувствия или симпатии.

Но где же был он, этот бледный страж самых истоков всех ее поступков, в ту ночь, когда она впервые познала нераздвоенность и полноту жизни? Когда она целовала Йесту Берлинга на глазах сотен людей? И когда, одержимая мужеством отчаяния и ярости, бросилась в сугроб, чтобы умереть? Тогда холодный ледяной взор его был притуплен, а презрительная улыбка парализована, потому что безумная страсть бушевала тогда в ее душе. Шум бешеной погони за приключениями звучал в ее ушах. Только однажды в ту единственную ужасную ночь она не ощущала раздвоенности и была цельным человеком.

О ты, дух самоанализа, бог самоуничужения! В тот миг, когда Марианне с невероятным трудом удалось поднять свои оцепеневшие руки и обхватить ими шею Йесты, тогда и тебе, подобно старику Бееренкройцу, должно было отворотить свой взор от земли и устремить его к звездам!

В ту ночь ты утратил свою власть. Ты был мертв — и пока она слагала гимн любви, и пока бежала за майором в Ше; мертв, когда она видела, как красное зарево пожара окрашивает небо над верхушками лесных деревьев.

Смотри, наконец-то они явились, эти всеильные буревестники, эти всесокрушающие на своем пути грифы страстей. На крыльях огня, с когтями из стали, они вихрем промчались над твоей головой, ты, дух с холодным ледяным взором! Вонзив когти в твой затылок, они швырнули тебя в неизведанное. О дух, ты был мертв, ты был сокрушен!

Но они пролетели дальше, эти гордые, эти могучие грифы страстей. Те, кто не ведает холодного расчета, те, чьи пути неисповедимы. И вот тогда из неизведанной бездны вновь восстал непостижимый дух самоанализа и опять поселился в душе прекрасной Марианны.

Весь февраль Марианна пролежала больная. Прибежав к майору в Ше, она заразилась там оспой. Ужасная болезнь со всей своей сокрушительной яростью набросилась на нее, простуженную и изможденную. Смерть уже подстерегала ее, но к концу месяца она все же выздоровела. Однако она была по-прежнему слаба и к тому же сильно обезображена. Никогда больше не называться ей прекрасной Марианной.

Пока же об этом никто не знал, кроме самой Марианны и ее сиделки. Даже кавалеры ничего не подозревали. Комната, превращенная в больничную палату, где царила оспа, была открыта далеко не каждому.

Но когда же власть духа самоанализа бывает всего сильнее, чем в долгие, томительные часы выздоровления?! Дух сидит тогда и смотрит, неотрывно смотрит холодным ледяным взором на свою жертву и терзает ее, бесконечно терзает костлявыми, грубыми пальцами. А если взглянуть как следует, то за его спиной сидит еще одно, изжелта-бледное существо, которое также парализует тебя своим ледяным взором и презрительной улыбкой. За ним же еще одно и еще... И все они презрительно улыбаются друг другу и всему миру.

И вот пока Марианна лежала больная, вглядываясь в собственную душу широко раскрытыми ледяными глазами всех этих существ, в ней мало-помалу умирали ее прежние чувства.

Она лежала, разыгрывая из себя то больную, то несчастную, то влюбленную, то жаждущую мщениа.

Она и была такой на самом деле, но вместе с тем это была всего лишь игра. Все превращалось в игру, казалось призрачным и мнимым под вечно стерегущим ее пристальным взглядом холодных, ледяных глаз. А их, в свою очередь, стерегли стоящие за ними на страже другие глаза, а за ними еще и еще, и так в нескончаемой перспективе.

Все могучие жизненные силы уснули в ней вечным сном. Ее жгучей ненависти и преданной любви хватило всего лишь на одну-единственную ночь, не более того.

Она даже не знала, любит ли она Йесту Берлинга. Она мечтала увидеть его, чтобы удостовериться, может ли он заставить ее вновь уйти от самой себя. Пока она была во власти болезни, ее мучила только одна-единственная мысль, она беспокоилась лишь о том, чтобы никто не узнал, что она больна. Она не желала видеть своих родителей, не желала примирения с отцом. Она понимала, что он будет раскаиваться, если узнает, как она тяжело больна. Поэтому она распорядилась, чтобы родителям, да и всем остальным, говорили, будто старая болезнь глаз, всегда мучившая ее, когда она появлялась в родных краях, заставляет ее оставаться в комнате с опущенными шторами. Она запретила сиделке рассказывать, как тяжело она больна, запретила кавалерам привозить врача из Карлстада. У нее, конечно,

оспа, но в самой легкой форме, и в домашней аптечке Экебю вполне достаточно всяких снадобий, чтобы спасти ее жизнь.

Правда, она никогда не думала, что умрет; она только лежала, ожидая дня, когда выздоровеет, чтобы поехать вместе с Йестой к пастору и огласить в церкви их помолвку.

Но вот наконец болезнь и лихорадка прошли. К ней снова вернулись разум и хладнокровие. Ей казалось, будто она — единственное разумное существо в этом мире безумцев. Она не испытывала ни ненависти, ни любви. Она понимала отца, она понимала всех людей на свете. А кто понимает, тот не может ненавидеть.

До нее дошли слухи, будто Мельхиор Синклер намерен устроить в Бьерне аукцион и пустить по ветру все свое состояние. Чтобы после его смерти ей не досталось бы никакого наследства. Говорили, что он собирается как можно основательней разорить свое имение: сначала распродать мебель, домашнюю утварь, всю снасть, затем скот и все прочее имущество, под конец же пустить с молотка само поместье. А все вырученные деньги — сунуть в мешок и бросить в самое глубокое место Левена. Полное разорение, сумбур и опустошение — вот что достанется ей в наследство. Марианна одобрительно улыбалась, слыша подобные разговоры. Это было в духе ее отца, иначе поступить он не мог.

Ей казалось просто невероятным, что это она слагала гимн в честь великой любви. Что она, как и многие другие, мечтала о лачуге углежога. Теперь же ей представлялось странным, что она вообще когда-нибудь могла о чем-то мечтать.

Она жаждала всего искреннего, обыкновенного. Она устала от этой постоянной игры. Никогда не испытывала она сильного чувства. Едва ли горюя о потере своей красоты, она боялась лишь жалости чужих людей.

О, хотя бы на секунду забыть самое себя! Хотя бы один жест, одно слово, один поступок, которые не были бы плодом осмотрительного и расчетливого ума!

Однажды, когда оспа была уже изгнана из ее комнаты и она, одетая, лежала на диване, она велела позвать Йесту Берлинга. Ей ответили, что он уехал на аукцион в Бьерне.

\* \* \*

В Бьерне и вправду происходил большой аукцион. Дом был старинный и богатый. Люди приходили и приезжали издалека, чтобы присутствовать при распродаже.

Все, что было в доме, огромный Мельхиор Синклер нагромоздил в большом зале. Там, сваленные в кучи — от пола до самого потолка, — лежали тысячи самых разнообразных вещей и предметов.

Он сам, подобно духу разрушения в судный день, обошел весь дом, стаскивая в кучу все, что ему хотелось продать. Общей участи избежала лишь кухонная утварь — закопченные котелки, деревянные стулья, оловянные пивные кружки, медная посуда... Потому что среди этой утвари не было ничего, что напоминало бы о Марианне. Но утварь эта и была единственным в доме, избежавшим гнева Мельхиора Синклера.

Он ворвался в комнату Марианны и учинил там страшный разгром. Там стоял ее кукольный шкафчик, ее полка с книгами, маленький стульчик, который он когда-то велел вырезать для нее, ее диван и кровать — все прочь отсюда!

А потом, переходя из комнаты в комнату, он хватал все, что ему было не по душе, и, сгибаясь под тяжестью объемистой ноши, тащил ее в зал, где должен был состояться аукцион. Он задыхался под тяжестью диванов и мраморных досок от столиков; но он все выдержал. Он громоздил все в страшном беспорядке. Он раскрывал шкафы и вытаскивал оттуда фамильное серебро. Прочь отсюда! Ведь этого серебра касались руки Марианны! Он набирал целые охапки белоснежного дамаста, [\[34\]](#) охапки гладких полотняных скатертей с ажурной строчкой шириной с ладонь — добросовестно исполненное домашнее рукоделие — плоды долголетних трудов, и сваливал все это в одну кучу! Прочь отсюда! Марианна недостойна владеть такими вещами! Он бурей носился по комнатам с грудями фарфора в руках, почти не обращая внимания на то, что дюжинами бьет тарелки. Он хватал настоящие музейные чашки с фамильным гербом. Прочь отсюда! Пусть кто угодно пользуется ими! Он сбросил с чердака целую гору постельного белья, подушек и перин, таких мягких, что в

них можно было нырять, как в волнах. Прочь отсюда! На этих простынях, подушках и перинах спала Марианна!

Он бросал яростные взгляды на старинную, столь хорошо знакомую ему мебель. Найдется ли в доме хоть один стул, на котором бы она когда-нибудь не сидела, или диван, которым бы она не пользовалась? Хоть одна картина, которую бы она не созерцала, люстра, которая бы не светила ей, зеркало, которое не запечатлело бы черты ее лица? Мрачно сжимал он кулаки, угрожая этому миру воспоминаний. Охотнее всего он ринулся бы на них, размахивая аукционным молоточком, и сокрушил бы все на мелкие крупички и осколки.

Однако же куда более превосходной мезтью казалась ему продажа всего имения с аукциона. Прочь отсюда! Пусть все достается чужим людям. Прочь! Пусть все грязнится в лачугах торпарей, пусть приходит в упадок, отданное на попечение равнодушных чужаков. Разве не знакома ему эта купленная на аукционах мебель с отбитыми углами в крестьянских домишках? Мебель, поруганная, как и его дочь! Прочь отсюда! Пусть эта мебель с разодранной обивкой и стертой позолотой, со сломанными ножками и засаленными столешницами стоит в лачугах и тоскует о своем прежнем доме! Пусть она, подобно пыли, рассеется на все четыре стороны, чтобы ни один глаз не смог ее отыскать, ни одна рука — снова собрать ее воедино!

Когда начался аукцион, Мельхиор Синклер уже загромоздил половину зала штабелями сваленной в немыслимом беспорядке домашней утвари.

Зал был перегорожен поперек длинным прилавком. За ним стоял аукционщик; ударяя молоточком, он громогласно возвещал, что вещь продана. Там сидели писари и чиновник, ведущий протокол. Там же Мельхиор Синклер распорядился поставить анкерок [\[35\]](#) горячего вина. В другой половине зала, в прихожей и на дворе толпились покупатели. Собралось много народу, было очень шумно и весело. Возгласы аукционщика слышались все чаще и чаще; аукцион становился все оживленнее. Рядом с анкерком горячего вина восседал со всем своим имуществом, сваленном в невероятнейшем беспорядке за его спиной, полупьяный и наполовину обезумевший Мельхиор Синклер. Его красное лицо обрамляли стоявшие дыбом жесткие ключья волос, налитые кровью глаза грозно вращались в орбитах. И



каждого, предлагавшего хорошую цену, он подзывал к себе и подносил стаканчик вина.

Среди тех, кто видел его, был и Йеста Берлинг, замешавшийся тайком в толпу покупателей, но избегавший попадаться на глаза Мельхиору Синклеру. То, что он увидел, заставило его задуматься; сердце его тревожно сжалось, словно от предчувствия беды.

Его очень беспокоило, где посреди всего этого ужаса скрывается мать Марианны. Упорно желая найти ее, подгоняемый волей судьбы, он отправился на поиски фру Густавы Синклер.

Ему пришлось отворить множество дверей, прежде чем он нашел ее. У огромного заводчика терпение было коротким, а желание выслушивать женские причитания да сетования и того меньше. Ему надоело видеть, как жена льет слезы о судьбе, уготовленной сокровищам ее дома. Как она может оплакивать постельное белье, подушки и перины, когда то, что дороже всего, — его красавица дочь погибла навеки! И он, в дикой ярости сжав кулаки, погнал жену по всем комнатам в кухню, а оттуда в чулан. Бежать дальше было некуда, и он удовлетворился тем, что увидел, как она, вся сжавшись, сидит на корточках в этой клетке за лестницей, ожидая жестоких побоев, а быть может, и смерти. Он оставил ее там, но дверь запер; ключ же сунул себе в карман. Пусть сидит, пока не кончится аукцион. С голоду она там не умрет, а уши его отдохнут от ее сетований.

Она еще сидела взаперти в собственной кладовой, когда Йеста, проходя по коридору между кухней и залом, увидел в маленьком оконце почти под самым потолком лицо фру Густавы. Взобравшись на лесенку, она выглядывала из своей темницы.

— Что вы там делаете, тетушка Густава? — спросил Йеста.

— Он запер меня, — прошептала она.

— Кто вас запер? Господин заводчик?

— Да, я думала, он убьет меня. Послушай-ка, Йеста, возьми ключ от зала, пройди через кухню и отвори дверь чулана, чтобы я могла выйти отсюда. Тот ключ подходит к двери кладовой.

Йеста послушался, и через несколько минут маленькая женщина уже стояла в кухне, где, кроме них, не было ни души.

— Вы бы, тетушка, велели одной из служанок отпереть вам дверь ключом от зала, — упрекнул хозяйку Йеста.

— Неужто ты думаешь, я стану учить их подобным уловкам?! Тогда никакую снедь из этой кладовки в покое не оставят! Да и вообще, я пока что прибрала там, на верхних полках. Право, давно пора было это сделать! Не понимаю, как я могла допустить, чтобы там набралось столько сора!

— Ведь у вас, тетушка, столько разных дел, — как бы оправдывая ее, сказал Йеста.

— Да, что правда, то правда. Если я не вмешаюсь, ни один ткацкий стан, ни одна прялка не будут работать как следует. А если...

Она внезапно смолкла и отерла в уголке глаза слезу.

— Боже, помоги мне! Что ж такое я болтаю, — вздохнула фру Густава. — Мне, видно, в этом доме больше не за чем приглядывать. Ведь муж распродает все, что у нас есть.

— Да, это просто беда! — сказал Йеста.

— Ты ведь видел, Йеста, большое зеркало в гостиной? Оно такое замечательное, и стекло в нем цельное, а не из отдельных кусков, и даже ни малейшего изъяна в позолоте. Так вот, я получила его в наследство от матери, а он хочет продать его!

— Он просто с ума сошел!

— Да, твоя правда. Похоже на то! Он не успокоится, пока мы не пойдем по проселочной дороге с протянутой рукой, как майорша!

— Так далеко, должно быть, дело не пойдет, — утешил ее Йеста.

— Нет, Йеста! Когда майорша уходила из Экебю, она предсказала всем нам беду, вот и пришла беда. Она бы не дала ему продать Бьерне. Подумать только! Он распродает фамильный фарфор, музейные чашки из собственного дома! Майорша бы никогда не допустила этого!

— Что же с ним стряслось? — спросил Йеста.

— Да только то, что Марианна не вернулась домой. Он все ходил и ждал. Он все ходил и ходил целыми днями взад-вперед по аллее и все ждал и ждал. Он прямо-таки помешался от тоски, но я не смела слова сказать.

— Марианна думает, что он зол на нее.

— Видишь ли, она не может так думать. Она хорошо его знает, но она гордая и не хочет сделать первый шаг к примирению. Они оба самолюбивы и упрямы, и им обоим живется неплохо. А вот я — между двух огней.

— Вы, тетушка, верно, знаете, что Марианна выходит за меня замуж?

— Что ты, Йеста, этому не бывать! Она говорит так, чтобы подразнить отца. Уж больно она избалована, и не пойдет за бедняка, да к тому же она такая гордая! Поезжай-ка домой и скажи ей, что, если она сейчас же не вернется, все ее наследство пойдет прахом. О, он, верно, все спустит с молотка, все отдаст за бесценок!

Йеста страшно разозлился на нее. Сидит тут на кухонном столе, и ничто ее не заботит, кроме зеркал да фарфора.

— Как вам не стыдно, тетушка! — набросился он на нее. — Сначала вы выкидываете вашу дочь в снежный сугроб, а после думаете, что она только из одного лишь злобного упрямства не возвращается домой! И вы считаете ее такой дрянью, что, по-вашему, она может предать любимого человека ради наследства?!

— Дорогой Йеста, хоть ты не сердись на меня! Я и сама не знаю, что болтает мой язык! Я пыталась тогда отворить Марианне дверь! Но он схватил меня и насильно оттащил прочь! Да и здесь, дома, все постоянно только и делают, что твердят, будто я ничего не понимаю. Я не стану, Йеста, противиться твоей женитьбе на Марианне, если ты только сделаешь ее счастливой. Не так-то легко сделать женщину счастливой, Йеста!

Йеста взглянул на нее. Как он смел, охваченный гневом, повысить голос на фру Густаву, на такого человека, как она?! Ведь она запугана, загнана, но сердце у нее такое доброе!

— Тетушка, вы не спрашиваете, что с Марианной? — тихо сказал он.

Она разразилась слезами.

— А ты не рассердишься, если я задам тебе этот вопрос? — сказала она. — Я все время хотела спросить тебя об этом. Подумать только, я ничего о ней не знаю, кроме того, что она жива! Ни разу за все это время я не получила от нее весточки или привета, даже когда посылала ей платья. И тогда я подумала, что вы с Марианной не хотите, чтоб я что-нибудь знала о ней.

Йеста больше не мог выдержать. В какое он впал буйство, в какое неистовство! Порой Господь Бог посылал ему вслед волков, чтобы принудить его к послушанию. Но выдержать слезы, выдержать

сетования этой старой женщины было труднее, чем вой волков. И он решился поведать ей всю правду.

— Все это время Марианна была больна, — сказал он. — У нее — оспа. Сегодня она в первый раз должна была встать с постели и перебраться на диван. Я и сам не видел ее с той ночи.

Фру Густава одним прыжком соскочила на пол. Оставив Йесту, она, без единого слова, ринулась к мужу.

Люди, собравшиеся в зале на аукцион, увидели, как она подбежала к нему и стала взволнованно шептать что-то на ухо. Они видели, как лицо его еще больше побагровело, а рука, лежавшая на краше, нечаянно повернула его так, что вино полилось на пол.

Всем показалось, что фру Густава принесла какие-то важные вести, и аукцион тут же прекратился. Молоточек аукционщика повис в воздухе, перья писцов замерли, никто не выкрикивал больше цен.

Мельхиор Синклер, словно внезапно очнувшись от своих мыслей, вскочил на ноги.

— Ну! — воскликнул он. — Что еще стряслось?!

И аукцион снова пошел полным ходом.

Йеста Берлинг по-прежнему сидел на кухне, когда ФРУ Густава вернулась вся в слезах.

— Не помогло, — сказала она. — Я думала: стоит ему услышать, что Марианна была больна, и он тут же покончит с аукционом, но он велит продолжать. Ему, верно, хочется остановить аукцион, но гордость не позволяет!

Йеста пожал плечами и тут же попрощался.

В прихожей он встретил Синтрама.

— Черт возьми, какое веселое представление! — вскричал, потирая руки, Синтрам. — Ну и мастер же ты, Йеста! Боже мой, как ты смог все это устроить!

— Скоро будет еще веселее! — шепнул ему Йеста. — Здесь пастор из Брубю, в санях у него куча денег. Поговаривают, будто он хочет купить все поместье Бьерне и заплатить наличными. Хотел бы я тогда взглянуть на великого заводчика, дядюшка Синтрам!

Синтрам, втянув голову в плечи, долго смеялся про себя. Но потом, сорвавшись с места, пронесся в зал, где происходил аукцион, и подбежал прямо к Мельхиору Синклеру.

— Если хочешь выпить глоток, Синтрам, то придется тебе, дьявол тебя побери, сперва купить что-нибудь!

Синтрам приблизился к нему вплотную.

— Тебе, братец, везет, как всегда, — проговорил он. — Сюда в усадьбу прикатил один крупный покупатель, в санях у него куча денег. Он собирается купить Бьерне с полным заведением. Он уговорил множество людей, чтобы они вместо него выкрикивали цены на аукционе. Он сам, разумеется, пока еще показываться не желает, скрывается за спиной подставных лиц.

— А ты, братец, можешь, верно, сказать, кто это, тогда я поднесу тебе стаканчик за труды.

Синтрам выпил и, прежде чем ответить, отступил на несколько шагов назад.

— Говорят, это пастор из Брубю, братец Мельхиор!

Пастор из Брубю был Мельхиору Синклеру заклятым врагом. Вражда между ними длилась уже много лет. Ходили легенды о том, как огромный заводчик лежал темными ночами в засаде на дорогах, где должен был проезжать пастор. И о том, как он не раз задавал хорошую взбучку этому лицемеру и мучителю крестьян.

Хотя Синтрам и отступил на несколько шагов назад, полностью избежать гнева огромного хозяина поместья ему все же не удалось. Брошенный Синклером стакан угодил ему между глаз, а анкерок с вином свалился прямо на ноги. Но затем последовала сцена, которая еще долгое время спустя радовала сердце Синтрама.

— Так это пастор из Брубю желает заполучить мое поместье? — взревел патрон<sup>[36]</sup> Синклер. — Так это вы все болтаетесь здесь и скупаете мое имение для пастора из Брубю? И не совестно вам! Стыдитесь!

Схватив шандал и чернильницу, он запустил ими в толпу.

Вся горечь, скопившаяся в его наболевшем сердце, наконец-то вырвалась наружу. Рыча, словно дикий зверь, он, сжав кулаки, грозил стоящим вокруг, швыряя в них все, что попадалось под руку, все, что годилось для метания. Стаканы и бутылки так и летали по всему залу. Он не помнил себя от гнева.

— Баста! — рычал он. — Конец аукциону! Вон отсюда! Покуда я жив, не видать Бьерне пастору из Брубю! Вон отсюда! Я вам покажу, как выкрикивать цены за пастора из Брубю!

Он кинулся на аукционщика и писцов. Они пустились бежать, опрокинув в суматохе прилавок, а заводчик в неопикуемой ярости ворвался в толпу мирных людей.

В диком замешательстве люди обратились в бегство. Несколько сот человек пробивались в давке к дверям, обращенные в бегство одним-единственным человеком. А он спокойно стоял на месте, продолжая рычать: «Вон отсюда!» Он посылал им вслед проклятия, время от времени угрожая толпе стулом, которым размахивал, словно молоточком аукционщика.

Он преследовал покупателей до самой прихожей, но не дальше. Когда последний из них спустился с лестницы, он вернулся в зал и запер за собой дверь. Затем, вытащив из жуткой свалки матрац и пару подушек, улегся на них и заснул посреди всего этого страшного разорения. А проснулся он лишь на следующий день.

Вернувшись домой, Йеста узнал, что Марианна хочет с ним побеседовать. Это было очень кстати. Он и сам думал, как бы ему с ней повидаться.

Когда он вошел в затемненную комнату, где лежала Марианна, ему пришлось на миг остановиться у двери. Он не знал, где она находится.

— Оставайся у дверей, Йеста! — услышал он голос Марианны. — Ведь, может быть, подходить ко мне еще опасно.

Но Йеста подбежал к ней, в два прыжка осилив лесенку, весь дрожа от пылкой страсти. Какое ему дело до черной оспы! Он хочет насладиться блаженством видеть ее!

Потому что его возлюбленная — прекрасна! Ни у кого нет таких мягких волос, такого ясного, светлого лба! Все ее лицо поражает чудной игрой очаровательно мягких линий.

Он вспомнил ее брови, нарисованные пронзительно и ясно, будто тычинки лилии, и дерзко изогнутую линию носа, и мягкие изгибы губ, напоминающие стремительно катящиеся волны. Он вспоминал продолговатый овал ее щек и изысканно-хрупкую форму подбородка.

Он вспоминал нежные краски ее лица и то волшебное впечатление, которое оставляли ее темные, как ночь, брови на фоне светлых волос, и ярко-голубые зрачки, плавающие в ясной белизне белков, и блестящие искорки в уголках глаз...

Как она прелестна, его возлюбленная! Он думал о том, какое горячее сердце скрывается под ее гордой внешностью. У нее достанет сил и на преданность, и на самопожертвование, таящихся за ее нежной красотой и за гордыми словами. Какое блаженство видеть ее!

В два прыжка преодолел он лесенку и ринулся к ней. А она-то думала, что он останется у дверей. Неистово промчался он по комнате и упал на колени у ее изголовья.

Но видеть ее и целовать ее он хотел только для того, чтобы сказать: «Прости».

Он любил ее. Разумеется, он никогда не перестанет любить ее, но сердце его привыкло к тому, что его лучшие чувства вечно попирают.

О, где ему найти ее, эту розу, лишенную опоры и глубоких корней, которую он мог бы сорвать и назвать своей? Даже ту, что он поднял, выброшенную из родного дома и полумертвую у обочины, он удержать не сможет.

Когда же наконец его любовь споет свою собственную песню, столь возвышенную и чистую, что ни один диссонанс не станет резать слух? Когда же наконец замок его счастья будет построен не на зыбкой почве, а на такой, где бы не тосковало, сожалея и беспокоясь, ничье сердце?

Он думал о том, как сказать ей «прости!».

«В твоём доме большая беда, — скажет он ей. — Мое сердце разрывается при мысли об этом. Тебе надо ехать домой и вернуть твоему отцу разум. Твоя мать живет в постоянном страхе за свою жизнь. Тебе надо вернуться домой, любимая!»

Эти слова отречения готовы были сорваться с уст Йесты, но он их так и не произнес.

Он упал на колени у ее изголовья, обхватил ее голову руками и целовал ее. А потом он так и не нашел нужных слов. Сердце забилося у него в груди так пылко, словно хотело разорваться.

Оспа со страшной силой прошлась по ее прекрасному лицу. Кожа покрылась рубцами, сделалась грубой и рябой. Никогда больше не будет ее алая кровь просвечивать сквозь нежную кожу щек, никогда тонкие голубые жилки не станут биться на висках. Глаза под вспухшими веками потускнели, брови выпали, а эмалевый блеск глазных белков окрасился желтизной.

Ее красота была уничтожена. Исполненные очарования дерзкие линии сменились грубыми и тяжелыми.

Позднее немало было в Вермланде людей, горевавших о погибшей красоте Марианны Синклер, об утрате нежной кожи ее лица, сияния пламенных глаз, ее светлых волос. Там красоту ценили, как нигде в другом месте. Веселые люди горевали так, словно страна утратила драгоценный камень в венце своей славы, словно грязные пятна затмили солнечный блеск их собственного существования.

Но самый первый, увидевший ее после того, как она потеряла свою красоту, не стал предаваться горю.

Невыразимые чувства заполнили душу Йесты. Чем дольше он смотрел на девушку, тем теплее становилось у него на сердце. Его любовь все росла и росла, она ширилась, словно река весной, в половодье. Волнами огня изливалась она из его сердца, заполонив все его существо. Слезами подступала она к его глазам; это она вздыхала на его устах, трепетала в его руках, во всем его теле.

О, любить Марианну, защищать ее, не давать в обиду, да, не давать ее в обиду!

Быть ее рабом, ее ангелом-хранителем!

Сильна любовь, выдержавшая крещение огнем, крещение болью. Он не мог говорить Марианне о разлуке и отречении. Не мог покинуть ее. Он был обязан ей жизнью. Ради нее он мог совершить не один смертный грех.

Он не произнес ни единого разумного слова, а только плакал и целовал девушку до тех пор, пока старая сиделка не сочла нужным увести его.

Когда он ушел, Марианна долго лежала, думая о нем, о движениях его сердца и души. «Хорошо, когда тебя так любят», — думала она.

Да, хорошо быть любимой, но что же это с ней самой? Что она чувствует? О, ничего, даже меньше, чем ничего.

Умерла ли она, ее любовь, или же скрылась куда-то? Куда же она спряталась, ее любовь, дитя ее сердца?

Жива ли она еще, ее любовь? Притаилась ли в самых темных уголках ее сердца, и сидит там, замирая под взорами холодных ледяных глаз, испуганная жалким, презрительным смехом, полузадушенная костлявыми пальцами?



— О, моя любовь, дитя моего сердца! — вздыхала она. — Жива ли ты или уже мертва, мертва, как и моя красота?

\* \* \*

На следующий день огромный заводчик ранним утром вошел к жене:

— Пригляди, Густава, чтобы в доме снова навели порядок! — сказал он. — Я поеду и привезу домой Марианну!

— Хорошо, дорогой Мельхиор! Не беспокойся, в доме снова будет порядок! — ответила она.

На этом их объяснения и кончились.

Час спустя огромный заводчик был уже на пути в Экебю. Невероятно трудно было представить себе более благородного и более доброжелательного пожилого господина, чем заводчик из Бьерне, восседавший в крытых санях с откидным верхом, одетый в свою лучшую шубу, с повязанным вокруг шеи лучшим своим шарфом. Волосы его были гладко зачесаны, лицо побледнело, а глаза глубоко запали.

И никогда еще не струился с ясного неба столь ослепительный солнечный свет, как в тот февральский день. Снег сверкал так, как сверкают глаза юных девушек, когда звучит их первый вальс. Березы простирали к небесам нежное кружево тонких красно-коричневых ветвей, на которых кое-где сверкала бахрома мелких ледяных сосулечек.

День сиял и сверкал каким-то праздничным блеском. Кони, словно приплясывая, скидывали вверх передние ноги, а кучер в безудержной радости щелкал кнутом.

После недолгой поездки сани огромного заводчика остановились у парадных дверей Экебю.

Вышел слуга.

— Где хозяйева? — спросил заводчик.

— Они охотятся за большим медведем с Гурлиты.

— Все?

— Да, все, патрон. Кто не ради охоты на медведя, тот ради корзины с разной снедью.

Заводчик так расхохотался, что смех его громким эхом прокатился по безмолвному двору. За находчивый ответ слуга получил далер серебром.

— Поди-ка теперь к моей дочери и скажи: я здесь, чтоб увезти ее с собой! И пообещай, что она не замерзнет в дороге. У меня — крытые сани, и я захватил с собой волчью шубу; она сможет завернуться в нее.

— Не угодно ли вам, патрон, войти в дом?

— Нет, спасибо! Мне и здесь хорошо!

Малый исчез, а заводчик начал ждать.

В этот день у него было чудесное лучезарное расположение духа, и ничто ему не досаждало. Он заранее настроился на то, что ему придется немного подождать, ведь Марианна, быть может, еще даже не вставала. Единственное развлечение, которое ему пока оставалось, — смотреть по сторонам.

С крыши свисала длинная сосулька, причинявшая ужасные хлопоты солнечным лучам. Они нагревали сосульку сверху, и с нее начинали падать капельки воды. Но, едва добравшись до середины сосульки, они снова застывали. А солнечным лучам так хотелось, чтобы хоть одна растаявшая капля, скатившись вниз по сосулке, упала на землю! И солнце делало все новые и новые попытки растопить сосульку, однако по-прежнему неудачно. Но наконец-то нашелся один смелый пират в образе солнечного луча, который крепко вцепился в кончик сосульки. Он был совсем маленький, но так и светился, так и сверкал от усердия! И внезапно добился своего: одна из капель, нежно звеня, упала на землю.

Заводчик, глядя на это, засмеялся.

— А ты не глуп! — сказал он солнечному лучу.

Двор был тих и безлюден. Из дома тоже не доносилось ни звука. Но заводчик по-прежнему не терял терпения. Он знал, что женщине требуется много времени, пока она приведет себя в порядок.

Он сидел, глядя на голубятню, оконце которой было забрано решеткой. Зимой птицы сидели взаперти, чтобы их не истребил ястреб. Время от времени один из голубей подходил к оконцу и просовывал свою белую головку между прутьями решетки.

«Он ждет весны, — сказал самому себе Мельхиор Синклер. — Но ему придется еще потерпеть».

Голубь показывался регулярно — через определенные промежутки времени, так что заводчик вытаскивал часы и стал ожидать птицу с часами в руках. И правда, ровно через каждые три минуты голубь высовывал головку.

— Нет, дружок, — обратился к голубю Мельхиор Синклер, — неужто ты думаешь, что весна явится через три минуты? Придется тебе научиться ждать!

Ему самому тоже приходится ждать; но времени у него было достаточно.

Сначала кони нетерпеливо скребли копытами снег, но потом, ослепленные солнцем, понурили головы и их сморил сон.

Кучер сидел, выпрямив спину, на облучке с кнутом и вожжами в руках; обратив лицо к солнцу, он тоже спал, да, спал, более того, храпел.

Но заводчик не спал. Никогда не был он менее расположен спать, чем теперь. Редко выпадали на его долю более приятные часы, чем теперь, во время этого радостного ожидания. Марианна была больна. Она не могла вернуться раньше, но теперь она придет домой. О, конечно, она это сделает. И все снова будет хорошо.

Теперь-то она сможет понять, что он уже не сердится на нее. Ведь он сам приехал за ней в крытых санях, с двумя лошадьми в упряжке.

В стороне у самого отверстия пчелиного улья сидела синица, затеявшая какую-то дьявольскую проделку. Ей наверняка нужно было пообедать, и она стала стучать клювом по улью, маленьким острым клювиком. А внутри улья в большом темном кузове висели пчелы. Там все содержалось в строжайшем порядке: пчелы, поставлявшие корм по порциям, пчелы-кравчие, бегавшие от одной пчелы к другой с нектаром и амброзией. В улье шла постоянная возня, весь рой метался, пчелы то вползали в кузов, то выползали из него. Те, кто висел внутри кузова, постоянно менялись местами с теми, кто висел с краю; ведь тепло и удобства должны были распределяться поровну.

И тут вдруг в улье слышат стук клювика синицы, и весь улей начинает жужжать от любопытства. Кто стучит, друг или враг? Представляет ли он опасность для их пчелиного роя? У королевы пчел — совесть нечиста. Она не может спокойно дожидаться вестей. Может, это призраки убитых трутней стучатся в улей? «Посмотри, что там такое?» — приказывает она сестре-привратнице. И та бросается к

выходу из улья. С криком «Да здравствует королева!» она вылетает из улья. И, о ужас! Синица на дрожащих от нетерпения крыльях уже над ней. Вытянув шею, она хватается пчелу, давит ее, проглатывает; и некому возвестить повелительнице пчел о судьбе привратницы. Синица же начинает снова стучать, а королева пчел продолжает посылать все новых и новых привратниц на разведку, и все они бесследно исчезают. Никто не возвращается обратно, чтобы рассказать о том, кто стучится в улей. Ух, как жутко становится в темном улье! Это мстительные духи, призраки трутней, затеяли чертовскую возню. Хоть бы ничего не слышать! Хоть бы превозмочь любопытство! Хоть бы спокойно выждать, что будет дальше!

Огромный Мельхиор Синклер раздражается хохотом, таким громким, что слезы выступают у него на глазах. Он смеется над женской глупостью в пчелином улье и над шустрой желто-зеленой канальей на воле.

Невелика беда — ждать, когда ты совершенно уверен в благополучном исходе своей миссии, да еще когда вокруг столько прекрасной пищи для размышлений.

А вот и большой дворовый пес. Он крадется, почти не касаясь лапами земли, опустив глаза и слегка помахивая хвостом; а вид у него такой, словно он направляется куда-то совсем в другое место и занят каким-то совершенно маловажным и посторонним делом. Но вдруг он начинает усердно рыться в снегу. Не иначе как старый бездельник спрятал там какую-то нечестно доставшуюся ему добычу.

Но только он поднимает голову, чтобы посмотреть, можно ли спокойно проглотить свой трофей, — как перед ним, словно из-под земли, вырастают две сороки.

— Укрыватель краденого! — кричат сороки с таким видом, будто они сами — воплощенная совесть. — Мы — здешние полицейские, выкладывай краденое!

— Молчать, негодяйки! Я — управитель здешней усадьбы!

— Как бы не так! Ишь, какой выискался! — насмеются сороки.

Пес бросается на птиц, и они улетают, вяло помахивая крыльями. Пес мчится за ними, подскакивает и лает. Но пока он гонится за одной, другая уже возвращается обратно. Она залетает прямо в вырытую псом в снегу ямку, клюет кусок мяса, но подняться с ним в воздух не может. Пес вырывает у нее мясо, держит его передними лапами и

остервенело впивается в него зубами. Сороки нагло усаживаются прямо у него под носом и выкрикивают разные гадости. Продолжая пожирать мясо, он угрюмо, не спуская глаз, смотрит на них, но когда они своей болтовней преступают границы дозволенного, он вскакивает и прогоняет их прочь.

Солнце начинает садиться на западе, за горами. Огромный заводчик смотрит на часы. Уже целых три часа. Как там жена, у которой обед обычно готов к двенадцати!

В этот миг появляется слуга и докладывает, что фрекен Марианна желает с ним поговорить.

Заводчик берет на руку волчью шубу и в самом лучезарном настроении поднимается по лестнице.

Когда Марианна услышала его тяжелые шаги на лестнице, она еще не знала, поедет она с ним домой или нет. Она знала только, что надо положить конец этому долгому ожиданию.

Она все надеялась, что кавалеры тем временем вернутся домой, но они не возвращались. Значит, ей самой надо все улаживать и положить этому конец. Она больше не в силах ждать.

Она думала, что отец, прождав пять минут и разгневавшись, уедет, или выломает двери, или же попытается поджечь дом.

Но он спокойно сидел в санях, улыбался и ждал. Она не испытывала к нему ни ненависти, ни любви. Но какой-то внутренний голос словно предостерегал ее, что не надо уступать ему, ни одного-единственного раза. Кроме того, она хотела сдержать слово, данное Йесте.

Если бы отец задремал, если бы он заговорил, если бы он выказал беспокойство или хоть какой-то признак колебания, если б хоть распорядился откатить сани в тень! Но он был олицетворенное терпение и мудрость.

Он был уверен, твердо уверен, что она выйдет к нему, надо только подождать.

У нее болела голова, дергался каждый нерв. Нет, ей не обрести покой, покуда она знает, что он сидит там, в санях. Казалось, что его воля тащит ее, связанную по рукам и ногам, вниз по ступенькам.

Тогда уж по крайней мере ей было бы проще поговорить с ним.

Прежде чем он вошел в комнату, она распорядилась поднять шторы и легла так, что лицо ее было прекрасно освещено.

Тем самым она преследовала совершенно отчетливую цель подвергнуть отца испытанию. Но в этот день Мельхиор Синклер вел себя совершенно непредсказуемо. Увидев ее, он ни жестом, ни словом не выдал своих чувств. Казалось, он не заметил ни малейшего изменения в ее лице. Она знала, как высоко он ценил ее прекрасную внешность. Но сейчас он не дал ей заметить ни малейших следов волнения. Он судорожно держал себя в руках, чтобы не огорчить ее. Это глубоко тронуло Марианну, и она начала понимать, почему ее мать все еще любит его.

Он не выказал ни малейшего колебания или удивления. Он не упрекал ее, не извинялся перед ней.

— Я заверну тебя в волчью шубу, Марианна! Она совсем не холодная. Она все время лежала у меня на коленях.

На всякий случай он подошел к огню в камине и стал греть шубу.

Потом он помог дочери подняться с дивана, закутал ее в шубу, повязал ей голову шалью, стянул концы шали под мышками и завязал их на спине.

Она не сопротивлялась, чувствуя себя совершенно безвольной. Хорошо, когда о тебе заботятся, приятно, когда не надо проявлять силу. А особенно хорошо для того, кто так истерзан, как она; для того, у кого не осталось ни единой собственной мысли, ни единого чувства.

Огромный заводчик взял дочь на руки, снес ее вниз, положил в сани, укрыл звериными шкурами, поднял верх саней и поехал прочь из Экебю.

Она закрыла глаза и вздохнула не то от радости, не то от ощущения потери. Она покидала жизнь, настоящую жизнь, но ей это было совершенно все равно. Ведь она не умела жить, она только умела играть роль.

\* \* \*

Через несколько дней фру Густава устроила так, что Марианна смогла встретиться с Йестой. Фру Густава послала за ним, пока заводчик уехал в длительную поездку к возчикам леса. Когда же Йеста появился в Бьерне, она ввела его в комнату дочери.

Йеста вошел, не поздоровавшись и не произнеся ни слова. Остановившись внизу, у дверей, он смотрел себе под ноги, словно строптивый мальчишка.

— Йеста! — воскликнула Марианна.

Сидя в кресле, она глядела на него, то ли насмехаясь над ним, то ли забавляясь.

— Да, так меня зовут.

— Иди сюда, подойди же ко мне, Йеста!

Он медленно подошел к ней, все еще не поднимая глаз.

— Подойди ближе! Встань на колени! Здесь!

— Боже мой, к чему все это? — воскликнул он, но послушался.

— Йеста, я хочу сказать тебе: по-моему, мне лучше было вернуться домой.

— Надо надеяться, что они больше не станут выбрасывать вас на мороз, фрекен Марианна.

— О, Йеста, ты больше не любишь меня? Ты думаешь, что я слишком безобразна?

Притянув к себе голову девушки, он поцеловал ее, но вид у него был по-прежнему холодный.

Она и вправду забавлялась. Если ему вздумалось ревновать ее к собственным родителям, чего же еще? Но это, верно, пройдет. А теперь ей казалось забавным попытаться вернуть его. Она и сама едва ли знала, зачем ей удерживать его подле себя, но ей хотелось этого. Она думала о том, что ему все же один-единственный раз удалось избавиться от нее самой. И он, верно, единственный, кто, может, должно быть, еще раз заставить ее забыть.

И вот она снова заговорила, стараясь изо всех сил вернуть его. Она сказала, что вовсе не собиралась навсегда покинуть его, но приличия ради им надо было на некоторое время расстаться. Ведь он и сам видел, что ее отец стоял на пороге безумия, что ее мать жила в постоянном страхе за свою жизнь. Он ведь должен понять, что она вынуждена была уехать домой.

И тут он дал выход своему гневу. Ни к чему ей лицемерить. Он не желает быть больше игрушкой в ее руках. Она покинула его, предала, как только у нее появилась возможность вернуться домой. И он больше не может любить ее! Когда он вернулся домой с охоты и узнал, что она уехала без единого прощального слова, не передав ему даже

привета, кровь застыла у него в жилах. Он чуть не умер! Не может он любить ту, которая причинила ему такое ужасное горе! Впрочем, она никогда не любила его! Она самая настоящая кокетка, которой просто нужно, чтобы и здесь, в родных краях, кто-то целовал и ласкал ее. Вот и все!

Так, стало быть, он считает, что в ее обычае позволять молодым людям целовать и ласкать себя?

О да, он так считает! Женщины вовсе не такие святые, какими кажутся с виду. Эгоистки и кокетки с головы до ног! Нет, если бы только она знала, каково ему было, когда он вернулся домой с охоты! Ему казалось, будто он бредет по колено в ледяной воде. Никогда не преодолеть ему эту страшную боль. Она будет преследовать его всю жизнь. Никогда больше не стать ему таким, как прежде.

Она пыталась объяснить ему, как все произошло. Она изо всех сил старалась уверить его, что по-прежнему ему верна.

Но ему уже все равно, потому что он больше не любит ее. Теперь он видит ее насквозь. Она — эгоистка. Она не любит его. Она уехала, даже не передав ему привета.

Он все снова и снова возвращался к этому ужасному событию. Она же почти наслаждалась этой сценой. Злиться на него она не могла. Она так прекрасно понимала его гнев! Окончательного же разрыва между ними она не боялась. В конце концов ее все-таки охватило беспокойство. Неужели он и в самом деле внезапно так сильно переменился, что она ему больше не по душе?

— Йеста! — произнесла она. — Разве я была эгоисткой, когда отправилась за майором в Ше? Я ведь прекрасно знала, что там свирепствует оспа. Да и не очень-то приятно бежать в лютый мороз по снегу в тонких башмачках.

— Любовь питается любовью, а не услугами и благодеяниями, — сказал Йеста.

— Ты хочешь, чтобы отныне мы стали чужими друг другу, Йеста?

— Да, я хочу этого.

— У Йесты Берлинга весьма переменчивый нрав.

— Да, мне это обычно вменяют в вину.

Он был холоден, и отогреть его было невозможно. Впрочем, сама она была еще холоднее. Дух самоанализа, притаившись в ее груди,



презрительно улыбался в ответ на ее попытки разыгрывать роль влюбленной.

— Йеста! — сказала она, используя еще одно доступное ей средство. — Я никогда по своей воле не наносила тебе незаслуженных оскорблений, если даже со стороны могло показаться, что это так. Прошу тебя: прости меня!

— Не могу!

Она знала: будь ее чувство подлинным и цельным, она бы вновь завоевала его. И она попыталась сыграть роль страстно влюбленной.

Взор ледяных глаз презрительно сверлил ее, но она, не желая потерять Йесту, все равно делала все новые и новые попытки.

— Не уходи, Йеста! Не уходи в гнев! Подумай, как я подурнела, как безобразна я стала! Никто больше не сможет полюбить меня!

— Я тоже не смогу! — заявил он. — Придется и тебе узнать, как и многим другим, каково это, когда попирают твое сердце!

— Йеста, я никогда не могла полюбить никого, кроме тебя. Прости меня! Не покидай меня! Ты — единственный, кто может спасти меня от самой себя!

Он отстранил ее от себя.

— Ты говоришь неправду, — сказал он с ледяным спокойствием. — Не знаю, что ты хочешь от меня, но вижу: ты лжешь. Почему ты хочешь удержать меня? Ты ведь так богата, что в женихах у тебя никогда недостатка не будет.

С этими словами он ушел.

И не успел он закрыть дверь, как глубокое сожаление об утрате и безмерное страдание наполнили сердце Марианны.

То была любовь, дитя ее собственного сердца, любовь, которая выбралась на свет божий из угла, куда взор ледяных глаз изгнал ее. И вот она пришла, долгожданная, пришла теперь, когда было уже слишком поздно. Она выступила вперед, серьезная и всемогущая, а ее пажи — сожаление об утрате и страдание — несли шлейф королевской мантии.

Когда Марианна с непоколебимой уверенностью могла сказать самой себе, что Йеста Берлинг покинул ее, она ощутила почти физическую боль, такую ужасную, что едва не впала в беспамятство. Прижимая руки к сердцу, она много-много часов просидела без слез на одном и том же месте, борясь с постигшим ее страшным горем.

И страдал не кто-либо другой и не какая-либо актриса, а она сама. Страдала она сама!

Зачем явился ее отец и разлучил их? Ведь ее любовь вовсе не умерла. Просто она, Марианна, была так слаба после болезни, что не могла распознать ее силу.

О, Боже, Боже, как могла она потерять его! О, Боже, как могла она так поздно прозреть!

О, он был для нее единственным, он был властелином ее сердца! От него она могла стерпеть все что угодно. Его жестокосердие, его недобрые слова лишь побуждают ее к смирению любви. Если бы он ударил ее, она подползла бы к нему, как собака, и поцеловала ему руку.

Схватив перо и бумагу, она увлеченно, с лихорадочной быстротой, начала писать. Сначала она стала молить его, но не о любви, а лишь о милосердии. Она написала нечто напоминавшее стихи.

Она не знала, что ей делать, чтобы смягчить снедавшую ее глухую боль.

Кончив писать, она подумала, что, если бы он прочитал это письмо, он все же поверил бы, что она любит его. Ну а почему не послать ему это предназначенное ему письмо? На следующий день она обязательно отошлет это письмо, и тогда, как она полагала, оно снова вернет ей Йесту.

На следующий день она бродила по дому, в страхе и борьбе с самой собой. Все, что она написала, казалось ей таким жалким и глупым. А в ее стихах — ни рифмы, ни размера, одна сплошная проза. Он лишь посмеется над такими стихами.

Пробудилась и ее уснувшая гордость. Если он больше не любит ее, то как же унижительно вымаливать его любовь.

Порой, правда, жизненная мудрость подсказывала ей: надо радоваться, что удалось выпутаться из всех этих сложных отношений с Йестой и из всех прочих грустных обстоятельств, которые их любовь повлекла бы за собой.

Однако же муки ее сердца были столь ужасны, что чувства в конце концов одержали верх. Через три дня после того, как Марианна, прозрев, осознала, что любит Йесту, она вложила стихи в конверт и написала на нем имя Йесты Берлинга. Но стихи так и не были отосланы. Прежде чем она нашла подходящего нарочного, чтобы передать письмо, ей довелось услышать о Йесте Берлинге много

такого, что она поняла: слишком поздно, он потерян для нее безвозвратно.

Но мысль о том, что она не отослала вовремя стихи, пока еще можно было вернуть его, стала величайшей трагедией ее жизни.

Вся ее боль сосредоточилась на одном: «Если б я не мешкала, если б я не мешкала столько дней!»

Стихи эти, адресованные Йесте слова, наверняка помогли бы ей вернуть счастье жизни или по крайней мере подлинную жизнь. Она не сомневалась, что они наверняка привели бы его к ней обратно.

Однако же горе сослужило ей ту же самую службу, что и любовь. Оно превратило ее в цельного человека, могущественного в своей беспредельной приверженности как добру, так и злу. Пламенные чувства струились в ее душе. И даже ледяной холод, исходящий от духа самоанализа, не в силах был их сдержать. Именно благодаря этому, несмотря на ее уродство, на ее долю выпало в жизни немало любви!

И все же, говорят, она никогда не смогла забыть Йесту Берлинга. Она горевала о нем так, как горюют об утраченной жизни.

А ее злосчастные стихи, которые когда-то многими читались и ходили по рукам, давным-давно забыты.

Однако же и ныне они кажутся мне весьма трогательными даже в том виде, в каком предстают предо мной. Хотя бумага, исписанная красивым, мелким почерком, уже пожелтела, а чернила выцвели. В этих злосчастных стихах скрыты страдания целой жизни. И я переписываю их с чувством какого-то смутного мистического страха, словно в них нашли приют какие-то тайные силы.

Прошу вас, прочтите эти стихи и подумайте о них. Кто знает, какую бы они возымели силу, будь они отосланы? Все же они исполнены глубокой страсти, достаточной для того, чтобы свидетельствовать об истинном чувстве. Возможно, они могли бы снова привести к ней Йесту.

Своей неловкой бесформенностью они в достаточной степени вызывают чувство умиления и нежности. Да никто и не пожелает им быть иными. Никто и не захочет увидеть их заключенными в оковы рифмы и размера. И все же как грустно думать о том, что, быть может, именно несовершенство этих стихов помешало ей отослать их вовремя.

Прошу вас, прочтите и полюбите их! Их написал человек, которого постигла страшная беда.

Ты любила, дитя, но уже никогда  
Не вернуть тебе счастья любви.  
Бурей страсти душа твоя потрясена  
И устало вкушает покой.  
Не видать тебе более счастья вершин,  
Ты устало вкушаешь покой.  
И в пучины страданий вовек не упасть,  
Никогда!

Ты любила, дитя, но уже никогда  
Не затеплится пламя в душе.  
Ты была словно поле пожухлой травы,  
Что пылает мгновенно и кратко,  
Черной гарью и дымом и ворохом искр  
Разгоняя испуганных птиц.  
Пусть вернуться они. Твой пожар отпылал.  
И уже не пылать ему вновь.

Ты любила, дитя, но уже никогда  
Не услышишь ты голос любви.  
О, угасли душевные силы твои,  
Как ребенок, что в классе пустом  
О свободе мечтает, об играх живых,  
Но никто не окликнет его.  
Так и силы души твоей — больше никто  
Не вспоминает о них.

О дитя, твой любимый покинул тебя.  
Он лишил тебя счастья любви,  
Столь любимый тобой словно крылья тебе подарил,  
И как птицу летать научил.  
Столь любимый тобой словно в бурю тебе подарил,  
Утопающей, чудо спасенья.  
Он ушел, он, единственный, кто отворил

Дверь твоего сердца.

Об одном умоляю тебя, любимый,  
Не обрушивай на меня бремя ненависти,  
Нет ничего слабее нашего сердца,  
Разве сможет оно жить с мыслью,  
Что кому-то оно ненавистно.

О любимый, коль хочешь меня погубить,  
Не ищи ни кинжал, ни веревку, ни яд.  
Дай мне знать, что ты хочешь, чтоб я исчезла  
С зеленых полей земных, из царства жизни,  
И я тотчас сойду в могилу.

Ты дал мне жизнь. Ты дал мне любовь.  
Теперь ты свой дар отбираешь. О, я знаю!  
Но не давай мне взамен ненависть,  
Я знаю — она убьет меня. [\[37\]](#)

## Глава десятая

### МОЛОДАЯ ГРАФИНЯ

Молодая графиня спит до десяти часов утра и желает всякий день видеть свежий хлеб на столе, накрытом к завтраку. Она вышивает тамбурным швом и любит читать стихи. Она ничего не смыслит в ткани или в стряпне. Молодая графиня очень избалована.

Однако же она чрезвычайно жизнерадостна и не скупится озарять своей веселостью всех и вся вокруг. Ей охотно прощают и долгий сон поутру, и пристрастие к свежему хлебу, потому что она расточает благодеяния беднякам и ласкова со всеми.

Отец молодой графини — шведский дворянин, который всю свою жизнь прожил в Италии — стране, пленившей его своей красотой и красотой одной из ее прекраснейших дочерей. Когда граф Хенрик Дона путешествовал по Италии, он был принят в доме этого высокородного дворянина, познакомился с его дочерьми, женился на одной из них и привез ее с собой в Швецию.

Она, с детства знавшая шведский язык и воспитанная в духе любви ко всему шведскому, прекрасно уживается на севере, в стране медведей. Ей так радостно в хороводе бездумных развлечений, кружащемся вокруг длинного озера Левен, что можно подумать, будто она всегда жила здесь, на севере. Между тем она не очень хорошо понимает, что значит быть графиней. Этому юному, радостному существу совершенно чужды и высокомерность, и чопорность, и снисходительное достоинство.

Но кто больше всех очарован молодой графиней — так это пожилые мужчины. Просто поразительно, каким огромным успехом она пользовалась у них! Стоило им увидеть ее на балу, и можно было ничуть не сомневаться в том, что все они — и судья из Мункеруда, и пробст из Бру, и Мельхиор Синклер, и капитан из Берги — в приступе величайшего доверия начнут тут же признаваться своим супругам, что доведись им встретиться с молодой графиней лет тридцать или сорок тому назад...

— Да. Но тогда ведь ее наверняка еще на свете не было! — говорят их пожилые жены.

И, встретившись следующий раз с молодой графиней, приводят ее в смущение, намекая на то, что, мол, она похищает у них сердца их престарелых супругов.

Пожилые жены смотрят на нее с некоторой опаской. Они ведь еще так прекрасно помнят ее свекровь, графиню Мэрту. Она была такая же веселая, и добрая, и всеми любимая, когда впервые появилась в Борге. А теперь она превратилась всего-навсего в тщеславную, падкую на развлечения кокетку, которая не в силах думать ни о чем другом, кроме собственных удовольствий. «Если бы только муж молодой графини мог приучить ее к работе! — говорили пожилые дамы. — Если бы только она научилась ткать!» Ведь умение ткать утешает в любом горе, оно поглощает все интересы, оно послужило спасением для множества женщин.

Да и самой молодой графине очень хочется стать хорошей хозяйкой. Ока не знает лучшей доли, чем быть счастливой женой и жить в хорошем, благоустроенном доме. И часто, приезжая на званые вечера, она подсаживается к пожилым дамам.

— Хенрику так хочется, чтоб я стала хорошей хозяйкой, — говорит она, — такой же, как и его мать. Научите меня ткать!

Тут старушки начинают вздыхать. Во-первых, из-за графа Хенрика, который считает свою мать хорошей хозяйкой. Во-вторых, из-за этого юного, несведущего существа, которое столь трудно посвятить в тайны такого сложного искусства. Стоит только заговорить с ней об утке и о пасмо, о рукоятках и наугольниках, о мотовиле, как у нее голова идет кругом. А еще хуже, когда речь заходит о таких вещах, как тканье камчатных скатертей и узоров «гусиный глазок» и «странник».

Все, кто только знает молодую графиню, не могут не удивляться тому, что она вышла замуж за глупого графа Хенрика.

Как несчастен тот, кто глуп! Жаль его, где бы он ни жил. А более всего жаль того, кто глуп и к тому же живет в Вермланде.

О глупости графа Хенрика ходит уже множество легенд, а ему всего-навсего двадцать лет с небольшим! Вот, к примеру, как несколько лет тому назад он развлекал Анну Шернхек во время прогулки на санях.

— А ты красива, Анна! Да, красива, — сказал он.

— Не болтай глупостей, Хенрик.

— Ты самая красивая во всем Вермланде.

— Вовсе нет!

— Во всяком случае, ты самая красивая из всех, кто едет с нами на прогулку.

— Ах, Хенрик, и это неправда!

— Ну, тогда ты самая красивая в наших санях. Этого уж ты не станешь отрицать.

Нет, этого она отрицать не стала.

Потому что граф Хенрик совсем не красив. Он столь же уродлив, сколь глуп. О нем говорят, что голова, сидящая на его тонкой шее, передается в роду Дона вот уже несколько столетий по наследству, от одного графа к другому. Потому-то мозг у последнего отпрыска этого рода так одряхлел и пришел в полную негодность. «Ведь совершенно ясно, что собственной головы у него нет, — говорят о нем люди. — Голову одолжил ему его отец. И потому-то он не смеет склонить ее, боится, что она отвалится. Да и кожа у него совсем пожелтела, а лоб весь в морщинах. Ведь головой этой пользовались и его отец, и дед. А иначе, почему бы волосы у него были такие редкие, губы такие бескровные, а подбородок такой заостренный?!»

Его постоянно окружают шутники, которые подстрекают его говорить глупости. Они запоминают их, а потом разносят по всей округе, немало добавляя и от себя.

Счастье, что он ничего этого не замечает. Все его манеры и осанка исполнены важной торжественности и чувства собственного достоинства. Разве ему может прийти в голову, что другие ведут себя совершенно иначе? Чувство собственного достоинства у него в крови: он движется размеренно, ходит, выпрямив спину, и никогда не поворачивает голову, не повернувшись одновременно всем туловищем.

Несколько лет назад он был в гостях у судьи с семейством в Мункеруде. Он приехал верхом, чопорно и гордо держась в седле. На нем был высокий цилиндр, желтые рейтузы и начищенные до блеска сапоги. Сначала все шло хорошо. Но когда он собрался уезжать, случилось так, что одна из веток, свисавшая с дерева в березовой аллее, сбила с него цилиндр. Он спешился, надел цилиндр и снова проехал под той же самой веткой. Цилиндр был снова сбит на землю. Это повторилось ровно четыре раза.

Тогда судья подошел к нему и сказал:



— А что, если вам, братец, в следующий раз объехать ветку стороной?

И вот на пятый раз он удачно проехал мимо ветки.

Однако же молодая графиня любит мужа, несмотря на его старческую голову. Когда она впервые увидела его там, на юге, она ведь не знала, что в собственной своей стране он был окружен лучезарным ореолом мученика глупости. Там, в Риме, над его головой сияло нечто подобное блеску юности, и они соединились при весьма романтических обстоятельствах. Надо было слышать рассказ графини о том, как графу Хенрику пришлось похитить ее. Монахи и кардиналы пришли в страшную ярость, узнав, что она хотела предать религию своей матери, которой прежде была привержена, и стать протестанткой. Вся чернь бушевала. Дворец ее отца был осажден. Хенрика преследовали бандиты. Мать и сестра умоляли ее отказаться от мысли об этом замужестве. Но отец ее пришел в бешенство от того, что какой-то там итальянский сброд может помешать ему отдать дочь в жены тому, кому он пожелает. И он приказал графу Хенрику похитить ее. Обвенчаться в Италии для них оказалось невозможным, потому что это тут же открылось бы. Тогда она и граф Хенрик тайком прокрались по боковым улочкам и всевозможным мрачным закоулкам в шведское консульство. И когда она там отреклась от католической веры и приняла протестантство, их мгновенно обвенчали. И тут же дорожная карета быстро помчала их на север. «Видите ли, провести оглашение в церкви уже не было времени. Это было просто невозможно, — имела обыкновение повторять молодая графиня. — А как же грустно было венчаться в консульстве, а не в одной из красивых итальянских церквей, но в противном случае Хенрик лишился бы меня. Там, на юге, все они такие пылкие: и родители, и кардиналы с монахами, все — такие пылкие. Потому-то все венчание должно было происходить в страшной тайне. И если бы людям удалось увидеть, как мы незаметно крадемся из дому, они наверняка ради того, чтобы спасти мою душу, убили бы нас обоих. Хенрик, разумеется, был уже предан анафеме».

Но молодая графиня продолжала любить своего мужа даже и тогда, когда они приехали домой в Борг и зажили более спокойной жизнью. Ей дорог блеск его древнего имени и его славные своими подвигами предки. Ей нравится видеть, как одно ее присутствие смягчает чопорность всего его существа. И слышать, как в голосе его

звучит нежность, когда он говорит с ней. К тому же он любит ее, он балует ее; и она ведь обвенчана с ним. Молодая графиня просто не может себе представить, чтобы замужняя женщина не любила своего мужа.

К тому же он, в известной степени, соответствует ее идеалу мужественности. Он честен и правдив. Он никогда не изменяет данному им слову. Она считает его истинным дворянином.

\* \* \*

Восьмого марта ленсман Шарлинг празднует свой день рождения. И тогда на холмы в Брубю съезжается множество гостей. В усадьбу ленсмана в тот день стекаются обычно гости с запада и востока, знакомые и незнакомые, званые и незваные. Все здесь желанные гости. Еды и спиртного припасается для всех вдоволь, а в бальном зале достаточно места для любителей потанцевать, прибывающих из семи церковных приходов Вермланда.

Молодая графиня тоже приезжает на бал: она постоянно ездит туда, где только ожидаются веселье и танцы.

Но на этот раз молодая графиня ничуть не рада празднику. Кажется, будто ее гнетет предчувствие того, что настает ее черед кинуться в дикую погоню за приключениями.

По дороге, сидя в санях, она наблюдала, как заходит солнце. Солнце садилось на почти безоблачном небе, не оставляя после себя ни единого золотистого ободка на легких тучах. Бледно-серая сумеречная дымка, гонимая холодными, порывистыми ветрами, окутывала всю окрестность.

Молодая графиня наблюдала, как сражаются меж собой день и ночь, как все живое охватывает ужас пред лицом двух борющихся могучих стихий — света и тьмы. Лошади спешили как можно скорее довести последний воз, чтобы наконец оказаться под крышей. Лесорубы торопились вернуться домой из леса, работницы — со скотного двора. На лесной опушке завывали дикие звери. Светлый день, любимец людей, терпел явное поражение.

Свет угас, краски поблекли. Единственное, что она видела, — это стужу и мрак. Все, на что она надеялась, все, что любила, все, что

делала, — также казалось ей покрытым серой пеленой сумерек. Как для нее, так и для всей природы то был час поражения, усталости, изнеможения.

Она думала о собственном сердце, которое в своей трепетной радости облекало все кругом в пурпур и золото. Она думала о том, что, быть может, это сердце когда-нибудь утратит свою силу и перестанет озарять своим светом ее внутренний мир, ее душу.

— Ах, эта слабость, слабость моего сердца! — сказала она самой себе. — Ты, богиня гнетущего мрака и сумерек! Когда-нибудь ты станешь властительницей моей души! Тогда жизнь предстанет предо мной в сером и уродливом свете, какая она, быть может, и есть на самом деле. Тогда мои волосы поседеют, спина согнется, а мозг лишится своей силы!

В тот же миг сани въехали во двор усадьбы ленсмана. И молодая графиня, случайно подняв голову, тут же увидела за решетчатым окном одного из флигелей чье-то лицо и угрюмый взгляд.

То было лицо майорши из Экебю. И молодая женщина почувствовала, что вся ее радость от предстоящего сегодняшним вечером веселья начинает улетучиваться.

Легко быть веселым, когда не знаешь горя, а только слышишь, как о нем говорят, словно о госте из дальней, чужой стороны. Куда труднее сохранять радость в сердце, когда сталкиваешься лицом к лицу с черной, как ночь, угрюмо глядящей на тебя бедой.

Графиня, разумеется, знает, что ленсман Шарлинг посадил майоршу под стражу и что с нее будет снято дознание по делу о всех действиях, учиненных ею в Экебю в ту самую ночь, когда там был большой бал. Но графиня не думала, что майоршу будут держать под стражей здесь, на дворе у ленсмана, так близко от бального зала, что оттуда можно заглянуть в ее темницу. Держать так близко, что она услышит звуки танцевальной музыки и веселый шум голосов. И мысль о майорше окончательно убила всю радость графини.

Молодая графиня умеет, конечно, танцевать и вальс, и кадрили. Она, разумеется, отлично танцует и англес, и менуэт. Но в перерыве между танцами она непременно старается тайком проскользнуть к окну и взглянуть вверх, на боковую пристройку. В зарешеченном оконце горит свет, и можно видеть, как майорша ходит в своей

темнице взад и вперед. Кажется, что она вовсе не отдыхает, а непрерывно ходит взад и вперед.

Графиню совершенно не радуют танцы. Она думает лишь о том, что майорша ходит взад и вперед в своей темнице, словно пойманный зверь в клетке. Ее удивляет, как могут танцевать другие гости. Наверняка многих, точно так же, как и ее, волнует, что майорша находится так близко от них. И все же среди них нет ни одного, кто бы выдал свое волнение. До чего же невозмутимые люди живут в Вермланде!

Но после того, как графиня выглядывает в окно, она чувствует, что с каждым разом ноги ее все тяжелее ступают в танце, а смех застревает в горле.

Жена ленсмана обратила внимание на графиню, когда та вытирала запотевшее стекло, чтобы посмотреть в окно. Подойдя к ней, она прошептала:

— Какое несчастье! Какое же это несчастье!

— Мне кажется, сегодня просто невозможно танцевать! — шепчет графиня ей в ответ.

— Это вовсе не моя вина, что у нас здесь бал, когда она сидит там взаперти, — продолжает фру Шарлинг. — С тех пор как ее взяли под стражу, она все время находилась в Карлстаде. Но скоро должно начаться дознание, и поэтому ее сегодня перевели сюда. Мы не могли позволить запереть ее в эту ужасную темницу при доме заседаний суда, и потому ее поместили у нас в усадьбе в ткацкой, во флигеле. Она жила бы в моей гостиной, графиня, если бы все эти люди не приехали сюда именно сегодня. Вы, графиня, едва ли знакомы с майоршей, но для нас для всех она была все равно что мать и королева. Что она должна думать о нас обо всех, кто здесь танцует, в то время как ее постигло такое несчастье! Слава богу, лишь немногие из гостей знают, что она там сидит.

— Ее вообще нельзя было брать под стражу, — строго замечает молодая графиня.

— Это совершенно справедливо, но другого средства не было. А не то могли бы случиться еще худшие беды! Ни один человек не мог бы помешать ей поджечь свой собственный сноп соломы и прогнать кавалеров. Но майор рыскал по всей округе, охотясь за ней. Бог знает, что бы он еще придумал, если б ее не взяли под стражу. Шарлингу

пришлось вынести немало неприятностей за то, что он арестовал майоршу. Даже в Карлстаде им были недовольны: почему, мол, он не смотрел сквозь пальцы на все, что творилось в Экебю? Но он считал, что так будет лучше всего. И так он и сделал.

— Но теперь ее, верно, осудят? — спрашивает графиня.

— О нет, осудить ее не осудят. Майоршу из Экебю, верно, признают невиновной; но то, что ей пришлось перенести за эти дни, слишком тяжело для нее. Боюсь, она может утратить рассудок, не иначе. Подумайте, графиня, каково этой гордой госпоже терпеть, что с ней обращаются, будто с последней преступницей? Мне кажется, было бы лучше всего, если б ей дали возможность избежать наказания. Быть может, она и сама сумела бы спастись от майора!

— Выпустите ее на волю! — говорит графиня.

— Это ведь может сделать кто угодно, кроме ленсмана или его жены, — шепчет фру Шарлинг. — Мы-то, именно мы обязаны ее караулить. Особенно нынче ночью, когда здесь столько ее друзей! Ее караулят двое, а двери в ее темницу заперты и закрыты на засов, так что никто не может войти к ней. Но если бы кто-нибудь вызволил ее оттуда, мы оба — и Шарлинг, и я — были бы только рады.

— А нельзя ли мне пойти к ней? — спрашивает молодая графиня.

Фру Шарлинг нервно хватает ее за руку и выводит из зала. В прихожей они набрасывают на себя шали, выходят из дома и поспешно пересекают двор.

— Еще неизвестно, станет ли она с нами разговаривать, — говорит жена ленсмана. — Но все-таки она увидит, что мы не забыли ее.

Они входят в первую комнату флигеля, где двое мужчин караулят возле заложенных на засов дверей, и беспрепятственно входят к майорше. Она заперта в большой горнице, заполненной ткацкими станками, а также разной утварью и инструментами. Собственно говоря, горница эта предназначена лишь для ткацкой, но окно там зарешечено, а на дверях — прочные замки, чтобы, в случае крайней необходимости, ее можно было использовать как тюрьму.

Там, в этой горнице, майорша продолжает ходить взад и вперед, не обращая особого внимания на вошедших.

Все эти дни она в своем воображении совершала длительное путешествие. Ей не приходит в голову ничего иного, кроме того, что ей

надо пройти те двадцать миль, которые отделяют ее от лесов Эльвдалена. Там на севере ее ждет мать. У майорши нет времени отдыхать, ей необходимо продолжать путь. Она страшно спешит, она неутомимо мчится вперед. Ее матери уже более девяноста лет. Она скоро умрет.

И майорша ходит взад и вперед, меряя длину горницы альнами. А теперь она отсчитывает пройденные круги, складывая альны в фамны, а фамны в полумили и мили.

Тяжким и долгим кажется ей путь, и все же она не смеет отдыхать. Она идет, увязая по колено в глубоких сугробах. Там, где она проходит, она слышит шум вечных лесов над своей головой. Она делает привалы в хижине финна и в шалаше углежога. Порой, когда на расстоянии множества миль ей не встречается ни одной живой души, ни единого человеческого жилья, ей приходится устраивать себе ложе из сломанных веток под корнями вывороченной ели.

И вот наконец-то она достигает цели, двадцать миль пройдены, лес кончается, и взору ее открывается красный дом, стоящий на заснеженном дворе. Перепрыгивая множество мелких порогов, пенясь, стремительно мчится вперед Кларэльвен, и по хорошо знакомому ей шуму реки она понимает, что она — дома.

И мать майорши, которая видит свою дочь с протянутой рукой, именно такой, какой ей хотелось видеть майоршу, выходит ей навстречу.

Но, зайдя столь далеко в своем воображении, майорша всякий раз поднимает голову, оглядывается вокруг, видит запертые двери и вспоминает, где она находится.

Тут она задает себе вопрос, уж не сходит ли она с ума, и присаживается, чтобы отдохнуть и подумать. Но немного погодя она уже опять в пути и подсчитывает альны и фамны, превращая их в полумили и мили. Она снова делает недолгие привалы в хижинах финнов и не спит ни днем ни ночью до тех пор, пока снова не проходит те же двадцать миль.

За все время, что она находится под стражей, она почти не спала.

И обе женщины, пришедшие ее навестить, с ужасом смотрят на нее.

Потом молодая графиня всегда будет вспоминать майоршу, неустанно ходящую взад и вперед по горнице. Она часто будет видеть

ее в своих снах и просыпаться от этого страшного зрелища с глазами, мокрыми от слез, и со стонами на устах.

Старая майорша ужасающе опустилась: волосы ее поредели, и отдельные пряди вылезают из тонкой косы. Кожа на лице обвисла, щеки впали, одежда порвана и смята. Но вместе с тем в ней сохранились еще отдельные черты высокопоставленной благодетельницы и повелительницы. Она вызывала не только сострадание, но и уважение.

Особенно запомнились графине ее глаза — глубоко запавшие, как бы обращенные внутрь, глаза еще не окончательно утратившие свет разума, но вот-вот готовые угаснуть. А в самой глубине ее глаз — настороженная искорка дикой ярости; и надобно было бояться того, что в следующий миг старая майорша может наброситься на вас и начать кусаться и царапаться.

Они простояли там довольно долго, как вдруг майорша внезапно подошла вплотную к молодой графине и окинула ее суровым взглядом. Графиня отступила назад и схватила фру Шарлинг за руку.

Черты лица майорши вдруг обрели живость, стали выразительными, а глаза ее вполне разумно смотрели на мир.

— О нет, о нет, — говорит она, улыбаясь, — все-таки еще не все так плохо, милая моя юная дама!

Она приглашает их сесть и сама тоже садится. Она как бы надевает на себя маску, как бы окружает себя аурой старомодной величавости, хорошо известной со времен богатых пиров в Экебю и королевских балов в резиденции губернатора в Карлстаде. Обе женщины забывают и про ее лохмотья, и про то, что она содержится под стражей. Они видят лишь самую гордую и самую богатую женщину Вермланда.

— Дорогая графиня! — говорит майорша. — Что может побудить вас оставить танцы ради того, чтобы навестить такую одинокую дряхлую старуху, как я? Вы, должно быть, очень добры!

Графиня Элисабет не может даже произнести ни слова в ответ. От волнения у нее пропадает голос. Вместо нее отвечает фру Шарлинг: мол, графиня не могла танцевать, так как все время думала о майорше.

— Дорогая фру Шарлинг, — отвечает майорша, — неужели дела мои так плохи и так все ужасно, что я мешаю веселиться молодым? Не плачьте обо мне, дорогая юная графиня, — продолжает она, — ведь я

— злая старуха, которая заслужила свою участь. Ведь вы же не считаете, что бить свою мать — справедливо?

— Нет, но...

Майорша прерывает ее и отбрасывает со лба светлые кудрявые локоны графини.

— Ах, дитя мое, дитя мое, — говорит она, — как вы могли выйти замуж за глупого Хенрика Дону?

— Но я люблю его.

— Я вижу, как это случилось, вижу, — продолжает майорша. — Вы — просто милое дитя, и ничего больше. Вы плачете с теми, кто печален, и смеетесь с теми, кто весел. И вынуждены были ответить «да» самому первому, кто сказал вам: «Я люблю тебя». Да, разумеется, это так. Идите же теперь и вернитесь к танцам, моя дорогая юная графиня! Танцуйте и будьте веселы! Ничего дурного в вас нет.

— Но мне хотелось бы сделать что-нибудь для вас, майорша!

— Дитя мое! — торжественно провозглашает майорша. — Жила-была в Вермланде одна старая женщина, которая держала у себя в плену все силы небесные, все небесные ветры. Теперь она сама сидит взаперти, а все силы, все ветры гуляют на воле. Что ж тут удивительного, если во всей округе свирепствует буря?

Я — стара, графиня, и я уже видела бури на своем веку. Я знакома с ними. Я знаю, что грохочущая буря Господня грянет и над нами. Порой она раздражается над великими государствами, а порой и над малыми, забытыми Богом. Но Божья буря не щадит никого. Ни великих, ни малых. Славно видеть, как надвигается Божья буря!

О ты, Божья буря, ты, благословенный шквал Господний, промчись над землей! Все живое, глаголющее в воздухе и в воде! Внемлите, ужасайтесь! Пусть грянет гром небесный! Пусть Божья буря вселяет страх! Пусть грозные шквалы пронесутся над этим краем, сметая шаткие стены, взламывая заржавелые замки и обрушивая на землю покосившиеся дома!

Страх овладеет всей округой! Маленькие птичьи гнезда, утратив опору, упадут с ветвей. С ужасающим шумом свалится на землю гнездо ястреба с вершины сосны. Страшный вихрь, завывая, достанет своим языком дракона даже гнездо филина в горной расселине.

Мы думаем, что у нас все хорошо, но это не так. Нам нужна Божья буря. Я понимаю это и не жалею. Я хочу только одного, чтобы



мне дали добраться к моей матери.

Внезапно она сникла.

— А теперь, молодая графиня, уходите! — говорит она. — У меня нет больше времени! Мне пора отправляться в путь. Теперь уходите и опасайтесь тех, кто скачет верхом на грозовых тучах!

И она возобновляет свое странствие. Щеки ее обвисают, взор снова устремлен внутрь. Графиня и фру Шарлинг вынуждены оставить ее.

Как только они опять смешались с толпой танцующих, молодая графиня тут же подошла к Йесте Берлингу.

— Привет вам, господин Берлинг, от майорши, — говорит она. — Майорша ждет, что вы, господин Берлинг, вызволите ее из темницы.

— В таком случае ей придется долго ждать, графиня!

— О, помогите ей, господин Берлинг!

Йеста мрачно смотрит прямо перед собой.

— Нет, — говорит он. — С какой стати я должен ей помогать? Разве я обязан ей благодарностью? Все, что она сделала для меня, послужило лишь моей гибели.

— Но, господин Берлинг...

— Если бы не она, — запальчиво говорит он, — я бы давным-давно спал вечным сном там, на севере — в вечных лесах. Неужто я должен рисковать жизнью из-за того, что она сделала меня кавалером в Экебю? Уж не думаете ли вы, графиня, что подобное звание приносит мне громкую славу?

Молодая графиня, не говоря ни слова, отворачивается от него. Ее обуревают гнев.

Она возвращается к своему месту, преисполненная горьких мыслей о кавалерах. Они явились сюда с валторнами и скрипками, намереваясь водить смычком по струнам до тех пор, пока конский волос, из которого они сработаны, не изотрется, и ничуть не думая о том, что веселые звуки музыки доносятся и до жалкой темницы, где майорша сидит под стражей. Они явились сюда, чтобы танцевать до тех пор, пока подошвы их башмаков не обратятся в прах. Они и думать не думают о том, что их старая благодетельница может увидеть их тени, мелькающие за запотевшими стеклами.

Ах, каким серым и омерзительным стал окружающий майоршу мир! Ах, какая страшная тень беды и жестокости омрачила душу

молодой графини!

Через некоторое время Йеста подходит к графине и приглашает ее танцевать.

Она резко отказывает ему.

— Вы не желаете танцевать со мной, графиня? — спрашивает он, и лицо его при этом багровеет.

— Ни с вами, ни с одним другим кавалером из Экебю, — отрезает она.

— Стало быть, мы не достойны такой чести?

— Дело вовсе не в чести, господин Берлинг. Просто я не испытываю ни малейшего удовольствия в танцах с теми, кто забывает все заповеди благодарности.

Йеста резко поворачивается на каблуках и уходит.

Эту сцену слышат и видят многие. Все считают, что графиня права. Неблагодарность и бессердечие кавалеров по отношению к майорше вызвали всеобщее негодование.

Но в те дни Йеста — опаснее любого хищного зверя в лесу. С тех пор как он вернулся с охоты и не нашел Марианны, сердце его превратилось в открытую кровоточащую рану. Его обуревают неистребимое желание нанести кому-нибудь кровную обиду, а также желание сеять повсюду горе и муки.

«Что ж, если молодой графине угодно, пусть будет так, — говорит он самому себе. — Но и ей придется поплатиться за это». Молодой графине по душе похищения. Что ж, такое удовольствие ей можно доставить. И он тоже не возражает против нового приключения. Целых восемь дней он ходил, страдая из-за женщины. Это довольно долго для него. Он подзывает полковника Бееренкройца и могучего капитана Кристиана Берга, а также ленивого кузена Кристофера, которые никогда не могут устоять против самых безрассудных приключений, и держит с ними совет, как достойно отомстить за поруганную честь кавалерского флигеля.

\* \* \*

И вот наконец праздник подходит к концу. Длинная вереница саней въезжает в усадьбу. Мужчины облачаются в шубы. Дамы с

трудом отыскивают свою теплую одежду в отчаянном беспорядке гардеробной.

Молодая графиня торопится как можно скорее уехать с этого ненавистного бала. Она успевает одеться раньше других дам. Она уже стоит посреди гардеробной и смотрит, улыбаясь, на всеобщую суматоху, когда внезапно двери распахиваются и на пороге появляется Йеста Берлинг.

Ни один мужчина не имеет права входить в эту комнату. Пожилые дамы уже сняли свои нарядные чепцы и стоят, обнажив редкие волосы. А молодые подвернули под шубами подола платьев, чтобы накрахмаленные воланы не смялись в санях.

Однако же, не обращая ни малейшего внимания на панические, останавливающие его возгласы, Йеста Берлинг бросается к графине и хватает ее.

Подняв графиню на руки, он стремительно кидается из гардеробной в прихожую, а оттуда на лестницу.

Его не могут остановить крики испуганных женщин. Те, что бегут за ним следом, видят лишь, как он бросается в сани, держа в объятиях графиню.

Они слышат, как кучер щелкает кнутом, и видят, как стремительно рвется с места конь. Они знают кучера, это — Бееренкройц. Они знают коня, это — Дон Жуан. И глубоко опечаленные судьбой графини, дамы зовут мужчин.

Не теряя времени на долгие расспросы, те бросаются к саням и с графом во главе мчатся вдогонку за похитителем.

А он лежит в санях, крепко держа молодую графиню. Позабыв все горести, он, хмельной от пьянящей радости приключения, во все горло распевает песню о любви и розах.

Он крепко прижимает к себе графиню, хотя она и не делает ни малейшей попытки вырваться. Ее лицо, бледное и окаменевшее, прижато к его груди.

Ну что остается делать мужчине, когда так близко от себя он видит бледное, беспомощное лицо, видит откиннутые назад светлые волосы, обычно прикрывающие белый, сверкающий лоб, и тяжелые веки, прячущие плутовские искорки в серых глазах?!

Что остается делать мужчине, когда алые уста блекнут у него на глазах?!

Целовать, конечно же, целовать и блекнувшие уста, и сомкнутые веки, и белый лоб!

Но тут молодая женщина приходит в себя. Она пытается вырваться из объятий Йесты. Она извивается, как угорь, она вся — натянутая пружина. И ему изо всех сил приходится бороться с ней, чтоб она не выбросилась на дорогу, пока он не принуждает ее, усмиренную и дрожащую, забиться в угол саней.

— Посмотри-ка! — с невозмутимым спокойствием говорит Йеста Бееренкройцу. — Графиня — уже третья, кого мы с Дон Жуаном увозим в санях нынешней зимой. Но те две — висли у меня на шее и осыпали поцелуями, а эта не желает ни танцевать со мной, ни целоваться. Можешь ты понять этих женщин, Бееренкройц?

Когда Йеста съехал со двора, сопровождаемый криками женщин и проклятьями мужчин, звоном бубенцов и щелканьем хлыста, а все вокруг слилось в один сплошной вопль и пришло в страшнейшее смятение, стражам майорши тоже стало как-то не по себе.

«Что там происходит? — думали они. — Чего все так кричат?»

Внезапно двери распахнулись, и чей-то голос крикнул им:

— Она уехала! Он увез ее!

Вскочив на ноги, стражи, совершенно потеряв голову, кинулись бежать, не поглядев даже — майоршу ли увезли или кого-нибудь другого. К счастью, им даже удалось вскочить в какие-то стремительно пронесившиеся мимо сани. Они проехали довольно далеко, прежде чем узнали, за кем гонятся.

Между тем капитан Берг и кузен Кристофер спокойно подошли к ткацкой, взломали замок и открыли дверь.

— Фру майорша, вы свободны! — сказали они.

Она вышла из своей темницы. Они стояли, прямые как палки, по обе стороны двери и не смотрели на нее.

— Лошадь и сани поданы, фру майорша!

Тогда она вышла во двор, села в сани и укатила. Никто за ней не гнался. Никто не знал, куда она поехала.

Тем временем Дон Жуан, миновав Брубю, мчится уже под гору, к скованному льдом Левену. Величавый и гордый рысак летит стрелой. Бодрящий, холодный как лед ветер обвеивает щеки, свистит в ушах ездоков. Звенят бубенцы. Сияют луна и звезды. Голубовато-белый снежный покров мерцает волшебным блеском.

Йеста чувствует, что в душе его пробуждаются поэтические струны.

— Смотри, Бееренкройц, вот это жизнь! Точно так же, как Дон Жуан мчит эту молодую женщину, так летит и время, унося с собой человека. Ты — неизбежная необходимость, которая направляет наш путь. Я — желание, которое обуздывает волю. А она — бессильная жертва, которая падает все ниже и ниже.

— Перестань болтать! — взревел Бееренкройц. — Нас нагоняют!

И внезапным ударом кнута он подстрекает Дон Жуана, вынуждая его скакать все быстрее и быстрее.

— Там — волки, здесь — добыча! — восклицает Йеста. — Дон Жуан, мой мальчик, представь себе, что ты — молодой лось! Проносись через заросли, переходи вброд болото, прыгай с вершины горного хребта вниз в прозрачное озеро, переплывай его с горделиво поднятой головой и тут же исчезни! Исчезни в спасительном мраке елового леса! Беги, Дон Жуан, старый похититель женщин! Беги, как молодой лось!

Бешеная скачка наполняет радостью неистовое сердце Йесты. Крики преследователей — для него все равно что песнь торжества. Радость переполняет неистовое сердце Йесты, когда он чувствует, как дрожит всем телом от ужаса графиня. И когда он слышит, как стучат ее зубы!

Внезапно железные объятия, в которых Йеста держал молодую женщину, разжимаются. Он становится во весь рост в санях, размахивая шапкой.

— Я — Йеста Берлинг! — кричит он. — Владелец десяти тысяч поцелуев и тридцати тысяч любовных писем! Ура Йесте Берлингу! Пусть поймают его тот, кто сможет!

И в следующий миг он уже шепчет на ухо графине:

— Разве не хороша эта прогулка? Не правда ли, настоящая королевская прогулка? По ту сторону Левена простирается Венерн, а за Венерном — море. И повсюду — бескрайние просторы прозрачного иссиня-черного льда, а там, еще дальше — целый сверкающий мир. Наплывающий грохот ломающихся льдин, пронзительные крики за нашей спиной, падающие звезды в вышине и звон бубенцов! Вперед! Вперед и только вперед! Не угодно ли вам вкусить всю радость этой прогулки, моя юная, прекрасная дама?

Он снова выпустил ее из рук. Она резко отталкивает его от себя.

В следующий миг он уже стоит на коленях у ее ног.

— Я — негодяй, негодяй! Но вам, графиня, не следовало дразнить меня. Вы стояли там, предо мной, такая гордая, прелестная! И даже не подозревали, что грозная длань кавалера может протянуться и к вам. Вас любят и небо, и земля! И вы не должны отягощать бремя тех, кого презирают и небо, и земля!

Он хватает ее руки и подносит их к лицу.

— Если бы вы только знали, — говорит он, — что значит чувствовать себя отверженным! Тут уж не спрашиваешь самого себя — хорошо ли ты поступаешь или плохо. Тут уж не до вопросов!

В тот же миг он замечает, что руки у нее голые. Он вытаскивает из кармана огромные меховые рукавицы и надевает их на ее ручки.

Сделав это, он вдруг успокаивается и садится в санях как можно дальше от молодой графини.

— Вам нечего бояться, графиня, — говорит он. — Разве вы не видите, куда мы едем? Вы ведь можете понять, что мы никогда не посмеем причинить вам зла!

И вот она, почти обезумевшая от ужаса, видит, что они уже переехали озеро и что Дон Жуан с трудом поднимается по крутому холму к Боргу.

Дон Жуан останавливается у самой лестницы, ведущей в графскую усадьбу, и кавалеры помогают графине выбраться из саней у ворот ее родного дома.

Окруженная толпой выбежавших ей навстречу слуг, она вновь обретает силу духа и разума.

— Позаботься о лошади, Андерссон! — говорит она своему кучеру. — Надеюсь, господа, которые привезли меня, будут столь любезны, что зайдут к нам в дом? Граф скоро приедет!

— Как вам угодно, графиня! — соглашается Йеста и тотчас же выходит из саней.

Ни минуты не колеблясь, Бееренкройц бросает вожжи. Молодая графиня идет впереди и с плохо скрываемым злорадством указывает им дорогу в зал.

Графиня, несомненно, полагала, что кавалеры станут колебаться — принять ли им приглашение дожидаться графа.

А приняли они ее приглашение, не зная, как строг и справедлив ее муж. Потому-то они и не побоялись розыска, который он учинит им. Ведь они насильно схватили ее и увезли. Ей хочется услышать, как он запретит им навсегда переступить порог ее дома.

Ей захочется видеть, как муж призовет слуг и прикажет им не пускать этих людей в ворота Борга. Ей хочется услышать, как он выразит незванным гостям свое презрение не только за причиненное ей зло, но и за их недостойное поведение в отношении старой майорши, их благодетельницы.

Он, столь снисходительный и нежный с ней, наверняка ополчится со всей своей суровой строгостью на ее обидчиков. Любовь придаст огня его речам. Ведь он бережет ее, считает самым утонченным и возвышенным чувством на свете. И не потерпит, чтобы такие оголтелые грубияны набрасывались на нее, словно хищные птицы на воробья. Она пылала жаждой мести.

Однако же Бееренкройц — полковник с густыми седыми усами — бесстрашно вошел в столовую и устремился прямо к пылающему камину, который велено было всегда зажигать к ее возвращению с балов и приемов.

Йеста остался в темноте, у двери, и молча смотрел на графиню, когда лакей помогал ей снять шубу. И вот у него вдруг стало так радостно на сердце, как не бывало уже много-много лет. Хотя он и сам не знал, как это его осенило, он понял вдруг, что у графини — прекраснейшая душа. Это было ему ясно, как божий день, это было истинным откровением для него.

Пока еще душа ее томилась в оковах и дремала, но она вот-вот очнется и проявит себя. Он так радовался, что открыл всю эту чистоту, кротость и невинность, таившиеся в святая святых ее души! Он готов был даже посмеяться над ней за ее негодующий вид, пылающие щеки и нахмуренные брови.

«Ты и сама не знаешь, до чего же ты мила и добра», — думал он.

Та сторона ее существа, которая была обращена к видимому, внешнему миру, никогда не сможет оценить по достоинству ее внутреннее «я». Но он, Йеста Берлинг, с этого часа должен служить ей так, как служат всему прекрасному и божественному. И незачем ему раскаиваться, что совсем недавно он так ужасно обошелся с ней. Не дрожи она так от страха, не оттолкни его так резко, не почувствуй он,

как все ее существо встревожено его грубостью, ему никогда бы не узнать, сколь утонченна и благородна ее душа.

Никогда бы раньше он о ней этого не подумал. Ведь ему казалось, что она любила лишь танцы да увеселения. И, кроме того, ведь ее угораздило выйти замуж за этого глупого графа Хенрика!

Да, это так. Но теперь он будет ее рабом до самой своей смерти, ее верным рабом, и никем иным, как говаривал, бывало, капитан Кристиан.

Йеста Берлинг, сидя у дверей и сложив руки, совершал своего рода богослужение. С того самого дня, когда он впервые почувствовал, как его осенило пылающее пламя вдохновения, он не знал подобной святости в душе. Ничто не могло помешать ему, хотя появился уже сам граф Дона со множеством людей, осыпавших проклятиями кавалеров, шалости которых приводили всех в ужасное негодование.

Он предоставил Бееренкройцу честь принять на себя первый удар. А тот, закаленный во множестве приключений, с невозмутимым спокойствием стоял у камина. Поставив ногу на решетку камина, опершись локтем о колено и подперев подбородок рукой, он смотрел на ввергнувшихся в столовую людей.

— Что все это значит? — взревел, обращаясь к нему, щупленький граф.

— Это значит, — ответил тот, — что пока на свете существуют женщины, будут существовать и сумасброды, которые пляшут под их дудку.

Молодой граф побагровел.

— Я спрашиваю, что это значит? — повторил он.

— Я тоже спрашиваю, что это значит?! — презрительно усмехаясь, ответил Бееренкройц. — Я спрашиваю, почему ваша супруга, граф Хенрик Дона, не пожелала танцевать с Йестой Берлингом?

Граф вопрошающе обернулся к жене.

— Я не могла этого сделать, Хенрик! — воскликнула она. — Я не могла танцевать ни с ним и ни с одним из кавалеров. Я думала о майорше; ведь это они допустили, чтоб она томилась под стражей.

Маленький граф еще больше выпрямил свой негнувшийся стан и еще выше поднял свою старческую голову.



— Мы, кавалеры, — заявил Бееренкройц, — никому не позволяем бесчестить нас. Тот, кто не желает танцевать с нами, должен прокатиться с нами в санях! Графине не причинен ни малейший ущерб, и потому с этим делом можно покончить.

— Нет! — возразил граф. — Нельзя с ним покончить! За поступки своей супруги отвечаю я. А теперь я спрашиваю, почему вы, Йеста Берлинг, не обратились ко мне, чтобы получить сатисфакцию за нанесенную вам обиду, коль скоро моя жена оскорбила вас?

Бееренкройц улыбнулся.

— Я спрашиваю вас! — повторил граф.

— Когда с лиса хотят содрать шкуру, у него не спрашивают позволения на это.

Граф приложил руку к своей узкой груди.

— Я слышу справедливым человеком! — воскликнул он. — Я — судья своим слугам. Почему же я не могу быть судьей и собственной жене! Кавалеры не вправе судить ее! Наказание, которому они подвергли ее, я не признаю. Можете считать, что этого наказания никогда и не было, господа! Его вовсе и не было!

Граф выкрикнул все эти слова высочайшим фальцетом. Бееренкройц окинул быстрым взглядом собравшихся. Среди них — там присутствовали и Синтрам, и Даниель Бендикс, и Дальберг, и много других людей — не было ни одного из сопровождавших графа в погоне за женой, кто бы не ухмылялся тому, как полковник одурачил глупого Хенрика Дона.

Молодая же графиня не сразу поняла, что происходит. Чего, собственно говоря, ее муж не признает? И чего вовсе не было? Уж не ее ли страхов, уж не железных ли рук Йесты, обхвативших ее хрупкое тело, его дикого пения, бессвязных речей, безумных поцелуев? Неужто этого вовсе не было? Неужто в этот вечер не было ничего, не подвластного серой богине сумерек?

— Но, Хенрик...

— Молчать! — воскликнул он. И опять выпрямился, чтобы произнести обвинительную речь в ее адрес. — Горе тебе, женщина, вознамерившаяся стать судьей мужчин! — сказал он. — Горе тебе, что ты — моя жена — смеешь оскорблять того, кому я охотно пожимаю руку! Какое тебе дело до того, что кавалеры посадили майоршу под стражу? Разве они были не вправе это сделать? Никогда тебе не

понять, какой гнев охватывает душу мужчины, когда он слышит о супружеской неверности! Уж не намерена ли ты сама ступить на этот дурной путь, раз ты берешь под защиту такую женщину?!

— Но, Хенрик...

Она плачет, как ребенок, протягивая руки, словно для того, чтобы отвратить от себя злобные слова мужа. Возможно, она никогда прежде не слышала таких суровых слов, обращенных к ней. Она была так беспомощна среди этих суровых мужчин! А теперь еще ее единственный защитник ополчился на нее! Никогда больше ее сердце не найдет в себе силы озарять мир!

— Но, Хенрик, кто как не ты должен защищать меня!

Внимание Йесты Берлинга к тому, что происходило, пробудилось лишь теперь, когда было уже слишком поздно. По правде говоря, он и сам не знал, что ему делать. Он так желал ей добра! Но он не смел стать между мужем и женой.

— А где Йеста Берлинг? — спросил граф.

— Здесь! — ответил Йеста, сделав жалкую попытку обратить все в шутку. — Вы, граф, кажется, держали здесь речь, а я заснул. Что вы скажете, граф, если мы поедем сейчас домой, а вы тоже сможете пойти и лечь спать?

— Йеста Берлинг, поскольку моя супруга, графиня, отказалась танцевать с тобой, я велю ей поцеловать твою руку и попросить у тебя прощения.

— Мой дорогой граф Хенрик, — сказал, улыбаясь, Йеста. — Молодой женщине не подобает целовать руку мужчине. Вчера рука моя была красной от крови подстреленного лося, а ночью — черной от сажи после драки с углежогом. Вы, граф, вынесли благородный и великодушный приговор. Я удовлетворен им. Идем, Бееренкройц!

Граф преградил ему путь.

— Не уходи! — сказал он. — Моя жена должна меня слушаться. Я желаю, чтобы моя супруга поняла, к чему приводит своеволие.

Йеста растерянно остановился. Графиня стояла бледная как смерть, но она даже не шевельнулась.

— Подойди к нему! — сурово приказал ей граф.

— Хенрик! Я не могу!

— Можешь! — еще более сурово произнес граф. — Можешь. Но я знаю, тебе хочется заставить меня драться с этим человеком. Потому

что ты по какой-то своей женской прихоти его не любишь. Ну что ж! Если ты не желаешь дать ему сатисфакцию, это сделаю я. Вам, женщинам, всегда необыкновенно приятно, если кого-нибудь убивают из-за вас. Ты совершила промах и не желаешь его искупить. Стало быть, я должен сделать это за тебя. Я буду драться на дуэли, графиня. И через несколько часов стану окровавленным трупом.

Она посмотрела на него долгим взглядом. И увидела своего мужа таким, каким он был на самом деле — глупым, трусливым, надутым, высокомерным и тщеславным, одним словом, самым жалким из людей.

— Успокойся! — сказала она, став внезапно холодной, как лед. — Я сделаю, что ты хочешь.

Но тут Йеста Берлинг совершенно утратил терпение.

— Нет, графиня, вы не сделаете этого. Нет, ни за что! Вы ведь всего-навсего дитя — слабое, невинное дитя, а вас заставляют целовать мою руку! У вас такая чистая, прекрасная душа! Никогда больше я не подойду к вам! О, никогда! Я приношу смерть всему доброму и невинному. Вы не должны прикасаться ко мне. Я трепещу перед вами, как огонь перед водой. Нет, вы не должны!

Он спрятал руки за спину.

— Для меня теперь это ровно ничего не значит, господин Берлинг. Теперь мне все безразлично. Я прошу у вас прощения. Я прошу вас, позвольте мне поцеловать вашу руку!

Йеста по-прежнему держал руки за спиной. Оценивая происходящее, он постепенно приближался к двери.

— Если ты не примешь извинение, которое предлагает тебе моя супруга, я буду драться с тобой, Йеста Берлинг. И, кроме того, мне придется подвергнуть ее другой, еще более тяжелой каре.

Графиня пожала плечами.

— Он помешался от трусости, — прошептала она.

Но тут же, повысив голос, воскликнула:

— Пусть будет так! Для меня уже ровно ничего не значит, если я буду унижена. Именно этого, господин Берлинг, вы все время и хотели.

— Я хотел этого? — воскликнул Йеста. — Вы полагаете, что я этого хотел?! Ну а если у меня вообще не останется рук для того, чтобы их целовать, вы, верно, поймете, что я этого вовсе не хотел!

Бросившись к камину, он сунул свои руки в огонь. Их охватило пламя, кожа сморщилась, ногти затрещали. Но в тот же миг

Бееренкройц схватил его за шиворот и непринужденно отшвырнул на пол. Йеста натолкнулся на стул и плюхнулся на него. Ему было стыдно за свою глупую выходку. Не подумает ли она, что, с его стороны, это лишь самонадеянное, пустое хвастовство? Поступить так в комнате, битком набитой людьми, означало выставить себя перед всеми глупым хвастуном. Ведь ему не угрожала и тень опасности.

Но не успел он подумать, что ему пора подняться со стула, как графиня уже стояла подле него на коленях. Схватив его обгорелые, покрытые сажей руки, она рассматривала их.

— Я поцелую их, непременно поцелую, как только они перестанут болеть и поправятся! — воскликнула она.

И слезы потоком заструились у нее из глаз, когда она увидела, как на обожженной коже его рук вздуваются пузыри.

Вот так он стал для нее воплощением неизведанного блаженства. Неужели подобное может еще свершиться на этой земле?! Неужели такой подвиг может быть свершен ради нее?! Нет, подумать только, какой человек! Какой же это человек! Способный на все, великий, как в добром, так и в злом; человек, свершающий славные, блистательные подвиги, произносящий прекрасные, высокие слова! Он — герой, истинный герой, созданный совсем из другого теста, чем все остальные! Раб минутного каприза, минутной радости, дикий и грозный; но обладающий бешеной, не останавливающейся ни перед чем силой!

Она была так подавлена весь этот вечер, не видя ничего, кроме горя, жестокости и трусости. Теперь все было забыто. Молодая графиня снова радовалась тому, что живет на свете. Богиня сумерек была побеждена. Молодая графиня снова увидела, что мир озарен ярким светом и блистает всеми красками.

\* \* \*

Это случилось той же самой ночью, наверху, в кавалерском флигеле.

Громко крича, кавалеры призывали всяческие муки и проклятия на голову Йесты Берлинга. Пожилые господа страшно хотели спать, но это было невозможно. Йеста не давал им ни минуты покоя. Тщетно

задергивали они пологи, прикрывавшие кровати, тщетно гасили свечи. Он все равно болтал и болтал без умолку.

В данный момент он возвещал им, каким ангелом небесным была юная графиня и как он преклоняется перед ней. Он будет служить ей, обожать ее. Теперь он доволен, что все его прежние возлюбленные оставили его. Теперь он сможет посвятить ей всю свою жизнь. Она, разумеется, презирает его. Но он будет счастлив, если сможет как верный пес лежать у ее ног.

Обращали ли они когда-нибудь внимание на остров Лаген на озере Левен? Видели ли они его с юга, где шероховатая скала круто поднимается из воды? Видели ли они его с севера, где скала покатым склоном мирно спускается в озеро? И где узкие песчаные отмели, поросшие высоченными чудесными елями, извиваются вдоль прибрежной кромки воды, образуя причудливейшие мелкие озерца? Там, на вершине крутой скалы, где еще сохранились развалины старинных укреплений морских разбойников, он построит для молодой графини замок, замок из мрамора. Он высечет прямо в скале широкие лестницы, которые будут спускаться к самому озеру и куда смогут причаливать украшенные вымпелами суда. В замке будут сверкающие залы и высокие башни с позолоченными шпилями и зубцами на стенах. Замок будет подобающим жилищем для молодой графини. Старая ветхая лачуга на мысе Борг не достойна даже того, чтобы туда хоть раз ступила ее нога.

Пока Йеста разглагольствовал так некоторое время, из-за пологов в желтую клетку то тут, то там стал раздаваться громкий храп. Но большинство кавалеров бранились и жаловались друг другу на Йесту и его безрассудства.

— О, люди, — торжественно говорит он им. — Я вижу зеленую юдоль земную, покрытую творениями рук человеческих либо руинами их бывших творений. Пирамиды отягощают эту землю, башня Вавилонская пронзила облака, великолепные храмы и серые замки поднялись из руин. Но разве есть что-либо на свете, построенное руками человеческими, что не разрушилось бы или не разрушится когда-нибудь? О, люди, бросьте лопатку каменщика и форму для отливки глины! Накиньте лучше фартук каменщика на голову, ложитесь на землю и стройте светлые замки мечтаний! Зачем вашей

душе храмы из камня и глины? Учитесь строить вечные, нетленные замки, сотканные из видений и мечтаний!

С этими словами он, смеясь, лег спать.

Когда вскоре после этого графиня узнала, что майорша освобождена, она пригласила всех кавалеров к себе на обед.

С этого и началась долгая дружба между ней и Йестой Берлингом.

## Глава одиннадцатая

# СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ

О, дети нынешних лет!

Я не могу поведать вам ничего нового, разве что старые, почти забытые истории. Предания и легенды эти я слышала еще в детской, когда мы, малыши, сидели на низеньких скамеечках вокруг сказительницы с седыми волосами. Я слышала их у яркого пламени очага в горнице, где беседовали меж собой работники и торпари. Пар шел от их мокрой одежды, а они вытаскивали ножи из висевших на шее кожаных чехлов и намазывали ими масло на толстые ломти свежего хлеба. Я слышала эти предания и легенды в зале, где пожилые господа, сидя в креслах-качалках, взбодренные горячим, дымящимся пуншем, рассказывали о минувших временах.

И если такому ребенку, наслушавшемуся историй сказительницы, работников и пожилых господ, доводилось зимним вечером заглянуть в окно, он видел на краю небосклона вовсе не тучи. Облака становились кавалерами, мчавшимися по тверди небесной в своих шатких одноколках, звезды — восковыми свечами, зажигающимися в старинном графском поместье на мысе Борг. А педаль прялки, жужжавшей в соседней комнате, попирала в их воображении нога старой Ульрики Дильнер. Потому что голова ребенка была забита образами людей минувших лет. Ими он жил и о них мечтал.

Но стоило такого ребенка, душа которого была насыщена преданиями и легендами, послать на темный чердак, в заповедную кладовую за льном или сухарями, его маленькие ножки начинали торопиться. И тогда он стремительно слетал вниз по лестнице и через прихожую в кухню. Ведь там, наверху, в темноте, ему невольно приходили на ум все старые истории, слышанные им о злом заводчике из Форса, который вступил в сговор с дьяволом.

Прах злого Синтрама уже давным-давно покоится на кладбище в Свартше, но никто не верит, что душа его призвана к Богу, как это написано на надгробном камне.

При жизни он был одним из тех, к дому которого в долгие дождливые воскресные дни подъезжала иногда тяжелая карета,

запряженная черными лошадьми. Одетый в черное элегантный господин выходил тогда из экипажа и помогал игрой в карты и кости коротать тягостные послеобеденные часы, которые своим однообразием приводили хозяина дома в отчаяние. Игра затягивалась далеко за полночь, а когда незнакомец на рассвете покидал дом, он всегда оставлял после себя какой-нибудь прощальный подарок, приносящий несчастье.

До тех пор пока Синтрам жил на земле, он был одним из тех, чье прибытие всегда предвещали духи. Появлению таких людей всегда предшествовала разная нечисть: въезжали в усадьбу экипажи, щелкали бичи, голоса духов слышались на лестнице, двери прихожей открывались и закрывались. От страшного шума просыпались люди и собаки. Но никто не появлялся. Это была лишь всякая нечисть, предшествовавшая появлению таких людей.

Просто невероятно, какой ужас испытывали те, кого навещали злые духи! А что за огромный черный пес появлялся в Форсе во времена Синтрама? У него были страшные искрящиеся глаза и окровавленный язык, свисавший из тяжело дышащей пасти. Однажды, как раз когда работники были на поварне и обедали там, пес начал скрестись в дверь. И все служанки закричали от ужаса. Но самый рослый и самый сильный из работников вытащил из очага горящую головню, распахнул дверь и швырнул головню прямо в пасть псу.

И тогда пес удрал со страшным воем, из его пасти валили пламя и дым, вокруг него вихрем кружились искры, а следы его лап на дороге сверкали, как огонь.

А разве не ужасно то, что всякий раз, когда заводчик возвращался домой из поездки, упряжка его была просто неузнаваема. Уезжал он на лошадях, а возвращался ночью в экипаже, запряженном черными волами. Люди, жившие близ проселочной дороги, не раз видели, как на ночном небе вырисовывались огромные черные рога, когда он проезжал мимо. Они слышали мычание животных и ужасались длинной веренице искр, высекаемых из сухого гравия копытами волов и колесами экипажа.

Да, маленьким ножкам приходилось торопиться, чтоб побыстрее пересечь большой темный чердак. Подумать только, а что, если такое страшилище, если тот, чье имя и произнести-то нельзя, вдруг появится на чердаке из темного утла! Разве можно быть уверенным, что это не



случится?! Ведь он являлся не одним только злодеям. Разве Ульрика Дильнер не видела его?! И она, и Анна Шернхек могли бы поведать о том, как им довелось увидеть его.

\* \* \*

Друзья мои, дети человеческие! Все, кто танцует, все, кто смеется! Прошу вас от всего сердца: танцуйте осторожно, смейтесь потише! Ведь столько несчастий может произойти оттого, что ваши атласные башмачки на тоненькой подошве вместо твердых половиц могут попирать чье-либо чувствительное сердце. А ваш веселый серебристый смех довести кого-нибудь до отчаяния.

Так наверняка однажды и случилось. Видно, ножки молодых девиц слишком жестко попирали сердце старой Ульрики Дильнер, а их надменный смех слишком резал ее слух. Но только внезапно ею овладело непреодолимое и страстное желание стать замужней женщиной со всеми ее титулами и преимуществами положения. И вот в конце концов она благосклонно отнеслась к затянувшемуся сватовству злого Синтрама, дала согласие на брак с ним и переехала к нему в Форс. Так она рассталась со старыми друзьями из Берги, с милыми ее сердцу хлопотами по хозяйству и вечными заботами о хлебе насущном.

Этот брак состоялся быстро и весело. Синтрам посватался на Рождество, а в феврале сыграли свадьбу. В тот год Анна Шернхек жила в доме капитана Угглы. Она могла прекрасно заменить старую Ульрику, и та без всяких угрызений совести могла уехать из Берги — завоевывать титул жены и хозяйки.

Без угрызений совести, но не без некоторого раскаяния. Усадьба, куда она перебралась, была не самым лучшим местом на свете; в огромных пустых комнатах было страшно и жутко. Как только темнело, Ульрика начинала дрожать от ужаса. Она просто погибала от тоски по своему старому дому.

Но самыми невыносимыми были долгие послеобеденные часы в воскресенье. Часы эти тянулись бесконечно, точно так же, как и длинная вереница мыслей в голове Ульрики.

И вот однажды в марте, когда Синтрам не вернулся домой к обеду, случилось так, что она поднялась в гостиную на верхнем этаже и села за клавикорды. Это было ее последнее утешение. Клавикорды с изображенными на белой крышке флейтистом и пастушкой, были ее собственные, унаследованные из родного дома. Клавикордам она могла поведать все свои беды, они понимали ее.

Ну разве это не жалкое и в то же время не смешное зрелище? Знаете, что она играет? Всего-навсего веселую польку! И это она, чье сердце так удручено!

Больше она ничего играть не умеет. Еще до того, как пальцы ее перестали сгибаться от мутовки, которой она взбалтывала муку с водою или молоком, либо от большого ножа для жаркого, ей довелось выучить только эту одну-единственную пьесу. Эта полька так твердо заучена, что пальцы Ульрики сами ее играют. Но никакой другой музыкальной пьесы она не знает — ни траурного марша, ни исполненной страсти сонаты, ни даже жалобной народной песни. Она играет только польку.

Она играет ее всякий раз, когда ей есть что доверить старым клавикордам. Она играет ее и тогда, когда хочется плакать и когда хочется смеяться. Она играла эту польку, когда справляла свою свадьбу. И тогда, когда впервые вошла в собственный дом; точно так же она играет ее и теперь.

Старые клавиши, верно, хорошо понимают ее: она несчастна, несчастна до мозга костей.

Проезжающий мимо путник, слышав звуки польки, может подумать, что в доме злого заводчика дают бал соседям и родственникам, так весело звучит там музыка. У этой польки невероятно задорная и веселая мелодия. Играя эту польку, Ульрика в минувшие дни заманивала беззаботность в Бергу и изгоняла оттуда голод. Когда раздавались звуки этой польки, все тут же пускались в пляс. Полька исцеляла ревматизм, сковывавший суставы, и вовлекала в пляс восьмидесятилетних кавалеров. Чудилось, будто весь мир хочет танцевать под эту польку, — так весело она звучала. Однако же теперь, играя эту пьесу, старая Ульрика плакала.

Вокруг нее — одни лишь насупленные, ворчливые слуги и злобные животные. Она тоскует по дружелюбным лицам и ласковым

улыбкам. Всю эту отчаянную тоску и должна была передать веселая полька.

Людам трудно свыкнуться с тем, что она теперь — фру Синтрам. Все, как и прежде, называют ее мамзель Дильнер. Видите ли, некоторые даже думают, что веселая мелодия польки выражает ее раскаяние в том, что тщеславие подстрекнуло ее погнаться за титулом и положением жены.

Старая Ульрика играет так, словно хочет, чтобы лопнули струны клавикордов. Сколько всего должны заглушить звуки польки: жалобные крики нищих крестьян, проклятия изнуренных торпарей, презрительный смех строптивых слуг и прежде всего — стыд; стыд за то, что она — жена злого человека.

Под эти звуки Йеста Берлинг вел в танце юную графиню Дона. Марианна Синклер и ее бесчисленные поклонники танцевали под эту польку; и майорша из Экебю двигалась в такт этой музыке, когда был жив еще красавец Альтрингер. Ульрика мысленно видит их всех, пару за парой, соединенных молодостью и красотой, видит, как они вихрем проносятся мимо. Поток веселья струится от них к ней, а от нее к ним. Это от ее польки пылают их щеки и сияют их глаза. Теперь же от всего этого она отлучена! Так пусть же гремит эта полька! Сколько воспоминаний, сколько сладостных воспоминаний нужно ей заглушить!

Она играет, чтобы заглушить свой страх. Ведь сердце ее готово разорваться от ужаса, когда она видит черного пса, когда слышит, как слуги шепчутся про черных волов. Все снова и снова играет она польку, чтобы заглушить свой страх.

Но тут вдруг она замечает, что ее муж вернулся домой. Она слышит, как он входит в гостиную и садится в качалку. Она так хорошо различает покачивание кресла, когда от тесного соприкосновения с половицами скрипят полозья, что ей даже не нужно оборачиваться...

Она играет, а меж тем покачиванье и поскрипыванье продолжается. Она уже больше не слышит звуков музыки, а лишь покачиванье и поскрипывание.

Бедная старая Ульрика, она так измучена, так одинока, так беспомощна; она сбилась с пути во вражеском стане. И у нее нет ни друга, которому можно пожаловаться, ни утешителя. У нее нет ничего,

кроме старых дребезжащих клавиатур, которые в ответ на все ее сетования играют одну лишь польку!

Это все равно что смех во все горло на похоронах или застольная песня в церкви.

Кресло меж тем продолжает покачиваться и поскрипывать, но внезапно в ответ на ее сетования ей слышится, будто клавиатуры смеются над ней. И посреди такта она умолкает. Поднявшись, она оглядывается.

И вот, мгновение спустя, она уже лежит на полу в полном беспомоществе. В качалке сидит вовсе не ее муж, а тот, другой, кого дети не смеют назвать по имени, тот, кто напугал бы их до смерти, встретить они его на безлюдном чердаке.

Может ли тот, чья голова с детства набита преданиями и легендами, избавиться когда-нибудь от их власти? На дворе воет ночной ветер, фикус и олеандр хлещут жесткими листьями столбы, поддерживающие балкон, темный небесный свод высится над цепью гор. В комнате горит лампа, шторы подняты, а я сижу одиноко в ночи и пишу эти строки. Я уже стара и, казалось бы, умудрена годами, я чувствую, как по спине у меня пробегают точно такие же мурашки, как и тогда, когда я впервые услышала эту историю. И мне приходится непрестанно отрывать глаза от работы, чтобы посмотреть, не вошел ли кто-нибудь в комнату и не спрятался ли там, в углу. Мне приходится заглядывать и на балкон, чтобы проверить, не просовывается ли голова черного пса сквозь решетку балкона. Страх, который просыпается от старых историй в часы, когда ночь особенно темна, а одиночество безысходно, никогда не покидает меня. И в конце концов он становится таким невероятным, таким огромным, что приходится отбросить перо, забраться в постель и накрыться с головой одеялом.

Величайшим, тайным чудом моего детства было то, что Ульрика Дильнер пережила этот страшный послеобеденный час. Я бы выжить не смогла.

К счастью, вскоре после этого в Форс приехала Анна Шернхек; она нашла Ульрику на полу гостиной и снова вернула ее к жизни. Но со мной бы так благополучно не кончилось. Я бы уже была мертва.

Хочу пожелать вам, дорогие друзья, никогда не видеть слез на глазах старого человека. Хочу пожелать, чтобы вами никогда не овладевало чувство беспомощности, когда седая голова склоняется к

вам на грудь, ища опоры, а старые руки обвивают ваши в немой мольбе. Пусть никогда не доведется вам увидеть старых людей в горе, которому вы не в силах помочь!

Что рядом с этим горькие жалобы молодых? Ведь молодые полны сил, полны надежды. Когда же плачут старики — это ужасное несчастье! Какое отчаяние охватывает вас, когда те, кто поддерживал вас в дни юности, понижают в бессильной скорби!

Анна Шернхек сидела, слушая рассказ старой Ульрики, и не видела никакого средства спасти ее.

Старая женщина дрожала и плакала. Глаза ее дико блуждали по сторонам. Она все говорила и говорила, иногда так сбивчиво, словно не понимая, где она. Тысячи морщинок, избородивших ее лицо, стали вдвое глубже, чем прежде. Накладные локоны, свесившиеся ей на глаза, распрямились от слез, а вся ее длинная, тощая фигура сотрясалась от рыданий.

Наконец Анне удалось положить конец ее сетованиям. Сама она между тем твердо решила: она заберет Ульрику с собой обратно в Бергу. Пусть она — жена Синтрама, но жить в Форсе ей больше невозможно. Заводчик сведет ее с ума, если она останется с ним. Анна Шернхек приняла решение увезти отсюда старую Ульрику.

О, как же радовалась бедняжка своему счастью и как ужасалась ему! Но, конечно, она не посмеет бросить мужа и дом. Ведь он может послать за ней вдогонку большого черного пса!

Но Анне Шернхек удалось то шутками, то угрозами сломить ее сопротивление, и через полчаса Ульрика уже сидела рядом с ней в санях. Анна правила сама, а старая Диса тащила сани. Дорога была плохая, так как была уже вторая половина марта. Но старой Ульрике было хорошо ехать в знакомых санях, которые везла знакомая лошадь: ведь она верой и правдой служила в Берге, по крайней мере ничуть не меньше времени, чем сама Ульрика.

Поскольку Ульрика, эта старая домашняя раба, обладала веселым нравом и неустрашимым духом, она перестала плакать уже тогда, когда они проезжали мимо Арвидсторпа. У Хегберга она уже смеялась, а когда они проезжали мимо Мункебю, Ульрика начала рассказывать о том, как все было в дни ее юности, когда она служила у графини в усадьбе Сванехольм.

Они выехали на каменистую, перерезанную холмами дорогу в пустынных безлюдных краях к северу от Мункебю. Дорога взбиралась на все пригорки и холмы, которые находились поблизости и до которых она могла добраться; медленно извиваясь, влезала дорога на их вершины. А затем стремительно неслась вниз по крутому склону. Потом, выпрямившись изо всех сил, она торопливо бежала по ровной глади долины для того, чтобы тотчас найти новый крутой склон, на который она могла бы взобраться вновь.

Они как раз поднимались в гору у Вестраторпа, когда старая Ульрика, внезапно смолкнув, крепко схватила Анну за руку. Не спуская глаз с большого черного пса у обочины дороги, она сказала:

— Смотри!

Пес помчался в лесную чащу, и Анна не очень хорошо разглядела его.

— Гони! — крикнула Ульрика. — Гони что есть сил! Синтрам сейчас же получит весть о том, что я уехала!

Анна пыталась смехом рассеять ее страх, но Ульрика упрямо стояла на своем.

— Вот увидишь, скоро мы услышим звон бубенцов его лошади. Мы услышим этот звон прежде, чем поднимемся на вершину следующего холма.

И вот, когда Диса на миг остановилась, чтобы перевести дух на вершине холма Элофсбаккен, под ними за их спиной раздался звон бубенцов.

Старая Ульрика совершенно обезумела от страха. Она дрожала, всхлипывала и сетовала, как недавно в гостиной Форса. Анна стала понукать Дису, но та лишь повернула голову и посмотрела на нее с невыразимым удивлением. Неужто она думает, что Диса забыла, когда надо бежать, а когда идти шагом? Неужто она собирается учить ее, как тащить сани, учить ее, которая знает здесь каждый камень, каждый холм, каждый мостик и каждые ворота уже более двадцати лет?

Между тем звон бубенцов все приближался.

— Это — он, это — он! Я узнаю звон его бубенцов! — причитает старая Ульрика.

Звон бубенцов все приближается. Порой он так неестественно громок, что Анна оборачивается и смотрит, касается ли морда лошади Синтрама ее саней. Порой звон бубенцов замолкает вдали. Они

слышат его то справа, то слева от дороги, но не видят никаких ездоков. Кажется, будто их преследует лишь одинокий звон бубенцов.

Так бывает по ночам, когда возвращаешься домой из гостей, так было и теперь. Бубенцы названивают разные мелодии, они поют, разговаривают, отвечают. А лесное эхо вторит всему этому шуму. Анна Шернхек почти желает, чтобы преследующие их наконец подъехали совсем близко и чтобы она увидела самого Синтрама и его рыжую лошадь. Ей становится жутко от этого ужасающего звона бубенцов.

— Эти бубенцы замучили меня, — говорит она.

И бубенцы тотчас подхватывают ее слова. «Измучили меня», — названивают они. «Измучили меня, измучили, измучили, измучили меня», — распевают они на разные лады.

Не так давно Анна ехала по этой самой дороге, преследуемая волками. Она видела в темноте, как в широко разинутых волчьих пастьях сверкали белые клыки, она думала тогда, что вот-вот она будет растерзана лесными хищниками, но тогда она не боялась. Более прекрасной ночи ей в жизни не выпадало. Могуч и прекрасен был конь, который вез ее, могуч и прекрасен был человек, деливший с ней все радости приключения.

А сейчас с ней — эта старая лошадь и эта старая, беспомощная, дрожащая спутница! Анна чувствует себя с ними такой же беспомощной, и ей хочется плакать. И некуда укрыться от этого ужасного, раздражающего звона бубенцов.

И вот она останавливает лошадь и выходит из саней. Этому надо положить конец. Зачем ей бежать, словно она страшится этого злого презренного негодяя?

Вдруг она видит, как из все сгущающегося мрака появляется лошадиная морда, за ней лошадиное туловище, потом целиком сани, а в санях — сам Синтрам.

Между тем она обращает внимание на то, что все они — и лошадь, и сани, и заводчик — появились вовсе не со стороны проселочной дороги. Скорее всего они были сотворены прямо здесь, у нее на глазах, и возникали из мрака.

Анна бросает вожжи Ульрике и идет навстречу Синтраму.

Он придерживает лошадь.

— Ну и ну, — говорит он, — и везет же мне, бедняге! Позвольте мне, дорогая фрекен Шернхек, пересадить моего спутника в ваши

сани! Ему надо нынче вечером попасть в Бергу, а я тороплюсь домой.

— А где же ваш спутник, господин заводчик?

Синтрам отдергивает медвежью полость и указывает Анне на человека, спящего в санях.

— Он немного под хмельком, — говорит Синтрам, — но какое это имеет значение, он, верно, спит. А вообще-то, это ваш старый знакомый, фрекен Шернхек, это — Йеста Берлинг.

Анна вздрагивает.

— Ну, вот что я вам скажу, — продолжает Синтрам. — Тот, кто покидает своего возлюбленного, продает его тем самым дьяволу. Так и я когда-то попал в лапы дьявола. Некоторые, правда, думают, что так и надо поступать. Что отвергать — это, мол, добро, а любить — зло.

— Что вы имеете в виду, господин заводчик? О чем вы говорите? — глубоко потрясенная, спросила Анна.

— Я имею в виду то, что вам не следовало допустить, чтоб Йеста Берлинг уехал от вас, фрекен Анна.

— Так было угодно Богу, господин заводчик!

— Стало быть, так оно и есть: отвергать — добро, а любить — зло. Доброму боженьке не по душе, когда люди счастливы. Вот он и посылает им вслед волков. Ну а что, если это сделал не Бог, фрекен Анна? Почему бы мне с таким же успехом не призвать с гор Доврефельль моих маленьких серых ягнят, чтобы натравить их на молодого человека и девушку? Подумать только, а что, если это я подослал волков, так как не хотел терять ни одного из своих приспешников?! Подумать только, а что, если это сделал все же не Бог?!

— Вы не должны сеять сомнения в моей душе, — говорит Анна слабым голосом, — тогда я погибла.

— Взгляните-ка сюда, — говорит Синтрам, склоняясь над спящим Йестой Берлингом, — взгляните-ка на его мизинец! Вот эта маленькая ранка никогда не заживет. Из нее мы взяли кровь, когда он подписывал со мной контракт. Он — мой! В крови заключена особая сила. Он — мой, и только любовь может освободить его. Но если мне удастся сохранить Йесту для себя, он станет чудесным малым.

Анна Шернхек борется изо всех сил, чтобы стряхнуть с себя колдовские чары. Это просто наваждение, настоящее наваждение. Никто не в силах отречься от собственной души и продать ее мерзкому



искусителю. Но Анна не властна над своими мыслями, сумерки все сильнее давят на нее, а лес так мрачен и молчалив. Она не может избавиться от ужасающего страха этого вечернего часа.

— Быть может, вы считаете, — продолжает заводчик, — что в нем уже нечего губить? Не думайте так! Разве он мучил крестьян, разве изменял впадшим в нищету друзьям, разве вел нечестную игру? Разве, фрекен Анна, разве он был когда-нибудь любовником замужней женщины?

— Я думаю, господин заводчик, что вы и есть сам нечистый!

— Давайте меняться, фрекен Анна! Берите Йесту Берлинга! Берите его и выходите за него замуж! Сохраните его для себя, а обитателям Берги дайте денег! Я отказываюсь от него ради вас, а вы ведь знаете, что он — мой. Подумайте о том, что не Бог послал вслед за вами волков той самой ночью, и давайте меняться!

— А что вы, патрон, попросите взамен?

Синтрам ухмыльнулся.

— Да, что я хочу попросить? О, я довольствуюсь самой малостью. Я хочу просить только эту старуху, которая сидит в ваших санях, фрекен Анна.

— Сатана, искуситель! — кричит Анна. — Сгинь! Неужели я предам старого друга, который надеется на меня! Неужели я оставлю ее тебе, чтобы ты замучил ее, довел до безумия!

— Ну, ну, ну, спокойней, фрекен Анна! Подумайте о сделке, которую я вам предлагаю! С одной стороны — чудесный молодой человек, с другой — изможденная старая карга. Либо он, либо она. Кого из них, фрекен, вы отдаете мне?

Анна Шернхек хохочет в полном отчаянии.

— Неужели вы, патрон, считаете, что мы так и будем стоять здесь и меняться душами точно так же, как меняются лошаадьми на ярмарке в Брубю?

— Именно так, да. Но если вы, фрекен Анна, желаете, мы устроим все это иначе. Нам надо подумать о чести имени Шернхек.

Тут он начинает громким голосом звать жену, которая по-прежнему сидит в санях Анны. И, к неописуемому ужасу девушки, Ульрика тотчас же вылезает из саней и, дрожа от страха, подходит к ним.

— Ну и ну, смотрите, какая послушная жена! — говорит Синтрам. — Но это не ваша заслуга, фрекен Анна, что она подходит, когда ее зовет муж. А сейчас я вынесу Йесту из саней и оставлю его здесь. Я оставляю его *навсегда*, фрекен Анна. Пусть забирает его тот, кто захочет.

Синтрам наклоняется, чтобы вытащить Йесту из саней, но тут Анна приближает голову чуть ли не к самому его лицу, вливается в злодея глазами и шипит, как разъяренный зверь:

— Во имя Бога, сейчас же поезжай домой! Ты что, не знаешь, кто сидит у тебя дома в гостиной, в качалке, и ждет тебя? Неужто ты заставишь ждать такого важного господина?

Изо всех кошмаров этого дня самым, пожалуй, ужасным было видеть, какое впечатление произвели ее слова на злобного Синтрама. Он хватает вожжи, поворачивает сани и несется домой, погоняя лошадь ударами хлыста и дикими криками. Лошадь несется во весь опор по ужасно крутому, опасному для жизни склону, меж тем как ее копыта и полозья саней высекают длинную вереницу искр на тонком мартовском насте.

Анна Шернхек и Ульрика Дильнер остаются на дороге одни; они стоят, не произнося ни слова. Ульрика трепещет от безумного взгляда Анны, а той нечего сказать этой жалкой старухе, ради которой она пожертвовала любимым.

Ей хотелось плакать, бушевать, кататься по дороге, посыпая снегом и песком, словно прахом, голову.

Прежде она знала лишь сладость отречения, теперь она познала его горечь. Она пожертвовала своей любовью! Но даже это ничтожно по сравнению с тем, что она пожертвовала душой любимого!

Все так же молча поехали они в Бергу, но когда перед ними открылись двери зала, Анна Шернхек в первый и единственный раз в жизни упала в обморок. Там, мирно беседуя, сидели вместе и Синтрам, и Йеста Берлинг. Перед ними стоял поднос с горячим пуншем. Они были здесь по крайней мере уже час.

Анна Шернхек упала в обморок, но старая Ульрика сохраняла невозмутимое спокойствие. Она-то хорошо понимала, *что с тем, кто гнался за ними* на проселочной дороге, *было нечисто*. И вообще, без нечистой силы тут не обошлось.

Потом капитан и капитанша, став посредниками, договорились с заводчиком, что он дозволит старой Ульрике остаться в Берге. Тот с полной готовностью и вполне добродушно согласился, сказав, что вовсе не желает, чтоб она свихнулась.

\* \* \*

О, дети нынешних времен!

Я вовсе не требую, чтобы кто-нибудь из вас поверил старым историям! Они ведь всего-навсего ложь и вымысел. Ну а раскаянье и сожаления, которые не перестают тревожить сердце Ульрики, пока оно не начинает жаловаться и стонать, как жалуются и стонут скрипучие половицы под полозьями качалки в зале у Синтрама? Ну а сомнения, которые преследовали Анну Шернхек, подобно бубенцам, назойливо звучащим в ее ушах в глухом лесу? Станут ли они также когда-нибудь ложью и вымыслом?

## Глава двенадцатая

# ИСТОРИЯ ЭББЫ ДОНЫ

До чего же прекрасен мыс на восточном берегу Левена! Тот самый, изрезанный заливами, горделивый мыс, который омывают шаловливые волны и где расположено старинное поместье Борг.

И самый лучший вид на озеро Левен открывается только с вершины этого мыса. Но все же остерегайся ходить туда, на этот мыс!

Никто даже представить себе не может, до чего же прелестно озеро моих грез — Левен! Но это только до тех пор, пока с мыса Борг не увидишь, как над его гладкой, зеркальной поверхностью скользят утренние туманы. Или пока из окон маленького голубого кабинетика, где живет столько воспоминаний, не увидишь, как воды озера отражают бледно-розовый закат вечернего солнца.

И я снова и снова повторяю: не ходи туда!

Потому что, быть может, тебя охватит страстное желание остаться в этих печальных, видевших столько горя залах старинного поместья. Быть может, ты захочешь сделаться владельцем этого прелестного уголка земли. А если ты молод, богат и счастлив, то, подобно столь многим другим, ты захочешь основать там, на севере вместе с молодой супругой собственный домашний очаг.

Нет, лучше не видеть этого прекрасного мыса, потому что в Борге *счастье* не уживается. И знай: как бы богат и счастлив ты ни был, стоит тебе переселиться сюда, и эти старые, пропитанные чужими слезами половицы оросятся и твоими собственными слезами. А эти стены, которые могли бы повторить столько жалоб и стенаний, примут и твои вздохи.

Кажется, будто какое-то тяжкое проклятье тяготеет над этим прекрасным поместьем. Кажется, будто здесь погребено само несчастье, которое, не находя покоя в могиле, постоянно восстает из нее, чтобы пугать ныне живущих. Будь я хозяйкой Борга, я бы велела обыскать и перекопать там все: и каменистую почву елового парка, и пол в погребе жилого дома, и плодородную землю на полях. Я велела бы копать до тех пор, пока не нашла бы источенный червями труп ведьмы и не похоронила бы его на освященной земле кладбища в

Свартше. А на похоронах я не пожалела бы денег на звонаря — пусть колокола долго и могуче звонят над нею. Да и пастору с пономарем я послала бы щедрые дары — пусть они, удвоив старания, надгробными речами и пением псалмов достойно предадут ее земле — на вечный покой.

А если бы и это не помогло, то однажды бурной, ненастной ночью я не стала бы преграждать путь пламени, приблизившемуся к шатким деревянным стенам. И позволила бы огню уничтожить все, чтобы ничто здесь не привлекало бы людей и чтоб им было неповадно снова селиться в этом гнездовье бед и несчастий. А потом уж ничья нога не ступала бы на это проклятое место. И одни лишь черные галки с церковной колокольни устроились бы здесь на новоселье в закопченной печной трубе, которая, словно жуткое пугало, возвышалась бы над безлюдным пепелищем.

Однако ж и я, конечно, испытала бы чувство страха, видя, как языки пламени охватывают крышу, как клубы густого дыма, багровые от зарева пожара и испещренные искрами, вырываются из старинного графского дома. Мне чудилось бы, что в треске и шуме пожара я слышу жалобы отныне бездомных воспоминаний, а в голубых языках пламени вижу парящие там потревоженные призраки. Я подумала бы о том, что горе преисполнено красоты, что несчастье украшает, и заплакала бы так, как если бы храм, посвященный древним богам, был бы стерт с лица земли.

Однако же... Тс-с-с! Молчание! Не надо накликасть на себя несчастье! Ведь поместье Борг все еще стоит во всем своем великолепии на вершине мыса, защищенное парком могучих елей, покрытые же снегом поля у ее подножья сверкают в резких, ослепительных лучах мартовского солнца. А в стенах старинного дома еще раздается громкий смех веселой графини Элисабет.

По воскресеньям молодая графиня ходит в церковь в Свартше, недалеко от Борга, а затем у нее на обед собирается небольшое общество. У нее обычно бывают вместе с семьями и судья из Мункеруда, и капитан из Берги, и помощник пастора, да и злой Синтрам. Если же Йесте Берлингу случается перебраться по льду Левена и появиться в Свартше, она приглашает и его. А почему бы ей не пригласить и Йесту Берлинга?

Она, верно, не знает, что молва уже начинает нашептывать, будто Йеста так часто перебирается на восточный берег озера, чтобы встретиться с ней. Может, он является сюда и для того, чтобы бражничать и играть в кости у Синтрама, но это никого особенно не волнует. Все знают, что тело Йесты выковано из железа, чего никак не скажешь о его сердце. Но ни один человек на свете не думает, что Йеста в силах узреть хотя бы одну пару сияющих глаз или хотя бы одну светловолосую головку с кудрями, обрамляющими белый лоб, чтобы тут же не влюбиться.

Молодая графиня добра к нему. Но в этом нет ничего удивительного. Она добра ко всем. Оборванных нищих детишек она сажает к себе на колени, а если на проселочной дороге ей доведется проехать мимо какого-нибудь несчастного старика, она велит кучеру остановить лошадей и усаживает бедного пешехода в свои сани.

Йеста обычно сидит в маленьком голубом кабинетике, из окон которого открывается великолепный вид на озеро, и читает ей стихи. И в этом нет ничего дурного. Он не забывает, что она — графиня, а он — бездомный искатель приключений; но ему приятно общество женщины, столь недостижимой и столь священной для него. С таким же успехом, как и о графине, он может мечтать о том, чтобы влюбиться в царицу Савскую, изображение которой украшает балюстраду на хорах церкви в Свартше.

Он страстно желает лишь одного: служить ей так, как паж служит своей высокопоставленной повелительнице: подвязывать ее коньки, держать моток ее ниток, править лошадьми, запряженными в ее сани. О любви между ними не может быть и речи, но он как раз из тех, кто находит свое счастье в невинных романтических мечтаниях.

Молодой граф молчалив и серьезен, Йеста же искрится весельем. Графиня и не желает себе лучшего общества, чем общество Йесты. Никому, кто ее видит, и в голову не придет, что она скрывает в душе тайную, запретную любовь. Она думает лишь о танцах, о танцах и о веселье. Ей хочется, чтобы вся земля была одной сплошной равниной — без камней, без гор и морей, чтобы можно было всюду пройти танцуя. Всю жизнь — от колыбели до могилы — хочется ей протанцевать в узеньких атласных башмачках на тоненькой подошве.

Но молва не очень-то милосердна к молодым женщинам.

Когда в Борге у графини бывают гости, господа после обеда отправляются в кабинет графа — покурить и подремать. Пожилые же дамы обычно опускаются в кресла гостиной, прислонив свои почтенные головы к их высоким спинкам. Однако же графиня и Анна Шернхек удаляются в голубой кабинет, где ведут нескончаемые доверительные беседы.

В следующее воскресенье после того, как Анна Шернхек привезла Ульрику Дильнер обратно в Бергу, они снова сидели там.

Никого на свете нет несчастней этой молодой девушки. Куда девалась вся ее жизнерадостность, куда исчезла и веселая строптивость, которую она пускает в ход против всех и каждого, кто пытается подойти к ней слишком близко.

Все, что случилось с ней по дороге домой, кануло в ее сознании в сумерки, которые не без вмешательства колдовской силы и породили все эти события. У нее не осталось ни одного отчетливого впечатления, ни одного воспоминания.

Хотя нет — одно осталось, оно-то и отравляет ей душу.

— А если это сделал не Бог, — все снова и снова шепчет она самой себе, — а если это не Бог послал волков?

Она жаждет какого-нибудь знака, она жаждет чуда. Но сколько она ни смотрит, ни один указующий перст не высовывается из-за туч, дабы направить ее на путь истинный. И никакие блуждающие огоньки и смутные видения не ведут ее за собой.

Но тут, когда она сидит против графини в маленьком кабинете, взгляд ее падает на букетик голубых подснежников, который держит белая рука графини. И, вдруг словно молния осеняет ее: она знает, где выросли эти подснежники, она знает, кто их собирал.

Ей не нужно ни о чем спрашивать. Где еще во всей округе цветут подснежники в самом начале апреля, как не в березовой роще на береговом откосе возле Экебю?

Она неотрывно смотрит на маленькие голубые звездочки цветов, на этих счастливиц, безраздельно владеющих сердцами людей. Она смотрит на этих маленьких пророчиц: сами — олицетворение красоты, они, кроме того, окружены сиянием всего самого прекрасного, что они же и предвещают, всего самого прекрасного, что должно наступить. И по мере того, как она рассматривает эти цветочки, в ее душе закипает гнев, грохочущий, словно гром, ослепляющий, будто молния. «По

какому нраву, — думает она, — у графини Дона в руках этот букетик подснежников, собранных на берегу озера возле Экебю?»

Все они — искусители! Синтрам, графиня, все люди на свете хотят заманить Йесту на путь зла, на путь несправедный. Но она защитит его, она защитит его от всех на свете искусителей. Она сделает все для него, если даже это будет стоить ей жизни.

Она думает, что, прежде чем она уйдет из маленького голубого кабинета, эти цветочки должны быть вырваны у графини из рук, затоптаны, уничтожены.

С этой мыслью она начинает борьбу с маленькими голубыми звездочками цветов. Рядом в гостиной, ни о чем не подозревая, отдыхают пожилые дамы, прислонив свои почтенные головы к высоким спинкам кресел. Господа спокойно покуривают трубки в кабинете графа. Вокруг царят мир и покой. И лишь в маленьком голубом кабинете идет отчаянная борьба.

Какие молодцы те, кто держит свои руки как можно дальше от обнаженного меча, кто умеет молча ждать, умеет, обуздав свое сердце, успокоить его и поручить свою судьбу воле Божьей! Беспокойное сердце всегда впадает в заблуждение. А зло всегда порождает еще худшее зло.

Однако же Анне Шернхек кажется, что наконец-то она видит, как высовывается из-за туч указующий перст.

— Анна, — говорит графиня, — расскажи мне какую-нибудь историю!

— Какую же?

— О! — восклицает графиня, лаская букетик своей белой рукой. — Ты ничего не знаешь о любви, о том, как любят?

— Нет, я ничего не знаю о любви.

— Что за ерунда! Разве здесь, в округе, нет поместья, которое зовется Экебю, поместье, где полным-полно кавалеров?

— Да, в самом деле, — отвечает Анна. — Тут есть поместье, которое зовется Экебю, а там живут люди, которые высасывают все соки из страны и делают нас не способными ни к какой серьезной работе. Они растлевают нашу молодежь, они совращают наши лучшие умы. И ты хочешь послушать о них, хочешь послушать об их любовных историях?

— Да, хочу. Мне по душе кавалеры.



И тогда Анна Шернхек начинает говорить, говорить коротко и торжественно, словно читая по старинной книге псалмов. Потому что она вот-вот задохнется от обуявших ее неистовых чувств. Скрытое страдание трепещет в каждом ее слове, и графиня испуганно и заинтересованно невольно заслушивается.

— Что такое — любовь кавалера, что такое — верность кавалера? Одна возлюбленная — сегодня, другая — завтра, одна — на востоке, другая — на западе. Нет для него ни слишком недостижимых, ни слишком доступных, один день — графская дочь, другой день — нищая девчонка. Ничто на свете не вмещает столько чувств, сколько его сердце. Но нет несчастней, нет несчастней той, что полюбит кавалера! Ей приходится искать его, когда он валяется пьяным у обочины. Ей приходится молча смотреть, как он за игорным столом проматывает наследство и дом ее детей. Ей нужно терпеть, когда он кутит и сумасбродничает с другими женщинами. О, Элисабет, если кавалер приглашает на танец порядочную женщину, она должна ему отказать, если он дарит ей букет цветов, она должна во что бы то ни стало бросить эти цветы на землю и растоптать их. Если она любит его, ей лучше умереть, чем выйти за него замуж. Среди кавалеров был один, лишенный сана пастор. Он утратил свою рясу пастора из-за пьянства. Он бывал пьян и в церкви. Он выпивал вино, предназначенное для святого причастия. Ты слышала о нем?

— Нет.

— Сразу же после того, как его отрешили от должности, он стал бродить по округе и нищенствовать. Он пил, как безумный. Он мог украсть ради того, чтобы раздобыть себе вина.

— Как его зовут?

— Он больше не живет в Экебю... А в те времена майорша из Экебю позаботилась о нем, одела его и уговорила твою свекровь, графиню Дона, взять его домашним учителем к твоему будущему мужу, юному графу Хенрику.

— Взять домашним учителем лишенного сана пастора!

— О, он был молод, силен, прекрасно образован. Он был совершенно не опасен, если только не пил. А графиня Мэрта была не слишком разборчива. Она забавлялась, дразня пробста и помощника священника. Но все же она распорядилась, чтобы ее детям никто не упоминал о его прежней жизни. Иначе ее сын потерял бы уважение к

учителю, а ее дочь не потерпела бы его присутствия в доме, потому что она была святая.

И вот он прибыл сюда в Борг. Входя в комнату, он тотчас останавливался в дверях, садился на краешек стула, за столом молчал, а если появлялся кто-нибудь посторонний, тут же уходил в парк.

Однако там, на безлюдных дорожках, он встречал юную Эббу Дона. Она была не из тех, кто любил шумные празднества, которые постоянно бушевали в залах Борга с тех пор, как графиня Мэрта стала вдовой. Эбба была не из тех, кто бросает миру дерзкие, вызывающие взоры. Она была так кротка, так застенчива! Даже когда ей исполнилось семнадцать лет, она была еще нежным ребенком. Но она была все же и очень красива: карие глаза и легкий слабый румянец на щеках. Ее хрупкое, стройное тело всегда было слегка наклонено вперед. Когда она здоровалась, ее узенькая ручка незаметно и застенчиво пожимала твою. Ее маленький рот был самым молчаливым из всех на свете и самым серьезным. А ее голос! Ах, этот сладостный приглушенный голос, так медленно и красиво тянувший слова! И никогда не звучала в ее голосе ни свежесть, ни пылкость юности, а лишь какая-то тягучая вялость, напоминавшая заключительный аккорд усталого музыканта!

Она совсем не походила на других девушек. Ее ножки так легко, так тихо ступали по земле, словно она была здесь, в этом мире, лишь испуганной беглянкой. Глаза ее были постоянно опущены, словно она боялась помешать самой себе созерцать великолепие собственных духовных видений. Душа ее отрешилась от земли уже в раннем детстве.

Когда она была маленькой, бабушка часто рассказывала ей сказки. И вот однажды вечером, когда бабушка пересказала ей множество сказок, они сидели вдвоем у камина. Карсус и Модерус, и Великан, идущий семимильными шагами, и прекрасная Мелузина воскресали и оживали в рассказах бабушки.[\[38\]](#) Словно яркие языки вспыхнувшего пламени, незримо витали они вокруг, полные жизни и блеска. Но огонь угасал, и герои падали поверженные на землю, а прекрасные принцессы превращались в уголья. Но только до тех пор, пока огонь, вновь зажженный в камине, не пробуждал их к новой жизни. Ручка малютки, по-прежнему лежа на коленях старушки, тихонько гладила шелк ее платья, эту веселую ткань, издававшую при этом звук,

похожий на писк маленькой птички. И это поглаживание выражало ее просьбу, ее мольбу, потому что она была из тех детей, которые никогда не просят словами.

И тогда бабушка совсем тихо стала рассказывать ей про одного младенца из Иудеи, младенца, рожденного стать великим королем. Когда он родился, ангелы заполнили землю хвалебными гимнами. Восточные цари, ведомые небесными звездами, явились, принеся ему в дар золото и ладан, а старые мужчины и женщины предсказывали ему великую судьбу. Младенец рос, превосходя красотой и мудростью всех других детей. Уже в двенадцать лет он превосходил мудростью даже первосвященников и книжников.

Потом бабушка рассказала ей о самом прекрасном, что видела земля, о жизни этого младенца, когда он еще обитал среди людей, недобрых людей, не желавших признавать в нем своего властелина.

Она рассказала и о том, как младенец стал взрослым мужчиной, но всегда был озарен лучезарным светом необыкновенных чудес.

Все сущее на земле служило ему и любило его, все, кроме людей. Рыбы сами ловились в его сеть, хлебом наполнились его корзины, а стоило ему пожелать, как вода превращалась в вино.

Но люди не желали даровать великому властелину ни золотой короны, ни сверкающего золотом трона. И его не окружали отвешивавшие поклоны придворные. Ему было суждено жить среди них в нищете.

Но все же он был так добр к ним, этот великий властелин. Он исцелял больных, возвращал зрение слепым и воскрешал мертвых.

Однако же, рассказывала старушка, люди не желали, чтобы он был их повелителем.

Они послали против него своих воинов, и те схватили его.

Насмехаясь над ним, они нарядили его в корону, в длинную и широкую мантию, дали ему в руки скипетр и заставили идти к месту казни, неся тяжелый крест. О, дитя мое, добрый властелин любил высокие горы! По ночам он обычно восходил туда, чтобы беседовать с небожителями, а днем ему нравилось сидеть на горных склонах и беседовать с внимавшими ему людьми. Но вот недобрые люди повели его на гору, чтобы распять там. Они пригвоздили его ноги и руки к кресту, подвесив на нем доброго властелина, словно он был разбойником с большой дороги или злодеем.

И злые люди насмехались над ним. Только его мать и друзья плакали, что он должен умереть, так и не успев стать королем.

О, как горевали о нем природа и все неодушевленные вещи и предметы!

Померкло, утратив весь свой облик, солнце и заколебались горы, разорвался покров в церкви, разверзлись могилы, чтобы мертвые могли восстать и выказать свое горе.

Тут малютка, положив головку бабушке на колени, так горько зарыдала, что сердечко ее готово было разорваться.

— Не плачь, маленькая! Добрый король восстал из гроба и вознесся на небеса к своему отцу.

— Бабушка, — рыдала бедняжка, — так он никогда и не получил никакого царства?

— Он сидит по правую руку от бога на небесах.

Но это вовсе не утешило девочку. Она плакала так беспомощно и так неудержимо, как только может плакать ребенок.

— Почему они были такими злыми? Почему они так жестоко с ним обошлись? — вопрошала она.

Старушка почти испугалась при виде такого страшного горя.

— Скажи, бабушка, скажи, ведь ты рассказывала не так, как все было! Скажи, что конец был совсем не такой! Скажи, ведь они не обошлись так злобно и жестоко с добрым властелином? Скажи, что он получил свое царство на земле!

Она обнимала бабушку, она умоляла ее, а слезы по-прежнему так и струились по щекам девочки.

— Дитя мое, дитя мое, — сказала бабушка, утешая ее, — есть такие, кто верит, что он должен вернуться. Тогда он обретет власть над землей и станет управлять ею. И тогда эта прекрасная земля делается одним чудеснейшим царством. И простоит оно тысячу лет. Злые звери сделаются тогда добрыми, маленькие дети будут играть возле змеиного гнезда, а медведи и коровы станут вместе жевать траву. Никто больше не будет обижать другого, никто не будет никого губить, копыта перегнут в косы, а мечи перекуют на орала. И все вокруг будет полниться играми и весельем, потому что владеть землей будут добрые люди!

При этих словах залитое слезами лицо малютки просветлело.

— И тогда доброму королю подарят трон, верно, бабушка?

- Да, золотой трон.
- И слуг, и придворных, и золотую корону?
- Да, все это ему подарят.
- А он скоро явится, бабушка?
- Никто не знает, когда он явится.
- А позволят мне тогда сидеть у его ног на скамеечке?
- Конечно, позволят!
- Бабушка, я так рада! — сказала девочка.

И вот вечер за вечером, много зим подряд сидели они обе у камина и беседовали о добром властелине и его царствии. Дни и ночи мечтала малютка о его тысячелетнем царствии. Ей никогда не надоедало разукрашивать его всем самым прекрасным, что она только могла придумать.

Со многими молчаливыми детьми из тех, что окружают нас, бывает так, что они таят в душе мечту, которую не решаются никому доверить. Удивительные мысли скрываются под шелковистыми волосиками множества детей. Удивительные вещи видят кроткие глазенки под опущенными ресничками. Многие прекрасные девушки с розовыми щечками обретают жениха на небесах. Многие из них желают умащать ноги доброго властелина елеем и осушать их своими волосами.

Эбба Дона никому не решалась сказать об этом, но с того самого вечера она жила лишь мечтой о тысячелетнем царствии Господнем и ожиданием его пришествия.

Когда вечерняя заря отворяла ворота запада, Эбба ждала, не выступит ли из них в ореоле сияния и кротости великий царь, сопровождаемый миллионным сонмом ангелов. И не прошествуют ли они все мимо нее, дозволив ей коснуться края его мантии.

Она неотступно думала также о тех благочестивых женщинах, которые, прикрыв голову покрывалом и никогда не поднимая глаз от земли, затворялись в тиши и покое серых монастырских стен, во мраке маленьких келий, чтобы постоянно созерцать сияющие видения, выступавшие из сумеречных глубин их души.

Такой Эбба выросла, такой она была, когда она и новый домашний учитель встречались на безлюдных дорожках парка.

Я не хочу говорить о нем более дурно, чем я о нем думаю. Хочу верить, что он любил это дитя, которое вскоре избрало его спутником

своих одиноких прогулок. Верю, что душа его вновь обретала крылья, когда он шел рядом с этой молчаливой девушкой, которая никогда никому не поверяла своих мечтаний. Думаю, что он сам чувствовал себя тогда ребенком — добрым, благочестивым, чистым.

Но если он любил ее, почему не подумал он о том, что не может предложить ей худшего дара, чем его любовь? Чего он хотел, о чем думал он, один из отверженных этого мира, когда шел рядом с графской дочерью? О чем думал этот лишенный сана пастор, когда она поверяла ему свои благочестивые мечты? Чего хотел он — прежний пьяница и бродяга, который, подвернись ему удобный случай, снова стал бы таким же, — гуляя рядом с ней, мечтавшей о небесном женихе? Почему не бежал он как можно дальше от нее? Не лучше ли было бы ему бродить по округе, выпрашивая милостыню и воруя, чем гулять там по тихим хвойным аллеям и снова делаться добрым, благочестивым, чистым? Ведь жизнь — иная, чем он вел, — все равно была ему недоступна, а Эбба Дона неминуемо должна была полюбить его?

Не думай, что он походил на несчастного пропойцу с землисто-серым, бледным лицом и покрасневшими глазами! Он по-прежнему был статен, красив и не сломлен телом и духом. У него была королевская осанка и выкованное из железа тело, которое не могла уничтожить даже самая разгульная жизнь.

— Он еще жив? — спросила графиня.

— О нет, он, верно, уже умер. Все это было так давно.

Душа Анны Шернхек начинает слегка трепетать при мысли о том, что же это она делает. Нет, никогда не скажет она графине, кто этот человек, о котором она говорит. Она заставит ее поверить, будто он умер.

— В то время он был еще молод, — продолжает она свой рассказ, — и в нем снова зажглась жажда жизни. К тому же он был наделен даром красноречия и пламенным, легко увлекающимся сердцем.

И вот настал вечер, когда он признался Эббе Дона в своей любви. Она не дала ему ответа, а поведала лишь о том, что рассказывала ей зимними вечерами бабушка, и описала ему страну своих мечтаний. А потом взяла с него клятву. Она заставила его обещать, что он станет

проповедником слова Божьего, одним из провозвестников Господа, дабы ускорить его пришествие.

Что ему было делать? Он был лишенным сана пастором, и ни один путь для него не был так закрыт, как тот, на который она призвала его вступить. Но он не посмел сказать ей правду. У него не хватило духу огорчить это прелестное дитя, которое он любил. Он обещал все, о чем она просила.

А потом они уже не нуждались в словах. Было ясно, что когда-нибудь она станет его женой. Эта любовь не знала ласк и поцелуев. Он едва осмеливался подойти к ней близко. Она была нежна, как хрупкий цветок. Но ее карие глаза порой отрывались от земли, чтобы поймать его взгляд. Лунными вечерами, когда они сидели на веранде, она придвигалась к нему, и тогда он незаметно целовал ее волосы.

Но ты ведь понимаешь: вина его состояла в том, что он забыл и о прошлом, и о будущем. Он бы еще мог забыть, что он беден и ничтожен, но ему постоянно следовало бы знать, что наступит день, когда в душе ее одна любовь восстанет против другой, земля — против неба. И тогда она вынуждена будет выбирать между ним и блистательным владельцем тысячелетнего царствия. А она была не из тех, кто мог бы выстоять в такой борьбе.

Прошло лето, осень, зима. Когда наступила весна и растаял лед, Эбба Дона заболела. В долинах началось таяние снегов, с гор срывались снежные глыбы, лед на озерах стал ненадежен, по дорогам нельзя было проехать ни в санях, ни в повозке.

Графиня Мэрта пожелала, чтобы из Карлстада привезли врача. Ближе ни одного врача не было. Но напрасно она отдавала такие распоряжения. Ни мольбами, ни угрозами не могла она заставить слугу отправиться в Карлстад. Она встала на колени перед кучером, но и он отказался ехать. Она была в таком горе из-за дочери, что у нее начались спазмы и судороги. Ведь графиня Мэрта — безумна и необузданна как в горе, так и в радости.

Эбба Дона лежала с воспалением легких, жизнь ее была в опасности, но привезти врача было невозможно.

И тогда в Карлстад поехал домашний учитель. Рискнуть на такую поездку в распутицу было все равно что играть со смертью, но он отправился в путь. Он ехал по взломанному льду, перебирался через обрушившиеся снежные глыбы. Порой ему приходилось вырубать для

лошади ступеньки во льду, порой вытаскивать ее из размокшей дорожной глины. Говорили, будто врач отказался ехать в Борг, но учитель с револьвером в руках заставил его отправиться к больной.

Когда он вернулся, графиня чуть не бросилась ему в ноги.

— Возьмите все, что у меня есть! — сказала она. — Говорите, чего вы желаете: мою дочь, мое имение, мои деньги!

— Вашу дочь! — ответил учитель.

Анна Шернхек внезапно умолкает.

— Ну а дальше, дальше что? — спрашивает графиня Элисабет.

— Пожалуй, дальше не стоит рассказывать, — отвечает Анна.

Ведь она одна из тех несчастных людей, которые постоянно живут под гнетом страха и боязни. На этот раз они не оставляли ее в покое уже целую неделю. Она и сама не знает, чего хочет. То, что однажды представлялось ей справедливым, теперь кажется совсем иным. Теперь она дорого дала бы за то, чтобы графиня Элисабет вообще не слыхала бы эту историю.

— Я начинаю думать, что ты просто дразнишь меня, Анна. Разве ты не понимаешь, что мне необходимо услышать конец этой истории?

— Рассказывать дальше почти что нечего. Для юной Эббы Дона настал час жесточайшей борьбы. Одна любовь восстала против другой, земля — против неба.

Графиня Мэрта рассказала дочери о поразительной поездке, которую совершил ради нее молодой человек. И сказала, что в награду за это она обещала ему ее руку.

Юная фрекен Эбба тогда уже настолько поправилась, что лежала одетая на диване. Слабая и бледная, она была еще молчаливее, чем обычно.

Услыхав рассказ матери, она подняла свои темные глаза и, с упреком взглянув на мать, сказала:

— Мама, ты отдала меня лишенному сана пастору, человеку, который утратил свое право быть служителем Бога, человеку, который воровал и нищенствовал?

— Но дитя мое, кто рассказал тебе об этом? Я думала, ты ничего не знаешь.

— Я случайно узнала. Я слышала, как твои гости говорили об этом в тот день, когда я заболела.

— Но дитя мое, подумай! Ведь он спас твою жизнь!



— Я думаю о том, что он обманул меня. Ему нужно было сказать мне, кто он такой.

— Он говорит, что ты любишь его.

— Да, я любила его. Но не могу больше любить того, кто обманул меня.

— Как мог он тебя обмануть?

— Вам, мама, этого не понять.

Ей не хотелось рассказывать матери о тысячелетнем царствии своих мечтаний, осуществить которые должен был помочь ее любимый.

— Эбба, — сказала графиня, — если ты любишь его, тебе незачем спрашивать, кем он был, а просто выйти за него замуж. Муж графини Дона будет достаточно богат и могуществен для того, чтобы ему простили грехи его молодости.

— Мне нет дела до грехов его молодости, мама. Я не могу выйти за него замуж, потому что ему никогда не стать тем, кем бы я хотела.

— Эбба, вспомни, я дала ему слово.

Девушка побледнела, как смерть.

— Мама, если ты выдашь меня за него замуж, ты разлучишь меня с Богом.

— Я решила устроить твоё счастье, — говорит графиня. — Я уверена, что ты будешь счастлива с этим человеком. Тебе ведь и так удалось уже сделать из него святого. Я решила закрыть глаза на то, к чему обязывает нас знатность нашего рода, и забыть, что он беден и презираем. Для тебя это — благоприятный случай спасти его, восстановить его репутацию. Я чувствую, что поступаю правильно. Ты ведь знаешь, я презираю старые предрассудки.

Но все эти речи графиня произносит лишь потому, что не терпит, когда кто-то противится ее воле. А может, в ту минуту она и в самом деле думала то, о чем говорила. Понять графиню Мэрту не так-то легко.

После того как графиня ушла, молодая девушка еще долго лежала на диване. Она боролась сама с собой. Земля восстала против неба, одна любовь — против другой. Но возлюбленный ее детства одержал победу. Вот отсюда, где она лежала, с этого самого дивана, она видела, как на западном краю неба пылает чудеснейший закат. Она подумала, что это добрый король посылает ей привет; и так как, оставшись в

живых, она не смогла бы сохранить ему верность, она решила умереть. Она не могла поступить иначе, раз мать ее желала, чтобы она принадлежала тому, кто не мог стать служителем доброго властелина.

Подойдя к окну, она отворила его, не препятствуя холодному влажному вечернему ветру продувать насквозь свое бедное, слабое тело.

Для нее не составило большого труда навлечь на себя смерть. Если бы болезнь началась снова, смерть была бы неизбежна. Так оно и случилось.

Никто, кроме меня, Элисабет, не знает, что она искала смерти. Я нашла ее у окна. Я слышала ее лихорадочный бред. Ей было по душе, что я сижу рядом с ней в последние дни ее жизни.

Я видела, как она умирает, я видела, как однажды вечером она простирала руки к пылающему западному краю неба и умерла, улыбаясь. Казалось, она увидела, как кто-то выступает из яркого зарева заката и идет ей навстречу. И я должна была передать последний ее привет тому, кого она любила. Я должна была выпросить у него прощение ей за то, что она не могла стать его женой. Добрый король не допустил такого.

Но я не посмела сказать этому человеку, что он убил ее. Не посмела возложить бремя подобной муки на его плечи. И все же, разве не был убийцей тот, кто ложью добился ее любви? Разве он не был убийцей, скажи, Элисабет?

Графиня Элисабет уже давно перестала ласкать голубые цветочки. И вот она встает, а букетик падает на пол.

— Анна, ты все еще дразнишь меня. Ты говоришь, что это старая история и что человек этот давно умер. Я-то знаю. С тех пор, как умерла Эбба Дона, не прошло и пяти лет. А ты вдобавок говоришь, что сама была очевидицей всей этой истории. Ты ведь совсем не старая. Ну а теперь скажи мне, кто этот человек!

Анна Шернхек начинает хохотать.

— Тебе ведь хотелось услышать любовную историю. Ну вот, ты и получила историю любви, которая стоила тебе и слез, и волнений.

— Ты хочешь сказать, что солгала?

— Да! Все это не что иное, как вымысел и ложь!

— А ты — злая, Анна!

— Возможно. И вообще, должна сказать, я не очень-то счастливая.

— Однако же дамы проснулись, а мужчины входят в гостиную. Пойдем же туда!

На пороге голубого кабинета Анну останавливает Йеста Берлинг, который разыскивает молодых дам.

— Немного терпения, — смеясь, говорит он. — Я отниму у вас всего десять минут, но вам придется выслушать стихи.

И он рассказывает, что этой ночью ему так живо, как никогда раньше, приснилось, будто он написал стихи. И тогда он, Йеста, которого молва называла «поэтом», хотя он до сих пор совершенно незаслуженно носил это имя, поднялся среди ночи и не то во сне, не то наяву начал писать. Это была целая поэма, которую он нашел утром на своем письменном столе. Никогда раньше он не поверил бы, что способен на такое. Пусть теперь дамы послушают.

И он читает:

В ночи зажглась луна. Был неги полон сад.  
Мерцание небес иссиня-ясных  
Веранду залило сквозь заросли плюща,  
И в чашечки дрожащих лилий красных  
Стекало золото по острию луча.  
Мы вместе на крыльце сидели — стар и млад,  
В молчании на сумрачных ступенях,  
И лишь сердца у нас сливались в песнопеньях,  
И хором наших чувств ночной был полон сад.

Струился аромат пьянящий резеды,  
Под лунною росой трава блестела,  
И тени к ней рвались из спутанных ветвей.  
Не так ли рвется дух из клетки тела  
В пространство горнее, где небеса светлей,  
В тот недоступный край, где даже и звезды  
Средь ясной синевы уже не видеть взору?  
Кто пылких чувств прилив сдержать бы смог в ту  
пору,  
Среди игры теней и сладкой резеды?

У розы облетел последний лепесток,

Упал в безверии на черные ступени.  
Вот так, казалось нам, и мы уйдем, как он,  
Как лист по осени, без жалобы, без пени,  
Земного воздуха прощальный слыша звон.  
Как тщимся мы свой отдалить итог,  
Все к жизни лепимся и все же смерть обрящем.  
Смиримся же с судьбой, как в воздухе звенящем,  
Смирившись, падает последний лепесток.

И мышь летучая поблизости от нас  
Плеснула крыльями и в лунном скрылась свете.  
И сердце, как огнем, вопрос обжег,  
Что вечно мучает, взыскуя об ответе,  
Что как страданье стар и словно боль жесток:  
Куда уходим мы, когда настанет час?  
Чужой души возможно ли блужданья  
Отсюда видеть нам, как в этот миг молчанья —  
Тварь, проскользнувшую поблизости от нас?

И шелковых волос ко мне склонив волну,  
«Не верь, — любимая мне прошептала с болью, —  
Что дальние края по смерти душу ждут.  
Вот я, когда умру, я не прощусь с тобою,  
Не улетит душа в далекую страну,  
В твоей душе она найдет приют».  
О, смерть нам скорую готовила разлуку.  
В последний раз в ту ночь ее держал я руку  
И целовал ее волос волну.

За этот год не раз, томясь душой больной,  
Я ночи проводил в плену воспоминаний,  
Лишь лунный свет с тех пор мне горек и постыл:  
Он видел нас вдвоем в часы ночных свиданий,  
В ее слезах дрожал и нежно серебрил  
Склоненную ко мне ее волос волну.

Но как смириться мне с той мыслью безутешной,

Что суждено душе ее безгрешной  
Страдать в душе моей и грешной, и больной?[39]

— Йеста, — шутливо произносит Анна, меж тем как горло ее готово сжаться от страха, — о тебе говорят, что ты пережил намного больше поэм, чем сочинили иные, те, которые всю свою жизнь только этим и занимались. Но знаешь, тебе лучше сочинять по-своему, то, что тебе более привычно. А это всего лишь плод ночной бессонницы, правда?

— Ты не очень-то снисходительна ко мне.

— Прийти и читать стихи про смерть и несчастье! Как тебе не стыдно?!

Йеста уже не слушает ее, его взгляд устремлен на молодую графиню. Та сидит, совершенно окаменевшая и неподвижная, словно статуя. Ему кажется, что она вот-вот лишится чувств.

Но с ее уст с невероятным трудом срывается лишь одно-единственное слово:

— Уходите!

— Кто должен уйти? Это я должен уйти?

— Пусть уйдет пастор, — запинаясь, еле выговаривает она.

— Элисабет, замолчи!

— Пусть спившийся пастор оставит мой дом!

— Анна, Анна, — спрашивает Йеста, — что она имеет в виду?

— Тебе лучше уйти, Йеста!

— Почему я должен уйти? Что все это значит?

— Анна, — произносит графиня Элисабет, — скажи ему, скажи ему!..

— Нет, графиня, скажите ему сами!

Стискивая зубы, графиня преодолевает волнение.

— Господин Берлинг, — говорит она, подойдя к нему. — Вы обладаете удивительной способностью заставлять людей забывать, кто вы такой. Недавно я услышала рассказ о смерти Эббы Дона. Известие, что она любит недостойного, убило ее. Ваша поэма дала мне понять, что этот недостойный — вы. Я не могу лишь понять, как это человек, с таким прошлым, как у вас, может показываться в обществе

порядочной женщины. Я не могу этого понять, господин Йеста. Теперь я изъясняюсь достаточно ясно?

— Да, графиня. В свою защиту я хочу сказать лишь одно. Я всегда был убежден в том, что вам обо мне все известно. Я никогда ничего не пытался скрывать, но ведь не очень-то весело кричать на всех перекрестках о самых горьких бедах своей жизни, тем более — самому.

Он уходит.

В этот миг графиня Элисабет наступает своей узенькой ножкой на букетик голубых звездочек.

— Ты сделала то, чего я хотела, — сурово говорит Анна Шернхек графине. — Но теперь конец нашей дружбе. Не думай, что я могу простить твою жестокость к нему: ты выгнала его, ты презрительно насмеялась над ним, ты оскорбила его! А я, я бы пошла за ним в темницу, на позорную скамью, если бы это было нужно! Я, именно я буду стеречь и охранять его! Ты поступила так, как я хотела, но я никогда не прощу тебе этого.

— Но Анна, Анна!

— Думаешь, я рассказала тебе эту историю с легким сердцем? Разве при этом я не вырывала — кусок за куском — сердце из своей груди?

— Зачем же ты тогда это сделала?

— Зачем? Затем, что я не хочу — да, не хочу, чтобы он сделался любовником замужней женщины...

## Глава тринадцатая

### МАМЗЕЛЬ МАРИ

Тише, ради бога, тише!

Что-то жужжит над моей головой. Это, верно, летает шмель. Прошу вас, не шевелитесь! Вы чувствуете это сладостное благоухание? Клянусь вам, это полынь и лаванда, черемуха, сирень и нарциссы. Как прекрасно вдыхать подобный аромат серым осенним вечером в самом центре города. Стоит мне представить себе этот маленький благословенный клочок земли, как тут же слышу жужжание, вдыхаю аромат, и я, сама не знаю как, оказываюсь в маленьком садике, полном цветов, окруженном живой изгородью из бирючины. В углу сада стоят сиреневые беседки с узенькими скамеечками, а вокруг цветников в форме сердец и звездочек проложены узенькие дорожки, усыпанные морским песком. С трех сторон сада стоит лес. Вплотную к нему подступают и одичавшая черемуха, и рябины, усеянные красивыми цветами, их аромат смешивается с запахом сирени. За ними в несколько рядов стоят березы, а дальше начинается ельник, настоящий лес, молчаливый, темный, мохнатый и колючий.

С четвертой стороны к саду примыкает небольшой серый домик.

Хозяйкой сада, о котором я сейчас думаю, была в двадцатых годах девятнадцатого столетия старая госпожа Мореус из прихода Свартше, которая жила тем, что вышивала для крестьян покрывала и стряпала для них по праздникам обеды.

Дорогие друзья! Из всего прекрасного, что я могу вам пожелать, хочу прежде всего назвать пяльцы и цветущий сад. Большие расшатанные старинные пяльцы с поломанными винтами и стертой резьбой, за которыми обычно сидят сразу пять-шесть мастериц, вышивая наперегонки, споря, у кого самые красивые стежки на изнанке да при этом поедают печеные яблоки, болтают, заводят игры «поехали в Гренландию» или «отгадай, у кого кольцо»<sup>[40]</sup> и хохочут так, что белки в лесу падают на землю, еле живые от страха. Да, пяльцы на зиму, дорогие друзья, и садик на лето! Нет, не парк, ведь на него вы потратите уйму денег, которых он и не стоит, а маленький

садик, розарий, как говорили в старину! Садик, за которым вы сможете ухаживать сами. Пусть там на макушках холмиков, окаймленных незабудками, растут кустики шиповника, и повсюду алеют ветреные маки, что сеются сами собой и на травяных бордюрах, и на песчаных дорожках. Не забудьте и про бурую дерновую скамью, сиденье и спинка которой поросли красными лилиями и водосбором.

В свое время фру Мореус была обладательницей немалых сокровищ. Были у нее три веселые прилежные дочери и маленький домик у дороги, кое-какие денежки, припрятанные на дне сундука, кресла с прямыми спинками, а также немалый опыт и умение, весьма полезные тому, кому приходится зарабатывать на хлеб своим трудом.

Но самым прекрасным из всего, чем она владела, были пальцы, ведь благодаря им она могла работать круглый год, и садик, который так радовал ее каждое лето.

Теперь я должна вам рассказать, что в домике фру Мореус жила квартирантка, маленькая сухопарая мадемуазель лет сорока, занимавшая мансарду. У мамзель Мари, как ее все называли, были на многое свои взгляды, и неудивительно: ведь тот, что часто пребывает в одиночестве, постоянно размышляет над тем, что видел собственными глазами.

Мамзель Мари полагала, что любовь есть корень зла и источник всех бед на свете.

Каждый вечер перед сном она, сложив руки, читала молитву. Прочитав «Отче наш» и «Господи, благослови рабы твоя», она молила Бога сохранить ее от любви.

— Любовь принесла бы мне одно лишь несчастье, — говорила она. — Я стара, некрасива и бедна. Нет, только бы мне не влюбиться!

День за днем сидела она в мансарде домика фру Мореус и вязала гардины и скатерти рельефным узором. Она продавала их крестьянам и господам, чтобы скопить денег на собственный дом.

Ей хотелось иметь маленький домик на высоком холме напротив церкви Свартше; домик, из окон которого открывается прекрасный вид на всю окрестность, был ее мечтой. Но о любви она и слушать не хотела.

Заслышав летним вечером звуки скрипки, доносившиеся с перекрестка дорог, где деревенский музыкант наигрывал мотив, сидя на ступеньках ограды, а молодые девушки и парни кружились в



польке, поднимая пыль, она далеко обходила их лесом, чтобы ничего этого не видеть и не слышать.

На второй день Рождества пять-шесть деревенских невест приходили в домик фру Мореус, где хозяйка и ее дочери наряжали их, надевали каждой на голову миртовый венок и высокую корону из шелка и бисера, прикрепляли к груди букет из самодельных роз, повязывали шелковый пояс, подшивали подол гирляндой цветов из тафты, а мамзель Мари оставалась у себя в комнате, лишь бы не видеть, как их украшают во имя любви.

Когда зимними вечерами девицы Мореус сидели за пяльцами, и большая горница по левую сторону от прихожей излучала уют, когда остекленевшие от жара яблоки, подвешенные в печи, раскачивались и потели, когда красавец Йеста Берлинг или добряк Фердинанд, заглянувшие на огонек, выдергивали у девушек нитки из иглолок или заставляли их делать кривые стежки и в горнице царили шум, веселье и любезничание, пожимание рук под пяльцами, мамзель Мари с досадой откладывала вязанье и уходила прочь из дома, потому что ненавидела любовь и пути, которые она выбирает.

Мамзель знала, каковы злодеяния любви, и могла порассказать о них. Она дивилась тому, что любовь еще осмеливается появляться на земле, не страшась жалоб покинутых, проклятий тех, кого она сделала преступниками, стенаний тех, кто томится в ее окаянных оковах. Она дивилась тому, что крылья несут любовь так легко и свободно, что она еще не рухнула в преисподнюю под тяжестью мук и стыда.

Нет, юной мамзель Мари в свое время, разумеется, была, как и все люди, но любви всегда страшилась. Никогда не поддавалась она соблазну увлечься танцами и любовными забавами. Гитара ее матери висела на чердаке, висела запыленная, с оборванными струнами. Никогда не играла она на ней, никогда не пела томных любовных песен.

На окне у мамзель Мари стоял в горшке розовый куст ее матери. Она редко поливала его. Мамзель Мари не любила цветов, этих детей любви. Запыленные листья розы поникли. В опутанных паутиной ветках играли пауки, бутоны никогда не распускались.

А в садик фру Мореус, где порхали бабочки и пели птицы, где ароматные цветы посылали нежный зов пчелам, где все дышало ненавистной ей любовью, ее нога редко ступала.

Но вот пришло время, когда прихожане установили в своей церкви орган. Это было летом за год до того, как кавалеры начали хозяйничать в Экебю. В Свартше приехал молодой органист. Он тоже стал квартирантом фру Мореус и поселился в мансарде, в такой же маленькой комнатке.

Он наладил орган, звучащий весьма странно. Когда во время рождественской заутрени его басы врываются в мирное псалмопение прихожан, дети начинали плакать.

Вряд ли молодого органиста можно было назвать мастером своего дела. Это был просто веселый парень с огоньком в глазах. Для каждого он находил доброе словечко: для богатого и бедного, для молодого и старого. Вскоре он стал другом хозяевам дома, ах, более чем другом.

По вечерам, придя домой, он держал моток фру Мореус или помогал девушкам работать в саду. Он декламировал «Аксея» и пел «Фритьофа». Он поднимал клубок ниток фру Мореус, стоило ей уронить его, и даже пускал в ход остановившийся маятник стенных часов.

Он никогда не уходил с бала, не протанцевал со всеми — от самой старой дамы до самой юной девушки, а если ему вдруг в чем-то не везло, он садился рядом с первой попавшейся ему на глаза женщиной и поверял ей свои невзгоды. Да, это был мужчина, о котором мечтают женщины! Нельзя сказать, что он говорил с кем-нибудь о любви. Но стоило ему прожить в комнатке у фру Мореус несколько недель, как все девушки влюбились в него, и даже бедная мамзель Мари поняла, что молилась напрасно.

Это было и печальное, и веселое время. Слезы капали на пальцы и смывали нарисованные мелом узоры. Вечерами одну из томных мечтательниц видели в сиреневой беседке, а сверху, из комнатки мамзель Мари, доносились брэнчанье гитары и нежные звуки любовных песен, которые она выучила у своей матери.

А молодой органист не тужил и по-прежнему одаривал женщин улыбками, радовал их мелкими услугами, а они вздыхали и ссорились из-за него. И вот наступил день его отъезда. Повозка с привязанным позади чемоданом стояла у дверей, юноша простился со всеми. Он облобызал руку фру Мореус, обнял плачущих девушек и расцеловал их в щечки. Он сам плакал оттого, что приходилось уезжать, ведь он провел в этом сереньком домишке такое солнечное лето! Под конец он

огляделся, ища глазами мамзель Мари. И тут она спустилась с чердачной лестницы. На шее у нее, привязанная широкой зеленой лентой, висела гитара, в руке она держала букет свежих роз, ведь в это лето розовый куст ее матери зацвел. Она остановилась перед юношей, заиграла на гитаре и пропела:

Ты покидаешь нас. Счастливый путь!  
Захочешь ли однажды возвратиться?  
Будь счастлив и любим, но не забудь:  
Твой в Вермланде сердечный друг томится.

После чего она воткнула букетик ему в петлицу и поцеловала его прямо в губы. Да... затем старая дама поднялась по лестнице и исчезла в глубине мансарды.

Любовь отомстила ей, превратила ее в посмешище для всех и каждого. Но мамзель Мари больше на нее не сетовала. Теперь она никогда не убирала гитару и не забывала ухаживать за розовым кустом.

Она научилась любить любовь со всеми ее муками, слезами и тоской.

— Лучше страдать с ней, чем радоваться без нее, — говорила она.

\* \* \*

Время шло. Майорша была изгнана из Экебю, к власти пришли кавалеры, и случилось, как было уже рассказано, что Йеста Берлинг прочел графине Борг стихотворение, после чего ему отказали от дома.

Говорят, что Йеста, захлопнув за собой дверь в прихожую, увидел, как на двор усадьбы Борг въехали несколько саней. Он бросил взгляд на маленькую женщину, сидевшую в первых санях. И без того мрачный, он помрачнел еще сильнее. Он поспешил прочь, чтобы не быть узанным, но душу его наполнило предчувствие беды. Неужто появление этой женщины являлось каким-то образом следствием разговора, только что состоявшегося в этом доме? Одна беда неизменно порождает другую.

Тут же на двор выбежали слуги и стали снимать с саней меховые одеяла. Кто же это приехал? Кто эта маленькая женщина, поднявшаяся в санях во весь рост? Да, в самом деле, это была она, знаменитая графиня.

Она была самой веселой, самой взбалмошной из женщин. Его Величество Веселье усадило ее на трон и сделало своей королевой. Игры и забавы были ее подданными. Музыка и танцы сопровождали ее во все времена.

Ей было уже без малого пятьдесят, но она принадлежала к числу мудрых, кто не считает года.

— Стар тот, кто не в силах подняться в танце, растянуть рот в улыбку. Только тот чувствует мерзкую тяжесть лет, я не из их числа!

В дни ее молодости трон Его Величества Веселья не раз колебался, но ветер перемен и неуверенность в завтрашнем дне лишь усиливали его привлекательность. Сегодня Его Величество с крыльями бабочки изволило устраивать кофепитие в апартаментах придворных дам, в стокгольмском королевском дворе, завтра танцевало во фраке и с дубиной в самом Париже. Оно посетило лагерь Наполеона, плавало с флотом Нельсона по Средиземному морю, побывало на конгрессе в Вене,<sup>[41]</sup> отважилось появиться на балу в ночь перед знаменитым сражением.

И повсюду, где появлялось Его Величество Веселье, там была Мэрта Дона, его избранница, его королева. Танцуя, играя и шутя, гонялась графиня Мэрта по белу свету. Чего только ей не довелось пережить! Танцуя, она опрокидывала троны, играла в экарте на герцогство, шутя затевала разрушительные войны! Развлечением и безрассудством была ее жизнь и могла бы остаться таковою. Тело ее не постарело для танцев, а сердце для любви. Разве случалось ей уставать от маскарадов и комедий, от веселых историй и грустных песен?

Когда Веселье не находило иной раз приюта в мире, превращенном в поле битвы, она на долгое или короткое время удалялась в старую графскую усадьбу на берегу длинного озера Левен. Она отправлялась туда также, когда князья и их придворные в период Священного союза казались ей слишком мрачными. Во время одного из таких визитов ей и пришлось в голову сделать Йесту Берлинга воспитателем своего сына. В Борге она чувствовала себя прекрасно. Лучшего королевства Веселью было не найти. Здесь не было

недостатка в песнях и играх, жаждущих приключений мужчинах и прекрасных веселых дамах. Здесь было вдоволь веселых пирушек и балов, лодочных прогулок по залитому лунным светом озеру, катаний на санях по темному лесу, душераздирающих приключений и любовных мук.

Но после смерти дочери графиня перестала ездить в Борг. Она не видела своей усадьбы целых пять лет. Теперь она приехала поглядеть, каково живется ее невестке в еловом лесу среди медведей и снежных сугробов. Графиня сочла своим долгом посмотреть, не наскучил ли ей до смерти ее глупый Хенрик. Графиня Мэрта решила стать ангелом-хранителем семейного очага. Солнечный свет и счастье были упакованы в сорок кожаных чемоданов; Забава стала ее камеристкой, Смех — ее кучером, Игра — компаньонкой.

Когда она вбежала вверх по лестнице, ее встретили с распростертыми объятиями. Ее слуга, компаньонка, сорок кожаных чемоданов, тридцать шляпных картонок, несессеры, шали и шубы — все это постепенно перекочевало в дом. Все сразу почувствовали, что приехала графиня Мэрта.

\* \* \*

Был весенний вечер, поистине прекрасный, хотя стоял еще только апрель и лед на реке не тронулся. Мамзель Мари отворила окно. Она сидела в своей комнатке, перебирала струны гитары и пела. Она была так занята игрой и воспоминаниями, что не заметила, как к дому подкатила коляска. В коляске сидела графиня Мэрта, которой доставило удовольствие смотреть на мамзель Мари, сидевшую у окна с гитарой на шее, закатившую глаза к небу и напевавшую старые банальные любовные песни.

Под конец графиня спустилась со ступеньки коляски и вошла в дом, где девушки сидели за пальцами. Она никогда не была высокомерной, ветер революции веял над ее головой и вдул свежий воздух в ее легкие.

— Не моя вина, что я графиня, — говаривала она, однако желала жить так, как ей нравилось. Ей было одинаково весело и на крестьянской свадьбе, и на придворном балу. Она играла комедию для

своих служанок, когда не было других зрителей. Стоило этой маленькой, красивой и отчаянной женщине появиться в любом обществе, как она заражала его своим весельем.

Графиня заказала фру Мореус покрывала и похвалила девушек. Она осмотрела садик и рассказала о своих дорожных приключениях. Под конец она поднялась по ужасно крутой и узенькой лестнице в мансарду и навестила мамзель Мари.

Одинокую женщину очаровали блеск живых черных глаз графини и ее ласкающий слух голос.

Гостя купила у нее гардины. Оказалось, графиня просто не могла жить без гардин рельефной вязки на всех окнах Борга, а на столы ей непременно нужно было постелить скатерти мамзель Мари.

Потом она попросила мамзель Мари дать ей гитару и спела о радости и любви. Она рассказала ей такие истории, что мамзель почувствовала себя захваченной водоворотом шумного света. Смех графини звучал музыкой, и замерзшие птицы в саду начали петь. Лицо ее, которое уже нельзя было назвать красивым, ибо кожу иссушили румяна и белила, а вокруг рта легли чувственные складки, показалось мамзель Мари столь прекрасным, что ее удивляло, как зеркало могло позволить его отражению исчезнуть после того, как оно поймало его на свою блестящую поверхность.

Уходя, графиня поцеловала мамзель Мари и пригласила ее в Борг.

Сердце мамзель Мари опустело, как ласточкино гнездо в Рождество. Она была свободна, но тосковала по оковам, как в давние времена получивший свободу негр.

Теперь для мамзель Мари снова настало время радости и печали, но ненадолго, всего лишь на короткие восемь дней.

Графиня то и дело привозила ее в Борг. Она разыгрывала для нее комедию, рассказывала о своих женихах, и мамзель Мари смеялась весело, как никогда прежде. Они стали закадычными друзьями. Графиня вскоре узнала все про молодого органиста и его отъезд. А однажды в сумерках она усадила мамзель Мари на подоконник в своем маленьком голубом кабинете, повесила ей на шею гитару и попросила спеть любимые песни. Глядя на тщедушную тощую фигуру и маленькую безобразную голову старой девы на фоне розового заката, графиня сказала, что бедная мамзель походит на девицу, томящуюся в замке. Мамзель Мари пела о нежных пастушках и жестоких

пастушках, голос у нее был тонкий и писклявый; можно представить себе, как потешала графиню подобная комедия.

Но вот в Борге устроили прием, разумеется по случаю приезда матери графа. Пригласили только жителей прихода.

Столовая находилась на первом этаже, и после ужина вышло так, что гости не поднялись снова наверх, а собрались в соседней со столовой комнате графини. Тут графиня взяла гитару мамзель Мари и стала петь для гостей. Она была женщина способная и умела изобразить кого угодно. Теперь ей пришлось в голову изобразить мамзель Мари. Она закатила глаза к небу и запела тоненьким, визгливым детским голоском.

— Ах, нет, нет, не надо, графиня! — взмолилась мамзель Мари.

Но графиня вошла в раж, а гости не могли сдержать смеха, хотя им было жаль мамзель.

Графиня взяла из вазона горсть сухих розовых лепестков, подошла, жестикулируя, с трагической миной к мамзель Мари и пропела, изображая глубокое волнение:

Ты покидаешь нас, счастливый путь!  
Захочешь ли однажды возвратиться?  
Будь счастлив и любим, но не забудь:  
Твой в Вермланде сердечный друг томится.

Потом она посыпала розовыми лепестками ее голову. Гости смеялись, а мамзель Мари рассвирепела. Казалось, она была готова выцарапать графине глаза.

— Ты скверная женщина, Мэрта Дона, — сказала она, — ни один порядочный человек не должен водиться с тобой.

Графиня тоже разозлилась.

— Ступай вон, мамзель! — сказала она. — Мне надоели твои глупости.

— Да, я уйду, — ответила мамзель Мари, — только сначала получу плату за скатерти и гардины, которыми ты украсила свой дом.

— За эти старые тряпки? — воскликнула графиня. — Забирай их! Чтоб я больше их не видела! Сейчас же забирай их!

И графиня, вне себя от ярости, стала швырять ей скатерти, сорвала с окон гардины.

На следующий день молодая графиня попросила свекровь помириться с мамзель Мари, но та мириться не пожелала. Мамзель ей надоела.

Тогда графиня Элисабет поехала к мамзель Мари, купила у нее целую кипу гардин и развесила их на окнах верхнего этажа. После чего мамзель Мари решила, что ее честь восстановлена.

Графиня Мэрта часто подшучивала над невесткой за ее пристрастие к гардинам рельефной вязки. Она умела прятать свой гнев и хранить его годами свежим и новым. Это была богато одаренная натура.



## Глава четырнадцатая

### КУЗЕН КРИСТОФЕР

В кавалерском флигеле жила хищная птица — старый и седой общипанный орел. Он всегда сидел в углу у камина и следил, чтобы огонь не погас. Его маленькая голова с большим клювом и потухшим взглядом, печально опущенная на длинную худую шею, торчала из мехового воротника. Ведь этот орел носил шубу летом и зимой.

В прежние времена он летал со стайей великого императора,[\[42\]](#) которая гонялась по Европе, а теперь никто не осмеливался назвать его имени и титула, который он некогда носил. В Вермланде знали лишь, что он участвовал в великих войнах и отличился в кровопролитных сражениях, что после 1815 года[\[43\]](#) ему пришлось улететь прочь из неблагодарного отечества. Он нашел приют у шведского кронпринца,[\[44\]](#) и тот дал ему совет скрыться где-нибудь в отдаленном Вермланде. В нынешние времена тому, кто заставлял дрожать от страха весь мир, приходилось радоваться, что никому не ведомо его некогда грозное имя.

Он дал честное слово кронпринцу не покидать Вермланд и без надобности не говорить, кто он таков. И так его послали в Экебю с письмом к майору от кронпринца, рекомендовавшего его наилучшим образом. Тогда кавалерский флигель распахнул перед ним двери.

Вначале люди ломали голову над тем, кто был этот знаменитый человек, скрывавшийся под чужим именем. Но со временем он превратился в кавалера и вермландца. Все называли его кузеном Кристофером, не зная толком почему.

Но хищной птице тяжело жить в клетке. Ведь орел не привык перелетать с жердочки на жердочку и кормиться из рук хозяина. Кровавая бойня и смертельная опасность вдохновляли его и заставляли сердце биться сильнее. Дремотное мирное время претило ему.

По правде говоря, и прочих кавалеров не назвал бы никто ручными птицами, но ни у одного из них не текла в жилах столь горячая кровь, как у кузена Кристофера. Одна лишь медвежья охота способна была оживить его угасающую жажду жизни; да, медвежья охота или женщина, одна-единственная женщина.

Он оживился, когда десять лет назад впервые увидел графиню Мэрту, которая уже тогда была вдовой. Женщину, изменчивую, как война, волнующую, как опасность, ошеломляющее и блистательное создание. Он полюбил ее.

И теперь он сидел здесь, старый, седой, не имея возможности взять ее в жены.

Он не видел ее уже целых пять лет. Он постепенно увядал и умирал, как орел в неволе. С каждым годом он все более усыхал и мерз. Приходилось поплотнее запахивать шубу и придвигаться поближе к огню.

\* \* \*

Утром, в канун Пасхи, он сидит один, замерзший, всклокоченный, седой. Вечером будут греметь пасхальные выстрелы, будут жечь пасхальное чучело. Все остальные кавалеры уехали, а он сидит в углу у огня.

Ах, кузен Кристофер, кузен Кристофер, неужто ты ничего не знаешь?

Она пришла с улыбкой, манящая весна.

Дремлющая природа просыпается, и в синем небе порхают легкокрылые духи, затеявая веселый хоровод. Небо густо усеяно ими, как дикий розовый куст цветами. Здесь и там мелькают их сияющие лица меж белыми облачками.

Земля, великая мать, оживает. Веселая, как дитя, выходит она из ванны весеннего половодья, из-под душа весеннего дождя. Камень и песок искрятся от радости.

— Спешите в круговорот жизни! — ликует малейшая песчинка. — Мы полетим как на крыльях в прозрачном воздухе. Будем искриться на алых щечках девушки.

Веселые духи весны вместе с воздухом и водой вливаются людям в кровь, извиваются там угрями, заставляют сердца биться сильнее! Повсюду слышатся одни и те же звуки. Духи с крыльями бабочек цепляются ко всему, что колышется и трепещет, и звонят, будто тысячи штормовых колоколов:

— Радость, счастье! Радость, счастье! Весна пришла к нам снова с улыбкой!

Но кузен Кристофер сидит, ничего не подозревая. Подперев голову негнущимися пальцами, он мечтает о картечном дожде и славе, вырастающей на поле боя. Внутренним оком он видит перед собой лавры и розы, что расцветают, не дожидаясь прихода бледной весенней красы.

Однако жаль его, одинокого старого завоевателя, живущего в кавалерском флигеле вдали от своего народа, от своей страны, лишенного возможности услышать хоть один звук родного языка; и ждет его безымянная могила на кладбище в Бру. Разве его вина, что он — орел, рожденный, чтобы преследовать и убивать?

О, кузен Кристофер, долго пришлось тебе мечтать, сидя в кавалерском флигеле. Вставай и пей пенистое вино в высоких дворцах! Знай же, что сегодня майор получил письмо, скрепленное королевской печатью! Оно адресовано майору, но речь в письме идет о тебе. Отрадно смотреть, как ты читаешь его, старый орел. В твоих глазах появляется блеск, голова поднимается. Дверца клетки открывается, и для твоих истомившихся крыльев открывается необозримое пространство.

Кузен Кристофер роется на дне своего сундука. Вот он вытаскивает заботливо хранимый шитый золотом мундир и облачается в него. Он надвигает на лоб украшенную плюмажем треуголку, тут же седлает своего великолепного белого коня, сейчас же умчится из Экебю во весь опор. Это уже совсем иное дело, не то что сидеть в углу у камина. Теперь он видит, что весна пришла.

Вот он вскочил в седло и пустил лошадь галопом. Подбитый мехом доломан развевается. Человек помолодел, как сама земля. Он проснулся после долгой зимней спячки. Старое золото еще не потускнело. Гордое зрелище являет собой старый воин, дерзко смотрят его глаза из-под треугольной шляпы.

До чего же удивительна эта скачка! Там, где ударяют лошадиные копыта, из земли начинают бить ручейки, зацветают подснежники. Вокруг освобожденного узника вьются с ликующими криками перелетные птицы. Вся природа радуется его счастью.

С каким триумфом он мчится, сама весна плывет впереди него на воздушном облаке. Она легка и прозрачна, эта светлая волшебница.

Прижав к губам рог, она трепещет от счастья. А рядом с кузеном горячит своих коней целый полк его старых боевых товарищей. Само счастье стоит на цыпочках в седле, слава мчится на гордом рысаке, а любовь — на горячем арабском скакуне. Что за чудо эта скачка, что за чудо этот рыцарь! Вот его окликает говорящий дрозд:

— Кузен Кристофер, кузен Кристофер! Куда ты скачешь? Куда ты скачешь?

— В Борг свататься! В Борг свататься! — отвечает он.

— Не скачи в Борг! Не скачи в Борг! Холостяк не знает бед! — кричит дрозд ему вслед.

Но кузен Кристофер не внимлет предостережению. Вверх и вниз по склону мчится он и наконец достигает цели. Он спрыгивает с коня, и его препровождают к графиням.

Все идет прекрасно. Графиня Мэрта милостива к нему. Кузену Кристоферу ясно, что она не откажется носить его блистательное имя и быть хозяйкой в его дворце. Он сидит, оттягивая прекрасное мгновение, когда покажет ей королевское письмо. Он наслаждается этим ожиданием.

Она болтает, развлекает его тысячами забавных историй. Он смеется, восхищаясь ею. Они сидят в одной из комнат, в которых графиня развесила гардины мамзель Мари, и графиня Мэрта начинает рассказывать про них. При этом она старается представить все в наиболее комическом свете.

— Вот видите, — говорит она под конец, — какая я злая! А теперь здесь висят эти гардины, чтобы я денно и ночью думала о своем грехе. Какое ужасное наказание! Ах эта кошмарная рельефная вязка!

Кузен Кристофер, великий воин, бросает на нее гневные взгляды.

— Я тоже стар и беден, — говорит он, — десять лет я сидел в углу у камина и мечтал о своей возлюбленной. Извольте, милостивая графиня, и над этим посмеяться?

— Но это совсем другое дело! — восклицает графиня.

— Бог отнял у меня счастье, отнял отечество, принудил меня есть чужой хлеб, — говорит кузен Кристофер серьезным тоном. — Я научился уважать бедность.

— И вы туда же! — кричит графиня, всплеснув руками. — До чего же люди добродетельны!

— Да, — отвечает он, — заметьте, графиня, если однажды Господь пожелает вернуть мне богатство и власть, я не стану делить ее с такой вот светской дамой, с нарумяненной бессердечной мартышкой, которая смеется над бедностью.

— И правильно сделаете, кузен Кристофер.

Кузен Кристофер выходит из комнаты строевым шагом, едет домой в Экебю. Духи весны теперь не летят за ним, дрозд не окликает его, он не замечает больше ликующей весны.

Он прискакал в Экебю как раз, когда кавалеры собирались стрелять в честь Пасхи и сжечь пасхальную ведьму — большую соломенную куклу. Лицо у куклы тряпчное, глаза, нос и рот нарисованы углем. На ней старое платье батрачки. Рядом с куклой поставлены ухват с длинной ручкой и метла, на шее у нее рог. Она готова лететь на Блокуллу.

Майор Фуш заряжает ружье и палит в воздух несколько раз подряд. Кавалеры зажигают костер из сухого хвороста и бросают в него куклу. Она тут же вспыхивает и весело горит. Кавалеры сделали все, чтобы, по старинному обычаю, изгнать нечистую силу.

Кузен Кристофер стоит, мрачно уставясь на костер. Внезапно он выдергивает из манжета большое королевское письмо и бросает его в огонь. Один Бог знает, о чем он при этом думает. Может, ему кажется, что это горит сама графиня Мэрта. Быть может, он решил, что на свете не осталось больше ничего святого, раз эта женщина, как оказалось, состояла лишь из тряпок и соломы.

Он возвращается в кавалерский флигель, разжигает огонь в камине и прячет мундир. Потом снова садится в угол, с каждым днем он все больше дряхлеет и седеет. Он медленно умирает, подобно старым орлам в неволе.

Кузен Кристофер уже больше не пленник, но он не желает воспользоваться своей свободой. Все просторы для него открыты. Поле битвы, слава, сама жизнь ждут его. Но у него нет больше сил расправлять крылья и лететь.

## Глава пятнадцатая

### ДОРОГИ ЖИЗНИ

Трудны дороги, которыми люди идут по земле.

Дороги пустынь, дороги болот, дороги гор. Где же они, малютки, срывающие цветы, сказочные принцессы, по следам которых вырастают розы? Где они, усыпающие цветами трудные пути?

Йеста Берлинг, поэт, решил жениться. Осталось лишь найти невесту, нищую, убогую, презираемую, под стать сумасшедшему священнику.

Прекрасные и благородные женщины любили его, но им не пристало соперничать из-за такого мужа. Отверженный выбирает отверженную.

Кого он выберет? Кого найдет?

В Экебю приносит иногда метлы на продажу бедная девушка из лесной деревушки. В этой деревушке, где вечно царят бедность и невзгоды, немало жителей лишилось разума, девушка с метлами — одна из них.

Но собой она хороша. Темные волосы заплетены в такие тяжелые косы, что они едва помещаются на голове. У нее нежный овал лица, маленький прямой нос, голубые глаза. Она походит на меланхолическую мадонну, подобный тип красоты еще и теперь можно встретить на берегах длинного Левена.

И вот невеста для Йесты найдена! Полоумная девушка с метлами будет хорошей женой сумасшедшему пастору. Лучшей партии ему не найти.

Йесте нужно лишь съездить в Карлстад за кольцами, а после пусть люди на берегах Левена потешатся еще один денек. Пусть они еще разок посмеются над Йестой Берлингом, когда он обручится с торговкой вениками, когда будет праздновать свадьбу! Пусть себе потешаются! Подобной шутки он еще не выкидывал.

Разве не должен отверженный идти по пути, уготованному отверженному, по пути печали, пути скорби, пути несчастья? Что из того, если он сорвется в пропасть, если погибнет? Кто остановит его? Кто протянет ему руку, кто даст глоток воды утолить жажду? Где они,

эти маленькие собирательницы цветов, где сказочные принцессы, рассыпающие розы на трудных стезях?

Нет-нет, юная кроткая графиня в Борге не помеха Йесте Берлингу. Ей надобно думать о своей репутации, о гневе мужа и ненависти свекрови, она не должна ничего делать, чтобы удержать его.

Во время длинного богослужения в церкви Свартше она склонит голову, сложит руки и будет молиться за него.

Бессонными ночами она может плакать, тревожась за него, но у нее нет ни цветов, чтобы усыпать путь отверженного, нет ни капли воды, чтобы дать напиться жаждущему. Она не протянет руку, чтобы удержать его на краю пропасти.

Йеста Берлинг не стремится нарядить свою избранницу в шелка, украсить ее драгоценностями. Она по-прежнему ходит от двора ко двору и продает метлы. Но скоро он соберет знатных людей со всей округи на большой пир и объявит о своей помолвке. Тогда он приведет ее из кухни, такую, какой она явится после долгих странствий: в грязной одежде, запорошенную дорожной пылью, быть может, оборванную, нечесаную, дико таращущую глаза и бормочущую невнятные слова. И тогда он спросит гостей, подходящую ли выбрал невесту, должен ли сумасшедший пастор гордиться столь прекрасной нареченной с кротким лицом и мечтательными голубыми глазами.

Он хотел, чтобы никто не узнал об этом заранее, но ему не удалось сохранить свой замысел в тайне, и одной из тех, кто узнал о нем, была молодая графиня Дона.

Но что она может сделать, чтобы удержать его? День обручения настал, уже сгустились сумерки. Графиня стоит у окна в голубом кабинете и смотрит на север. Ей кажется, что она видит Экебю даже сквозь слезы и густой туман. Она ясно видит большой трехэтажный дом с тремя рядами освещенных окон. Она отчетливо представляет себе, как наполняют шампанским бокалы, как поют застольные песни, как Йеста Берлинг объявляет свою помолвку с торговкой метлами.

Если бы она была сейчас рядом с ним и тихонько положила ему руку на плечо или просто по-дружески взглянула на него, свернул бы он тогда с недоброго пути отверженного? Если одно лишь ее слово толкнуло его на столь отчаянный поступок, может ли тогда одно ее слово остановить его?

Но более всех виновата она сама. Это она словом осуждения толкнула его на недобрый путь. Ее назначение было благословлять, смягчать, отчего же она вонзила еще один острый шип в терновый венец грешника?

Да, сейчас она знает, что ей нужно делать. Она велит запрячь в сани вороных коней, помчится через Левен, ворвется в Экебю, встанет лицом к лицу с Йестой Берлингом и скажет, что она не презирает его, что она сама не знала, что говорила, когда прогнала его из своего дома... Нет, она не сможет сделать ничего подобного, она смутится и не осмелится сказать ни слова. Ведь она замужняя женщина и должна быть осторожной. Если бы она сделала что-нибудь подобное, пошли бы слухи. Но если она этого не сделает, что будет с ним?

Она должна ехать.

Но тут она вспоминает, что ехать ей невозможно. Этой зимой лошадь не может пройти по льду Левена. Лед тает, он уже отошел от берега. Он стал рыхлым, растрескался, на него уже страшно смотреть. Просачиваясь сквозь него, вода поднимается и опускается, кое-где она собирается в черные лужицы, а местами лед ослепительно бел. Но большей частью он все же серый, грязный от талой воды, и дороги кажутся длинными черными полосами на его поверхности.

Как ей могло прийти в голову ехать? Старая графиня Мэрта, ее свекровь, ни за что не позволила бы ей ничего подобного. Она должна сидеть весь вечер в гостиной возле свекрови и ублажать ее, выслушивая рассказы о жизни при дворе.

Но вот наступила ночь, ее муж в отъезде, и она свободна.

Ехать она не может, слуг позвать не смеет, но страх гонит ее из дома. Иного выхода у нее нет.

Трудны дороги, которыми люди идут по земле: дороги пустынь, дороги болот, дороги гор.

Но эта ночная дорога по талому снегу, с чем мне сравнить ее? Разве это не та дорога, по которой идут собирательницы цветов? Неверная, качающаяся под ногами, скользкая дорога, дорога тех, кто стремится залечить чужие раны, ободрять, кто легок на ногу, у кого зоркий глаз и горячее любящее сердце.

Было далеко за полночь, когда графиня добралась до Экебю. Она падала на лед, прыгала через широкие полыньи, бежала бегом, когда



следы ее ног наполнялись бурлящей водой, ноги ее скользили, она падала и ползла!

Тяжелым был для нее этот путь. Молодая женщина шла и плакала на ходу. Она промокла и устала. Наконец она подошла совсем близко к Экебю, и ей пришлось брести к берегу по щиколотку в воде. Когда она вступила на сушу, у нее хватило мужества лишь на то, чтобы сесть на камень и заплакать от бессилия.

Трудными путями бредут дети человеческие, и маленькие собирательницы цветов сгибаются порой под тяжестью своих корзин как раз в тот момент, когда они уже почти достигли цели и нашли путь, который хотят осыпать цветами.

Эта молодая знатная дама была поистине удивительной маленькой героиней. Ей не доводилось ходить по таким дорогам на своей светлой родине. А теперь она сидит на берегу этого страшного, грозного озера, промокшая, усталая, несчастная, и думает о торных, окаймленных цветами дорогах своей южной родины.

Теперь для нее ничего не значит, север это или юг. Ее захватил круговорот жизни. Она плачет не от тоски по родине. Эта маленькая собирательница цветов, маленькая героиня плачет оттого, что так устала, оттого, что не успела добраться до той дороги, которую хочет осыпать цветами. Она плачет оттого, что пришла слишком поздно.

Внезапно на берег выбегают люди. Они спешат мимо, не замечая ее, но она слышит их слова:

— Если прорвет плотину, то снесет кузницу, — говорит один.

— И мельницу, и мастерские, и дома кузнецов, — добавляет другой.

И тут у нее появляется прилив сил, она поднимается и идет за ними.

Мельница и кузница в Экебю стояли на узком мысу, вокруг которого бушевала Бьеркшеэльвен. Река с шумом мчалась на этот мыс, подгоняемая мощным водопадом, и, чтобы обезопасить постройки, перед мысом соорудили огромный волнорез. Но плотина со временем обветшала, а в ту пору в усадьбе хозяйничали кавалеры. У них на уме были лишь танцы да веселье, никто не удосуживался поглядеть, что сделали со старой каменной плотиной вода, холод и время.

Но вот приходит весеннее половодье, и плотина начинает рушиться.

Водопад в Экебю — это огромная каменная лестница, по которой мчатся волны Бьеркшеэльвен. Опыленные бешеной скоростью, они сталкиваются и набегают друг на друга. В гневе поднимаются они, обдавая друг друга пеной, опрокидываются вниз с камней и бревен, чтобы снова подняться и снова низвергнуться с пеной, шипением, ревом.

И вот сейчас эти дикие, расвирепевшие волны, опыленные весенним воздухом, обезумевшие от только что завоеванной свободы, штурмуют старую каменную плотину. Они бьются о нее с шипением, поднимаются по ней высоко и скатываются вниз, разбивая свои седые головы. Это настоящий штурм, волны таранят плотину большими льдинами, бревнами и обломками камней, неистовствуя, бушуя, пенясь, они колотятся о несчастную плотину и вдруг, словно по команде, затихают, откатываются назад и волокут за собой большой камень, оторвавшийся от стены и с грохотом погрузившийся в поток.

Можно подумать, будто это приводит их в замешательство, они затихают, ликут, держат совет... и снова бросаются вперед! Вот они опять штурмуют стену, вооружившись льдинами и бревнами, буйные, безжалостные, дикие, шальные, одержимые жаждой разрушения.

«Если бы только снести плотину, — говорят волны, — ах, если бы только снести плотину! Тогда настанет очередь кузницы и мельницы».

День свободы настал... долой людей и дело их рук! Они запачкали нас углем, запылили мукой, надели на нас ярмо, как на рабочих быков, гнали нас по кругу, заперли плотиной, заставили крутить тяжелые колеса, нести неуклюжие бревна. Но теперь мы обретем свободу.

День свободы настал! Слушайте волны Бьеркшена, слушайте, братья и сестры в трясинах и болотах, горных ручьях и лесных реках! Спешите к нам, спешите! Вливайте свои воды в Бьеркшеэльвен, с грохотом и шипением несите нам свежие силы, готовые свергнуть вековой гнет, спешите! Пусть падет оплот тирании! Смерть Экебю!

И они пришли. Волна за волной обрушиваются они водопадом, чтобы удариться головой о стену плотины, чтобы внести свою лепту в великое дело свободы.

Опыленные весной и только что обретенной свободой, сильные, единые в своем порыве, идут они и вымывают камень за камнем, кочку за кочкой с начинающего уступать волнореза.

Но отчего люди позволяют бушевать озверевшим волнам и не борются с ними? Неужто Экебю вымерло?

Нет, там есть люди — беспорядочная, растерянная, беспомощная толпа. Ночь темна, они не видят друг друга, не различают дороги, по которой идут. Оглушительен шум водопада, страшен грохот ломающегося льда и ударов бревен, они не слышат собственного голоса! Дикое безумие, вдохновляющее волны, проникает людям в мозг, парализует мысли, туманит рассудок.

Вот зазвонил заводской колокол:

«Слушай тот, у кого есть уши! Мы здесь, возле кузницы Экебю, погибаем! Река обрушила на нас свои воды. Плотина не в силах сдержатъ их натиск, кузница и мельница в опасности, гибель грозит и нашим убогим, но милым сердцу жилищам».

Волнам кажется, что колокол сзывает их друзей, ведь вокруг не видно ни одного человека. А из лесов и болот вода все прибывает.

«Помогите нам, помогите нам!» — звонит колокол.

«После столетий рабства мы наконец обрели свободу. Спешите к нам! Спешите к нам!» — шумят волны.

Грохочущие воды и заводской колокол поют отходную славе и блеску Экебю.

А тем временем в господскую усадьбу приходят к кавалерам тревожные вести.

Но время ли сейчас кавалерам думать о кузнице и мельнице? В просторных залах Экебю собрались сотни гостей.

Торговка метлами ожидает в кухне. Конец ожиданию, наступает решающий момент. Шампанское пенится в бокалах. Юлиус поднимается, чтобы произнести поздравительную речь. Старые любители приключений радостно предвкушают, как гости онемеют от изумления.

А по льду Левена бредет страшной дорогой молодая графиня Дона, чтобы шепнуть Йесте слова предостережения.

От подножья водопада бегут волны, чтобы взять приступом славу и силу Экебю, а в просторных залах царят лишь веселье и приятное ожидание, сияют восковые свечи, вино льется рекой. Здесь никто не думает о потоке, стремительно несущемся в бурной весенней ночи.

Но вот заветный момент наступил. Йеста встает и идет за невестой. Ему нужно пройти через переднюю мимо распахнутых

настежь входных дверей. Он останавливается, вглядывается в темноту... И вот он слышит, вот он слышит...

Он слышит звон колокола, шум водопада. Слышит грохот ломающегося льда, стук налетающих друг на друга бревен, насмешливую, ликующую, победную песнь мятежных волн.

Забыв обо всем, он бежит прочь, исчезает в ночи. Пусть они стоят с поднятыми бокалами и ждут его хоть до второго пришествия, теперь ему не до них. Пусть ждет невеста, пусть речь патрона Юлиуса замрет у него на устах. Жених и невеста не обменяются кольцами этой ночью, блистательное общество не оцепенеет от изумления.

Берегитесь, мятежные волны, теперь вам и впрямь предстоит бороться за свою свободу. Йеста Берлинг примчался к водопаду, у людей появился заступник, в отчаявшихся сердцах зажегся огонь мужества, защитники Экебю поднимаются на дамбу, теперь начнется жестокий бой.

Слушайте, что он кричит людям! Он отдает приказания, он заставляет их приниматься за дело.

— Нам нужен свет, прежде всего свет, фонарь мельника тут не поможет. Видите эти кучи хвороста? Тащите их сюда на берег и зажигайте! Это работа для детей и женщин. Торопитесь, складывайте огромный костер и зажигайте его! Мы будем работать при свете, к тому же он будет виден далеко и другие поспешат к нам на помощь. Не давайте огню погаснуть! Тащите солому, тащите хворост, пусть яркое пламя взметнется к небу!

А теперь вы, взрослые мужчины, вот работа для вас. Берите бревна, берите доски, сколотите щит и опустите его в воду перед каменной плотиной. Скорее, скорее за работу, да делайте его покрепче и помощнее. Готовьте камни и мешки с песком, чтобы укрепить ее. Скорее, пусть машут топоры, пусть стучат молотки, пусть сверла буравят дерево, пусть пилы с визгом вгрызаются в доски!

А где мальчишки? А ну сюда, безобразники! Тащите багры, тащите шесты, а ну за работу! Бегите сюда, на плотину, не беда, что волны пенятся и шипят, плюются белой пеной! Защищайте стену, ослабляйте волны, отбивайте их атаку, разрушающую камень плотины! Отталкивайте бревна и льдины, бросайтесь вниз, если надо, и придерживайте расшатавшиеся камни руками. Держите их зубами, вцепляйтесь в них железными когтями! Боритесь с волнами, сорванцы,

негодники! Быстро все сюда, на плотину! Будем драться за каждый дюйм земли.

Сам Йеста стоит на краю плотины, обрызганный пеной, земля трясется у него под ногами, волны рвут и грохочут, но его отважное сердце наслаждается опасностью, тревогой, радостью битвы. Он хохочет, шутит с мальчишками, стоящими рядом с ним на дамбе. Эта ночь самая прекрасная в его жизни.

Спасательные работы идут полным ходом, горят костры, стучат топоры плотников, плотина держится.

Прочие кавалеры и сотни гостей тоже пришли к водопаду. Прибежал народ из ближних и дальних селений, все принялись за работу: одни не дают кострам погаснуть, другие сколачивают деревянный щит или носят мешки с песком к готовой обрушиться старой плотине.

Но вот плотники сколотили щит, сейчас они опустят его перед шатающимся молотом. Держите наготове камни и мешки с песком, багры и веревки, чтобы его не сорвало, чтобы победили люди, чтобы волны покорно вернулись к рабскому труду!

И тут вдруг перед самым решительным моментом Йеста замечает женщину, сидящую на прибрежном камне. Она сидит, уставясь на волны, отсвет костра падает на нее. Он не может отчетливо разглядеть ее сквозь туман и пенные брызги, но она притягивает к себе его взгляд. Он неотрывно смотрит на нее. Йеста словно чувствует, что у нее важное дело именно к нему.

Из всех людей на берегу она одна сидит неподвижно, и к ней вновь и вновь обращается его взгляд, он не видит никого, кроме нее.

Она сидит так близко к воде, что волны достают до ее ног, и пенные брызги обдают ее. Должно быть, промокла она насквозь. На ней темная одежда, голова повязана черным платком, она сидит согнувшись, подперев голову руками, не сводя с него глаз. Ее глаза манят, притягивают его к себе, и хотя лица ее ему не различить, он не думает ни о ком другом, кроме этой женщины, сидящей на самом краешке земли у пенных волн.

«Это левенская русалка вышла из воды, чтобы погубить меня, — думает он. — Она сидит и манит меня, нужно прогнать ее прочь».

Ему кажется, будто волны с белыми гребнями — ее войско. Это она натравила их на людей, она повела их на штурм.

— Я в самом деле прогоню ее, — говорит Йеста.

Он хватает багор и бежит к ней.

Он покинул свое место на самом конце волнореза, чтобы прогнать русалку. Сгоряча он вообразил, будто вся нечистая сила речных глубин ополчилась против него. Он сам не знает, что делает, его обуревают лишь одно желание, одна мысль: прогнать эту черную женщину с камня на берегу.

Ах, Йеста, отчего в решающий миг место, где ты стоял, пусто? Вот люди принесли щит, длинный ряд людей выстраивается вдоль мола. Они принесли веревки, камни и мешки с песком — балласт, чтобы удержать щит. Они стоят и прислушиваются, ждут команды. Где же командир? Почему не слышно его приказаний?

Но Йеста Берлинг преследует русалку, голоса его не слышно, он никому не дает команды.

Приходится опускать щит без него. Волны отступают, щит падает в глубину, вслед за ним летят камни и мешки с песком. Но что можно сделать без командира? Ни слаженности в работе, ни порядка. Волны рвутся вперед с удвоенной яростью, бросаются на новую преграду, начинают откатывать мешки с песком, рвать веревки, расшатывать камни. Им это удастся, удастся! Злобно хохоча и ликуя, поднимают они все сооружение на свои сильные плечи, расшатывают, ломают и под конец поглощают его. Долой это жалкое укрепление, в Левен его, на дно! И волны снова бьются о беспомощную каменную дамбу.

А Йеста Берлинг преследует русалку. Вот он подбежал к ней, размахивая багром. Увидев его, она пугается. Неужто она хочет броситься в воду? Нет, она опомнилась и бежит прочь от берега.

— Стой, проклятая! — кричит Йеста, замахиваясь багром.

Она спешит укрыться в прибрежном ольшанике, густые ветви цепляются за ее одежду, она останавливается.

Йеста бросает багор, подходит к ней, кладет руку ей на плечо.

— Однако, поздно вы гуляете по ночам, графиня Элисабет, — говорит он.

— Оставьте меня, господин Берлинг, позвольте мне пойти домой.

Он тут же повинуется и отворачивается от нее.

Но ведь она не просто знатная дама, а, в сущности, маленькая добрая женщина, которой невыносима мысль, что она довела кого-то до отчаянья, маленькая собирательница цветов. В корзине у нее всегда

полно роз, чтобы осыпать ими самый тернистый путь. Она тут же раскаивается, подходит к Йесте и берет его за руку.

— Я пришла, — говорит она, запинаясь, — я пришла, чтобы... О, господин Берлинг, ведь вы не сделали этого? Скажите, что вы не сделали этого!.. Я так испугалась, когда вы подбежали ко мне, но ведь именно вас я хотела встретить. Хотела попросить вас забыть то, что я сказала вам в последний раз и бывать у нас по-прежнему.

— Как вы оказались здесь, графиня?

Она нервно смеется.

— Я знала, что иду слишком поздно, но не хотела никому говорить, что ухожу. И к тому же, вы понимаете, по озеру сейчас на лошадях не проехать.

— Так вы шли через озеро пешком?

— Да, конечно. Однако скажите же мне, господин Берлинг, вы обручены? Понимаете... я так хотела, чтобы вы этого не сделали. Ведь это было бы несправедливо, и мне казалось бы, что это я во всем виновата. Вам не следовало принимать мои слова так близко к сердцу. Я чужестранка и не знаю обычаев вашей страны. В Борге теперь так пусто, оттого что вы больше не навещаете нас.

Йеста Берлинг стоит среди мокрого ольшаника, и ему кажется, будто кто-то бросил на него целую охапку роз. Он бредет по колена в розах, они светятся в темноте, он жадно вдыхает их аромат.

— Так вы обручились?

Он должен ответить ей, успокоить ее, хотя его радует ее волнение. Он думает о пути, по которому она шла, о том, как она промокла и озлябла, как страшно ей было, о том, что в голосе ее слышны слезы. И на душе у него становится так тепло и светло.

— Нет, — отвечает он, — я не обручен.

Она снова берет его руку и гладит ее.

— Я так рада, так рада, — шепчет она, и грудь ее, сдавленная страхом, содрогается от всхлипываний.

Вот они, цветы на пути поэта. Все темное, злое, исполненное ненависти в его сердце тает и исчезает.

— Как вы добры, как вы добры! — восклицает он.

А почти рядом с ними волны берут штурмом честь и славу Экебю. Теперь, когда люди лишились вожака, никто не вливает мужества и надежду в их сердца, волнорез рушится, волны перекатываются через

него и бросаются, уверенные в победе на мыс, где стоят мельница и кузница. Никто более не пытается помешать волнам, каждый думает лишь о том, как спасти свою жизнь и имущество.

Само собой разумеется, что Йеста должен проводить графиню домой. Не может же он оставить ее одну темной ночью, позволить ей снова идти по талому льду. Им даже не приходит в голову, что он нужен там, возле кузницы, они счастливы, что снова вместе.

Легко догадаться, что молодые люди горячо любят друг друга, однако кто может знать это наверное? Прекрасная сага их жизни дошла до меня лишь в виде разрозненных обрывков. Ведь я не знаю ничего, почти ничего о том, что скрывалось в сокровенных тайниках их сердец. Что я могу сказать наверняка о мотивах их поступков? Я знаю лишь, что в ту ночь молодая прекрасная женщина рисковала своей жизнью, честью и здоровьем, чтобы вернуть на путь истины жалкого грешника. Я знаю лишь, что в ту ночь Йеста Берлинг принес в жертву могущество и славу любимой усадьбы ради того, чтобы проводить ту, которая ради него преодолела страх смерти, стыд и боязнь наказания.

В мыслях я не раз шла с ними по льду в ту страшную, так счастливо для них завершившуюся ночь. Вряд ли в их чувствах было что-нибудь тайное и запретное, что следовало бы подавлять и скрывать, когда они шли по льду, оживленно беседуя о том, что случилось после их размолвки.

Он снова ее раб, ее коленопреклоненный паж, а она его госпожа.

Они просто рады и счастливы. Ни один из них не произнес слова «любовь».

Смеясь, бредут они по прибрежной воде. Смеясь отыскивают дорогу, то и дело теряя ее, смеясь скользят по льду, падают, поднимаются.

Жизнь, благословенная жизнь снова представляется им веселой забавой, им кажется, будто они маленькие дети, которые ни с того ни с сего поссорились. Ах, как отраднo помириться и снова начать игру!

Молва об этой истории пошла по всей округе. Достигла она и ушей Анны Шернхек.

— Да, — сказала она, — видно, у Бога не одна тетива в луке. Теперь я могу успокоиться и остаться с теми, кому так нужна. Бог и без меня может сделать из Йесты человека.



## Глава шестнадцатая

### ПОКАЯНИЕ

Дорогие друзья, если вам случится встретить на дороге жизни жалкое и несчастное существо, человека, убитого горем, который шляпу сдвинул на затылок, подставляя лицо палящему солнцу, а башмаки держит в руках, чтобы ноги ступали по острым камням, незащитное существо, призывающее все беды на свою голову, пройдите мимо него с безмолвным трепетом. Знайте, что кающийся грешник бредет по дороге к святым местам.

Кающийся грешник должен носить рубище, питаться лишь хлебом и водою, будь он даже сам король. Он должен ходить пешком, а не ездить. Быть нищим и просить милостыню, спать на терниях. Истереть могильные плиты коленями. Истязать себя колючей плетью. Ощущать сладость в одних лишь страданиях, блаженство испытывать в одной лишь печали.

Одной из тех, кто носит рубище и ступает по тернистому пути, пришлось однажды стать графине Элисабет. Ее собственное сердце обвиняло ее во грехе. Оно жаждало боли, как усталый путник жаждет омовения теплой водой. Большую беду навлекла она на себя, но с радостью погрузилась в пучину страданий.

Ее муж, молодой граф с лицом старца, вернулся домой утром после той ночи, когда весеннее половодье снесло мельницу и кузницу в Экебю. Едва он успел войти в дом, как графиня Мэрта приказала позвать его к себе и поведала ему нечто неслыханное.

— Твоя жена, Хенрик, уходила этой ночью из дома. Она пропадала несколько часов. Вернулась она в обществе мужчины. Я слышала, как он пожелал ей доброй ночи, и знаю, кто это был. Я ненароком слышала, когда она уходила и когда пришла. Она обманывает тебя, Хенрик. Она обманывает тебя, это лицемерное созданье, повесившее на все окна гардины рельефной вязки лишь для того, чтобы досадить мне. Она никогда не любила тебя, бедный мой мальчик. Ее отец жаждал сбить свою дочь с рук. Она вышла за тебя лишь из-за денег.

Графиня представила дело столь красноречиво, что Хенрик расщепел. Он пожелал без промедления расторгнуть брак и отослать жену к ее отцу.

— Нет, друг мой, — возразила графиня, — подобным образом ты лишь бросишь ее в объятия зла. Она избалована и дурно воспитана. Позволь мне заняться ею, позволь мне вернуть ее на путь добродетели.

Тут граф позвал жену и объявил, что отныне ей надлежит во всем подчиняться его матери.

О, какая сцена последовала за этим! Спектакля более жалкого еще не разыгрывали в этом доме, повенчанном с печалью.

Много обидных слов пришлось услышать молодой женщине от своего мужа. Воздевая руки к небесам, он винил ее в том, что они позволили этой бесстыдной женщине втоптать в грязь его имя. Потрясая кулаками перед лицом жены, он спрашивал, какого наказания она заслужила за подобное преступление.

Графиня Элисабет вовсе не испугалась мужа. Она продолжала думать, что поступила правильно. Она ответила, что получила достаточно суровое наказание — ужасный насморк.

— Элисабет! — возмутилась графиня Мэрта. — С подобными вещами не шутят.

— Мы с вами, — возразила молодая женщина, — никогда не были единомышленны во мнении, когда следует шутить и когда быть серьезной.

— Однако тебе следовало бы понять, что порядочной женщине не пристало уходить по ночам из дома и слоняться где-то с известным всей округе авантюристом.

Тут Элисабет Дона поняла, что свекровь решила ее погубить. Она поняла также, что должна бороться изо всех сил, если не хочет навлечь на себя страшную беду.

— Хенрик, — взмолилась она, — не позволяй своей матери становиться между нами! Позволь мне рассказать тебе всю правду! Ты справедлив и не станешь судить меня, не выслушав, что я скажу. Дай мне довериться тебе во всем, и ты поймешь, что я поступила так, как ты сам учил меня.

Граф молча кивнул ей, и графиня Элисабет рассказала, как она невольно толкнула Йесту Берлинга на путь зла. Она поведала ему о том, что случилось в маленьком голубом кабинете и как совесть заставила ее идти спасать того, с кем она обошлась несправедливо.

— Я не имела никакого права судить его, — сказала она, — ведь вы, супруг мой, сами учили меня, что нужно принести любую жертву, если хочешь загладить свою вину. Не правда ли, Хенрик?

Граф повернулся к матери.

— Что вы скажете на это, матушка? — спросил он. Его щедедушное маленькое тело застыло от сознания собственного достоинства, а высокий, узкий лоб, изрезанный ранними морщинами, был величественно нахмурен.

— Я, — отвечала графиня, — я скажу, что Анна Шернхек умная девушка, она хорошо понимала, что делает, рассказывая Элисабет эту историю.

— Вы, матушка, не изволили понять меня, — возразил граф. — Я спрашиваю, каково ваше мнение о том, что сказала Элисабет. Неужто графиня Мэрта Дона пыталась уговорить свою дочь, мою сестру, стать женой отрешенного от сана пастора?

Графиня на мгновение помедлила с ответом. «Ах, Хенрик, до чего же ты глуп, до чего же ты глуп! — подумала она. — Ты идешь по ложному следу. Охотничья собака гонится сейчас за самим охотником, чтобы дать зайцу уйти». Но графиня молчала лишь одно мгновение.

— Друг мой, — ответила она, пожимая плечами. — Есть причина предать забвению старые истории об этом несчастном, та же причина заставляет меня просить тебя не давать повода для публичного скандала. К тому же он, вероятнее всего, погиб этой ночью.

Она говорила кротким тоном, изображая участие, хотя на самом деле лгала и притворялась.

— Элисабет сегодня долго спала и не слыхала, что люди по всему берегу ищут господина Берлинга. Он не вернулся в Экебю, и боятся, что он утонул. Нынче утром озеро вскрылось. Поглядите, шторм разбил лед на мелкие куски.

Графиня Элисабет глянула в окно. Озеро почти очистилось ото льда.

Ее охватило горькое раскаяние. Она хотела избежать Божьего суда, лгала и притворялась. Набрасывала на себя белое покрывало невинности.

В отчаянье упала она на колени перед мужем, и с уст ее полились слова признания:

— Суди меня, презирай меня! Я любила его. Не сомневайся в том, я любила его! Я рву на себе волосы, разрываю одежду от горя. Теперь, когда он умер, мне все безразлично. Я не собираюсь больше защищаться! Знай же всю правду. Я отняла у мужа любовь своего сердца и отдала его чужому. О, горе мне, презренной! Я одна из тех, кто предалась соблазну запретной любви!

О ты, юное создание, пади в отчаянье в ноги своим судьям и поведай им всю правду! Придите, добровольные мучения! Придите, унижения и позор! О, как ты жаждешь призвать громы небесные на свою бедную голову!

Что ж, расскажи своему мужу, как ты пришла в ужас, когда тебя обуяла страсть, огромная, неодолимая, как ты содрогалась, сознавая собственное ничтожество! Что демоны-искусители в твоей душе были страшнее для тебя кладбищенских призраков.

Поведай им, как ты отвратилась от лика Божьего, поняла, что не достойна ступать по земле! Как боролась сама с собой, молясь и обливаясь слезами.

— О Боже, спаси меня! О Сын Божий, изгони демонов искушения, спаси меня! — молила ты.

Скажи, как ты предпочла все скрывать, чтобы никто не узнал о твоём поведении. Ты думала, что делаешь то, что угодно Богу. Думала, что идешь по Божьему пути, спасая любимого. Он не знал ничего о твоей любви. Он не должен был погибнуть из-за тебя. Знала ли ты, что такое добро и что такое зло? Одному лишь Богу это ведомо, и он вынес тебе свой приговор. Он поразил того, кого ты боготворила. Он привел тебя на исцеляющий путь покаяния.

Скажи им, что ты знаешь: во лжи нет спасения! Демоны искушения таятся во мраке. Пусть руки твои сожмут плеть. Наказание прольет целительный бальзам на раны твоего греха. Сердце твое жаждет страданий.

Скажи им все это, стоя на коленях, заламывая руки, вне себя от горя, голосом, срывающимся от дикого отчаянья, со злорадным смехом думая о наказании, покуда твой муж не схватит тебя за руки и не поднимет рывком с пола!

— Веди себя, как подобает графине Дона, иначе мне придется просить матушку наказать тебя как малого ребенка!

— Делайте со мной что хотите!

И граф вынес ей свой приговор:

— Матушка просила за тебя. И потому ты останешься жить в моем доме. Но с этих пор она будет приказывать, а ты повиноваться.

\* \* \*

Смотрите же, каков он, путь раскаяния. Молодая графиня стала ничтожнейшей из служанок. Долго ли будет это продолжаться, долго ли? Долго ли сможет покоряться это гордое сердце? Долго ли смогут молчать нетерпеливые уста? Долго ли сможет сдерживаться горячая рука?

Сладостна жалкая доля униженного. Спина ноет от тяжелой работы, но сердце молчит. К тому, кто спит час-другой, сон приходит незвано.

Старая женщина превратилась в злого духа и непрестанно мучает молодую, но что из того? Бедняжка благодарна своей благодетельнице. Ведь зло еще сидит в ней. Поднимай ее сонную с постели в четыре утра изо дня в день! Заставляй неумелые руки ткать тяжелую грубую ткань. Это ей лишь на пользу. Ведь у кающейся грешницы, поди, не хватит силы бичевать хорошенько саму себя.

Когда наступает время весенней стирки, графиня Мэрта велит ей стоять у корыта в прачечной! Хозяйка сама приходит поглядеть на ее работу.

— Вода у тебя в корыте что-то не горяча, — говорит она и льет крутой кипяток из котла на голые руки невестки.

Холодным ненастным днем приходится прачкам полоскать в озере белье. Порывы ветра обдают их дождем, смешанным со снегом. Насквозь промокшие юбки прачек тяжелы, как свинец. Нелегко колотить белье вальком. Из-под холеных ногтей выступает кровь.

Но графиня Элисабет не жалуется. Да будет благословенна милость Божия! Что может утешить грешника, кроме страданий? Мягко, словно лепестки роз, падают колючие узлы кнута на спину кающейся грешницы.

Молодая женщина скоро узнала, что Йеста Берлинг жив. Старуха обманула ее, чтобы вырвать признание. Но что с того? Вот он, путь покаяния! Вот она, кара Божья! Вот так привел Он грешницу на путь

искупления. Об одном лишь она тревожится: что станет со свекровью, чье сердце Господь так ожесточил из-за нее? О, Он, верно, будет судить ее со всей своей кротостью. Ведь она должна быть злой, и ее жестокость поможет грешнице вновь обрести любовь Божию.

Не знала Элисабет, что душа человеческая, познавшая все наслаждения мира, бывает склонна насладиться жестокостью. Когда нетерпеливой, очерстневшей душе недостает лести и ласки, вихря танца и азарта игры, она окунается в свои мрачные глубины и выносит на поверхность жестокость. Ее притупившиеся чувства способны еще находить радость в том, чтобы мучить животных и людей.

Старая графиня вовсе не считает себя злодейкой. Она всего лишь наставляет на путь истинный легкомысленную жену. Бессонными ночами она придумывает для невестки все новые наказания. Обходя дворцовые покои однажды вечером, она велит Элисабет идти впереди со свечой. Невестка держит в руке свечу без подсвечника.

— Свеча догорает, — говорит молодая женщина.

— Раз свеча догорает, пусть горит подсвечник, — отвечает графиня Мэрта. И они идут дальше, покуда свеча не гаснет в обожженной руке.

Однако все это еще пустяки. Ведь есть душевные муки, перед которыми меркнут все страдания телесные.

Графиня Мэрта приглашает гостей и заставляет невестку прислуживать за столом в ее же собственном доме.

Вот он, день великого испытания для кающейся грешницы. Чужие люди будут свидетелями ее унижения! Они увидят, что она не достойна сидеть за столом рядом с мужем. О, с какой насмешкой будут скользить по ней их холодные взгляды!

Но на деле выходит хуже, во много раз хуже. Гости не смеют на нее смотреть. Все за столом, и мужчины и женщины, сидят молчаливые и придавленные.

Ей кажется, будто она сыплет себе на голову раскаленные угли. Неужто грех ее столь ужасен? Неужто для них позор находиться рядом с ней?

И вот приходит искушение. Вы только посмотрите, Анна Шернхек, ее бывшая подруга, и сосед Анны за столом, судья из Мункеруда, останавливают ее, когда она подходит к ним, вырывают у нее из рук блюдо с жарким, усаживают на стул, не дают убежать прочь.

— Садись, дитя мое, садись, ты не сделала ничего плохого! — говорит судья. — Ты не сделала ничего дурного.

И тут все гости в один голос заявляют, что если она не будет сидеть с ними за столом, они тотчас же уедут. Ведь они не палачи. Потакать графине Мэрте они не станут. Их не так легко провести, как некоторых безмозглых графов.

— О, добрые господа! О, милые мои друзья! Не будьте столь милосердны! Вы заставляете меня во всеуслышанье признаться в моем грехе. Ведь я слишком сильно любила одного человека.

— Дитя, да знаешь ли ты, что такое грех? Тебе даже не понять, как ты невинна. Йеста Берлинг и не догадывается о твоей любви к нему. Займи снова подобающее тебе место в своем доме! Ты не сделала ничего дурного.

Им удается ненадолго ободрить ее, и они сами радуются, как дети. Смех и шутки звучат за столом.

Эти отзывчивые, чуткие к чужой боли люди очень добры, и все же они посланы искусителем. Они хотят внушить ей, что она жертва, и открыто насмеваются над графиней Мэртой, этой ведьмой. Им не понять, что душа грешника жаждет чистоты и по своей воле ступает босыми ногами на острые камни, подставляет лицо палящему солнцу.

Иногда графиня Мэрта заставляет ее выслушивать бесконечные истории о Йесте Берлинге, пасторе-авантюристе. А исчерпав запас сплетен в своей памяти, начинает придумывать кое-что от себя, лишь бы это имя звучало неумолчно в ушах молодой графини. А этого она боится больше всего. В такие дни ей начинает казаться, что свой грех ей не искупить. Ее любовь не умирает. Ей кажется, что она сама умрет прежде, чем ее любовь. Силы начинают изменять ей, здоровье пошатнулось.

— Куда же подевался твой герой? — насмешливо спрашивает старая графиня. — Каждый день я жду, что он вот-вот появится, а за ним его кавалеры. Отчего же он не берет штурмом Борг, не сажает тебя на трон, не бросает меня и твоего мужа связанными в темницу? Неужто он уже забыл тебя?

Молодая женщина еле сдерживает желание защитить его сказать, что она сама запретила ему приходить к ней на помощь. Но нет, лучше молчать, молчать и страдать.

День за днем пожирает ее пламя соблазна, разгораясь все ярче. Ее постоянно лихорадит, от изнеможения она еле держится на ногах. Она желает лишь одного — умереть. Жизненные силы в ней подавлены. Любовь и радость замерли в ее душе. Страдания ей больше не страшны.

\* \* \*

А муж, по-видимому, вовсе забыл, что она есть на свете. Он запирается в своем кабинете и сидит там целыми днями, изучая неразборчивые рукописи и трактаты, напечатанные старинным шрифтом, буквы которого стерлись и расплылись.

Он достает из резной шкатулки дворянскую грамоту, писанную на пергаменте, на которой висит большая, массивная красного воска печать Шведского королевства. Он рассматривает старинные гербы с лилиями на белом фоне и с грифами на синем. В них он знает толк и с легкостью их объясняет. Он читает и перечитывает старинные некрологи и эпитафии, посвященные благородным графам Дона, в которых их дела уподобляются деяниям великих мужей Израиля и богов Эллады.

Видите ли, эти старинные документы всегда доставляли ему радость. А о своей молодой супруге он и думать перестал.

Одна лишь фраза графини Мэрти убила в нем всяческую любовь к жене: «Она вышла за тебя из-за денег». Такое ни один мужчина не станет терпеть. Это убивает всяческую любовь. Теперь ему безразлично, что станет с молодой женщиной. Если матушке удастся вернуть ее на путь добродетели, тем лучше. Граф Хенрик всегда восхищался своей матерью.

И такое творится в доме уже целый месяц. Однако это время не было все же таким бурным и беспокойным, как это может показаться читателю, ведь описание всех этих событий втиснуто всего в несколько страниц. Графиня Элисабет была внешне все время спокойна. Лишь один-единственный раз она потеряла самообладание, услышав о мнимой гибели Йесты Берлинга. Но ее раскаянье в том, что она не сумела сохранить любовь к мужу, было так велико, что она,



верно, позволила бы графине Мэрте замучить себя до смерти, если бы однажды вечером старая экономка не сказала ей:

— Вам бы, графиня, надобно поговорить с графом. Вам, верно, невдомек, чем все это может кончиться для вас, но я-то уж точно знаю.

Но об этом она и не могла говорить с мужем, раз он подозревал ее во всех смертных грехах.

В ту же ночь она потихоньку оделась и вышла из дома. На ней было простое крестьянское платье, в руках она держала узелок. Она решила покинуть свой дом, с тем чтобы никогда более сюда не возвращаться.

Молодая графиня ушла не для того, чтобы избежать мучений. Она считала знаменем Божиим, что ей позволено уйти, чтобы сохранить здоровье и силы.

Она не пошла на запад, через озеро, ведь там жил тот, кто был мил ее сердцу. Не пошла она и на север, потому что там жили многие из ее друзей. Не пошла она также на юг, потому что там, в далекой Италии, был ее родной дом, а она не хотела приблизиться к нему ни на шаг. Она пошла на восток, где у нее не было ни дома, ни милого друга, никого, кто мог бы помочь и утешить ее.

Нелегки были ее шаги по этому пути, ведь она считала, что еще не заслужила у Бога прощения. И все же ей было радостно оттого, что отныне она будет нести бремя своего греха среди чужих людей. Их равнодушные взгляды будут скользить по ней, унимая боль ее сердца; так холодный металл унимает боль, если приложить его к ушибленному месту.

Она собиралась идти до тех пор, покуда не найдет бедный хутор на опушке леса, где никто ее не знает.

«Люди добрые, — скажу я им, — беда со мной стряслась, родители выгнали меня из дому. Прошу вас, дайте мне приют в вашем доме, покуда я сама не заработаю на хлеб. У меня есть немного денег».

Так шла она светлой июньской ночью; май, что был для нее месяцем тяжелых мук, миновал. Ах, май месяц, прекрасная пора, когда светлая зелень берез смешивается с темной хвоей ельника, когда напоенный теплом южный ветер прилетает из далеких краев.

Не покажусь ли я тебе неблагодарной, чудесный май? Ведь я, как и все, наслаждалась твоими дарами и не воспела ни единым словом твою красоту.

Ах, май месяц, светлая, милая сердцу пора, смотрел ли ты когда-нибудь на дитя, что сидит у матери на коленях и слушает сказки? Пока ему рассказывают о жестоких великанах, о страданиях прекрасных принцесс, он держит голову прямо и глядит широко раскрытыми глазами, но стоит матери заговорить о счастье, о сиянии солнца, как малютка тут же смыкает очи и засыпает, склонив голову ей на грудь.

И я, прекрасный май, подобна этому младенцу. Пусть другие слушают рассказы про цветы и солнце, мне милее темные ночи, полные чудес и опасных приключений, меня влекут страдания заблудших сердец.

## Глава семнадцатая

# ЖЕЛЕЗО ИЗ ЭКЕБЮ

Пришла весна, и все вермландские заводы начали отправлять железо в Гетеборг.

Но в Экебю железа не было. Осенью там часто не хватало воды, а весной хозяйничали кавалеры.

В пору их владычества по тяжелым гранитным уступам водопада Бьеркшефаллет струилось горькое пенистое пиво, а длинное озеро Левен было наполнено не водой, а вином.

Во времена кавалеров в горне не выплавлялось железо; кузнецы, стоя в одних рубашках и деревянных башмаках перед печами, поворачивали на длинных вертелах огромные куски мяса, а их подмастерья держали длинными клещами над горячими углями наштигованных каплунов. В ту пору на заводской усадьбе знай себе танцевали и веселились. На верстаках укладывались спать, а наковальни приспособили вместо карточных столов. В ту пору не ковали железо в Экебю.

Но вот пришла весна, и в гетеборгской оптовой конторе начали ждать, когда же придет железо из Экебю. Прочитали снова контракт, заключенный с майором и майоршей, в котором говорилось о поставках многих сотен шеппундов<sup>[45]</sup> железа.

Но что за дело кавалерам до контрактов майорши? У них одна забота: лишь бы за веселыми пирами не переставала звучать музыка! Лишь бы на заводской усадьбе не прекращались танцы!

Отовсюду прибывало железо в Гетеборг: из Стемне, из Селье. Железо из Чюмсберга везли из глухомани к Венерну. Оно прибывало из Уддехолма, из Мункфорса, со всех горных заводов. Но где же сотни шеппундов из Экебю?

Неужто Экебю перестал быть лучшим заводом в Вермланде? Разве некому больше поддержать честь старого поместья? В руках беспечных кавалеров Экебю все равно что зола на ветру. У них на уме лишь танцы да веселье. Ни на что другое они не годятся, эти недоумки.

А водопады и реки, грузовые суда и баржи спрашивают, недоумевая, друг у друга:

— Почему не везут железо из Экебю?

Леса и озера, горы и долины шепчутся, вопрошая друг друга:

— Почему не везут железо из Экебю? Неужто в Экебю нет больше железа?

А в лесной чащобе хохочут ямы углежогов, смеются язвительно и тяжелые молоты в закопченных кузницах, хохочут вовсю, разевая широкие пасти, рудники, корчатся от смеха ящики столов в оптовой конторе, где хранятся контракты майорши.

— Слыхали вы что-нибудь подобное?

В Экебю нет больше железа. Это на лучшем-то вермландском заводе вовсе нет железа.

Проснитесь же вы, беспечные, опомнитесь, бездомные! Неужто вы позволите столь постыдно позорить Экебю? О, кавалеры, если вы в самом деле любите этот прекраснейший уголок на всем белом свете, если вы тоскуете вдали от него, если не можете говорить о нем с людьми незнакомыми, не смахнув слезы с глаз, опомнитесь и спасите честь Экебю.

Но если в Экебю молоты отдыхали, то в остальных шести дочерних заводах они стучали неустанно. Там-то, поди, железа предостаточно. И Йеста Берлинг без промедления едет туда, чтобы поговорить с управляющими.

На ближний завод, что стоит в Хегфорсе на берегу Бьеркшеэльвена неподалеку от Экебю, он, надо сказать, решил не заезжать. Здесь, ясное дело, тоже царил кавалерский дух.

Вместо того он проехал несколько миль к северу и добрался до Летафорса. Красиво это место, что и говорить. Впереди простирается верхний Левен, позади возвышаются отвесные склоны древней Гурлиты. Край дикий, романтический. Но вот с кузницей беда. Водяное колесо сломалось и не работало целый год.

— Так отчего же вы его не починили?

— А оттого, друг мой любезный, что один-единственный во всей округе столяр, который мог бы его починить, был занят в другом месте. Мы не смогли выковать ни одного шеппунда.

— Почему же вы не послали за плотником?

— Не послали! Да мы посылали за ним каждый день, но он никак не мог прийти. Говорил, что занят, сооружает кегельбаны да беседки в Экебю.

Тут Йеста понял, что ничего хорошего ему эта поездка не сулит.

Поехал он дальше, в Бьернидет. Тоже место красоты неопишуемой, впору замок здесь было строить. Большое главное здание в центре полукруглой долины окружено с трех сторон высокими горами, а с четвертой открывается вид на оконечность Левена. И Йеста знает, что нет лучше места для романтических прогулок под луной, чем дорожка вдоль берега реки, ведущая мимо водопада к кузнице, вырубленной прямо в огромной скале. Но железо... есть ли там хоть сколько-нибудь железа?

Нет, конечно, нет. У них не было угля, а денег из Экебю, чтобы нанять угольщиков и грузчиков, они так и не получили. Завод не работал всю зиму.

И вот Йеста снова едет на юг. Он отправляется в Хон, на восточный берег Левена, оттуда в Левстафорс, в Дремучий лес, но и там дела обстоят не лучше. Железа нет нигде, и оказывается, что в этом виноваты одни лишь кавалеры.

Йеста возвращается в Экебю, и кавалеры с мрачным видом осматривают остатки железа, хранившиеся на складе в Экебю, — какие-то пятьдесят с лишним шеппундов. Не до веселья теперь, им кажется, будто вся природа насмеяется над Экебю, земля содрогается от рыданий, что деревья гневно машут ветвями, а травы и цветы оплакивают его былую славу.

\* \* \*

Но к чему столько слов, стоит ли недоумевать и восклицать без конца? Вот оно, железо из Экебю.

Вот оно, железо, погруженное на баржи у берега Кларэльвен, готовые отплыть вниз по реке в Карлстад, где его взвесят и отправят на грузовом судне по Венерну в Гетеборг. Честь Экебю спасена.

Неужто это возможно? Ведь в Экебю не более пятидесяти шеппундов железа, а на остальных заводах его вовсе нет.

Неужто в самом деле доверху нагруженные баржи повезут целые груды железа в Карлстад? Да, спросите об этом самих кавалеров.

Кавалеры стоят на борту тяжелых, неуклюжих баржей, они сами повезут железо из Экебю в Гетеборг. Ни простому барочнику, никому другому на свете не доверят они его. Кавалеры прихватили с собой бутылки и корзины с провизией, валторны и скрипки, ружья, рыболовные снасти и игральные карты. Они сделают все ради драгоценного груза, не оставят его без присмотра ни на минуту, покуда оно не будет разгружено на гетеборгской набережной. Они сами будут грузить и разгружать, сами управлять парусом и рулем. Им одним такое дело по плечу. Разве есть хоть одна песчаная отмель в Кларэльвен или риф в Венерне, который бы они не знали? Разве руль и тали не так же послушны их рукам, как смычок и вожжи?

Это железо на баржах дороже им сейчас всего на свете. Они обходятся с ним как с самым хрупким стеклом, бережно прикрывают его брезентом. Ни одна поковка не должна оставаться под открытым небом. Эти тяжелые серые железные прутья должны вернуть Экебю его былую славу. Нужно уберечь их от чужого глаза. О Экебю, милый сердцу край, да будет вечно сиять слава твоя!

Ни один из кавалеров не остался дома. Дядюшка Эберхард оторвался от письменного стола, а кузен Кристофер покинул свое постоянное место в углу подле камина. Даже кроткий Левенборг не отстал от остальных. Никто не должен оставаться в стороне, когда на карту поставлена честь Экебю.

Однако Левенборгу вредно смотреть на Кларэльвен. Он не видел ее тридцать семь лет и столько же времени не плавал ни на одном судне. Ему ненавистны блестящая гладь озер и серые воды рек. Слишком мрачные воспоминания будят они в нем, и потому он старается держаться от них подальше. Но сегодня он не может остаться дома. Он должен вместе со всеми спасти часть Экебю.

Дело в том, что тридцать семь лет назад невеста Левенборга утонула в Кларэльвен у него на глазах, и с тех пор рассудок у бедняги помутился.

Он стоит и смотрит на воду, а в его дряхлом мозгу мысли путаются все сильнее и сильнее. Серая струящаяся река, подернутая серебристой рябью, — не что иное, как огромная змея с серебряной чешуей, караулящая жертву. Желтые высокие песчаные берега, меж

которыми река прорезала свое русло, это стены западни, а на дне притаилась змея. Широкая проселочная дорога, проделавшая дыру в этой стене и спускающаяся сквозь толщу песка к причалу, где стоят баржи, это вход в страшную пещеру смерти.

Маленькие голубые глазки тщедушного старика пристально глядят на воду. Его длинные седые волосы развеваются на ветру, а лицо, обычно окрашенное легким румянцем, побелело от ужаса. От твердо уверен в том, что сейчас на дороге покажется человек и бросится в раскрытую змеиную пасть.

Кавалеры уже собрались отчаливать и взялись за длинные шесты, чтобы оттолкнуться от берега и вывести баржи на середину реки, где их подхватит течение, но тут раздается крик Левенборга:

— Остановитесь, говорю вам, ради Бога, остановитесь!

Его охватывает беспокойство оттого, что баржа начинает покачиваться, но поднятые шесты невольно останавливаются в воздухе.

А он, донимая, что река караулит добычу, что кто-то непременно должен сейчас появиться и броситься в нее, указывает предостерегающим жестом на дорогу, словно видит там кого-то.

И тут случилось совпадение, какие, как известно, нередко бывают в жизни. Тому, кто еще не утратил способность удивляться, может показаться невероятным, что паромы кавалеров стояли на причале возле переправы через Кларэльвен как раз в то утро, в канун которого молодая графиня начала свое странствие на восток. Но было бы еще удивительнее, если бы молодой женщине никто не помог в беде. Случилось так, что она, проблуждав всю ночь, вышла на дорогу, ведущую к переправе, как раз в тот момент, когда кавалеры собирались отчаливать, и они замерли на месте, глядя на нее, покуда она разговаривала с перевозчиком. На ней было платье крестьянки, и они не узнали ее. И все же они стояли и смотрели на нее, смутно угадывая в ее облике что-то знакомое. Пока она стояла и разговаривала с перевозчиком, на дороге показалось облако пыли, а из облака вскоре вынырнула большая желтая коляска. Молодая графиня поняла, что коляска эта из Борга, что ее ищут и что сейчас ее настигнут. Она поняла, что теперь ей в лодке перевозчика от них не спастись, единственным местом, где она могла укрыться, была баржа кавалеров. Она бросилась к ним, не видя, что это были за люди. Ее счастье, что

она не узнала их, иначе она предпочла бы броситься под копыта лошадям, а не искать у них спасения.

Она вбежала на борт с криком:

— Спрячьте меня! Спрячьте меня!

Тут она споткнулась о железные прутья и упала. Кавалеры принялись ее успокаивать. Они поспешили оттолкнуться от берега, паром вышел на середину реки и поплыл к Карлстаду как раз в тот момент, когда коляска подкатила к переправе.

В коляске сидели граф Хенрик и графиня Мэрта. Граф спрыгнул с подножки и подбежал к перевозчику, чтобы спросить, не видел ли тот молодую графиню. Однако графу было несколько неловко расспрашивать про сбежавшую жену, он лишь спросил:

— У нас кое-что пропало!

— Вот как, — сказал перевозчик.

— У нас кое-что пропало. Не видели ли вы кое-что?

— О чем это вы спрашиваете?

— Неважно о чем, говорю же, у нас кое-что пропало. Вы ничего не перевозили сегодня через реку?

Таким образом, он ничего разузнать не мог, и графине Мэрте пришлось самой разговаривать с перевозчиком. Не прошло и минуты, как она узнала, что та, кого они искали, находилась на одной из барж, медленно скользивших по течению.

— А что там за люди на баржах?

— Да это кавалеры, как мы их зовем.

— Ах! — воскликнула графиня. — Тогда, Хенрик, твоя жена в надежных руках. И мы можем спокойно вернуться домой.

\* \* \*

Графиня Мэрта напрасно думала, что на барже царили радость и веселье. Покуда желтая коляска не скрылась из виду, молодая женщина сидела неподвижно на груди железа, скорчившись и не промолвив ни единого слова. Глаза ее неотрывно смотрели на берег.

По-видимому, она узнала кавалеров, лишь когда желтая коляска уехала. Она вскочила на ноги, словно хотела бежать снова. Но



стоявшие рядом с ней кавалеры удержали ее, и она с жалобным стоном опустилась опять на грудь железа.

А кавалеры не смели ни заговорить с ней, ни задавать ей вопросы. Казалось, что она помешалась в уме.

Этих беззаботных людей явно тяготила ответственность за нее. Мало того, что это железо тяжким грузом лежало на их плечах, непривычных к ношам, так теперь еще на тебе, возись с молодой знатной дамой, сбежавшей от мужа.

Встречая ее зимой на балах, иной из них вспоминал свою маленькую сестренку, которую он когда-то любил. Когда он играл или боролся со своей сестренкой, ему приходилось обращаться с ней бережно, разговаривая с ней, он изо всех сил старался не говорить грубых слов. Если чужой мальчишка во время игры гонял ее слишком сильно или напевал ей неприличные песенки, он с остервенением бросался на него и готов был лупить его чуть ли не до смерти, ведь малышка не должна была слышать ничего дурного, не знать ни горя, ни обид, ни зла, ни ненависти.

Графиня Элисабет была каждому из них веселой сестренкой. Вкладывая свои маленькие ручки в их грубые лапищи, она, казалось, говорила: «Видишь, какая я слабая и хрупкая! А ты, мой старший брат, должен защищать меня от других и от себя самого!» И в ее присутствии они всегда были галантными рыцарями.

Теперь же кавалеры смотрели на нее со страхом, едва узнавая ее. Она похудела и подурнела, ее шея потеряла приятную округлость, кожа на лице стала прозрачной. Видно, во время ночного странствия она упала и сильно ушиблась, из маленькой ранки на виске сочилась кровь, свисавшие на лоб светлые локоны слиплись от крови. Долго блуждая по мокрой траве, она замарала платье, истоптала башмаки. Кавалерам было тяжело смотреть на нее, она казалась им незнакомой, чужой. У графини Элисабет, которую они знали, не было таких безумных, горящих глаз. Их бедную сестренку едва не довели до помешательства. Казалось, будто какая-то душа из нездешнего мира спустилась с высот и стремится занять место души настоящей, заключенной в этом измученном теле.

Но они напрасно тревожатся за нее. Она тверда в своем намерении и не поддастся новому искушению. Господу угодно

испытать ее. Только подумать, она вновь среди добрых друзей. Неужто это заставит ее свернуть с пути покаяния?

Она вскочила и воскликнула, что должна тотчас же уйти. Кавалеры пытались успокоить ее. Говорили, что с ними она будет в безопасности. Что они сумеют защитить ее от преследований.

Но она просила их лишь об одном: позволить ей сесть в маленькую лодку, привязанную к барже, чтобы добраться до берега и продолжать свой путь в одиночестве.

Но они не могли отпустить ее. Что будет с ней? Ей лучше остаться с ними. Они всего лишь бедные старые люди, но непременно сумеют найти выход, придумают, как помочь ей.

А она, заламывая руки, умоляла отпустить ее. Они не решились внять ее мольбам. Они видели, как измучена и слаба она была, и боялись, что она умрет где-нибудь на дороге.

Йеста Берлинг стоял поодаль и смотрел на воду. Ведь молодой женщине, возможно, было тяжело его видеть. Он не был уверен в том, но в мозгу у него вдруг возникла безумная и радостная мысль: «Ведь теперь никто не знает, где она находится. Увезем ее тотчас в Экебю. Спрячем ее там, окружим заботой. Она станет нашей королевой, нашей госпожой, никто не узнает, где она. Станем беречь ее и лелеять. Она будет счастлива, живя среди нас. Мы, старики, окружим ее заботой и любовью, как родную дочь».

Он никогда не смел признаться, что любит ее. Она не могла принадлежать ему без греха, а он ни за что не хотел втянуть ее во что-то низкое, недостойное. Но укрыть ее в Экебю, обходиться с ней ласково после того, как другие жестоко обидели ее, дать ей возможность наслаждаться всем, что есть в жизни прекрасного, — о, мечты, какие сладостные мечты!

Но он вынужден был опуститься на землю, потому что молодая графиня пришла в полное отчаяние, и в голосе ее звучало безысходное горе. Она бросилась перед кавалерами на колени и умоляла их отпустить ее.

— Господь еще не простил меня! — восклицала она. — Позвольте мне уйти!

Йеста увидел, что никто, кроме него, не решится послушаться ее, и понял, что это должен сделать он сам. Ведь он любил ее и должен был исполнить то, о чем она просила.

Ему стоило невероятных усилий сдвинуться с места; казалось, каждый мускул его тела сопротивлялся его воле, но он все же заставил себя подойти к ней и сказал, что перевезет ее на берег.

Она тут же встала, Йеста перенес ее в лодку и стал грести к восточному берегу. Он причалил к узенькой тропинке и помог ей выйти из лодки.

— Что теперь с вами будет, графиня? — спросил он.

Она печально и серьезно подняла палец к небу.

— Если вам понадобится моя помощь, графиня...

Ему было трудно говорить, но она поняла его и ответила:

— Если вы понадобится мне, я позову вас.

— Я хотел бы защитить вас от всякого зла, — сказал он.

Она подала ему руку на прощание, и он не смог более вымолвить ни слова. Ее рука лежала в его руке, холодная и бессильная.

Графиня вряд ли понимала, что с ней происходит, она лишь подчинялась внутреннему голосу, который заставлял ее идти прочь, к чужим людям. В эту минуту она едва ли сознавала, что любит человека, которого покидает.

Йеста отпустил ее, сел в лодку и поплыл назад к кавалерам. Он поднялся на баржу, измученный и обессиленный, дрожа от усталости. Ему казалось, будто он выполнил самую трудную работу в своей жизни.

Еще несколько дней он старался не падать духом до тех пор, пока честь Экебю не была спасена. Он доставил железо в Каникенэсет, где груз взвесили, и тут силы и мужество покинули его.

Покуда кавалеры плыли на барже, они не заметили в нем никакой перемены. Он держал в напряжении каждый свой нерв, чтобы казаться веселым и беспечным, ведь только веселость и беспечность могли спасти честь Экебю. Разве удалась бы им авантюра с весами, если бы они явились туда с хмурыми, озабоченными лицами?

Ходили слухи, будто кавалеры везли на паромках больше песка, чем железа, а на весы в Каникенэсете носили взад и вперед одни и те же железные прутья, пока не взвесили сотни шеппундов, что удалось им это лишь оттого, что весовщика и его подручных на славу угостили; недаром кавалеры прихватили из Экебю корзины с провизией и фляги с вином, стало быть, они в самом деле не скучали на груженных железом баржах.

Кто теперь может сказать, правда это или нет? Но если это так, то Йесте Берлингу горевать было некогда. Однако радости от этого опасного приключения он не испытывал. Как только железо было взвешено, он снова предался отчаянью.

«О Экебю, край, милый сердцу, — восклицал он про себя, — пусть вечно сияет слава твоя!»

Получив от весовщика квитанцию, кавалеры погрузили железо на судно, курсирующее по Венерну. Обычно шкипер сам отвечал за доставку железа в Гетеборг; владельцы заводов получали от весовщика квитанцию на сданное железо, и заботы их на этом кончались. Но кавалеры не захотели бросать дело на полпути и решили сами доставить железо в Гетеборг.

В пути случилась с ними беда. Ночью разразился шторм, судно потеряло управление, наскочило на мель и затонуло со всем своим драгоценным грузом. Пошли также ко дну валторна, игральные карты и бутылки вина. Но по сути дела стоило ли жалеть о затонувшем железе? Честь Экебю все равно была спасена. Ведь железо уже взвесили на весах в Каникенэсете. Не беда, что майору пришлось сухо уведомить письмом оптовых торговцев в большом городе, что их денег ему не надо, раз они не получили железо. Главное, что завод в Экебю будут по-прежнему считать богатым, что честь усадьбы спасена!

А что, если пристани и шлюзы, рудники и угольные ямы станут шептаться об их странных проделках? Что, если по лесам глухим шелестом полетит молва, будто вся эта поездка была сплошным надувательством, что, если весь Вермланд станет говорить, будто на баржах железа было не более жалких пятидесяти шеппундов, что крушение судна было ловко подстроено? Но и тогда нельзя не признать, что смелая затея в чисто кавалерском духе блестяще удалась. А от этого честь старой усадьбы не могла пострадать.

Но все это было так давно. Быть может, кавалеры купили где-нибудь железо или нашли его на каких-нибудь неизвестных до той поры складах. В таком деле до истины докопаться невозможно. Весовщик, во всяком случае, и слышать не хотел ни про какое надувательство, а уж он-то должен был знать правду.

Дома кавалеров ожидала новость: брак графа Доны подлежит расторжению. Граф послал поверенного в Италию, чтобы тот раздобыл

доказательства незаконности этого брака. Летом поверенный вернулся с утешительными известиями.

Что это были за известия, я точно не знаю. Со старыми легендами нужно обращаться бережно, они, как сухие розы, роняют лепестки при малейшем прикосновении. Люди говорят, что венчал эту пару ненастоящий священник. Более мне ничего не известно; достоверно лишь, что брак графа Доны и Элисабет фон Турн суд в Бру объявил недействительным.

Но молодая женщина ничего об этом не знала. Она, если только была еще жива, жила где-то в отдаленных краях среди простых крестьян.

## Глава восемнадцатая

### ЛИЛЬЕКРУНА И ЕГО ДОМ

Как я уже не раз упоминала, среди кавалеров жил один великий музыкант. Это был высокий, нескладный человек с большой головой и пышными волосами. В ту пору ему едва ли было более сорока, но, однако, многие, глядя на некрасивые, грубые черты его лица и медлительные движения, считали его стариком. Это был очень добрый и очень печальный человек.

Однажды под вечер он взял скрипку под мышку и ушел из Экебю. Он ни с кем не простился, хотя и решил никогда больше не возвращаться сюда. С тех пор как он увидел графиню Элисабет в столь бедственном положении, жизнь в Экебю ему опротивела. Он шел без отдыха весь вечер и всю ночь, а на восходе солнца пришел в принадлежащую ему маленькую усадьбу Левдалу.

Было еще так рано, что все еще спали. Лильекруна уселся на позеленевшую доску качелей перед домом и стал любоваться своей усадьбой. Боже правый! Столь прекрасного места не найти на всем белом свете! Покатая лужайка перед домом поросла нежной светло-зеленой травой. Где еще найдешь такую прекрасную лужайку! На ней пасутся овцы, дети бегают взапуски, а трава на ней все такая же густая и зеленая. Коса никогда не гуляла по ней, но не менее раза в неделю по приказу хозяйки ее выметали, очищая свежую траву от щепок, соломы и сухих листьев. Он взглянул на песчаную дорожку перед домом и вдруг поджал под себя ноги. Накануне вечером дети начертили на ней красивые узоры, а его огромные сапоги испортили их искусную работу. Подумать только, как хорошо здесь все растет! Шесть рябин, окаймляющих усадьбу, были высокие, словно буки, и раскидистые, как дубы. Таких деревьев он никогда прежде не видел. До чего же они красивы: толстые стволы покрыты желтыми наростами, темная зелень листвы, усыпанная белыми гроздьями цветов, напоминает звездное небо. Что за удивительные деревья росли у него в усадьбе! Вот старая ива, до того толстая, что и вдвоем ее не обхватишь. Ствол прогнил — внутри большое дупло, верхушку разбила молния, а ива все не хочет умирать. Каждую весну на обломанном стволе вырастают пучки

зеленых побегов, показывая, что дерево живо. А черемуха возле восточного фронтона разрослась до того, что в ее тени прячется весь дом.

Дерновая крыша сплошь усыпана белыми цветами, ведь черемуха только что отцвела. А до чего же привольно здесь березам, что растут в полях маленькими группами. И какие они здесь все разные, будто решили подражать всем другим деревьям. Одна из берез похожа на липу с могучей, кудрявой шапкой светлой зелени, другая — гладкая и ровная, словно пирамидальный тополь, у третьей ветви поникли, как у плакучей ивы. Каждое дерево не похоже на другое, и каждое прекрасно.

Лильекруна поднялся и обошел вокруг дома. Сад был до того красив, что он остановился, затаив дыхание. Яблони стояли в цвету. В этом не было ничего удивительного, они цвели и в других усадьбах, но нигде они не цвели так, как в его саду, где он привык видеть их со дня своей женитьбы. Сжав руки, он прошелся, осторожно ступая, по песчаной дорожке. Земля была белой, и белыми, а кое-где розоватыми, были деревья. Ничего прекраснее он не видел никогда. Он знал каждое дерево, как братьев и сестер, как друзей детства. Цветы у антоновки были совсем белые, как и у зимних яблонь, у свирицы — розовые, а у райской яблони — почти красные. Но красивее всех была старая одичавшая яблоня, чьи горькие яблоки никто не хотел есть. Она была щедро усыпана цветами и в сиянии утра казалась большим снежным сугробом.

Не забывайте, что стояло раннее утро! Каждый листок блестел, умытый росой. Из-за лесистых гор, у подножья которых лежала усадьба, струились первые солнечные лучи, опаляя светом верхушки елей. На поросшем свежим клевером пастбище, на ржаных и ячменных полях и молодых всходах овса лежала, словно вуаль, легкая дымка тумана, и тени были резкими, словно при лунном свете.

Лильекруна постоял неподвижно, глядя на большие грядки между садовыми тропками. Он знал, что хозяйка дома и служанки немало потрудились над ними. Они вскапывали, рыхлили и удобряли землю, вырывали пырей, ухаживали за грядками, чтобы почва становилась легкой и рыхлой. Потом, подровняв грядки, они втыкали колышки и намечали вожжами продольные рядки и лунки. Затем они утрамбовывали межи между грядками, продвигаясь смешными

маленькими шажками, после чего сажали, покуда не оставалось ни одного пустого ряда, ни одной свободной лунки. Дети тоже принимали участие в этой работе, им доставляло огромное удовольствие помогать взрослым, хотя малышам нелегко стоять внаклонку и тянуть руки над широкими грядками. И польза от их труда была немалая.

И вот показались молодые всходы.

Господи, до чего же бодро поднялись бобы и горох, расправив толстые сердцевидные листики! А как ровно и дружно взошли морковь и репа! Но забавнее всего была кудрявая зелень петрушки, которая успела лишь едва приподнять тонкий слой земли и выглядывала из под него, словно играла с жизнью в прятки.

А вот и маленькая грядка с неровными рядками, в маленьких лунках посажено вперемешку все, что только можно посадить и посеять. Это детский огород.

И тут Лильекруна приладил скрипку к подбородку и заиграл. В высоких кустах, ограждавших сад от северного ветра, запели птицы. Ни одно живое существо, наделенное голосом, не могло молчать в это великолепное утро. Смычок ходил сам собой.

Лильекруна шагал взад и вперед по дорожкам и играл. «Нет, — думал он, — на свете нет места прекраснее. Что такое Экебю в сравнении с Левдалой?» Правда, крыша его дома крыта дерном и высотой он всего в один этаж; он стоит на лесной опушке у подножья горы, и перед ним расстилается долина. Здесь нет ничего примечательного: ни озера, ни водопада, ни заливных лугов, ни парков! Но все-таки это чудесный уголок, где царят тишина и покой, где живется легко и радостно. Все, что в других местах порождает горечь и ненависть, смягчается здесь кротостью и добротой. Таким и должен быть семейный очаг.

В комнате с окнами в сад спит хозяйка дома. Внезапно она просыпается и прислушивается, боясь пошевелиться. Она лежит, улыбаясь, и слушает. Музыка звучит все ближе и ближе, вот музыкант остановился у самого окна. Не впервые раздаются звуки скрипки под ее окном. Ее муж любит являться неожиданно. Стало быть, кавалеры в Экебю опять натворили бед.

Он изливает душу и просит прощения. Рассказывает ей про темные силы, оторвавшие его от тех, кто дорог его сердцу, от жены и детей. Но ведь он любит их. О, конечно, он любит их!



Он играет, а она, не сознавая, что делает, поднимается с постели и одевается. Его игра заворожила ее.

«Не роскошь и не легкая жизнь влекут меня туда, — поет скрипка, — не любовь к другим женщинам, не слава, а лишь соблазн познать многоликость жизни. Жажда быть в гуще событий, ощутить сладость и горечь жизни, ее богатство. Но теперь довольно, я устал и пресытился. Я не покину более свой дом. Прости меня, будь милосердна!»

Она раздвигает шторы, распахивает окно и обращает к нему красивое и доброе лицо.

Она добра и умна. Взгляд ее глаз, подобно солнечным лучам, приносит благословение всему, что ее окружает. Она царит в доме и неустанно заботится обо всем и обо всех. Там, где она живет, все должно произрастать и цвести. Она приносит счастье всему живому.

Лиллекруна вскакивает на подоконник, он счастлив, как юный влюбленный.

Потом он берет ее на руки и выносит в яблоневый сад. Здесь он говорит ей о том, как прекрасно все вокруг, показывает огород, детскую грядку и забавные кудрявые всходы петрушки.

Вот просыпаются дети; они в восторге, оттого что отец вернулся, и тут же берут его в плен. Он непременно должен увидеть все новое и примечательное: маленькую кузницу у ручья, где куют гвозди, птичье гнездо на иве, двух маленьких жеребят, родившихся на днях.

Потом отец, мать и дети совершают прогулку по полям. Он должен увидеть, как густо взошла рожь, как растет трава, как разворачивает сморщенные листочки картофеля.

Ему надо поглядеть, как возвращаются с пастбища коровы, навестить в хлеву новорожденных телят и ягнят, поискать снесенные курами яйца и угостить хлебушком лошадей.

Весь день дети следуют за ним по пятам. Забыты уроки, брошена работа, лишь бы только отец был рядом.

Весь день он не покидает их ни на минуту, как верный друг и товарищ, вечером он играет для них польку; засыпая, они горячо молятся о том, чтобы отец никогда не покидал их.

Он проводит дома целых восемь дней, и все это время радуется, как мальчишка. Он влюблен в свой дом, в жену и детей и намерен никогда не возвращаться в Экебю.

Но в одно прекрасное утро он исчезает. Слишком велико было для него это счастье, и он не мог этого выдержать. Пусть Экебю в тысячу раз хуже, но там он всегда в водовороте событий. О, там есть о чем мечтать и можно выражать мечты в звуках скрипки! Разве может он жить вдали от кавалеров с их подвигами, от длинного озера Левен, берега которого овеяны славой удивительных приключений?

В его усадьбе жизнь идет своим чередом. Здесь все растет и цветет под присмотром доброй хозяйки. Здесь царят покой и счастье. Все, что в других местах порождало бы раздоры и огорчения, здесь не вызывает ни жалоб, ни боли. Все идет, как и должно идти. Что из того, что хозяин дома затосковал и хочет жить с кавалерами в Экебю? Разве можно обижаться на солнце за то, что оно каждый вечер исчезает на западе, погружая землю в темноту?

Кто непобедимее умеющего покоряться? Кто более уверен в победе, чем умеющий ждать?

## Глава девятнадцатая

### ДОВРСКАЯ ВЕДЬМА

По берегам Левена бродит доврская ведьма. Ее не раз там видели, говорят, она маленькая, сгорбленная, одетая в одежды из звериных шкур, с поясом, украшенным серебром. Зачем покинула она свое волчье логово и появилась среди людей? Что ищет старуха с доврской горы в зеленых долинах?

Ведьма бродит, собирая подаяние. Она жадна и охоча до подарков, несмотря на свои несметные богатства. В горных ущельях старуха прячет тяжелые слитки белого серебра, на сочных горных лугах пасутся ее огромные стада златорогих коров. А она бродит по дорогам в берестяных лаптях, пестрая кайма ее засаленной одежды до того грязна, что узор на ней уже не разглядишь. Ведьма набивает трубку мхом и клянчит милостыню даже у самых последних бедняков. И все-то ей мало, бессовестной старухе, она никогда не бывает довольна и не скажет спасибо!

Давным-давно живет она на свете. Неужто на этом широкоскулом, смуглом и грязном, лоснящемся от жира лице с приплюснутым носом и маленькими глазками, сверкающими, как угли в золе, лежал когда-то розовый отблеск юности? Неужто было время, когда она юной девчонкой дудела на туне горного сэтера в рожок, отвечая на любовные песни пастуха? Она живет уже не одну сотню лет. Самые древние старики не припомнят времени, когда бы она не бродила в их краях. Их отцы еще в дни своей молодости помнят ее старухой. А она жива до сих пор. Пишущая эти строки видела ее своими глазами.

Велика ее колдовская сила. Дочь колдунов-финнов, она ни перед кем не склоняет головы. Вы не найдете на дорожной щебенке даже слабых следов широких ступней ее ног.

Она может наслать град или поразить молнией. Может угнать в глухомань стадо и натравить на овец волка. Не жди от нее хорошего, жди плохого. Ей лучше не перечить. Клянчит она у тебя последнюю овцу или целую марку [\[46\]](#) шерсти, отдай без греха! Не то падет лошадь, сгорит дом, найдет порча на корову, умрет ребенок, либо рачительная хозяйка лишится рассудка.

Упаси Боже всякого от такой гостьи, однако лучше встретить ее с улыбкой. Кто знает, кому грозит бедой ее появление в этот раз. Недобрые знаки сопутствуют ей: на полях червь грызет посевы, в сумерках жутко лает лисица и гулко ухает филин, из леса к самому порогу дома приползают лесные гады.

Ведьма горда. Она хранит великую мудрость предков, дающую ей власть над людьми. Ее посох испещрен драгоценными рунами. Она не променяла бы его на все золото долины. Она умеет петь колдовские песни, варить приворотное зелье, может замутить зеркальную озерную гладь и поднять бурю.

О, если б я только могла прочесть удивительные мысли, кроющиеся в этом древнем, насчитывающем столетия мозгу! Что думает старуха, пришедшая к нам из мрачных лесов, спустившаяся с суровых гор, про обитателей долин? Ведь для нее, верящей в кровавого Тора и могущественных финских богов, христиане все равно что смиренные дворовые псы для серого волка. Ей, неукротимой, как снежная буря, могучей, как водопад, не по душе сыновья равнин.

И все же она время от времени спускается с гор поглядеть на это ничтожное карликовое племя. При виде ее люди содрогаются от страха, и она, всесильная дочь дремучих лесов, уверенно идет по равнине под надежной защитой людского страха. Подвиги ее рода не забыты, не забыты и ее собственные дела. Как кошка надеется на свои когти, так она надеется на силу своего ума, на дарованную ей богами силу колдовских чар. Ни один король не уверен так в своей власти, как она уверена в своем умении наводить ужас в подвластном ей королевстве.

Доврская ведьма прошла по многим селениям. Вот она появилась в Борге и не постеснялась войти на графский двор. Через кухню ей в дом заходить не пристало. Вот и на этот раз она поднимается по террасной лестнице, ступая так же смело обутыми в широкие лапти ногами по окаймленной цветами песчаной дорожке, как по тропинке горного пастбища.

Случилось так, что графиня Мэрта как раз в это время вышла на террасу полюбоваться красотой июньского дня. Внизу по песчаной дорожке шли из бойни, где коптились окорока, в амбар две служанки. Увидев графиню, они остановились.

— Не угодно ли милостивой графине, — спросили служанки, — поглядеть, хорошо ли свинина прокоптилась?

Графиня Мэрта, хозяйничавшая в эту пору в Борге, перегнулась через перила и глянула вниз, и как раз в этот миг старуха-финка ухватила один окорок.

Вы только поглядите на эту румяную лоснящуюся корочку, на толстый слой жира! Вдохните освежающий запах можжевельника, исходящий от свежих окороков!

О, пища древних богов! Ведьму разбирает охота завладеть ею. Она кладет руку на один из окороков.

Ах, дочь гор не привыкла клянчить и умолять! Разве не по ее милости цветам позволено цвести, а людям жить? Ведь все в ее власти, она может наслать лютый мороз, злой ураган и наводнение. Ей никак не пристало молить и клянчить. Положила она руку на окорок, значит, он теперь принадлежит ей.

Однако графиня Мэрта ничего не знает о колдовской силе старухи.

— Убирайся отсюда, попрошайка, — кричит она.

— Отдай окорок! — упорствует доврская ведьма, волчья наездница.

— Да она спятила! — восклицает графиня и велит девушкам нести окорок в кладовую.

В глазах столетней старухи загораются гнев и жадность.

— Отдай мне поджаристый окорок, — повторяет она, — а не то тебе будет худо!

— Да я лучше отдам его сорокам, чем тебе!

Старуха дрожит от неистового гнева. Она поднимает к небу испещренный рунами посох и потрясает им. С ее губ слетают непонятные слова. Волосы у нее на голове встают дыбом, глаза горят, лицо искажает гримаса.

— Пусть тебя сами сороки склюют! — кричит она под конец.

Потом она уходит, бормоча проклятия, свирепо размахивая посохом. Она не пойдет дальше на юг, вернется домой. Дочь дремучих лесов выполнила то, ради чего она спустилась с гор.

Графиня Мэрта стоит на лестнице и смеется над нелепой злобой старухи. Но смех скоро замирает у нее на губах, ведь вон они и

вправду летят сюда! Она не верит своим глазам. Может быть, ей это снится? Нет, они в самом деле явились, чтобы заклевать ее.

Целые стаи сорок слетаются сюда, шумя крыльями, из парка и сада, нацелив на нее когти, вытянув клювы. В воздухе звенят гомон и хохот. Черно-белые крылья мельтешат у нее перед глазами. Все сороки окрестных мест собрались сюда, они подлетают все ближе и ближе, их черно-белые крылья заполняют все небо, голова у графини кружится, она видит их, словно сквозь туман. В резком свете полуденного солнца сорочьи крылья отливают металлическим блеском. Шейное оперение взерошено, как у хищных птиц. Все теснее сжимается круг этих мерзких тварей вокруг графини, они так и норовят ударить ее клювами, вонзиться когтями в ее лицо и руки. Ей ничего не остается, как вбежать опрометью в переднюю и захлопнуть за собой дверь. Она прислоняется к двери, задыхаясь от страха, а сороки продолжают с хохотом кружить над домом.

И приходится графине запереться в доме, отгородиться от благостного лета, от всех радостей земных. С этой поры ее уделом становится жизнь в запертых комнатах со спущенными шторами, отчаянье и страх, смятение чувств, граничащие с безумием.

Чистейшим безумием может показаться и сам этот рассказ, тем не менее все это истинная правда. Сотни людей могут подтвердить, что так гласит старинное преданье.

Птицы опустили на лестничные перила и крышу дома. Казалось, они только и ждали, когда в саду покажется графиня, чтобы броситься на нее. Они поселились в парке, остались там навсегда. Невозможно было прогнать их из усадьбы. Стрелять по ним было бесполезно, на место одной убитой прилетали десять других. Временами целые стаи улетали в поисках корма, но они всегда оставляли верных сторожей. И стоило графине Мэрте выглянуть в окно, хоть на секунду приподнять штору или попытаться выйти на лестницу, как они тут же слетались со всех сторон. Вся несметная стая бросалась к ней, оглушительно хлопая крыльями, и графиня спешила укрыться в самой дальней комнате.

Теперь она почти не выходила из спальни, смежной с красной гостиной. Мне часто описывали эту комнату такой, какой она была в то ужасное время, когда птицы осаждали Борг. На дверях и окнах висели

тяжелые портьеры, пол устилали тяжелые ковры, люди ходили бесшумно и разговаривали шепотом.

В сердце графини поселился холодный ужас. Ее волосы поседели. За один месяц она превратилась в старуху. Она не могла заставить себя не верить в колдовскую силу проклятой ведьмы. По ночам она просыпалась с громким криком, что ее клюют сороки. Днем она оплакивала свою горькую участь. Она чуждалась людей, боясь, что за гостем в дом последуют и сороки, и чаще всего сидела молча, подавленная и несчастная, в своей душной комнате, закрыв лицо руками и раскачиваясь в кресле взад и вперед, издавая время от времени жалобные возгласы.

Трудно вообразить судьбу более несчастную. Отважится ли кто-нибудь не пожалеть ее?

Вот, пожалуй, и все, что я могу поведать о ней; боюсь, что не сказала о ней ничего хорошего. Иногда я даже упрекаю себя в этом. Ведь в юности она была добра и жизнерадостна, о ней рассказывали немало забавных историй, радовавших мое сердце, хотя для них в этой книге не нашлось места.

Бедняга не ведала, что душа человеческая вечно жаждет большего. Душа не может жить одними лишь удовольствиями и тщеславием. Если ей не дать иной пищи, она, подобно дикому зверю, сперва терзает других, затем самое себя.

И в этом смысл моей саги.

## Глава двадцатая

# ИВАНОВ ДЕНЬ

Лето было в самом разгаре, как и теперь, когда я пишу эти строки. Стояла чудесная пора.

Однако Синтрам, злой заводчик из Форса, предавался тоске и унынию. Его раздражало победное шествие света сквозь дни и ночи и поражение тьмы. Ему были ненавистны зеленый убор деревьев и пестрый ковер, покрывший землю.

Все вокруг облачилось в прекрасный наряд. Даже серую и пыльную дорогу украсила кайма из летних цветов: желтого и фиолетового.

Когда во всем своем великолепии пришел праздник летнего равноденствия и воздух, задрожав от колокольного звона, донес его от церкви Брубю до самого Форса, когда над землей воцарились праздничная тишина и покой, заводчика охватила неистовая злоба. «Никак Бог и люди забыли о моем существовании?» — подумал он и тоже решил поехать в церковь. Мол, пусть те, кто радуются лету, поглядят на него, поклонника тьмы без рассвета, смерти без воскрешения, зимы без весны.

Заводчик надел волчью шубу и мохнатые рукавицы. Он велел запрячь в сани гнедого коня и подвязать бубенцы к нарядной, украшенной медными бляшками упряжи. Нарядившись так, будто на дворе стояла тридцатиградусная стужа, он поехал в церковь. Ему казалось, что полозья скрипят от мороза. Что на спине лошади белеет не пена, а иней. Жары он не ощущал вовсе. От него исходил холод, как от солнца — жар. Он катил по широкой равнине, простирившейся к северу от церкви Брубю. Он проезжал мимо больших богатых селений и полей, над которыми кружили и пели жаворонки. Нигде не слыхала я столь сладостного пения жаворонков, как над этими полями. Я часто задумывалась над тем, как мог он быть глух к пению этих сотен певцов полей?

На пути в Брубю Синтраму встречалось многое, что могло привести его в негодование, да только он ничего не замечал. Он увидел бы у дверей каждого дома две склонившиеся березки, а в открытом



окне — стены, украшенные цветами и зелеными ветками. Увидел бы, что самая разнесчастливая нищая девчонка и та шла по дороге с веткой сирени, что каждая крестьянка несла букетик цветов, обернутый носовым платком.

На каждом дворе стоял майский шест с гирляндой поникших цветов. Трава вокруг шестов была вытоптана, ведь летней ночью в канун праздника здесь лихо отплясывали.

Внизу на берегу Левена теснились плоты. Стояло безветрие, но на плотках в честь праздника поставили небольшие паруса и на верхушку каждой мачты надели зеленый венок.

По дорогам, ведущим в Брубю, шли люди в церковь. Особенно нарядно выглядели женщины в светлых домотканых летних платьях, сшитых специально для этого дня. Все принарядились к празднику.

Люди не переставали радоваться тишине и благодати, праздничному отдыху, погожему деньку, видам на хороший урожай, землянике, начинающей краснеть по обочинам дороги. Они замечали, как неподвижен воздух, как безоблачно небо, прислушивались к пению жаворонков и говорили:

— Какой выдался денек, как есть Божий праздник.

Но вот на дороге показался Синтрам. Он ругался и хлестал кнутом норовистого коня. Песок под полозьями его саней мерзко скрипел, резкий звон бубенцов заглушал церковные колокола. Лоб заводчика под меховой шапкой был сурово нахмурен.

Прихожане испугались, им казалось, будто явился сам нечистый. Даже в этот летний праздничный день им не дано было забыть про зло и стужу. Горек удел живущих на земле.

Те, кто стоял в тени церковной стены или сидел на каменной кладбищенской ограде в ожидании богослужения, с немым удивлением смотрели на идущего к церковной двери Синтрама. Только что они любовались летним днем, всем сердцем ощущали, что нет большего счастья, чем радость шагать по земле и наслаждаться сладостью бытия. Но при виде Синтрама их охватило неясное предчувствие беды.

Синтрам вошел в церковь и уселся на свое место, швырнул на скамью рукавицы с такой силой, что стук пришитых к меху волчьих когтей слышали все прихожане. Несколько женщин, уже занявших

места на передних скамьях, при виде этой мохнатой фигуры лишились чувств, и их пришлось выносить из церкви.

Но выгнать Синтрама не посмел никто. Он помешал людям молиться, но его так сильно боялись, что ни один человек не посмел попросить его выйти из церкви.

Напрасно говорил старый пастор о светлом летнем празднике. Никто более его не слушал. Люди думали лишь о зле, о стуже и о беде, которую предвещало появление злого заводчика.

Когда богослужение окончилось, все увидели, как злой Синтрам поднялся на самую вершину церковного холма. Он поглядел вниз на пролив Брубю, потом перевел взгляд на пасторскую усадьбу и три мыса на западном берегу Левена. Люди видели, как он потрясал кулаками в воздухе, угрожая проливу и зеленым берегам. Затем он обратил свой взгляд к югу, на нижний Левен, на синеющие вдаль мысы, которые как бы ограждали озеро. Взгляд его скользнул далеко на север, на вершину Гурлиты к Медвежьей берлоге, где кончается озеро. Потом он поглядел на запад и восток, где долину окаймляет горная гряда, и снова потряс кулаком. Каждому было ясно: будь у него в правой руке пучок молний, он бы с дикой радостью швырнул их изо всех сил на эту мирную землю, сея скорбь и смерть.

Сердце его до того сроднилось со злом, что одни лишь несчастья доставляли ему радость. Мало-помалу он научился любить все скверное и безобразное. Он был безумнее самого неистового сумасшедшего, но об этом никто не догадывался.

Вскоре по округе поползли странные слухи. Говорили, что, когда церковный сторож стал запираť дверь, ключ у него сломался, потому что в замочную скважину кто-то засунул свернутую бумагу. Он отдал бумагу пастору. Нетрудно догадаться, что это было письмо, написанное кому-то с того света.

Люди шептались о том, что было в письме. Пастор письмо сжег, но церковный сторож видел, как эта чертовщина горела. На черном поле ярко светились красные буквы. Он не смог удержаться и прочел их. Говорили, будто злодей написал в том письме, что желает опустошить все окрестности Брубю. Хочет, чтобы церковь затерялась в дремучих лесах. Чтобы в жилищах людей поселились медведи и лисы. Чтобы пашни поросли бурьяном, чтобы во всей округе не слышно было ни собачьего лая, ни петушиного кукареканья. Слуга сатаны

хотел причинить людям зло и тем услужить своему господину. В этом он и клялся ему.

И люди в немом отчаянии ждали беды, ибо знали, что власть злого Синтрама велика, что он ненавидит все живое, хочет, чтобы долина опустела, и был бы рад призвать на помощь чуму, голод или войну, лишь бы погубить каждого, кто любит трудиться на пользу людям.

## Глава двадцать первая

# ГОСПОЖА МУЗЫКА

После того, как Йеста Берлинг помог молодой графине бежать, ничто не могло его развеселить, и кавалеры решили обратиться за помощью к госпоже Музыке, могущественной фее, утешительнице несчастных.

Для этой цели они однажды июльским вечером велели распахнуть настежь двери большой гостиной в Экебю и снять крючки с петель на окнах. Солнце и воздух ворвались в комнату — большое красное предзакатное солнце и прохладный, мягкий, наполненный ароматом вечерний воздух.

С мебели сняли полосатые чехлы, а с венецианской люстры кисею, открыли клавикорды. Под белыми мраморными столешницами вновь засверкали на ярком свете золоченые грифы. На черной раме заплясали белые богини, пестрый затейливый шелк заблестел в свете румяной вечерней зари.

В вазы поставили букеты роз, и комната наполнилась их ароматом. Здесь были розы, удивительные названия которых никто в доме не знал, их привезли в Экебю из чужедальних стран. Тут были и желтые розы с прожилками, в которых, как у людей, просвечивала красная кровь, и махровые кремовые, и розовые с большими лепестками, с бесцветными, как вода, краями, и темно-красные с черными подпалинами. Сюда принесли все розы Альтрингера, вывезенные в свое время из дальних стран, чтобы радовать взоры прекрасных женщин.

Потом принесли ноты, пюпитры, духовые и струнные инструменты, скрипки всех размеров, ведь теперь господствовать в Экебю и попытаться утешить Йесту Берлинга предстояло госпоже Музыке.

Госпожа Музыка выбрала «Оксфордскую мелодию» доброго старого Гайдна и велела кавалерам попробовать свои силы. Патрон Юлиус взмахнул дирижерской палочкой, а остальные кавалеры начали играть каждый на своем инструменте. Все кавалеры умеют музицировать. Иначе они не были бы кавалерами.

Когда все готово, посылают за Йестой. Он по-прежнему слаб и подавлен, но его радует нарядный вид комнаты и возможность услышать прекрасную музыку. Ведь всем известно, что для того, кто мучается и страдает, добрая госпожа Музыка лучшее общество. Она весела и резва, как дитя. Она страстна и пленительна, как молодая женщина. Она мудра и добра, как прожившие долгую и счастливую жизнь старцы.

К тому же кавалеры играют так медленно, так тихо и нежно.

Маленький Рустер относится к делу серьезно. Водрузив на носочки, он читает ноты и, словно целуя флейту, извлекает из нее ласковые звуки, его пальцы так и порхают по клапанам.

Дядюшка Эберхард сидит, согнувшись над виолончелью, парик у него съехал на одно ухо, губы дрожат от душевного волнения. Берг стоит, гордо выпрямившись, держа в руках длинный фагот. Время от времени он забывается и начинает дуть во всю силу своих мощных легких, тогда Юлиус стучает его легонько дирижерской палочкой по большой голове.

Хорошо у них получается, просто блистательно. Из мертвых нотных закорючек они вызывают к жизни госпожу Музыку собственной персоной. Расстели свою волшебную мантию, госпожа Музыка, уведи Йесту Берлинга в страну радости, откуда он родом!

Ах, неужто это Йеста Берлинг сидит такой бледный и унылый? И старые господа должны развлекать его, как ребенка! Не жди теперь в Вермланде радости и веселья.

Мне хорошо известно, почему старики любили его. Я знаю, как долго тянутся зимние вечера, как в душу обитателей отдаленных усадеб заползает гнетущая тоска. Я хорошо понимаю, почему их так обрадовало появление Йесты.

Представьте себе воскресный вечер, когда работа окончена и в голове роятся неясные мысли! Представьте себе, как упрямый северный ветер нагоняет в комнату холод, от которого не согреешься даже у камина. Представьте себе единственную сальную свечу, с которой надо все время снимать нагар! Представьте себе заунывное пение псалмов, доносящихся из кухни!

Но вот слышится звон бубенцов, потом стук чьих-то быстрых ног, стряхивающих снег в передней, и в комнату входит Йеста Берлинг. Он смеется и шутит. Он — сама жизнь, само тепло. Он поднимает крышку

клавикордов и извлекает из них такие звуки, что диву даешься. Он знает все песни и играет все мелодии. Йеста заражает весельем всех обитателей дома. Он никогда не чувствует ни холода, ни усталости. Опечаленный забывает при нем свои печали. А какое у него доброе сердце! Он никогда не оставит в беде ни слабого, ни бедного. А как он талантлив! Вы бы только послушали, что говорили о нем старики!

Но сейчас, слушая их игру, он вдруг ударяется в слезы. Какой унылой и безрадостной представляется ему жизнь! Он опускает голову на руки и плачет. Кавалеры приходят в ужас. Это не те тихие, исцеляющие слезы, которые вызывает обычно госпожа Музыка. Это рыдает отчаявшийся человек. В недоумении они откладывают в сторону инструменты.

Добрая госпожа Музыка любит Йесту Берлинга, однако даже она теряет надежду, но тут вспоминает, что у него есть среди кавалеров один надежный союзник.

Это кроткий Левенборг, потерявший невесту в мутной водной пучине, — он как никто другой рабски предан Йесте Берлингу. Он прокрадывается к клавикордам, ходит вокруг инструмента, осторожно трогает его, нежно гладит клавиши.

Наверху в кавалерском флигеле у Левенборга есть большой деревянный стол, на котором он нарисовал клавиши и установил подставку для ног. Он может сидеть за этим столом часами, заставляя пальцы бегать по черным и белым клавишам. Там он разучивает гаммы и этюды и играет своего любимого Бетховена. Госпожа Музыка столь милостива к нему, что он сумел переписать большинство из тридцати двух его сонат.

Однако старик никогда не решался играть на каком-либо другом инструменте, кроме своего стола. К клавикордам он испытывает благоговейный ужас. Они привлекают его, но еще более пугают. Этот дребезжащий инструмент, на котором барабанили столько полек, для него святыня. Подумать только, какой удивительный инструмент, сколько струн! И они могут вдохнуть жизнь в творения великого маэстро! Стоит лишь приложить к ним ухо, как услышишь внутри шелест анданте и скерцо. Да, клавикорды и есть тот алтарь, у которого молятся госпоже Музыке. Но ему никогда не доводилось играть на них. Сам он никогда не разбогатеет и не сможет купить подобный

инструмент, а на этом, что стоит здесь, он никогда не осмеливался играть. Да и майорша не слишком охотно отпирала их для него.

Он, разумеется, слышал не раз, как на них наигрывали польки, вальсы и мелодии Бельмана. Но от такой убогой музыки инструмент лишь дребезжал и стонал. А вот если бы на нем играли Бетховена, тогда бы он издавал совершенные, прекрасные звуки. Он решает, что настал час для него и для Бетховена. Он наберется мужества, прикоснется к святыне и доставит своему юному другу и повелителю радость внимать чарующим, пленительным звукам.

Левенборг садится за клавикорды и начинает играть. Он взволнован и неуверен в себе, проигрывает несколько тактов, пытается найти нужную тональность, морщит лоб, начинает сначала, потом закрывает лицо руками и плачет.

Да, дорогая госпожа Музыка, на душе у него горечь разочарования. Святыня оказалась вовсе не святыней. В ней нет ни прозрачных, мечтательных тонов, ни глухих и мощных громовых раскатов, ни сокрушительного грохота урагана. В ней нет бесконечно сладостных звуков, которыми напоен воздух рая. Это всего лишь старые разбитые клавикорды.

Но тут госпожа Музыка подает знак догадливому Бееренкройцу. Он вместе с Рустером отправляется в кавалерский флигель, и они приносят стол Левенборга с нарисованными клавишами.

— Вот они, — говорит Бееренкройц, — вот, Левенборг, твои клавикорды! Сыграй для Йесты.

Тут Левенборг перестает плакать и начинает играть Бетховена для своего опечаленного юного друга. Сейчас он развеселит его.

В голове старика звенят прекраснейшие звуки. Он уверен, что Йеста слышит, как прекрасно он играет. Его друг, без сомнения, замечает, что игра его нынче вечером особенно хороша. Ничто ему больше не мешает. Его пальцы так и бегают по клавишам. Ему легко удаются самые сложные пассажи. О, если бы сам великий маэстро слушал его!

Чем дальше он играет, тем сильнее охватывает его вдохновение. Каждый звук приобретает у него неземную силу.

«О печаль, — играет он, — отчего мне не любить тебя? Оттого, что твои губы холодны, твои щеки поблекли, твои объятия душат, а взгляды превращают в камень?»

О печаль, печаль, ты одна из тех гордых женщин, чью любовь нелегко завоевать, но зато она горит ярче и сильнее всякой другой. О ты, отвергнутая, я прижал тебя к своему сердцу и полюбил тебя. Я согрел тебя лаской, и твоя любовь наполнила меня блаженством.

О как я страдал! Как тосковал, потеряв тебя, любимая! Вокруг меня и в моей душе наступила темная ночь. Тщетно предавался я иступленным молитвам. Небеса не вняли моей мольбе. Ни один светлый ангел не спустился с усеянного звездами неба, чтобы утешить меня.

Но мое томление разорвало мрачную пелену. Ты спустилась ко мне, легкая и воздушная, по мосту из лунных лучей. Ты пришла, о моя возлюбленная, озаренная светом, с улыбкой на устах. Тебя весело окружали добрые гении. Головы их венчали венки из роз. Они играли на цитре и флейте. Видеть тебя было блаженством.

Но ты исчезла, ты исчезла! И не было больше моста из лунных лучей, по которому я мог бы последовать за тобой. Бескрылый, лежал я во прахе на земле. Мои стенания были подобны рычанию дикого зверя, оглушительному грому небесному. Я готов был послать молнию гонцом к тебе. Я проклинал весь белый свет. Желал, чтобы злой огонь испепелил растения, а чума истребила людей. Я призывал смерть и преисподнюю. Муки в вечном огне казались мне блаженством в сравнении с моими страданиями.

О печаль, печаль! Тогда ты и стала моей подругой. Отчего мне не любить тебя, как любят этих гордых, неприступных женщин, чью любовь нелегко завоевать, но горит она ярче и сильнее всякой другой».

Так играл бедный фантазер. Он сидел, охваченный вдохновением и душевным трепетом, вслушиваясь в чудеснейшие звуки, уверенный в том, что Йеста тоже слышит их и находит в них утешение.

Йеста сидел и смотрел на него. Вначале этот дурацкий фарс сердил его, но постепенно его душа смягчилась. Старик, наслаждавшийся своим Бетховеном, был неподражаемо трогателен. И Йеста подумал о том, что этот кроткий и беспечальный человек тоже страдал, ведь он тоже потерял возлюбленную. И вот он сидит, сияющий от счастья, за своими выдуманнами клавирами. Стало быть, человеку этого достаточно для счастья?

Он почувствовал себя уязвленным. «Как, Йеста, — сказал он сам себе, — неужто ты разучился терпеть и быть снисходительным к



ближнему? Ты, чья жизнь закалилась в бедности, ты, слышавший, как каждое дерево в лесу, каждая кочка на поляне проповедует всепрощение и терпение, ты, выросший в стране, где зима сурова, а лето не балует теплом, неужто ты забыл искусство терпения?

Ах, Йеста, мужчина должен переносить испытание с мужеством в сердце и с улыбкой на устах, иначе какой же он мужчина? Печалься сколько угодно, если ты потерял возлюбленную, но держи себя как мужчина и вермландец! Пусть взор твой светится радостью. Встречай своих друзей веселой улыбкой. Сурова жизнь, сурова природа. Но для того, чтобы противиться этой суровости, они создали мужество и веселье, иначе никто не выстоял бы в этой жизни.

Мужество и веселье, сохранить их — твой первый долг. Ты никогда не изменял им, не изменяй же и теперь.

Неужто ты хуже Левенборга, стучащего пальцами по деревянным клавишам, хуже всех остальных кавалеров, отважных, беспечных, вечно молодых? Ведь ты знаешь, что каждый из них познал страдание!»

И Йеста посмотрел на них. Что за комедия! Все сидят с серьезным видом и внимают музыке, которую на самом деле никто не слышит.

Внезапно мечтания Левенборга прерывает чей-то веселый смех. Старик снимает пальцы с клавишей и прислушивается к этому смеху с восторгом. Это прежний смех Йесты, добрый, радостный, заразительный. Это самая восхитительная музыка, какую он только слышал в своей жизни.

— Разве я не знал, Йеста, что Бетховен поможет тебе? — восклицает он. — Теперь ты исцелен.

Так добрая госпожа Музыка спасла Йесту от меланхолии.

## Глава двадцать вторая

### ПАСТОР ИЗ БРУБЮ

Эрос, всемогущий бог, ведь тебе известно, что иногда человеку может показаться, будто он вырвался из твоей власти. Будто в сердце его умерли все сладостные чувства, соединяющие людей. Безумие уже готово вонзить свои когти в несчастного; но тут во всем своем могуществе являешься ты, защитник жизни, и очерстевшее сердце расцветает, словно посох святого.

Нет человека более алчного, чем пастор из Брубю, более злого и немилосердного к людям.

Зимой он сидит в неотапленной комнате на некрашеной скамье, одевается в лохмотья, питается черствым хлебом и приходит в ярость, если нищий посмеет войти к нему в дом. Он морит лошадь голодом, а сено продает, его коровы объедают сухую придорожную траву и мох со стен дома. Блеяние его голодных овец слышно даже с проселочной дороги. Крестьяне бросают ему объедки, от которых отворачиваются даже их псы, дают одежду, которую не надел бы последний бедняк. Рука его постоянно протянута за милостыней, а спина сгорбилась от поклонов. Он клянчит у богатых, а ссужает деньгами бедняков. При виде медной денежки сердце у него так и защемит и не успокоится, покуда она не окажется у него в кармане. Горе тому, кто не сумеет отдать ему долг в день платежа!

Женился он поздно, да и лучше бы ему вовсе не жениться. Жена его вскоре умерла, измученная и изнуренная. Дочь пошла в услужение к чужим людям. Стар он стал, но с годами его сердце не смягчилось. Безумная жадность так и не покинула его. Но в один прекрасный день в начале августа по холмам Брубю поднимается тяжелая коляска, запряженная четверкой лошадей. Это знатная старая фрекен едет в сопровождении кучера, слуги и камеристки повидаться с пастором из Брубю, с тем, кого она любила в дни молодости.

Они полюбили друг друга, когда он был домашним учителем в имении ее отца, но надменная родня разлучила их. И сейчас она едет по холмам Брубю, чтобы повидаться с ним перед смертью. Все, что осталось ей в жизни, — это увидеть возлюбленного юных лет.

Сухонькая знатная фрекен сидит в большой коляске и мечтает. Нет, она едет не в крошечную усадьбу бедного священника. Она направляется в тенистую прохладную беседку в парке, где ее ждет возлюбленный. Вот она видит его, он молод, он умеет целовать, он умеет любить. Теперь, когда она предвкушает встречу с ним, его образ встает перед ней поразительно отчетливо. Как он красив, о, как он красив! Мечтательный и пылкий, он наполняет все ее существо пламенным восторгом.

Сама она поблекла, увяла, состарилась. Быть может, он и не узнает ее, шестидесятилетнюю старуху, но она приехала не за тем, чтобы он смотрел на нее, а чтобы смотреть на него, возлюбленного ее юных лет, ведь он по-прежнему молод, красив и горяч.

Она жила так далеко, что ничего не слыхала про пастора из Брубю.

На подъеме колеса заскрипели, вот на крутом склоне холма показалась пасторская усадьба.

— Ради Господа Бога милосердного, — гнусавит нищий у ворот, — подайте монетку бедному человеку!

Благородная госпожа подает ему серебряную монету и спрашивает, не усадьба ли это пастора из Брубю.

Нищий бросает на нее хитрый испытывающий взгляд.

— Это и есть пасторская усадьба, — отвечает он. — Да только пастора-то нет дома!

Сухонькая знатная фрекен бледнеет. Прохладная беседка вдруг исчезает, ее возлюбленного там нет. Как могла она вообразить, что найдет его после сорока лет ожидания?

— А что милостивая госпожа собирается делать в пасторской усадьбе?

Милостивая госпожа приехала, чтобы повидаться со здешним священником, она знала его много лет назад.

Сорок лет и сорок миль разделяли их. И с каждой милей, которая приближала фрекен к цели ее путешествия, она сбрасывала с себя по году печалей и воспоминаний, и теперь, когда она подъехала к пасторскому двору, ей снова двадцать лет, и у нее нет ни печалей, ни воспоминаний.

Нищий стоит и смотрит на нее, у него на глазах она превращается из двадцатилетней в шестидесятилетнюю и вновь в двадцатилетнюю.

— Пастор воротится домой под вечер, — говорит он. — Милостивой госпоже лучше всего отправиться на постоянный двор в Брубю и приехать сюда снова к вечеру, — говорит нищий. — К вечеру пастор непременно будет дома.

Тяжелая коляска с сухонькой увядшей дамой тут же покатила под гору к постоянному двору, а нищий стоит, дрожа всем телом, и смотрит ей вслед. Ему хочется упасть на колени и целовать следы колес.

Нарядный, чисто выбритый, в начищенных башмаках с блестящими пряжками, в шелковых чулках, в жабо и манжетах предстал в тот же день пастор из Брубю перед настоятельницей из Бру.

— Вы только подумайте, ведь она знатная дама, графская дочь, — говорит он, — разве могу я, бедный человек, принять ее у себя? Полы у меня в доме почернели, в гостиной нет мебели, в зале потолок позеленел от плесени и сырости. Помогите мне, прошу вас! Ведь только подумать, она знатная дама, графская дочь.

— Скажите ей, что пастор уехал.

— Но поймите же, дорогая, она проехала сорок миль, чтобы навестить меня, бедного человека. Она не знает, каково мне живется. У меня даже нет приличной постели ни для нее, ни для ее слуг.

— Ну и пусть себе уезжает!

— Фу-ты ну-ты! Неужто вы не можете понять, что ее приезд значит для меня? Да я скорее готов отдать все, что имею, что с таким трудом и лишениями накопил, чем позволю ей уехать, не приняв ее под своей крышей. Ей было двадцать лет, когда я видел ее в последний раз, и с тех пор прошло сорок лет, подумайте об этом. Помогите же мне принять ее у себя! Вот деньги, если деньги могут этому помочь, хотя речь идет о большем, чем о деньгах.

О Эрос, любимец женщин! Тебе они готовы принести любую жертву.

В усадьбе настоятеля опустошаются комнаты, кухня и кладовая. Их содержимое погружают на телеги и увозят на двор к пастору в Брубю.

Настоятель возвращается после воскресной проповеди в пустой дом, он заглядывает в кухню спросить, когда подадут обед, но там пусто. Ни обеда, ни настоятельницы, ни служанки! Ничего не поделаешь. Такова воля Эроса, всемогущего Эроса.

К вечеру по холмам Брубю вновь карабкается, громыхая, тяжелая коляска. Сухонькая фрекен тревожится: неужто ее вновь постигнет неудача? Неужто ей в самом деле не суждено встретиться с тем, кто был единственной радостью в ее жизни?

Вот коляска заворачивает к пасторскому двору, но застревает в воротах. Большая коляска слишком широка для узких ворот. Кучер хлещет кнутом лошадей, лошади вздрагивают, слуга ругается, но задние колеса безнадежно застряли. Графская дочь не может въехать во двор своего возлюбленного.

Но вот кто-то идет, это он идет к ней. Он снимает ее с коляски и несет на руках, руки его по-прежнему сильны, объятия горячи, как прежде, как сорок лет назад. Она глядит ему в глаза, они сияют, как раньше, когда ему было всего двадцать пять.

Ее обуревают чувства еще более жаркие, чем в юности. Она вспоминает, как он однажды нес ее по лестнице на террасу. Она думала, что любовь ее жила все эти годы, и все же забыла, что значит ощущать себя в крепких объятиях, смотреть в молодые сияющие глаза.

Она не замечает, что он стар. Она видит лишь глаза, его глаза.

Она не видит почерневшего пола, позеленевшего от сырости потолка, видит только его сияющие глаза. Пастор из Брубю — статный, красивый мужчина. Он преображается от одного взгляда.

Она прислушивается к его голосу, звуки его звонкого, сильного голоса ласкают ее слух. Так он говорит только с ней. К чему эта мебель из дома настоятеля здесь, в его пустых комнатах, к чему яства и прислуга? Старая фрекен вряд ли все это замечает. Она лишь вслушивается в его голос, смотрит ему в глаза.

Никогда еще не была она так счастлива!

Как грациозно он кланяется, грациозно и горделиво, словно она принцесса, а он ее фаворит! Как изысканна его речь, так говорили лишь в старые годы! А она в ответ лишь улыбается, чувствуя себя такой счастливой.

Вечером он подает ей руку, и они прогуливаются по старому заброшенному саду. Она не замечает, как запущен его сад. Разросшиеся кусты превращаются под ее взглядом в подстриженную живую изгородь, сорная трава ложится ровным, блестящим газоном, они идут по длинным тенистым аллеям, а в нишах из темной зелени белеют статуи, олицетворяющие юность, верность, надежду и любовь.

Она знает, что он был женат, но сейчас об этом забыла. Да и как она может помнить об этом?

Ведь ей всего двадцать лет, а ему двадцать пять. Ну разумеется, ему всего двадцать пять, он молод и полон сил. Неужто этот улыбающийся юноша станет пастором из Брубю? Временами он ощущает мрачные предчувствия. Но пока он еще далек от стенаний бедняков, проклятий обманутых, презрительных насмешек, обидных прозвищ и издевательств. Сердце его горит чистой и невинной любовью. Неужто этот гордый юноша полюбит золото до того, что будет готов ползти за ним по грязи, кланчить милостыню у проезжих, терпеть ради него унижения и поношения, холод и голод? Неужто он станет морить голодом свое дитя, тиранить жену, и все это из-за того же самого презренного золота? Нет, это невозможно. Таким он не может стать. Ведь он человек добрый, как и многие, а вовсе не чудовище.

И возлюбленная его юных лет идет сейчас рука об руку не с презренным негодяем, недостойным духовного сана, который он осмелился принять. Вовсе нет.

О Эрос, всемогущий бог, этот вечер принадлежит тебе. В этот вечер здесь нет пастора из Брубю, нет его и весь следующий день, и еще один день. На третий день она уезжает. Ворота расширили. Отдохнувшие кони быстро мчат коляску под гору.

Что это был за сон, какой чудесный сон! За все три дня ни единого облачка!

Улыбаясь, едет она домой в свой замок, к своим воспоминаниям. Она никогда не услышит больше его имени, никто не будет о нем спрашивать. Она будет вспоминать об этом до конца своих дней.

Пастор сидит в своем опустевшем доме и горько плачет. Она вернула ему молодость. Неужели теперь он вновь состарится? Неужели злая сила вернется и он снова станет презренным и презируемым, каким был до этого?

## Глава двадцать третья

### ПАТРОН ЮЛИУС

Патрон Юлиус несет вниз из кавалерского флигеля красный деревянный сундук. Он наполнил душистой померанцевой водкой зеленый бочонок, с которым не расставался во многих путешествиях, а в большой резной ларец положил масло, хлеб, старый зеленовато-коричневый сыр, жирный окорок и плавающие в малиновом варенье оладьи.

Затем патрон Юлиус обошел усадьбу, прощаясь со слезами на глазах с прекрасным Экебю. Он в последний раз погладил рукой обшарпанные кегельные шары и потрепал по щекам круглолицых ребятишек, игравших на пригорке у завода. Он обошел все садовые дорожки и гроты в парке. Заглянул в конюшню и хлев, погладил лошадей по крупу, потряс злого быка за рога и позволил телятамлизать его руки. Под конец он с затуманенными от слез глазами вернулся в дом, где его ожидал прощальный завтрак.

О горестная судьба! Какая непроглядная тьма вокруг! Еда казалась ему отравленной, вино горьким, как желчь. У кавалеров и у него самого горло сдавило от волнения. Прощальные речи прерывались рыданиями. Что за горестная судьба! С этой поры жизнь его будет сплошным страданием и тоской. Никогда более не заиграет улыбка на его губах, песни умрут в его памяти, как умирают цветы на тронутой осенним морозом земле. Сам он зачахнет, поблекнет и увянет, как роза в осенние холода, как лилия в сухой земле. Никогда более не увидят кавалеры несчастного Юлиуса. Тени мрачных предчувствий поселились в его душе — так гонимые ветром тучи бросают черные тени на свежевспаханые поля. Он уезжает домой, чтобы там умереть.

Пышущий здоровьем, полный сил стоит он перед ними. Никогда более не спросят они в шутку, когда он в последний раз видел кончики своих пальцев на ногах, не попросят со смехом одолжить им его щеки вместо кегельных шаров. В его печени и легких пустил недуг свои корни. Злая хворь грызет и изнуряет его. Он давно понял, что дни его сочтены.

О, лишь бы только кавалеры сохранили верную память о покойном! Лишь бы только они не забыли его!

Долг призывает его. Дома ждет его мать. Она ждет его целых семнадцать лет. И вот она прислала письмо, она зовет его, и он должен повиноваться. Он знает, что возвращение домой обернется для него смертью, но повинуется, как добрый сын.

О восхитительные пирушки! О вы, прекрасные заливные луга и гордый водопад! О вы, увлекательные приключения, натертые до блеска скользкие полы танцевального зала, ты, милый сердцу кавалерский флигель! О скрипки и валторны, о ты, жизнь, исполненная счастья и веселья! Разлука с вами равносильна смерти.

Патрон Юлиус заходит в кухню проститься с прислугой. Он обнимает и с необычайным волнением целует всех, от экономки до старушки-приживальщицы. Служанки плачут, сокрушаясь над его горькой участью. Подумать только, такому доброму и веселому господину суждено умереть, и они никогда более не увидят его!

Патрон Юлиус велит выкатить из сарая его тарантас и вывести из конюшни его лошадь. Стало быть, его тарантасу не суждено спокойно догнивать в Экебю, а старой Кайсе придется расстаться с привычной кормушкой. Он не хочет сказать ничего худого о своей матушке, но раз она не думает о нем, так подумала хотя бы о них. Сумеют ли они перенести столь долгое путешествие?

Но тяжелее всего расставаться с кавалерами.

Маленький, кругленький Юлиус, которому было бы легче катиться по земле, чем ходить, всем телом, от головы до пят, ощущает трагизм своего положения. Он вспоминает при этом гордого афинянина, спокойно осушившего чашу с ядом в кругу учеников.[\[47\]](#) Он вспоминает короля Йесту, предсказавшего своему народу, что они захотят однажды вырыть его из могилы.

Под конец он поет свою лучшую песню. При этом он думает о песне умирающего лебедя. Ему хочется, чтобы они запомнили его гордую душу, которая не унижится до жалоб и стенаний, что он уходит под сладостные звуки песен.

Наконец выпит последний бокал, спета последняя песня, в последний раз он заключает в объятия каждого из друзей. Он надевает плащ и берет в руки хлыст. Кавалеры едва сдерживают слезы, и его



глаза тоже заволакивает влажная пелена, он уже ничего не видит вокруг.

Тут кавалеры хватают его и принимаются качать. Гремят крики «ура». Наконец кто-то опускает его, он сам не понимает куда. Щелкнул кнут, тарантас под Юлиусом качнулся и унес его прочь. Когда Юлиус вновь обрел способность различать окружающее, он был уже далеко.

Хотя кавалеры и были искренне огорчены, печаль не могла окончательно задушить в них чувство юмора. Кто-то из них, не знаю, был ли это старый воин Бееренкройц, любитель игры в килле, или уставший от жизни кузен Кристофер, — словом, кто-то из них устроил так, что старую Кайсу не пришлось выводить из конюшни, не пришлось и выкатывать из сарая развалюху тарантас. Они впрягли большого красного с белыми пятнами вола в телегу, на которой возили сено, водрузили на нее красный сундук, зеленый бочонок, ларец с провизией и посадили патрона Юлиуса с затуманенными глазами не на ларец или сундук, а на спину пятнистого вола.

Вот видите, какие люди! Слишком слабы, чтобы принять печаль со всей ее горечью. Разумеется, кавалеры скорбели о своем друге, уехавшем умирать, об этой увядшей лилии, пораженном насмерть и спевшем предсмертную песню лебеде. И все же они немного повеселели, глядя, как он едет на спине здорового вола, как его грузное тело при этом сотрясается от рыданий, как он бессильно опустил руки, простертые было для последнего объятия, и возводит укоризненный взор к небесам.

Постепенно пелена, застилавшая глаза Юлиуса, начала спадать, и он заметил, что едет, покачиваясь на спине какого-то животного. Говорят, это заставило его задуматься над тем, что многое могло измениться за эти семнадцать лет. Старую Кайсу было просто не узнать. Неужто это оттого, что в Экебю ее кормили лишь овсом и клевером? И тут он вспомнил, не знаю, подслушали ли его придорожные камни или птицы в кустах, но он в самом деле воскликнул:

— Черт меня побери, Кайса, если у тебя не выросли рога!

Поразмыслив еще немного, он осторожно соскользнул со спины вола на телегу, уселся на резной ларец и, погруженный в тяжкие раздумья, поехал дальше.

Через некоторое время, подъезжая к Брубю, он услышал задорную песенку:

Раз и два,  
два и три.  
Что за егеря, посмотри!

Песенка звенела ему навстречу, но пели ее вовсе не егеря, а веселые барышни из Берги и хорошенькие дочери мункерудского судьи, которые шли по дороге. На плечах они несли, как ружья, длинные палки, на которые они повесили узелки с провизией. Несмотря на летнюю жару, девушки шагали бодро, напевая в такт:

Раз, два,  
два и три...

— Куда это вы отправились, патрон Юлиус? — закричали они, поравнявшись с ним, не замечая печати грусти на его лице.

— Спешу прочь от приюта греха и гордыни, — ответил Юлиус. — Не хочу более пребывать в кругу бездельников и греховодников. Еду домой к матушке.

— Ах! — воскликнули они. — Неужто это правда? Неужто патрон Юлиус и в самом деле решил покинуть Экебю?

— Да, — сказал он твердо и ударил кулаком по сундуку с платьем. — Я покидаю Экебю подобно Лоту, бежавшему из Содома и Гоморры. Теперь там не осталось ни одного праведного человека. Когда же земля разверзнется над ними и с небес на их головы обрушится дождь из кипящей серы, я стану радоваться справедливому Божьему суду. Прощайте, девушки, берегитесь Экебю!

Он хотел было ехать дальше, но не тут-то было. Девушки и не думали его отпускать, они собирались подняться на Дундерклеттен, путь до этой горы был долгий, и они решили, что не худо было бы подъехать к ней на телеге Юлиуса.

Счастлив тот, кто может радоваться солнечному свету и жизни, кому не надо прятать темя под шапкой. Не прошло и двух минут, как девушки добились своего. Патрон Юлиус повернул назад и поехал к

Дундерклеттену. Покуда девушки карабкались на телегу, он сидел, улыбаясь, на погребце с провизией. По обочинам дороги росли ромашки, медуница и мышиный горошек. Вол время от времени останавливался передохнуть. Тогда девушки слезали с телеги и рвали цветы. Вскоре голову Юлиуса и рога вола украсили роскошные венки.

Дальше на пути им начали попадаться светлые молодые березки и темный ольшаник. Тут девушки наломали веток и так разукрасили ими телегу, что она стала похожа на движущуюся рожицу. Веселые игры сменяли одна другую целый день. На душе у Юлиуса с каждым часом становилось все светлей и радостней. Он поделился с ними едой и пел им песни. Когда же они добрались до вершины Дундерклеттена, перед ними открылась картина столь величественная и прекрасная, что у растроганных девушек на глазах заблестели слезы, а у Юлиуса сильно забило сердце, из уст его полились потоком восторженные слова о любимом крае.

— Ах, Вермланд, мой прекрасный, благословенный край! Нередко, глядя на карту, я задумывался над тем, кто же ты? И вот теперь меня осенило. Ты старый святой отшельник, что сидит неподвижно, скрестив ноги и опустив руки на колени. На голове у тебя остроконечная шапка, низко надвинутая на полузакрытые глаза. Ты мыслитель и мечтатель, о, как ты красив! Бескрайние леса — твоё одеяние. Его окаймляют длинные ленты синих рек и ровные гряды синих холмов. Ты так скромн и прост, что чужеземец не заметит твоей красоты. Ты беден, как и подобает отшельнику. Ты сидишь спокойно, позволяя волнам Венерна омывать твои ноги. Слева у тебя рудники и шахты — это бьётся твоё сердце. Глухие дебри на севере, таинственная тьма и холодная красота — это твоя голова, мечтатель.

Я гляжу на тебя, суровый великан, и на глаза мои невольно набегают слеза. Ты строг в своей красоте, ты — созерцание, нищета, самоотречение, и все же в этой строгости я вижу черты нежности и красоты. Я смотрю на тебя и преклоняюсь пред тобою. Стоит мне бросить взгляд на твои бескрайние леса, стоит мне прикоснуться к краю твоей одежды, как душа моя исцеляется. Час за часом, год за годом вглядывался я в твой священный лик. Какие тайны прячешь ты, божество самоотречения, за полуопущенными веками? Сумел ли ты разгадать тайну жизни и смерти или размышляешь над ней по-прежнему, о священный великан? Для меня ты хранитель великих

возвышенных мыслей. Вот я вижу, как по тебе и вокруг тебя ползают люди, существа, не замечающие печати величия и суровости на твоём челе. Они видят в тебе одну лишь красоту и, зачарованные ею, забывают обо всем остальном.

Горе мне, горе всем нам, детям Вермланда! Мы требуем от жизни лишь только красоты, одной лишь красоты. Мы, дети нужды, печали и нищеты, воздеваем руки к небу в единой мольбе и жаждем лишь одного — красоты. Да будет жизнь подобна розовому кусту, пусть расцветает жизнь любовью, вином и наслаждением, и пусть эти розы будут доступны каждому. Вот чего мы желаем, но наша страна отмечена печатью суровости, лишений и печали. Наш край — вечный символ печальных раздумий, хотя сами мы лишены способности мыслить.

О Вермланд, мой прекрасный, благословенный край!

Он говорил вдохновенно, и голос его дрожал. Девушки слушали его, удивленные и растроганные. Они никак не ожидали, что за искрящимся весельем и шуткой может скрываться такая глубина чувств.

Вечером девушки опять уселись на телегу, они вряд ли догадывались, куда вез их патрон Юлиус, пока вол не остановился у дверей дома в Экебю.

— А теперь, девушки, — воскликнул Юлиус, — войдем в дом и потанцуем!

Что же сказали кавалеры при виде патрона Юлиуса с увядшим венком на шляпе и сидевших на телеге девушек?

— Теперь нам ясно, что девушки перехватили его, не то бы он вернулся к нам гораздо раньше.

Ведь кавалеры знали, что это семнадцатая попытка Юлиуса покинуть Экебю, на каждый год его жизни здесь приходилось по одной попытке. Но сейчас Юлиус забыл и про эту попытку, и про все предыдущие. Его совесть снова заснула до следующего года.

Патрон Юлиус был мастер на все руки. Он был легок на ногу в танце и неутомим за карточным столом. Рука его одинаково хорошо владела пером, кистью и смычком. Он был обладателем чувствительного сердца, дара красноречия и неисчерпаемого запаса песен. Но чему все бы это послужило, если у него не было бы совести, хотя она и давала о себе знать лишь раз в году, подобно стрекозе,

которая высвобождается из мрака и обретает крылья, чтобы прожить всего несколько часов на дневном свете в блеске солнечных лучей?

## Глава двадцать четвертая

### ГЛИНЯНЫЕ СВЯТЫЕ

Церковь в Свартше белая внутри и снаружи; белы ее стены, кафедра проповедника, хоры, потолок, оконные проемы и алтарный покров — все бело. Церковь в Свартше лишена каких бы то ни было украшений, на стенах здесь нет ни росписи, ни щитов с родовыми гербами. На алтаре лишь деревянное распятие да белый льняной покров. Прежде здесь все было иначе. Потолок украшали фрески, и повсюду стояло множество ярко раскрашенных каменных и глиняных изваяний.

Давным-давно жил в Свартше один художник. Однажды, любуясь синим летним небом, он обратил внимание на легкие облака, плывущие к солнцу. Он видел, как эти легкие облака, показавшиеся утром на горизонте, поднимались, громоздясь друг на друга, все выше и выше, как эти великаны медленно вырастали и устремлялись ввысь, чтобы взять приступом небесный купол. Вот одно облако, словно корабль, расправляет паруса, другое — точно воин поднимает боевое знамя. Они стремятся захватить все небо. Подплывая к солнцу, владыке небесного пространства, эти разбухшие чудовища преобразуются, принимают кроткий вид. Лев с разинутой пастью превращается в густо напудренную даму. Великан с вытянутыми руками готов задушить всех, кто попадетя ему на пути, становится погруженным в мечтания сфинксом. Иные прикрывают свою ослепительную наготу отороченными золотой каймой плащами. А вон те слегка нарумянили свои белоснежные щеки. Тут и равнины, и леса, и обнесенные стенами замки с высокими башнями. Наконец белые облака завладевают всем летним небом. Они обволакивают весь синий небосвод. Они подплывают к солнцу и закрывают его.

«О, как было бы прекрасно, — думает набожный художник, — если томящиеся души людей могли бы вознестись на эти громоздящиеся друг на друга горы и плыть на них, качаясь, словно на корабле, все дальше ввысь!»

Внезапно ему пришло в голову, что белые летящие облака и есть те лады, на которых отлетают души праведников.

И тут он увидел их. Они стояли на этих легко скользящих громадах с лилиями в руках, увенчанные золотыми коронами. Навстречу им, паря на широких и сильных крыльях, устремлялись ангелы. О, какое множество праведных душ! И по мере того как росли и ширились облака, их становилось все больше. Они покоились на ложе из облаков, словно кувшинки на озерной глади. Они украшали его, как лилии украшают луга. О, как величественно они возносились! Облако клубилось за облаком, а в них он увидел небесную рать — сонмы ангелов в серебряных доспехах и окаймленных пурпуром мантиях.

Вскоре художник расписал потолок церкви в Свартше. Он хотел изобразить на нем возносящиеся ввысь летние облака, уносящие праведников к райским кушам. Рука, державшая кисть, была крепкой, но недостаточно гибкой, и облака у него походили скорее на кудрявые локоны кудрявых париков, чем на растущие горы белого тумана. Изобразить святых такими, какими они представлялись ему в буйной фантазии, художник не сумел и облачил, наподобие смертных, в длинные красные рубахи, жесткие епископские митры и черные сутаны со стоячими воротничками. Он наделил их большими головами и маленькими телами и снабдил носовыми платками и молитвенниками. Из уст у них вылетали латинские изречения. А для тех, кого художник считал самыми совершенными, он расставил на облаках стулья, чтобы они могли возноситься в вечность уютно сидя.

Поскольку все в округе знали, что души умерших и ангелы никогда не являлись бедному художнику, то и не слишком удивлялись тому, что они у него вышли слишком земными. И все же многие считали эту роспись прекрасной и умилялись ей. Думается, было бы достаточно и того, чтобы и мы любовались ею.

Но в тот год, когда в Экебю хозяйничали кавалеры, граф Дона велел побелить всю церковь. Тогда-то и была закрашена роспись на потолке и выброшены все глиняные святые.

Ах эти глиняные святые!

Ничто не могло бы причинить мне столь сильную печаль, как гибель этих святых. Никакая человеческая жестокость не могла бы вызвать в моей душе столь сильную горечь, как этот поступок.

Вы только подумайте! Тут был и святой Улоф в короне поверх шлема, [\[48\]](#) с топором в руке и коленопреклоненным великаном у ног.

На кафедре проповедника стояла Юдифь в красной кофте и синей юбке, с мечом в одной руке, а в другой вместо головы ассирийского полководца она держала песочные часы. Здесь была и таинственная царица Савская в синей кофте и красной юбке с гусиной лапой вместо одной ступни, в руке она держала Книгу пророчеств. На скамье на хорах одиноко лежал седовласый святой Георгий; конь и дракон были разбиты. Здесь был и святой Христофор с зеленеющим посохом, и святой Эрик<sup>[49]</sup> в длинной, шитой золотом мантии, со скипетром и секирой в руках.

Много раз сидела я по воскресеньям в этой церкви и горевала, что в ней не осталось ни фресок, ни глиняных святых. Что из того, что у некоторых из них не хватало носа или ноги, что кое-где сошла позолота, а краски осыпались? Я бы на это не посмотрела.

Говорят, что с глиняными святыми было немало хлопот: они теряли то скипетры, то уши или руки, и их постоянно приходилось чинить и обновлять. Прихожанам это надоело, и они жаждали от них избавиться. Однако крестьяне не причинили бы им никакого вреда, если бы не граф Хенрик Дона. Это он велел убрать их.

Я ненавидела его за это, как только может ненавидеть дитя. Я ненавидела его, как голодный нищий ненавидит скупую хозяйку, отказавшуюся подать ему кусок хлеба. Я ненавидела его, как бедный рыбак ненавидит негодного мальчишку, испортившего лодку. Разве я не страдала от голода и жажды во время долгих богослужений? А он лишил меня хлеба, которым питалась моя душа. Разве я не стремилась подняться к небесам в бесконечное пространство? А он разбил мою ладью и разорвал сеть, которой я могла бы поймать святые видения.

В мире взрослых нет места для настоящей ненависти. Разве могла бы я теперь ненавидеть столь жалкое существо, как граф Дона, или безумца, как Синтрам, или поблекшую светскую даму вроде графини Мэргы? Другое дело, когда я была ребенком! Счастье их, что их давно нет в живых.

Наверно, пастор, стоявший на кафедре, проповедовал миролюбие и всепрощение, но до того места в церкви, где мы сидели, его слова не долетали. Ах, если бы старые глиняные святые стояли там по-прежнему! Они бы читали мне проповедь, и я понимала бы каждое их слово!



И я часто сидела и думала, как же могло случиться, что их вынесли из церкви и уничтожили?

Когда граф Дона объявил свой брак незаконным, вместо того чтобы отыскать жену и поправить дело, это вызвало всеобщее возмущение, ведь все знали, что его жена ушла из дома оттого, что ее там замучили чуть ли не до смерти. И видно для того, чтобы сделать доброе дело и тем самым вернуть милость Божию и уважение людей, он решил подновить церковь в Свартше. Граф велел побелить стены и замазать росписи на потолке. А изваяния он сам и его слуги погрузили в лодку и утопили их в пучине Левена.

Как посмел он поднять руку на величие Господне?

И как Господь праведный дал свершиться подобному святотатству? Разве рука, отрубившая голову Олоферну, больше не поднимала меч? Разве царица Савская забыла тайны своего искусства ранить опаснее отравленной стрелы? Святой Улоф, святой Улоф, старый викинг; святой Георгий, святой Георгий, покаравший дракона, неужто отшумела слава ваших подвигов, слава сотворивших чудо?

Видно, святые не хотели наказать варваров. Раз крестьяне из Свартше не желали больше платить за краски на их одежды и золото на их короны, они позволили графу Доне погрузить их в бездонную глубину Левена. В столь жалком виде они не хотели стоять в храме Божьем. О беспомощные глиняные святые, помните ли вы времена, когда перед вами преклоняли колени в жаркой молитве?

Я думала не раз о лодке, которая однажды летним вечером скользила по глади Левена, нагруженная глиняными святыми. Человек, сидящий на веслах, медленно гребет, бросая робкие взгляды на старинных пассажиров, лежащих на носу и на корме, но граф Дона не испытывает страха. Он берет святых одного за другим, поднимает их высоко над головой и бросает в воду. Лицо его спокойно, дыхание ровно. Он чувствует себя борцом за истинное евангельское учение. И чуда во спасение древних святых не произошло. Безгласные и покорные, спустились они в пучину забвенья.

На следующее воскресенье церковь в Свартше сияла ослепительной белизной. Ни росписи, ни изваяния не мешали более прихожанам углубиться в молитвы. Лишь внутренним взором должны созерцать они великолепие небес и лики святых. Людские молитвы

должны на собственных могучих крыльях возноситься к Всевышнему. Никогда более не будут они цепляться за край одежд глиняных святых.

Зеленый наряд земли, возлюбленного жилища человека, лазурное небо, цель его устремлений. Весь мир сияет яркими красками. Отчего же стала белой церковь? Белой, как зима, голой, как нищета, бледной, как ужас! Она не искрится инеем, как зимний лес. Не сияет жемчугом и кружевами, как невеста в белоснежном подвенечном наряде. Церковь стоит холодная, побеленная известью, нет в ней ни изваяний, ни росписи.

В это воскресенье граф Дона сидит на хорах в нарядном кресле, всем прихожанам должно видеть и благодарить его. Ему должны воздавать почести, ведь он велел починить старые скамьи, уничтожить безобразные изваяния, вставить новые стекла вместо разбитых и побелить всю церковь. Ясное дело, он был волен поступить, как ему угодно. Если он хотел смягчить гнев Всемогущего, то поступил правильно, украсив святой храм по своему разумению. Но почему же тогда он ждет благодарности?

Он еще не искупил свой грех, ему бы стоять на коленях внизу на позорной скамье и просить своих братьев и сестер взывать к Богу с мольбой, чтобы он позволил ему остаться в святом храме. Ему бы впору предстать перед ними жалким грешником, а не сидеть на почетном месте на хорах в ожидании награды за то, что он пожелал примириться с Богом.

О, граф, Бог без сомнения ожидал увидеть тебя на позорной скамье. Он не позволит тебе глумиться над собой лишь потому, что люди не посмели осудить тебя. Господь справедлив, он заставит говорить камни, если молчат люди.

Когда богослужение окончилось и был пропет последний псалом, никто не покинул церковь; пастор поднялся на кафедру, чтобы сказать графу благодарное слово. Однако до этого дело не дошло.

Внезапно двери распахнулись, и в церковь вошли покрытые зеленой тиной, измазанные коричневым илом древние святые, с которых капала вода Левена. Видно, они почувствовали, что здесь будут воздавать хвалу человеку, который надругался над ними, изгнал их из храма Божьего и сбросил на погибель в холодные волны Левена. Древние святые вернулись, чтобы сказать свое слово.

Им не по душе монотонный плеск волн. Они привыкли к псалмопению и молитвам. До сих пор они безмолвствовали и не роптали, думая, что все творится во славу Божию. Да, видно, ошиблись они. Здесь на хорах в почете и славе сидит граф Дона, он желает, чтобы ему в Божьем храме поклонялись и воздавали хвалу. Такого они не потерпят. И посему они поднялись из своей мокрой могилы и вошли в церковь, где прихожане сразу узнали их. Вот идет святой Улоф с короной на шлеме и святой Эрик в шитой золотом мантии, а вот святой Георгий и святой Христофор, и больше никого. Царица Савская и Юдифь не возвратились.

Когда люди пришли в себя от изумления, по церкви пролетел шепот:

— Это кавалеры!

И в самом деле, это были кавалеры. Они пошли напрямиком к графу, не говоря ни слова, подняли его на плечи вместе с креслом, вынесли из церкви и поставили на склоне церковного холма.

Они ничего не говорили, не смотрели ни вправо, ни влево. Они просто-напросто вынесли графа Дону из Божьего храма, а после направились кратчайшим путем к озеру. Никто не пытался помешать им, а они не стали тратить времени на объяснения. Все было ясно без слов: «Мы, кавалеры из Экебю, решили, что граф Дона не достоин того, чтобы его восхваляли в Божьем храме. И потому мы выносим его отсюда. Если кто пожелает втащить его обратно, пусть тащит».

Но назад его никто не потащил. Пастор так и не произнес хвалебного слова. Народ повалил из церкви. Каждый думал, что кавалеры поступили по справедливости.

Все вспоминали, как жестоко мучили в Борге светловолосую молодую графиню. Вспоминали, как добра она была к бедным, как красива она была — смотреть на нее и то было утешением.

Ясное дело, грешно дебоширить в церкви, однако пастор и прихожане понимали, что сами чуть было не сыграли со Всемогущим еще более злую шутку. И они стояли, посрамленные, перед неумными старыми безумцами.

— Когда люди молчат, говорят камни, — сказали они.

После этого дня графу Хенрику стало в Борге неудобно. Темной ночью в начале августа к парадной лестнице была подана крытая карета. Ее окружили слуги, и из дома вышла графиня Мэрта,

закутанная в шаль, с густой вуалью на лице. Хотя граф Хенрик вел ее под руку, она дрожала от страха. С большим трудом удалось уговорить ее пройти через переднюю и веранду и выйти из дома.

Она села в карету, за ней последовал граф Хенрик, дверца кареты захлопнулась, и кучер всю погнал лошадей. Когда на другое утро сороки проснулись, графиня была уже далеко.

Граф поселился где-то далеко на юге. Борг продали, и он с тех пор много раз переходил из рук в руки. Всем нравилась эта усадьба. Однако счастливы здесь были немногие.

## Глава двадцать пятая

# СТРАННИК БОЖИЙ

Капитан Леннарт, Божий странник, пришел однажды августовским днем на постоянный двор в Брубю и заглянул в кухню. Он направлялся к себе домой в Хельгесэтер, расположенный в четверти мили от Брубю у самой опушки леса.

В ту пору капитан еще не знал, что станет одним из странников Божьих на этой земле. Он предвкушал встречу с родным домом, и сердце его было переполнено радостью. Немало невзгод выпало на его долю, но теперь, когда он вернулся домой, все несчастья остались позади. Он еще не знал, что будет одним из тех, кто лишен счастья спать под родным кровом и греться у своего очага.

У капитана Леннарта, Божьего странника, был веселый нрав. Не застав в кухне ни души, он, словно озорной мальчишка, тут же решил напраказить. Он спутал нитки на ткацком станке и снял колесо прялки. Он швырнул кота на голову собаке, и когда приятели, забыв в порыве злобы о старой дружбе, оцетинившись и сверкая глазами, вцепились друг в друга и пустили в ход когти, он принялся хохотать так, что весь дом задрожал.

На шум прибежала хозяйка. Она остановилась у порога, глядя на хохочущего гостя и дерущихся животных. Когда-то она хорошо знала капитана, но видела его в последний раз в арестантской повозке, закованного в кандалы. Пять лет прошло с тех пор, как на зимней ярмарке в Карлстаде вор украл у жены губернатора драгоценности. Пропавшие кольца, браслет и пряжки были очень дороги благородной даме, ведь они достались ей в наследство, либо были получены в подарок. Вернуть их так и не удалось. Но тут по округе прошел слух, что вор не кто иной, как капитан Леннарт из Хельгесэтера. Хозяйка постоялого двора никак не могла понять, откуда пошли эти слухи. Разве капитан Леннарт не был добрым и честным человеком? Он жил счастливо со своей женой, которую привез сюда всего лишь несколько лет назад: жениться раньше ему не позволяли средства. Разве не было у него хорошего жалованья и своей усадьбы? Что могло заставить такого человека украсть старинный браслет и кольца? И еще

невероятнее казалось ей, что подобным слухам могли поверить, посчитать его вину доказанной, разжаловать его, лишить ордена Меча[50] и приговорить к пяти годам каторжных работ.

Сам же он сказал, что был на ярмарке, но уехал до того, как пошли слухи о краже. На проезжей дороге он нашел какую-то старую неказистую пряжку, которую взял, чтобы отдать ее дома детям. Оказалось, что пряжка эта золотая, одна из вещей, украденных у губернаторши. Пряжка и послужила причиной его несчастья. На самом же деле во всем был виноват Синтрам. Этот злодей донес на него и представил неопровержимые доказательства. Видно, ему нужно было избавиться от капитана Леннарта, ибо вскоре ему самому предстояло предстать перед судом. Было доказано, что во время кампании 1814 года он продавал норвежцам порох. Поговаривали, что Синтрам боялся свидетельских показаний капитана Леннарта. А после ареста капитана дело Синтрама прекратили за отсутствием доказательств.

Хозяйка постоялого двора не могла оторвать взгляда от капитана. Он поседел и сгорбился, нелегко ему, видно, пришлось. Но приветливое лицо и добрый нрав он сохранил. Это был все тот же капитан Леннарт, который вел ее к алтарю, когда она выходила замуж, и танцевал с ней на свадьбе. Верно, он и теперь готов остановиться на дороге и болтать с первым встречным и бросать монетку каждому ребенку. Поди, он и теперь способен уверять каждую морщинистую старуху, что она молодеет и хорошеет день ото дня, может влезть на бочку и играть на скрипке для танцующих вокруг майского места крестьян. Накажи меня Боже, если это не так!

— Что ж, матушка Карин, — начал он, — никак вы не смеее даже взглянуть на меня?

Он, собственно говоря, зашел на постоялый двор узнать, как дела у него в доме и ждут ли его. Они ведь, поди, знают, что он отбыл свой срок.

Матушка Карин сообщила ему хорошие новости. Его жена вела хозяйство расторопно, не хуже мужчины. Она арендовала участок земли у нового владельца, и дела у нее шли отлично. Дети были здоровы, любо-дорого смотреть. Ну конечно же, дома его ждут. Капитанша — женщина скупая на слова, не узнаешь, что у нее на уме, однако есть ложкой капитана и сидеть на его стуле никому не позволяет. А нынешней весной и дня не проходило без того, чтобы она

не поднималась к камню на вершине холма Брубю, высматривая, не идет ли ее муж. И новую одежду она ему приготовила, сама соткала и сшила. И без слов ясно, что его дома ждут.

— Стало быть, они не верят, что это я?..

— Ясное дело. И никто этому не верит.

Тут капитан Леннарт заторопился домой. Однако случилось так, что, выйдя из постоянного двора, он повстречал добрых старых друзей. Это были кавалеры из Экебю. Синтрам пригласил их на постоянный двор отпраздновать свой день рождения. Кавалеры без колебания пожали руку бывшему каторжнику и поздравили его с возвращением домой. И Синтрам последовал их примеру.

— Дорогой Леннарт, — сказал он, — видно, на то воля Божья.

— Замолчи, негодяй! — воскликнул капитан. — Думаешь, я не знаю, что вовсе не Господь спас тебя от плахи?

Все засмеялись, но Синтрам вовсе не рассердился. Намеки на его связь с нечистым его вовсе не печалили. Тут вся компания затащила капитана обратно в трактир осушить стаканчик за его возвращение. Мол, потом он сразу отправится домой. И здесь-то с ним и приключилась беда. Этого предательского зелья он не пил целых пять лет. К тому же он, видно, ничего не ел целый день и сильно утомился в пути. После одной-двух рюмок в голове у него зашумело.

Увидев, что капитан уже потерял над собой власть, кавалеры стали заставляя его опрокидывать рюмку за рюмкой. Делали они это, вовсе не желая ему зла, напротив, из добрых намерений доставить удовольствие человеку, не выдавшему ничего хорошего долгих пять лет. А он вообще-то не пил. И в этот раз вовсе не собирался напиваться, ведь он шел домой к жене и детям. Но вышло так, что он, сильно захмелев, заснул в трактире на скамье.

Увидев, что капитан лежит в беспомощности, Йеста вздумал подшутить над ним: он разрисовал ему физиономию углем и раскрасил брусничным соком, сделал его похожим на настоящего преступника, каким, по его мнению, и должен быть вольноотпущенный каторжник. Йеста подрисовал капитану синяк под глазом, провел вдоль носа красную полосу, похожую на царапину, разлохматил волосы и вымазал лицо сажей. Все посмеялись, и Йеста собрался было смыть эту мазню.

— Не надо, — остановил его Синтрам, — пусть проснется и поглядит на себя! Это его позабавит.

На том и порешили, и кавалеры тут же забыли про капитана. Пирушка продолжалась всю ночь. Ехать домой собрались лишь на рассвете. Все были порядком навеселе и никак не могли придумать, что делать с капитаном.

— Отвезем его домой, — предложил Синтрам. — То-то его жена обрадуется! И нам будет приятно посмотреть на их встречу. Я просто умиляюсь при мысли об этом. Давайте отвезем его домой!

Эта идея их всех растрогала. Господи, до чего же обрадуется строгая хозяйка Хельгесэтера! Они растормошили капитана Леннарта и посадили его в один из экипажей, давно уже поданных к дверям трактира заспанными кучерами. И вся компания покатила. Кто-то из них в полусне так и норовил вывалиться из экипажа, кто-то горланил песни, разгоняя сон. Охмелевшие, с покрасневшимися опухшими лицами, они выглядели не лучше пьяных бродяг.

Подъехав к усадьбе, они оставили лошадей на заднем дворе и, важно выступая, отправились к парадному входу. Бееренкройц и Юлиус вели капитана под руки.

— Встряхнись-ка, Леннарт! — уговаривали они его. — Ведь ты дома. Не видишь, что ли? Ты уже дома!

Он открыл глаза и разом почти протрезвел. Его растрогало, что они проводили его домой. Он остановился и, обращаясь ко всем, сказал:

— Друзья! Я спрашивал Бога, отчего мне досталась столь горькая участь?

— Ах, замолчи, Леннарт, не время читать проповеди! — прорычал Бееренкройц.

— Не мешай ему, — перебил его Синтрам. — Он так складно говорит.

— Я спрашивал и не мог этого уразуметь. Но теперь я понял. Господь хотел, чтобы я понял, какие верные у меня друзья. Друзья, которые провожают меня домой, чтобы увидеть, как я обрадуюсь встрече с женой, как обрадуется моя жена. Ведь она ждет меня. Что значат пять лет страданий в сравнении с этой встречей!

Но тут в дверь забарабанили твердые кулаки. Кавалерам было недосуг слушать его разглагольствования.

За дверью послышались шаги. Проснувшиеся служанки глянули в окно. Они наспех набросили одежду, но открыть дверь пьяной ораве не



решались. Наконец изнутри отодвинули засов. В дверях показалась сама капитанша.

— Что вам надо? — спросила она.

— Мы привезли твоего мужа, — ответил Бееренкройц. Они вытолкнули капитана вперед, и он нетвердой походкой пошел к ней, пьяный, с размалеванным под бандита лицом. А за ним, пошатываясь, стояла целая орава одуревших от вина людей. Она отступила на шаг, а капитан продолжал идти к ней с распростертыми объятиями.

— Ты уехал из дома воров, — воскликнула она, — а возвращаешься пьяным бродягой! — С этими словами она собралась захлопнуть дверь.

Он не понял ее и хотел войти в дом, но она толкнула его в грудь.

— Уж не думаешь ли ты, что я позволю такому, как ты, стать хозяином моего дома, отцом моих детей?

Дверь захлопнулась, щелкнул засов.

Капитан Леннарт бросился к двери и стал трясти ее.

И тут кавалеры не могли удержаться от смеха. Он был так уверен, что жена его ждет, а она его и знать не хочет. Вот потеха.

Услышав их смех, капитан бросился на них с кулаками. Они побежали прочь и поспешили усесться в экипажи. Он было погнался за ними, но споткнулся о камень и упал навзничь. Потом поднялся на ноги, но не стал больше их преследовать. Внезапно он понял, что все в мире случается по воле Божьей.

— Куда ты поведешь меня? — спросил он в смятении. — Ведь я пушинка, гонимая твоим дуновением. Я лишь мячик в твоей руке. Куда ты забросишь меня? Отчего ты запираешь передо мной двери моего дома?

И он побрел прочь от своего дома, решив, что такова воля Божья.

Когда вошло солнце, он стоял на вершине холма Брубю и смотрел на лежавшую перед ним долину. Ах, бедные обитатели этой долины, не ведали они тогда, что их спаситель идет к ним. Ни один бедняк, ни один горемыка не украсил дверь своей лачуги венками из увядших брусничных листьев. Никто не усыпал пороги, которые он скоро должен был переступить, лепестками душистой лаванды и полевыми цветами. Матери не поднимали на руках детей, чтобы показать им его, идущего к ним. Убогие хижинки не были празднично прибраны, и душистые ветки можжевельника не прикрывали черные

от копоти очага. Крестьяне не трудились усердно на полях, чтобы прилежно возделанное поле и ровные межи радовали его взор.

Увы, с высоты холма его удрученному взору предстали выжженные засухой поля, погубленный урожай; он увидел, что люди вовсе не спешили помочь земле готовиться к новому урожаю. Он глянул в сторону синих гор и в ярком свете утреннего солнца увидел рыжие пятна — пространства, выжженные лесным пожаром. Вдоль дорог он увидел полужасохшие от зноя березы. Представшая перед его глазами картина, множество, казалось бы, незнакомых признаков: запах браги, поваленные изгороди, ничтожное количество заготовленных дров — говорило о том, что люди обленились, опустились, обнищали и искали забвения в вине.

Быть может, для него было благом увидеть все это. Ведь ему не суждено было любоваться зеленеющими всходами на собственном поле, следить за гаснущими углями своего очага, гладить мягкие ладони своих детей, видеть рядом благочестивую жену, свою опору и друга. Быть может, его сердцу, исполненному скорби, было благом узнать, что есть на свете и другие страждущие, бедняки, которым он мог бы принести утешение. Быть может, ему было благом понять, что в это тяжелое время, когда засуха и неурожай вконец разорили и без того бедных крестьян, те, кому выпал счастливый жребий, лишь усугубляют их бедственное положение.

Леннарт стоял на вершине холма и думал о том, что он еще может послужить Господу.

Надобно сказать, что кавалеры так и не поняли, что их поступок привел к столь жестокому обращению капитанши с мужем. Синтрам же предпочел молчать. Люди в округе осуждали гордячку жену, которая отказалась принять такого достойного человека. Рассказывали, что она резко обрывала каждого, кто пытался заговорить с ней о муже. Она имени его слышать не желала. А капитан Леннарт не предпринимал ничего, чтобы оправдаться в ее глазах.

И вот что случилось на следующий день.

В деревне Хегербергсбюн лежит один крестьянин на смертном одре. Он уже принял святое причастие, силы его истощились, смерть близка. Готовясь к долгой дороге в вечность, он мечется, велит то перенести его постель из кухни, то назад в кухню. Смятение духа

говорит более красноречиво, чем хрипы в груди и потухший взор, о том, что конец близок.

Вокруг него собрались жена, дети и слуги. Он был счастлив, богат и уважаем всеми. В смертный час близкие его не покинули. Его не окружают чужие люди, нетерпеливо ожидающие его смерти. Старик рассказывает о себе так, словно он уже предстал пред ликом Божиим, а окружающие, непрестанно вздыхая, подтверждают, что слова его — истинная правда.

— Я всю свою жизнь трудился не покладая рук и был хорошим хозяином, — говорит он. — Любил жену, как свою правую руку. Поучал и пестовал детей своих. Я не пил вина. Не переносил межевых столбов. Не загоняя лошадей на подъеме в гору. В зимнюю пору не морил голодом коров. Стриг вовремя овец, не давал им мучиться от зноя.

А плачущие слуги эхом вторят ему:

— Он был добрым хозяином. О, Боже милостивый, он не загонял лошадей на крутых горюшках, не давал овцам потеть в жару.

Но тут в дом незаметно входит бедный человек в надежде, что его здесь покормят. Стоя молча у порога, он тоже слышит слова умирающего.

А старик тем временем продолжает:

— Я корчевал лес и осушал болотистые луга. Плуг мой ровно бороздил землю. Я построил амбар втрое больше того, что стоял при моем отце, и в закрома свои засыпал втрое больший урожай. Я заказал три кубка из блестящих серебряных спесиедалеров. А мой отец сделал всего один.

До стоящего у дверей человека доносятся слова умирающего. Он слышит, как старик говорит о себе, словно исповедуется перед Престолом Господним. Он слышит, как дети и слуги умирающего вторят ему:

— Твой плуг проводил ровные борозды.

— Господь Бог уготовит мне хорошее место на небесах, — говорит старик.

— Господь Бог примет нашего хозяина в Царствие небесное, — соглашаются слуги.

Человек у дверей, тот, кто долгих пять лет был мячом в руке Божьей, пушинкой, гонимой его дуновеньем, слышит эти слова и в

страхе содрогается.

Он подходит к умирающему и берет его за руку.

— О друг мой, друг мой! — говорит он, и голос его дрожит от волнения. — Думал ли ты, кто есть Он, Господь наш, пред ликом которого ты скоро предстанешь? Бог велик и гневен. Земля — его пашня, буря — его конь. Бездонные небеса содрогаются от его поступи. А ты, представ пред его очи, скажешь: «Мой плуг бороздил ровные полосы, я сеял рожь, я рубил лес». Неужто ты хочешь похвалиться перед Ним, неужто хочешь с Ним равняться? Ты не ведаешь, сколь велико могущество Того, в чье царство ты держишь путь.

От ужаса глаза старика широко раскрылись, рот искривился, хриплое дыхание участилось.

— Не говори громких слов Господу твоему! — продолжал странник. — Великие мира сего — лишь обмолоченная солома в его гумне. Его денный труд — создавать солнца. Он выкопал моря и воздвиг горы. Он одел землю в зеленый наряд. Он великий труженик, и никому в труде с Ним не сравниться. Пади ниц пред Ним, отходящая душа человеческая! Лежи, распростертая во прахе пред Господом Богом твоим. Гнев Господен бурей пронесется над тобой. Молнией испепеляющей. Пади ниц! Ухвати, как младенец, край его мантии и проси защиты! Лежи во прахе и моли о пощаде! Смирись, душа человеческая, пред твоим Создателем!

Глаза умирающего широко раскрыты, молитвенно сложенные руки крепко сжаты, на лице его просветление, хрипы затихли.

— О душа человеческая, отлетающая душа! — восклицает странник. — В свой последний миг на земле ты смирялась перед Господом, и потому возьмет Он тебя на руки и, словно малое дитя, понесет в чертоги небесные.

Старик испускает последний вздох. Все кончено. Капитан Леннарт склоняет голову и молится. Все стоящие в комнате читают молитвы, тяжело вздыхая.

Когда же они поднимают головы, то видят на лице старого крестьянина бесконечный покой. Глаза его словно сохраняют отблеск прекрасных видений, рот растянут в улыбке, лицо его прекрасно. Он видел Бога.

«О ты, великая душа человеческая, — думают они, глядя на него, — ты разорвала бранные оковы! В свой последний миг ты взмыла ввысь к своему Творцу. Ты смирилась перед Ним, и Он поднял тебя на руки, как дитя».

— Он узрел Господа, — говорит сын и закрывает мертвецу глаза.

— Он видал, как разверзлись небеса, — всхлипывают дети и слуги.

Старая хозяйка сжимает дрожащей рукой руку капитана.

— Вы помогли ему в самый страшный час.

Капитан стоит, онемев. Он обрел дар проникновенного слога и великих деяний. Он еще сам этого не осознает. Он дрожит, словно бабочка, только что освободившаяся от куколки, которая расправляет на солнце крылышки, а они искрятся, как солнечный свет.

\* \* \*

Этот миг был решающим в его жизни, он заставил капитана идти к людям. Иначе он отправился бы домой показать жене свой истинный облик. Но с этой минуты он решил, что нужен Богу. Он стал странником Божьим, заступником бедняков. Времена были трудные, вокруг царила нужда, и помочь обездоленным могли скорее ум и добро, нежели золото и власть.

Однажды капитан Леннарт пришел к бедным крестьянам, которые жили недалеко от Гурлиты. Голод и нищета одолевали их, запасы картофеля кончились, а сеять рожь на пожогах не было семян.

Тогда капитан Леннарт взял небольшой челн и поплыл через озеро в Форс и попросил Синтрама дать людям ржи и картофеля. Синтрам встретил его приветливо. Он повел Леннарта к большим закромам, полным зерна, а потом вниз в погреб, где еще оставался картофель прошлого урожая, и позволил ему наполнить все взятые с собой мешки.

Увидав маленький челнок, Синтрам сказал, что в нем такой большой груз не уместится. Коварный заводчик велел погрузить мешки на одну из своих больших лодок и приказал своему работнику, силачу Монсу, перевезти груз через озеро. Капитан Леннарт поплыл назад в пустом челноке.

Однако Леннарт отстал от силача Монса, ведь тот был отменным гребцом и к тому же наделен огромной силищей. Проплывая по живописному озеру, капитан Леннарт думает об удивительных превращениях крошечных зерен ржи. Вот теперь их посеют на пожоге в черную, перемешанную с золой землю меж пней и корней, зерна прорастут и пустят корни на этой целине. В его воображении предстают мягкие светло-зеленые всходы, которые оденут землю, он мысленно наклоняется и гладит их нежные стебельки. Он представляет себе, как холодно этим слабым росткам осенью и зимой, и все же они по приходе весны, храбрые и свежие, пустятся в рост. Сердце солдата радуется при мысли об этих прямых жестких соломинках высотой в несколько локтей с острыми колосками на верхушке. Крошечные метелочки тычинок будут дрожать, поднимая облако пыльцы до самой макушки леса, и на глазах хлеборобов колос в родовых муках наливаются, заполняется мягким и сладким зерном. А потом по полю начнет гулять коса, стебли упадут, загрохочет, обмолачивая их цеп, мельничные жернова смелют зерна в муку, а из муки выпекут хлеб, — о, сколько голодных накормит это зерно, лежащее в лодке!

Работник Синтрама причалил к лодочной пристани у подножья Гурлиты, где его окружили голодные люди. Тут Монс сказал, как велел ему Синтрам:

— Хозяин посылает вам, люди добрые, солод и жито. Он слышал, что у вас нет водки.

Тут люди словно потеряли рассудок. Они бросились к лодке, прыгали в воду, каждый жадно тянул к себе мешок либо куль. Вовсе не этого ожидал капитан Леннарт. Он тоже причалил к пристани и сильно рассердился, увидев, что происходит. Он хотел раздобыть для них картофель на пропитание и рожь для посева. Солода он и не думал просить.

Капитан закричал, чтобы люди не хватали мешки, но они не стали его слушать.

— Так пусть же рожь станет песком у вас во рту, а картофель камнем у вас в горле! — воскликнул он вне себя от гнева, потому что они продолжали тянуть к себе мешки.

В тот же миг произошло нечто удивительное, казалось, капитан Леннарт сотворил чудо. Один мешок, который тянули к себе две

женщины, порвался, и из него посыпался песок. А поднявшим мешки с картофелем показалось, что они набиты камнями.

В мешках были лишь камни и песок. Люди стояли, онемев от страха, перед посланником Божьим, совершившим чудо. На мгновение капитан Леннарт тоже оцепенел от изумления. Один лишь силач Монс хохотал до слез.

— Поезжай-ка поскорее домой, парень, — сказал капитан Леннарт, — пока люди не догадались, что в этих мешках ничего, кроме песка и камней, не было! А не то, боюсь, они утопят твою лодку.

— Не больно-то я их боюсь, — отвечал Монс.

— Говорю тебе, уезжай! — сказал капитан таким властным голосом, что тот послушался и уехал.

Тут капитан принялся объяснять людям, что Синтрам их одурачил, но сколько он их ни уверял, они считали, что свершилось чудо. Вскоре слух об этом прошел по всей округе, а так как вера в чудеса в народе сильна, все решили, что капитан Леннарт умеет творить чудеса. Крестьяне его сильно уважали и прозвали странником Божьим.

## Глава двадцать шестая

### КЛАДБИЩЕ

Стоял прекрасный августовский вечер. Левен блестел, как зеркало, легкая солнечная дымка окутала горы, спускалась вечерняя прохлада.

Седоусый полковник Бееренкройц, коренастый, сильный, как борец, положив в задний карман колоду карт, спустился к озеру и сел в лодку-плоскодонку. За ним последовали майор Фуш, его старый собрат по оружию, и маленький флейтист Рустер, бывший барабанщик вермландского егерского полка, много лет сопровождавший полковника в качестве его друга и слуги.

На противоположном берегу озера приютилось старое заброшенное приходское кладбище с редкими покосившимися заржавленными железными крестами, усеянное кочками, точно нетронутый плугом луг, поросшее осокой и сорной травой: можно подумать, что ее посадили нарочно, с намеком, что судьбы людские так же не похожи друг на друга, как листья травы. Здесь нет усыпанных гравием дорожек, нет тенистых деревьев, кроме большой липы над забытой могилой старого капеллана. Это бедное кладбище обнесено высокой каменной оградой. Убого и мрачно оно, безобразно, как лицо старого скряги, поблекшее от стонов и плача тех, чье счастье он украл. И все же блаженны те, кто почивают здесь, кого опустили в освященную землю под звуки псалмов и молитв.

Игрока Аквилона, умершего в Экебю год тому назад, пришлось похоронить за кладбищенской оградой. Этот человек, некогда гордый рыцарь, храбрый воин, отважный охотник и счастливый игрок, кончил тем, что проиграл наследство своих детей, все, что нажил сам и что сумела сберечь его жена. Жену и детей он давно оставил ради развеселой жизни в кавалерском флигеле Экебю. Прошлым летом в один прекрасный вечер он проиграл и усадьбу, где жила его семья, единственный источник их дохода. Чтобы не платить этот долг, он застрелился. И прах самоубийцы похоронили за пределами кладбища у каменной ограды.



После его смерти осталось лишь двенадцать кавалеров, никто не занял место тринадцатого, никто, кроме нечистого, который в сочельник вылез из очага.

Кавалеры считали, что предшественникам Аквилона повезло больше, чем ему самому. Они знали, что каждый год один из них должен умереть. Но чему тут удивляться? Ведь кавалеры не должны дряхлеть. Если их потускневшие глаза не смогут различать карты, если их дрожащие руки не смогут поднимать бокалы, чем тогда станет жизнь для них и чем они для жизни? Но лежать зарытым, как собака, за кладбищенской стеной, где земля не знает покоя, где ее топчут овцы, рванят лопата и плуг, где путник проходит, не замедляя шага, а дети играют и шалют, не сдерживая смеха, где покойник не услышит трубного гласа ангелов в день Страшного суда, когда они разбудят тех, кто лежит по другую сторону ограды! О как ужасно быть зарытым здесь!

Но вот Бееренкройц гребет в сторону кладбища. Его лодка плывет по озеру моих мечтаний; я видела, как по его берегам шествовали боги, как из его глубин поднимались волшебные замки. Он проплывает мимо затонов Лагена, где на пологих полукруглых песчаных отмелях растут сосны, поднимаясь прямо из воды, где на крутом берегу еще высятся развалины разбойничьей крепости. Он проплывает мимо елового парка на мысе Борг, где над обрывом все еще висит одинокая старая сосна, вцепившись в землю толстыми корнями, где однажды поймали огромного медведя, где возвышаются древний курган и могильники — свидетели седой старины. Он огибает мыс, причаливает неподалеку от кладбища и вдет по скошенному лугу, принадлежащему графу из Борга, к могиле Аквилона. Подойдя к могильному холмику, он наклоняется и похлопывает по нему, будто гладит одеяло, под которым лежит его больной друг. Потом он вынимает карты и садится возле могилы.

— Юхану-Фредрику, поди, очень одиноко, ему, верно, охота сыграть партию в килле, — говорит он.

— Стыд и срам, что такой человек должен лежать здесь, у ограды, — возмущается гроза медведей Андерс Фукс и усаживается рядом.

— После вас, полковник, это был самый достойный человек из всех, кого я знал, — негодует Рустер-флейтист, и при этом из его

маленьких с красными прожилками глазок неудержимо капают слезы. Эти три достойных мужа садятся вокруг могилы и с серьезным видом начинают сдавать карты.

Вглядываясь вдаль, я вижу много могил. Вон там под тяжестью мрамора покоится великий мира сего. Над ним гремит похоронный марш. Над ним склоняются знамена. Я вижу могилы тех, кто был горячо любим. Цветы, орошенные слезами и покрытые поцелуями, легко покоятся на зеленых коврах их могил. Я вижу и забытые могилы, а рядом аляповатые, вычурные памятники, а вот и другие, безликие, ничего не говорящие ни уму, ни сердцу. Но никогда прежде не видела я, чтобы покойнику для развлечения приносили на могилу Килле в клетчатом черно-белом наряде и Бларена в колпаке с колокольчиком.

— Юхан-Фредрик выиграл, — с гордостью говорит полковник. — Я так и знал. Ведь это я научил его играть. Да, теперь мы все трое умерли, а он один жив.

С этими словами он собирает карты, встает и в сопровождении своих друзей возвращается в Экебю.

Теперь покойник, наверно, знает, что не все забыли его могилу. Как ни странны знаки внимания заблудших сердец, но тот, кто лежит за кладбищенской стеной, чье мертвое тело не могло обрести покой в освященной земле, должен быть доволен тем, что не все отвергли его.

Друзья мои, дети человеческие, когда я умру, меня, наверное, похоронят в середине кладбища рядом с могилами предков. Я не лишала своих близких хлеба и крова, не налагала на себя руки, но наверняка не заслужила такой любви, и, верно, никто не сделает для меня того, что сделали кавалеры для этого грешника. И, конечно, никто не придет ко мне на закате солнца, когда в царстве мертвых становится так одиноко и печально, чтобы вложить пестрые карты в мои узловатые пальцы.

Правда, карты меня мало привлекают, мне скорее хотелось бы, чтоб ко мне пришел человек со смычком и скрипкой, чтобы душа моя, блуждающая во мраке и тлене, убаюкалась в потоке звуков, как лебедь на искрящихся под солнцем волнах. Но я знаю, он не придет ко мне.

## Глава двадцать седьмая

### СТАРЫЕ ПЕСНИ

Однажды тихим вечером в конце августа Марианна Синклер сидела в своей комнате, перебирая письма и бумаги. Вокруг нее царил беспорядок. Посреди комнаты стояли кожаные чемоданы и кованые дорожные сундуки. Ее платья были разложены повсюду на стульях и диванах. Белоснежное белье, блестящие шелка, шали и драгоценности вынули из ящиков полированных комодов, принесли с чердаков, достали из шкафов. Все это надо было осмотреть и отобрать необходимое в дорогу.

Марианна собиралась в дальнюю дорогу. Неизвестно, вернется ли она когда-нибудь домой. В ее жизни наступил крутой перелом, и потому она решила сжечь старые письма и дневники. Она не хотела, чтобы над ней тяготели воспоминания о прошлом.

Вот в руки ей попала целая связка со старыми стихами. Это народные песни, которые в детстве пела ей мать. Она развязала скреплявший их шнурок и стала читать. Почитав немного, она печально улыбнулась. Странной мудростью были полны старые песни.

«Не верь счастью, не верь счастливым приметам, не верь розам с нежными листочками!»

«Не верь смеху! — поучали они. — Видишь, юнгфру Вальборг едет в золотой карете, губы ее улыбаются, а сама она печальна, словно видит, что копыта и колеса вот-вот раздавят ее счастье».

«Не верь шутке! — гласили они. — Не одна девушка садится за стол с улыбкой на устах, а сама готова умереть от горя. Вот сидит молодая Аделина и шутки ради милостиво выслушивает, как Фрейденборг предлагает ей свое сердце, но шутка эта нужна ей лишь для того, чтобы собраться с силой и умереть».

О старые песни, чему вы учите нас верить, слезам и печали?

Легко заставить скорбные уста улыбаться, но веселому трудно заплакать. Старые песни верят слезам и вздохам, одному лишь горю, одной печали.

— О вы, грустные песни, — сказала Марианна, — что значит ваша ветхая мудрость перед полнотой жизни!

Она подошла к окну и выглянула в сад, где прогуливались ее родители. Они ходили взад и вперед по широким дорожкам и говорили обо всем, что видели вокруг, — о травах земных, о птицах небесных.

«Не правда ли, странно, — подумала Марианна, — что это сердце тоже горестно вздыхает, хотя прежде оно никогда не было столь счастливо!»

И ей тут же пришло в голову, что ощущение горя и радости зависит, в сущности, от самого человека, от того, как он смотрит на вещи. Она спросила себя, счастьем или несчастьем было то, что случилось с ней в этом году. И не смогла дать ответа.

Ей пришлось пережить много горьких минут. Ее душа была больна. Ее глубоко унизили, склонили до земли. Вернувшись домой, она решила: «Не буду помнить зла, которое причинил мне мой отец». Но сердце ее воспротивилось этому решению. «Он причинил мне смертельное горе, — сказала она себе, — разлучил меня с любимым, довел меня до отчаянья, когда бил мою мать. Я не желаю ему зла, но боюсь его». Она замечала, что ей трудно сидеть спокойно в его присутствии. Она пыталась овладеть собой, говорила с ним, как обычно, и старалась не избегать его общества. Владеть собой она умела, но страдала невыносимо. В конце концов все в нем стало ей ненавистно: громкий грубый голос, тяжелая походка, большие руки, вся его грузная фигура. Она не желала ему зла, не хотела причинять вреда, но не могла приблизиться к нему без страха и отвращения. Ее угнетенное сердце мстило ей. «Ты не позволила мне любить, — говорило оно, — но я повелеваю тобой, и ты в конце концов будешь ненавидеть».

Она, по обыкновению, прислушивалась к тому, что творится в ее душе, и ощущала, что ее отвращение к отцу становится все глубже и растет с каждым днем. И в то же время ей казалось, что теперь она навечно прикована к дому. Она понимала, что ей нужно было бы уехать, быть в обществе людей, но после болезни это сделать было нелегко. Здесь, в доме, у нее это чувство никогда не пройдет. Она лишь будет мучиться все сильнее, и однажды ее самообладанию придет конец, она выплеснет на отца всю горечь, накопившуюся в ее сердце, вспыхнет ссора, которая может привести к беде.

Так прошли весна и начало лета. В июле она обручилась с бароном Адрианом, чтобы иметь свой дом. В одно прекрасное утро

барон прискакал к ним в усадьбу на великолепной лошади. Его гусарский ментик блестел на солнце, шпоры и сабля на перевязи искрились и переливались, свежее лицо и смеющиеся глаза сияли. Мельхиор Синклер сам принял его, стоя на лестнице. Марианна сидела с шитьем у окна и слышала каждое слово их разговора.

— Здравствуй, рыцарь, ясно солнышко! — крикнул ему заводчик. — Что это ты так вырядился, черт побери! Уж не свататься ли ты приехал?

— Так оно и есть, дядюшка, именно за этим я и явился! — отвечал со смехом Адриан.

— А не стыдно ли тебе, шалопай? Есть ли у тебя чем кормить жену?

— Нечем. Если бы у меня было хоть что-нибудь, я бы и не вздумал жениться!

— Рассказывай, рассказывай, ясное солнышко! А нарядный ментик, на что ты его купил?

— В кредит, дядюшка.

— А лошадь, на которой ты сидишь, стоит немало, скажу я тебе, счастливчик. Ее-то ты откуда взял?

— Лошадь не моя, дядюшка.

Тут грузный заводчик не утерпел:

— Упаси тебя Бог, сынок! Тебе не обойтись без жены, у которой хоть что-нибудь есть за душой. Бери Марианну, если сумеешь!

Таким образом они все порешили еще до того, как барон успел спешиться. Но Мельхиор знал, что делал, ведь барон был славный малый.

Будущий жених поспешил к Марианне и сразу же одним духом выпалил:

— О Марианна, милая Марианна! Я уже говорил с дядюшкой Мельхиором. Мне бы очень хотелось, чтобы ты стала моей женой. Скажи, согласна ли ты, Марианна?

Она тут же выведала у него всю правду. Старого барона, отца Адриана, снова одурачили, он опять купил несколько пустых рудников. Он всю жизнь покупал рудники, и каждый раз руды в них не было. Мать Адриана была этим очень озабочена, сам же он наделал долгов и теперь сватался к ней, чтобы спасти отчий дом и гусарский мундир.

Его имение Хедебю было расположено на противоположном берегу озера, почти напротив Бьерне. Марианна его хорошо знала, они с Адрианом были сверстниками и друзьями детства.

— Выходи за меня, Марианна, прошу тебя. Я влачу жалкую жизнь. Езжу на чужих лошадях, не могу даже расплатиться с портным. Долго так продолжаться не может. Мне придется уйти в отставку, а тогда я застрелюсь.

— Но что из нас выйдет за пара? Ведь мы ни капельки не влюблены друг в друга.

— Что до любви, так меня эта чепуха ни капельки не интересует, — заявил он. — Я люблю верховую езду, охоту, но кавалер из меня не получится: да, я люблю трудиться. Если бы только у меня были деньги, я бы освободил имение от долгов, дал бы матушке спокойную старость и тем был бы доволен. Я бы пахал и сеял, работу я люблю.

Он посмотрел на нее честными, открытыми глазами, и она поняла, что он говорил правду, что этому человеку можно верить. Она обручилась с ним главным образом для того, чтобы уйти из дома, к тому же он всегда нравился ей.

Но никогда ей не забыть ужасный месяц, последовавший за этим августовским днем, днем их помолвки.

Барон Адриан с каждым днем становился все печальнее и молчаливее. Хотя он часто приезжал в Бьерне, иногда даже по нескольку раз в день, она не могла не заметить, что он был чем-то угнетен. В обществе других он еще мог шутить, но стоило им остаться наедине, как он становился невыносимо молчаливым и скучным. Не так-то легко, как он думал вначале, жениться на уродливой женщине. Теперь же он испытывал к ней отвращение. Никто лучше нее не знал, как она безобразна. Разумеется, она дала ему понять, что вовсе не ждет от него ласки или любовных признаний, и все же он мучился, представляя себе ее своей женой, и с каждым днем становился все мрачнее. Зачем же он мучился напрасно? Почему не расторгнул помолвку? Она давала ему достаточно ясные намеки. Сама же Марианна не могла ничего поделать. Отец сказал ей напрямик, что при ее пострадавшей репутации расторжение помолвки было бы настоящим скандалом. И потому она глубоко презирала их обоих и жаждала любой ценой избавиться от своих повелителей.

И вот всего лишь через несколько дней после торжества по случаю помолвки произошло событие, резко изменившее всю их жизнь.

\* \* \*

На песчаной дорожке напротив главного входа в особняк усадьбы Бьерне лежал большой камень, доставлявший всем немало хлопот и неприятностей. На него наезжали коляски, об него спотыкались лошади и люди, служанки, задевая о него тяжелыми подошниками, проливали молоко, но камень продолжал лежать там, как лежал с незапамятных времен. Он был на этом месте еще во времена родителей заводчика, задолго до того, как они задумали обзавестись поместьем Бьерне. Мельхиор Синклер считал, что убирать этот камень вовсе ни к чему.

Но в один из последних дней августа две служанки, которые несли тяжелый ушат, споткнулись об этот камень и сильно разбились. Все решили, что камень этот пора убрать.

Время было раннее, но хозяин уже ушел на прогулку. Так как работники с восьми до десяти утра были, по обыкновению, дома, фру Густава велела убрать большой камень.

Работники принесли лом и лопаты, подрыли камень, засунули под него лом и с трудом выкопали наконец этого давнего нарушителя покоя и отнесли его на задний двор. Работы хватило на шестерых.

Едва успели убрать камень, как заводчик вернулся домой и тут же заметил, что камня нет на прежнем месте. Можно себе представить, как он рассердился! Ему казалось, что теперь это уже не его усадьба. Кто осмелился перенести камень? Ах вот как, это фру Густава распорядилась. До чего же бессердечны эти женщины! Разве жена не знала, как дорог ему был этот камень?

И он подошел к камню, поднял его один, пронес через весь двор до того места, где он лежал раньше, и швырнул его на землю. А ведь этот камень с трудом могли поднять шесть человек. Об этом подвиге судачил после весь Вермланд.

Когда он нес камень, Марианна стояла у окна и смотрела на него. Никогда еще он не казался ей таким страшным. И этот человек — ее

господин, этот монстр, наделенный чудовищной силой, самодур, потекающий всем своим прихотям.

Они с матерью завтракали, когда Марианна вдруг непроизвольно подняла столовый нож.

Фру Густава схватила ее за руку.

— Марианна!

— В чем дело, матушка?

— Ах, Марианна, у тебя был такой странный взгляд. Я испугалась.

Марианна пристально посмотрела на мать. Маленькая, высохшая, седая и морщинистая, а ведь ей всего пятьдесят лет. Она любила мужа, как собака, не замечая пинков и ударов. Чаще всего она пребывала в хорошем настроении, но и тогда казалась жалкой и несчастной. Она походила на потрепанное штормами дерево на берегу моря, которому стихия не давала расти спокойно. Она научилась ходить крадучись, лгать во спасение и часто представлялась глупее, чем была на самом деле, чтобы избежать упреков мужа. Во всем она была послушным орудием в его руках.

— Скажите, матушка, вы стали бы сильно горевать, если бы отец умер? — спросила Марианна.

— Я знаю, ты сердишься на отца. Вечно ты на него злишься. Но ведь сейчас, когда у тебя есть новый жених, неужто нельзя успокоиться?

— О, матушка, это от меня не зависит. Что я могу поделать, если боюсь его? Неужто вы, матушка, не видите, каков он? За что я должна любить его? Он вспыльчив и груб, он замучил вас до того, что вы состарились прежде времени. С какой стати он должен быть нашим господином? Он ведет себя как взбесившийся деспот. За что я должна любить и почитать его? Он ни к кому не питает ни сострадания, ни жалости. Я знаю, что он силен. Он в любую минуту может убить нас. Может выкинуть нас из дома, стоит ему только захотеть. И за это я должна любить его?

На тут фру Густаву словно подменили. Она обрела силу и мужество, и в голосе ее зазвучали властные нотки.

— Берегись, Марианна. Мне начинает казаться, что твой отец был прав, когда не пустил тебя той зимой в дом. Вот увидишь, Господь



покарает тебя за это. Ты научишься терпеть без ненависти, страдать без мести.

— О, матушка, я так несчастлива!

И тут, словно в ответ на их спор, в прихожей раздался грохот, рухнуло что-то тяжелое.

Они так никогда и не узнали, случился с Мельхиором Синклером удар, оттого что он, стоя на лестнице, услышал в открытую дверь слова Марианны, или виной тому было сильное физическое напряжение. Когда они подбежали к нему, он лежал в беспамятстве. Сами же они никогда его об этом не спрашивали. А он не подавал вида, что слышал их разговор. Марианна не могла избавиться от мысли, что она невольно отомстила ему. Но при виде отца, лежавшего на той же самой лестнице, на которой она научилась его ненавидеть, горечь сразу улетучилась из ее сердца.

Он вскоре пришел в сознание и, пролежав в постели несколько дней, вполне оправился, но при этом изменился до неузнаваемости.

Марианна видела в окно, как родители гуляли по саду. Теперь они всегда были вместе. Он никогда не выходил из дома один, никуда не уезжал, ворчал, если приезжали гости, не хотел ни на минуту разлучаться с женой. Он как-то разом постарел, был не в силах даже написать письмо, жена делала это за него. Он ничего самостоятельно не решал, обо всем советовался с женой и поступал так, как она решала. Теперь он был неизменно кроток и приветлив. Мельхиор Синклер и сам замечал происшедшую с ним перемену и то, как радуется этой перемене жена.

— Теперь ей хорошо, — сказал он однажды, обращаясь к Марианне, и показал на жену.

— О милый Мельхиор! — воскликнула жена в ответ. — Ведь ты знаешь, для меня главное, чтобы ты поправился.

И она в самом деле этого желала. Ей доставляло наслаждение рассказывать, каким этот знаменитый заводчик был прежде, в расцвете сил, как он мог кутить напропалую не хуже кавалеров из Экебю. Она вспоминала, как он умел обделывать дела, получить много денег именно тогда, когда она боялась, что он сторяча потеряет и дом, и усадьбу. Но Марианна знала, что, несмотря на все свои сетования, мать ее была теперь счастлива. Муж жил только ею, и этого для нее было достаточно. Они оба выглядели такими старыми, надломленными

жизнью раньше времени. Марианне казалось, что она ясно представляет себе их будущее. Отец постепенно будет слабеть, за первым ударом последует второй, может быть, и третий, он станет совсем беспомощным, и она будет ухаживать за ним, пока смерть не разлучит их. Но конец, быть может, наступит еще не скоро, и фру Густава успеет насладиться своим тихим счастьем. Марианне казалось, что так оно и должно быть. Ведь жизнь была в долгу у ее матери.

И у самой Марианны в жизни наступил просвет. Ничто больше не вынуждало ее выходить замуж, чтобы обрести нового повелителя. Ее израненное сердце наконец успокоилось. Ненависть и любовь отшумели в нем, но она больше не думала о том, каких страданий ей стоит этот покой. Она сознавала, что стала теперь более искренней, одухотворенной, что ее внутренний мир стал богаче. Разве хотела бы она зачеркнуть что-либо из того, что ей пришлось пережить? Разве не пошло страдание ей на пользу? Разве не обернулось счастьем в конце концов все пережитое? Теперь она считала полезным для себя все, что способствовало развитию в ней более возвышенных человеческих чувств. Не правы были старые песни. Не только одно горе непреходяще на свете. Теперь она уедет, будет искать на свете место, где могла бы приносить пользу. Если бы ее отец не изменился столь разительно, он никогда бы не позволил ей разорвать помолвку. А теперь мать помогла уговорить отца; Марианне даже разрешили предоставить барону денежную помощь, в которой он так нуждался.

О нем она могла теперь тоже думать с радостью. Ведь теперь она освободится от него. Своей удалью и жизнерадостностью он всегда напоминал ей Йесту, и теперь она вновь увидит его веселым. Он снова станет рыцарем Ясное Солнышко, как тогда, когда он в полном блеске явился впервые к ним в усадьбу. Она даст ему возможность получить землю, и он будет пахать и сеять, сколько его душе угодно, быть может, она даже увидит, как он поведет к алтарю красавицу невесту.

Занятая этими мыслями, она садится и пишет ему письмо, в котором возвращает ему свободу. Мягко и ласково она уговаривает его быть благоразумным и, несмотря на шутливый тон письма, можно понять, что намерения ее серьезны.

В то время как она пишет письмо, во дворе вдруг раздается стук копыт.

«Мой милый рыцарь Ясное Солнышко, — думает она, — это наша последняя встреча».

И тут барон Адриан входит к ней в комнату.

— Ах, Адриан, зачем ты вошел сюда? — спрашивает она, с ужасом оглядывая разбросанные в беспорядке вещи.

Он тут же робеет, смущается и бормочет извинения.

— А я как раз пишу тебе, — говорит она. — Вот, возьми письмо, можешь его тут же прочесть.

Он берет письмо и читает, а она сидит и смотрит на него. Она жаждет увидеть, как лицо его просияет от счастья. Но не успел он прочитать и несколько строк, как лицо его багровеет, он бросает его на пол, топчет ногами и раздражается неистовыми проклятиями.

По телу Марианны пробегает легкая дрожь. Она не новичок в любви, и все же не сумела понять этого неопытного мальчика, это большое дитя.

— Адриан, милый Адриан! — говорит она. — Что за комедию ты разыгрываешь передо мной? Подойди сюда и скажи мне всю правду!

Он бросился к ней и чуть не задушил ее в объятиях, родной мальчик, как он страдал, как измучился!

Немного погодя она глянула в окно. Фру Густава все еще гуляет с мужем в саду и толкует с ним о цветах и птицах, а они здесь лепечут слова любви. «Жизнь обошлась сурово с нами обеими, — подумала Марианна с печальной улыбкой. — А теперь она в утешение дарит и тебе, и мне по большому ребенку, чтобы было с кем играть».

А ведь все-таки хорошо, что она еще может быть любимой. Как отрадно слушать его; он шепчет ей, что от нее исходит колдовская сила, что ему стыдно за слова, сказанные во время его первого приезда в усадьбу.

Ни один мужчина не смог бы, находясь с нею рядом, не влюбиться в нее, но она испугала его, он чувствовал себя как-то удивительно подавленным.

Она не знала, было ли то счастье или несчастье, но она решила попытаться связать с этим человеком свою судьбу.

Марианна начала лучше понимать самое себя, ей невольно пришли на ум слова старинной песни о воркующей горлице, птице любви и печали. Она никогда не пьет прозрачную воду, не замутив ее сперва лапкой, мутная водица милее ее тоскующему сердцу. Так и ей

самой не дано судьбой пить из источника жизни чистое безмятежное счастье. Ей на долю выпало счастье, омраченное печалью.

## Глава двадцать восьмая

### СМЕРТЬ-ИЗБАВИТЕЛЬНИЦА

В середине августа светлой лунной ночью пришла в дом капитана Угглы моя бледная подруга, смерть-избавительница. Но войти сразу в этот гостеприимный дом она не посмела, ведь мало на свете тех, кто любит ее.

У моей бледной подруги отважное сердце. Она любит мчаться по воздуху на раскаленном пушечном ядре. Она кладет себе на шею шипящую гранату и хохочет, когда та разбивается на мелкие осколки. Она кружится в танце призраков на кладбищах и не боится навестить пораженных чумой в больницах, но трепещет, останавливаясь перед порогом честных и справедливых, перед воротами добрых. Ведь она хочет, чтобы ее встречали не плачем, а тихой радостью, ибо она освобождает души от оков брэнной плоти и дарует им новую свободную жизнь в бесконечном пространстве.

Смерть прокралась в старую рощу позади дома, где и теперь еще тонкие белоствольные березы тянутся вверх, стремясь отвоевать побольше солнечного света для своей редкой листвы на макушках. В этой роще, которая в ту пору была молодой, густой и тенистой, скрывалась днем моя бледная подруга, а ночью она стояла на опушке, бледная и прозрачная, с поблескивающей в лунном свете косой.

О Эрос! Ты чаще всех богов владел этой рощей. Старики рассказывают, как в старину влюбленные искали здесь приюта. И даже теперь, когда я проезжаю мимо Берги, ропща на крутые горушки и пыльную дорогу, при виде этой рощи с поредевшими белыми стволами досада моя мгновенно исчезает, уступая место светлому воспоминанию о прекрасной юной любви.

Но в ту пору там гостила смерть, и ночные звери видели ее. Обитатели Берги слышали, как каждый вечер лаяла лиса, предвещая ее приход. У самого дома на песчаной дорожке свернулся в кольцо уж. Он не умел говорить, но все понимали, что он — предвестник Великой. А на яблоне против окна капитанши кричала сова. Ибо все в природе трепещет, чувствуя приближение смерти.

Однажды судья из Мункеруда возвращался с женой со званого ужина на пасторском дворе в Бру в два часа ночи, и, проезжая мимо Берги, они увидели на окне в гостиной горящую свечу. Они отчетливо видели и желтое пламя, и белую свечу, горевшую летней ночью.

Веселые барышни из Берги, услышав об этом, засмеялись и решили, что судье с женой это почудилось, ведь сальные свечи у них кончились еще в марте. Капитан же рассердился и сказал, что в гостиной никто уже давно не ночует. Но капитанша молчала, побледнев: она знала, что белая свеча с ярким пламенем появлялась у них в роду, когда за кем-нибудь из них приходила смерть, смерть-избавительница.

Вскоре после этого погожим августовским днем возвратился с землемерной службы в северных лесах Фердинанд. Он приехал бледный и худой, в легких у него поселилась неизлечимая болезнь, и капитанша с первого взгляда поняла, что ее сыну суждено умереть.

Ее сын, ее добрый сын, никогда не причинявший родителям огорчений, покинет их. Юноше предстоит расстаться со всеми радостями жизни, с прекрасной, горячо любимой невестой, богатыми усадьбами и кузницами, со всем, что должно было ему принадлежать.

И наконец, дождавшись новолуния, моя бледная подруга набралась храбрости и осмелилась подойти к дому. Она думала о том, что голод и нужду здесь встречали с улыбкой. Быть может, и ей они будут рады?

Медленно шла она по песчаной дорожке, бросая черную тень на траву, где в лунном свете искрились росинки. Она не походила на веселую жницу с цветами на шляпе, идущую в обнимку с любимым. Нет, она шла исхудавшая, сгорбленная, спрятав косу в складках плаща, а вокруг нее вились совы и летучие мыши.

В эту ночь капитанша, не смыкавшая глаз, слышала легкий стук в окно; она села в постели и спросила:

— Кто там стучит?

И, как рассказывают старики, она услышала в ответ:

— Это я, смерть.

Тогда она встала, отворила окно: вокруг кружили летучие мыши и совы, но смерти она так и не увидела.

— Иди сюда, моя подруга и избавительница! — прошептала она. — Отчего же ты так долго не приходила? Я ждала тебя, я звала

тебя. Входи же в дом, избавь от страданий моего сына!

Тогда смерть проскользнула в дом, обрадованная, словно несчастный сверженный монарх, которому в глубокой старости вернули корону, словно ребенок, которого позвали играть.

На следующий день капитанша, сидя у постели больного сына, рассказывала ему о блаженстве освобожденных душ и о прекрасной жизни, которая их ожидает.

— Они трудятся, — говорила она, — они творят. О, это истинные художники! Скажи, а кем ты станешь, когда окажешься среди них? Может быть, одним из скульпторов без резца, создающих розы и лилии, одним из создателей вечерней зари. И я, любуясь прекрасной вечерней зарей, буду думать: это сделал мой Фердинанд.

Мой милый мальчик, как много нового тебе предстоит увидеть, как много сделать! Подумай о семенах, которые надо пробудить к жизни весной, о бурях, которые нужно усмирять, о снах, которые нужно посылать людям! Подумай и о долгих полетах в пространстве среди бесчисленных миров.

Вспомни обо мне, мой мальчик, когда будешь созерцать всю эту красоту. Ведь твоя бедная мать ничего не видела, кроме Вермланда.

Но однажды ты предстанешь пред Господом Богом нашим и попросишь Его подарить тебе один из маленьких миров, которые носятся вокруг в бесконечном пространстве, и Он подарит тебе его. Вначале в твоём мире будет лишь холод и мрак, бездонные пропасти и скалы, ни цветов, ни животных. Но ты будешь трудиться на звезде, подаренной тебе Богом. Ты принесешь туда свет, тепло и воздух, сотворишь там растения, соловьев и ясноглазых газелей, велишь водопадам низвергаться в пропасти, воздвигнешь горы и вырастишь на равнинах алые розы. А когда я умру, Фердинанд, и душа моя затрепещет от страха перед дальней дорогой, перед разлукой с родными краями, ты будешь ждать меня за окном в сверкающей золотой колеснице, запряженной райскими птицами, сын мой.

Ты возьмешь мою бедную, мятущуюся душу в свою карету, посадишь рядом с собой, словно королеву. И мы помчимся в бесконечном пространстве мимо светящихся миров, а когда приблизимся к ним и я увижу, как они прекрасны, то спрошу в недоумении: «Почему бы нам не остановиться вот здесь или там?»

Но ты в ответ лишь засмеешься беззвучно, погоняя птичью упряжку. Наконец мы прилетим к самому маленькому и самому прекрасному из миров и остановимся перед золотым замком, и ты введешь меня в обитель вечной радости. Кладовые там ломятся от припасов, а шкафы полны книг. Еловый лес там не стоит стеной, как у нас в Берге, и не заслоняет свет Божий, там из окон можно созерцать бескрайнее море и залитые солнцем поля, тысяча лет будет там как один день.

И Фердинанд умер, очарованный светлыми видениями, улыбаясь навстречу прекрасному будущему.

Моя бледная подруга смерть-избавительница никогда еще не переживала столь сладостных минут. Разумеется, были и те, кто плакал у смертного одра Фердинанда Угглы, но сам умирающий улыбался призраку с косой, присевшему на край его постели, а для его матери предсмертные хрипы звучали сладчайшей музыкой. Она трепетала от страха при мысли о том, что смерть не сумеет завершить свое дело, и когда наступил конец, на глазах ее выступили слезы, но то были слезы радости, они падали на застывшее лицо ее сына.

Никогда еще так не чествовали мою бледную подругу, как на похоронах Фердинанда Угглы. Если бы она осмелилась показаться людям, то непременно явилась бы в берете с перьями и шитой золотом мантии танцующей на кладбищенской дорожке впереди похоронной процессии. Но вместо этого она сидела на каменной ограде, старая, сгорбленная, одинокая, завернувшись в поношенный черный плащ, и смотрела на приближающееся шествие.

О, какие это были удивительные похороны! Стоял погожий солнечный день, по небу плыли легкие светлые облака, длинные ряды снопов украшали поля, в саду пробста белела прозрачная спелая антоновка, а в цветнике звонаря пестрели георгины и гвоздики.

О, что за странная похоронная процессия шествовала по липовой аллее! Перед украшенным цветами гробом шли красивые дети и усыпали дорожку цветами. На провожавших Фердинанда в последний путь не было траурных одежд, ни черных крепов, ни белых; капитанша пожелала, чтобы ее сына, с радостью встретившего смерть, провожала к месту успокоения не мрачная похоронная процессия, а блистательный свадебный кортеж.



Первой за гробом шла Анна Шернхек, ослепительно прекрасная невеста покойного. На ней было белое муаровое платье со шлейфом, венец и фата. И в этом подвенечном наряде шла она к могиле венчаться с мертвым женихом.

За ней пара за парой выступали нарядные старые дамы и статные мужчины. На дамах сверкали пряжки и броши, молочно-белые жемчужные ожерелья и золотые браслеты. Их длинные локоны увеличивали пышные кружевные тюрбаны, на которых развевались плюмажи, с плеч на пестрые шелковые платья ниспадали шали из тончайшей шелковой пряжи, подаренные им когда-то к свадьбе. Мужчины были тоже в полном великолепии: с пышными жабо, во фраках с высокими воротниками, с золочеными пуговицами, в жилетах из жесткой парчи или богато расшитого бархата. Это было поистине свадебное шествие. Такова была воля капитанши.

Сама она шла следом за Анной Шернхек под руку с мужем.

Будь у нее золотое парчовое платье, она бы надела его, будь у нее драгоценности и нарядный тюрбан, она бы непременно надела их, чтобы почтить сына в день его праздника. Но у нее было лишь вот это платье из черной тафты и пожелтевшие кружева, выдавшие на своем веку немало празднеств, пришлось ей надеть их и на это торжество.

Однако разнаряженные гости, шествуя к могиле под тихий перезвон колоколов, не могли не ронять слез. Эти мужчины и женщины плакали не столько над покойником, сколько над самими собой. Вот только посмотрите, вот идет невеста, вот несут жениха, вот шествуют они сами, празднично разодетые, но есть ли на белом свете хоть один человек, кому не грозит печаль, горе, несчастье и смерть. Они плакали, думая о том, что ничто на земле не может защитить их. Но капитанша не плакала, у нее одной глаза были сухими.

Когда молитвы были прочитаны и могила засыпана, все направились к своим коляскам. Лишь капитанша и Анна Шернхек остались у могилы, чтобы сказать умершему последнее прости. Капитанша села на могильный холм, а Анна Шернхек опустилась рядом с ней.

— Знаешь, — обратилась к ней капитанша, — я сказала Богу: «Пусть смерть-избавительница придет и унесет моего сына, которого я люблю больше всех на свете, в обитель вечного покоя, и на глазах моих не увидят иных слез, кроме слез радости. Со свадебной

пышностью хочу я проводить его до могилы и пересажу к нему на кладбище розовый куст, что цветет под моим окном, тот, что усыпан красными розами». Так оно и вышло. Моего сына больше нет. Я встретила смерть, как близкую подругу, называла ее ласковыми именами, роняла слезы радости на застывшее лицо сына, а осенью, когда опадет листва, пересажу сюда розовый куст. Но знаешь ли ты, сидящая рядом со мной, почему я молила об этом Бога? — Она посмотрела вопросительно на Анну Шернхек, но девушка была молчалива и бледна. Быть может, она боролась с собой, пытаясь заглушить внутренний голос, который уже здесь, на могиле, начал шептать ей, что она наконец свободна.

— А ведь это ты во всем виновата, — сказала капитанша.

Девушка сжалась, словно от удара дубинкой. Она не сказала в ответ ни слова.

— Ты, Анна Шернхек, была прежде гордой и своенравной. Ты играла моим сыном, то приближала его, то отталкивала. Что ему было делать? Покориться, как и многие другие. Быть может, он, как и другие, любил твои деньги не меньше, чем тебя. Но ты снова пришла благословением в наш дом, ты была мягкой и кроткой, сильной и доброй. Ты окружила нас любовью, сделала нас счастливыми, и мы, бедные люди, лежали у твоих ног.

И все же, все же я хотела, чтобы ты не приходила к нам. Тогда бы мне не пришлось молить Бога укоротить жизнь моему сыну. До прошлого Рождества он еще смог бы перенести разлуку с тобой, но после того, как узнал тебя такой, какой ты стала теперь, у него не хватило бы на это сил.

Знай же, Анна Шернхек, ты сегодня пришла проститься с моим сыном в подвенечном наряде, но, будь мой сын жив, ты никогда не пошла бы с ним в этом наряде в церковь Бру, потому что ты не любила его.

Я видела это. Ты вернулась лишь из сострадания. Ты не любила его. Думаешь, я не знаю, что такое любовь, где она есть, а где ее нет? И тогда я подумала: «Пусть Бог возьмет жизнь моего сына прежде, чем откроются у него глаза».

О, если бы ты полюбила его! Лучше бы ты не приходила к нам, чтобы осчастливить нашу жизнь, раз ты его не любила! Я знаю свой долг. Если бы он не умер, мне бы пришлось сказать ему, что ты не

любишь его, что выходишь за него лишь потому, что ты — само милосердие. Мне пришлось бы принудить его дать тебе свободу, и жизнь его была бы разбита. Может, теперь ты поймешь, отчего я просила у Бога смерти для него, чтобы не лишать покоя его сердце. И я радовалась, глядя на его впалые щеки, прислушиваясь к хрипам в его груди из страха, что смерть не успеет завершить своего дела.

Она умолкла в ожидании ответа, но Анна Шернхек была еще не в силах говорить, она прислушивалась к голосам в глубине своей души.

Тогда капитанша в отчаянье воскликнула:

— О, как счастливы те, кто может оплакивать смерть своих близких, кто может проливать потоки слез. Я же должна стоять с сухими глазами у могилы сына, должна радоваться его смерти. До чего же я несчастна!

Тут Анна Шернхек крепко прижала руки к груди. Она с содроганием вспомнила ту зимнюю ночь, когда поклялась своей молодой любовью, что станет для этих бедных людей опорой и утешением. Неужто все было напрасно, неужто ее жертва была негодна Богу? Неужто она обратилась в проклятие?

Но если она пожертвует всем, неужто Бог не пошлет ей своего благословения, не позволит ей принести счастье людям, стать им опорой?

— Что нужно для того, чтобы ты смогла оплакивать сына? — спросила она.

— Нужно, чтобы я не доверяла больше своим старым глазам. Если бы я поверила, что ты любила моего сына, я бы оплакивала его смерть.

Тогда девушка поднялась, глаза ее горели.

Она сорвала с головы фату и положила ее на могилу, сорвала венец и положила его рядом с фатой.

— Видишь, как я люблю его? — воскликнула она. — Я дарю ему свой венец и фату. Я венчаюсь с ним. Никогда не буду принадлежать другому.

Тогда поднялась и капитанша. Она постояла молча, дрожа всем телом, лицо ее исказилось, и вот наконец из глаз ее полились слезы, слезы скорби.

Увидев эти слезы, моя бедная подруга, смерть-избавительница, задрожала. Стало быть, и здесь она нежеланная гостья, и здесь ей не

рады!

Она надвинула капюшон на лицо, тихо соскользнула с кладбищенской стены и исчезла в поле за скирдами хлеба.

## Глава двадцать девятая

### ЗАСУХА

Если неживые предметы могут любить, если земля и вода могут отличать друзей от врагов, мне бы очень хотелось завоевать их любовь; я хотела бы, чтобы зеленый ковер земли не страдал от тяжести моих шагов. Мне хотелось бы, чтобы она простила мне, что из-за меня ее ранят плуг и борона, чтобы она охотно раскрыла объятия и приняла мое остывшее тело. Мне хотелось бы, чтобы волна, чье блестящее зеркало я разбивала веслом, отнеслась бы ко мне так же терпеливо, как мать к шаловливому ребенку, который карабкается к ней на колени и мнет шелк нарядного платья. Я хотела бы стать другом прозрачному воздуху, дрожащему над синими горами, ослепительному солнцу и прекрасным звездам. Ведь мне часто кажется, будто мертвые предметы могут чувствовать и страдать, как живые. Что барьер, разделяющий их, не так уж непроницаем, как думают люди. Разве есть хоть частица материи, не входящая в круговорот жизни? Быть может, дорожная пыль была когда-то шелковистыми волосами или нежными добрыми руками, которые кто-то гладил и ласкал? А может, вода в дорожных колеях струилась некогда кровью, питая чье-то горячее сердце?

Дыхание жизни обитает и в неживых предметах. Что чувствуют они, погруженные в сон без сновидений? Они слышат глас Божий. Но слышат ли они голоса людей?

О люди нынешних времен, разве вы не замечаете этого? Когда раздоры и ненависть бушуют на земле, страдает и неживая природа. Тогда волна становится разъяренной и хищной, как разбойник, а поле скупым, как скряга. Но горе тому, из-за кого леса вздыхают, а горы плачут!

Примечательным был год, когда в Экебю хозяйничали кавалеры. Казалось, смятение людей нарушило также покой неживой природы. Как описать мне то дурное влияние, которое, словно зараза, поползло по всей округе? Неужто кавалеры стали для всех какими-то божествами и весь Вермланд проникся их духом, духом жажды приключений, беспечности и бесшабашности?

Весь мир изумился бы, если поведать обо всем, что творилось в тот год на берегах Левена. В ту пору просыпалась старая любовь и загоралась новая. В ту пору вспыхивала старая ненависть и затаенная месть наступала свою жертву. Тогда всех охватывала жажда наслаждений, у всех на уме были лишь танцы и веселье, игры и пирушки. Все, что прежде таилось в душе, выплескивалось наружу.

И эта зараза, будоражившая умы, исходила из Экебю. Сначала она распространялась на заводы и усадьбы и подстрекала людей ко всякого рода авантюрам и худым делам. Нетрудно проследить, что творилось в больших усадьбах, — старые люди помнят об этом до сих пор; однако как проделки кавалеров повлияли на простых людей, нам неизвестно. И все же беспокойный дух времени, без сомнения, шел от деревни к деревне, от хижины к хижине. Скрытый порок становился явным, пустяковая распря между мужем и женой превращалась в непреодолимую пропасть, но надо признать, что великая добродетель и сильная воля тоже проявлялись ярче. Ибо не все, что творилось в это время, было скверным. Однако добрые дела нередко оборачивались бедой, приносили несчастье, как и злые. Так во время сильной бури в густом лесу дерево валится на дерево, падающая сосна увлекает за собой другую, и даже подлесок гибнет под тяжестью этих великанов.

Не сомневайтесь, безумие охватило также и слуг, и крестьян. Сердца людей ожесточились, а ум охватило смятение. Никогда еще не танцевали так весело на перекрестках дорог, никогда так быстро не опорожнялись бочки с пивом, никогда еще не засыпали столько зерна в перегонный котел. Никогда еще не было столько пирушек, никогда еще перебранка не переходила так быстро в поножовщину.

Но не только людей охватило волнение. Оно перекинулось и на все живое. Никогда еще волк и медведь не приносили людям большего вреда, никогда еще уханье филина и лай лисицы не звучал столь ужасающе, никогда еще эти хищники не разбойничали столь дерзко, никогда еще болезни не косили так безжалостно драгоценную скотину.

Тому, кто хочет понять взаимосвязь вещей, нужно покинуть город и поселиться в одинокой хижине на опушке леса. Пусть караулит ночами яму углежогов, пусть проведет светлый летний месяц где-нибудь на берегу длинного озера во время сплава, когда бревна совершают свой медленный путь к Венерну. Тогда он научится подмечать приметы природы и поймет, что все мертвое зависит от

живого. Он увидит, что людские тревоги нарушают покой неживого мира. И крестьяне знают это. В беспокойные времена лесовица гасит огонь в угольной яме, русалка разбивает лодку в щепки, водяной насылает болезни, домовый морит голодом корову. Так было и в этот год. Никогда еще весеннее половодье не наносило людям такого урона. От него пострадала не только мельница и кузница в Экебю. Мелкие речушки, которые обычно, набравшись по весне силы, могли по крайности снести пустой сарай, взяли штурмом целые усадьбы и смыли их прочь. Никогда еще грозы не свирепствовали столь жестоко до дня летнего солнцестояния, а после него дождя не стало вовсе. Наступила засуха.

Покуда стояли долгие светлые дни, не выпало ни капли дождя. С середины июня до начала сентября уезд Левше купался в палящих солнечных лучах.

Дождь не желал выпадать, земля не желала родить, ветер не желал дуть. Одно лишь солнце низвергало на землю потоки лучей. О прекрасный солнечный свет, живительный свет, как описать мне твои злодеяния? Солнечный свет подобен любви. Кто не знает, какое зло она способна причинить, но у кого хватит духу не простить ее? Солнечный свет, как и Йеста Берлинг, приносит радость каждому, поэтому люди прощают причиненное им зло.

В других местах засуха после летнего равноденствия не принесла бы столько бед, как в Вермланде. Но сюда весна пришла поздно. Трава едва зазеленела и не успела вырасти. Рожь не получила влаги как раз тогда, когда колосу пора наливаться. Яровые посевы дали лишь маленькие кисточки на тонких стебельках, а ведь в те времена почти весь хлеб пекли из яровой ржи. Поздно посеянная репа вовсе не проросла, и даже картофель не смог вытянуть ни капли влаги из окаменевшей земли.

В такие годы тревога охватывает жителей лесных хижин, и постепенно страх спускается с гор к более спокойным обитателям долин.

— Это перст Божий ищет кого-то, — говорят люди.

И каждый бьет себя в грудь, восклицая:

— Уж не на меня ли гневается мать-природа, неужто на меня? Неужто из-за меня дождь обходит нас стороной? Неужто это в наказание мне земля высыхает и каменеет? Быть может, кроткий

солнечный свет льется непрерывными потоками на землю, чтобы сыпать мне на голову раскаленные угли? А быть может, перст Божий указывает не на меня, а на кого-нибудь другого?

Сохнут маленькие колоски ржи; картофель не может вытянуть из земли ни капли влаги, скотина с покрасневшими глазами, задыхаясь от жары, теснится у высохших источников, а сердца людей сжимаются от страха перед будущим, и все в округе говорят друг другу, недоумевая:

— Неспроста пришла к нам беда. Кто же навлек на нас гнев Божий?

Был августовский воскресный день. Богослужение в церкви окончилось. Прихожане стайками поплелись домой по нагретым солнцем дорогам. Они идут мимо обожженного солнцем леса, мимо погибшего урожая на полях, где жиденские снопы ржи собраны в редкие копны. Жечь валежник в этом году было делом легким и выгодным, однако при этом не единожды загорался сухой лес. А то, что пощадил огонь, докончили насекомые. С сосен опала хвоя, и они походили на лиственные деревья поздней осенью; березовая листва висела обглоданная, от нее остались одни прожилки.

Удрученным людям было о чем поговорить. Многие еще помнили недород в 1808-м и 1809 годах и холодную зиму в 1812-м, когда замерзали воробьи. Голод им был знаком, они знали его в лицо. Они умели подмешивать кору в муку и приучать коров есть мох.

Одна женщина придумала печь новый хлеб из брусники с ячменной мукой. Она прихватила его с собой, давала людям пробовать и очень гордилась своим изобретением.

Но у всех в голове свербил один и тот же вопрос, его можно было прочесть у всех в глазах, он был у всех на устах:

— На кого указывает перст Божий?

— Кто осмелился прогневать Тебя, строгий судия, кто отказался принести к алтарю твоему молитвы и добрые дела насущного?

Вот кучка людей повернула на запад и, миновав Сундсбрун, уныло побрела по холмам Брубю. Когда люди поравнялись с усадьбой пастора-скряги, один из них остановился, поднял с земли щепку и бросил ее в сторону пасторского дома.

— Сухи, как эта щепка, были твои молитвы Господу Богу нашему, — сказал он.



Идущий рядом с ним тоже остановился, поднял сухую ветку и бросил ее туда, куда упала щепка.

— Вот тебе подарок от прихожан! — воскликнул он.

Третий последовал их примеру.

— Наш пастор и сам не лучше засухи. Щепки да солома — вот и все, что он вымолил для нас, — сказал он.

А четвертый добавил:

— Мы возвращаем ему то, что он дал нам.

— А я бросаю ему эту ветку на вечное посрамление. Пусть он увянет и иссохнет, как она, — вторил ему пятый.

— Очерстневшему пастору — черствая еда! — крикнул шестой.

Идущие сзади люди увидели, что они делали, и услышали их слова. Тут многие нашли ответ на мучивший их вопрос.

— Пусть получает то, что заслужил! Это он навлек на нас засуху! — раздавались крики из толпы.

И каждый останавливался, каждый срамил пастора, каждый бросал в сторону его усадьбы сухую ветку либо палку.

Так на развилке дорог выросла вскоре большая куча веток, щепок, соломы — знак презрения людей к пастору из Брубю. Никто не посмел поднять руку на пастора, никто не посмел сказать ему в глаза худое слово. Отчаявшиеся сердца, кинув сухую ветку на эту кучу, сбрасывали с себя часть тяжелой ноши. Они не стали мстить. Они лишь указали разгневанному Богу на виноватого:

— Если молитвы наши не дошли до Тебя, это его вина. Смилуйся над нами, Боже правый, накажи его одного! Мы заклеили его позорным клеймом. Не хотим быть с ним заодно.

Сразу же у людей вошло в привычку: каждый, кто проходил мимо пасторской усадьбы, бросал сухую ветку в эту кучу — знак позора. «Пусть Господь Бог и люди видят это! — думал каждый прохожий. — Я тоже презираю того, кто навлек на нас гнев Господен».

Старый скряга сразу же заметил кучу веток на обочине. Он велел убрать ее. Говорили, что он топил ими свою плиту. На другой день на том же самом месте выросла новая куча, но как только и эту убрали, люди накидали новую.

Лежа в куче, сухие ветки говорили:

— Стыд и позор, стыд и позор пастору из Брубю!

Стояли знойные, сухие дни. Тяжелый от дыма, пропитанный гарью воздух висел над округой, давил на людей и без этого доведенных до отчаянья. Мысли путались в воспаленных мозгах. Пастор из Брубю сделался для всех злым духом засухи. Крестьянам казалось, что старый скряга сторожит источники небесных вод.

Пастору из Брубю вскоре стало ясно, что о нем думают люди. Он понял, что они считают его виновником всех бед. Это на него прогневался Господь и иссушил землю. Так моряки, терпящие бедствие в бурном море, бросают жребий. На этот раз за борт должны были швырнуть пастора. Вначале он смеялся над ними и над их сухими ветками, но вот прошла целая неделя, и ему стало не до смеха. О, какое ребячество! Разве могут эти сухие ветки причинить ему вред? Он понял, что накопившаяся за год ненависть ищет выхода. Что тут поделаться! Он не был избалован любовью.

От этого сердце его не смягчилось. После посещения знатной старой фрекен ему хотелось стать лучше. Но теперь это было невозможно. Никто не мог силой заставить его исправиться.

Однако видеть эту кучу веток и палок постепенно стало ему невыносимо. Он, не переставая, думал о ней и сам начал верить в то, во что верили остальные. Растущая куча сухих веток была ему страшным обвинением. Он не сводил глаз с этой кучи, каждый день подсчитывал, сколько на ней появилось новых веток. Мысль о ней донимала его все сильнее, подавляла все другие мысли. Эта куча окончательно извела его.

С каждым днем он убеждался все больше, что люди правы. Он одряхлел и состарился за несколько недель. Его мучили невыносимые угрызения совести, тело начала сводить судорога. Казалось, всему виной была эта куча.

Перестань она расти, и угрызения совести тут же умолкнут, и бремя старости полегчает.

Под конец он стал караулить эту кучу целыми днями. Но люди были немилосердны, по ночам они кидали на нее все новые ветки.

\* \* \*

Однажды мимо пасторской усадьбы проезжал Йеста Берлинг. Он увидел сидящего у дороги пастора. Состарившийся и одряхлевший, пастор раскладывал сухие ветки, играл ими, будто впал в детство. Его жалкий вид глубоко поразил Йесту.

— Чем это вы заняты, господин пастор? — спросил он, спрыгнув с повозки.

— Да так, ничем особенным, сижу себе и собираю щепки.

— Шли бы вы лучше домой, чем сидеть здесь в пыли.

— Да нет, мне надобно сидеть здесь.

Йеста Берлинг сел рядом с ним.

— Видно, нелегко быть пастором, — сказал он, помолчав.

— Здесь еще ничего, здесь есть люди, — отвечал пастор. — А каково там, на севере!

Йеста хорошо понимал, что хотел сказать пастор.

Ему были знакомы приходы северного Вермланда, где порой даже нет жилья для пастора, где в обширных бедняцких лесных приходах финны живут в курных избах, где на целую милю не встретишь и двух человек, где на весь приход священник — единственный просвещенный человек. Пастор из Брубю прослужил в одном из таких приходов более двадцати лет.

— Да, туда нас засылают в молодые годы, — говорит Йеста. — Жизнь там невыносима. И человек опускается. Многие загубили там свою жизнь.

— Вы правы, — соглашается пастор. — Одиночество губит человека.

— Молодой пастор приезжает порой туда, полный надежд и радужных мыслей, горит желанием все исправить, увещевает людей, уверенный, что сумеет наставить их на путь истинный.

— Да, ваша правда.

— Но вскоре он замечает, что его слова не помогают. Воспринять их мешает бедность. Бедность не дает людям исправиться.

— Бедность, — повторяет пастор, — она-то и погубила мою жизнь.

— Приехавший туда молодой пастор, — продолжает Йеста, — беден, как и его прихожане. Он говорит пьянице: «Перестань пить!»

— А пьяница отвечает, — подхватил старый пастор, — «Тогда дай мне то, что лучше вина! Вино — это шуба зимой и прохлада летом.

Вино — это теплый дом и мягкая постель. Дай мне все это, и я перестану пить!»

— А вот, — вставляет Йеста, — пастор говорит вору: «Не укради», злому: «Не бей жену», а суеверному: «Веруй в Бога, а не в дьявола и троллей». Тогда вор отвечает: «Дай мне хлеба!», а злой говорит: «Сделай нас богатыми, мы и перестанем ссориться!», а суеверный: «Так научи меня уму-разуму!» А кто может помочь им без денег?

— Истинная правда! Каждое ваше слово истинная правда! — восклицает старик. — В Бога они верят, но еще больше в дьявола, а больше всего в горных троллей я домового на гумне. Все зерно они переводят на водку, я нужде нет конца. Почти во всех серых домишках царит нищета. Скрытая печаль делает женщин сварливыми. Тяжкая жизнь заставляет мужчин пьянствовать. Поля и скот заброшены. Они боятся господина и насмеваются над пастором. Что можно с ними поделаться? Они не понимали того, что я говорил им, стоя на кафедре. Они не верили тому, чему я хотел научить их. И не было никого, кто бы мог дать совет, подбодрить меня!

— Есть такие, кто выдержал, — говорит Йеста. — Бог был столь милостив к ним, что они вернулись несломленными. У них хватило сил выдержать одиночество, нищету, безнадежность. Они принесли малую толику добра, как сумели, и не отчаялись. Такие люди были всегда, и теперь они есть. Я почитаю их героями. Я буду преклоняться перед ними, пока живу. Сам я не смог этого выдержать.

— Я тоже не смог, — вторит ему пастор.

— Пастор, живущий там, — задумчиво продолжает Йеста, — решает, что ему нужно стать богатым, безмерно богатым. Бедному человеку зла не одолеть. И он начинает копить.

— Если он не станет копить, то запьет, — объясняет пастор, — слишком много горя он видит вокруг.

— Или опустится, обленится, обессилеет. Да, трудно приходится на севере тому, что там не родился.

— Чтобы копить, он должен стать жестоким. Сначала он прикидывается таким, потом это входит в привычку.

— Он должен быть жестоким к себе и другим, — продолжает Йеста. — Тяжкое дело копить. Он должен терпеть ненависть и

презрение, голодать и мерзнуть, ожесточить свое сердце. Порой он даже забывает, для чего начал копить.

Пастор из Брубю смотрит на него с опаской. Быть может, Йеста издевается над ним? Но Йеста говорит горячо и серьезно. Можно подумать, что он говорит о самом себе.

— Так оно и было со мной, — тихо говорит старик.

— Но Господь не даст этому пастору погибнуть. Когда он накопит достаточно, Бог пробудит в нем мысли о юности. Он пошлет ему знамение, когда он будет нужен людям.

— А если пастор не внемлет знамению, что будет тогда, Йеста Берлинг?

— Он не станет ему противиться, — отвечает Йеста с радостной улыбкой, — слишком заманчивой будет для него мысль о теплых хижинах, которые он поможет построить беднякам.

Пастор глядит на маленькие строения, которые он соорудил из щепок срамной кучи. Чем дальше он говорит с Йестой, тем сильнее убеждается в том, что тот прав. Он всегда лелеял мысль о том, что сделает людям добро, когда накопит достаточно денег. И сейчас он цепляется за эту мысль. Ну конечно, он всегда намеревался это сделать.

— Но почему же тогда пастор не строит хижин? — робко спрашивает он.

— Из ложной скромности. Он боится, что люди подумают, будто он поступает так из-за страха перед ними, а не от чистого сердца.

— Именно так, он не терпит принуждения.

— Но ведь он может помочь тайно. В этом году людям так нужна помощь. Он может тайно найти кого-нибудь, кто раздаст его воспомоществование. О, это прекрасный замысел! — восклицает Йеста, и глаза его сияют. — В этом году тысячи людей получают хлеб от того, кого они осыпали проклятиями.

— Да будет так, Йеста.

И этих двух людей, столь мало преуспевших на поприще, которое они избрали, охватило чувство пьянящего восторга. Страстное желание юношеских лет служить Богу и людям вновь овладело ими. Они упивались, говоря о благодеяниях, которые им предстоит совершить. Йеста собирался стать помощником пастору в этом святом деле.

— Первым делом нужно раздобыть хлеб, — сказал пастор.

— Пригласим учителей. Научим людей обрабатывать поле и ухаживать за скотом.

— Проложим дорогу и построим новое селение.

— Построим шлюзы на водопадах Берга и откроем прямой путь между Левеном и Венерном.

— Когда будет открыт путь к морю, лесные богатства станут поистине бесценными.

— Люди станут денно и ночью благословлять вас! — воскликнул Йеста.

Пастор поднял голову. В глазах друг у друга они прочли пламенное вдохновение.

Но тут же их взгляд остановился на позорной куче.

— Йеста, — сказал пастор, — для всего этого нужны молодые силы, а мои дни сочтены. Ты видишь сам, что убивает меня.

— Так уберите ее прочь!

— Как я могу сделать это, Йеста Берлинг?

Йеста подошел к нему вплотную и пристально посмотрел ему в глаза:

— Молите Господа о дожде! — воскликнул он. — В следующее воскресенье во время проповеди. Молите Бога о дожде!

Старый пастор весь сжался от ужаса.

— Если это правда, что не пастор навлек на нас проклятье засухи, если вы в самом деле своей жестокостью и скупостью желали служить Всевышнему, молитесь Его о дожде! Пусть дождь будет знамением. Тогда мы узнаем его святую волю.

Пустившись снова в путь по холмам Брубю, Йеста не переставал удивляться охватившему его вдохновению. О, сколь прекрасной могла бы быть жизнь! Да, но только не для него. Его служение небесам не угодно.

В церкви Брубю окончилось богослужение, пастор прочел воскресные молитвы. Он хотел уже было сойти с кафедры, но вдруг в нерешительности остановился. Под конец он упал на колени и стал молиться о дожде.

Он молился горячо и отчаянно, слова его были скупы и бессвязны.

— Если это мой грех навлек на нас гнев Твой, накажи меня одного! Если Ты в самом деле милосердный, Боже правый, смилуйся

над нами, пошли нам дождь! Сними с меня клеймо позора. Услышь мою молитву и пошли нам дождь! Ороси дождем поля бедняков! Дай хлеб детям твоим!

День стоял нестерпимо жаркий и душный. Прихожане сидели в каком-то оцепенении, словно в полудреме, но исступление и отчаяние, зазвучавшие в охрипшем голосе пастора, заставили всех очнуться.

— Если есть еще надежда для меня на искупление грехов, пошли нам дождь...

Пастор умолк. Внезапно поднялся сильный ветер, завихряясь, он пронесся по земле, подняв в воздух облако пыли и сора, влетел в открытые двери церкви. Пастор не мог больше молиться. Шатаясь, он спустился с кафедры.

Прихожан охватил благоговейный ужас. Неужто это ответ на мольбу пастора?

Но порыв ветра был лишь предвестником грозы. Она налетела с необычной стремительностью. Как только был пропет псалом, засверкали молнии, загрохотал гром, заглушая голос пастора. Когда же каноник заиграл заключительный псалом, первые капли дождя уже барабанили по зеленым оконным стеклам, и люди ринулись поглядеть на дождь. Но они не просто любовались дождем. Одни плакали, другие смеялись, подставляя лицо мощным струям воды. Ах, как они страдались! Сколько мучений выпало на их долю! Но Господь милостив. Господь послал им дождь. О, какая радость, какая радость!

Один лишь пастор не вышел полюбоваться дождем. Он лежал коленопреклоненный пред алтарем и не мог подняться. Радость была слишком велика для него. Она убила его.

## Глава тридцатая

### МАТЬ

Младенец родился в крестьянской хижине к востоку от Кларэльвена. Его мать пришла сюда в начале июня и попросила дать ей работу. Она рассказала хозяевам, что с ней приключилось несчастье, что ее мать обошлась с ней сурово, и ей пришлось бежать из дому. Она назвала себя Элисабет Карлсдоттер, но не сказала, откуда пришла, ведь тогда пришлось бы поведать, кто ее родители, а они, если найдут ее, замучают до смерти, это она точно знала. Она не просила положить ей плату, готова была служить им, лишь бы дали ей кров и кусок хлеба. Она готова была даже сама платить хозяевам, если они того пожелают.

У нее хватило хитрости прийти на хутор босой, держа башмаки под мышкой; говорила она на местном наречии. Ее огрубевшие руки и крестьянское платье внушали доверие. Хозяин решил, что на вид она слабая и путной работницы из нее не выйдет. Но ведь где-то жить бедняге надо. И ей позволили остаться.

В ней было нечто такое, что заставляло всех на хуторе обходиться с ней приветливо. Ей повезло, люди здесь жили серьезные и молчаливые. Хозяйке она особо понравилась за то, что умела ткать камчатное полотно. Они попросили у пробста на время ткацкий станок, и Элисабет просидела за ним все лето. Никому не приходило в голову, что ее следовало поберечь. Она работала целыми днями, как и все крестьянки. Да и самой ей работа была по душе. Она не чувствовала более себя несчастной. Ей нравилось жить среди крестьян, хотя приходилось обходиться без малейших удобств. Жизнь здесь была такая простая и спокойная. Здесь мысли у всех были заняты только работой, и дни бежали до того монотонно и ровно, что она иной раз путала их: придет воскресенье, а она думает, что еще только середина недели.

В конце августа пришла пора убирать урожай; все вышли в поле вязать снопы, пошла с ними и Элисабет. Она сильно утомилась и родила младенца до срока. Она ждала его в октябре.



Хозяйка грела младенца в большой горнице у огня, потому что беднягу знобило даже в августовскую жару. Мать младенца лежала рядом в каморке и прислушивалась к тому, что говорят про ее дитя. Она ясно представляла себе, как крестьяне разглядывают его.

— Ой, до чего же он мал! — твердили они и непременно добавляли: — Бедняжка, нет у тебя отца!

На то, что дитя кричит, они не сетовали. Они считали, что так оно и должно быть; говорили также, что малютка не так уж слаб. «Будь у него отец, не о чем бы было горевать», — говорили они.

Мать лежала, слушала эти слова и размышляла. Ее положение представилось ей вдруг гораздо серьезнее, чем она предполагала. Какая участь ожидает ее бедного малютку?

Элисабет все обдумала заранее. Первый год она останется на хуторе. Потом снимет у кого-нибудь комнату и будет ткать, сама заработает на жизнь, на то, чтобы прокормить и одеть ребенка. Пусть себе ее муж по-прежнему считает, что она недостойна его. Для ребенка, пожалуй, лучше расти без отца, решила она, чему может научить его глупый и высокомерный отец? Она сама воспитает его.

Но теперь, когда ребенок родился, дело представлялось ей в ином свете. Теперь она считала, что поступила эгоистично.

«У ребенка должен быть отец», — сказала она себе.

Если бы только малютка не был таким жалким и слабым, если бы он мог спать, как другие дети, если бы головка у него не клонилась постоянно на плечо, если бы не судороги, от которых он мог умереть, вопрос этот не был бы столь серьезным.

Нелегко было принять решение, но решиться нужно было без промедления. Ребенку было три дня, а вермландские крестьяне с крестинами не медлят.

Под каким именем запишут ребенка в церковной книге и что сказать пастору о его матери? Записать младенца сиротой было бы несправедливо по отношению к нему. Вдруг он вырастет слабым и болезненным; какое право имеет она лишать его титула и наследства?

Молодая мать знала, что рождение ребенка приносит радость и приятные хлопоты. Но теперь ей казалось, что ее малютку, которого все жалели, ожидает нелегкая жизнь. Ей хотелось, чтобы он спал на шелку, в кружевах, как и пристало графскому сыну. Хотелось, чтобы он вырос гордым и счастливым.

Матери стало также казаться, что она поступила слишком несправедливо по отношению к его отцу. Разве она одна имела право на сына? Нет, лишая отца права на ребенка она не могла. Вправе ли она безраздельно владеть этим крошечным, ненаглядным, бесконечно дорогим существом? Нет, такого права у нее нет.

Но возвращаться к мужу она не хотела. Она боялась, что это будет для нее равносильно смерти. Но ведь сейчас младенцу грозила большая опасность, чем ей. Он мог умереть в любую минуту, а ведь его еще не окрестили.

Того, что заставило ее покинуть дом, тяжкого греха, жившего в ее сердце, уже не было. Теперь она питала любовь лишь к этому крошке. И для нее не было тяжким долгом обеспечить ему подобающее место в жизни.

Элисабет позвала хозяина и хозяйку и рассказала им всю правду. Хозяин отправился в Борг, чтобы рассказать графу Доне, что супруга его жива и родила младенца.

Крестьянин вернулся домой поздно вечером. Графа он не видел, тот был в отъезде, но побывал у пастора в Свартше и говорил с ним. Так графиня узнала, что брак ее был объявлен недействительным и что у нее более нет мужа.

Пастор послал ей ласковое письмо и предложил приют в своем доме. Ей передали также письмо от ее отца графу Хенрику, которое, очевидно, прибыло в Борг через несколько дней после ее бегства. В этом письме старик просил графа ускорить все формальности для признания их брака законным. Но именно это письмо и помогло графу отделаться от жены.

Можно представить себе, что после рассказа крестьянина не столько печаль, сколько гнев переполнили сердце матери.

Всю ночь она не смыкала глаз. «У ребенка должен быть отец» — эта мысль не покидала ее.

На следующее утро крестьянин по ее просьбе отправился в Экебю за Йестой Берлингом.

Йеста задал молчаливому крестьянину много вопросов, но так ничего и не понял. Да, графиня жила у него в доме все лето. Она была здорова и работала. Теперь родился ребенок. Он очень слаб, но мать скоро поправится.

Йеста спросил, знает ли графиня, что ее брак расторгнут.

Да, теперь она знает. Узнала об этом вчера.

Всю дорогу Йесту бросало то в жар, то в холод.

Что она хочет от него? Почему она послала за ним?

Он думал о том, как провел это лето на берегу Левена. Дни проходили в веселье, играх и пирушках, а она в это время трудилась и страдала.

Он никогда не надеялся вновь увидеть ее. Ах, если бы он мог еще надеяться. Тогда он сделал бы все возможное, чтобы предстать перед ней иным человеком. А теперь что у него позади, кроме безрассудных выходов?

В восемь вечера они приехали на хутор, и его тут же провели к молодой матери. В комнате царил полумрак. Он мог с трудом разглядеть ее. Хозяин и хозяйка тоже вошли к ней.

Нужно сказать, что женщина, чье бледное лицо светилось в сумерках, по-прежнему была для него воплощением благородства и чистоты, прекрасным неземным существом, облаченным в земную плоть. Теперь, когда он вновь обрел счастье видеть ее, ему хотелось упасть перед ней на колени и благодарить ее за это, но от сильного волнения он не мог сказать ни слова. Наконец он воскликнул:

— Дорогая графиня Элисабет!

— Добрый вечер, Йеста!

Она протянула ему руку, такую нежную и прозрачную. Она молча ожидала, пока он овладеет собой.

Глядя на Йесту, графиня не испытывала более бурных чувств. Ее лишь удивляло, что, судя по всему, для него важнее всего она, хотя сейчас речь идет только о ребенке.

— Йеста, — ласково сказала она, — ты должен помочь мне сейчас, ведь ты обещал однажды. Ты ведь знаешь, что мой муж оставил меня и у моего ребенка нет отца.

— Да, графиня, но ведь это можно поправить. Теперь, когда родился ребенок, можно заставить графа узаконить ваш брак. Можете быть спокойны, графиня, я помогу вам!

Графиня улыбнулась.

— Неужто ты думаешь, Йеста, что я стану навязываться графу Доне?

Кровь ударила Йесту в голову. Чего же тогда она хочет? Чего ждет от него?

— Подойди ко мне, Йеста! — воскликнула она и снова протянула ему руку. — Не сердись на то, что я тебе скажу, но я думала, что ты, что именно ты...

— Пастор, лишенный сана, бражник, кавалер, убийца Эббы Дона, мне известен весь послужной список...

— Ты уже сердишься, Йеста?

— Мне бы хотелось, чтобы вы к этому ничего не прибавляли.

Но молодая мать продолжала:

— Многие хотели бы стать твоей женой по любви, Йеста, но мною руководят иные чувства. Если бы я любила тебя, то не решилась бы сказать тебе то, что говорю сейчас. Ради самой себя я бы не стала просить тебя, Йеста, прошу ради ребенка. Я уверена, ты понимаешь, о чем я хочу тебя просить. Разумеется, это унижительно для тебя, ведь я незамужняя женщина с ребенком. Я думала, что ты согласишься на это не потому, что ты хуже других, хотя я думала и о твоих недостатках. Нет, я думала, что ты захочешь это сделать прежде всего потому, что ты добр, Йеста, потому что ты герой и способен принести себя в жертву. Но, быть может, я требую слишком многого. Быть может, этого нельзя требовать от мужчины. Если ты слишком сильно презираешь меня, если для тебя невыносимо назваться отцом чужого ребенка, скажи мне прямо! Я не рассержусь. Я понимаю, что прошу слишком многого, Йеста, но ребенок болен. Будет слишком жестоко не назвать во время крещения имени мужа его матери.

Слушая ее, он испытывал то же чувство, как в тот весенний день, когда ему пришлось высадить ее на берег и бросить на произвол судьбы. Теперь ему предстояло помочь ей погубить свое будущее, раз и навсегда. Он, который любит ее, должен будет ее погубить.

— Я сделаю все, что вы пожелаете, графиня, — сказал он.

На следующий день он поговорил с пробстом из Бру, который ведал приходом Свартше, где должно было состояться оглашение.

Добрый старый пробст был растроган тем, что ему рассказал Йеста, и обещал взять на себя оглашение и прочие хлопоты.

— Да, — сказал он, — ты должен помочь ей, непременно должен. Иначе она может лишиться рассудка. Она считает, что причинила вред ребенку, лишив его подобающего положения. У этой женщины болезненное чувство совести.

— Но я знаю, что сделаю ее несчастной! — воскликнул Йеста.

— Вот этого ты ни в коем случае не должен делать. Теперь ты должен остепениться, ведь тебе придется заботиться о жене и ребенке.

Под конец было решено, что пробст поедет в Свартше и обсудит дело с пастором и судьей. И в следующее воскресенье, первого сентября, в церкви Свартше была оглашена помолвка Йесты Берлинга с Элисабет фон Турн. Затем молодую мать бережно перевезли в Экебю, где и окрестили младенца.

Пробст побеседовал с графиней, сказал, что еще не поздно изменить свое решение и не выходить замуж за такого человека, как Йеста Берлинг. Ей следовало бы уведомить об этом своего отца.

— Я никогда не раскаюсь в этом. Подумайте, что будет, если младенец умрет, не имея отца!

Ко дню третьего оглашения Элисабет была уже вполне здорова. Под вечер в Экебю приехал пробст и обвенчал ее с Йестой Берлингом. Гостей не звали, никто не считал это событие свадьбой. Просто ребенку дали отца, только и всего.

Лицо матери излучало тихую радость, казалось, она достигла в своей жизни важной цели. Жених был опечален. Он думал лишь о том, что она загубила свое будущее, выйдя за него. Он с ужасом замечал, что почти не существует для нее. Все ее мысли были поглощены заботами о ребенке.

Несколько дней спустя отца и мать постигло большое горе. У ребенка начались судороги, и он скончался. Многим казалось, что графиня переживает утрату не столь тяжело, как можно было ожидать. На ее лице словно бы лежал отблеск триумфа. Казалось, она даже радовалась тому, что погубила свое будущее ради ребенка. Теперь, став ангелом небесным, он, верно, помнит, что на земле у него осталась любящая мать.

## Глава тридцать первая

### AMOR VINCIT OMNIA [51]

В церкви Свартше под лестницей, ведущей на хоры, есть чулан, куда свалены старые лопаты могильщиков, сломанные церковные скамьи, покореженные жестяные щиты и прочий хлам.

В глубине чулана под толстым слоем пыли, скрывающей его от человеческого глаза, стоит ларец, богато инкрустированный перламутром. Стоит стереть с него пыль, как он засверкает, точно скалистая стена в сказочной пещере. Ларец заперт, ключ от него надежно упрятан, отпирать замок нельзя. Ни одному из смертных не позволено заглядывать в ларец. Никому не ведомо, что в нем хранится. Лишь на исходе девятнадцатого века можно будет вставить ключ в замок, открыть крышку и показать людям спрятанные в нем сокровища.

Такова была воля владельца ларца.

На латунной обшивке ларца написано: «Labor vincit omnia». [52] Однако надпись «Amor vincit omnia» была бы здесь более уместна. Ведь и сам старинный ларец, спрятанный в чулане под церковной лестницей, свидетельствует о всевластной любви.

О Эрос, всемогущий бог!

О любовь, ты поистине вечна. С незапамятных времен живут на земле люди, и ты неотступно следуешь за ними сквозь века.

Что случилось с восточными идолами, могущественными героями, метавшими молнии, в жертву которым на берегах священных рек приносили мед и молоко? Они мертвы. Мертвы и Бел, могучий воин, и непобедимый Тот с головой ястреба. [53] Мертвы великолепные обитатели Олимпа, покоившиеся на ложах из облаков. Та же участь постигла славных воителей за стенами Вальгаллы. Мертвы все древние боги, кроме Эроса, всемогущего Эроса.

Все, что ты видишь на земле, — его творение. Он сохраняет непрерывность рода людского. Его ты можешь заметить повсюду. Где бы ты ни был, повсюду увидишь следы его босых ног! Каким бы звукам ни внимал, явственнее всего звучит шум его крыльев. Он живет

и в сердцах людей, и в дремлющих семенах. С благоговейным ужасом ты заметишь его след даже в неживой природе!

Кто на земле сумел избежать его соблазнов? Кто не испытал на себе его чар? Всем богам мщения, богам силы и угнетения суждено пасть. Одна лишь ты, любовь, поистине вечна.

\* \* \*

Старый дядюшка Эберхард сидит за своим прекрасным бюро с сотней ящичков, мраморной столешницей и потемневшими латунными накладками. Он один в кавалерском флигеле и работает с жаром и усердием.

О Эберхард, почему ты не бродишь по полям и лесам в эти дни уходящего лета, как остальные кавалеры? Ведь ты знаешь, что никому не дано безнаказанно поклоняться богине мудрости. Тебе едва перевалило за шестьдесят, а спина согнулась, голова полысела, высокий лоб изрезали морщины, глаза запали, сеть морщинок вокруг беззубого рта говорит о дряхлости.

О Эберхард, отчего ты не бродишь по лесам и полям? Соблазны жизни не могли разлучить тебя с этим бюро, зато смерть разлучит тебя с ним раньше времени.

Дядюшка Эберхард проводит жирную черту под последней строкой. Он вынимает из бесчисленных ящичков бюро кипы пожелтевших исписанных листов — части его больших трудов, трудов, которые прославят имя Эберхарда Берггрена на вечные времена. Но именно в тот момент, когда он, сложив бумаги в одну стопку, уставился на них в немом восхищении, дверь открывается и в комнату входит молодая графиня.

Да, это она, повелительница сердец кавалеров на Экебю! Ей они служат, ее обожают сильнее, чем родители первого внука. Это ее они спасли от бедности и болезней и принесли ей в дар все радости жизни, подобно тому как сказочный король одарил бедную и прекрасную девушку, найденную им в лесу. Это для нее звучат в Экебю валторны и скрипки. Это для нее теперь живут, дышат, трудятся обитатели большого поместья.

Теперь она здорова, хотя еще очень слаба. Ей наскучило одиночество в большом доме, и, зная, что кавалеры уехали, она решила заглянуть в кавалерский флигель, в его знаменитую комнату. Она тихонько входит, окидывает взглядом побеленные стены, балдахин над кроватью в желтую клетку и, заметив, что она в комнате не одна, смущается.

Дядюшка Эберхард торжественно подходит к ней и ведет ее к стопке исписанной бумаги.

— Взгляните, графиня! — говорит он. — Я закончил свою работу. Теперь ее узнает мир. Теперь свершатся великие дела.

— Какие дела, дядюшка Эберхард?

— О графиня, это будет подобно молнии, озаряющей ярким светом и испепеляющей. С тех пор, как Моисей извлек из Синайской горы и поместил в святая святых скинии, с тех пор старик Иегова мог спать спокойно. Но теперь люди увидят, что он лишь одно воображение, пустота, движение воздуха, мертворожденный плод наших мыслей. Он превратился в ничто, — сказал старик и положил руку на кипу бумаги. — Вот о чем здесь написано, и когда люди прочтут это, они поверят. Они прозреют и убедятся в собственной глупости, станут крестами топить печи, превратят церкви в амбары и заставят священников пахать землю.

— О дядюшка Эберхард, — говорит графиня, слегка вздрогнув, — неужто вы такой страшный человек? Неужто здесь написаны такие ужасные вещи?

— Да, ужасные! — повторяет старик. — Это правда. Однако все мы подобны ребятишкам, которые прячут головы в подол матери, стоит им увидеть незнакомца. Мы привыкли прятаться от истины, вечно нам незнакомой. Но теперь она предстанет перед нами, будет жить среди нас, и все будут знать ее.

— Все?

— Да, все, не только философы, а все мы. Понимаете, графиня, мы все!

— И Иегова должен будет умереть?

— И он сам, и все ангелы, все святые, вся эта ложь.

— Кто же станет править миром?

— Неужто вы думаете, графиня, что им кто-то правил прежде? Неужто вы верите в провидение, охраняющее воробушков и не дающее



упасть ни единому волосу без воли Божьей? Никто не правил миром, и никто не будет им править.

— Но что же будет с нами, с людьми?

— Мы будем тем, чем и были прежде, — прахом. То, что сгорело дотла, не может больше гореть, оно умерло. Мы всего лишь дрова, нас сжигает полыхающий пламень жизни. Искра жизни перелетает от одного к другому. Человек воспламеняется, горит и гаснет. Такова жизнь.

— Но, дядюшка Эберхард, разве не дана нам духовная жизнь?

— Ее нет.

— Даже по ту сторону могилы?

— Даже там.

— Ни добра, ни зла, ни цели, ни надежды?

— Ничего.

Молодая женщина подходит к окну. Она смотрит на пожелтевшую осеннюю листву, на георгины и астры, чьи тяжелые головы висят поникшие на сломанных осенними ветрами стебельках. Она смотрит на черные волны Левена, на грозное осеннее небо, и на мгновение поддается этому духу отрицания.

— Дядюшка Эберхард, — говорит она, — до чего же мир сер и безобразен и как бессмысленна жизнь! Мне хочется лечь и умереть.

Но тут же в глубине ее души раздается стон. Мощные жизненные силы и бурлящие чувства в полный голос требуют счастья жить.

— Что же тогда может придать жизни привлекательность, если вы отнимете у меня Бога и бессмертие?

— Труд, — отвечает старик.

Она вновь бросает взгляд в окно, в ней растет чувство презрения к этой жалкой мудрости. В голове ее возникает ощущение непостижимого, она чувствует присутствие души во всем, присутствие могучей силы, заключенной в материи, которая лишь кажется мертвой, но может развиваться и перевоплощаться в тысячи меняющихся жизней. Она лихорадочно ищет название присутствию Бога в природе.

— О дядюшка Эберхард, — возражает она ему, — что такое труд? Разве труд — это Бог? Разве он сам по себе самоцель? Назовите что-нибудь другое!

— Я не знаю ничего другого.

И тут она находит имя, которое ищет, — многострадальное, нередко оскверняемое имя.

— Дядюшка Эберхард, а быть может, имя этому — любовь?

По беззубому рту скользит улыбка, съезживая тысячи морщинок.

— Вот здесь, — сказал философ, ударив кулаком по увесистой рукописи, — здесь я убиваю всех богов, не забыв и Эроса. Что такое любовь, как не плотское вожделение? Почему ставить ее выше прочих потребностей тела? Сделайте богом голод! Сделайте богом усталость! Они в равной мере этого достойны. Покончить надо с этими бреднями! Да живет истина!

Молодая графиня опустила голову. Это не так, это неправда, но она не может с ним спорить!

— Ваши слова ранили мою душу, — говорит она, — но верить им я не могу. Бога мести, бога насилия вы можете убить, это все, что вы можете сделать.

Но старик берет ее руку, кладет ее на свою рукопись и произносит с фанатизмом неверия:

— Вы убедитесь сами, когда прочтете эту книгу.

— Так пусть она никогда не попадет мне на глаза! — восклицает она. — Если я поверю в это, то не смогу жить.

В глубоком огорчении уходит она от философа. А он еще долго сидит, погруженный в раздумье.

Эти кипы старых, испещренных мелкими буквами листов, этот богопротивный труд еще не представлен на суд человечества. Имя дядюшки Эберхарда еще не достигло вершин славы.

Его великое творение лежит, упрятанное в ларец, стоящий в захлавленном чулане под лестницей, ведущей на хоры в церкви Свартше. Оно увидит свет лишь в конце века.

Но для чего он сделал это? Неужто из страха, что не сумеет доказать свою правоту? Из страха, что его станут преследовать? Тогда вы плохо знаете дядюшку Эберхарда. Поймите же, истина была для него дороже собственной славы! И он пожертвовал славой, но не истиной, лишь для того, чтобы Элисабет, это чистое дитя, которую он любил отеческой любовью, смогла сохранить до конца своих дней веру в то, что ей было так дорого.

О любовь, ты поистине бессмертна!

## Глава тридцать вторая

### ДЕВУШКА ИЗ НЮГОРДА

Никто не знает этого места под горой, поросшего частым ельником, где землю покрывает толстый слой мха. Да и кто может знать его? Сюда не ступала нога человека, и названия ему не дано. Ни одна тропа не ведет в эту глухомань. Ельник окружают гранитные валуны, сторожат густые заросли можжевельника, подступы к нему завалены буреломом. Пастух сюда не заглядывает, лиса это место обегает. Место это самое глухое в лесу, но теперь его ищут тысячи людей.

Что за длинная вереница людей вышла на поиски. Эти люди могли бы заполнить всю церковь в Бру и не только в Бру, но и в Леввике, и в Свартше. Подумать только, сколько людей вышло на поиски.

Господские дети, которым не разрешают идти за толпой, стоят у дороги или сидят на изгороди и глядят на длинную процессию. Маленькие дети никак не думали, что на свете живет столько людей, огромная масса. Они вырастут, но навсегда запомнят этот нескончаемый, колышущийся поток людей. Глаза их будут наполняться слезами при одном воспоминании об этом величественном шествии по дороге, где обычно проходили за несколько дней лишь одинокий путник, либо кучка нищих, либо проезжала крестьянская телега.

Все, кто живут у дороги, выходят и спрашивают:

— Неужто беда пришла к нам? Неужто враг напал на нас? Куда вы идете, странники, куда держите путь?

— Мы идем на поиск. Мы ищем уже два дня, будем искать и сегодня, последний раз, ведь мы уже выбились из сил. Прочешем сегодня лес в Бьерне и сосняк на холмах к западу от Экебю.

Это шествие вышло из Нюгорда, бедной деревушки в восточных горах. Восемь дней назад здесь пропала красивая девушка с тяжелыми черными косами и румяными щеками. Торговка вениками, на которой Йеста Берлинг собирался жениться, заблудилась в дремучих лесах. Целых восемь дней ее никто не видел.

И люди из Нюгорда отправились искать ее в лесу. Каждый, кто встречается им на пути, следует за ними. Изо всех домов выходят люди и присоединяются к идущим.

Кое-кто из присоединившихся начинает расспрашивать:

— Как же вы, ее земляки, могли допустить такое? Как могли позволить красивой девушке бродить по незнакомым местам? Лес велик, а Господь лишил ее разума.

— Никто не станет обижать ее, и она никого не обидит. Ведь она словно дитя. Кто станет обижать того, кого бережет сам Господь Бог? Прежде она всегда возвращалась цела и невредима.

Они уже прочесали восточный лес, окаймляющий поля Нюгорда. И вот на третий день они идут мимо церкви Бру, направляясь к лесу, который тянется к западу от Экебю.

Повсюду эта процессия вызывает изумление. То и дело кому-нибудь из толпы приходится останавливаться и отвечать на расспросы.

— Куда это вы идете? Кого ищете?

— Ищем мы синеглазую темноволосую девушку. Она отправилась в лес, чтобы там умереть. Пошел уже восьмой день, как она ушла из дома.

— Но почему она надумала умереть в лесу? Может, ока голодала? Или беда какая с ней случилась?

— Нет, голодать она не голодала, но беда стряслась с ней нынче весной. Еще несколько лет назад повстречала она сумасшедшего пастора Йесту Берлинга и полюбила его. Вот ведь в кого вздумала влюбиться! Да ведь Господь отнял у нее разум.

— Да, ваша правда, видно, Господь в самом деле лишил ее разума.

— И вот нынешней весной случилась беда. Прежде-то он и не глядел в ее сторону. А тут вдруг объявил, что женится на ней. Он просто пошутил и тут же забыл об этом, а она никак не могла утешиться. То и дело являлась в Экебю. Она ходила за ним по пятам и надоедала ему. Когда она пришла в Экебю в последний раз, на нее спустили собак. С тех пор ее больше никто не видел.

Выходите же из домов; идите с нами! Пойдем вместе спасать ее жизнь. Ведь она ушла в лес умирать. А быть может, она заблудилась и не может найти дорогу домой? Лес велик, а Господь лишил ее разума.

Идите же с нами, бросайте свои дела. Пусть овес стоит в копнах на полях, покуда тощее зерно не высыпется из метелок, пусть

картофель гниет в земле! Отвяжите лошадей, чтоб они не погибли от жажды в конюшнях, оставьте двери хлева открытыми, чтобы коровы могли войти на ночь под крышу. Берите с собой ребятишек, ибо дети принадлежат Богу! Господь не оставит их, укажет им верный путь. Они помогут там, где бессильна мудрость мужчин.

Спешите же к нам все — и мужчины, и женщины, и дети! Разве может кто-нибудь оставаться дома? Кто знает, вдруг он окажется избранником Божиим? Идите же сюда все, кто ищет милосердия Божьего, кто не хочет, чтобы его душа не блуждала беспомощно в бесплодных пустынях, тщетно пытаюсь обрести покой! Спешите к нам, Бог отнял у нее разум, а лес так велик.

Кто найдет то место, где частый ельник стоит стеной, а мох лежит мягким ковром? Что там чернеет у подножья скалы? Да это всего лишь муравейник. Хвала тому, кто направляет стопы безумца по верному пути!

О, что за странная процессия! То не праздничная толпа приветствует победителя, осыпая его путь цветами, оглушая его ликующими криками, не паломники шествуют под звуки песнопений и свист бичей на пути к святым местам, то не скрипучие повозки переселенцев тащатся в чужие края искать пристанища, не вооруженные солдаты маршируют под барабанный бой. Это всего лишь простые крестьяне в будничной домотканой одежде и потертых кожаных передниках да их жены, которые, прихватив с собой вязание, несут на спине ребятишек либо ведут их за руки.

Величественное зрелище — люди, объединившиеся во имя великой цели. Будь это чествование героя, восхваление Бога, поиски новых земель или защита отечества. Но этих людей гонит не голод, не страх Божьей кары и не война. Они думают не о себе, их помыслы бескорыстны. Они идут на поиски деревенской дурочки. Сколько пролито пота, сколько сделано шагов. Волнения, страх и молитвы, и все это лишь ради того, чтобы найти бедняжку, которую Господь лишил разума.

О, как не любить этот народ! Как удержаться от слез при воспоминании об этом шествии тому, кто стоял у дороги и видел идущих мимо мужчин с суровыми лицами и огрубелыми руками, женщин, состарившихся до срока, и усталых детей, которым Бог должен указывать верный путь?

Шествие опечаленных людей заняло всю дорогу. Озабоченными взглядами меряют они лес и мрачно продолжают свой путь, зная, что ищут не живую, а мертвую.

Что это там чернеет у подножья скалы: муравейник или вывороченное с корнем дерево? Слава небесам, это всего лишь поваленная ель! Но разве можно разглядеть здесь что-нибудь толком, в такой чащобе?

Кажется, будто конца-края нет людскому потоку! Возглавляющие шествие сильные мужчины уже дошли до опушки леса, что начинается к западу от Бьерне, а те, кто плетется позади, — калеки и убогие, изнуренные работой старики и женщины с малыми ребятишками на руках, — едва успели поравняться с церковью в Брубю.

И вот шествие, похожее на извивающуюся змею, исчезает в лесу. Утреннее солнце бросает блики под сосны, но, когда люди выйдут из лесу, их встретит солнце вечернее, заходящее.

Уже третий день они ищут и ищут без устали. Они заглядывают в расселины в скалах, где недолго соскользнуть с крутого обрыва, ищут в буреломе, где того и гляди поломаешь руку либо ногу под густыми и раскидистыми еловыми ветками, где мягкий мох так и манит отдохнуть.

Что только не попадается им на пути: медвежья берлога, лисья нора, глубокое логово барсука, черная угольная яма, пригорок, красный от брусники, камень, брошенный великаном... Но вот того, что чернеет у подножья крутой горы, они не заметили. Никто не заглянул туда поглядеть, что это — муравейник, поваленное дерево или человек. А ведь это был человек, только никто не догадывался заглянуть туда.

Вот они вышли из лесу навстречу вечернему солнцу, но девушку, у которой Господь отнял разума, они так и не нашли. Что им теперь делать? Еще раз прочесать лес? В лесу ночью опасно: увязнешь в бездонной топи либо сорвешься с крутого обрыва. Да и как им найти ее в темноте, когда они и при свете-то этого не сумели?

— Пойдем в Экебю! — раздается крик в толпе.

— Пойдем в Экебю! — подхватывают остальные. — Пошли в Экебю!

— Пойдем и спросим кавалеров, для чего они спустили собак на того, у кого Господь отнял разум, для чего они довели дурочку до

отчаянья! Наши бедные голодные дети плачут, одежда на нас порвана, снопы стоят на полях, и зерно осыпается, картофель гниет в земле, лошади бегают без присмотра, за коровами ходить некому, мы сами еле живы от усталости, и во всем этом виноваты кавалеры. Пойдем в Экебю и расправимся с ними! Пошли в Экебю!

В этот проклятый год беды вовсе одолели нас. Тяжко карает крестьян десница Господня, зимой не миновать нам голода. На кого указывает перст Божий? Видно, не на пастора из Брубю, его молитву Господь услышал. На кого же тогда, как не на кавалеров? Пойдем в Экебю!

Они погубили усадьбу, выгнали майоршу с нищенской сумой на большую дорогу. Из-за них мы лишились работы. Из-за них нам приходится голодать. Вот из-за кого мы терпим нужду. Пойдем в Экебю!

И вот мрачные, озлобленные люди устремляются в Экебю. За мужчинами идут голодные женщины с плачущими детьми на руках, а позади плетутся калеки и изнуренные работой старики. И нарастающее озлобление волной проходит по рядам от стариков к женщинам, от женщин к мужчинам, идущим впереди.

Людской поток подобен осеннему половодью. Помните ли вы, кавалеры, весенний поток? Вот с гор бегут новые волны, они вновь грозят чести и славе Экебю.

Торпарь, пашущий в поле у опушки леса, слышав разъяренные крики толпы, отпрягает одну из лошадей и скачет прямо в Экебю.

— Беда, беда! — кричит он. — На Экебю идут медведи, волки и тролли!

Он скачет по двору, обезумев от страха.

— Все лесные тролли идут на нас! — вопит он. — Они разорят Экебю! Спасайся, кто может! Тролли сожгут усадьбу и перебьют всех кавалеров!

Вот уже слышится топот ног, рев разъяренной толпы. Осеннее половодье обрушилось на Экебю.

Знает ли этот неуправляемый лоток озлобления, чего он хочет? Чего хотят эти люди: пожара, грабежей, убийств?

Это не люди, это лесные тролли, дикие звери из глухомани. «Мы, темные силы, вынужденные скрываться под землей, вырвались на свободу на один лишь волшебный миг. Жажда мести освободила нас».

Это горные духи, добывающие руду, это лесные духи, что валят деревья и караулят угольные ямы, это духи полей, что растят хлеба. Они вырвались на свободу и готовы разрушать все вокруг. Смерть Экебю! Смерть кавалерам!

Здесь, в Экебю, вино льется рекой. Здесь под сводами подвалов лежат груды золота. В кладовых полным-полно зерна и мяса. Неужто честные люди должны голодать, а негодяи купаться в довольстве?

Но теперь кончилась ваша власть, кавалеры, чаша терпений переполнилась. Вы, неженки, руки которых никогда не пряли, вы, беззаботные птицы, кончилось ваше время. В лесу лежит та, которая вынесла вам приговор, а мы — ее посланцы. Не судья и не ленсман вынесли вам приговор, а та, что лежит в лесу.

Кавалеры стоят в главном здании и смотрят на приближающуюся толпу. Они уже знают, в чем их винят. Но на этот раз они невиновны. Если эта бедная девушка и ушла умирать в лес, то вовсе не из-за того, что они спустили на нее собак, а потому, что восемь дней назад Йеста Берлинг обвенчался с графиней Элисабет.

Но что толку говорить с разъяренной толпой. Они усталые и голодные. Их подгоняет ненависть, подстрекает жажда грабежа. Они несутся с дикими криками, а перед ними скачет обезумевший от страха торпарь.

— Медведи идут, волки идут, тролли идут на Экебю!

Кавалеры спрятали молодую графиню в самой дальней комнате. Ее охраняют Левенборг и дядюшка Эберхард, остальные вышли встретить народ. Они стоят на лестнице перед главным зданием, безоружные, улыбающиеся и ждут приближающуюся с шумом и гамом толпу.

И толпа останавливается перед этой маленькой кучкой спокойных людей. Разъяренные крестьяне явились сюда, горя желанием швырнуть кавалеров на землю, растоптать их подкованными железом сапогами, как люди с завода в Сунде поступили с инспектором и управляющим пятьдесят лет назад. Но они ожидали увидеть запертые двери, нацеленное на них оружие, сопротивление и борьбу.

— Дорогие друзья, — говорят кавалеры, — дорогие друзья, вы устали, вы голодны, позвольте нам накормить вас. А прежде всего выпейте по стаканчику нашего домашнего крепкого винца.



Толпа не желает их слушать, крики и угрозы не смолкают. Но кавалеры не теряют присутствия духа.

— Погодите, — твердят они, — погодите же одну секунду! Двери Экебю для вас открыты. Погреба, амбары и кладовые открыты. Ваши жены валяются с ног от усталости, дети плачут. Давайте прежде накормим их! А потом вы можете нас убить. Мы не убежим от вас. На чердаке у нас полно яблок. Давайте принесем детям яблок!

Час спустя в Экебю шел пир горой. Такого пира эта усадьба еще не видела, пировали осенней ночью при свете яркой полной луны.

Люди натаскали дров и зажгли их, здесь и там полыхают во дворе костры. Люди сидят кучками, греются у огня, наслаждаясь теплом и покоем и всеми земными дарами.

Мужчины решительно идут в хлев и забирают, что хотят. Забивают телят, овец и даже коров. Туши тут же разделывают и жарят. Сотни голодных людей с жадностью набрасываются на еду. Одного за другим выводят животных из хлева и забивают. Похоже, что за одну ночь опустеет весь скотный двор.

Как раз в эти дни в Экебю готовили припасы на зиму. С тех пор, как здесь появилась графиня Элисабет, жизнь в Экебю снова закипела. Молодая женщина, казалось, вовсе забыла, что теперь она жена Йесты Берлинга. И он, и она делали вид, будто в их жизни ничего не изменилось, кроме того, что она стала хозяйкой в Экебю. Как и полагается домовитой хозяйке, она старалась изо всех сил навести порядок в имении и положить конец расточительству. И ее приказаний слушались. Людям было приятно, что в доме снова появилась хозяйка.

Но что толку с того, что они весь сентябрь, с того самого дня, как она приехала сюда, пекли хлеб, готовили сыр, сбивали масло и варили пиво? Какой в этом прок?

Несите теперь этим людям все, что есть, лишь бы они не спалили Экебю и не убили кавалеров! Подавайте им хлеб, масло, сыр! Выкатывай из погребов бочки с вином и пивом, тащите из кладовых окурока, катите сюда бочонки с водкой, несите яблоки!

Удастся ли смягчить гнев толпы всем, чем богато Экебю? Лишь бы только они не наделали бед и убрались подобру-поздорову!

И все это делается ради нее, новой хозяйки Экебю. Кавалеры храбры и стреляют метко, была бы их воля, они стали бы защищаться. Они бы прогнали озверевшую толпу несколькими выстрелами, кабы

не она. Ведь она добра, милосердна и заступается за этих людей. Наступает ночь, и незваные гости постепенно смягчаются. Тепло и отдых, еда и питье убаюкали их дикую злобу. Они начинают шутить и смеяться. Ясное дело, они справляют поминки по девушке из Ньюгорда. «Стыд и срам тому, кто не пьет и не веселится на поминках!»

Дети набрасываются на фрукты. Бедные ребятишки торпарей, для которых и клюква с брусникой — лакомство, жадно поедают наливную антоновку, тающую во рту, продолговатые сладкие райские яблочки, светло-желтые лимонки, румяные груши, сливы всех сортов — желтые, красные и синие. Когда люди желают показать свою силу, им трудно угодить.

Близится полночь, и похоже, что народ собирается отправиться восвояси. Кавалеры перестают подносить еду и вино, вытаскивать пробки и разливать пиво. Они облегченно вздыхают при мысли о том, что опасность миновала.

Но тут в одном из больших окон господского дома загорается свеча. Все, кто увидел это, невольно издают возглас. Свечу держит молодая женщина.

Это длится всего лишь мгновение. Видение исчезает, но люди уверяют, что узнали эту женщину.

— У нее густые черные волосы и румяные щеки! — кричат они. — Она здесь. Они прячут ее.

— Так вот, кавалеры, где вы держите ее. Стало быть, вы прячете у себя в Экебю наше дитя, которое Господь лишил разума? Ах вы безбожники, что вы делаете с ней? Вы заставили нас беспокоиться о ней целую неделю, искать ее целых три дня! Не надо вам вашего вина и вашего угощения! Горе нам, зачем мы принимали все это из ваших рук! А ну, сперва приведите ее сюда, а после мы решим, что делать с вами.

Прирученный было зверь рычит и ревет. Несколько прыжков, и он уже у двери дома. Эти люди проворны, но кавалеры опережают их. Они бросаются к дому и запирают двери изнутри на засовы. Но разве могут они устоять перед натиском разъяренной толпы? Двери высаживаются одна за другой. Безоружных кавалеров отшвыривают, зажатые в толпе, они не в силах даже пошевелиться. Люди идут искать девушку из Ньюгорда.

Они находят ее в самой дальней комнате. Сейчас им недосуг разглядывать, светлые или темные у нее волосы. Они берут ее на руки и выносят. Они говорят, что ей нечего бояться, они пришли, чтобы расправиться с кавалерами и спасти ее.

Но, выбежав из дома, они сталкиваются с другой толпой.

Труп женщины, бросившейся с крутого обрыва, не лежит больше в глухой чащобе. Ее нашел один ребенок. Люди, которые еще продолжали поиски в лесу, подняли ее на плечи и понесли. И вот они принесли ее сюда.

Мертвая, она стала еще красивее. До чего же хороша эта девушка с тяжелыми темными косами. Прекрасен ее облик с печатью вечного покоя. Люди склоняют головы пред величием смерти.

— Она умерла совсем недавно, — говорят несущие ее люди. — Еще сегодня она бродила по лесу. Видно, она убегала от нас, искавших ее, и сорвалась с обрыва.

Но если это девушка из Ньюгорда, кого же тогда они вынесли из господского дома?

Толпа, идущая из леса, столкнулась с толпой, выбежавшей из дома. На дворе повсюду горят костры. Люди разглядывают обеих женщин и узнают их. Та, другая — это молодая графиня из Борга.

— А это еще что такое? Неужто еще одно злодеяние кавалеров? Почему молодая графиня оказалась здесь, в Экебю? Ведь прошла молва, что она не то уехала далеко, не то умерла. Сейчас мы справедливости ради бросимся на кавалеров и затопчем их насмерть подбитыми железом сапогами!

Но тут раздается громовой голос. Это Йеста Берлинг вскочил на перила лестницы и обращается к толпе.

— Слушайте вы, нелюди, дьяволы! Неужто вы думаете, что в Экебю нет ружей и пороха, безумцы окаянные? Думаете, мне не хотелось перестрелять вас, как бешеных собак? Но она просила за вас. Если бы я только знал, что вы посмеете дотронуться до нее, ни один из вас не остался бы в живых.

Как вы смеете врывать сюда, словно разбойники, орать, грозить нам смертью и пожаром? Какое мне дело до ваших полоумных девок? Откуда мне знать, где они бегают? Правда, я был слишком добр к одной из них. И зачем только я в самом деле не спустил на нее собак?

Лучше было бы и ей, и мне. Жениться на ней я никогда не обещал, никогда, запомните это!

А сейчас я велю вам отпустить женщину, которую вы схватили в доме. Отпустите ее немедленно, говорю я вам. И пусть руки, осмелившиеся прикоснуться к ней, горят в вечном адском огне! Неужто вам не понять, что она настолько же выше вас, насколько небо выше земли? Что она столь же благородна, сколь вы грубы, столь же добра, сколь вы злы?

Так вот, я скажу вам, кто она такая. Прежде всего это ангел, сошедший с небес. Она была женой графа из Борга. Но свекровь мучила ее днем и ночью. Заставляла ее стирать в озере белье, как простую служанку, била, измывалась над нею хуже, чем вы над своими женами. Она чуть было не утопилась в Кларэльвене, до того довели ее. Хотел бы я знать, кто тогда из вас, каналы, пришел ей на помощь? Никто из вас не пришел спасать ее. Это мы, кавалеры, спасли ее, да, мы.

Потом она родила ребенка на дальнем хуторе, в крестьянской избе, а граф велел ей кланяться и сказать, мол, мы поженились в чужой стране не по нашему закону. И потому ты мне вовсе не жена, а я тебе не муж. До твоего младенца мне нет никакого дела. А она не хотела, чтобы в церковной книге было написано, будто у ребенка нет отца. Попроси она кого-нибудь из вас, мол, женись на мне, будь отцом моему ребенку, вы бы, верно, задрали нос. Но она не выбрала никого из вас. Она выбрала Йесту Берлинга, нищего священника, которому не велено более возвещать слово Божие. Да, скажу я вам, нелегко мне, недостойному, было решиться на это, я едва осмеливался взглянуть ей в глаза, но и отказать ей я не мог, ведь она была в полном отчаянье.

Думайте что хотите о нас, кавалерах, но для нее мы сделали все, что в наших силах. И это ее заслуга, что мы не перестреляли вас всех сегодня ночью. А теперь я говорю вам: отпустите ее и подите прочь, не то земля разверзнется у вас под ногами! А когда вы пойдете отсюда, молитесь Господа о прощении за то, что напугали и обидели человека доброго и невинного. А сейчас убирайтесь отсюда! Довольно мы вас терпели!

Еще до того, как он умолк, те, кто нес графиню, опустили ее на каменную ступеньку крыльца. Один рослый крестьянин подошел к ней и смущенно протянул ей свою большую руку.

— Спасибо и доброй вам ночи, — сказал он, — злого умысла у нас не было, графиня.

За ним подошел другой и осторожно пожал ей руку:

— Спасибо, спите спокойно. И не сердитесь на нас!

Йеста спрыгнул вниз и встал рядом с графиней. Тогда они стали и ему пожимать руку.

Так все они, один за другим, медленно и неуклюже подходили к ним и желали им спокойной ночи. Они снова стали смирными, такими же, как в то утро, когда уходили из дома, до того, как голод и жажда мести превратили их в диких зверей.

Они смотрели графине прямо в лицо, излучавшее столько невинности и доброты, что у многих на глазах выступали слезы. Это было безмолвным преклонением перед благородством ее души. Казалось, люди радовались, что хоть один человек сохранил в себе столько доброты.

Не каждый мог пожать ей руку, ведь людей было так много, а молодая женщина сильно устала и ослабела. Но все они подходили, чтобы посмотреть на нее и попрощаться с Йестой, его рука могла выдержать сколько угодно пожатий.

Йеста стоял, как во сне. Этой ночью в его сердце зародилась новая любовь.

«О мой народ, — думал он, — о мой народ, как я люблю тебя!» Он чувствовал, что любит каждого в этой толпе, исчезающей в ночи, несущей впереди мертвую девушку, всех этих людей в грубой одежде и дурно пахнущих башмаках, всех их, живущих в серых домишках на опушке леса, кто едва ли умеет водить пером и вряд ли умеет читать, кто не испытал полноты и богатства жизни, а знает лишь тяжкую борьбу за хлеб насущный.

Он любил их с болезненной и пламенной нежностью, вызывающей слезы у него на глазах. Он не знал, что ему сделать для них, но он любил их. О Боже милостивый, неужто настанет день, когда и они полюбят его. О, если бы этот день настал!

Он вдруг очнулся от своих мечтаний. Жена положила ему руку на плечо. Люди ушли. Они стояли на лестнице вдвоем.

— О Йеста, Йеста, как ты мог?

Она закрыла лицо руками и заплакала.

— Я сказал правду, — воскликнул он. — Я никогда не обещал девушке из Нюгорда жениться на ней. «Приходи сюда в следующую пятницу повеселиться» — вот все, что я сказал ей. Я не виноват, что она полюбила меня.

— А я вовсе не о том! Как ты мог сказать людям, что я добра и чиста? Йеста, Йеста, разве ты не знаешь, что я любила тебя, когда еще не имела на то права? Мне было стыдно людей, Йеста. Я готова была умереть от стыда.

Ее плечи вздрагивали от рыданий.

Он стоял и смотрел на нее.

— О друг мой, любимая моя! — тихо сказал он. — Какое счастье, что ты так добра! Какое счастье, что у тебя такая прекрасная душа!

## Глава тридцать третья

### КЕВЕНХЮЛЛЕР

Кевенхюллер, талантливый ученый и человек весьма просвещенный во всех отношениях, родился в 70-е годы XVIII столетия. Сын бургграфа, он мог бы жить в высоких дворцах и ездить верхом рядом с императором, но на это у него не было ни малейшего желания.

Он готов был превратить высокие башни своего замка в ветряные мельницы, рыцарский зал в слесарную, а женскую половину в часовую мастерскую. Ему хотелось наполнять замок вращающимися колесами и раскачивающимися рычагами. Но, поскольку ему этого не позволили, он оставил эту роскошную жизнь, чтобы изучить ремесло часовщика. Вскоре он постиг все тонкости этой науки о зубчатых колесиках, пружинках и маятниках. Он научился делать и солнечные, и астрономические часы, и стенные часы с маятником, поющими канарейками, играющими в рожок пастушками, огромные часы, заполняющие всю церковную колокольню со сложнейшим механизмом, и крошечные, которые могут уместиться в медальон.

Получив диплом часовых дел мастера, он надел на спину котомку, взял в руку сучковатую палку и отправился странствовать по белу свету, чтобы изучить все, что движется с помощью валиков и колес. Ведь Кевенхюллер вовсе не был обыкновенным часовщиком, он хотел стать великим изобретателем и преобразовать мир.

Побывав таким образом во многих странах, он очутился в Вермланде, где решил изучить мельничные колеса и горнорудное дело. В одно прекрасное утро он, переходя площадь Карлстада, повстречался с лесной феей, которой вздумалось забрести в город. Эта важная дама тоже переходила площадь, но с противоположной стороны, навстречу Кевенхюллеру.

Эта встреча оказалась роковой для Кевенхюллера! У нее были сияющие зеленые глаза и распущенные золотистые волосы, достававшие до земли, на ней было платье из блестящего зеленого шелка. Эта язычница, дочь лесных троллей, была красивее всех

земных женщин, которых доводилось встречать Кевенхюллеру. Он стоял, как зачарованный, и смотрел на нее.

Она пришла сюда прямо из лесной чащобы, где растут папоротники, огромные, как кусты, где гигантские сосны затмевают солнечный свет, и он, пробиваясь сквозь густую хвою, бросает на мох золотые блики, и где по заросшим мхом валунам стелется линнея.

Мне хотелось бы быть на месте Кевенхюллера и увидеть ее с листьями папоротника и еловой хвоей в волосах и маленькой гадюкой, обвившейся вокруг шеи. Представьте себе ее: мягкая, крадущаяся походка лесного зверя, аромат смолы и земляники, линнеи и мха!

Какой же переполох, должно быть, вызвало ее появление на карлстадской рыночной площади! Лошади шарахались в стороны, пугаясь ее длинных, развевавшихся на летнем ветру длинных волос. Уличные мальчишки бежали за ней. Мясники побросали безмены и топоры и уставились на нее, раскрыв рот. Женщины с криками бросились звать епископа и соборный капитул, чтобы выгнать нечисть из города.

А она продолжала идти спокойно и величественно, насмешливо улыбаясь царившей вокруг суматохе. За ее полуоткрытыми алыми губами Кевенхюллер увидел мелкие, острые и хищные зубы. Чтобы люди не узнали, кто она такая, она накинула на плечи плащ, но забыла спрятать хвост, и он волочился за ней по булыжной мостовой.

Кевенхюллер тоже заметил хвост; ему стало обидно, что горожане насмеются над столь знатной дамой, он остановился перед красавицей и вежливо сказал:

— Не соблаговолит ли ваша светлость поднять шлейф!

Лесовица была тронута таким проявлением благожелательства и учтивости. Она остановилась и поглядела на него так, что сверкающие искры ее глаз поразили его в самое сердце.

— Запомни же, Кевенхюллер, отныне ты своими руками сможешь смастерить любую диковину, любую самую искусную машину. Но не вздумай пытаться делать вторую, точно такую.

А уж она умела держать слово. Кто же не знает, что одетая в зеленое лесовица из чащобы обладает и может одарить талантом и чудесной силой того, кто сумеет снискать ее милость?

Кевенхюллер остался в Карлстаде и завел там мастерскую. День и ночь он работал, стуча молотком, и вот на восьмой день чудо-машина



была готова. Он смастерил самоходную коляску, которая могла подниматься в гору и спускаться, ехать быстро и медленно. Ею можно было управлять: поворачивать ее, останавливать и приводить в движение. Коляска была поистине удивительная.

Кевенхюллер сразу же прославился на весь город и приобрел массу друзей. Он так гордился своим экипажем, что поехал в Стокгольм показать ее королю. Ему не надо было ожидать перекладных и спорить с возницами, трястись по плохим дорогам и ночевать на деревянных скамьях постоянных дворов. Он гордо катил в своей коляске и уже через несколько часов был у цели.

Кевенхюллер подкатил ко дворцу, и король с придворными вышли ему навстречу. Они наперебой восхищались этим экипажем. А король сказал:

— Послушай, Кевенхюллер, этот экипаж ты непременно должен подарить мне.

И, хотя Кевенхюллер отказал королю, тот продолжал настаивать.

Тут Кевенхюллер увидел в свите короля светловолосую даму в зеленом платье. Он, разумеется, узнал ее и понял, что это она дала совет королю попросить экипаж в подарок. Кевенхюллер пришел в отчаянье, ему никак не хотелось, чтобы его экипажем владел другой, но и перечить королю он не смел. Поэтому он с такой скоростью наехал на дворцовую стену, что экипаж разлетелся на тысячу кусков!

Вернувшись в Карлстад, он попытался сделать новую коляску, но не смог. И тут он, поняв, каким даром его наделила лесовица, пришел в отчаянье. Он покинул праздную жизнь в замке отца для того, чтобы стать благодетелем для людей, а вовсе не для того, чтобы создавать дьявольские диковинки, которыми может пользоваться лишь один человек. Что толку от того, что он стал великим мастером, быть может, даже величайшим, если он не может размножить свои чудо-изобретения, чтобы они приносили пользу многим?

И тогда этот ученый, талантливый человек до того затосковал по спокойной работе, нужному делу, что сделался каменотесом и штукатуром. Он выстроил большую каменную башню у Западного моста, точно такую же, как главная башня отцовского замка. Ему хотелось также воздвигнуть на берегу Кларэльвен целый рыцарский замок с порталами, пристройками, внутренними двориками, обнесенный валом, со рвом, подъемным мостом и висячей башней.

Это была мечта его детства. В этом замке он намеревался разместить все, чем могли похвастаться промышленность и ремесла. Здесь нашлись бы мастерские для напудренных мукой мельников, для чумазных кузнецов, для часовщиков с зелеными козырьками над усталыми глазами, красильщиков с потемневшими от краски руками, токарей и шлифовальщиков.

Все шло своим чередом. Из камней, обтесанных им самим, он своими руками построил башню. К башне он приделал крылья, ведь она должна была одновременно служить мельницей. Затем он собирался построить кузницу.

Но вот однажды, когда Кевенхюллер стоял и смотрел на легко вращающиеся под ветром мельничные крылья, на него снова накатило. Ему вдруг почудилось, будто сияющие глаза той, зеленой, снова уставились на него, разжигая пожар в его мозгу. Он заперся у себя в мастерской, не ел, не пил и работал без устали. И вот за восемь дней он сотворил новое чудо.

В один прекрасный день он поднялся на крышу башни и начал прилаживать к своим плечам крылья.

Двое уличных мальчишек и какой-то гимназист, ловившие с моста уклею, увидели его и заорали что есть мочи так, что их услышал весь город. Потом они помчались по улицам, задыхаясь, распахивали двери и кричали:

— Кевенхюллер собрался летать! Кевенхюллер собрался летать!

Он спокойно стоял на крыше башни, расправляя крылья, а на рыночную площадь с узких улочек старого Карлстада стекался народ.

Служанки забыли про кипящие котлы и поднимающееся тесто. Старухи побросали недовязанные чулки, надели на нос очки и помчались на площадь. Члены магистрата и бургомистр покинули зал заседаний. Ректор швырнул в угол учебник грамматики, а ученики без спроса выбежали из класса. Весь город мчался к Западному мосту.

Вскоре на мосту стало черным-черно от людской толпы. Соляной рынок был битком набит народом, люди толпились и на берегу реки вплоть до усадьбы епископа. Давка была хуже, чем на ярмарке, и зевак собралось больше, чем в тот день, когда через город проезжал Густав III в карете, запряженной восьмеркой лошадей, которые мчались с такой скоростью, что на повороте карета вставала на два колеса.

Наконец Кевенхюллер приладил крылья и оторвался от крыши. Он взмахнул крыльями несколько раз, поднялся в воздух и поплыл в воздушном океане высоко над землей.

Он вдыхал полной грудью чистый, пьянящий воздух. Грудь его высоко вздымалась, в нем закипела древняя рыцарская кровь предков. Он нырял, словно голубь, парил, словно ястреб, быстро взмахивал крыльями, словно ласточка и, как сокол, уверенно направлял свой полет. Он смотрел вниз на прикованную к земле толпу, не сводившую глаз с него, плывущего в воздухе. Ах, если бы он мог смастерить для каждого из них такие же крылья! Если бы только ему было позволено дать им силу подняться и парить в чистом небе! Какими бы прекрасными людьми они стали тогда! Даже в этот победный миг Кевенхюллера не оставляла мысль о трагедии его жизни. Он не мог наслаждаться один тем, чего были лишены другие. Ах эта лесовица, если бы только мог еще раз повстречаться с ней!

И тут его глаза, ослепленные ярким солнечным светом и искрящимся воздухом, вдруг заметили нечто летящее прямо ему навстречу. Он видел, как шевелятся и несут чье-то тело большие крылья, такие же, как у него самого, как развеваются золотистые волосы, колышется зеленый шелк, диким блеском горят глаза. Это она! Это она!

Не помня себя, он стремительно ринулся к ней, чтобы поцеловать, а быть может, чтобы убить ее — этого он сам еще не осознавал, — но, во всяком случае, чтобы заставить ее снять тяготеющее над ним проклятие. Чувства и разум изменили ему в этом стремительном полете. Не сознавая, куда летит, он видел перед собой лишь развевающиеся на ветру волосы и горящие диким блеском глаза. Приблизившись к ней вплотную, он протянул руки, чтобы схватить ее. Но тут его крылья запутались в ее более сильных крыльях, затрещали и сломались, а он сам, перевернувшись несколько раз в воздухе, полетел вниз.

Придя в сознание, он увидел, что лежит на крыше своей башни, а рядом с ним — поломанная летательная машина. Он опустился прямо на собственную ветряную мельницу. Мельничные крылья подхватили его, перевернули несколько раз и швырнули на крышу башни.

Игра была окончена.

Кевенхюллер вновь впал в отчаянье. Монотонный труд честного ремесленника вызывал у него отвращение, а прибегать к колдовскому искусству он больше не осмеливался. Если он сотворит еще одно чудо и снова уничтожит его, сердце у него разорвется от горя. А не уничтожит, так его вконец замучает мысль о том, что оно не приносит пользу другим.

Он достал свою котомку, которую носил еще подмастерьем, взял в руки сучковатую палку и, простившись с мельницей, отправился искать лесовицу.

Кевенхюллер раздобыл лошадь и коляску, ведь он уже не был молод и легок на ногу. Рассказывают, будто он, приехав в лес, вылез из коляски, углубился в чащу и стал звать зеленую колдунью:

— Лесовица, лесовица, отзовись! Это я, Кевенхюллер, Кевенхюллер! Иди сюда, иди сюда! — Но она не пришла.

Странствуя в поисках лесовицы, он попал в Экебю — это было за несколько лет до того, как прогнали майоршу. В Экебю его хорошо приняли, и он остался там. Так в компании кавалеров появился высокий, сильный и удалой рыцарь, молодец хоть куда и на пиру, и на охоте. К нему вернулись воспоминания детства. Кевенхюллер позволил называть себя графом, да и внешне он теперь походил на старого немецкого барона-разбойника: большой орлиный нос, лохматые брови, остроконечная бородка и лихо закрученные усы.

Он стал кавалером среди кавалеров, ничуть не лучше остальных, тех, кого, как говорили люди, майорша собиралась отдать врагу человеческому. Волосы его поседели, а мозг пребывал как бы во сне. Он так постарел и перестал думать о подвигах своей юности. Он не способен был больше творить чудеса. Это вовсе не он изобрел самоходную карету и летательную машину. Что за вздор, конечно, не он!

Но вот майоршу изгнали из Экебю, и кавалеры стали хозяевами большого имения. И тут пошла такая жизнь, что хуже и представить себе невозможно. Казалось, будто шторм пронесся по земле. Безумства юных лет вновь обрели силу, злые силы вновь пришли в движение, заставив все доброе трепетать, люди не могли обрести мир на земле, а духи — на небесах. Доврские ведьмы спустились с гор верхом на волках, злые силы природы вырвались на свободу, а в Экебю появилась лесовица.

Кавалеры ее не узнали. Они считали ее несчастной женщиной, которую жестокая свекровь довела до отчаянья. Они приютили ее, оказывали ей королевские почести, любили ее, словно родное дитя.

Лишь одному Кевенхюллеру было ведомо, кто она есть на самом деле. Вначале и он был ослеплен ею, как все остальные. Но однажды, когда она надела зеленое с отливом шелковое платье, он узнал ее.

Вот она сидит на лучшем в Экебю диване, обитом шелком, а кавалеры, эти старые дураки, наперебой стараются ей угодить. Один из них — ее повар, другой — камергер, третий — придворный музыкант, а вот этот — сапожник. У каждого свои обязанности. Мерзкая троллиха притворяется больною, но Кевенхюллер знает, что это за болезнь. Она просто-напросто насмехается над ними.

Он предостерегал кавалеров:

— Посмотрите на ее острые зубы, на горящие диким блеском глаза! Да ведь это лесовица, в это страшное время вся нечисть выползает наружу. Говорю вам, это лесовица, она явилась сюда нам на погибель. Я встречал ее раньше.

Но как только Кевенхюллер увидел лесовицу и узнал ее, им вновь овладела жажда творить. В мозгу у него зажглись и закипели мысли, пальцы заболели от желания сжать молоток или напильник, и подавить его он не мог. Скрепя сердце он надел рабочую одежду и заперся в старой слесарной, которую он сделал своей мастерской.

И тут по всему Вермланду прошел слух:

— Кевенхюллер начал работать!

Люди, затаив дыхание, прислушивались к стуку молотка в запертой мастерской, визгу напильника и стону кузнечных мехов.

Скоро новое чудо увидит свет. Каким оно будет? Может, оно научит нас ходить по воде или перебросить лестницу к Большой Медведице?

Для такого человека невозможного нет. Мы своими глазами видели, как он поднялся в воздух на крыльях, как его экипаж мчался по улицам. Этим даром его наделила лесовица, для него нет невозможного.

И вот наконец ночью, не то на первое, не то на второе октября, новое чудо было готово. Кевенхюллер вышел из мастерской, держа его в руке. Это было непрерывно вращающееся колесо. При вращении спицы светились, излучая свет и тепло. Кевенхюллер изобрел солнце.

Как только он вынес его из мастерской, ночной мрак рассеялся, зачирикали воробьи, а облака окрасились румянцем утренней зари.

Это было самое чудесное изобретение. Теперь на земле не будет больше ни мрака, ни холода. При мысли об этом голова у него шла кругом. Дневное солнце будет по-прежнему всходить и садиться, но на закате дня тысячи тысяч его огненных колес зажгутся над землей, и нагретый воздух задрожит, как в жаркий летний день. Тогда люди будут снимать урожай под звездным небом в середине зимы, земляника и брусника будут алеть на лесных пригорках круглый год, а льду не удастся сковать реки и озера.

Теперь, когда чудесное изобретение готово, он создаст новую землю. Его огненное колесо станет шубой беднякам и солнцем для шахтеров. Оно даст движущую силу фабрикам, даст жизнь природе, принесет богатство и счастье человечеству. Но в то же самое время он сознавал, что все это лишь мечты, что лесовица ни за что не позволит ему сделать множество огненных колес. В порыве гнева, жаждая мщения, не помня себя, он решил, что должен убить ее.

Он пошел к господскому дому и поставил огненное колесо в передней под лестницей, вплотную к ней. Сделал он это для того, чтобы дом воспламенился и сгорел вместе с троллихой.

Потом он вернулся в мастерскую, сел и стал ждать, молча прислушиваясь. Вскоре на дворе послышались крики. Было ясно, что случилась беда.

Да, бегайте себе, кричите, бейте в набат! Теперь она сгорит, лесовица, которую вы укутали в шелка!

Быть может, она уже корчится в огне, мечется из комнаты в комнату, спасаясь от пламени? О, как славно, должно быть, горит зеленый шелк, как весело играют языки пламени гривой распущенных волос! Смелее, огонь, смелее, лови ее, жги ее! Ведьмы хорошо горят! Не бойся пламени ее заклинаний! Пусть себе горит! Иные по ее милости вынуждены всю жизнь гореть на медленном огне.

Звонят колокола, громяхают телеги, пожарные насосы подают воду с озера, изо всех деревень спешат люди. Слышатся крики, стон и приказания, рев бушующего пламени. Вот с громким треском рухнул потолок. Но Кевенхюллера ничто не тревожит. Он сидит на чурбане и потирает руки.

Но вот слышится страшный грохот; можно подумать, будто небо упало на землю.

— Свершилось! — восклицает он. — Теперь уж ей не спастись! Теперь она либо раздавлена балками, либо сгорела в огне! Свершилось!

Но внезапно его мозг пронзила мысль: чтобы избавиться от лесовицы, пришлось принести в жертву честь и могущество Экебю. Великолепные залы, видевшие столько веселья, комнаты, хранившие радость воспоминаний, столы, гнущиеся под тяжестью обильных яств, дорогая старинная мебель, серебро и фарфор — всего этого не вернуть...

Он вскочил с громким криком. Его огненное колесо, его солнце, модель, от которой зависело счастье человечества... Неужто он сам поставил его под лестницей, чтобы вызвать пожар?

Кевенхюллер как бы взглянул на себя со стороны и окаменел от ужаса.

«Неужто я потерял рассудок? — спросил он себя. — Как мог я совершить подобное злодеяние?»

В это самое мгновение запертая на замок дверь распахнулась, и в мастерскую вошла зеленая лесовица.

Она стояла на пороге, улыбающаяся, красивая. На ее зеленом платье не было ни пятнышка, ни соринки, пышные, густые волосы не пропитались дымом. Она была такой же, какой он юношей увидел ее на карлстадской площади, благоухающую ароматом диких лесов со звериным хвостом, волочившимся по земле.

— А ведь Экебю горит! — сказала она и засмеялась.

Кевенхюллер поднял кувалду и хотел было швырнуть ее в голову лесовицы, но увидел, что она держит в руке его огненное колесо.

— Видишь, я спасла его для тебя! — сказала она.

Кевенхюллер упал перед ней на колени.

— Ты разбила мой экипаж, сломала мои крылья, искалечила мою жизнь. Будь милостива, сжался надо мною!

Она уселась на верстак, все такая же молодая и лукавая, какой он увидел ее в первый раз на карлстадской площади.

— Я вижу, тебе ведомо, кто я такая.

— Я знаю, кто ты, и всегда знал, — ответил несчастный, — ты — гений вдохновения. Но дай мне свободу! Отними у меня свой дар! Я не

хочу больше творить чудеса! Хочу стать таким, как все люди! Зачем ты преследуешь меня! О, зачем ты преследуешь меня?

— Безумец! — воскликнула лесовица. — Я никогда не желала тебе зла. Я щедро одарила тебя, но могу отнять свой дар, если ты этого хочешь. Но подумай хорошенько! Не пришлось бы после раскаяться.

— Нет, нет! — крикнул он. — Отбери у меня чудодейственную силу!

— Сначала ты должен уничтожить вот это, — ответила она и бросила ему под ноги огненное колесо.

Без колебаний он ударил кувалдой по сверкающему огненному колесу, ведь это было всего лишь мерзкое бесовское творение, раз оно не могло приносить пользу людям. Искры взвились к потолку, языки пламени заплясали вокруг него, и вот последняя из его чудесных машин превратилась в груды обломков.

— Ну вот, теперь я отнимаю у тебя свой дар, — сказала лесовица.

Когда она стояла в дверях, озаренная отблеском пожара, он в последний раз взглянул на нее.

Она была прекрасна, как никогда, и больше не казалась ему зловещей, а лишь строгой и гордой.

— Безумец! — сказала она. — Разве я когда-нибудь запрещала другим строить то, что ты изобрел? Я хотела лишь защитить гения, избавить его от работы ремесленника.

С этими словами она ушла. Несколько дней Кевенхюллер не мог оправиться от припадков, а потом он стал таким, как все люди.



## Глава тридцать четвертая

### ЯРМАРКА В БРУБЮ

В первую пятницу октября в Брубю открывается ярмарка, которая длится целых восемь дней. Это большой осенний праздник. На каждом дворе режут скотину, жарят и парят, надевают зимние обновы, со стола не сходят праздничные блюда — жареный гусь и творожники, вина пьют вдвое больше, никто не работает. Словом, в каждой усадьбе праздник. Прислуга и работники пересчитывают жалованье, толкуя о том, что им надо купить на ярмарке. По дорогам бредут издалека люди с котомкой за плечами и посохом в руке. Многие из них гонят на продажу скотину. Маленькие упрямые бычки и козы то и дело упираются передними ногами в землю, не желая идти, чем доставляют немалые хлопоты своим хозяевам и удовольствие зрителям. В богатых усадьбах все комнаты заняты долгожданными гостями. Люди обмениваются новостями, обсуждают цены на скотину и домашнюю утварь. Дети мечтают об обещанных ярмарочных подарках и карманных деньгах.

А какая суматоха царит на холмах Брубю и широкой площади в первый день ярмарки! Городские торговцы выставляют свои товары в просторных ларьках, а далекарлийцы и вестерьетландцы раскладывают их на стоящих рядами длинных прилавках, над которыми развеваются белые парусиновые навесы. Канатные плясуны, шарманщики, слепые скрипачи, гадалки, торговцы карамелью — кого только здесь не встретишь! На прилавках нагромождена глиняная и деревянная посуда. Огородники и садовники из больших усадеб торгуют луком и хреном, яблоками и грушами. Прямо на земле расставлена уйма красно-коричневой медной посуды, вылуженной изнутри добела.

По тому, как идет в этом году торговля на ярмарке, и в ларях, и в рядах, нетрудно заметить, что в Свартше, в Бру, в Леввике и других приходах по берегам Левена царит нужда.

Однако на большом скотном рынке торгуют бойко, многие хотят продать корову и теленка, выменять лошадь, чтобы хоть худо-бедно перезимовать.

И все же весело на ярмарке в Брубю. Наскребешь денег на рюмочку-другую — и все беды позади. Но опьяняет и веселит не одно только вино. Когда человек из лесной глухомани оказывается в ярмарочной толчее и слышит шум кричащей, хохочущей, бурлящей, как море, толпы, его охватывает дикое пьянящее веселье и голова идет кругом.

Люди, ясное дело, толпятся здесь, чтобы покупать и продавать, но не только за этим устремляется на ярмарку народ. Главное дело — зазвать к своей телеге побольше родственников и друзей, угостить их бараньей колбасой, запеченной в тесте гусятиной и самогоном или уговорить девушку принять в подарок псалтырь и шелковый платок либо прогуляться по ярмарке и выбрать гостинцы для оставшихся дома ребятишек.

Со всей округи собрался народ на ярмарку, дома остались лишь те, кому надо присматривать за хозяйством. Здесь и кавалеры из Экебю, и крестьяне из Ньюгорда, лесной деревушки, барышники из Норвегии, финны из северных лесов и бродячий люд разного толка.

Иной раз в этом бурлящем море начинает завихряться водоворот, от которого волны расходятся кругами. Никто не знает, что творится в центре этого вихря, покуда несколько полицейских не протиснутся сквозь толпу, чтобы прекратить драку либо поднять опрокинутую телегу. А вот и новая давка — люди столпились вокруг торговца, бранящегося с разбитной девицей.

К полудню завязалось целое побоище. Крестьянам показалось, что вестеръетландцы меряют свой товар слишком коротким локтем, сперва возле их прилавков вспыхивает перебранка, а после дело доходит до драки. Ясно, как белый день, что у людей, целый год не видевших ничего, кроме бед и нужды, так и чешутся руки выместить на ком попало свои обиды, неважно за что и на ком. А сильные и задиристые, увидев, что где-то дерутся, бросаются туда со всех ног. Кавалеры начинают пробираться вперед, чтобы на свой лад восстановить мир и порядок, а далекарлийцы спешат на помощь вестеръетландцам.

Монс Силач из Форса уже тут как тут, старается вовсю. Он пьян и разъярен. Вот он повалил одного вестеръетландца и принялся его колотить, но на крики бедняги сбегаются его земляки и пытаются отбить дружка у Монса. Тогда Монс Силач сбрасывает с лотка тюки

материи, хватает этот лоток шириной с локоть и длиной в восемь локтей, сбитый из толстых реек, и начинает размахивать им, как дубиной.

Монс Силач человек опасный. Это он однажды вышиб стену арестантской в Филипстаде. Ему ничего не стоит поднять из воды лодку и понести ее на плечах. Немудрено, что толпа, в том числе и вестеръетландцы, разбежалась, как только он схватил лоток. Но Монс Силач бросается за ними, продолжая размахивать лотком. Раз ему попало в руки оружие он должен бить, не разбирая, где друзья и где враги.

Люди в ужасе бросаются врассыпную. Мужчины и женщины с криком мечутся по площади. Но как убежать женщинам, да еще с детьми на руках? Повсюду стоят ларьки и телеги, волы и коровы, озверевшие от крика, как тут убежишь? Зажатая в углу между ларьками сгрудилась кучка женщин, и великан бросается к ним. Ему кажется, что тут-то и спрятался тот вестеръетландец! Он замахивается лотком и с силой швыряет его. Бледные, трепещущие от страха женщины сжимаются в ожидании смертельного удара.

Но когда лоток со свистом падает на них, чьи-то поднятые вверх руки принимают на себя всю силу удара. Этот человек не пригнулся, как остальные, а поднялся над толпой и добровольно подставил себя под удар, чтобы спасти остальных. Женщины и дети остались целы и невредимы. Один человек сломал неистовую силу удара, но теперь он лежит на земле без сознания.

Монс Силач не поднимает лоток для нового удара. Он встретился взглядом с глазами этого человека как раз в момент, когда удар пришелся тому по затылку, и эти глаза словно парализовали его. Он, не противясь, позволяет связать себя и увести.

И тут с быстротой молнии по ярмарке проносится слух: Монс Силач убил капитана Леннарта. Все узнают о том, что заступник погиб, защищая беззащитных женщин и детей.

И внезапно широкая площадь, где жизнь только что была ключом, затихает. Торговля приостанавливается, потасовка прекращается, у выпивох пропадает охота пить, канатные плясуны напрасно пытаются привлечь внимание зевак.

Странник Божий, друг народа умер, и люди скорбят о нем. Молча протискиваются они к тому месту, куда он упал. Он лежит, потеряв

сознание, распростертый на земле, ран на его теле не заметно, но, видно, Монс Силач проломил ему голову.

Несколько человек осторожно поднимают его и кладут на брошенный великаном лоток. Они замечают, что он еще жив.

— Куда нести его? — спрашивают они друг друга.

— Домой! — отвечает грубый голос из толпы.

О да, люди добрые, несите его домой! Поднимите его на плечи и несите домой. Он был игрушкой в руках Бога, пушинкой, гонимой его дуновением. Несите же теперь его домой!

Эта раненая голова покоилась и на жестких тюремных нарах, и на снопе соломы в сарае. Дайте же ей теперь отдохнуть на пуховой подушке! Он терпел безвинно позор и мучения, его прогнали от дверей собственного дома. Он был бесприютным скитальцем, идущим по Божьему пути, но землей обетованной был для него всегда родной дом, двери которого Господь запер для него. Быть может, эти двери распахнутся теперь для того, кто умер, спасая женщин и детей.

Теперь он вернется в свой дом не бродягой и преступником в компании подгулявших собутыльников. Нет, теперь его принесут плачущие по нему люди, в чьих домах он жил, стараясь облегчить их страдания. Несите же его домой!

И они повинуются. Шестеро мужчин поднимают на плечи лоток, на котором лежит капитан Леннарт, и уносят его с ярмарочной площади. Народ перед ними расступается и замирает в молчании, мужчины снимают шляпы, женщины благоговейно склоняют головы, как в церкви при упоминании имени Господа. Одни плачут и утирают глаза, другие вспоминают, каким он был — добрым и веселым, набожным и всегда готовым помочь в беде.

Как только кто-нибудь из несущих капитана устает, тотчас из толпы выходит человек и молча подставляет плечо под лоток.

Вот капитана Леннарта проносят мимо того места, где стоят кавалеры.

— Пойду-ка я с ними и погляжу, чтобы его непременно принесли домой, — говорит Бееренкройц и покидает место у дороги, чтобы идти к Хельгесэтеру. Остальные кавалеры следуют его примеру.

Ярмарочная площадь пустеет, люди идут вслед за капитаном Леннартом в Хельгесэтер. Ведь нужно проследить за тем, чтобы его донесли до дома. Им уже не до покупок, забыты ярмарочные подарки

для оставшихся дома ребяташек, не куплены молитвенники, остались на прилавках шелковые платки — мечта каждой девушки. Всем надо удостовериться, что капитана Леннарта принесут домой.

А в Хельгесэтере тишина, никто не выходит навстречу шествию. Снова барабанят кулаки полковника по запертой двери. Слуги отправились на ярмарку, а капитанша одна караулит дом. Снова, как тогда, она сама отворяет дверь.

И снова, как и в прошлый раз, она спрашивает:

— Что вам нужно?

Как и в прошлый раз, полковник отвечает:

— Мы пришли с твоим мужем.

Бееренкройц стоит спокойный и уверенный, как всегда. Она смотрит на него, потом на стоящих позади него плачущих людей с тяжелой ношей на плечах, на всю огромную толпу. Она стоит на ступеньках и видит сотни заплаканных глаз, которые со страхом смотрят на нее. Потом она переводит взгляд на мужа, распростертого на носилках, и прижимает руку к сердцу.

— Это его истинное лицо, — бормочет она.

Не говоря более ни слова, она наклоняется, отодвигает задвижку, распахивает настежь входную дверь и ведет их в спальню.

Полковник помогает капитанше разобрать двуспальную кровать и взбить пуховую перину. Капитана Леннарта укладывают на мягкую постель, на белоснежные простыни.

— Он жив? — спрашивает она.

— Да, — отвечает полковник.

— Есть надежда?

— Нет. Тут уж ничем не поможешь.

На минуту воцаряется молчание. И вдруг ее голову пронзает мысль:

— Неужто все эти люди плачут о нем?

— Да.

— Что же он для них сделал?

— Последнее из того, что он сделал: позволил Монсу Силачу убить себя, ради спасения женщин и детей.

Она снова сидит молча, погруженная в раздумье.

— Скажите, полковник, почему у него было такое лицо, когда он вернулся домой два месяца тому назад?

Полковник вздрагивает. Только сейчас, только сейчас он понимает, что случилось тогда.

— Это Йеста раскрасил ему лицо.

— Стало быть, я тогда закрыла перед ним дверь по милости кавалеров? И вы не боитесь держать за это ответ пред судом Божьим?

— Мне за многое придется ответить.

— Но это, верно, самый тяжкий из всех ваших грехов.

— Да, и сегодняшняя путь в Хельгесэтер — мой самый тяжкий путь. Впрочем, во всем этом виновны еще двое.

— И кто же они?

— Один из них — Синтрам, а другой — вы сами, кузина, ваша строгость. Я знаю, что многие пытались поговорить с вами о муже.

— Это правда, — отвечает она.

Потом она просит рассказать ей о пирушке в Брубю.

Он рассказывает все, что помнит, а она молча слушает. Капитан Леннарт все еще лежит без сознания. В комнате полным-полно плачущих, убитых горем людей, но никто и не думает просить их выйти. Все двери открыты, и во всех комнатах, в прихожих толпятся притихшие, удрученные люди.

Капитан кончает рассказ, и капитанша громко говорит:

— Если здесь есть кавалеры, прошу их уйти. Мне тяжело видеть их, сидя у смертного одра моего мужа.

Не говоря ни слова, полковник встает и выходит из комнаты. За ним идет Йеста Берлинг и еще несколько кавалеров, провожавших капитана Леннарта домой. Люди робко расступаются, пропуская пристыженных друзей.

Когда они вышли, капитанша попросила:

— Может, кто-нибудь из вас видел его в последнее время, расскажите мне, где он находился и что делал.

И вот те, кто находится в комнате, начинают рассказывать о славных деяниях капитана Леннарта, его слишком строгой жене, не сумевшей его понять и ожесточившей против него свое сердце. В комнате звучит оживший язык древних псалмов, ведь эти люди не читали никаких книг, кроме Библии. Образным языком книги Иова, с оборотами речи времен патриархов повествуют они о страннике Божьем, который ходил по земле, помогая людям.

Кажется, рассказам этим не будет конца. Уже сгущаются сумерки, а они все еще рассказывают. Один за другим выступают они и говорят о нем, а его жена, которая раньше слышать не могла его имени, молча слушает. Говорят больные, которых он излечил, буйные, которых он приручил, обездоленные, которых он утешил, пьяницы, которых он отучил пить. Каждый, попавший в беду, каждый страждущий мог обратиться к страннику Божьему, и каждому он помогал, или по крайней мере пробуждал надежду и веру.

Весь вечер звучал язык псалмов в комнате умирающего.

Толпа на дворе не расходится, люди со страхом ждут конца. Они знают, что происходит сейчас в доме. Слова, громко сказанные у постели умирающего, на дворе повторяются шепотом из уст в уста. Каждый, кому есть что сказать, потихоньку пробирается вперед.

— Вот он тоже может рассказать, — говорят люди, уступая ему дорогу. И он выходит из темноты, говорит свое слово и снова исчезает во мраке.

— Что она теперь говорит? — спрашивают стоящие во дворе каждого, кто выходит из дома. — Что говорит теперь строгая хозяйка Хельгесэтера?

— Она сияет, как королева. Она улыбается, как невеста. Она придвинула его кресло к постели и разложила на нем одежду, которую сама соткала для него.

Но вот в толпе воцаряется молчание. Никто не говорит ни слова, но каждый чувствует: он умирает.

Капитан Леннарт открывает глаза, оглядывает комнату и понимает все.

Он видит свой дом, людей, жену, детей, одежду и улыбается. Но он пришел в себя лишь для того, чтобы умереть. Из груди его вылетает предсмертный крик, и он испускает дух.

Рассказчики умолкают, но вот чей-то голос запекает отходный псалом. Все остальные подхватывают его, и громкое пение сотен голосов устремляется к небесам.

Это прощальный земной привет отлетающей душе.

## Глава тридцать пятая

### ЛЕСНОЙ ХУТОР

Это было за много лет до того, как в Экебю хозяйничали кавалеры.

Пастушонок и пастушка играли вместе в лесу, строили домики из плоских камней, собирали морошку, мастерили ольховые дудочки. Оба они родились в лесу. Лес был для них и домом, и усадьбой. Они жили в мире со всем, что водилось в лесу, как живут в мире со слугами и домашними животными.

Рысь и лисица были для маленьких подпасков дворовыми собаками, ласка — кошкой, заяц и белка — рогатой скотиной, филины и тетерева жили у них в клетках, ели были их слугами, а молодые березки — гостями у них на пирах. Им были знакомы пещеры, где гадюки лежали, свернувшись кольцом во время зимней спячки; купаясь, они не раз видели речного змея, плавающего в прозрачной воде. Но они не боялись ни змей, ни лесовицы, ведь все это — часть леса, а лес был их домом. Здесь ничто не могло испугать их.

Хутор, где жил пастушонок, стоял в глухом лесу. Сюда вела крутая лесная тропа, вокруг теснились горы, закрывая солнце, а рядом над бездонным болотом круглый год поднимался холодный туман. Жителям равнины вряд ли захотелось бы поселиться в таком месте.

Пастушонок и пастушка решили пожениться, когда вырастут, поселиться на хуторе и кормиться своим трудом. Но пожениться они не успели: началась война, и парнишку забрали в солдаты. Вернулся он домой цел и невредим, но война оставила на нем неизгладимую печать. Слишком много зла и жестокости увидел он и потерял способность видеть добро.

Вначале никто не заметил в нем перемены. Он пошел с подружкой детских лет к пастору, и тот огласил их помолвку. Лесной хутор над Экебю стал им домом, как они давно мечтали, но радости в этом доме не было.

Жена смотрела на мужа, как на чужого. После того, как он вернулся с войны, она не узнавала его. Он громко смеялся и почти все время молчал. Она стала бояться его.



Он никого не обижал, никому не причинял зла и работал усердно. И все же никто его не любил, и обо всех он думал худое. Он и сам чувствовал себя здесь ненавистным для всех чужаком. Теперь лесные звери стали ему врагами. Худо жить в лесу тому, кто затаил недобрые мысли.

Да хранят светлые воспоминания и добрые чувства того, кто живет в лесной глухомани! А не то он в царстве животных и растений увидит одно лишь насилие и стремление убить друг друга, какое видел среди людей. Он станет опасаться всего, что его окружает.

Сам Ян Хек, бывший солдат, не мог понять, что с ним приключилось, однако чувствовал, что в душе у него творится что-то неладное. Мира и покоя в доме не было. Сыновья выросли сильными, смелыми и забияками — то и дело дрались с кем попало.

С горя жена его принялась изучать тайны леса. Она отыскивала лечебные травы на болоте и в зарослях кустарника. Она водилась с подземным лесным народцем и знала, какие жертвы им угодны. Она научилась заговаривать болезни и давать приворотное любовное зелье. Ее боялись, считали колдуньей, хотя она делала людям добро.

Однажды жена решила поговорить с мужем, спросить, что грызет его душу.

— С тех пор, как ты ушел на войну, тебя словно подменили. Что они там с тобой сделали?

Он разъярился и чуть было не поколотил ее, и каждый раз, когда она затевала разговор о войне, он приходил в бешенство. Само слово «война» стало ему ненавистно, и скоро все поняли, что о войне с ним лучше не говорить. И люди стали остерегаться говорить с ним об этом.

Однако никто из его товарищей по оружию не мог сказать, что он причинил на войне больше зла, чем другие. Он сражался, как и подобает солдату. Но, видно, ужасы войны до того потрясли его, что он стал видеть зло во всем. Война была причиной всех его горестей. Ему казалось, будто вся природа ненавидит его за то, что он участвовал в этом грязном деле. Более сведущие люди могли утешать себя тем, что они сражались за честь Отчизны. А что он в этом понимал? Он знал лишь, что его ненавидят за то, что он проливал кровь и творил зло.

В то время, когда майоршу изгнали из Экебю, он жил на хуторе один. Жена его умерла, а сыновья разъехались кто куда. Однако во время ярмарки в доме у него было полно гостей. По обыкновению, у

него останавливались черноволосые, смуглые цыгане. Ведь отверженные ищут приюта у отверженных. Их маленькие длинногривые лошадки взбирались по крутым лесным дорогам, волоча за собой телеги, груженные лудильными инструментами, ребятишками и узлами с тряпьем. За телегами шли рано состарившиеся женщины с лицами, распухшими от курения и пьянства, и жилистые, бледные мужчины с грубыми чертами лица. С появлением цыган на лесном хуторе воцарялось веселье. Они приносили с собой вино, карты, и не было конца рассказам о кражах, торговле лошадьми и кровавых побоищах.

В пятницу началась ярмарка в Брубю, и в тот же день был убит капитан Леннарт. Монс Силач, нанесший капитану смертельный удар, был сыном Яна Хека, хозяина лесного хутора. И потому, сидя вечером в воскресенье на хуторе, они чаще обычного протягивали старику бутылку с вином и рассказывали ему про хорошо им знакомую тюремную жизнь, тюремную пищу и о том, как ведется следствие.

Старик сидел на чурбане в углу возле очага и большей частью молчал. Его большие потускневшие глаза безучастно смотрели на дикое сборище в его доме. Стустились сумерки, но ярко пылавший в очаге огонь освещал лохмотья, жалкий вид этих людей, говоривший о беспросветной нужде.

Внезапно дверь медленно отворилась, и в комнату вошли две женщины. Это были молодая графиня Элисабет и дочь пастора из Брубю. Какой удивительной показалась графиня старику, когда она, сияя кроткой красотой, вошла в полосу света от пламени очага. Она рассказала сидевшим в комнате людям, что Йесту Берлинга не видели в Экебю с того самого дня, когда умер капитан Леннарт. Она и ее служанка чуть ли не весь день искали его в лесу. Она видит, что здесь в доме собрались люди, привыкшие странствовать, они, верно, знают все лесные тропы в лесу. Может быть, они видели его? Она зашла сюда передохнуть и спросить, не видели ли они его.

Ни к чему было и спрашивать. Никто из них его не видел.

Они подали ей стул. Она опустилась на него и некоторое время молчала. Шум в хижине затих. Все смотрели на нее с удивлением. Ей стало не по себе от воцарившегося молчания, она вздрогнула и попыталась завести разговор о чем-нибудь постороннем.

— Мне кто-то говорил, что вы были солдатом, дедушка, — сказала она сидевшему в углу старику, — расскажите что-нибудь про войну!

Тишина стала еще более гнетущей. Старик делал вид, будто ничего не слышал.

— Интересно послушать про войну от того, кто сам воевал, — продолжала графиня, но тут же резко оборвала фразу, заметив, что дочь пастора из Брубю делает ей какие-то знаки. Видно, она сказала что-то, чего не следовало говорить. Все, кто был в комнате, уставились на нее с таким видом, словно она нарушила самые простые правила приличия. Внезапно раздался грубый и резкий голос одной из цыганок:

— А не вы ли графиня из Борга?

— Да, я.

— Не пристало графине гоняться по лесу за полоумным пастором! Тьфу, срам да и только!

Графиня поднялась и попрощалась со всеми. Мол, она уже отдохнула. Женщина, стыдившая ее, вышла вслед за ней.

— Понимаешь, графиня, мне нужно было что-то сказать, ведь со стариком нельзя заводить речь про войну. Он даже слова этого терпеть не может. Я не хотела вас обидеть.

Графиня поспешила прочь, но вскоре замедлила шаг и огляделась: мрачный лес, темнеющие горы, холодный пар, поднимающийся над болотом. Видно, страшно здесь тому, кого гнетут тяжкие воспоминания. Ей стало жаль старика, жившего здесь наедине с темным лесом.

— Анна-Лийса, — сказала она служанке, — давай вернемся. Эти люди на хуторе были добры к нам, а я поступила дурно. Хочу потолковать со стариком о чем-нибудь более веселом.

И довольная тем, что нашла того, кто нуждается в утешении, она снова вошла в дом к старику.

— Дело в том, — сказала она, — что Йеста Берлинг ушел в лес с мыслью лишить себя жизни. Оттого-то и нужно поскорее найти его, помешать ему сделать это. Мне и Анне-Лийсе несколько раз казалось, что мы видим его, но он опять ускользал от нас. Он прячется где-то недалеко от той горы, где девушка из Нюгорда разбилась насмерть. Я решила, что не стоит возвращаться за помощью в Экебю. Ведь здесь у

вас так много молодых и сильных людей, которым ничего не стоит найти его.

— А ну отправляйтесь, парни! — воскликнула та самая цыганка. — Раз уж графиня не считает зазорным просить о помощи лесных бродяг, мы должны помочь ей.

Цыгане поднялись и отправились на поиски.

Ян Хек молча сидел, уставясь тусклым взглядом в одну точку. Молодая женщина не решалась заговорить с этим пугающе мрачным и суровым стариком. Но тут она заметила, что на охапке соломы лежит больной ребенок и что у одной женщины поранена рука. Она тут же принялась врачевать больных и быстро подружилась с болтливymi цыганками, которые стали показывать ей своих малюток.

Час спустя мужчины вернулись из леса. Они втащили в дом связанного Йесту Берлинга и положили его на пол перед очагом. Одежда на нем была изорвана и запачкана, лицо осунулось, глаза дико блуждали. Сплошным кошмаром были для него эти дни в лесу. Он спал на влажной земле, зарывал в мох лицо и руки, брел по острым камням, продирался сквозь густые заросли. По своей воле он не пошел бы с этими людьми, пришлось им побороть его и связать.

Увидев Йесту в таком виде, жена его пришла в негодование. Она даже не подошла к нему, оставив его связанным на полу, и с презрением отвернулась от него.

— Что за позорный вид у тебя!

— Я ведь не намеревался предстать перед тобой, — ответил он.

— А разве я не жена тебе? Разве нет у меня права ждать, что ты придешь ко мне и поделиться своим горем? С горечью и страхом ожидала я тебя эти два дня.

— Ведь это из-за меня погиб капитан Леннарт. Как я мог показаться тебе после этого на глаза? Разве я мог?

— Да ведь ты не из робких, Йеста.

— Единственная услуга, которую я могу оказать тебе, — это избавить тебя от себя.

Невыразимое презрение к нему сверкнуло из-под ее нахмуренных бровей.

— Так ты решил сделать меня женой самоубийцы?

Его лицо исказилось.

— Элисабет, давай выйдем отсюда и поговорим в лесной тиши.

— Мне нечего скрывать от этих людей, — резко сказала она. — Разве мы лучше любого из них? Разве хоть один из них причинил кому-нибудь столько страданий и горя, сколько причинили мы? Это презираемые всеми дети леса, дети проезжих дорог. Пусть же они услышат, как грех и беда идут по стопам властителя Экебю, всеми любимого Йеста Берлинга! Уж не думаешь ли ты, что твоя жена считает тебя лучше кого-нибудь из них?

Он с трудом приподнялся на локте и бросил на нее гневный взгляд.

— Я не такой уж негодяй, каким ты меня считаешь.

И тут она узнала все, что случилось с ним за эти два дня. Первые сутки Йеста бродил по лесу, гонимый угрызениями совести. Он не мог смотреть людям в глаза. Но тогда еще он не собирался лишать себя жизни. Он хотел уехать в чужие края. Однако в воскресенье он спустился с гор и пошел в церковь в Бру. Ему хотелось в последний раз увидеть свой народ — бедных голодных людей из уезда Левше, которым он, сидя возле позорной кучи пастора из Брубю, мечтал служить, которых он полюбил в ту ночь, когда они несли мертвую девушку из Ньюгорда.

Когда Йеста вошел в церковь, богослужение уже началось. Он прокрался на хоры и посмотрел вниз на людей. И тут им овладело жестокое раскаянье. Ему хотелось возвещать им слово Божие, утешать их, ввергнутых в нищету и отчаянье. О, если бы ему только позволили говорить в святом храме, он нашел бы для них слова утешения и помощи, хоть и сам был убит горем.

И тут он прошел в ризницу и написал послание, о котором его жена уже слыхала. В нем он обещал, что в Экебю снова начнутся работы, что беднякам будет роздано зерно для посева. Он выразил надежду, что жена и кавалеры исполнят его волю, когда его с ними не будет.

Выйдя из ризницы, он увидел гроб перед залом приходского совета. Гроб этот был грубо сколоченный, видно сделанный наспех, однако отделанный рюшью из черного крепа и украшенный венками из зелени брусники. Йеста понял, что это гроб капитана Леннарта. Люди просили капитаншу поторопиться с похоронами, чтобы все, кто собрались на ярмарке, могли присутствовать при погребении.

Он стоял и смотрел на гроб, и вдруг чья-то тяжелая рука опустилась ему на плечо. Это был Синтрам.

— Йеста, — сказал он, — если ты хочешь сыграть с кем-нибудь забавную шутку, то ложись и умри! Нет ничего хитрее, как взять и умереть, обманув честных людей, не подозревающих никакого подвоха. Ложись и умри, говорю я тебе!

Йеста с ужасом слушал этого злодея. Синтрам жаловался, что планам его не суждено было осуществиться. Он хотел, чтобы берега Левена вовсе опустели. Для того он и сделал кавалеров господами надо всей округой, для того и заставил пастора из Брубю разорить народ, для того наслал на эти места засуху и голод. Завершиться его замысел должен был на ярмарке в Брубю. Доведенные до отчаянья голодом и нуждой, люди должны были предаться убийству и грабежам. А после пошли бы тяжбы и вовсе разорили народ. Голод вконец бы одолел людей, начались бы мятежи и прочие беды. Под конец людям до того бы опостытели здешние места, что никто не захотел бы здесь оставаться. И все это было бы делом рук Синтрама. То-то радовался и гордился бы злодей Синтрам. Его сердцу были милы опустошенные деревни и невозделанные поля. Но помешал ему осуществить задуманное человек, сумевший вовремя умереть.

Тут Йеста спросил Синтрама, для чего ему все это нужно.

— Я делал это ради собственного удовольствия, ведь я — само зло. Я — свирепый медведь в горах, я — снежный буран на равнине, мне любо убивать и преследовать. «Прочь! — говорю я людям. — Прочь отсюда!» Терпеть их не могу. Люблю иной раз поиграть ими, пусть побегают от моих когтей, пусть подергаются. Но теперь с меня хватит забав, игрой пресытился, теперь я хочу сокрушать, хочу убивать, уничтожать.

Он лишился рассудка, окончательно лишился рассудка. Этими адскими играми он начал забавляться уже давно, но сейчас зло возымело над ним такую силу, что он вообразил себя духом из преисподней. Злоба, которую он взрастил и взлелеял в себе, овладела его душой. Так злоба, подобно любви и сомнениям, может лишить человека рассудка.

Не помня себя от гнева, злодей начал срывать с гроба венки и креп. Но тут Йеста Берлинг закричал:

— Не смей трогать гроб!

— Еще чего, не позволяешь мне и дотронуться до гроба? Да я сейчас выкину дружка моего Леннарта на землю и растопчу его венки. Разве ты не видишь, что он сделал со мной? Не видишь, в каком роскошном сером экипаже я сюда прикатил?

И тут только Йеста заметил за церковной оградой две тюремные кареты с ленсманом и конвойными.

— Видишь теперь, разве я не должен отблагодарить капитаншу за то, что она, роясь вчера в старых бумагах, откопала против меня улики по тому делу с порохом? Пусть знает теперь, что ей лучше было бы варить пиво и заниматься стряпней, чем посылать за мной ленсмана и стражу. Неужто я не вправе вознаградить себя за те слезы, что я пролил, умоляя ленсмана Шарлинга позволить мне помолиться у гроба дорогого мне друга?

И он снова принялся срывать креп.

Тут Йеста Берлинг подошел к нему вплотную и схватил его за руки.

— Я готов все отдать, лишь бы вы оставили гроб в покое! — воскликнул он.

— Делай что хочешь! — ответил сумасшедший. — Кричи, если тебе угодно. Что-нибудь я все же сумею сделать до того, как подоспеет ленсман. Затевай со мной драку, если хочешь. Веселое будет зрелище здесь, возле церкви. Отчего бы нам не подраться среди венков и катафалков!

— Я готов купить мир и покой усопшему любой ценой, господин заводчик. Возьмите мою жизнь, возьмите все, что у меня есть.

— Ты горазд на обещания, мой мальчик.

— Так проверьте же меня.

— Тогда убей себя!

— Я готов это сделать, но сперва должен удостовериться, что гроб будет предан земле.

На том они и порешили. Синтрам взял с Йесты клятву, что тот выполнит обещание через двенадцать часов после того, как тело капитана Леннарта будет опущено в землю.

— Тогда уж я буду уверен, что ты никогда не станешь порядочным человеком, — сказал он.

Йесте было легко дать это обещание. Он был рад дать своей жене свободу. Он смертельно устал — угрызения совести не давали ему

покоя. Единственно, что пугало его, это данное майорше обещание не лишать себя жизни, покуда дочь пастора из Брубю не оставит место служанки в Экебю. Но Синтрам успокоил его, сказав, что теперь ее нельзя считать служанкой, коль скоро она унаследовала богатства отца. Йеста возразил ему, мол, пастор спрятал свои сокровища столь надежно, что их никто не может найти. Синтрам ухмыльнулся и заявил, что они спрятаны среди голубиных гнезд на церковной колокольне. С этими словами он ушел, а Йеста вернулся в лес. Он решил, что ему лучше всего умереть в том месте, где разбилась девушка из Нюгорда. Там он блуждал весь день. В лесу он увидел свою жену и поэтому не смог сразу же убить себя.

Обо всем этом он рассказал жене, лежа связанный на полу в лесном хуторе.

— О, — печально промолвила она, когда он умолк, — как мне это знакомо! Напускной героизм, пресловутая геройская доблесть! Готовность сунуть руки в огонь, готовность пожертвовать собой! Сколь великолепным это казалось мне когда-то! Теперь же я ценю лишь спокойствие и разум! Какая польза мертвецу от подобного обещания? Что из того, если бы Синтрам перевернул гроб и сорвал с него креп? Гроб снова бы поставили на катафалк, нашлись бы и новый креп, и новые венки. Если бы ты, положила руку на гроб доброго человека, поклялся на глазах у Синтрама помогать бедным людям, которых Синтрам хотел извести, я бы это оценила. Если бы ты, глядя тогда в церкви на прихожан, сказал себе: я хочу помочь этим людям, хочу приложить для этого все свои усилия, — я бы оценила это. А вместо того ты переложил эту ношу на слабые плечи своей жены и немощных стариков.

Йеста Берлинг, помолчав, ответил:

— Мы, кавалеры, связаны обещанием. Мы дали друг другу клятву жить для наслаждений, для одних лишь наслаждений. Горе всем нам, если хоть один из нас изменит клятве!

— Горе тебе, — с досадой сказала графиня, — самому трусливому из кавалеров и самому неисправимому! Вчера все одиннадцать кавалеров весь вечер сидели мрачные. Тебя с ними не было, капитана Леннарта с ними не было, блеска и славы Экебю. Тодди они даже не пригубили, мне они не хотели показываться на глаза. И тут к ним навверх поднялась служанка Анна-Лийса, которая сейчас стоит перед



тобой. Ведь ты знаешь, она девушка хозяйственная, она годами отчаянно боролась с расточительством, не давая вам окончательно разорить Экебю!

«Сегодня я опять побывала дома — искала батюшкины деньги, — сказала она кавалерам, — да только ничего не нашла. Все долговые бумаги погашены, но в ящиках и шкафах пусто».

«Жаль мне тебя, Анна-Лийса», — сказал Бееренкройц.

«Когда майорша покидала Экебю, — продолжала пасторская дочь, — она просила меня беречь ее дом. И если бы я теперь нашла деньги моего дорогого родителя, то отстроила бы Экебю. Но коль скоро я денег дома не нашла, то прихватила с собой батюшкину позорную кучу: ведь что меня ждет, кроме позора, когда хозяйка вернется и спросит, что я сделала с Экебю?»

«Не горюй, твоей вины в этом нет», — попытался успокоить ее Бееренкройц.

«Однако я принесла щепки из позорной кучи не для себя одной, — продолжала пасторская дочь, — я позаботилась и о вас, любезные господа. Извольте, почтенные господа! Дражайший мой батюшка не единственный, кто заслужил в этом мире позор и поношение».

Сказав это, она обошла всех кавалеров и перед каждым положила несколько сухих щепок. Кое-кто из них стали бранить ее, но почти все молчали.

Под конец Бееренкройц сказал со спокойным достоинством важного господина:

«Вот и прекрасно. Благодарю вас, юнгфру. Теперь вы можете идти».

Когда она ушла, он ударил кулаком по столу, да так сильно, что рюмки подпрыгнули.

«С этой минуты, — воскликнул он, — никакого пьянства! Никогда больше не удастся вину закабалить меня!»

С этими словами он поднялся и вышел из комнаты.

Остальные мало-помалу последовали его примеру. И ты знаешь, куда они пошли, Йеста? Вниз к реке, на мыс, где стояли мельница и кузница Экебю, и начали работать. Они таскали бревна и камни, расчищали место от обломков. Нелегко пришлось в жизни старикам. Немало бед выпало на их долю. Но терпеть долее позор за то, что они

разорили Экебю, стало для них невыносимо. Я знаю, что вы, кавалеры, считаете зазорным работать, но теперь они, позабыв это, стали трудиться. И более того, они собираются послать Анну-Лийсу к майорше, чтобы вернуть ее. А ты, что тем временем делаешь ты?

— Что ты требуешь от меня, пастора, лишенного сана? Презируемого людьми, отверженного Богом?

— Я тоже сегодня была в церкви Брубю, Йеста. Тебе шлют привет две женщины. «Передай Йесте, — сказала Марианна Синклер, — что одна женщина не презирает того, кого она однажды любила!» «Скажите Йесте, — сказала Анна Шернхек, — что у меня все хорошо. Я сама управляю своими именьями. Люди говорят, что из меня выйдет вторая майорша. Я теперь думаю не о любви, а лишь только о работе. Теперь мы здесь в Берге пережили первую горечь утраты. Но все мы горюем о Йесте. Мы верим в него и молим за него Господа. Но когда же он, однако, повзрослеет?»

И ты говоришь, что люди тебя презирают? — продолжала графиня. — На твою долю выпало слишком много любви, и в этом твоя беда. Тебя любят и женщины, и мужчины. Стоит тебе пошутить и посмеяться, спеть и сыграть, как тебе прощают все. Им по душе любая твоя выдумка. И ты смеешь называть себя презируемым? Почему же тебя не было на похоронах капитана Леннарта?

Слух о том, что он умер в первый день ярмарки, облетел всю округу. После богослужения к церкви пришла не одна тысяча человек. Они заполнили все кладбище, забирались на ограду, стояли на поле за кладбищенской стеной. Похоронная процессия выстроилась перед залом приходского совета. Ожидали лишь старого пробста. Он хворал и не мог читать проповедь. Однако на похороны капитана Леннарта он обещал прийти. И вот он пришел, опустив голову, погруженный в свои печальные думы, думы старого человека, и встал во главе процессии. Он ничему не удивился, ведь этот старец провожал так много людей в последний путь! Он шел по знакомой дороге, не поднимая головы. Он прочитал молитвы и бросил на гроб горсть земли, по-прежнему ничего не замечая. Но вот каноник запел псалом. Сам по себе грубый голос псаломщика, если бы он пел один, вряд ли заставил пробста очнуться от тяжелых дум.

Но канонику не пришлось петь одному. Многие сотни голосов слились с его голосом. Пели мужчины, пели женщины и дети. И тут

пробст словно бы пришел в себя. Он провел рукой по глазам, встал на могильный холм и огляделся. Никогда еще не доводилось ему видеть столько скорбящих людей. На мужчинах были старые, поношенные траурные шляпы, на женщинах — большие белые передники. Все они пели, у всех глаза были влажны от слез, все они скорбели о капитане.

И тут сердце старого пробста сжалось от страха. Что он скажет этим глубоко опечаленным людям? Ведь он должен сказать им слово утешения.

Когда пение смолкло, он простер над толпой руки.

«Я вижу, что вы горюете, — начал он, — а горе тяжелее переносить тем, кому предстоит долго идти по жизненному пути, чем мне, ведь мне скоро предстоит расстаться с этим миром».

Он в ужасе замолчал. Голос его был слишком слаб, к тому же он с трудом подбирал слова. Но вот он снова заговорил. Голос его обрел молодую силу, глаза заблестали.

И он произнес прекрасную речь. Вначале он сказал все, что знал о Божьем страннике. Потом он упомянул о том, что покойного чтут не за внешний блеск, не за большие таланты, а за то, что он шел по пути, завещанному Господом. И пробст молил нас во имя Бога нашего Иисуса Христа следовать примеру капитана Леннарта. Мол, каждый должен любить ближнего и помогать ему. Каждый должен видеть в ближнем одно лишь хорошее. Каждый должен жить так, как жил капитан Леннарт, и для того не нужно большего таланта, а одно лишь благочестие. Он истолковал нам все, что случилось за этот год. Он сказал нам, что все наши беды были лишь предвестниками счастливых времен, которые непременно настанут. Он сказал, что доброта людская прорывалась в этом году сквозь тучи лишь редкими лучами, а теперь эти лучи соберутся воедино и будут светить, как яркое солнце.

Всем нам казалось, что мы слышим слова пророка. Всем хотелось любить друг друга, всем хотелось делать добро.

Он поднял глаза и простер руки, благословляя нас, призывая мир и счастье в наши края.

«Именем Божьим, — сказал он, — молю вас прекратить раздоры и распри. Да будет мир в ваших сердцах и во всей природе! Да обретет покой вся неживая и живая природа — и травы, и камни, и зверь, и птица!»

Казалось, что священный покой вдруг снизошел на нас. Казалось, будто вершины гор засияли, озарились улыбкой долины, окрасился румянцем осенний туман.

Затем старый пробст сказал, что люди должны обрести защитника, избавителя от всех бед. «Кто-то должен прийти и помочь вам, — сказал он. — Господь не допустит вашей гибели. Господь призовет того, кто накормит голодных и поведет их по праведному пути».

И тут, Йеста, все подумали о тебе. Мы знали, что пробст говорил о тебе. Люди, которые слышали про твое письмо, обращенное к ним, говорили о тебе, расходясь по домам. А ты ушел в лес и решил умереть! Люди ждут тебя, Йеста! Во всех домах толкуют о том, что помочь им может один лишь сумасшедший пастор из Экебю. Для всех для них ты — герой.

Да, Йеста, разумеется, пробст говорил о тебе. Неужто одно это не может заставить тебя жить? Я же, твоя жена, говорю тебе: ты должен идти и выполнить свой долг. Не вздумай вообразить себя посланцем Божьим. Помогать людям может любой. Не старайся совершать геройские подвиги, блистать умом, удивлять всех и каждого, старайся поступать так, чтобы твое имя не было слишком часто у всех на устах. Однако подумай хорошенько, прежде чем нарушить слово, данное Синтраму! Ты получил своего рода право на смерть, и жизнь не сулит тебе впредь много радостей. Было время, когда я хотела уехать на родину, на юг. Я, грешная, считала для себя незаслуженным счастьем остаться с тобой, идти с тобой по жизни. Но теперь я останусь. Если ты найдешь в себе силы жить, я останусь с тобой. Но не жди от нашей с тобой жизни больших радостей! Я заставлю тебя идти тяжким путем верности своему долгу. Не жди от меня слов утешения и надежды! Все беды и несчастья, которые мы с тобой причинили другим, я поставлю на страже у нашего очага. Может ли сердце, страдавшее столь сильно, как мое, еще любить? Без бед и без радости пойду я по жизни рядом с тобой. Подумай хорошенько, Йеста, прежде чем решиться остаться в живых! Нам с тобой предстоит идти путем искупления.

Она не стала дожидаться ответа. Сделав знак дочери пастора, она вышла. Войдя в лес, она горько заплакала и, не переставая плакать, дошла до Экебю. Вернувшись домой, она вспомнила, что так и не

потолковала с солдатом Яном Хеком о вещах, более приятных, чем война.

Когда она ушла, на хуторе воцарилось молчанье.

— Честь и хвала Господу Богу нашему, — вдруг сказал старый солдат.

Все взглянули на него. Он поднялся и пристально огляделся.

— Зло, ничего кроме зла, было моим уделом. С тех пор как открылись мои глаза, я видел кругом одно лишь зло. Одни лишь злые люди окружали меня. Ненависть и злоба царили и в лесу, и в поле! А вот она добрая. Добрый человек побывал в моем доме. Когда я буду сидеть здесь один, то стану вспоминать ее. Она будет охранять меня на лесной дороге.

Он нагнулся над Йестой, развязал его и поднял на ноги. Потом взял его торжественно за руку.

— Неугодным Господу называешь ты себя, — сказал он, кивая, — так оно и было. Но теперь, когда она побывала здесь, Бог простил нас. Ведь она — сама доброта.

На следующий день старый Ян Хек пришел к ленсману Шарлингу.

— Я хочу нести свой крест, — заявил он, — я был злым человеком и породил злых сыновей.

И он попросил посадить его в тюрьму вместо сына, но этого ему позволить не могли.

Лучшая из всех старых историй повествует о том, как старик последовал за сыном, брел за арестантской каретой, не покинул его, покуда тот не отбыл свой срок. Но об этом поведаст кто-нибудь другой.

## Глава тридцать шестая

### МАРГАРЕТА СЕЛЬСИНГ

Незадолго до Рождества майорша приехала в уезд Левше, но в Экебю она появилась лишь в сочельник. В дороге она захворала. У нее началось воспаление легких, но, несмотря на сильный жар, она никогда еще не была столь веселой и приветливой. Дочь пастора из Брубю, гостившая у нее в эльвдальской лесной усадьбе с октября месяца, сидела рядом с ней в санях. Ей очень хотелось поскорей вернуться домой, но что она могла поделать, раз старая майорша то и дело останавливала лошадей и подзывала каждого прохожего, чтобы расспросить его о новостях.

— Ну как вы тут живете, в Левше? — спрашивала майорша.

— Живем хорошо, — отвечал один. — Настали лучшие времена. Лишенный сана пастор из Экебю и его жена помогают нам.

— Хорошее настало время, — рассказал другой. — Синтрама здесь больше нет! Кавалеры из Экебю трудятся не покладая рук. Нашлись деньги пастора из Брубю, они были спрятаны на колокольне в Бру. Их так много, хватит на то, чтобы заново отстроить Экебю, вернуть ему былую славу и могущество. Этих денег достанет и на хлеб голодным.

— Наш старый пробст, — сказал третий, — словно помолодел и обрел новые силы. Каждое воскресенье он говорит нам о том, что наступает царство Божие на земле. Кто теперь захочет грешить? Приходит торжество добра.

А майорша, не спеша, едет дальше, расспрашивая каждого встречного:

— Как идут у вас дела? Терпят ли нужду у вас в приходе?

И жар, и острая боль в груди у нее затихали, когда она слышала в ответ:

— Есть у нас две добрые богатые женщины: Марианна Синклер и Анна Шернхек. Они помогают Йесте Берлингу, они ходят по домам и помогают голодающим. К тому же теперь никто не засыпает зерно в перегонный куб.

Майорше казалось, будто она не сидит в санях, а слушает долгое богослужение. Можно было подумать, что она попала в святую землю. Она видела, как на лицах старых людей разглаживаются морщины, когда они рассказывали ей. Восхваляя наступившие добрые времена, люди забывали о своих недугах.

— Нам всем хотелось бы стать такими, как покойный капитан Леннарт, — говорили они, — хочется быть добрыми, верить в добро. Не хотим никому делать вреда. Ведь это ускорит приход царства.

Она увидела, что все они охвачены одной решимостью. В богатых усадьбах бедных кормили бесплатно. Каждый, кто хотел, получал работу, и на всех заводах майорши дела шли полным ходом.

Никогда она еще не чувствовала себя столь бодрой, как сейчас, вдыхая холодный воздух в больную грудь. Она останавливалась возле каждого двора и расспрашивала людей.

— Теперь у нас все хорошо, — уверяли ее люди. — Мы терпели большую нужду, но теперь нам помогают добрые господа из Экебю. Вы, госпожа майорша, немало удивитесь тому, что здесь успели сделать. Мельница почти готова, и кузницу строят полным ходом, а на месте сгоревшего дома новый уже подвели под крышу.

Это нужда и страшные беды заставили их всех перемениться. Ах, неужто лишь на короткое время? И все же, как приятно было вернуться туда, где каждый желал услужить ближнему, где всем хотелось творить добро. Майорша знала, что сможет простить кавалеров, и благодарила за это Бога.

— Анна-Лийса, — сказала она, — мне, старому человеку, кажется, что я уже попала в царствие небесное.

Когда она наконец приехала в Экебю и кавалеры поспешили помочь ей сойти с саней, они едва узнали ее, ведь она стала почти такой же доброй и кроткой, как их молодая графиня. Старые люди, знавшие ее с молодых лет, шептали друг другу:

— Это не майорша из Экебю вернулась к нам, это Маргарета Сельсинг.

Велика была радость кавалеров, когда они увидели, что она стала такой доброй и вовсе не помышляет о мщении, но эта радость уступила место печали, когда они поняли, как тяжело она больна. Ее сразу же перенесли в гостиную конторского флигеля и уложили в постель. На пороге она обернулась и сказала:

— Это был ураган господен, да, ураган господен. Теперь я знаю, что все случилось к лучшему.

Тут дверь за ней затворилась, и больше они ее не видели.

А ведь как много хочется сказать тому, кто покидает этот мир. Слова так и просятся с языка, когда знаешь, что рядом в комнате лежит тот, чьи уши скоро навсегда перестанут слышать. «О друг мой, — хочется сказать, — можешь ли ты простить меня? Можешь ли поверить, что я любил тебя, невзирая ни на что? Как же это могло случиться, что я причинил тебе столько горя, когда мы шли рядом по жизненному пути? О мой друг, как я благодарен тебе за все радости, которые ты подарил мне!»

Хочется сказать и это, и многое, многое другое.

Но майорша лежала в жестокой горячке и не могла услышать слов кавалеров. Неужто она так и не узнает, как они работали, чтобы продолжить ее дело, чтобы вернуть Экебю честь и славу? Неужто она так этого и не узнает?

И тут кавалеры пошли в кузницу. Работа там уже остановилась, но они подбросили угля в железные болванки в плавильную печь. Они не стали звать кузнецов, которые ушли домой праздновать Рождество, и сами встали у горна. Только бы майорша дожидала до того, как начнет бить молот, а уж он сам поведаст ей об их стараниях.

Пришел вечер, наступила ночь, а они все еще работали. Многим из них казалось, что они неспроста второй раз встречают Рождество в кузнице.

Многоопытный Кевенхюллер, благодаря которому они отстроили столь быстро мельницу и кузницу, и силач капитан Кристиан Берг стояли у печи и следили за плавкой. Йеста и Юлиус подбрасывали уголь. Кое-кто сидел на наковальне под поднятым молотом, остальные расположились на угольных тележках и на кучах железных болванок. Старый мистик Левенборг разговаривал с философом дядюшкой Эберхардом, сидевшим рядом с ним на наковальне.

— Сегодня ночью умрет Синтрам, — сказал Левенборг.

— Почему именно сегодня ночью? — спросил Эберхард.

— Ты ведь знаешь, братец, какое пари мы заключили год назад. Ведь мы не совершили ничего неподобающего кавалерам, и, стало быть, он проиграл.



— Если ты, братец, веришь в это пари, то должен понимать также, что мы совершили немало неподобающего кавалерам. Во-первых, мы помогли майорше, во-вторых, мы начали работать, в-третьих, Йеста Берлинг не слишком честно поступил, пообещав убить себя, и не выполнил обещания.

— Я тоже думал об этом, — возразил Левенборг, — но полагаю, что вы, братец, заблуждаетесь. Нам не пристало поступать, исходя из собственных мелочных интересов. Но кто может запретить нам совершать поступки во имя любви, чести или вечного блаженства? Я думаю, что Синтрам проиграл.

— Возможно, вы и правы.

— Должен сказать, я это точно знаю. У меня в ушах весь вечер звенят его бубенцы, но это обманный звон. Скоро он и сам будет здесь.

И тщедушный старик уставился на усеянный редкими звездами кусок синего неба в открытых настежь дверях кузницы.

Чуть погодя он вскочил на ноги.

— Ты видишь его? — зашептал он. — Вот он крадется в кузницу. Неужто ты не видишь его, братец?

— Да ничего я не вижу, — изумился дядюшка Эберхард. — Да ты, видно, просто успел задремать.

— Нет, я отчетливо видел его на фоне синего неба. На нем, как всегда, была длинная волчья шуба и меховая шапка. А сейчас он снова нырнул в темноту, и я не вижу его. Да вот же он возле печи! Стоит рядом с Кристианом Бергом, но тот, разумеется, его не видит. Вот он наклонился и бросает что-то в огонь. О, до чего же злобный у него вид! Берегитесь его, друзья, берегитесь!

И тут же из печи вырвался сноп огня, осыпав кузнецов и их подручных шлаком и искрами. Никто из них, однако, не пострадал.

— Он хочет отомстить нам, — прошептал Левенборг.

— Да ты, братец, спятил! — воскликнул Эберхард. — Довольно тебе пугать нас.

— Твое дело не верить, да только этим беде не поможешь. Разве не видишь, что он стоит у столба и скалит зубы, глядя на нас. Неужто собирается опустить молот?

Он вскочил и увлек с собой Эберхарда. Мгновение спустя молот с грохотом опустился на наковальню. Виной тому была лишь

проржавевшая скоба, но Эберхард и Левенборг чудом избежали смерти.

— Видишь, братец! — воскликнул, ликуя, Левенборг. — Нет у него над нами власти. Однако он хочет нам отомстить.

И он подозвал Йесту Берлинга.

— Иди к женщинам, Йеста! Быть может, он и к ним явится. Они ведь не то что я — могут с непривычки испугаться. Да поостерегись, Йеста, он сильно зол на тебя. К тому же он, быть может, имеет над тобой власть из-за того обещания. Вполне вероятно.

Позднее кавалеры узнали, что Левенборг оказался прав: Синтрам в самом деле умер той ночью. Одни говорили, что он сам повесился в тюрьме. Другие полагали, что слуги правосудия отдали тайный приказ убить его, ибо у следствия конкретных улик не было, а освободить его на горе жителям Левше было никак нельзя. А еще кое-кто поговаривал, будто в черной карете, запряженной вороными, приехал господин в черном и забрал его из тюрьмы. И Левенборг был не единственный, кто видел Синтрама рождественской ночью. Видели его и в Форсе, а Ульрике Дильнер он явился во сне. Многие рассказывали, что он являлся им и после смерти, покуда Ульрика Дильнер не перевезла его прах на кладбище в Бру. Она прогнала из Форса всех недобрых слуг и завела новые порядки. С тех пор привидение там больше не появляется.

Рассказывают, будто еще до того, как Йеста пришел в конторский флигель, там побывал какой-то незнакомец, который принес письмо для майорши. Никто этого человека прежде не видел, но письмо положили на столик возле постели больной. Тут же больной вдруг полегчало, жар спал, боли утихли, и она смогла прочитать переданное ей послание.

Старики уверяли, что улучшение состояния майорши дело темных сил. Ведь Синтраму и его друзьям-приятелям было выгодно, чтобы она прочла это письмо.

Это был контракт, написанный кровью на черной бумаге. Кавалеры, наверное, узнали бы его. Оно было написано в ночь под Рождество в кузнице Экебю.

Читая его, майорша узнала, что ее считали ведьмой, посылающей в ад души кавалеров, и в наказание за это был вынесен приговор: отнять у нее Экебю. Прочла она в письме и прочие небылицы. Она

внимательно посмотрела на дату и подписи и рядом с подписью Йесты Берлинга увидела следующую приписку: «Я ставлю свою подпись, потому что майорша, воспользовавшись моей слабостью, помешала мне заняться честным трудом, и, чтобы я стал кавалером в Экебю, сделала меня убийцей Эббы Дона, рассказав ей, что я — пастор, лишенный сана».

Майорша медленно свернула бумагу и вложила ее в конверт. Она лежала не шевелясь, думая о том, что прочла. Горько и больно было ей узнать, что думают о ней люди. Ведьмой, мерзкой чертовкой была она для тех, кому служила, кому давала работу и хлеб. И вот какую награду она заслужила, какую память оставляет по себе. Да и что хорошего могли они думать о неверной жене!

Однако что можно ожидать от этих темных людей? Что ей за дело до них! Но эти нищие кавалеры, которых она приютила, они-то хорошо знали ее. Даже они поверили этому или сделали вид, будто поверили, чтобы заполучить Экебю. Мысли беспорядочно роились у нее в голове. Ее горевшее в лихорадке сердце охватили гнев и жажда мести. Она велела дочери пастора из Брубю и графине Элисабет, сидевшим возле ее постели, послать нарочного в Хегфорс за управляющим и инспектором. Она решила составить завещание.

Потом она снова погрузилась в раздумье. Брови ее сдвинулись, черты лица страдальчески исказились.

— Вам очень плохо, госпожа майорша? — тихо спросила графиня.

— Плохо, плохо, как никогда.

Снова наступило молчание. Но вот майорша заговорила резко и жестко:

— Удивительно, графиня, что вы, любимая всеми, тоже неверная жена.

Молодая женщина вздрогнула.

— Да, если и не в поступках, то в мыслях и желаниях, но тут нет никакой разницы. Вот я лежу сейчас и чувствую, что это одно и то же.

— Да, я знаю это, госпожа майорша.

— И все же вы, графиня, теперь счастливы. Вы можете принадлежать своему возлюбленному без греха. Черный призрак не стоит между вами. Вы можете, не скрываясь, принадлежать друг другу, любить друг друга среди бела дня, идти по жизни рука об руку.

— О госпожа майорша, госпожа майорша!

— Как вы можете оставаться с ним? — воскликнула старая женщина с возрастающей горячностью. — Искупите свой грех, покайте, пока не поздно! Поезжайте домой к вашим батюшке и матушке, а не то они сами приедут и проклянут вас! Неужто вы считаете Йесту Берлинга своим супругом? Уезжайте от него! Я оставлю ему в наследство Экебю. Я дам ему власть и богатство. Осмелитесь ли вы разделить их с ним? Осмелитесь ли вы принять честь и счастье? Я посмела. И вы помните, чем это кончилось? Помните ли вы рождественский обед в Экебю? Помните ли арестантскую в усадьбе ленсмана?

— О госпожа майорша, мы, обремененные грехами, идем рядом по жизни, не испытывая счастья. Я стараюсь, чтобы радость не поселилась у нашего очага. Вы думаете, я не тоскую по дому? О, я жестоко тоскую без него, без его опоры и защиты, но мне уже больше не суждено туда вернуться. Я буду жить здесь в страхе и трепете, зная, что все, что я делаю, приведет лишь к греху и печали, что, помогая одному, причиняю горе другому. Я слишком слаба, слишком простодушна для жизни в здешних краях, и все же я останусь здесь, обреченная на вечное покаяние.

— Подобными мыслями мы лишь обманываем свое сердце! — воскликнула майорша. — И в этом наша слабость. Вы не хотите уезжать от него, и не ищите других причин.

Не успела графиня ответить, как в комнату вошел Йеста Берлинг.

— Входи, Йеста! — поспешно сказала майорша, и голос ее стал еще более резким и жестким. — Иди сюда, герой, которого восхваляет весь Левше! Узнай же, что пришлось испытать старой майорше, которая по твоей милости скиталась по дорогам, всеми презираемая и покинутая.

Вначале я хочу рассказать, что случилось весной, когда я пришла домой к своей матери, ведь ты должен знать конец этой истории.

В марте я прибрела в Эльвдальскую усадьбу. Вид у меня тогда был не лучше, чем у старухи нищенки. Мне сказали, что моя мать в молочном погребе. Я вошла туда и долго стояла молча у дверей. Вдоль стен на длинных полках были расставлены блестящие медные бидоны с молоком. И моя мать, которой перевалило за девяносто, снимала бидон за бидоном и снимала сливки. Старуха была еще бодрая, однако я видела, с каким трудом она распрямляла спину, чтобы достать бидон.

Я не знала, заметила ли она меня, но чуть погодя она вдруг сказала мне каким-то удивительно резким тоном:

«Вот и сбылось все, что я тебе предсказывала!»

Я хотела было просить у нее прощения, да только все было напрасно. Она совсем оглохла и не слышала ни одного моего слова. Помолчав, она снова заговорила:

«Иди, помоги мне».

Я подошла к ней и стала помогать ей спускать один бидон за другим и снимать сливки. Она была довольна. Моя мать не доверяла ни одной служанке снимать сливки и давно наловчилась это делать.

«Я вижу, ты можешь справляться теперь с этой работой». И я поняла, что она простила меня.

И с тех пор, казалось, силы покинули ее. Она теперь целыми днями сидела в кресле и спала. Она умерла незадолго до Рождества. Мне очень хотелось приехать сюда раньше, но не могла оставить старушку.

Майорша умолкла. Ей снова стало трудно дышать, но она собралась с силой и снова заговорила:

— Это правда, Йеста, что я хотела, чтобы ты жил у меня в Экебю. Ведь ты притягиваешь к себе людей, всем приятно твое общество. Если бы ты в конце концов образумился, я дала бы тебе большую власть. Я надеялась, что ты найдешь себе хорошую жену. Сначала я думала, что это будет Марианна Синклер, ведь я видела, как она любила тебя еще в ту пору, когда ты жил в лесу и рубил деревья. Потом я решила, что это должна быть Эбба Дона. Я поехала в Борг и сказала ей, что, если она возьмет тебя в мужья, я оставлю тебе в наследство Экебю. Если я поступила дурно, прошу простить меня.

Йеста стоял на коленях, упершись лбом в край кровати. Из груди его вырвался тяжкий стон.

— Скажи мне, Йеста, как ты собираешься жить? На что будешь кормить жену? Скажи мне! Ведь ты знаешь, я всегда желала тебе добра.

Сердце Йесты разрывалось от горя, но он ответил ей с улыбкой:

— Давным-давно, когда я пытался заработать себе на хлеб здесь, в Экебю, вы, госпожа майорша, подарили мне хутор, он до сих пор мой. Нынче осенью я привел там все в порядок. Мне помог Левенборг. Вдвоем мы побелили потолок, покрасили и оклеили обоями стены.

Левенборг решил, что задняя маленькая комната будет кабинетом графини. Он даже отыскал в окрестных крестьянских усадьбах подходящую мебель, из той, что попала туда с аукционов, и купил ее. Так что теперь в этом кабинете стоят и кресла с высокими спинками, и комоды с бронзовыми накладками. А в большой комнате поставлены ткацкий станок для молодой хозяйки и слесарный для меня. Есть там и прочие вещи, вся нужная для хозяйства утварь. Мы с Левенборгом сидели там не один вечер, толкуя о том, как мы станем жить с графиней на этом хуторе. Но моя жена только сейчас узнала об этом. Мы хотели рассказать ей об этом, когда придется покинуть Экебю.

— Продолжай, Йеста!

— Левенборг твердил, что в доме не обойтись без служанки. «Летом здесь на мысу в березовой роще рай да и только, а вот зимой молодой госпоже будет скучно. Так что, Йеста, непременно найми служанку».

Я соглашался с ним, однако не знал, откуда взять на это денег. Тогда он однажды принес мне ноты, свой стол с нарисованными клавишами и поставил его в комнате. «Никак ты сам, Левенборг, намереваешься поселиться у нас вместо служанки?» — спросил я его. На это он отвечал, что пригодится нам. Неужто я позволил бы молодой графине стряпать, носить дрова и воду? Нет, ни за что не позволил бы, куда есть сила в руках и могу трудиться. Но он стоял на своем, мол, вдвоем мы скорее управимся с хозяйством, а она пусть сидит целыми днями на диване и вышивает тамбурным швом. «Ты и представить себе не можешь, какой нежной заботой нужно окружить такую маленькую, хрупкую женщину», — сказал он.

— Рассказывай, рассказывай! Твои слова облегчают мои страдания. Неужто ты думаешь, что молодой графине хочется жить в хуторской хижине?

Его неприятно поразил ее насмешливый тон, но он продолжал:

— О, госпожа майорша, я не смею в это поверить, но как прекрасно было бы, если б она захотела там жить! Ведь здесь на пять миль в округе нет ни одного врача. А у нее легкая рука и доброе сердце, ей бы хватило забот лечить раны и врачевать болезни. Мне думается, что все скорбящие нашли бы дорогу на хутор к доброй госпоже. Ведь у бедняков столько горя, им так нужно доброе слово и сердечное участие.

— Ну а ты сам что будешь делать?

— Стану работать за столярным и токарным станком. Стану отныне жить своим трудом. А если моя жена не захочет последовать за мной, пойду один. Никакие богатства в мире не заставили бы меня свернуть с этого пути. Хочу жить своим трудом. Хочу всегда быть бедным, жить среди крестьян, помогать им чем могу. Ведь им нужен кто-нибудь, кто бы играл польку у них на свадьбах и рождественских пирушках, кто бы писал письма их уехавшим сыновьям, так я и стану этим заниматься. Но я непременно должен оставаться бедным.

— Это будет мрачная жизнь, Йеста.

— О нет, госпожа майорша, она не будет мрачной, если мы только будем вместе. Богатые и веселые будут к нам приходить, также как и бедные. Нам было бы весело в этой хижине. Гостям вовсе не было бы хуже, если бы мы готовили угощение прямо у них на глазах и, не церемонясь, ели бы по двое из одной тарелки.

— Но какую пользу ты принесешь этим? Какую награду заслужишь?

— Для меня будет большой наградой, если бедняки будут помнить меня несколько лет после моей смерти. Немалую пользу я принесу, если посажу возле дома несколько яблонь, научу деревенских музыкантов играть мелодии старых мастеров, научу пастушков петь хорошие песни на лесных тропинках. Поверьте мне, госпожа майорша, я все тот же сумасбродный Йеста Берлинг, каким был. Я могу стать лишь деревенским музыкантом, но для меня этого достаточно. Мне предстоит искупить немало грехов. Плакать и каяться я не умею. Я хочу доставлять радость беднякам и в этом вижу свое покаяние.

— Йеста, — сказала майорша, — это слишком жалкая жизнь для человека с твоими дарованиями. Я хочу завещать тебе Экебю.

— О госпожа майорша, — с ужасом воскликнул он, — не делайте меня богатым! Не возлагайте на меня столь тяжкого бремени! Не разлучайте меня с бедняками!

— Я хочу отдать Экебю тебе и кавалерам, — повторила майорша. — Ты достойный человек, и народ молит за тебя Бога. Я говорю тебе, как когда-то сказала моя мать: «Ты справишься с этой работой».

— Нет, госпожа майорша, такого подарка мы принять от вас не можем. Ведь мы так плохо думали о вас и причинили вам столько горя!

— Я хочу оставить тебе Экебю, слышишь!

Она говорила резко, жестко, почти враждебно. Его охватил страх.

— Не вводите стариков в искушение! Ведь тогда они снова станут бездельниками и пьяницами. Боги небесные, богатые кавалеры! Что тогда станет с нами?

— Я хочу подарить тебе Экебю, Йеста, но сначала ты должен обещать, что вернешь свободу жене. Эта благородная маленькая женщина не для тебя. Она слишком много страдала в нашем медвежьем крае. Она тоскует по своей светлой родине. Отпусти ее. Для этого я и дарю тебе Экебю.

Но тут графиня Элисабет подошла к майорше и опустилась возле постели на колени.

— Я больше не стремлюсь вернуться на родину, госпожа майорша. Этот человек, мой муж, нашел выход, выбрал путь, по которому я готова идти. Отныне мне не надо будет идти с ним по жизни, строгой и холодной, беспрестанно напоминать ему о раскаянии, об искуплении грехов. Бедность, вечные заботы и тяжкий труд сделают свое дело. По пути, ведущем к бедным и немощным, я могу идти без греха. Жизнь на севере больше не страшит меня. Но не делайте его богатым, госпожа майорша! Ведь тогда я не смогу здесь остаться.

Майорша приподнялась в постели.

— Все счастье вы требуете для себя! — закричала она, потрясая кулаками. — Все счастье и благословение Божие! Нет, пусть Экебю достанется кавалерам им на погибель! Пусть муж и жена разлучатся, пусть они погибнут! Ведь я ведьма, мерзкая чертовка, я совращала вас на путь зла. Какова обо мне слава, такой мне и должно быть.

Она схватила письмо и бросила его Йесте в лицо. Черная бумага затрепыхала и упала на пол. Йесте она была хорошо знакома.

— Ты виноват передо мной, Йеста. Ты обидел ту, кто была тебе второй матерью. Неужто ты теперь посмеешь перечить мне, не смиришься с наказанием, какое я тебе избрала? Ты примешь от меня Экебю, и это погубит тебя, потому что ты слабоволен. Ты отошлешь домой свою жену, чтобы уже никто не смог бы спасти тебя. Ты умрешь столь же сильно ненавидим всеми, как я. О Маргарете Сельсинг будут вспоминать как о ведьме. Ты же останешься в памяти людей расточителем и кровопийцей.



Она снова откинулась на подушки, и наступило молчание. И в этой тишине вдруг послышался глухой удар, потом еще один и еще. Это запел свою мощную песню кузнечный молот.

— Слушайте! — сказал тогда Йеста Берлинг. — То поют славу Маргарете Сельсинг! Это не сумасбродные проделки пьяных кавалеров! Это победный гимн труда в честь доброй старой труженицы. Вы слышите, госпожа майорша, о чем поет молот? «Благодарю, — говорит он, — благодарю за честный труд, что ты дала беднякам, благодарю за дороги, что ты проложила, за селения, что ты построила! Благодарю за радость и веселье, царившие в твоём доме! Благодарю! — поет он. — Спи же с миром! Дело твоих рук не умрет. Твой дом будет всегда пристанищем тех, кто трудится на благо людям. Спасибо тебе, — поет он, — и не суди нас, наши заблудшие души! Отправляясь в царство покоя, не суди строго нас, оставшихся на брэнной земле!»

Йеста умолк, а молот продолжал петь. Все голоса, желавшие выразить майорше свою любовь и уважение, слились в этой песне. Постепенно напряжение исчезло с её лица, черты его разгладились, казалось, тень смерти уже опустилась на неё.

В комнату вошла дочь пастора из Брубю и сказала, что прибыли господина из Хегфорса. Майорша велела им удалиться. Она раздумала писать завещание.

— О Йеста Берлинг, герой, совершивший столько подвигов! Ты победил и на этот раз. Наклонись ко мне, дай мне благословить тебя!

Её снова стало лихорадить. В горле послышались предсмертные хрипы. Тело корчилось в тяжких страданиях, но душа уже ничего не знала об этом. Она уже лицезрела небеса, открывающиеся умирающим.

Час спустя схватки жизни со смертью прекратились. Она лежала столь умиротворенная и прекрасная, что стоявшие возле неё люди были глубоко взволнованы.

— Дорогая старая майорша, — сказал Йеста, — такой я уже видел тебя однажды! Маргарета Сельсинг вновь ожила. Теперь она никогда не уступит место майорше из Экебю.

Вернувшись из кузницы, кавалеры узнали, что майорша умерла.

— А слышала она удары молота?

— Да, слышала.

И кавалеры были рады тому, что старались не напрасно. Они узнали также, что майорша хотела оставить им Экебю, но завещание не было составлено. Они сочли это большой честью для себя и похвалялись этим до конца своих дней. Но никто не слышал, чтобы они когда-нибудь жалели о потерянном богатстве.

Рассказывают, что в эту рождественскую ночь Йеста Берлинг, стоя рядом со своей молодой женой, держал перед кавалерами свою последнюю речь. Он тревожился за их судьбу, ведь им придется убраться из Экебю. Впереди у них лишь старческие недуги. Холодный прием ожидает старого и угрюмого человека в чужом доме. Бедного кавалера, вынужденного из милости жить у крестьянина, ожидают невеселые дни. Ему предстоит прозябать в одиночестве, разлученному с друзьями.

Обращаясь к своим друзьям, беспечным, привыкшим ко всем превратностям судьбы, он назвал их древними богами, рыцарями, появившимися в стране железа в железный век, чтобы принести сюда радость и веселье. Он скорбел о том, что в райском саду, где порхали крылатые бабочки радости, появились прожорливые гусеницы, пожирающие плоды.

Разумеется, он знал, что радость и веселье нужны детям земли, что без них нет жизни. Но он знал также, сколь трудна стоящая перед миром загадка — как соединить радость и веселье с добротой. Казалось бы, это самое простое, но в то же время и самое трудное дело. До этих пор им не удавалось отгадать эту загадку. Но теперь ему представлялось, что за этот год, год радости, горькой нужды и счастья, они многое постигли.

\* \* \*

Ах, добрые господа кавалеры, мне тоже горек миг расставаний. Это последняя ночь, которую я с вами провела без сна. Я не услышу больше ни радостного смеха, ни веселых песен. Пришло время

расставаться мне с вами и со всеми веселыми обитателями берегов Левена.

Дорогие мои старые друзья! В давние дни вы одарили меня богатыми дарами. Вы поведали мне, живущей в глубоком уединении, о полноте и богатстве изменчивой жизни. На берегах озера моих детских мечтаний вы сражались, подобно героям Рагнарека.[\[54\]](#) Но что я сумела дать вам?

Быть может, вас порадует то, что ваши имена вновь зазвучат рядом с названиями дорогих вам усадеб? Пусть блеск и великолепие вашей жизни вновь засияет над этим краем! Еще стоит Борг, еще стоит Бьерне, стоит и Экебю на берегу Левена, окруженное водопадами и озерами, парками и улыбающимися лесными полянками. Стоит выйти на широкий балкон, как старые предания начинают роиться в воздухе, как пчелы в летнюю пору.

Да, кстати о пчелах, позвольте мне рассказать вам еще одну старую историю! Коротышка Рустер, тот самый, что шел с барабаном впереди шведской армии, когда она в 1813 году вступила в Германию, [\[55\]](#) позднее не уставая рассказывал истории об удивительных странах. Люди, по его словам, там ростом с колокольню, ласточки не меньше орла, а пчелы величиной с гуся.

— Ну а какие же там тогда ульи?

— Обыкновенные, такие же, как у нас.

— А как же туда залетают пчелы?

— Это уж их забота, — отвечал коротышка Рустер.

\* \* \*

Дорогой читатель, не должна ли я сказать тебе то же самое? Ведь гигантские пчелы фантазии целый год летали над нами, но как им попасть в улей действительности, это уж, верно, их забота.

# **Перстень Левеншельдов**

# I

Знаю я, бывали в старину на свете люди, не ведавшие, что такое страх. Слыхивала я и о таких, которые за удовольствие почитали пройтись по первому тонкому льду. И не было для них большей отрады, чем скакать на необъезженных конях. Да, были среди них и такие, что не погнушались бы сразиться в карты с самим юнкером Алегордом, хотя заведомо знали, что играет он краплеными картами и оттого всегда выигрывает. Знала я и несколько бесстрашных душ, что не побоялись бы пуститься в путь в пятницу или же сесть за обеденный стол, накрытый на тринадцать персон. И все же сомневаюсь, хватило бы у кого-нибудь из них духу надеть на палец ужасный перстень, принадлежащий старому генералу из поместья Хедебю.

Это был тот самый старейший генерал, который добыл Левеншельдам и имя, и поместье, и дворянское достоинство. И до тех пор, пока поместье Хедебю оставалось в руках у Левеншельдов, его портрет висел в парадной гостиной на верхнем этаже меж окнами. То была большая картина, занимавшая весь простенок от пола до потолка. Издали казалось, будто это Карл XII<sup>[56]</sup> собственной персоной, будто это он стоит здесь в синем мундире, в больших замшевой кожи перчатках, упрямо попирая огромными ботфортами пестрый, в шахматную клетку, пол. Но подойдя поближе, вы видели, что изображен был человек совсем иного рода.

Над воротом мундира возвышалась могучая и грубая мужичья голова; казалось, человек на портрете рожден, чтобы пахать землю до конца дней своих. Но при всем своем безобразии малый этот был с виду и умен, и верен, и славен. Явись он на свет в наши дни, он мог бы стать по меньшей мере присяжным заседателем в уездном суде, а то и председателем муниципалитета. Да, кто знает, может статься, он и в риксдаге бы заседал.<sup>[57]</sup> Но поскольку жил он во времена великого доблестями короля, он отправился на войну; туда пошел бедным солдатом, а вернулся домой прославленным генералом Левеншельдом; и в награду за верную службу жалован был от казны имением Хедебю в приходе Бру.

Словом, чем дольше вы разглядывали портрет, тем больше примирились с обликом генерала. Казалось, вы начинали понимать — да, таковы и были они, те самые воины, что под началом короля Карла XII проложили ему путь в Польшу и Россию. [58] Его сопровождали не только искатели приключений и придворные кавалеры, но и такие простые и преданные люди, как этот вот на портрете. Они любили его, полагая, что ради такого короля стоит и жить и умереть.

Когда вы рассматривали изображение старого генерала, рядом всегда оказывался кто-нибудь из Левеншельдов, чтобы заметить невзначай: это-де вовсе не признак тщеславия у генерала, что он стянул перчатку с левой руки, дабы художник запечатлел на портрете большой перстень с печаткой, который старый Левеншельд носил на указательном пальце. Перстень этот жалован был ему королем, а для него на свете существовал лишь один-единственный король. И перстень был изображен вместе с генералом на портрете, дабы засвидетельствовать, что Бенгт Левеншельд остался верен Карлу XII. Ведь немало довелось ему выслушать злых наветов на своего повелителя! [59] Осмеливались даже уверять, будто неразумием своим и своевољствием он довел державу чуть не до гибели; но генерал все равно оставался ярим приверженцем короля. Ибо король Карл был для него человеком, равного которому не знал мир! И тому, кто был близок к нему, довелось узнать, что есть на свете нечто такое, что прекраснее и возвышеннее славы мирской и успехов и за что стоит сражаться.

Точно так же как Бенгт Левеншельд пожелал, чтобы перстень был запечатлен вместе с ним на портрете, пожелал он взять его с собой и в могилу. И тут дело было вовсе не в тщеславии. У него и в мыслях не было похвалиться тем, что он носит на пальце перстень великого короля, когда он предстанет пред господом Богом и сонмом Его архангелов. Скорее всего он надеялся, что лишь только он вступит в ту залу, где восседает окруженный своими лихими рубаками Карл XII, перстень послужит ему опознавательным знаком. Так что и после смерти ему доведется быть вблизи того человека, которому он служил и поклонялся всю свою жизнь.

Итак, когда гроб генерала опустили в каменный склеп, который он приказал воздвигнуть для себя на кладбище в Бру, перстень все еще красовался на указательном пальце его левой руки. Среди провожавших генерала в последний путь нашлось немало таких, кто

посетовал, что подобное сокровище последует за покойником в могилу, ибо перстень генерала был почти столь же славен и знаменит, как он сам. Толковали, будто золота в нем столько, что хватило бы на покупку целого имения и что алый сердолик с выгравированными на нем королевскими инициалами стоил ничуть не меньше. И все полагали, что сыновья генерала достойны всяческого уважения за то, что не противились отцовской воле и оставили эту драгоценность при нем.

Если перстень генерала и в самом деле был таков, каким он изображен на портрете, то это была преуродливая и грубая вещь, которую в нынешние времена вряд ли кто пожелал бы носить на пальце. Однако перстень Левеншельдов необычайно ценился двести лет тому назад. Нельзя забывать, что все украшения и сосуда из благородного металла надлежало тогда за редким исключением сдавать в казну,[\[60\]](#) что приходилось бороться с Гертцовыми далерами и с государственным банкротством и что для многих золото было чем-то таким, о чем они знали только понаслышке и чего никогда в глаза не видывали. Так и случилось, что в народе не могли забыть про золотой перстень, который был положен в гроб без всякой пользы для людей. Многие были готовы считать даже несправедливым, что он лежал там. Ведь его можно было продать за большие деньги в чужие страны и добыть хлеб тому, кому нечем было кормиться, кроме как сечкой и древесной корой.

Но хотя многие и желали завладеть этой великой драгоценностью, не нашлось никого, кто бы вправду помышлял присвоить ее. Перстень так и лежал в гробу с привинченной крышкой, в замурованном склепе, под тяжелыми каменными плитами, недоступный даже самому дерзкому вору; и думали, что так он и останется там до скончания веков.

## II

В марте месяце года 1741-го почил в бозе генерал-майор Бенгт Левеншельд, а спустя несколько месяцев того же года случилось так, что маленькая дочка ротмистра Йерана Левеншельда, старшего сына генерала, жившего в ту пору в Хедебю, умерла от кровавого поноса. Хоронили ее в воскресенье, тотчас после службы, и все молельщики прямо из церкви последовали за погребальным шествием и проводили покойницу к Левеншельдовой фамильной гробнице, где обе огромных могильных плиты были сдвинуты на самый край. В своде склепа под плитами каменщик сделал пролом, дабы гробик мертвого дитяти можно было поставить рядом с дедушкиным.

Покуда прихожане, собравшиеся у склепа, внимали надгробному слову, может статься, кое-кто и вспомнил о королевском перстне и посетовал на то, что вот лежит он, дескать, сокрытый в могиле без всякой пользы и радости.

А может, кое-кто и шепнул соседу, что теперь не так уж и трудно добраться до перстня: ведь до завтрашнего дня склеп вряд ли замуруют.

Среди тех, кого тревожили подобные мысли, был и некий крестьянин из усадьбы Мелломстуга в Ольсбю; звали его Борд Бордссон. Он был вовсе не из тех, кто стал бы горевать до седых волос из-за перстня. Напротив того, когда кто-нибудь заводил речь про перстень, Борд обычно говорил, что у него-де и так хорошая усадьба и ему незачем завидовать генералу, унеси он с собой в могилу хоть целый шеффель [\[61\]](#) золота.

И вот теперь, стоя на кладбище, Борд Бордссон, как и многие другие, подумал: «Чудно, что склеп останется открытым». Но не обрадовался этому, а обеспокоился. «Ротмистру, пожалуй, надо бы приказать, чтобы склеп замуровали нынче же после полудня, — подумал он. — Найдутся такие, кому приглянется этот перстень».

Дело это его вовсе и не касалось, но как бы то ни было, а он все больше и больше свыкался с мыслью, что опасно оставлять склеп открытым на ночь. Стоял август, ночи были темные, и если склеп не замуруют нынче же, то туда может пробраться вор и завладеть сокровищем.



Его охватил такой страх, что он уже начал было подумывать, не пойти ли ему к ротмистру, чтобы предупредить его. Но Борд твердо знал, что в народе он слывет простофилей, и ему не хотелось выставлять себя на посмешище. «В этом деле ты прав, это уж точно, — подумал он, — но ежели выказать излишнее усердие, тебя поднимут на смех. Ротмистр — малый не промах и уж непременно распорядится, чтобы заделали пролом».

Он так углубился в свои думы, что даже не заметил, как погребальный обряд окончился, и продолжал стоять у могилы. И простоял бы еще долго, если бы жена не подошла к нему и не дернула за рукав кафтана.

— Что это на тебя нашло? — спросила она. — Стоишь тут и глаз не сводишь, будто кот у мышинной норки.

Крестьянин вздрогнул, поднял глаза и увидел, что, кроме них с женой, никого на кладбище уже нет.

— Да ничего, — ответил он. — Стоял я тут, и взбрело мне на ум...

Он охотно поведал бы жене, что именно ему взбрело на ум, но он знал, что она куда смекалистей его. И сочла бы лишь, что тревожится он зря. Сказала бы, что замурован склеп или нет — никого это дело не касается, кроме ротмистра Левеншельда.

Они отправились домой и вот тут-то, на дороге, повернувшись спиной к кладбищу, Борду Бордссону и выкинуть бы из головы мысли о генеральской гробнице, да где уж там. Жена все толковала о похоронах: о гробе и о гробonosцах, о похоронной процессии и о надгробных речах. А он время от времени вставлял словечко, чтобы не заметила она, что он ничего не видит и не слышит. Женин голос звучал уже где-то вдалеке. А в мозгу у Борда все вертелись одни и те же мысли: «Нынче у нас воскресенье, и, может статься, каменщик не пожелает заделать склеп в свой свободный день. Но коли так, ротмистр мог бы дать могильщику далер, чтобы тот покараулил могилу ночью. Эх, кабы он догадался это сделать!»

Неожиданно Борд Бордссон заговорил вслух сам с собой:

— Что ни говори, а надо было мне пойти к ротмистру! Да, надо было! Эка важность, коли люди и подняли бы меня на смех!

Он совсем забыл, что рядом с ним шла жена, и очнулся, лишь когда она вдруг остановилась и уставилась на него.

— Да ничего, — сказал он. — Это я все над тем делом голову ломаю.

Они снова зашагали к дому и вскоре очутились у себя в Мелломстуге.

Он надеялся, что хоть здесь-то уж избавится от тревожных мыслей, и так оно, может, и случилось бы, примись он за какую-нибудь работу; но день-то был воскресный. Пообедав, жители Мелломстуги разбрелись кто куда. Он один остался сидеть в горнице, и на него снова напало прежнее раздумье.

Немного погодя он поднялся с лавки, вышел во двор и почистил коня скребницею, намереваясь съездить в Хедебю и потолковать с ротмистром. «А не то перстень украдут нынче же ночью», — подумал он.

Однако выполнить свое намерение ему не пришлось. Он был человек робкий. Вместо того он пошел к соседу на двор потолковать о том, что его беспокоило, но сосед был дома не один, и Борд по своей чрезмерной робости снова не осмелился заговорить. Он вернулся домой, так и не вымолвив ни слова.

Лишь только солнце село, он улегся в постель, собираясь тут же заснуть. Но сон не шел к нему. Снова вернулось беспокойство, и он все вертелся да ворочался в постели.

Жене, разумеется, тоже было не уснуть, и вскоре она стала расспрашивать, что с ним такое.

— Да ничего, — по своему обыкновению, отвечал он. — Вот только дело одно у меня все из головы нейдет.

— Да, слыхала я нынче про это не раз, — молвила жена, — теперь давай выкладывай, что задумал. Уж не такие, верно, опасные дела у тебя на уме, чтобы нельзя было про них мне рассказать.

Услыхав эти слова, Борд вообразил, что он тут же уснет, если послушается жены.

— Да вот лежу я и все думаю, — сказал он, — замуровали ли генералов склеп, или же он всю ночь простоит открытый.

Жена засмеялась.

— И я про то думала, — сказала она, — и сдается мне, что всякий, кто был нынче в церкви, об этом же думает. Но чего тебе-то из-за этакоего дела без сна ворочаться?

Борд обрадовался, что жена не приняла его слова близко к сердцу. У него стало на душе спокойнее, и он решил было, что теперь-то уж непременно уснет.

Но как только он улегся поудобней, беспокойство вернулось к нему. Ему чудилось, будто со всех сторон, изо всех лачуг подкрадываются к нему человеческие тени. Все они вышли с одним и тем же тайным умыслом, все направляются к кладбищу и к тому самому открытому склепу.

Он попытался было лежать не двигаясь, чтобы дать жене уснуть, но у него заболела голова и пот прошиб. И поневоле он стал вертеться да ворочаться в постели.

Под конец у жены лопнуло терпение, и она как бы в шутку бросила ему:

— Ей-богу, муженек, по мне, так уж лучше бы тебе самому сходить на кладбище да поглядеть, все ли ладно с могилой, чем лежать тут да ворочаться с боку на бок, глаз не смыкая.

Не успела она выговорить эти слова, как муж ее выскочил из постели и стал натягивать на себя кафтан. Он решил, что жена права. От Ольсбю до церкви в Бру ходьбы было не более получаса. Через час он вернется домой и спокойно проспит всю ночь напролет.

Но не успел он выйти за порог, как жене подумалось, что мужу будет, верно, не по себе на кладбище, коли он пойдет туда один-одинешенек. Она быстро вскочила и так же быстро набросила на себя платье.

Мужа она нагнала на холме близ Ольсбю. Услыхав ее шаги, Борд расхохотался.

— За мной пошла, проведать, не стяну ли я генералов перстень? — спросил он.

— Ах ты мой сердечный! Уж я-то знаю, что ничего такого у тебя и в мыслях нет. Я пошла, только чтобы быть с тобой, коли тебе явится дух кладбищенский либо лошадь-мертвяк. [\[62\]](#)

Они прибавили шагу. Настала ночь, и в непроглядной тьме виднелась на западе лишь узенькая светлая кромка. Муж с женой хорошо знали дорогу. Они разговаривали и были в веселом расположении духа. Ведь на кладбище они шли только для того, чтобы взглянуть, открыт ли склеп, и чтобы Борду не мучиться без сна, ломая себе над этим голову.

— Нет, никак не поверить, будто они там в Хедебю такие растяпы, что не замуруют перстень сызнова!

— Да уж вскорости все узнаем, — молвила жена. — А вот, никак, и кладбищенская ограда!

Крестьянин остановился, подивившись веселому голосу жены. Нет, быть того не может, чтобы она отправилась на кладбище с иными помыслами, чем он.

— Прежде чем войти на кладбище, — сказал Борд, — нам, поди, надо бы уговориться, что станем делать, ежели могила открыта.

— Уж и не знаю, закрыта ли, открыта ли, а только наше дело — вернуться домой да лечь спать!

— И то верно, твоя правда! — сказал, снова зашагав, Борд. — И не жди, чтобы кладбищенские ворота были об эту пору не заперты, — добавил он.

— Пожалуй что так, — подхватила жена. — Придется нам перелезть через стену, ежели захотим навестить генерала да поглядеть, каково ему там.

Муж снова удивился. Он услышал, как с легким шумом посыпались вниз мелкие камешки, и тут же увидел, как на фоне светлой полоски на западе вырисовывается фигура жены. Она влезла уже наверх, на стену, и ничего мудреного в том не было, потому что стена была невысока — всего несколько футов. Диковинным показалось ему только то, что жена выказала такую ретивость, взобравшись наверх прежде его.

— Ну вот, — сказала она. — Давай руку, я пособлю тебе взобраться!

Вскоре стена осталась позади, и теперь они молча и осторожно пробирались среди невысоких могильных холмиков.

Один раз Борд споткнулся о такой холмик и чуть было не упал. Ему почудилось, будто кто-то подставил ему ножку. Он так испугался, что весь задрожал и заговорил громко, во весь голос, чтоб мертвецы поняли, с какими намерениями он пришел на кладбище.

— Не хотел бы я прийти сюда, будь дело мое неправое.

— Еще чего скажешь, — возразила жена. — Уж тут-то ты прав. А вон уж и могила виднеется!

Под темным ночным небом он разглядел вывороченные из земли могильные плиты.

Вскоре они были уже у самой могилы и увидели, что она открыта. Пролом в склепе не был заделан.

— Ну и недотепы же они, — выругался Борд. — Будто нарочно хотят ввести в тяжкое искушение тех, кто знает, какая драгоценность там упрятана.

— Верно, надеются, что никто не посмеет тронуть покойника, — сказала жена.

— Да и вообще-то мало радости лезть в такую могилу, — молвил муж. — Спрыгнуть-то вниз, пожалуй, не трудно, только потом сиди там, как лиса в норе.

— Нынче утром я видала, как они опустили в склеп лесенку, — сказала жена. — Но ее уж, поди, убрали.

— А погляжу-ка я и в самом деле, — сказал муж и стал шарить руками в могильном проломе. — Нет, гляди-ка ты! — воскликнул он. — Слыхано ли дело! Лесенка-то еще тут!

— Ну и растяпы! — поддакнула жена. — Только, по мне, тут ли лесенка или нет — разница невелика. Ведь тот, кто там внизу, и сам сможет за свое добро постоять.

— Кабы знать это дело! — подхватил муж. — Может, хоть лесенку убрать?

— Ничего в могиле трогать не станем, — сказала жена. — Лучше будет, коли могильщик поутру увидит могилу точь-в-точь такой же, какой оставил ее накануне.

Растерянные и нерешительные, стояли они, уставившись на черный, зияющий пролом. Им бы пойти теперь домой, но нечто таинственное, нечто такое, чего никто из них не осмеливался назвать своим именем, удерживало их на кладбище.

— Да можно бы оставить лесенку и на месте, — произнес наконец Борд, — будь я уверен, что у генерала есть сила удержать воров.

— Ты ведь можешь спуститься вниз, в склеп, — посоветовала жена, — вот тогда сам увидишь, какая у него сила.

Казалось, будто Борд только и дожидался от жены этих слов. Мигом очутился он подле лесенки и стал спускаться в пролом.

Но только ступил он на каменный пол подземелья, как услышал поскрипыванье лесенки и увидел, что следом за ним лезет и жена.

— Вон что, ты и сюда за мной тащишься, — молвил он.

— Боязно мне оставить тебя один на один с покойником.

— А не так уж он и страшен, — возразил муж. — И не чую, что холодная рука хочет меня удушить.

— Да уж ничего он нам, поди, не сделает, — молвила жена. — Он-то знает, что у нас и в мыслях не было украсть перстень. Вот кабы мы потехи ради стали отвинчивать крышку гроба, тогда другое дело.

Муж ощупью пробрался к гробу генерала и принялся шарить рукой вдоль крышки. Он отыскал винт с небольшим крестиком на шляпке.

— Тут будто бы нарочно все так и прилажено для вора, — сказал Борд, принимаясь ловко и осторожно отворачивать винты гроба.

— Слышишь что-нибудь? — спросила жена. — Не шевелится ли он в гробу?

— Тут тихо, как в могиле, — ответил муж.

— Он ведь, поди, не думает, что мы замыслили отнять у него что ему всего дороже, — молвила жена. — Вот кабы мы крышку гроба подняли, тогда другое дело.

— Да, ну тут уж придется тебе мне пособить, — сказал муж.

Они подняли крышку и теперь уже не в силах были сдержать алчность. Им не терпелось овладеть сокровищем. Они сорвали перстень с истлевшей руки, опустили крышку и, не проронив ни единого слова, потихоньку выбрались из могилы. Проходя через кладбище, они взялись за руки и, только оказавшись по другую сторону низкой серокаменной кладбищенской стены и спустившись на проселок, осмелились заговорить.

— Думается мне, — сказала жена, — что он сам этого хотел. Понял, что негоже покойнику беречь такое сокровище, вот и отдал его нам по доброй воле.

Муж расхохотался.

— Да, хороша ты, нечего сказать, — вымолвил он. — Нет уж, не заставишь ты меня поверить небылице, будто он отдал нам перстень по доброй воле; просто у него силы не было нам помешать.

— Знаешь что, — молвила жена, — нынче ночью ты был страсть какой храбрый. Мало таких, кто осмелится спуститься в могилу.

— А я вовсе и не думаю, что поступил неладно. У живого я бы никогда и далера не взял, ну а что за беда взять у мертвого то, что ему вовсе не нужно.

Шли они гордые и довольные собой и только диву давались, что никому, кроме них, не взбрело в голову прибрать к рукам перстень. Борд сказал, что съездит в Норвегию и продаст там перстень, как только представится какая-нибудь оказия. Им казалось, что за перстень удастся выручить столько денег, что им никогда больше не придется испытывать страх за завтрашний день.

— А это что? — внезапно остановившись, спросила жена. — Что я вижу? Неужто заря занимается? На востоке-то вроде светает!

— Нет, солнцу еще рано вставать, — сказал крестьянин. — Видать — пожар. И вроде бы где-то в стороне Ольсбю. Уж не...

Его прервал громкий голос жены.

— Это у нас горит! — кричала она. — Мелломстуга горит! Генерал поджег ее!

В понедельник утром в усадьбу Хедебю, расположенную совсем близко от церкви, ворвался могильщик и, едва переводя дух, выпалил: им с каменщиком, который собирался вновь замуровать склеп, показалось, будто крышка генеральского гроба съехала набок и что щиты с гербами и орденские ленты, которыми она убрана, сдвинуты с места.

Немедля люди спустились в склеп и обнаружили, что там царит страшный беспорядок и что винты гроба сорваны. Когда сняли крышку, то сразу же увидели, что на указательном пальце левой руки генерала перстня нет.

### III

Я думаю о короле Карле XII и пытаюсь представить себе, как люди любили его и как боялись.

Ибо я знаю, что незадолго перед смертью королю случилось однажды зайти в карлстадскую церковь во время богослужения. Он приехал в город верхом, один и неожиданно; зная, что в церкви идет служба, он оставил коня у церковных ворот и вошел не через главный вход, а через притвор, как обычный прихожанин.

Но уже в дверях он увидел, что пастор поднялся на кафедру, и, не желая мешать ему, остался стоять там, где стоял. Не отыскав себе даже место на скамье, а прислонясь спиной к дверному косяку, он стал слушать проповедь.

Но хотя он и вошел незаметно и молча стоял в сумраке под церковными хорами, с самой задней скамьи кто-то узнал его. Быть может, то был старый солдат, потерявший руку или ногу в походах и отосланный домой еще до Полтавы. И солдату подумалось, что этот человек с зачесанными назад волосами и орлиным носом, должно быть, и есть сам король. И, узнав его, он в тот же миг поднялся со скамьи.

Соседи по скамье, верно, подивились, зачем он поднялся, и тогда он шепнул им, что сам король здесь, в церкви. И вслед за ним невольно поднялись все, кто сидел на этой скамье, как это бывало всегда, когда с алтаря или с кафедры возвещались слова самого господина Бога.

Весть о том, что король в церкви, мигом разнеслась с одной скамьи на другую, и все как один — и стар и млад, и богатые и бедные, и больные и здоровые — все поднялись с места.

Случилось это, как уже сказано, незадолго до смерти короля Карла, когда начались его горести и невзгоды. Пожалуй, во всей церкви не нашлось бы тогда человека, который не лишился бы дорогих его сердцу родичей либо не потерял всего своего состояния, и все по вине этого короля. И если кому-нибудь даже и не приходилось роптать на собственную долю, ему стоило бы подумать о том, как разорена страна, сколько потеряно из завоеванных земель, и о том, что все королевство окружено врагами.[\[63\]](#)



И тем не менее, тем не менее... Стоило людям услышать разнесенную шепотом молву о том, что здесь, в храме Божьем, находится тот самый человек, которого столько раз проклинали, как все разом поднялись с места.

Поднялись и остались стоять. Никто и не подумал сесть снова. Это было попросту невозможно. Там у бокового входа стоял сам король, и куда он стоял, нужно было стоять всем. Если б кто-нибудь сел, он нанес бы королю бесчестье.

Может статься, проповедь продлится долго, но ничего не поделаешь, придется потерпеть. Никто не хотел оскорбить его, стоявшего у боковых дверей.

Он был солдатским королем и привык к тому, что солдаты охотно шли за него на смерть.[\[64\]](#) Но здесь, в церкви, вокруг него были простые горожане и ремесленники, простые шведские мужчины и женщины, никогда в жизни не слыхавшие команду: «Взять на караул!» Однако стоило ему только показаться среди них, и они уже подпадали под его власть. Они пошли бы за ним в огонь и в воду, отдали бы ему все, чего он пожелает, они верили в него, боготворили его. Во всей церкви прихожане молились за этого необыкновенного человека, который был королем Швеции.

Я пытаюсь вдуматься во все это, я пытаюсь понять, почему любовь к королю Карлу могла безраздельно завладеть человеческой душой и так глубоко укорениться даже в самом угрюмом и суровом старом сердце, что все люди думали — любовь эта будет сопутствовать ему и после смерти.

И потому, после того как обнаружилась кража перстня Левеншельдов, в приходе Бру больше всего дивились, что у кого-то хватило духа на такое недоброе дело. А вот любящих женщин, погребенных с обручальным кольцом на пальце, — тех, по мнению прихожан, воры могли грабить без опаски. Или же если какая-нибудь нежная мать уснула вечным сном, держа локон своего ребенка, то и его безбоязненно могли бы вырвать у нее из рук. И если какого-нибудь пастора уложили в гроб с Библией в головах, то и Библию эту, верно, можно было бы похитить у него без всякого вреда для лиходея. Но похитить перстень Карла XII с пальца мертвого генерала из поместья Хедебю! Невозможно представить себе, чтобы человек, рожденный женщиной, решился на такое отчаянное святотатство!

Разумеется, не раз учиняли розыск, но это ни к чему не привело — лиходея так и не нашли. Вор пришел и ушел во мраке ночи, не оставив ни малейших улик, которые могли бы навести на след.

И этому опять-таки дивились. Ведь ходило немало толков о призраках, которые являлись по ночам, чтоб обличить преступника, свершившего куда меньшее злодеяние.

Но в конце концов, когда стало известно, что генерал отнюдь не бросил перстень на произвол судьбы, а напротив, боролся за то, чтобы вернуть его назад, боролся с той самой грозной неумолимостью, какую выказал бы, будь перстень украден у него при жизни, ни один человек ничуть тому не изумился. Никто не выразил сомнения в том, что так оно все и было, ибо ничего иного от генерала и не ждали.

## IV

Это случилось много лет спустя после того, как бесследно исчез перстень генерала. В один прекрасный день пастора из Бру призвали к бедному крестьянину Борду Бордссону с отдаленного сэттера в лесах Ольсбю. Борд Бордссон лежал на смертном одре и непременно желал перед смертью поговорить с самим пастором. Пастор был человек пожилой и, услышав, что надобно навеститься к больному, жившему за много миль от Бру в непроходимой чаще, решил — пусть вместо него поедет пастор-адьюнкт.<sup>[65]</sup> Но дочь умирающего, которая принесла пастору эту весть, отказалась наотрез. Пусть едет сам пастор, или вообще никого не надо. Отец-де кланялся и наказал передать: ему надо рассказать что-то, о чем можно знать одному только пастору, а больше никому на свете.

Услышав это, пастор порылся в своей памяти. Борд Бордссон был славный малый. Правда, чуть простоватый, но не из-за этого же ему тревожиться на смертном одре. Ну, а ежели рассудить по-человечески, то священник сказал бы, что Борд Бордссон был один из тех, кто обижен богом. Последние семь лет крестьянина преследовали всяческие беды и напасти. Усадьба сгорела, а скотина либо пала от повального мора, либо ее задрали дикие звери. Мороз опустошил пашни, так что Борд обнищал, как Иов. Под конец жена его пришла в такое отчаяние от всех этих напастей, что бросилась в озеро. А сам Борд перебрался в пастушью хижину в глухом лесу; то было единственное, чем он еще владел. С той поры ни сам он, ни дети его не показывались в церкви. Об этом не раз толковали в пасторской усадьбе, недоумевая, живут ли еще Бордссоны в их приходе, или нет.

— Насколько я знаю твоего отца, он не совершал такого тяжкого греха, в котором не мог бы исповедаться адьюнкту, — сказал пастор, глядя с благосклонной улыбкой на дочь Борда Бордссона.

Для своих четырнадцати лет она была не по возрасту рослая и сильная девчонка. Лицо у нее было широкое, черты лица грубые. Вид у нее был чуточку простоватый, как и у отца, но выражение детской невинности и прямотушия скрашивало ее лицо.

— А вы, досточтимый господин пастор, верно, не боитесь Бенгтсилача? Ведь не из-за него вы не отваживаетесь поехать к нам? —

спросила девочка.

— Что такое ты говоришь, детка? — удивился пастор. — Что это за Бенгт-силач, о котором ты толкуешь?

— А тот самый, кто подстраивает так, что все у нас не ладится.

— Вот как, — протянул пастор, — вот как. Стало быть, это тот, кого зовут Бенгт-силач?

— А разве вы, досточтимый господин пастор, не знаете, что это он поджег Мелломстугу?

— Нет, об этом мне слышать не приходилось, — ответил пастор, но сразу же поднялся с места и взял свой тревник и небольшой деревянный потир, которые всегда возил с собой, когда ездил по приходу.

— Это он загнал матушку в озеро, — продолжала девочка.

— Худшей беды быть не может! — воскликнул пастор. — А он жив еще, этот Бенгт-силач? Ты видала его?

— Нет, видать-то я его не видала, — отвечала она, — но, он, ясное дело, жив. Это из-за него нам пришлось перебраться в лес и жить среди диких скал. Там он оставил нас в покое до прошлой недели, когда батюшка рубанул себе по ноге топором.

— И в этом тоже, по-твоему, виноват Бенгт-силач? — совершенно спокойно спросил пастор, но сразу же отворил дверь и крикнул работнику, чтобы тот седлал коня.

— Батюшка сказал, что Бенгт-силач заговорил топор, а не то бы ему ни в жисть не повредить ногу. Да и рана-то была вовсе не опасная; а нынче батюшка увидал, что у него антонов огонь в ноге. Он сказал, что теперь-то уж непременно помрет, потому как Бенгт-силач доконал его. Вот батюшка и послал меня сюда и наказал передать, чтобы вы сами к нему приехали, и как можно скорее.

— Ладно, поеду, — сказал пастор.

Пока девочка рассказывала, он набросил на себя дорожный плащ и надел шляпу.

— Одного я не могу понять, — сказал он, — с чего бы этому самому Бенгту-силачу так донимать твоего отца? Уж не задел ли его когда-нибудь Борд за живое?

— Да, от этого батюшка не отпирается, — подтвердила девочка. — Только чем он обидел его, о том батюшка ни мне, ни брату

не сказывал. Сдается мне, что об этом-то он и хочет поведать вам, досточтимый господин пастор.

— Ну, коли так, — сказал пастор, — надо поторопиться.

Натянув перчатки с отворотами, он вышел вместе с девочкой из дому и сел на лошадь.

За все время, пока они ехали к пастушьей хижине в лесу, пастор не проронил ни слова. Он сидел, раздумывая о всех тех диковинах, о которых порассказала ему девочка. Сам он на своем веку встречал лишь одного человека, прозванного в народе Бенгтом-силачом. Но ведь может статься, что девочка говорила не о нем, а совсем о другом Бенгте.

Когда пастор въехал на сэттер, ему навстречу выскочил молодой парень. То был сын Борда Бордссона — Ингильберт. Он был несколькими годами старше сестры, такой же рослый и крупный, как она, и схож с ней лицом. Но глаза у него были посажены глубже, а вид — вовсе не такой прямодушный и добросердечный, как у нее.

— Далеконько вам было ехать, господин пастор, — сказал Ингильберт, помогая пастору спешиться.

— О, да, — сказал старик, — но я приехал быстрее, чем полагал.

— Мне самому бы надо было привезти вас сюда, господин пастор, — сказал Ингильберт, — но я рыбачил вчера вечером допоздна. Лишь вернувшись домой, я узнал, что у отца в ноге антонов огонь и что сестру послали за вами, господин пастор.

— Мэрта не уступит любому парню, — сказал пастор. — Все сошло как нельзя лучше. Ну, а как Борд сейчас?

— По правде говоря, он совсем плох, но еще в уме. Обрадовался, когда я сказал ему, что вы уже выехали из лесу.

Пастор вошел к Борду, а брат с сестрой уселись на широкие каменные плиты возле лачуги и стали ждать. Настроены они были торжественно и разговаривали об отце, который был при смерти. Говорили, что он всегда был добр к ним. Но счастлив не был никогда с того самого дня, как сгорела Мелломстуга, так что, пожалуй, для него лучше будет расстаться с такой злосчастной жизнью.

Вдруг сестра сказала:

— У батюшки, видно, было что-то на совести!

— У батюшки? — удивился брат. — Уж у него-то что могло быть на совести? Да я ни разу не видал, чтобы он замахнулся на скотину или

на человека.

— Но ведь в чем-то он собирался исповедаться пастору, и никому больше.

— Он так сказал? — спросил Ингильберт. — Сказал, что перед смертью хочет в чем-то исповедоваться пастору? Я-то думал, он позвал его сюда только для того, чтобы причаститься.

— Когда он нынче посылал меня за пастором, он сказал, чтоб я упросила его приехать. Ведь пастор — единственный человек на свете, кому он может покаяться в великом и тяжком грехе.

Немного подумав, Ингильберт воскликнул:

— Чудно! Уж не придумал ли он все это, пока сидел тут один? Как и небылицы, которые он, бывало, рассказывал про Бенгта-силача. Все это не иначе как пустые бредни, и ничего больше.

— Про Бенгта-силача он как раз и хотел поговорить с пастором, — сказала девочка.

— Тогда можешь побиться об заклад, что это одни бредни, — сказал Ингильберт.

С этими словами он поднялся с места и подошел к оконцу в стене хижины, которое было отворено, чтобы немного света и воздуха могло проникнуть внутрь. Постель больного стояла так близко от оконца, что Ингильберт мог слышать каждое слово. И сын стал прислушиваться, ничуть не мучаясь угрызениями совести. Быть может, никто ему никогда прежде не говорил, что подслушивать исповедь грешно. Во всяком случае, он был уверен, что у отца нет никаких страшных тайн, которые он мог бы выдать.

Постояв немного у оконца, Ингильберт снова подошел к сестре.

— Ну, что я говорил? — начал он. — Отец рассказывает пастору, что это они вместе с матушкой украли королевский перстень у старого генерала Левеншельда.

— Господи помилуй! — воскликнула сестра. — Уж не сказать ли нам пастору, что все это небылицы, что он сам на себя напраслину возводит.

— Сейчас мы ничего не можем сделать, — возразил Ингильберт. — Пусть теперь говорит что хочет. А с пастором мы после потолкуем.

Он снова подкрался к оконцу и стал подслушивать. На сей раз он не заставил сестру долго ждать и вскоре снова подошел к ней.

— Теперь он говорит, что той же ночью, когда они с матушкой побывали в склепе и взяли перстень, сгорела Мелломстуга. Он думает, будто сам генерал поджег двор.

— По всему видать, что это одна блажь, — сказала сестра. — Нам-то он не меньше сотни раз говорил, что Мелломстугу подпалил Бенгт-силач.

Не успела она договорить эти слова, как Ингельберт снова вернулся на свое место у оконца. На сей раз он долго стоял там, прислушиваясь, а когда снова подошел к сестре, лицо у него потемнело.

— Отец говорит, что это генерал наслал на него все беды, чтоб заставить вернуть перстень. Он говорит, что матушка испугалась и захотела пойти вместе с ним к ротмистру в Хедебю и отдать перстень. Батюшка и рад бы был послушаться ее, да не посмел, думал, что их обоих повесят, коли они повинятся, что обокрали покойника. Но уж тут матушка не могла снести этого, пошла и утопилась.

Тут и лицо сестры потемнело от ужаса.

— Но батюшка всегда говорил, — начала было она, — что это был...

— Ну да! Он только что толковал пастору, будто не смел сказать ни одной живой душе, кто напустил на него все эти беды. Только нам он говорил, что его донимает человек по прозвищу Бенгт-силач. Он сказал, что крестьяне называли генерала Бенгт-силач.

Мэрта Бордссон так и обмерла.

— Стало быть, это правда, — прошептала она тихо — так тихо, словно то были ее предсмертные слова.

Она огляделась по сторонам. Хижина стояла на берегу лесного озерца, а вокруг высились мрачные, одетые лесом гребни гор. Насколько хватал глаз, не видно было человеческого жилья, не было никого, к кому она могла бы обратиться. Повсюду царило одиночество.

И ей почудилось, что в тени деревьев, во мраке караулит покойник, готовясь наслать на них новые беды.

Она была еще таким ребенком, что не могла по-настоящему осознать, какой позор и бесчестье навлекли на себя ее родители. Она понимала одно — что их преследует какой-то призрак, какое-то беспощадное, всемогущее существо из загробного царства. Она ждала,

что этот пришелец в любое время явится и она увидит его; Мэрте стало так страшно, что у нее зуб на зуб не попадал.

Она подумала об отце, который вот уже целых семь лет таил в душе такой же ужас. Ей минуло недавно четырнадцать, и она помнила, что ей было всего семь, когда сгорела Мелломстуга. И все это время отец знал, что мертвец охотится за ним. Да, лучше ему умереть.

Ингильберт снова подслушивал у оконца хижины, а потом вернулся к сестре.

— Ты ведь не веришь этому, Ингильберт? — спросила она, как бы в последний раз пытаясь избавиться от страха. Но тут она увидела, как у Ингильберта дрожат руки, а глаза застыли от ужаса. Ему тоже было страшно, ничуть не меньше, нежели ей.

— Чему же мне тогда верить? — прошептал Ингильберт. — Батюшка говорит, что много раз пытался уехать в Норвегию — хотел продать там перстень, но ему никак не удавалось с места тронуться. То сам захворает, то конь сломает ногу, как раз когда надо съезжать со двора.

— А что сказал пастор? — спросила девочка.

— Он спросил отца, зачем он держал у себя перстень все эти годы, ежели так опасно было владеть им. Но батюшка ответил: он-де думал, что ротмистр велит его повесить, ежели он признается в своем злодействе. Выбирать было не из чего, вот и пришлось ему хранить перстень. Но теперь батюшка знает, что помрет, и хочет отдать перстень пастору, чтобы его положили генералу в могилу, а мы бы, дети, избавились от проклятия и смогли бы снова перебраться в приход к людям.

— Я рада, что пастор здесь, — сказала девочка. — Не знаю, что и делать, когда он уедет. Я так боюсь. Мне чудится, будто генерал стоит вон там, под елками. Подумать страшно, что он бродил тут каждый день и подстерегал нас! А отец, может, даже видел его!

— Я думаю, что отец и вправду видел его, — согласился Ингильберт.

Он снова подошел к хижине и стал прислушиваться. Когда же он вернулся назад к сестре, в глазах его уже было иное выражение.

— Я видел перстень, — сказал он. — Батюшка отдал его пастору. Перстень так и горит! Алый с золотом! Так и переливается. Пастор



взглянул на перстень и сказал, что признал его, что перстень этот — генерала. Подойди к оконцу, и ты увидишь его!

— Лучше гадюку в руки возьму, чем стану глядеть на этот перстень, — сказала девочка. — Неужто ты в самом деле думаешь, что на него любо глядеть?

Ингильберт отвернулся.

— Знаю, что он — наш погубитель, но все равно мне он по душе.

Только он произнес эти слова, как до брата и сестры донесся сильный и громкий голос пастора. До сих пор он давал говорить больному. Теперь настал его черед.

Само собой разумеется, что пастор не мог примириться со всеми этими безумными речами о кознях мертвеца. Он пытался доказать крестьянину, что его постигла божья кара за столь чудовищное злодеяние, как кража у покойника. Пастор вообще не желал согласиться с тем, будто генерал способен учинять пожары либо насыпать хворь на людей и на скот. Нет, беды, разившие Борда, — это кара божья, избранная, дабы принудить его раскаяться и вернуть краденое еще при жизни, после чего грех ему будет отпущен, и он сможет принять блаженную кончину.

Старый Борд Бордссон тихо лежал в постели и слушал пастора, ни словом ему не прекословя. Но, должно быть, тот так и не убедил его. Слишком много ужасов пришлось ему пережить, и не мог он поверить, что все они ниспосланы Богом.

Но брат с сестрой, дрожавшие от ужаса перед наваждениями и призраками, тут же воспрянули духом.

— Слышишь? — спросил Ингильберт, схватив за руку сестру. — Слышишь, пастор говорит, что то был вовсе не генерал.

— Да, — ответила сестра.

Она сидела, сжав руки. Каждое слово, сказанное пастором, глубоко западало ей в душу.

Ингильберт встал. Порывисто вздохнув, он выпрямился. Он был теперь свободен от с недавнего его страха. Он стал с виду совсем другим человеком. Быстрым шагом подошел он к хижине, отворил дверь и вошел.

— Что такое? — спросил пастор.

— Я хочу поговорить с отцом!

— Ступай отсюда! С твоим отцом теперь говорю я! — строго сказал пастор.

Обернувшись к Борду Бордссону, он снова стал говорить с ним то ласково-властным тоном, то ласково-участливым.

Ингильберт, закрыв лицо руками, уселся на каменные плиты. Им овладело сильное беспокойство. Он снова вошел в лачугу, но его снова выставили за дверь.

Когда все было кончено, настал черед Ингильберта проводить пастора в обратный путь через лес. Вначале все шло хорошо, но вскоре им пришлось ехать гатью через болото. Пастор не мог припомнить, чтобы он утром переезжал такое болото, и спросил, не сбился ли Ингильберт с дороги. Но тот ответил, что гатью будет короче всего миновать болото и что она выведет их из лесу напрямик.

Пастор пристально взглянул на Ингильберта. Он уже заметил, что сын, подобно отцу, одержим жаждой золота. Ведь Ингильберт не раз входил в хижину, словно хотел помешать отцу отдать перстень.

— Эх, Ингильберт! Это узкая и опасная дорожка, — сказал пастор. — Боюсь, как бы конь не споткнулся на скользких бревнах.

— А я поведу коня вашего, досточтимый господин пастор, не бойтесь, — сказал Ингильберт и в тот же миг схватил пасторского коня за поводья.

Когда же они очутились посреди болота, где со всех сторон их окружала лишь зыбкая трясына, Ингильберт стал пятить пасторского коня назад. Казалось, он хотел заставить его свалиться с узкой гати.

Конь встал на дыбы, а пастор, который с трудом держался в седле, закричал провожатому, чтобы тот, бога ради, отпустил поводья. Но Ингильберт, казалось, ничего не слышал, и пастор увидел, как он, потемнев лицом, стиснув зубы, одолевает коня, чтобы столкнуть его вниз в вязкую топь. И животное и всадника ждала верная смерть.

Тогда пастор вытащил из кармана сафьяновый мешочек и швырнул его прямо в лицо Ингильберту.

Тот отпустил поводья, чтобы поймать мешочек, и отпустил пасторского коня, и конь в бешеном испуге рванулся вперед по узкой гати. Ингильберт застыл на месте, не сделав ни малейшей попытки догнать пастора.

## V

Не приходится удивляться, что после такого поступка Ингильберта у пастора помутилось в голове. День уже клонился к вечеру, когда ему удалось добраться до жилья. Ничего мудреного не было и в том, что из лесу он попал не на дорогу в Ольсбю, которая была и лучше и короче прочих, а пустился в объезд к югу, так что вскоре очутился у самых ворот Хедебю.

Плутая на коне в лесной чащобе, он только и помышлял о том, чтобы, вернувшись благополучно домой, первым делом послать за ленсманом и попросить его отправиться в лес и отобрать у Ингильберта перстень. Но, проезжая мимо Хедебю, он стал раздумывать, не свернуть ли ему туда по пути и не рассказать ли ротмистру Левеншельду, кто дерзнул спуститься в склеп и украсть королевский перстень.

Казалось бы, над таким ясным делом голову долго ломать не приходилось. Но пастор все же колебался, зная, что ротмистр и его отец не очень ладили между собой. Ротмистр был столь же миролюбив, сколь отец его — воинствен. Он поспешил выйти в отставку, лишь только мы замирились с русскими,<sup>[66]</sup> и с тех пор все свои силы отдавал восстановлению благоденствия в стране, совершенно разоренной за годы войны. Он был против единовластия и воинских почестей и даже имел обыкновение дурно отзываться о самом Карле XII, о его высокой персоне, как, впрочем, и о многом другом, что так высоко ценил его старик отец. Для вящей верности надобно сказать, что сын ревностно участвовал в риксдаговских распрях, причем всегда как сторонник партии приверженцев мира.<sup>[67]</sup> Да, у сына с отцом немало было поводов для раздоров.

Когда семь лет назад был украден генеральский перстень, пастор, да и многие другие сочли, что ротмистр не слишком старался получить его обратно. Все это заставило теперь пастора подумать: «Что пользы, ежели я возьму на себя труд спешиться здесь, в Хедебю. Ротмистр все равно не спросит, кто нынче носит королевский перстень на пальце — отец или Ингильберт. Лучше всего мне тотчас уведомить о краже ленсмана Карелиуса».

Но пока пастор таким путем держал совет с самим собой, он увидел, что ворота, преграждавшие путь в Хедебю, тихонько распахнулись, да так и остались отворенными настежь.

Это было поистине чудо, но мало ли на свете разных ворот, которые таким же манером распахиваются сами по себе, если они плохо затворены. И пастор не стал больше ломать голову над этим обстоятельством, но счел его знаком того, что ему надобно въехать в Хедебю.

Ротмистр принял его радушно, куда приветливее, чем обычно.

— Какая честь для нас, что вы, достопочтенный брат, заглянули к нам. Я как раз жаждал встречи с вами и сегодня не раз намеревался пойти к вам в усадьбу и поговорить об одном весьма необычном деле!

— Понапрасну бы только прошлись, брат Левеншельд, — сказал пастор. — Еще рано поутру я поехал верхом по приходским делам на сэттер[68] в Ольсбю и вот только сейчас возвращаюсь назад. Ну и денек выдался для меня, старика! Столько приключений!

— То же и со мной было, хотя я вряд ли вставал нынче с кресла. Уверяю вас, достопочтенный брат, что хотя мне скоро минет пятьдесят и я бывал в разных переделках, как в суровые военные годы, так и потом, чудес, подобных нынешним, мне переживать не приходилось.

— А раз так, — молвил пастор, — первое слово я уступаю вам, брат Левеншельд. Я тоже могу поведать вам, высокочтимый брат, весьма примечательную историю. Но не стану утверждать, что она удивительнее всех, что приключались со мной на веку.

— Но может статья, — возразил ротмистр, — что вам, достопочтенный брат, моя история вовсе не покажется такой уж необыкновенной. Поэтому-то я и хочу спросить: вы слышали, верно, что рассказывают о Гатенйельме?[69]

— Об этом чудовищном пирате и отчаянном капере,[70] которого король Карл произвел в адмиралы? Кто же не слыхивал, что о нем рассказывают!

— Так вот, — продолжал ротмистр, — нынче за обедом речь зашла о давних военных годах. Мои сыновья и их гувернер принялись расспрашивать меня, как и что было в старину; ведь молодые любят слушать про былое. И заметьте себе, брат мой, что они никогда не спрашивают о той страдной и суровой поре, которую пришлось пережить нам, шведам, после смерти Карла, когда мы из-за войны да

безденежья отстали во всем. Нет, им интересны лишь пагубные военные лета! Ей-богу, и не поверишь: ведь они ни во что не ставят то, что отстраиваешь заново сгоревшие дотла города, закладываешь заводы и мануфактуры, выкорчевываешь леса и поднимаешь новь. Думается, брат мой, сыновья мои стыдятся меня и моих современников за то, что мы покончили с военными походами и перестали опустошать чужие земли. Видно, они думают, что мы куда хуже наших отцов и что нам изменило былое могущество шведов!

— Вы, брат Левеншельд, совершенно правы, — сказал пастор. — Такая любовь молодых людей к ратному делу заслуживает всяческого сожаления.

— Ну вот, я и исполнил их желание, — продолжал ротмистр, — и раз они хотели услышать о каком-нибудь великом герое войны, я и рассказал им о Гатенйельме и о его жестоком обхождении с купцами и мирными путешественниками, желая вызвать своим рассказом ужас и презрение. И когда мне это удалось, я попросил своих домочадцев поразмыслить над тем, что этот Гатенйельм был истый сын военного времени, и поинтересовался, хотелось бы им, чтобы землю населяли подобные исчадия ада?

Но не успели сыновья мои ответить, как слово взял их гувернер и попросил разрешения рассказать еще одну историю о Гатенйельме. И поскольку он заверил меня, что это приключение капера лишь подкрепит мои прежние высказывания об ужасающих зверствах и бесчинствах Гатенйельма, я дал свое согласие.

Он начал свой рассказ с того, что Гатенйельм погиб в молодые лета и тело его было погребено в онсальской церкви[71] в мраморном саркофаге, который он похитил у датского короля.[72] После этого в церкви стали появляться такие страшные привидения, что онсальским прихожанам стало невмоготу. Они не нашли иного средства, кроме как вытащить тело из гроба и предать его земле на пустынной шхере далеко-далеко в море. Отныне церковь обрела мир и покой. Но рыбаки, которым случалось заплывать в воды, близкие к новому месту упокоения Гатенйельма, рассказывали, что оттуда всегда были слышны шум и возня и в любую погоду морская пена бурно вскипала над злосчастной шхерой. Рыбаки полагали, что все это было дело рук корабельщиков и торговых людей, которых Гатенйельм приказывал бросать за борт с захваченных им судов. И теперь они подымались из

своих сырых морских могил, чтобы подвергнуть пирата экзекуции и пытке. А рыбаки всячески остерегались заплывать в ту сторону. Но однажды темной ночью одного из них угораздило оказаться слишком близко от страшного места. Он почувствовал, что его вдруг затянуло в водоворот, в лицо ему хлестнула морская пена, и чей-то громовой голос воззвал к нему:

«Ступай в усадьбу Гата в Онсале и скажи жене моей: пусть пришлет мне семь охапок ореховых прутьев да две можжевеловых палицы!»

Пастор, молча и терпеливо слушавший рассказ собеседника, уловил теперь, что это — обычная история о привидениях, и с трудом удержался от нетерпеливого жеста. Однако ротмистр не обратил на это ни малейшего внимания.

— Вы понимаете, достопочтенный брат мой, что рыбаку ничего не оставалось, как повиноваться этому наказу. Послушалась его и она, жена Гатенйельма. Были собраны самые гибкие ореховые прутья и самые здоровенные можжевеловые палицы, и работник из Онсалы поплыл с ними в море.

Тут пастор сделал столь явную попытку прервать своего собеседника, что ротмистр наконец заметил его нетерпение.

— Знаю, о чем вы думаете, брат мой, — молвил он, — то же думал и я, услышав за обедом эту историю, но сейчас, во всяком случае, попрошу вас, достопочтенный брат мой, выслушать меня до конца. Итак, я хотел сказать, что этот работник из Онсалы, должно быть, был человек бесстрашный, да к тому же весьма преданный своему покойному хозяину. Иначе он вряд ли отважился бы выполнить такой наказ. Когда он подплыл ближе к месту погребения Гатенйельма, шхеру пирата захлестывали такие высокие волны, будто разыгралась страшная буря, а бряцание оружия и шум битвы слышны были далеко вокруг. Однако работник подошел на веслах как можно ближе, и ему удалось забросить на шхеру и можжевеловые палицы и охапки прутьев. Несколько быстрых ударов веслами — и он удалился от страшного места.

— Высокочтимый брат мой... — начал было пастор, но ротмистр был непоколебим.

— Однако дальше плыть он не стал, а перестал грести, решив поглядеть, не случится ли что-нибудь примечательное. И ждать ему

понапрасну не пришлось. Ибо над шхерой вздыбилась вдруг до облаков морская пена, шум сменился страшным грохотом, точно на поле битвы, и ужасающие стоны разнеслись над морем. Так продолжалось некоторое время, но с убывающей силой, а под конец волны и вовсе прекратили бить штурмом Гатенйельмову могилу. Вскоре здесь стало так же тихо и спокойно, как и на всякой другой шхере. Работник поднял было весла, чтобы отправиться в обратный путь, но в тот же миг к нему воззвал громовой и торжествующий голос:

«Ступай в усадьбу Гата в Онсале, поклонись моей жене и передай: живой ли, мертвый ли, Лассе Гатенйельм всегда побеждает своих врагов!»

Опустив голову, пастор слушал рассказ. Теперь, когда история подошла к концу, он поднял голову и вопрошающе взглянул на ротмистра.

— Когда гувернер произнес эти последние слова, — продолжал ротмистр, — я заметил, что сыновья мои сочувствуют этому презренному негодяю Гатенйельму и что им по душе пришелся рассказ о его удали. Поэтому я и поспешил заметить — дескать, история эта придумана складно, но что все это вряд ли нечто большее, нежели обыкновеннейшая небылица. Ибо если, — сказал я, — такой грубый пират, как Гатенйельм, в силах был постоять за себя даже после смерти, то как же объяснить, что мой отец, столь же отчаянный рубака, как и Гатенйельм, но не в пример ему добрый и честный человек, допустил вора проникнуть в гробницу и похитить у него самое драгоценное его достояние? А у него не было силы воспрепятствовать этому или по крайней мере хоть потом нанести виновному афронт.

При этих словах пастор поднялся с не свойственным ему проворством.

— И я держусь того же мнения! — воскликнул он.

— Послушайте, однако, что случилось дальше — продолжал ротмистр. — Не успел я выговорить эти слова, как за спинкой моего кресла послышались громкие вздохи. И вздохи эти столь походили на те, которые испускал, бывало, мой покойный отец, когда его терзали старческие немощи, что мне показалось, будто он стоит у меня за спиной. И я вскочил с места. Разумеется, никого и ничего я не увидел, но был убежден, что слышал моего отца. Мне не захотелось больше

садиться за стол, и я просидел здесь все это время в одиночестве, размышляя об этом деле. И мне очень хотелось бы услышать, что думаете по этому поводу вы, мой достопочтенный брат. Те жалостные вздохи об исчезнувшем сокровище, которые я слышал... Был ли это мой покойный отец? Будь я уверен, что он все еще томится тоской по этому перстню! Да я лучше бы ходил по дворам, чиня дознание, нежели допустил, чтоб он хоть единый миг терзался жестокой скорбью, как о том свидетельствуют его жалобные вздохи.

— Второй раз приходится мне нынче отвечать на вопрос, скорбит ли еще покойный генерал о своем утраченном перстне и жаждет ли получить его обратно, — сказал пастор. — Но прежде чем ответить, я, с вашего позволения, высокочтимый брат мой, расскажу свою историю, а потом мы вместе потолкуем об этом.

Рассказав, что с ним произошло, пастор понял, что ему нечего было бояться, что ротмистр с недостаточным рвением станет блюсти интересы своего отца. Пастор не подумал о том, что в характере даже самого миролюбиво настроенного человека есть нечто от сыновей Лодброка.<sup>[73]</sup> Ведь нередко бывает и так: поросята начинают визжать, узнав, какие муки вытерпел старый боров. И пастор увидел, как на лбу у ротмистра вздулись жилы, а кулаки так сильно сжались, что даже побелели в суставах. Неистовый гнев овладел ротмистром.

Естественно, пастор представил все это дело по-своему. Он рассказал, как гнев божий покарал злодеев, но никоим образом не пожелал признать, что тут, должно быть, замешан мертвец.

Ротмистр же истолковал все это совсем по-иному. Он вывел отсюда, что отец его не обрел вечного покоя в могиле, ибо перстень с его указательного пальца был снят. Ротмистра терзали страх и угрызения совести, поскольку до сих пор он слишком беззаботно относился к этому делу. Казалось, в сердце у него ныла рана.

Пастор, заметив, как взволновался ротмистр, от страха еле решился рассказать ему, что перстень у него отняли снова. Но это было воспринято с каким-то мрачным удовлетворением.

— Хорошо, что хоть один из этого воровского сброда уцелел и что он такой же мерзавец, как и другие, — сказал ротмистр Левеншельд. — Генерал расправился с родителями Ингильберта, и расправился сурово. Теперь настал мой черед!



Пастор уловил жестокую решимость в голосе ротмистра. Он волновался все сильнее и сильнее. Он начал опасаться, как бы ротмистр не удушил Ингильберта собственными руками или не засек бы его до смерти.

— Я счел своим долгом быть посланцем от покойного Борда к вам, брат Левеншельд, — сказал пастор, — но я надеюсь, что вы не предпримете никаких опрометчивых действий. Я же намерен теперь уведомить ленсмана о том, что меня обокрали.

— Вы, брат мой, вольны поступать, как вам заблагорассудится, — заметил ротмистр. — Я хотел только сказать, что все это — лишь напрасные хлопоты, поскольку дело я беру на себя.

Пастор убедился, что в Хедебю он больше ничего не добьется. Он поспешил уехать из усадьбы, чтобы успеть засветло известить обо всем ленсмана.

А ротмистр Левеншельд созвал всех своих челядинцев, рассказал, что приключилось, и спросил, хотят ли они завтра поутру отправиться вместе с ним в погоню за вором. Никто не отказался от такой услуги своему хозяину и покойному генералу. Конец вечера ушел на поиски всевозможного оружия — старинных мушкетов, коротких медвежьих рогатин, длинных шпаг, а также палиц и кос.

## VI

Не менее пятнадцати человек сопровождали ротмистра, когда на другой день в четыре часа утра он вышел из дому охотиться на вора. И все они были в самом воинственном расположении духа. Правда была на их стороне, да к тому же они уповали на генерала. Раз уж покойник вмешался в это дело, так наверняка доведет его до конца.

Однако подходящая для облавы дикая чаща начиналась лишь за милю от Хедебю. В начале пути ротмистру с челядинцами пришлось пересечь логовину: кое-где она была возделана и усеяна мелкими постройками. То тут, то там на холмах виднелись довольно большие деревни. Одна из них и была Ольсбю, где прежде находилась усадьба Борда Бордссона — пока ее не сжег генерал.

За всем этим, словно разостланная по земле толстая звериная шкура, тянулся дремучий бор, одно дерево к другому. Но даже и здесь не кончалась власть человека: в лесу виднелись узкие тропки, которые вели к летним сэттерам и угольным ямам.

Когда ротмистр с челядинцами вошел в дремучий лес, всех их словно подменили: они обрели совсем иной вид, иную осанку. Им и прежде случалось приходить сюда на охоту за крупной дичью, и их обуял охотничий пыл. Зорко всматриваясь в густой кустарник, они и передвигаться стали совсем по-иному — легко ступая и будто крадучись.

— Давайте уговоримся наперед, ребята, — сказал ротмистр. — Никто из вас не должен накликать на себя беду из-за этого вора, и потому предоставьте его мне. Смотрите только, чтобы его не упустить!

Но челядинцы и не думали повиноваться этому приказу. Все те, кто еще накануне мирно расхаживал, развешивая сено на сушила, горели теперь желанием как следует проучить этого ворюгу Ингильберта.

Едва они углубились в лес, как вековые сосны, стоявшие здесь со стародавних времен, стали такими частыми, что простерли над ними сплошной свод; подлесок кончился, и лишь мхи покрывали землю. И тут они увидели, что навстречу им идут трое с носилками из ветвей, на которых покоится четвертый.

Ротмистр со своим дозором поспешил им навстречу, но, увидев столько народу, носильщики остановились. Лицо человека, лежавшего на носилках, было прикрыто огромными листьями папоротника, так что нельзя было разглядеть, кто это. Но жители Хедебю, казалось, все же узнали его, и мороз пробежал у них по коже.

Им не привиделся рядом с носилками старый генерал. Вовсе нет. Им не привиделась даже его тень. Но все равно, они знали: он — здесь. Он вышел из лесу вместе с мертвецом. Он стоял, указывая на него пальцем.

Трое, что несли носилки, были люди хорошо известные в округе и почтенные. То был Эрик Иварссон, хозяин большого хутора в Ольсбю, и его брат Ивар Иварссон, который так никогда и не женился и остался доживать у брата на отцовском хуторе. Оба они были уже в годах; зато третий в их компании был человек молодой. Он тоже был всем известен. Звали его Пауль Элиассон, и был он приемышем братьев Иварссонов.

Ротмистр подошел прямо к Иварссонам, а те опустили на землю носилки, чтобы поздороваться с ним за руку. Но ротмистр, казалось, не видел протянутых ему рук. Он не мог оторвать глаз от листьев папоротника, прикрывавших лицо того, кто лежал на носилках.

— Кто это тут лежит? Уж не Ингильберт ли Бордссон? — спросил он каким-то удивительно суровым голосом. Казалось, будто он говорит против своей воли.

— Он самый, — ответил Эрик Иварссон. — Но откуда вы это знаете, господин ротмистр? По платью признали?

— Нет, — ответил ротмистр, — я признал его не по платью. Я не видал его целых пять лет.

И его собственная челядь и пришельцы удивленно глядели на ротмистра. Им всем подумалось, что нынче утром в нем появилось нечто не похожее на него, нечто зловещее. Он не был самим собой. Он уже не был учтив и обходителен, как прежде.

Ротмистр принялся расспрашивать крестьян, что они делали в лесу в такую рань и где нашли Ингильберта. Иварссоны были крестьяне зажиточные, и им было не по душе, что у них так это выпытывают, но самое главное ротмистру все же удалось выведать.

За день до этого с мукой и съестным для работников они поднялись на свой сэттер, расположенный в нескольких милях отсюда,

в глубине леса, да там и заночевали. Рано поутру пустились они в обратный путь, и Ивар Иварссон вскоре обогнал своих спутников. Ведь Ивар Иварссон был солдат, мастер шагать, и нелегко было поспевать за ним.

Намного опередив своих спутников, Ивар Иварссон вдруг увидел, что навстречу ему по тропинке идет какой-то человек. А лес там был довольно редкий. Никаких кустарников, одни лишь могучие стволы, и Ивар уже издали увидал этого человека. Но признать сразу — не признал. Меж деревьями колыхались клочья тумана, и когда их озаряли солнечные лучи, они превращались в золотистую дымку. Кое-что можно было разглядеть сквозь это туманное марево, но не очень отчетливо.

Ивар Иварссон заметил, что, как только встречный завидел его в тумане, он тотчас же остановился и в величайшем ужасе, словно защищаясь, простер перед собой руки. Когда же Ивар сделал еще несколько шагов вперед, тот упал на колени и закричал, чтобы Ивар не смел приближаться к нему. Казалось, что человек этот не в своем уме. Ивар Иварссон хотел было поспешить к нему, чтобы успокоить, однако тот уже вскочил на ноги и бросился бежать в глубь леса. Но пробежал он всего лишь несколько шагов. Почти в тот же миг он рухнул на землю и остался лежать недвижим. Когда Ивар Иварссон подошел к нему, он был мертв.

Теперь Ивар Иварссон тут же признал этого человека: то был не кто иной, как Ингильберт Бордссон, сын того самого Борда, который прежде жил в Ольсбю, но потом, когда двор его сгорел, а жена утопилась, перебрался на летний сэттер. Ивар никак не мог понять, отчего Ингильберт упал и умер: ведь ничья рука не коснулась его. Он пытался вернуть его к жизни, но это не удалось. Когда подоспели другие, они тоже увидели, что Ингильберт мертв. Но Бордссоны были когда-то соседями Иварссонов в Ольсбю, и им не захотелось оставлять Ингильберта в лесу; и вот они сделали носилки и унесли его с собой.

Ротмистр с мрачным видом слушал этот рассказ. Он показался ему вполне правдоподобным. Ингильберт лежал на носилках, словно снарядился в дальнюю дорогу: за спиною — котомка, а на ногах — башмаки. Медвежья рогатина, лежавшая рядом, пожалуй, тоже принадлежала ему. Не иначе как Ингильберт хотел отправиться на чужбину, чтобы продать там перстень; но когда в лесном тумане ему

повстречался Ивар Иварссон, ему почудилось, что он увидел призрак генерала. Ну, конечно! Так оно и было! Ивар Иварссон был одет в старый солдатский мундир, а поля его шляпы были загнуты на Каролинский манер.<sup>[74]</sup> То, что Ингильберт обознался, легко объяснялось дальностью, туманом и тем, что совесть его была нечиста.

Тем не менее ротмистр все еще был недоволен. Он распалял в себе гнев и жажду крови. Ему хотелось бы задушить Ингильберта своими руками. Ему нужно было дать выход своей жажде мести, а выхода не было.

Однако мало-помалу ротмистр понял, как он несправедлив, и настолько совладал с собой, что даже рассказал Иварссонам, для чего он с челядинцами вышел нынче поутру в лес. И добавил, что хочет дознаться, при мертвеце ли еще перстень.

Ротмистру даже хотелось бы, чтобы крестьяне из Ольсбю ответили бы «нет»; тогда он мог бы с оружием в руках постоять за свои права. Но они сочли его требование вполне естественным и чуть отошли в сторону, покуда несколько челядинцев обыскивали карманы мертвеца, его башмаки, котомку, каждый шов его одежды.

Вначале ротмистр с величайшим вниманием следил за обыском, но вдруг он нечаянно взглянул на крестьян, и ему показалось, будто те обменялись насмешливыми взглядами, словно были уверены, что он все равно ничего не найдет.

Так оно и вышло. Поиски пришлось прекратить, а перстень так и не отыскался. Тогда подозрения ротмистра вполне справедливо пали на крестьян. То же самое подумали и челядинцы. Куда девался перстень? Когда Ингильберт решился бежать, он наверняка взял его с собой. Где же он?

Хотя и теперь никто из них не видел генерала, но все ощущали его незримое присутствие. Стоя в толпе, он указывал на всю троицу из Ольсбю. Перстень у них!

Верно, это они обшарили карманы мертвеца и нашли перстень.

Скорее всего история, которую они только что сочинили, — небылица, а на самом деле все произошло совершенно иначе. Может статься, Иварссоны, которые были односельчанами Бордссонов, знали, что те завладели королевским перстнем. Может статься, они узнали, что Борд умер, а повстречавшись с его сыном в лесу, тотчас смекнули,

что он собрался бежать с этим перстнем; вот они и напали на Ингильберта и убили его, чтобы присвоить перстень.

На теле Ингильберта не было никаких следов увечья, кроме кровоподтека на лбу. Иварссоны сказали, что он ударился головой о камень, когда падал. Но разве этот кровавый желвак не мог быть нанесен толстой суковатой палицей, которую держал в руках Пауль Элиассон?

Ротмистр стоял, опустив глаза. Он мучительно боролся с самим собой. Никогда не слыхал он об этих троих ничего, кроме хорошего, и ему никак не думалось, что они убийцы и воры.

Челядинцы окружили ротмистра. Кое-кто из них уже бряцал оружием, и все до единого считали, что без драки им отсюда не уйти.

Тогда к ротмистру подошел Эрик Иварссон.

— Мы, братья, — молвил он, — да и приемыш наш Пауль Элиассон, который вскоре станет мне зятем, понимаем, что думаете про нас вы, господин ротмистр, и ваши люди. Так вот, по-нашему, не след нам расходиться, покуда вы не прикажете обыскать наши карманы и одежду.

От такого предложения у помрачневшего было ротмистра стало полегче на сердце. Он начал отговариваться. Иварссоны, да и их приемный сын такие люди, что на них и тень подозрения пасть не может.

Но крестьяне хотели покончить с этим делом. Они сами принялись выворачивать свои карманы и разувать башмаки. Тогда ротмистр махнул рукой челядинцам, чтобы те исполнили их волю и обыскали их.

Перстень так и не обнаружился, но в берестяном коробе, который Ивар Иварссон носил за спиной, нашли сафьяновый мешочек.

— Это ваш мешочек? — спросил ротмистр, после того как, порывшись в мешочке, увидел, что он пуст.

Ответь Ивар Иварссон — да и делу, может статься, был бы конец, но вместо этого он спокойно признался:

— Нет, не наш; он валялся на тропке, неподалеку от того места, где упал Ингильберт. Я поднял мешочек и бросил его в короб, он показался мне новехоньким.

— Но в таком вот мешочке и лежал перстень, когда пастор швырнул его Ингильберту, — сказал ротмистр; и лицо его и голос

снова омрачились. — Теперь же вам, Иварссонам, ничего не остается, как отправиться со мной к ленсману, если вы не предпочитаете добровольно вернуть мне перстень.

Терпение крестьян из Ольсбю лопнуло.

— Нет у вас, господин ротмистр, таких прав, чтобы заставить нас идти в темницу, — молвил Эрик Иварссон.

Он схватился за рогатину, лежавшую рядом с Ингильбертом, чтобы проложить себе путь, а брат его с будущим зятем присоединились к нему.

В первый миг остолбеневшие жители Хедебю подались было назад, чуть не оттолкнув ротмистра, который засмеялся от радости, что наконец-то даст долгожданный выход своему гневу, употребив силу. Выхватив саблю, он рубанул по рогатине.

Но то был единственный ратный подвиг, совершенный в этой войне. Челядинцы оттащили его и вырвали у него саблю из рук.

Случилось так, что и ленсман [\[75\]](#) Карелиус вздумал отправиться в то утро в лес. В ту самую минуту он в сопровождении стражника показался на тропинке. Снова начались поиски и снова дознание, но дело все же кончилось тем, что Эрик Иварссон, его брат Ивар и их приемный сын Пауль Элиассон были взяты под стражу и отведены в темницу по подозрению в убийстве и разбое.

## VII

Нельзя не признать, что леса у нас в Вермланде были в ту пору обширны, а пашни малы, дворы велики, зато дома тесны, дороги узки, зато холмы круты, двери низки, зато пороги высоки, церкви неприглядны, зато службы долги, дни жизни коротки, зато горести бессчетны. Но из-за этого вермландцы вовсе не вешали голову и никогда не плакались.

Бывало, мороз бил посевы, бывало, хищные звери губили стада, а кровавый понос — детей: вермландцы все равно почти всегда сохраняли бодрость духа. А иначе что бы с ними случилось?

Но, быть может, причиной тому было утешение, обитавшее в каждой усадьбе. Утешение, которое служило как богатым, так и бедным, утешение, которое никогда не изменяло людям и никогда не знало усталости.

Но не думайте, право, что утешение это было нечто возвышенное или нечто торжественное, вроде слова божьего, чистой совести или счастья любви! И уж вовсе не думайте, что было оно нечто низменное или опасное, вроде бражничанья или игры в кости! А было оно нечто совсем невинное и будничное: то было не что иное, как пламя, неустанно пылавшее в очаге зимними вечерами.

Господи боже, какую красоту и уют наводил огонь в самой жалкой лачуге! А как шутил он там со всеми домочадцами вечера напролет! Он трещал и искрился, и тогда казалось, будто он потешается над ними. Он плевался и шипел, и казалось, будто он передразнивает кого-то брюзгливого и злого. Подчас он никак не мог сладить с каким-нибудь суковатым поленом. Тогда в горнице становилось дымно и угарно, словно огонь хотел втолковать людям, что его кормят слишком скудно. Подчас он ухитрялся обернуться раскаленной грудой угля, как раз когда в доме кипела работа, так что оставалось только сложить руки на коленях да громко смеяться, покуда он не вспыхнет вновь. Но пуще всего огонь проказничал, когда хозяйка приходила с треногим чугуном и требовала, чтобы он поварничал. Изредка огонь бывал послушен и услужлив и дело свое справлял быстро и умело. Но нередко он часами легко и игриво плясал вокруг котла с кашей, не давая ей закипеть.



Зато как весело, бывало, блестели глаза хозяина, когда, насквозь вымокший и замерзший, он возвращался в ненастье домой, а огонь встречал его теплом и уютom! Зато как чудесно бывало думать об огне, который бодрствует, излучая яркий свет в темную зимнюю ночь, словно путеводная звезда бедного странника и словно грозное предостережение рыси и волку!

Но огонь в очаге умел не только согреть, светить и поварничать. Он способен был не только сверкать, трещать, дымить и чадить. В его власти было пробудить в человеческой душе желание резвиться.

Ибо что такое человеческая душа, как не резвящееся пламя? Да, да, она и есть огонь! Она вспыхивает в самом человеке, охватывает его и кружится над ним, точь-в-точь как огонь вспыхивает в серых поленьях, охватывает их и кружится над ними. Когда те, кто собирался зимними вечерами вокруг полыхающего огня, молча сидели часок-другой, глядя в очаг, огонь заговаривал с каждым из них на своем собственном языке.

— Сестрица Душа, — говорило пламя, — разве ты не такое же пламя, как я? Почему же ты так мрачна, так удручена?

— Братец Огонь, — отвечала человеческая душа, — я колола дрова и хозяйничала целый день. У меня только и осталось сил, что молча сидеть да глядеть на тебя.

— Знаю, — говорил огонь, — но настал вечерний час. Делай, как я! Пылай и свети! Резвьись и согревай!

И души слушались огня и начинали резвиться. Они сказывали сказки, загадывали загадки, пиликали на скрипке, вырезали завитки и розочки на домашней утвари и земледельческих орудиях. Они играли в разные игры и пели песни, они выкупали фанты и вспоминали старинные поговорки. И мало-помалу оледенелое тело оттаивало, оттаивало и угрюмое сердце. Люди оживали и веселели. Огонь и игры у очага давали им силы вновь жить их бедной и трудной жизнью.

Но вот без чего не обходилось веселье у очага, так это уж без рассказов о всякого рода геройских подвигах и приключениях! Рассказами этими тешился стар и млад, рассказам этим никогда не бывало конца. Ведь в подвигах и приключениях в этом мире, слава богу, никогда недостатка не было.

Но никогда не бывало их в таком изобилии, как во времена короля Карла. Он был всем героям герой, и рассказов о нем и его воинах была

уйма! Историям этим не пришел конец вместе с ним и с его властью, они продолжали жить и после его смерти, они были лучшим его наследием.

Ни о ком не любили так рассказывать, как о самом короле; ну, а после него любили еще потолковать о старом генерале из Хедебю. Его знали в лицо, с ним не раз говорили и могли описать его с головы до ног.

Генерал был такой сильный, что сгибал подковы, как другие сгибали обыкновенные стружки. Однажды он узнал, что в Смедсбю в долине Свартше живет кузнец, который лучше всех в округе кует подковы. Генерал поехал к нему в долину и попросил Миккеля из Смедсбю подковать ему коня. А когда кузнец вынес из кузни готовую подкову, генерал спросил, нельзя ли сперва взглянуть на нее. Подкова была крепкая и сделана на совесть, но, разглядев ее, генерал расхохотался.

— Это, по-твоему, подкова? — спросил он и, согнув ее, переломил надвое.

Кузнец испугался, решив, что сделал плохо работу.

— В подкове, верно, была трещина, — сказал он и поспешил назад в кузню за другой подковой.

Но и с ней вышло как с первой, с той только разницей, что ее сжали, будто клещами, пока и она не переломилась пополам; ей-ей, так оно и было. Но тут Миккель заподозрил неладное.

— Уж не сам ли ты король Карл, а может, Бенгт из Хедебю? — сказал он генералу.

— Молодец, Миккель, ловко отгадал, — похвалил кузнеца генерал и тут же заплатил Миккелю сполна и за четыре новых подковы, и за те две, что сломал.

Немало и других рассказов ходило про генерала, их рассказывали без конца, и во всем уезде не нашлось бы человека, который не знал бы о старом Левеншельде, не почитал его и не благоговел бы перед ним. Известно было и про генеральский перстень, и все знали про то, как вместе с генералом его положили в могилу; но человеческая алчность была так велика, что перстень у генерала украли.

Теперь вы можете представить себе! Уж если что и могло пробудить в людях интерес, любопытство и волнение, так это весть о том, что перстень обнаружен и утерян вновь, что Ингильберта нашли в

лесу мертвым, а на крестьян из Ольсбю пало подозрение в краже перстня и они сидели под стражей.

Когда прихожане возвращались в воскресенье после полудня из церкви домой, там едва могли дожидаться, когда они снимут с себя праздничное платье и немного поедят; им приходилось немедленно выкладывать все, что показали на суде свидетели, и все, в чем сознались обвиняемые, а также каков, по мнению людей, будет приговор.

Ни о чем другом и речи не было. Всякий вечер в больших домах и малых лачугах, как у торпарей, так и у богатых крестьян, у очага вершили суд.

Ужасное то было дело, да и диковинное, потому и мудрено было разобраться в нем по справедливости. Нелегко было вынести окончательное решение, ибо трудно, да и почти невозможно было поверить, что Иварссоны и их приемный сын якобы убили человека из-за перстня, как бы драгоценен он ни был.

Взять хотя бы Эрика Иварссона. Был он человек богатый, владевший обширными угодьями и множеством домов. Ежели и водился за ним какой грех, так только тот, что был он горд и чрезмерно пекся о своей чести. Но потому и трудно было понять, что какое-нибудь сокровище в мире могло заставить его совершить бесчестный поступок.

Еще менее можно было заподозрить его брата Ивара. Верно, он был беден, зато жил у своего брата на хлебах, получая от него чего только пожелает. Он был так добросердечен и раздавал все, что у него было! Неужто такому человеку могло взбрести на ум пойти на убийство и разбой?

Что касается Пауля Элиассона, то о нем было известно, что он в большой милости у Иварссонов и должен жениться на Марит Эрикسدоттер, единственной отцовской наследнице. Впрочем, он-то был из тех, кого можно было заподозрить скорее всего: ведь он по рождению иноземец, а об иноземцах известно, что кражу они не считают за грех. Ивар Иварссон привел Пауля с собой, когда вернулся домой из плена. Мальчик был сиротой трех лет от роду и, если бы не Ивар, умер бы с голоду в родной стране. Правда, воспитали его Иварссоны в правилах честности и справедливости, да и вел он себя всегда как подобало. Вырос он вместе с Марит Эрикسدоттер, они

полюбили друг друга, и как-то не верилось, что человек, которого ожидают счастье и богатство, вдруг возьмет да и поставит все это на карту, похитив перстень.

Но, с другой стороны, не следовало забывать и генерала, о котором люди сызмальства слышали столько разных легенд и историй, генерала, которого знали, пожалуй, не хуже родного отца, генерала, который был высок ростом, могуч и достоин доверия. А теперь он умер, и у него похитили самое дорогое из его имущества.

Генерал знал, что когда Ингильберт Бордссон бежал из дому, перстень был при нем, а не то Ингильберт спокойно отправился бы своей дорогой и не был бы мертв. Генералу, видно, было также известно, что крестьяне из Ольсбю украли перстень, иначе бы им никак не повстречался по дороге ротмистр, их не взяли бы под стражу и не держали бы под арестом.

Да, мудрено было разобраться по справедливости в таком деле, но на генерала уповали даже больше, чем на самого короля Карла. И почти на всех судебных разбирательствах, которые велись в бедных лачугах, был вынесен обвинительный приговор.

Большое удивление, конечно, вызвало то, что уездный суд, заседавший в судебной палате на холме в Брубю, учинив обвиняемым строжайшее дознание, но так и не изобличив их и не склонив к признанию вины, вынужден был оправдать крестьян, обвиняемых в убийстве и разбое.

Однако на волю их не выпустили, ибо приговор уездного суда должен был еще утвердить коронный суд, а коронный суд счел крестьян из Ольсбю виновными и приговорил их к повешению.

Но и этот приговор не был приведен в исполнение, поскольку ему надлежало сперва быть утвержденным самим королем.

После того как был вынесен и оглашен королевский приговор, прихожане, вернувшись из церкви, отложили свой обед; им не терпелось рассказать тем, кто оставался дома, что гласил приговор.

А он гласил: вполне очевидно, что кто-то из обвиняемых — убийца и вор, но поскольку ни один из них не признал себя виновным, то пусть их рассудит Божий суд.

На ближайшем тинге им надлежит в присутствии судьи, заседателей и всех прихожан сыграть друг с другом в кости. Того, кто выкинет меньше всего очков, следует признать виновным и покарать

за содеянное преступление, подвергнув смертной казни через повешение, а двух других немедленно освободить, дабы они вернулись к своей обычной жизни.

Мудрый был тот приговор, справедливый. Все жители долин Вермланда были им довольны. Разве не прекрасно со стороны старого короля, что в этом темном деле он не возомнил, будто видит яснее, нежели другие, а воззвал к Всеведущему? Теперь-то уж наконец можно поверить в то, что правда выйдет наружу.

К тому же в этом судебном деле было нечто совершенно особое. Оно велось не человеком против человека; истцом в этой тяжбе был покойник — покойник, требовавший вернуть ему его достояние. В любых других случаях можно было еще колебаться, стоит ли прибегать к игральным костям, но только не в этом. Уж покойный-то генерал наверняка знал, кто утаил его добро. Вот и в королевском приговоре самым большим достоинством было то, что он давал старому генералу возможность казнить или миловать.

Могло даже показаться, будто король Фредрик[76] хотел предоставить окончательное решение генералу. Может статься, он знал его в старые военные годы и ему было известно, что на этого человека можно положиться. Вполне вероятно, что как раз это и имелось в виду. А так или не так, сказать трудно!

Как бы там ни было, все во что бы то ни стало хотели присутствовать на тинге в тот день, когда будет оглашен божий приговор. Каждый, кто не был слишком стар, чтобы идти, либо слишком мал, чтобы ползти, отправился в путь. Столь знаменательного события, как это, не случалось уже много лет. Тут нельзя было довольствоваться тем, чтобы потом, да еще от других, услышать, как все кончилось. Нет, тут непременно надо было присутствовать самому.

Верно, что усадьбы были прежде рассеяны по всей округе, верно и то, что тогда, бывало, целую милю проедешь, да так и не встретишь ни души. Но когда люди со всего уезда сошлись на одной и той же площади, все так и ахнули — сколько их тут! Тесно прижатые друг к другу, несчетными рядами стояли они перед судебной палатой. Казалось, будто пчелиный рой, черный и отяжелевший, нависает перед ульем в летний день. Люди напоминали роящихся пчел еще и тем, что были не в своем обычном расположении духа. Они не были безмолвны и торжественны, как всегда бывали в церкви; не были они веселы и

добродушны, как всегда на ярмарках: они были свирепы и раздражительны, были одержимы ненавистью и жаждой мести.

Что ж тут мудреного? С молоком матери впитали они ужас перед лиходеями. Их убаюкивали колыбельными песнями о бродягах, объявленных вне закона. В их представлении все воры и убийцы были выродками, чертовым отродьем, они их и за людей-то не считали. Мысль о милосердии к таким нелюдям им и в голову не приходила. Они знали, что такой вот страшной и подлой твари ныне будет вынесен приговор, и радовались этому. «Слава тебе господи, теперь-то уж этому кровожадному дьяволу придет конец, — думали они. — Теперь-то уж по крайней мере ему не удастся больше вредить нам».

Хорошо, что божий суд должен был отправляться не в судебной палате, а на воле. Но плохо, конечно, что рота солдат частоколом стала на площади перед судебной палатой и близко подойти было нельзя; люди же без конца поносили грубой бранью солдат за то, что те преграждали им путь. Прежде никто бы себе этого не позволил, но ныне все были дерзостны и наглы.

Ведь людям пришлось заблаговременно, с самого раннего утра выйти из дому, чтобы занять место поближе к частоколу из солдат, и на их долю выпало много долгих часов томительного ожидания. А за все это время развлечься было нечем. Разве что из судебной палаты вышел судебный пристав и поставил посреди площади огромный барабан. Все-таки стало повеселее, ибо люди увидели, что судейские там, в палате, намереваются дать делу ход еще до вечера. Судебный пристав вынес также стол со стулом да еще перо с чернильницей для писаря. Под конец он появился, держа в руках небольшой кубок, в котором звонко перекатывались игральные кости. Пристав несколько раз выкинул их на барабанную шкуру. Видно, хотел убедиться в том, что они не фальшивые и выпадают то так, то этак, как игральным костям и положено.

Затем он быстро ушел назад в палату, и ничего удивительного в том тоже не было: ведь стоило ему только показаться на крыльце, как люди тотчас же начинали осыпать его бранью и насмешками. Прежде никто бы себе этого не позволил, но в тот день толпа просто обезумела.

Судью с заседателями пропустили сквозь заслон, и к судебной палате одни из них прошествовали пешком, другие же подъехали

верхом. Лишь только появлялся кто-нибудь из них, как толпа сразу оживлялась. Но опять-таки никто не шептался и не шушукался, как бывало прежде. Вовсе нет! И лестные и поносные слова выкрикивались во весь голос. И ничем нельзя было этому помешать. Ожидавших тинга было немало, и не такие они были, чтобы с ними шутить. Важных господ, которые прибыли на тинг, тоже впустили в судебную палату. Были там и Левеншельд из Хедебю, и пастор из Бру, и заводчик из Экебю, и капитан из Хельгесэттера, и многие, многие другие. И пока они проходили, всем им пришлось выслушать множество замечаний вроде того, что есть, мол, счастливики, которым не приходится стоять сзади и драться за место поближе, да и еще много всякого другого.

Когда уже больше некого было поносить, толпа стала осыпать колкими насмешками молодую девушку, которая изо всех сил старалась держаться как можно ближе к частоколу из солдат. Она была маленькая и хрупкая, и мужчины — то один, то другой — не раз пытались пробиться сквозь толпу и захватить ее место; но всякий раз кто-либо из стоявших поблизости кричал, что она дочка Эрика Иварссона из Ольсбю, и после подобного вразумления девушку больше не пытались согнать с места.

Но зато на нее градом сыпались насмешки. Девушку спрашивали, кого ей больше хочется видеть на виселице — отца или жениха. И удивлялись: с какой это стати дочка вора должна занимать лучшее место.

Те же, что пришли из дальних лесов, только диву давались, как у нее хватает духу оставаться на площади. Но им тут же рассказали про нее и немало других диковинных вещей. Она была не робкого десятка, эта девчонка, она присутствовала на всех судебных разбирательствах, она не проронила ни единой слезинки и все время сохраняла спокойствие. То и дело кивала она головой обвиняемым и улыбалась им так, словно была уверена в том, что на другой день их освободят. И когда обвиняемые видели ее, они снова обретали мужество. Они думали про себя, что есть на свете хоть один человек, который уверен в их невиновности. Хоть один, кто не верит в то, что какой-то жалкий золотой перстень мог соблазнить их и толкнуть на преступление.

Красивая, кроткая и терпеливая, сидела она в судебной зале. Ни разу не вызвала она ни у кого гнева. Отнюдь, даже судью с

заседателями, да и ленсмана она расположила в свою пользу. Сами бы они, положим, в этом не признались, но ходила молва, будто уездный суд ни за что не оправдал бы обвиняемых, не будь там ее. Невозможно было поверить, что кто-либо из тех, кого любит Марит Эрикسدоттер, может быть повинен в лиходействе.

И вот теперь она снова была здесь, чтобы арестанты могли видеть ее. Она стояла здесь, чтобы быть им опорой и утешением. Она хотела молиться за них в час их тяжкого испытания, хотела вверить их души милости божьей.

Как знать! Говорят же в народе, что яблоко от яблони недалеко падает. Но ничего не скажешь, с виду она была добра и невинна. Да и сердце было у нее любящее, раз она могла оставаться здесь на площади.

Ведь она, наверно, слышала все, что ей кричали, но не отвечала, и не плакала, и не пыталась спастись бегством. Она знала, что несчастные узники будут рады видеть ее. Ведь во всей огромной толпе она была одна-единственная, кто всем сердцем по-человечески сочувствовал им.

Но что ни говори, а стояла она тут вовсе не зря. Нашлись в толпе один-два человека, у которых были свои дочери, такие же тихие, милосердные и невинные, как Марит. И в глубине души эти люди чувствовали, что им не хотелось бы видеть своих дочерей на ее месте.

Послышались в толпе и один-два голоса, которые защищали ее или пытались хотя бы унять разошедшихся острословов и горланов.

Не только потому, что настал конец томительному ожиданию, но и из сочувствия к Марит Эрикسدоттер все обрадовались, когда двери судебной палаты распахнулись и суд начался. Сперва торжественно прошествовали судебный пристав, ленсман и арестанты, с которых сняли кандалы, хотя каждого из них стерегли два солдата. Затем появились пономарь, пастор, заседатели, писец и судья. Замыкали шествие важные господа и несколько крестьян, которые были в такой чести, что и им дозволили находиться за оцеплением.

Ленсман с арестантами стали по левую сторону судебной палаты, судья с заседателями свернули направо, а господа разместились посредине. Писец со своими бумагами занял место за столом. Большой барабан по-прежнему стоял посреди площади у всех на виду.



Лишь только показалось шествие, в толпе началась толкотня и давка. Немало рослых и дюжих мужчин так и норовили протиснуться в первый ряд, метя прежде всего согнать с места Марит Эриксдоттер. Но боясь, как бы ее не оттеснили, она, маленькая и тоненькая, нагнувшись, проскользнула мимо солдат и оказалась по другую сторону частокола.

Это было противно всем правилам порядка, и ленсман дал знак судебному приставу убрать Марит Эриксдоттер. Пристав тотчас же подошел к ней, положив руку ей на плечо, будто намереваясь ее арестовать, и повел к судебной палате. Но как только они смешались с толпой стоявших там людей, он отпустил ее. Пристав уже насмотрелся на девушку и знал — лишь бы ей дозволили стоять поблизости от арестантов, а она даже не попытается бежать. Если же ленсман захочет ее проучить, найти Марит будет легко.

Впрочем, разве было теперь у кого-нибудь время думать о Марит Эриксдоттер? Пастор с пономарем вышли вперед и встали посреди площади. Оба сняли шляпы, а пономарь затынул псалом. И когда те, кто стоял перед цепью солдат, услышали это пение, они начали понимать, что сейчас свершится нечто великое и торжественное, самое торжественное из всего, чему им когда-либо приходилось быть свидетелями на своем веку: призыв к всемогущему, всеведущему божеству, дабы узнать его волю.

Когда же заговорил пастор, люди преисполнились еще большим благоговением. Он молил Христа, сына божьего, который некогда сам предстал пред судилищем Пилата, смилостивиться над этими обвиняемыми, дабы не претерпели они суда неправедного. Он молил его также смилостивиться над судьями, дабы не были они вынуждены приговорить к смерти невинного.

Под конец он молил его смилостивиться над прихожанами, дабы не пришлось им быть свидетелями великой несправедливости, как некогда евреям у Голгофы.

Все слушали пастора, обнажив головы, они не думали больше о своих жалких мирских делах. Они были настроены совсем иначе. Им чудилось, будто пастор призывает на землю самого господа Бога, они ощущали его незримое присутствие.

Стоял прекрасный осенний день: синее небо, усеянное белыми тучками, деревья с зеленой, чуть тронутой желтизной листвой. Над

головами людей непрерывно проносились к югу стаи перелетных птиц. Непривычно было видеть такую уйму птиц сразу в один день. Людям казалось, что это, должно быть, неспроста. Не было ли то знамением, что господь одобряет помыслы человеческие?

Когда пастор замолк, выступил вперед председатель уездного суда и огласил королевский приговор. Приговор был пространный, со множеством замысловатых оборотов речи, которые с трудом доходили до собравшихся. Но они поняли, что светская власть как бы сложила скипетр свой и меч, отреклась от мудрости своей и знания и уповала в своих надеждах всецело на волю божью. И они стали молиться, молиться все как один, чтобы господь помог им и вразумил их.

Затем ленсман взял в руки игральные кости и попросил судью и кое-кого из присутствующих бросить эти кости, чтобы проверить, не фальшивые ли они. С каким-то странным трепетом прислушивался народ к стуку игральных костей, ударявшихся о барабанную шкуру. Эти кубики, сгубившие стольких людей, неужто теперь их сочли достойными возвещать волю божью?!

Как только кости были испробованы, арестантов вывели вперед. Сперва кубок передали Эрику Иварссону, самому старшему из всех. Но ленсман тут же объяснил ему, что сейчас решение будет еще не окончательным. Сейчас им нужно бросить жребий лишь для того, чтобы каждому определить свой черед играть.

В первый раз Паулю Элиассону выпало меньше всего, а Ивару Иварссону больше всего очков. Стало быть, ему первому и надо было начинать.

Трое обвиняемых были одеты в ту же самую одежду, что была на них, когда они, спускаясь с гор, со своего летнего сэттера, повстречали ротмистра. Теперь эта одежда была в грязи и вся драная. Такой же изношенный вид, как у кафтанов, был и у их хозяев. Однако всем показалось, будто Ивар Иварссон держался из троих вроде бы лучше всех. Верно, потому, что он был солдат, закаленный бесчисленными муками боев и плена. Держался он все еще прямо, и вид у него был мужественный и бесстрашный.

Когда Ивар вышел вперед к барабану и принял кубок с костями из рук ленсмана, тот хотел было показать ему, как следует держать кубок и как играть в кости. На губах старика проскользнула усмешка.

— Не впервой играть мне в кости, ленсман, — сказал он таким громким голосом, что все услышали. — Бенгт-силач из Хедебю да я не раз, бывало, баловались вечером этой игрой там, в степных краях. Но не чаял я, что мне доведется сыграть с ним еще раз.

Ленсман хотел было поторопить его, но толпе понравилось слушать Ивара. Вот храбрец! Он еще мог шутить пред таким решающим испытанием!

Ивар обхватил кубок обеими руками, и все увидели, что он молится. Прочитав «Отче наш», он громко воскликнул:

— А теперь молю тебя, господи Иисусе Христе, кому ведомо, что я неповинен, да смилуешься надо мной и даруешь мне меньше всего очков: ведь у меня нет ни детей, ни возлюбленной, которые станут плакать по мне!

Вымолвив эти слова, он с такой силой швырнул кости на барабанную шкуру, что те загрохотали.

И все стоявшие перед частоколом пожелали в тот миг, чтобы Ивара Иварссона освободили. Они полюбили его за храбрость и доброту и никак не могли взять в толк, как же это они считали его злодеем.

Почти невыносимо было стоять так далеко, не зная, что выпало на костях. Судья с ленсманом нагнулись над барабаном, чтобы поглядеть, заседатели и присутствовавшие при сем лица знатного сословия подошли поближе и тоже стали глядеть, каков исход. Казалось, все пришли в замешательство, некоторые кивали Ивару Иварссону, кое-кто пожимал ему руку, а толпа так ничего и не знала. По рядам пробежал негодующий ропот.

Тогда судья сделал знак ленсману, и тот поднялся на крыльцо судебной палаты, где его лучше видели и слышали:

— Ивар Иварссон выкинул на обеих костях по шестерке, больше очков набрать нельзя!

Люди поняли, что Ивар Иварссон признан невиновным, и обрадовались. А многие стали кричать:

— Будь здоров, Ивар Иварссон!

Но тут случилось такое, что повергло всех в изумление. Пауль Элиассон разразился громкими криками радости и, сорвав с головы свою вязаную шапочку с кисточкой, подбросил ее в воздух. Это произошло так неожиданно, что стражники не успели помешать ему.

Все только ахнули. Правда, Ивар Иварссон был Паулю Элиассону все равно что отец, но теперь, когда дело шло о его жизни, неужто он и вправду радовался тому, что другого признали невиновным?

Вскоре был восстановлен порядок: начальство отошло направо, арестанты со стражниками налево, другие зрители придвинулись поближе к судебной палате, так что барабан снова остался посередине, ничем не заслоненный, и его было видно со всех сторон. Теперь настал черед Эрика Иварссона подвергнуться смертельному испытанию.

Вперед нетвердой и спотыкающейся походкой вышел надломленный и старый человек. Его едва можно было узнать. Неужто это Эрик Иварссон, который всегда размашисто и властно ступал по земле? Взгляд его потускнел, и кое-кто подумал, что он едва ли сознает до конца, какое ему предстоит испытание. Но, приняв в руки кубок с костями, он попытался выпрямить согнутую спину и произнес:

— Благодарение Богу, что брат мой Ивар оправдан, потому что хоть в этом деле я так же невинен, как и он, он всегда был лучше меня. И молю господя нашего Иисуса Христа, дабы он сподобил меня выкинуть меньше всего очков, дабы дочь моя могла обвенчаться с тем, кого она любит, и жить с ним счастливо до конца дней своих!

С Эриком Иварссоном случилось то, что часто бывает со стариками: вся его былая сила, казалось, ушла в голос. Его слова были услышаны всеми и всколыхнули народ. Уж очень не похоже на Эрика Иварссона было признать, что кто-то много достойнее его, да еще желать себе смерти ради чужого счастья. Во всей толпе не нашлось бы теперь ни единого человека, кто по-прежнему считал бы его разбойником и вором. Со слезами на глазах молились люди богу, чтобы Эрик выкинул побольше очков.

Он и не потрудился потрясти в кубке кости, а лишь подняв кубок вверх и опустив его вниз, выбросил кости на барабанную шкуру. Глаза его были слишком стары, чтобы различить очки на кубиках, и он, даже не удостоив их взглядом, стоял, вперив взор в пространство.

Но судья и другие поспешили к барабану. И все прочли на их лицах то же удивление, что и в прошлый раз.

А толпа, стоявшая перед частоколом, будто поняла все, что произошло, еще задолго до того, как ленсман огласил исход дела. Какая-то женщина воскликнула:

— Спаси тебя господь, Эрик Иварссон!

И вслед послышался многоголосый крик:

— Благодарение и хвала господу за то, что он помог тебе, Эрик Иварссон!

Вязаная шапочка Пауля Элиассона взлетела в воздух, как и в первый раз, и все снова ахнули. Неужто он не думает, чем это грозит ему самому?

Эрик Иварссон стоял безгласный и равнодушный, лицо его ничуть не просветлело. Думали — быть может, он ждет, когда ленсман огласит исход дела, но даже когда это свершилось и Эрик узнал, что он тоже, как и брат его, выкинул на обеих костях по шестерке, он остался безучастен. Он хотел было добраться до своего прежнего места, но так обессилел, что судебному приставу пришлось подхватить его, а то бы не удержаться ему на ногах.

Настал черед Паулю Элиассону подойти к барабану, чтобы попытать свое счастье, и все взоры обратились к нему. Еще задолго до испытания все сочли, что он-то, должно быть, и есть истинный преступник; теперь он был, можно сказать, приговорен. Ведь больше очков, чем братья Иварссоны, выкинуть было невозможно.

Такой исход никого бы прежде не огорчил, но тут все увидали, что Марит Эриксдоттер украдкой пробралась к Паулю Элиассону.

Он не держал ее в своих объятиях, ни поцелуя, ни ласки не было меж ними. Она лишь стояла рядом, крепко-крепко прижавшись к нему, а он обнял ее стан рукой. Никто не мог бы с точностью сказать, долго ли они так простояли, потому что внимание всех поглотила игра в кости.

Как бы то ни было, они стояли бок о бок, соединенные неисповедимой судьбой вопреки страже и грозному начальству, вопреки тысячам зрителей, вопреки ужасной игре со смертью, в которую были вовлечены.

Их свела вместе любовь, но любовь более возвышенная, нежели земная. Они могли бы стоять так летним утром у лаза в плетне, проплясав всю ночь напролет и впервые признавшись друг другу в том, что хотят стать мужем и женой. Они могли бы стоять так после первого причастия, чувствуя, что все грехи сняты с души. Они могли бы стоять так, если бы обоим довелось претерпеть ужас смерти, и перейти в потусторонний мир, и встретиться вновь, и постигнуть, что они на веки вечные принадлежат друг другу.

Она стояла, глядя на него с такой нежной любовью! И что-то шевельнулось в людских душах и подсказало им — вот над Паулем Элиассоном и следовало бы сжалиться. Ведь он был юным деревцем, которому не суждено цвести и плодоносить, он был ржаным полем, которому суждено быть вытоптаным, прежде чем ему доведется одарить кого-либо от щедрот своих.

Он молча опустил руку, обвивавшую стан Марит, и вслед за ленсманом подошел к барабану. По его лицу незаметно было, чтоб он хоть сколько-нибудь тревожился, когда принял в руки кубок. Он не держал речи перед народом, как другие, а повернулся к Марит.

— Не бойся! — сказал он. — Богу ведомо, что я так же невинен, как и другие.

После этого он, будто играючи, перетряхнул несколько раз кости в кубке, не останавливая их, покуда они не перекатились через край и не упали на барабанную шкуру.

— Я выкинул на обеих по шестерке, Марит! Я выкинул по шестерке, и я тоже!

Он будет оправдан — иное ему и в голову не приходило, и от радости он не мог устоять на месте. Высоко подпрыгнув, он подбросил шапочку ввысь, схватил стоявшего рядом с ним стражника в объятия и поцеловал.

Тут многие подумали: «Видать сразу, что он иноземец. Будь он швед, не стал бы торжествовать до времени».

Судья, ленсман, заседатели и знатные господа степенно и не торопясь подошли к барабану и стали разглядывать кости. Но на этот раз вид их был нерадостен. Они лишь покачали головой и ни один из них не поздравил Пауля Элиассона с выпавшим ему на долю счастливым жребием.

Взойдя в третий раз на крыльцо судебной палаты, ленсман возвестил:

— Пауль Элиассон выкинул на обеих костях по шестерке, больше очков набрать нельзя!

Толпа заволновалась, но никто не ликовал. Никому и в голову не пришло, что тут есть какой-то подвох. Этого быть не может! Но всем было боязно и как-то не по себе, поскольку божий суд ничуть не прояснил суть дела.

Значило ли это, что все трое были одинаково невиновны, или это значило, что все они были одинаково виновны?

Люди увидели, как ротмистр Левеншельд поспешно подошел к судье. Вероятно, хотел сказать, что божий суд так ничего и не решил, но судья угрюмо отвернулся от него.

Судья с заседателями направились в судебную палату и стали держать совет, а тем временем никто не осмелился ни пошевелиться, ни даже прошептать хоть слово. Даже Пауль Элиассон, и тот держался смирно. Казалось, он понял наконец, что божий суд можно истолковать и так и этак.

Суд снова появился после краткого совещания, и судья возвестил, что уездный суд склонен толковать божий приговор таким образом, что всех трех обвиняемых следует признать невиновными.

Вырвавшись из рук стражей, Пауль Элиассон в величайшем восторге опять подбросил свою шапочку, но и это было несколько преждевременно, так как судья еще не кончил речь:

— Но это решение суда надлежит представить королю через гонца, которого нынче же должно снарядить в Стокгольм. Обвиняемым же следует пребывать в темнице, покуда его королевское величество не утвердит приговор суда.

## VIII

Однажды осенью, лет тридцать спустя после той достопамятной игры в кости на площади перед судебной палатой в Брубю, Марит Эрикسدоттер сидела на крыльце небольшой свайной клетки в усадьбе Стургорден, где она жила, и вязала детские рукавички. Ей хотелось связать их красивым узором в полоску и в клетку, чтобы они доставили радость ребенку, которому она собиралась их подарить. Но она не могла припомнить какой-нибудь узор.

После того как она долгое время просидела на крыльце, рисуя спицей на ступеньке узоры, она пошла в клеть и открыла сундук с платьем, чтобы найти какой-нибудь образчик, по которому могла бы связать рукавички. На самом дне сундука она наткнулась на искусно связанную шапочку с кисточкой, узорную — со множеством всякого рода квадратиков и полосок; после некоторого колебания, она взяла шапочку с собой на крыльцо.

Вертя шапочку во все стороны, чтобы разобраться в узорном вязании, она заметила, что шапочка кое-где трачена молью. «Господи боже, не мудрено, что шапочка испорчена, — подумала она. — Прошло, верно, самое малое тридцать лет с той поры, как ее носили. Ладно, что я хоть удосужилась вытащить ее из сундука и вижу теперь, что с нею случилось».

Шапочка была украшена большой и пышной разноцветной кисточкой, и в ней-то моли, видимо, и было раздолье. Стоило Марит встряхнуть шапочку, как нитки полетели во все стороны. А кисточка, так та даже оторвалась и упала к ней на колени. Она подняла кисточку и стала разглядывать, сильно ли она попорчена и нельзя ли ее снова прикрепить, однако при этом она вдруг заметила, что среди нитей что-то сверкнуло. Нетерпеливо раздвинув их, она обнаружила большой золотой перстень с печаткой и с алым камнем, накрепко вшитый в кисточку грубыми холщовыми нитками.

Кисточка с шапочкой выпали у нее из рук. Никогда прежде не доводилось ей видеть этот перстень, но ей вовсе не было нужды разглядывать королевские инициалы на камне или читать надпись на перстне, чтобы узнать, что это за перстень и кто был его владелец. Опершись о перила крыльца, она закрыла глаза и так и сидела, тихая и



бледная, словно была при смерти. Ей казалось, что сердце у нее вот-вот разорвется от муки.

Из-за этого перстня отцу ее Эрику Иварссону, дяде ее Ивару Иварссону и жениху ее Паулю Элиассону пришлось расстаться с жизнью, а теперь ей суждено найти тот перстень, накрепко вшитый в кисточку Паулевой шапочки! Как же он туда попал? Когда же он туда попал? Знал ли Пауль о том, что перстень зашит в кисточку?

Нет! Она тотчас же заверила самое себя, что он никак не мог знать об этом.

Она вспомнила, как он размахивал этой шапочкой и подбрасывал ее ввысь, думая, что и его и стариков Иварссонов оправдают.

Картина эта стояла перед ее глазами, словно все случилось только вчера: огромная толпа людей, сначала исполненная ненависти и вражды к ней и к ее близким, а под конец поверившая в их невиновность. Ей вспомнилось великолепное темно-синее осеннее небо и перелетные птицы, которые сбились с пути и беспокойно метались над площадью, где шел тинг. Пауль видел их, и в тот миг, когда она прижалась к нему, он шепнул ей, что скоро его душа будет метаться в небесах, словно маленькая сбившаяся с пути птичка. И он спросил ее, позволит ли она ему прилетать и гнездиться под кровельным желобом усадьбы в Ольсбю.

Нет, Пауль не мог знать, что воровское добро спрятано в шапочке, которую он бросал ввысь, глядя на великолепное осеннее небо.

То было на другой день. Сердце ее судорожно сжималось всякий раз, когда она вспоминала о нем, но теперь ей во что бы то ни стало нужно было вспомнить все до конца. Из Стокгольма пришел указ, что божий суд следует истолковать так: все трое обвиняемых равно виновны, и их надлежит казнить через повешение.

Она была там, когда приговор приводили в исполнение, была ради того, чтобы люди, которых она любила, знали, что есть на свете человек, который верит в них и скорбит о них. Но ради этого едва ли было надобно идти на холм висельников. После божьего суда расположение духа у людей стало иным. Все те, кто окружали ее перед солдатским частоколом, были теперь добры к ней. Люди судили да рядили меж собой, а потом решили, что божий суд следует истолковать так: все трое обвиняемых невиновны. Ведь старый генерал дозволил

всем троим выкинуть по две шестерки. Стало быть, и толковать тут больше нечего. Генеральского перстня никто из них не брал.

Когда вывели троих крестьян, раздался всеобщий страшный вопль. Женщины плакали, мужчины стояли, сжав кулаки и стиснув зубы. Говорили, что быть, мол, приходу Бру разоренным, как Иерусалиму, потому что там лишили жизни трех безвинных мужей. Люди выкрикивали слова утешения приговоренным к казни и глумились над палачами. Множество проклятий призывалось на голову ротмистра Левеншельда. Говорили, будто он побывал в Стокгольме и по его вине приговор божьего суда истолковали в ущерб обвиняемым.

Но, во всяком случае, все люди вместе с Марит считали подсудимых невинными и верили им, а это помогло девушке пережить тот день. И не только тот день, но и все остальные дни — доньше. Если бы люди, с которыми ей доводилось встречаться, считали ее дочкой убийцы, она не в силах была бы вынести тяготы жизни.

Пауль Элиассон первым взошел на маленький дощатый помост под виселицей. Сперва он бросился на колени и стал молиться богу; потом обратившись к стоявшему рядом с ним священнику, стал о чем-то молить его. Затем Марит увидела, как пастор снял с его головы шапочку. Когда все было кончено, пастор передал Марит шапочку и последний привет Пауля. Он послал ей шапочку в знак того, что думал о ней в свой предсмертный час.

Как ей могло даже взбрести на ум, что Пауль подарил бы ей на память шапочку, если бы знал, что в ней спрятано воровское добро? Нет, уж коли было что надежное на свете, так только одно: Пауль не знал, что перстень, который был надет на пальце у покойника, — в шапочке.

Быстро нагнувшись, Марит Эрикسدоттер взяла шапочку, поднесла ее к глазам и стала внимательно разглядывать. «Откуда могла взяться у Пауля эта шапочка? — подумала она. — Ни я, да и никто другой в усадьбе не вязал ее ему. Должно быть, он купил ее на ярмарке, а, может статься, сменялся с кем-нибудь».

Она еще раз перевернула шапочку, рассматривая узор со всех сторон. «Когда-то эта шапочка была, верно, красивая и нарядная, — подумала она. — Пауль любил всякие нарядные уборы. Он всегда

бывал недоволен, когда мы ткали ему серые сермяжные кафтаны. Он хотел, чтобы сермягу ему всегда красили. А шапочки он любил чаще красные, с большой кисточкой. Эта наверняка пришлась ему по вкусу».

Отложив шапочку, она вновь оперлась о перила, стремясь перенестись в прошлое.

Она была в лесу в то самое утро, когда Ингильберта испугали насмерть. И видела, как Пауль вместе с ее отцом и дядей стоял, склонившись над трупом. Оба старика решили, что Ингильберта нужно перенести вниз, в долину, и отправились нарубить ветвей для носилок. А Пауль на миг замешкался, чтобы рассмотреть Ингильбертову шапочку. У него разгорелись на нее глаза! Шапочка была узорчатая, связанная из красной, синей и белой пряжи, и он незаметно сменял ее на свою. Он сделал это без всякого дурного умысла. Может, он просто хотел немного покрасоваться в ней. Его собственная шапочка, оставленная им Ингильберту, уж конечно была не хуже этой, но не так пестра и не так искусно связана.

А Ингильберт зашил перстень в шапочку, прежде чем отправиться из дому. Может быть, он думал, что за ним будет погоня, и потому пытался спрятать его. Когда он упал, никому и на ум не пришло искать перстень в шапочке, а Паулю Элиассону и подавно.

Да, стало быть, так оно все и случилось. Она могла бы поклясться в этом, но нужно все же убедиться до конца.

Марит положила перстень в сундук и с шапочкой в руках пошла на скотный двор, чтобы потолковать со скотницей.

— Выйди-ка на свет, Мэрта, — крикнула она в темную глубь хлева, — да пособи мне с узором, а то одной никак не сладить!

Когда скотница вышла к ней, Марит протянула ей шапочку.

— Я знаю, что ты мастерица вязать, Мэрта, — сказала она. — Я хотела перенять этот узор, да не могу в нем разобраться. Глянь-ка сама! Ты ведь искусница в этом деле! Куда мне до тебя!

Скотница взяла шапочку и посмотрела на нее. Видно было, что она очень удивилась. Выйдя из тени, отбрасываемой стеной хлева, она вновь стала осматривать шапочку.

— Откуда она у тебя? — спросила Мэрта.

— Она пролежала у меня в сундуке много лет, — ответила Марит. — А зачем ты меня спрашиваешь?

— Затем, что эту самую шапочку я связала моему брату Ингильберту в то последнее лето, когда он еще был жив, — сказала скотница. — Я не видала ее с того самого утра, как он ушел из дому. Как могла она попасть сюда?

— Может, она свалилась у него с головы, когда он упал, — ответила Марит. — И кто-то из наших работников подобрал ее в лесу и принес сюда. Но уж коли эта шапочка растревляет тебе сердце, может, ты и не захочешь снять для меня узор?

— Давай мне шапочку, и узор будет у тебя к завтрашнему дню, — сказала скотница.

В голосе ее послышались слезы, когда, взяв шапочку, она пошла назад на скотный двор.

— Нет, не надо тебе снимать узор, раз тебе это так тяжело, — сказала Марит.

— Ничуть мне не тяжело, коли я делаю это для тебя.

И в самом деле, не кто иная, как Марит, вспомнила о Мэрте Бордсдоттер, оставшейся одной в лесу после смерти отца и брата, и предложила ей пойти скотницей в свою усадьбу Стургорден в Ольсбю. И Мэрта никогда не упускала случая выказать ей благодарность за то, что Марит помогла ей вернуться к людям.

Марит снова отправилась на крыльцо свайной клетки и взяла в руки вязанье, но ей не работалось; опершись, как прежде, головой о перила, она силилась придумать — что же ей теперь делать.

Если бы кто-нибудь в ольсбюской усадьбе знал, как выглядят женщины, отказавшиеся от мирской жизни ради затворничества в монастыре, он сказал бы, что Марит походит на такую женщину. Лицо ее было изжелта-бледным и совсем без морщин. Пришлomu человеку почти невозможно было б сказать — молода она или стара. Во всем ее облике было нечто умиротворенное и кроткое, как у человека, который отрешился от всяких желаний. Ее никогда не видали беззаботно-веселой, но и очень печальной тоже никогда не видали.

После постигшего ее тяжелого удара Марит ясно ощутила, что жизнь для нее кончена. Она унаследовала от отца усадьбу Стургорден, но ясно понимала, что, если захочет сохранить ее за собой, ей придется выйти замуж: ведь усадьбе нужен хозяин. Желая избежать замужества, она уступила все свои владения одному из двоюродных братьев

совершенно безвозмездно, оговорив себе лишь право жить и кормиться в усадьбе до конца дней своих.

Она была довольна тем, что так поступила, и никогда в том не раскаивалась. Опасаться, что дни потянутся для нее медленно и праздно, не приходилось. Люди уверовали в ее житейский ум и доброту, и стоило кому-нибудь захворать, как тотчас посылали за ней. Дети тоже очень льнули и ластились к ней. В клетки на сваях у нее всегда бывало полным-полно малышей. Они знали, что у Марит всегда найдется время помочь им управиться с их маленькими горестями.

И вот теперь, когда Марит сидела на крыльце, раздумывая, что ей делать с этим перстнем, на нее напал вдруг страшный гнев. Она думала о том, как легко мог бы отыскаться этот перстень. Почему генерал не позаботился о том, чтобы перстень был найден? Ведь он все время знал, где перстень, теперь-то Марит это понимала. Но отчего же он не устроил так, чтобы Ингильбертову шапочку тоже обыскали? Вместо этого он позволил казнить из-за своего перстня троих невинных людей. На то у него была власть, а вот заставить перстень выйти на свет божий — не было!

Поначалу Марит было подумала, что ей нужно пойти к пастору, рассказать ему все и отдать перстень. Но нет, этого она ни за что не сделает!

Ведь так уж получилось: где бы ни появлялась Марит — в церкви ли, в гостях ли, с ней обходились с величайшим почтением. Ей никогда не приходилось страдать от презрения, которое обычно выпадает на долю дочери лиходея. Люди были твердо убеждены в том, что тут совершена величайшая несправедливость, и хотели искупить ее. Даже знатные господа, встречая, бывало, Марит на церковном холме, непременно подходили к ней перемолвиться несколькими словами. Даже семейство из Хедебю — разумеется, не сам ротмистр, а его жена с невесткой — не раз пыталось сблизиться с Марит. Но она всегда упорно отвергала эти попытки. Ни единого слова не сказала она ни одному из жителей поместья со времен божьего суда.

Неужто же теперь она выйдет на площадь и громогласно признается в том, что хозяева Хедебю отчасти были правы? Перстнем, как оказалось, все же завладели крестьяне из Ольсбю? Может, даже заговорят о том, что они-де знали, где перстень, вытерпели арест и дознание, надеясь, что будут оправданы и смогут продать перстень.

Во всяком случае, Марит понимала, что честь ротмистра, а заодно и его отца, будет спасена, если она отдаст перстень и расскажет, где его нашла. А Марит не хотела палец о палец ударить ради того, что принесло бы пользу и выгоду Левеншельдам.

Ротмистр Левеншельд был теперь восьмидесятилетний старик, богатый и могущественный, знатный и почитаемый. Король пожаловал ему баронский титул, и не было случая, чтобы его постигла какая-нибудь беда. Сыновья у него были отменные, жили, как и он, в достатке и удачно женились...

А человек этот отнял у Марит все, все, все, что у нее было.

Она осталась одна на свете, обездоленная, безмужняя, бездетная, и все по его вине. Долгие годы ждала она и ждала, что его постигнет злая кара, но так ничего и не случилось.

Вдруг Марит вскочила, очнувшись от своего глубокого раздумья. Она услышала, как по двору быстро бегут детские ножки; наверное, это к ней.

То были двое мальчиков лет десяти-одиннадцати. Один был сын хозяина дома, Нильс, другого она не знала. И, уж конечно, они прибежали попросить ее в чем-то помочь.

— Марит, — сказал Нильс, — это Адриан из Хедебю. Мы с ним были вон на той дороге и гоняли обруч, а потом повздорили, и я разорвал его шапочку.

Марит молча сидела, глядя на Адриана. Красивый мальчик, в облике которого было нечто кроткое и ласковое. Она схватилась за сердце. Она всегда испытывала боль и страх, когда видела кого-нибудь из Левеншельдов.

— Теперь мы снова дружим, — продолжал Нильс, — вот я и подумал: дай-ка я попрошу тебя, может ты починишь Адриану шапочку, прежде чем он пойдет домой.

— Ладно, — сказала Марит, — починю!

Взяв в руки разорванную шапочку, она поднялась, собираясь войти в клеть.

— Должно быть, это знамение свыше, — пробормотала она. — Поиграйте-ка еще немного на дворе! — сказала Марит мальчикам. — Скоро будет готово.

Прикрыв за собой дверь в клеть, она затворилась там одна и стала штопать дырки в шапочке Адриана Левеншельда.

## IX

Снова прошло несколько лет, а о перстне по-прежнему не было ни слуху ни духу. Но вот случилось так, что в году 1788 девица Мальвина Спаак поселилась в Хедебю и стала там домоправительницей. Была она бедной пасторской дочкой из Сермланда, никогда прежде границ Вермланда не переступала и не имела ни малейшего понятия о том, что творится в поместье, где ей предстояло служить.

В самый день приезда ее пригласили к баронессе Левеншельд, чтобы доверить весьма странный секрет.

— Мне представляется самым правильным, — сказала хозяйка дома, — сразу же открыться вам, барышня. Надо сказать, у нас в Хедебю водятся привидения. Нередко случается, что на лестницах и в галереях, а иногда даже и в господских комнатах встречаешь рослого, дюжего человека, одетого примерно как старый каролинец — в высокие ботфорты и синий форменный мундир. Он предстает совершенно неожиданно, когда отворяешь дверь или выходишь на лестничную площадку: и не успеешь даже подумать, кто это, как он тут же исчезает. Он никого не обижает, и мы даже склонны думать, что он благоволит к нам, и я прошу вас, барышня, не пугаться, когда встретите его.

Девице Спаак шел в ту пору двадцать второй год; была она легкая и проворная, на редкость искусная во всякого рода домашних делах и работах, расторопная и решительная, так что где бы она ни вела хозяйство, все шло у нее как по маслу. Но она безумно боялась привидений и никогда не нанялась бы в Хедебю, если бы знала, что они там водятся. Однако теперь она уже приехала, а бедной девушке, право же, не пристало быть особо разборчивой и пренебрегать таким хорошим местом. Поэтому она сделала баронессе реверанс, поблагодарила за предостережение и заверила ее, что не даст себя запугать.

— Мы даже не понимаем, зачем он здесь бродит, — продолжала хозяйка дома. — Дочери считают, что он походит на дедушку моего мужа — генерала Левеншельда, которого вы видите вон на том портрете, и они обычно называют привидение Генералом. Но вы, барышня, разумеется, понимаете, что никто и не подумает сказать, что

по дому бродит сам генерал — он-то, очевидно, превосходнейший был человек. По правде говоря, мы и сами не можем все это понять. И если среди прислуги пойдут какие-нибудь пересуды, у вас, барышня, надеюсь, хватит ума не прислушиваться к ним.

Девушка Спаак еще раз сделала реверанс и заверила баронессу, что никогда не допустит среди прислуги ни малейших сплетен о господах; и на сем аудиенция была окончена.

Девушка Спаак была, конечно, всего-навсего бедной экономкой, но поскольку она была не из простых, то ела за господским столом, как и управляющий с гувернанткой. Впрочем, милостивая и приятная, с миниатюрной и хрупкой фигуркой, светловолосая, с розовым, цветущим личиком, она отнюдь не портила вида за господским столом. Все считали ее добрейшим человеком, который смог сделаться полезным во многих отношениях, и она сразу же стала всеобщей любимицей.

Вскоре она заметила, что привидение, о котором говорила баронесса, служило постоянным предметом разговора за столом. То одна из молодых баронесс, то гувернантка объявляли:

— Сегодня Генерала видела я, — и объявляли таким тоном, словно это было каким-то достоинством, которым и похвастаться не грех.

Дня не проходило без того, чтобы кто-нибудь не спросил ее, не встречался ли ей призрак, а поскольку Мальвине постоянно приходилось отвечать «нет», то она заметила, что это повлекло за собой некоторое пренебрежение к ней. Будто она была хуже гувернантки или управляющего, которые видали Генерала несчетное множество раз.

И вправду, девушке Спаак никогда не доводилось так свободно и непринужденно общаться с привидением, как им. Но с самого начала она предчувствовала, что дело это добром не кончится. Их в Хедебю ожидает страшнейший испуг. Она сказала самой себе, что если этот являвшийся им призрак и в самом деле существо из другого мира, то это, бесспорно, какой-нибудь несчастный, который нуждается в помощи живущих, чтобы обрести покой в могиле. Экономка была особа весьма решительная, и будь ее воля и власть, в доме учинили бы строжайший розыск и доискались бы до самой сути этого дела, вместо



того чтобы оно служило постоянным предметом беседы за обеденным столом.

Но девица Спаак знала свое место, и ни единое слово в осуждение господ никогда не сорвалось бы у нее с языка. Сама же она избегала участвовать в общем подшучивании над призраком и хранила в тайне все свои дурные предчувствия.

Целый месяц прожила девица Спаак в Хедебю, прежде чем ей довелось увидеть призрака. Но однажды утром, спускаясь с чердака, где она пересчитывала перед стиркой белье, экономка встретила на лестнице какого-то человека, который посторонился, дав ей пройти. Было это среди бела дня, и она вовсе не думала ни о каких привидениях. Она только удивилась: что делать чужому человеку на чердаке, и тут же вернулась, чтобы осведомиться, за какой надобностью он здесь. Но на лестнице не было видно ни души. Экономка, полная решимости схватить за шиворот вора, снова поспешно взбежала по лестнице, заглянула на чердак, обыскала все темные углы и клеть. Но нигде ни единой души не было, и она внезапно догадалась, что произошло.

— Ну и дура же я! — воскликнула она. — То был, конечно, не кто иной, как Генерал!

Ну, разумеется! Ведь тот человек был одет в синий форменный мундир, точь-в-точь как старый генерал на портрете, и на нем были такие же огромные ботфорты. Лица его она разглядеть как следует не смогла: казалось, будто серая туманная дымка окутала его черты.

Девица Спаак еще долго оставалась на чердаке, стараясь прийти в себя. Зубы у нее стучали, ноги подкашивались. Если бы ей не надо было думать об обеде, она никогда бы и с чердака не спустилась. Она сразу же решила сохранить в тайне все, что видела, и не дать другим повод подшучивать над собой.

Меж тем Генерал у нее из головы не шел, и, должно быть, это наложило какой-то особый отпечаток на ее лицо, потому что едва все уселись за обед, как сын хозяина дома, девятнадцатилетний юноша, только что приехавший из Упсалы на рождественские каникулы, обратился к ней со словами:

— Сегодня вы, барышня Спаак, видели Генерала! — и сказал это напрямик, так что у нее не хватило духу отпереться.

Девушка Спаак разом почувствовала себя важной персоной за господским столом. Все забросали ее вопросами, на которые она, однако, отвечала как можно короче. К несчастью, ей не удалось отпереться от того, что она немного испугалась, и тут все неописуемо развеселились. Испугалась Генерала! Кому такое в голову придет!

Девушка Спаак уже не раз обращала внимание на то, что барон с баронессой никогда не принимали участия в подшучивании над Генералом. Они только предоставляли свободу действий другим, не мешая им болтать. Теперь же она сделала новое наблюдение: молодой студент отнесся к этому гораздо серьезнее, нежели прочая молодежь в усадьбе.

— Что до меня, — сказал он, — то я завидую всем, кому довелось видеть Генерала. Я бы хотел ему помочь, но мне он никогда не являлся!

Эти слова он вымолвил с таким искренним сожалением и с таким чувством, что девушка Спаак мысленно помолилась богу о скорейшем исполнении его желания. Молодой барон наверняка сжалится над злосчастливым призраком и вновь дарует ему могильный покой.

Вскоре оказалось, что девушка Спаак в большей мере, чем кто-либо другой из домочадцев, сделалась предметом внимания призрака. Она видела его так часто, что почти привыкла к нему. Он являлся всегда мгновенно и неожиданно — то на лестнице, то в сенях, то в темном углу поварни.

Но причины появления призрака разгадать так и не удалось. Правда, в душе девушки Спаак таилось смутное подозрение — уж нет ли чего в усадьбе, что мог бы разыскивать призрак. Но лишь только его достигал взгляд человеческих глаз, как он тут же исчезал, и она никак не могла уяснить себе его помышлений.

Девушка Спаак заметила, что, вопреки словам баронессы, вся молодежь в Хедебю была твердо уверена в том, что по усадьбе бродит не кто иной, как старый генерал Левеншельд.

— Он томится в могиле, — говорили молодые барышни, — и ему интересно посмотреть, что мы затеваем здесь в Хедебю. Нельзя же отказать ему в этом маленьком удовольствии.

А экономка, которой всякий раз после встречи с Генералом приходилось бежать в кладовую, где она вдали от докучливого зубоскальства служанок могла вволю трепетать от страха и стучать

зубами, предпочла бы, чтобы призрак не так живо интересовался Хедебю. Но она понимала, что всему прочему семейству его попросту будет не хватать.

Вот, к примеру, сидели они однажды весь долгий вечер и рукодельничали — то ли пряли, то ли шили, но иной раз и чтение прерывалось, да и беседа иссякала. Тут одна из барышень внезапно вскрикнула от ужаса. Она якобы видела чье-то лицо, нет, собственно говоря, даже не лицо, а лишь два ряда сверкающих зубов, плотно прижатых к оконному стеклу. Поспешно зажгли фонарь, отворили двери в сени, и все, предводительствуемые баронессой, выбежали из залы, чтобы найти нарушителя спокойствия.

Но, разумеется, так никого и не смогли найти. Все снова вернулись назад, наглухо закрыли ставни и, пожав плечами, сказали, что, верно, то был не кто иной, как Генерал. Но тем временем сонливость уже прошла. Наконец-то появилась пища для ума, колесо прялки завертелось с новой силой, снова развязались языки.

Семейство Левеншельдов было убеждено в том, что стоит лишь вечером уйти из залы, как ею тотчас же завладевает Генерал, и что его непременно нашли бы там, если бы кто-нибудь осмелился войти. Левеншельды ничуть не возражали, чтобы он там обретался. Девушка Спаак даже полагала, что они находили немалое удовольствие, думая о том, что их бесприютный предок может спокойно побыть в теплой и уютной зале.

Когда Генерал перебирался в залу, ему нравилось, если она бывала прибрана и приведена в порядок. Всякий вечер экономка видела, как баронесса с дочерьми складывали свое рукоделие и брали его с собой: прялки и пяльцы для вышивания также выносились в другую комнату. На полу не оставляли даже обрывки нитки.

Девушка Спаак, спавшая в каморке рядом с залой, пробудилась однажды ночью оттого, что какой-то предмет гулко ударился о стенку, у которой стояла ее кровать, а потом скатился на пол. Не успела она опомниться, как снова раздался удар и снова что-то покатилося по полу, а потом все повторилось еще дважды.

— Господи боже мой, что это он там затеял? — вздохнула экономка, потому что сразу поняла, кто виновник всей этой кутерьмы.

Да, соседство с ним было совсем не из приятных. Всю ночь напролет она лежала, обливаясь холодным потом и страшась, что

призрак Генерала войдет и начнет ее душить.

Когда наутро она пошла в залу посмотреть, что там стряслось, она взяла с собой и повариху и горничную. Но ничего там не было разбито, незаметно было и какого-нибудь беспорядка, не считая того, что посреди залы на полу лежали четыре яблока. Как же это они так оплошали! Ведь накануне вечером все, сидя у камина, ели яблоки и четыре яблока забыли на каминной доске. Но это явно не понравилось Генералу. Девице Спаак пришлось искупить свое нерадение бессонной ночью.

С другой стороны, девица Спаак никогда не могла забыть, как однажды ей довелось столкнуться с истинной дружественностью Генерала.

В усадьбе Хедебю был званый обед со множеством гостей. Девица Спаак совсем захлопоталась — мясо на вертелах, воздушное печенье и паштеты в духовке, котелки с бульоном и сковороды с подливкой на плите. Но и этого мало. Экономке пришлось лично присутствовать в зале и присматривать за тем, как накрывают на стол; ей пришлось принять серебро, которое собственноручно выдала ей по счету баронесса. Ей пришлось подумать и о том, чтобы вино и пиво достали из погреба и чтобы вставили свечи в люстры. Если к тому же принять во внимание, что поварня в Хедебю находилась в отдаленном флигеле и, чтобы попасть туда, нужно было бежать через весь двор и что по этому торжественному случаю поварня была битком набита пришедшей, да к тому же еще необученной прислугой, то можно себе представить, что заправлять всем этим должен был человек умелый.

Но все шло без сучка, без задоринки, как и надлежало тому быть. На бокалах не было ни малейших пятен, а в паштетах — затхлои требухи, пиво пенилось, бульон был в меру сдобрен пряностями, а кофе в меру крепкий. Девица Спаак сумела показать, на что она способна, и сама баронесса, отпуская ей комплименты, сказала, что лучше и быть не могло.

Но тут экономку постиг ужасный и неожиданный удар. Собираясь вернуть баронессе серебро, она хватилась, что недостает двух ложек — столовой и чайной.

Все переполошились. По тем временам ничего худшего, нежели пропажа серебра, в доме случиться не могло. В Хедебю началось лихорадочное волнение и всеобщая сумятица. Все только и делали, что

искали пропажу. Вспомнили, что какая-то старая цыганка была на поварне в тот самый день, когда в Хедебю пировали, и готовы были ехать в дальние финские леса,<sup>[77]</sup> чтобы схватить ее. Все стали подозрительны и безрассудны. Хозяйка подозревала домоправительницу, домоправительница — служанок, служанки — друг друга и весь белый свет. То одна, то другая являлись с покрасневшими от слез глазами, ибо думала, что прочие подозревают ее в краже этих двух ложек.

Так продолжалось несколько дней, однако так ничего и не нашли, и девица Спаак была близка к отчаянию. Она побывала в свинарнике и обыскала свиное корыто с пойлом, желая посмотреть, не угодили ли туда ложки. Она украдкой пробралась на чердак, где служанки держали свое платье, и тайком перерыла их маленькие укладки. Все было тщетно, и где искать еще — она не знала. Она заметила, что баронесса со всеми домочадцами подозревают ее, пришлую. Она понимала, что ей откажут от места, ежели она не откажется сама.

Девица Спаак, склонясь над плитой, стояла в поварне и плакала так горько, что слезы ее капали вниз и шипели на горячей плите; вдруг она почувствовала, что ей надобно обернуться. Так она и сделала и вдруг увидала, что у стены стоит Генерал, указывая рукой на полку, которая была прилажена так высоко и так неудобно, что никому никогда не приходило в голову класть туда что-нибудь.

Генерал исчез, по своему обыкновению, в тот самый миг, как появился, но девица Спаак послушалась его знака. Вытащив из кладовки лестницу, она приставила ее к полке, влезла на самый верх, протянула руку и нащупала старую посудную тряпку. Но в эту грязную тряпку были завернуты обе серебряные ложки.

Как они туда попали? Конечно, это случилось без чьего-либо ведома и умысла. В невероятной суматохе на таком пиру могло случиться все, что угодно. Тряпку зашвырнули на полку, наверное, потому, что она попала под ноги, а серебряные ложки очутились там вместе с ней, причем никто этого не заметил.

Но теперь они снова отыскались, и девица Спаак, сияя от счастья, отнесла их баронессе и вновь стала ее правой рукой и помощницей.

Нет худа без добра. Вернувшись домой по весне, молодой барон Адриан услышал о том, что Генерал выказал девице Спаак свое неслыханное благоволение; и Адриан тотчас же начал уделять ей

особое внимание. Он стал как можно чаще навещать ее в буфетную или же в поварню. То он являлся под предлогом, что ему нужна новая леска для удочки, то говорил, что его привлёк приятный запах свежеспеченных булочек. При этом он всегда переводил беседу на предметы сверхъестественные. Он склонял экономку рассказывать ему истории о привидениях, водившихся в богатых сермландских поместьях, таких, как Юлита и Эриксберг, желая выведать, каково ее мнение об этом.

Но чаще всего ему хотелось потолковать о Генерале. Он говорил ей, что не может рассуждать о нем с другими, поскольку они воспринимают его лишь с шутильной стороны. А он испытывает сострадание к злосчастному привидению и хотел бы помочь ему обрести вечный покой. Только бы знать, как к этому подступиться!

Тут девица Спаак заметила: по ее скромному суждению, в усадьбе есть нечто такое, что разыскивает Генерал.

Молодой барон слегка побледнел и испытующе посмотрел на экономку.

— Ma foi, [\[78\]](#) барышня Спаак! — воскликнул он. — Это вполне возможно! Но заверяю вас, что, имея мы здесь, в Хедебю, то, чего домогается Генерал, мы бы незамедлительно ему это отдали!

Девица Спаак, разумеется, слишком хорошо понимала, что барон Адриан навещает ее единственно ради привидения, но он был такой обходительный молодой человек и такой красивый! Да, уж если говорить начистоту — даже более чем красивый! Он ходил, чуть склонив вперед голову, а во всем его облике было нечто задумчивое. Да, многие даже полагали, что он не по летам серьезен. Но полагали так лишь потому, что не знали его. Порою он вдруг скидывал голову, шутил и придумывал разные проказы почище любого прочего. Но за что бы он ни принимался — в его движениях, голосе, улыбке было какое-то неопишное очарование.

Однажды летом, в воскресенье, девица Спаак была в церкви. Домой она возвращалась кратчайшим путем — тропинкой, которая пробегала наискось через городьбу пасторской усадьбы. Кое-кто из прихожан, выйдя из церкви, тоже пошел по этой же тропинке, и экономка, спешившая в усадьбу, обогнала женщину, которая шла куда медленней, чем она. Вскоре девица Спаак подошла к перелазу, по которому трудно было перебраться через изгородь, и, как всегда

услужливая, она подумала о более медлительной путнице и остановилась, чтобы помочь ей. Протянув женщине руку, экономка заметила, что та вовсе не так стара, как ей было показалось издали. Кожа у нее была на редкость гладкая и белая, так что девица Спаак решила — может статься, ей не больше пятидесяти. Хотя с виду она была всего лишь простой крестьянкой, держалась она с достоинством, словно ей довелось пережить нечто, возвысившее ее над собственным сословием.

После того как экономка помогла женщине перебраться через изгородь, они пошли рядом по узкой тропинке.

— Вы, барышня, видать, та самая, что заправляет хозяйством в Хедебю, — сказала крестьянка.

— Да, — ответила девица Спаак.

— Я думаю, хорошо вам там живется?

— А почему бы мне жить плохо на таком хорошем месте! — сдержанно возразила экономка.

— Да в народе толкуют, будто в Хедебю нечисто.

— Не годится верить людским пересудам, — наставительно заметила экономка.

— Не годится, верно, не годится, уж я-то знаю! — согласилась собеседница.

Они помолчали. Видно, женщина эта что-то знала, и, по правде говоря, девица Спаак горела желанием порасспросить ее. Но это было бы неладно и ей не к лицу.

Первой снова завела разговор женщина.

— Сдается мне, что вы барышня славная, — молвила она, — и потому я хочу дать вам добрый совет: не засиживайтесь долго в Хедебю. Ведь с тем, кто там бродит, шутки плохи. Он не отступится, покуда не добьется, чего ему нужно.

Поначалу девица Спаак намеревалась было чуть свысока поблагодарить за предостережение, но последние слова незнакомой женщины возбудили в ней любопытство.

— А что ж ему надо? Вы знаете, что ему надо?

— Или вам, барышня, про то неведомо? — спросила крестьянка. — Тогда я слова больше не вымолвлю. Может, так оно и лучше для вас, что вы ничего не знаете.

С этими словами она протянула девице Спаак руку, свернула на другую тропинку и вскоре скрылась из виду.

Девушка Спаак поостереглась и не стала рассказывать за обеденным столом всему семейству об этой беседе. Но после обеда, когда барон Адриан наведлся к ней в молочную, она не утаила того, что сказала ей незнакомка. Адриан и вправду очень удивился.

— Должно быть, то была Марит Эриксдоттер из Ольсбю, — сказал он. — Знаете ли, барышня, она впервые за тридцать лет перемолвилась дружеским словом с кем-то из Хедебю. Мне она однажды починила шапочку, которую разорвал мальчонка из Ольсбю, а вид у нее при этом был такой, будто она хотела выцарапать мне глаза.

— Но знает ли она, что именно ищет Генерал?

— Кому же, как не ей, знать об этом, барышня Спаак. И я тоже знаю. Отец рассказал мне как-то всю историю. Но родители мои не хотят, чтоб об этом говорили при сестрах. Они станут тогда бояться привидений и навряд ли останутся жить здесь. И я тоже не осмеливаюсь рассказать вам об этом.

— Упаси, боже! — молвила экономка. — Раз барон запретил говорить...

— Я сожалею об этом, — перебил ее барон Адриан, — я думал, что вы, барышня, сможете мне помочь.

— Ах, если б я могла!

— Ибо, и я это повторяю, — продолжал барон Адриан — я хочу помочь упокоиться бедному призраку. Я не боюсь его, я последую за ним, как только он позовет меня. Почему является он всем другим и никогда не является мне?



## Х

Адриан Левеншельд спал у себя в мансарде, когда внезапный легкий шум заставил его пробудиться. Он открыл глаза, и так как ставни не были затворены, а на дворе стояла светлая летняя ночь, он увидел, что дверь тихо распахнулась. Он подумал было, что ее отворил порыв ветра, но увидел, как внезапно в дверном проеме выросла темная фигура, которая, наклонившись, что-то пытливо высматривала в глубине мансарды.

Адриан отчетливо разглядел какого-то старика, одетого в старинный кавалерийский мундир. Из-под чуть расстегнутого мундира белел лосиной кожи колет, ботфорты были выше колен, а руками он придерживал длинный палаш, слегка приподняв его, словно опасаясь, чтобы он не бряцал.

«Ей-богу, это Генерал! — подумал молодой барон. — Вот и хорошо. Сейчас он увидит человека, который не боится его».

Все, кому доводилось видеть Генерала, в один голос твердили, что стоило им только вперить в него взор и он тут же исчезал. Но на сей раз такого не случилось. Еще долго после того, как Адриан обнаружил его, он оставался стоять в дверях. Через несколько минут, когда Генерал, казалось, уверился в том, что Адриан в силах вынести его вид, он, подняв руку, поманил его к себе.

Адриан тотчас же сел в кровати. «Теперь или никогда, — подумал он. — Наконец-то он попросил моей помощи, и я пойду за ним».

Ведь он ждал этого часа много лет. Он готовился к нему, мысленно закалял дух в предвкушении встречи с призраком. Он всегда знал, что ее не миновать.

Адриану не хотелось заставлять Генерала ждать его, и, не одеваясь, молодой барон последовал за ним. Он лишь сдернул с кровати простыню и завернулся в нее.

И только тогда, когда он стоял посреди мансарды, ему вдруг пришло в голову, что все же небезопасно вот так предаться во власть существу из другого мира, и он попятился назад. Но увидел, как Генерал простер к нему обе руки и, словно в отчаянии, умолял его о чем-то.

«Что за чепуха?! — подумал он. — Неужто я испугался, не успев еще выйти из мансарды?»

Он приблизился к двери, а Генерал тем временем был уже на чердаке, но шел все время оглядываясь, словно желая увериться в том, что молодой человек следует за ним.

Перед тем, как переступить порог и покинуть мансарду, чтобы выйти на чердак, Адриан почувствовал, как от ужаса у него защемило сердце. Что-то говорило ему: надо бы захлопнуть дверь и вернуться в постель. В нем шевельнулось смутное предчувствие того, что он не рассчитал своих сил. Он был не из тех, кому дано безнаказанно заглянуть в тайны другого мира.

Однако он сохранил еще крупицу мужества. Он сказал себе, что Генерал, наверно, не собирается заманить его в какую-нибудь западню. Он хотел лишь показать ему, где находится перстень. Только бы ему вытерпеть еще несколько минут, и он добьется того, к чему стремился столько лет, и сможет послать утомленного путника на вечный покой.

Генерал остановился посреди чердака, поджидая молодого барона. Здесь было сумрачнее, чем в мансарде, но Адриан все же явственно видел темную фигуру с простертыми в мольбе руками. Собравшись с духом, он переступил порог, и они пошли по чердаку.

Призрак направился к чердачной лестнице, а увидев, что Адриан идет следом, начал спускаться. Он по-прежнему пятился задом, останавливаясь на каждой ступеньке и, подчиня своей воле нерешительного юношу, как бы тащил его за собой.

Медленно, не раз останавливаясь, они все-таки шли вперед. Адриан пытался приободриться, напомнив себе, сколько раз он, бывало, похвалялся перед сестрами, говоря, что последует за Генералом, когда бы тот ни позвал его. Он припомнил также, как с самого детства горел желанием постигнуть неведомое и проникнуть в сокрытое. И вот великий миг настал, он следовал за призраком в неизвестное. Неужто теперь его жалкое малодушие помешает ему узнать наконец это нечто?

Подобными рассуждениями он побуждал себя крепиться, но остерегался подходить к призраку вплотную. Их постоянно разделял промежуток в несколько аршин. Когда Адриан достиг середины лестницы, Генерал находился уже у ее подножия. Когда Адриан стоял на самой нижней ступеньке, Генерал был уже внизу в сенях.

Но тут Адриан вновь остановился. По правую руку от него, совсем рядом с лестницей, была родительская опочивальня. Он взялся за ручку двери, но не для того, чтобы отворить, а лишь для того, чтобы любовно коснуться ее. Если бы только родители его знали, с кем он стоит за дверью! Он жаждал броситься в объятия матушки. Ему думалось, что стоит ему отпустить ручку этой двери, и он всецело окажется во власти Генерала.

Пока он стоял так, держась за ручку, он увидел, как одна из дверей в сени отворилась и Генерал переступил порог, собираясь выйти из дому.

И на чердаке и на лестнице было довольно сумеречно, но тут через проем двери хлынул сильный поток света, и Адриан впервые разглядел Генерала.

Как и ожидал Адриан, то было лицо старика. Он хорошо знал его по портрету в гостиной. Но черты этого лица не излучали вечного покоя, в чертах его проглядывала яростная алчность, а на устах призрака играла зловещая улыбка торжества и уверенности в победе.

Как ужасно было видеть, что земные страсти обуревают мертвеца! Покойных мы хотим представить себе пребывающими вдали, далекими от всех человеческих наслаждений и страстей. Отрешенными от всего мирского хотим мы видеть их, преисполненными лишь помыслов небесных. В этом же существе, которое оставалось приверженным ко всему земному, Адриану почудился искунитель, злой дух, который хочет навлечь на него гибель.

Им овладел ужас. В безотчетном страхе он с силой рванул на себя дверь в родительскую опочивальню и ринулся туда с криком:

— Батюшка! Матушка! Генерал!

И в тот же миг, лишившись чувств, рухнул на пол.

Перо выпадает из рук. Ну, не тщетны ли мои старания записать все это? Эту историю мне рассказывали в сумерках у горящего очага. В моих ушах до сих пор звучит убедительный голос рассказчицы. Я чувствую, как мороз пробегает у меня по коже, тот трепет ужаса, который бывает не только от боязни привидений, но и от предвкушения того, что произойдет!

А как внимательно слушали мы эту историю, думая, что она приподнимет краешек завесы над неведомым! И какое странное

настроение оставляла она после себя, словно отворили какую-то дверь. И думалось: что-то должно наконец появиться из кромешной тьмы!

Насколько правдива эта история? Одна рассказчица унаследовала ее от другой, одна кое-что добавляла, другая — убавляла. Но не содержит ли эта история в себе небольшое зерно правды? Разве не создается впечатление, словно история эта изображает нечто такое, что происходило въявь?

Призрак, бродивший по усадьбе Хедебю, призрак, являвшийся средь бела дня, вмешивавшийся в домашние дела, призрак, отыскивавший потерянные вещи, — кем и чем он был?

Нет ли чего-нибудь необычно многозначительного и заранее предначертанного в его появлении? Не отличается ли он некоторым своеобразием от многих других привидений в господских усадьбах? Не выглядит ли все это так, будто девица Спаак и в самом деле слышала, как он швырял яблоки в стенку залы, а молодой барон Адриан в самом деле сопровождал его по чердаку и по чердачной лестнице?

Но в таком случае, в таком случае... Быть может, разгадать эту загадку дано одному из тех, кто уже сейчас видит явь, скрытую от той яви, в которой живем мы.

## XI

Молодой барон Адриан лежал бледный и недвижимый в огромной родительской кровати. Пощупав его пульс, можно было почувствовать, что кровь еще струится в его жилах, но почти неприметно. Он не очнулся после глубокого обморока, однако жизнь в нем еще теплилась.

Лекаря в приходе Бру не было, но в четыре часа утра в Карлстад поехал верхом слуга, чтобы попытаться кого-нибудь привезти. Езды туда было шесть миль, и окажись даже лекарь дома и согласись он тотчас же выехать, его можно было бы ожидать из города самое раннее через двенадцать часов. Но следовало также быть готовым к тому, что пройдет день, а то и два, покуда он явится.

Баронесса Левеншельд сидела по одну сторону кровати, не отрывая глаз от лица сына. Она верила, что едва теплившаяся в нем искра жизни не угаснет, если она будет сидеть тут, неусыпно бодрствуя и оберегая его.

Барон также время от времени садился по другую сторону кровати, но был не в силах усидеть на месте. То он брал вялую руку

сына, чтобы пощупать пульс, то подходил к окну и бросал взгляд на проезжую дорогу, то шел через комнаты к зале, чтобы взглянуть на часы. На вопросы, которые можно было прочитать в глазах взволнованных дочерей и гувернантки, он лишь качал головой и снова уходил в опочивальню, где лежал больной.

Туда не допускали никого, кроме девицы Спаак. Ни дочерей, ни даже кого-либо из служанок, одну лишь девицу Спаак. У нее была подобающая походка, подобающий голос, она была на своем месте в опочивальне.

Девушка Спаак пробудилась ночью от ужасного крика Адриана. Услышав вслед за криком тяжелый звук падения тела, она вскочила. Сама не помня как, набросила на себя платье; среди ее мудрых житейских правил было и такое, что никогда не следует появляться на людях не одетой, при любых обстоятельствах, что бы ни случилось. В зале она встретилась с баронессой, которая прибежала, чтобы позвать на помощь. После этого экономка вместе с родителями подняла Адриана и уложила его в большую двуспальную кровать. Вначале все трое думали, что он уже мертв, но потом девушка Спаак нащупала слабое биение пульса.

Несколько раз пытались они привести его обычными способами в чувство, но искорка жизни едва теплилась в Адриане, и что бы они ни делали, она, казалось, все больше угасала. Вскоре они совсем пали духом и не решались больше ничего предпринять. Им оставалось только сидеть и ждать.

Баронессу успокаивало то, что с ней в опочивальне находилась девушка Спаак, ибо та была совершенно спокойна и твердо уверена, что Адриан вскоре очнется. Баронесса позволила экономке причесать себя и надеть башмаки. Когда надо было накинуть платье, баронессе пришлось встать, но она, предоставив экономке застегнуть пуговицы и расправить складки, по-прежнему не отрывала глаз от лица сына.

Девушка Спаак принесла ей чашку кофе и с мягкой настойчивостью уговорила выпить его.

Баронессе казалось, будто экономка неотлучно была при ней, но та была еще и в поварне, где, как обычно, позаботилась об еде для прислуги. Она не забыла ни единой мелочи. Бледная как смерть, она все так же исправно делала свое дело. Завтрак был подан к

господскому столу вовремя, а пастушок получил свою котомку со съестным, когда погнал коров на пастбище.

В поварне прислуга спрашивала, что стряслось с молодым бароном, и экономка отвечала:

— Известно лишь, что он ворвался к родителям и что-то выкрикнул о Генерале. Затем он упал в обморок, и теперь не удастся привести его в чувство.

— Видать, Генерал явился ему! — сказала повариха.

— А разве не чудно, что он так грубо обходится со своей собственной родней? — подивилась горничная.

— У него, верно, всякое терпение лопнуло. Они только и знали, что насмеяться над ним. А он, видно, свой перстень искал.

— Уж не думаешь ли ты, что перстень тут, в Хедебю? — спросила горничная. — С него бы случилось тогда поджечь крышу над нашей головой и спалить весь дом, только бы заполучить свой перстень!

— Ясное дело, перстень схоронен тут в каком-нибудь углу, — молвила повариха, — а то с чего бы Генералу вечно слоняться по всей усадьбе!

В тот день девица Спаак отказалась от одного из своих прекрасных житейских правил — никогда не прислушиваться к пересудам слуг о господах.

— О каком это перстне вы толкуете? — спросила она.

— А разве вы не знаете, барышня, что Генерал бродит тут да ищет свой перстень с печаткой? — ответила обрадовавшаяся ее вопросу повариха.

И наперебой с горничной она поспешила посвятить девицу Спаак в историю ограбления могилы и божьего суда. Когда же экономка выслушала все это, она уже ни на секунду не усомнилась в том, что перстень каким-то образом попал в Хедебю и спрятан где-то там.

От этого рассказа девицу Спаак бросило в дрожь, почти как в тот раз, когда ей впервые встретился на чердачной лестнице Генерал. Вот этого-то она все время и опасалась. А теперь она уже хорошо знала, как свиреп и беспощаден может быть этот призрак. Было ясно как божий день, что, если он не получит назад свой перстень, барон Адриан умрет.

Но едва экономка пришла к такому заключению, как она — особа весьма решительная — тотчас же поняла, что надлежит делать. Если

этот проклятый перстень находится в Хедебю, то надо постараться во что бы то ни стало его отыскать.

Она ненадолго прошла в жилую половину господского дома, наведальась в опочивальню, где все было по-прежнему; взбежала по лестнице на чердак и перестлала постель в Адриановой мансарде, чтобы она была наготове на случай, если ему полегчает и его можно будет перенести наверх. Затем зашла в комнаты к барышням и к гувернантке — смертельно напуганные, они сидели сложа руки, не в силах чем-нибудь заняться. Она рассказала им кое-что из того, что узнала сама, рассказала ровно столько, чтоб гувернантка с барышнями поняли, о чем шла речь, и спросила, не помогут ли они ей отыскать перстень.

Конечно, они тотчас же согласились. Барышни и гувернантка принялись искать в комнатах и в мансарде. Сама же девица Спаак направилась на поварню и поставила на ноги всех дворовых девушек.

«Генерал являлся в поварне так же часто, как и в господском доме, — подумала она. — Что-то подсказывает мне — перстень где-то тут».

В поварне и в кладовке, в хлебной и в пивоварне все было перевернуто вверх дном. Искали в стенных щелях, в печных подах, вытряхивали ящики поставца с приправами, обшарили даже мышинные норы.

При все том девица Спаак не забывала время от времени перебежать через двор и наведаться в опочивальню. Во время одного из таких визитов она застала баронессу в слезах.

— Ему хуже, — сказала баронесса. — По-моему, он при смерти.

Склонившись над Адрианом, девица Спаак взяла его безжизненную руку в свои и проверила пульс.

— Да нет же, госпожа баронесса, — сказала она, — ему не хуже, а, пожалуй, лучше.

Ей удалось успокоить хозяйку, но саму ее охватило безумное отчаяние. А что, если молодой барон не доживет до тех пор, пока она отыщет перстень?

От волнения она, забывшись на миг, перестала владеть собой. Отпуская руку Адриана, она тихонько погладила ее. Сама она едва ли сознавала, что делает, но баронесса тотчас же заметила это.

«Mon Dieu, [79] — подумала она, — бедное дитя, неужели это так? Быть может, мне нужно сказать ей... Но не все ли равно, если мы так или иначе его потеряем: Генерал гневается на него, а тот, на кого гневается Генерал, должен умереть».

Вернувшись на поварню, девица Спаак стала расспрашивать служанок, нет ли в здешних краях какого-нибудь знахаря, за которым обычно посылают при несчастных случаях. Неужто непременно надо дожидаться, покуда приедет лекарь?

Да, в других местах, когда кто-нибудь занедужит, посылают за Марит Эрикسدоттер из Ольсбю. Она умеет заговаривать кровь и костоправничать, и уж она-то сумела бы пробудить барона Адриана от смертного сна... Но сюда, в Хедебю, она вряд ли пожелает прийти.

Покуда служанка с экономкой говорили о Марит Эрикسدоттер, повариха, взобравшись на самую верхнюю ступеньку приставной лестницы, заглянула на высокую полку, где некогда отыскиались потерянные серебряные ложки.

— Ой! — вскрикнула она. — Наконец-то нашла то, что давно искала. Тут лежит старая шапочка барона Адриана!

Девица Спаак ужаснулась. Нечего сказать, хорошие были, видно, порядки у них на поварне до того, как она приехала в Хедебю! Как могла шапочка барона Адриана попасть на полку?

— Эка невидаль, — сказала повариха. — Из этой шапочки он вырос, да и отдал ее мне на тряпки, горшки прихватывать. Вот хорошо-то, что я ее хоть теперь нашла!

Девица Спаак выхватила у нее шапочку из рук.

— Жаль кромсать ее, — сказала она. — Можно отдать какому-нибудь бедняку!

Она вынесла шапочку на двор и стала выбивать из нее пыль. Тем временем из дома вышел барон.

— Кажется, Адриану хуже, — сказал он.

— А разве нет кого-нибудь поблизости в округе, кто умеет пользоваться больных? — как можно простодушнее спросила экономка. — Служанки толковали тут про одну женщину, которую зовут Марит Эрикسدоттер.

Барон оцепенел.

— Разумеется, когда речь идет о жизни Адриана, я бы, не колеблясь, послал за моим злейшим врагом, — сказал он. — Но толку



все равно не будет. Марит Эрикسدоттер никогда не придет в Хедебю.

Получив подобное разъяснение, девица Спаак не осмелилась перечить. Она продолжала искать в поварне, распорядилась насчет обеда и устроила так, что даже баронесса немного поела. Перстень не находился, а девица Спаак без конца твердила себе: «Мы должны найти перстень! Генерал лишит Адриана жизни, если мы не отыщем ему перстень».

После обеда девица Спаак отправилась в Ольсбю. Она пошла, ни у кого не спросившись. Всякий раз, когда она входила к больному, пульс его бился все слабее и слабее, а перебои наступали все чаще и чаще. Она была не в силах спокойно дожидаться карлстадского лекаря. Да, более чем вероятно, что Марит ей откажет, но экономка хотела испробовать все возможные средства.

Когда девица Спаак пришла в Стургорден, Марит Эрикسدоттер сидела на своем обычном месте — на крыльце свайной клетки. В руках у нее не было никакой работы, она сидела откинувшись назад, с закрытыми глазами. Но она не спала и, когда появилась экономка, подняла глаза и тотчас признала ее.

— Вот оно что, — промолвила она, — теперь из Хедебю за мной посылают?

— Ты, Марит, уже слыхала, как плохи наши дела? — спросила девица Спаак.

— Да, слыхала, — отвечала Марит, — и не пойду!

Девица Спаак не сказала ей в ответ ни слова. Глухая безнадежность придавила ее. Все шло ей наперекор, ополчилось против нее, а уж хуже этого быть ничего не может. Она видела собственными глазами и слышала собственными ушами, как радовалась Марит. Сидела на крыльце и радовалась несчастью, радовалась, что Адриан Левеншельд умрет.

До этой минуты экономка крепилась. Она не кричала, не роптала, увидев Адриана распростертым на полу. У нее была лишь одна мысль — помочь ему и его близким. Но отпор Марит сломил ее силы. Она заплакала горько и неудержимо. Нетвердыми шагами побрела она к стенке одной из пристроек и прижалась к ней лбом, горько рыдая.

Марит чуть подалась вперед. Долго-долго не отрывала она глаз от несчастной девушки. «Ах вот оно что! Неужто так?» — подумала она.

Но пока Марит сидела, разглядывая девушку, слезами любви оплакивавшую возлюбленного, что-то перевернулось в ее душе.

Несколько часов тому назад она узнала, что Генерал явился Адриану и напугал его чуть не до смерти. И она сказала себе самой, что наконец-то час отмщения настал. Много лет ждала она этого часа, но ждала тщетно. Ротмистр Левеншельд сошел в могилу, так и не понеся заслуженной кары. Правда, с тех самых пор, как она переправила перстень в Хедебю, призрак Генерала бродил по всей усадьбе; однако похоже было, будто у него не хватало духу преследовать со свойственной ему лютостью свою собственную родню.

А теперь, когда к ним пришла беда, они тотчас же явились к ней за помощью! Почему не обратились они прямо к мертвецам на холме висельников? Ей доставило удовольствие сказать:

— Не пойду!

Такова была ее месть!

Но когда Марит увидела, как стоит и плачет молодая девушка, прижавшись головой к стене, в ней пробудилась память о былом. «Вот так стояла и я и плакала, прислонившись к жесткой стене. И не было у меня ни единого человека, на которого бы я могла опереться».

И в тот же миг родник девичьей любви вновь забил в душе Марит и обдал ее своими жаркими струями. И она удивленно сказала себе самой: «Так вот как томилась я тогда! Так вот что значит кого-то любить! Как сильно и сладко томилась я тогда!»

Пред ее взором предстал юный, веселый, сильный и прекрасный собой Пауль Элиассон. Она вспомнила его взгляд, его голос, каждое его движение. Сердце ее переполнилось воспоминаниями о нем.

Марит думала, что любила его все это время, и, верно, так оно и было! Но как охладилась ее чувства за эти долгие годы! Теперь же, в этот миг, душа ее снова вспылала прежним жарким огнем.

Но вместе с любовью в ней пробудились и воспоминания о той ужасной муке, которую принимает человек, теряющий того, кого он любит.

Марит кинула взгляд на девицу Спаак, которая все еще стояла и плакала. Теперь Марит знала, как тяжело томилась она. Еще совсем недавно над нею тяготел хлад прожитых лет. Она забыла тогда, как жжет огонь, теперь она вспомнила об этом. Она не хотела, чтобы по ее

вине кто-нибудь страдал так же, как некогда страдала она сама; она встала и подошла к девушке.

— Идемте! Я пойду с вами, барышня! — коротко сказала она.

Итак, девица Спаак вернулась в Хедебю вместе с Марит Эрикسدоттер. За всю дорогу Марит не проронила ни слова. Уже потом экономка поняла, что по пути она, наверно, обдумывала, как ей повести себя, чтобы отыскать перстень.

Экономка прошла с Марит в дом прямо с парадного крыльца и ввела ее в опочивальню. Там все было по-прежнему. Адриан лежал прекрасный и бледный, но тихий, точно мертвец, а баронесса, не шевелясь, сидела рядом, оберегая его покой. Лишь когда Марит Эрикسدоттер подошла к кровати, она подняла глаза.

Как только она узнала женщину, которая стояла, глядя на ее сына, она опустилась перед ней на колени и прижалась лицом к подолу ее платья.

— Марит! Марит! — заговорила она. — Забудь обо всем том зле, которое причинили тебе Левеншельды. Помоги ему, Марит! Помоги ему!

Крестьянка чуть отступила назад, но злосчастная мать поползла за ней на коленях.

— Ты не знаешь, как я боялась с тех самых пор, когда Генерал начал бродить по усадьбе. Я страшилась и все время ждала. Я знала, что теперь его гнев обратился против нас.

Марит стояла молча, закрыв глаза, и, казалось, целиком ушла в себя. Однако девица Спаак была уверена, что ей отрадно слушать рассказ баронессы о ее страданиях.

— Я хотела пойти к тебе, Марит, и пасть к твоим ногам, как сейчас, и молить тебя простить Левеншельдов. Но я не посмела. Я думала, что тебе невозможно простить.

— Вы, сударыня, и не должны меня молить, — сказала Марит, — потому что так оно и есть: простить я не могу!

— Но ты все же здесь!

— Я пришла ради барышни, она просила меня прийти.

С этими словами Марит зашла с другого края широкой кровати. Положив больному руку на грудь, она пробормотала несколько слов. При этом она нахмурила лоб, закатила глаза и сжала губы. Девица Спаак подумала, что она ведет себя, как и все прочие знахарки.

— Будет жив, — изрекла Марит, — но запомните, госпожа баронесса, что помогаю я ему только лишь ради барышни.

— Да, Марит, — ответила баронесса, — этого я никогда не забуду.

Тут девице Спаак показалось, будто хозяйка ее хотела еще что-то добавить, но спохватилась и закусил губу.

— А теперь дайте мне, госпожа баронесса, волю.

— Ты вольна распоряжаться в усадьбе, как тебе вздумается. Барон в отъезде. Я попросила его поехать верхом навстречу доктору и поторопить его.

Девушка Спаак ожидала, что Марит Эриксдоттер как-то попытается вывести молодого барона из беспамятства, но та, к величайшему ее разочарованию, ничего подобного делать не стала.

Вместо этого она наказала собрать в кучу все платье барона Адриана: и то, которое служило ему сейчас, и то, которое он носил в прежние годы и которое можно было еще отыскать. Она хотела видеть все, что он когда-либо надевал на себя: и чулки, и сорочки, и варежки, и шапки.

В тот день в Хедебю только и делали, что искали. Хотя девушка Спаак втихомолку вздыхала о том, что Марит, пожалуй, всего лишь обыкновенная знахарка и ворожит, как все они, она поспешила вытащить из разных комодов и чердачных клетей, из сундуков и шкафов все, что принадлежало больному. Молодые баронессы, прекрасно знавшие, что носил Адриан, помогали ей, и вскоре она спустилась вниз к Марит с целым ворохом одежды.

Марит разложила одежду на кухонном столе и стала рассматривать каждую вещь в отдельности. Она отложила в сторону пару старых башмаков, так же как пару маленьких варежек и сорочку. Тем временем она однозвучно и беспрестанно бормотала:

— Пару для ног, пару для рук, одну для тела, одну для головы!

— Мне нужно еще что-нибудь для головы, — внезапно сказала она уже более спокойно, — мне нужно что-нибудь теплое и мягкое.

Экономка показала ей шляпы и фуражки, которые она принесла.

— Нет, это должно быть что-нибудь теплое и мягкое, — сказала Марит. — Разве у барона Адриана не было какой-нибудь шапочки с кисточкой, как у других мальчиков?

Экономка только собралась было ответить, что ничего подобного она не видела, но повариха опередила ее.

— Я ведь нашла нынче утром вон там, на полке, его старую шапочку с кисточкой, но барышня взяла ее у меня.

Вот так и случилось, что девице Спаак пришлось отдать шапочку, с которой она намеревалась никогда не расставаться и которую желала сохранить как драгоценное воспоминание до конца дней своих.

Получив шапочку, Марит снова принялась бормотать свои заклинания. Но теперь голос ее звучал по-другому. Казалось, будто кошка мурлыкала от удовольствия.

— Теперь, — сказала Марит после того, как она долго стояла, бормоча, над шапочкой и вертя ее в разные стороны, — теперь ничего больше не надо. Но все это нужно положить Генералу в могилу.

Услыхав эти слова, девица Спаак впала в совершеннейшее отчаяние.

— Неужто ты, Марит думаешь, что барон позволит вскрыть склеп, чтобы положить туда этакую старую ветошь? — спросила она.

Взглянув на нее, Марит чуть усмехнулась. Взяв за руку девицу Спаак, она потянула ее за собой к окну, так что все, кто был в поварне, оказались у них за спиной. Тогда она поднесла шапочку Адриана к глазам экономки и раздвинула нити большой кисточки.

Ни единым словом не перемолвились Марит с девицей Спаак, но когда экономка отошла от окна, лицо ее было смертельно бледным, а руки дрожали.

Связав отобранные вещи в небольшой узел, Марит передала его экономке.

— Я свое дело сделала, — сказала она, — теперь ваш черед похлопотать о том, чтобы все это попало в могилу.

С тем она и ушла.

Девица Спаак побрела на кладбище немногим позднее десяти часов вечера. Узелок, который ей дала Марит, она несла с собой. Шла она, правда, наудачу. Она совершенно не представляла себе, как ей удастся опустить вещи в генеральский склеп.

Барон Левеншельд приехал верхом вместе с доктором сразу же после того, как ушла Марит, и экономка надеялась, что доктору удастся вернуть Адриана к жизни и ей не придется ничего больше предпринимать. Но доктор тотчас же заявил, что ничем не может помочь. Он сказал, что молодому человеку осталось жить всего лишь несколько часов.

Тогда, сунув узелок под мышку, девица Спаак пустилась в путь. Она знала, что нет никакой возможности побудить барона Левеншельда велеть снять могильные плиты и вскрыть замурованный склеп только для того, чтобы положить туда несколько старых вещей барона Адриана.

Скажи она ему, что на самом деле находится в узелке, и (она была в этом уверена) он тотчас же возвратил бы перстень его законному владельцу. Но тем самым она предала бы Марит Эрикسدоттер.

Она не сомневалась в том, что именно Марит подкинула некогда перстень в Хедебю. Барон Адриан как-то сказал, что Марит однажды чинила ему шапочку. Нет, экономка не осмелилась рассказать барону, как все было на самом деле.

Девица Спаак сама потом удивлялась, что в тот вечер совсем не чувствовала страха. Но она перебралась через низкую кладбищенскую стену и подошла к склепу Левеншельдов, думая лишь о том, как ей опустить туда перстень.

Она села на могильную плиту и молитвенно сложила руки. «Если бог мне не поможет, — думала она, — то могила, конечно, откроется, но не ради перстня, а для того, кого я вечно буду оплакивать».

Посреди молитвы девица Спаак заметила легкое движение в траве, покрывавшей низкий могильный холмик, на котором покоилась плита. Маленькая головка выглянула из травы и сразу же скрылась, как только экономка вздрогнула от страха. Ибо девица Спаак так же боялась крыс, как и они ее. Но от страха на экономку снизошло вдохновение. Проворно подошла она к большому кусту сирени, отломала длинную сухую ветку и воткнула ее в норку.

Воткнула сначала отвесно, но ветка тотчас же натолкнулась на препятствие. Тогда она попыталась просунуть ее дальше вкось, и на сей раз ветка продвинулась довольно глубоко по направлению к могиле. Экономка даже удивилась, как далеко она проникла. Прут целиком скрылся в норе. Девица Спаак проворно вытащила прут снова и измерила его по своей руке. Он был длиной в три локтя и ушел в землю на всю длину. Должно быть, прут этот побывал в могильном склепе.

Ни разу за всю ее жизнь ум девицы Спаак не был так трезв и ясен. Она поняла, что крысы, вероятно, прорыли себе дорогу в могилу.

Может быть, в стене была трещина, а может быть, выветрился какой-нибудь камешек.

Она легла плашмя на землю перед холмиком, вырвала клоч дерна, сгребла рыхлую землю и сунула руку в норку. Рука беспрепятственно проникла вниз, но все же не до самой стенки склепа. Туда рука не доставала.

Тогда, проворно развязав узелок, она вытащила оттуда шапочку, нацепила ее на прут и попыталась медленно протолкнуть ее в норку. Вскоре шапочка скрылась из виду. Все так же медленно и осторожно продвигала она прут все дальше и дальше вниз. И вдруг, когда прут почти целиком ушел в землю, она почувствовала, как его резким рывком выхватили у нее из рук. Проскользнув в норку, прут исчез.

Вполне возможно, что его потянула вниз собственная тяжесть, но она была совершенно уверена в том, что прут у нее вырвали.

И тут она наконец испугалась. Схватив все, что было в узелке, она засунула вещи в норку, как могла привела в порядок землю и дерн и пустилась бежать со всех ног. Всю дорогу до самого Хедебю она ни разу не перевела дух, а все бежала и бежала.

Когда она появилась в усадьбе, барон с баронессой уже стояли на парадном крыльце. Они поспешили ей навстречу.

— Где вы были, барышня? — спросили они ее. — Мы стоим тут и поджидаем вас.

— Барон Адриан умер? — спросила в ответ девица Спаак.

— Нет, не умер, — ответил барон, — но скажите нам сначала, где вы были, барышня Спаак?

Экономка так запыхалась, что едва могла говорить; но все же рассказала о поручении, которое ей дала Марит, и о том, что по крайней мере одну из вещей ей удалось просунуть в склеп через норку.

— Все это очень странно, очень, — вымолвил барон, — потому что Адриану и в самом деле лучше. Совсем недавно он пробудился и первые его слова были: «Теперь Генерал получил свой перстень».

— Сердце снова бьется как всегда, — добавила баронесса, — и он непременно желает побеседовать с вами, барышня. Он говорит, что это вы спасли ему жизнь.

Они допустили девицу Спаак одну к Адриану. Он сидел в постели и, увидев ее, простер к ней руки.

— Я знаю, я уже знаю! — воскликнул он. — Генерал получил свой перстень, и это всецело ваша заслуга, барышня.

Девушка Спаак смеялась и плакала в его объятиях, а он поцеловал ее в лоб.

— Я обязан вам жизнью, — сказал он. — Если бы не вы, барышня Спаак, я был бы уже в этот миг трупом. Я у вас в неоплатном долгу.

Восторг, с которым молодой человек встретил ее, вероятно и заставил злосчастную девушку Спаак слишком долго задержаться в его объятиях. И Адриан поспешил добавить:

— Не только я обязан вам, но и еще один человек.

Он показал ей медальон, который носил на шее, и девушка Спаак неясно различила в нем миниатюрный портрет молодой девушки.

— Вы, барышня, узнаете об этом первая после родителей, — сказал он. — Когда через несколько недель она придет в Хедебю, она отблагодарит вас еще лучше, нежели я.

И в благодарность за доверие девушка Спаак сделала молодому барону реверанс. Правда, ей хотелось сказать ему, что она вовсе не намерена оставаться в Хедебю, чтобы принять его невесту. Но вовремя одумалась. Бедной девушке не пристало быть особо разборчивой и пренебрегать таким хорошим местом.



**Шарлотта Левеншельд**

## ПОЛКОВНИЦА

### I

Жила однажды в Карлстаде полковница по имени Беата Экенстедт.

Она происходила из семьи Левеншельдов, тех, что владели поместьем Хедебю, и, следовательно, была урожденная баронесса. И была она так изящна, так мила, так образованна и умела сочинять шуточные стихи не хуже самой фру Леннгрен.[\[80\]](#)

Росту она была небольшого, но с благородной осанкой, свойственной всем Левеншельдам, и с выразительным лицом. Всякому, кто бы с ней ни встречался, она всегда умела сказать что-нибудь любезное и приятное. В облике ее было что-то романтическое, и те, кто видел ее хотя бы однажды, никогда уже не могли ее забыть.

Одевалась она изысканно и всегда была искусно причесана, и где бы она ни появлялась, на ней непременно оказывалась самая красивая брошь, самый изящный браслет, самый ослепительный перстень. У нее были необычайно маленькие ножки, и при любой моде она неизменно носила крошечные башмачки на высоком каблуке, отделанные золотой парчой.

Жила она в самом красивом доме Карлстада, который не теснился в гуще других домов на узкой улочке, а высился на берегу реки Кларэльв, так что полковница могла любоваться водной гладью из окна своего уютного будуара. Она любила рассказывать, как однажды ночью, когда ясный лунный свет заливал реку, она видела водяного, который играл на золотой арфе под самым ее окном. И никому не приходило в голову усомниться в ее словах. А почему бы водяному и не спеть, подобно многим другим, серенаду полковнице Экенстедт!

Все именитые лица, гостившие в Карлстаде, почитали своим долгом представиться полковнице. Они тотчас же бывали безмерно очарованы ею и сетовали на то, что ей пришлось похоронить себя в захолустье. Рассказывали, будто епископ Тегнер[\[81\]](#) сочинил в ее честь стихи, а кронпринц[\[82\]](#) сказал, что она обладает истинно французским

шармом. И даже генерал фон Эссен[83] и другие сановники времен Густава III[84] вынуждены были признать, что обеды, которые дает полковница Экенстедт, несравненны как по части кушаний и сервировки, так и по части занимательной беседы.

У полковницы было две дочери, Ева и Жакетта. Это были прелестные и добрые девушки, которыми любовались и восхищались бы в любом другом уголке земли, но в Карлстаде никто не удостаивал их ни единым взглядом. Мать затмевала их совершенно. Когда они являлись на бал, молодые кавалеры наперебой приглашали танцевать полковницу, а Еве и Жакетте оставалось лишь подпирать стены. И, как уже упоминалось, не один только водяной пел серенады перед домом Экенстедтов, но звучали они не под окнами дочерей, а единственно лишь под окнами полковницы. Юные поэты готовы были без конца слагать стихи в честь Б. Э., но ни один из них не удосужился сочинить и двух строк в честь Е. Э. или Ж. Э.

Злые языки утверждали, что когда однажды некий подпоручик вздумал посвататься к маленькой Еве Экенстедт, то получил отказ, так как полковница сочла, что у него дурной вкус.

Был у полковницы и полковник, славный и добрый малый, которого весьма высоко ценили бы повсюду, но только не в Карлстаде. Здесь его сравнивали с женой, и когда он появлялся рядом с нею, такой блестящей, такой обворожительной, неистощимой на выдумки, полной живости и веселья, то всем казалось, что он смахивает на деревенского помещика. Гости, бывавшие у него в доме, едва давали себе труд выслушивать его; они, казалось, вовсе его не замечали. Разумеется, не могло быть и речи о том, чтобы полковница позволила кому-либо из обожателей, увивавшихся вокруг нее, хоть малейшую вольность; в этом ее нельзя было упрекнуть. Но ей никогда не приходило в голову возражать и против того, что муж постоянно остается в тени. Должно быть, она полагала, что ему лучше не привлекать к себе особого внимания.

Но у этой очаровательной, окруженной всеобщим поклонением полковницы были не только муж и дочери. У нее был еще и сын. И сына своего она обожала, его она боготворила, его выдвигала на первое место при всяком удобном случае. Вот уж его-то не следовало третировать или не замечать тем, кто желал быть снова приглашенным в дом Экенстедтов. Впрочем, нельзя отрицать и того, что полковница

вправе была гордиться сыном. Мальчик был и умен, и приветлив, и красив. Он не был ни дерзок, ни назойлив, как другие избалованные дети. Он не отлынивал от занятий в гимназии и никогда не строил каверз учителям. Он был более романтического склада, нежели его сестры. Ему не минуло и восьми лет, когда он начал сочинять премилые стихи. Он мог прийти к матери и рассказать ей, что слышал, как водяной играл на арфе, или видел, как лесные феи танцевали на лугах Вокнеса. У него были тонкие черты лица и большие темные глаза; он был во всех отношениях истинным сыном своей матери.

Хотя сердце полковницы всецело принадлежало сыну, однако никто не мог бы упрекнуть ее в материнской слабости. Во всяком случае, Карл-Артур Экенстедт должен был прилежно трудиться. Мать ценила его превыше всех других людей на земле, но именно поэтому ему пристало приносить из гимназии лишь самые лучшие отметки. И все замечали, что полковница никогда не приглашала к себе в дом учителей, в классы которых ходил Карл-Артур. Никто не должен был говорить, что Карл-Артур получает высокие отметки оттого только, что он сын полковницы Экенстедт, которая дает такие прекрасные обеды. Вот какова была эта женщина!

В аттестате, полученном Карлом-Артуром по выходе из карлстадской гимназии, стояли одни отличные отметки, совсем как в свое время у Эрика Густава Гейера.[\[85\]](#) И вступительные экзамены в Упсальский университет[\[86\]](#) были для него, так же как и для Гейера, сущим пустяком. Полковница много раз видела маленького, толстого профессора Гейера и даже бывала его дамой за столом. Спору нет, человек он даровитый и замечательный, но ей казалось, что у Карла-Артура голова устроена ничуть не хуже и что он также когда-нибудь сможет сделаться известным профессором и удостоиться того, что кронпринц Оскар, губернатор Йерта,[\[87\]](#) полковница Сильверстолепе[\[88\]](#) и другие упсальские знаменитости станут посещать его публичные чтения.

Карл-Артур прибыл в Упсалу к началу осеннего семестра 1826 года. И весь этот семестр, равно как и все последующие годы, что он пробыл в университете, он писал домой раз в неделю. Но ни одно письмо его не было затеряно, полковница бережно их хранила. Сама она то и дело перечитывала их, а на традиционных воскресных обедах, когда собиралась вся родня, она обыкновенно читала вслух последнее

из полученных писем. Да и как же ей было не делать этого! Подобными письмами она вправе была гордиться.

У полковницы зародилось подозрение, что родня ее ожидает, будто Карл-Артур, предоставленный самому себе, сделается не таким примерным. И теперь, торжествуя победу, она читала им о том, что Карл-Артур нанял дешевую меблированную квартиру, что он сам покупает на рынке сыр и масло, что он встает с рассветом и работает по двенадцать часов на дню. А все эти почтительные выражения, которые он употреблял в письмах, а слова любви и обожания, которые он обращал к своей матери! Полковница не получала никакой награды за то, что читала соборному настоятелю Шеборгу, женатому на урожденной Экенстедт, и советнику Экенстедту, дяде ее мужа, и кузенам Стаке, жившим в большом угловом доме на площади, о том, что Карл-Артур, который теперь повидал свет, все еще убежден, что его мать могла бы сделаться большой поэтессой, не сочти она своим долгом жить только для детей и мужа. Нет, она не получала за это никакой награды. Она делала это вполне бескорыстно. Как ни привычна была полковница ко всякого рода славословиям, но, читая эти строки, она не могла сдержать слез.

Однако самый большой триумф ожидал полковницу перед Рождеством, когда Карл-Артур уведомил родителей, что не издержал всех денег, которые отец дал ему с собой в Упсалу, и почти половину их привезет назад. Тут уж и соборный настоятель и советник пришли в совершенное изумление, а один из кузенов Стаке, тот, что повыше ростом, поклялся, что ничего подобного прежде на свете не случалось и наверняка не случится впредь. Вся родня единодушно сошлась на том, что Карл-Артур — истинное чудо.

Разумеется, полковнице очень недоставало Карла-Артура, который находился в Упсале большую часть года, но письма его доставляли ей столь безмерную радость, что едва ли она могла бы желать чего-нибудь иного.

Побывав на лекции знаменитого поэта-романтика Аттербума,<sup>[89]</sup> он мог пуститься в увлекательные рассуждения о философии и поэзии, и, получив подобное письмо, полковница могла часами сидеть и мечтать о том величии, какого достигнет в будущем Карл-Артур. Она иначе и не мыслила, что известностью он превзойдет профессора Гейера. Быть может, он даже станет таким же великим ученым, как

Карл Линней.<sup>[90]</sup> Отчего бы ему тоже не стать мировой знаменитостью? Или великим поэтом? Вторым Тегнером? Ах, никакие самые изысканные яства на свете не могут доставить человеку большего наслаждения, чем те, которые он предвкушает в мечтах.

На Рождество и на летние вакации Карл-Артур обыкновенно приезжал домой в Карлстад, и полковнице казалось, что он с каждым разом делается все мужественнее и красивее. В остальном же он ничуть не менялся. Он по-прежнему боготворил мать, выказывал все ту же почтительность отцу, все так же шутил и ребячился с сестрами.

Порою полковница несколько досадовала на то, что Карл-Артур столько лет обучается в Упсале и куда никуда ничем еще не отличился. Но все объясняли ей, что Карл-Артур готовится держать экзамен на кандидата, а это требует изрядного времени. Пусть-ка вообразит себе, что это значит — держать экзамен по всем предметам, которые читаются в университете. Тут и астрономия, и древнееврейская письменность, и геометрия. Скоро со всем этим не разделаешься. По мнению полковницы, экзамен был чрезмерно суров, и в этом все были с нею согласны, но тут уж ничего нельзя было изменить даже ради Карла-Артура!

В конце осени 1829 года, в седьмом семестре, Карл-Артур, к великой радости полковницы, сообщил, что намеревается писать сочинение по-латыни. Само по себе испытание не составит особой трудности, но оно очень важно, ибо, чтобы быть допущенным к экзамену, надо успешно написать сочинение.

Для Карла-Артура это отнюдь не было событием. Он писал лишь, что неплохо бы покончить с латинским сочинением. У него ведь никогда не было наладов с латынью, как у всех добрых людей, и он вполне мог рассчитывать, что все пройдет как нельзя лучше.

В том же письме он упоминал, что пишет своим любезным родителям последний раз в нынешнем семестре. Как только станет известен исход испытания, он тотчас же отправится в путь. И он твердо убежден, что в последний день ноября сможет заключить в объятия родителей и сестер.

Впоследствии Карл-Артур был очень рад тому, что это испытание не являлось для него событием, ибо на латыни он срезался. Упсальские профессора позволили себе срезать его несмотря на то, что в аттестате карлстадской гимназии у него стояли лишь самые высокие отметки.

Он был скорее смущен и удивлен, нежели обескуражен. Он не сомневался, что знал латынь достаточно, чтобы выдержать экзамен. Разумеется, досадно было возвращаться домой, потерпев неудачу, но он надеялся, что родители, и уж во всяком случае мать, поймут, что дело тут, должно быть, в каких-то придирках. То ли упсальские профессора желали показать, что взыскивают более строго, нежели гимназические учителя в Карлстаде, то ли сочли его чересчур самонадеянным оттого, что он не посещал некоторых лекций.

Между Упсалой и Карлстадом было много дней пути, и можно сказать, что к тому времени, когда Карл-Артур тридцатого ноября в сумерках миновал восточную заставу, он совсем забыл о своей неудаче.

Он был доволен, что приезжает точно в день, назначенный им в письме. Он думал о том, что матушка, должно быть, стоит сейчас у окна, высматривая его, а сестры накрывают стол для кофе.

Все в том же безмятежном расположении духа проехал он весь город и выбрался наконец из узких и кривых улочек к западному протоку реки, на берегу которого находился дом Экенстедтов.

Боже, что это? Весь дом озарен огнями, он светится, точно церковь рождественским утром. И сани с закутанными в меха людьми стрелой проносятся мимо, явно направляясь к его дому.

«У нас, верно, какое-то торжество», — подумал он с легкой досадой.

Он утомился с дороги, а теперь ему не удастся отдохнуть: придется переменить платье и до полуночи быть с гостями.

Внезапно его охватило беспокойство. «Только бы матушка не вздумала затеять торжество из-за моего латинского сочинения».

Желая избежать встречи с гостями, он попросил кучера подъехать к заднему крыльцу.

Спустя несколько минут послали за полковницей. Не угодно ли ей будет пожаловать в комнату экономки? Карл-Артур желал бы поговорить с ней.

Полковница была в большом беспокойстве, опасаясь, как бы Карл-Артур не запоздал к обеду, и теперь безмерно обрадовалась, услышав о его приезде. Она поспешила к нему.

Но Карл-Артур встретил ее с самым суровым видом. Он не обратил внимания на ее протянутые руки. Он и не собирался

здороваться с ней.

— Что это вы затеяли, матушка? — спросил он. — Отчего весь город зван к нам именно сегодня?

На сей раз не было и речи о «любезных родителях». Он не выказал ни малейшей радости при виде матери.

— Но я полагала, нам следует устроить небольшое торжество, — сказала полковница. — Раз ты наконец написал это ужасное сочинение.

— Вам, матушка, разумеется, и в голову не приходило, что я мог срезаться, — сказал Карл-Артур. — Тем не менее дело обстоит именно так.

У полковницы и руки опустились. Да, никогда, никогда в жизни не могло бы ей прийти в голову, что Карл-Артур способен срезаться.

— Само по себе это не так уж важно, — сказал Карл-Артур. — Но теперь об этом узнает весь город. Ведь вы, матушка, созвали сюда всех этих людей, чтобы отпраздновать мой триумф.

Полковница все еще не могла оправиться от изумления и растерянности.

Она-то ведь знала карлстадцев. Они не отрицали, что усердие и бережливость — весьма ценные качества студента, но этого им было явно недостаточно. Им подавай премии Шведской Академии,<sup>[91]</sup> блестящие выступления на ученых диспутах, которые заставили бы побледнеть от зависти старых профессоров. Они ожидают гениальных импровизаций на национальных торжествах, приглашений в литературные салоны к профессору Гейеру, губернатору фон Кремеру<sup>[92]</sup> или к полковнице Сильверстольпе. Так, по их понятиям, должно было быть. Но пока что в ученой карьере Карла-Артура не наблюдалось подобных блестящих триумфов, которые могли бы свидетельствовать о его выдающемся даровании. Полковница понимала, что карлстадцы ждут их, и когда Карл-Артур наконец хоть чем-то отличился, она решила, что не худо будет отметить это событие с некоторой помпой. А уж то, что Карл-Артур может не выдержать испытания, ей и в голову не приходило.

— Никто ничего не знает наверное, — в раздумье сказала она. — Никто, кроме домашних. Остальные знают лишь, что их ждет маленький приятный сюрприз.



— Вот и придумайте им, матушка, какой-нибудь приятный сюрприз, — сказал Карл-Артур. — Я же намерен отправиться в свою комнату и к обеду не выйду. Не думаю, чтобы карлстадцы столь близко к сердцу приняли мою неудачу, но быть предметом их сожаления я не желаю.

— Боже, что бы такое придумать? — жалобно произнесла полковница.

— Предоставляю это вам, матушка, — ответил Карл-Артур. — А теперь я иду к себе. Гостям вовсе незачем знать, что я вернулся.

Но нет, это было нестерпимо, это было совершенно невыносимо. Полковница будет блистать за столом, все время думая о том, что он, раздосадованный, злой, в одиночестве расхаживает у себя наверху. Она будет лишена счастья видеть его подле себя. Этого она вынести не в силах.

— Милый Карл-Артур, ты сможешь спуститься к обеду. Я что-нибудь придумаю.

— Что же вы придумаете, матушка?

— Еще не знаю. Впрочем, нет, знаю! Ты останешься доволен. Никто не догадается, что обед был затеян в твою честь. Только обещаю тебе переменить платье и сойти вниз.

Обед удался на славу. Из многих блестящих и великолепных празднеств в доме Экенстедтов это оказалось самым достопамятным.

За жарким, когда подали шампанское, гостям и вправду был сделан сюрприз. Полковник встал и попросил всех присутствующих выпить за благополучие его дочери Евы и поручика Стена Аркера, о помолвке которых он объявляет.

Слова его вызвали всеобщий восторг.

Поручик Аркер был небогатый малый, без всяких видов на повышение. Его знали как давнего воздыхателя Евы, а поскольку у девиц Экенстедт редко объявлялся какой-нибудь поклонник, то весь город интересовался исходом дела. Но все ожидали, что полковница откажет ему.

Впоследствии слух о том, как действительно обстояло дело с помолвкой, просочился в город. Карлстадцам стало известно, что полковница позволила обручиться Еве и Аркеру только затем, чтобы никто не заподозрил, что сюрприз, который она сначала приготовила гостям, не удался.

Но это отнюдь не умалило всеобщего восхищения полковницей. Напротив, все только и говорили, что мало кто умеет так блестяще выходить из неожиданных затруднительных положений, как полковница Беата Экенстедт.

## II

Полковница Беата Экенстедт отличалась тем, что, если кто-нибудь наносил ей обиду, она ждала, чтобы провинившийся сам пришел к ней и попросил прощения. Едва этот ритуал бывал завершен, она прощала обидчику от всего сердца и обращалась с ним столь же приветливо и дружески, как и до размолвки.

Все святки она ждала, чтобы Карл-Артур попросил у нее прощения за то, что столь резко говорил с ней в день своего приезда из Упсалы. Она находила вполне объяснимым, что он забылся в минуту горячности, но не могла понять, отчего он молчит о своей вине после того, как у него было время одуматься.

Но святки проходили, а Карл-Артур не произносил ни слова раскаяния или сожаления. Он, как обычно, веселился на балах, участвовал в санных катаниях, был мил и внимателен к домашним, но не говорил тех слов, которых полковница ждала от него. Быть может, никто, кроме них двоих, не замечал, что между матерью и сыном возникла невидимая стена, которая мешает их подлинной близости. Хотя ни мать, ни сын отнюдь не скупилась на изъявления любви и нежности, но то, что разделяло и отдаляло их друг от друга, все еще не было устранено.

Возвратясь в Упсалу, Карл-Артур думал лишь о том, чтобы выдержать испытание по латыни. Если полковница надеялась, что он повинится перед нею в письме, то ей пришлось разочароваться. Карл-Артур писал только о своих занятиях. Он стал посещать лекции по латинской словесности у двух приват-доцентов, прилежно ходил на занятия по латинскому языку и записался в клуб, члены которого упражнялись в диспутах и речах на латыни. Он делал все, что было в его силах, чтобы на этот раз выдержать испытание.

Домой он писал самые обнадеживающие письма, и полковница отвечала ему в том же тоне; но все же она втайне тревожилась за него.

Он был дерзок со своей матерью и не попросил у нее прощения — Бог может покарать его за это.

Не то чтобы она желала этой кары своему сыну. Напротив, она молила всевышнего пренебречь этой мелкой провинностью сына, забыть о ней. Она пыталась объяснить богу, что во всем виновата она сама.

— Ведь это я по глупости и тщеславию вздумала похвалиться его успехами, — говорила она, — я достойна кары, а не он.

Но все же в каждом письме сына она искала слов, которых ждала, и, не находя их, все больше впадала в беспокойство.

Она чувствовала, что, не получив ее прощения, Карл-Артур не сможет успешно выдержать испытания.

В один прекрасный день, в конце семестра, полковница объявила, что намерена отправиться в Упсалу, чтобы повидаться со своим добрым другом Маллой Сильверстолепе. Они свели знакомство прошлым летом в Кавлосе у Гюлленхоллов [\[93\]](#) и так подружились, что добрейшая Малла пригласила ее зимой приехать в Упсалу, дабы она смогла познакомить ее со своими литературными друзьями.

Весь Карлстад изумился, узнав, что полковница решила на такую поездку в самую распутицу. Все ждали, что полковник воспротивится этой затее, но полковник, как всегда, согласился с женой, и она отправилась в путь. Как и предсказывали карлстадцы, путешествие было ужасным. Много раз дормез полковницы увязал в грязи, и его приходилось вытаскивать с помощью жердей. Однажды лопнула рессора, в другой раз сломалось дышло. Но ничто не могло остановить полковницу. Маленькая и хрупкая, она держалась мужественно, никогда не падала духом, и содержатели постоянных дворов, смотрители на станциях, кузнецы и крестьяне, с которыми ей приходилось сталкиваться на Упсальском тракте, готовы были жизнь за нее положить. Они будто знали, как важно было полковнице добраться до Упсалы.

Фру Малла Сильверстолепе была, разумеется, предуведомлена о ее приезде, но Карл-Артур не знал ничего, и полковница просила не говорить ему об этом. Она хотела сделать ему сюрприз.

Полковница добралась уже до Енчепинга, но тут вышла новая задержка. До Упсалы оставалось всего несколько миль, но у колеса лопнул обод, и пока его не скрепили, ехать дальше было нельзя.

Полковница была вне себя от волнения. Она ведь уже целую вечность в пути, а испытание по латыни может быть назначено в любой час. Но она только затем и отправилась в Упсалу, чтобы Карл-Артур имел случай перед испытанием попросить у нее прощения. Она знала, что если он этого не сделает, ему не помогут ни лекции, ни занятия. Он непременно срежется.

Ей не сиделось в отведенной для нее комнате на постоялом дворе. Она поминутно вскакивала и спускалась во двор, чтобы посмотреть, не везут ли от кузнеца колесо.

И вот, выйдя как-то на крыльцо, она увидела, что на постоянный двор заворачивает двуколка, а в ней рядом с возницей сидит какой-то студент. Когда же студент выпрыгнул из двуколки, то оказалось... нет, она не могла поверить глазам... ведь это был Карл-Артур!

Он направился прямо к ней. Он не заключил ее в объятия, но схватил ее руку, прижал к своей груди и посмотрел ей в глаза своими красивыми, мечтательными детскими глазами.

— Матушка, — сказал он, — простите меня за то, что я дурно вел себя нынче зимой, когда вы затеяли праздник из-за моего латинского сочинения.

Счастье было слишком велико, чтобы в него можно было поверить. Полковница высвободила свою руку, обняла Карла-Артура и осыпала его поцелуями. Она не понимала, как он очутился здесь, но знала, что вновь обрела сына, и чувствовала, что это самая счастливая минута в ее жизни.

Она увлекла его за собою в свою комнату, и тут все объяснилось. Нет, он не писал еще сочинения. Испытание назначено было на следующий день. Но, несмотря на это, Карл-Артур ехал теперь в Карлстад, чтобы увидаться с матерью.

— Да ты просто безумец! — воскликнула она. — Неужто ты рассчитывал обернуться за сутки?

— Нет, — ответил он. — Я бросил все на произвол судьбы. Но я знал, что должен это сделать. Иначе нечего было и пытаться. Без твоего прощения мне не было бы удачи.

— Но, мальчик мой, для этого довольно было одного слова в письме.

— Какое-то смутное, неясное чувство томило меня весь семестр. Я ощущал страх и неуверенность, но не понимал отчего. Лишь этой

ночью все стало мне ясно. Я ранил сердце, которое бьется для меня с такой любовью. Я чувствовал, что не смогу добиться успеха, пока не повинюсь перед своей матерью.

Полковница сидела у стола. Одной рукой она прикрыла глаза, полные слез, другую протянула сыну.

— Это поразительно, Карл-Артур, — сказала она. — Говори, говори еще!

— Так слушайте, — начал он. — На одной квартире со мной стоит еще один студент-вермландец по имени Понтус Фриман. Он пиетист и не водит знакомства ни с кем из студентов; и я тоже не знался с ним. Но нынче утром я пришел в его комнату и рассказал ему все. «У меня самая любящая мать на свете, — сказал я. — А я оскорбил ее и не попросил у нее прощения. Что мне делать?»

— И что же он ответил?

— Он сказал: «Поезжай к ней тотчас же!» Я объяснил, что желал бы этого больше всего на свете, но что завтра я должен писать про ехерситио<sup>[94]</sup> и наверняка вызову неудовольствие моих родителей, если пропущу это испытание. Но Фриман и слушать ничего не хотел. «Поезжай тотчас! — сказал он. — Не думай ни о чем другом, кроме примирения с матерью. Бог поможет тебе».

— И ты уехал?

— Да, матушка, чтобы упасть к твоим ногам. Но едва сев в коляску, я понял все непростительное безрассудство своего поступка. У меня появилось непреодолимое желание повернуть назад. Я ведь знал, что, если даже задержусь в Упсале еще на несколько дней, все равно твоя любовь простит мне все. Тем не менее я продолжал свой путь. И Бог помог мне. Я застал тебя здесь. Не знаю, как ты попала сюда, но это, видно, промысл божий.

Слезы струились по щекам матери и сына. Ну, не чудо ли сотворено ради них? Они знали, что благое провидение печется о них. Сильнее, чем когда-либо, ощущали они любовь друг к другу.

Целый час пробыли они вместе на постоялом дворе. Затем полковница отослала Карла-Артура назад в Упсалу и просила передать любезной Малле Сильверстольпе, что на этот раз не приедет к ней. Стало быть, полковница вовсе не заботилась о том, чтобы попасть в Упсалу. Цель ее поездки была достигнута. Теперь она знала, что Карл-Артур выдержит испытание, и могла спокойно возвращаться домой.

### III

Все́му Карлстаду было известно, что полковница очень набожна. Она являлась в церковь на все воскресные службы столь же неизменно, как и сам пастор, а в будни утром и вечером устраивала молитвенный час со своими домочадцами.

У нее были свои бедняки, о которых она вспоминала не только на рождество, но оделяла их подарками весь год. Она кормила обедами неимущих детей в гимназии, а старух богаделок не забывала побаловать праздничным кофе в день святой Беаты.

Но вряд ли кому-нибудь из карлстадцев, а всего менее полковнице, могла прийти в голову мысль о том, что богу может быть не угодно, если она с настоятелем собора, советником и старшим из кузенов Стаке мирно посидят в воскресенье за бостоном после семейного обеда.

И столь же мало греха видели они в том, что барышни и молодые люди, которые обычно бывали в доме Экенстедтов, немного покружатся в танце воскресным вечером.

Ни полковница, ни кто-либо другой из карлстадцев отроду не слыхивали о том, что грешно подать к праздничному обеду хорошего вина и, осушая бокал, спеть застольную, нередко сочиненную самой хозяйкой. Не ведали они и о том, что Богу не угодно, чтобы люди читали романы или посещали театр.

Полковница обожала любительские спектакли и сама участвовала в них. Отказаться от этого удовольствия было бы для нее большим лишением. Она была словно рождена для сцены, и карлстадцы говорили, что ежели фру Торслов<sup>[95]</sup> играет на театре хоть вполовину так же хорошо, как полковница Экенстедт, то не мудрено, что стокгольмцы так восторгаются ею.

Но Карл-Артур целый месяц прожил в Упсале после того, как написал трудное латинское сочинение, и все это время он часто виделся с Понтусом Фриманом. А Фриман был ярым и красноречивым приверженцем пиетизма,<sup>[96]</sup> и влияние его на Карла-Артура не могло не сказаться.

Разумеется, тут не было и речи о решительном обращении или вступлении в секту, но дело все-таки зашло столь далеко, что Карл-

Артур был обеспокоен мирскими удовольствиями и развлечениями в доме родителей.

Надо ли упоминать, что именно в это время между сыном и матерью царили особенная близость и доверие, и он открыто говорил полковнице о том, что считает зазорным подобный образ жизни.

И мать уступала ему во всем. Поскольку он огорчился ее карточной игрой, она на следующем обеде, отговорившись головной болью, вместо себя усадила за бостон полковника. Ибо о том, чтобы советник и настоятель лишились своей обычной партии в бостон, невозможно было и помыслить.

А поскольку Карлу-Артуру не по душе было то, что она танцевала, она отказалась и от этого. Когда молодые люди в воскресенье вечером явились к ним с визитом, она напомнила им, что ей уже пятьдесят лет, что она чувствует себя старухой и не хочет больше танцевать. Но увидя их разочарованные лица, смягчилась, села за фортепьяно и до полуночи играла разные танцы.

Карл-Артур приносил ей книги, прося ее прочесть; она брала их у него с благодарностью и находила весьма возвышенными и поучительными.

Но полковница не могла довольствоваться чтением одних только религиозных книг. Она была просвещенной женщиной и следила за светской литературой; и вот однажды Карл-Артур уличил ее в том, что она читает Байронова «Дон Жуана», спрятав его под молитвенником. Он повернулся и вышел, не сказав ни слова, и полковница была тронута тем, что он не сделал ей никаких упреков. На другой день она уложила все свои книги в сундук и велела унести их на чердак.

Нельзя отрицать, что полковница старалась быть уступчивой, насколько это было для нее возможно. Она была женщина умная и проницательная и понимала, что у Карла-Артура это всего лишь преходящее увлечение, которое пройдет с течением времени, и пройдет тем скорее, чем меньше противодействия ему будут оказывать. По счастью, время было летнее. Почти все богатые карлстадские семейства были в отъезде, так что больших званых вечеров никто не давал. Общество довольствовалось невинными пикниками на лоне природы, катаньем на лодках по живописной реке Кларэльв, прогулками в лес по ягоды и игрой в горелки.

Между тем на конец лета была назначена свадьба Евы Экенстедт с ее поручиком, и полковница чувствовала себя обязанной сыграть пышную, богатую свадьбу. Если она выдаст Еву замуж скромно и без подобающей пышности, в Карлстаде снова начнутся толки о том, что она не любит своих дочерей. Но, к счастью, ее уступчивость уже оказала, как видно, свое успокоительное действие на Карла-Артура. Он не воспротивился ни двенадцати блюдам, ни тортам и сладостям, которые будут поданы на обеде. Он не возражал даже против вина и других напитков, выписанных из Гетеборга. Он не выразил протеста ни против венчания в соборе и цветочных гирлянд на улицах, по которым проследует свадебный поезд, ни против факелов и фейерверка на берегу реки. Более того — он сам принял участие в приготовлениях и вместе с другими трудился в поте лица, плетя венки и вывешивая флаги.

Но в одном он был тверд и непреклонен. На свадьбе не должно быть танцев. И полковница обещала ему это. Ей даже доставило удовольствие уступить ему в этом, в то время как он оказался столь терпимым во всем другом.

Полковник и дочери робко пытались протестовать. Они спрашивали, чем же занять всех этих приглашенных на свадьбу молодых лейтенантов и карлстадских девиц, которые наверняка надеются, что будут танцевать всю ночь. Но полковница отвечала, что вечер с божьей помощью пройдет хорошо, что лейтенанты и девицы отправятся в сад слушать полковую музыку и смотреть, как в небо взлетают ракеты и как пламя факелов отражается в речной воде.

Зрелище это будет столь красиво, полагала она, что никто и не станет помышлять о каких-нибудь иных развлечениях. Право же, это будет более достойным и торжественным освящением нового брачного союза, нежели скаканье галопом по танцевальной зале.

Полковник и дочери уступили, как всегда, и мир в доме не был нарушен.

Ко дню свадьбы все было устроено и подготовлено. Все шло как по маслу. Погода была на редкость удачна; венчание в церкви, речи и тосты во время обеда прошли как нельзя лучше. Полковница написала прекрасное свадебное стихотворение, которое было оглашено за столом, а в буфетной военный оркестр Вермландского полка играл марш при каждой перемене блюд. Гости находили, что угощение было



щедрым и обильным, и во все время обеда пребывали в самом приятном и веселом расположении духа.

Но когда встали из-за стола и кофе был выпит, всех обуяло непреодолимое желание танцевать.

Надо сказать, что обед начался в четыре часа, но поскольку гостям прислуживало множество лакеев и служанок, то длился он всего лишь до семи. Можно было только удивляться тому, что двенадцать блюд и все эти бесконечные речи, фанфары, застольные песни заняли не более трех часов. Полковница надеялась, что гости будут сидеть за столом хотя бы до восьми, но надежды ее не оправдались.

Итак, часы показывали всего лишь семь, а о том, чтобы разъехаться ранее полуночи, и речи быть не могло. Гостей охватил страх при мысли о тех долгих, скучных часах, которые им предстояли. «Если бы можно было потанцевать!» — втихомолку вздыхали они, ибо полковница, разумеется, была предусмотрительна и заранее уведомила всех о том, что танцев на свадьбе не будет. «Чем же нам развлечься? Это ужасно — провести в болтовне столько часов подряд и все время сидеть без движения».

Юные девицы оглядывали свои светлые кисейные платья и белые атласные башмачки. И то и другое было предназначено для танцев. Когда на тебе такой наряд, желание танцевать рождается само собой. Они не могли думать ни о чем другом.

Молодые лейтенанты Вермландского полка, незаменимые кавалеры на балах, обычно бывали нарасхват. В зимнее время их столь часто звали на балы, что танцы приедались им и соблазнить их этим было нелегко. Но теперь, летом, больших танцевальных вечеров никто не устраивал, так что лейтенанты чувствовали себя отдохнувшими и готовы были отплясывать сутки напролет. Они говорили, что им редко случалось видеть сразу так много красивых девушек. Да и что это за праздник! Пригласить столько молодых лейтенантов и юных девиц и не позволять им танцевать друг с другом!

Но не только молодые томились без танцев. Дамы и господа постарше также сожалели, что не могут поглядеть, как танцует молодежь. Подумать только! Оркестр, равного которому нет во всем Вермланде! Великолепная танцевальная зала! Отчего же, помилуйте, нельзя покружиться в танце?

Эта Беата Экенстедт, при всей ее любезности, всегда была несколько себялюбива. Она, верно, полагает, что раз ей самой уже около пятидесяти и она не может танцевать, то, стало быть, из-за этого ее молодые гости также должны сидеть и подпирать стены.

Полковница все это видела и слышала и понимала, что гости ропщут, а для такой превосходной хозяйки, как она, привыкшей к тому, что на ее вечерах все веселились до упаду, это было невыразимо тяжким испытанием.

Она знала, что на другой день и много-много дней спустя люди станут рассказывать о свадьбе в доме Экенстедтов, и говорить, что такой отчаянной скуки им не приходилось испытывать ни на одном торжестве.

Она принялась занимать стариков. Она была необычайно любезна. Она рассказывала самые знаменитые свои истории, она прибегла к самым остроумным своим выдумкам, но ничего не помогало. Ее едва слушали. Среди гостей не нашлось ни одной даже самой старой и скучной дамы, которая не подумала бы про себя, что, если бы ей когда-либо посчастливилось выдать замуж дочь, уж она-то позволила бы танцевать и молодым и старикам.

Полковница принялась занимать молодежь. Она предложила им поиграть в горелки в саду. Но они лишь уставились на нее с недоумением. Играть в горелки на свадьбе! Не будь она Беатой Экенстедт, они рассмеялись бы ей прямо в лицо.

Когда настало время пустить фейерверк, кавалеры предложили дамам руку и отправились на прогулку по берегу реки. Но молодые пары еле-еле брели. Они едва поднимали взоры, чтобы взглянуть на взлетающие ракеты. Они не желали никакого возмещения за удовольствие, которого так жаждали.

Взошла полная луна — как бы для того, чтобы придать еще более торжественности этому великолепному зрелищу. В этот вечер она не походила на серп, но плыла по небу круглая, как шар; и некий остролов утверждал, что она округлилась от изумления при виде того, как множество статных лейтенантов и красивых подружек невесты стоят, глядя на воды реки так мрачно, словно их одолевают мысли о самоубийстве.

Пол-Карлстада собралось перед оградой сада Экенстедтов, чтобы поглядеть на торжество. Все видели, как молодые люди бродят по

дорожкам сада, безучастные и вялые, и в один голос заявляли, что такой унылой свадьбы им никогда еще не доводилось видеть.

Оркестр Вермландского полка играл как нельзя лучше, но поскольку полковница запретила исполнять танцы, так как в этом случае она не надеялась совладать с молодежью, то в музыкальной программе было не так уж много номеров, и одни и те же вещи приходилось повторять сизнова.

Было бы неверно утверждать, что часы тянулись медленно. Нет, время просто-напросто остановилось. Минутные и часовые стрелки на всех часах двигались с одинаковой медлительностью.

На реке перед домом Экенстедтов стояло несколько больших грузовых барж, и на одной из них сидел какой-то моряк — любитель музыки и наигрывал деревенскую польку на визгливой самодельной скрипке.

Но все эти несчастные, томившиеся в саду Экенстедтов, просияли, потому что это была по крайней мере танцевальная музыка; они поспешно улизнули через ворота, и в следующее мгновение все увидели, как они отплясывают деревенскую польку на смоленой палубе речной баржи.

Полковница тотчас же заметила это бегство и поняла, что ни в коем случае не может допустить, чтобы девицы из самых благородных карлстадских семей танцевали на грязной барже. Она тотчас же послала за беглецами и велела им немедленно вернуться. Но хоть она и была полковница, ни один безусый лейтенантик даже и не подумал повиноваться ее приказу.

И тут полковница поняла, что игра проиграна. Она сделала все, что было в ее силах, чтобы угодить Карлу-Артуру. Теперь нужно было спасти престиж дома Экенстедтов. Она велела полковому оркестру перейти в залу и играть англес.[\[97\]](#)

Вскоре после этого она услышала, как жаждающие танцевать мчатся вверх по лестнице, и танцы начались! Это был бал, какого давно не видывали в Карлстаде. Все, кто изнывал и томился в ожидании танцев, пытались теперь наверстать упущенное время. Они кружились, порхали в пируэтах, вертелись и выделывали ногами замысловатые антраша. Никто не чувствовал усталости, никто не отказывался от приглашений. Не было ни одной самой скучной дурнушки, которая осталась бы без кавалера.

Старики — и те не смогли усидеть на месте, но поразительнее всего было то, что сама полковница — да, подумать только, сама полковница, которая покончила с танцами и карточной игрой и велела унести на чердак все светские книги, — и она не смогла усидеть на месте. Легко и весело порхала она в танце и казалась такой же молодой, нет, гораздо моложе своей дочери, которая в этот день стояла под венцом. Карлстадцы были поистине счастливы тем, что снова обрели свою жизнерадостную, свою очаровательную, свою обожаемую полковницу.

И веселье царило всюду, и ночь была дивная, и река сияла в лунном свете, и все было как должно.

Лучшим доказательством того, сколь заразителен микроб радости, был, пожалуй, сам Карл-Артур, тоже захваченный общим весельем. Он вдруг перестал понимать, что дурного в том, чтобы двигаться в такт музыке вместе с другими беспечными молодыми людьми. Это ведь так естественно, что молодость, здоровье и жизнерадостность ищут выхода в танцах. Он не танцевал бы, если бы, как прежде, чувствовал, что это грешно. Но нынче вечером танцы представлялись ему ребячески невинной забавой.

Но в ту минуту, когда Карл-Артур старательно выделял какую-то фигуру англеза, он случайно бросил взгляд на открытую дверь залы и увидел бледное лицо, обрамленное черными кудрями и бородой, и пару больших кротких глаз, взиравших на него с горестным изумлением.

Он остановился посреди танца. Сначала ему показалось, что он грезит наяву. Но затем он узнал своего друга Понтуса Фримана, который обещал навестить его проездом через Карлстад и явился именно в этот вечер.

Карл-Артур не сделал больше в танце ни единого шага; он поспешил навстречу прибывшему, который, не говоря ни слова, увлек его за собой вниз по лестнице на вольный воздух.

## СВАТОВСТВО

Шагерстрем посватался! Богач Шагерстрем из Озерной Дачи.

Как? Возможно ли, чтобы Шагерстрем посватался? Право же, это так. Слух самый верный. Шагерстрем и впрямь посватался. Но, помилуйте, как же это вышло, что Шагерстрем посватался?

Видите ли, дело в том, что в Корсчюрке, в пасторской усадьбе, живет молодая девушка по имени Шарлотта Левеншельд. Она доводится пастору дальней родственницей, взята в дом компаньонкой для пасторши и помолвлена с пастором-адьюнктом.

Да, но какое отношение имеет она к Шагерстрему?

Так вот, Шарлотта Левеншельд — девица веселая, живая, бойкая на язык, и едва она переступила порог пасторского дома, как в нем точно свежим ветром повеяло. Пастор и пасторша — люди престарелые, они бродили по дому точно тени, а Шарлотта вдохнула в них новую жизнь.

А пастор-адьюнкт был тонок, как нитка, и до того свят, что едва есть и пить осмеливался. Днем он исправлял свою должность, а ночами стоял на коленях перед кроватью и оплакивал свои грехи. Он чуть было совсем не уморил себя, но Шарлотта спасла его от неминуемой гибели.

*Да, но какое отношение ко всему этому имеет...*

Надобно вам знать, что пять лет назад, когда молодой пастор-адьюнкт появился в Корсчюрке, он только что вступил в духовное звание и был совершенно несведущ по этой части. Тут-то Шарлотта и стала помогать ему. Она всю жизнь прожила в пасторских домах и отлично разбиралась во всем, что касалось пасторских обязанностей. Она обучала Карла-Артура, как крестить детей и как говорить на молитвенных собраниях.

Между тем они влюбились друг в друга и теперь были помолвлены вот уже пять лет.

Но таким манером мы и вовсе далеко уйдем от Шагерстрема...

Шарлотта Левеншельд отличалась необыкновенным умением улаживать чужие дела. Сделавшись невестой молодого пастора, она вскоре проведала, что родители его недовольны тем, что он избрал духовную карьеру. Они желали, чтобы он получил степень магистра и

смог определиться на должность профессора или доцента в университете. Он ведь целых пять лет провел в Упсале, готовясь держать экзамен на кандидата; на шестой год он должен был получить звание магистра, но неожиданно переменял свое намерение и вместо того выдержал экзамен на пастора. Родители его были богаты и несколько честолюбивы. Им пришлось не по вкусу, что сын их избрал столь скромное поприще. Даже после того, как он сделался пастором, они просили и умоляли его продолжать занятия в Упсале, но он решительно воспротивился этому. Шарлотта понимала, что если он станет магистром, то у него появятся лучшие виды на будущее, и отослала его назад в Упсалу. А поскольку он был изрядным зубрилой, то и управился за четыре года. Он выдержал экзамен и получил степень магистра.

Но помилуйте, при чем тут Шагерстрем?..

Видите ли, Шарлотта рассудила, что, получив магистерскую степень, жених ее сможет занять должность учителя гимназии и получит достаточное жалованье, чтобы им можно было пожениться. А если уж он непременно захочет остаться в духовном звании, то сможет через несколько лет получить большой пасторат, как это было в обычае. Такой же путь прошли пастор Корсчюрки и многие другие. Но тут ее расчеты не оправдались, ибо жених предпочел остаться скромным сельским священником.

Вот так и вышло, что он возвратился в Корсчюрку пастором-адьюнктом. И хоть был он доктором философии, но получал жалованья не больше, чем простой конюх.

*Да, но Шагерстрем...*

Надо ли говорить, что Шарлотта Левеншельд, которая ждала жениха целых пять лет, не могла удовлетвориться этим. И все же она была рада, что жених вернулся в Корсчюрку. Он жил тут же, в усадьбе, она встречалась с ним всякий день и, как видно, рассчитывала, что станет пилить его до тех пор, пока не принудит сделаться учителем гимназии так же, как она принудила его стать магистром.

Но мы покуда ни слова еще не слышали о Шагерстреме!

Так вот, ни Шарлотта Левеншельд, ни жених ее ни малейшего отношения к Шагерстрему не имели. Он был человеком совсем иного круга. Сын высокопоставленного стокгольмского чиновника, он был богат сам и женился на дочери заводовладельца из Вермланда,

наследнице столь многих заводов и рудников, что приданое ее исчислялось несколькими миллионами.

Первое время Шагерстрем жил в Стокгольме и лишь летние месяцы проводил на каком-либо из своих вермландских заводов, но когда жена его через несколько лет умерла родами, он переехал в Корсчюрку, в поместье Озерная Дача. Он очень горевал по жене и не мог жить там, где она когда-то бывала. Шагерстрем почти никому не делал визитов и, чтобы убить время, занялся управлением своих многочисленных заводов, а Озерную Дачу он перестроил и отделал с такой роскошью, что она стала поистине украшением Корсчюрки. Несмотря на то, что Шагерстрем был совершенно один, он держал множество прислуги и жил большим баринном. Шарлотта Левеншельд знала, что так же, как ей не добыть звезд с неба для своего брачного венца, так и не бывать ей за Шагерстремом.

Надобно вам знать, что Шарлотта Левеншельд из тех, кто говорит все, что взбредет на ум. И однажды, когда у пастора собралось много гостей, мимо усадьбы проехал Шагерстрем в своем большом открытом ландо, запряженном четверкою великолепных вороных, с ливрейным лакеем на козлах рядом с кучером. Само собой, все ринулись к окнам и провожали Шагерстрема взглядом, пока он не скрылся из виду. Но едва он исчез из глаз, Шарлотта Левеншельд, оборотясь к своему жениху, стоящему в глубине комнаты, сказала громко, так, что все могли слышать:

— Знай, Карл-Артур, что хоть я и люблю тебя, но посватайся ко мне Шагерстрем, я ему не откажу.

Гости, которые знали, что Шагерстрем никогда не посватается к ней, разразились хохотом. И жених посмеялся вместе со всеми, так как понимал, что Шарлотта сказала это, чтобы позабавить гостей. Хотя сама она была, казалось, немало смущена словами, невольно сорвавшимися с языка, но нельзя поручиться за то, что произнесла она их без всякой задней мысли. Ей, верно, хотелось слегка припугнуть милого Карла-Артура и заставить его подумать об учительской должности.

Ну, а Шагерстрем, все еще погруженный в свою скорбь, и не помышлял о женитьбе. Но, вращаясь в деловых кругах, он приобрел множество друзей и знакомых, которые вскоре стали убеждать его подумать о новом браке. Он отговаривался тем, что человек он

желчный и угрюмый и никто не захочет пойти за него, и не желал слушать уверений в обратном. Но однажды, когда речь об этом зашла на деловом обеде, где Шагерстрем вынужден был присутствовать, и когда он прибегнул к обычным своим отговоркам, один из его соседей из Корсчюрки рассказал ему о молодой девушке, которая объявила, что бросит своего жениха, если только Шагерстрем посватается к ней. Обед проходил весело, и все вдоволь посмеялись над этой историей, сочтя ее забавной шуткой, так же как и гости в пасторской усадьбе.

По правде говоря, Шагерстрем не раз уже думал о том, что ему трудно обходиться без жены, но он все еще любил умершую, и сама мысль о том, что другая женщина может занять ее место, была ему отвратительна.

До сих пор он имел в виду женитьбу на девушке своего круга, но рассказ о Шарлотте Левеншельд придал его мыслям иное направление. Если бы он, скажем, вступил в брак не по сердечному влечению, а по разумному расчету и женился бы на скромной, небогатой девушке, которая не могла бы посягать ни на место покойной жены в его сердце, ни на то высокое положение в свете, которое та занимала благодаря богатству и родственным связям, то новый брак был бы для него вполне приемлем. Он не был бы оскорбительным для памяти усопшей.

В следующее воскресенье Шагерстрем отправился в церковь и стал разглядывать молодую девушку, сидевшую рядом с пасторшей на пасторской скамье. Она была одета скромно и непритязательно и решительно ничем не выделялась. Но это не было помехой. Напротив. Будь она ослепительной красавицей, он и не подумал бы остановить на ней свой выбор. У покойной и мысли не должно возникнуть, что новая жена может хоть в чем-то быть ей заменой. Разглядывая Шарлотту, Шагерстрем спрашивал себя, что бы она ответила, если бы он и впрямь отправился в усадьбу пастора и предложил ей сделаться хозяйкой его поместья.

Она ведь никак не могла ожидать, что он попросит ее руки, но потому-то и было бы забавно поглядеть, какое у нее будет лицо, когда она увидит, что дело приняло серьезный оборот.

Возвращаясь из церкви, Шагерстрем думал о том, как выглядела бы Шарлотта, если одеть ее в дорогие и красивые платья. И вдруг он поймал себя на том, что мысль о новом браке представляется ему заманчивой. Ему показалось весьма романтичным неожиданно



осчастливить бедную девушку, которой нечего ждать от жизни. А склонность ко всему романтическому всегда была свойственна его натуре. Но, заметив это, Шагерстром тотчас же бросил думать об этом браке. Он отмахнулся от него как от соблазна. Он всегда убеждал себя, что разлучен с женой лишь на время, и хотел сохранять ей верность до тех пор, пока они не соединятся вновь. Следующей ночью Шагерстром увидел свою умершую жену во сне и проснулся, полный прежней нежности к ней. Опасения, пробудившиеся в нем по пути из церкви, показались ему излишними. Его любовь жива, и нечего бояться, что скромная девушка, которую он намерен взять в жены, способна вытеснить из его души образ усопшей. Ему необходима дельная и умная хозяйка, которая скрасила бы его одиночество и вела бы его дом.

Среди его родни не было никого подходящего, а нанимать домоправительницу ему не хотелось. Он не видел иного выхода, кроме женитьбы.

В тот же день он выехал расфранченный из дома и направился в пасторскую усадьбу. Все эти годы он жил столь уединенно, что ни разу не был у пастора с визитом, и когда большое ландо с четверкою вороных въехало в ворота усадьбы, в доме поднялся переполох. Его тотчас же ввели в парадную гостиную на верхнем этаже, и здесь он некоторое время сидел, беседуя с пастором и пасторшей. Шарлотта Левеншельд уединилась в своей комнате, но через некоторое время пасторша сама пришла к ней и попросила пойти в гостиную занять гостя. Приехал заводчик Шагерстром, и ему скучно будет сидеть с двумя стариками.

Пасторша была в некоторой ажитации и в приподнятом настроении. Шарлотта в изумлении посмотрела на нее, но ни о чем не спросила. Она сняла с себя передник, окунула пальцы в воду, пригладила ими волосы и надела чистый воротничок. Затем она последовала за пасторшей, но с порога вернулась и снова надела передник.

Она вошла в гостиную и поздоровалась с Шагерстромом; ее пригласили сесть, и сразу же вслед за этим пастор произнес в честь ее небольшую речь. Он был весьма многословен и долго распространялся о радости и счастье, которые она принесла в его дом. Она была вместо дочери ему и его жене, и они ни за что не желали бы расстаться с ней. Но когда такой человек, как господин Густав Шагерстром, хочет взять

ее в жены, они не вправе думать о себе и советуют ей принять это предложение; лучшего она едва ли могла бы ожидать.

Пастор ни словом не обмолвился о том, что она уже обручена с его помощником. И он и пасторша всегда были против этой помолвки и от всего сердца желали, чтобы она расстроилась. Столь бедной девушке, как Шарлотта, не следует связывать свою судьбу с человеком, который решительно отказывается думать о приличном доходе. Шарлотта Левеншельд выслушала все это, не сделав ни единого движения, и пастор, желая дать ей время приготовить подобающий ответ, произнес пышный панегирик Шагерстрему, сообщив о его весьма высоких достоинствах: о его уме, добродетельном образе жизни и доброте к своим служащим.

Пастор слышал о нем столь много лестного, что, хотя господин Шагерстрем впервые наносит ему визит, он давно уже считает его своим другом и рад будет передать в его руки судьбу своей молодой родственницы.

Шагерстрем все это время сидел, наблюдая за Шарлоттой, чтобы увидеть, какое впечатление произвело на нее его сватовство. Он заметил, что она выпрямилась и откинула голову. Затем на щеках ее выступила краска, глаза потемнели и сделались густо-синими, а верхняя губка приподнялась в несколько надменной усмешке. Шагерстрем был совершенно ошеломлен. Шарлотта, какую он видел ее теперь, была совершенная красавица, и притом красавица отнюдь не робкая и не покорная.

Его предложение, бесспорно, произвело на нее сильное впечатление, но была ли она рада ему, или нет — этого он понять не мог.

Впрочем, ему недолго пришлось оставаться в неведении. Едва только пастор окончил свою речь, как заговорила Шарлотта Левеншельд.

— Не знаю, слышали ли вы, господин Шагерстрем, о том, что я помолвлена? — спросила она.

— Да, конечно, — начал Шагерстрем, но больше ничего не успел прибавить, потому что она продолжала.

— Как же в таком случае господин Шагерстрем осмелился явиться сюда и просить моей руки?

Именно так она и сказала. Она употребила слово «осмелился», хотя говорила с самым богатым человеком в Корсчюрке.

Она забыла о том, что она всего лишь бедная компаньонка, и чувствовала себя богатой и гордой фрекен Левеншельд.

Пастор и пасторша едва не свалились со стульев от изумления. Шагерстрем также выглядел обескураженным, но, будучи человеком светским, он знал, как вести себя в затруднительных положениях.

Он подошел к Шарлотте Левеншельд, взял ее руку обеими руками и тепло пожал.

— Любезная фрекен Левеншельд, — сказал он, — ответ этот лишь еще более усилил расположение, которое я питаю к вашей особе.

Он отвесил поклон пастору и пасторше и жестом отклонил их попытки сказать что-либо и проводить его к экипажу. Как они, так и Шарлотта подивились тому достоинству, с которым отвергнутый жених покинул комнату.

## ЖЕЛАНИЯ

Что могут значить человеческие желания? Если женщина и пальцем не пошевелит, чтобы сблизиться с тем, по ком тоскует, а только втайне желает этого, толку от этого не будет.

Если женщина сознает, что она ничтожна, безобразна и бедна, и понимает, что тот, кого ей хотелось бы завоевать, никогда о ней и не вспоминает, то она может тешить себя желаниями сколько душе угодно.

Если она к тому же добродетельная супруга, которая питает известную склонность к пиетизму и ни за какие блага в мире не соблазнится ничем предосудительным, то желания ни на йоту не изменят ее положения.

Если же она вдобавок стара, если ей целых тридцать два года, а тот, кто занимает ее мысли, не старше двадцати девяти, если она неловка, робка и у нее нет никаких надежд на успех в обществе, если она всего лишь жена органиста, то пусть себе упивается желаниями хоть с утра до вечера. Греха в том не будет никакого, потому что это ни к чему привести не может.

Если даже ей кажется, что желания других — легкие весенние ветерки, а ее желания — могучие, сокрушающие ураганы, способные сдвигать горы и переворачивать землю, — все равно, она ведь знает, что все это не более чем игра воображения. В действительности желания не имеют силы ни в настоящем, ни в будущем.

Пусть будет довольна тем, что она живет в деревне, у самой проезжей дороги, и может видеть его почти всякий день проходящим мимо ее окон; что она может слышать его проповеди по воскресеньям; что ее иногда приглашают в пасторскую усадьбу, и она может находиться с ним в одной комнате, хотя робость мешает ей сказать ему хотя бы слово.

А ведь между ними существует некоторая связь. Он, быть может, даже не подозревает об этом, а она не решается ему сказать, но тем не менее это так.

Ведь ее мать — та самая Мальвина Спаак, которая была когда-то экономкой в Хедебю, у баронов Левеншельдов, родителей его матери. Лет тридцати пяти Мальвина вышла замуж за мелкого арендатора и с

той поры без устали трудилась и хлопотала в собственном доме, так же как некогда в чужих домах. Но она не порывала связи с Левеншельдами, они навещали ее, а она подолгу гостила в Хедебю, помогая осенью печь хлеба, а весной делать уборку комнат. Это несколько скрашивало ее существование. Своей маленькой дочери Мальвина часто рассказывала о том времени, когда она служила в экономках у Левеншельдов, о покойном генерале, призрак которого бродил по замку, и о молодом бароне Адриане, вознамерившемся помочь усопшему предку обрести покой в могиле.

Дочь понимала, что мать была влюблена в молодого барона. Это чувствовалось по тому, как она описывала его. До чего он был добр и до чего хорош собою! И какое мечтательное выражение было в его глазах, какая неизъяснимая прелесть в каждом его движении.

Когда Мальвина рассказывала о нем, дочь думала, что она преувеличивает. Юноши, подобного тому, какого она описывала, и на свете не бывало.

И тем не менее она увидела его. Вскоре после того как она вышла замуж за органиста и переехала в Корсчюрку, она однажды в воскресенье увидела его на церковной кафедре. Он был не бароном, а всего лишь пастором Экенстедтом, но доводился племянником тому барону Адриану, которого любила Мальвина Спаак. Он был так же хорош собою, так же юношески нежен, так же строен и изящен. Она узнала эти большие мечтательные глаза, о которых говорила мать, узнала эту кроткую улыбку.

При виде его ей почудилось, что это она силой своего желания вызвала его сюда. Ей всегда хотелось увидеть человека, который походил бы на образ, описанный матерью, и вот теперь она увидела его. Она, разумеется, знала, что желания не обладают никакой силой, и все же его появление здесь показалось ей удивительным.

Он не обращал на нее ни малейшего внимания и к исходу лета обручился с этой гордячкой Шарлоттой Левеншельд. Осенью он вернулся в Упсалу для продолжения занятий. Она была убеждена, что он навсегда исчез из ее жизни. Он никогда не вернется, как бы сильно она этого ни желала.

Но спустя пять лет, однажды в воскресенье, она снова увидела его на церковной кафедре. И снова ей почудилось, что это она силой своего желания вызвала его сюда. Сам же он не давал ей ни малейшего

повода так думать. Он по-прежнему не обращал на нее никакого внимания и все еще был помолвлен с Шарлоттой Левеншельд.

Она никогда не желала зла Шарлотте. В этом она могла бы поклясться на Библии. Но иногда ей хотелось, чтобы Шарлотта влюбилась в кого-нибудь другого, или чтобы какие-нибудь богатые родственники пригласили ее в длительное путешествие за границу, так, чтобы она приятным и безболезненным способом была разлучена с молодым Экенстедтом.

Будучи женой органиста, она время от времени получала приглашения в дом пастора, и ей случилось находиться там в тот раз, когда мимо проехал Шагерстрем и Шарлотта сказала, что не откажет ему, если он к ней посватается.

С той самой минуты она страстно желала, чтобы Шагерстрем посватался к Шарлотте, и в этом не было ничего дурного. Ведь желания все равно ничего не значат.

Ибо если бы желания имели силу, все на свете было бы по-иному. Ведь чего только не желают люди! Как много хорошего желают они себе! Сколько людей желают избавиться себя от грехов и болезней! Сколько людей желают избежать смерти! Нет, она знает наверняка, что желать никому не возбраняется, потому что желания не имеют никакой силы.

Тем не менее, однажды в воскресенье, погожим летним днем, она увидела, что Шагерстрем явился в церковь и выбрал место, откуда он мог хорошо видеть Шарлотту, сидевшую на пасторской скамье. И она пожелала, чтобы Шагерстрем нашел Шарлотту красивой и привлекательной. Она от всей души желала этого. Она не видела ничего дурного в том, что желает Шарлотте богатого мужа.

После того как она увидела Шагерстрема в церкви, у нее весь день было предчувствие, что теперь следует ожидать каких-то событий. Всю ночь она провела, точно в лихорадке, думая о том, что же теперь будет. Это же чувство не покидало ее и все утро следующего дня. Она не в силах была ничем заняться, просто сидела сложа руки у окна и ждала.

Она предполагала, что увидит Шагерстрема, проезжающего мимо ее окон, но случилось нечто еще более необыкновенное.

В конце утра, часов этак в одиннадцать-двенадцать, к ней с визитом явился Карл-Артур.

Надо ли говорить, что она была и поражена и обрадована, но в то же время совершенно потерялась от смущения.

Она не помнила, как поздоровалась с ним, как пригласила его войти. Но, как бы то ни было, вскоре он уже сидел в самом лучшем кресле ее маленькой гостиной, а она сидела напротив, не сводя с него глаз.

Ей ни разу еще не доводилось видеть его так близко, и она не представляла себе, что он выглядит таким юным. Она ведь была осведомлена обо всем, что касалось его семейства, и знала, что он родился в 1806 году и что, стало быть, ему теперь двадцать девять. Но никто не дал бы ему этих лет.

Он объяснил ей со свойственной ему пленительной простотой и серьезностью, что лишь недавно из письма матери узнал о том, что она дочь той самой Мальвины Спаак, которая была добрым другом и провидением для всех Левеншельдов. Он сожалеет, что не знал этого прежде. Ей бы следовало рассказать ему об этом.

Она безмерно обрадовалась, узнав, отчего он до сих пор не достаивал ее вниманием.

Но она ничего не умела ни сказать, ни объяснить. Она лишь пробормотала несколько невразумительных слов, которых он, должно быть, даже не понял. Он взглянул на нее с некоторым изумлением. Должно быть, ему трудно было представить себе, что старая женщина способна от смущения лишиться дара речи.

Точно для того, чтобы дать ей время опомниться, он заговорил о Мальвине Спаак и о Хедебю. Он коснулся также истории о призраках и о роковом перстне.

Он сказал, что едва ли можно верить всем подробностям, но что, по его мнению, во всем этом скрыт глубокий смысл. В его глазах перстень является символом привязанности к земным благам, которая держит душу в плену, препятствуя ей войти в царство божье.

Вообразите только! Он сидит перед ней, он смотрит на нее со своей чарующей улыбкой, он беседует с нею просто и доверительно, словно со старым другом! Она едва не задохнулась от избытка счастья.

Он, должно быть, привык не получать ответа, когда приходил утешать и ободрять страждущих и бедняков; и потому продолжал говорить без устали.

Он поведал ей, что беспрестанно думает о словах Иисуса, обращенных к богатому юноше. Он убежден, что наипервейшая причина всех бед человеческих кроется в том, что люди возлюбили сотворенное богом больше, нежели творца.

Хотя она все еще не произносила ни слова, однако в том, как она его слушала, было, очевидно, нечто поощрявшее его к дальнейшей откровенности. Он признался, что не помышляет о высоком духовном сане. Ему не нужен большой приход с большим домом, большим земельным наделом, с толстыми церковными книгами. Со всем этим хлопот не оберешься. Он мечтает о маленьком приходе, где у него будет больше досуга, чтобы заботиться о спасении души. Жилищем его будет скромная хижина, но ему хочется, чтобы она находилась где-нибудь в живописном месте, на березовом пригорке, неподалеку от озера. А что до жалованья, то ему нужно лишь столько, чтобы прокормиться.

Она понимала, что таким образом он намерен указать людям верный путь к истинному счастью. Благоговейный восторг охватил ее душу. Никогда еще не встречала она человека столь юного и чистого. Ах, как все должны любить его!

Но тут же ей пришло в голову, что слова его противоречат тому, что она совсем недавно услышала в доме пастора, и она захотела рассеять свое недоумение. Она сказала, что, должно быть, ослышалась, но что когда она на днях была в пасторской усадьбе, невеста его говорила, будто он намерен искать место учителя гимназии.

Он вскочил со стула и принялся расхаживать взад и вперед по маленькой гостиной.

Шарлотта так сказала? Уверена ли она, что Шарлотта сказала именно это? Он спрашивал с такой горячностью, что она оробела, однако ответила со всей почтительностью, что, насколько ей помнится, Шарлотта сказала именно это.

Кровь бросилась ему в голову. Гнев с каждой минутой все сильнее разгорался в нем.

Она до того испугалась, что готова была упасть к его ногам и молить о прощении. Она и не подозревала, что эти слова, сказанные о Шарлотте, могут столь сильно задеть его. Что ей сказать, чтобы вернуть его доброе расположение? Как успокоить его?



Среди этого мучительного смятения она вдруг услышала цокот копыт и стук колес и по привычке взглянула в окно. Это проехал Шагерстрем, но она до такой степени занята была Карлом-Артуром, что даже не задалась вопросом, куда направляется богатый заводчик. А Карл-Артур и вовсе не заметил его. Он продолжал расхаживать по комнате в сильнейшем гневе.

Затем он приблизился к ней и протянул руку, чтобы проститься, и она была ужасно разочарована тем, что он покидает ее так скоро. Она готова была откусить себе язык за то, что с него сорвались слова, столь сильно уязвившие Карла-Артура.

Но делать было нечего. Ей не оставалось ничего иного, как протянуть руку и проститься с ним. Ей не оставалось ничего иного, как молча отпустить его.

Но тут, с горя, в глубоком отчаянии, она склонилась и поцеловала его руку.

Он поспешно отдернул руку и застыл на месте, с изумлением глядя на нее.

— Я хотела только попросить прощения, — пролепетала она.

Он заметил в ее глазах слезы и, смягчившись, счел нужным дать объяснение:

— Представьте себе, фру Сундлер, что вы по той или иной причине надели на глаза повязку, ничего не видите вокруг и дали вести себя другому человеку. Что бы вы почувствовали, если бы повязка вдруг упала с ваших глаз и вы увидели бы, что этот человек, ваш друг, ваш поводырь, которому вы доверяли более, чем себе, привел вас на край бездны, и стоило вам сделать всего лишь один шаг, как вы рухнули бы вниз? Разве не поднялся бы у вас в душе целый ад?

Он проговорил все это пылко и взволнованно и, не дожидаясь ответа, ринулся к двери.

Тее Сундлер показалось, что, выбежав на крыльцо, он вдруг остановился. Она не знала почему. Может, он вспомнил, каким радостным и беспечным полчаса назад входил в этот дом, который теперь покидал в гневе и отчаянии. Как бы то ни было, она поспешила выйти, чтобы убедиться, вправду ли он стоит на крыльце.

Едва завидев ее, он заговорил. Душевное волнение придало новое направление его мыслям, и он рад был появлению слушательницы.

— Я смотрю на эти розы, которыми вы украсили дорогу к вашему дому, любезная фру Сундлер, и спрашиваю себя, можно ли отрицать, что нынешнее лето — самое чудесное из всех, какие были на моей памяти. Нынче у нас конец июля, но разве не была бесподобной вся минувшая часть лета? Разве не стояли все это время долгие и ясные дни, гораздо более долгие и ясные, чем в прежние годы? Да, разумеется, жара была сильная, но она никогда не угнетала, потому что воздух большей частью охлаждался свежим ветерком. И земля не страдала от засухи, как это обычно бывает жарким летом, потому что почти каждую ночь в течение нескольких часов шел дождь. А как пышно разрослось все вокруг! Видели ли вы когда-либо деревья, отягченные такой массой листьев? Видели ли вы когда-либо клумбы, украшенные такими роскошными цветами? Ах, я готов утверждать, что никогда еще земляника не была столь сладкой, птичье пение — столь звонким, и люди — столь падкими до наслаждений, как нынче летом.

Он умолк на мгновение, чтобы перевести дух, но Тея Сундлер остерегалась проронить хотя бы слово, боясь помешать ему. Она вспомнила свою мать. Ей стало понятно, что чувствовала Мальвина Спаак, когда молодой барон отыскивал ее в поварне или в молочной и изливал перед нею душу.

Молодой пастор продолжал:

— По утрам, в пять часов, когда я поднимаю штору, я вижу вокруг лишь тучи да туман. Дождь барабанит в окно, хлещет из водосточной трубы, цветы и травы гнутся под его струями. Вся окрестность заполнена тучами, столь отягченными влагой, что кажется, будто они волочатся по земле. «Кончились погожие дни, — говорю я себе. — А может, это к лучшему».

Но хотя я почти убежден, что дождь зарядил на весь день, я не отхожу от окна и жду, что будет дальше. И вот ровно в пять минут шестого капли перестают барабанить в окно. Дождевые струи еще некоторое время хлещут из трубы, но вскоре затихают. Посреди небосвода, на том месте, где должно показаться солнце, в тучах открывается просвет, и целый сноп лучей стремительно низвергается на окутанную туманом землю. И тотчас же серая пелена дождя, висящая над холмами и на горизонте, превращается в голубоватую дымку. Капли медленно стекают с травинки на землю, и цветы

поднимают робко поникшие головки. Наше маленькое озеро, кусочек которого виден из моего окна, до этой минуты казалось угрюмым и серым, но теперь оно вдруг начинает искриться, точно целая стая золотых рыб всплыла на его поверхность. И, очарованный этой красотой, я распахиваю окно, всей грудью вдыхаю воздух, источающий свежесть и невиданно сладкое благоухание, и восклицаю: ах, боже, мир, сотворенный тобою, чересчур прекрасен!

Молодой пастор умолк, чуть заметно улыбнулся и слегка пожал плечами. Он, вероятно, решил, что Тею Сундлер удивили его последние слова, и поторопился объяснить их.

— Да, — повторил он, — именно это я и хотел сказать. Я опасался, что дивное лето прельстит меня земными радостями. Много раз желал я, чтобы благодатная погода сменилась зноем и засухой, грозами с молнией и громом; я желал, чтобы наступили дождливые дни и студеные ночи, как это часто бывало в иные годы.

Тея Сундлер жадно впитывала в себя каждое его слово. К чему он ведет свою речь? Что он хочет сказать? Этого она не знала, но лишь исступленно желала, чтобы он не умолкал, чтобы она могла как можно дольше упиваться звуками его голоса, его красноречием, выразительной игрой его лица.

— Понимаете ли вы меня? — воскликнул он. — Но нет, природа, видно, не имеет над вами силы. Она не говорит с вами таинственным и властным языком. Она никогда не спрашивает вас, отчего не приемлете вы с благодарностью ее добрые дары, отчего не берете счастье, лежащее у вас под руками, отчего не обзаводитесь вы своим домом и не вступаете в брак с возлюбленной своего сердца, как это делают все живые создания в нынешнее благословенное лето.

Он снял шляпу и провел рукой по волосам.

— Это изумительное лето, — продолжал он, — оказалось в союзе с Шарлоттой, Видите ли, это всеобщее упоение, эта нега опьянили меня. Я бродил точно слепой. Шарлотта видела, как растет моя любовь, мое томление, мое желание соединиться с ней.

Ах, вы не знаете... Каждое утро в шесть часов я выхожу из флигеля, где я живу, и отправляюсь в пасторский дом пить кофе. В большой светлой столовой, в распахнутые окна которой струится свежий утренний воздух, меня встречает Шарлотта. Она весела и

щебечет, как птичка. Мы пьем кофе совсем одни; ни пастора, ни пасторши с нами не бывает.

Вы, может быть, думаете, что Шарлотта пользуется случаем и заводит речь о нашем будущем? Вовсе нет. Она говорит со мною о моих больных, о моих бедняках, о тех мыслях в моей проповеди, которые особенно поразили ее. Она представляется мне совершенно такою, какова должна быть жена священника. Лишь иногда, в шутку, как бы мимоходом заговаривает она о должности учителя.

День ото дня она становится мне все дороже. И когда я возвращаюсь к своему письменному столу, я не в состоянии работать. Я мечтаю о Шарлотте. Я уже описывал вам нынче тот образ жизни, какой хочу вести. И я мечтаю о том, что моя любовь поможет Шарлотте освободиться от мирских оков и она последует за мною в мою скромную хижину.

Услышав это его признание, Тея Сундлер не могла удержаться от восклицания.

— Да, разумеется, — сказал он. — Вы правы. Я был слеп. Шарлотта привела меня на край бездны. Она дождалась минуты слабости, чтобы вырвать у меня обещание занять место учителя. Она видела, как летняя нега все более побуждала меня к беспечности. Она была столь уверена в достижении своей цели, что хотела предупредить вас и всех других о том, что я намерен изменить свое жизненное поприще. Но Господь уберег меня.

Он сделал шаг к Тее Сундлер. Он, как видно, прочел в ее лице, что она упивается его словами, что она испытывает счастье и восторг. И, должно быть, мысль о том, что его порожденное страданием красноречие доставляет ей радость, вывела его из себя.

— Не думайте, однако, что я благодарен вам за то, что вы мне сказали! — выкрикнул он.

Тея Сундлер содрогнулась от ужаса. Он сжал кулаки и потряс ими перед ее лицом.

— Я не благодарю вас за то, что вы сняли повязку с моих глаз. Не радуйтесь тому, что вы сделали. Я ненавижу вас за то, что вы не дали мне низринуться в бездну. Я не желаю больше видеть вас!

Он повернулся к ней спиной и побежал по тропинке мимо ее красивых роз к проселочной дороге. А Тея Сундлер вернулась в гостиную и, вне себя от горя упав на пол, заплакала навзрыд.

## В ПАСТОРСКОМ САДУ

Если идти скорым шагом, каким шел Карл-Артур, то короткий путь от деревни до усадьбы мог занять не более пяти минут. Но за эти пять минут в сознании Карла-Артура родилось множество благородных и суровых слов, которые он намерен был высказать невесте при первой же встрече.

— Да, да! — бормотал он. — Час настал! Ничто не остановит меня. Сегодня между нами все должно решиться. Ей придется понять, что, как бы сильно я ни любил ее, ничто не принудит меня домогаться тех мирских благ, к которым ее влечет. Я должен служить Богу, у меня нет выбора. Я скорее вырву ее из своего сердца.

Он ощутил в себе гордую уверенность. Он чувствовал, что сегодня, как никогда прежде, подвластны ему слова, способные уничтожить, растрогать, убедить. Бурное волнение потрясло все его существо и распахнуло в его душе дверь, ведущую в сокровищницу, о существовании которой он доселе и не подозревал. Стены этой сокровищницы увешаны были пышными гроздьями и цветущими ветвями. И гроздья и ветви эти были слова, благородные, возвышенные, совершенные. Ему оставалось лишь войти и взять их. Все это принадлежало ему. Какое богатство! Какое неслыханное богатство!

Он громко рассмеялся. Прежде он с превеликим трудом сочинял свои проповеди, мучительно подбирая слова. А между тем в душе его был скрыт целый клад!

Что до Шарлотты, то с ней все будет иначе. По правде говоря, до сих пор она пыталась руководить им. Но теперь все изменится. Он будет говорить, она будет слушать. Он будет вести ее, она будет следовать за ним. Отныне она будет с таким же благоговением ловить каждое его слово, как эта бедняжка, жена органиста.

Ему предстоит борьба, но ничто не заставит его отступить.

— Я скорее вырву ее из своего сердца! — повторял он. — Я вырву ее из своего сердца!

Подходя к пасторской усадьбе, он увидел, как ворота ее отворились и элегантный экипаж, запряженный четверкою вороных, выехал со двора.

Он понял, что заводчик Шагерстрем был с визитом у пастора. Он вспомнил о словах, оброненных Шарлоттой на званом вечере в начале лета. Точно молния, поразила его мысль о том, что Шагерстрем приезжал в пасторскую усадьбу, чтобы сделать предложение его невесте.

Мысль была нелепая, но сердце его болезненно сжалось. Разве не окинул его богатый заводчик в высшей степени странным взглядом, когда экипаж сворачивал на проезжую дорогу? Разве не было в этом взгляде иронического любопытства и вместе с тем известной доли сочувствия?

Сомнений быть не могло. Он угадал. Но удар был слишком жесток. Сердце остановилось. В глазах потемнело. У него едва достало сил дотащить до калитки.

Шарлотта ответила согласием. Он лишится ее. Он умрет от отчаяния.

Сокрушенный горем, он вдруг увидел Шарлотту, которая вышла из дома и поспешно направилась к нему. Он видел краску на ее лице, блеск в ее глазах, торжествующую усмешку на губах. Она шла, чтобы сказать ему, что выходит замуж за самого богатого человека в Корсчюрке.

О, какое бесстыдство! Он топнул ногой и сжал кулаки.

— Не приближайся ко мне! — закричал он.

Она остановилась. Притворяется она, или изумление ее неподдельно?

— Что с тобой? — спокойно спросила она.

Он собрал все свои силы и выкрикнул:

— Тебе это должно быть известно лучше, чем кому бы то ни было. Зачем приезжал Шагерстрем?

Когда Шарлотта поняла, что он догадался о причине визита заводчика, она приблизилась к нему вплотную. Она подняла руку. Она готова была ударить его.

— Ах, вот как! Стало быть, и ты тоже думаешь, что ради горсти золота я способна изменить своему слову!

Затем она окинула его взглядом, полным презрения, повернулась к нему спиной и пошла прочь от него.

Из ее слов он понял, однако, что наихудшие его опасения не подтвердились. Сердце вновь застучало, силы вернулись к нему, и он

смог пойти за нею следом.

— Но он все-таки сделал тебе предложение? — спросил он.

Она не удостоила его ответом. Вскинув голову и гордо выпрямившись, она продолжала удаляться от него. Но направилась она не к дому, а свернула на узкую тропинку за густым кустарником, ведущую в глубь сада.

Карл-Артур понял, что она вправе чувствовать себя оскорбленной. Если она отказала Шагерстрему, то поступок ее достоин восхищения. Он попытался оправдаться:

— Посмотрела бы ты, с каким видом он проехал мимо меня. По нему нельзя было сказать, что он получил отказ.

Она лишь еще строптивее вскинула голову и ускорила шаг. Отвечать ей было незачем. Всем своим видом она как бы говорила: «Не подходи! Я хочу побыть здесь одна».

Но он, все яснее и яснее понимая всю самоотверженность ее поступка, не отставал от нее.

— Шарлотта! — сказал он. — Любимая Шарлотта!

Но слова эти не тронули ее. Она продолжала удаляться от него в глубь сада.

Ах, этот сад! Этот сад! Шарлотта не могла бы избрать места, более богатого воспоминаниями, дорогими для них обоих.

Сад был разбит на старинный французский манер, с перекрещивающимися дорожками, обсаженными по обочинам пышными кустами сирени высотой в человеческий рост. То тут, то там в этих зарослях открывались небольшие просветы, сквозь которые можно было проникнуть в маленькую, тесную беседку с простой дерновой скамьей или на подстриженную лужайку с одиноким розовым кустом. Сад не был обширен, он, быть может, даже не был особенно красив, но каким чудесным убежищем был он для тех, кто искал уединения.

И пока Карл-Артур шел за Шарлоттой, а она удалялась прочь от него, не достаивая его ни единым взглядом, в них обоих оживали воспоминания о тех счастливых часах, которые они провели здесь, когда она была его милой, о часах, которые, быть может, никогда больше не вернутся.

— Шарлотта! — снова произнес он страдальчески.

Должно быть, в голосе его было что-то заставившее ее прислушаться. Она не обернулась, но напряженность в осанке исчезла. Она остановилась и повернула голову так, что он почти мог видеть ее лицо.

В ту же секунду он очутился подле нее, прижал ее к себе и поцеловал.

Затем он увлек ее за собой в беседку с дерновой скамьей. Здесь он бросился перед ней на колени и стал бурно восторгаться ее верностью, ее любовью, ее мужеством.

Она, казалось, была удивлена его пылом, его восторженностью. Она слушала его почти с недоверием, и он понимал почему. Обычно он бывал с нею крайне сдержан. Она олицетворяла в его глазах мирские радости и соблазны, которых ему надлежало остерегаться.

Но в этот счастливейший час, когда он узнал, что ради него она отвергла соблазн огромного богатства, ему незачем было более обуздывать себя. Она стала рассказывать ему о сватовстве Шагерстрема, но он едва слушал ее, то и дело прерывая ее рассказ поцелуями.

Когда она умолкла, он снова принялся целовать ее, а потом они сидели в полном молчании, обняв друг друга.

Куда же девались гордые и суровые слова, которые он намеревался высказать ей? Выветрились из головы, изгладились из памяти. Они не нужны были больше. Карл-Артур знал теперь, что его любимая не может быть ему опасна. Она не была рабой мамоны, как он того опасался. Ведь подумать только, какое огромное богатство отвергла она сегодня, дабы остаться ему верной!

Шарлотта покоилась в его объятиях, и легкая улыбка играла на ее губах. Она казалась счастливой, счастливее, чем когда-либо. О чем она думала? Может быть, в эти минуты она говорила себе, что ей не надо ничего, кроме его любви; быть может, она и думать бросила об этой должности учителя, которая едва не разлучила их.

Она молчала, но он как будто слышал ее мысли: «Будем же наконец вместе! Я не ставлю никаких условий; мне не нужно ничего, кроме твоей любви».

Но неужели он допустит, чтобы она превзошла его своим благородством? Нет, он доставит ей величайшую радость. Он шепнет



ей, что теперь, когда он постиг ее душу, он наконец решился. Теперь он попытается обеспечить им обоим приличное содержание.

О, какое блаженное молчание! Слышала ли она то, что он произнес про себя? Слышала ли она обещание, которое он дал ей?

Он сделал над собою усилие, чтобы облечь свои мысли в слова.

— Ах, Шарлотта, — начал он, — смогу ли я когда-нибудь воздать тебе за то, что ты отвергла сегодня ради меня?

Она сидела, положив голову ему на плечо, и он не мог видеть ее лица.

— Милый друг мой, — услышал он ее ответ. — Мне незачем тревожиться. Я убеждена, что ты в полной мере вознаградишь меня за это.

«Вознаградишь?» Что понимает она под этим словом? Хочет ли она сказать, что не требует иной награды, кроме его любви? Или имеет в виду что-нибудь другое? Отчего она потупила взор? Отчего не смотрит ему в глаза? Неужто она полагает его столь незавидным женихом, что требует награды за свою верность? Он как-никак пастор, доктор философии, сын почтенных родителей. Он всегда стремился исполнять свой долг и вел беспорочную жизнь. Он начал уже добиваться признания как проповедник. Так неужто отказ от Шагерстрема и впрямь представляется ей столь великой жертвой?

Нет, нет, разумеется, ничего подобного она не думает. Ему не следует горячиться, он должен кротко и спокойно выведать ее мысли.

— Что ты разумеешь под вознаграждением? Я ведь решительно ничего не могу дать тебе.

Она еще теснее прижалась к нему и шепнула ему на ухо:

— Ты слишком принижаешь себя, друг мой. Ты мог бы стать настоятелем собора или даже епископом.

Он отпрянул от нее так стремительно, что она едва не упала.

— Так ты, стало быть, потому и отказала Шагерстрему? Ты надеешься, что я стану настоятелем собора или епископом?

Шарлотта взглянула на него ошеломленно, как человек, пробудившийся от грез. Да, разумеется, она грезила, она была в полудреме и во сне открыла самые сокровенные свои мысли. Она молчит. Неужто она думает, что этот вопрос может остаться без ответа?

— Я спрашиваю тебя: ты из-за этого отказала Шагерстрему? Ты надеешься, что я стану настоятелем или епископом?

Тут лицо ее вспыхнуло. Ага, кровь Левеншельдов взыграла в ней! Но она все еще не достаивала его ответом.

Однако он должен получить ответ. Должен!

— Разве ты не слышишь? Я спрашиваю тебя: ты затем отказала Шагерстрему, что надеешься, что я стану настоятелем собора или епископом?

Она вскинула голову, глаза ее сверкнули. Тонем глубочайшего презрения она бросила:

— Разумеется.

Он вскочил. Он не мог долее сидеть рядом с нею. Ответ ее причинил ему нестерпимую боль, но он не желал обнаруживать ее перед подобным созданием. Однако ему не хотелось бы впоследствии упрекать себя в горячности. Он сделал еще одну попытку кротко и ласково поговорить с этой заблудшей душой.

— Милая Шарлотта, я безмерно благодарен тебе за твое прямодушие. Теперь я понял, что положение в свете для тебя важнее всего. Беспорочная жизнь, стремление следовать по стопам учителя нашего Иисуса — все это не имеет в твоих глазах никакой цены.

Слова спокойные, дружелюбные. Он напряженно ждал ее ответа.

— Милый Карл-Артур, по-моему, я вполне способна оценить твои достоинства, хотя и не падаю перед тобой ниц, как дамы в нашем приходе.

Ответ ее показался ему явной дерзостью. Скрытая досада прорвалась наружу.

Шарлотта поднялась, чтобы уйти. Но он схватил ее за руку и удержал. Этот разговор должно довести до конца.

Слова Шарлотты о женщинах из прихода навели его на мысль о фру Сундлер. Он вспомнил ее рассказ, и гнев вспыхнул в нем с новой силой. Внутри у него все кипело.

Волнение отворило дверь в его душе, ведущую в сокровищницу, где гроздьями висели страстные, убедительные слова.

Он заговорил горячо и красноречиво. Он укорял ее в пристрастии к мирскому, в гордыне и тщеславии.

Но Шарлотта больше не слушала его.

— Как бы дурна я ни была, — мягко напомнила она, — я все-таки отказала сегодня Шагерстрему.

Он содрогнулся перед ее бесстыдством.

— Боже, что это за женщина! — вскричал он. — Ведь только что она созналась, что отказала Шагерстрему лишь оттого, что сочла более лестным быть замужем за епископом, нежели за владельцем завода.

Между тем в душе его зазвучал негромкий успокаивающий голос. Он призывал его поостеречься. Разве Карлу-Артуру не известно, что Шарлотта принадлежит к тому сорту людей, которые не снисходят до того, чтобы оправдываться? Она и не подумает разуверять того, кто дурно о ней судит.

Но Карл-Артур отмахнулся от этого негромкого успокаивающего голоса. Он не верил ему. Каждое произнесенное Шарлоттой слово обнаруживало все новые глубины ее низости. Вы послушайте только, что она говорит!

— Милый Карл-Артур, не принимай всерьез моих слов о том, что тебя ждет большое будущее. Это была всего-навсего шутка. Я, разумеется, не верю в то, что ты можешь стать настоятелем собора или епископом.

Он уже был достаточно оскорблен и взбешен, и теперь этот новый выпад окончательно заглушил успокаивающий голос в его душе.

Кровь зашумела у него в ушах. Руки задрожали. Эта несчастная лишила его самообладания. Она довела его до безумия.

Он сознавал, что мечется перед нею взад и вперед. Он сознавал, что голос его срывается на крик. Он сознавал, что размахивает руками и что подбородок у него дрожит. Но он и не делал попыток совладать с собою. Его отвращение к ней было неопишимо. Оно не могло быть выражено словами, оно должно было проявиться в жестах.

— Мне открылась теперь вся глубина твоей низости! — вскричал он. — Теперь я понял, какова ты. Никогда, никогда, никогда не женюсь я на такой, как ты! Это было бы моей гибелью!

— Кто в чем я все же была тебе полезна, — сказала она. — Ведь это меня ты должен благодарить за то, что стал магистром.

С той минуты, как она это произнесла, он почувствовал, что отвечает ей не по своей воле. Не то чтобы он не сознавал или не был согласен со своими словами, но они вырывались у него внезапно и неожиданно, будто кто-то другой вкладывал их ему в уста.

— Вот как! — воскликнул он. — Теперь она хочет напомнить мне, что ждала меня пять лет и что, следовательно, я обязан жениться на ней. Но это не поможет. Я женюсь лишь на той, кого сам Бог изберет для меня.

— Не говори о Боге! — произнесла она.

Карл-Артур запрокинул голову и обратил взгляд к небу, точно читая в нем ответ.

— Да, да, пусть Бог изберет мне невесту. Первая незамужняя женщина, которая повстречается мне на дороге, станет мне женой!

Шарлотта вскрикнула. Она подбежала к нему.

— Но, Карл-Артур, послушай, Карл-Артур! — сказала она и попыталась схватить его за руку.

— Прочь от меня! — закричал он.

Но она не понимала еще всей силы его гнева. Она обняла его.

Он вдруг услышал, как вопль омерзения вырвался из его груди. Он схватил ее за руки и швырнул на дерновую скамью.

Затем он помчался прочь и скрылся у нее из глаз.

## ДАЛЕКАРЛИЙКА [98]

Когда Карл-Артур впервые увидел пасторскую усадьбу в Корсчюрке, расположенную близ проезжей дороги, обсаженную высокими липами, окруженную зеленой оградой с внушительными столбами ворот и белой калиткой, между балясинами которой можно было разглядеть двор с круглой цветочной клумбой посередине, посыпанные гравием дорожки, продолговатый красный дом в два этажа, обращенный фасадом к дороге, и два одинаковых флигеля по обе его стороны, справа для пастора-адьюнкта, слева для арендатора, — он сказал себе, что именно так должна выглядеть усадьба шведского священника: приветливо, мирно и вместе с тем респектабельно.

И с той поры всякий раз, когда Карл-Артур окидывал взором свежестриженные газоны, тщательно ухоженные цветники с ровными, симметричными рядами цветов, нарядно подчищенные дорожки, заботливо подрезанный дикий виноград, вьющийся вокруг низкого крыльца, длинные шторы на окнах, ниспадающие красивыми ровными складками, — все это неизменно вызывало у него все то же впечатление благополучия и достоинства. Он чувствовал, что всякий, кто живет в такой усадьбе, непременно должен вести себя благоразумно и мирно.

Никогда прежде не могло бы ему прийти в голову, что именно он, Карл-Артур Экенстедт, в шляпе, съехавшей набок, устремится однажды к белой калитке, беспорядочно размахивая руками и выпуская короткие дикие возгласы. Затворив за собой калитку, он разразился безумным хохотом. Он, казалось, чувствовал, что дом и цветочные клумбы с изумлением смотрят ему вслед.

«Видели вы что-нибудь подобное? Что за странная фигура?» — шептались друг с другом цветы.

Удивлялись деревья, удивлялись газоны, удивлялась вся усадьба. Он, казалось, слышал, как они громко выражают свое удивление.

Может ли быть, чтобы сын очаровательной полковницы Экенстедт, самой просвещенной женщины в Вермланде, которая сочиняет шуточные стихи не хуже самой фру Леннгрен, — может ли

быть, чтобы он бежал из пасторского сада, точно из гнездилища зла и порока?

Может ли быть, чтобы тихий, благонравный, отрочески юный пастор-адьюнкт, который говорит столь прекрасные, цветистые проповеди, выбежал за ворота усадьбы с красными пятнами на щеках, с искаженным от возбуждения лицом?

Может ли быть, чтобы священнослужитель из пасторской усадьбы в Корсчюрке, где живало не одно поколение благомыслящих и достойных служителей божьих, стоял за калиткой, в твердом намерении выйти на дорогу и посвататься к первой же встреченной им незамужней женщине?

Может ли быть, чтобы молодой Экенстедт, получивший столь утонченное воспитание и выросший среди людей благородных, готов был сделать своей женой, подругой всей своей жизни, первую встречную?

Да знает ли он, что ему может повстречаться сплетница или бездельница, дура безмозглая или скряга, Улла-грязнуля или Озе-оса?

Да знает ли он, что пускается в самый опасный путь в своей жизни?

Карл-Артур постоял несколько мгновений у калитки, прислушиваясь к изумленному шелесту, который прошел от дерева к дереву, от цветка к цветку.

Да, он знал, что путь этот опасен и чреват последствиями. Но он знал также, что нынешним летом возлюбил земную жизнь больше, нежели Бога. Он знал, что союз с Шарлоттой Левеншельд был бы пагубен для его души, и хотел воздвигнуть между ею и собой стену, которую она никогда не смогла бы разрушить.

И он почувствовал, что в тот миг, когда он вырвал из своего сердца любовь к Шарлотте, оно снова открылось для любви к Богу. Он хотел показать Спасителю, что любит его превыше всего на свете и уповает на него беспредельно. Оттого-то и хотел он, чтобы Христос сам выбрал ему жену. Он хотел показать, сколь безмерно доверие, которое он питает к Богу.

Он стоял у калитки, глядя на дорогу, и не чувствовал страха, но он знал, что в эту минуту выказывает величайшее мужество, какое только доступно человеку. Он обнаруживал его тем, что всецело передал свою судьбу в руки божьи.

Прежде чем отойти от калитки, он прочитал «Отче наш». И во время молитвы он почувствовал, как в нем все стихло. Он снова обрел спокойствие. Краска гнева сошла с его лица, подбородок больше не дрожал.

Однако, когда он зашагал по дороге к деревне — а он должен был это сделать, если желал повстречать людей, — опасения все еще мучили его.

Дойдя до конца пасторской усадьбы, он внезапно остановился. Жалкий, малодушный человек, живший в его душе, остановил его. Он вспомнил, что час назад, возвращаясь из деревни, повстречал на этом самом месте глухую нищенку Карин Юхансдоттер в изорванной шали, заплатанной юбке и с большой сумой на спине. Она, правда, когда-то была замужем, но теперь уже много лет вдовела и, стало быть, могла вступить в брак.

Мысль о том, что именно она может попасться ему навстречу, остановила его.

Но он посмеялся над жалким, малодушным грешником, жившим в его душе, который возомнил, будто способен отвлечь его от задуманного, и продолжал свой путь.

Несколько секунд спустя за его спиной послышался стук экипажа. Сразу же вслед за тем мимо него проехала двуколка, запряженная великолепным рысаком.

В коляске сидел один из самых могущественных и надменных горнозаводчиков здешнего края, старик, который владел столь многими рудниками и заводами, что почитался таким же богачом, как Шагерстрем. Рядом с ним сидела его дочь, и если бы они ехали с другой стороны, молодой пастор, в согласии со своим обетом, принужден был бы сделать могущественному богачу знак остановиться, чтобы попросить руки его дочери.

Нелегко предвидеть, каков был бы исход этого сватовства. Вполне мыслимо, что он получил бы удар кнутом по лицу. Горнозаводчик Арон Монссон привык выдавать своих дочерей за графов и баронов, а не за бедных пасторов.

И снова ощутил страх тот, прежний, грешный и малодушный человек, живший в его душе. Он убеждал его повернуть назад, он говорил, что затея слишком рискованная.

Но вновь рожденный мужественный человек божий, который теперь также жил в нем, возвысил свой ликующий голос. Он был рад тому, что путь этот опасен. Он был рад, что может показать, сколь велики его вера и упование.

Справа от дороги высился довольно крутой песчаный бугор, склоны которого поросли молодыми сосенками, низкорослыми березами и кустами черемухи. Среди густых зарослей кто-то разгуливал, напевая песню. Карл-Артур не мог видеть поющего, но голос был ему хорошо знаком. Он принадлежал беспутной дочери содержателя постоянного двора, которая вешалась на шею всем парням подряд. Она была совсем близко от него. В любую минуту ей могло взбрести в голову свернуть на проезжую дорогу.

Невольно Карл-Артур постарался идти потише, чтобы шаги его не были слышны поющей девушке. Он даже оглядывался по сторонам, ища какой-либо возможности избежать встречи.

По другую сторону дороги раскинулся луг, и на нем паслось стадо коров. Но коровы были не одни, их доила женщина, которую он также узнал. Это была рослая, как мужик, скотница пасторского арендатора, у которой было трое пригульных детей. Все его существо содрогнулось от ужаса, но, шепча молитву, он продолжал свой путь.

Дочка содержателя постоянного двора напевала в рощице, а рослая скотница кончила доить коров и собралась идти домой. Но ни та ни другая не вышли на дорогу. Он не встретил их, хотя видел и слышал их.

Жалкий, грешный человек в его душе приступил к нему с новой выдумкой. Он говорил, что Бог, верно, показал ему этих двух гулящих женщин не для того, чтобы испытать его веру и мужество, а для того, чтобы предостеречь его. Может, он хотел показать ему все безрассудство и дерзость его поступка.

Но Карл-Артур заглушил в своей душе голос этого колеблющегося, слабого грешника и продолжал идти вперед. Неужто он свернет с дороги из-за такой малости? Неужто он доверяет собственному малодушию больше, нежели всемогущему богу?

Наконец на дороге показалась женщина, которая шла прямо ему навстречу. Разминуться с ней он не мог.

Хотя она находилась еще довольно далеко от него, он разглядел, что это Элин Матса-торпаря, у которой было багровое родимое пятно



через всю щеку. На мгновение он замер на месте. Мало того, что бедняжка была устрашающе безобразна. Она была, можно сказать, беднее всех в приходе, без отца и матери и с десятью беспомощными братишками и сестренками.

Он бывал в их убогой хижине, полной оборванных, грязных ребятишек, которых сестра тщетно пыталась накормить и одеть.

Он почувствовал, как холодный пот выступил у него на лбу, во, сжав руки, продолжал свой путь.

— Все это ради нее. Ради того, чтобы я мог помочь ей, — бормотал он.

Они быстро приближались друг к другу.

Он обрекал себя на истинное мученичество, но не хотел ни от чего уклоняться на этом пути. К этой бедной девушке он не питал того отвращения, какое вызывали в нем скотница и дочка содержателя постоянного двора. О ней он слышал только хорошее.

Меж ними оставалось уже не более двух шагов, но тут она свернула с дороги. Кто-то окликнул ее из лесной чащи, и она быстро исчезла в зарослях кустарника.

Лишь когда Элин Матса-торпаря вышла, таким образом, из игры, он почувствовал, какая невероятная тяжесть спала у него с плеч. Окрыленный, он зашагал вперед с высоко поднятой головой и преисполненный гордости, точно ему удалось пройти по воде и тем доказать силу своей веры.

— Бог со мной, — произнес он. — Он сопровождает меня на этом пути, он простер надо мною свою десницу.

Эта уверенность возвысила его и наполнила блаженством.

«Скоро появится настоящая, — подумал он. — Бог испытывал меня и увидел, что я не шучу. Я не уклонюсь с пути. Моя избранница уже близко».

Минуту спустя он миновал короткий отрезок дороги, отделяющей пасторскую усадьбу от деревни, и собрался уже свернуть на деревенскую улицу, как вдруг дверь одного из домов отворилась и из него вышла молодая девушка. Она миновала небольшой палисадник, который был разбит перед этим домом, так же как перед всеми другими жилищами в деревне, и вышла на дорогу прямо навстречу Карлу-Артуру.

Она появилась так внезапно, что, когда он заметил ее, между ними оставалось не более нескольких шагов. Он остановился как вкопанный и подумал: «Вот она! Не говорил ли я? Я чувствовал, что она вот-вот выйдет мне навстречу».

Затем он сложил руки и возблагодарил Бога за его великую и всеблагую милость.

Девушка, повстречавшаяся ему, была не из местных. Она жила в одном из северных приходов Далекарлии и занималась торговлей вразнос. По обычаю своего края, она была одета в красное и зеленое, в белое и черное, и в Корсчюрке, где старинная народная одежда давно уже вышла из обихода, она выделялась ярким цветком. Впрочем, сама она была еще краше, чем ее одежда. Волосы ее вились вокруг красивого и довольно высокого лба, и черты лица отличались благородством. Но наибольшее впечатление производили ее глубокие печальные глаза и густые черные брови. Нельзя было не признать, что они до того хороши, что могли бы украсить какое угодно лицо. Вдобавок она была высокая и статная, не слишком тонка, но хорошо сложена. В том, что она девушка крепкая и здоровая, можно было убедиться с первого взгляда. Она несла на спине большой черный кожаный мешок, полный товара, но, несмотря на это, шла не сгибаясь и двигалась так легко, будто вовсе не ощущала никакой тяжести.

Что до Карла-Артура, то он был прямо-таки ослеплен. Он говорил себе, что это само лето вышло ему навстречу. То самое жаркое, цветущее, яркое лето, какое выдалось в нынешнем году.

Если бы он мог изобразить его на картине, оно выглядело бы именно так.

Впрочем, если это и было лето, то не такое, которого следовало опасаться. Напротив. Сам Бог пожелал, чтобы он привлек его к своему сердцу и радовался его красоте.

Опасаться ему было нечего. Эта его невеста, хоть она была и красивой и статной, явилась из отдаленной горной местности, из нищеты и убожества. Ей неведомы соблазны богатства и привязанность к земным благам, которые побуждают жителей долины забывать Творца ради сотворенного им. Она, эта дочь нищеты, не колеблясь соединит свою судьбу с человеком, который хотел бы остаться на всю жизнь бедняком. Поистине неизреченна мудрость божья. Бог знал, что ему требуется. Одним лишь мановением руки он

поставил на его пути женщину, которая была ему под пару больше всякой другой.

Молодой пастор был так поглощен своими мыслями, что не делал ни единого движения, чтобы приблизиться к красивой далекарлийке. Она же, заметив, что он пожирает ее взглядом, невольно рассмеялась.

— Ты уставился на меня, будто повстречал медведя.

И Карл-Артур тоже рассмеялся. Удивительно, до чего легко вдруг стало у него на сердце.

— Нет, — ответил он. — Вовсе не медведя думал я повстречать.

— Тогда, верно, лесовицу. Сказывают, как завидит ее человек, так до того одурееет, что и с места стронуться не может.

Она рассмеялась, обнажив ряд прекрасных, сверкающих зубов, и хотела пройти мимо. Но он поспешно остановил ее:

— Не уходи! Мне надо потолковать с тобой. Сядем здесь, у дороги!

Она удивленно поглядела на него, но подумала, что он, верно, хочет купить у нее кой-какие товары.

— Не развязывать же мне мешок посередь дороги!

Но тут лицо ее озарила догадка.

— Да ты никак здешний пастор! То-то я гляжу, будто видела тебя вчера в церкви; ты там проповедь говорил.

Карл-Артур безмерно обрадовался тому, что она слышала его проповедь и знала, кто он такой.

— Да, разумеется, это я говорил проповедь. Но я, видишь ли, всего-навсего помощник пастора.

— Так ведь живешь-то ты все одно в пасторской усадьбе? Я в аккурат туда иду. Приходи на кухню и покупай хоть весь мешок разом.

Она надеялась, что теперь-то он пойдет восвояси, но он не двигался с места, преграждая ей дорогу.

— Я не собираюсь покупать твой товар, — сказал он. — Я хочу спросить тебя, не пойдешь ли за меня замуж?

Он выговорил эти слова напряженным голосом. Он чувствовал сильное волнение. Ему казалось, что весь окружающий мир — птицы, шелестящая листва деревьев, пасущееся стадо — сознает всю торжественность происходящего, и все вокруг затихло в ожидании ответа молодой девушки.

Она быстро обернулась к нему, словно желая удостовериться, что он не шутит, но, впрочем, оставалась вполне равнодушной.

— Мы можем встретиться тут, на дороге, ввечеру, в десятом часу, — сказала она. — А теперь мне недосуг.

Она направилась к пасторской усадьбе, и он не удерживал ее долее. Он знал, что она вернется, и знал, что она ответит согласием. Разве не была она невестой, избранной для него Богом?

Сам он не расположен был возвращаться домой и садиться за работу. Он свернул к пригорку, который огибала проселочная дорога. Забравшись поглубже в заросли, чтобы никто не мог его увидеть, он бросился на землю.

Какое счастье! Какое неслыханное счастье! Каких опасностей он избежал! Сколько чудес произошло сегодня!

Он разом покончил со всеми своими затруднениями. Шарлотта Левеншельд никогда не сможет сделать его рабом мамоны. Отныне он будет жить согласно своим склонностям. Простая бедная крестьянка, жена не станет препятствовать ему идти по стопам Иисуса. Ему представлялась маленькая, скромная хижина. Ему представлялась тихая, благостная жизнь. Ему представлялась полная гармония между его учением и его образом жизни.

Карл-Артур долго лежал, устремив взгляд на переплетение ветвей, сквозь которые пытались проникнуть солнечные лучи. Он чувствовал, как новая, счастливая любовь, подобно этим лучам, пытается проникнуть в его наболевшее, истерзанное сердце.

## УТРЕННИЙ КОФЕ

### I

Есть некая особа, в чьей власти было бы все уладить, если бы только она захотела. Но не слишком ли многого требуем мы от той, которая из года в год питала свое сердце одними лишь желаниями?

Ибо то, что желания человеческие могут влиять на миропорядок, доказать трудно. Но в том, что человек может совладать с собою, обуздать свою волю и усыпить совесть, никто сомневаться не станет.

Весь понедельник фру Сундлер казнилась тем, что своими необдуманноими словами о Шарлотте отпугнула от себя Карла-Артура. Подумать только, он был здесь, вод ее крышей, он говорил с ней столь доверительно, он был таким милым, каким она не представляла себе его в самых пылких мечтах, а она по своему недомыслию больно уязвила его, и он сказал, что не желает ее больше видеть.

Она злилась на себя и на весь мир, и когда ее муж, органист Сундлер, попросил ее пойти с ним в церковь и спеть несколько псалмов, как они обычно делали летними вечерами, она отказала ему столь резко, что бедняга бросился вон из дома и нашел прибежище в трактире постоялого двора.

Это еще больше удручало ее, потому что она хотела бы быть безупречной и в глазах окружающих и в своих собственных глазах. Она ведь знала, что органист Сундлер женился на ней только потому, что был без ума от ее голоса и желал всякий день слушать ее пение. И она всегда честно платила долг, ибо помнила, что лишь благодаря ему у нее был теперь собственный уютный домик, и она избавлена была от участи бедной гувернантки, вынужденной зарабатывать себе на пропитание. Но сегодня она не в силах была выполнить его просьбу. Если бы нынче вечером ее голос зазвучал в божьем храме, то с уст ее слетали бы не благолепные и кроткие слова, но стенания и богохульства.

Впрочем, к ее великой и неопикуемой радости, вечером, часу в девятом, Карл-Артур снова явился к ней. Он вошел весело и

непринужденно и спросил, не даст ли она ему поужинать. На лице ее, должно быть, отразилось удивление, и тогда он объяснил, что весь день спал в лесу. Он, должно быть, был крайне утомлен, потому что проспал не только обед, но и ужин, который в пасторской усадьбе подается на стол ровно в восемь. Быть может, в доме фру Сундлер найдется немного хлеба и масла, чтобы он мог утолить ужасный голод?

Фру Сундлер не даром была дочерью такой превосходной хозяйки, как Мальвина Спаак. Никто не мог бы сказать, что у нее в доме нет порядка. Она тотчас же принесла из кладовой не только хлеб и масло, но также яйца, ветчину и молоко.

От радости, что Карл-Артур возвратился и попросил у нее помощи как у старинного друга его семейства, она вновь воспрянула духом и решила заговорить о том, сколь глубоко удручена она тем, что высказала ему нынче нечто порочащее Шарлотту. Уж не подумал ли он, будто она хочет посеять рознь между ним и его невестой? Нет, она, разумеется, понимает, что поприще учителя также весьма благородное призвание, но ничего не может с собою поделать. Она всякий день молит бога о том, чтобы магистр Экенстедт остался пастором в их деревне. Ведь в здешнем захолустье так редко выпадает случай послушать настоящего проповедника.

Разумеется, Карл-Артур ответил ей, что если кому и следует просить прощения, то скорее ему самому. Да ей и незачем раскаиваться в своих словах. Он знает теперь, что само провидение вложило их в ее уста. Они пошли ему на пользу, они послужили его прозрению.

Слово за слово, и Карл-Артур рассказал ей обо всем, что с ним произошло после того, как они расстались.

Он был так упоен счастьем и так полон восхищения великим милосердием божьим, что ему невольно было молчать. Он должен был рассказать обо всем хоть одной живой душе. Какое счастье, что эта Тея Сундлер, которая еще раньше через свою мать была посвящена во все обстоятельства их семейства, вдруг оказалась на его пути.

Но, услышав о расторгнутой помолвке и о новом сватовстве, фру Сундлер должна была понять, что все это может обернуться большой бедой. Она должна была бы понять, что Шарлотта лишь с досады и из упрямства отвечала утвердительно на вопрос жениха о ее пристрастии

к епископскому сану. Она должна была бы понять, что этот союз с далекарлийкой еще не столь прочен и его можно было бы расстроить.

Но если вы долгие годы мечтали о том, чтобы каким-нибудь образом сблизиться с пленительным юношей, стать его другом и наперсницей — нет, нет, упаси боже, никем другим, — то достанет ли у вас духу говорить с ним рассудительно, когда он впервые открывает вам свое сердце?

Можно ли было требовать от Теи Сундлер чего-нибудь иного, кроме глубочайшего восхищения, сочувствия и признания, что решение Карла-Артура выйти на проезжую дорогу в поисках невесты было поистине героическим!

Можно ли было требовать, чтобы она попыталась обелить Шарлотту? Чтобы она, к примеру, напомнила ему о том, что у Шарлотты, которая превосходно умеет улаживать чужие дела, никогда не хватало ума позаботиться о своих интересах? Нет, этого от нее едва ли можно было ожидать.

Может статься, Карл-Артур отнюдь не был столь уверен в себе, как хотел показать. Нескольких отрезвляющих слов было бы довольно, чтобы поколебать его. Откровенно высказанное опасение, быть может, побудило бы его отказаться от этой новой помолвки. Но фру Сундлер не сделала ничего, чтобы поколебать или предостеречь Карла-Артура, она сочла всю эту историю восхитительной.

Вообразите только, он всецело поручил себя Богу! Вообразите только, он вырвал возлюбленную из своего сердца, чтобы ничто не препятствовало ему идти по стопам Христа!

И кто знает? Быть может, фру Сундлер была вполне искренней? Она была романтиком с головы до ног, на столе у нее в гостиной всегда можно было увидеть книги Альмквиста<sup>[99]</sup> и Стагнелиуса.<sup>[100]</sup> А теперь наконец такое необыкновенное приключение! Наконец в ее жизни появился кто-то, кого она могла боготворить.

Лишь одно обстоятельство смущало фру Сундлер в рассказе Карла-Артура. Чем объяснить, что Шарлотта отказала Шагерстрему? Коль скоро она так падка до мирских благ, как утверждает Карл-Артур, а этого фру Сундлер отнюдь не желала оспаривать, то зачем она тогда отказала Шагерстрему? Какая выгода была ей отказывать Шагерстрему?

И вдруг фру Сундлер осенила догадка. Она поняла Шарлотту. Та вела большую игру, но Тея Сундлер раскусила ее.

Шарлотта тотчас же раскаялась в том, что отказала Шагерстрему, и пожелала стать свободной для того, чтобы впоследствии дать богатому заводовладельцу иной ответ.

Оттого-то она и затеяла ссору с Карлом-Артуром и до такой степени вывела его из себя, что он сам порвал с ней. Вот в чем разгадка. Только так и можно было все это объяснить.

Своей догадкой фру Сундлер поделилась с Карлом-Артуром, но он отказался ей верить. Она объясняла ему и доказывала, а он все не хотел верить этому. Но и она не сдавалась и даже осмелилась возражать ему.

Когда часы пробили десять и подошло время свидания с далекарлийкой, они все еще продолжали спор. Фру Сундлер преуспела лишь в том, что, может быть, вселила некоторые сомнения в Карла-Артура. Сама же она оставалась тверда в своем убеждении. Она клялась и божилась, что на следующий день, или по крайней мере в один из ближайших дней, Шарлотта обручится с Шагерстремом.

Да, вот как все обернулось. Тея Сундлер ничего не уладила; напротив, она вновь разожгла гнев в душе Карла-Артура. Впрочем, ничего иного от нее, пожалуй, и ожидать не следовало.

Но есть ведь и другая женщина, та, которая хотела бы помочь Карлу-Артуру, которая хотела бы все уладить, — есть ведь Шарлотта! Да, разумеется, но что она может сделать именно теперь, когда Карл-Артур вырвал ее из своего сердца, точно сорную траву? Она встала между ним и его Богом. Она больше не существует для него.

Но даже если бы он и захотел выслушать ее, можно ли надеяться, что Шарлотта сумеет найти нужные слова? Можно ли ожидать, что у нее, юного, горячего существа, достанет ума отбросить свою гордость и сказать те кроткие, ласковые примирительные слова, которые помогут ей спасти возлюбленного?

## II

На следующее утро, направляясь, как обычно, из своего флигеля в пасторский дом к утреннему кофе, Карл-Артур то и дело



останавливался, чтобы насладиться утренней свежестью, полюбоваться бархатистым отливом росистых газонов и пышной красочностью левкоев, прислушаться к радостному гудению собирающих мед пчел. С отрадой почувствовал он, что лишь теперь, после того как он освободился от мирских соблазнов, он может всецело ощутить великолепие природы.

Войдя в столовую, он с удивлением увидел, что Шарлотта встречает его, как обычно. Его умиление сменилось легкой досадой. Он полагал, что отныне свободен, что борьба завершена. Шарлотта же, напротив, как будто не понимала, что разрыв между ними решен окончательно и бесповоротно. Не желая быть откровенно неучтивым, он коротко поздоровался с нею, но сделал вид, что не заметил ее протянутой руки, и прошел прямо к столу.

Ему казалось, что он ясно дал ей понять, что она может не докучать ему долее своим присутствием. Но Шарлотта, как видно, не желала ничего понимать и не уходила из столовой.

Хотя он старался не поднимать головы, чтобы не встречаться с ней глазами, но при одном взгляде, случайно брошенном на нее, все же успел заметить, что лицо Шарлотты землистого оттенка, а глаза обведены красными кругами. Весь вид ее свидетельствовал о том, что она провела ночь без сна, терзаясь горем и, быть может, даже раскаянием.

Ну и что же! Ведь и он не спал в эту ночь. С десяти до двух он сидел на лесном пригорке, беседуя с невестой, которую Бог избрал для него. Правда, обычный предрассветный ливень разлучил их и принудил его вернуться домой, но душа его была переполнена счастьем новой любви, и он не пожелал отдать сну эти сладостные часы. Он сел за письменный стол, чтобы написать родителям обо всем, что произошло, и, таким образом, еще раз пережить блаженство минувших часов. И все-таки он был уверен, что по его виду никто не смог бы сказать, что он не сомкнул глаз в эту ночь. Он был свеж и бодр, как никогда.

Его стесняло то, что Шарлотта хлопочет вокруг него как ни в чем не бывало. Она придвинула поближе к нему сливочник и корзинку с сухарями, подошла к оконцу, ведущему в буфетную, и вернулась к столу с горячим кофе.

Наливая кофе в его чашку, Шарлотта спросила спокойно и непринужденно, точно речь шла о чем-то самом обычном и будничном:

— Ну, каковы твои успехи?

Ему не хотелось отвечать. Отблеск святости все еще лежал на этой летней ночи, проведенной им в обществе молодой далекарлийки. Время он употребил не на любовные излияния, а на то, чтобы объяснить ей, как он хочет устроить свою жизнь по заветам божьим.

Она молча слушала, робко и с запинкой отвечала на его вопросы, застенчиво соглашалась с ним, и это вселило в него уверенность, в которой он нуждался. Но как может Шарлотта понять блаженство и покой, которые охватили его при этом?

— Бог помог мне, — это было единственное, что он наконец нашелся ответить. Эти слова прозвучали в ту минуту, когда Шарлотта наливала кофе себе в чашку. Ответ Карла-Артура, казалось, испугал ее. Она, должно быть, сперва истолковала его молчание так, что план его не удался. Она быстро опустилась на стул, точно ноги отказались держать ее.

— Господи помилуй, Карл-Артур, уж не натворил ли ты глупостей?

— Разве ты, Шарлотта, не слышала, что я сказал вчера, когда мы расстались?

— Ну, разумеется, слышала. Но, милый ты мой, не могла же я принять твои слова всерьез. Я думала, ты просто хочешь припугнуть меня.

— Так знай же, Шарлотта: раз я говорю, что поручаю себя Богу, то это не пустые слова.

Шарлотта помолчала немного. Она положила себе сахару, налила сливок, разломилла один из твердых ржаных сухариков. Он решил, что ей нужно время, чтобы прийти в себя.

Он, со своей стороны, был удивлен волнением Шарлотты. Он вспомнил слова фру Сундлер о том, что Шарлотта желала разрыва и сама вызвала его. Но, право же, тут его новая подруга ошибается. Ясно, что у Шарлотты и в мыслях не было обручаться с Шагерстремом.

— Так ты, стало быть, выбежал на дорогу и посватался к первой встречной? — спросила Шарлотта все тем же спокойным тоном, каким

начала разговор.

— Да, Шарлотта, я хотел, чтобы Бог за меня выбрал.

— И, разумеется, влип, как кур в ощи́п?

В этом непочтительном восклицании он узнал прежнюю Шарлотту и не смог отказать себе в удовольствии дать ей достойную отповедь.

— Ну, разумеется, — сказал он. — Упование на Бога всегда казалось непростительной глупостью в глазах Шарлотты.

Рука ее чуть задрожала, ложечка звякнула о чашку. Но Шарлотта не поддавалась гневному чувству.

— Нет, нет, — сказала она. — Не будем снова затевать ссору, как вчера.

— Тут, я полагаю, ты, Шарлотта, права. Тем более что я никогда еще не был так счастлив.

Это было, пожалуй, чересчур жестоко, но он ощущал непреодолимое желание дать ей понять, что он примирился с Богом и что душа его обрела мир и покой.

— Вот как, ты счастлив! — произнесла Шарлотта.

Трудно сказать, что скрывалось за этими словами. Горечь и боль или просто насмешливое удивление?

— Путь открыт передо мною. Теперь ничто больше не препятствует мне жить по заветам божьим. Бог послал мне истинную подругу.

Карл-Артур несколько нарочито подчеркивал свое счастье. Но его тревожило спокойствие Шарлотты. Она, казалось, все еще не понимает, насколько это серьезно; не понимает, что дело решено навсегда.

— Что ж, тебе, выходит, повезло больше, нежели я думала, — промолвила Шарлотта самым будничным тоном. — Однако не могу ничего сказать, пока не узнаю, с кем ты обручился.

— Ее зовут Анна Сверд, — сказал он, — Анна Сверд.

Он готов был без конца повторять это имя. Чары летней ночи, пленительная сила новой любви опять ожили в нем при звуке этого имени, скрашивая тягостные впечатления нынешних минут.

— Анна Сверд, — повторила Шарлотта, но совсем иным тоном. — Я знаю ее?

— Думаю, что ты ее видела, Шарлотта. Она из Далекарлии.

На лице Шарлотты было все то же беспомощно-вопросительное выражение.

— Тебе незачем перебирать в уме своих образованных подруг. Это простая, бедная девушка, Шарлотта.

— Как! Неужели... — Она выкрикнула эти слова с таким волнением, что он невольно взглянул на нее. На ее подвижном лице отобразился испуг.

— Неужели это... та самая далекарлийка, что была вчера у нас на кухне!.. Боже милостивый! Карл-Артур, я, кажется, припоминаю: кто-то говорил, что ее зовут Анна Сверд.

Испуг ее был непритворным, в этом сомневаться не приходилось. Но оттого он не стал менее оскорбительным. С чего это Шарлотта вздумала опекать его? И какое непонимание! Послушала бы она вчера Тею Сундлер!

Он торопливо сунул в чашку еще один сухарик. Ему хотелось поскорее окончить завтрак, чтобы избежать причитаний, которые сейчас последуют.

Но странно, никаких причитаний он не услышал. Шарлотта лишь повернулась на стуле так, чтобы он не мог видеть ее лица. Она сидела совершенно неподвижно, но он чувствовал, что она плачет.

Он встал, чтобы уйти, хотя далеко еще не был сыт. Так вот, значит, как она это приняла. Право же, невозможно согласиться с предположением фру Сундлер о том, что Шарлотта сама желала разрыва. Нельзя не поверить, что она глубоко страдает из-за расторгнутой помолвки. И так как это страдание слегка бередило его совесть, ему вовсе не хотелось быть его свидетелем.

— Нет, не уходи! — попросила Шарлотта, не оборачиваясь. — Не уходи! Мы должны продолжить разговор. Это так ужасно. Этого нельзя допустить.

— Сожалею, что ты, Шарлотта, столь близко принимаешь это к сердцу. Но уверяю, что мы с тобой не созданы друг для друга.

При этих словах она вскочила со стула. Теперь она стояла перед ним, гордо вскинув голову. Она гневно топнула ногой.

— Думаешь, я плачу о себе? — спросила она и презрительно смахнула с ресницы слезу. — Думаешь, я убиваюсь оттого, что буду несчастна? Неужто ты не понимаешь, что я плачу о тебе! Ты создан

для великих дел, но все полетит к черту, если ты возьмешь себе такую жену.

— Что за выражение, Шарлотта!

— Я говорю то, что думаю. И хочу решительно дать тебе совет, друг мой. Уж если ты и впрямь вздумал жениться на крестьянке, то возьми по крайней мере местную, из тех, кого ты знаешь. Не женись на коробейнице, которая бродит по дорогам одна, без призора! Ты ведь не ребенок. Должен же ты понимать, что это значит.

Он пытался остановить поток оскорбительных слов, который изливало это ослепленное создание, не желая понять всей сути свершившегося.

— Она невеста, посланная мне Богом, — напомнил он.

— Вовсе нет!

Шарлотта, должно быть, хотела сказать, что это она — невеста, предназначенная ему Богом. Быть может, именно эта мысль вызвала у нее слезы, градом катившиеся по щекам. Сжав кулаки, она пыталась овладеть голосом.

— Подумай о твоих родителях!

Он прервал ее:

— Я не опасюсь за своих родителей. Они истинные христиане и поймут меня.

— Полковница Беата Экенстедт! — воскликнула Шарлотта. — Она поймет? О боже, Карл-Артур, как мало знаешь ты свою мать, если воображаешь, что она когда-нибудь признает далекарлийку своей невесткой. Отец отречется от тебя, он лишит тебя наследства.

Гнев начал овладевать им, хотя до сих пор ему удавалось сохранять спокойствие.

— Не будем говорить о моих родителях, Шарлотта!

Шарлотта, казалось, поняла, что зашла чересчур далеко.

— Ну, хорошо, не будем говорить о твоих родителях! Но поговорим о здешних пасторе и пасторше, и о епископе Карлстадском, и обо всем соборном капитуле. Что, по-твоему, они скажут, когда услышат о том, что священнослужитель выбегает на проезжую дорогу, чтобы посвятаться к первой встречной? А здешние прихожане, которые столь ревностно следят за тем, чтобы священники блюли благопристойность, что скажут они? Быть может, тебе нельзя будет даже остаться здесь. Быть может, ты принужден будешь уехать отсюда.

А что подумают об этом сватовстве остальные священники здешней епархии? Будь уверен, что они, да и весь Вермланд, ужаснутся! Вот увидишь, люди утратят к тебе уважение. Никто не станет ходить в церковь на твои проповеди. Тебя пошлют на север в нищие финские приходы. [\[101\]](#) Ты никогда не получишь повышения. Ты кончишь свои дни помощником пастора.

Она была так увлечена, что могла бы говорить еще долго, но, должно быть, очень скоро заметила, что все ее пылкие увещевания не производят на него ни малейшего впечатления, и разом умолкла.

Он изумлялся самому себе. Право же, он был изумлен. Еще вчера малейшее ее слово имело для него значение. Теперь ему было почти безразлично, что она думает о его поступках.

— Ну что, разве не правду я говорю? — спросила она. — Можешь ты это отрицать?

— Я не намерен обсуждать все это с тобой, Шарлотта, — сказал он несколько высокомерно, ибо чувствовал, что каким-то образом со вчерашнего дня получил превосходство над нею. — Ты, Шарлотта, толкуешь о повышении и благосклонности власть имущих, а я полагаю, что именно они пагубны для священнослужителя. Я держусь того мнения, что жизнь в бедности с простой женой, которая сама печет хлеб и моет полы, освобождает священника от пристрастия к мирскому; именно такая жизнь возвышает и очищает.

Шарлотта ответила не сразу. Обратив взгляд в ее сторону, он увидел, что она стоит, потупив взор, и, выставив ногу, водит по полу носком, точно смущенная девочка.

— Я не хочу быть таким священником, который лишь указывает путь другим, — продолжал Карл-Артур. — Я хочу сам идти этим путем.

Шарлотта все еще стояла молча. Нежный румянец разлился по ее щекам, удивительно кроткая улыбка играла на ее губах. Наконец она произнесла нечто совершенно поразительное:

— Думаешь, я не умею печь хлеб и мыть полы?

Что она хочет этим сказать? Может, она просто шутит?

На лице ее было все то же простодушное выражение юной конфирмантки.

— Я не хочу стоять тебе поперек дороги, Карл-Артур. Ты, ты будешь служить Богу, а я буду служить тебе. Сегодня утром я пришла

сюда, чтобы сказать тебе, что все будет так, как ты пожелаешь. Я сделаю для тебя все — только не гони меня.

Он был так поражен, что шагнул ей навстречу, но тут же остановился, точно опасаясь ловушки.

— Любимый мой, — продолжала она голосом едва слышным, но дрогнувшим от нежности, — ты не знаешь, через какие муки я прошла нынче ночью. Мне нужно было едва не лишиться тебя, чтобы понять, как велика моя любовь.

Он сделал еще шаг ей навстречу. Его испытующие взоры стремились проникнуть ей в душу.

— Ты больше не любишь меня, Карл-Артур? — спросила она и подняла к нему лицо, смертельно бледное от страха.

Он хотел сказать, что вырвал ее из своего сердца, но вдруг почувствовал, что это неправда. Ее слова тронули его. Они снова зажгли в его душе угасшее было пламя.

— А ты не играешь мною? — сказал он.

— Ты же видишь, Карл-Артур, что я говорю серьезно.

От этих слов душа его точно воскресла. Словно костер, в который подкинули топлива, вспыхнула в нем прежняя любовь.

Ночь на лесном пригорке, новая возлюбленная будто окутались туманом и исчезли. Он забыл их, как забывают сон.

— Я уже просил Анну Сверд стать моей женой, — нерешительно пробормотал он.

— Ах, Карл-Артур, ты мог бы все уладить, если бы только захотел. Ведь с нею ты был помолвлен всего лишь одну ночь.

Она произнесла эти слова боязливо и умоляюще.

Его невольно влекло к ней все ближе и ближе. Любовь, которую излучало все ее существо, была сильна и неодолима.

Внезапно она обвила его руками.

— Я ничего, ничего не требую. Только не гони меня от себя.

Он все еще колебался. Он никак не мог поверить, что она совершенно покорилась ему.

— Но тебе придется позволить мне идти своим путем.

— Ты будешь истинным пастырем, Карл-Артур. Ты научишь людей идти по стопам божьим, а я стану помогать тебе в твоих трудах.

Она говорила тоном искреннего, горячего убеждения, и он наконец поверил ей. Он понял, что долгая борьба между ними,

длившаяся целых пять лет, окончена. И он вышел из нее победителем. Он мог теперь отбросить все сомнения.

Он наклонился к ней, чтобы поцелуем скрепить их новый союз, но в эту минуту отворилась дверь, ведущая из прихожей.

Шарлотта стояла лицом к двери.

Бурный испуг вдруг отобразился на ее лице. Карл-Артур быстро обернулся и увидел, что на пороге стоит служанка, держа в руках букет цветов.

— Эти цветы от заводчика из Озерной Дачи, — сказала девушка. — Их принес садовник. Он дожидается в кухне, на случай, ежели барышня пожелает передать благодарность.

— Тут какая-то ошибка, — сказала Шарлотта. — С чего это заводчик из Озерной Дачи станет посылать мне цветы? Ступай, Альма, и верни букет садовнику.

Карл-Артур прислушивался к этому обмену репликами с величайшим вниманием. Этот букет будет как бы проверкой. Сейчас он все узнает.

— Так ведь садовник ясно сказал, что цветы для барышни, — упорствовала служанка, которая никак не могла понять, отчего бы барышне и не взять несколько цветков.

— Ну хорошо, положи их вон туда, — проговорила Шарлотта, указав рукой на стол.

Карл-Артур тяжело перевел дух. Стало быть, она все-таки взяла цветы. Теперь ему все ясно.

Когда девушка вышла и Шарлотта обернулась к Карлу-Артуру, у него больше и в мыслях не было целовать ее. К счастью, предостережение подоспело вовремя.

— Я полагаю, тебе, Шарлотта, не терпится пойти к садовнику, чтобы передать с ним благодарность, — сказал он.

И с учтивым поклоном, в который он вложил всю иронию, на которую только был способен, Карл-Артур покинул комнату.

### III

Шарлотта не бросилась за ним вдогонку. Чувство бессилия охватило ее. Не довольно ли она унижала себя ради того, чтобы спасти



человека, которого любила? И почему в самую решающую минуту должен был появиться этот букет? Неужто бог не желает, чтобы Карл-Артур был спасен?

С глазами, полными слез, Шарлотта подошла к свежему, в сверкающих каплях росы, букету и, почти не сознавая, что делает, принялась рвать цветы на мелкие кусочки.

Она не успела еще окончательно уничтожить их, как служанка явилась к ней с еще одним поручением. Она подала небольшой конверт, надписанный рукою Карла-Артура.

Когда Шарлотта вскрыла конверт, из ее дрожащих пальцев выпало на пол золотое кольцо. Она не стала поднимать его, а принялась читать строки, торопливо набросанные Карлом-Артуром на клочке бумаги:

«Некая особа, с которой я виделся вчера вечером и которой я в доверительной беседе рассказал о своих обстоятельствах, уверяла меня, что ты, Шарлотта, вероятно, тотчас же раскаялась в своем отказе Шагерстрему и с умыслом вывела меня из равновесия, дабы я расторг вашу помолвку. В этом случае ты, Шарлотта, могла бы в другой раз оказать Шагерстрему более дружелюбный прием. Тогда я не поверил ей, но только что уверился в правоте ее слов и потому возвращаю тебе кольцо. Я полагаю, что ты еще вчера дала знать Шагерстрему о том, что ваша помолвка расстроилась. Я полагаю, что, поскольку Шагерстрем замешкался с ответом, ты забеспокоилась и решила примириться со мной. Я полагаю, что букет был условным знаком. Если бы это было не так, ты при данных обстоятельствах ни в коем случае не могла бы принять его».

Шарлотта много раз перечла письмо, но ничего не могла уразуметь. «Некая особа, с которой я виделся вчера вечером...»

— Я ничего не понимаю, — беспомощно произнесла она и снова принялась читать: — «Некая особа, с которой я виделся вчера... Некая особа, с которой я виделся...»

В тот же миг ей показалось, будто что-то скользкое и коварное, что-то похожее на большую змею обвилось вокруг ее тела и готово задушить ее.

Это была змея злобной клеветы, которая оплела ее и долго не отпускала.

## САХАРНИЦА

Пять лет назад, когда Карл-Артур Экенстедт только что появился в Корсчюрке, он был необычайно ревностным пиетистом. На Шарлотту он смотрел как на заблудшее мирское дитя и едва ли желал обменяться с ней хотя бы словом.

Это, разумеется, выводило ее из себя, и она в душе поклялась, что он не замедлит раскаяться в своем небрежении к ней.

Вскоре она заметила, сколь несведущ Карл-Артур во всем, что касается пасторских обязанностей, и вызвалась помочь ему. Вначале он дичился и отказывался от помощи, но затем стал проявлять больше признательности и обращался к ней за советом даже чаще, чем ей того хотелось.

Он обыкновенно совершал дальние прогулки, чтобы навестить бедных стариков и старух, которые жили в убогих лачугах далеко в лесах, и всегда просил Шарлотту сопровождать его. Он уверял, что она куда лучше него умеет обходиться с этими стариками, подбадривать их и утешать в маленьких горестях.

Вот эти-то прогулки вдвоем и привели к тому, что Шарлотта полюбила Карла-Артура. Прежде она всегда мечтала о том, что выйдет замуж за статного и бравого офицера, но теперь была без памяти влюблена в скромного и деликатного молодого пастора, который не способен был обидеть и мухи и с губ которого никогда не срывалось ни одно бранное слово.

Некоторое время они безмятежно продолжали свои прогулки и беседы, но в начале июля в пасторскую усадьбу приехала в гости Жакетта Экенстедт, сестра Карла-Артура. В приезде ее не было ничего необычного. Пасторша Форсиус из Корсчюрки была добрым и старинным другом полковницы Экенстедт, и вполне естественно, что она пригласила сестру Карла-Артура погостить несколько недель у себя в усадьбе.

Жакетту Экенстедт поместили в комнате Шарлотты, и девушки чрезвычайно сдружились. Жакетта в особенности до такой степени полюбила свою новую подругу, что казалось, будто она приехала в Корсчюрку не столько ради брата, сколько ради нее.

После того как Жакетта уехала домой, пасторша Форсиус получила от полковницы письмо, которое дала прочесть и Шарлотте. В нем полковница приглашала Шарлотту приехать в Карлстад, чтобы повидаться с Жакеттой. Полковница писала, что Жакетта не устает рассказывать о молодой очаровательной девушке, с которой она познакомилась в доме пастора. Она просто без ума от нее и описывает ее столь восторженно, что возбудила любопытство своей дорогой матушки, которая также пожелала увидеть ее.

Полковница писала, что она, со своей стороны, в особенности интересуется Шарлоттой, поскольку та тоже из Левеншельдов. Девушка, разумеется, принадлежит к младшей ветви, которая никогда не удостаивалась баронского титула, но род их также восходит к старому генералу из Хедебю, так что между ними есть некоторая родственная связь.

Прочитав письмо, Шарлотта заявила, что она не поедет. Она была не так проста и тотчас поняла, что сперва пасторша, а затем Жакетта известили полковницу о ее отношениях с Карлом-Артуром, и теперь ее хотят отправить в Карлстад, чтобы полковница смогла сама увидеть ее и решить, будет ли она достойной невесткой.

Но пасторша и прежде всего Карл-Артур убедили ее поехать. К тому времени Шарлотта и Карл-Артур были уже тайно помолвлены, и он сказал, что будет ей вечно признателен, если она исполнит желание его матери. Он ведь сделался пастором против воли родителей, и хотя не могло быть и речи о разрыве помолвки, как бы там они ни судили о Шарлотте, он не хотел бы причинять им новых огорчений. А в том, что они полюбят ее сразу, как только увидят, он ничуть не сомневался. Он никогда не встречал девушки, которая лучше Шарлотты умела бы обходиться с пожилыми людьми. Оттого-то он и привязался к ней столь сильно, что увидел, как добра она была к чете Форсиус и к другим старикам. Если только она поедет в Карлстад, все обойдется наилучшим образом.

Он долго упрашивал и убеждал Шарлотту и наконец добился ее согласия принять приглашение.

До Карлстада был целый день пути, и поскольку Шарлотте не пристало путешествовать одной, то пасторша позаботилась, чтобы ее взяли в карету заводчика Мубергера, который отправлялся с женой в город на свадьбу. С бесчисленными напутствиями и наставлениями

пасторша проводила Шарлотту в дорогу, и та обещала вести себя благоразумно.

Но сидеть весь день в закрытой карете на узкой задней скамье и смотреть на супругов Мубергер, которые спали каждый в своем углу, было, пожалуй, далеко не лучшей подготовкой к визиту в Карлстад.

Фру Мубергер боялась сквозняков и позволяла открывать окна лишь с одной стороны, а подчас запрещала даже это. Чем удушливее и теплее был воздух в карете, тем лучше ей спалось. Вначале Шарлотта попыталась завязать беседу со своими попутчиками, но супругов Мубергер утомили предотъездные хлопоты, и теперь они желали покоя.

Шарлотта, сама не замечая того, все постукивала и постукивала своими маленькими ножками о пол кареты. Но вдруг фру Мубергер проснулась и спросила, не будет ли Шарлотта столь добра вести себя потише.

На постоянных дворах супруги Мубергер открывали мешок с провизией, ели сами и, разумеется, не забывали потчевать Шарлотту. Они были очень добры к ней всю дорогу, но все-таки то, что им удалось довести ее до Карлстада, было поистине чудом.

Чем дольше она сидела, изнемогая от духоты, тем больше впадала в уныние. Она предприняла эту поездку ради Карла-Артура, но подчас ей начинало казаться, что вся ее любовь испарилась, и она не могла понять, чего ради ей вздумалось отправиться в Карлстад на смотрины. Не раз она подумывала о том, чтобы открыть дверцу кареты, выпрыгнуть и убежать обратно домой. Она продолжала сидеть только оттого, что чувствовала себя разбитой и ослабевшей и не в силах была тронуться с места.

Подъезжая к дому Экенстедтов, она менее всего расположена была к тому, чтобы вести себя тихо и благонаравно. Ей хотелось закричать, пуститься в пляс, разбить что-нибудь. Это вернуло бы ей хорошее самочувствие и душевное равновесие. Жакетта Экенстедт встретила ее радостно и приветливо, но при виде ее Шарлотта почувствовала, что сама она одета дурно и не по моде, а главное, у нее было что-то неладно с башмаками. Они были сшиты перед самым отъездом, и деревенский башмачник вложил в них все свое умение, но они сильно стучали на ходу и пахли кожей.

Жакетта вела ее в будуар полковницы через ряд роскошных комнат, и при виде паркетных полов, огромных зеркал, красивых панно над дверями Шарлотта окончательно пала духом. Ей стало ясно, что в этом доме она не может быть желанной невесткой. Ее приезд сюда — непростительная глупость.

Когда Шарлотта вошла к полковнице, ее впечатление, что она села не в свои сани, ни в коей мере не уменьшилось. Полковница сидела у окна в качалке и читала французский роман. Увидев Шарлотту, она произнесла несколько слов по-французски. Должно быть, мысли ее еще не оторвались от книги, и она сделала это невольно. Шарлотта поняла все, но ее рассердило, что эта светская дама словно бы желает выведать ее познания в языках, и она ответила ей на самом что ни есть простом вермландском наречии.

Она говорила не на том языке, который принят в Вермланде среди господ и который весьма легко понять, но прибегла к наречию простонародья и крестьян, а это уж нечто совсем иное.

Изящная дама чуть приподняла брови, явно забавляясь, а Шарлотта продолжала обнаруживать свои поразительные познания в этом вермландском наречии. Раз ей нельзя закричать, пуститься в пляс, разбить что-нибудь, она утешится тем, что будет говорить по-вермландски. Игра все равно проиграна, но она по крайней мере покажет этим образованным господам, что не желает казаться лучше, чем она есть, им в угоду.

Шарлотта приехала поздно, когда в доме уже отужинали, и полковница велела Жакетте отвести свою подругу в обеденную залу и распорядиться, чтобы ей дали поесть.

Так закончился этот вечер.

На другой день было воскресенье, и тотчас же после завтрака нужно было идти в собор слушать проповедь настоятеля Шеборга. Служба длилась добрых два с половиною часа, а потом полковник с полковницей, Жакетта и Шарлотта довольно долго прогуливалась по Карлстадской площади. Они встречали множество знакомых, и некоторые из этих господ подходили к ним. Но они шли рядом с полковницей и беседовали исключительно с нею, а Жакетту и Шарлотту не удостоивали ни взглядом, ни словом.

После прогулки Шарлотта вместе со всеми вернулась в дом Экенстедтов, чтобы присутствовать на семейном обеде в обществе

настоятеля собора и советника с женами, братьев Стаке, Евы Экенстедт с ее поручиком.

За обедом полковница вела с настоятелем и советником умную, просвещенную беседу. Ева и Жакетта не раскрывали рта, и Шарлотта также молчала, ибо поняла, что в этом доме не принято, чтобы молодежь вмешивалась в разговор. Но в течение всего обеда она томилась желанием очутиться где-нибудь подальше отсюда. Она, можно сказать, подстерегала случай показать родителям Карла-Артура, что она, по ее разумению, нисколько не годится им в невестки. Она заметила, что вермландского диалекта оказалось недостаточно, и решила прибегнуть к более сильному и действенному средству.

После такой поездки, и такой проповеди, и такой прогулки, и такого обеда ей непременно нужно было дать им понять, что она не хочет больше оставаться здесь.

Одна из превосходных, вышколенных служанок, прислуживавших за столом, обносила всех блюдом малины, и Шарлотта, как и все другие, положила себе на тарелку ягод. Затем она протянула руку к сахарнице, стоявшей поблизости, и принялась посыпать малину сахаром.

Шарлотта не подозревала, что взяла сахару больше, чем следовало, но вдруг Жакетта торопливо шепнула ей на ухо:

— Не сыпь так много сахару! Матушка этого не любит.

Шарлотта знала, что многие пожилые люди считают непозволительной роскошью сластить кушанья. Дома в Корсчюрке она не могла взять и ложечки сахара без того, чтобы не выслушать замечания от пастора. Так что она ничуть не была этим удивлена. Но в то же время она увидела случай дать волю злomu духу противоречия, который вселился в нее с той поры, как она выехала из дома. Она поглубже запустила ложечку в сахарницу и так густо посыпала малину, что тарелка ее сделалась похожа на снежный сугроб.

За столом воцарилась необычайная тишина. Все понимали, что добром это не кончится. Полковница не замедлила вмешаться и вскользь обронила:

— У вас в Корсчюрке, должно быть, изрядно кислая малина. У нас здесь она вполне съедобная. Едва ли стоит еще сахарить ее.

Но Шарлотта продолжала сыпать сахар. Про себя она думала: «Если я не остановлюсь, то потеряю Карла-Артура и навеки разрушу

свое счастье. Но все равно я буду сыпать».

Полковница слегка пожала плечами и повернулась к настоятелю, чтобы продолжить беседу. Видно было, что ей не хочется прибегать к крутым мерам. Но полковник решил прийти жене на помощь.

— Вы решительно испортите вкус ягод, милая фрекен Шарлотта.

Едва он произнес эти слова, как Шарлотта отложила ложечку в сторону. Она взяла сахарницу обеими руками и высыпала все ее содержимое к себе в тарелку.

Затем она поставила сахарницу на стол и вложила в нее ложечку. Она выпрямилась на стуле и с вызовом оглядела общество, готовая принять бурю на себя.

— Жакетта, — сказал полковник, — будь добра, уведи свою подругу к себе в комнату!

Но полковница протестующе подняла руку.

— Нет, нет, ни в коем случае! — сказала она. — Не таким способом!..

Некоторое время она сидела молча, словно обдумывая, что ей сказать. Затем в ее милых глазах мелькнула лукавая искорка, и она заговорила. Но обратилась она не к Шарлотте, а к настоятелю собора.

— Быть может, вы, кузен, слышали историю о том, как моя тетка Клементина выходила замуж за графа Кронфельта? Отцы их встретились на риксдаге в Стокгольме и сговорились об этом браке, но когда между ними было все решено, молодой граф заявил, что хочет хотя бы взглянуть на свою суженую, прежде чем давать окончательный ответ. Тетка Клементина находилась дома, в Хедебю, и поскольку ее внезапный отъезд в Стокгольм мог бы вызвать разные толки, решено было, что граф отправится в приход Бру и поглядит на нее в церкви. Разумеется, кузен, тетка моя была вовсе не против выйти замуж за молодого, красивого графа, но она узнала о том, что он придет в церковь посмотреть на нее, и ей пришлось не по вкусу быть выставленной напоказ. Охотнее всего она в то воскресенье вовсе не пошла бы в церковь, но в прежние времена и речи не могло быть о том, чтобы дети воспротивились воле родителей. Ей велено было принарядиться как можно лучше, отправиться в церковь и сесть на скамью Левеншельдов, чтобы граф Кронфельт и один из его друзей могли рассмотреть ее. И знаете, кузен, что она сделала? Как только звонарь запел псалом, она тоже стала петь громким голосом, но



страшно фальшиво. И так пела она псалом за псалмом, покуда не кончилась служба. А когда она вышла на паперть, здесь ее уже поджидал граф Кронфельт. Он поклонился ей и сказал:

«Покорнейше прошу простить меня. Теперь я понимаю, что девушка из рода Левеншельдов не может допустить, чтобы ее выставляли напоказ, точно лошадь на ярмарке».

С этими словами он удалился, но вскоре приехал снова и свел знакомство с Клементиной в ее поместье Хедебю. И они поженились и жили счастливо. Быть может, вы, кузен, слышали когда-либо эту историю?

— О да, разумеется; но не столь искусно рассказанную, — отозвался настоятель, который ничего не понял.

Но Шарлотта поняла все. Она сидела, трепеща от ожидания и не спуская глаз с рассказчицы. Полковница взглянула на нее, слегка улыбнулась и снова обратилась к настоятелю:

— Как видите, кузен, сегодня за столом с нами сидит молодая девушка. Она приехала сюда для того, чтобы я и мой муж рассмотрели ее и решили, годится ли она в жены Карлу-Артуру. Но девушка эта, кузен, истинная Левеншельд, и ей не по вкусу быть выставленной напоказ. И уверяю вас, кузен, с той самой минуты, когда она вчера вечером вошла в этот дом, она пыталась петь фальшиво, совсем как моя тетка Клементина. И сейчас я, кузен, поступаю так же, как граф Кронфельт. Я покорнейше прошу простить меня и говорю: я понимаю, что девушка из рода Левеншельдов не может допустить, чтобы ее выставляли напоказ, точно лошадь на ярмарке.

С этими словами она поднялась и простерла руки к Шарлотте, и та, кинувшись ей на шею, целовала ее и плакала от счастья, восторга и благодарности.

С этого часа она полюбила свою свекровь чуть ли не больше, нежели самого Карла-Артура. Ради нее, ради того, чтобы осуществились ее мечты, убедила она Карла-Артура вернуться в Упсалу и продолжать свои занятия. Ради нее хотела она этим летом принудить его сделаться учителем гимназии, дабы он мог занять более видное положение, а не оставаться всю жизнь бедным сельским священником.

Ради нее обуздала она нынче утром свою гордость и унизилась перед Карлом-Артуром.

## ПИСЬМО

Шарлотта Левеншельд сидела у себя наверху и писала письмо своей свекрови, или, вернее сказать, той, кого она до сего дня считала своей свекровью, — полковнице Экенстедт.

Она писала долго, заполняя страницу за страницей. Она писала единственному человеку в мире, который всегда понимал ее; писала, чтобы объяснить то, что намерена была сделать.

Сначала она описала сватовство Шагерстрема и все, что за ним последовало. Она изложила разговор в саду, не пытаясь оправдать себя. Она признавала, что в сердцах раздражила Карла-Артура, но уверяла, что у нее и в мыслях не было порывать с ним.

Далее она описала утренний разговор и невероятное признание Карла-Артура о том, что он обручился с далекарлийкой. Она рассказала, как пыталась вернуть его и ей это удалось бы, но все пошло прахом из-за злосчастного букета.

Далее писала она о той безумной записке, которую прислал ей Карл-Артур, уведомляла о решении, которое она приняла по этому поводу, и надеялась, что свекровь поймет ее, как понимала всегда, с того самого дня, когда они впервые встретились.

У нее нет выбора. Некая особа — она покуда еще не знает кто, но полагает, что это одна из женщин здешнего прихода — оклеветала ее и обвинила в коварстве, двоедушии и корыстолюбии. Это не должно остаться безнаказанным.

Но поскольку она, Шарлотта, всего лишь бедная девушка, которая ест чужой хлеб, поскольку у нее нет ни отца, ни брата, которые могли бы заступиться за нее, она сама вынуждена расправиться с обидчицей.

И она вполне способна защитить себя. Она ведь не из тех заурядных, безответных женщин, которые умеют управляться лишь с иглой да метлой. Она умеет и зарядить ружье и выстрелить из него, и не она ли прошлой осенью во время охоты сразила наповал самого крупного лося?

Уж чего-чего, а отваги ей не занимать стать. Ведь это она однажды на ярмарке влепила затрещину негодяю, который жестоко обращался со своей лошадью. Она ждала, что он вот-вот выхватит нож и всадит в нее, но все равно ударила его.

Быть может, полковница вспомнит, как однажды она, Шарлотта, всю свою судьбу поставила на карту, уведя из конюшни без спросу любимых лошадей пастора, чтобы участвовать в скачках наравне с деревенскими парнями на второй день Рождества. Немногие отважились бы на такую затею.

Ведь это она нажила себе врага в лице мерзкого капитана Хаммарберга, отказавшись сесть с ним рядом на званом обеде. Она не могла принудить себя в течение всего обеда беседовать с человеком, который незадолго до этого разорил за карточным столом своего друга и довел его до самоубийства. Но если она отваживалась на такие поступки из-за того, что вовсе ее не касалось, то уж, верно, не станет колебаться, когда дело идет о ней самой.

Она чувствует, что мерзавка, которая очернила ее в глазах Карла-Артура, должно быть, до такой степени гнусна, что отравляет воздух, которым дышит; она, верно, сеет рознь всюду, где бы ни появлялась, и речи ее жалят, точно змеиный укус. Тот, кто избавит людей от эдакого чудовища, сослужит им великую службу.

Прочтя записку Карла-Артура и уразумев ее содержание, она тотчас поняла, что ей следует делать. Она хотела тут же подняться в комнату за ружьем. Оно было заряжено. Ей оставалось только снять его со стены и перекинуть через плечо.

Никто в доме не остановил бы ее. Она кликнула бы собаку и сделала бы вид, что направляется к озеру поглядеть, не подросли ли уже утята. Но отойдя подальше от усадьбы, она свернула бы к деревне, ибо именно там, без сомнения, живет особа, которая влила яду в уши Карлу-Артуру.

Она намеревалась остановиться перед домом, где живет особа, и вызвать ее на улицу. Как только та появилась бы на пороге, она прицелилась бы ей в самое сердце и сразила бы ее наповал.

Знай она виновную, возмездие уже свершилось бы, но она вынуждена ждать, пока не выяснит этого наверняка. В первые минуты она готова была сделать то же, что и Карл-Артур, то есть просто-напросто выйти с ружьем на дорогу, в надежде, что бог пошлет виновную ей навстречу. Но затем она все же отказалась от этого. Ведь истинная преступница могла бы тогда избежать кары, а этого она не хотела допустить.

Не имело смысла также идти во флигель к Карлу-Артуру и спрашивать его, с кем он говорил вчера вечером. О нет, он не так прост, он не дал бы ей ответа.

И вот она решила прибегнуть к хитрости. Она прикинется спокойной; спокойной и невозмутимой. Таким путем она скорее выведает тайну.

Она тотчас же попыталась взять себя в руки. Сгоряча она изорвала букет Шагерстрема, но теперь собрала лепестки роз и выбросила их в мусорный ящик. Она принудила себя отыскать упавшее на пол обручальное кольцо, которое вернул ей Карл-Артур.

Затем она поднялась в свою комнату и, увидев, что на часах всего половина восьмого и у нее есть в запасе время до встречи с Карлом-Артуром за завтраком, села писать своей дорогой свекрови.

Когда это письмо дойдет до Карлстада, все уже будет кончено. Она тверда в своем решении. Но она рада отсрочке, позволившей ей объяснить все единственному человеку, чьим мнением она дорожит, и сказать о том, что сердце ее навсегда и неизменно принадлежит ее другу и матери, которую она любит больше всех на свете.

Письмо было готово, и Шарлотта стала перечитывать его. Да, оно было написано ясно и толково. Она надеялась, что полковница поймет, что она, Шарлотта, невиновна, что она оклеветана, что она вправе мстить.

Но, перечитав письмо, Шарлотта обратила внимание на то, что, желая доказать собственную невинность, она изобразила поступки Карла-Артура в весьма неприглядном свете.

Снова и снова перечитывая письмо, Шарлотта все больше приходила в смятение. Подумать только, что это такое она написала! А если полковник и полковница рассердятся на Карла-Артура!

Совсем недавно она предостерегала его от родительского гнева, а теперь сама же подстрекает их против него!

Она вздумала возвысить себя за его счет. Она, дескать, поступила и великодушно и рассудительно, а о нем говорит так, точно он ума лишился!

И такое письмо она намеревалась отослать его матери. Она, которая любит его!

Право же, она, должно быть, вовсе лишилась рассудка. Неужто она способна причинить своей обожаемой свекрови столько горя? Или

она забыла о снисходительности, которую полковница всегда выказывала ей, начиная с самой первой их встречи? Или она забыла всю ее доброту?

Шарлотта разорвала это пространное письмо пополам и села писать новое. Она примет вину на себя. Она выгородит Карла-Артура.

И она поступит всего лишь так, как должно. Карл-Артур рожден для великих дел, и ей следует радоваться тому, что она ограждает его от всякого зла.

Он отказался от нее, но она любит его по-прежнему и готова, как прежде, оберегать его и помогать ему во всем.

Она принялась за новое письмо.

«Умоляю мою досточтимую свекровь не думать обо мне слишком дурно...»

Но тут она запнулась. Что ей писать дальше? Лгать она никогда не умела, а смягчить горькую правду было нелегко.

Пока она раздумывала, что ей написать, прозвонили к завтраку. Времени на раздумья больше не было.

Тогда Шарлотта просто поставила свою подпись под этой единственной строчкой, сложила письмо и запечатала его. Она спустилась вниз, положила письмо в почтовый ящик и направилась в столовую.

Тут же она подумала, что ей больше незачем доискиваться, кто эта особа. Если она хочет, чтобы полковница поверила ей, если она и впрямь готова принять вину на себя, ей не следует подвергать каре никого другого.

## В ЗАОБЛАЧНЫХ ВЫСЯХ

### I

Завтрак в пасторском доме, за которым обычно ели свежие яйца и хлеб с маслом, молочный суп с аппетитными пенками и запивали все это глоточком кофе с восхитительными сдобными крендельками, вкуснее которых не нашлось бы во всем приходе, обычно проходил гораздо веселее, чем обед и ужин. Старики пастор и пасторша, только что вставшие с постели, были радостны, как семнадцатилетние. Ночной отдых освежал их, и старческой усталости, которая давала себя знать к концу дня, точно и не бывало. Они обменивались шутками с молодежью и друг с другом.

Но, разумеется, в это утро о шутках не могло быть и речи. Молодежь была в немилости. Шарлотта крайне огорчила вчера стариков своим ответом Шагерстрему, а молодой пастор обидел их тем, что не явился ни к обеду, ни к ужину, не предупредив их об этом заранее.

Когда Шарлотта вбежала в столовую, все остальные уже сидели за столом. Она хотела было занять свое место, но ее остановило строгое восклицание пасторши:

— И ты собираешься сесть за стол с такими руками?

Шарлотта взглянула на свои пальцы, которые и впрямь были донельзя измараны чернилами после усердного писания.

— Ах, и впрямь! — смеясь, воскликнула она. — Вы, тетушка, совершенно правы. Простите! Простите!

Она выбежала из комнаты и вскоре вернулась с чистыми руками, не выказав ни малейшего недовольства выговором, который к тому же был сделан в присутствии жениха.

Пасторша посмотрела на нее с легким удивлением.

«Что это с ней? — подумала старушка. — То она шипит, как уж, то воркует, как голубка. Поди разбери эту нынешнюю молодежь!»

Карл-Артур поспешил принести извинения за свое вчерашнее отсутствие. Он вчера вышел прогуляться, но во время прогулки

почувствовал усталость и лег отдохнуть на лесном пригорке. Незаметно для себя он уснул и, пробудившись, обнаружил, к величайшему своему удивлению, что проспал и обед и ужин.

Пасторша, обрадованная тем, что Карл-Артур догадался объяснить свое отсутствие, благосклонно заметила:

— Незачем было стесняться, Карл-Артур. Уж во всяком случае, кое-что можно было бы собрать тебе доест, хотя сами мы и отужинали.

— Вы слишком добры, тетушка Регина.

— Ну что ж, теперь тебе придется есть за двоих, чтобы наверстать упущенное.

— Должен вам заметить, добрейшая тетушка, что я вовсе не страдал от голода. По дороге я зашел к органисту, и фру Сундлер дала мне поужинать.

Чуть слышное восклицание раздалось с того места, где сидела Шарлотта. Карл-Артур бросил на нее быстрый взгляд и по уши залился краской. Ему не следовало упоминать имени фру Сундлер. Сейчас Шарлотта, должно быть, вскочит, закричит, что теперь она знает, кто оклеветал ее, и поднимет страшный скандал.

Но Шарлотта не шевельнулась. Лицо ее оставалось безмятежно спокойным. Если бы Карл-Артур не знал, сколько коварства таится за этим ясным белым челом, он сказал бы, что вся она лучилась каким-то внутренним светом.

Между тем не было ничего удивительного в том, что Шарлотта изумляла своих сотрапезников. С ней и впрямь происходило что-то необычное.

Впрочем, едва ли следует называть ее состояние необычным. Многие из нас, должно быть, переживают нечто подобное, когда нам после долгих и тщетных усилий удается наконец выполнить тяжкий долг или добровольно обречь себя на лишения. Более чем вероятно, что мы в это время пребываем в глубочайшем унынии. Ни воодушевление, ни даже сознание того, что мы поступили разумно и справедливо, не приходят к нам на помощь. Мы убеждены, что наше самопожертвование принесет нам лишь новые беды и страдания. Но вдруг, совершенно неожиданно, мы чувствуем, как сердце в нас радостно встрепенулось, как оно забилося легко и свободно, и полное удовлетворение охватывает все наше существо. Словно каким-то

чудом поднимаемся мы над нашим будничным, повседневным «я», ощущаем полнейшее равнодушие ко всем неприятностям; более того — мы убеждены, что с этой минуты пойдём по жизни невозмутимо и ничто не в силах будет изгнать из нашей души ту тихую, торжественную радость, которая переполняет нас.

Вот что примерно произошло с Шарлоттой, когда она сидела за завтраком. Горе, гнев, жажда мести, уязвленная гордость, поруганная любовь — все это отступило перед великим восторгом, охватившим ее при мысли о том, что она жертвует собою для любимого.

В эти минуты в душе ее не оставалось места ни для каких других чувств, кроме нежного умиления и сострадательного сочувствия. Все люди казались ей достойными восхищения. Любовь к ним переполняла ее до краев.

Она смотрела на пастора Форсиуса, сухонького старичка с плешивой макушкой, гладко выбритым подбородком, высоким лбом и вострыми глазками. Он походил скорее на университетского профессора, нежели на священника, и он действительно в молодости готовил себя к ученой карьере. Он родился в восемнадцатом веке, когда еще гремела слава Линнея; он посвятил себя изучению естественных наук и был уже профессором ботаники в Лунде, когда его пригласили занять место пастора в Корсчюрке.

В этой общине уже в течение многих поколений пасторами были священнослужители из фамилии Форсиус. Должность эта переходила от отца к сыну как фидеикомис,[\[102\]](#) и поскольку профессор ботаники Петрус Форсиус был последним в роде, то его настоятельно просили и даже принуждали принять на себя заботу о душах, а цветы предоставить их собственной участи.

Все это было известно Шарлотте уже давно, но никогда прежде не понимала она, какой жертвой должен был быть для старика отказ от любимых занятий. Из него, разумеется, вышел превосходный пастор. В жилах его текла кровь столь многих достойных священнослужителей, что он отправлял свою должность с прирожденным умением. Но по многим едва заметным признакам Шарлотте казалось, что он все еще скорбит о том, что не смог остаться на своем месте и всецело отдаться своему истинному призванию. После того как у него появился помощник, семидесятипятилетний старик снова вернулся к любимой ботанике. Он собирал растения,



наклеивал их, приводил в порядок свой гербарий. Он, однако, не забросил и дела в общине. Усерднее всего он пекся о том, чтобы в общине царил мир, чтобы никакие распри не нарушали спокойствия и не ожесточали умов. Он стремился немедля устранить любую причину несогласия. Оттого-то и огорчился он репримандом, который вчера получил от Шарлотты Шагерстрем. Но вчера Шарлотта была иной. Тогда она сочла старика не в меру осторожным и трусливым. Сегодня же она видела все в ином свете.

*А пасторша...*

Шарлотта перевела свой взгляд на старую хозяйку дома. Пасторша была рослой, жилистой и внешность имела совершенно непривлекательную. Волосы, в которых все еще не проглядывала седина, хотя пасторша была почти одних лет с мужем, она расчесывала на прямой пробор, опускала на уши и прятала под черным тюлевым чепцом, скрывавшим добрую половину лица. Шарлотта подозревала, что делалось это не без умысла, ибо хвастать пасторше было нечем. Старушка, наверно, думала, что довольно и того, что людям приходится лицезреть ее глаза, напоминающие две круглых перчинки, курносый нос с вывернутыми ноздрями, брови, походившие на два жалких пучка, широкий рот и острые, выпирающие скулы.

Вид у нее был весьма суровый, но если она и впрямь обходилась строго со своими домочадцами, то всего безжалостнее была она к самой себе. В приходе говаривали, что телу пасторши Форсиус приходится нелегко. Она отнюдь не удовлетворялась просто сидением на диване с вышивкой или вязаньем. Нет, ей требовалась по-настоящему тяжелая работа; тогда лишь она бывала довольна. За всю ее жизнь никто ни разу не заставлял ее за столь бесполезными занятиями, как, скажем, чтение романов или брэнчание на фортепьяно. Шарлотта, которая подчас находила рвение пасторши излишним, в это утро безмерно восхищалась ею. Разве это не прекрасно — никогда не щадить себя и быть неутомимой труженицей вплоть до глубокой старости? Разве это не прекрасно — без усталости наводить в доме чистоту и порядок и не желать от жизни ничего иного, кроме возможности трудиться?

Да к тому же пасторша вовсе не была угрюмой старухой. Как живо чувствовала она все смешное, как мастерски умела рассказывать забавные истории, от которых слушатели хохотали до упаду!

Пасторша продолжала беседовать с Карлом-Артуром о фру Сундлер. Он сказал, что зашел к ней с визитом, так как она была дочерью Мальвины Спаак — старинного друга их семейства.

— Как же, как же! — отозвалась пасторша, которая знала в Вермланде решительно всех, а уж тем более тех, кто понимал толк в домашнем хозяйстве. — Дельная и толковая женщина была эта Мальвина Спаак.

Карл-Артур спросил, не находит ли она, что дочь столь же заслуживает похвалы, как и мать.

— Могу только сказать, что она содержит дом в порядке, — ответила пасторша. — Но боюсь, что она малость с придурью!

— С придурью? — удивленно переспросил Карл-Артур.

— Ну, разумеется, с придурью. Ее здесь никто не любит, и я пробовала как-то раз потолковать с ней. И знаешь, Карл-Артур, что она мне сказала на прощание? Она закатила глаза и сказала: «Если вы, тетушка, увидите когда-нибудь серебряное облако с золотыми краями, то вспомните обо мне!» Вот что она сказала. Что бы это могло значить?

Когда пасторша начала рассказывать об этом, губы ее чуть дрогнули в улыбке. Невозможно было без смеха представить себе, чтобы какое-нибудь здравомыслящее существо вздумало просить ее, Регину Форсиус, глядеть на облака с золотыми краями.

Но пасторша изо всех сил удерживалась от смеха. Она твердо решила сохранить строгость и серьезность в течение всего завтрака. Шарлотта видела, как она отчаянно борется с собою. Борьба была жестокой, но вдруг все лицо старушки пришло в движение. Глаза сузились, ноздри расширились, и смех наконец одолел ее. Черты лица исказились, а тело весело заколыхалось.

И все невольно расхохотались вслед за нею. Удержаться от смеха было невозможно. В сущности, подумала Шарлотта, стоит только увидеть, как пасторша Форсиус смеется, чтобы она тотчас всем полюбилась. Вы уже не замечаете, что она безобразна, и лишь испытываете благодарность к ней за ее заразительную веселость.

После завтрака, когда Карл-Артур покинул столовую, тетушка Регина сказала Шарлотте, что пастор намерен этим утром отправиться с визитом в Озерную Дачу. Хотя девушка по-прежнему находилась все в том же восторженном состоянии, известие это несколько смутило ее. Не подтвердит ли визит пастора к заводчику подозрения Карла-Артура? Но она тотчас же успокоилась. Она ведь теперь пребывала в заоблачных высях, и все, что происходило на земле, так мало, в сущности, для нее значило.

Ровно в половине одиннадцатого к крыльцу была подана поместительная карета. Пастор Форсиус не ездил, разумеется, цугом, но его серые в яблоках норвежские рысаки, чернохвостые и черногривые, его статный кучер, с великолепным достоинством носивший свою черную ливрею, право же, выглядели весьма внушительно. По правде говоря, о пасторском выезде нельзя было сказать ничего худого, разве что лошади были жирноваты. Пастор слишком уж холил их. Вот и сегодня он долго колебался, ехать ли ему на них. Охотнее всего он отправился бы в одноконном экипаже, если бы ему пристало так ездить.

Пасторша и Шарлотта в это утро были званы к одиннадцати часам на кофе к жене аптекаря Гроберга, которая справляла именины, и поскольку дорога в Озерную Дачу проходила мимо деревни, они решили сесть в карету пастора и проехать часть пути. Когда они выехали за ворота усадьбы, Шарлотта обернулась к пастору, точно что-то внезапно пришло ей на ум:

— Сегодня утром, когда вы с тетушкой еще не встали, заводчик Шагерстром прислал мне букет чудесных роз. Если хотите, дядюшка, можете передать господину Шагерстрему мою благодарность.

Легко вообразить себе радость и удивление стариков. У них точно гора с плеч свалилась. Теперь мир в приходе ничем не будет нарушен. Шагерстром, стало быть, вовсе не чувствует себя оскорбленным, хоть у него, бесспорно, есть для этого все основания.

— И ты только сейчас сказала об этом! — воскликнула пасторша. — Удивительная ты все-таки девушка!

Но как бы то ни было, старушка пришла в полный восторг. Она принялась расспрашивать, каким образом букет попал в усадьбу, был ли он красиво составлен, не нашлось ли среди цветов записки, и все прочее в том же духе.

Пастор же лишь кивнул Шарлотте и пообещал передать ее поклон. Плечи его выпрямились. Чувствовалось, что он избавился от большой заботы.

Шарлотта тут же подумала, что, кажется, поступила несколько опрометчиво. Но в это утро ей не терпелось осчастливить всех окружающих в той мере, в какой это от нее зависело. Она чувствовала непреодолимую потребность жертвовать собою ради счастья других.

Доехав до того места, где проезжая дорога сворачивала в сторону от деревенской улицы, карета остановилась, и женщины вышли из нее. Как раз на этом самом месте повстречал вчера Карл-Артур красивую далекарлийку.

Когда Шарлотте случалось ходить в деревню, она всякий раз останавливалась здесь, чтобы полюбоваться чудесным видом. Маленькое озеро, находившееся в самом центре ландшафта, отсюда было видно лучше, нежели из пасторской усадьбы, которая, по правде говоря, расположена была несколько низко. Отсюда же можно было обозреть все берега озера, которые весьма рознились друг от друга. На западной стороне, где находились теперь пасторша и Шарлотта, простирались обширные поля, и край этот был необычайно плодороден, судя по множеству разбросанных здесь деревень. На севере находилась пасторская усадьба, также окруженная ровными, ухоженными полями. Но на северо-востоке начиналась местность, поросшая лиственными лесами. Здесь шумела речка с пенящимся водопадом, а между деревьями проглядывали черные крыши и высокие трубы. То были два больших горных завода, которые еще больше, нежели пашни и леса, способствовали богатству этих мест. На юге взору открывался скудный, необжитый край. Здесь высились холмы, густо одетые лесом. Такой же вид имел и восточный берег. Эта часть озера выглядела бы уныло и однообразно, если бы однажды богатому заводчику не вздумалось выстроить поместье на склоне холма, в самой гуще леса. Белый дом, возвышавшийся над еловыми кронами, отличался необычайной красотой. Искусное расположение парковых деревьев создавало своеобразный оптический обман. Дом казался настоящим неприступным замком с высокими стенами и башнями по бокам. Это поместье было поистине жемчужиной края, и невозможно было бы представить себе эту местность без него.

Шарлотта, которая обреталась теперь в заоблачных высях, не удостоила ни единым взглядом ни озеро, ни великолепное поместье. Зато старая пасторша, обычно не склонная к любованию природой, на этот раз остановилась и огляделась вокруг.

— Постоим минутку! — сказала она. — Полюбуемся на Бергхамру! Вообрази, люди говорят, что Озерная Дача скоро станет еще больше и краше. И знаешь ли, если бы мне сказали, что кое-кто, кого я люблю, живет в таком вот месте, я была бы просто счастлива.

Больше она не сказала ничего, а лишь стояла, покачивая головой и благоговейно сложив свои старые, морщинистые руки.

Шарлотта, отлично понявшая ее намек, не замедлила возразить:

— Ну, разумеется, куда как весело жить в самой гуще леса, где не увидишь ни единой живой души. Уж лучше жить, как мы, у большого почтового тракта.

В ответ на это пасторша, любившая наблюдать за путниками на дороге, лукаво погрозила ей пальцем:

— Ну, ну, ты!

Затем она взяла Шарлотту под руку и зашагала с ней по нарядной деревенской улице, от начала до конца застроенной большими, почти барского вида, домами. Несколько убогих лачуг попало лишь в начале улицы. Домишки бедняков большей частью ютились на поросших лесом склонах и не видны были с улицы. Старинная деревянная церковь с высокой колокольней, шилом торчащей в небе, здание суда, приходский совет, большой, оживленный постоялый двор, дом доктора, особняк судьи, стоящий чуть поодаль от дороги, несколько зажиточных крестьянских дворов и аптека, расположенная в конце улицы и как бы замыкавшая ее, — все это свидетельствовало не только о том, что Корсчюрка была богатой деревней, но также и о том, что здешние жители идут в ногу со временем, что они люди деятельные и отнюдь не отстают от века.

Но пасторша и Шарлотта, мирно шагавшие рука об руку по деревенской улице, в душе благодарили Бога за то, что они не живут в этой деревне. Здесь тебя со всех сторон окружают соседи, и ты носа не можешь высунуть за дверь без того, чтобы все тотчас не увидели этого и не заинтересовались, куда ты идешь. Едва только они появлялись в деревне, их сразу же начинало тянуть назад, в их уединенную усадьбу, где они были сами себе хозяева. Они признавались, что в деревне им

всегда бывает не по себе, и что они лишь тогда чувствуют облегчение, когда окажутся на дороге, ведущей к дому, и завидят издали могучие липы, окружающие пасторскую усадьбу.

Наконец они дошли до двери аптеки. Они, должно быть, немного запоздали. Поднимаясь вверх по скрипучей деревянной лестнице, они услышали над своей головой оживленный разговор, точно гудение пчелиного улья.

— Эх их нынче разобрало! — сказала пасторша. — Послушай только, как они кудахчут. Не иначе, как что-то стряслось.

Шарлотта остановилась посреди лестницы.

Прежде ей ни на минуту не могло прийти в голову, что сватовство Шагерстрема, расторгнутая помолвка и обручение Карла-Артура с далекарлийкой уже у всех на устах. Но теперь она начала опасаться, что именно эти события и обсуждаются у аптекарши столь оживленно и громогласно.

«Должно быть, эта бесценная супруга органиста уже всем насплетничала, — подумала она. — Нечего сказать, хорошую наперсницу завел себе Карл-Артур».

Но ни на минуту не пришла ей в голову мысль о том, чтобы повернуть назад. Отступить перед кучкой сплетниц — об этом не могло быть и речи даже при обычных обстоятельствах, а уж тем более теперь, когда она была совершенно нечувствительна ко всякой хуле.

При виде вновь прибывших гостей дамы, собравшиеся в большой комнате, стихли. Лишь одна старушка, которая горячо объясняла что-то своей соседке, подняв кверху указательный палец, все еще восклицала:

— Ну и ну, сестрица! Чего только не бывает в нынешние времена!

У всех присутствующих был несколько смущенный вид. Они, должно быть, никак не ожидали, что появятся гости из пасторской усадьбы.

Между тем аптекарша радушно поспешила к ним навстречу. Пасторша Форсиус, которая ничего не знала о том, что произошло между Шарлоттой и Карлом-Артуром, чувствовала себя совершенно непринужденно, хотя и заподозрила что-то неладное. Несмотря на то, что пасторше было семьдесят лет, колени у нее сгибались, как у танцовщицы, и она сделала сперва глубокий реверанс всему обществу. Затем она обошла всех дам по очереди и с каждой поздоровалась

отдельно, всякий раз приседая. Шарлотта, которую встретили с худо скрытой неприязнью, шла следом за ней. Ее реверансы были куда менее глубокими, но тягаться в этом с пасторшей было решительно невозможно.

Молодая девушка скоро заметила, что все избегают ее. Когда она, взяв свою чашку кофе, села за стол у окна, никто не подошел к ней и не занял свободного стула напротив. То же самое было, когда дамы отпили кофе и вынули из ридикюлей вышивки и вязанье. Ей пришлось сидеть одной; казалось, никто даже не замечает ее присутствия.

Вокруг нее кучками сидели дамы, склонив друг к другу головы так, что кружева и оборки их больших тюлевых чепцов переплетались между собой. Все понижали голоса, чтобы она их не слышала, но время от времени до нее все же доносились их оживленные восклицания:

— Ну и ну, сестрица! Чего только не бывает в нынешние времена!

Они, стало быть, сообщали друг другу, как она сначала отказала Шагерстрему, но после раскаялась и коварно затеяла ссору с женихом, чтобы тот сгоряча порвал с нею. Ловко придумано, а? Весь позор должен был пасть на него. И никто не мог бы сказать, что она дала отставку неимущему жениху ради того, чтобы сделаться хозяйкой богатого имения. И ей удалось бы осуществить эту хитроумную затею и избежать всеобщего срама, если бы жена органиста не разгадала ее козней.

Шарлотта сидела, молча прислушиваясь к гулу голосов, но встать и начать оправдываться ей и в голову не приходило. Восторженное состояние, в котором она пребывала все утро, достигло высшей точки. Она не чувствовала боли, она парила в заоблачных высях и была недосыгаема ни для чего земного.

Весь этот ядовитый вздор обратился бы против Карла-Артура, если бы она не заслонила его собой. Тогда со всех сторон только и слышно было бы: «Ну и ну, сестрица! Слышали вы, сестрица? Молодой Экенстедт порвал со своей невестой. Ну и ну! Он выбежал на дорогу и посватался к первой встречной. Ну и ну! Как думаете, сестрица, может такой человек оставаться пастором в Корсчюрке? Ну и ну! Что скажет епископ?»

Она рада была, что все это обратилось против нее.

Так сидела Шарлотта в одиночестве, и сердце ее было переполнено радостью. Но в это время к ней подошла бледная и худая маленькая женщина.

Это была ее сестра, Мария-Луиза Левеншельд, которая была замужем за доктором Ромелиусом. У нее было шестеро детей и пьяница муж, она была десятью годами старше Шарлотты, и между сестрами никогда не замечалось особой близости.

Она ни о чем не спросила Шарлотту, просто села напротив нее и принялась вязать детский чулок. Но рот ее был решительно сжат. Видно было, что она знала, что делает, занимая это место за столиком у окна.

Так сидели обе сестры. Время от времени до них доносилось все то же восклицание: «Ну и ну, сестрица!»

Вскоре они заметили, что фру Сундлер под села к пасторше Форсиус и что-то шепчет ей.

— Теперь и тетушка Регина узнает об этом, — сказала сестра Шарлотты.

Шарлотта приподнялась было со стула, но тут же одумалась и села на место.

— Скажи-ка мне, Мария-Луиза, — начала она минуту спустя. — Как там все вышло с этой Мальвиной Спаак? Кажется, речь шла о каком-то пророчестве или предсказании?

— Право, не думаю, что это так. Но я тоже ничего толком не помню. Вроде бы какой-то злой рок преследовал Левеншельдов.

— А ты не могла бы разузнать, в чем было дело?

— Разумеется, у меня где-то должны храниться записи. Во всяком случае, это касается не нас, а Левеншельдов из Хедебю.

— Спасибо! — сказала Шарлотта, и они снова замолчали.

Но вскоре все эти пересуды, казалось, вывели из терпения докторшу Ромелиус. Она наклонилась к Шарлотте.

— Я все понимаю, — шепнула она. — Ты молчишь ради Карла-Артура. Но я-то могла бы рассказать им, как все обстоит на самом деле.

— Ради бога, ни слова! — со страхом воскликнула Шарлотта. — Не все ли равно, что станет со мной? А Карла-Артура ждет большое будущее.



Сестра сразу же поняла ее. Она любила своего мужа, хотя он с первых же дней их супружества принес ей одни несчастья из-за своего пьянства. Однако она все еще не переставала надеяться, что он исправится и станет творить чудеса в своем лекарском искусстве.

Наконец настало время прощаться, и, когда дамы вышли в прихожую, толстуха Тея поспешила помочь пасторше надеть мантилью и завязать ленты на шляпе.

Шарлотта, которая обычно сама помогала одеваться своему старому другу и никому не уступала этого права, стояла, чуть побледнев, но не говоря ни слова. Когда они вышли на улицу, жена органиста поспешила вперед и предложила пасторше руку. Шарлотте же пришлось идти рядом.

Фру Сундлер сегодня, как никогда, испытывала ее терпение, но она знала, что избавится от нее, как только они дойдут до ее дома в начале улицы.

Но когда они дошли до него, фру Сундлер попросила разрешения проводить их до усадьбы. Ей так приятно будет пройтись после долгого сидения в комнате.

Пасторша ничего не возразила, и они продолжали свой путь. Шарлотта и на этот раз смолчала; она лишь чуть ускорила шаги, чтобы опередить пасторшу и Тею и не слышать масляного и нудного голоса жены органиста.

## ШАГЕРСТРЁМ

Возвращаясь с пасторской усадьбы после неудавшегося сватовства, Шагерстрем всю дорогу улыбался. Не будь тут кучера и лакея, он хохотал бы во все горло, настолько забавным казалось ему то, что он, задумавший облагодетельствовать бедную компаньонку, потерпел такой афронт.

— Но она была совершенно права, — бормотал он. — Ей-богу, она была права, черт возьми. И как же я сам не подумал об этом, прежде чем ехать свататься. Впрочем, ей к лицу была эта гневная вспышка, — продолжал он свои размышления. — Тут-то я, во всяком случае, был вознагражден за свои хлопоты. Приятно было увидеть ее столь похорошевшей.

Спустя некоторое время Шагерстрем сказал себе, что хоть он и вел себя в этой истории в высшей степени глупо, но он не жалеет о ней, так как благодаря ей узнал наконец человека, которому ровным счетом наплевать на то, что он первый богач в Корсчюрке. Право же, эта молодая девушка и не подумала заискивать перед ним. Она и виду не подавала, что перед нею миллионер, и обошлась с ним как с самым последним голодранцем.

«Ну и характер у девицы! — подумал он. — Право, я бы не желал, чтобы она думала обо мне дурно. Избави бог, я, разумеется, никогда больше не стану свататься к ней, но мне хотелось бы показать ей, что я вовсе не такой уж болван и вовсе не в обиде на нее за урок, который она преподавала мне».

Весь день он размышлял над тем, как ему загладить свою бесцеремонность, и наконец решил, что придумал нечто подходящее. Но на сей раз он не намерен был действовать очертя голову. Он решил сперва все подготовить и добыть необходимые сведения, чтобы снова не попасть впросак.

К вечеру ему пришло в голову, что не худо бы уже сейчас оказать Шарлотте маленькую любезность. Он рад будет послать ей немного цветов. Если она примет их, то ему легче будет впоследствии быть с ней на дружеской ноге. Он поспешил в сад.

— Мне хотелось бы составить красивый букет, — обратился он к садовнику. — Ну-ка, поглядим, что вы сможете мне предложить?

— Лучшее из того, что у нас есть, — это, пожалуй, красные гвоздики. Можно поместить их посередке, с боков пустить левкои и подбавить немного резеды.

Но Шагерстром сморщил нос.

— Гвоздики, левкои, резеда! — сказал он. — Такие цветы есть в каждой усадьбе. Вы бы еще предложили мне колокольчики или маргаритки!

Подобная же участь постигла и львиный зев, и рыцарские шпоры, и незабудки. Все они были отвергнуты хозяином.

Наконец Шагерстром остановился перед небольшим розовым кустом, полным цветов и бутонов. Особенно хороши были бутоны. Нежные лепестки выступали из чашечки с заостренными краями, напоминавшими крошечные листья.

— Но, господин заводчик, ведь это же роза столлистная! Впервые нынче цветет! Худо она у нас на севере приживается. Другого такого куста вы не сыщете во всем Вермланде!

— Это как раз то, что мне требуется. Я хочу послать букет в пасторскую усадьбу, а ведь вы знаете, что все другие сорта роз у них есть.

— Ах, вон что! — обрадованно сказал садовник. — В пасторскую усадьбу! Это дело иное. Я бы очень хотел, чтобы пастор увидел мои розы столлистные. Он-то знает в этом толк.

Итак, бедные розы были срезаны и посланы в пасторскую усадьбу, где их ожидала столь плачевная участь.

Но зато совершенно иной прием ожидал пастора из Корсчюрки, когда он на следующее утро явился в Озерную Дачу.

Вначале маленький пастор чинился и держался натянуто, но, в сущности, он был человеком прямодушным и простым, как и сам Шагерстром. Оба они тотчас поняли, что церемонии между ними совершенно излишни, и вскоре беседовали запросто и непринужденно, как два старинных друга.

Шагерстром воспользовался случаем, чтобы задать несколько вопросов о Шарлотте. Он осведомился о ее родителях, о ее состоянии, но прежде всего его интересовал жених Шарлотты и его виды на будущее. Ведь помощник пастора не имеет, должно быть, достаточно средств, чтобы жениться? Есть ли у молодого Экенстедта какие-либо надежды на повышение?

Пастор был крайне удивлен его вопросами, но поскольку все то, о чем спрашивал Шагерстром, ни для кого не было секретом, он отвечал ему ясно и прямо.

«Он коммерсант, — думал старик, — и смотрит на все по-деловому. Видно, так принято в нынешние времена».

Наконец Шагерстром пояснил, что он, будучи председателем правления горнозаводчиков, имеет право назначать заводского пастора. Несколько недель тому назад там открылась вакансия. Жалованье, разумеется, не слишком велико, но пасторская усадьба весьма благоустроена, и прежнему обитателю жилось в ней недурно. Не думает ли пастор, что это место могло бы подойти молодому Экенстедту?

Предложение это крайне поразило пастора Форсиуса, но старик был себе на уме и принял его как нечто должное.

Он степенно вытащил табакерку, набил табаком свой огромный нос, утерся шелковым платком и лишь после этого ответил:

— Вы, господин заводчик, не могли найти юношу, более достойного вашего участия.

— Тогда это дело решенное, — сказал Шагерстром.

Пастор спрятал табакерку в карман. Он почувствовал огромное облегчение. Вот так новость привезет он домой! Он нередко с беспокойством думал о будущем Шарлотты. Хотя он весьма высоко ценил своего помощника, но ему не по душе было, что тот и не помышляет о повышении, которое позволило бы ему жениться.

Внезапно добросердечный старик обратился к Шагерстрему:

— Вы, господин заводчик, любите доставлять людям радость. Так не сделайте этого вполонину! Поедьте к нам в пасторскую усадьбу и сами скажите о ваших планах молодым людям. Поедьте, и будьте свидетелем их счастья. Я хотел бы доставить вам эту радость, господин Шагерстром.

Выслушав предложение пастора, Шагерстром улыбнулся. Видно было, что оно ему пришлось по душе.

— Но, быть может, я приеду некстати? — нерешительно проговорил он.

— Некстати!.. Отнюдь! Об этом и речи быть не может! С такой-то вестью и некстати?

Шагерстрем готов был уже ответить согласием, но, внезапно спохватившись, хлопнул себя по лбу:

— Совсем из головы вон! Нет, я не смогу ехать. Сегодня я отправляюсь в дальнюю поездку. Карету подадут к двум часам.

— Да что вы говорите! — воскликнул пастор. — Экая жалость! Но я понимаю. Дело прежде всего.

— Уже и комнаты на постоянных дворах заказаны, — огорченно сказал Шагерстрем.

— А нельзя ли сделать так, чтобы вы, господин заводчик, отправились тотчас со мной в моей карете? Она ведь ждет меня, — сказал пастор. — А ваша карета придет за вами к нам в усадьбу в назначенное время.

На том и порешили. Форсиус и Шагерстрем отправились в Корсчюрку в карете пастора, а Шагерстрем распорядился, чтобы его карета приехала за ним в пасторскую усадьбу, как только будут уложены мешок с провизией и все вещи в дорогу.

По пути в Корсчюрку оба веселились, точно два крестьянина, едущие на ярмарку.

— По мне, так Шарлотта вовсе этого не заслужила, — сказал пастор. — Особенно если вспомнить, как она вчера обошлась с вами, господин заводчик.

Шагерстрем расхохотался.

— А теперь она окажется в весьма щекотливом положении, — продолжал пастор. — Хотел бы я поглядеть, как она из него выпутается. Это, должно быть, забавно будет! Вот увидите, господин заводчик, она выкинет что-нибудь этакое, неожиданное, до чего никто другой вовек бы не додумался. Ха-ха-ха, вот забавно-то будет!

Прибыв в усадьбу, они, к крайней своей досаде, услышали от служанки, что старая госпожа с барышней еще не возвращались с именин. Но пастор, зная, что они вот-вот должны появиться, пригласил Шагерстрема в свою комнату, которая находилась в нижнем этаже. Сегодня у него и в мыслях не было просить его подняться наверх, в гостиную.

Пастор занимал в доме две комнаты. Первая представляла собой служебный кабинет, просторный и холодный. Огромный письменный стол, два стула рядом с ним, длинный кожаный диван и настенная полка с толстыми церковными книгами составляли все ее убранство,

если не считать нескольких больших кактусов на подоконнике. Зато следующую комнату пасторша постаралась обставить как можно уютнее для своего ненаглядного старика.

Пол здесь был устлан домотканым ковром, мебель была красивая и удобная. Здесь стояли мягкие диваны, кресла и письменный стол со множеством ящичков. На стенах висели длинные книжные полки. Кроме того, здесь были многочисленные папки с засушенными цветами и целая коллекция трубок.

Сюда-то и собрался пастор провести Шагерстрема, но, проходя через кабинет, они увидели Карла-Артура, который, сидя за огромной конторкой, заносил в объемистый журнал умерших и новорожденных.

Когда они вошли, Карл-Артур поднялся и был представлен Шагерстрему.

— Ну, сегодня уж господину заводчику не придется уезжать ни с чем, — язвительно сказал он, отвечая на поклон.

Можно ли удивляться тому, что он пришел в неопишное волнение при виде Шагерстрема? Мог ли он не подумать, что все они, пастор, пасторша и Шарлотта, сговорились вернуть жениха, которому столь опрометчиво было отказано? Если у него оставалась еще хоть тень сомнения в бесчестности Шарлотты, то разве появление жениха, привезенного в усадьбу самим пастором, не должно было окончательно убедить его? Разумеется, ему теперь безразлично, за кого пойдет Шарлотта, но в этой поспешности виделось ему нечто неблагородное, нечто бесцеремонное. Омерзительно было наблюдать, как в доме священника из кожи лезут вон, чтобы добыть родственнице богатого мужа.

Старый пастор, который не подозревал о расторжении помолвки, удивленно посмотрел на Карла-Артура. Он не мог уразуметь смысла его слов, но, почувствовав по тону, что Карл-Артур враждебно настроен к Шагерстрему, счел за благо объяснить, что на сей раз заводчик приехал не с целью сватовства.

— Господин заводчик, собственно говоря, приехал к тебе, — сказал он. — Не знаю, имею ли я право выдавать его планы до возвращения Шарлотты, но ты останешься доволен, любезный брат; право же, ты будешь доволен.

Дружелюбный тон не оказал ровно никакого воздействия на Карла-Артура. Он стоял сдержанный и мрачный, без тени улыбки на

лице.

Если господин Шагерстрем имеет что-либо сказать мне, то ему незачем ждать возвращения Шарлотты. У нас с ней нет больше ничего общего.

С этими словами он вытянул вперед левую руку, чтобы пастор и Шагерстрем могли видеть, что на его безымянном пальце нет больше обручального кольца.

У бедного старика от изумления голова пошла кругом.

— Ради бога, любезный брат мой, когда вы это надумали? Неужели за то время, что меня не было дома?

— О, нет, дядюшка. Все было ясно еще вчера. Господин Шагерстрем приезжал свататься в двенадцать часов. Час спустя наша помолвка была расторгнута.

— Расторгнута? — спросил пастор. — Но Шарлотта не сказала ни слова.

— Простите, дядюшка, — сказал Карл-Артур, раздосадованный тем, что старик пытается играть в неведение. — Простите, но я ведь вижу, что дядюшка выполняет роль посланца амура.

Маленький пастор выпрямился. Он сделался разом чопорен и холоден.

— Пойдемте ко мне, — сказал он. — Надо разобраться в этом деле раз и навсегда.

Минуту спустя, когда они разместились, пастор — за письменным столом, Шагерстрем — на диване в глубине комнаты, а Карл-Артур — в качалке у двери, Форсиус обратился к своему помощнику:

— Не стану отрицать, любезный брат, что вчера я посоветовал моей внучатой племяннице принять предложение господина Шагерстрема. Она ждала тебя пять лет. Как-то нынешним летом я спросил тебя, не собираешься ли ты предпринять что-нибудь для ускорения женитьбы, и ты ответил отрицательно. Как ты, быть может, припоминаешь, я тогда же объявил тебе, что сделаю все от меня зависящее, чтобы убедить Шарлотту разорвать ваш союз. У Шарлотты нет ни единого эре, и когда меня не станет, она останется совсем одна, без помощи и защиты. Ты меня знаешь; я вовсе не чувствую угрызений совести оттого, что дал ей такой совет. Но она поступила по своему разумению. И на том дело было кончено, и больше, любезный брат, у нас не было с нею об этом никаких разговоров.

Шагерстром сидел в своем углу, наблюдая за молодым Экенстедтом. Поведение Карла-Артура чем-то коробило его. Молодой пастор сидел, развалиясь, в качалке, покачиваясь взад и вперед, точно хотел показать, что не придает словам старика ни малейшего значения. Он то и дело порывался перебить его, но пастор продолжал свои объяснения.

— Ты скажешь после, любезный брат, ты будешь говорить, сколько захочешь, но прежде позволь мне высказать все. Когда я нынче ехал в поместье господина заводчика, я не знал о том, что ваша помолвка расторгнута, и не собирался предлагать Шарлотту в жены господину Шагерстрему. Я поехал затем, что желаю сохранить мир в приходе, — а я полагал, что у господина Шагерстрема имелись основания быть недовольным тем, как ответила Шарлотта на его предложение. Но, приехав в Озерную Дачу, я убедился, что господин заводчик держится совсем иного мнения. Он полагает, что мои понятия устарели и что Шарлотта ответила ему как должно. Он нимало не был в претензии и думал лишь о том, как бы устроить ваше счастье. Он намерен был предложить тебе место заводского пастора на рудниках в Эртофте, патроном которых он является. Он затем и приехал сегодня, чтобы потолковать об этом с нею и с тобой. Отсюда ты, верно, можешь понять, что господин Шагерстром, так же как и я, даже не подозревал о том, что ваша помолвка расторгнута. Теперь ты выслушал все, что я хотел сказать, и можешь попросить у нас прощения за свои необдуманные обвинения, дражайший брат!

— Я не могу не верить вашим словам, досточтимый дядюшка, — начал Экенстедт. Он поднялся и принял ораторскую позу, скрестив руки на груди и опершись спиной о полку с книгами. — Зная вашу порядочность, почтеннейший дядюшка, я понимаю, что Шарлотта не могла и помыслить о том, чтобы посвятить вас в свои темные замыслы. Я также вполне согласен с вами, досточтимый дядюшка, в том, что я неподходящая партия для Шарлотты. И если бы Шарлотта, подобно вам, досточтимый дядюшка, открыто и честно заявила об этом, то мне, разумеется, было бы очень больно, но я все же сумел бы понять и простить ее. Шарлотта, однако, избрала иной путь. Боясь, должно быть, уронить себя в глазах людей, она сперва с горделивым бескорыстием отказывает господину Шагерстрему. Но она, разумеется, не намерена всерьез отказываться от него. Вместо того она толкает



меня на разрыв. Она знает мою горячность и пользуется ею. Она употребляет выражения, которые, как ей известно, могут довести меня до исступления, и она достигает своей цели. Я порываю с ней, и она полагает, что игра выиграна. На меня хочет она свалить всю вину. Против меня хочет она обратить гнев моего досточтимого дяди и всех других. Я порываю с ней, хотя она только что ради меня отвергла блестящее предложение. Я порываю с ней, хотя она ждала меня пять лет. Кто же станет удивляться, если она после подобного поступка ответит согласием господину Шагерстрему? Кто станет порицать ее за это?

Он широко развел руками. Пастор вздрогнул и отвернулся от своего помощника. Высокий лоб старика как раз посредине пересекали пять тонких морщинок. В начале речи Карла-Артура морщины стали наливать кровью, и теперь они рдели, как рана. Это было признаком того, что миролюбивый пастор Корсчюрки разгневан до чрезвычайности.

— *Но позволь, любезный друг мой...*

— Простите, досточтимый дядюшка, я еще не все сказал. В тот час, когда я ради спасения души был вынужден разорвать союз с Шарлоттой, бог послал мне другую женщину, простую, бесхитростную женщину из народа, и с ней я вчера обменялся обетом вечной верности. Так что я всецело вознагражден. Я совершенно счастлив и не думаю сетовать на свою участь. Но я не вижу надобности нести ненавистное бремя всеобщего презрения, которое Шарлотта вознамерилась взвалить на меня.

Шагерстром быстро поднял голову. Во время последних слов молодого Экенстедта он почувствовал, что в комнате, или, вернее сказать, в атмосфере ее, произошла какая-то неуловимая перемена. И теперь он заметил Шарлотту, которая стояла в дверях позади жениха.

Она вошла так тихо, что никто ее не заметил. И Карл-Артур продолжал говорить, не подозревая о ее присутствии. И пока он распространялся о ее вероломстве и хитрости, она стояла, кроткая, точно ангел-хранитель, и смотрела на него взором, полным истинного сочувствия и нежной, преданной любви. Шагерстром достаточно часто видел это выражение на лице своей покойной жены, чтобы понять, что оно означает, и не сомневаться в его искренности.

Шагерстрем не думал о том, хороша ли была Шарлотта в эту минуту. Она выглядела так, точно прошла сквозь сильный огонь, который не обжег и не закоптил ее, а лишь выжег все наносное, все несовершенное, и она вышла из него еще светлее и чище.

Он не постигал, как может молодой Экенстедт не ощущать на себе тепла ее взгляда, не чувствовать, как окутывает его ее любовь.

Что до него, то ему казалось, что эта любовь заполнила всю комнату. Он чувствовал силу ее лучей даже здесь, в своем углу. Они заставляли сильнее биться его сердце.

Ему стало не по себе при мысли о том, что она вынуждена выслушивать все эти возводимые на нее обвинения, которые представлялись ему нелепыми и бездоказательными. Он сделал движение, чтобы встать.

Тут Шарлотта обратила взор в его сторону и разглядела его в полутьме. Она, должно быть, поняла его нетерпеливый жест. Она заговорщически улыбнулась ему и приложила палец к губам в знак того, что он не должен выдавать ее присутствия.

Минуту спустя она исчезла так же тихо, как и появилась. Ни пастор, ни жених не знали о том, что она заходила в комнату. С этого мгновения Шагерстрема охватила сильнейшая тревога.

До сих пор он не придавал особенного значения тирадам Карла-Артура, полагая, что речь идет всего лишь о небольшой размолвке между влюбленными, которая прекратится сама собой, как только жених успокоится. Но, увидев Шарлотту, он понял, что в доме пастора разыгрывается истинная драма.

И поскольку, судя по всему, именно он своим необдуманном сватовством послужил причиной раздора, он начал искать пути к примирению влюбленных. Нужно было доказать невиновность Шарлотты, и Шагерстрем полагал, что это не представит особой трудности.

Владелец большого состояния и председатель многих акционерных обществ, он развил в себе умение примирять враждующие стороны. Он был почти убежден, что сумеет уладить все в самое короткое время.

Едва только Карл-Артур закончил свою речь, как в соседней комнате послышались тяжелые старческие шаги, и на пороге

появилась пасторша Регина Форсиус. Она тотчас же заметила Шагерстрема.

— Как, господин заводчик, вы снова тут?

Это вырвалось у нее просто и безыскусственно, в порыве искреннего удивления. Она не успела придумать более учтивого приветствия.

— Да, — ответил Шагерстрем. — Но сегодня мне также не повезло. Вчера я предлагал свое имение, нынче я предлагаю пасторскую усадьбу и место пастора, но мне и теперь отказывают.

Появление жены, казалось, вдохнуло мужество в старого пастора. Морщины у него на лбу снова налились кровью, он поднялся и повелительным жестом указал на дверь.

— Будет лучше, если ты сейчас пойдешь к себе, — сказал он, обращаясь к Карлу-Артуру, — и поразмыслишь над всем этим еще раз. У Шарлотты, разумеется, есть свои недостатки, обычные недостатки Левеншельдов. Она вспыльчива и заносчива, но хитрой, вероломной или корыстолюбивой она не была никогда. И не будь ты сыном моего высокочтимого друга полковника Экенстедта...

Тут пасторша прервала его:

— Ясно, что нам с Форсиусом хотелось бы быть на стороне Шарлотты, — сказала она, — но не знаю, вправе ли мы брать ее под защиту на этот раз. Я тут многого не понимаю. Прежде всего я не понимаю, почему она ничего не сказала нам ни вчера, ни сегодня. Отчего обрадовалась тому, что Форсиус поехал в Озерную Дачу, и отчего просила передать поклон и благодарность за розы господину Шагерстрему, если знала мысли Карла-Артура на этот счет? Но я не осудила бы ее только за это, не будь еще и другого.

— А в чем дело? — нетерпеливо спросил пастор.

— Почему она молчит? — сказала пасторша. — На именинах у аптекарши все уже знали о размолвке и о сватовстве. Одни ее избегали, другие поносили ее, а она и не думала оправдываться. Если бы она швырнула им в лицо чашку с кофе, я возблагодарила бы создателя, но она сидела безропотная и покорная, точно распятая на кресте, предоставив им злословить сколько душе угодно.

— Не станешь же ты обвинять ее в столь дурном поступке оттого только, что она не пожелала оправдываться! — сказал пастор.

— Возвращаясь домой, я решила испытать ее, — продолжала пасторша. — Усерднее всех поносила ее жена органиста, которую она всегда терпеть не могла. Но я позволила фру Сундлер взять меня под руку и проводить нас до самой усадьбы. Она и этому не воспротивилась. Неужто Шарлотта Левеншельд допустила бы, чтобы кто-нибудь другой вел меня под руку, будь у нее совесть чиста? Я ничего не хочу сказать, я только спрашиваю.

Никто из трех мужчин не проронил ни слова. Наконец пастор промолвил с нотками усталости в голосе:

— Похоже, что сейчас мы в этом деле не разберемся. Оно, должно быть, прояснится лишь со временем.

— Простите, дядюшка, — возразил Карл-Артур, — но для меня необходимо, чтобы оно прояснилось сейчас. Мои поступки могут вызвать осуждение, если не станет ясно, что Шарлотта сама вызвала разрыв.

— Спросим ее самое, — предложил пастор.

— Мне надобен более надежный свидетель, — сказал Карл-Артур.

— Если мне позволено будет вмешаться, — сказал Шагерстрем, — то я хотел бы предложить способ добиться ясности. Речь ведь идет о том, чтобы удостовериться, вправду ли фрекен Левеншельд умышленно подстрекнула жениха на разрыв, чтобы затем иметь возможность ответить согласиём на мое предложение. Не так ли?

Да, это было так.

— Я полагаю, что все это не более чем недоразумение, — продолжал Шагерстрем, — и предлагаю возобновить свое сватовство. Не сомневаюсь, что она ответит отказом.

— Но готов ли господин заводчик принять на себя все последствия? — спросил Карл-Артур. — А что, если она согласится?

— Она откажется, — ответил Шагерстрем. — И поскольку ясно, что именно я виновен в разрыве магистра Экенстедта с его невестой, то я бы хотел сделать все от меня зависящее, чтобы меж ними снова установились добрые отношения.

Карл-Артур недоверчиво рассмеялся.

— Она ответит согласиём, — сказал он. — Если только ее каким-нибудь образом не предупредят и она не будет знать, в чем дело.

— Я не имел намерения говорить с нею лично, — сказал Шагерстрем. — Я напишу ей.

Он подошел к письменному столу пастора, взял листок бумаги и перо и написал несколько строк:

«Простите, фрекен, что я осмеливаюсь снова беспокоить вас, но, узнав от вашего жениха о расторжении помолвки, я хотел бы возобновить мое вчерашнее сватовство».

Он показал написанное Карлу-Артуру. Тот одобрительно кивнул.

— Могу я попросить, чтобы кто-нибудь из слуг отнес письмо фрекен Левеншельд? — спросил Шагерстрем.

Пастор дернул за висевшую на стене расшитую бисером сонетку, и вскоре появилась служанка.

— Альма, вы не знаете, где сейчас барышня?

— Барышня у себя в комнате.

— Отнесите ей тотчас же записку господина Шагерстрема и скажите, что он ждет ответа.

Когда служанка вышла, в комнате воцарилось молчание. В тишине отчетливо стали слышны слабые, дребезжащие звуки старых клавикордов.

— Она как раз над нами, — сказала пасторша. — Это она играет.

Они не решались взглянуть друг на друга, а только напряженно прислушивались. Вот послышались шаги служанки на лестнице, затем отворилась дверь. Музыка стихла. «Теперь Шарлотта читает записку», — думал каждый из них.

Старая пасторша сидела, дрожа всем телом. Пастор молитвенно сложил руки. Карл-Артур бросился в кресло-качалку, и на губах его заиграла недоверчивая усмешка. Шагерстрем сидел с невозмутимым видом, какой обычно появлялся у него в те минуты, когда решались важные дела.

Наверху послышались легкие шаги. «Шарлотта садится к столу, — думали они. — Что она напишет?»

Несколько минут спустя легкие шаги прошелестели обратно к двери. Дверь отворилась и закрылась снова. Это ушла служанка.

Хотя все силились сохранять наружное спокойствие, никто из них не мог усидеть на месте. Когда девушка вошла, все они находились уже в первой комнате.

Она подала Шагерстрему маленький листок, который он развернул и прочел.

— Она ответила согласием, — сказал Шагерстрем, и в голосе его послышалось явное разочарование.

Он прочитал письмо Шарлотты вслух:

— «Если господин заводчик готов жениться на мне после всего дурного, что обо мне говорят, то я могу ответить только согласием».

— Желаю вам счастья, господин заводчик, — сказал Экенстедт с насмешливой улыбкой.

— Но ведь это всего лишь испытание, — сказала пасторша, — и оно ни в коей мере ни к чему не обязывает господина Шагерстрема.

— Разумеется, нет, — сказал пастор. — И Шарлотта первая...

Шагерстрем явно колебался, не зная, как ему поступить.

Тут во дворе послышался стук экипажа, и все выглянули в окно. Это подъехала к крыльцу карета Шагерстрема.

— Я просил бы вас, господин пастор, и вас, госпожа пасторша, — произнес Шагерстрем весьма официально, — передать фрекен Шарлотте благодарность за ее ответ. Поездка, которая была назначена уже давно, принуждает меня отлучиться на несколько недель. Но я надеюсь, что по моем возвращении фрекен Левеншельд позволит мне позаботиться об оглашении помолвки и свадьбе.

## НОТАЦИЯ

— Гина, друг мой сердечный, — сказал старый пастор, — я не могу понять Шарлотту. Придется потребовать у нее объяснений.

— Разумеется, ты совершенно прав, — поспешно согласилась пасторша. — Может, позвать ее сюда сейчас же?

Шагерстрем уехал, а Карл-Артур ушел к себе во флигель. Старики остались одни в комнате пастора. Если они хотели учинить небольшой допрос Шарлотте, то момент для этого был самый удобный.

— Вчера она отказывает Шагерстрему, а сегодня с благодарностью принимает его предложение, — сказал старик. — Слыхано ли подобное непостоянство? Право же, я вынужден буду сделать ей небольшое внушение.

— Ей никогда не было дела до того, что говорят о ней люди, — вздохнула пасторша. — Но это уже переходит всякие границы.

Она направилась было к вышитой бисером сонетке, но внезапно остановилась в нерешительности. Проходя мимо мужа, она взглянула на его лицо. Оно было совершенно серым, если не считать пяти морщинок на лбу, которые продолжали пылать, как раскаленные уголья.

— Знаешь что? — сказала пасторша. — Я вот думаю, вполне ли ты готов к разговору с Шарлоттой. С нею ведь сладить нелегко. А что, ежели отложить разговор до после обеда? Может, к тому времени тебе удастся придумать что-нибудь поубедительнее.

Разумеется, старушке очень хотелось, чтобы ее милая компаньонка получила изрядный нагоняй, но она видела, что долгая езда и сильное душевное волнение утомили мужа. Нельзя было сейчас допускать его объяснения с Шарлоттой, которое могло бы еще больше взволновать его.

В эту минуту вошла служанка и доложила, что обед подан, так что появился еще один повод оттянуть разговор с Шарлоттой.

Обед проходил в гнетущем молчании. У всех четверых и аппетит и настроение были не из лучших. Салатники и блюда уносились почти такими же полными, какими подавались на стол. Все сидели на своих местах только потому, что так полагалось.

Когда обед закончился и Шарлотта с Карлом-Артуром удалились каждый к себе, пасторша настояла на том, чтобы муж не лишал себя обычного послеобеденного отдыха из-за Шарлотты. Право же, этот разговор с нею вовсе не к спеху. Она ведь тут, в доме, и прочитать ей нотацию можно будет в любое время.

Убедить пастора оказалось вовсе нетрудно. Но лучше бы ему было не откладывать этого дела, потому что не успел он встать ото сна, как к нему явилась молодая пара, которая настаивала, чтобы ее обвенчал непременно сам пастор. Затем подошло время пить кофе, и едва они поднялись из-за стола, как явился коронный фогт, [\[103\]](#) чтобы поиграть в шашки. Оба старика стучали шашками допоздна, и на этом день закончился.

Впрочем, утро вечера мудренее. В среду пастор уже выглядел совершенным молодцом. Теперь не было больше никаких препятствий к тому, чтобы распечь Шарлотту.

Но увы! После завтрака пасторша обнаружила, что ее муж занят на огороде прополкой гряд, которые совсем было заглушил чертополох. Она поспешила к нему.

— Знаю, знаю, ты хочешь, чтобы я поговорил с Шарлоттой, — начал старик, едва заведя пасторшу. — Я о том только и думаю. Она получит нахлобучку, какой еще в жизни не получала. Я для того и ушел в огород, чтобы собраться с мыслями.

С легким вздохом пасторша повернулась и ушла к себе на кухню. Дел у нее было по горло. Наступил конец июля, и нужно было солить шпинат, сушить горох, варить варенье и сироп из малины.

«Ох-ох-ох! — думала она. — Уж слишком он себя утруждает. Сочиняет небось целую проповедь. Но что поделаешь, все пасторы таковы. Чересчур много красноречия расточают они на нас, бедных грешников».

Можно понять, что при всех хлопотах пасторша успевала приглядывать и за Шарлоттой, боясь, как бы та снова чего-нибудь не натворила. Но надзор этот едва ли был нужен. Еще в понедельник, до того, как в усадьбу приехал Шагерстрем, от которого и пошли все беды, Шарлотта принялась резать тряпки для плетеных ковриков. Они с пасторшей поднялись на чердак, собрали старое платье, которое уже ни на что не годилось, и вместе с другим тряпьем снесли вниз, в буфетную, где обычно занимались этой работой, чтобы не мусорить в



других чисто прибранных комнатах. И весь день во вторник, равно как и в среду, Шарлотта сидела в буфетной и без устали разрезала тряпки. Она даже не выходила за дверь. Можно было подумать, что она сама подвергла себя добровольному заточению.

«Ну, и пусть сидит там, — думала пасторша. — Право же, лучшего она не заслуживает».

Приглядывала она и за мужем. Он не уходил с огорода и не посылал за Шарлоттой.

«Форсиус, видно, сочиняет проповедь на добрых два часа, — думала она. — Разумеется, Шарлотта поступила дурно, но мне, ей-богу, становится жаль ее».

Во всяком случае, до обеда ничего не случилось. Затем все пошло обычным порядком — обед, послеобеденный сон, вечерний кофе, игра в шашки. Пасторша не хотела больше заводить об этом разговор. Она лишь сожалела, что не дала мужу объясниться с Шарлоттой накануне, когда гнев его еще не остыл и он мог бы высказать ей все без обиняков.

Но вечером, когда они лежали бок о бок на широкой кровати, пастор попытался объяснить свою нерешительность.

— Право же, нелегко распекать Шарлотту, — сказал он. — Так много всего приходит на ум!

— Не думай о том, что было! — посоветовала пасторша. — Я знаю, ты вспоминаешь о том, как она вместе с конюхом объезжала по ночам твоих лошадей, потому что боялась, как бы они не зажирели. Оставь ты это! Думай только о том, что нам надо выяснить, вправду ли она сама толкнула Карла-Артура на разрыв. В этом все дело. Имей в виду, люди уже начинают сомневаться, станем ли мы после этого держать Шарлотту в своем доме.

Пастор улыбнулся.

— Да, Шарлотта оказала мне поистине добрую услугу, объезжая моих лошадей по ночам. Совсем как тогда, когда она хотела порадовать меня, доказав, что мои лошади бегают на скачках не хуже других, и приняла участие в скачках.

— Да, немало натерпелись мы из-за этой девушки, — вздохнула пасторша. — Но все это забыто и прощено.

— Разумеется, — согласился пастор. — Однако есть еще кое-что, чего я не могу забыть. Помнишь, какими мы оба были семь лет назад,

когда Шарлотта лишилась родителей и нам пришлось взять ее к себе? Гина, сердечный друг мой, тогда ты не была такой бодрой, как теперь. Можно было подумать, что тебе уже восемьдесят лет. Ты была так слаба, что едва волочила ноги. Каждый день я со страхом ждал, что потеряю тебя.

Пасторша тотчас же поняла, на что он намекает. В тот день, когда ей исполнилось шестьдесят пять лет, она сказала себе, что довольно уж ей заниматься хозяйством, и решила нанять экономку. Ей посчастливилось найти превосходную женщину. Отныне она была свободна от всяких забот; экономка не желала даже, чтобы пасторша показывалась на кухне. Но старушка стала чахнуть день ото дня. Она разом почувствовала себя слабой, хилой и несчастной и совсем пала духом. Все опасались, что она недолго протянет.

— Да, что верно, то верно. Когда Шарлотта появилась у нас, я и впрямь чувствовала себя худо, хотя никогда не жила в такой праздности и благополучии. Но Шарлотта не смогла поладить с моей экономкой. Она наградила ее щелчком по носу, когда хлопот перед Рождеством было по горло! Мамзель отказалась от места, и мне, хилой, немощной старухе, пришлось тащиться на пивоварню, а после еще варить в щелоке рыбу. Нет, этого я вовек не забуду.

— Да, да, не забывай этого, — смеясь, отозвался пастор. — Гина, друг сердечный, ты ведь старая труженица, и ты почувствовала себя здоровой, как только тебе снова пришлось варить пиво и рыбу. Ничего не скажешь, Шарлотта и впрямь доставила нам немало хлопот, но этот щелчок по носу спас тебе жизнь.

— А что уж говорить о тебе? — прервала старушка, которой не хотелось признаваться в том, что она жить не может без утомительных домашних хлопот. — Ты бы небось тоже лежал теперь в могиле, если б Шарлотта не свалилась в церкви со скамьи.

Пастор тотчас же понял, на что она намекает. Когда Шарлотта переехала жить в усадьбу, пастор сам управлялся со всеми делами в приходе и вдобавок говорил проповеди по воскресеньям.

Жена убеждала его взять помощника. Она видела, что муж совсем выбивается из сил и к тому же чувствует постоянную неудовлетворенность из-за того, что не имеет досуга для занятий своей любимой ботаникой. Но он заявил, что будет исполнять свой долг, покуда в нем теплится хоть искра жизни. Шарлотта не докучала ему

уговорами, она просто-напросто заснула однажды в воскресенье во время проповеди и спала так крепко, что свалилась со скамьи и учинила целый переполох в церкви. Разумеется, старик рассердился на нее, но после этого конфуза он понял, что слишком стар для того, чтобы говорить проповеди. Он взял себе помощника, избавился от многих докучливых обязанностей и снова воспрянул духом.

— Да, разумеется, — сказал он. — Этой своей проделкой Шарлотта сохранила мне не один год жизни. Все это и приходит мне на ум, когда я собираюсь распекать ее, и ничего у меня не получается.

Пасторша не ответила ни слова, но украдкой смахнула с ресницы слезу.

Тем не менее ей казалось, что на сей раз Шарлотте нельзя давать спуску, и она снова принялась за свое:

— Все это верно, но не хочешь же ты сказать, что вовсе не намерен выяснять, правда ли то, что помолвку расстроила сама Шарлотта!

— Если не знаешь, каким путем идти, то лучше постоять на месте и обождать, — сказал старик. — И мне думается, что так нам с тобою и следует поступить на этот раз.

— Но подумай, какой грех берешь ты на душу, позволяя Шагерстрему жениться на Шарлотте, если она и впрямь такова, как люди о ней говорят.

— Если бы Шагерстрем пришел ко мне и спросил моего совета, — сказал пастор, — то я знал бы, что ответить ему.

— Вот как! — заметила пасторша. — Ну, и что бы ты ему ответил?

— Я ответил бы ему, что будь я сам холостяком, и притом лет на пятьдесят моложе...

— Что, что? — воскликнула пасторша и села на постели.

— Да, я ответил бы ему, — невозмутимо продолжал пастор, — что будь я холостяком, и притом лет на пятьдесят моложе, и повстречай я девушку столь живую и обаятельную, как Шарлотта, я бы сам к ней посватался.

— Ну и ну! — воскликнула пасторша. — Ты и Шарлотта! Ох, и солоно бы тебе пришлось!

Лицо ее сморщилось и она, всплеснув руками, с громким хохотом повалилась на подушки.

Старик посмотрел на нее чуть обиженно, но она продолжала хохотать. Вскоре он уже и сам смеялся. Их охватил такой приступ веселья, что они утомнились и уснули лишь далеко за полночь.

## ОБРЕЗАННЫЕ ЛОКОНЫ

Поздним вечером в четверг в пасторскую усадьбу в большой дорожной карете приехала полковница Беата Экенстедт. Она приказала остановить карету перед домом, но не вышла из нее, а велела служанке, выбежавшей помочь ей, чтобы та попросила хозяйку выйти на крыльцо. Полковница желала бы сказать ей несколько слов.

Пасторша Форсиус тотчас же появилась на крыльце, приседая в реверансе и улыбаясь во весь рот. Какая радость, какая приятная неожиданность! Не хочет ли милая Беата выйти из экипажа и отдохнуть после долгого пути под этой скромной крышей?

Разумеется, полковница ничего лучшего не желает, но прежде она хочет знать, находится ли еще в доме эта ужасная женщина.

Пасторша сделала удивленное лицо.

— Ты имеешь в виду ту дрянную кухарку, что была у нас, когда ты в последний раз приезжала? Так ей уж давно отказано. На сей раз ты будешь довольна кушаньями.

Но полковница не трогалась с места.

— Не прикидывайся, Гина! Ты отлично знаешь, что я имею в виду ту негодницу, с которой был помолвлен Карл-Артур. Я хочу знать, осталась ли она у тебя в доме.

Теперь уж пасторша принуждена была понять, о ком идет речь. Но что бы ни думала старушка о Шарлотте, она готова была защищать всякого живущего под ее крышей, даже если бы против нее ополчилось все человечество.

— Да простит меня Беата, но ту, которая целых семь лет была нам с Форсиусом вместо дочери, мы не можем так просто выгнать из дому. Тем более что никто не знает, как в действительности обстоит дело.

— У меня есть письмо от сына, у меня есть письмо от Теи Сундлер, у меня есть письмо от нее самой. Мне-то все ясно.

— Если у тебя есть письмо от нее самой, которое доказывает ее вину, то черта с два ты уедешь отсюда, не показав мне его! — вскричала пасторша, которая была до того поражена и взволнована, что не смогла удержаться от бранного слова.

Она приблизилась к маленькой упрямой полковнице, которая съежилась в углу кареты. Казалось, пасторша готова была силой

вытащить ее из экипажа.

— Поезжай! Поезжай! — крикнула полковница кучеру.

В этот момент из флигеля вышел Карл-Артур. Он узнал голос матери и бегом пустился к жилому дому усадьбы.

Встреча была самая нежная. Полковница обняла сына и принялась целовать его столь горячо и пылко, как будто он только что избежал смертельной опасности.

— Но разве вы, матушка, не выйдете из кареты? — спросил Карл-Артур, несколько смущенный этими поцелуями в присутствии кучера, фореятора, служанки и пасторши.

— Нет! — объявила полковница. — Я всю дорогу твердила себе, что не смогу спать под одной крышей с женщиной, которая столь бесстыдно предала тебя. Садись со мною, поедem на постоянный двор.

— Ах, да не ребячься же, Беата! — сказала пасторша, которая уже овладела собой. — Если ты останешься, то даю тебе слово, что ты и в глаза не увидишь Шарлотту.

— Но я все равно буду знать, что она поблизости.

— У людей и так довольно пищи для пересудов, — сказала пасторша. — Недоставало еще, чтобы они стали толковать о том, что ты не пожелала остановиться у нас!

— Разумеется, матушка останется здесь, — сказал Карл-Артур. — Я вижу Шарлотту всякий день, и ничего мне не делается!

Услыхав столь решительное высказывание Карла-Артура, полковница беспомощно огляделась вокруг, точно ища выхода. Внезапно она указала рукой на флигель, где жил сын.

— Нельзя ли мне поселиться там, у Карла-Артура? — спросила она. — Рядом с сыном мне, быть может, удастся позабыть об этой ужасной женщине. Милая Регина, — обратилась она к пасторше, — если ты хочешь, чтобы я осталась, позволь мне жить во флигеле! Тебе не придется ничего устраивать там. Мне нужна лишь кровать, и ничего больше.

— Не понимаю, отчего бы тебе не занять комнату для гостей, как обычно, — проворчала пасторша, — но все лучше, чем совсем уезжать.

Она была, право же, сильно раздосадована. Пока карета подъезжала к флигелю, она бормотала про себя, что эта Беата

Экенстедт, даром что светская дама, не имеет ни малейшего понятия об истинной учтивости.

Вернувшись в столовую, пасторша увидела, что Шарлотта стоит у раскрытого окна. Она, без сомнения, все слышала.

— Слышала? Она не желает встречаться с тобой, — сказала пасторша. — Она отказалась даже спать с тобой под одной крышей.

Но Шарлотта, которая только что была свидетельницей нежной встречи матери с сыном и пережила при этом самые счастливые минуты в своей жизни, стояла перед ней довольная и улыбающаяся. Теперь она знала, что жертва ее была не напрасна.

— Что ж, тогда постараюсь не попадаться ей на глаза, — сказала она с величайшим спокойствием и вышла из комнаты.

Пасторша так и ахнула. Она поспешила к Форсиусу.

— Ну, что ты на это скажешь? Видно, Карл-Артур и жена органиста были правы. Ей говорят, что Беата Экенстедт не желает спать с ней под одной крышей, а она улыбается с таким торжеством, точно ее провозгласили королевой Испании.

— Ну, ну, друг мой, — сказал пастор, — потерпим еще немного! Завеса начинает спадать. Я убежден, что полковница поможет нам во всем разобраться.

Пасторша подумала с испугом, что ее Форсиус, который до сих пор, благодарение Богу, сохранял полное душевное здоровье, теперь начинает впадать в детство. Чем может помочь им эта чудачка Беата Экенстедт?

Слова пастора еще больше расстроили ее. Она вышла в кухню и распорядилась, чтобы полковнице постелили во флигеле. Туда же она велела отнести поднос с едой. Затем отправилась к себе в спальню.

«Пускай отужинает там, — думала она. — Там она сможет пестовать своего сыночка, сколько ей вздумается. Я-то надеялась, что она приехала, чтобы распечь его за эту новую помолвку, но она лишь целует его и потворствует ему во всем. Если она думает, что после этого дождется от него радости...»

На другое утро полковница и Карл-Артур вышли к завтраку. Гостья была в наилучшем расположении духа и самым любезным образом беседовала с хозяевами. Но когда пасторша увидела полковницу при дневном свете, та показалась ей увядшей и исхудалой. Пасторша была на много лет старше своей подруги, но все же

выглядела гораздо здоровее и бодрее ее. «Жаль мне Беату, — подумала старушка. — Она вовсе не так весела, как хочет казаться».

После завтрака полковница послала Карла-Артура в деревню за Теей Сундлер, с которой она хотела поговорить. Пастор ушел по своим обычным делам, и дамы остались одни.

Полковница тут же заговорила о сыне.

— Ах, милая Гина, — начала она, — я так счастлива, что и сказать не могу. Я выехала из дому сразу же, как только получила письмо от Карла-Артура. Я боялась, что застаю его в отчаянии, близком к самоубийству, но нашла его совершенно довольным и счастливым. Удивительно, не правда ли? После такого удара...

— Да, он быстро утешился, — весьма сухо заметила пасторша.

— Знаю, знаю. Эта далекарлийка. Маленькая прихоть, и ничего больше. Пастилка, которую кладут в рот, чтобы отбить неприятный вкус. Разве сможет человек с привычками Карла-Артура ужиться с такой женщиной?

— Видела я ее, — сказала пасторша, — и должна сказать, что она красива. Очень пригожая бабенка.

Лицо полковницы покрылось смертельной бледностью, но лишь на мгновение.

— Мы с Экенстедтом решили не принимать этого всерьез. Мы не станем противиться новой помолвке. Он был так жестоко обманут. Разумеется, он помешался с горя. Если не раздражать его отказом, то он скоро забудет об этой своей причуде.

Нынче утром пасторша вязала с таким ожесточением, что спицы звенели в ее руках. Это был единственный способ сохранить спокойствие, слушая весь этот бессмысленный вздор.

«Милый друг мой, — думала она, — ты ведь умная, проницательная женщина. Так неужто же ты не понимаешь, что из твоей затеи толку не будет?»

Ноздри у нее расширились, морщины пришли в движение; но, чувствуя невыразимую жалость к полковнице, она принудила себя удержаться от смеха.

— Да, таковы нынешние дети; они не терпят возражений от родителей.

— Мы уже совершили ошибку, — сказала полковница, — когда воспротивились желанию сына стать пастором. Это ни к чему не



привело. Он лишь отдалился от нас. На сей раз мы намерены не препятствовать его обручению с далекарлийкой. Мы не хотим окончательно потерять его.

Брови пасторши вскинулись высоко вверх.

— Да, ничего не скажешь! Весьма любящие родители! Весьма!

Полковница сказала, что хочет обо всем посоветоваться с Теей Сундлер. Для того она и послала за ней. Эта женщина, кажется, умна и безмерно предана Карлу-Артуру. А он очень доверяет ее суждениям.

Пасторша едва смогла усидеть на месте.

Жена органиста, это жалкое ничтожество, и госпожа полковница Экенстедт, женщина замечательная, несмотря на все ее чудачества! Она не смеет сама вразумить сына! Это должна сделать другая, жена органиста!

— В мое время не помышляли о таких тонкостях, — сказала она.

— После разрыва Карла-Артура с невестой Тея Сундлер написала мне превосходное, успокаивающее письмо, — пояснила полковница.

Едва полковница выговорила эти слова, как пасторша вскочила и хлопнула себя по лбу.

— Да, чуть не забыла! Ты ведь хотела рассказать, что написала тебе об этих печальных событиях сама Шарлотта.

— Можешь прочесть письмо, — сказала полковница, — оно у меня в ридикюле.

Она протянула пасторше сложенный листок, и та развернула его. В нем была лишь одна-единственная строчка:

«Умоляю мою досточтимую свекровь не думать обо мне слишком дурно».

С разочарованным видом пасторша вернула письмо.

— Мне оно ничего не объясняет.

— А для меня оно вполне убедительно, — произнесла полковница с ударением.

Тут пасторше пришло в голову, что гостя все время говорит необычно громким голосом. Это было не свойственно ей, но, вероятно, объяснялось тем, что она была взволнована и несколько выбита из привычной колеи. Вместе с тем пасторша подумала, что Шарлотта, которая, как обычно, режет тряпье в буфетной, должна слышать каждое слово. Оконце в стене, через которое подавались кушанья,

закрывалось неплотно. Она сама часто сетовала на то, что малейший шум из буфетной доносится в столовую.

— А что говорит сама Шарлотта? — спросила полковница.

— Молчит. Форсиус собирался было учинить ей допрос, но теперь говорит, что этого не надо. А я ничего не знаю.

— Как странно! — сказала полковница. — Как странно!

Тут пасторша предложила полковнице перейти наверх, в гостиную. И как она прежде об этом не подумала! Такую важную гостью не подобает принимать запросто в столовой.

Но полковница наотрез отказалась перейти в гостиную, которая наверняка не так уютна, как обычные жилые комнаты. Она предпочла остаться в столовой и продолжала все тем же громким голосом говорить о Шарлотте. Чем она занята, где она сейчас? Счастлива ли тем, что выходит замуж за Шагерстрема?

Вдруг голос полковницы задрожал от слез.

— Я так любила ее! — воскликнула она. — Всего я могла ожидать от нее, но только не этого! Только не этого!

Пасторша услышала, как в буфетной со звоном упали на пол ножницы. «Ей, видно, немогуту выслушивать все это, — подумала пасторша. — Она не выдержит; сейчас она вбежит сюда и станет оправдываться».

Но из буфетной не доносилось больше ни звука, и Шарлотта оттуда не вышла.

Наконец это мучительное положение было прервано появлением Карла-Артура и Теи Сундлер. Полковница тотчас же отправилась в сад с фру Сундлер и сыном, а пасторша поспешила в кухню, чтобы наколоть сахару, положить печенья и смолоть кофе. Все это могли бы сделать и без нее, но ей казалось, что это успокоит ее.

Хлопоча на кухне, она не переставала думать о записке, которую Шарлотта послала своей свекрови. Отчего она написала ей так коротко? Пасторша вспомнила, как Шарлотта явилась однажды к завтраку и пальцы у нее были измараны чернилами. Но она не могла бы перепачкаться до такой степени, если бы написала только эту строчку. Она, должно быть, написала еще одно письмо. Помнится, это было во вторник? День спустя после первого сватовства. Тут надо кое-что разузнать.

Между тем она велела служанке накрыть стол для кофе в большой сиреновой беседке. Сегодня ради знатной гостьи пасторша решила после завтрака устроить праздничный кофе.

«Шарлотта, верно, написала длинное письмо, — думала пасторша. — Но что она сделала с ним? Отослала его? Или разорвала?»

Эти мысли продолжали занимать ее и за кофейным столом, и она, против своего обыкновения, не раскрывала рта. Зато фру Сундлер, которая сидела тут же, болтала без умолку. Пасторше казалось, что она походит на раздувшуюся лягушку из басни, столь важной и чванливой сделалась она, поняв, что знатные господа нуждаются в ее помощи. Прежде старушка находила ее всего лишь смешной и жалкой; теперь же она почувствовала неприязнь к ней. «Она важничает и радуется в то время, как все мы в таком горе, — думала пасторша. — Она дурная женщина».

Но, само собою, пасторша любезно предлагала ей еще чашечку кофе и усиленно потчевала своим превосходным печеньем. Законы гостеприимства должны соблюдаться, даже если под твоей крышей находится злейший враг.

После кофе пасторша снова отправилась на кухню. Полковница уезжала во втором часу, и пасторша намеревалась пригласить ее отобедать перед дорогой. Старушке не хотелось ударить в грязь лицом, и она решила сама присмотреть за приготовлением кушаний.

В час дня фру Сундлер зашла на кухню проститься. Полковница с сыном все еще сидели в беседке, но ей нужно было спешить домой, чтобы приготовить мужу обед.

Пасторша, которая стояла, наклонившись над кастрюлей с бульоном, отложила в сторону шумовку и проводила фру Сундлер до прихожей. Она приседала, извинялась и просила передать поклон органисту.

Она думала, что Тея Сундлер должна бы понять, до чего ей некогда. Но та стояла у дверей целую вечность и, схватив старушку за руку, без конца распространялась о том, как ей жаль полковницу и какая неприятность эта новая помолвка Карла-Артура.

В этом пасторша была всецело с нею согласна.

Жена органиста еще крепче сжала ее руку. Она сказала, что не может уйти, не справившись о том, как поживает Шарлотта.

— Вот что я тебе скажу, — ответила пасторша. — Она сидит вон в той комнате и режет тряпье. Войди и сама спроси ее!

Они находились у самых дверей буфетной; пасторша с внезапной решимостью отворила дверь и почти толкнула фру Сундлер через порог.

«Знаю я, чего тебе хочется, — подумала она. — Шарлотта всегда смотрела на тебя свысока, а теперь ты хочешь увидеть ее униженной. Ах ты жаба! Надеюсь, Шарлотта примет тебя так, как ты заслуживаешь».

— Ха-ха-ха! — расхохоталась она. — Хотелось бы мне хоть одним глазком взглянуть на эту встречу.

Она на цыпочках прокралась к двери столовой, неслышно отворила ее и секунду спустя уже стояла у оконца в буфетную.

Она чуть приоткрыла оконце и теперь достаточно хорошо видела всю комнату и Шарлотту, сидящую в окружении старых платьев, принадлежавших пасторше Форсиус и прежним пасторшам. Шарлотта раскладывала отдельно зеленые, синие и пестрые лоскутки, а в ларе лежал целый клубок цветных полос, уже сшитых и намотанных. Она, как видно, не теряла времени даром.

Шарлотта сидела спиной к Тея Сундлер, которая нерешительно остановилась у двери.

«Вот как, дальше она идти не осмеливается, — обрадовалась пасторша. — Начало неплохое. Думаю, что ей предстоят веселенькие минуты».

Она видела, что Тея Сундлер придала своему лицу выражение одновременно сочувственное и ободряющее, и слышала, как она сказала голосом участливым и кротким, каким говорят с больными, арестантами и бедняками:

— Здравствуй, Шарлотта!

Шарлотта не ответила. Она сидела с ножницами в руках, но резать перестала.

Легкая усмешка появилась на лице Теи Сундлер. Она обнажила свои острые зубки. Это длилось всего лишь мгновение, но и его было довольно, чтобы пасторша поняла, что за птица эта Сундлер.

Теперь Тея Сундлер снова была сама кротость и участливость. Она сделала шаг в комнату и заговорила благожелательным и

ласковым тоном, каким говорят с бестолковой прислугой или капризным ребенком.

— Здравствуй, Шарлотта.

Но Шарлотта не шевелилась.

Тогда Тея Сундлер наклонилась, чтобы увидеть ее лицо. Быть может, она думала, что Шарлотта плачет из-за того, что мать Карла-Артура не желает встречаться с ней. Но при этом локоны фру Сундлер задели плечо Шарлотты, которое оказалось обнаженным, потому что ее шейная косынка соскользнула во время работы.

Едва лишь локоны коснулись плеча, как Шарлотта встрепенулась. И в тот же миг, точно хищная птица добычу, схватила она эти отлично завитые локоны и, лязгнув ножницами, отхватила их напроочь.

Нападение это не было заранее обдуманым. Расправившись с Теей, Шарлотта вскочила со стула и несколько озадаченно посмотрела на дело своих рук. Тея Сундлер завопила от ужаса и негодования. Хуже этого с ней ничего не могло приключиться. Локоны были ее гордостью, ее единственным украшением. Теперь она не сможет показаться на людях, пока они не отрастут. Тея Сундлер снова испустила горестный и гневный вопль.

В кухне, находившейся рядом, вдруг поднялся невероятный шум. Задребезжали крышки кастрюль, застучали ступки, с грохотом упали на пол дрова, заглушив все остальные звуки. Полковница и Карл-Артур сидели в саду и, разумеется, ничего не могли слышать. Никто не пришел на помощь Тее Сундлер.

— Что тебе тут нужно? — спросила Шарлотта. — Я молчу ради Карла-Артура, но ведь не думаешь же ты, что я так проста и не понимаю, что все это ты натворила.

С этими словами она приблизилась к дверям и распахнула их.

— Убирайся вон!

Одновременно она лязгнула ножницами, и этого было довольно, чтобы Тея Сундлер стрелой вылетела из комнаты.

Пасторша осторожно затворила оконце. Затем она всплеснула руками и расхохоталась.

— Боже ты мой! — воскликнула она. — Привелось-таки мне увидеть это! Вот уж будет чем позабавить моего старика!

Но внезапно лицо ее сделалось серьезным.

— Милое дитя! — пробормотала она. — Бедняжка молчит и терпит от нас напраслину. Нет, надо положить этому конец.

Минуту спустя пасторша тихонько пробралась по лестнице наверх. Бесшумно, как вор, прошмыгнула она в комнату Шарлотты.

Она не стала осматривать ее, а направилась прямо к изразцовой печи. Там она нашла несколько разорванных и скомканных листов бумаги.

— Прости мне, господи! — произнесла она. — Ты знаешь, что я впервые в жизни без позволения читаю чужое письмо.

Она унесла исписанные страницы к себе в спальню, надела очки и прочитала.

— Вот, вот! — сказала она, окончив чтение. — Это и есть настоящее письмо. Так я и думала.

Держа письмо в руке, она спустилась с лестницы, намереваясь показать его полковнице. Но выйдя во двор, она увидела, что гостья сидит с сыном на скамье перед флигелем.

С какой нежностью она склонилась к нему! Сколько обожания и преданности в ее взоре, устремленном на сына!

Пасторша остановилась. «Господи, да как же у меня хватит духу прочесть ей все это?» — подумала она.

Старушка повернулась и пошла к Форсиусу.

— Ну, старик, сейчас ты прочтешь кое-что приятное, — сказала она и расправила перед ним листки. — Я нашла это в комнате Шарлотты. Наша милая девочка бросила обрывки в печку, но позабыла сжечь их. Почитай-ка! Хуже тебе от этого не станет.

Старый пастор видел, что старушка его выглядит гораздо веселее и бодрее, чем выглядела все эти злосчастные дни. Она, видно, думает, что ему пойдет на пользу, если он прочтет это письмо.

— Так вот оно что! — сказал он, дочитав до конца. — Но отчего же это письмо не было отправлено?

— Кабы я знала! — ответила пасторша. — Я, во всяком случае, понесла показать это письмо Беате. Но когда я вышла и увидела, с какой любовью она смотрит на сына, то решила сперва посоветоваться с тобой.

Пастор встал и посмотрел в окно на полковницу.

— В том-то и все дело, — сказал он, понимающе кивнув головой. — Видишь ли, Гина, друг мой сердечный, Шарлотта не могла

послать это письмо такой матери, как Беата. Оттого-то оно и было брошено в печь. Она решила молчать. Ей невозможно оправдать себя. И мы тоже ничего тут не можем поделать.

Старики вздохнули, сокрушаясь тем, что не могут немедля обелить Шарлотту в глазах людей, но в глубине души они почувствовали несказанное облегчение.

И, встретившись с гостьей за обеденным столом, оба они были в наилучшем расположении духа.

Как ни странно, но и в полковнице заметна была такая же перемена. В ее веселости не было больше ничего напускного, как утром. В нее точно вдохнули новую жизнь.

Пасторше подумалось, уж не Тея ли Сундлер была виновницей этой перемены. И так оно на самом деле и было, хотя не совсем по той причине, какую предполагала пасторша.

Полковница сидела с Карлом-Артуром на скамье перед флигелем, как вдруг из дома стремглав вылетела Тея Сундлер, точно голубка, побывавшая в когтях у ястреба.

— Что это с твоим другом Теей? — спросила полковница. — Гляди-ка, она мчится сломя голову и прикрывает щеку рукой! Беги, Карл-Артур, и перехвати ее у калитки. За ней, верно, гонится пчелиный рой. Спроси, не можешь ли ты ей чем помочь!

Карл-Артур поспешил выполнить просьбу матери, и хотя фру Сундлер отчаянно махала ему рукой, чтобы он не приближался, он все-таки настиг ее у калитки.

Возвратившись к матери, он весь кипел от негодования.

— Опять эта Шарлотта! Право же, она переходит всякие границы. Вообрази, когда фру Сундлер зашла к ней спросить, как она поживает, Шарлотта улучила минуту и обрезала ей локоны с одной стороны.

— Что ты говоришь! — воскликнула полковница, не в силах сдержат улыбки. — Ее красивые локоны! Она, должно быть, выглядит ужасно.

— Это была месть, матушка, — сказал Карл-Артур. — Фру Сундлер раскусила Шарлотту. Это она раскрыла мне глаза на нее.

— Понимаю, — сказала полковница.

Несколько секунд она молча сидела, размышляя о чем-то. Затем обратилась к сыну:

— Не будем более говорить ни о Тее, ни о Шарлотте, Карл-Артур. У нас осталось всего несколько минут. Поговорим лучше о тебе и о том, как ты будешь наставлять нас, бедных грешников, на путь истинный.

Позднее, за обедом, полковница, как уже сказано, была, по своему обыкновению, веселой и оживленной. Они с пасторшей состязались в остроумии и наперебой рассказывали забавные истории.

Время от времени полковница бросала взгляд на оконце в стене. Она, наверно, думала о том, каково-то там Шарлотте в ее заточении. Она думала и о том, тоскует ли по ней эта девушка, которая всегда так преданно любила ее.

После обеда, когда карета уже стояла у крыльца, полковница ненадолго осталась в столовой одна. В мгновение ока очутилась она около оконца и открыла его. Перед ней было лицо Шарлотты, которая весь день тосковала по ней, а теперь притаилась у оконца в надежде хотя бы поймать взгляд ее милых глаз.

Полковница быстро обхватила лицо девушки своими мягкими ладонями, притянула его к себе и осыпала поцелуями. Между поцелуями она отрывисто шептала:

— Любимая моя, сможешь ли ты потерпеть и не открывать правды еще несколько дней или в крайнем случае несколько недель? Все будет хорошо! Я, верно, изрядно помучила тебя! Но ведь я ничего не понимала, пока ты не обрезала ей локоны. Мы с Экенстедтом сами займемся этим делом. Можешь ты потерпеть ради меня и Карла-Артура? Он снова будет твой, дитя мое. Он снова будет твой!

Кто-то взялся за ручку двери. Оконце мгновенно захлопнулось, и через несколько минут полковница Экенстедт уже сидела в карете.



## БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ

Богач Шагерстрем был совершенно убежден, что из него вышел бы ветрогон и бездельник, если бы в юности ему не сопутствовало особое счастье.

Сын богатых и знатных родителей, он мог бы расти в роскоши и праздности. Он мог бы спать на мягкой постели, носить щегольское платье, наслаждаться обильной и изысканной пищей так же, как его братья и сестры. И это при его склонностях отнюдь не пошло бы ему на пользу. Он понимал это лучше чем кто-либо другой.

Но ему привелось родиться безобразным и неуклюжим. Родители, и в особенности мать, решительно не выносили его. Они не могли понять, каким образом появился у них этот ребенок с огромной головой, короткой шеей и коренастым туловищем. Сами они были красивыми и статными, и все остальные дети у них были как ангелочки.

А этого Густава им, как видно, подменили, и оттого обращались они с ним как с подкидышем.

Разумеется, не так уже весело было чувствовать себя гадким утенком. Шагерстрем охотно признавал, что много раз ему бывало очень горько, но в зрелые лета он стал почитать это за великое благодеяние судьбы. Если бы он всякий день слышал от матери, что она его любит, если бы у него, как у братьев, карманы были всегда полны денег, он был бы конченным человеком. Он вовсе не хотел этим сказать, что его братья и сестры не стали весьма достойными и превосходными людьми, но, быть может, у них от природы нрав был лучше, и счастье не портило их. Ему же это было бы только во вред.

То, что ему столь трудно давалась латынь, то, что ему приходилось по два года сидеть в каждом классе, — все это, на его взгляд, было проявлением великой милости к нему госпожи Фортуны. Разумеется, он понял это не сразу, а гораздо позднее. Именно благодаря этому отец взял его из гимназии и отослал в Вермланд, учеником к заводскому управляющему.

И тут судьба снова позаботилась о нем и устроила так, что он попал в руки жадного и жестокого человека, который даже, пожалуй, лучше, чем его родители, способен был дать ему требуемое

воспитание. У него Шагерстрему не пришлось нежиться на пуховиках. Хорош он был и на тонком соломенном тюфяке. У него он научился есть подгорелую кашу и прогорклую селедку. У него научился он трудиться с утра до вечера без всякой платы и с твердым убеждением, что за малейшую провинность получит пару добрых оплеух. В то время все это было не так уж весело, но теперь богач Шагерстрем понимал, что вечно должен быть благодарен судьбе, которая научила его спать на соломе и жить на гроши.

Пробыв в учениках достаточно долгое время, он стал заводским конторщиком и тогда же получил место в Крунбеккене, близ Филипстада, у заводчика Фреберга. У него был теперь добрый хозяин, обильная и вкусная еда за хозяйским столом и небольшое жалованье, на которое он смог купить себе приличное платье. Жизнь его стала счастливой и благополучной. Это, может быть, не пошло бы ему на пользу, но судьба по-прежнему заботилась о нем и не позволила ему наслаждаться безмятежным счастьем. Не пробыв и месяца в Крунбеккене, он влюбился в молодую девушку, приемную дочь и подопечную заводчика Фреберга. Ничего ужаснее с ним не могло бы приключиться, потому что девушка эта была не только ослепительной красавицей, умницей и всеобщей любимицей. Она была еще вдобавок наследницей заводов и рудников, стоивших миллионы.

Любой заводской конторщик, осмелившийся поднять на нее взор, показался бы дерзким наглцом, а уж тем более тот, кто был безобразен и неуклюж, кто считался гадким утенком в собственной семье, кто ниоткуда не получал помощи и вынужден был пробивать дорогу собственными силами. С первого же мгновения Шагерстрем понял, что ему остается лишь таить свою любовь про себя так, чтобы ни одна живая душа не догадалась о ней. Ему оставалось лишь молча смотреть на молодых лейтенантов и студентов, которые толпами приезжали в Крунбеккен на Рождество и в летние месяцы, чтобы увиваться за юной красавицей. Ему оставалось лишь стискивать зубы и сжимать кулаки, слушая их похвалбу и рассказы о том, что они танцевали с ней столько-то раз за вечер, и что они получили от нее столько-то цветков в котильоне, [\[104\]](#) и что она подарила им столько-то взглядов и столько-то улыбок. И хоть место у него было превосходное, но радости от него было не много, потому что он нес свою несчастную любовь, как тяжкое бремя.

Она преследовала его за работой в будни и на охоте по воскресеньям. Любовные муки несколько ослабевали, лишь когда он погружался в огромные фолианты по горному делу, стоявшие на полке в конторе, которые до него никому не приходило в голову даже перелистать.

Разумеется, позднее он понял, что его несчастная любовь также была отличной воспитательницей, но примириться с нею он никогда не смог. Слишком уж тяжелым было это испытание.

Молодая девушка, которую он любил, не была с ним ни холодна, ни приветлива. Так как он не танцевал и не делал никаких попыток сблизиться с нею, она едва ли имела когда-нибудь случай говорить с ним.

Но вот однажды летним вечером молодежь развлекалась танцами в большой зале Крунбеккена, а Шагерстрем, по своему обыкновению, стоял у двери, провожая глазами каждое движение любимой. Вовек не забудет он, как был поражен, когда она в перерыве между танцами подошла к нему.

— Я полагаю, вам, господин Шагерстрем, следует отправиться на покой, — сказала она. — Уже двенадцать часов, а вам ведь вставать в четыре. Мы-то можем спать, сколько нам вздумается, хоть до полудня.

Он немедленно поплелся вон и спустился в контору. Он ведь отлично понимал, что ей надоело смотреть, как он торчит у двери. Она говорила с ним самым дружеским тоном, и лицо у нее было приветливое, но ему и в голову не приходило объяснить ее поступок тем, что она расположена к нему и что ей жалко смотреть, как он утомляет себя, стоя без толку у двери.

В другой раз она с двумя своими кавалерами отправилась на рыбную ловлю. Шагерстрем сидел на веслах. День был знойный, а лодка переполнена, но он тем не менее чувствовал себя счастливым, потому что она сидела на корме, как раз напротив него, и он мог все время любоваться ею.

Когда по возвращении домой они пристали к берегу, Шагерстрем помог ей выйти из лодки. Она весьма любезно поблагодарила его, но тотчас же вслед за этим прибавила, как бы боясь, что он превратно истолкует ее благосклонность:

— Не понимаю, отчего бы вам, господин Шагерстрем, не поступить в горное училище в Фалуне? Ведь не может же сын

президента[105] довольствоваться скромной должностью конторщика.

Ну, разумеется, она заметила, как он в лодке пожирал ее глазами, и поняла, что он боготворит ее. Тяготясь этим, она решила отделаться от него. Он не мог и помыслить истолковать ее слова так, что она интересуется его будущим и, услышав от опекуна, что из Шагерстрема может выйти дельный горнопромышленник, если он получит надлежащее образование, задумала таким путем уменьшить пропасть, разделяющую дочь богатого заводовладельца и скромного конторщика.

Но раз она так пожелала, он тотчас же написал родителям и попросил у них помощи для обучения в горном училище. Он и в самом деле получил то, чего просил. Спору нет, ему куда приятнее было бы принять эти деньги, если бы отец в сопроводительном письме не выразил надежду, что здесь он добьется больше толку, нежели в стокгольмской гимназии, и если бы в каждой строке этого письма не чувствовалась твердая убежденность родителей в том, что ничего путного из него не выйдет, окончи он хоть целый десяток горных училищ. Но позднее он понял, что все это произошло благодаря его счастливой судьбе, которая по-прежнему пеклась о нем, стремясь сделать из него человека.

Во всяком случае, он не мог отрицать, что в горном училище провел время с пользой, что наставники были им довольны и что сам он с жадностью набросился на учение. Он был бы совершенно удовлетворен своим положением, если бы все время не думал о той, которая осталась в Вермланде, и не вспоминал о многочисленных обожателях, увивавшихся вокруг нее.

Когда он наконец прошел двухгодичный курс обучения — и, надо признать, весьма успешно, — опекун его любимой написал ему и предложил место управляющего в Старом Заводе, самом большом и лучшем из ее заводов. Это было превосходное предложение, и, разумеется, гораздо более блестящее, чем мог бы ожидать двадцатитрехлетний юноша. Шагерстрем был бы безмерно счастлив, если бы не понял тотчас же, что за этим предложением стоит она. Он не отважился предположить, что она выказывает ему доверие и хочет дать ему случай отличиться. Нет, предложение опекуна могло означать лишь то, что она самым деликатным образом намерена воспрепятствовать его возвращению в Крунбеккен. Она отнюдь не

настроена к нему враждебно, она охотно желала бы помочь ему, но выносить его присутствие ей не в состоянии.

Он решил уступить ее желанию и, должно быть, никогда более не показавшись бы ей на глаза, если бы перед вступлением в новую должность ему не пришлось заехать в Крунбеккен за инструкциями.

Когда он прибыл в усадьбу, заводчик Фреберг попросил его зайти в господский дом к дамам, поскольку его питомица также желала бы дать ему некоторые наставления.

Он направился в маленькую гостиную, где дамы обыкновенно сидели за рукоделием, и она тотчас же пошла к нему, протянув руки, как обычно встречают человека, по которому сильно стосковались. К ужасу своему, Шагерстрем увидел, что кроме нее в гостиной никого нет. Впервые в жизни они оказались наедине. Уже одно это заставило сердце его забиться сильнее, а тут еще она вдобавок со свойственной ей приветливостью и прямоотой сказала, что в Старом Заводе, где он будет управляющим, есть прекрасный, просторный господский дом, так что теперь он вполне может подумать о женитьбе.

Он не в силах был ответить ни слова, до того больно сделалось ему при мысли, что ей мало удалить его из Крунбеккена, она к тому же хочет принудить его жениться. Ему казалось, что он этого не заслужил. Ведь он никогда не был навязчивым.

Но она продолжала все с той же прямоотой:

— Это лучший из моих заводов. Я всегда мечтала, что буду жить там, когда выйду замуж.

Это было бы вполне ясно кому угодно, но у Шагерстрема с малолетства были более строгие наставники, нежели у других. Он повернулся к двери, чтобы удалиться.

Она опередила его, подошла к дверям и положила руку на задвижку.

— Я столько раз отказывала женихам, — сказала она, — что, должно быть, будет лишь справедливо, если теперь откажут мне.

Он крепко схватил ее за руку, стараясь открыть дверь.

— Не играйте мною, — сказал он. — Для меня это слишком серьезно.

— И для меня также, — ответила она, пристально посмотрев ему в глаза.

И лишь в это мгновение Шагерстрем понял, сколь благосклонна была к нему судьба. Одиночество, тоска, лишения, которыми до сих пор в избытке награждала его жизнь, — все это суждено было ему лишь затем, чтобы теперь невыразимое, нечеловеческое блаженство могло целиком заполнить его душу, в которой не должно было быть места ни для чего другого.

## НАСЛЕДСТВО

Когда Шагерстрем после трехлетнего супружества лишился своей горячо любимой жены, обнаружилось, что она оставила завещание, согласно которому все ее состояние должно было перейти к мужу, в случае если она умрет бездетной прежде него. И после того как был произведен раздел наследства и выплачены небольшие суммы, завещанные престарелым слугам и дальним родственникам, Шагерстрем сделался обладателем огромного состояния.

Когда формальности были закончены, служащие во владениях Шагерстрема облегченно вздохнули. Все были рады тому, что эти многочисленные рудники и заводы по-прежнему будут сосредоточены в одних руках, а то, что хозяином их стал к тому же дельный и знающий горнопромышленник, многие сочли за особую милость провидения.

Но вскоре после того, как Шагерстрем вступил во владение наследством, управляющие, инспекторы, арендаторы, лесообъездчики — словом, все, кто надзирал за его владениями, стали подозревать, что радости от нового хозяина им будет немного. Шагерстрем продолжал жить в Стокгольме, что уже само по себе было неудобно, но с этим можно было бы еще кое-как примириться, если бы он по крайней мере отвечал на письма. Между тем он чаще всего пренебрегал и этим. Нужно было делать закупки кровельного железа и сбывать прутковое. Нужно было составлять контракты на поставки угля и древесины. Необходимо было назначать людей на должности, ремонтировать дома, выплачивать по счетам. Но Шагерстрем не слал ни денег, ни писем. Время от времени он уведомлял, что письмо получено и ответ вскоре последует, но так и не выполнял своих обещаний.

За несколько недель дела пришли в полное расстройство. Одни управляющие бездействовали, скрестивши руки на груди, другие стали действовать на свой страх и риск, что было, пожалуй, еще хуже. Всем стало ясно, что Шагерстрем не тот человек, который способен управлять всем этим огромным богатством.

Больше других досадовал, пожалуй, заводчик Фреберг из Крунбеккена. Шагерстрем всегда был его любимцем, и он многого ждал от него. Как ни глубока была скорбь Фреберга по чудесной,

жизнерадостной юной воспитаннице, которой больше не было на свете, он все же несколько утешался мыслью, что все эти красивые поместья, эти обширные лесные угодья, эти мощные водопады, эти доходные рудники, заводы, кузницы попали в хорошие руки.

Он знал, что Шагерстром превосходно подготовлен для роли крупного промышленника. Первый год супружеской жизни Шагерстром с женой по совету опекуна провели за границей. Из писем, которые они ему слали, Фреберг знал, что они не тратили время на беготню по картинным галереям и осмотр памятников. Нет, эти благомыслящие люди изучали горное дело в Германии, фабричное дело в Англии, сельское хозяйство в Голландии. В этом они были неутомимы. Иной раз Шагерстром жаловался. «Мы проезжаем мимо красивейших мест, — писал он, — но у нас не хватает времени на то, чтобы осмотреть их. Мы озабочены лишь тем, чтобы почерпнуть как можно больше полезных сведений. Это делается по настоянию Дизы. Что до меня, то я, грешный, готов жить только нашей любовью».

В последнее время они обосновались в Стокгольме. Они купили большой особняк, устроились на широкую ногу, жили открыто, без конца принимая гостей. Это также делалось по совету опекуна. Шагерстром был теперь на виду. Он должен был научиться обхождению с самыми важными сановными лицами в государстве, приобрести светский лоск, завязать влиятельные знакомства, заручиться доверием сильных мира сего.

Можно понять, что хотя хозяин Крунбеккена не имел больше никакого касательства к делам Шагерстрема, он все же был весьма ими обеспокоен. Он непременно хотел поговорить с Шагерстромом, спросить, что с ним стряслось, побудить его взяться за дело.

В один прекрасный день он призвал к себе одного из своих конторщиков — молодого человека, который появился в Крунбеккене почти одновременно с Шагерстромом и был его близким другом и приятелем.

— Послушайте, душака Ньюман, — сказал заводчик Фреберг, — с Шагерстромом, должно быть, что-то неладно. Отправляйтесь тотчас же в Стокгольм и привезите его сюда. Возьмите мою карету. Если вернетесь без него, вам будет отказано от места.

Конторщик Ньюман стоял, точно громом пораженный. Места в Крунбеккене он не хотел бы лишиться ни за какие блага в мире.



Собственно, он был весьма способный малый, но до крайности ленивый, а тут ему посчастливилось стать до такой степени необходимым дамской половине семьи хозяина, что он почти совершенно забросил конторскую работу. Он должен был играть в вист со старой госпожой, читать вслух молодым барышням, срисовывать для них узоры, сопровождать их во время верховых прогулок и быть их преданным и послушным кавалером. Без душки Ньюмана не обходилась ни одна увеселительная затея. Он был вполне доволен своей участью и не желал никаких перемен.

Итак, конторщик Ньюман отправился в Стокгольм, чтобы спасти не только Шагерстрема, но и самого себя. Он ехал день и ночь и утром, в восьмом часу, прибыл на место. Он остановился на постоялом дворе, тотчас же заказал лошадей на обратный путь, наскоро позавтракал и отправился к Шагерстрему.

Он позвонил и сказал отворившему дверь лакею, что хочет повидать Шагерстрема. Слуга ответил, что господина Шагерстрема увидеть нельзя. Он ушел со двора.

Конторщик назвал свое имя и просил передать, что послан с важным поручением от заводчика Фреберга. Через час он зайдет опять.

Ровно час спустя Ньюман снова был у Шагерстрема. Он подъехал к дому в карете Фреберга, запряженной свежими лошадьми, с припасами на дорогу, словом, совершенно готовый в обратный путь.

Но в передней его встретил лакей и сказал, что хозяин просил господина Ньюмана пожаловать позднее, так как он будет занят на важном заседании. В голосе слуги Ньюману послышались некоторая принужденность и смущение. Он заподозрил, что лакей обманывает его, и спросил, где будет происходить заседание.

— Господа собрались здесь, в большой зале, — ответил лакей, и Ньюман увидел, что в прихожей и вправду висит множество шляп и пальто.

Недолго думая, он также снял с себя пальто и шляпу и протянул их лакею.

— Надеюсь, в доме найдется комната, где я мог бы подождать, — сказал он. — У меня нет охоты бродить по улицам. Я ехал всю ночь, чтобы прибыть сюда к сроку.

Видно было, что слуга колеблется, впускать ли его, но Ньюман не успокоился, покуда не был введен в небольшой кабинет, находящийся

перед залой.

Вскоре через кабинет прошли два господина, которые должны были присутствовать на заседании. Шедший впереди слуга распахнул перед ними двери. Конторщик Ньюман воспользовался случаем и бросил взгляд внутрь залы. Он увидел множество почтенных сановитых старцев, сидящих вокруг большого стола, заваленного документами. Он заметил также, что все эти документы написаны на гербовой бумаге.

«Что за притча? — удивился он. — Эти бумаги похожи на купчие или закладные. Шагерстром, видно, затевает какое-то большое дело».

Тут же он заметил, что самого Шагерстрема среди сидящих за столом нет.

Что бы это могло значить? Ведь если Шагерстром не принимает участия в заседании, то он мог бы поговорить с ним, Ньюманом.

Наконец из залы в кабинет вышел один из господ. Это был королевский секретарь, которого Ньюман встречал в Крунбеккене в те времена, когда тот в числе других приезжал свататься к богатой невесте. Он поспешил к нему навстречу.

— Ба! да это вы, душка Ньюман... то есть, простите, господин Ньюман, — произнес секретарь. — Рад видеть вас в Стокгольме. Как дела в Крунбеккене?

— Не могли бы вы устроить так, чтобы я смог поговорить с Шагерстромом? — спросил бухгалтер. — Я ехал день и ночь, у меня важное дело, а я никак не могу его повидать.

Секретарь взглянул на часы.

— Боюсь, что вам, господин Ньюман, придется на часок-другой заpastись терпением и подождать, пока не кончится заседание.

— Но о чем же они совещаются?

— Не уверен, что я имею право говорить об этом сейчас.

Конторщик подумал о приятной должности, которую он исправлял при старой госпоже и барышнях, и осмелился высказать дерзкую догадку.

— Я знаю, что Шагерстром намерен сбить с рук все свои владения, — сказал он.

— Вот как! Стало быть, у вас там уже известно об этом, — отозвался секретарь.

— Да, это мы знаем, но нам неизвестно, кто их покупает.

— Покупает! — воскликнул секретарь. — Какое там покупает! Все свое состояние Шагерстрем жертвует на богоугодные дела — в масонский приют, вдовьи кассы [106] и прочее. Однако прощайте, спешу! Я должен буду составить дарственную после того, как господа в зале договорятся об условиях.

Бухгалтер, задыхаясь, разевал рот, точно рыба, выброшенная на берег. Если он приедет домой с этаким вестью, старик Фреберг до того расвирепееет, что он, Нюман, и часу не останется на своей приятной должности в Крунбеккене. Что же делать? Что бы такое придумать?

В тот миг, когда секретарь уже готов был исчезнуть в дверях, Нюман схватил его за рукав.

— Вы не могли бы передать Шагерстрему, что мне непременно надо переговорить с ним? Скажите, что это очень важно. Скажите, что сгорел Старый Завод!

— Да, да, разумеется! Такое несчастье!

Спустя несколько минут в дверях появился маленький, смертельно бледный человек, до крайности исхудалый, с покрасневшими глазами.

— Что тебе надо? — обратился он резко и коротко к Нюману, точно раздосадованный тем, что ему докучают.

Конторщик снова разинул рот от удивления и не в силах был вымолвить ни слова. Боже, что случилось с Шагерстремом! Разумеется, красавцем он не был никогда, но в те времена, когда он бродил в Крунбеккене, томимый любовной тоской, в нем было что-то неуловимо привлекательное. Теперь же Нюман попросту испугался за своего бывшего приятеля.

— Что ты сказал? — снова заговорил Шагерстрем. — Старый Завод сгорел?

Конторщик прибегнул к этой маленькой вынужденной лжи лишь только затем, чтобы встретиться с Шагерстремом. Но теперь он решил покуда в обмане не признаваться.

— Да, — ответил он, — в Старом Заводе был пожар.

— И что же сгорело? Господский дом?

Конторщик Нюман пристальнее взгляделся в Шагерстрема и увидел его потухший взгляд и поредевшие на висках волосы.

«Нет, тут господского дома мало, — подумал он. — Тут требуется основательная встряска!»

— О нет; смею сказать, это было бы еще полбеды.

— Что же тогда? Кузница?

— Нет, сгорел большой старый заводской дом, где жило двадцать семей. Две женщины сгорели заживо, сотня людей лишилась крыши над головой. Те, кто спасся, выбежали в чем мать родила. Ужасная беда. Сам я этого не видел. Меня послали за тобой.

— Управляющий ничего мне об этом не написал, — сказал Шагерстрем.

— А что толку писать тебе? Берьессон прислал нарочного к папаше Фребергу за помощью, но старик решил, что с него довольно. Этим придется тебе самому заняться.

Шагерстрем позвонил, вошел лакей.

— Я тотчас же еду в Верmland! Вели Лундману приготовить карету.

— Позволь! — вмешался Нюман. — Со мною как раз карета Фреберга и свежие лошади; они стоят у крыльца. Переоденься лишь в дорожное платье, и мы можем сию же минуту отправиться в путь.

Шагерстрем готов был уже послушаться его, но внезапно провел рукой по лбу.

— Заседание! — сказал он. — Это очень важно. Я смогу выехать не раньше, чем через полчаса.

Но в расчеты конторщика Нюмана вовсе не входило позволить Шагерстрему подписать дарственную на все свое состояние.

— Да, разумеется, полчаса — не ахти какой большой срок, — сказал он. — Но для тех, кто лежит в осеннюю стужу на голой земле, он может показаться чересчур долгим.

— Отчего они лежат на голой земле? — спросил Шагерстрем. — Есть ведь господский дом.

— Берьессон, должно быть, не решился поместить их туда без твоего позволения.

Шагерстрем все еще колебался.

— Думаю, что Диза Ландберг наверняка прервала бы заседание, получи она подобную весть, — вставил конторщик.

Шагерстрем бросил на него сердитый взгляд. Он вошел в залу и вскоре вернулся.

— Я сказал им, что заседание откладывается на неделю.

— Тогда едем!

Нельзя сказать, что Нюман был особенно приятно настроен, возвращаясь в Вермланд в обществе Шагерстрема. Он терзался мыслью, что солгал о пожаре, и порывался признаться Шагерстрему в своем вынужденном обмане, но не смел этого сделать.

«Если я скажу ему, что никаких сгоревших и бездомных нет, он тотчас же повернет назад в Стокгольм, — думал Нюман, — это у меня единственная зацепка».

Он попытался придать мыслям Шагерстрема иное направление и принялся без устали молотить языком, рассказывая разные разности из быта горнопромышленников. Тут были и меткие, забавные высказывания старых, преданных слуг, и проделки хитроумных углеставщиков, обведивших вокруг пальца неопытных инспекторов, и слухи об открытии богатых залежей руды вблизи Старого Завода, и описание аукциона, на котором обширные лесные угодья пошли с молотка по бросовой цене.

Он не умолкал ни на минуту, точно от этой болтовни зависела его жизнь. Но Шагерстрем, которому, должно быть, показалось, что Нюман слишком уж неуклюже пытается пробудить его интерес к делам, прервал конторщика:

— Я не могу оставить себе это наследство. Я намерен раздать его. Диза не поверила бы, что я о ней скорблю, если бы я его принял.

— Ты должен принять его не как благо, а как крест, — возразил Нюман.

— Я не в силах, — ответил Шагерстрем, и в голосе его было такое отчаяние, что Нюман не решился больше прекословить.

Следующий день прошел так же. Конторщик надеялся, что когда они выедут из города, Шагерстрем несколько приободрится, увидя себя среди полей и лесов, но никаких улучшений в его состоянии не замечалось. Нюман начал не шутя опасаться за своего старого друга.

«Он долго не протянет, — думал конторщик. — Вот только сбудет с рук наследство, а потом ляжет и умрет. Он совершенно убит горем».

И теперь уже не только ради того, чтобы сохранить за собою место в Крунбеккене, но и чтобы спасти от гибели своего друга, он снова попытался придать его мыслям другое направление.

— Подумай обо всех, кто трудился в поте лица, создавая это богатство! — сказал он. — Ты полагаешь, они лишь для себя старались? Нет! Они надеялись, что под началом умелого хозяина дело

приобретет широкий размах и пойдет на пользу всему краю. А ты хочешь все это развеять по ветру. Я убежден, что ты поступаешь не по совести. Мне кажется, ты не имеешь на это права. По-моему, ты сам должен нести свое бремя; твой долг взять на себя заботу о своих владениях.

Он видел, что слова его не оказывают ни малейшего действия, но отважно продолжал:

— Возвращайся к нам в Вермланд и берись за дело. Тебе с твоим умением не пристало каждую зиму развлекаться в Стокгольме, а летом приезжать в заводские имения и бить баклуши. Тебе надо приехать и осмотреть свои владения. Поверь мне, это необходимо!

Он упивался собственным красноречием, но Шагерстрем снова прервал его:

— Что за речи я слышу? Ты ли это, душка Ньюман? — произнес он с легкой иронией.

Лицо конторщика вспыхнуло.

— Да, я знаю, что не мне тебя наставлять, — отозвался он. — Но у меня за душой ни единого эре, так что все пути для меня закрыты. И потому я полагаю, что вправе сделать свою жизнь беззаботной и приятной, насколько это в моих силах. Больше мне ничего не остается. Но будь у меня хоть клочок земли... О, ты убедился бы, что уж я не выпустил бы его из рук.

Утром третьего дня они прибыли на место. Они въехали в господскую усадьбу Старого Завода в шесть часов. Солнце весело сияло на желтых и ярко-красных кронах деревьев. Небо было ослепительно синее. Маленькое озеро позади усадьбы сверкало, точно стальной клинок под утренней туманной дымкой.

Ни один человек не вышел им навстречу. Кучер отправился на задний двор искать конюха, и конторщик воспользовался случаем, чтобы повиниться перед Шагерстремом.

— Тебе незачем спрашивать Берьессона о пожаре! Никакого пожара не было. Просто мне необходимо было что-то придумать, чтобы привезти тебя сюда. Фреберг пригрозил, что откажет мне от места, если я вернусь без тебя.

— Да, но как же сгоревшие, бездомные? — спросил Шагерстрем, который не мог так сразу отрешиться от этой мысли.

— Да их и не было вовсе, — в полном отчаянии признался конторщик. — Что мне оставалось делать? Я принужден был солгать, чтобы помешать тебе раздарить свое имущество.

Шагерстром посмотрел на него холодно и безразлично.

— Разумеется, ты сделал это из добрых побуждений. Но все это бесполезно. Я возвращаюсь в Стокгольм, как только запрягут свежих лошадей.

Конторщик вздохнул и промолчал. Делать было нечего. Игра была проиграна.

Тем временем вернулся кучер.

— На дворе ни одного работника не видать, — сказал он. — Я встретил какую-то бабу, так она говорит, что управляющий и все фабричные на лосиной охоте. Загонщики вышли со двора в четыре часа и так, видать, торопились, что конюх даже корму задать лошадям не успел. Извольте послушать, как они топочут...

И вправду, из конюшни доносились звуки глухих ударов: это голодные животные били копытами.

Слабая краска выступила на щеках Шагерстрема.

— Будьте добры, засыпьте корму коням, — обратился он к кучеру и дал ему денег на выпивку.

С пробудившимся интересом он огляделся вокруг.

— Доменная печь не дымит, — сказал он.

— Домна погашена впервые за тридцать лет, — ответил Нюман. — Руды нет. Что тут будешь делать? Берьессон, как видишь, отправился на охоту со всеми своими людьми, и я его понимаю.

Шагерстром покраснел еще больше.

— И кузница не работает? — спросил он.

— Наверняка. Кузнецы ходят в загонщиках. Но тебе-то что за дело? Ты ведь все это отдаешь.

— Разумеется, — уклончиво ответил Шагерстром. — Мне до этого никакого дела нет.

— Теперь это все перейдет к господам из правления масонского приюта, — сказал конторщик.

— Разумеется, — повторил Шагерстром.

— Не хочешь ли войти? — спросил Нюман, направляясь к господскому дому. — Сам понимаешь, охотники сегодня поднялись на

заре, и завтрак подали рано, так что служанки и стряпухи спят после трудов праведных.

— Не надо будить их, — сказал Шагерстрем. — Я еду немедленно.

— Эй! — воскликнул Ньюман. — Гляди, гляди!

Раздался выстрел. Из парка выбежал лось. Он был ранен, но продолжал бежать. Передняя нога у него была перебита и волочилась по земле.

Спустя минуту из парка выскочил один из охотников. Он прицелился и свалил лося метким выстрелом. Животное с жалобным стоном рухнуло на землю в двух шагах от Шагерстрема.

Стрелок приближался медленно и словно бы нерешительно. Это был высокий, молодцеватого вида человек.

— Это капитан Хаммарберг, — пояснил Ньюман.

Шагерстрем поднял голову и пристально посмотрел на долговязого охотника.

Он тотчас же узнал его. Это был тот самый краснолицый, белокурый офицер, который имел столь удивительную власть над женщинами, и все они боготворили его, хотя им было известно, что он мошенник и негодяй. Шагерстрем никогда не мог забыть, как этот субъект волочился за Дизой, когда она была на выданье, как он точно околдовал ее, и она позволяла ему сопровождать ее на прогулках, кататься с ней верхом, танцевать с ней.

— Как смеет этот мерзавец являться сюда! — пробормотал он.

— Ты ведь не можешь ему этого запретить, — ответил Ньюман далеко не ласковым тоном.

Воспоминания нахлынули на Шагерстрема. Этот самый капитан, который каким-то образом догадался о его любви к богатой наследнице, мучил его, издевался над ним, похвалялся перед ним своими гнусными проделками, как бы для того, чтобы Шагерстрему было еще горше от мысли, что у Дизы Ландберг будет такой муж. Он стиснул зубы и помрачнел еще больше.

— Подойдите же, черт возьми, и добейте зверя! — крикнул он капитану.

Затем он повернулся к нему спиной и вошел в дом, громко хлопнув дверью.



Управляющий Беръессон и другие охотники также вернулись из парка. Управляющий узнал Шаггерстрема и поспешил к нему. Шаггерстрем окинул его ледяным взглядом.

— Я не упрекаю вас в том, что доменная печь погашена, что кузница не работает, а лошади не кормлены. Моя вина тут не меньше вашей, господин управляющий. Но то, что вы позволили этому мерзавцу Хаммарбергу охотиться на моей земле — ваша вина. И потому вы сегодня же получите расчет.

После этого Шаггерстрем принял на себя управление всеми своими владениями. И прошло немало времени, прежде чем у него снова возникла мысль отказаться от них.

# ДИЛИЖАНС

## I

Когда Шагерстрем покидал пасторскую усадьбу после вторичного сватовства, ему было вовсе не до смеха. За день до этого он уезжал отсюда воодушевленный, ибо полагал, что встретил натуру гордую и бескорыстную. Теперь же, после того как Шарлотта Левеншельд обнаружила свою низость и расчетливость, он ощутил вдруг глубокую подавленность. Огорчение его было столь велико что он начал догадываться, что девушка произвела на него гораздо более сильное впечатление, нежели он доселе подозревал.

— Черт возьми, — бормотал он, — если она оправдала мои надежды, то я, чего доброго, влюбился бы в нее.

Но теперь, когда ему стал ясен истинный нрав Шарлотты, об этом не могло быть и речи. Само собой, он принужден жениться на ней, но он себя знает. Полюбить интриганку, женщину вероломную и своекорыстную он не сможет никогда.

В этот день Шагерстрем ехал в небольшой карете, в которой обычно совершал дальние поездки. Внезапно он опустил кожаные шторы на окнах.

Назойливое солнце и поля с выставленными точно напоказ огромными скирдами утомляли его взор.

Но теперь, когда ему больше не на что было смотреть, в полутьме кареты то и дело возникало пленительное видение. Он видел Шарлотту, стоящую в дверях и глядящую на молодого Экенстедта. Едва ли чье-нибудь человеческое лицо могло излучать такую любовь. Это видение снова и снова вставало перед его взором, и в конце концов он вышел из себя.

— Будь ты неладна! Корчила из себя ангела небесного, а десять минут спустя дала согласие на брак с богачом Шагерстремом!

Можно себе представить, что недовольство Шагерстрема собой все росло. Он вспоминал о том, как глупо вел себя во всей этой истории, и глубоко презирал себя за это. Поверить в девушку только

ради ее хорошеньких глазок! Боже, какая глупость, какое легковерие! Да и вся затея со сватовством была непростительно безрассудной. Неужто правы были его родители? Неужто у него и впрямь нет ни капли ума? Во всяком случае, в этой истории он вел себя достаточно нелепо и опрометчиво.

Вскоре ему стало казаться, что приключившееся с ним несчастье послано ему в наказание за то, что он изменил памяти умершей жены и вновь задумал вступить в брак. Именно поэтому ему теперь предстоит соединиться с женщиной, которую он не может ни любить, ни уважать.

Прежняя глубокая скорбь снова пробудилась в нем. И он понял, что в этой скорби его прибежище, его истинный удел. Жизнь с ее заботами и превратностями была ему поистине в тягость.

На этот раз Шагерстрем направлялся инспектировать свои рудники и заводы. Ему предстояло просмотреть отчеты управляющих, проверить, в порядке ли тяжелые молоты в закопченных кузницах с зияющими горнами, решить, сколько угля и кровельного железа потребуется закупить на следующую зиму.

Это была, следовательно, сугубо деловая поездка. Он предпринимал такие поездки каждое лето и никогда не откладывал их. Спустя несколько часов он прибыл в Старый Завод, где управляющим был теперь его добрый друг Хенрик Ньюман. Можно понять, что как он, так и его жена, которой стала одна из милых барышень Фреберг из Крунбеккена, приняли его наилучшим образом.

Здесь его встречали со всем радушием, не как грозного хозяина, а как товарища и друга юности.

Шагерстрем едва ли мог попасть в более заботливые руки, но меланхолия, овладевшая им в дороге, не исчезала. По правде говоря, Старый Завод был отнюдь не тем местом, куда ему следовало отправиться после новой помолвки. Каждая тропинка в парке, каждое дерево в аллее, каждая скамья у дома, казалось, хранили память о нежных словах и ласках, которыми они обменивались с женой. Здесь она все еще жила, юная, прелестная, сияющая. Он мог видеть ее, слышать ее. Как же так вышло, что он изменил ей? Есть ли на земле другая женщина, достойная занять ее место в его сердце?

Разумеется, его подавленность не укрылась от взора хозяев. Они не могли понять, чем он так удручен, но раз он сам с ними не делился, то и они не стали приставать к нему с расспросами.

Старый Завод находился всего лишь в нескольких милях от Корсчюрки, и вести о сватовстве Шагерстрема и обо всех событиях, с ним связанных, неизбежно должны были дойти сюда. И, таким образом, управляющий и его жена вскоре поняли причину его меланхолии.

— Он раскаивается, и совершенно напрасно! — говорили они друг другу. — Шарлотта Левеншельд была бы ему прекрасной женой. Она живо излечила бы его от вечного уныния и задумчивости.

— Мне очень хотелось бы поговорить с ним, — сказала фру Нюман. — Я знаю Шарлотту с давних пор и уверена, что все эти рассказы о ее двоедушии и корыстолюбии — сплошная выдумка. Шарлотта — сама честность.

— Я бы на твоём месте не стал вмешиваться в это дело, — посоветовал ей муж. — Взгляд у Шагерстрема снова погас, как тогда, шесть лет назад, когда я хитростью увез его из Стокгольма. Говорить с ним сейчас опасно.

Молодая женщина вняла совету мужа и сумела воздержаться от вмешательства, пока Шагерстрем оставался у них в доме. Но в пятницу вечером, когда ревизия была окончена и гость должен был на другое утро покинуть их, она не смогла больше совладать со своим добрым, участливым сердцем.

«Просто бесчеловечно отпускать его в таком унынии я грусти, — подумала она. — Зачем ему чувствовать себя несчастным, если для этого нет никаких причин?»

И наиделикатнейшим образом, словно бы по чистой случайности, завела она за ужином разговор о Шарлотте Левеншельд. Она рассказала множество историй, ходивших в округе о молодой девушке. Она не забыла и о щелчке в нос, которым Шарлотта наградила экономку пасторши, и о том нашумевшем случае, когда она свалилась в церкви со скамьи. Она рассказала о сахарнице, о скачках на пасторских лошадях и о многом другом. Ей хотелось, чтобы у Шагерстрема сложилось впечатление о гордой, жизнерадостной, сумасбродной, но при всем том умной и преданной женщине. Что до его сватовства к Шарлотте, то она делала вид, будто даже не подозревает о нём.

Но вдруг, в самый разгар убедительной речи фру Нюман в защиту своей подруги, Шагерстрем вскочил с места и далеко отшвырнул от

себя стул.

— Это очень мило с твоей стороны, Бритта, — сердито промолвил он. — Я понимаю, ты хочешь утешить меня, позолотить пилюлю. Но я-то предпочитаю смотреть правде в глаза. И раз я оказался столь бесчувственным, что забыл о ДIZE и задумал жениться вновь, то будет только справедливо, если в жены мне достанется лицемерка и интриганка, каких свет не видывал.

Выкрикнув эти слова, Шагерстрем бросился вон из комнаты. Испуганные хозяева услышали, как он хлопнул дверью в передней и выбежал во двор.

Шагерстрем бродил в густом лесу, раскинувшемся к востоку от Старого Завода. Он блуждал здесь уже несколько часов, сам не сознавая, где находится.

И прежние замыслы, похороненные шесть лет назад, снова стали пробуждаться в его душе. Это богатство, бремя которого он влечит, его крест, его несчастье, — почему бы не избавиться от него?

Он подумал, что Бритта Нюман, быть может, была до известной степени права. Шарлотта не хуже других. Просто она оказалась не в силах устоять перед соблазном. Так для чего же ему вводить людей в соблазн? Почему не раздать свои богатства? С тех пор как он принял наследство, неслыханная удача сопутствовала ему. Он почти удвоил свое состояние. Тем больше причин избавиться себя от этого непосильного бремени.

И вот еще что! Таким путем он, быть может, сумеет избежать и новой женитьбы. Фрекен Шарлотта Левеншельд не пожелает, наверно, идти замуж за бедняка.

Он блуждал во тьме, спотыкался, падал, останавливался, не находя выхода в густых зарослях, как не находил его в собственной душе.

Наконец он выбрался на широкую, покрытую щебнем дорогу и понял, где находится. Это был большой почтовый тракт на Стокгольм, пересекавший Старый Завод с востока.

Он зашагал по дороге. Не было ли это знамением свыше? Нет ли некоего смысла в том, что он вышел на Стокгольмский тракт в ту самую минуту, когда решил раздать свои богатства?

Он ускорил шаги. Он не собирался возвращаться в Старый Завод. Он не желал пускаться ни в какие объяснения. Деньги у него с собою

есть. Он сможет нанять лошадей на ближайшем постоялом дворе.

Карабкаясь на высокий холм, Шагерстрем услышал позади себя стук экипажа. Он обернулся и разглядел в полутьме большую карету, запряженную тройкой лошадей. Стокгольмский почтовый дилижанс! Еще один знак! Теперь он быстро доберется до Стокгольма.

Здесь, в Вермланде, никто и оглянуться не успеет, как он вновь созовет заседание, прерванное шесть лет назад, и выдаст дарственную на все свои владения.

Он остановился, поджидая дилижанс. Когда карета поравнялась с ним, он закричал:

— Эй, стойте, погодите! Есть у вас свободное место?

— Место-то есть! — закричал в ответ фореитор. — Да только не для всяких бродяг.

Дилижанс продолжал свой путь, но на вершине холма остановился. Когда Шагерстрем нагнал карету, фореитор поклонился и снял шапку.

— Кучер уверяет меня, что узнал по голосу господина Шагерстрема.

— Да, это я.

— Тогда пожалуйста в карету, господин заводчик. Там только две дамы.

## II

Любой здравомыслящий человек должен согласиться с тем, что старым, почтенным людям, заботящимся о своей репутации, не совсем удобно признаваться в подглядывании через оконце в столовой и в отыскивании выброшенных в печку писем. Неудивительно поэтому, что пасторская чета ничего не сказала Шарлотте о своих открытиях.

Но, с другой стороны, не желая признаваться в своих тайных проделках, они в то же время не могли допустить, чтобы девушка и дальше сидела в буфетной за своей утомительной работой. Едва только карета полковницы Экенстедт отъехала от ворот, как пасторша заглянула к Шарлотте.

— Знаешь что, душенька моя? — сказала она, расплывшись в благожелательной улыбке. — Когда я увидела отъезжающую карету

полковницы, я подумала, до чего приятно было бы прокатиться куда-нибудь в такую славную погоду. Ведь у меня в Эребру есть старушка сестра, с которой я не виделась целую вечность. Она наверняка рада будет, если мы ее навестим.

Шарлотта слегка изумилась в первую минуту, но она только что ощущала на своих щеках маленькие мягкие руки полковницы и слышала ее торопливый шепот. Можно понять, что мир показался ей теперь совсем иным.

Ехать куда угодно — именно это больше всего пришлось бы ей сейчас по душе. Обрадовалась она и тому, что пасторская чета снова благоволит к ней. Весь остаток дня она была весела, как птичка, болтала без умолку, напевала. Шарлотта, казалось, позабыла и о своей отвергнутой любви и о ненавистных пересудах.

Они наспех собрались в дорогу и в десять часов вечера уже стояли у ворот, поджидая стокгольмский дилижанс, который должен был проехать мимо.

Любой человек почувствовал бы дорожную лихорадку, завидев громоздкую желтую карету, запряженную тройкой свежих лошадей, которых только что сменили в деревне, заслышав веселый перестук колес, звон упряжи, щелканье кнута и радостное пение почтового рожка. Шарлотта же была вне себя от радости.

— Ехать! Ехать! — восклицала она. — Я могла бы ехать день и ночь вокруг света!

— Ну, девочка, ты бы скоро утомилась, — возразила пасторша. — Впрочем, кто знает? Может, это твое желание сбудется гораздо раньше, чем ты думаешь.

Места были заказаны на постоялом дворе, и дилижанс остановился, чтобы взять пассажиров. Форейтор, который не решался выпустить вожжи, оставался на козлах и оттуда приветливо сказал дамам:

— Добрый вечер, госпожа пасторша! Добрый вечер, барышня! Пожалуйте в карету. Места хватит. Там нет ни единого пассажира.

— Вот как! — воскликнула веселая старушка. — И вы думаете нас этим обрадовать? Ну нет, мы предпочли бы увидеть в карете парочку красивых кавалеров, чтоб было с кем поамурничать.

Присутствующие — кучер, форейтор и обитатели усадьбы, которые все, кроме Карла-Артура, вышли проводить отъезжающих, —

разразились громким хохотом. Затем пасторша, веселая и довольная, уселась в правом углу. Шарлотта поместилась рядом с нею, фореитор затрубил в рожок, и карета тронулась.

Некоторое время пасторша и Шарлотта продолжали болтать и шутить, но вскоре случилось нечто в высшей степени досадное: старушка уснула. Шарлотта, которой хотелось еще поговорить, попыталась разбудить ее, но безуспешно.

«Ну да, у нее был тяжелый день, — подумала девушка. — Не мудрено, что она утомилась. Но как жаль! Нам было бы так весело! А вот я могла бы болтать хоть всю ночь».

По правде говоря, ей было чуточку страшно оставаться наедине со своими мыслями. Надвигалась темнота. Карета ехала густым лесом. Недовольство и сомнения дожидались своего часа, готовые накинуться на Шарлотту.

После нескольких часов езды она услышала, что какой-то путник окликнул дилижанс. Спустя короткое время дилижанс остановился, и новый пассажир, поднявшись в карету, сел на переднюю скамью как раз напротив Шарлотты. Несколько минут в карете не слышно было ничего, кроме ровного дыхания спящих людей. Первым побуждением Шарлотты было прикинуться спящей, чтобы не вступать в беседу с Шагерстромом. Но после нескольких минут растерянности ее озорной нрав снова дал себя знать. Какой превосходный случай! Его нельзя упускать. Быть может, с помощью какой-нибудь хитрой проделки ей удастся заставить Шагерстрема отказаться от брака с нею. А если она к тому же сыграет с ним шутку, то это, уж верно, ничему не повредит.

Шагерстром, который все еще пребывал в глубочайшем унынии, вздрогнул, услышав голос из противоположного угла кареты. Он не мог видеть сидящего и различал во тьме лишь светлый овал лица.

— Прошу прощения! Но мне показалось, что фореитор назвал имя Шагерстрема. Неужто вы тот самый заводовладелец Шагерстром из Озерной Дачи, о котором я столь много слышала?

Шагерстром почувствовал легкое раздражение оттого, что был признан, но отрицать этого не мог. Он приподнял шляпу и пробормотал несколько слов, которые могли означать все что угодно.

Из темноты послышался голос:

— Любопытно было бы узнать, как чувствует себя человек, обладающий таким богатством. Я никогда прежде не бывала в



обществе миллионщика. Мне, верно, не подобает оставаться на своем месте, в то время как господин Шагерстрем сидит спиной к движению. Я охотно поменяюсь с вами.

Попутчица говорила льстивым, масляным голоском, чуть пришепетывая. Если бы Шагерстрему когда-либо довелось иметь дело с жителями Корсчюрки, он тотчас понял бы, что перед ним жена органиста, фру Тея Сундлер. Как бы то ни было, он сразу решил, что никогда в жизни не слышал более несносного и деланного голоса.

— Нет, нет, ни в коем случае! — запротестовал он. — Сидите себе!

— Я, видите ли, приучена к тяготам и неудобствам, — продолжал голос, — и ничего со мною не станется, если я займу место похуже. Но вы-то, господин заводчик, должно быть, привыкли сидеть на золоченых стульях и есть на золотом блюде золотой вилкой!

— Позвольте вам заметить, милостивая государыня, — сказал Шагерстрем, который начал сердиться не на шутку, — что большую часть своей жизни я спал на соломе и ел деревянной ложкой из оловянной миски. У меня был хозяин, который однажды, разозлясь, так оттаскал меня за волосы, что я после собрал целые клочья и набил ими подушку. Вот какая была у меня перина!

— Ах, как романтично! — воскликнул угодливый голосок. — Как удивительно романтично!

— Прошу прощения, милостивая государыня, — возразил Шагерстрем, — это вовсе не романтично, но это было полезно. Это помешало мне сделаться болваном, за которого вы меня как будто принимаете.

— Ах, что вы говорите, господин заводчик! Болваном! Могу ли я в моем положении считать болваном миллионера! Мне просто любопытно узнать, как чувствует и мыслит столь высокопоставленное лицо. Могу ли я спросить, что вы ощутили, когда счастье наконец улыбнулось вам? Не почувствовали ли вы... ну, как бы это сказать... не почувствовали ли вы себя на седьмом небе?

— На седьмом небе! — повторил Шагерстрем. — Я охотно бы отказался от всего, если б мог!

Шагерстрем надеялся, что женщина в углу кареты поймет, что он не в духе, и прекратит разговор. Но льстивый, масляный голосок неутомимо продолжал:

— Как чудесно, что богатство не попало в недостойные руки. Как чудесно, что добродетель была вознаграждена.

Шагерстром промолчал. Это был единственный способ уклониться от обсуждения его персоны и его богатства.

Дама в углу кареты, должно быть, поняла, что была чересчур назойливой. Но она не умолкла, а лишь переменила тему разговора.

— Подумать только! И теперь вы, господин заводчик, намерены вступить в брак с этой гордячкой Шарлоттой Левеншельд.

— Что такое? — вскричал Шагерстром.

— О, простите! — произнес голос еще более льстиво и вкрадчиво, чем прежде. — Я человек маленький и не привыкла общаться с сильными мира сего. Я, быть может, выражаюсь не так, как должно, но что поделаешь, если слово «гордячка» так и просится на язык, когда я заговариваю о Шарлотте. Впрочем, не стану более употреблять его, если оно вам не по вкусу, господин заводчик!

Шагерстром издал нечто вроде стога. Дама в углу могла при желании принять это за ответ.

— Я понимаю, что вы, господин Шагерстром, сделали свой выбор по зрелом размышлении. Говорят, господин заводчик всегда тщательно обдумывает и взвешивает свои действия. Надеюсь, так было и с этим сватовством. А впрочем, я хотела бы спросить, известно ли вам, господин заводчик, что на самом деле представляет собой эта гор... о, простите, эта красивая и очаровательная Шарлотта Левеншельд? Говорят, вы, господин заводчик, до своего сватовства не обменялись с нею ни единым словом. Но тогда вы, верно, каким-либо иным способом удостоверились, что она вполне достойна быть хозяйкой Озерной Дачи.

— Вы хорошо осведомлены, милостивая государыня, — сказал Шагерстром. — Вы, верно, принадлежите к близким знакомым фрекен Шарлотты?

— Я имею честь быть близким другом Карла-Артура Экенстедта, господин Шагерстром.

— А, вот как! — отозвался Шагерстром.

— Но вернемся к Шарлотте. Простите, что я говорю вам это, но вы не кажетесь счастливым, господин Шагерстром. Я слышала, как вы вздыхаете и стонете. Быть может, вы, господин заводчик, раскаиваетесь в том, что дали согласие на брак с этой... ну, как бы

сказать... безрассудной молодой девушкой? Надеюсь, подобное выражение не коробит господина Шагерстрема? Слово «безрассудная» ведь может означать все что угодно. Да, я знаю, Шагерстремы не берут назад данного слова, но пастор и пасторша — люди справедливые. Они должны бы вспомнить, что им самим пришлось вытерпеть от Шарлотты.

— Пастор и пасторша весьма привязаны к своей питомице.

— Скажите лучше, что они поразительно терпеливы, господин Шагерстрем! Этак будет вернее! Вообразите, господин Шагерстрем, у пасторши была когда-то превосходная экономка, но Шарлотте она пришлась не по нраву. Она щелкнула ее по носу в самый разгар предрождественских хлопот, и бедняжка, не стерпев обиды, отказалась от места. И вот несчастной тетушке Гине, больной и старой, пришлось самой заняться приготовлениями к рождеству.

Шагерстрем недавно слышал эту же историю, только рассказанную на иной лад, но не счел нужным возражать.

— И вообразите, господин Шагерстрем, пастор, который до такой степени любит своих лошадей, что...

— Я знаю, она устроила скачки на них, — прервал Шагерстрем.

— И вам это не кажется ужасным?

— Мне говорили, что животные застоялись в конюшне и чуть не погибли.

— А вы слышали, как она обошлась со своей свекровью?

— Это когда она перевернула сахарницу? — спросил Шагерстрем.

— Да, когда она перевернула сахарницу. Я полагаю, что особа, которая станет хозяйкой Озерной Дачи, должна уметь вести себя за столом.

— Совершенно верно, сударыня.

— Вы ведь не хотели бы, чтобы ваша жена отказывалась принимать ваших гостей?

— Разумеется, нет.

— Но тогда вы очень рискуете, женясь на Шарлотте. Подумайте только, что она натворила в Хольме у камергера Дункера! Она должна была сидеть рядом с капитаном Хаммарбергом на званом обеде, но заявила, что не желает этого. Она сказала, что скорее предпочтет вообще уехать домой. Вы, должно быть, слышали, господин Шагерстрем, что репутация у капитана Хаммарберга не из лучших, но

у него есть свои хорошие стороны. Я сама говорила с капитаном по душам и знаю, как несчастлив он оттого, что не может встретить женщину, которая поняла бы его и поверила бы в него. Как бы там ни было, но ведь не Шарлотте его судить, и раз его принимает сам камергер, то ей вовсе не подобает выражать недовольство.

— Что до меня, — сказал Шагерстрем, — то я не намерен приглашать к себе в дом капитана Хаммарберга.

— Возможно, возможно, — произнес голос. — Тогда дело иное. Я вижу, что господин Шагерстрем привязан к Шарлотте гораздо больше, нежели я предполагала. Это весьма благородно, это истинно рыцарски. Вы, господин заводчик, верно, берете под свою защиту всякого, кого преследует худая слава. Но в душе-то, я полагаю, вы вполне согласны со мной. Вы, господин Шагерстрем, знаете, что брак между лицом, занимающим столь высокое положение, и столь безрассудной особой, как Шарлотта, совершенно немыслим.

— Так вы полагаете, сударыня, что я с помощью пастора и пасторши могу... Но нет, это невозможно!

— Невозможно другое! — возразил масляный голос самым вкрадчивым тоном. — Невозможно жениться на опозоренной женщине.

— Опозоренной?

— Простите, но вы, верно, ничего не знаете, господин заводчик. Вы так добросердечны! Карл-Артур Экенстедт рассказал мне, как вы поручились за Шарлотту. И хотя вы убедились, что обвинения справедливы, вы все-таки взяли ее под свою защиту. Но не все такие, как вы. Полковница Экенстедт вчера и сегодня гостила в пасторской усадьбе. Она отказалась видеть Шарлотту. Она не пожелала даже спать с ней под одной крышей.

— В самом деле? — спросил Шагерстрем.

— Да, — ответил голос. — Это истинная правда. И знайте, господин Шагерстрем, что некоторые мужчины были настолько возмущены поведением Шарлотты, что решили устроить кошачий концерт около ее дома, как это обычно делают упсальские студенты, когда они недовольны каким-нибудь профессором.

— Ну и что дальше?

— Молодые люди собрались у пасторской усадьбы и подняли шум, но им помешали. Это сделал Карл-Артур. В ту ночь у него во

флигеле спала его мать. Она не потерпела бы подобного скандала.

— А иначе молодой Экенстедт, разумеется, не вмешался бы?

— Об этом я судить не смею. Но в интересах справедливости, господин Шагерстрем, я надеюсь, что молодые люди вернутся следующей ночью. И я надеюсь, что слепец Калле долго еще будет ходить по округе и распевать сложенную про нее песню. Ее сочинил капитан Хаммарберг, и она довольно занятна. Ее поют на мелодию песенки «По небу месяц плывет». Услышав эту песню, господин Шагерстрем, вы поймете, что вам невозможно жениться на Шарлотте Левеншельд.

Внезапно рассказчица умолкла. Шагерстрем забарабанил в стенку дилижанса, желая, как видно, дать кучеру знак остановиться.

— В чем дело, господин заводчик? Вы собираетесь выйти?

— Да, милостивая государыня, — ответил Шагерстрем. Он был так же разъярен, как и несколько часов назад, когда Бритта Нюман попыталась заговорить с ним о Шарлотте. — Не вижу иного пути избавиться от выслушивания клеветы на девушку, которую я уважаю и на которой намерен жениться.

— *Ах, что вы! Я вовсе не хотела...*

Карета остановилась. Шагерстрем рванул дверцу и вышел.

— Понимаю, что вы не хотели! — сказал он гневно и с громким стуком захлопнул дверь.

Он подошел к форейтору, чтобы расплатиться.

— Вы уже покидаете нас, господин Шагерстрем? — сказал форейтор. — Дамы, верно, будут недовольны. Когда пасторша садилась в карету, она была на меня в претензии за то, что там не было кавалеров.

— Пасторша! — удивился Шагерстрем. — Какая пасторша?

— Да пасторша из Корсчюрки. Разве вы не побеседовали с попутчицами и не узнали, что в карете едут пасторша и фрекен Левеншельд?

— Шарлотта Левеншельд! — повторил Шагерстрем. — Так это была Шарлотта Левеншельд!

Было уже далеко за полночь, когда Шагерстрем вернулся в Старый Завод. Управляющий Нюман и его жена еще не ложились. Они в большой тревоге дожидались возвращения Шагерстрема и уже

подумывали о том, чтобы послать людей на розыски. Оба в волнении ходили по аллее, когда он наконец появился.

Они увидели коренастую, несколько приземистую фигуру на фоне ночного неба и узнали Шагерстрема, но им все еще не верилось, что это он. Человек, который приближался к ним, весело напевал старинную народную песенку.

При виде их он расхохотался.

— Да ложитесь вы спать! Завтра все расскажу. Но вы были правы. Тебе, Ньюман, придется готовиться в дорогу. Утром ты отправишься в инспекционную поездку вместо меня. Сам же я должен завтра вернуться в Корсчюрку.

## ОГЛАШЕНИЕ

### I

В субботу утром Шагерстрем появился в пасторской усадьбе. Он хотел поговорить с пастором о начавшемся преследовании Шарлотты и посоветоваться о том, как лучше положить ему конец. По правде говоря, приезд его пришелся как нельзя более кстати. Бедный старик был вне себя от возмущения и тревоги. Пять тонких морщин, пересекающих его лоб, снова ярко рдели.

Этим же утром его посетили трое господ из деревни — аптекарь, органист и коронный фогт. Они явились единственно за тем, чтобы от своего имени и от имени всей общины просить пастора удалить Шарлотту из своего дома.

Аптекарь и коронный фогт держали себя весьма учтиво. Видно было, что им не по душе подобная миссия. Но органист был в высшей степени раздражен. Он говорил громко и запальчиво, совершенно забыв о почтении к своему духовному пастырю.

Он заявил пастору, что если Шарлотта и впредь будет оставаться в его доме, то это может повредить ему во мнении паствы. Мало того, что она постыдно обманула своего жениха; мало того, что она уже не однажды вела себя самым неподобающим образом, — ко всему этому она вчера набросилась на его жену, которая, разумеется, никак не ожидала, что с ней может приключиться что-либо худое в этом почтенном доме, где она была гостьей.

Пастор сразу же объявил им, что фрекен Левеншельд останется у него в доме, пока его старая голова еще держится на плечах. С тем посетители вынуждены были удалиться. Но легко понять, сколь неприятна была вся эта история миролюбивому старику.

— Трезвону этому конца не видно, — сказал он Шагерстрему. — Всю неделю мне не дают покоя. И можете не сомневаться, господин заводчик, что органист не отступится. Сам-то он весьма безобидный малый, но его подстрекает жена.

Шагерстрем, который сегодня был в наилучшем расположении духа, попытался было успокоить старика, но безуспешно.

— Уверяю вас, господин заводчик, что во всей этой истории Шарлотта виновна не более, чем новорожденный младенец, и я, разумеется, и не подумаю отсылать ее из своего дома. Но мир в общине, господин заводчик, мир, который я оберегал целых тридцать лет, теперь будет нарушен.

Шагерстрем понял, что старик опасается, как бы не пошли прахом его многолетние старания сохранить мир в общине. И он начал серьезно сомневаться в том, что у старого пастора достанет сил и мужества устоять перед новыми домогательствами прихожан.

— По правде говоря, — сказал Шагерстрем, — до меня также дошли толки о начавшемся гонении на фрекен Левеншельд. Я и приехал сегодня затем, чтобы посоветоваться с вами, господин пастор, о том, как положить этому конец.

— Вы умный человек, господин заводчик, — ответил старик, — но я сомневаюсь, сумеете ли вы обуздать злые языки. Нет, нам остается лишь молча готовиться к самому худшему.

Шагерстрем пытался возразить ему, но старый пастор повторил все тем же унылым тоном:

— Надо готовиться к самому худшему... Ах, господин заводчик, если бы вы с Шарлоттой были уже повенчаны!.. Или хотя бы оглашение было сделано!

При этих словах Шагерстрем вскочил со стула.

— Что вы сказали, господин пастор? Вы полагаете, что оглашение помогло бы?

— Разумеется, помогло бы, — ответил старик. — Если бы в приходе знали наверняка, что Шарлотта станет вашей женой, ее оставили бы в покое. По крайней мере она могла бы тогда находиться у меня в доме до свадьбы, и никто не проронил бы ни слова. Уж таковы люди, господин заводчик. Они не дерзнут оскорблять тех, кого ожидают богатство и власть.

— В таком случае я предлагаю, чтобы оглашение было сделано завтра утром, — сказал Шагерстрем.

— Весьма благородная мысль, господин заводчик, но это невозможно. Шарлотта в отъезде, а у вас ведь нет с собою необходимых бумаг.



— Бумаги находятся у меня в имении, и их можно привезти. И, как вам известно, господин пастор, фрекен Шарлотта положительно обещала мне свою руку. Кроме того, ведь вы ее опекун, и от вас зависит дать согласие на ее брак.

— Нет, нет, господин заводчик! Не будем принимать поспешных решений.

И старик перевел разговор на другое. Он показал Шагерстрему несколько наиболее редких экземпляров растений из своей коллекции и рассказал о том, как ему удалось их раздобыть. Он снова сделался оживлен и разговорчив. Он, казалось, позабыл обо всех своих огорчениях.

Но затем он опять вернулся к предложению Шагерстрема.

— Оглашение ведь еще не венчание. Если Шарлотта будет недовольна, то вовсе не обязательно венчаться.

— Речь идет лишь о вынужденной мере, — сказал Шагерстрем, — к которой мы прибегнем для того, чтобы восстановить мир в общине и прекратить оскорбления и клевету. Я, разумеется, не намерен тащить фрекен Шарлотту к алтарю против ее воли.

— Да, да, кто знает? — проговорил пастор, должно быть вспомнив о письме, которое он прочел без спросу. — Должен вам сказать, господин заводчик, что Шарлотта — девица с норовом. Так что для нее самой было бы лучше, если б эта история прекратилась. А не то в дальнейшем она, пожалуй, не удовольствуется парой отрезанных локонов.

Они долго еще обсуждали это дело.

Размышляя об оглашении, они все больше убеждались, что оно было бы наилучшим выходом из всех затруднений.

— Убежден, что старуха моя тоже согласилась бы с этим, — сказал пастор, который под конец преисполнился самых радужных надежд.

Шагерстрем же думал о том, что едва только будет сделано оглашение, он получит право сделаться защитником Шарлотты. И уж тогда он, разумеется, не потерпит никаких кошачьих концертов и хулигельных песен.

Впрочем, нельзя забывать и о том, что, уверившись после разговора в дилижансе в бескорыстии Шарлотты, Шагерстрем

воспылал к ней самыми нежными чувствами, так что шаг, который он намерен был предпринять, был соблазнителен и для него самого.

Разумеется, он не признавался в этом даже себе. Он был убежден, что действует исключительно по необходимости. Впрочем, так всегда бывает с влюбленными, и именно потому следует смотреть сквозь пальцы на все их безрассудства.

Итак, было решено, что оглашение состоится в церкви на следующий день. Шагерстром уехал и привез необходимые бумаги, а пастор собственноручно написал текст оглашения.

Когда все было готово, Шагерстром почувствовал огромное удовлетворение. Ему отнюдь не казалось неприятным, что имя его будет прочитано с церковной кафедры рядом с именем Шарлотты.

«Заводовладелец Густав Хенрик Шагерстром и благородная девица Шарлотта Левеншельд. Весьма внушительно» — подумал он. Ему захотелось послушать, как эти слова прозвучат в церкви, и он решил отправиться завтра в Корсчюрку, чтобы присутствовать на богослужении.

## II

В это воскресенье, в день первого оглашения, Карл-Артур Экенстедт сказал весьма замечательную проповедь. Впрочем, этого и следовало ожидать после бурных событий, происшедших с ним за последнюю неделю. Хотя может статься, что именно эти события — разрыв с невестой и новая помолвка — усугубляли впечатление, производимое его словами.

Согласно сегодняшнему тексту проповеди, он должен был говорить о лжепророках, от которых Христос предостерегал своих учеников. Но он чувствовал, что эта тема не созвучна тому состоянию, в котором он теперь находился. Охотнее он стал бы говорить о тщете земных привязанностей, о пагубном влиянии богатства и благе бедности. Он ощущал потребность стать еще ближе к своим слушателям, обнажить перед ними душу, открыть всю глубину своей любви к ним и тем самым добиться их доверия.

Мучимый сомнениями, он трудился всю неделю, но не сумел сочинить такую проповедь, как ему хотелось бы. Он проработал всю

последнюю ночь, но без всякого проку. Когда наступило время отправляться в церковь, проповедь еще не была готова, и, чтобы окончательно не оконфузиться, он вырвал из старого сборника проповедей несколько страниц, касавшихся сегодняшней темы, и сунул их в карман.

Но когда он, стоя на кафедре, начал читать из Евангелия, в голове у него возникла мысль, которая показалась ему необычной и заманчивой. Он понял, что она была внушена ему Богом.

— Возлюбленные мои слушатели! — начал он. — Сегодня я пришел сюда, чтобы во имя божье предостеречь вас от лжепророков, но вы, должно быть, мыслите в сердце своем: достоин ли говорящий с нами быть нашим учителем? Что ведаем мы о нем? Быть может, он всего лишь терновник, на котором не расти винограду, либо репейник, с которого не собрать смоквы. Кто разуверит нас в этом? Посему, возлюбленные слушатели, хочу я поведать вам, какими путями вел меня господь, дабы сделать из меня провозвестника слова божья.

И молодой пастор с глубоким душевным волнением стал рассказывать прихожанам о своей судьбе. Он рассказал им о том, как в годы обучения в университете прилагал все усилия, чтобы сделаться знаменитым ученым. Он описал казус с неудавшимся латинским сочинением, возвращение домой, ссору с матерью, примирение с ней и поведал о том, как все эти события привели его к знакомству с Понтусом Фриманом.

Он говорил чрезвычайно тихо и робко, и никто не мог усомниться в искренности каждого его слова. Быть может, его звенящий от волнения голос более всего пленял слушателей. Уже после первых фраз все притихли и сидели, не сводя взора с проповедника.

И, как бывает всегда, когда человек говорит с людьми просто и открыто, они потянулись к нему и с этого часа дали ему место в своих сердцах. Бедняки из лесных домишек, богачи из заводских усадеб поняли, что он доверился им, дабы приобрести их доверие.

Он продолжал рассказывать о первых своих несмелых попытках последовать Христу. Он описал свадебный бал в доме своих родителей, когда, опьяненный мирскими радостями, он принял участие в танцах.

— После той ночи, — сказал он, — в душе моей много недель царил тьма. Я чувствовал, что предал Спасителя. Я не сумел стать

столь же бдительным и мужественным, как он. Я оказался рабом мирских радостей. Мирские соблазны одержали надо мной верх. Небо никогда не станет моим уделом.

Некоторые слушатели столь живо представили себе описываемые им терзания, что не смогли удержаться от слез. Они были целиком во власти человека, стоявшего на церковной кафедре. Они чувствовали, страдали и боролись вместе с ним.

— Мой друг Фриман, — продолжал пастор, — пытался утешить меня и помочь мне. Он сказал мне, что спасение мое — в любви к Богу, но я не мог возвыситься душой настолько, чтобы возлюбить Господа. Я был привязан к сотворенному Им миру больше, нежели к Создателю.

И вот, когда я совсем уже впал в отчаяние, однажды ночью я увидел Христа. Я не спал. Все эти дни и ночи сон не шел ко мне. Но картины, подобные тем, что видишь во сне, часто проходили перед моими глазами. Я знал, что они вызваны крайней усталостью, и не обращал на них внимания.

Но вдруг передо мной возникло видение, ясное и отчетливое, которое никак не исчезало.

Я увидел озеро с голубыми сверкающими водами и большую толпу людей на берегу. Посреди толпы стоял человек с длинными кудрявыми волосами и глубокими, печальными глазами. Он что-то говорил окружающим его людям, и, едва увидя его, я понял, что это Христос. Тут к Христу подошел юноша, низко поклонился и задал Ему вопрос. Я не мог слышать его слов, но знал, что он — тот самый богатый юноша, о котором говорится в Евангелии, и что он спрашивает учителя, что должен он сделать, дабы обрести жизнь вечную.

Я видел, что Иисус говорил с юношей, и знал, что Он ответил юноше, что ему следует блюсти десять божьих заповедей. Юноша еще раз поклонился Учителю и с облегчением рассмеялся. И я знал, что он ответил, что это он сохранил от юности своей.

Но Иисус обратил на него долгий и испытующий взгляд и произнес еще несколько слов. И на этот раз я также знал, что Он сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое, и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, и следуй за мной». Тогда юноша отвернулся от Иисуса и

пошел прочь, и я знал, что он опечален, ибо у него было богатое имение.

Но когда богатый юноша пошел своей дорогой, Иисус посмотрел ему вслед долгим взглядом.

И в этом взгляде прочел я столько сострадания и столько любви! Ах, возлюбленные мои слушатели, столько небесной святости прочел я в этом взгляде, что сердце мое радостно забилося и свет вернулся в мою омраченную душу. Я вскочил, я хотел сам кинуться к Нему и сказать, что люблю Его превыше всего на свете. Весь мир стал мне вдруг безразличен. Я жаждал лишь одного — следовать своему Учителю. Но лишь только я шевельнулся, видение исчезло. Но не исчезло воспоминание о Нем, мои друзья и слушатели.

На другой день я пришел к своему другу Понтусу Фриману и спросил его, чего требовал от меня Иисус? Ведь у меня нет богатого имения. И он ответил, что Иисус, верно, желает, чтобы я пожертвовал Ему славой и почестями, которые принесет мне моя ученость, и сделался одним из ничтожных и смиренных слуг Его.

И тогда я все бросил и стал священником, дабы говорить с людьми о Христе и любви к Нему.

Но вы, мои слушатели, молитесь за меня, ибо я, как и все вы, принужден жить в этом мире, полном соблазнов. И они будут прельщать меня, как и всех вас. И я страшусь и трепещу, как бы соблазны сии не отвратили моей души от Бога и не превратили меня в одного из лжепророков.

Он сложил руки и, казалось, в одно мгновение увидел перед собою все искушения и опасности, которые подстерегали его, и мысль о своей слабости вызвала у него слезы. Волнение овладело им до такой степени, что он не в силах был продолжать проповедь. Он лишь произнес «аминь» и, опустившись на колени, стал молиться.

В церкви послышались громкие всхлипывания. Одна эта короткая проповедь сразу же сделала Карла-Артура всеобщим любимцем. Все эти люди, собравшиеся в церкви, готовы были носить его на руках, они готовы были пожертвовать собою ради него так же, как он пожертвовал собою ради Спасителя.

Но как ни велико было впечатление от его слов, оно никогда не произвело бы столь потрясающего действия, если бы сразу же вслед за проповедью не последовало чтение текстов оглашения.

Сперва молодой священник прочел несколько незнакомых имен, на которые никто не обратил внимания. Но вдруг все увидели, как он чуть побледнел и приблизил к глазам листок бумаги, чтобы увериться в том, что не ошибся. Затем он продолжал читать, понизив голос, словно не желая, чтобы его слышали.

«Ныне делается первое оглашение освященного христианской церковью союза между заводовладельцем Густавом Хенриком Шагерстромом из поместья Озерная Дача и благородной девицей Шарлоттой Адрианой Левеншельд, имеющей жительство в пасторской усадьбе. Оба принадлежат к сей общине.

Да пребудет с ними счастье и да снизойдет на них благословение Создателя, по воле которого свершился этот союз».

Напрасно молодой пастор понизил голос. В мертвой тишине, наступившей в церкви, было слышно каждое слово.

Это было мерзко.

Шагерстром и сам понимал, до чего это мерзко. Человек, отринувший все мирские соблазны, чтобы стать смиренным слугою божьим, читал вслух о том, что женщина, которую он любил, выходит замуж за одного из богатейших людей в стране. Это было мерзко. Человек, который целых пять лет был женихом Шарлотты; человек, который еще в прошлое воскресенье носил на пальце ее кольцо, читал о том, что она готова вступить в новый брак.

Людям было стыдно смотреть друг другу в глаза. Смущенные, они покидали церковь.

Шагерстром чувствовал это сильнее, нежели кто-либо другой.

Он сохранял внешнее спокойствие, но про себя думал, что не удивился бы, если бы люди стали плевать ему вслед или закидали бы его камнями.

И этим он хотел помочь Шарлотте!

Шагерстром часто казался себе глупым и нелепым, но ни разу еще это чувство не было в нем столь сильно, как в то воскресенье, когда он шел через широкий проход к дверям церкви.

### III

В первую минуту Шагерстрем намеревался написать Шарлотте, объяснить все и попросить у нее прощения. Но вскоре он понял, что такое письмо написать будет несказанно трудно. Вместо этого он велел заложить карету и отправился в Эребру. От пастора Форсиуса он узнал имя старой дамы, к которой уехали погостить пасторша и Шарлотта. Утром в понедельник он явился к ней в дом и попросил разрешения поговорить с Шарлоттой.

Он тотчас же сообщил Шарлотте о своем необдуманном поступке. Он не пытался оправдываться, а рассказал лишь, как все произошло.

Можно сказать, что Шарлотта поникла, точно раненная насмерть. Чтобы не упасть, она опустилась в маленькое низкое креслице и замерла в неподвижности. Она не стала осыпать его упреками. Ее боль была слишком сильна и свежа.

До сих пор она могла утешаться мыслью, что когда Карл-Артур с помощью полковницы переменит свое мнение о ней и примирится с нею, честь ее будет восстановлена и недруги ее поймут, что речь шла всего лишь об обычной размолвке между влюбленными. Но теперь, когда в церкви было сделано оглашение о ней и Шагерстреме, все будут убеждены, что она и впрямь собиралась выйти замуж за богатого заводовладельца. Отныне ей неоткуда ждать помощи. Объяснить ничего невозможно. Она навеки опозорена и навсегда останется в глазах людей вероломной, корыстолюбивой интриганкой.

У нее появилось жуткое чувство, будто ее, точно узницу, ведут неизвестно куда. Она делает все, чего хотела бы избежать, и способствует всему, что хотела бы предотвратить. Это было какое-то наваждение. Объяснить этого нельзя было. С того дня, когда Шагерстрем впервые посватался к ней, она больше не властна была в своих поступках.

— Но кто вы такой, господин Шагерстрем? — внезапно спросила она. — Почему вы постоянно оказываетесь на моем пути? Почему я не могу избавиться от вас?

— Кто я такой? — повторил Шагерстрем. — Я скажу вам, кто я такой, фрекен Левеншельд. Я самый безмозглый болван из всех, какие ходили когда-либо по божьей земле.

Он сказал это с такой искренней убежденностью, что слабая тень улыбки появилась на лице Шарлотты.

— С того самого дня, когда я увидел вас, фрекен, в церкви, на пасторской скамье, я хотел помочь вам и сделать вас счастливой. Но я принес вам лишь горе и страдания.

Слабая улыбка уже исчезла с лица Шарлотты. Она сидела бледная и неподвижная, безвольно опустив руки. Взгляд, устремленный в пространство, казалось, не мог видеть ничего, кроме ужасного несчастья, которое навлек на нее Шагерстрем.

— Я твердо обещаю вам, фрекен Шарлотта, не допустить второго оглашения в следующее воскресенье, — сказал Шагерстрем. — Вы ведь знаете, фрекен, что оглашение не имеет законной силы, пока не будет прочитано три воскресенья подряд с одной и той же кафедры.

Шарлотта слабо махнула рукой, точно говоря, что теперь это уже не имеет значения. Репутация ее загублена, и ее уже не спасти.

— И я обещаю вам, фрекен Левеншельд, не появляться больше на вашем пути, пока вы сами меня не позовете.

Он пошел к двери. Но он хотел сказать ей еще кое-что. Это потребовало от него, пожалуй, больше самоотверженности, нежели что-либо иное.

— Я хочу лишь добавить, — сказал он, — что теперь я начинаю понимать вас, фрекен Левеншельд. Я был несколько удивлен тем, что вы до такой степени любите молодого Экенстедта, что ради него готовы были вынести клевету и травлю. Потому что я ведь понимаю: вы заботились только о нем. Но вчера, услышав его проповедь, я понял, что его следует оберегать. Он призван для великих дел.

Шагерстрем был вознагражден. Она взглянула на него. Щеки ее чуть порозовели.

— Благодарю, — сказала она, — благодарю за то, что вы поняли меня.

Затем она снова погрузилась в безнадежное отчаяние. Ему больше нечего было делать здесь. Он отвесил глубокий поклон и вышел из комнаты.



## АУКЦИОН

Говорят, что нет худа без добра, и если применить эту поговорку к Шарлотте Левеншельд, то следует признать, что несчастья и преследования придали ей то очарование, какого ей не доставало, чтобы сделаться истинной красавицей. Глубокая грусть навсегда избавила ее от несколько чрезмерной ребячливости и резвости. Она придала спокойное достоинство голосу, чертам, движениям Шарлотты. Печаль придали ее глазам тоскливый блеск; в них вспыхнул тот трогательный, тревожный огонь, который говорит об утраченном счастье. Где бы ни появилось это печальное, очаровательное юное существо, оно неизменно будило в людях участие, сострадание, симпатию.

Во вторник утром Шарлотта и пасторша возвратились из Эребру, и в тот же день в пасторскую усадьбу явилась молодежь из близлежащего завода в Хольме. Эти милые юноши и девушки были преданными друзьями Шарлотты и так же, как жена управляющего из Старого Завода, отказывались верить в ее вероломство. Им достаточно было лишь одного взгляда на нее, чтобы понять, насколько глубоко ее горе. Они не задавали ей никаких вопросов, не позволили себе ни единого намека по поводу предстоящей свадьбы, а старались лишь обходиться с ней как можно мягче и бережнее.

Собственно говоря, явились они отнюдь не с поздравлениями, а совсем с иной целью. Но, увидев, как несчастна Шарлотта, они долго не решались начать разговор.

Тем не менее мало-помалу выяснилось, что они хотели рассказать об Элин Матса-торпаря — той самой, у которой было родимое пятно на лице и десять братишек и сестреночек мал мала меньше. Нынче рано утром она пришла в Хольму к их матери с жалобой на то, что ее маленьких братьев и сестер хотят раздать с аукциона.

Элин Матса-торпаря и ее семья жили нищенством. Что же еще оставалось делать беднягам? Но приходским властям стала надоедать эта голодная орава, которая христарадничала по дворам. И тогда приходский совет задумал устроить торги и раздать детей по рукам. Был объявлен своего рода аукцион, в котором могли принять участие те, кто хотел взять к себе в дом одного или нескольких детей.

— Вашей милости известно, небось, как бывает на таких аукционах, — говорила девушка. — Только и глядят, как бы сплавить ребят к тем, кто соглашается взять их подешевле. А об том, чтоб за детьми догляд был да чтобы растили их как надо, никому и дела нет.

Бедная девушка, которая до сих пор одна была в ответе за всю эту ораву, совершенно обезумела от горя. Она говорила, что на этих аукционах детей чаще всего берут бедняки-торпари, которым нужны даровые пастухи для коз и овец либо даровая прислуга в помощь недужной хозяйке. Ее ребятишкам придется гнуть спину наравне со взрослыми батраками, миловать аукционных детей никто не станет. Им придется отрабатывать свой хлеб. Самой младшей девочке всего три года, и она не сможет ни скот пасти, ни по дому помогать. А уж коль от нее не будет никакого проку, ее просто-напросто уморят голодом.

Больше всего Элин сокрушалась из-за того, что дети будут раскиданы по чужим домам. Сейчас меж ними такая дружба и привязанность, но через несколько лет они не станут узнавать ни ее, ни друг друга. А кто станет приучать их к честности и правдивости, которые она до сих пор пыталась им прививать?

Хозяйку Хольмы крайне растрогали жалобы бедной девушки, но помочь ей она ничем не могла. В домах мастеровых вокруг Хольмы и без того было много детишек, о которых ей приходилось заботиться. Но все же она послала двух своих дочерей на этот аукцион, который должен был происходить в помещении приходского совета, чтобы знать, в чьи руки попали бедные ребятишки.

Когда барышни из Хольмы пришли в приходский совет, аукцион только что начался. На скамье в глубине комнаты сидели дети; старшая сестра держала на коленях трехлетнюю девочку, а остальные жались к ней. Они не кричали и не жаловались, лишь непрерывный тихий плач доносился из этого угла. Они были до того исхудалые и оборванные, что, казалось, хуже быть уже не может, но то, что ожидало их, представлялось им верхом несчастья. У стен сидела деревенская голытьба, которая обычно собирается на подобных аукционах. Лишь посредине, за председательским столом, можно было видеть кое-кого из власть имущих — несколько владельцев зажиточных усадеб, двух-трех заводчиков, в обязанности которых входило надзирать за тем,

чтобы аукцион проходил как должно и чтобы дети попали к добропорядочным и хорошо известным в округе людям.

Старший из детей, худой и долговязый мальчонка, стоял на столе, выставленный на всеобщее обозрение. Аукционист расхваливал его, говоря, что он годится и в пастухи и в лесорубы, и какая-то женщина, судя по платью очень бедная, подошла к столу, чтобы поближе разглядеть мальчика.

Внезапно дверь отворилась, и вошел Карл-Артур Экенстедт. Он остановился на пороге, оглядел комнату, а затем воскликнул, воздев руки к небу:

— О Боже, отврати от нас взор свой! Не смотри на то, что здесь происходит!

Затем он подошел к отцам прихода, сидящим за председательским столом.

— Прошу вас, братья во Христе, — сказал он, — не совершайте столь великого греха! Не продавайте людей в рабство!

Все присутствующие были крайне смущены его словами. Бедная женщина поспешно отошла от стола к дверям. Приходские тузы смущенно заерзали на скамье. Впрочем, их, казалось, скорее коробило неуместное вмешательство пастора в приходские дела, нежели их собственное поведение. Наконец один из них поднялся с места.

— Это решение приходского совета, — сказал он.

Молодой пастор, прекрасный как Бог, стоял перед ними, откинув голову, с горящими глазами. Видно было, что никакие приходские советы не остановят его.

— Я прошу заводчика Арона Монссона прекратить аукцион.

— Вы ведь слышали, доктор Экенстедт, аукцион назначен по решению приходского совета.

Карл-Артур, пожав плечами, отвернулся от Монссона. Он положил руки на плечо мальчика, стоящего на столе.

— Я беру его, — сказал он. — И за цену, ниже которой никто не сможет назначить. Я беру его под свою опеку, не требуя за это никакого возмещения у прихода.

Заводчик Арон Монссон вскочил с места, но Карл-Артур даже не удостоил его взглядом.

— Выкликать нет больше надобности, — сказал он аукционисту, — я беру всех детей разом и за ту же цену.

Тут все вскочили с мест. Лишь Элин Матса-торпаря и ее питомцы продолжали сидеть, не понимая, что происходит. Заводчик Арон Монссон пытался возражать.

— Выходит, будет все та же волынка, — сказал он. — Мы ведь затеяли этот аукцион, чтобы покончить с вечным попрошайничеством.

— Дети больше не будут побираться.

— Кто поручится нам за это?

— Христос, который сказал: «Пусть дети придут ко мне». Он поручится за малых сих.

Во всем облике молодого пастыря было столько властной силы и величия, что могущественные заводчики не нашлись, что ответить.

Карл-Артур приблизился к детям:

— Ступайте отсюда! Бегите домой! Я взял вас на свое попечение.

Они не смели двинуться с места. Тогда Карл-Артур взял младшую девочку на руки и вышел с нею из помещения приходского совета. Остальные дети гурьбой ринулись за ним.

Никто не остановил их. Многие из присутствующих, сконфуженные и смущенные, уже разошлись.

Но когда сестры вернулись домой в Хольму и рассказали обо всем матери, она заявила, что нужно сделать что-нибудь, чтобы помочь молодому пастору и его многочисленным питомцам.

Хозяйка Хольмы решила, что следует собрать денег на детский приют, и за этим-то и явились теперь ее дочери в пасторскую усадьбу.

Когда рассказ был окончен, Шарлотта поднялась и, плача, вышла из комнаты.

Она поспешила к себе наверх, чтобы там упасть на колени и возблагодарить Бога.

То, о чем она так долго мечтала, теперь сбылось. Карл-Артур предстал теперь истинным пастырем, вожаком своих прихожан, ведущим их по божьей стезе.

## ТРИУМФ

Спустя несколько дней пасторша Форсиус заглянула однажды утром к мужу, который сидел за письменным столом.

— Ну-ка, старик, зайди под каким-нибудь предлогом в столовую. Увидишь кое-что приятное.

Пастор тотчас же поднялся с места. Он вошел в столовую и увидел там Шарлотту, сидевшую с вышиванием за столиком у окна.

Она не работала, а сидела, сложив руки на коленях, и смотрела через окно на флигель, в котором жил Карл-Артур. В этот день посетители неиссякаемым потоком шли к флигелю, и именно это привлекло ее внимание.

Пастор сделал вид, что ищет свои очки, которые преспокойно лежали у него в комнате. Одновременно он поглядывал на Шарлотту, которая с мягкой улыбкой следила за тем, что происходит около флигеля. Слабый румянец окрасил ее щеки, в глазах светился тихий восторг. Ею и впрямь можно было залюбоваться. Заметив пастора, она сказала:

— Весь день идут люди к Карлу-Артуру.

— Да, — сухо откликнулся старик. — Ни на минуту не оставляют его в покое. Скоро, видно, мне самому придется вести записи в церковных книгах.

— Только что пришла дочь Арона Монссона. Принесла бочонок масла.

— Как видно, для его приемных детей.

— Все любят его, — сказала Шарлотта. — Я знала, что когда-нибудь это должно произойти.

— Что ж, когда человек молод и красив, ему нетрудно заставить женщин проливать слезы.

Но эти слова не омрачили восторга Шарлотты.

— Только что к нему приходил кузнец из Хольмы. Он из сектантов. А вы ведь знаете, дядюшка, что это за народ. В церковь и носу не кажут, а обычных священников и слушать не хотят.

— Да что ты! — воскликнул не на шутку заинтересованный старик. — Неужто ему удалось сдвинуть с места эти каменные глыбы? По правде говоря, моя девочка, я не уверен, что из него выйдет толк.

— Я думаю о полковнице, — сказала Шарлотта. — Как бы она была счастлива, если бы видела это!

— Едва ли она мечтала именно о таком успехе для сына.

— Люди становятся лучше рядом с ним. Я видела, как некоторые, выходя от него, плакали и утирали глаза. Муж Марии-Луизы также был здесь. А вдруг Карл-Артур поможет ему! Ведь это было бы чудесно, не правда ли?

— Разумеется, девочка моя. Но лучше всего то, что тебе доставляет удовольствие сидеть здесь у окна и смотреть на этих людей.

— Я придумываю за них слова, с которыми они обращаются к Карлу-Артуру, и мне чудится, будто я слышу его ответы.

— Ну что ж, это прекрасно. Но знаешь ли? Очки-то, должно быть, у меня в комнате.

— Не случись этого, все происшедшее просто не имело бы никакого смысла. Я не была бы вознаграждена за то, что пыталась защитить его. Но теперь я понимаю, в чем тут суть.

Старик поспешил выйти из комнаты.

Девушка растрогала его до слез.

— Господи, что нам делать с нею? — бормотал он. — Ей-богу, она скоро лишится рассудка.

Если Шарлотта упивалась триумфом Карла-Артура все дни недели, то во сто крат большую радость испытала она, когда наступило воскресенье.

В это утро все дороги были забиты народом, точно во время королевского визита. Люди шли и ехали непрерывным потоком. Ясно было, что слухи о совершенно новом стиле проповедей молодого пастора, о его страстной и сильной вере уже распространились по всему приходу.

— В церкви не поместится столько народу, — сказала пасторша. — И стар и млад ушли из дому. Все усадьбы оставлены без призора; как бы пожара не было.

Пастор чувствовал смутное недовольство. Он понимал, что Карл-Артур дал новый толчок религиозным чувствам, и не имел бы ничего против этого, если бы был убежден, что молодому пастору удастся и впредь поддерживать зажженный им огонь. Но, чтобы не огорчить

Шарлотту, пребывавшую в совершенном экстазе, он ничего не говорил о своих опасениях.

Старики отправились в церковь, но, разумеется, о том, чтобы Шарлотта сопровождала их, не могло быть и речи. С субботней почтой Шарлотта получила короткую записку от полковницы с просьбой потерпеть и не открывать правды еще несколько дней и, следовательно, не могла воспользоваться предложением Шагерстрема приостановить оглашение. Пасторская чета опасалась, что прихожане, боготворящие Карла-Артура, позволят себе какую-либо грубую выходку по отношению к Шарлотте, и потому девушку оставили дома.

Но едва лишь экипаж исчез за углом, Шарлотта надела шляпку и мантилью и направилась в церковь. Она не могла противиться желанию послушать проповедь Карла-Артура в новом стиле, привлекавшем к нему сердца всех прихожан. Не могла она также отказать себе в удовольствии быть свидетельницей всеобщего обожания, окружавшего Карла-Артура.

Ей удалось протиснуться на одну из самых задних скамей, и она сидела, едва дыша от волнения, пока он не появился на кафедре.

Она удивилась тому непринужденному тону, каким он заговорил с собравшимися в церкви людьми. Казалось, он беседует с задушевными друзьями. Он не употреблял ни единого слова, которое могло оказаться непонятным этим простым людям, он делился с ними своими трудностями и заботами, точно ища у них помощи и совета.

В этот день Карл-Артур должен был рассказать притчу о вероломном управителе усадьбы. Шарлотта испугалась за него, ибо текст этот был чрезвычайно труден. Она часто слышала, как многие пасторы жаловались на то, что смысл притчи темен и труднодоступен. Начало и конец не вязались между собою. Краткость этой притчи являлась скорее всего причиной того, что звучала она малопонятно в нынешние времена. Шарлотта никогда не слышала хоть сколько-нибудь удовлетворительного ее толкования. Некоторые пасторы опускали начало притчи, другие опускали последнюю часть, но никто из них никогда не умел придать ей ясность и связность.

Разумеется, все остальные думали примерно то же самое. «Он наверняка отойдет от текста, — думали люди. — Он не справится с ним. Он поступит так же, как в прошлое воскресенье».

Но молодой пастор с величайшим мужеством и уверенностью взялся за эту трудную тему и сумел придать ей смысл и ясность. В порыве вдохновения он сумел возратить притче ее первоизданную красоту и глубину. Так бывает, когда мы, стерев вековую пыль со старинной картины, оказываемся перед истинным шедевром.

Слушая Карла-Артура, Шарлотта все более и более поражалась.

«Откуда у него все это? — думала она. — Это не его слова. Сам Бог говорит его устами».

Она видела, что даже старый пастор сидит, приставив ладонь к уху, чтобы не пропустить ни единого слова. Она видела, что внимательнее всего слушают проповедника пожилые люди, обычно наиболее глубокомысленные и серьезные. Она знала, что теперь уже никто не скажет, будто Карл-Артур — дамский проповедник и будто красивая внешность способствует его успеху.

Все было великолепно. Шарлотта была счастлива. Она чувствовала, что никогда еще жизнь ее не была так полна и прекрасна, как в эти часы.

Самое поразительное в проповеди Карла-Артура было, пожалуй, то, что слова его дарили людям покой и забвение всех их страданий. Они чувствовали на себе мудрую и благодатную власть его духа. Души их не испытывали страха, они преисполнялись восторгом. Многие из них давали в сердце своем обеты, которые они затем постараются неукоснительно выполнять.

Но самое сильное впечатление прихожане получили в этот день не от проповеди Карла-Артура, хоть она и была прекрасна, и не от оглашения, которое за ней последовало. Слова, касавшиеся Шарлотты, были выслушаны при неодобрительном ропоте, но ведь все знали о них заранее. Самое удивительное произошло после богослужения.

Шарлотта хотела уйти из церкви тотчас же после проповеди, но ей не удалось выбраться из толпы, и она принуждена была остаться до конца службы. Когда прихожане затем постепенно потянулись к выходу, она хотела опередить их, но не смогла. Никто не уступал ей дороги. Никто не говорил ей ни слова — ее просто не замечали.

Она вдруг почувствовала, что окружена врагами. Все ее знакомые старались избежать встречи с нею. Лишь одна женщина подошла к ней. Это была ее отважная сестра, докторша Ромелиус.



Пробравшись наконец к выходу из церкви, женщины остановились в дверях.

Они увидели, что на песчаной дорожке перед церковью собралась группа молодежи. Мужчины держали в руках букеты из репейника, увядшей листвы и жухлой травы, наскоро собранные ими у церковной ограды. Они явно намеревались вручить все это Шарлотте и поздравить ее с новой помолвкой. Долговязый капитан Хаммарберг стоял впереди всех. Он слыл в приходе самым злым и острым на язык человеком. Капитан откашлялся, приготовившись к приветственной речи.

Прихожане тесным кольцом окружили молодых людей. Они с радостью готовы были слушать, как станут поносить и позорить девушку, которая изменила своему возлюбленному ради богатства и золота. Они заранее хихикали. Уж Хаммарберг-то ее не пощадит.

Докторша явно испугалась. Она потянула сестру обратно в церковь, но Шарлотта отрицательно покачала головой.

— Это не имеет значения, — сказала она. — Теперь больше ничего не имеет значения.

Итак, они медленно приближались к группе молодых людей, которые поджидали их, придав лицам деланно дружелюбное выражение.

Но вдруг к сестрам подбежал Карл-Артур. Он проходил мимо, заметил их затруднительное положение и бросился им на помощь. Он предложил руку старшей сестре, приподняв шляпу, обернулся к молодым людям, легким жестом показал, что им лучше отказаться от своего намерения, и благополучно вывел обеих женщин на проезжую дорогу.

Но в том, что он, оскорбленный, взял Шарлотту под свою защиту, было нечто неслыханно благородное.

Это-то и было самым сильным впечатлением, полученным прихожанами в то воскресенье.

## **ОБВИНИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ ПРОТИВ БОГА ЛЮБВИ**

В понедельник утром Шарлотта отправилась в деревню, чтобы поговорить со своей сестрой, докторшей Ромелиус. Докторшу, как и многих Левеншельдов, крайне интересовало все сверхъестественное. Она рассказывала, как встречала на улице, среди бела дня, давно умерших людей, и верила в самые жуткие истории о привидениях. Шарлотта, девушка совсем иного склада, прежде лишь посмеивалась над ее болезненным воображением, но теперь она все же решила посоветоваться с ней относительно загадок, над которыми размышляла в последнее время.

После скандального происшествия у церкви в молодой девушке снова пробудились мысли о собственной злосчастной участи. И снова, как тогда в Эребру, когда Шагерстром рассказал об оглашении, она почувствовала себя во власти каких-то неведомых чар. Она была околдована. Ей чудилось, что ее преследует какое-то грозное, злонамеренное существо, которое отняло у нее Карла-Артура и которое все еще продолжает насыпать на нее новые беды.

Шарлотта, которая в эти дни постоянно ощущала слабость и какую-то необъяснимую усталость, брела медленно, понуриив голову. Люди, встречавшиеся ей на пути, думали, должно быть, что она терзается угрызениями совести и стыдится смотреть им в глаза.

С трудом дотащиась она до деревни и брела теперь вдоль высокой живой изгороди, окружавшей сад органиста. Вдруг садовая калитка отворилась, кто-то вышел из сада на дорогу.

Невольно Шарлотта подняла голову. Это был Карл-Артур. Волнение ее при мысли о встрече с ним здесь, без свидетелей, было столь велико, что она замерла на месте. Но он не успел дойти до нее; кто-то позвал его назад из глубины сада.

В последнее время погода переменилась. Не было больше ясных, безоблачных дней, какие стояли в течение всего лета. Короткие бурные ливни выпадали в любое время дня, и фру Сундлер, которая заметила, что над лесистым склоном показалась туча и на землю упало

несколько капель дождя, выбежала в палисадник с большим плащом своего мужа, чтобы предложить его Карлу-Артуру.

Когда Шарлотта проходила мимо калитки, Тея Сундлер как раз помогала ему надевать плащ. Они находились в каких-нибудь двух шагах от девушки, и она не могла не видеть их. Фру Сундлер застегивала плащ на молодом пасторе, а он смеялся своим мальчишеским смехом, забавляясь тем, что она так тревожится за него.

Тея Сундлер казалась довольной и радостной, и во всей этой сцене не было ровно ничего предосудительного. Но Шарлотту, которая увидела, как Тея Сундлер опекает Карла-Артура, точно она была ему матерью или женой, вдруг осенила догадка.

«Она любит его», — подумала девушка.

Она поспешила прочь, чтобы не смотреть дальше, но не переставала твердить про себя:

«Разумеется, она любит его. И как же это я раньше не догадалась! Этим все и объясняется. Оттого-то она и разлучила нас».

Ей тотчас же стало ясно, что Карл-Артур ни о чем не догадывается. Он, верно, занят мыслями о своей красивой далекарлийке. Разумеется, он теперь все вечера проводит в доме органиста, но его, должно быть, более всего влекут сюда красивое пение и музыка, которыми его здесь потчуют. К тому же ему надо ведь и поговорить с кем-нибудь, а Тея Сундлер — старый друг их семьи.

Собственно говоря, можно было ожидать, что открытие, сделанное Шарлоттой, опечалит или испугает ее, но этого не произошло. Напротив, она подняла голову, ее поникшие плечи распрямились, и в осанке ее снова появились обычная гордость и независимость.

«Стало быть, это Тея Сундлер виновница всех бед, — подумала она. — Ну, с ней-то я могу справиться».

Она чувствовала себя, точно больной, который наконец понял, каким недугом страдает, и уверен, что сможет найти против него средство. Она вновь преисполнилась надежды и уверенности.

— А я-то думала, что это злосчастный перстень снова навлекает на нас беду! — бормотала она про себя.

Ей вспомнилось, что она когда-то слышала рассказ отца о том, что Левеншельды не сдержали обещания, данного Мальвине Спаак, матери Теи Сундлер, и за это им было предсказано тяжкое наказание.

Она и шла к сестре затем, чтобы подробнее узнать об этой истории. До этой минуты она видела в событиях последних недель нечто роковое, нечто непреодолимое, чего она не в силах была ни избежать, ни предотвратить. Но если все ее несчастья объясняются лишь тем, что Тея любит Карла-Артура, то она найдет средство избавиться от них.

Внезапно она отказалась от намерения идти к сестре и повернула домой. Нет, это не по ней. Нечего ей верить в какие-то древние проклятия. Она доверится собственному разуму, собственной силе и собственной изобретательности и откажется от мыслей о непонятном мистическом вздоре.

Раздеваясь вечером в своей комнате, она долго смотрела на маленького фарфорового амура, стоявшего у нее на секретере.

— Стало быть, все это время ты покровительствовал ей, — сказала она, обращаясь к статуэтке. — Ты простер свои руки над ней, а не надо мной. Из-за нее, из-за того, что она любит Карла-Артура, Шагерстрем должен был посвататься ко мне, и все должно было случиться так, как случилось.

Из-за нее поссорились мы с Карлом-Артуром, из-за нее Карл-Артур посватался к далекарлийке, из-за нее Шагерстрем послал мне этот букет и помешал мне помириться с Карлом-Артуром. Ах, амур, отчего покровительствуешь ты ее любви? Оттого ли, что она запретна? Так, значит, это правда, что ты всего благосклоннее бываешь к той любви, которой не должно быть?

Стыдись, мой милый амур. Я поставила тебя здесь стражем моей любви, а ты, ты помогаешь другой!

Из-за того, что Тея Сундлер любит Карла-Артура, ты допустил, чтобы я вытерпела клевету, кошачьи концерты, хулительные песни, и не защитил меня!

Из-за того, что Тея Сундлер любит Карла-Артура, допустил, чтобы я приняла предложение Шагерстрема, ты допустил оглашение в церкви и теперь намерен, быть может, повести нас к алтарю.

Из-за того, что Тея Сундлер любит Карла-Артура, ты допустил, чтобы мы все жили в страхе и отчаянии.

Ты не щадишь никого. Ты заставил страдать бедных стариков здесь и в Карлстаде оттого лишь, что покровительствуешь толстухе Сундлер с ее рыбьими глазами.

Из-за того, что Тея Сундлер любит Карла-Артура, ты отнял у меня счастье. Я думала, что меня хочет погубить какой-то злой волшебник, а оказалось, что это не кто иной, как ты, мой милый амур.

Вначале она говорила шутливым тоном, но перечисление всех свалившихся на нее несчастий глубоко взволновало ее, и она продолжала голосом, дрожащим от слез:

— О ты, божок любви, разве не доказала я тебе, что умею любить? Отчего же ее любовь тебе более угодна, чем моя? Разве не умею я быть такой же верной в любви, разве в ее сердце горит более чистый и сильный огонь, чем в моем? Отчего же, амур, ты покровительствуешь ее любви, а не моей?

Что мне сделать, чтобы умиловать тебя? О амур, амур, вспомни о том, что ты влечешь к гибели того, кого я люблю. Неужто ты намерен подарить ей еще и его любовь? Это единственное, в чем ты до сих пор отказывал ей. О амур, амур, неужто ты намерен подарить ей его любовь?

Она больше не спрашивала, не удивлялась. Вся в слезах легла она в постель.

## ПОХОРОНЫ ВДОВЫ СОБОРНОГО НАСТОЯТЕЛЯ

Спустя несколько дней после возвращения полковницы Экенстедт из Корсчюрки в Карлстад явилась очень красивая далекарлийка-коробейница со своим неизменным кожаным мешком за плечами. Но в городе, где держали лавки настоящие купцы, ей запрещалось заниматься ее обычным промыслом. Поэтому коробейница оставила громоздкий мешок на квартире, где она стояла, и вышла на улицу, подвесив на руку корзинку, в которой лежали изготовленные ею браслеты и часовые цепочки из волос.

Молодая далекарлийка ходила по домам, предлагая свой товар, и, разумеется, не прошла мимо дома Экенстедтов.

Ее искусные поделки привели полковницу в совершенный восторг, и она предложила коробейнице пожить несколько дней в ее доме, чтобы изготовить сувениры из длинных белокурых локонов, которые полковница срезала у сына, когда он был ребенком, и с тех пор тщательно берегла.

Предложение это пришлось, как видно, по душе молодой далекарлийке. Она без долгих раздумий приняла его и уже на следующее утро взялась за работу.

Мадемуазель Жакетта Экенстедт, которая сама была весьма искусна в рукоделии, часто навещалась к далекарлийке, жившей в пристройке для слуг, чтобы взглянуть на ее работу. Таким образом, между ними завязалось знакомство и, можно даже сказать, дружба. Юную горожанку привлекала в простой коробейнице ее красивая наружность, выгодно подчеркиваемая ярким нарядом. Жакетта искренне восхищалась усердием и прилежанием этой искусницы, ее умом, который проявлялся в способности давать краткие и меткие ответы на любой вопрос.

Разумеется, она была поражена, обнаружив, что этот острый ум принадлежит девушке, которая не умеет ни читать, ни писать. Кроме того, она, к своему удивлению, несколько раз заставляла далекарлийку за курением короткой железной трубки. Это обстоятельство несколько

охладило восторги Жакетты, не помешав, впрочем, дружеским отношениям между обеими девушками.

Забавляло мадемуазель Экенстедт также и то, что далекарлийка употребляет множество слов и выражений, которых она не могла уразуметь. Так однажды, когда она привела свою новую подругу в господский дом, чтобы показать ей красивые вещи, украшавшие комнаты, бедняжка сумела выразить свой восторг лишь восклицанием: «Вот так грубо!» Мадемуазель Экенстедт почувствовала себя глубоко уязвленной, но затем, к немалой потехе домашних, выяснила, что слово «грубо» в устах далекарлийки означает нечто восхитительное и великолепное.

Сама полковница редко посещала прилежную мастерицу. Она, казалось, предпочитала с помощью дочери вывести ее ум, характер и привычки, чтобы таким путем решить, годится ли она в жены ее сыну. Ибо всякий, кому хоть сколько-нибудь известен был проницательный ум полковницы, ничуть не усомнился бы в том, что она с первого же мгновения признала в этой молодой женщине новую невесту сына.

Между тем пребывание далекарлийки в доме Экенстедтов было прервано одним весьма прискорбным обстоятельством. С сестрой полковника, фру Элизой Шеборг, вдовой настоятеля собора Шеборга, которая после кончины мужа жила в доме своего брата, случился удар, и через несколько часов ее не стало. Необходимо было подобающим образом подготовиться к похоронам, и каждое помещение в доме оказалось на учете, ибо нужно было разместить пекарих, швей и, наконец, обойщиков, приглашенных, чтобы обтянуть стены черным штофом. Далекарлийку тотчас же отослали со двора.

Ей велели зайти к полковнику, чтобы получить за труды, и прислуга заметила, что беседа в кабинете длилась необычно долго, а когда далекарлийка вышла оттуда, глаза ее были красны от слез. Добросердечная экономка подумала, что коробейница огорчена тем, что ей приходится раньше времени покидать дом, где все были столь добры к ней, и, желая утешить девушку, пригласила ее прийти на кухню в день похорон, чтобы отведать лакомств, которые будут подаваться на поминках.

Похороны были назначены на четверг, тринадцатое августа. Хозяйский сын, магистр Карл-Артур Экенстедт, был, разумеется, вызван из Корсчюрки и прибыл в среду вечером. Его встретили с

большой радостью, и все время до отхода ко сну он рассказывал родителям и сестрам о той любви, которой он теперь окружен в своей общине. Не так-то легко было заставить скромного молодого пастора рассказать о своих триумфах, но полковница, которая была осведомлена обо всем благодаря письму Шарлотты Левеншельд, своими расспросами вынудила его рассказать о всех знаках любви и благодарности, которые выказывают ему прихожане, и нетрудно понять, что она при этом испытала чистейшую материнскую гордость.

Вполне естественно, что в этот вечер не представилось случая упомянуть о поденщице, которая прожила в доме несколько дней. На другое утро все были целиком поглощены приготовлениями к похоронам, так что Карл-Артур и на этот раз ничего не услышал о пребывании красивой далекарлийки в доме его родителей.

Полковник Экенстедт желал, чтобы сестра была достойно предана земле. На похороны были приглашены епископ и губернатор, а также лучшие фамилии города, которые имели касательство к покойной госпоже Шеборг.

В числе гостей был и заводчик Шагерстрем из Озерной Дачи. Он был приглашен, поскольку через свою покойную жену находился в свойстве с настоятелем собора Шеборгом, и, чувствуя себя весьма обязанным за внимание со стороны людей, которые имели веские основания быть на него в претензии, с благодарностью принял приглашение.

После того как старую фру Шеборг под пение псалмов вынесли из дома и в сопровождении длинной процессии отвезли к месту упокоения, все присутствовавшие на похоронах возвратились в дом скорби, где их ожидал поминальный обед. Само собою, обед был долгим и обильным, и едва ли стоит упоминать о том, что на нем строго соблюдались приличествующие случаю серьезность и торжественность.

Как родственника усопшей, Шагерстрема посадили подле хозяйки, и ему, таким образом, представился случай поговорить с этой необыкновенной женщиной, с которой он никогда прежде не встречался. В глубоком трауре она производила весьма поэтическое впечатление, и хотя ее остроумие и искрящаяся веселость, которыми она славилась, в этот день, разумеется, не могли обнаружиться, Шагерстрем все же нашел беседу с ней необычайно интересной. Ни



минуты не колеблясь, он также впрягся в триумфальную колесницу этой очаровательницы и был, в свою очередь, рад доставить ей удовольствие, рассказав о проповеди ее сына в прошедшее воскресенье и о том впечатлении, которое она произвела на слушателей.

За обедом молодой Экенстедт поднялся и произнес речь в память почившей, выслушанную всеми присутствующими с величайшим восхищением. Все были захвачены его простым, безыскусственным, но в то же время увлекательным, умным изложением и живым описанием характера покойной тетки, которая, по всей вероятности, была очень привязана к нему. Однако внимание Шагерстрема, а также и многих других гостей время от времени обращалось от оратора к его матери, которая сидела, полная восторга и обожания. От соседа по столу Шагерстром узнал, что полковнице лет пятьдесят шесть или пятьдесят семь, и хотя лицо ее, пожалуй, выдавало ее возраст, он подумал, что ни у одной юной красавицы нет таких выразительных глаз и такой обворожительной улыбки.

Итак, все шло наилучшим образом, но когда гости встали из-за стола и нужно было подавать кофе, на кухне случилась небольшая беда. Горничная, которая должна была обходить гостей с подносом, разбила стакан и до крови порезалась осколком стекла. Впопыхах никто не сумел унять кровотечение, и хотя рана была невелика, девушка не могла выйти к гостям с подносом, так как из пальца, не переставая, сочилась кровь.

Когда же стали искать ей замену, то оказалось, что никто из наемной прислуги не хочет нести в комнаты тяжелый поднос. Отчаявшись, экономка обратилась к рослой и крепкой далекарлийке, явившейся отведать поминальных лакомств, и попросила ее взять этот труд на себя. Нимало не колеблясь, девушка подняла поднос, а служанка, обмотав раненую руку салфеткой, вышла в залу вместе с нею присмотреть, чтобы при этом соблюдался должный порядок.

Горничная с подносом обычно не привлекает к себе особого внимания, но в ту минуту, когда статная далекарлийка в своем ярком наряде появилась среди одетых в черное людей, все взоры устремились на нее.

Карл-Артур обернулся к ней вместе с другими. Несколько секунд он смотрел на нее, ничего не понимая, а затем кинулся к ней и

выхватил у нее поднос.

— Ты моя невеста, Анна Сверд, — сказал он, — и тебе не пристало обходить гостей с подносом в этом доме.

Красивая далекарлийка взглянула на него не то с испугом, не то с радостью.

— Нет, нет! Позвольте мне закончить, — запротестовала она.

Все находились теперь в большой зале. И епископ с епископшей, губернатор с губернаторшей, а также остальные увидели, как сын хозяев дома взял у далекарлийки поднос и поставил его на ближайший стол.

— Повторяю, — сказал он, возвысив голос, — ты моя невеста, и тебе не пристало ходить с подносом в этом доме.

В ту же минуту послышался громкий, проникновенный голос:

— Карл-Артур, вспомни, какой сегодня день!

Это сказала полковница. Она сидела в центре залы на большом диване, как и подобает представительнице погруженного в траур дома.

Перед нею находился массивный стол, а справа и слева от нее сидели почтенные, дородные дамы. Она попыталась выбраться из своего угла, но это потребовало немало времени, ибо соседки ее, всецело поглощенные происходящим на другом конце залы, не трогались с места, чтобы пропустить ее.

Карл-Артур взял далекарлийку за руку и потянул ее за собой. Она робела и закрывалась рукавом, как ребенок, но выглядела, впрочем, очень счастливой. Наконец Карл-Артур остановился с нею перед епископом.

— До этой минуты я не подозревал о присутствии моей невесты у себя в доме, — сказал он, — но теперь, увидев, что она здесь, я хочу прежде всего представить ее моему духовному пастырю, епископу. Я прошу, господин епископ, вашего разрешения и благословения на мой союз с этой молодой женщиной, которая обещала мне быть моей спутницей на пути нужды и лишений, коим пристало следовать слуге Господа.

Нельзя отрицать, что этим своим поступком, пусть даже во многих отношениях неуместным, Карл-Артур привлек к себе симпатии всех. Его мужественное признание в том, что он избрал себе в невесты девушку из простонародья, а также его одушевленная речь расположили к нему многих из присутствовавших в доме. Его бледное,

тонкое лицо дышало необычайной решимостью и силой, и многие из свидетелей этой сцены принуждены были сознаться в душе, что он шел путем, на который сами они никогда не отважились бы вступить.

Карл-Артур хотел, должно быть, прибавить еще что-то, но тут позади него послышался крик. Полковница выбралась наконец из своего угла и поспешила к группе, стоящей перед епископом. Но в волнении и спешке она наступила на свое длинное траурное платье, споткнулась и упала. При этом она ударилась об острый угол стола и сильно поранила себе лоб.

Послышались возгласы сочувствия, и лишь епископ, которого это происшествие вывело из весьма щекотливого положения, в глубине души, должно быть, вздохнул с облегчением. Карл-Артур выпустил руку невесты и поспешил к матери, чтобы помочь ей подняться на ноги. Но сделать это было не так-то легко. Полковница не лишилась чувств, как это, вероятно, произошло бы с любой другой женщиной на ее месте, но она, должно быть, сильно ушиблась при падении и не могла подняться. Наконец полковнику Экенстедту, сыну, домашнему врачу и зятю, поручику Аркеру, удалось усадить ее в кресло и отнести в спальню, где экономка и дочери захлопотали вокруг нее, раздели и уложили в постель.

Легко вообразить, какой переполох вызвало это несчастье. Гости в полной растерянности стояли в большой зале, не желая расходиться, пока им не станет что-либо известно о состоянии полковницы. Они видели, как полковник, дочери и служанки пробегают по зале с озабоченными лицами в поисках холста для повязки, мази, деревянной дощечки для лубка, так как рука у полковницы была сломана.

Наконец, расспросив прислугу, выяснили, что рана на лбу, которая внушала наибольшую тревогу, оказалась вовсе не опасной, что левую руку нужно положить в лубок, но что это не внушает особых опасений. Серьезнее же всего оказался ушиб на ноге. Коленная чашечка раздроблена, и, пока она заживет, полковнице придется оставаться в постели и лежать неподвижно бог знает сколько времени.

Выслушав это, все поняли, что хозяевам сейчас не до них, и потянулись к выходу. Но когда мужчины разбирали свои шляпы и пальто, в прихожую поспешно вышел полковник Экенстедт. Он искал кого-то взглядом и наконец увидел заводчика Шагерстрема, который как раз застегивал перчатки.

— Если вы, господин заводчик, не слишком торопитесь, — обратился к нему полковник, — то я просил бы вас задержаться.

На лице Шагерстрема отразилось легкое удивление, но он снял шляпу и пальто и последовал за полковником в залу, теперь почти пустую.

— Я хотел бы переговорить с вами, господин Шагерстрем, — сказал полковник. — Если время позволяет вам, то будьте добры посидеть некоторое время, покуда вся эта суматоха не уляжется.

Шагерстрему пришлось ожидать полковника довольно долго. Поручик Аркер тем временем занимал его и, будучи чрезвычайно взволнован всем происшедшим, рассказал заводчику о появлении далекарлийки в Карлстаде и о ее пребывании в доме Экенстедтов.

Бедная экономка, которая была в отчаянии оттого, что позволила девушке выйти к гостям с подносом, рассказывала всем, как ей вздумалось пригласить коробейницу в день похорон, и таким путем Шагерстрему вскоре стало ясно, как все произошло.

Наконец появился полковник.

— Слава Богу, повязки наложены, и Беата спокойно лежит в постели. Надеюсь, самое худшее уже позади.

Он сел и утер глаза большим шелковым платком. Полковник был высокий, статный мужчина с круглой головою, румяными щеками и огромными усами. Он казался храбрым и бравым воякой, и Шагерстрем подивился его чувствительности.

— Вы, господин заводчик, должно быть, находите меня малодушным, но эта женщина, господин Шагерстрем, была счастьем всей моей жизни, и если с ней что-нибудь случится, то я конченный человек.

Но Шагерстрем, разумеется, ничего подобного не думал. Он сам почти две недели жил одиноко в Озерной Даче, борясь со своей несчастной любовью к Шарлотте Левеншельд, и в своем теперешнем настроении вполне мог понять полковника. Он был покорен прямодушием, с которым этот благородный человек говорил о своей любви к жене. Он тотчас же почувствовал к полковнику расположение и доверие, какого никогда не чувствовал к его сыну, хотя и не мог не признавать одаренности молодого пастора.

Между тем оказалось, что полковник просил его остаться затем, чтобы поговорить с ним о Шарлотте.

— Простите старика, — начал он, — за то, что я вмешиваюсь в ваши дела, господин заводчик! Но я, разумеется, слышал о вашем сватовстве к Шарлотте и хочу сказать вам, что мы здесь, в Карлстаде...

Он внезапно умолк. Одна из дочерей стояла в дверях залы, встревоженно глядя на него.

— В чем дело, Жакетта? Ей хуже?

— Нет, нет, папенька, вовсе нет. Но маменька спрашивает Карла-Артура...

— Я полагал, что он в комнате у маменьки, — сказал полковник.

— Он пробыл там очень недолго. Он вместе с другими внес маменьку в ее спальню, и больше мы его не видели.

— Ступай к нему в комнату и погляди, там ли он, — сказал полковник. — Он, верно, пошел туда снять парадное платье.

— Иду, папенька.

Она удалилась, и полковник снова обернулся к Шагерстрему:

— На чем я остановился, господин заводчик?

— *Вы сказали, что вы здесь, в Карлстаде...*

— Да, да, разумеется. Я хотел сказать, что мы здесь, в Карлстаде, с самого начала были убеждены, что Карл-Артур совершил ошибку. Моя жена поехала в Корсчюрку, чтобы разузнать, как обстоит дело, и нашла, что все это, должно быть...

Он снова умолк. Фру Аркер, замужняя дочь, появилась в дверях залы.

— Папенька, вы не видели Карла-Артура? Маменька спрашивает его и никак не может успокоиться.

— Пришлите ко мне Мудига! — сказал полковник.

Молодая женщина исчезла, но полковник был теперь слишком встревожен для того, чтобы продолжать разговор с Шагерстремом. Он беспокойно расхаживал по зале, пока не явился денщик.

— Скажите, Мудиг, эта далекарлийка все еще на кухне?

— Упаси боже, господин полковник. Она прибежала из залы вся зареванная и тотчас же ушла. Она не оставалась в доме ни минуты.

— А мальчик... то есть, я хочу сказать, магистр Экенстедт?

— Он пришел на кухню вслед за ней и спросил, где она. А как услышал, что она ушла, побежал на улицу.

— Отправляйтесь тотчас же в город и разыщите его. Скажите, что полковница опасно больна и спрашивает его.

— Слушаюсь, господин полковник.

С этими словами денщик вышел, и полковник возобновил прерванную беседу с Шагерстремом.

— Едва только нам стало известно, как все обстоит на самом деле, — сказал он, — мы решили добиться примирения молодых. Но для этого нужно было сперва устранить далекарлийку, а затем устранить...

Полковник запнулся, смущенный тем, что высказался столь бесцеремонно.

— Я, должно быть, выражаюсь недостаточно учтиво, господин заводчик. Это моей жене следовало бы говорить с вами, уж она-то сумела бы подобрать нужные слова.

Шагерстрем поспешил успокоить его:

— Вы, господин полковник, выражаетесь как должно. И я желал бы тотчас уведомить вас: что касается меня, то я уже устранен. Я дал фрекен Левеншельд обещание приостановить оглашение, как только она этого пожелает.

Полковник встал, горячо пожал Шагерстрему руку и рассыпался в благодарностях.

— Это обрадует Беату, — сказал он, — для нее это будет самая лучшая новость.

Шагерстрем не успел ничего ответить на это, потому что в залу снова вошла фру Аркер.

— Папенька, я, право, не знаю, как быть. Карл-Артур приходил домой, но не зашел к маменьке.

Она рассказала, что стояла у окна спальни и увидела идущего по улице брата.

«Я вижу Карла-Артура! — воскликнула она, обращаясь к полковнице. — Он, как видно, очень тревожится за вас, маменька. Чуть ли не бегом бежит».

Она ожидала, что брат вот-вот появится в спальне. Но вдруг Жакетта, которая все еще оставалась у окна, воскликнула:

«О, боже мой! Карл-Артур снова убежал в город! Он лишь заходил домой переодеться».

При этих словах полковница села на постели.

«Нет, нет, маменька! Доктор велел вам лежать! — вскричала фру Ева. — Я позову Карла-Артура обратно».

Она поспешила к окну, чтобы позвать брата. Но верхнюю задвижку заело, и, пока Ева возилась с ней, мать успела сказать, что запрещает открывать окно.

«Прошу тебя, оставь! — произнесла она слабым голосом. — Не нужно его звать».

Но фру Аркер все же распахнула окно и высунулась, чтобы позвать Карла-Артура. Тогда полковница самым строгим тоном запретила ей делать это и велела немедленно затворить окно. Затем она решительно объявила, что ни дочери, ни кто-либо другой не должны звать Карла-Артура домой. Она послала дочь за полковником, желая, вероятно, дать такое же приказание и ему.

Полковник встал, чтобы пойти к жене, а Шагерстром, пользуясь случаем, справился у фру Аркер о здоровье полковницы.

— Маменька чувствует небольшую боль, но все это было бы ничего, лишь бы Карл-Артур вернулся. Ах, если бы кто-нибудь отправился в город и разыскал его!

— Как я понимаю, госпожа полковница очень привязана к сыну, — сказал Шагерстром.

— О да, господин заводчик! Маменька только о нем и спрашивает. И вот теперь маменька лежит и думает о том, что он, зная, как она больна, не пришел к ней, а побегал за своей далекарлийкой. Маменьке это очень больно. Но она даже не разрешает нам привести его к ней.

— Я понимаю чувства госпожи полковницы, — сказал Шагерстром, — но мне она не запрещала искать сына, так что я тотчас же отправлюсь на поиски и сделаю все, чтобы привести его домой.

Он собирался было уже идти, но тут вернулся полковник и удержал его.

— Моя жена желает сказать вам несколько слов, господин заводчик. Она хочет поблагодарить вас.

Полковник схватил Шагерстрема за руку и с некоторой торжественностью ввел его в спальню.

Шагерстром, который столь недавно любовался оживленной и привлекательной светской дамой, был потрясен, увидев ее беспомощной и больной, с повязкой на голове и с изжелта-бледным, осунувшимся лицом.

Полковница, казалось, не слишком страдала от недуга, но в чертах ее проступило нечто суровое, почти грозное. Нечто, поразившее ее

сильнее чем падение и тяжелые телесные раны, пробудило в ней гордый, презрительный гнев. Окружавшие ее люди, которые знали, чем вызван этот гнев, невольно говорили себе, что она, должно быть, никогда не сможет простить сыну бессердечия, которое он выказал в этот день.

Когда Шагерстрем приблизился к постели, она открыла глаза и посмотрела на него долгим, испытующим взглядом.

— Вы любите Шарлотту, господин заводчик? — спросила она слабым голосом.

Шагерстрему нелегко было открыть сердце этой едва знакомой ему даме, с которой он сегодня впервые встретился. Но солгать больной и несчастной женщине он также не мог. Он молчал.

Полковнице, казалось, и не нужно было никакого ответа. Она уже узнала то, что хотела.

— Вы полагаете, господин заводчик, что Шарлотта все еще любит Карла-Артура?

На этот раз Шагерстрем мог ответить полковнице без малейших колебаний, что Шарлотта нежно и преданно любит ее сына.

Она еще раз внимательно посмотрела на него. Глаза ее затуманились слезами.

— Как горько, господин Шагерстрем, — очень мягко сказала она, — что те, кого мы любим, не могут ответить нам такой же любовью.

Шагерстрем понял, что она говорит с ним так, потому что ему известно, что такое отвергнутая любовь.

И вдруг он почувствовал, что эта женщина перестала быть ему чужой. Страдания сблизили их. Она понимала его, он понимал ее. И для него, одинокого человека, сочувствие ее было целительным бальзамом. Он тихо подошел ближе к постели, бережно поднял ее руку, лежащую на одеяле, и поцеловал.

В третий раз она посмотрела на него долгим взглядом. Взгляд не был затуманен слезами, он пронизывал его насквозь, внимательный и испытующий. Затем она сказала ему с нежностью:

— Я бы хотела, чтобы вы были моим сыном.

Шагерстрема охватила легкая дрожь. Кто внушил полковнице именно эти слова? Знала ли она, эта женщина, которую он сегодня впервые увидел, как часто стоял он, плача, перед дверью своей матери,



тоскую по ее любви? Знала ли она, с каким страхом приближался он к своим родителям, боясь встретить их неприязненные взгляды? Знала ли она, что он был бы горд и счастлив, если бы самая жалкая крестьянка сказала когда-либо, что хочет иметь такого сына, как он? Знала ли она, что для него не могло быть ничего более воодушевляющего и лестного, нежели эти слова?

Преисполненный благодарности, он упал на колени перед кроватью. Он плакал и, бормоча какие-то невразумительные слова, пытался выразить свои чувства.

Свидетели этой сцены, должно быть, сочли его чересчур чувствительным, но кто из них мог понять, что значили для него эти слова? Ему казалось, что все его уродство, вся его неуклюжесть и глупость разом исчезли. Ничего подобного он не испытывал с того самого дня, когда его покойная жена сказала ему, что любит его. Но полковница поняла все, что происходило в его душе. Она повторила, словно бы для того, чтобы он поверил ей:

— Это правда; я желала бы, чтобы вы были моим сыном.

И тут он подумал, что единственный способ воздать ей за то счастье, каким она его одарила, это привести к ней ее собственного сына. И он поспешно вышел из комнаты, чтобы отправиться на поиски.

Первый, кого Шагерстрем увидел на улице, был поручик Аркер, который вышел из дома за тем же, что и он. Им встретился денщик полковника, и втроем они отправились на розыски.

Они быстро нашли квартиру, где стояла далекарлийка, но ни ее, ни Карла-Артура там не было. Они обшарили все места, где обычно бывают приезжие из Далекарлии, велели ночным сторожам искать Карла-Артура, но все напрасно.

Очень скоро наступила темнота, и дальнейшие поиски стали почти невозможны. В этом городе с его мрачными и узкими улочками, где дома жались друг к другу, где лачуги и дворовые постройки самого невероятного вида чуть ли не громоздились друг на друга, в каждом дворе было множество укромных закоулков, и вероятность отыскать здесь кого-либо была ничтожна.

Тем не менее Шагерстрем в течение нескольких часов кружил по улицам. Он уговорился с мадемуазель Жакеттой, что если Карл-Артур

возвратится домой, она поставит свечу на чердачное окно, чтобы без нужды не продолжать поиски, но этот знак пока еще не появлялся.

Было уже далеко за полночь, когда Шагерстром услышал быстрые шаги позади себя. Он догадался, кто был этот человек, приближавшийся к нему. Вскоре он различил при красноватом свете уличного фонаря худощавую фигуру, но, поскольку Карл-Артур направлялся прямо домой, он не стал окликать его, а довольствовался тем, что шел за ним следом до самого дома Экенстедтов. Он видел, как Карл-Артур вошел в дом, и понял, что его помощь больше не требуется, но желание узнать, как пройдет встреча матери с сыном, побудило его также зайти к Экенстедтам. Он отворил дверь несколько минут спустя после Карла-Артура и очутился в прихожей.

Карл-Артур стоял в окружении всех домашних. Казалось, в доме никто не ложился. Полковник вышел со свечой в руке и, высоко подняв ее, вглядывался в сына, точно желая сказать: «Ты ли это?» Обе сестры спустились по лестнице в папильотках, но совершенно одетые. Экономка и денщик примчались из кухни. Карл-Артур намеревался, как видно, подняться в свою комнату, никого не потревожив. Он уже дошел до середины лестницы, но здесь был остановлен сбежавшимися домочадцами.

Когда Шагерстром вошел в прихожую, он увидел, что обе сестры схватили Карла-Артура за руки и тащат его за собой.

— Пойдем к маменьке! Ты не знаешь, как она ждала тебя!

— Ну где это слыхано? Убежать в город, не подумав о матери! Ты же знаешь, что она больна! — вскричал полковник.

Карл-Артур не трогался с места. Лицо его было словно высечено из камня. Он не обнаруживал ни раскаяния, ни сожаления.

— Вы желаете, батюшка, чтобы я тотчас пошел к матушке? Не лучше ли обождать до завтра?

— Разумеется, черт побери, ты должен пойти к ней тотчас же! У нее жар поднялся из-за тебя.

— Простите, батюшка, но это уж не моя вина.

В тоне сына явно чувствовалась враждебность. Но полковник, как видно, не желал ссоры. Он сказал дружелюбно и примирительно:

— Покажись ей хотя бы, чтобы она знала, что ты дома. Зайди и поцелуй ее, и завтра утром все уладится.

— Я не могу поцеловать ее, — сказал сын.

— Негодный мальчишка! — начал полковник, но тут же овладел собой. — Говори, в чем дело? Впрочем, нет, погоди. Пойдем ко мне.

Он потащил сына за собой в свой кабинет и захлопнул дверь перед носом любопытных слушателей.

Вскоре, однако, он вышел из кабинета и обратился к Шагерстрему:

— Я был бы весьма рад, господин заводчик, если бы вы присутствовали при нашем разговоре.

Шагерстрем пошел вслед за ним, и дверь снова захлопнулась. Полковник занял место за письменным столом.

— Говори, что на тебя нашло?

— Поскольку вы, батюшка, утверждаете, что у матушки жар, то мне придется объясняться с вами, хотя я отлично понимаю, что зачинщица всему она.

— Можно узнать, к чему ты клонишь?

— Я хочу сказать, что с этого дня ноги моей больше не будет в доме моих родителей.

— Вот как! — сказал полковник. — А причина?

— Причина, отец мой, в этом.

Он вытащил из кармана пачку кредиток, положил ее на стол перед полковником и энергично прихлопнул ее рукой.

— Так! — сказал полковник. — Значит, она не сумела держать язык за зубами.

— Напротив, — возразил Карл-Артур, — она молчала, пока могла. Мы много часов сидели на церковном дворе, и она ничего не хотела говорить, а твердила лишь, что должна уйти и никогда больше не увидит меня. И лишь когда я обвинил ее в том, что у нее в Карлстаде появился новый возлюбленный, она призналась, что мои родители заплатили ей за то, чтобы она дала мне свободу. Мой отец к тому же пригрозил, что лишит меня наследства, если я женюсь на ней. Что ей оставалось делать? Она взяла эти двести риксдалеров. Мне лестно было узнать, что родители мои столь высоко оценивают мою особу.

— Что ж, — сказал полковник, пожав плечами, — мы обещали ей также, что дадим впятеро больше на обзаведение хозяйством, если она выйдет замуж за кого-нибудь другого.

— Она рассказала и об этом, — произнес Карл-Артур с коротким смешком, а затем разразился горькими упреками:

— И это мой отец, и это моя мать! Они могут поступать со мною подобным образом! Две недели назад моя мать навестила меня в Корсчюрке. Я говорил с нею об этой своей женитьбе. Я сказал ей, что эта девушка послана мне провидением, что лишь с ней я смогу вести жизнь, угодную богу. В ней вся моя надежда, счастье всей моей жизни зависит от того, станет ли она моей женой. Моя мать выслушала все это. Она казалась растроганной, она всецело оправдывала меня. А теперь, две недели спустя, я узнаю, что она пыталась разлучить нас. Что должен я думать о подобном бессердечии, о подобном коварстве? Разве не должен я содрогаться при мысли о том, что вынужден называть матерью подобную женщину?

Полковник снова пожал плечами. На лице его не видно было ни смущения, ни раскаяния.

— Ну да, — сказал полковник, — Беате стало жаль тебя, оттого что Шарлотта сыграла с тобой такую шутку, и она не захотела попрекать тебя этой новой помолвкой. Но, разумеется, и ей и мне тотчас же стало ясно, что выбор твой неудачен. Мы думали, что со временем все образуется само собою, но тут эта божья посланница свалилась на нас, грешных, как снег на голову. Ну вот, Беата и наняла ее к нам в дом, чтобы хоть немного присмотреться к ней. Спору нет, она славная девушка, но ведь она не умеет ни читать, ни писать, да к тому же еще и трубку курит! А что до опрятности!.. Да, мой мальчик, мы хотели устроить все как лучше, и ты сам благодарил бы нас после, если бы у тебя хватило времени одуматься. Но то, что эта богоданная особа явилась в залу с подносом, погубило все дело.

— А вы, отец, ничего тут не видите?

— Я вижу тут чертовское невезение и ничего больше!

— А я вижу в этом промысел божий. Эта женщина предназначена мне в супруги, и потому Он снова поставил ее на моем пути. И более того — я вижу Его справедливую кару. Когда я просил епископа благословить наш союз, моя мать поспешила к нам, чтобы воспрепятствовать этому. Она сказала себе, что если прикинется, будто споткнулась, и упадет, то это окажется наилучшей помехой. Но ее уловка удалась чересчур хорошо.

Тут отцу изменило его обычное хладнокровие.

— Замолчи, мальчишка! Как смеешь ты обвинять мать в подобном коварстве?

— Простите, отец мой, но за последнее время я имел предостаточно случаев убедиться в женском коварстве. Моя мать и Шарлотта преподали мне урок, который я не скоро забуду.

Полковник некоторое время сидел, барабанил пальцами по столу.

— Хорошо, что ты упомянул о коварстве Шарлотты, — сказал он, — я как раз хотел поговорить с тобой об этом. Ты никогда не убедишь меня в том, что Шарлотта изменила тебе, стремясь заполучить богатого мужа. Ты для нее дороже всех богатств на свете. Я полагаю, что во всем виновен ты, но она взяла вину на себя, чтобы мы, твои родители, не рассердились на тебя и чтобы уберечь тебя от злоязычия. Что ты на это скажешь?

— В церкви было сделано оглашение о ее помолвке.

— Одумайся, Карл-Артур! — сказал полковник. — Выкинь из головы все дурные мысли о Шарлотте! Как ты не можешь понять, что она взяла вину на себя, чтобы помочь тебе. Она заставила всех поверить, будто помолвка была расторгнута по ее вине; но подумай сам, спроси свою совесть! Разве не ты виновен в вашем разрыве?

Карл-Артур некоторое время стоял молча. Казалось, прислушавшись к советам отца, он перебирал в памяти минувшие события. Внезапно он обратился к Шагерстрему.

— Как вышло, что вы, господин заводчик, прислали этот букет? Получили ли вы какую-нибудь весть от Шарлотты в понедельник днем? Зачем приезжал к вам пастор?

— Букет я послал в знак моего уважения к фрейлен Шарлотте, — отвечал Шагерстрем. — В понедельник я от нее ничего не получал. Пастор приехал затем лишь, чтобы отдать мне визит.

Карл-Артур снова погрузился в размышления.

— В таком случае возможно, что мой отец прав, — сказал он наконец.

Оба его собеседника вздохнули с облегчением. Это было весьма благородное признание своей ошибки. Лишь человек незаурядный способен был на подобный поступок.

— Но в таком случае... — сказал полковник. — Да, прежде всего хочу тебе сказать, что господин Шагерстрем обещал отказаться от всех своих притязаний.

Карл-Артур прервал его:

— Господину Шагерстрему нет нужды жертвовать чем-либо ради меня. Я прошу понять, батюшка, что я никогда не вернусь к Шарлотте. Я люблю другую.

Полковник стукнул кулаком по столу.

— Ну, с тобой, я вижу, не столкнешься. Стало быть, ты полагаешь, что такая преданность, такое самопожертвование ничего не стоят?

— Я полагаю, что самому провидению угодно было расторгнуть связь между мною и Шарлоттой.

— Я понимаю, — с невыразимой горечью произнес полковник. — Ты, видно, так же благодаришь Бога и за то, что расторгнута связь между тобою и родителями.

Карл-Артур стоял молча.

— Попомни мои слова: ты идешь к гибели, — сказал полковник. — Тут всецело наша вина. Беата избаловала тебя, и ты вообразил себя полубогом, а я потворствовал ей потому, что никогда ни в чем не мог ей отказать. А теперь ты отплатил ей так, как я того и ожидал. Хоть я и знал, что этим кончится, но все равно, мне сейчас очень горько.

Он умолк и несколько раз тяжело вздохнул.

— Послушай, мальчик мой! — сказал он наконец кротким голосом. — Теперь, когда ты разрушил все наши коварные замыслы, ты, быть может, пойдешь и поцелуешь свою мать, чтобы она могла успокоиться?

— Даже если я и разрушил, как вы говорите, ваши коварные замыслы, то может ли это заставить меня забыть о пагубном направлении мыслей, которые я наблюдаю у близких мне людей? Куда я ни взгляну, всюду — любовь к мирским радостям, распущенность и обман.

— Оставим это, Карл-Артур. Мы люди старомодные. И мы богобоязненны не меньше твоего, только на свой лад.

— Я не могу, отец мой.

— Со мной ты уже свел счеты, — сказал полковник, — но она, она... Ты ведь знаешь, она должна быть убеждена, что ты любишь ее. Я прошу ради нее, Карл-Артур, только ради нее.

— Единственное, в чем я могу проявить милосердие к моей матери, — это уехать, не сказав ей о том, как сильно уязвила она мое сердце своим коварством.

Полковник встал.

— Ты... ты не знаешь, что такое любовь.

— Я служу истине. Я не могу поцеловать мою мать.

— Ступай спать! — сказал старик. — Утро вечера мудренее.

— Карета заказана на четыре часа, осталось всего пятнадцать минут.

— Карета, — сказал полковник, — может снова приехать к десяти. Послушайся меня, иди спать. Утро вечера мудренее.

Карл-Артур впервые обнаружил некоторые признаки колебания.

— Если мой отец и моя мать изменят свой образ жизни, если они станут жить как люди низкого звания, если сестры мои станут прислуживать бедным и недужным...

— Оставь свои дерзости.

— Эти дерзости — слова божьи!

— Вздор!

Карл-Артур простер руки к потолку, как проповедник на кафедре.

— Тогда да простит меня Бог за то, что я отринул моих земных родителей. И пусть отныне ничто, исходящее от них, да не коснется меня — ни заботы их, ни любовь их, ни богатство их! Помоги мне, Боже, забыть об этих грешниках и жить лишь Тобою.

Полковник выслушал все это, не делая ни единого движения.

— Бог, в которого ты веришь, безжалостный бог, — сказал он. — И он, верно, исполнит то, о чем ты молишь его. Но знай, что если когда-нибудь ты придешь нищий к моим дверям и попросишь милостыню, то и тогда я припомню тебе эти минуты.

Это были последние слова, сказанные между отцом и сыном.

Карл-Артур молча вышел из комнаты, и полковник остался вдвоем с Шагерстремом.

Полковник некоторое время сидел, уронив голову на руки. Затем он обратился к Шагерстрему с просьбой уведомить Шарлотту обо всем, что произошло.

— Я не в силах писать об этом, — сказал он. — Расскажите Шарлотте обо всем, господин заводчик. Я хочу, чтобы она знала, что мы пытались помочь ей, но нам это, к прискорбию, не удалось. И скажите ей также, что она теперь единственный человек на свете, который может помочь моей несчастной жене и моему несчастному сыну!

## СУББОТА: С УТРА ДО ПОЛУДНЯ

### I

В понедельник, ровно через две недели после сватовства Шагерстрема, Шарлотта узнала, что Тея Сундлер любит Карла-Артура. Удивительное чувство, охватившее ее при этом открытии, будто теперь у нее есть средство вернуть утраченное счастье, не покидало ее и в последующие дни. К тому же во вторник она получила письмецо от полковницы, которая уведомляла ее, что, против ожиданий, дела идут прекрасно и вскоре все недоразумения разъяснятся. Все это вселяло в нее мужество, в котором она столь нуждалась.

В среду она узнала, что Карл-Артур должен ехать в Карлстад на похороны фру Шеборг. Легко было догадаться, что полковница воспользуется случаем, чтобы поговорить с ним о Шарлотте, и, быть может, невиновность ее наконец обнаружится. Быть может, Карл-Артур вновь возвратится к ней, тронутый ее самопожертвованием. Она не понимала, что намерена предпринять полковница для того, чтобы свершилось это чудо, но знала, что только она способна отыскать выход там, где другие увидели бы лишь мрак и безысходность.

Несмотря на то, что Шарлотта питала столь безграничное доверие к уму своей свекрови, дни пребывания Карла-Артура в Карлстаде показались ей невыносимо тягостными. Она переходила от надежды к отчаянию. Она спрашивала себя, что может сделать полковница. Она сама, встречая Карла-Артура всякий день, не могла не признать в глубине души, что любовь его к ней угасла. Он сидел с ней за одним столом, но смотрел мимо нее.

Он не замечал ее присутствия. И дело тут было вовсе не в каком-то недоразумении, которое могло бы разъясниться. Для него все было кончено. Его любовь была точно обломанная ветка, которую никакая сила в мире не могла бы заставить снова прирасти к дереву и зазеленеть.

В пятницу Карла-Артура ожидали домой, и это был, разумеется, самый тяжелый день для Шарлотты. С самого утра сидела Шарлотта в



столовой у окна, из которого ей был виден флигель, и ждала. В сотый раз перебирала она в уме происшедшие события, прикидывала, раздумывала. Но неуверенность и страх не проходили. Она думала, что ей придется весь день томиться ожиданием, но Карл-Артур вернулся в четвертом часу. Он прошел прямо во флигель, но вскоре вышел оттуда и, даже не взглянув на главный дом усадьбы, торопливо пересек двор и зашагал по дороге в деревню. Он желал видеть фру Сундлер, а не ее, Шарлотту.

Так вот каков был результат стараний полковницы. Шарлотта не могла не признать, что она потерпела неудачу.

Ей показалось, что всякая надежда умерла в ней. Она говорила себе, что теперь никто вовек не убедит ее в том, что для нее остался хоть какой-нибудь выход или спасение.

Но, вопреки всему, искра надежды все же теплилась в ней. В субботу, в шестом часу утра, к Шарлотте явилась служанка и сказала, что магистр Экенстедт желал бы поговорить с ней. И то, что он пожелал встретиться с нею за ранним завтраком, Шарлотта восприняла как любовное признание. Он точно давал ей понять, что хочет вернуть их былую близость, былые привычки.

Она вдруг преисполнилась уверенностью в том, что полковница все же сдержала свое слово и что великое чудо свершилось. Она так быстро сбегала по лестнице, что локоны ее разметались во все стороны.

Однако при первом же взгляде на Карла-Артура Шарлотта поняла, что ошиблась. При ее появлении он поднялся из-за стола ей навстречу, но ясно было, что ни простертых рук, ни поцелуев, ни изъявлений благодарности ожидать не следует. Некоторое время он стоял молча. Должно быть, Шарлотта появилась слишком быстро, и он не успел еще собраться с мыслями. Наконец он заговорил:

— Оказывается, ты, Шарлотта, из чистого милосердия взяла на себя вину за разрыв нашей помолвки. Ты зашла столь далеко, что ответила согласием на предложение Шагерстрема и не препятствовала оглашению помолвки в церкви, дабы окружающие поверили в этот обман. Ты, Шарлотта, разумеется, действовала из наилучших побуждений и полагала, что оказываешь мне этим большую услугу. Ради меня ты претерпела клевету и поношения, и я понимаю, что должен поблагодарить тебя за это.

Лицо Шарлотты вновь обрело обычную невозмутимость, и она, впервые за все эти тяжелые недели, гордо вскинула голову. Она ничего не отвечала.

Карл-Артур продолжал:

— Поступки твои объяснялись прежде всего желанием оградить меня от гнева моих родителей. Но я почитаю своим долгом уведомить тебя, Шарлотта, что старания твои оказались напрасными. Нынче, во время моего приезда в Карлстад, между мною и родителями вышла ссора из-за моей женитьбы, приведшая к полному разрыву между нами. Я больше им не сын, а они отныне мне не родители.

— Но Карл-Артур, — воскликнула девушка, оживляясь и скова загораясь волнением, — что такое ты говоришь? Твоя матушка!.. Ты решился на разрыв со своей матушкой?

— Добрейшая Шарлотта, матушка моя задумала подкупить Анну Сверд и побудить ее выйти замуж за кого-нибудь из ее односельчан. Она самым коварным образом пыталась разрушить счастье всей моей жизни. Она глуха к тому, что представляется для меня сейчас самым важным. Матушка хочет, чтобы я вернулся к тебе. Она была столь предусмотрительна, что пригласила на похороны Шагерстрема, дабы иметь случай просить его отказаться от тебя, Шарлотта. Впрочем, мне едва ли надобно повторять все это. Ты, разумеется, уже посвящена в замыслы моих родителей. Ты с таким радостным видом вбежала в комнату. Ты, верно, надеялась, что этот блестящий план удался.

— Право же, я ровно ничего не знаю о планах твоей матушки, Карл-Артур. Она лишь сказала мне, что не верит всем этим лживым слухам, которые распускает обо мне Тея Сундлер. Услыхав о том, что ты отправился в Карлстад, я подумала, что полковница, быть может, откроет тебе правду. Я была убеждена в этом, когда ты сегодня утром послал за мною. Но не будем говорить обо мне, Карл-Артур! Скажи, ведь ты не будешь сердиться на свою матушку? Ты ведь тотчас же поедешь обратно и все уладишь? Не так ли, Карл-Артур?

— Как бы я мог поехать? Завтра воскресенье, и мне надо говорить проповедь.

— Тогда напиши хоть два слова и позволь ехать мне! Подумай о том, что она уже немолода! До сих пор ей удавалось сохранять молодость лишь благодаря радости, что ты доставлял ей. Ты был ее молодостью, ее здоровьем. Если ты оттолкнешь ее, она превратится в

старуху. Навсегда исчезнут ее остроумие, ее веселость. Она станет желчной и озлобленной более, чем кто-либо другой. Ах, Карл-Артур, боюсь, что это убьет ее. Ты был ее богом, Карл-Артур, ты можешь подарить ей жизнь или обречь ее на смерть. Карл-Артур, позволь мне поехать к ней и передать от тебя хотя бы одно слово!

— Все это мне известно, Шарлотта, но я не стану писать ей. Моя мать была уже больна, когда я покидал Карлстад. Отец просил меня примириться с ней, но я отказался. Она лгала и притворялась.

— Но, Карл-Артур, если даже она лгала и притворялась, то только ради тебя. Я не знаю, в чем провинились перед тобой твои родители, но что бы они ни сделали, все это было для твоей же пользы, и ты должен простить их. Подумай, кем была для тебя мать с самого младенчества! Во что превратился бы твой дом без нее? Разве доставляли бы тебе такое удовольствие высокие отметки в гимназии, если бы ты не знал, что матушка твоя от души гордится ими? Разве возвращался бы ты с такой радостью домой на вакации из Упсалы, если бы не знал, что матушка с нетерпением ждет тебя? Разве царило бы у вас в доме такое веселье на Рождество, если бы матушка не придумывала для вас забавы и сюрпризы, если бы она не сочиняла стихи к рождественской каше, не обряжала рождественского козла?

[107]

— Вчера, возвращаясь домой, я всю дорогу думал о моей матушке, Шарлотта. По мирским понятиям, она была превосходной матерью. Если взглянуть на нее глазами твоими и других, то этого отрицать нельзя. Но если взглянуть на нее глазами Бога и моими, то придется отозваться о ней совсем по-иному. Я спрашиваю себя, Шарлотта, что сказал бы Христос о такой матери.

— Христос... — возразила Шарлотта, и вдруг ее охватило столь бурное волнение, что она едва смогла продолжать. — Христос пренебрег бы случайным и внешним. Он бы увидел, что такая мать способна следовать за Ним до подножия креста и что она с радостью дала бы себя распять за Него. И, судя ее, Он всегда помнил бы об этом.

— Быть может, ты, Шарлотта, права. Быть может, мать моя готова была бы умереть за меня, но она никогда не позволила бы мне жить так, как я хочу. Моя мать, Шарлотта, никогда не допустила бы, чтобы я служил Богу. Она бы всегда требовала, чтобы я служил ей и миру. И потому нам должно было расстаться.

— Это не Христос повелевает тебе порвать с твоей матушкой, — запальчиво выкрикнула Шарлотта, — это Тея Сундлер внушила тебе, что она и я...

Карл-Артур остановил ее жестом.

— Я знал, что разговор об этом будет неприятен нам обоим, и охотнее всего предпочел бы уклониться от него, но именно та особа, о которой ты только что упомянула, Шарлотта, и которую тебе угодно ненавидеть, посоветовала мне рассказать тебе, к чему привели усилия моих родителей.

— О, разумеется! — сказала Шарлотта. — Это меня нимало не удивляет. Она знала, что я буду огорчена, что я буду плакать кровавыми слезами.

— Ты можешь как угодно толковать побуждения фру Сундлер, тем не менее именно она указала мне на то, что я должен поблагодарить тебя за жертву, принесенную тобою ради меня.

Шарлотта, поняв, что гневными упреками она ничего не добьется, попыталась овладеть собой и перевела разговор на другое.

— Прости мне мою горячность, Карл-Артур, — сказала она. — Я вовсе не хотела обидеть тебя. Но ты ведь знаешь, как я всегда любила твою мать, и мне кажется ужасным, что она лежит в постели больная и тщетно ждет от тебя хотя бы слова. Неужто ты не позволишь мне ехать? Это вовсе не будет означать, что ты хочешь примириться со мной.

— Разумеется, Шарлотта, ты можешь ехать.

— Но без единого слова от тебя?

— Не проси меня, Шарлотта, это бесполезно.

В красивом лице Шарлотты появилось нечто мрачное и угрожающее. Она пристально посмотрела на Карла-Артура.

— Неужели же ты отважишься?

— «Отважишься»? Что это значит, Шарлотта?

— Ты ведь только что сказал, что завтра должен будешь говорить проповедь.

— Да, разумеется, Шарлотта.

— Но разве ты забыл, как в тот раз в Упсале ты не решался писать сочинение из-за того, что был дерзок со своей матерью?

— Этого я никогда не забуду.

— Нет, ты, должно быть, забыл об этом. Но теперь я говорю тебе, что ты никогда больше не сможешь проповедовать так, как в прошлые два воскресенья, если не примиришься со своей матерью.

Он рассмеялся.

— Не пытайся запугать меня, Шарлотта!

— Я не запугиваю тебя. Я только предупреждаю. Всякий раз, когда ты будешь подниматься на кафедру, ты станешь думать о том, что не примирился со своей матерью, и эта мысль лишит тебя силы.

— Милая Шарлотта, ты хочешь запугать меня, точно малого ребенка.

— Запомни мои слова! — воскликнула девушка. — Подумай об этом, пока еще есть время! Завтра или послезавтра может быть уже слишком поздно.

Бросив ему в лицо эту угрозу, она повернулась к двери и вышла, не дожидаясь ответа.

## II

После завтрака пастор попросил Шарлотту пойти с ним в его комнату. Здесь он сказал ей, что Шагерстрем, который, должно быть, вчера поздним вечером проезжал мимо Корсчюрки, прислал своего слугу на кухню с большим конвертом, на котором был написан адрес пастора. В конверте было большое письмо к Шарлотте. Пастору же Шагерстрем написал лишь несколько слов и просил его осторожно подготовить Шарлотту к тому, что письмо его содержит тяжкие и печальные вести.

— Я уже подготовлена, дядюшка, — ответила Шарлотта. — Я говорила нынче с Карлом-Артуром и знаю о том, что он порвал со своими родителями и что полковница больна.

Старик был поражен.

— Что ты говоришь! Неужто это правда, дитя мое?

Шарлотта осторожно погладила руку старика.

— Я не в силах сейчас говорить об этом, дядюшка. Дайте мне письмо.

Она взяла письмо и ушла в свою комнату, чтобы прочесть его.

В письме Шаггерстрема довольно подробно описывались события, случившиеся в доме Экенстедтов за последнее время, и прежде всего в день похорон. Из торопливо набросанных строк Шарлотта получила, однако, вполне ясное представление обо всем, что произошло: о пребывании далекарлийки в Карлстаде, о ее неожиданном появлении в день похорон, о злосчастном падении полковницы, о ее тоске по сыну, о визите Шаггерстрема к больной, о поисках Карла-Артура и, наконец, о тяжелой сцене между отцом и сыном в кабинете полковника.

В конце письма упоминалось, что полковник просил предупредить обо всем Шарлотту, и в точности повторялись слова старика о том, что Шарлотта — единственный человек в мире, который может помочь его несчастной жене и его несчастному сыну. Кончалось письмо следующими словами:

«Я обещал выполнить просьбу полковника, но, воротясь домой, вспомнил, что не должен докучать вам, любезная фрекен, своим присутствием. И потому решил я не ложиться в постель, а употребить остаток ночи на писание сих строк. Прошу извинить за то, что их столь много. Быть может, мысль о том, что они будут прочитаны вами, ускоряла бег моего пера.

Утро уже на исходе. Карета давно ждет меня, но все же я должен добавить еще два слова.

Я не однажды имел случай наблюдать молодого Экенстедта и не раз ощущал в нем благородный и высокий дух, который сулит ему великое будущее. Но подчас я находил его суровым, почти жестоким, легковерным, вспыльчивым и неспособным к здравому суждению.

Я хочу поделиться с вами моим подозрением, любезная фрекен. Мне думается, что молодой человек подвержен чьему-то дурному влиянию, которое оказывает пагубное действие на его натуру.

Вы, любезная фрекен, теперь оправданы и чисты в глазах вашего жениха. Поскольку вы с ним встречаетесь всякий день, то едва ли возможно,

чтобы он остался нечувствителен к вашему очарованию. Добрые отношения между вами непременно вскоре восстановятся. Во всяком случае, ваш покорный слуга питает живейшую надежду на то, что ваше счастье, разрушенное по моей вине, снова вернется к вам. Но позвольте человеку, который любит вас и желает вам совершенного благополучия, высказать предостережение относительно влияния, о котором я упоминаю, и посоветовать вам, если возможно, устранить его. Позволено ли мне будет добавить еще только одно слово? Нет нужды говорить о том, что я также присоединяюсь к просьбе полковника. Я предан госпоже полковнице безгранично, и если для ее спасения понадобится моя помощь, вы можете рассчитывать на то, что в этом случае я готов пойти на самые большие жертвы. Ваш покорный и преданный слуга

*Густав Хенрик Шагерстрем».*

Шарлотта перечитала письмо несколько раз, вдумываясь в его содержание. Она долго сидела неподвижно, размышляя над тем, чего ждут от нее эти два человека — полковник и Шагерстрем. Что она может сделать?

Что имел в виду полковник, прося передать ей его слова, и зачем Шагерстрем написал ей столь поспешно это длинное письмо?

Вдруг она вспомнила, что завтра последний день оглашения. Быть может, Шагерстрем рассчитывает, что она, узнав обо всем, согласится, чтобы оглашение было сделано в третий раз и тем самым обрело силу закона?

Нет, она тотчас же отбросила эти подозрения. Шагерстрем не думает о себе. Если бы это было так, он писал бы более осмотрительно. А ведь он был весьма откровенным, высказывая суждение о Карле-Артуре. И сделал это без колебаний, не боясь навлечь на себя подозрение в том, будто письмо его продиктовано желанием повредить сопернику.

Но что, по его мнению, могла бы она сделать? Что имеют в виду Шагерстрем и полковник? Ей, разумеется, ясно, чего они ждут от нее. Они хотят, чтобы она вернула матери сына. Но как это сделать?

Неужто они воображают, что она имеет какое-то влияние на Карла-Артура? Она уже пыталась убедить его, употребила все свое красноречие, но ничего не добилась.

Она закрыла глаза. Она увидела полковницу, лежащую на постели с забинтованной головой, с изжелта-бледным, осунувшимся лицом. Она видела гордый, презрительный гнев, исказивший ее черты. Она слышала, как полковница говорит чужому ей человеку, который так же, как и она, страдает от неразделенной любви: «Как горько, господин заводчик, что те, кого мы любим, не могут ответить нам такою же любовью».

Шарлотта быстро поднялась, сложила письмо и опустила его в карман юбки, словно для того, чтобы черпать в нем силу и поддержку. Спустя несколько минут она была уже на пути в деревню.

Подойдя к дому органиста, Шарлотта постояла несколько минут и мысленно произнесла молитву. Она пришла сюда, чтобы попытаться упросить Тею Сундлер отослать Карла-Артура назад к матери. Лишь она одна могла это сделать. И Шарлотта просила Бога вооружить ее гордое сердце терпением, чтобы она могла убедить и растрогать эту женщину, которая ненавидела ее.

Ей посчастливилось застать фру Сундлер дома одну. Шарлотта спросила, может ли Тея уделить ей несколько минут, и вскоре они сидели друг против друга в маленькой уютной гостиной фру Сундлер.

Шарлотта сочла уместным начать разговор с извинения за то, что обрезала локоны Теи.

— Я была в тот день в таком отчаянии, — сказала она, — но это, разумеется, было очень дурно с моей стороны.

Фру Сундлер отнеслась к ней весьма благосклонно. Она сказала, что вполне понимает чувства Шарлотты. Она добавила, что и у нее не меньше оснований просить у Шарлотты прощения. Она верила в виновность Шарлотты и не станет отрицать, что судила ее чрезвычайно сурово. Но с этого дня она сделает все, все, чтобы честь Шарлотты была восстановлена.

Шарлотта отвечала с прежней учтивостью, что она благодарна Тее за это обещание, но теперь есть нечто, тревожащее ее гораздо больше,



нежели ее собственная репутация.

Затем она рассказала фру Сундлер о несчастном случае с полковницей и добавила, что Карл-Артур, верно, не подозревает о том, какие страдания терпит его мать, иначе он не покинул бы Карлстад, не сказав ей ни одного ласкового слова.

Но тут Тея Сундлер стала вдруг чрезвычайно сдержанна.

Она ответила, что убедилась в том, что Карл-Артур все важные решения принимает по некоему наитию, вне всякого сомнения исходящему от самого Бога. Как бы он ни поступил — он всегда действует по божьему наущению.

Бледные щеки Шарлотты окрасились легким румянцем, но она продолжала говорить, не позволяя себе ни упреков, ни колкостей. Она сказала, что твердо убеждена в том, что полковница не сможет прийти в себя после разрыва с сыном. Она спросила Тею, не находит ли та ужасным, что совесть Карла-Артура будет отягощена смертью матери.

Фру Сундлер весьма проникновенно и с большим достоинством ответила, что уповает на то, что Бог оградит своей десницей и мать и сына. Она полагает, что, быть может, благое провидение печется о том, чтобы сделать из дорогой тетушки Экенстедт истинную христианку.

Шарлотта представила себе изжелта-бледное лицо, искаженное гневом, и подумала, что едва ли полковница таким путем придет к истинному христианству. Но она воздержалась от неосторожных высказываний и заметила лишь, что явилась, собственно, затем, чтобы просить Тею Сундлер употребить все свое влияние на Карла-Артура и добиться примирения между матерью и сыном.

Фру Сундлер зашепелявила еще сильнее обычного; голосок ее сделался еще более вкрадчивым и масляным. Быть может, она и вправду имеет некоторое влияние на Карла-Артура, но она никогда не осмелится употребить его в деле столь важном. Тут он должен решать сам.

«Она не хочет, — подумала Шарлотта. — Так я и знала. Бесплезно взывать к ее жалости. Она ничего не сделает бескорыстно».

Она поднялась с тем же самообладанием, какое сохраняла с самого начала визита, чрезвычайно учтиво попрощалась и пошла к двери. Фру Сундлер провожала ее, с увлечением распространяясь о

той ответственности, которая лежит на тех, кто имеет счастье пользоваться доверием Карла-Артура.

Шарлотта, взявшись за ручку двери, обернулась и окинула взглядом комнату.

— У тебя премиленькая гостиная, — сказала она. — Неудивительно, что Карл-Артур так любит бывать здесь.

Фру Сундлер промолчала. Она не понимала, к чему клонит Шарлотта.

— Воображаю, как уютно бывает здесь по вечерам, — продолжала Шарлотта. — Твой муж сидит за фортепьяно, ты поешь, а Карл-Артур, устроившись в одном из этих мягких кресел, слушает музыку.

— Да, — ответила фру Сундлер, все еще не понимая, в чем дело. — Мы приятно проводим время, точно так, как ты говоришь, Шарлотта.

— Иной раз, должно быть, и Карл-Артур развлекает вас? Читает стихи или рассказывает о скромной пасторской усадьбе, в которой мечтает поселиться?

— Да, — повторила фру Сундлер. — И я и мой муж весьма счастливы, что Карл-Артур удостаивает своими посещениями наш скромный дом.

— И это счастье может длиться долгие годы, если ему ничто не воспрепятствует, — снова заговорила Шарлотта. — Карл-Артур ведь еще не так скоро женится на своей далекарлийке, а в пасторской усадьбе ему будет очень одиноко. Ему необходим такой приятный уголок, где бы он мог отдохнуть душой.

Фру Сундлер молчала. Она вся обратилась в слух, она была само внимание. Она понимала, что Шарлотта затеяла этот разговор не без умысла, но все еще не могла разгадать, в чем же он состоит.

— Если бы я осталась в пасторской усадьбе, — с легким смехом заметила Шарлотта, — то, должно быть, смогла бы уделить ему свободное время. Я знаю, он больше не любит меня, но из-за этого нам вовсе незачем жить как кошка с собакой. Я, к примеру, могла бы помочь ему в хлопотах с этим детским приютом. Когда встречаешься каждый день, то всегда находится много общих дел и интересов.

— Да, само собой. А что, Шарлотта, ты и впрямь намерена оставить пасторскую усадьбу?

— Трудно сказать. Ты ведь знаешь, что я собиралась замуж за Шагерстрема.

С этими словами она приветливо кивнула на прощание и открыла дверь, чтобы идти.

Выйдя в маленькую прихожую, она заметила, что у нее развязался шнурок на башмаке. Она наклонилась и завязала его. На всякий случай она завязала покрепче и другой. «Надо дать ей время поразмыслить, — думала она. — Если Тея любит его, она не даст мне уйти, а если не любит...»

Шарлотта еще возилась со своими башмаками, когда фру Сундлер вышла в прихожую.

— Милая Шарлотта, — сказала она. — Не вернешься ли ты на минутку? Мне сейчас пришло в голову, что ты никогда прежде не переступала порога моего дома. Позволь мне предложить тебе стакан малинового сока. Не годится уходить, не отведав чего-нибудь. Говорят, что уйти, не отведав угощения, — хозяев обидеть.

Шарлотта, которая наконец завязала шнурки, поднялась и весьма любезно поблагодарила Тею. Она не возражала против того, чтобы войти в уютную гостиную и подождать несколько минут, покуда фру Сундлер сбегает в погреб за соком.

«Во всяком случае, она не глупа, — подумала девушка. — Это по крайней мере утешительно».

Фру Сундлер отсутствовала долго, но Шарлотта отнюдь не сочла это за дурной знак. Она ждала тихо и терпеливо. В глазах у нее появилось такое же выражение, какое бывает у рыбака, когда он видит, что рыба ходит вокруг наживки.

Между тем хозяйка воротилась с соком и печеньем. Шарлотта отхлебнула темно-красного сока, взяла печенье и принялась грызть его, а фру Сундлер попросила извинения за то, что так замешкалась.

— Превосходное печенье! — сказала Шарлотта. — Оно, как видно, испечено по рецепту твоей матушки. Она была истинная Кайса Варг.[\[108\]](#) Как славно, что ты столь искусна в стряпне. Карл-Артур, видно, лакомится здесь куда лучше, чем в пасторской усадьбе.

— О, вовсе нет! Не забывай, Шарлотта, что мы люди не богатые. Но не будем говорить о пустяках, а лучше подумаем о бедной тетушке Экенстедт! Могу я говорить с тобой откровенно?

— Для того я и пришла сюда, милая Тея, — сказала Шарлотта самым ласковым тоном.

Ни одна из них не повышала голоса, напротив, они старались говорить шепотом. Они сидели, спокойно прихлебывая малиновый сок и грызя печенье, но руки у них дрожали, как у азартных игроков, когда решается затянувшаяся партия.

— Скажу тебе откровенно, Шарлотта: мне кажется, что Карл-Артур побаивается своей матери. И, быть может, даже не столько ее самой — она ведь живет в Карлстаде и не так часто имеет случай влиять на него. Но он заметил, что она хлопочет, чтобы вновь соединить его с тобой, Шарлотта. И... прости, что я говорю тебе об этом... но вот этого-то он и опасается больше всего.

Шарлотта чуть усмехнулась.

«Ага, — подумала она, — так вот как мы повернули дело! Право же, Тея вовсе не глупа».

— Ты, стало быть, полагаешь, Тея, — сказала она, — что могла бы уговорить Карла-Артура отправиться в Карлстад примириться со своей матерью, если бы сумела убедить его, что это не приведет ни к каким последствиям в отношении меня?

Фру Сундлер пожала плечами.

— Я только высказываю предположение, — возразила она. — Он, быть может, и сам несколько опасается собственной слабости. Разумеется, его многое привлекает в тебе. Я вообще не понимаю, как может молодой человек устоять перед чарами красавицы, подобной тебе, Шарлотта.

— *И ты полагаешь...*

— Ах, Шарлотта, ничего нельзя знать наверняка. Но я думаю, что если бы у Карла-Артура была уверенность в том...

— Ты хочешь сказать, что если завтра оглашение будет сделано в третий раз, то он будет чувствовать себя увереннее?

— Разумеется, это было бы хорошо. Но, Шарлотта, оглашение ведь еще не венчание. Свадьбу можно отложить, и ты можешь еще много лет оставаться в пасторской усадьбе.

Шарлотта чуть поспешнее, чем следовало, поставила стакан с соком на поднос. Идя сюда, она знала, что ей придется дорогой ценой заплатить за то, что Тея отпустит Карла-Артура к матери. Но она думала, что оглашением Тея удовлетворится.

— Я понимаю так, — сказала фру Сундлер, понизив голос до шепота, — что ежели ты, Шарлотта, сейчас отправишься домой, напишешь записочку Шагерстрему и спросишь, не согласится ли он завтра же утром приехать обвенчаться с тобой тотчас после утренней службы, то...

— Это невозможно!

Возглас прозвучал, как отчаянная мольба о пощаде. Единственный раз за все время беседы Шарлотте не удалось скрыть своих страданий. Фру Сундлер продолжала, не обращая ни малейшего внимания на мольбу своей противницы:

— Я не знаю, что возможно, а что невозможно для Шарлотты. Я говорю только, что если ты, Шарлотта, напишешь такую записку и пошлешь ее с нарочным в Озерную Дачу, то ответ придет через пять-шесть часов. Ежели ответ будет положительный, то я сделаю все, что в моих силах, чтобы уговорить Карла-Артура поехать к матери.

— А если тебе это не удастся?

— Я горячо привязана к тетушке Экенстедт, Шарлотта, и, право же, крайне огорчена ее болезнью. Если я смогу успокоить опасения Карла-Артура насчет известного тебе обстоятельства, то едва ли мне это не удастся. Я убеждена, что Карл-Артур отправится домой завтра, сразу же после богослужения.

Это был четкий и тщательно продуманный план, без слабых мест и изъянов. Шарлотта сидела, опустив глаза. Под силу ли это ей?

Ей придется всю жизнь прожить с человеком, которого она не любит. Сможет ли она?

Да, разумеется, сможет. Ее рука нащупала письмо в кармане юбки. Разумеется, сможет.

Шарлотта залпом допила сок, чтобы прокашляться.

— Я дам тебе знать, что ответит Шагерстрем, как только будет возможно, — сказала она и встала, чтобы уйти.

## СУББОТА: С ПОЛУДНЯ ДО ВЕЧЕРА

### I

Когда вам предстоит пройти через что-то очень трудное, то хорошо, если можно сказать себе: «Это необходимо. Я знаю, отчего поступаю так. Иного выхода нет». И мучительное беспокойство отступает перед твердой убежденностью в том, что вам остается лишь покориться обстоятельствам. Правду говорят, что все легче терпится, если знаешь, что дело решено и ничего переменить нельзя.

Возвратясь домой в пасторскую усадьбу, Шарлотта тотчас же написала несколько строк Шагерстрему. Хотя записка была короткой, Шарлотте пришлось немало поломать над ней голову. И вот что ей наконец удалось сочинить:

«Памятуя последние строки вашего письма, господин заводчик, я хотела бы спросить вас, сможете ли вы прибыть завтра в пасторскую усадьбу во втором часу, чтобы старый пастор обвенчал нас.

*Прошу передать ответ с нарочным.  
Преданная вам*

*Шарлотта Левеншельд».*

Сложив и запечатав записку, Шарлотта попросила у пастора позволения отослать ее с кучером в Озерную Дачу.

Затем она стала рассказывать своим старикам обо всем, что произошло, чтобы подготовить их к предстоящему завтра событию.

Но пасторша прервала ее.

— Знаешь что? Расскажешь нам обо всем этом после. А теперь ступай-ка к себе отдохнуть. Погляди, на кого ты похожа! Краше в гроб кладут.

Она увела Шарлотту вверх в ее комнату, заставила лечь на диван и заботливо прикрыла шалью.

— Спи себе, не тревожься! — сказала она. — К обеду я тебя разбужу.

Какое-то время рой беспокойных и мучительных мыслей все еще кружился в голове Шарлотты, но затем постепенно они утомнились. Ведь стало ясно, что их бурное метание ни к чему, что все уже решено и ничего нельзя изменить. Скоро бедняжка и впрямь погрузилась в сон, позабыв обо всех своих бедах.

Она проспала несколько часов. Пасторша заглянула к ней, как и обещала, когда был подан обед, но, увидев, что девушка крепко спит, не стала ее тревожить. Ее разбудили лишь, когда кучер вернулся обратно из Озерной Дачи с ответом Шагерстрема.

Шарлотта развернула записку и увидела, что Шагерстрем ответил лишь одной строчкой:

«Ваш покорный слуга будет иметь честь  
явиться».

Письмецо было тотчас же отослано к фру Сундлер, и Шарлотта вторично начала рассказывать пастору и пасторше о своих злоключениях, но ее снова прервали. Явился посланный от ее сестры, докторши Ромелиус, которая просила ее прийти немедленно. Утром у нее сильно пошла горлом кровь.

— Одна беда за другой! — сказала пасторша. — Не иначе как у нее чахотка. Это уже давно видно было по ней. Разумеется, тебе надо идти, душенька. Только бы тебе не свалиться от всего этого.

— Нет, нет, ничего! — сказала Шарлотта, торопливо одеваясь, чтобы во второй раз за этот день отправиться в деревню.

Она застала сестру в маленькой гостиной. Больная сидела в кресле, обложенная подушками, окруженная всеми своими детьми. Двое стояли, прижавшись к ней, двое сидели на скамеечке у ее ног, а двое самых маленьких ползали по полу вокруг нее. Эти малыши еще не имели понятия о болезнях и опасностях, но четверо детей постарше, которые уже многое понимали, были напуганы и встревожены. Они окружили мать, точно оберегая ее от нового приступа болезни.

Никто из них не шевельнулся при виде Шарлотты. Старший мальчик сделал предостерегающий жест.

— Матушке нельзя ни двигаться, ни говорить, — прошептал он.

Но нечего было опасаться, что Шарлотта заговорит с больной. В ту самую минуту, как она вошла в комнату, что-то мучительно сдавило ей горло. Она боролась с собой, чтобы не разрыдаться.

Гостиная докторши была небольшой холодной комнатой, в которой стояла мебель карельской березы, оставшаяся Марии-Луизе от родителей. Здесь были диван, стол, около него два кресла, два столика у окон и шесть стульев. Это была прекрасная старинная мебель, но поскольку в комнате больше ничего не было — ни крошки еды на столе, ни цветочного горшка на окне, — то вся эта обстановка показалась Шарлотте донельзя мрачной и печальной.

Всякий раз, посещая сестру, она чувствовала, что ей невозможно сидеть в этой гостиной, но в другие комнаты сестра никогда ее не пускала. Шарлотта подозревала, что остальная часть дома была уж слишком убогой и бедной, и оттого Мария-Луиза не приглашала ее туда.

Вообще-то врачи обычно жили довольно богато, но Ромелиус, который по целым дням пьянствовал в трактире, почти ничего не зарабатывал, обрекая жену и детей на нужду и лишения. Легко было понять, что докторша, которая любила мужа и не хотела, чтобы сестра осуждала его, держалась с Шарлоттой несколько отчужденно и не посвящала ее в свои обстоятельства.

И то, что докторша, такая слабая и больная, все-таки приняла Шарлотту в гостиной, растрогало ее до слез. Она делала это ради мужа, она все еще думала о том, чтобы оградить его от упреков. Шарлотта подошла к сестре и поцеловала ее в лоб.

— Ах, Мария-Луиза, Мария-Луиза! — прошептала она.

Докторша взглянула на нее со слабой улыбкой. Затем она кивнула головой на детей и снова подняла взгляд на Шарлотту. Шарлотта поняла ее.

— Да, да, разумеется, — сказала она, а затем проговорила решительным и бодрым тоном, который бог весть откуда у нее взялся.

— Послушайте, дети, пасторша Форсиус прислала вам печенье. Оно у меня в ридикюле, в прихожей. Ну-ка, пойдете!

Она увела их из комнаты, оделила печеньем и отослала играть в сад.



Вернувшись к сестре, Шарлотта села на скамеечку у ее ног, взяла ее исхудалые, натруженные руки в свои и прижалась к ним щекой.

— Ну вот, друг мой, мы и одни. Что ты хотела мне сказать?

— Если я умру... — произнесла больная, но умолкла, боясь вызвать новый приступ кашля.

— Ах, да, — сказала Шарлотта. — Тебе ведь нельзя разговаривать. Ты хочешь попросить меня позаботиться о твоих детях, если тебя не станет. Это я обещаю тебе, Мария-Луиза.

Сестра кивнула. Она улыбнулась благодарной улыбкой, но в то же время слеза скатилась у нее с ресниц.

— Я знала, что ты поможешь мне, — прошептала она.

«Она не спрашивает, как я смогу прокормить всех этих малышей», — подумала Шарлотта, которая из-за этой новой беды забыла обо всем, что случилось нынче утром. Но вдруг ее осенила мысль: «Разумеется, ты сможешь прокормить их. Ты же будешь богата. Ты ведь выходишь замуж за Шагерстрема».

И тут она подумала: «Быть может, все это и случилось ради того, чтобы я смогла помочь Марии-Луизе».

И впервые мысль о браке с Шагерстромом принесла ей какое-то облегчение. Прежде она думала о нем с грустной покорностью.

Она предложила сестре отвести ее в постель. Но докторша покачала головой. Она хотела сказать еще что-то.

— Не оставляй детей у Рикарда, — попросила сестра.

Шарлотта горячо пообещала ей это, но в то же время крайне удивилась. Стало быть, Мария-Луиза вовсе не обожает мужа столь слепо, как думала Шарлотта. Она понимает, что он человек конченный и детей надо спасти от его влияния.

Но видно было, что сестра хочет поделиться с ней еще какой-то мыслью.

— Я боюсь любви, — сказала она. — Я знала, каков Рикард, но любовь заставила меня выйти за него. Я ненавижу любовь.

Шарлотта поняла, что сестра сказала это, желая как-то утешить ее. Она хотела сказать ей, что даже самая сильная любовь может оказаться неудачной и привести к роковым ошибкам. Лучше руководствоваться разумом.

Шарлотта собиралась ответить ей, что она, со своей стороны, будет любить любовь до последнего своего часа и никогда не станет

укорять ее за муки, которые она уготовила ей, но тут докторша страшно закашлялась, так что Шарлотта не успела ей ничего сказать. Едва кашель утих, Шарлотта поторопилась постлать постель и уложить больную.

В этот вечер Шарлотта взяла на себя обязанности хозяйки в этом скромном доме. Она приготовила детям ужин, покормила их и уложила спать.

Но при этом ей впервые довелось увидеть одежду, белье и утварь в доме сестры, и она пришла в ужас. До чего все было изношено, поломано, запущено. В хозяйстве недоставало самого необходимого! Служанка была ленивая и бестолковая! Детское платье — заплатка на заплате! Столы и стулья нуждались в ремонте. У одного была поломана спинка, у другого недоставало ножки.

Слезы жгли глаза Шарлотты, но она не давала им воли. Она чувствовала щемящее сострадание к сестре, которая сносила всю эту нищету, никогда не жалуясь и не прося помощи.

Хлопоча по дому, Шарлотта время от времени заходила к сестре, которая теперь лежала, успокоившись, и, как видно, наслаждалась тем, что кто-то заботится о ней.

— Хочу порадовать тебя, — сказала Шарлотта. — Тебе больше никогда не придется выбиваться из сил. Завтра утром я пришлю тебе хорошую служанку. Ты будешь лежать и бездельничать, куда совсем не поправишься.

Больная недоверчиво улыбнулась. Видно было, что такая перспектива радует ее. Но Шарлотта заметила, что сестру точит какая-то тревога, которую ей не удалось изгнать своими обещаниями.

«Слишком поздно, — подумала Шарлотта. — Она знает, что умрет. Ничто уже не может утешить ее».

Вскоре она снова подошла к постели сестры. Она сказала, что пошлет ее на воды, чтобы та хорошенько там полечилась.

— Ты ведь знаешь, у меня будет много денег. Так что положишься на меня.

Ей претило говорить о богатстве Шагерстрема. Но сестре это пришлось по душе. Мысль о том, что Шарлотта разбогатеет, была для нее лучшим лекарством.

Она притянула к себе руки Шарлотты и благодарно погладила их, но видно было, что тревога все еще точит ее.

«Что же ее мучит? — думала Шарлотта. У нее мелькнуло было подозрение, но она отогнала его. — Ведь не может же быть, чтобы Мария-Луиза хотела просить и за мужа! Теперь, когда она лежит обессиленная, нищая, смертельно больная! Нет, тут, видно, что-нибудь другое».

Уложив детей, Шарлотта вошла к сестре, чтобы проститься с ней.

— Я ухожу, — сказала она, — но по дороге загляну к сиделке и попрошу ее переночевать у тебя. Завтра утром я приду снова.

Сестра опять ласково погладила ее руку.

— Завтра ты мне не понадобишься, а в понедельник приходи.

Шарлотта поняла, что муж докторши, который в этот вечер отправился к больному, в воскресенье будет дома, и Мария-Луиза не хочет, чтобы он встретился с ее сестрой. Больная все еще держала ее за руку. Шарлотта поняла, что она хочет попросить ее еще о чем-то.

Она наклонилась к сестре и откинула ей прядь волос со лба. Ей показалось, что она касается умирающей, и внезапная мысль о том, что она, быть может, в последний раз видит свою верную, мужественную сестру, заставила ее сделать еще одну попытку рассеять беспокойство бедняжки.

— Я обещаю тебе, что мы с Шагерстромом позаботимся о Ромелиусе.

О, как просияло от радости лицо больной! Она прижала руку Шарлотты к своим губам.

Затем она, довольная, откинулась на подушку. Веки ее сомкнулись, и вскоре она уже спала, спокойно и мирно.

«Так я и знала, — подумала Шарлотта. — Она тревожилась о нем. Я знала, что она не может ненавидеть любовь».

## II

Было уже больше десяти часов, когда Шарлотта вернулась от докторши. У калитки она столкнулась со служанкой и кухаркой, которые также возвращались домой, но не из деревни.

Они тотчас же принялись рассказывать, что были на молитвенном собрании пиетистов в заводе Хольма. Собрание происходило в старой кузнице. Народу было битком, и магистр Экенстедт говорил там. Туда

пришли не только свои, фабричные и деревенские, но также люди из других мест.

Шарлотта хотела спросить, был ли Карл-Артур столь же красноречив, как обычно, но служанкам так не терпелось рассказать обо всем, что они не дали ей и слова вымолвить.

— А магистр Экенстедт почитай все время про вас, фрекен Шарлотта, говорил, — сказала служанка. — Он сказал, что, дескать, и он и все другие несправедливо обошлись с фрекен. Что фрекен вовсе не лицемерка и не притворщица. Он хотел, чтобы все это знали.

— И он рассказал, что он говорил и что вы, фрекен, говорили, когда бранились с ним, — сказала кухарка. — Он хотел, чтобы мы знали, как все вышло. Только уж не знаю, ладно ли он сделал. Впереди меня два мальчика сидели, так они чуть со стульев от смеха не грохнулись.

— Да и другие тоже смеялись, — добавила служанка. — Только это все те, у кого ума не хватает. А другим это пришлось по душе. А после он сказал, что нам всем надо молиться за вас, фрекен Шарлотта, потому как вы пойдете опасной дорогой. Вы ведь за богача выходите! И он напомнил нам слова Иисуса, что трудно богатым попасть в царство небесное... Да куда же вы, фрекен?

Не говоря ни слова, Шарлотта поспешила прочь. Точно преследуемая, вбежала она в дом, одним духом взлетела по лестнице и заперлась у себя в комнате. Здесь она, не зажигая огня, сбросила с себя платье, а затем долго лежала в постели неподвижно, глядя во тьму.

— Все кончено, — бормотала она. — Карл-Артур убил любовь.

Прежде ему это не удавалось. Он ранил ее, пренебрегал ею, попираал ее, клеветал на нее, а она все еще жила. У нее не было в утешение даже такой малости, как дружеский взгляд, а она все еще цеплялась за жизнь, но после этого она должна была умереть. Шарлотта спрашивала себя, отчего то, что он сделал нынче, оказалось труднее перенести, чем что-либо другое. Она не могла объяснить этого себе, но знала, что это так. Карл-Артур, разумеется, сделал это с самими благими намерениями. Он хотел восстановить ее честь. Он говорил так, как велела ему совесть. Но он нанес ее любви смертельный удар.

И она вдруг почувствовала такую пустоту! Подумать только, теперь ей не о ком мечтать, не о ком тосковать! Когда она станет

читать увлекательный роман, герой больше не будет невольно обретать его черты. Когда она станет слушать музыку, полную любовной тоски, она не поймет ее, потому что музыка эта не найдет отзвука в ее душе.

Как сможет она увидеть красоту цветов, птиц, детей, если любовь ушла от нее?

Этот брак, в который она собиралась вступить, представлялся ей бескрайней, бесконечной пустыней. Если бы при ней оставалась ее любовь, она наполняла бы ее душу. Теперь же она будет жить в чужом доме с пустотой в душе и с пустотой вокруг.

Она подумала о полковнице. Теперь Шарлотта поняла, что вызвало ее гнев, отчего в лице ее появилось грозное и суровое выражение. И она, должно быть, думала о том, что Карл-Артур убил ее любовь.

Мысли Шарлотты обратились к Шагерстрему. Она думала о том, что же увидела в нем полковница, что заставило ее пожелать, чтобы он был ее сыном. Она сказала это не из пустой учтивости, в ее словах был какой-то смысл.

И вскоре Шарлотте стало ясно, что увидела в нем полковница. Она увидела, что Шагерстрем умеет любить. Это было то, чего не умел Карл-Артур. Шагерстрем умеет любить. Шарлотта недоверчиво усмехнулась. Неужели Шагерстрем умеет любить лучше, чем Карл-Артур? Он ведь натворил немало глупостей с этим сватовством и оглашением. Но полковница проницательней, чем кто-либо иной. Она поняла, что Шагерстрем никогда бы не смог убить любовь человека, который любил его.

— Это ужасный грех — убивать любовь, — прошептала Шарлотта.

Затем она подумала, мог ли Карл-Артур сделать это предумышленно и обдуманно. Он был ее женихом пять лет и должен был бы знать, что глубоко ранит ее, если станет рассказывать о ее любви перед собравшейся толпой, сделав ее предметом насмешек и бесцеремонного любопытства. Или, быть может, Тея Сундлер побудила его к этому, чтобы наконец покончить с Шарлоттой? Неужто она все еще не унялась, хотя уже разлучила ее с Карлом-Артуром и заставила выйти за другого? Неужто она сочла необходимым нанести ей это смертельное оскорбление?

Кто из них виноват — это ей было почти безразлично. В эту минуту Шарлотта чувствовала одинаковую неприязнь к ним обоим.

Она пролежала еще несколько минут, обуреваемая бессильным гневом. Время от времени слеза скатывалась по ее щеке, смачивая подушку.

Но в жилах Шарлотты текла старинная, благородная шведская кровь, а в душе ее обитал гордый, благородный дух, который не мирился с поражением, но, все такой же нестигаемый, устремлялся к новой борьбе.

Она села на постели и с силой стукнула кулаком о кулак.

— Одно я знаю наверняка, — проговорила она. — Я не буду несчастна в замужестве. Уж такого удовольствия я им не доставлю!

И с этим добрым намерением в душе она снова легла и уснула. Она пробудилась лишь в восьмом часу, когда пасторша вошла к ней, неся кофе на украшенном цветами подносе, чтобы достойно начать этот торжественный день.

# ДЕНЬ СВАДЬБЫ

## I

В воскресенье, во втором часу, Шагерстром, исполняя просьбу Шарлотты, отправился в пасторскую усадьбу. Богатый заводчик ехал в своем большом ландо. Лошади и сбруя были начищены до блеска, кучер и лакей разряжены в пух и прах, с розанами, заткнутыми за жилет. Фартук на облучке был убран, и всякий мог видеть белые лосины и гляцевые сапоги кучера. Хозяину было далеко до великолепия слуг, но и он выглядел весьма празднично в жабо и манжетах, в белом жилете, в ладно сидящем сером фраке с бутоньеркой в петлице. Короче говоря, всякий при виде его экипажа и его самого невольно должен был подумать: «Господи! Никак богач Шагерстром жениться едет!»

Шагерстром был тронут дружеским приемом, оказанным ему в усадьбе пастора. По правде говоря, старая усадьба во все эти тревожные дни имела несколько замкнутый и неприветливый вид. Трудно сказать, в чем это проявлялось, но чуткая душа тотчас улавливала разницу.

Сегодня же белая калитка была распахнута настежь, равно как и дверь, ведущая в прихожую. Гардины во всех окнах верхнего этажа, опущенные уже много недель, теперь были подняты, беспрепятственно впуская в комнаты солнце, так что чехлы и ковры могли выцветать под его лучами сколько угодно. Но перемена чувствовалась не только в этом. В этот день цветы рдели особенно ярко, а птицы щебетали особенно весело.

Не только миловидная служанка, но также пастор с пасторшей вышли на крыльцо, чтобы встретить Шагерстрема.

Они обнимали его, целовали его в щеку, хлопали по плечу и называли просто по имени, без всяких церемоний. Они обращались с ним как с сыном. Шагерстром, который провел ночь без сна, мучительно пытаясь решить, как ему следует вести себя, почувствовал огромное облегчение, точно у него вдруг перестал ныть больной зуб.

Шагерстрема провели в комнату пастора, где его уже дожидалась Шарлотта. Она была одета в платье из белого шелка с переливами и выглядела очаровательно. Правда, платье было несколько старомодно. Можно было догадаться, что у Шарлотты не нашлось подходящего наряда, и пасторша отыскала это платье в одном из огромных сундуков, стоящих на чердаке. Оно было короткое, с большим вырезом и с талией под грудью, но чрезвычайно подходило к наружности Шарлотты. Никто не удосужился раздобыть венец или цветочный веночек для невесты, но пасторша помогла девушке убрать волосы, заколов их большим черепаховым гребнем, и прическа эта очень шла к ее наряду. На шее у Шарлотты было несколько ниток поддельного жемчуга, скрепленных красивой застежкой, и точно такие же браслеты охватывали запястья. Все это убранство, хотя и недорогое, было очень к лицу Шарлотте. Она точно сошла со старинного портрета.

Когда Шагерстрем наклонился, чтобы поцеловать ей руку, она улыбнулась и произнесла чуть дрогнувшим голосом:

— Карл-Артур только что отправился в Карлстад, чтобы помириться со своей матерью.

— Лишь вы одна, досточтимая фрекен, могли совершить подобное чудо, — сказал Шагерстрем.

Он понял, что Шарлотта смогла побудить молодого Экенстедта к этой поездке, лишь дав согласие на брак с ним, Шагерстремом. Он не мог знать, каким образом все это устроилось, но, по правде говоря, был отнюдь не в восторге от происходящего. Оно и понятно. Разумеется, он восхищался самопожертвованием молодой девушки, он от души желал, чтобы полковница помирилась со своим сыном, но все же... Короче говоря, он хотел бы, чтобы Шарлотта пошла с ним под венец ради него самого, а не ради молодого Экенстедта.

— Тут замешано «дурное влияние», о котором ты писал, — продолжала Шарлотта, — «дурное влияние» потребовало моего замужества и удаления из усадьбы, и притом незамедлительно. Меньшим оно не пожелало довольствоваться. Пощады от него не было.

Шагерстрем отметил про себя выражение «пощады от него не было». Оно означало, как он понял, что Шарлотта невыразимо страдает, вступая с ним в брак.

— Я весьма сожалею об этом, любезная фрекен...



Шарлотта прервала его.

— Меня зовут Шарлотта, — сказала она с легким поклоном, — а я буду называть тебя Хенрик.

Шагерстром с благодарностью поклонился.

— Я буду называть тебя Хенрик, — продолжала Шарлотта с легкой дрожью в голосе, — так как догадываюсь, что твоя покойная жена называла тебя Густав. Я хочу, чтобы это имя было связано только с ней. Не следует отнимать у мертвых то, что принадлежит им по праву.

Шагерстром был крайне изумлен. Эти слова, как показалось ему, означали, что Шарлотта больше не питает к нему той неприязни, которую он ощущал во время их последней встречи в Эребру. Он разом воспрянул духом. Если бы робость и недоверчивость не были его второй натурой, он почувствовал бы себя совершенно счастливым.

Шарлотта спросила, не возражает ли он против того, чтобы венчание происходило в служебном кабинете пастора, где в течение года сочеталось браком множество пар.

— Пасторша, правда, хотела, чтобы нас обвенчали в большой зале, но мне кажется, что тут будет торжественнее.

Собственно говоря, дело было в том, что Шарлотта, которая хотела провести это утро в душевной беседе со своими верными старыми друзьями и покровителями, не дала пасторше времени на чистку и уборку нежилой парадной залы. Старушке не удалось даже отлучиться на кухню, чтобы присмотреть за приготовлением праздничного завтрака, которым она хотела попотчевать новобрачных.

Молодой заводовладелец не возражал против служебного кабинета, и бракосочетание состоялось немедленно. Кучер и лакей из Озерной Дачи, арендаторская чета и слуги из пасторской усадьбы были приглашены в свидетели этой церемонии.

Старый пастор громко читал положенные слова, а за окном весело и звонко чирикали воробьи и зяблики; они, казалось, знали о том, что происходит, и хотели почтить это событие самыми лучшими своими свадебными гимнами.

Когда все было кончено, Шагерстром некоторое время стоял в растерянности, не зная, что делать дальше, но Шарлотта обернулась к нему и подставила ему губы для поцелуя.

Право же, она совершенно сбивала его с толку. Всего мог он ожидать от нее — слез, молчаливого отчаяния, гордого пренебрежения, но не этой радостной покорности.

«Я убежден, что все, кто видит нас, полагают, будто не она, а я поневоле иду под венец», — подумал он.

Шагерстром мог объяснить это лишь тем, что Шарлотта из гордости хочет выглядеть довольной и счастливой.

«Но до чего же искусно она притворяется!» — подумал он с легкой досадой и в то же время с некоторым восхищением.

Когда они затем все четверо сидели за праздничным завтраком, который, по выражению пасторши, появился на столе исключительно волею провидения, но который тем не менее весьма удался, Шагерстром сделал попытку стряхнуть с себя меланхолическое настроение. Пастор и пасторша, отнюдь не удивленные тем, что он чувствует себя не в своей тарелке, силились расшевелить его, и под конец им это как будто удалось.

Во всяком случае, они заставили его разговориться. Он принялся рассказывать о своих поездках в чужие края, о попытках улучшить горное дело в Швеции и ввести новшества, которые он видел в Англии и Германии.

Он заметил, что Шарлотта слушает его с неподдельным интересом. Она сидела, вытянув шею, с широко раскрытыми глазами и ловила каждое его слово. Он решил, что все это, вероятно, просто-напросто игра. «Она делает это ради стариков, — подумал он. — Едва ли она может интересоваться вещами, в которых ничего не понимает. Она хочет, чтобы пастор с пасторшей думали, будто она любит меня. В этом все дело».

Это объяснение показалось ему все же лучше и извинительнее предыдущего. Он рад был видеть, что жена его до такой степени привязана к этим чудесным старикам. К концу завтрака уныние все же охватило их. Старики не в силах были отогнать от себя мысль о том, что через несколько минут Шарлотта их покинет. Шарлотта, это жизнерадостное создание, с ее проделками, с ее безрассудством, с ее острым язычком, с ее вспыльчивостью, Шарлотта, которая подчас бывала несносна, но которой они прощали все за ее доброе, любящее сердце, навсегда покидала их дом. До чего же пустой и скучной станет теперь их жизнь!

— Хорошо по крайней мере, что ты завтра снова приедешь, чтобы уложить свои вещи, — сказала пасторша.

Шагерстром понял, что старики пытаются утешить себя тем, что Шарлотта не уезжает далеко и что они время от времени будут видеться с нею. Но все же он заметил, что оба они как-то сникли, что спины их сгорбились, а морщины на лицах проступили резче. Отныне рядом с ними не будет никого, кто отгонял бы от них старость.

— Мы так рады, Шарлотта, дитя мое, — сказал пастор, — что ты входишь хозяйкой в столь превосходный дом, что у тебя будет хороший муж, но все же... все же... ты ведь понимаешь, нам будет очень недоставать тебя!

Старый пастор готов был прослезиться, но пасторша спасла положение, рассказав Шагерстрему, как ее старик однажды сказал ей, что бы он сделал, будь он холостяком и моложе лет на пятьдесят. Все невольно расхохотались, и мрачные мысли развеялись.

Когда ландо подкатило к крыльцу и Шарлотта приблизилась к пасторше, чтобы проститься с ней, старушка увела ее в соседнюю комнату и шепнула:

— Приглядывай сегодня весь день за мужем, друг мой. Он что-то задумал. Не спускай с него глаз!

Шарлотта сказала, что постарается.

— А знаешь, он нынче очень недурен. Ты заметила? Ему очень к лицу праздничная одежда.

Ответ Шарлотты крайне удивил пасторшу.

— А я никогда и не думала, что он дурен собою, — возразила Девушка. — В нем есть что-то мужественное. Он похож на Наполеона.

— Да что ты! — воскликнула пасторша. — Это мне никогда не приходило в голову. Впрочем, лишь бы тебе так казалось.

Когда Шарлотта, готовая к отъезду, вышла на крыльцо, Шагерстром увидел, что она надела ту же шляпку и мантилью, которые были на ней в церкви четыре воскресенья тому назад. Но тогда ему казалось, что они слишком убоги и не к лицу ей.

Теперь же он нашел их очаровательными. И вдруг, вопреки всему, его охватил бурный восторг при мысли о том, что это юное существо принадлежит ему и сейчас отправится с ним в его дом. Он подошел к Шарлотте, занятой прощанием, которому, казалось, не будет конца, схватил ее своими сильными руками и посадил в экипаж.

— Вот так, вот так и нужно! — восклицали пастор и пасторша, а ландо между тем, обогнув цветочную клумбу, выехало за ворота.

## II

Едва ли стоит говорить, что молодой заводовладелец тотчас же пожалел о своей выходке. Ему не следовало пугать Шарлотту. Если он станет вести себя подобным образом, она может подумать, что он считает эту комедию действительным союзом и намерен притязать на свои супружеские права.

Шарлотта и впрямь казалась несколько испуганной. Шагерстрем заметил, что она отодвинулась от него в самый дальний угол коляски. Но это длилось недолго. Когда они въехали в деревню, она снова сидела рядом с ним, смеясь и болтая.

Ну, разумеется, пока они едут по деревенской улице, она пытается соблюсти приличия. Она, верно, поведет себя иначе, когда они выедут на проезжую дорогу, где их никто не будет видеть. Но Шарлотта оставалась все такой же. Всю дорогу она болтала весело и оживленно. И предмет беседы был ею избран с явным намерением показать Шагерстрему, что она принимает свое замужество всерьез.

Для начала она заговорила о лошадях. Прежде всего ей хотелось знать все о четверке, запряженной в ландо. Когда они были куплены, каков их возраст, как их зовут, какая у них родословная, не пугливы ли, не могут ли понести? Затем дошла очередь и до других лошадей в Озерной Даче. Есть ли там хорошие верховые лошади, настоящие, объезженные верховые лошади? А седла? Найдется ли там английское дамское седло?

Она с сожалением вспомнила лошадей из пасторской усадьбы. Теперь они совсем захиреют — ведь кроме нее никто не подумает о том, что им необходима проминка.

Тут Шагерстрем, не удержавшись, шутливо заметил:

— Одна дама в дилижансе не так давно рассказывала мне, как некая фрекен чуть не загубила бедных, ни в чем не повинных животных своего благодетеля.

— Что, что? — воскликнула Шарлотта, но тут же, поняв намек, весело расхохоталась.

Смех обладает удивительным свойством. Новобрачные вдруг почувствовали себя старыми, добрыми друзьями. Исчезли натянутость и чопорность.

Шарлотта снова принялась за расспросы. Есть ли в имении мастерские? Сколько горнов в кузнице, как зовут кузнецов, их жен и детей? Она слышала, что в имении есть лесопилка. Верно ли это? Ах вот как, и мельница тоже? А на сколько жерновов? А как звать мельника?

Это был настоящий экзамен. У Шаггерстрема просто голова пошла кругом от этих вопросов. Подчас он затруднялся дать точный ответ. Он не знал, например, сколько у него овец, не имел понятия о том, сколько дойных коров на скотном дворе и сколько они дают молока.

— Это дело управляющего, — возразил он со смехом.

— Похоже, что ты ни о чем не имеешь понятия, — заявила Шарлотта. — Я убеждена, что в доме у тебя ужасный беспорядок. Придется немало потрудиться, пока все станет как должно.

Но такая перспектива как будто отнюдь не огорчала ее, а Шаггерстрем признался, что давно уже мечтает о настоящем домашнем тиране, об этакой строгой хозяйке вроде пасторши Форсиус.

Когда Шаггерстрем упомянул об управляющем, Шарлотте пришлось в голову спросить, сколько человек собирается ежедневно за господским столом. Как ведется хозяйство, сколько служанок в доме, сколько лакеев? Имеется ли в доме экономка? Есть ли от нее хоть какой-нибудь прок?

Не забыла она и про сад. Узнав, что в имении есть и оранжереи и виноградные теплицы, она несколько удивилась, совсем как тогда, когда Шаггерстрем сказал ей о верховых лошадях.

Легко понять, что время летело незаметно. Когда они свернули на лесную дорогу, ведущую прямо к имению, Шаггерстрем подумал, что две мили, отделявшие Озерную Дачу от деревни, на этот раз показались ему короче обычного. Но он все же предостерегал себя от радужных надежд. «Я вполне понимаю ее, — говорил он себе, — она пытается примириться с неизбежностью. Она говорит без умолку, чтобы заглушить печальные мысли».

Между тем в Озерной Даче нынче выдался весьма хлопотливый день.

Собственно говоря, никто не знал о том, что произошло с хозяином. Нарочный из пасторской усадьбы прибыл к нему в субботу в третьем часу, но заводчик никому и словом не обмолвился о предстоящем событии. Лишь поздно вечером он вдруг вспомнил, что ему понадобятся венчальные кольца, и один из инспекторов был тотчас же послан в город с наказом даже вытащить, если это будет нужно, ювелира из постели, купить кольца и выгравировать на них имена.

Инспектор, слава богу, не стал молчать, и вскоре все узнали, что завтра в имении появится новая хозяйка. Это было поистине счастьем, потому что если бы инспектор не проболтался, разве успела бы экономка проветрить парадные комнаты, снять с мебели чехлы и обтереть пыль? Разве успел бы садовник расчистить дорожки и прополоть гряды? Разве успели бы слуги почистить ливреи, навести глянец на сапоги, сбрую и ландо? Хозяин ходил точно во сне и не в состоянии был ничем распорядиться. Камердинеру Юханссону пришлось по собственному усмотрению выбрать ему подходящий к случаю костюм.

Но, по счастью, в имении были люди, которые знали, как принять молодую хозяйку. И садовник и экономка помнили еще то время, когда хозяйкой Озерной Дачи была лагманша [\[109\]](#) Ольденкруна, и умели поддержать честь дома.

Экономка лишь для видимости спросила хозяина, какие будут распоряжения, когда он в воскресенье утром уезжал со двора. Столь же осмотрительно поступил и садовник. Собственно говоря, Шагерстрем не думал о какой-либо торжественной встрече, но он ничего не будет иметь против, если фру Сэльберг приготовит скромный свадебный обед, а садовник успеет поставить одну цветочную арку.

Развязав себе таким образом руки, эти превосходные люди дожидались лишь отъезда Шагерстрема, чтобы начать приготовления к поистине королевской встрече.

— Обдумайте все хорошенько, фру Сэльберг! — сказал садовник. — Она ведь из благородной фамилии и знает обычаи и порядки в богатых поместьях.

— Ну, жила-то она всего-навсего в пасторской усадьбе, — возразила экономка, — так что едва ли она что-нибудь смыслит в этом.

Но это, разумеется, не мешает другим показать, на что они способны.

— Э, не скажите! — возразил садовник. — Я видел ее в церкви. Она вовсе не похожа на обычную компаньонку. Видели бы вы, как она держит себя. Уж она-то сумеет вернуть поместью его былую славу. У меня на душе потеплело, когда я подумал об этом.

— Да бог с ней, со знатностью, — сказала экономка. — А я так просто рада, что в доме появится молодая хозяйка. Пойдут балы да вечера, и можно будет себя показать. Это не то что изо дня в день кормить мужчин, которые глотают все подряд и вкуса не разбирают.

— Не больно-то радуйтесь! — рассмеялся садовник. — Девушка, которая столько лет прожила под началом пасторши Форсиус, и сама знает толк в хозяйстве.

С этими словами он поспешил прочь, потому что самая пора была приниматься за дело. Если хочешь успеть поставить четыре цветочные арки да еще украсить въезд в усадьбу цветочными вензелями, то прохлаждаться да лясы точить не приходится.

И все-таки садовник не управился бы со всеми делами, если бы у него не объявилось множество усердных помощников. Не следует забывать, что в усадьбе и в заводе царило бурное ликование. Все были рады тому, что и в большом господском доме снова появится хозяйка и будет к кому обращаться со своими нуждами и заботами. Хозяйка в усадьбе важнее хозяина. Она всегда бывает дома, с нею можно потолковать о детях, о скотине. Просто не верилось, что она появится здесь уже сегодня.

Ребятишки разнесли весть по всей округе, и все мастеровые и арендаторы, принарядившись как можно лучше, отправились на господский двор поглядеть молодых. Но всякому, кто появлялся в усадьбе, тотчас же давали какое-нибудь дело. Воздвигались арки, вдоль дороги вывешивались флаги, оставшиеся от прежних владельцев. Во двор имения выкатили две небольшие пушечки для салютов. Повсюду царили невообразимая толчея и суматоха.

Но зато когда молодые в шесть часов въехали в свои владения, все было уже готово.

У первой арки, высившейся в глубине леса, их встретили все заводские кузнецы с молотами на плечах; у второй арки, воздвигнутой на опушке леса, приветственно махали лопатами крестьяне и арендаторы; у третьей арки, отмечавшей въезд в аллею, кричали «ура»

мукомолы и пыльщики, у четвертой, перед воротами усадьбы, садовник, окруженный своими помощниками, вручил новобрачным великолепный букет цветов. И, наконец, у входа в дом стояли, приветствуя их, главный управляющий, конторщики, инспекторы, экономка и служанки.

Порядок при встрече не был столь образцовым, как могло бы показаться, судя по этому описанию. Люди веселились и продолжали кричать «ура» во все горло даже после того, как коляска проезжала ту арку, около которой они были поставлены. Ребяшня наперегонки бежала за экипажем, что несколько умаляло торжественность встречи, а стрельба из пушечек раздавалась в самые неожиданные моменты, но в целом все это выглядело столь красиво и празднично, что если бы сама покойная лагманша могла взглянуть на землю с небес, она осталась бы довольна и подумала бы, что Озерная Дача и ее старый садовник не посрамили своей чести.

Шагерстрем, который отнюдь не помышлял о такой пышной встрече, готов был уже рассердиться на вольность своих слуг, но, к счастью, прежде чем дать выход чувствам, он случайно бросил взгляд на Шарлотту.

Она сидела, в волнении сжав руки, с улыбкой на губах, а в уголках ее глаз блестели слезинки.

— О, как чудесно, — шептала она, — как чудесно!

Все это — арки, цветы, флаги, крики «ура», приветливые улыбки, стрельба из маленьких пушечек — все это было в ее честь, все радовались ее приезду.

И она, которая за последние недели привыкла к тому, что люди презирают и сторонятся ее, которая чувствовала, что каждый шаг ее вызывает осуждение и подозрение, которая не смела выйти из дома, боясь подвергнуться оскорблениям, теперь ощутила благодарность; она была растрогана всеми этими почестями, как ей казалось, незаслуженными.

Не было ни хулительных песен, ни букетов из крапивы и терновника, ни оскорбительно смеха. Все приветствовали ее с радостью и восторгом.

Она простерла к людям руки.

С этого мгновения она полюбила и это место и его обитателей. Ей казалось, что она попала в новый, счастливый мир. Здесь она будет



жить до самой своей смерти.

### III

Какое это счастье для новобрачного — вводить молодую жену в великолепный дом. Ходить из комнаты в комнату, слыша ее восторженные возгласы, и, опередив ее на несколько шагов, распахнуть дверь в следующую залу и сказать: «Здесь, я полагаю тоже недурно». Видеть, как она порхает, точно бабочка; то подбежит к роялю и тронет клавиши, то метнется к картине, то бросит быстрый взгляд на свое отражение в зеркале, чтобы убедиться, что оно в выгодном свете отражает ее черты, то помчится к окну полюбоваться живописным видом.

Но как пугается молодой муж, увидев, что она вдруг залилась слезами; с какой тревогой допытывается он о причине ее горя, как горячо обещает помочь ей во всех ее заботах.

И как рад он услышать, что дело лишь в том, что у нее есть сестра, которая лежит больная в нищей, убогой комнате, в то время как сама она совершенно незаслуженно наслаждается всем этим великолепием, всей этой роскошью!

Какую гордость чувствует он, обещая ей, что теперь она сможет помочь сестре во всем; если она пожелает, то можно уже сегодня вечером...

Нет, нет, не сегодня! Можно обождать и до завтра.

Итак, это огорчение устранено. Она забывает о нем, и осмотр дома продолжается.

— На этом вот стуле, — говорит она, — должно быть, очень удобно сидеть. А вон там, у окна, — подходящее место для рабочего столика.

Разумеется! Ей будет очень удобно за этим столиком, отвечает он, но тут же вспоминает то, о чем чуть было не забыл. Ведь это не настоящий брак. Все это фикция. Все это игра. Иногда кажется, что она смотрит на этот брак всерьез, но ведь ему-то истина хорошо известна.

Ему остается лишь одно: не подавать виду, пока можно; продолжать игру еще несколько часов; забавляться так же, как

забавляется она; скрыть в душе тоску и наслаждаться счастьем этих минут. И тогда можно с прежним ощущением радости продолжать осмотр дома, пока не явится лакей с докладом, что обед подан.

А как чудесно предложить ей руку и вести ее к столу, роскошно сервированному старинным фарфором, сверкающим хрусталем, блестящим серебром; а затем сидеть с нею за истинно королевским обедом из восьми блюд, пить искрящееся вино, смаковать кушанья, которые тают во рту!

Какое наслаждение — иметь подле себя молодую женщину, которая олицетворяет для тебя все, что тебе дорого в этом мире, которая умна и безыскусственна, которая умеет себя вести, но в то же время своевольна и непосредственна, которая способна плакать и радоваться в одно и то же время и которая с каждой минутой обнаруживает все новые пленительные свойства!

И, быть может, счастье — быть оторванным от всего этого в ту минуту, когда начинаешь совершенно терять разум. Является садовник, выполняющий сегодня роль церемониймейстера, и объявляет, что на гумне все готово для танцев, но никто не хочет начинать до появления хозяев. Свадебный бал должны открыть невеста и жених.

Как весело играть свадьбу именно так! Не среди равных, которые станут исходить завистью или насмехаться исподтишка, но среди благожелательного простого люда, который почти боготворит вас.

Как приятно для начала провести невесту в танце, а затем передать ее другим кавалерам и любоваться на нее, глядя, как она кружится с кузнецами и мельниками, со стариками и подростками все с той же радостной улыбкой на лице. Как чудесно сидеть здесь, вспоминая старинные предания и легенды об эльфах, которые присоединяются к пляшущим и заманивают в лес красивых парней! Ибо когда видишь, как она мелькает в танце среди огрубелых рабочих лиц, то начинает казаться, что она не создана из плоти, а соткана из чего-то более нежного, неземного.

Сидеть здесь и в страхе думать о том, что минуты уходят, и наконец увидеть, что время настало, что день свадьбы миновал и снова начинается пустая, тоскливая жизнь.

Что до Шарлотты, то в ушах ее непрестанно звучало предостережение пасторши: «Присматривай сегодня весь день за мужем, друг мой! Он что-то задумал. Не спускай с него глаз!»

Она и сама заметила эти резкие переходы от веселости к беспричинной грусти и не начинала танца, не убедившись в том, что он находится тут же, на гумне. А как только кавалер оставлял ее, она немедленно отыскивала мужа и садилась рядом с ним.

Будучи от природы приметлива, она, идя на гумно мимо конюшни, обратила внимание на то, что маленькая карета, которую Шагерстром обычно использовал для дальних поездок, вытащена из-под навеса. Это насторожило ее и усилило ее беспокойство.

Танцуя с кучером, она сделала попытку вывести у него кое-что о планах хозяина.

— Не слишком ли долго мы пляшем? — спросила она. — На какое время назначен отъезд господина заводчика?

— Точного времени он не сказал. Да только вы, барыня, не извольте беспокоиться. Карету я вытащил, лошади наготове. Так что ежели надо — я мигом соберусь.

Вот как! Теперь она знала, что ей делать.

Но поскольку муж все еще оставался на гумне и мирно беседовал со своими служащими, она сочла за благо не подавать вида, будто ей что-то известно. «Быть может, он и собрался нынче ехать, а потом переменил намерение, — подумала она. — Он понял, что меня нечего бояться, что я не так страшна, как ему казалось».

Но вскоре, отплясав довольно длинную польку, она обнаружила, что Шагерстром исчез. На дворе уже стемнело, а гумно лишь слабо освещалось двумя фонарями, но все же она тотчас убедилась, что мужа здесь нет. Она с беспокойством огляделась, ища кучера и лакея. Они тоже исчезли.

Шарлотта накинула на себя мантилью, подошла к группе молодых людей, которые стояли у широко открытых ворот гумна, чтобы охладиться после танцев, сказала им несколько слов, а затем, никем не замеченная, молча ускользнула во тьму.

Усадьба была ей незнакома, и она не знала, куда направиться, чтобы выйти к господскому дому. Но она заметила невдалеке свет фонаря и быстро пошла в ту сторону. Подойдя поближе, она увидела,

что фонарь стоит на земле у дверей конюшни. Кучер, как видно, собирался запрягать. Он уже вывел лошадей.

Шарлотта неслышно пробралась к карете. Она решила улучшить минуту, когда кучер повернется к ней спиной, открыть дверцу и залезть в карету.

Когда экипаж затем будет подан к крыльцу и Шагерстрем займет свое место, она выскажет ему все, что думает о подобном бегстве.

«Отчего он не откроет мне, что его мучит? — подумала она. — Он робеет, точно мальчик».

Но она не успела осуществить свое намерение, потому что кучер быстро справился со своим делом. Он повесил вожжи на козлы, снял с облучка свой кучерский кафтан и надел его. Он собрался уже было залезть на облучок, но вспомнил о фонаре. Успокоительно сказав лошадям: «Ну-ну, смирно, залетные!», он вернулся к фонарю, погасил его и унес в конюшню.

Он, разумеется, сделал все это весьма проворно, но кое-кто оказался проворнее его. Запирая дверь конюшни, он услышал щелканье кнута. Громкий возглас тронул лошадей с места, и они, миновав ворота усадьбы, заранее открытые кучером, понеслись по аллее. Карета скрылась в ночной тьме. Слышен был лишь стук колес да цокот лошадиных копыт.

Если когда-либо кучер мчался быстрее своих лошадей, чтобы сообщить хозяину, что какой-то негодный сорванец вскочил на облучок и угнал экипаж прямо у него из-под носа, то это был кучер Лундман из Озерной Дачи.

В прихожей он наткнулся на хозяина, беседовавшего с экономкой. В эту минуту она как раз говорила заводчику, что барыня исчезла.

— Вы велели мне, господин заводчик, передать барыне, что вам больше недосуг оставаться на гумне, но что она может плясать, сколько пожелает, а когда я пошла к ней...

Кучер не дал ей договорить. У него были более важные вести.

— Господин заводчик! — выпалил он.

Шагерстрем обернулся к нему.

— Что с тобой? — удивился он. — У тебя такой вид, точно лошадей украли.

— Так оно и есть, хозяин.

И он рассказал все, как было.

— Но лошади тут ни при чем, господин заводчик. Они сроду не понесли бы, кабы кто-то не влез на козлы да не погнал их. Знай я только, какой наглец осмелился...

Он внезапно умолк. Шагерстрем повел себя самым нелепым образом. Не стесняясь присутствия кучера, лакея и экономки, он повалился на стул и, к величайшему удивлению их, захохотал во все горло.

— Вот как, стало быть, вы не понимаете, кто осмелился украсть моих лошадей, — давясь от смеха, проговорил он.

Все трое уставились на него в недоумении.

— Надо поймать вора, — сказал он наконец, успокоившись. — Ну-ка, Лундман, оседлайте быстро трех верховых лошадей. А вы, Юханссон, помогите ему. Вы же, фру Сэльберг, на всякий случай поднимитесь наверх и поглядите, там ли барыня.

Экономка побежала наверх, но тотчас же спустилась назад и доложила, что барыни там нет.

— Не случилось ли, сохрани Бог, какого несчастья, господин заводчик? — воскликнула она.

— А это уж как кому покажется, фру Сэльберг. Попомните мои слова! Отныне мы больше не в своей власти, у нас теперь объявился хозяин!

— Что ж, мы будем только рады, господин заводчик, — сказала экономка.

И в ответ на это Шагерстрем — сам Шагерстрем! — потрепал старуху по жирному плечу, закружил ее в вальсе и воскликнул:

— Фру Сэльберг безропотно покоряется своей участи. Если бы и я мог поступить так же!

И он выбежал из дома, чтобы вместе с кучером и лакеем отправиться в погоню за беглянкой.

Вскоре все было кончено. Пойманная беглянка сидела в углу кареты рядом с Шагерстремом. Лундман взобрался на облучок и шагом ехал назад в усадьбу, а Юханссон вел под уздцы верховых лошадей.

Шарлотта гнала лошадей галопом примерно с полмили, но затем дорога пошла круто в гору, и никакие удары кнутом не могли принудить лошадей двигаться иначе, как шагом. Так что в конце концов Шарлотте пришлось сдаться.

Несколько минут в карете было тихо, но затем Шарлотта спросила:

— Ну, каково?

— Это было ошеломляюще, — сказал Шагерстрем. — Теперь я понимаю, как должна чувствовать себя жена, когда муж убегает от нее.

— Этого-то я и хотела, — сказала Шарлотта.

Минуту спустя Шагерстрем почувствовал, как кто-то сильно потряс его за плечо.

— Ты притворяешься! Ты смеешься. Ты не веришь, что я хотела убежать.

— Любимая моя, — сказал Шагерстрем, — единственным истинно счастливым мгновением, которое я пережил за весь день, было то, когда Лундман прибежал и сказал, что ты украла моих лошадей.

— Почему же? — спросила Шарлотта почти беззвучно.

— Моя любимая, я понял, что ты не хотела отпускать меня.

— И вовсе нет! — вырвалось у Шарлотты. — Я об этом и не думала. Просто вся деревня судачила обо мне целых три недели, и если бы ты теперь уехал...

— Понимаю, — сказал Шагерстрем. — Этого бы ты не смогла вынести.

Он засмеялся от любви и счастья, но затем сказал очень серьезно:

— Любимая моя, давай наконец объяснимся! Скажи, ты поняла, отчего я нынче вечером хотел уехать?

— Да, — твердо ответила девушка. — Это я поняла.

— Зачем же ты помешала мне?

Шарлотта молчала. Он долго ждал ответа, но в карете не слышно было ни единого звука.

— Когда мы вернемся домой, — сказал новобрачный, — ты найдешь у себя в комнате письмо от меня. В этом письме я говорю, что не хочу воспользоваться обстоятельствами, которые бросили тебя в мои объятия. Я хочу, чтобы ты была совершенно свободна. Ты можешь считать наш брак фиктивным.

Он умолк, дожидаясь ответа, но Шарлотта все еще ничего не говорила.

— В этом письме я также уведомляю тебя, что в доказательство моей любви и во искупление тех страданий, что я причинил тебе, я

намерен передать тебе в собственность мое поместье Озерную Дачу. После того как развод наш будет оформлен законным порядком, мне будет приятно сознавать, что ты осталась жить здесь, где все успели тебя полюбить.

Снова долгое молчание, и никакого ответа от Шарлотты.

— Это маленькое происшествие ни в коей мере не отменяет сказанного мною в письме. Вначале я истолковал его неверно. Но теперь я понимаю, что это была с твоей стороны лишь шутка, которую ты сыграла со мной, дабы избежать новых насмешек в деревне.

Шарлотта придвинулась к нему поближе, а затем он почувствовал на своей щеке ее теплое дыхание и услышал ее шепот у самого уха:

— Самый безмозглый болван из всех, какие ходят по божьей земле.

— Что, что?

— Прикажешь повторить?

Он быстро обнял ее и прижал к себе.

— Шарлотта, — произнес он, — говори же. Я должен знать, как мне поступить.

— Ну что ж, — сказала она резко, — говорить об этом не слишком приятно, но, быть может, ты будешь рад узнать, что вчера, примерно в это время, Карл-Артур убил мою любовь.

— Неужто?

— Он убил мою любовь. Она, видно, надоела ему. Я готова думать, что он сделал это намеренно.

— Любимая! — сказал Шагерстрем. — Оставь Карла-Артура в покое! Говори обо мне! Если твоя любовь к Карлу-Артуру умерла, то ведь это вовсе не означает...

— Разумеется, нет. Но... Ах, если бы тебе не нужно было так долго все объяснять!..

— Ты ведь знаешь, до чего я глуп.

— Видишь ли, — сказала Шарлотта медленно и задумчиво, — все это очень странно. Я не люблю тебя, но мне с тобой хорошо, покойно. Я могу говорить с тобой обо всем, я могу попросить тебя о чем угодно, я могу шутить с тобой. Мне с тобой приятно и спокойно, точно мы прожили в браке уже тридцать лет.

— Совсем как пастор и пасторша, — вставил Шагерстрем с легкой горечью.

— Да, что-то вроде этого, — продолжала Шарлотта все тем же задумчивым тоном. — Быть может, ты не вполне доволен таким признанием, но мне кажется, что это немало после одного только дня. Мне нравится, что ты сидишь около меня в карете, что ты следишь за мною взглядом, когда я танцую. Мне нравится сидеть рядом с тобою за столом и жить в твоём доме. Я благодарна тебе за то, что ты избавил меня от всего этого ужаса. Озерная Дача великолепна, но без тебя я не хотела бы оставаться здесь ни одного дня. Я никак не смогла бы примириться с тем, что ты уехал от меня. Но все-таки... Если то, что я чувствовала к Карлу-Артуру, было любовью, то, значит, мое чувство к тебе не любовь.

— Но может стать любовью, — тихо ответил Шагерстрем, и по голосу его чувствовалось, что он растроган.

— Быть может, и так, — ответила Шарлотта. — И знаешь что? Я, пожалуй, ничего не имела бы против, если бы ты меня поцеловал.

Карета Шагерстрема была превосходным экипажем; она катила по дороге без тряски и толчков. Молодой супруг вполне мог воспользоваться данным ему разрешением.



**Анна Свeрд**

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## ПОЕЗДКА В КАРЛСТАД

### I

Что бы ни говорили про Тею Сундлер, нельзя не признать, что она лучше, чем кто бы то ни было, умела обходиться с Карлом-Артуром Экенстедтом.

Взять, к примеру, Шарлотту Левеншельд. Ведь она тоже хотела уговорить его поехать в Карлстад и помириться с матушкой. Но чтобы побудить его к этому, она напомнила ему, кем матушка всегда была для него, и под конец попыталась даже припугнуть его, сказав, что он, дескать, может утратить дар проповедника, каковым обладал до тех пор, если покажет себя неблагодарным сыном.

Она, казалось, хотела, чтобы он приехал домой подобно блудному сыну и стал бы просить принять его в дом из милости. Это ему никак не подходило, особенно при том состоянии духа, в каком он теперь пребывал, когда его проповеди имели столь большой успех и прихожане боготворили его.

А когда Тее Сундлер нужно было склонить его снова поехать в Карлстад, она повела себя совсем по-иному. Она спросила его, правду ли говорят, будто дорогая тетушка Экенстедт требует обыкновенно, чтобы у нее просили прощения за малейшую провинность. Но ежели она столь требовательна к другим, то и сама, уж верно, готова...

Да, ему пришлось признать, что она такова и есть. Стоило ей, бывало, понять, что она неправа, она тотчас была готова все уладить и помириться.

Тут Тея напомнила ему, как милая тетушка Экенстедт совершила опасную поездку в Упсалу в самую распутицу, чтобы дать ему возможность попросить у нее прощения. Неужто он, духовный пастырь, выкажет менее кротости, нежели простая смертная?

Карл-Артур не вдруг понял, куда она клонит. Он стоял, глядя на нее в недоумении.

Тогда фру Сундлер сказала, что на сей раз милая тетушка Экенстедт сама провинилась перед ним. И если она столь справедлива, как он утверждает, то, без сомнения, уже раскаялась в своем поступке и всей душой жаждет просить у него прощения. Но коль скоро она нездорова и не может приехать к нему, стало быть, его долг отправиться к ней.

То было дело иное, совсем не то, что ему предлагала Шарлотта. Тут речь шла не о том, чтобы вернуться в родительский дом блудным сыном, а о том, чтобы войти в него победителем. Теперь он поедет не для того, чтобы испрашивать милостивого прощения, а чтобы простить самому. Невозможно описать, как это обрадовало его, как благодарен он был Тее, которая навела его на эту мысль.

После воскресной службы он наскоро отобедал у органиста и немедленно отправился в Карлстад. Он так спешил, что ехал без остановки всю ночь. Мысль о том, какая это будет трогательная сцена, когда они встретятся с матушкой, не давала ему уснуть. Никто не сумел бы сделать подобную встречу столь прекрасной, как она.

Он прибыл в Карлстад в пять часов утра, но не поехал прямо домой, а завернул на постоялый двор. В расположении к нему матушки он ничуть не сомневался, но в отце уверен не был. Могло случиться, что отец не впустит его в дом, а ему не хотелось срамиться перед кучером.

Хозяин постоялого двора, стоявший на крыльце, старый житель Карлстада, увидев подъезжающего Карла-Артура, тотчас же признал его. До него дошли кое-какие толки о разрыве молодого пастора с родителями из-за того, что тот задумал жениться на простой далекарлийской крестьянке. Он заговорил с Карлом-Артуром деликатно и участливо, но тот казался спокойным и довольным, отвечал весело, и хозяин решил, что слухи о ссоре были пустыми.

Карл-Артур потребовал комнату, смыл с себя дорожную пыль и тщательнейшим образом привел в порядок свой туалет. Когда он снова вышел на улицу, на нем был пасторский сюртук с белыми брыжами и высокая черная шляпа. Он надел пасторское облачение, дабы показать матушке, в каком кротком и благостном расположении духа он явился к ней.

Хозяин постоялого двора спросил, не желает ли он позавтракать, но он отказался. Ему не хотелось отдалять счастливое мгновение,

когда они с матушкой заключат друг друга в объятия.

Он быстрым шагом пошел по улице к берегу реки Кларэльв. Душу его наполняло столь же тревожное и радостное ожидание, какое он испытывал в ту пору, когда был студентом и приезжал домой из Упсалы на вакации.

Вдруг он резко остановился, пораженный, будто кто-то ударил его прямо в лицо. Он уже подошел довольно близко к дому Экенстедтов и увидел, что дом на замке, все ставни закрыты, а двери заперты.

В первое мгновение он было растерялся: ему пришло на ум, что хозяин постоянного двора уведомил родителей о его приезде и они заперли дом, чтобы не впускать его. Он вспыхнул от досады и уже повернулся, чтобы идти прочь.

Но тут же он стал смеяться над самим собой. Ведь еще не было шести часов, а дом в утреннюю пору всегда бывал заперт. Не смешно ли было полагать, будто ставни и двери затворили нарочно, чтобы не впускать его. Он снова подошел к садовой калитке, толкнул ее и уселся в саду на скамейке, чтобы дождаться, когда дома проснутся.

И все же он не мог отделаться от мысли, что это дурное предзнаменование, если родительский дом был заперт в момент его прихода.

Он уже более не испытывал радости. Тревожное ожидание, не дававшее ему уснуть всю ночь, тоже исчезло.

Он сидел и смотрел на затейливые цветочные клумбы и великолепные газоны, на большой и красивый дом. Потом он стал думать о той, которая владела всем этим, всеми почитаемая и превозносимая, и сказал самому себе, что нет никакой надежды на то, что она станет просить у него прощения. Вскоре он уже не мог понять ни Тею, ни себя самого. В Корсчюрке ему казалось вполне естественным и само собой разумеющимся, что полковница раскаялась, но теперь он понял, что это чистейший вздор.

Он так уверился в этом, что решил тут же отправиться восвояси, и уже поднялся, чтобы уйти. Надобно было спешить, покуда никто его не заметил.

Уже стоя у калитки, он подумал, что, наверно, видит этот дом в последний раз. Ведь сейчас он уйдет, чтобы никогда более не возвращаться.

Он оставил калитку полуоткрытой и обернулся, собираясь в последний раз обойти усадьбу и проститься с ней. Он завернул за угол дома и очутился среди высоких ветвистых деревьев на берегу реки. Этот прекрасный вид открывался ему в последний раз. Он долго смотрел на лодку, вытасченную на берег. Он думал, что теперь, когда его здесь нет, она уже больше никому не нужна, однако заметил, что лодка просмолена и покрашена точно так же, как в те времена, когда он, бывало, катался на ней.

Он поспешил взглянуть на маленький огородик, за которым ухаживал в детстве. Там росли те же самые овощи, которые он выращивал. И он понял, что о том пеклась матушка. Это она велела следить за тем, чтоб он не пришел в запустение. Прошло не менее пятнадцати лет с тех пор, как он занимался им.

Он принялся искать падалицу под антоновкой и сунул яблоко в карман, хотя оно было зеленое, как молодая капуста, и такое твердое, что не укусишь. Потом он отведал крыжовника и смородины, хотя ягоды были засохшие и перезрелые.

Он прошел вдоль пристроек и отыскал сарай садовника: прежде там у него стояли маленькая лопатка, грабельки и тачка. Он заглянул внутрь: да, нечего было и гадать, они были на том же самом месте, где он их оставил. Никому не позволили их убрать.

Время шло, надобно было спешить, если он желал уйти незамеченным. Но ему так хотелось взглянуть на все в последний раз. Все здесь приобрело для него новое значение. «Я не знал, как мне дорого это», — думал он.

И в то же время он стыдился своего ребячества. Ему бы не хотелось, чтоб его сейчас увидела Тея Сундлер: ведь несколько дней назад она так восхищалась его смелыми речами, когда он говорил, что навсегда освободился от уз отчего дома и воли родительской.

И тут у него возникло подозрение, что он медлит сейчас, втайне надеясь, что кто-нибудь увидит его и впустит в дом. И когда он окончательно уверился в этом, он тотчас же решил пойти прочь.

Он уже вышел было из сада и остановился у калитки, как вдруг услышал, что в запертом доме отворилось окно.

Невозможно было не обернуться, и он обернулся. Окно в спальне полковницы было распахнуто настежь. Его сестра Жакетта, высунувшись из окна, вдыхала свежий воздух.

Не прошло и секунды, как она увидела его и принялась кивать ему и махать рукой. Он невольно стал ей отвечать: тоже кивал и махал рукой. Потом он показал на запертую дверь. Жакетта исчезла, а через минуту он услышал, как заскрипела задвижка и повернулся ключ в замке. Дверь распахнулась, сестра вышла на порог и протянула к нему руки.

В этот миг он стыдился Теи, стыдился самого себя, ибо не верил, что матушка станет просить у него прощения. Ему нечего было делать в этом доме, однако он против воли своей побежал навстречу Жакетте. Он взял ее за руки и притянул к себе, на глазах у него выступили слезы — так рад был он, что она отперла ему дверь.

Она была ужасно счастлива. Увидев, что он плачет, она обняла его и поцеловала.

— Ах, Карл-Артур, Карл-Артур, слава богу, что ты приехал.

Ему уже удалось убедить себя в том, что его не хотят впустить в дом, и столь теплый прием застал его врасплох, он даже стал заикаться.

— А что, Жакетта, матушка уже проснулась? Будет ли мне дозволено поговорить с ней?

— Ну, конечно, тебе позволят поговорить с маменькой. Ей полегчало за последние дни. Нынче ночью она хорошо спала.

Она пошла вверх по лестнице, и он медленно последовал за ней. Он никогда бы не мог подумать, что будет так счастлив оттого, что воротится в свой дом. Он положил руку на гладкие перила, но не для того, чтобы опереться, а лишь для того, чтобы погладить их.

Поднявшись наверх, он остановился в ожидании, что кто-то выйдет и прогонит его. Однако этого не случилось. И вдруг его осенило — видимо, отец не рассказал им о разрыве с ним. Ну, конечно, он не мог этого сделать — ведь полковница была больна.

Теперь он понял, в чем дело, и уже более спокойно пошел в комнаты.

Какие это были красивые комнаты! Они и всегда ему нравились, однако не так, как сегодня. Мебель не была здесь уныло расставлена вдоль стен, как на другой половине. Здесь было так приятно находиться. Все говорило о вкусе той, что живет здесь.

Через гостиную и кабинет они подошли к двери спальни. Жакетта знаком велела ему подождать, а сама юркнула в спальню.

Он провел рукой по лбу, пытаясь вспомнить, зачем он пришел сюда. Но он не мог думать ни о чем другом, кроме того, что он дома и сейчас увидит мать.

Но вот Жакетта появилась снова и провела его в спальню. Увидев матушку, которая лежала бледная, с перевязанным лбом и рукой, он почувствовал, словно кто-то вдруг сильно толкнул его в грудь, и упал на колени возле ее постели. У нее вырвался радостный возглас, здоровой рукой она притянула его к себе, крепко обняла и поцеловала.

Исполненные счастья, они глядели друг другу в глаза. В этот миг ничто не разделяло их. Все было забыто.

Он никак не думал застать матушку такой слабой и больной и еле сдерживал волнение. Он с тревогой спросил, как ее здоровье. Она не могла не почувствовать, как он любит ее.

Для больной это было лучшее лекарство, и она снова обняла его.

— Пустое, друг мой. Теперь все снова хорошо. Я уже позабыла про свою болезнь.

Он понял, что она любит его, как прежде, и подумал, что к нему вернулось то, что он утратил и о чем только что тосковал. Его снова считали сыном в этом прекрасном доме. Ему нечего было более желать.

И вдруг, в минуту, когда он был преисполнен счастья, его охватило волнение. Ведь он все же не добился того, ради чего приехал сюда. Матушка не просила у него прощения и, видно, не собиралась этого делать.

Он испытывал сильное искушение не думать об извинении. И все же для него это было важно. Если полковница признается, что была к нему несправедлива, его положение в доме станет совсем иным и родителям придется дать согласие на его брак с Анной Сверд.

К тому же теплый прием, оказанный ему матушкой, придал ему уверенности, он даже стал несколько самонадеян. «Лучше сразу порешить с этим делом, — думал он. — Кто знает, может быть, в другой раз матушка не будет так добра и ласкова».

Он поднялся и сел на стул возле постели.

Ему было немного не по себе оттого, что он собирался призвать к ответу мать. И тут ему в голову пришла мысль, которой он несказанно обрадовался. Он вспомнил, как некогда в детстве, когда он или сестры совершали дурной поступок и матушка ждала, чтобы у нее просили

прощения, она обращалась к провинившемуся со словами: «Ну, дитя мое, ты ничего не хочешь сказать мне?»

Для того чтобы как можно проще и непринужденнее подойти к делу столь деликатному, он нахмурил брови, поднял указательный палец, улыбаясь, однако же, дабы показать матушке, что он шутит:

— Ну, матушка, вы ничего не изволите сказать мне?

Но полковница, казалось, ничего не поняла. Она лежала молча, вопросительно глядя на него.

Его бедная сестра до этого момента от души радовалась, наблюдая трогательную встречу брата с матушкой. Теперь же на лице ее отразился ужас, и она незаметно подняла руку, чтобы предостеречь брата.

Карл-Артур был твердо уверен в том, что полковница придет в восторг от его выдумки и ответит ему в том же духе, как только поймет, в чем дело. Он, разумеется, не обратил внимания на предостережение и продолжал:

— Вы, матушка, верно, понимаете, что в прошлый четверг я был раздосадован, когда вы пытались разлучить меня с невестой. У меня и в мыслях не было, что моя дорогая матушка может быть со мною столь жестока. Я так огорчился, что ушел, не желая более видеть вас.

Полковница по-прежнему лежала молча. Карл-Артур не мог заметить на ее лице ни малейшего следа гнева или недовольствия. Сестра же, напротив, казалась еще более взволнованной. Она подкралась ближе к нему и стоя за спинкой кровати, сильно ущипнула его за руку.

Он понял, что она этим хотела сказать, однако был уверен, что гораздо лучше Жакетты знает, как обходиться с полковницей, и потому продолжал:

— И когда я утром в прошлую пятницу расстался с батюшкой, то сказал ему, что ноги моей не будет более в этом доме. Но вот я снова здесь. Неужто вы, самая умная женщина в Карлстаде, не догадываетесь, для чего я приехал?

Он замолчал на мгновение, уверенный в том, что после всего сказанного матушка сама станет продолжать. Но она не сделала этого. Она только приподнялась повыше на подушках и смотрела на него так пристально, что для него это сделалось тягостным.



Тут он подумал, что, быть может, разум матушки слегка ослабел за время болезни. Ведь она всегда понимала его с полуслова. А раз сейчас ей было непонятно, ему приходилось продолжать:

— Я и в самом деле решил более не видеться с вами, но когда я рассказал о том одной своей приятельнице, она спросила, правда ли, что вы, матушка, обыкновенно требовали, чтоб у вас просили прощения за малейший проступок, и что, стало быть, вы сами, верно...

Тут ему пришлось замолчать. Жакетта снова прервала его. Она изо всех сил дернула его за руку.

Но тут полковница вдруг прервала молчание.

— Не мешай ему, Жакетта, пусть продолжает.

От этих слов у Карла-Артура возникло подозрение, что матушка им не совсем довольна, но он сразу же отбросил эту мысль. Быть того не может, чтобы она сочла его жестоким и бесчувственным. Ведь он сказал ей о том как бы шутливо, невзначай. Какого еще обхождения было нужно!

Нет, просто матушка не велела Жакетте без конца мешать ему говорить. К тому же он зашел так далеко, что теперь лучше всего высказать все до конца.

— Эта приятельница и послала меня к вам, матушка, сказав, что мой долг поехать сюда, коль скоро вы сами не сможете навестить меня. Вы, вероятно, помните, как однажды приехали в Упсалу, чтоб я смог попросить у вас прощения. Она уверена, что вы признаете, что вы...

Как, однако, трудно судить свою собственную мать! Слова никак не шли у него с языка. Он заикался, кашлял, и в конце концов ему ничего не оставалось делать, как замолчать.

Слабая улыбка скользнула по лицу полковницы. Она спросила, кто же эта приятельница, которая так хорошо думает о ней.

— Это Тея, матушка.

— Стало быть, это не Шарлотта полагает, что я жажду просить у тебя прощения?

— Нет, не Шарлотта, матушка, а Тея.

— Я рада, что это не Шарлотта, — сказала полковница.

Она приподнялась еще выше на подушках и снова умолкла. Карл-Артур тоже ничего не говорил. Он высказал матушке все, что хотел сказать, хотя и не столь красноречиво, как бы ему хотелось. Теперь оставалось только ждать.

Он изредка взглядывал на мать. Видно было, что она боролась с собой. Нелегко так сразу признать свою вину перед собственным сыном.

И вдруг она спросила:

— Зачем ты надел пасторский сюртук?

— Я хотел показать вам, матушка, в каком расположении духа я сюда явился.

Снова улыбка скользнула по ее лицу. Он испугался, когда увидел эту улыбку, злую, исполненную презрения.

Внезапно ему показалось, будто лицо на подушке окаменело. Слов, которых он ждал, не последовало. В отчаянии он понял, что невозможно заставить ее раскаяться и просить прощения.

— Мама! — закричал он, и в голосе его звучали мольба и надежда.

И тут случилось нечто неожиданное. Кровь прилила к лицу полковницы. Она приподнялась на постели, подняла здоровую руку и погрозила ему.

— Конец! — закричала она. — Терпению господню пришел ко...

Больше она ничего не успела сказать. Последнее слово, тихое и невнятное, замерло у нее на губах, и она откинулась на подушки. Глаза ее закатились, и видны были только белки, рука упала на одеяло.

Жакетта громка закричала, призывая на помощь, и выбежала из комнаты. Карл-Артур упал на колени.

— Что с вами, матушка? Матушка! Не убивайтесь так, бога ради!

Он целовал ее лоб и губы, словно хотел поцелуями вернуть ее к жизни.

Но тут он почувствовал, что кто-то схватил его за шиворот. Потом чья-то сильная рука подняла его, вынесла из комнаты, как беспомощного щенка, и швырнула на пол. И тут он услышал громовой голос отца:

— Ты все-таки вернулся. Ты не мог успокоиться, покуда не доконал ее.

В тот же понедельник, когда часы показывали половину восьмого утра, в доме бургомистра зазвонил звонок, и старая служанка, которая вела хозяйство, поспешила в переднюю отворить дверь.

В дверях стоял Карл-Артур Экенстедт, но служанка подумала, что если бы она не жила столько лет в Карлстаде и не видела его и ребенком и взрослым, то ни за что бы не узнала его. Лицо у него было иссиня-багровое, а красивые глаза чуть не выкатились из орбит.

Служанка жила у бургомистра много лет и нагляделась в этом доме всякого. Ей показалось, что молодой Экенстедт походил в тот момент на убийцу, и ей вовсе не хотелось впускать его. Однако это был сын полковника Экенстедта и доброй госпожи полковницы, поэтому ей ничего не оставалось делать, как впустить его, пригласить сесть и подождать. Бургомистр, как всегда, был на утренней прогулке, но он завтракал в восемь и должен был скоро вернуться.

Но если она испугалась одного только вида Экенстедта, то уж отнюдь не успокоилась, когда увидела, что он прошел мимо нее, не поздоровавшись и не сказав ни единого слова, будто вовсе и не замечая.

Видно, с ним приключилось что-то неладное. Ведь дети полковницы Экенстедт всегда были вежливы и обходительны. Не иначе как сын ее попал в беду.

Он прошел через переднюю в комнату бургомистра. Она видела, как он опустился в качалку, но, посидев немного, вскочил, подошел к письменному столу и принялся рыться в бумагах бургомистра.

Ей нужно было идти на кухню, проверить по часам, не переварились ли яйца на завтрак, накрыть на стол и заварить кофе. Но и молодого Экенстедта нельзя было оставлять одного. Она то и дело забегала в комнату приглядеть за ним.

Теперь он ходил взад и вперед по комнате бургомистра — то к окну подойдет, то к двери. И все время громко говорит сам с собой.

Неудивительно, что она испугалась. Жена бургомистра жила с детьми у родственников в деревне, и прислугу отослали. Она осталась одна в доме и была за все в ответе.

Что же ей теперь с ним делать, когда он знай себе расхаживает по комнате и, видно, ума решился. Подумать только, вдруг он порвет какую-нибудь важную бумагу на столе у бургомистра! Не может же она бросить все дела и караулить его.

И тут старая, мудрая служанка придумала спросить Карла-Артура, не хочет ли он пройти в столовую и выпить чашечку кофе, покуда ждет бургомистра. Карл-Артур не отказался и тотчас пошел за ней, чему она была весьма рада — ведь покуда он сидит и пьет кофе, он не сможет набедокурить.

Он уселся на место бургомистра и одним духом выпил чашку прямо-таки огненного кофе, который она ему налила. Потом он сам схватил со стола кофейник, налил еще чашку и выпил. Ни сахара не берет, ни сливок, знай только огненный кофе хлещет.

Выпив последнюю чашку, он заметил, что служанка стоит у стола и смотрит на него. Он повернулся к ней.

— Премного благодарен за вкусный кофе. Видно, я пью его в последний раз.

Он говорил так тихо, что она едва различала его слова. Можно было подумать, что он собрался доверить ей великую тайну.

— Так ведь у пасторши Форсиус в Корсчюрке вы, уж верно, пьете вкусный кофей, господин магистр, — сказала служанка.

— Да, пил, — ответил он, глуповато хихикнув. — Но, видите ли, там мне более не бывать.

В этом не было ничего удивительного. Молодых пасторов часто переводили из одного прихода в другой. Служанка начала успокаиваться.

— Сдается мне, что куда бы вы ни поехали, господин магистр, во всякий пасторской усадьбе кофей варят отменный.

— А вы полагаете, что и в тюрьме вкусный кофе варят? — сказал он, еще более понизив голос. — Там-то уж мне, верно, придется обходиться без кофе и без печенья.

— А зачем вам в тюрьму-то, господин магистр? С какой же это стати?

Он отвернулся от нее.

— На этот вопрос я отвечать не стану.

Тут он снова сосредоточил свое внимание на еде. Намазал хлеб маслом, положил сыру и стал есть жадно, словно вконец изголодался, глотал большие куски не жуя. Служанке пришло в голову, что он вовсе не помешанный, просто это у него с голоду. Она прошла в кухню и принесла яйца, сваренные для бургомистра. Карл-Артур вмиг

проглотил два яйца и опять набросился на хлеб с маслом. Уплетая завтрак, он снова начал говорить:

— Много покойников бродит сегодня по городу.

Он сказал это весьма спокойно и равнодушно, словно сообщал, что стоит хорошая погода. Разумеется, служанка струхнула, и он это, видно, заметил.

— Вам мои слова кажутся странными? Мне самому удивительно, что я вижу покойников. Прежде со мной этого не было, это я точно знаю, никогда не было до той беды, что встряслась со мною нынче в семь часов утра.

— Вот как, — сказала служанка.

— Поверите ли, у меня ужас как сердце схватило. Мне надобно в город идти из дому, а я не могу. Стою и держусь за ограду в нашем саду. И вдруг вижу — настоятель собора Шеборг идет под руку с супругой своей. Как прежде, когда они хаживали к нам по воскресеньям обедать. Разумеется, они уже знали про то, что я натворил, и велели мне идти к бургомистру, признаться в своем злодеянии и просить покарать меня. Я сказал им, что это никак невозможно, но они настаивали.

Карл-Артур замолчал, чтобы налить себе еще чашку кофе и выпить ее залпом. Он испытующе смотрел на служанку, будто желал узнать, как она приняла его слова. Но служанка ответила как ни в чем не бывало:

— Многим доводилось покойников видеть, и не стоит господину магистру из-за этого...

Видно было, что ответ этот его обрадовал.

— И я так же думаю. Ведь во всем прочем я нимало не переменялся.

— Ваша правда, — сказала служанка. Она считала, что лучше всего соглашаться с ним и вести себя спокойно, а сама с нетерпением ожидала прихода бургомистра.

— Я не против того, чтоб выполнить их волю, — продолжал Карл-Артур. — Но ведь я в полном рассудке и знаю, что бургомистр только посмеется надо мной. Не буду отрицать, что на моей совести тяжкий грех, однако меня нельзя за это арестовать и судить.

Тут он закрыл глаза и откинулся на спинку стула. Кусок хлеба, который он держал в руке, упал на пол, лицо его исказилось гримасой,

словно он испытывал невыносимые мучения. Однако он удивительно быстро пришел в себя.

— Опять сердце стеснилось, — сказал он. — Не странно ли, стоит мне сказать себе, что я не могу этого сделать, сразу с сердцем дурно делается.

Он встал из-за стола и начал ходить взад и вперед.

— Я сделаю это, — сказал он, совершенно забыв, что служанка стоит рядом и слушает. — Я хочу сделать это, скажу бургомистру, что совершил проступок, за который меня должно наказать. И скажу, что повинен в смерти человека. Я что-нибудь придумаю. Я обязан сказать, что сделал это преднамеренно.

Он снова подошел к служанке.

— Подумать только, прошло! — сказал он радостно. — Как только скажу, что хочу, чтоб меня покарали, сразу боль унимается. Я совершенно счастлив.

Старая, мудрая служанка перестала его бояться. Ей сделалось жаль его. Она взяла его руку и погладила ее.

— На что же вам это, господин магистр? Зачем вам брать на себя вину за то, чего вы не делали?

— Нет, нет, — возразил он. — Я знаю, что так будет правильно. К тому же я хочу умереть. Хочу показать матушке, что любил ее. Какое счастье встретиться с ней в мире ином, где уже нет обид!

— Не бывать тому, — сказала служанка. — Я все расскажу бургомистру.

— Не делайте этого, прошу вас, — возразил Карл-Артур. — Судья должен вынести мне смертный приговор. Ведь я убил, хотя не брал в руки ни ножа, ни пистолета. Жакетта знает, как это получилось. Неужто вы полагаете, что жестокосердие и равнодушие не опаснее стали и свинца? Батюшка тоже все знает и может быть тому свидетелем. Меня должно судить, я виновен.

Служанка промолчала. К великой своей радости, она услышала, как входная дверь отворилась, и узнала знакомые шаги на лестнице.

Она выбежала в прихожую, чтобы успеть предупредить бургомистра, но Карл-Артур следовал за ней по пятам. Он, разумеется, хотел сразу же начать с признания, однако смешался.

— Вот как, ты опять пожаловал в город, — сказал бургомистр. — Экая беда приключилась с полковницей!

С этими словами он протянул ему руку, но Карл-Артур спрятал правую руку за спину. Он отвел глаза в сторону и, глядя на стену, произнес дрожащим голосом, но отчетливо:

— Я пришел сюда, чтобы просить вас, дядюшка, арестовать меня. Это я убил свою мать.

— Какого черта! — воскликнул бургомистр. — Полковница-то ведь не умерла. Я повстречал доктора...

Карл-Артур отшатнулся. Служанка, испугавшись, что он упадет, протянула руки, чтобы поддержать его. Но он сохранил равновесие. Он схватил шляпу и, не сказав больше ни слова, ринулся на улицу.

Первый человек, попавшийся ему навстречу, был старый домашний врач его семьи. Он подбежал к нему:

— Что матушка?

Доктор посмотрел на него неодобрительно.

— Хорошо, что я встретил тебя, негодник. Не вздумай опять идти к своим. Как могло прийти тебе в голову судить больного человека!

Карл-Артур больше не слушал его. Он бросился прямо к родительскому дому. Там он увидел свою замужнюю сестру Еву Аркер, которая стояла у калитки.

— Ева, — закричал он, — правда, что матушка жива?

— Да, — ответила она тихо, — доктор сказал, что она будет жить.

Ему хотелось сорвать калитку с петель. Броситься к матушке, упасть перед нею на колени, молить о прощении — только это и было у него в мыслях. Но Ева остановила его:

— Тебе нельзя туда, Карл-Артур. Я уже давно стою здесь, чтобы предостеречь тебя. С ней сделался тяжелый удар. Маменька не может говорить с тобой.

— Я стану ждать сколько угодно.

— Тебе нельзя идти в дом не только из-за маменьки, — сказала Ева, слегка подняв брови. — Из-за папеньки тоже. Доктор сказал, что здоровья ей уже не воротить. Папенька и слышать о тебе не хочет. Не знаю, что может сделаться, если он увидит тебя. Поезжай назад в Корсчюрку! Это самое лучшее для тебя.

Слова сестры раздосадовали Карла-Артура. Он был уверен в том, что сестра преувеличивает и гнев отца и опасность для матушки повидаться с ним.

— Вы с мужем только и думаете, как бы очернить меня в глазах папеньки и маменьки. Уж вы сумеете воспользоваться удобным случаем. Пользуйтесь себе на здоровье!

Он повернулся на каблуках и пошел прочь.

### III

Так уж мы, люди, устроены, не любим мы, когда что-нибудь разбивается. Даже если разобьется всего лишь глиняный горшок или фарфоровая тарелка, мы собираем осколки, складываем их и пытаемся слепить их и склеить.

Этой задачей и были заняты мысли Карла-Артура Экенстедта, когда он ехал домой в Корсчюрку.

Правда, занят он был этим не всю дорогу, не забудьте, что он не смыкал глаз всю ночь, да и до того он целую неделю недосыпал — столько волнений и невзгод пришлось пережить за это время. И теперь натура настойчиво требовала своего — ни тряская повозка, в которой он ехал, ни кофе, которым он нагрузился у бургомистра, не помешали ему спать почти всю дорогу.

В те короткие мгновения, когда он бодрствовал, он пытался сложить обломки своего «я»: ведь того Карла-Артура, который всего несколько часов назад ехал по этой самой дороге и который разбился на мелкие осколки в Карлстаде, надобно было сложить, склеить и вновь пустить в употребление.

Быть может, кое-кто скажет, что на этот раз разбился дрянной глиняный горшок и не стоило труда чинить его и тратиться на клей. Однако нам, пожалуй, придется извинить Карла-Артура за то, что он не разделял этого мнения, — ведь он полагал, что речь идет о вазе из тончайшего фарфора, с дорогой росписью вручную и богатой позолотой.

Как ни странно, но в этой починке немало помогло ему то, что он начал думать о сестре Еве и ее муже. Он распалял себя против них, вспоминая, сколько раз они выказывали зависть к нему и жаловались на несправедливость к ним матушки.

Чем больше он думал о неприязни, которую Ева питала к нему, тем больше уверялся в том, что она сказала ему неправду. Уж верно,



полковнице не было так плохо, как ей хотелось это представить, и батюшка гневался на него не столь сильно — это все были проделки Евы с Аркером. Они думали воспользоваться его последней глупой выходкой — а вина его в самом деле была велика, этого он не хотел отрицать, — чтобы изгнать его из родного дома навсегда.

Едва он пришел к заключению, что все обошлось бы наилучшим образом, если бы Ева не запретила ему войти в дом, как сон снова овладел им, и он проснулся лишь тогда, когда повозка остановилась у постоянного двора.

Потом он снова проснулся и стал думать о Жакетте. Ему не хотелось быть к ней несправедливым. Она не завидовала ему, как Ева. Она славная и любит его. Но разве не глупо она повела себя? Не помешай она ему во время важного разговора с матушкой, он бы сказал ей почти то же самое, но, уж верно, сделал бы это совсем по-иному. Нелегко подбирать слова, когда у вас все время стоят за спиной, дергают вас за руку и шепчут, чтобы вы были поосторожнее.

Мысли о Жакетте, о том, какая она глупая и бестолковая, тоже немало утешили его. Но и эти мысли не помешали ему сразу же уснуть.

Когда же он, просыпаясь, думал о Тее Сундлер, в нем возникало противоречивое чувство: ведь и она отчасти была виновата в этой беде. Она была ему самым близким другом. На кого же он мог положиться целиком, как не на нее? Но она, видно, плохо знала жизнь и не могла быть хорошей советчицей. Она ошиблась, думая, что полковница жаждет просить у него прощения. Она так высоко ценила его, что рассудила неправильно, а из-за того и приключилось несчастье. Не дай бог, умерла бы полковница, он бы тогда помешался с горя. Путь к оправданию был найден.

Между прочим, он старался не думать о визите к бургомистру и о разговоре со служанкой. Это, казалось, могло бы заставить его снова рассыпаться на мелкие осколки, и тогда пришлось бы все собирать и склеивать заново.

Когда он опять ненадолго проснулся, ему пришло в голову, что выказанные им испуг и отчаяние могут пойти ему на пользу. Полковница, разумеется, услышит о том и поймет, как сильно он любит ее. Она растрогается, пошлет за ним, и они помиряются.

Ему хотелось верить, что все окончится именно так. Он станет всякий день молить о том Господа.

Грубо говоря, Карл-Артур был уже недурно склеен и слеплен, когда он в одиннадцать вечера вернулся домой в Корсчюрку. Он сам удивлялся тому, что сумел пережить столь страшное душевное потрясение и остаться живым и невредимым. Его все время клонило ко сну, и когда он вышел из повозки возле калитки пасторской усадьбы и уплатил кучеру, то подумал, как хорошо будет сейчас улечься в постель и выспаться вволю.

Он уже направился было в свой флигелек, но тут вышла служанка и сказала, что пасторша ему кланяется и велит передать, что в зале его ждет горячий ужин. Он охотней лег бы сразу в постель, однако ему не хотелось обижать пасторшу, которая позаботилась о нем, думая, что после долгой дороги он проголодается, и пошел в столовую.

Он не сделал бы этого, если бы не был уверен, что в доме нет никого, кто станет его расспрашивать про поездку. Он знал, что старики давно улеглись, а Шарлотта уехала.

Проходя через прихожую, он споткнулся о какой-то ящик, стоявший возле двери.

— Ради бога поосторожней, господин магистр! — сказала служанка. — Это вещи госпожи Шагерстрем. Мы целый день соломой их перекладывали да в рогожку заворачивали.

Ему, однако, не пришло в голову, что Шарлотта могла сама приехать из Озерной Дачи и тем более остаться ночевать в пасторской усадьбе. Он неторопливо прошел в залу и уселся за стол.

Долгое время никто не нарушал его покой. Он наелся досыта и собрался уже было помолиться, как вдруг услышал шаги на лестнице. Шаги были тяжелые, медленные. Он подумал, что, должно быть, пасторша решила расспросить его о поездке. Ему захотелось выбежать из комнаты, но он не посмел этого сделать.

Секунду спустя дверь тихо и медленно отворилась, кто-то вошел. Худо было бы, если бы это была пасторша. Но то была не пасторша, а Шарлотта. А хуже этого и быть не могло. Недаром он был обручен с ней целых пять лет. Он знал ее прекрасно. Подумать только, что это будет за сцена, когда Шарлотта узнает, что с полковницей сделался удар. И отчитает же она его! А он так устал, что не сможет возражать ей, придется слушать ее целую вечность. Он тут же решил, что будет

презрительно вежлив, каким он и был с ней в последнее время. Это лучший способ держать ее на расстоянии.

Но он не успел еще ничего сказать, как Шарлотта была уже посреди комнаты. Две сальные свечи, стоявшие на столе, осветили ее лицо. Тут он увидел, что лицо ее смертельно бледно, а глаза покраснели от слез. Видно, с ней приключилось нечто ужасное.

Скорее всего можно было предположить, что она несчастлива в замужестве. Однако она не стала бы это столь откровенно выказывать, непохоже это было на нее. А уж бывшему жениху своему она никогда бы не дала о том знать.

Да как же это он запомнил! Всего несколько дней назад ему говорили, что сестра Шарлотты, докторша Ромелиус, сделалась опасно больна. Вот, видно, в чем дело.

Шарлотта выдвинула стул и села за обеденный стол.

Она начала говорить, и голос ее звучал удивительно жестко и невыразительно. Так говорит человек, когда он ни за что на свете не хочет расплакаться. Она не глядела на него, и можно было подумать, что она говорит вслух сама с собой.

— Капитан Хаммарберг заезжал сюда час назад, — сказала она. — Он был в Карлстаде и уехал оттуда сегодня утром, чуть позднее тебя. Но он ехал на паре лошадей и потому оказался здесь гораздо раньше. Он сказывал, что обогнал тебя на дороге.

Карл-Артур резко отодвинулся от стола. Острая боль рассекла ему голову, прошла к сердцу.

— Проезжая мимо пасторской усадьбы, — продолжала Шарлотта монотонно и обстоятельно, — он увидел свет в окнах кабинета и решил, что пастор еще не ложился спать. Тогда он вышел из повозки, чтобы доставить себе удовольствие — рассказать пастору о том, что его помощник натворил сегодня в Карлстаде. Он обожает рассказывать подобные истории.

Удар за ударом раскалывал голову, проходил сквозь сердце. Все, что он за день собрал по кусочкам и склеил, снова разбивалось вдребезги. Сейчас он услышит, как ближние судят о его поступках.

— Мы не запирали входных дверей, — сказала Шарлотта, — потому что с минуты на минуту ожидали твоего приезда, и он беспрепятственно прошел в кабинет. Однако дядюшка уже лег спать, и он нашел вместо него меня. Я сидела в кабинете и писала письма — не

могла уснуть, покуда не узнаю про твою поездку в Карлстад. И узнала от капитана Хаммарберга. Ему, видно, было приятнее рассказать о том мне, нежели дядюшке.

— А тебе, — вставил Карл-Артур, — тебе, разумеется, было не менее приятно слушать его.

Шарлотта сделала нетерпеливый жест. Не стоило и отвечать на столь незначительный выпад. Просто человек прибегает к этому, когда он в большой беде, а хочет показать, что ему все нипочем. Она продолжала свой рассказ.

— Капитан Хаммарберг был здесь недолго. Он сразу же ушел, рассказав, как ты вершил суд над собственной матерью и как с ней приключился удар. И про визит твой к бургомистру он тоже упомянул. Ах, Карл-Артур, Карл-Артур!

Но тут спокойствие оставило ее. Всхлипывая, она прижала к глазам платок.

Но так уж мы, люди, устроены. Не любим мы, когда другие сокрушаются о нас. Не может нас радовать мысль о том, что кто-то только что сидел и слушал забавный и остроумный рассказ о том, как глупо и смешно мы вели себя. Потому Карл-Артур не удержался и сказал Шарлотте нечто вроде того, что уж коль скоро она вышла замуж за другого, ей теперь нет надобности печалиться о нем и его близких.

Но и это она оставила без внимания. Так и надо было ожидать, что он прибегнет к подобному способу защиты. Не стоило на это сердиться.

Вместо этого она подавила слезы и сказала то, что ей все время хотелось высказать:

— Когда я узнала обо всем, я сперва решила не говорить с тобой сегодня вечером, зная, что ты захочешь, чтобы тебя оставили в покое. И все же я должна немедля сказать тебе нечто. Я не буду многословной.

Он пожал плечами с видом покорным и несчастным. Она ведь сидела рядом с ним, в той же комнате, и ему приходилось выслушивать ее.

— Знай же, что во всем виновата я одна, — сказала Шарлотта. — Это я уговорила Тею. Одним словом, твоя поездка в Карлстад... Это я... всему виной. Ты не хотел, а я настояла... И теперь, если матушка твоя умрет, винить надобно не тебя, а меня...

Она не могла продолжать. Она чувствовала себя такой несчастной, такой виноватой.

— Мне следовало набраться терпения, — продолжала Шарлотта, как только смогла побороть волнение и снова обрела дар речи. — Не надо было посылать тебя туда так скоро. У тебя еще не прошла горечь, обида на матушку. Ты еще не простил ее. Оттого-то и вышло все так скверно. Как же я не могла понять, что из этого ровно ничего не выйдет. Это я, я, я во всем виновата!

С этими словами она поднялась со стула и начала ходить по комнате взад и вперед, нервно теребя платок. Потом она остановилась перед ним.

— Вот это я и хотела тебе сказать. Виновата только я одна.

Он не отвечал. Он молча протянул руки и взял ее за руку.

— Шарлотта, — сказал он очень тихо и кротко, — подумай только, как часто вели мы с тобой беседу в этой комнате, за этим столом. Здесь мы спорили и бранились, здесь пережили и немало светлых мгновений. А сейчас мы здесь с тобой в последний раз.

Она молча стояла возле него, не понимая, что с ним случилось. Он сидел и гладил ее руку, он говорил с ней так ласково, как не говорил уже целую вечность.

— Ты всегда была великодушна ко мне, Шарлотта, всегда хотела помочь мне. На свете нет человека благороднее тебя.

Она онемела от удивления и не в силах была даже возразить ему.

— Я же не ценил твоего благородства, Шарлотта. Не хотел понять его. И все же ты пришла сегодня и хочешь взять вину на себя.

— Так ведь это правда, — сказала она.

— Нет, Шарлотта, это неправда. Не говори больше ничего. Это все моя самонадеянность, моя жестокость. Ты желала мне только добра.

Он наклонил голову к столу и заплакал. Он не выпускал ее руки из своей, и она чувствовала, как его слезы каплют ей на руку.

— Шарлотта, — сказал он, — я чувствую себя убийцей. Мне не на что более надеяться.

Свободной рукой она погладила его волосы, но опять ничего не сказала.

— В Карлстаде мне ужас как дурно сделалось, Шарлотта. Я словно обезумел. По дороге домой я пытался оправдаться перед самим

собой. Но теперь я понимаю, что это бесполезно. Я должен за все держать ответ.

— Карл-Артур, — сказала Шарлотта. — Как это было? Как все это случилось? Я ведь знаю о том только от капитана Хаммарберга.

Карл-Артур не помнил, чтобы Шарлотта когда-нибудь говорила с ним так ласково, по-матерински. Он не смог противиться ей и тотчас же принялся рассказывать. Казалось, ему доставляло облегчение говорить все как есть, ничего не утаивая и не смягчая.

— Шарлотта, — сказал он наконец, — что могло столь жестоко ослепить меня? Что ввело меня в подобное заблуждение?

Она не ответила. Но доброта ее сердца окутала его, уняла жгучую боль его ран. Ни один из них не подумал, как удивительно было то, что так откровенно они никогда прежде не говорили. Они даже не смели шевельнуться — он все время сидел неподвижно у стола, она стояла, склонясь над ним. О чем они только не говорили! Под конец он спросил ее, не думает ли она, что ему нельзя более оставаться священником.

— Неужто тебе не все равно, что станет говорить капитан Хаммарберг!

— Я вовсе не думаю о капитане, Шарлотта. Просто я чувствую себя таким жалким и ничтожным. Ты не можешь даже вообразить себе, каково мне теперь.

Шарлотта не захотела на это отвечать.

— А ты потолкуй завтра с дядюшкой Форсиусом! — сказала она. — Он человек мудрый и праведный. Может быть, он скажет, что как раз теперь из тебя и выйдет настоящий священник.

Это был добрый совет. Он успокоил Карла-Артура. Все, что она ему говорила, успокаивало. Ему стало легче. В душе его не было более ни гнева, ни недоверия.

Он коснулся губами ее руки.

— Шарлотта, я не хочу говорить о том, что было, но позволь мне все же сказать тебе, что я не могу понять самого себя. Почему я расстался с тобой, Шарлотта? Я отнюдь не хочу оправдываться, но ведь, в самом деле, вышло так, будто я поступал против своей воли. Почему я бросил родную мать в объятия смерти? Почему я потерял тебя?

Судорога искадила лицо Шарлотты. Она отошла в самый темный угол комнаты. Ей легко было объяснить ему истинную причину, но она не хотела. Он мог подумать, что она хочет ему отомстить. Ни к чему было омрачать это святое мгновение.

— Милый Карл-Артур, — сказала она, — через неделю я уеду отсюда. Мы с Шагерстромом думаем повезти мою сестру Марию-Луизу в Италию: она излечится от чахотки, и ее маленькие дети не останутся сиротами. Может быть, так и должно было случиться.

Сказав это, она подошла к человеку, которого любила, и еще раз провела рукой по его волосам.

— Долготерпению Господа не пришел конец, — сказала она. — Ему нет конца, я знаю.

## **ЛОШАДЬ И КОРОВА, СЛУЖАНКА И РАБОТНИК**

### **I**

Кто она такая, что ее избрали из всех бедных коробейниц, возвысили и удостоили счастья? Правда, деньги сколотить она умеет и бережлива — скиллинга[110] даром не изведет, да и на выдумку хитра, изворотлива, горазда сманить людей купить все, что им надо и не надо. И все же она недостойна того, чтоб ее так возвысили надо всеми товарками.

Да кто она такая, чтобы на нее такой важный барин загляделся?

Каждое утро, просыпаясь, она говорила себе: «Да нешто это не чудо? Про такие чудеса только в Библии писано. В пору пастору в церкви о таком проповедь сказывать».

Она молитвенно складывала руки и воображала, что сидит на церковной скамье. В церкви полно народу, а на кафедре стоит пастор. Все как обычно, служба как служба, только пастор рассказывает сегодня удивительную историю. И говорит он не про кого иного, как про бедных далекарлийских девушек, про тех, что бродят с коробом по дорогам, терпят немало горя и невзгод. Точно человек, знакомый с их жизнью, он рассказывает, как тяжело им приходится временами, когда торговля идет плохо, как трудно тогда заработать хоть самую малость, иной раз и в куске хлеба приходится себе отказывать, лишь бы

принести домой небогатую выручку. Но сегодня пастор принес своей возлюбленной пастве радостную весть. Господь милосердный призрел одну из этих бесприютных скиталиц. Никогда больше не придется ей теперь бродить по дорогам в стужу и в ненастье. Ее берет за себя пастор, она будет жить в усадьбе, где есть лошадь и корова, служанка и работник.

Как только пастор вымолвил эти слова, в церкви будто стало светлее, и на душе у всех полегчало. Всем стало радостно, что горькая горемыка будет жить теперь в довольстве и почете. Всякий, кто сидит неподалеку от Анны, кивает ей и улыбается.

Она зарделась от смущения, а тут еще пастор поворачивается к ней и говорит такие слова:

«Кто ты такая, Анна Сверд, что тебе на долю выпали счастье и почет, что одна ты избрана из всех бедных коробейниц? Помни, что это не твоя заслуга, а милость божья. Не забывай же тех, кому приходится день и ночь надрываться, чтобы заработать на одежду и прокорм!»

Уж так хорошо говорил пастор, что ей хотелось целый день лежать в постели и слушать его. Но когда он начинал говорить про других коробейниц, у нее на глазах выступали слезы, она сбрасывала одеяло — это когда ей случалось спать под одеялом, а иной раз просто старую мешковину или лоскутный коврик, и вскакивала с постели.

«Дурища! — восклицала она. — Стоит реветь над тем, что сама выдумала!»

Чтобы помочь своим прежним товаркам, она отправилась домой еще в середине сентября. Начинались осенние ярмарки, а она уходила домой. Это ей было в убыток, но она решила уступить место своим бывшим соперницам, не хотела становиться им поперек дороги — ведь ни к одной из них барин не посватается. Она думала о Рис Карин, своей землячке из Медстубюн, об Ансту Лизе и о многих других. Они обрадуются, узнав, что ее нет на ярмарке, что она не станет больше переманивать к себе покупателей.

Она знала, что, когда придет домой, никто не поймет, с чего это ей взбрело на ум уйти с ярмарки. А она им не скажет, отчего так вышло. Ведь она это сделала в угоду господину Богу, за все его милости.

Никому, однако, не будет худа, если она закупит новые товары перед тем, как уйти из Карлстада. Никому опять же не повредит, если



она по дороге на север будет заходить в дома и продавать свои товары. Закупив все, что надо, она уложила мешок в короб, взвалила его на плечи и уже взялась было за дверную ручку, но тут все же не удержалась и обернулась, чтобы поведать о своем чуде.

— Так что благодарствуйте, люди добрые. Я сюда больше не приду. Замуж выхожу.

И когда все в избе поспешили выразить свою радость и стали допытываться, что за человек ее жених, она ответила торжественно:

— Да уж это такое чудо, что о нем в пору в церквах проповеди сказывать. Кто я есть, чтобы мне выпало такое счастье? За пастора выхожу и жить стану в пасторской усадьбе. У меня будут лошадь и корова, служанка и работник.

Она знала, что над ней станут потешаться, как только она уйдет, но ее это не печалило. Надо быть благодарной, а то счастьем и кончиться недолго.

По дороге она зашла в усадьбу, где ей ни разу прежде не удавалось уговорить хозяйку купить у нее что-нибудь, хотя та была богатая вдова и сама распорядилась своими деньгами.

Тут Анне пришло на ум сказать, чтобы хозяйка на сей раз не отказывалась от покупки, — дескать, она здесь с товарами в последний раз. Потом она замолчала и загадочно посмотрела на хозяйку.

Жадную крестьянку разобрало любопытство, и она не могла удержаться, чтобы не спросить Анну, отчего та не хочет больше коробейничать.

Красивая далекарлийка ответила, что с ней приключилось великое чудо. Про такое чудо только в Библии писано. Сказав это, она замолчала, и хозяйке пришлось снова ее расспрашивать.

Но Анна Сверд поджала губы и стояла на своем — ни дать ни взять прежняя Анна. Пришлось скупердяйке разориться на шелковый платок и на гребень, и лишь после этого она узнала, что господь Бог пожалел бедную коробейницу и теперь она, недостойная, выйдет за пастора и станет жить в пасторской усадьбе, где есть лошадь и корова, служанка и работник.

Уходя со двора, она подумала, что уловка эта ей хорошо удалась и что надо бы и впредь так делать. Однако она делать этого больше не стала — боялась беду накликать. Нельзя употреблять во зло милость божью.

Напротив, теперь она даже иной раз даром отдавала девочкам-подросткам булавки с головками из цветного стекла. Так она по малости отдаривала господу Бога.

Да за что же ей, недостойной, такое счастье? Просто во всем ей везет. Может, оттого в каждой деревне у нее нарасхват раскупают товары, что она ушла с осенней ярмарки и не стала мешать подружкам? Всю дорогу домой из Карлстада ей везло. Стоит ей раскрыть короб, как на тебе, так и бегут стар и млад, будто она солнцем да звездами торгует. И полпути не прошла, а товару уже почитай не осталось.

Однажды, когда в коробе у нее было всего с дюжину роговых гребней да несколько мотков лент и она досадовала, что не взяла в Карлстаде товаров вдвое больше, ей повстречалась старая Рис Карин. Старуха шла с севера. Короб у нее прямо-таки распирало. Невеселая была она — за два дня почти ничего продать не удалось.

Анна Сверд скупила у нее все товары и в придачу огорошила ее новостью о том, что выходит замуж за пастора.

Анна Сверд думала, что она век не забудет поросший вереском пригорок, где они сидели и толковали про свои дела. Это, пожалуй, было самое приятное из всего, что случилось с ней по дороге к дому. Рис Карин сначала побагровела, как вереск, потом пустила слезу. Увидев, что старуха плачет, Анна Сверд вспомнила, что ей незаслуженно выпало счастье возвыситься над всеми коробейницами, и уплатила за товары немного больше против уговора.

Порою, стоя где-нибудь высоко на пригорке, она прислонялась к плетню, чтобы короб не тянул плечи, и провожала глазами перелетных птиц, уносящихся к югу. Когда никого не было поблизости, кто стал бы смеяться над ней, она кричала им вдогонку, просила передать привет, дескать, сами знаете кому; кричала, что сама бы, как они, к нему полетела, да жаль, крыльев нет.

Чем же она, в самом деле, заслужила, чтобы ее одну избрали из многих и научили ее сердце говорить на древнем языке томления и любви?

Так шла Анна Сверд по дороге к дому, и наконец вдали показалась деревня Медстубюн. Первым делом она остановилась и огляделась вокруг, словно желая удостовериться в том, что с ее деревней ничего не случилось, что она стоит себе в целостности и сохранности на берегу реки Дальэльв, те же низкие серые домишки так же тесно прижимаются друг к другу, церковь по-прежнему возвышается на мыске к югу от деревни, что островки, поросшие березняком, и сосновые леса не сметены с лица земли за время ее отсутствия, а стоят на прежнем месте.

Когда же она в этом убедилась, то почувствовала вдруг, как сильно она устала — едва сил достанет добраться до дому. Человек всегда испытывает такую усталость, когда он уже почти достиг цели. Пришлось ей выломать кол из плетня, и так она, опираясь на него, как на посох, поплелась по дороге, еле передвигая ноги. Короб оттягивал плечи, будто стал тяжелее вдвое, да и дышать было нелегко. Приходилось то и дело останавливаться, чтобы перевести дух.

Как медленно она ни плелась, а все же добралась до деревни. Может быть, она надеялась встретить свою мать, старую Берит, или кого-нибудь из добрых друзей, кто помог бы ей нести короб, но никто не попался ей навстречу.

Кое-кто из односельчан, правда, видел, как она надрывалась, и подумал, что теперь ее матери плохо придется, раз дочка вернулась домой хвора, судя по всему. Ведь матушка Сверд была бедная солдатская вдова — ни денег у нее, ни избы. Ей бы ни за что не прокормиться с двумя детьми, кабы не деверь ее, Иобс Эрик, человек зажиточный. Он отвел ей каморку в своем доме — закуток между конюшней и коровником. Берит на всякую работу исправна и ткать мастерица. За что ни возьмись, все умеет, без такой в деревне не обойтись. Однако, чтобы поднять двоих детей, ей приходилось работать день и ночь, оттого и надорвалась она. Только и надежды было, что теперь станет легче, когда дочка торговать пошла. Хоть бы не расхворалась вовсе дочка-то! Видно, плохо дело, раз Анна вернулась домой не вовремя. Уж вечно беднякам не везет.

Анна Сверд пробралась между поленниц, строевого леса, повозок, стоявших повсюду возле домов и пристроек в усадьбе Иобса, и вошла в каморку к матери. Мать ее, против обыкновения, была дома. Она сидела на полу и пряла лен. Нетрудно представить себе, как она

испугалась, когда дверь отворилась и в комнату вошла ее дочь, согнувшись в три погибели, опираясь на палку. Анну ничуть не опечалило, что ее мать до смерти испугалась. Она поздоровалась так тихо, будто ей слова было не вымолвить, и встала посреди комнаты, тяжело вздыхая и охая, отвернувшись, чтобы не глядеть матери в глаза.

Что же тут было думать старой Берит? Она привыкла к тому, что дочь ее возвращалась домой, держась прямо, будто шла налегке. Видно, случилось самое что ни на есть худое, и Берит отложила прялку.

Все так же охая и вздыхая, Анна Сверд подошла к окну и поставила короб на стол. Потом она отстегнула лямки и потерла рукой поясицу. Попробовала распрямиться, да никак не смогла. Не разгибаясь, отошла она к печке и уселась на лежанку.

Что было тут думать матушке Сверд? Короб у дочери был такой же полный, как и весной, когда она ушла из дома. Неужто она ничего не продала за целое лето? Может, приболела или повредилась чем? Она даже спросить не посмела, боясь услышать ответ дочери.

Анна же, видно, думала, что мать не сможет, как должно, принять столь важную весть, не почувствовав себя сперва больше чем когда-либо несчастной и обездоленной. Она жалобным голосом спросила, не пособит ли ей матушка развязать мешок, ведь она, верно, не очень устала.

Ну, конечно же, матушка Сверд рада была хоть чем-нибудь услужить дочери, только руки у нее дрожали, и ей пришлось немало потрудиться, покуда она распутала узлы да тесемки и начала рыться в мешке. Когда же она раскрыла короб, тут уж голова у нее пошла кругом, хотя она всякого повидала на своем веку. Да и как же было не удивиться, если в коробе она не нашла ни сутажных пуговиц, ни шелковых платков, ни иголок в пачках. Сперва ей подвернулся под руку небольшой окорок, под ним лежал мешок коричневых бобов и такой же мешок сушеного гороха. Она не нашла в коробе ни единого мотка лент, ни наперстка, ни штуки ситца — ничего такого, что коробейница носит в коробе, а только овсяную крупу, рис, кофе, сахар, масло да сыр.

У нее чуть волосы дыбом не поднялись. Она хорошо знала дочь. Анна не из тех, что носят домой гостинцы мешками. Неужто она ума решилась? Или еще что с ней приключилось?

Старуха уже собралась было бежать за деверем, чтобы тот разобрался, в чем дело, да, к счастью, глянула на печь и увидела, что дочка сидит и смеется над ней. Она поняла, что Анна провела ее, и в сердцах хотела выгнать дочку. Однако сперва нужно было узнать, в чем дело. Не мотовка она, да ведь и не в заводе у ней шутки шутить и насмехаться над матерью.

— На какой ляд ты все это накупила?

— Так это же тебе гостинцы.

Матушка Сверд все еще надеялась, что кто-нибудь из соседей попросил дочку принести всю эту барскую снедь. И голова у нее пошла кругом.

— Дурища! — сказала она. — Нешто я поверю, что ты станешь из-за меня надрываться.

— Я продала все товары, как домой шла. Непривычно было пустой короб тащить, вот я и напихала в него то, что под руку попало.

Старая Берит привыкла мешать муку с соломой да корой, редко доводилось ей подбавлять молока в кашу, и потому объяснением дочери она не удовольствовалась. Она села на лежанку возле дочери и взяла ее за руку.

— А теперь рассказывай-ка, что с тобой стряслось.

И тут Анна Сверд решила, что мать уже подготовлена, и не стала таить от нее великую радость.

— Так вот, матушка, чудо со мной приключилось превеликое. О таких чудесах только в Библии писано. В пору в церкви про такое проповеди сказывать.

### **III**

Мать с дочерью тут же порешили, что первый, кому они расскажут про эту великую радость, будет Иобс Эрик.

Он доводился им самым близким родственником, да и к тому же всегда благоволил к Анне и не раз обещал справить свадьбу племяннице, как только она сыщет жениха.

Когда они пришли к нему в полдень, он был занят тем, что сидел на печи и выколачивал из трубки золу кукушкина льна, который ему

приходилось курить вместо табака. В эту пору все молодые парни были на заработках на юге, никто из них еще не вернулся домой, и во всей Медстубюн нельзя было раздобыть ни пачки табаку.

Анна Сверд сразу увидела, что он не в духе, однако это ее ничуть не испугало и не опечалило. Она знала, что он сразу развеселится, как только услышит радостную весть.

Иобс Эрик был человек статный и рослый, темноволосый, с правильными чертами лица и темно-голубыми глазами. Анна Сверд так сильно походила на него, что ее можно было принять за его дочь. И не только лицом была она на него похожа. Иобс Эрик тоже в юности коробейничал. Он, как и она, был изворотлив и горазд на выдумки и умел зашибить деньгу. Когда его дети подросли, он хотел, чтобы они пошли по той же дорожке, но ни одному из них это дело не пришлось по душе. Анне же оно как раз подошло и по вкусу пришлось, за что дядя жаловал ее пуще своих детей и не раз похвалялся племянницей.

Но сейчас, когда они вошли в дом, ему было не до хвастовства и не до похвал.

— Ты, видать, вовсе спятила! — крикнул ей дядя. — Как это тебя угораздило уйти с большой осенней ярмарки?

Но она, с которой случилось чудо великое, которая удостоилась счастья и возвысилась над всеми бедными коробейницами и даже над своими деревенскими девушками-одногодками, сочла, что не годится так прямо с бухты-барахты рассказывать о своем обручении, как о деле маловажном, — будто спасибо за угощение говоришь, — и решила начать издалека, чтобы новость приняли как полагается.

Поэтому она ничего не сказала о том, что с нею приключилось. Она просто ответила, что устала таскаться по дорогам и стосковалась по дому.

— Нашему брату уставать нельзя, — сказал Иобс Эрик и принялся рассказывать, как он в свое время трудился без устали и сколько денег выручал.

Анна Сверд слушала его, не перебивая, но когда он наконец замолчал, она попыталась приступить ближе к делу — вынула из кармана пачку табаку, подала ему и велела курить на здоровье. Надо сказать, что три года назад, когда Анна Сверд начала коробейничать, Иобс Эрик одолжил ей немного денег. Каждую осень, воротясь домой, она сразу же рассказывала ему, много ли заработала, и отдавала часть

денег в уплату долга. А на этот раз она явилась не с деньгами, а с табаком. Разумеется, табачку ему давно хотелось покурить, однако он поморщился, принимая пачку.

Анна Сверд знала его не хуже, чем самое себя, и поняла, что Иобс Эрик встревожился, когда она подала ему табак. Прежде она никогда не делала ему подарков. Видно, плохи у нее дела с торговлей. Не оттого ли она и дала ему табак, что долг платить нечем.

Он сидел и вертел пачку в руках, не сказав ей даже спасибо.

— Надо же мне хоть раз поднести тебе какой ни на есть подарочек за то, что ты мне по первости помог, — сказала Анна, делая новую попытку приступить к самому важному. — Ведь теперь я больше торговать не стану, вот оно какое дело.

Дядя все еще взвешивал табак на руке. Казалось, он вот-вот швырнет пачку ей прямо в лицо. Торговать не станет? Он понял только, что долг ей платить нечем, денег у нее нет и не будет.

— Замуж я выхожу, вот ведь какое дело, — продолжала Анна Сверд. — Мы с матушкой порешили тебя первого о том известить.

Иобс Эрик отложил пачку. Ясное дело, денег теперь не получишь. Мало того — так, поди, придется еще и свадьбу племяннице справлять. Он откашлялся, будто собирался что-то сказать, но передумал.

Матушке Сверд стало до смерти жаль его. Точно все беды разом свалились ему на голову. Ей захотелось растолковать ему все, как есть, про замужество дочери.

— Да думала ли я три года назад, как снаряжала дочку коробейничать, что ей такое счастье выпадет? За пастора в Вермланде она выходит. Жить станет в пасторской усадьбе, будут у ней лошадь и корова, служанка и работник.

— Да, — сказала Анна Сверд и застенчиво опустила глаза, — это великое чудо. Выходит, что мне, горемычной, повезло даже более, чем самому Иобсу Эрику.

Но старика, видно, не так уж сильно удивило это чудо. Он сидел, поглядывая с презрительной усмешкой то на мать, то на дочь.

— За пастора, стало быть, выходишь. Только и всего? То-то, я гляжу, племянница пришла куда какая важная и табаком меня одарила. Я уж подумал было, принц какой ее за себя берет.

— Да что же ты, милый! Никак решил, — сказала матушка Сверд, — что она шутки с тобой шутит?

Старик поднялся во весь свой огромный рост.

— Да нет, не думаю, что она станет со мной шутки шутить, — сказал он. — Однако народ в тех краях ушлый и на шутки горазд. Уж тот, кто с коробом походил, про то знает. Не диво, что ее, молоденькую, околпачат. А уж нам-то с тобой, Берит, ум терять вовсе негоже. Ступай-ка на кухню да вели еды собрать на дорогу дочке твоей, да поболее, а завтра утром — с Богом в путь. Накажи ей дома быть не ранее, как через два месяца.

Мать с дочерью встали перепуганные и направились к двери. У дверей Анна Сверд остановилась и сказала несмело:

— Деньги-то, должок мой, я принесла нынче. А может, ты желаешь, чтоб я их тебе не прежде, как в декабре, отдала?

Тут дядюшка глянул на нее так, что ее до костей проняло.

— Вот оно что! — сказал он. — Ты никак и вправду Иобса Эрика дурачить принялась? Не выходи замуж, дитячко! Держись-ка лучше торговли, дело верное! Уж ты сумеешь разбогатеть, всю Медстубюн скупишь, коли захочешь.

#### IV

Когда они вернулись домой, Анна Сверд собралась идти с матерью к матушке Ингборг, в усадьбу Рисгорден, чтобы и ей рассказать про великое чудо. Но старая Берит и слышать про то не хотела.

Хотя усадьба Рисгорден была по соседству с домом Иобса Эрика, ладу меж соседями не было, однако до прямой ссоры дело не доходило, так чтобы в деревне про то узнали.

Матушка Ингборг была вдова, и хоть она владела лучшей усадьбой во всей Медстубюн, нелегко ей было без мужика в доме, приходилось нанимать людей на всякую работу в поле.

Одна у нее была мечта — сохранить усадьбу, покуда сыновья подрастут, а там все тяготы сами собой сгинут. Помогала же ей больше всех сестра, Рис Карин. Вся деревня знала, что это она добывает им деньги на подати и на батраков. Однако, когда Анна Сверд принялась



коробейничать, дела у Рис Карин с торговлей пошли куда хуже. С тех пор в усадьбе Рисгорден стали коситься на соседей из Иобсгордена, и больше всех, разумеется, на Анну Сверд с матерью.

Но когда матушка Сверд припомнила все это, дочка сказала ей, что пора положить конец раздорам, потому, дескать, она и хочет пойти к Рис Ингборг. А если старая Берит сама не хочет идти с ней, так и не надо, Анна и одна пойдет.

Так она настояла на своем, и матушка Сверд с ней пошла, думая, что, пожалуй, сможет там чем-нибудь помочь дочке.

Войдя в горницу матушки Ингборг, Анна Сверд остановилась в изумлении. Она не была здесь уже несколько лет и успела позабыть, как здесь красиво. Стены были сплошь увешаны картинками из Библии, их не было разве только там, где стояли шкафы, часы из Муры<sup>[111]</sup> да кровати с пологом. На продольной стене висела картинка, изображающая Иосифа в карете, запряженной четверкой лошадей, с кучером и слугами; он ехал встречать отца своего Иакова. А на картине, что над большим окном, нарисована была Дева Мария во младенчестве. Она делала книксен ангелу господню в шитом золотом мундире и треугольной шляпе. Анна Сверд приняла обе эти картинки за доброе предзнаменование. Она радовалась, когда что-нибудь напоминало ей о тех, кого господь Бог чудесною силой возвысил из нищеты и убожества.

Матушка Ингборг из Рисгордена была женщина тихая и пригожая собой. Она была из тех, кто всюду вносит уют и порядок. Она обыкновенно сидела над каким-нибудь затейливым рукоделием. Сейчас у нее на левой руке была надета белая рукавица, на которой она вышивала цветы и листочки.

Видно было, что она не очень-то рада их приходу, хотя и встретила их как водится — пошла навстречу, подала руку и усадила на скамье у окна. Сама же она снова села у окна и принялась за работу.

Потом все замолчали, и Анна Сверд решила — хозяйка, верно, думает, что гости ждут, не попотчуют ли их кофеем. Но она на это не обиделась. За что их кофеем поить, разве за то, что они лишили ее сестру заработка?

Помолчав, как того требует приличие, Анна Сверд повела речь о том, что она по дороге домой встретила Карин и решила заглянуть в Рисгорден — передать поклон и сказать, что сестра ее жива и здорова.

— И слава Богу, что здорова. Здоровье-то самое что ни на есть дорогое.

— Да, уж здоровье каждому нужно, — поспешно поддакнула матушка Сверд. — А особенно тому, кто из края в край по дорогам ходит.

— Твоя правда, Берит, — молвила Рис Ингборг.

Разговор снова прервался, а Анна Сверд подумала, что теперь Рис Ингборг опять сидит да раздумывает, надобно ли их угощать кофеем. Однако она никак не могла на это решиться. Они ведь просто зашли поклон от сестры передать. С какой же стати их потчевать?

Но тут Анна Сверд сказала, что она не посмела бы прийти среди бела дня и помешать ей работать, чтобы только передать поклон, кабы у них не было еще и другого дела. Вышло так, что, когда они повстречались, Карин шла с севера, и мешок у нее был битком набит товарами, Анна же шла с юга и успела все распродать. Потому Анна и скупила у нее все товары сполна. Когда они распрощались, Карин поспешила в Карлстад, чтобы запастись новыми товарами и поспеть к осенней ярмарке.

Сестры были схожи тем, что обе становились сизо-багровыми, когда бывали чем-нибудь взволнованы. И сейчас Рис Ингборг сидела и слушала сизо-багровая, как вереск на пригорке. А то бы и не догадаться, что она так близко к сердцу приняла эту весть. Она только вымолвила, что Карин повезло, раз она встретила Анну и продала товары.

Анне повезло и того боле, что она запаслась товарами по дороге домой, когда все распродала.

Нелегко была наладить беседу. Снова наступило молчание, и Анна опять подумала, что Рис Ингборг сейчас гадает, угощать соседок кофеем или нет. Большой охоты к тому у нее, однако, не было. Девчонка из Иобсгордена пришла похвалиться, что сумела помочь своей товарке, старой коробейнице из Рисгордена. Нет, не могла она заставить себя сварить для нее кофею.

И тут Анна сказала, что она пришла в Рисгорден не только для того, чтобы сказать все это. Уж так вышло, что, когда она купила у Карин товары, к ней попало и то, что ей не принадлежало по праву. Они не перебирали все по вещице, а переложили товары из мешка Карин в мешок Анны. А на другой день Анна разложила товары в

одной избе и заметила бумажку в пять риксдалеров, завернутую в шелковый платок.

Анна тут же сунула руку в карман, вынула пять риксдалеров, расправила бумажку и положила на стол перед Рис Ингборг. Хозяйка Рисгордена побагровела еще сильнее.

— Да статочное ли дело, чтобы сестра моя деньги не берегла? — спросила она. — Не могла же она взять и бросить в мешок целых пять риксдалеров. Может, это вовсе и не ее деньги.

— И то правда, — сказала Анна Сверд. — Может, бумажка уже лежала в платке, когда она его покупала. Мне только сдается, что она и вправду знать не знала про эти деньги.

Рис Ингборг отложила наконец рукоделие. Она взглянула с удивлением на Анну Сверд.

— А коли ты думаешь, что Карин об деньгах не знала, отчего же ты их себе не взяла? Ты ведь купила все, что было в мешке.

— Так ведь и не мои же это деньги. Уж ты сделай милость, побереги бумажку, покуда Карин домой не придет.

Рис Ингборг ничего на это не ответила, и Анне снова пришло в голову, что она думает сейчас, что, мол, волей-неволей придется им сварить кофей.

Только она успела подумать это, как Рис Ингборг наконец решилась:

— Надо бы кофеем гостей попотчевать, да, стыдно сказать, и кофею-то стоящего в доме нету, только ржаной с цикорием.

Она поднялась и вышла в кухню. Вскоре кофе поспел, и они выпили по чашке и по другой. Однако Рис Ингборг была с ними не очень-то приветлива. Она потчевала их, как могла, и все же видно было, что она делает это не по доброй воле.

Только когда они напились кофе, Анна Сверд подала матери знак, и старуха сразу же начала:

— Анна-то сама вроде совестится сказать. Ведь с ней чудо приключилось неслыханное. За пастора в Вермланде выходит.

— Подумать только! — сказала Рис Ингборг. — Неужто Анна замуж выходит? Стало быть, теперь она не станет...

Тут она замолчала. Она была женщина деликатная, не хотела подавать виду, что думает только о своей выгоде.

Но матушка Сверд поняла ее с полуслова.

— Нет, теперь уж она у меня не будет больше с коробом таскаться. Жить станет в пасторской усадьбе. Будут у нее лошадь и корова, служанка и работник.

Улыбка осветила лицо Рис Ингборг. Добрая была это новость.

Она встала и поклонилась.

— Господи помилуй! Что же вы мне наперед не сказали? А я-то сижу и потчую будущую пасторшу ржаным кофеем! Уж обождите, бога ради, пойду погляжу, не завалился ли где пакет настоящего кофея. Сидите, сидите, гости дорогие.

## **ЖЕНА ЛЕНСМАНА**

Анна Сверд пробыла дома уже несколько недель, когда они с матерью отправились в усадьбу ленсмана Рюена, что лежала к северу от деревни Медстубюн, чтобы поговорить с ленсманшей. Иобс Эрик и Рис Ингборг знали, какое у них там было дело, и одобряли его. Рис Ингборг была теперь их лучшим другом, ей не терпелось отправить их туда поскорее, да, собственно говоря, это она все и затеяла.

Итак, они пришли в усадьбу ленсмана и, по настоянию старой Берит, вошли в дом через кухню, хотя Анна Сверд полагала, что будущая пасторша могла бы войти и через прихожую. Из кухни их проводили в кладовку, где ленсманша считала грязное белье, разложенное на большом столе. При виде их она слегка подняла брови, не выказав особой радости. Историю о том, что Анна Сверд собирается выходить замуж за пастора, она уже слышала и была не настолько глупа, чтобы не догадаться, чего эти женщины хотят от нее.

Во всяком случае, она приняла их хорошо — подала руку, попросила присаживаться и не торопясь объяснить, что им от нее надобно.

Решено было наперед, что говорить будет матушка Сверд. Рис Ингборг сказала, что так-де будет пристойнее, она же наказывала ей не ходить вокруг да около, а сразу перейти к делу.

Потому Анна сидела молча и слушала, как старая Берит объясняла, что они пришли просить, нельзя ли будет Анне пожить несколько месяцев в усадьбе ленсмана в учении. Она выходит замуж за пастора из Вермланда, и ей надо поучиться господскому обхождению.

Фру Рюен была маленькая подвижная женщина с острыми, колючими глазками. Ее нельзя было назвать некрасивой, напротив, она была скорее даже миловидной. В ней было столько живости, что она минуты не могла посидеть спокойно. Покуда Берит говорила, она стояла и пересчитывала гору полотенец. Она ни разу не сбилась со счета, раскладывая их по дюжинам. Она сразу же дала ответ, хотя и слушала их между делом.

— Слышала я про это замужество, — сказала она, — и не одобряю его. Об этом деле я не хочу ничего знать.

Неудивительно, что гости опешили и не нашлись, что сказать. С тех пор как Анна пришла домой, они только и знали, что ходили из дома в дом, распивали кофе и толковали с соседями про сватовство да замужество. Куда они только ни приходили, повсюду говорили, что такой доброй вести давным-давно не слыхивали, что для Медстубюн великая честь, раз их землячка станет пасторшей. Иные напрямик говорили Анне, что прежде не хотели с ней водиться, больно уж она походила на Иобса Эрика — только и думала, что про деньги. А теперь ее будто подменили, веселая стала да резвая, как и пристало молодой девушке. А иные так радовались, что Берит на старости лет станет жить в доме у дочери. Словом, все были за нее рады. И вдруг ленсманша, сама ленсманша, говорит, что она и знать не хочет про эту свадьбу.

Фру Рюен увидела, что у них прямо-таки руки опустились, и решила, что надобно как-то объяснить им, почему она так думает.

— Не в первый раз красивая крестьянка из Далекарлии выходит замуж за барина, — сказала она. — Но из таких браков ничего путного не бывает. Мне думается, Берит, что тебе надобно посоветовать Анне выбросить из головы это замужество.

Когда ленсманша сказала это, Анне показалось, будто она пробудилась ото сна. В последние дни парни и девушки, которые были летом на заработках на юге, начали возвращаться домой в Медстубюн. Девушки по большей части были на огородных работах либо перегоняли паром через Норрстрем — людей перевозили, а иные мыли бутылки на пивоварнях, одним словом, кроме работы ничего не видели. И теперь, когда они услышали, что тут без них приключилось, у них глаза разгорелись, и они наперебой заставляли Анну в сотый раз рассказывать, как молодой пастор подошел к ней на проселочной

дороге, что сказал ей и что ему сказала она. А парни приняли эту весть по-иному. До тех пор никому из них до нее не было дела, а тут все стали дивиться, где у них только раньше глаза были. Стоило ей остаться наедине с одним из них, как он сразу начинал говорить, что ей, мол, не надо будет печалиться, ежели вермландский пастор передумает. Дескать, тот, кто идет с ней сейчас по улице, будет ей мужем не хуже пастора.

А теперь ленсманша говорит, что ей не следует думать о замужестве с барином. Не пара она ему, проста больно. Видно, это она хотела сказать.

Она молча поднялась, поднялась и старая Берит. Хозяйка попрощалась с ними за руку так же приветливо, как и при встрече, и проводила. Может, для того, чтобы прислуга не видела, какие они были опечаленные и понурые, или по какой другой причине, только она провела их не через кухню, а через залу и переднюю.

По дороге домой они думали, что хуже отказа ленсманши ничего и быть не могло. Не велика беда была бы, кабы им отказала пасторша. А ведь ленсманшу уважали все в Медстубюн. Люди слушались ее во всем. Если она решала, что парень и девушка подходят друг другу, тут же без долгих разговоров играли свадьбу. Спорили соседи, глядишь — дело чуть не до суда доходило, но являлась ленсманша и мирила их.

По правде-то говоря, ничего и не случилось. Фру Рюен не указчица была ни Анне Сверд, ни ее матери, и все же Анне казалось сейчас, что, раз ленсманша не хочет, чтобы она выходила за барина, стало быть, всему конец.

Вся тоска, укоренившаяся в душе ее после тяжелых младенческих лет, казалось, снова была готова обрушиться на нее, но горевала Анна недолго — в тот же день она получила письмо. Прочесть его она не могла, однако знала, от кого оно. Она носила нераспечатанное письмо в кармане и думала о том, кто его написал. Его родители тоже считали, что она ему не пара, однако он настоял на своем, как пристало мужчине. Управится он, поди, и с ленсманшей.

На другой день она поступила так, как делают все в Медстубюн, когда получают письма, — пошла к пономарю Медбергу и попросила прочитать ей письмо.

Пономарь сидел в классной комнате возле кухни. Там стоял стол, такой большой, что занимал половину комнаты. Вокруг стола сидели

ребятишки и учились бегло читать.

Он взял письмо, осторожно сломал сургучную печать и глянул на почерк. Ничего не скажешь, почерк был четкий и красивый. Пономарь начал читать письмо вслух.

Ему и в голову не пришло отослать ребятишек из комнаты, они сидели и слушали красивые слова про любовь, написанные ее женихом. Видно, пономарь Медберг думал, что ребятишкам пойдет на пользу послушать, как складно он читает написанное от руки. Не стоило и просить его прочитать письмо в другой раз. Могло статься, что он выставил бы ее за порог и сказал, чтобы она сама читала свои письма.

Когда пономарь читал, она старалась думать только о том, что говорилось в письме, но невольно косилась на ребятишек. Им, ясное дело, это было на потеху. Они сидели красные, как кумач, надув щеки и давась от смеха.

После того разговора с ленсманшей Анна потеряла покой. Не было уже в ней прежней радости и веры в свое счастье. Она не удивлялась, что ребятишки смеялись. Ведь она не стоила того, чтоб он писал ей такие письма.

Несколько дней она все думала, как ему ответить. Ей хотелось сказать ему, что она поняла, что вовсе не стоит его, и родители его были правы — ему не надобно больше о ней думать.

Когда же она мысленно сочинила длинное письмо, то снова пошла к пономарю Медбергу. На этот раз она была осторожнее и пришла под вечер, когда ребятишек уже не было. Пономарь тут же уселся за большой стол, чтобы писать под ее диктовку, и все, казалось, шло как по маслу. Ребятишек не было, никто не потешался над ней. Она могла без помехи сказать все, что хотела. Пономарь бойко и усердно водил пером по бумаге, и письмо мигом было готово.

Потом он прочел ей то, что написал, и тут она не могла не подивиться. Ведь пономарь Медберг написал немало любовных писем на своем веку, ему доподлинно было известно, как их надо писать, в этом он разбирался получше какой-то деревенской девчонки, у которой это было всего-навсего первое письмо в жизни. Он и слушать не стал, что ему говорила несмышленная девчонка. Начал он письмо словами, что пишущая сии строки счастлива слышать, что жених ее пребывает в добром здравии, потому как это самое что ни на есть дорогое для

человека. Это он расписал на всей первой странице. Затем он рассказал, что стосковалась она по жениху так сильно, что день в месяц, а месяц в год выходит. И об этом он отмахал добрых пол-листа. Под конец он написал заверение в том, что жених, мол, может не сомневаться в ее верности, и не велел ему также держать в мыслях измену, потому как тогда будет он горевать столько ночей, сколько листьев на липе и орехов на орешнике, сколько песчинок на дне морском и сколько звезд в чистом небе.

Когда она спросила пономаря, почему он не написал, как она ему велела, он рассердился и спросил, неужто она думает, будто он не знает, как писать любовные письма. Не станет же он писать несуразицу, которую она сочинила; не надо забывать, что она пишет не кому-нибудь, а самому пастору.

Этим она и должна была удовольствоваться. В таком виде письмо было сложено, заклеено и отправлено. А что подумает жених, когда его получит? Она чувствовала себя еще более ничтожной и недостойной его.

В третий раз отправилась она к пономарю Медбергу и спросила, не может ли он обучить ее читать и писать. Он ответил напрямик, что она стара, чтобы одолеть такую премудрость, однако она все же уговорила его позволить ей попытаться. Ей было велено прийти к нему на другой день поутру вместе с малыми ребятишками.

Вот так и получилось, что через несколько недель Анна Сверд сидела за большим столом с гусиным пером в руке и переписывала с прописи: «Кто рано встает, тому Бог дает».

И тяжкая же была это работа! Анна крепко-накрепко держала тонкое гусиное перо и нажимала изо всех сил, так что на бумагу сыпались крохотные кляксы, а вместо букв нацарапывались большие диковинные каракули.

Тяжко ей было еще и потому, что она взялась одолеть эту премудрость лишь для того, чтобы написать в Корсчюрку, что она недостойна его и чтоб он о ней и думать забыл.

Хоть и невеселое это было для нее дело, всякий видел, что старалась она как могла. Она напрягала все свои силы, будто нужно было поднять бочку ржи. Каждое слово стоило ей такого труда, что приходилось каждый раз откладывать перо, чтобы отдышаться, прежде чем приниматься за другое слово.



— Перо надобно держать свободно, вытянутыми пальцами, — говорил пономарь. Однако, чтобы удержать перо, ей приходилось сжимать его так сильно, что пальцы белели в суставах. Ребятишки то и дело корчили рожи и ухмылялись. Анне Сверд стало так горько, что она уже хотела было отправиться восвояси, но тут дверь отворилась, и в классную вошла ленсманша.

Она пришла, как всегда, живая и юркая. Зашла она к пономарю Медбергу потолковать о каком-то деле общины. Увидев, что Анна сидит рядом с малыми ребятишками и пишет с таким усердием, что из-под кончика пера брызги летят, она заинтересовалась.

— Вот оно что, так ты, я вижу, не выбросила из головы затею стать пасторшей.

Анна промолчала, а пономарь пробормотал что-то вроде того, что ежели ей для этого непременно надо выучиться писать, вряд ли она удостоится такой чести.

Ребятишки снова принялись хихикать, но ленсманша строго глянула на них, и они сразу присмирели. Потом она наклонилась над Анной и увидела, что буквы на ее листочке покосились во все стороны, как колья повалившейся изгороди.

— Что это ты пишешь? — спросила она. — Дай-ка взглянуть. «Кто рано встает, тому Бог дает». Погоди-ка! А ну-ка, дай мне перо!

Она засмеялась, наклонилась над столом, приложила гусяное перо к губам и задумалась.

— Как звать твоего жениха? Ах вот как, Карл-Артур. Ну-ка взгляни! — Она отчетливо вывела два слова большими круглыми буквами.

— Можешь прочесть, что я написала? Здесь написано: Карл-Артур. Попробуй написать это имя. Коли ты его любишь, так непременно напишешь.

И она вложила перо в руку Анне. Потом она увела пономаря в кухню, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз.

Анна сидела и смотрела на это чудесное имя, так красиво написанное фру Рюен. Ей очень хотелось написать так же. Да где уж ей. Она бросила перо.

Через час ленсманша и пономарь вернулись в классную. Здесь царило гробовое молчание. Мальчишки больше не хихикали, однако и

не читали по букварю. Они сгрудились возле парты Анны и глядели на то, что она делает. А делала она, видно, что-то удивительное.

Она сидела сияющая и счастливая, ее пальцы так и сновали взад и вперед. Когда вошли ленсманша и пономарь, она спрятала свое рукоделие под стол.

— А ну-ка покажи! Сию минуту покажи! — строго приказала ленсманша.

И тут они увидели чудо. Вместо чернил и гусиного пера Анна Сверд вынула из кармана и положила на стол иглу, нитки и белый лоскуток, на котором она вышила буквы. Они были аккуратные, не хуже, чем у ленсманши. Радуюсь, что сумела вышить имя желанного, Анна украсила его рамкой из цветов.

Фру Рюен глядела на рукоделие, приложив палец к кончику носа, так она делала всегда, когда размышляла о чем-нибудь важном.

— Вы только посмотрите! Стало быть, он тебе и в самом деле мил? Не знала я этого. А я-то думала, тебе только пасторскую усадьбу подавай, да чтобы барыней звали. Коли так, переезжай завтра утром ко мне, попробую вывести тебя в люди.

## **СВАДЬБА**

### **I**

В субботу, в три часа пополудни, Анна Сверд стояла на крыльце дома ленсманши и глядела на сани, которые медленно двигались к дому по аллее. Стояла зима, был трескучий мороз, но она не чувствовала холода. Сердце ее колотилось, щеки горели. Она знала, что в санях сидит тот, кому она посылала приветы с перелетными птицами.

Анна Сверд прожила в усадьбе ленсмана на воспитании четыре месяца и прошла настоящую школу. Фру Рюен учила ее, как надо ходить и стоять, как есть и пить, как спрашивать и как отвечать, как здороваться и прощаться, как смеяться и как кашлять, как чихать, как зевать и тысяче других вещей. Нельзя было требовать, чтобы из Анны Сверд сделали настоящую барышню за такое короткое время, но она научилась понимать свои недостатки и промахи, и теперь, завидев

сани, в которых ехал ее милый, она испытывала не только радость. Ведь могло статься, что она разонравится ему, как только он увидит ее среди господ. У ленсмана были две дочки, обе курносые, белобрысые, но зато какое у них было обхождение, какая легкая походка, как складно они умели говорить! А какие у них были наряды! Если б только у нее достало денег купить себе господское платье! Она-то носила деревенское, и это ее очень печалило. Не может ведь жена вермландского пастора в пестрой одежде ходить, как какая-нибудь деревенская девчонка.

Тревожилась она еще и оттого, что не знала толком, зачем к ней едет жених. Может, только для того, чтобы порушить обручение. Сразу после святок он прислал письмо и бумагу для оглашения в церкви. Теперь их обручение уже огласили; стало быть, как люди говорят, они теперь все равно что муж и жена. И все же беспокойно было у нее на душе.

В Медстубюн все радовались оглашению. Однако Иобс Эрик не верил толком в это замужество, покуда не услышал, как пастор возвестил о том с церковной кафедры. А после третьего оглашения дядюшка торжественно объявил, что желает справить ей свадьбу. Сказал, что гулять станут три дня, что еды и питья будет вволю, что веселье будет, какого свет не видывал, с музыкантами, с танцами, и что для всей молодежи постелят на полу постель. Раз уж племянница выходит за такого хорошего жениха, так и свадьба должна быть под стать. Одна из дочерей ленсмана написала от ее имени пастору, известив его о том, что посулил Иобс Эрик, а жених ни с того ни с сего написал в ответ, что собирается приехать навестить ее. Может, он раскаялся, узнав, что о свадьбе речь идет, или еще что надумал?

Так она и не успела в том разобраться, потому что сани уже поднялись на пригорок и въехали во двор. Сейчас она увидит его, радость-то какая. Будь что будет, все равно для нее счастье превеликое повидать его.

Когда он вылез из саней, на крыльце его встретили не только Анна Сверд, но и ленсман с женой. Он сперва поздоровался с ними, потом подошел к ней, обнял ее и хотел поцеловать, но она застыдилась и отвернулась. Как же дать поцеловать себя, когда кругом люди смотрят! Но тут же она вспомнила, что господа целуются и на людях, и подосадовала, что так глупо вела себя.

Как только он снял шубу, все отправились в столовую, где уже был накрыт стол к кофе — на нем стояли лучшие чашки ленсманши и сдобное печенье. Анну посадили подле жениха. Теперь она каждый день пила кофе с семьей ленсмана и знала, как ей вести себя за столом. Но тут она вдруг сразу забыла все, чему была обучена. Не подумав, она налила чашку до краев, и кофе пролился на блюдце, сахар положила в рот и стала пить вприкуску. Словом, повела себя так, будто пила кофе с матушкой Сверд и Рис Ингборг. Ленсманша глянула на нее, и она поперхнулась.

Она снова посетовала на себя, но утешилась тем, что теперь уже все равно. Она чувствовала, что дело неладно. Жених вел себя с нею совсем не так, как в первый раз. Видно, он приехал разорвать обручение.

Покуда пили кофе, Анна сидела и слушала, как складно он вел беседу с ленсманом и его семьей. И так это легко и свободно говорили они друг другу всякие любезности. Он поблагодарил семью ленсмана за все, что они сделали для его невесты в эти четыре месяца, а фру Рюен ответила, что ему вовсе не за что благодарить их. Анна, мол, такая понятливая и так много пользы от нее в доме, что это они должны быть ей благодарны.

Как только приехал ее жених, ленсманша с дочерьми и сам ленсман стали обходительными, улыбались ласково и говорили сладким голосом. Они, видно, никак не ждали увидеть его таким, каков он есть на самом деле. Верно, они думали, что он урод какой-нибудь, раз женится на бедной далекарлийской крестьянке.

Ну, да это она могла им простить, она и сама не запомнила, что он такой красивый, просто всем взял. Ей было любопытно, заметили ли они, что у него надо лбом будто сияние разливается. Веки у него были тяжелые, опущенные, да и слава богу, а то она сидела бы и глядела, как зачарованная, в его глубокие, чудные глаза.

Похоже было на то, что жениху пришлось по душе семья ленсмана. Уже убрали со стола, а он все сидел и беседовал с ними. Не только жена с мужем вели с ним разговор, а и дочки их. Анне казалось, что они вовсе отняли его у нее, и с каждой минутой ей становилось все более горько и обидно.

«Чай, они ему ровня, — думала она, — а про меня он и думать забыл. Теперь он видит, что я ему не гожусь в жены. Я ведь и слова

молвить не умею. Никто из них и не глядит на меня, будто меня и нету».

Но тут он вдруг быстро повернулся к ней, поднял веки и взглянул на нее. Ей показалось, что солнце выглянуло из-за тучи. Он сказал, что охотно навел бы пастора, если его усадьба неподалеку.

Да, пасторская усадьба отсюда рукой подать. Стоит только пройти в конец деревни да свернуть налево. Пасторский дом к северу от церкви, там уже совсем рядом.

Она говорила так неприветливо, что все заметили это. И поглядели на нее удивленно и неодобрительно.

— А я думал, — сказал он, — что ты покажешь мне дорогу.

— Отчего ж не показать, покажу.

Она не хотела ему отказывать, думая, что он хочет поговорить с ней наедине, чтобы положить всему конец. Но прикидываться счастливой и веселой она не могла. Сердце застыло тяжелым, мертвым комком у нее в груди. Да, его было просто не узнать. Другие-то его раньше не видели и не могли понять, как он переменялся.

Когда они с женихом вышли на проселочную дорогу, она старалась держаться от него как можно дальше. Был конец февраля, солнце еще не успело растопить сугробы по краям дороги, и они лежали нетронутые. Дорога была довольно узкая, и Анне волею-неволей приходилось идти почти рядом с ним.

Дни уже стали длиннее, и было еще совсем светло. Узкий лунный серп проступал на бледном небосклоне. Ей он казался таким острым и страшным. «Видно, этот серп и порежет мое счастье на кусочки», — подумала она.

Она привыкла к холоду и никогда не спрашивала, холодно ли на дворе. Но такой лютой стужи, как в этот вечер, она еще не видывала. Снег будто вскрикивал каждый раз, как она ступала по нему. «Не диво, что снег жалуется: горе давит меня к земле, ступаю я тяжело, вот и больно снегу».

Наконец они дошли до пасторской усадьбы, и тут только он нарушил молчание:

— Я надеюсь, Анна, ты не станешь противиться тому, о чем я собираюсь просить пастора. Пойми, я хочу сделать, как будет лучше для нас обоих.

Нет, она не станет перечить, ему нечего тревожиться. Пусть все будет так, как он хочет.

— Спасибо за обещание! — сказал он.

После этого они вошли в кабинет, где пастор сидел за столом и писал. Был субботний вечер, и он, видно, сочинял проповедь. Пастор глянул на них недовольно — они помешали ему.

Жених рассказал ему, кто он такой, и пастор, узнав, что к нему пришел брат, сразу же переменялся.

Анна осталась стоять у дверей и не проронила ни слова, покуда священники толковали о своих делах. Потом жених подошел к ней, взял ее за руку и подвел к пастору.

— Господин пастор, — сказал он, — я вижу, что вам недосуг, и хочу сразу же изложить дело, по которому пришел. Вам, господин пастор, разумеется, нетрудно представить себе, как может любить и тосковать молодой человек. Всего лишь за день до отъезда я подумал о том, какое счастье было бы, ежели б я возвратился в Корсчюрку не один. Эта идея привела меня в восторг. Но возможно ли осуществить ее? Скромный домик, который я приобрел для жены моей, уже почти готов. Мои добрые друзья обещали поторопить маляра и плотника, чтобы в конце следующей недели можно было бы переехать туда.

Анна видела по лицу пастора, что он не согласен. Он хотел возразить, но жених не дал ему сказать ни слова.

— Я выехал из дому во вторник на прошлой неделе и должен был наверняка прибыть в Медстубюн в четверг или пятницу, однако неожиданные обстоятельства опрокинули все мои расчеты. Загнанные лошади, пьяные кучера, ледоход на реках — из-за всего этого я смог приехать только сегодня днем. Но, господин пастор, неужто это в самом деле может обмануть все мои ожидания, столь милые для меня? Важнейшим препятствием могло бы явиться то обстоятельство, что невеста моя с большой радостью ожидала предстоящую свадьбу, которую ее дядя обещал отпраздновать по случаю нашего бракосочетания. Я могу понять ее радость, однако нимало не сомневаюсь в том, что она готова отказаться от свадебного пира и не мешкая уехать со мной. И потому я прошу вас, господин пастор, оказать нам такую милость, обвенчать нас завтра утром в церкви после богослужения.

Пастор помедлил с ответом. Он знал своих прихожан, знал, что многие уже с нетерпением ожидали трехдневной свадьбы, собираясь пировать три дня, и боялся, что его осудят, если он одобрит такое решение.

— Мои дорогие молодые друзья, — сказал он, — послушайтесь совета старика, откажитесь от этой затеи. Вы же понимаете, магистр Экенстедт, как много толковали у нас об этой женитьбе. Никто не ожидает, что она пройдет так вот незаметно, на скорую руку. Все надеются, что будет пышная свадьба.

Жених сделал нетерпеливый жест.

— Будем же откровенны, господин пастор! Вам так же, как и мне, хорошо известно, что такое большая свадьба — пьянство, обжорство, драки, бесчинства. Подобные вещи я никоим образом не могу одобрить. Первоначальная цель, побудившая меня приехать сюда, была предотвратить устройство подобного празднества. И потому я полагаю, что самым верным и подходящим для этой цели будет осуществить план, каковой я имел честь вам изложить.

Пастор взглянул на потолок, потом на пол, словно ему не хотелось смотреть на своего настойчивого коллегу. Наконец взгляд его остановился на Анне Сверд. Лицо его просветлело: казалось, он нашел выход.

— Вы, магистр Экенстедт, не изволили сказать мне, каково отношение вашей невесты к этим, как мне кажется, несколько поспешным планам, — сказал он.

Карл-Артур, не задумываясь, ответил:

— Прежде чем войти в эту комнату, невеста моя дала обещание, что согласится со всяким моим предложением.

Анна Сверд невольно слегка подняла брови, и пастор заметил это.

— А ты, Анна, неужто ты в глубине души одобряешь эти планы? — спросил он, глядя невесте в лицо.

Анна покраснела до корней волос. Из этого разговора она поняла лишь одно — жених не раздумал на ней жениться. Ей больше нечего бояться. Он не считает ее темной деревенщиной. Он по-прежнему хочет, чтоб она стала его женой.

И все же она была раздосадована и обеспокоена. Почему жених дорогой не спросил ее, захочет ли она завтра же обвенчаться с ним?

«Не любит он меня так, как я его люблю, — думала она. — Кабы любил, так перво-наперво спросил бы, согласна ли я».

Но хоть она и была обижена и оскорблена, ей не хотелось срамить жениха перед пастором.

— Так ведь мне, господин пастор, откуда знать. Как он велит, так тому и быть, — сказала она.

— Ну, раз дело так обстоит, то я, разумеется, к вашим услугам, господин магистр, — сказал пастор.

## II

Ленсманша сидела в гостиной озадаченная, приложив палец к носу. Это означало, что ей нужно было решить нечто важное.

Она, по правде говоря, успела привязаться к Анне Сверд, и ей было жаль, что у молодой девушки не будет пышной свадьбы, которой она так ждала. Фру Рюен еще с вечера в субботу подняла на ноги всех у себя в доме и в Медстубюн, чтобы помочь делу. Вынули, подгладили и подправили подвенечное платье, которое хранилось в Рисгордене, и утром в воскресенье Рис Ингборг с сестрой пришли в усадьбу ленсмана, чтобы одеть невесту, как водилось в старину. Свадебный поезд на пригорке возле церкви благодаря стараниям ленсманши был длинный и выглядел как подобает. Впереди шествовали два музыканта, вслед за женихом с невестой шли ленсман, пономарь Медберг, Иобс Эрик, двое церковных старост и присяжные заседатели с женами. Шествие завершали парни и девушки в праздничных уборах. Все было красиво и торжественно. Даже и готовясь куда дальше, вряд ли можно было сделать лучше.

Свадебного пира в Иобсгордене было нельзя устроить, но ленсманша собрала у себя в доме гостей на скромный свадебный ужин. К счастью, она еще раньше собиралась устроить большой стол в честь жениха и его новой родни, потому она сумела недурно с этим управиться. К тому же гости были люди разумные и понимали, что о богатом угощении тут не могло быть и речи.

Однако если б она знала, какой скучный будет праздник, то, верно, оставила бы эту затею. Все приглашенные были словоохотливы, но в этот вечер им, видно, было нечего сказать. Она сама угощала гостей



как могла, муж и дочери тоже старались изо всех сил. И жених пытался поддерживать беседу. Но, казалось, в воздухе нависло нечто гнетущее. Может быть, гости сидели и думали о пышной, веселой свадьбе, на которой им так и не довелось побывать.

Что до невесты, так она и вовсе не изволила слова сказать. Она просидела весь вечер, нахмутив густые брови, уставясь прямо перед собой. Она походила на обвиняемую, ожидавшую приговора.

«Вот уж поистине неладно супружество начинается, — думала ленсманша. — Хотелось бы знать, о чем сейчас задумалась Анна. Может быть, ей горько оттого, что не справили свадьбу в Иобсгордене?»

Чтобы как-нибудь убить время, ленсманша обратилась к магистру Экенстедту и спросила, не изволит ли он сказать им несколько слов. Он сразу же выполнил ее просьбу, и вот теперь она сидела и слушала его. Говорил он свободно и складно, однако она не могла не признать, что его слова испугали ее. «О чем это он говорит? — думала она. — Он собирается идти по льду, который недостаточно крепок, чтобы выдержать его».

Она все более удивлялась его словам. «Что все это, господи прости, означает? — говорила она себе. — Он хочет жить в бедности во имя Христово? И для того он выбрал жену, близкую ему по духу, которая, как и он сам, презирает богатство, которая, как и он, понимает, что нет иного счастья, кроме счастья творить ближним добро во имя божье?»

У жены ленсмана, которая уж куда как хорошо знала, что молодая невеста после обручения только и мечтала о пасторской усадьбе, где будут лошадь и корова, служанка и работник, просто голова кругом пошла.

«Какое ужасное заблуждение! — думала она. — Анна Сверд ничего о том не знает. К чему же все это приведет?»

Чем дольше она слушала его, тем яснее представлялось ей, что он за человек.

«Моей дорогой Анне достался пустой мечтатель, — думала она. — Он выбрал себе в жены крестьянку, чтоб она была привычна к работе и сама делала все по дому. Он, верно, из тех молодых людей, что хотят жить по-мужицки. Нынче уже не в моде быть барином».

Она переводила взгляд с одного гостя на другого. О чем думает сейчас Иобс Эрик, который никогда копейки даром не потратил? О чем думает старая Берит, которая не на жизнь, а на смерть боролась с нищетой? О чем думает Рис Ингборг, которая ни одной ночи не уснет, чтобы о хозяйстве своем не вспомнить? И что думает об этом сама новобрачная, которая три года ходила с коробом по дорогам?

«Они, верно, не меньше моего перепугались, однако сидят себе спокойно и делают вид, что им до того и дела нет».

Она поняла, что эти люди не приняли слова молодого пастора всерьез. Речи о благословенной бедности полагаются ему по должности. Складно говорит, поучительно, но никто из них ни на минуту не поверил, что он сам собирается жить так, как поучает других. Чего же им тревожиться? Они знают, что есть и бедные священники, никто и не думает, что такому молодому дадут большой приход, и все же его жене с ним будет куда лучше, чем дома. Он ведь человек хороших кровей, а такие в Швеции с голоду не умирают.

Ленсманша же понимала, что он говорит правду и что жену его ожидают тяготы и заботы, и кто знает, смирится ли она с этим. «Молодые ведь еще вовсе незнакомы, — думала она. — Анна и писать-то не умеет, стало быть, они даже через письма не могли познакомиться ближе. Они и сейчас так же мало знают друг друга, как тогда, когда повстречались на проселочной дороге. А не лучше ли открыть глаза невесте? Она достойная девушка, хотя ей и не хочется жить в бедности. Могу ли я позволить ей вступить в брак, не сказав, что ее ожидает?»

И все же она решила не вмешиваться в чужие дела. Не будь они уже мужем и женой, тогда ее долг был бы предостеречь Анну. А теперь разумнее всего было предоставить им самим во всем разбираться.

Когда ужин подошел к концу, гости потихоньку разошлись, а дочери ленсманши отвели невесту наверх, в гостиную, где была постлана брачная постель, молодой жених сказал хозяйке, что ему надобно поговорить с ней.

После этого разговора, который продолжался не менее получаса, фру Рюен отправилась к себе в спальню, взяла с ночного столика Библию и, держа ее в руках, поднялась в гостиную, где дочери ее только что сняли с невесты подвенечное платье и все украшения и уложили ее в постель.

С первого взгляда она заметила, что густые брови Анны все так же нахмурены, что темные глаза все так же смотрят в одну точку, словно видят надвигающуюся беду. Увидев ленсманшу с Библией в руках, она глубокомысленно кивнула несколько раз, словно хотела сказать: «Так я и знала. Весь вечер я этого ждала».

Ленсманша не спешила. Она сняла нагар со свечей, отослала дочерей спать, надела очки и принялась перелистывать Библию. Найдя нужное место, она сказала Анне, что хочет прочесть ей несколько строк из Писания перед ее вступлением в брак.

Анна Сверд села в постели и сжала руки. Она считала, что читать Библию вовсе ни к чему. Она понимала, что это только вступление к чему-то тягостному, что она сейчас услышит. Уж лучше бы сразу говорила.

Ленсманша начала читать главу тринадцатую из Первого послания к коринфянам:

— «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, любовь не гордится;

Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла;

Не радуется неправде, а сорадуется истине.

Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит».

Ленсманша, вспомнив, видно, свою свадьбу, читала эти удивительные слова взволнованно, и Анна невольно заслушалась. Ей казалось, будто слова эти были взяты из ее сердца. Никогда она еще не слышала из Библии ничего вернее и справедливее.

Когда ленсманша перестала читать, Анна повторила последний стих про себя.

— Может быть, тебе еще раз прочесть?

— Да, — еле слышно прошептала взволнованная невеста.

Брови у нее теперь были уже не так сурово нахмурены. И взгляд не был больше так неподвижен. У ленсманши появилась надежда, что она сможет выполнить данное ей поручение, не встретив слишком бурного сопротивления.

«Так и есть, — подумала она. — Анна Сверд далеко не глупа. Она слышала только что речь своего мужа и, верно, понимает, как обстоит дело».

Она прочла еще раз прекрасные слова о любви и отложила Библию.

— Если окажется, что все не так, как ты ожидала, подумай об этих словах.

Глубокие, скорбные глаза глянули на говорящую. Сказанное можно было принять за обычное поучение невесте, но это могло быть и предисловием к чему-то страшному, что должно с ней случиться.

Ленсманша поспешила объяснить свои слова.

— Видишь ли, я хочу сказать, что если любишь истинною любовью, то не станешь думать о житейских делах. Замуж выходят не за лошадь и корову, не за служанку с работником.

Фру Рюен показалось, что Анна ведет себя весьма странно. Подобный намек должен бы был ужасно обеспокоить ее. А она не сказала ни слова и сидела не шелохнувшись. Надо было объяснить ей все поподробнее.

— Не подумай, дитя мое, что я непрошено вмешиваюсь в твои дела. Когда ты поднялась наверх, твой муж пришел ко мне и откровенно рассказал о том, что вас ждет в будущем. Я спросила его, знаешь ли ты все это, и он ответил, что ты знала все с первой же вашей встречи.

Тут Анна Сверд наконец заговорила:

— Что я знала? — спросила она, но голос ее звучал совершенно безразлично. Видно, не это она боялась услышать.

— Разве ты не помнишь, — сказала фру Рюен, невольно повышая голос, словно она говорила с кем-то, кто еще не совсем проснулся, и хотела разбудить его, — разве ты не помнишь, как он говорил тебе, что хочет вести жизнь во имя Христова? Нынче вечером он говорил то же самое.

— *Так ведь...*

— Я сразу заподозрила, что ты ничего не поняла. И когда я объяснила это твоему мужу, он тут же попросил меня сказать тебе, что тебя ожидает. Он просил меня сказать, что у него нет пасторской усадьбы. Он всего лишь помощник пастора, жалованья ему положено сто пятьдесят риксдалеров. До сих пор он жил на всем готовом у

пастора, а теперь, после женитьбы, он будет получать вместо того муку, масло и молоко. На прожитье вам хватит, но и только. И раз ты ожидала большего...

Выслушав это, Анна Сверд задала ленсманше вопрос, и та поняла, что она сделала это из приличия, ибо ей, видно, было все безразлично. Она спросила, где они будут жить.

— Прошлой осенью твой муж получил небольшое наследство от тетки по отцовской линии, — сказала фру Рюен. — Всего тысячу риксдалеров и мебели на одну комнату. На эти деньги он купил домишко — комната да кухня. Хватит вам, пожалуй, на двоих-то. Однако ни пристроек, ни пашен, ни лугов там нет. Тебе самой придется стряпать, топить печь, мыть и все прочее делать по дому.

Ленсманша подумала было, что Анна Сверд только прикидывается равнодушной и что буря, бушующая сейчас в ней, обрушится потом на мужа, как только тот явится. Однако и в это поверить было трудно. Эта сильная, здоровая женщина сидела и молча смотрела, как рушатся все ее надежды, не выказывая при том ни малейших признаков сожаления.

— И зачем только я у тебя обучалась? Экая досада!

— Об этом ты не горюй. Мне было приятно обучать такую понятливую девушку. Ты ведь знаешь, дитя мое, что в нашей усадьбе все полюбили тебя. Это первая горькая минута, которую я переживаю из-за тебя.

Анна Сверд не сказала ни слова благодарности за всю ее доброту, и ленсманшу это даже слегка раздосадовало.

— Может быть, ты утешаешься мыслью о том, что мужу твоему скоро дадут приход побогаче. Так и на это мало надежды. Он по крайней мере говорит, что хочет всегда жить в бедности. А ежели ты надеешься на его богатых родителей, так могу тебе сказать, что он рассорился с ними из-за тебя и ему нечего ждать от них ни помощи, ни наследства.

— Матушку жалко, — сказала Анна Сверд. — Она-то думала, что ей будет у нас кусок хлеба на старости лет.

— Если пастор в Корсчюрке умрет, — продолжала фру Рюен безжалостно, — то твоего мужа пошлют помощником пастора в другой приход, а хуже всего то, что ты не сможешь последовать за ним, тебе

придется жить одной в вашем домишке. А пастору в Корсчюрке уже семьдесят шесть, долго он не протянет.

— Вижу, нелегко нам будет, — сказала Анна все так же равнодушно.

— Поскольку еще неизвестно, что вас в жизни ожидает, — сказала фру Рюен, — твой муж, по-моему, прав. Он, собственно говоря, хотел, чтобы я спросила тебя... Ему, видно, трудно сделать это самому. Он просил, чтобы я дала тебе совет...

Резкое движение Анны заставило ее замолчать. Анна круто повернулась к ней и наклонилась вперед в напряженном ожидании. Сонливости и вялости как не бывало. Ленсманша слегка покраснела.

— Дитя мое, — сказала она, — ты на меня так смотришь, что мне просто страшно делается. Мне кажется, однако, что он вправе сомневаться. Вам было бы неразумно заводить семью. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю.

Анна Сверд откинулась на подушку. Она не плакала, только молча ломала руки, а лицо ее исказила гримаса отчаяния.

— Так я и знала, — сказала она, — того и ждала. Разлюбил он меня.

— Не надо так убиваться, дитя мое! Твой муж не такой, как все мы. Я знаю, он любит тебя, но люди, подобные ему, считают, что служить Богу — значит отказаться от того, чего более всего желаешь.

— Кабы любил, так не посылал бы тебя с такими советами, — закричала Анна пронзительно. — Неужто ты не заметила, что я ему наскучила? Ну, теперь он от меня избавится.

Она сбросила с себя одеяло, рывком схватила чулки и башмаки и принялась одеваться.

— Дитя мое, — пыталась успокоить ее фру Рюен. — Ты ошибаешься, уверяю тебя. Супруг твой сказал мне, что питает к тебе нежную любовь. С самого начала, как только он приехал сюда и увидел тебя, он старался побороть свои чувства. Он не смел сам сказать тебе об этом.

Но слова ее не помогли. Анна Сверд натянула на себя одежду с такой быстротой, будто спасалась от пожара.

— Еще чего! — крикнула она. — Так я ему и поверила! Как же, любит он меня, коли такую свадьбу справил! И чего ему только от меня надо!

Ленсманша видела, как быстро снуют ее пальцы, как дико горят глаза на бледном лице. Анна не вышла, а бросилась вон из комнаты.

Фру Рюен нашла Карла-Артура в темной зале. Он стоял на коленях, погруженный в молитву. Она кинулась к нему и стала трясти его за руку. Он поднялся, покраснев от смущения.

— Я просил Господа, чтобы он вразумил Анну принять мои слова как должно.

— Сейчас не время молиться! — воскликнула фру Рюен и еще сильнее трянула его за руку. — Если вы не побежите тотчас же за Анной и не покажете ей, что любите ее, как должно мужу любить жену, придется нам завтра поутру искать ее где-нибудь в проруби в Дальэльвене.

## **НОВЫЙ ДОМ**

Анна Сверд прямо-таки создана была коробейничать. Она безошибочно выбирала товар, который можно предложить покупателю. Не случалось с ней, чтобы она положила в мешок неходовой товар. Если люди не хотели покупать, она уходила, не навязывалась. Попадались покупатели — охотники рядиться, она не мешала им рядиться вволю и делала вид, будто огорчилась, что продешевила, чтобы люди порадовались выгодной покупке. К тому же торговала она без обмана — никогда не предлагала материю, побитую молью либо подмоченную. А если шелковый платок долго лежал в мешке и потерялся на сгибе, она сразу же показывала изъян покупателю и отдавала его чуть ли не даром.

Всякому было ясно, что Анна Сверд составила бы себе небольшой капитал, если бы продолжала торговать. Но с того дня, как она повстречала на проселочной дороге Карла-Артура Экенстедта, ее словно подменили. Не то чтобы она стала менее проворной, расчетливой и смекалистой, чем прежде. Просто все эти таланты, что раньше помогали ей зарабатывать на хлеб насущный, стали после этой встречи слугами ее любви. Теперь она не переставала удивляться тому, как она раньше гналась за заработком. Неужто это она стояла на ярмарке, радуясь каждому покупателю? Неужто это она, Анна Сверд, бродила по дорогам, только и думая, как бы припасти побольше денег?

Просто даже не верилось. Но ведь в ту пору она не знала, что на свете важнее всего.

Новобрачные пробыли несколько дней в Медстубюн и рано утром в среду отправились в путь, а в пятницу к вечеру прибыли в Корсчюрку, довольные и счастливые, и поселились в своем маленьком домике на склоне холма за деревней.

После того как ленсманша пробрала Карла-Артура, желая ему добра, он не осмеливался держать Анну в неведении о том, что ее ожидает. Он спросил, не заметила ли она прошлым летом, когда была в Корсчюрке, маленькие домишки на пригорке, за садом доктора Ромелиуса. У Анны, которая за три лета исходила этот приход вдоль и поперек, сразу же встали перед глазами две лачуги, такие ветхие, что того и гляди развалятся. В эти домишки она не заходила — коробейнице нечего делать в таких хибарах, где хозяевам и окна-то разбитые не на что починить. Но для порядка она узнала, чьи это дома. В одном из них жил старый солдат, который с грехом пополам перебивался на пенсию в двадцать риксдалеров в год, в другом — бедная девушка по прозвищу Элин Матса-торпаря, которая мыкала горе со своими младшими братишками и сестренками.

Однако она не слыхала о том, что Карл-Артур надумал выкликнуть всех десятерых на аукционе для бедных, где их должны были раздать по чужим людям, и о том, что этот аукцион привел к счастливой перемене в их судьбе. Несколько влиятельных дам решили создать благотворительное общество, чтобы опекать эту ораву ребятишек. Они собирали деньги на починку дома и припасали детям еду и одежду. Все было бы как нельзя лучше, но тут вдруг захворала и умерла старшая сестра. Устала бедняжка, надорвалась; можно было подумать: она, увидев, что теперь ее братья и сестренки обуты и одеты, погреб полон картошки, чулан набит мукой и селедкой, дырки в полу заколочены, и крысы больше не шастают по углам, и окна не надо затыкать тряпьем, — решила, что она свой долг на этом свете исполнила, и улеглась, чтобы вкусить долгожданный покой.

Этим, однако, она причинила Карлу-Артуру немало хлопот. Добросердечные барыньки, опекавшие детей, тут же сыскали им новую няньку — старую деву, которая долгие годы была в услужении у пастора. Она обихаживала их, как могла, только трудно было старухе совладать с десятью озорными ребятишками. Карлу-Артуру хотелось



помочь ей управляться со своими подопечными, однако ему было трудно это делать, покуда он жил в пасторской усадьбе. Потому-то он, как только получил наследство, поспешил купить и подновить домишко солдата, стоявший рядом с лачугой, где жили десять ребятишек.

Вот в этом-то доме, стало быть, и должны были поселиться новобрачные. Молодой пастор заверил жену, что она просто не узнает этот домишко — так хорошо он все устроил. Покупкой своей он был доволен. Теперь у него был свой домик, маленький и скромный, расположенный в хорошем месте, к тому же отсюда удобно было приглядывать за оравой малышей.

Анну Сверд в эти дни занимало лишь то, что муж ее любит, потому она только засмеялась в ответ и, казалось, всем была довольна. Да и что она могла поделывать? Они уже повенчаны, она дала обет делить с ним горе и радость. К тому же она надеялась на свои силы. Как бы туго им ни пришлось, она сумеет и жильё раздобыть и прокормить себя и мужа.

Когда они подъезжали к Корсчюрке, Анна Сверд сказала мужу, что у нее на родине есть такой обычай: молодожены, переступив в первый раз порог своего дома, должны встать на колени и молить Господа, чтобы он благословил их жилище и ниспослал им счастье в стенах этого дома. Карл-Артур сказал, что это прекрасный обычай и что им нужно сделать то же самое. Однако, когда они приехали домой, никто об этом и не вспомнил.

Случилось это вовсе не оттого, что Анну Сверд столь приятно поразила их лачуга. Да она почти и не изменилась с тех пор, как Анна ее видела. Никак нельзя было сказать, что она превратилась в господскую усадьбу. Тот, кто чинил ее, даже не удосужился пристроить какое-нибудь крылечко, и, как и при старом солдате, у двери лежали неровные, шаткие камни. Не раз призадумался, прежде чем войдешь в такую лачугу с коробом. Она сказала это мужу, чтобы подразнить его, и они оба рассмеялись. Оба были в наилучшем расположении духа.

Стало быть, вовсе не из-за жилища своего они забыли о том, что надо упасть на колени у порога и просить Бога осенить благодатью их новый дом. А случилось это оттого, что в тот самый миг, когда сани

остановились, дверь дома отворилась и маленькая тучная женщина вышла на шаткие камешки встречать их.

Анна Сверд недаром три лета кряду исходила Корсчюрку вдоль и поперек с коробом за плечами. Она знала по имени каждого человека в приходе, но эту женщину не сразу признала. Однако через несколько секунд она смекнула, что это, должно быть, фру Сундлер, жена органиста. Когда Анна в последний раз видела ее, у той были красивые длинные локоны, а теперь волосы ее были коротко острижены, как у мальчишки, отчего ее и было трудно узнать.

Да, уж верно, это была фру Сундлер, ведь Карл-Артур в дороге все время говорил о ней. Это она помогла ему купить дом и наняла рабочих. Да и сама-то женитьба его была делом ее рук. Кабы не она, не сидеть бы им вдвоем в этих санях и не радоваться счастью. Чего же тут удивляться, что фру Сундлер пришла к ним в домик истопить печи и встретить молодых, она ведь так старалась поженить их.

Фру Сундлер простерла руки и заключила молодоженов в объятия. С волнением в голосе она заявила, что счастлива видеть их, что наконец-то исполнилось ее самое заветное желание, что она так рада за Карла-Артура — ведь сбылась его мечта иметь маленькую серенькую избушку и жену из простых, чего он желал всегда, сколько она его помнит.

Покуда фру Сундлер произносила свою краткую речь, они позабыли о намерении просить Бога благословить их дом. С этого момента жена органиста целиком завладела ими обоими.

Наконец она выпустила их из своих объятий, отворила дверь и провела их в маленький коридорчик, разделявший дом на две половины.

Они сняли верхнее платье и развесили его в коридоре, а фру Сундлер тем временем рассказала, как внутренний голос шепнул ей, что они должны приехать именно в этот вечер. Едва она успела прибежать с кофейником под мышкой в это воробьиное гнездышко — так она мысленно называла дом Карла-Артура — и накрыть на стол, как услышала звон колокольчиков на пригорке. Она была несказанно рада тому, что подоспела вовремя встретить их и что им не пришлось входить в пустой дом.

Однако не слова фру Сундлер заставили Анну Сверд призадуматься, а то, что, как только появилась фру Сундлер, Карл-

Артур вдруг сразу переменился. Он уже не был веселым и беспечным, как во время поездки, а как-то оробел и старался изо всех сил угодить фру Сундлер.

Молодая жена чувствовала, что он был не очень-то рад появлению фру Сундлер как раз в тот момент, когда они впервые входили в свой дом, но, видно, припомнив все ее заслуги, тут же раскаялся в этом. Повторяя имя «Тея» чуть ли не через каждые два слова, он снова принялся рассказывать, сколь многим он ей обязан. Это она вбила крючки в коридорчике, чтобы им было на что повесить одежду. Подумать только, и об этом она позаботилась! Он открыл дверь направо и пригласил жену войти. Кабы она не знала точно, что в этой кухне ей придется хозяйничать и коротать время, так не поверила бы тому. Видно, он пригласил ее сюда, чтобы она смогла оценить все старания фру Сундлер по достоинству.

Кухня, занимавшая полдома, показалась ей намного больше, чем она того ожидала. Она была раза в три просторнее каморки на скотном дворе и в Иобсгордене. Стены пахли клеем и известкой — так всегда пахнет в необжитых местах, и, может быть, из-за этого запаха здесь было неуютно. Да и пусто как-то было. Она-то мечтала не о таком. Ей вспомнился большой дом в усадьбе Рисгорден — стенной шкаф, голубой с коричневым, высокие с розочками часы из Муры, кровать с пологом из домотканой материи. Ей бы тоже хотелось, чтобы у нее на стене между шкафом и кроватью висел святой Иосиф в богатой золотой карете, а над окном — дева Мария, кивающая ангелу в златых одеждах. Однако грех желать слишком многого. Надо довольствоваться тем, что имеешь.

Да и тут было немало всего, и все это раздобыла фру Сундлер — и стол со стульями у окна, и ушат для воды у двери, и ларь для дров возле печки. Послушать мужа, так можно вообразить, будто она первая на свете придумала, что в кухне нужны сковородки и котлы, мутовки и поварешки, кофейники и лоханки, ложки и ножи. И если даже не сама фру Сундлер отгородила один угол в кухне, приспособила его под кладовку и прибила полку к стене, все равно ей надо говорить за все это спасибо.

Как только Анна вошла в кухню, она сразу заметила узкий складной диванчик, стыдливо спрятавшийся в самый дальний угол. Деревянное сиденье было поднято и прислонено к стенке, а само ложе

застелено. Белье было чистое, накрахмаленное. Только вот узенький был диванчик, как гроб. Анна сразу заметила, что он не раздвигается, шире его не сделаешь. Втиснешься в него, так, верно, всю ночь будешь бояться, что поутру из него не вылезешь.

Этот диванчик заставил ее призадуматься. Она пыталась заставить себя слушать рассказ мужа о том, что для них сделала Тея. Она ходила по аукционам и скупала для них за бесценок домашнюю утварь и мебель. Но, во-первых, он уже рассказывал ей об этом по дороге в Корсчюрку, во-вторых, у нее никак не выходил из головы диванчик. Раз он был застелен, стало быть, одному из них придется на нем спать. Другого выбора тут не было.

Фру Сундлер угостила их не только кофе со сдобными сухариками, она подала им также хлеб с маслом и яйца. Анна Сверд не могла не признать, что все было вкусно, однако, слушая Карла-Артура, можно было подумать, что он ничего вкусного не едал с тех пор, как был в последний раз в гостях у фру Сундлер. Ленсманша славилась искусством стряпать, но муж, видно, позабыл все на свете, даже свою жену, лишь бы угодить фру Сундлер. Казалось, он в чем-то провинился перед ней и старался заслужить прощение.

Отведав яств, припасенных фру Сундлер, и расхвалив все донельзя, он поднялся из-за стола и прошел в другую комнату. Он чуть было не задел диванчик, и Анна Сверд подумала, не похвалит ли он и его, но о диванчике он почему-то не сказал ни слова.

Они прошли через коридорчик и вошли в горницу, не такую большую, как кухня, но все же довольно просторную. Когда молодая жена заглянула туда, ей захотелось бежать без оглядки, потому что это была настоящая господская комната. Если в кухне было пусто, то здесь было полно мебели: письменный стол, книжный шкаф, диван с низеньким столиком, бюро, кровать и еще много всего. Стало быть, эту мебель он и получил в наследство от тетки. Все вещи из темного блестящего дерева, стулья и диван обиты шелком. Все изукрашено бронзой, куда ни глянь — так и горит.

Стены в этой комнате были оклеены обоями, на окнах длинные занавески, в углу не плита какая-нибудь, а изразцовая печь. Над диваном — большое зеркало в золоченой раме, на потолке — люстра, на письменном столе — серебряные подсвечники. Прямо как в доме у Экенстедтов в Карлстаде.

В комнате, как и в кухне, стояла застеленная на ночь кровать, тоже односпальная, не бог весть какая широкая.

Да, теперь ей стало ясно одно: здесь будет жить он, здесь он будет работать и спать. Ее же место в кухне, там ей и спать положено. Он должен жить, как пристало барину, а ее будут держать в прислугах.

А муж все расхваливал Тею. Когда он поехал на свадьбу, изразцовая печь в этой комнате еще не была готова и мебель нельзя было расставить. Тея все привела в порядок за время его отсутствия. И подумать только, как красиво и уютно здесь стало! Разве можно представить себе, что находишься в бедном, стареньком домишке? Да, комнаты наряднее этой во всей деревне не найти.

Он пытался и жену заставить похвалить фру Сундлер, но она думала о своем и не сказала ни слова.

Карл-Артур и Тея так увлеклись, разглядывая ящики и полочки письменного стола, что не заметили, как Анна выскользнула из комнаты. Она вошла в кухню, взяла свечу с кухонного стола и вышла в коридорчик, чтобы отыскать свою шубейку и чепец. Она была совершенно спокойна. Она не возмущалась, как тогда, в свадебную ночь. Она и не думала что-нибудь над собой сделать, а просто решила пойти на квартиру к хозяевам, у которых жила прошлым летом, когда торговала в Корсчюрке, и попроситься у них переночевать. Ей нужно было что-то сделать, чтобы показать ему и его Тее, что она хочет быть в доме хозяйкой, а не прислугой.

Отыскивая свою одежду, она заметила, что в коридорчике есть еще одна дверь. Ключа в замке не было, но она не растерялась из-за такой малости — вынула ключ из кухонной двери, осторожно вставила его и отперла замок. Она попала не то в комнатушку, не то в чуланчик с одним узеньким окошком. Здесь было довольно тепло, хотя печки не было — стенка изразцовой печи из комнаты мужа выходила сюда в одном углу. Стены голые, побеленные, кое-где прибиты вешалки. Видно, это был чулан для одежды.

И тут, к своему превеликому изумлению, она увидела в глубине чулана настоящую парадную кровать. Нарядный красный полог, пышные пуховые перины, широкий кружевной подзор на простынях, одним словом — лучшего и желать нечего.

Молодая жена постояла молча, глядя на это чудо, потом сняла шубейку и чепец, вставила ключ на место и воротилась в кухню.

Сперва она посидела там одна, потом они, видно, спохватились, что ее нет, и поспешили пойти к ней.

— Куда же ты подевалась? — спросил Карл-Артур. — Устала с дороги? Может быть, хочешь прилечь?

— Я пробовала было лечь в кровать, что для меня постелена. Да боялась, что не улягусь в ней, — сказала она с досадой, хотя при этом засмеялась.

— Ну и как же, улеглась? — спросил Карл-Артур и тоже засмеялся.

— Поди-ка затолкай корову в телячье стойло. Что вдоль, что поперек не влезет. Может, и помещусь, коли на бок лягу. И то морока будет одеяло скидывать да на пол вставать, когда на другой бок повернуться захочу.

Говорила она это без злобы, и муж продолжал смеяться. Однако она не могла не заметить, что он был смущен и смеялся, чтобы скрыть свое замешательство.

— Тебе вот смешно. Нет чтобы обо мне позаботиться. Я, чай, трое суток в санях сидела, заколела вся, аж кости ломит.

Карл-Артур подошел к диванчику и взглянул на него.

— Ложись в постель, что в моей комнате! — сказал он. — А я попытаюсь устроиться в этом ларе.

— Еще чего выдумал! На то ты, что ли, женился, чтоб спать всю ночь на боку, свесив ноги? Нет уж, я на полу постелю. Мне не впервой, да и то боязно. Холодно ночью-то будет, как огонь в печи погаснет. Не помирать же мне теперь, когда я своим домом зажила.

Ее муж вовсе растерялся. Он бросил умоляющий взгляд на фру Сундлер, своего доброго друга, но та барабанила пальцами по столу и делала вид, что не хочет слушать, как муж с женой говорят о своем.

— Коли в зимнюю-то ночь на полу спать ложишься, так одну овчину надо подстелить, а другой укрыться. А у нас всего-навсего одна овчина, так, видать, придется мне, муженек, идти на деревню к хозяевам, у которых я прошлым летом стояла. Пускай приютят меня на ночь. Спроси-ка у фру Сундлер, не лучше ли так будет, ведь она для нас куда как хорошо все устроила.

Оба, муж и жена, повернулись к фру Сундлер, будто ждали ее совета, но она сидела молча и делала вид, что в такие дела вмешиваться не желает.

Анна Сверд протянула мужу руку.

— Ну, прощай покуда! — сказала она.

Карл-Артур слегка покраснел и бросил отнюдь не любезный взгляд на фру Сундлер.

— Нет, это уж слишком, — сказал он. — Тея, не поможешь ли ты нам что-нибудь придумать? Пожалуй, мне лучше лечь на диване в своей комнате. Я спал на нем прежде не раз, когда бывал в гостях у настоятеля. Анна же может спать в постели. Придется как-то примениться к обстоятельствам. Диванчик, который ты раздобыла для Анны, в самом деле никуда не годится. Сейчас перенесем белье.

Фру Сундлер беспокойно заерзала на стуле, когда Карл-Артур обратился к ней со столь резкой тирадой, но не сказала ни слова.

Зато Анна не медлила с ответом.

— Еще чего выдумал! — повторила она. — На дорогом шелку спать? А на диване, что в кухне, там и матраца-то нет, одна солома под простынями. Неужто ты ее потащишь в парадную горницу, которую фру Сундлер так для тебя изукрасила? Нет уж, лучше я пойду.

Она опять протянула ему руку, но он с досадой оттолкнул ее. Он был так растерян, что ей стало жаль его.

— Уж спасибо за доброту твою, за то, что позволил мне спать у тебя в комнате, — сказала она уже мягче. — Только сам знаешь, так дело не пойдет. Небось дома, в Медстубюн, и на постоянных дворах мне можно было спать с тобой в одной комнате. А здесь, в Корсчюрке, все знают, что я, мужичка, тебе, барину, не чета. Здесь мне надо спать на кухне, как прислуге.

— Полно, Анна! — воскликнул он и еще раз оттолкнул руку, которую она ему протянула. Больше он ничего не нашелся сказать. Ей очень хотелось посмотреть, станет ли он ее удерживать, однако она боялась доводить его до крайности. Сейчас ей уже не было досадно, она знала, что козыри у нее на руках. Напротив, она даже еле удерживалась от смеха.

Она подошла к фру Сундлер.

— Не чудно ли выходит: я уйду, а ты остаешься? Ведь в этой большой деревне от людей ничего не скроешь. Будет тебе комедь-то ломать.

Тут только фру Сундлер подала признаки жизни.

— О чем вы говорите, фру Экенстедт? — сказала она.

— Сказывал мне дядя мой, что люди у вас на юге горазды шутки шутить, да не думала я никогда, что так скоро сама это увижу, — ответила Анна. — Ты вот стоишь и слушаешь, как мы с мужем ссоримся и бранимся оттого, что мне спать негде, а сама знаешь, что в доме есть кровать с пологом, с подушками и перинами, такая, что лучше и не сыскать. Вот ты какую шутку с нами сшутила.

Карл-Артур от удивления широко раскрыл глаза и повернулся к фру Сундлер, ожидая от нее объяснений. Но она и тут нашлась.

— Я просто не знала как быть. Вчера вечером привезли кровать — свадебный подарок из пасторской усадьбы. Я думала, что пасторша сама захочет вам ее преподнести, и потому сочла нужным запереть ее. Но раз фру Экенстедт уже видела...

Анна Сверд проснулась среди ночи с чувством, что она позабыла сделать что-то очень важное. Так оно и есть: она вспомнила, что они с мужем забыли испросить Господа ниспослать благословение их дому.

«Да простит нас Господь, — подумала она. — Это все фру Сундлер виновата». Она повернулась на другой бок и снова заснула.

## УТРО ПАСТОРШИ

На следующее утро Анна Сверд проснулась, как только стало светать. Однако встала она не сразу, а сперва повела сама с собой разговор.

— Гляди-ка ты, новая пасторша лежит себе и дожидается, когда нарядная горничная принесет ей кофею со свежей булкой, — пробормотала она и засмеялась. Настроение у нее было самое хорошее, утреннее.

Она еще немного полежала в постели, несколько раз приподнималась и глядела на дверь.

— Что же это в кухне никто и не шевелится, а уже, поди, шесть часов. Ничего не поделаешь, видно придется самой вставать да за дело приниматься.

Муж еще спал, и молодая жена оделась тихонько, чтобы не будить его. Потом она в чулках прошмыгнула через коридорчик в кухню и там надела башмаки.

Тут она огляделась по сторонам, широко раскрыв глаза от удивления.



— Уж я всякого насмотрелась на своем веку — и худого и хорошего, — сказала она, — но такого еще не видывала. И кухарка проспала и горничная. А уж в первое-то утро им всяко бы надо постараться. Ну и лентяйки же они, видать, — ни полена дров на кухне, ни капли воды. И огонь в печи погас, а это того хуже. Чтоб мне пусто было, когда это не фру Сундлер наняла прислугу: ведь это она хозяйничала в доме, а от нее ничего путного не жди.

Долго она причитала, и вдруг ее осенило, она хлопнула себя по лбу.

— Вот дурная-то голова! Драть меня надо, да и только! — воскликнула она. — Как это я сразу не догадалась — ведь они, поди, в хлеву коров доят.

Она прошла через коридорчик, ступила на шаткие камешки и поглядела вокруг.

— Вот тебе и на! — сказала она, меряя взглядом низкий плетень, дровяной сарай, погреб и колодец. Ничего больше во дворе не было.

«Охота мне знать, что скажет новая пасторша, как поглядит на все эти пристройки. Нелегко будет пастору с пасторшей закупить столько коров, хлев-то больно велик».

Она прошла по двору, потом снова остановилась и протерла глаза.

— Поди, догадайся, где тут у них людская, — пробормотала она. В дровяном ларе ни щепочки. Работник, верно, на конюшне лошадей чистит. Вот то-то и оно. Хорошо еще, что Анна Сверд сюда приехала, а то новая пасторша вовсе бы растерялась.

Минуту спустя она очутилась в сарае, взяла с чурбана топор и принялась ловко и умело колоть дрова. Сперва дело пошло на лад, но потом топор застрял в чурбане, и ей пришлось изрядно подергать его и постучать, покуда она его вытащила.

В то время как она возилась с чурбаном, у сарая послышались шаги, и в открытых дверях показался долговязый мальчишка.

«И чего ему тут надобно? — подумала Анна. — Теперь вся деревня станет говорить, что новой пасторше самой колоть дрова приходится. Где ему понять, что это не новая пасторша дрова колет, а всего лишь Анна Сверд».

Когда она вытащила топор и снова взмахнула им, мальчонка подошел к ней.

— Давайте я наколю вам.

Она быстро глянула на него и увидела, что он худой и желтый лицом, и покачала головой.

— Еще чего! — сказала она. — Да тебе, поди, и десяти нет.

— Четырнадцать, — сказал мальчик. — Уж который год дрова рублю. И нынче утром дома нарубил.

Он показал на домишко, стоявший рядом. Из трубы дома поднимался столбик дыма.

Предложение было заманчивое, но Анна Сверд, как всегда, была осмотрительна.

— Ты, поди, плату запросишь?

— Да, — ответил мальчонка, ухмыляясь и показывая зубы. — Добрую плату запрошу. Только наперед не скажу какую.

— Сама нарублю, коли так.

И она снова принялась лихо колоть дрова, однако вскоре снова вышла незадача — топор опять застрял.

— Да я не денег прошу, — сказал мальчик.

Она еще раз взглянула на него. Плотно сжатый рот, маленькие, прищуренные глаза. Он казался старичком, хитрым, но никак не злым. И вдруг она догадалась, что он — один из десяти ребятишек, которых опекает ее муж. «Да он все равно что свой, — подумала она, — поладим с платой-то».

— Ну, давай, коли, — сказала она. — После придешь ко мне, хлеба дам с маслом.

— Спасибо, — ответил мальчонка, — у нас в доме еды вдосталь, самим не съесть.

— Поди ж ты, какую же плату положить такому молодцу?

Мальчонка уже взял в руки топор, теперь ему нечего было утаивать.

— А короб у вас при себе? Пришли бы к нам да показали мне да сестренкам моим и братишкам, что у вас там есть.

— Да ты никак спятил! Неужто ты думаешь, что жена пастора станет с коробом ходить?

Тут она услышала шаги за спиной. К ним подошла девочка. У нее было тоже изжелта-бледное озабоченное лицо. Нетрудно было догадаться, что они брат и сестра» Девочка быстро подошла ближе к брату.

— Что она сказала? Даст нам в короб заглянуть?

Это был настоящий сговор. В лачугу бедняка Матсаторпаря коробейница никогда не заглядывала, потому-то им и не терпелось поглядеть на диковинки, какие она предлагала в других дворах.

— Она говорит, что ей нельзя теперь с коробом ходить, раз она за пастора вышла.

Девочка, казалось, была готова заплакать.

— Я вам воду буду носить и молоко, — уговаривала она. — И печь топить стану.

Анна Сверд призадумалась. Короб был у нее с собой, да в нем лежала только ее одежда. Надо было что-то придумать, чтобы угодить ребятишкам, без того нельзя — соседи как-никак.

— Так и быть, — сказала она. — Правда, новой пасторше не пристало с коробом по дорогам ходить. Но коли вы нарубите дров и в кухню принесете, да огоньку из дому прихватите, так Анна Сверд придет к вам с коробом, уж это я устрою.

И в самом деле, в одиннадцать часов утра к дому Матса-торпаря подошла молодая, красивая далекарлийская крестьянка с большим черным кожаным заплечным мешком. Она остановилась у дверей, поклонилась и спросила, не желает ли кто купить у нее что-нибудь.

В тот же миг десять ребятишек окружили ее. Двое старшеньких узнали ее и, прыгая от радости, пытались рассказать меньшим, кто она такая. Старая дева, что ходила за ребятишками, сидела на лавке у окна и прядла шерсть. Когда коробейница вошла, она взглянула на нее и сказала, что здесь живут только бедные ребятишки и покупать им не на что. Но коробейница подмигнула ей, и та замолчала.

— Эти ребятишки сами просили меня прийти к ним, сказывали — денег у них уйма, есть на что обнови купить, — сказала далекарлийка.

Она подошла к столу, повернулась к нему спиной, поставила мешок на стол и спустила ремни с плеч. Потом она подошла к няньке и взяла ее за руку.

— Неужто не узнаете Анну Сверд? Прошлым летом вы купили у меня гребень и наперсток. Никак запомнили?

Старуха поднялась, заморгала глазами и отвесила поклон чуть ли не в пояс, словно самой пасторше Форсиус кланялась.

Коробейница подошла к мешку и принялась развязывать ремни да тесемки. Ребятишки сгрудились вокруг, затаив дыхание. Но тут-то

ждало их большое разочарование — мешок был набит не товарами, а соломой.

Бедная коробейница всплеснула руками, она удивилась больше всех и стала причитать. Она ведь не открывала мешок со вчерашнего вечера, и, видно, кто-то ухитрился украсть у нее ночью все ее красивые шелковые платки, пуговицы, ленты и ситец и напихал соломы в мешок. То-то он ей показался легким, когда утром она надела его. Но кто бы мог подумать такое, ведь люди, у которых она жила, показались ей честными и степенными.

Ребятишки стояли опечаленные и разочарованные, а коробейница все причитала. Надо же быть таким злодеем — забрать добрый товар и напихать дрянной соломы в мешок!

Она принялась ворошить солому и кидать ее на пол, чтобы поглядеть, не осталось ли чего из товаров.

И в самом деле, она нашла шелковый платочек, шерстяной шейный платок и шкатулочку, в которой лежала дюжина булавок с цветными стеклянными головками.

И досадно же ей было, что больше ничего не осталось. Она сказала, что раз все остальное пропало, так и этого жалеть нечего. Если старшенькая хочет взять шелковый платочек, пусть носит на здоровье, а мальчик пусть возьмет шейный платок. Меньших она оделила булавками, а старухе поднесла шкатулочку, в которой лежали булавки, мол, ей-то самой она ни к чему.

То-то радости было в доме!

## **ВИДЕНИЕ В ЦЕРКВИ**

Анна Сверд вошла в кухню, распевая старинную пастушью песню, но тут же песня оборвалась. Пока она была у соседей, к ней в гости пожаловала фру Сундлер. Она сидела на узеньком диванчике и ждала. Сказать, что Анна обрадовалась ей, было бы большим преувеличением — отнюдь не из-за маленькой ссоры, которая разыгралась накануне вечером, просто у молодой пасторши было много хлопот в этот день. Только что пришла подвода с ее одеждой, с незатейливыми свадебными подарками соседей и друзей из Медстубюн, с ее прялкой и кроснами. Она еще не успела все распаковать и разложить по местам.

К тому же, как на грех, нельзя было попросить мужа занять гостью. Сразу после завтрака Карл-Артур отправился в пасторскую усадьбу — дел накопилось много, — и не велел ждать его ранее двух часов.

Трудно сказать, почему Анна, увидев фру Сундлер, вдруг сделалась грубой и неотесанной и в разговоре и в манерах. Все, чему она обучилась за эти четыре месяца в усадьбе ленсмана, а научилась она многому, сразу было забыто. Может быть, молодая жена инстинктивно чувствовала, что здесь тонкое обхождение не поможет. Весьма возможно, что ей казалось забавным заставлять гостью думать, будто она очень глупа, неопытна, одним словом — не умеет ни ступить, ни молвить.

Фру Сундлер радостно пошла ей навстречу. В это утро, когда она сидела дома, ей пришло в голову, что у фру Экенстедт столько хлопот в новом доме, и для нее, верно, обременительно стряпать мужу обед. А в доме органиста будут рады, прямо-таки ужасно рады, угостить Карла-Артура обедом. Да он может запросто всякий день приходить обедать к ним, покуда в его собственном доме все не будет приведено в порядок и фру Экенстедт не запасется провизией у крестьян. Кстати, она с превеликим удовольствием поможет в этом фру Экенстедт. Может быть, фру Экенстедт согласится, чтобы Карл-Артур отобедал у них уже сегодня?

Пока фру Сундлер произносила эту тираду, молодая пасторша принялась распаковывать штуку холста — свадебный подарок Рис Карин. Когда ей попался упрямый узелок, она попросту разгрызла его зубами. Фру Сундлер при этом прямо-таки всю передернуло, но она воздержалась от какого-либо замечания.

— Ведь это только на первый случай, покуда вы еще не устроились, — поспешила она подчеркнуть еще раз.

Молодая жена глянула на фру Сундлер, отложила холст, подошла к ней и встала, широко расставив ноги и подбоченясь:

— Ладно, я скажу ему, что ты ждешь его.

Фру Сундлер поспешила изъявить свою радость, оттого что ее добрые намерения поняты правильно. Анна Сверд, стоя перед нею все в той же позе, продолжала:

— А еще скажу ему, что раз моя стряпня ему не по вкусу, так, видно, мне не худо будет опять взять короб да убираться отсюда

подобру-поздорову.

Фру Сундлер выставила вперед руки, будто защищаясь. Казалось, она испугалась, что Анна ударит ее.

— Видно, не годится господам правду напрямик выкладывать, — сказала Анна Сверд.

Но опасения ее были напрасны. Фру Сундлер тут же успокоилась и принялась извиняться и оправдываться.

— Что вы, что вы, дорогая фру Экенстедт! Без сомнения, все, что вы стряпаете, очень нравится Карлу-Артуру. Я ведь предложила от всей души. Не будем более говорить об этом.

В комнате наступило молчание. Анна принялась мерить холст, но не аршином, а левой рукой, ясно давая понять фру Сундлер, что ей недосуг с ней заниматься.

— Видите ли, дорогая фру Экенстедт, — начала фру Сундлер вкрадчиво, — я полагала, что мы с вами будем добрыми друзьями. Я так хотела этого. Боюсь, вы думаете, что, по моему мнению, я занимаю более высокое положение в глазах людей. Но вы заблуждаетесь. Родители мои были очень бедны. Матушка трудилась с утра до ночи, а что до меня, так мне пришлось бы жить в горничных, кабы не барон Левеншельд из Хедебю. Благодаря ему я смогла поучиться немного и стать гувернанткой. Матушка была в экономках у его родителей пятнадцать лет и однажды оказала ему большую услугу. Вот он и хотел отплатить ей. Карл-Артур — племянник барона, моего благодетеля. Матушка всегда говорила, что я должна стараться чем могу услужить Левеншельдам, а Карл-Артур и его жена — для меня одно целое.

— Двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать! — бормотала Анна.

Тут она перестала считать, чтобы заметить фру Сундлер:

— Кабы ты в самом деле думала, что мы с ним — одно, так и меня бы позвала на обед.

Фру Сундлер возвела глаза к потолку, будто там было нечто, что могло засвидетельствовать, как она добра и чиста.

— Нелегко, однако, с вами, фру Экенстедт, — сказала она шутливо-жалобным тоном. — Вы все истолковываете к худшему. Поверьте, фру Экенстедт, я не хотела вас обидеть, хотя вышло не совсем ладно. Видите ли, дело в том, что сегодня суббота, и у нас в доме скромный обед: тушенная морковь, селедка и пивная похлебка.

[112] А Карл-Артур не будет на нас в обиде. Он у нас свой человек — приходит и уходит, когда ему вздумается. Но не могу же я потчевать его жену столь скудным обедом, когда она у нас в доме первый раз.

Она смотрела на нее испуганно, умоляюще, и Анна Сверд подумала, что она скользкая, как змея: все равно ускользнет, как ни попытайся схватить ее.

— Признаться, нелегко мне говорить об этом, — вздохнула фру Сундлер, — но вам следовало бы узнать кое-что. Покуда вы не узнаете правды, у нас не смогут быть добрые отношения. И в то же время мне претит рассказывать вам об этом. Ах, как бы я желала, чтобы Карл-Артур сам поведал вам о столь неприятных вещах. Но он, видно, не сделал этого.

Анна Сверд уже измерила холст один раз и принялась мерить снова. Ей помешали, и она не была уверена, что сосчитала верно. Чтобы не сбиться со счета, она не удостоивала фру Сундлер ответом, но последнюю это нимало не смутило.

— Вероятно, вам, фру Экенстедт, не нравится, что я таким образом вмешиваюсь в ваши дела, но я не могу оставить этого, поскольку почитаю это своим долгом. Ах, если бы фру Экенстедт могла отнестись ко мне с доверием! Не знаю, рассказывал ли вам Карл-Артур о своей матушке, о том, какая нежная любовь была меж ними прежде. Но вам, фру Экенстедт, я полагаю, известно, что милая тетушка Экенстедт была противницей вашего брака. Вскоре после похорон супруги настоятеля Шеборга у Карла-Артура с матушкой вышел о том пренеприятнейший разговор. Карл-Артур, может статься, немного погорячился, а тетушка Экенстедт была очень слаба, и дело кончилось тем, что с ней случился удар. И теперь вы понимаете, фру Экенстедт, он винит себя в этом несчастье. Мне даже кажется, что одно время он имел намерение расторгнуть помолвку с вами, чтобы угодить матушке, но потом узнал, что это ничему бы не послужило. Ведь милой тетушке Экенстедт теперь полегчало, она почти здорова, однако потеряла память совершенно. Что бы ни сделал Карл-Артур для ее спокойствия, это ничему бы не послужило. Сделанного не воротишь.

С того момента, когда фру Сундлер сказала, что с полковницей Экенстедт приключился удар по вине Карла-Артура, ей не приходилось жаловаться на отсутствие внимания к ее речам. Рулон

ткани упал на пол и остался там лежать. Анна молча уселась напротив фру Сундлер и уставилась на нее.

— Вот этого-то я и боялась, — сказала фру Сундлер. — Вы не знаете, фру Экенстедт, как тяжело на душе у Карла-Артура. Разумеется, он изо всех сил старается щадить вас. Быть может, и мне следовало молчать. Только что вы казались такой счастливой. Может быть, вам и не надобно было о том знать.

Анна Сверд покачала головой.

— Раз уж ты напугала меня изрядно, так давай выкладывай разом все беды, что у тебя за пазухой.

Фру Сундлер каждый раз передергивало, когда Анна говорила ей «ты». Все же она была теперь пасторшей, и ей не следовало позволять себе подобную вольность, хотя это и было принято в ее родных краях. Карлу-Артуру следовало бы отучить ее от этого бесцеремонного тыканья. Но сейчас было не время об этом думать.

— С чего же мне начать? Так вот, во-первых, я должна сказать, что однажды в воскресенье — это было в сентябре, всего лишь месяц спустя после того, как случилось несчастье, Карл-Артур увидел свою мать в церкви. Она сидела на скамье под хорами, где не так уж светло, однако он узнал ее. На ней, как всегда, был капор с лентами, которые она обыкновенно завязывала под подбородком. Чтобы лучше слышать его, она развязала ленты и откинула их в стороны. Именно такой он видел ее много раз в карлстадской церкви и потому был твердо уверен, что это она. Полковница сидела, слегка склонив голову набок и откинувшись назад, чтобы лучше видеть его; ему казалось даже, что он видит на лице ее выражение радости и ожидания, с каким дорогая тетушка Экенстедт всегда смотрела на него во время проповеди. Он не мог не подивиться тому, что у нее достало сил совершить столь длинное путешествие после тяжелого удара, но он ни на минуту не усомнился в том, что это была она. И верите ли, фру Экенстедт, он так обрадовался, что через силу продолжал проповедь. «Матушка поправилась, — думал он. — Она приехала, потому что знает, как мне тяжело. Теперь все снова будет хорошо». И он сказал себе, что должен нынче говорить вдвое лучше обычного. Однако нечего удивляться, что это ему не удалось. Он не осмеливался взглянуть на мать, чтобы не сбиться, но не мог ни на миг забыть, что она здесь, в церкви, и проповедь получилась у него короткой и нескладной. Когда он наконец



закончил проповедь и спустился с кафедры, то бросил взгляд в сторону матушки, но не увидел ее. Это его ничуть не обеспокоило, он решил, что дорогая тетушка просто-напросто устала слушать и вышла, чтобы подождать его на пригорке возле церкви. Извините меня, фру Экенстедт, за такой обстоятельный рассказ, но я просто хочу, чтоб вы поняли, как твердо Карл-Артур был уверен в том, что видел свою матушку. Он был так убежден в этом, что, не найдя ее возле церкви, начал расспрашивать прихожан, куда подевалась полковница. Никто ее не видел, однако он и тут не огорчился, а подумал, что она, не дождавшись его, поехала в пасторскую усадьбу. И только когда и там ее не оказалось, он начал думать, что все это ему привиделось. Он был весьма опечален и все же не нашел в том ничего удивительного.

Анна Сверд до тех пор сидела неподвижно, уставясь в лицо фру Сундлер. Но тут она прервала рассказчицу:

— Неужто померла полковница?

Фру Сундлер покачала головой.

— Я понимаю, что вы имеете в виду, — сказала она. — Я вернусь к этому позднее. Во-первых, я должна сказать вам, что Карл-Артур и семья пастора очень дружны. Однако не всегда так было. Видите ли, фру Экенстедт, прошлым летом, до того как приключилось несчастье с его матушкой, проповеди Карла-Артура были необычайно красноречивы и удивительно проникновенны. Он прямо чудеса творил. Прихожане боготворили его. Они были готовы отказаться от всего имущества на нашей грешной земле, чтобы обрести обитель на небесах. Но пастор с пасторшей не одобряли этого. Они ведь весьма преклонного возраста, а как вы сами знаете, фру Экенстедт, старики хотят, чтобы все шло по старинке. Но после несчастья с матерью Карл-Артур испугался. Он не смел более доверяться своему вдохновению и обратился к пастору за советом. Он проповедовал по-прежнему красноречиво, но стал весьма осторожен. Былой огонь погас. О великом радении, которое он задумал, более и не поминали. Многие скорбели об этом, а старики в пасторской усадьбе тому порадовались. Карл-Артур стал им словно сын родной. Я слышала, как пасторша говорила, что им бы не перенести разлуки с фру Шагерстрем, которая много лет жила в пасторской усадьбе, если бы не Карл-Артур. Они привязались к нему, и он заполнил эту пустоту. Однако вопрос в том, фру Экенстедт, пошло ли это на пользу Карлу-Артуру. Что до меня, так

я рада тому, что он вышел из-под влияния пасторской семьи, обзавелся женой и собственным домом. Поверьте, я говорю это не для того, чтобы подольститься к вам, а лишь для того, чтобы вы поняли, какие надежды возлагают на вас истинные друзья Карла-Артура.

По правде говоря, нелегко было молодой жене понять все это. Брови ее были нахмурены — казалось, было видно, как напряженно работает ее мозг. Видно, она изо всех сил старалась понять собеседницу, но это стоило ей огромного напряжения.

— Чего ж ты не говоришь, кого это он в церкви-то тогда увидал?

— Да, да, вы правы, фру Экенстедт, — сказала фру Сундлер. — Мне не следовало бы увлекаться рассказом о семействе пастора. Довольно того, что вы знаете, что они любят Карла-Артура и желают ему добра. И все же он не рассказал своим добрым друзьям, что ему в церкви привиделась матушка. Не хотелось ему говорить об этом. Видите ли, фру Экенстедт, может статься, он молчал потому, что у него теплилась надежда на то, что она остановилась у нас, то есть у меня. Это может показаться нелепым, но ведь дорогая тетушка Экенстедт такова, что никогда не знаешь, что ей взбредет в голову. Потому-то он днем отправился к нам, но, разумеется, и тут ее не нашел. Должна вам сказать, фру Экенстедт, что мы с мужем ужасно обрадовались приходу Карла-Артура. Ах, ведь у пасторов вечно такая уйма дел по осени: то они по домам ходят — списки составляют, то по Закону Божьему экзаменуют — и мы не видели его несколько недель. Мне кажется, что и ему было приятно побыть у нас. По крайней мере он остался в нашем доме до самого вечера. Муж мой был все время с нами, мы развлекались самым невинным образом — играли, пели, читали стихи. Я полагаю, не будет дурного, если я скажу, что в доме у пастора в этом ничего не смыслят, и мне кажется, это возместило ему то, что он не нашел у нас матушки. После ужина завязался откровенный разговор о таинственных явлениях потустороннего мира — я надеюсь, фру Экенстедт, вы понимаете, о чем я говорю, — и тут-то Карл-Артур рассказал, что в тот же самый день ему в церкви привиделась дорогая тетушка Экенстедт. Мы долго сидели и гадали, что бы это могло означать, и он ушел от нас не ранее полуночи. С понедельника он снова принялся ходить по домам, и хотя ему и было так хорошо у нас, я не видела его после того целую неделю. Может статься, он считал,

что ему надо было посидеть со стариками, когда выдавался свободный вечер. На свете нет человека деликатнее Карла-Артура.

Анна Сверд еще больше нахмурила брови, она, казалось, была в замешательстве, однако не стала прерывать рассказчицу.

— Да, как я уже сказала, я не видела его целую неделю и ни разу не подумала об этой истории с его матушкой. В воскресенье я столкнулась с ним по дороге в церковь и сказала в шутку, дескать, надеюсь, что дорогая тетушка Экенстедт не явится ему и в это воскресенье и не помешает читать проповедь. И поверьте, фру Экенстедт, что у меня было такое чувство, будто ему не понравились мои слова. Он коротко ответил мне, что, видно, какая-то проезжая дама, похожая на его мать, зашла на минутку в церковь — только и всего.

Не успела я ему ответить, как к нам подошли другие прихожане, и разговор пошел о разных обыденных делах. Во время службы я была в ужасном беспокойстве из-за того, что сказала глупость. Я пыталась успокоиться, говорила себе, что Карл-Артур не станет принимать шутку всерьез. И вы можете представить себе, фру Экенстедт, как я испугалась, когда Карл-Артур во время проповеди вдруг замолчал и уставился куда-то на хоры. Через секунду он снова начал говорить, но теперь он говорил как-то рассеянно и бессвязно. Он начал развивать очень интересную мысль, но потерял нить. Не могу описать вам, как мне стало страшно. Он пришел ко мне после обеда совершенно удрученный и сказал напрямик, что из-за моих слов он опять увидел матушку. Он никак не думал на прошлой неделе, что это с ним повторится. Конечно, о таких вещах трудно знать что-либо определенное, однако слова его показались мне несправедливыми. Может быть, и в первый раз он увидел ее по моей вине? Я ведь до того не видела его несколько недель.

Анна Сверд сидела молча и скребла ногтем передник. То вверх проведет вдоль полоски, то вниз. Но тут она вставила:

— Да как же он мог поверить, что это полковница ему явилась, раз она еще не померла?

— Именно это я и сказала ему. Я уверила его, что он ошибся, что дорогая тетушка Экенстедт, как нам известно, жива и здорова и не могла ему явиться. Но он настаивал, что это была матушка, и никто иной. Он узнал ее, она сидела там и кивала ему головой. Вы, верно,

понимаете, фру Экенстедт, что он был в полном отчаянии. Он сказал, что если и далее так будет продолжаться, ему придется отрешиться от сана, ибо каждый раз, когда он видит ее, ему становится страшно и он в замешательстве не помнит, что говорит. Он считал, что матушка является ему из мести. Он вспомнил, как его бывшая невеста сказала ему, что он никогда более не сможет хорошо читать проповеди, покуда не помирится с матушкой. И, видно, пророчество это теперь исполняется.

Надо сказать, что молодая жена слушала этот рассказ с величайшим вниманием. Неглупая от природы, она сперва не верила этому, боялась, что ее хотят обмануть, заставить ее поверить тому, чего не было. Но фру Сундлер все рассказывала и рассказывала, она словно усыпила Анну. Не то чтобы ей захотелось спать, просто она стала менее подозрительной, менее обидчивой.

«Видно, правда это, — сказала она себе. — Не может же она такое выдумать».

— Да, фру Экенстедт, — сказала фру Сундлер, — что я могу на это сказать, что могу посоветовать? Я совершенно уверена в том, что это всего лишь плод его воображения или обман чувств. Ничего другого и быть не может. Как могла тетушка Экенстедт появиться в церкви, и прежде всего: как он мог поверить тому, что его матушка явилась, чтобы причинить ему вред? И таким манером я сумела его немного успокоить. К счастью, мой муж совершал в это время прогулку, и мы успели потолковать о таком сложном и деликатном вопросе до его возвращения. Когда Сундлер вернулся, Карл-Артур послушал прекрасную музыку, а это всегда действует на него благоприятно. Не забудьте об этом, фру Экенстедт. На следующей неделе он несколько раз заходил ко мне — ему все хотелось, чтобы я уверила его в том, что видение в церкви не что иное, как плод его воображения. Я думала, что он уверился в этом, когда мы расстались утром в воскресенье, но я ошиблась, потому что в то утро он увидел свою матушку в третий раз. И тут, фру Экенстедт, я начала не на шутку волноваться. Люди стали говорить, что Карл-Артур проповедует теперь куда хуже, нежели прошлым летом. Винили его не только за то, что он был уж слишком осторожным, но и за то, что проповеди его стали сумбурными и пустословными. Ах, фру Экенстедт, это было ужасное время. Подумайте, какое несчастье для такого талантливого

оратора! Желающих послушать его стало гораздо меньше, чем прошлым летом, и он сам мучился от перемены, происшедшей с ним. Как человек образованный и просвещенный, он никак не мог поверить, что в этом замешаны сверхъестественные силы, но, с другой стороны, он не мог не верить тому, что видел собственными глазами. Он начал было опасаться, что теряет рассудок.

Фру Сундлер говорила с большим чувством. На глазах у нее показались слезы. Она была, без сомнения, глубоко опечалена. Анна Сверд слушала ее все внимательнее и внимательнее. Слова опутывали ее тонкими, невидимыми сетями. Теперь она уже смотрела на это дело глазами рассказчицы. Теперь она уже не могла противиться ей и быть неучливой, как в начале их разговора. Нет, теперь что-то удерживало ее.

— А что ж это было, по-твоему?

— Скажу вам истинную правду, фру Экенстедт: я сама не знаю. Быть может, это произошло от угрызений совести, а быть может, мысли матери каким-то образом вызвали это наваждение. Но для него это так унижительно, так ужасно. Он не в силах ничего с собой поделаться. Он столько раз просил Господа избавить его от этого видения, но оно является ему вновь. Он видел свою матушку и в четвертое воскресенье.

Молодая жена не на шутку перепугалась. Ей казалось, что она сама сейчас увидит полковницу в темном углу комнаты.

— После обеда он пришел ко мне, — продолжала фру Сундлер, — и сказал, что собирается написать епископу и отказаться от сана. Он не мог более позориться перед прихожанами, как было четыре воскресенья сряду. Я хорошо понимала его чувства, и все-таки мне удалось тогда предостеречь его от этого шага. Я дала ему совет сочинять проповеди, как прежде, а не полагаться на свое вдохновение, что он делал в последнее время. И он послушался моего совета. С тех пор он ни разу не говорил проповеди без подготовки. Но вы не поверите, фру Экенстедт, как много его проповеди от этого потеряли. Просто трудно поверить, что их читает Карл-Артур. И все же это помогло, видение перестало ему являться, может быть оттого, что он стал чувствовать себя спокойнее. Я просто ума не приложу...

Тут Анна Сверд спросила:

— А что же, по-твоему, это так и будет ему все время видеться?

— Я как раз и хочу, чтобы вы помогли ему в этом. В прошлое Рождество Карл-Артур зашел ко мне и рассказал, что ему досталось небольшое наследство от тетки, пасторши Шеборг. Она умерла прошлой осенью, когда вы, фру Экенстедт, были в Карлстаде. Он получил всего лишь тысячу риксдалеров да мебели на одну комнату, однако решил, что ему этого хватит на жизнь, и вздумал решительно отказаться от сана. Но я, услышав о наследстве, посоветовала ему поступить, как он прежде желал, — вести жизнь простого труженика. И еще я дала ему совет соединиться со своей богоданной невестой, раз такой случай вышел. Видите ли, фру Экенстедт, я полагала, что ему должно свершить нечто большое, поучительное, чтобы избавиться от угрызений совести. Он должен был стать примером для всех нас. Должен был указать нам путь к добродетельной и праведной жизни. Свершить нечто удивительное, дабы царство божье наступило уже в этой жизни, и тогда Господь, может быть, смилостивился бы над ним, избавил бы его от этих видений, которые грозили погубить его.

Сперва он слушал меня недоверчиво, но скоро сам увлекся этой мыслью не меньше моего. Помнится, он в тот же вечер пошел к Бергу, старому солдату, и попросил продать ему дом. И с той поры мысль о том, что он станет жить по Христову завету, придавала ему силы. Он много раз говорил мне, что как только вы поженитесь, как только он переедет в свой небогатый дом, он снова сможет читать проповеди свободно. Он был уверен, что тогда видение перестанет преследовать его. Но, дорогая фру Экенстедт, я должна вам сказать нечто, мне нелегко это объяснить, но, быть может, вы и сами понимаете, что Карла-Артура нельзя вовлекать в наши земные дела. Я знаю, как счастлив он был при мысли о том, что будет жить с вами здесь, в этом маленьком домике. Для него вы — ангел-хранитель, который оградит его от всяческого зла. Он горько скорбел о том, что не мог написать вам обо всем этом — ведь письмо должен был прочесть вам чужой человек. Лишь мне одной он мог довериться, рассказать, какие нежные чувства наполняют его грудь при мысли о молодой невесте с далекого севера, которая будет идти с ним рука об руку и помогать ему наставлять людей на путь истинный.

Голос фру Сундлер звучал таинственно и властно, и Анна Сверд сидела молча, как зачарованная.

— Да, фру Экенстедт, — снова начала фру Сундлер, — когда Карл-Артур отправился в Медстубюн, он принял твердое решение, что вы будете соединены священными узами, как брат и сестра. Он боялся, что если обыденное, земное счастье войдет в вашу жизнь, видение вернется к нему. Вы можете понять это, фру Экенстедт? Можете ли вы понять, что ваш муж не обыкновенный земной человек, а один из избранников божьих? И сможете ли вы понять теперь меня и мои поступки? Ведь я не знала, что Карл-Артур переменял свои намерения. Я устроила все в этих комнатах, как он велел.

Голос рассказчицы уже больше не был вкрадчивым и заискивающим. Теперь он звучал властно, будто она обвиняла ее. Анна подумала о свадебной ночи, и ее на самом деле стали мучить угрызения совести.

— Откуда мне знать про все это. Мне сказывали только, что он бедный.

— Это тоже правда, дорогая фру Экенстедт. Но главное-то здесь в другом: Карл-Артур так мало знал вас! Быть может, ему не представилось случая поговорить с вами по душам в чужом доме. Потому-то он и решил сказать вам, что виной всему бедность. Я-то хорошо это понимаю. Но теперь, я думаю, фру Экенстедт будет смотреть на это по-иному и поймет, как важно спасти Карла-Артура. Видение не должно являться ему снова.

Молодая жена была так опутана и обвита тонкими, мягкими силками, что готова была сделать все, что хотела фру Сундлер. Она уже открыла было рот, чтобы дать обещание, которое та требовала от нее.

— А уж коли за мной дело, так я обещаю...

Но тут она смолкла.

Фру Сундлер поспешно поднялась и подошла к окну. Ее некрасивое лицо вдруг озарилось таким сиянием счастья, что в это мгновение оно казалось почти прекрасным.

Анна Сверд тоже поднялась, чтобы посмотреть, кого же фру Сундлер увидела в окне. То был Карл-Артур.

И вдруг ей пришло в голову, что, быть может, вовсе не господу Богу, а фру Сундлер было угодно, чтобы она дала это обещание, и она так и не дала его.

## ВОСКРЕСНАЯ ШЛЯПКА

### I

Да кто она такая, чтобы думать, будто она умнее Карла-Артура, такого ученого человека? Ведь сама она и грамоте-то не понимает, целую осень была в учении у пономаря Медберга, а даже не выучилась писать: «Кто рано встает, тому Бог дает».

Кто она такая, чтобы осмелиться говорить, будто ничего худого с Карлом-Артуром не приключилось? Дескать, и совесть тут ни при чем, и вовсе это не наказание за грехи, а так, пустое.

Видно, покуда она сидела и слушала фру Сундлер, та околдовала своими речами и вовсе с толку сбила, а как только ушла гостья, тут-то она уразумела все как есть.

Да куда уж там! Где ей, темной деревенщине, про то судить, она и слова мужу не сказала про свои домыслы. Чего там говорить! Как на то осмелиться бедной коробейнице!

После полудня Карл-Артур пошел к себе обдумать проповедь, которую он собирался говорить в церкви на другой день, и она осталась одна. Тут она достала из кладовки, в которой благодаря Тее Сундлер было полно всякой всячины, корзинку с крышкой для вязанья, выбрала несколько старых брыжей мужа и отправилась к дому органиста.

Фру Сундлер она тоже не сказала про свои догадки. Уж ей-то она никак не стала бы поверять свои думы. Анна Сверд питала по меньшей мере столь же большое уважение к ее учености, как и к познаниям собственного мужа. Она всего лишь попросила фру Сундлер помочь ей разгладить брыжи. Муж велел ей накрахмалить и погладить несколько воротничков, а она донельзя оконфузилась — провозилась с ними битый час, один загладила косо, а другой и вовсе сморщенный вышел. Не изволит ли фру Сундлер поучить ее этому делу?

Фру Сундлер сказала, что она весьма рада тому, что фру Экенстедт обратилась к ней за помощью, и готова помочь ей в таком пустяке. Гладить брыжи — искусство немалое. Она сама в том не бог



весть какая мастерица, однако постарается приложить все свое умение. Они прошли в уютную кухоньку фру Сундлер и принялись стирать и гладить брыжи. Трудились они до тех пор, покуда Анна не обучилась этому искусству.

Когда они управились, фру Сундлер хотела было налить Анне чашечку кофе, но та отказалась, сославшись на то, что ей надобно спешить домой. Тогда фру Сундлер предложила выпить стаканчик соку. Сок у нее был отменный, даже сама фру Шагерстрем хвалить изволила. Недурно будет освежиться после такой усердной работы. Анна Сверд не стала отказываться, и супруга органиста спустилась в погреб, чтобы принести соку. Покуда хозяйка была в погребе, гостья проскользнула украдкой в прихожую, сняла с крючка нарядную шляпку фру Сундлер, отнесла ее в кухню и сунула в большущий котел, стоящий на полке так высоко, что никто не мог увидеть, что в нем лежит.

Когда Анна собралась уходить, фру Сундлер провела ее через прихожую до дверей, однако ей и в голову не пришло поглядеть, на месте ли ее нарядная шляпка. Люди в тех краях жили такие честные, что не было нужды даже двери запиравать, когда из дому уходишь, ни у кого и в мыслях не было, что могут украсть что-нибудь или хотя бы спрятать.

Анна Сверд шла домой, весьма довольная своей выдумкой. Теперь фру Сундлер придется немало поискать, покуда она найдет свою воскресную шляпку. Она думала о том, что как примерная жена сделала все, что могла, чтоб на другой день мужу ее никто не мешал говорить проповедь и не пугал бы его.

Когда она на следующее утро шла с мужем в церковь, сердце ее было спокойно. Угрызения совести мучили ее не более, чем мучают охотника за то, что он устроил западню волку.

Да и кто она такая? Она ведь не здешняя, не из Корсчюрки, где все люди ученые, грамоте разумеют. Она, Анна Сверд из Медстубюн, привыкла верить тому, чему верили и что за правду почитали в сереньких домишках у нее в деревне, эту мудрость она впитала с молоком матери и жила в согласии с ней.

Она была всем довольна в это утро. Муж провел ее в церковь через ризницу — так ходят одни только священники, там ее встретила старая пасторша и усадила рядом с собой на хорах. Хотелось бы ей,

чтобы кто-нибудь из ее деревни поглядел сейчас на нее: ведь она знала, что ни ленсманшу, ни Рис Ингборг никто такой чести не удостоивал.

Она огляделась вокруг — нет ли в церкви фру Сундлер, но не увидела ее. Убедившись в том, что ее нет, она склонила голову и стала молиться, как пасторша и все прочие в церкви. Она молила Бога о том, чтобы он помог ей, не дал бы фру Сундлер найти шляпку в большом медном котле. Анна знала, что если та не найдет шляпки, то ни за что не придет в церковь. Ведь у жены бедного органиста, верно, только одна парадная шляпка, и раз она потерялась, ей придется остаться дома.

Потом она принялась разглядывать прихожан, медленно входивших в церковь, и осталась недовольна тем, что народу собралось не так уж много. Пустые места были на всех скамьях. Но тут же она посмеялась над собой.

«Ну, Анна, ты уже ведешь себя как настоящая пасторша».

И она стала думать обо всех тех пасторшах, которые до нее сидели на этой скамье и ожидали, когда их мужья поднимутся на церковную кафедру. О чем они могли думать? Может, и дрожь и страх пробирали их оттого, что мужья их стояли на кафедре и проповедовали слово божье? Пусть она много хуже их, а все же она осмелилась вздохнуть украдкой об участии прежних пасторш.

«Помогите мне, ведь вы знаете, каково сидеть здесь и тревожиться, сделайте так, чтобы она не смогла прийти в церковь в нынешнее воскресенье!»

Она тревожилась все больше и больше, служба подходила к концу, и приближалось время проповеди. Она вздрагивала каждый раз, когда дверь в церкви отворялась и входил запоздалый прихожанин. «Это уж, поди, жену органиста принесло», — думала она.

Однако фру Сундлер не показывалась. Богослужение окончилось, пропели предпроповедный псалом, и Карл-Артур поднялся по лесенке на кафедру. Фру Сундлер не появлялась.

Стоял великий пост, и в послании, которое читали в этот день, она услышала прекрасные слова о любви, которые фру Рюен читала ей в свадебную ночь. Это, уж верно, было доброе предзнаменование, и когда Карл-Артур после красивого вступления принялся толковать именно этот псалом, она твердо уверилась в том, что господь бог и прежние пасторши услышали ее молитвы.

Фру Сундлер не придет в церковь, а сама она будет сидеть на пасторской скамье и слушать, как человек, которого она любит, воздает хвалу любви.

Да кто она, в самом деле, такая? Откуда ей знать, хороша проповедь или плоха. Однако она могла побожиться, что ничего прекраснее в жизни своей не слыхивала. Да и не ей одной эта проповедь доставляла радость. Она видела, что люди повернули головы к пастору и не спускали с него глаз. Иные подвигались к соседу и подталкивали его, дабы привлечь его внимание.

— Послушай-ка лучше! Вот это проповедь так проповедь!

И то правда. Чтоб ей пусто было, если она слышала, чтобы кто другой говорил так складно. Она сидела на хорах и видела, что лица у людей стали кроткими и торжественными. У иных молоденьких девчонок глаза загорелись и сияли, словно звезды. И вдруг на самом интересном месте люди в церкви зашевелились. Вошла крадучись фру Сундлер. Ей, видно, было неловко оттого, что она опоздала. Она шла на цыпочках, как бы прижимаясь к дверцам между рядами скамеек, чтобы не привлекать внимания прихожан. Однако все в церкви ее заметили и глядели на нее удивленно и неодобрительно. Вместо шляпы на голове у нее был чепец, который она обыкновенно носила в будние дни. Чепец был старый и истрепанный, и она решила подновить его, прицепив спереди большой бант.

Минуту спустя фру Сундлер была забыта, прихожане снова повернулись к кафедре и принялись слушать прекрасные слова, которые лились из уст пастора.

«Он так разошелся, — думала Анна Сверд, — что, поди, и не заметил, как она вошла. Может, она и не сумеет сейчас взять над ним власть».

Но не пробыла фру Сундлер в церкви и пяти минут, как Карл-Артур вдруг умолк, не досказав начатой фразы. Он наклонился вперед над кафедрой и устался в темный угол церкви. То, что он там увидел, так сильно испугало его, что он побелел как полотно.

Казалось, он сейчас упадет в обморок, и Анна Сверд приподнялась, чтобы поспешить к нему на помощь и увести его с кафедры. Однако этого не потребовалось. Он тут же выпрямился и начал говорить снова.

Но теперь уже людям не доставляло радости слушать его. Молодой пастор, видно, совершенно забыл то, о чем только что говорил. Он произнес несколько слов, которые вовсе не вязались со сказанным ранее, замолчал, потом принялся говорить о другом, в чем тоже не было никакого смысла. Прихожане нетерпеливо заерзали на скамьях. У многих на лицах были испуг и огорчение, от чего проповедник пришел в еще большее замешательство. Он вытер пот со лба большим носовым платком и воздел руки к небу, словно в отчаянии молил о помощи.

За всю жизнь Анне Сверд не было никого так жаль.

Уж лучше ей уйти. Зачем ей сидеть и смотреть, как мучается ее муж? Но прежде чем подняться, она бросила взгляд в сторону, на старую пасторшу Форсиус. Старушка сидела неподвижно, молитвенно сложив руки, лицо ее было исполнено благоговения. Глядя на нее, нельзя было подумать, что в церкви случилось что-то неладное.

Вот так должна вести себя жена пастора. Не бежать вон из церкви, а сидеть недвижимо, сложив руки, погрузившись в молитву, что бы ни случилось.

Анна Сверд осталась на своем месте и сидела неподвижно, исполненная торжественности, покуда не пропели последний псалом и пасторша не поднялась, чтобы выйти из церкви.

За это время она успела успокоиться и понять, что она всего лишь бедная далекарлийская девушка, которая ничего не понимает.

Дома, в деревне Медстубюн, каждая девка и парень верили, что на свете полным-полно злых троллей, которые умеют заморозить людей так, что им видится то, чего нет. Здесь же, в Корсчюрке, может, о таком и не слыхивали.

У нее на родине ходили рассказы про финку Лотту, мерзкую чертовку, которую собирались сжечь на костре. Ее привели на место казни с завязанными глазами, но, прежде чем ее привязали к столбу, она попросила, чтоб ей дали в последний раз взглянуть на землю и небо. Палач снял с ее глаз повязку, и в тот же миг все увидели, что загорелась судебная палата. Тут все бросились пожар тушить да людей спасать, забыв про финку Лотту, а старуха высвободилась да улизнула. А палата-то и не думала гореть, это ведьма отвела им глаза.

На родине у Анны рассказывали истории и почище того. Говорили, что однажды, когда Иобс Эрик стоял на ярмарке за

прилавком с товарами, ему ничего не удалось продать, потому что рядом стоял тролль из тех, что умеют глотать паклю и изрыгать огонь. Он так отвел людям глаза, что им казалось, будто товар Иобса Эрика — блестящие ножи, острые пилы и распрекрасные, остро отточенные косы — всего-навсего ржавый хлам. Ее дядюшке не удалось продать и трехдюймового гвоздя, покуда он не смекнул, какую шутку сыграл с ним этот тролль, и не прогнал его с ярмарки.

У них в деревне и девушки и парни сразу бы догадались, что это жена органиста заворожила Карла-Артура, и оттого ему видится в церкви матушка. Кабы кто-нибудь из Медстубюн был нынче в церкви и видел, что там творилось, он бы живо уверился в том, как и она сама.

Но Корсчюрка совсем не то что Медстубюн. Анне Сверд вольно было думать про себя что угодно — что за человек ее муж, кто такая фру Сундлер и кто такая она сама, но надо было помалкивать о том, что она знает и что ей думается.

Ей приходилось мириться с тем, что муж не сказал ей ни слова по дороге из церкви домой, а шел рядом с ней, делая вид, будто ее и вовсе нет. Она думала о том, сколько глаз смотрят сейчас на нее, и старалась держаться, как подобает настоящей пасторше, однако не знала, удастся ли это ей.

Когда они пришли домой, муж тотчас же заперся в своей комнате. Не стал помогать ей ни обед готовить, ни на стол накрывать. А ведь он любил помогать ей по малости — в шутку, разумеется.

За обедом он сидел напротив нее и не вымолвил ни слова. Она же чувствовала себя великой грешницей. Теперь он, наверно, думает, что с проповедью так вышло оттого, что они не послушались совета фру Сундлер. Ей хотелось закричать во всю мочь. Может, он теперь и вовсе знать ее не захочет.

Ленсманша дала ей совет зажарить рябчиков и другую дичь, которой в их краях водилось немало, чтобы в первые дни у нее было что на стол подать. Но здесь, видно, рябчиков не почитали за особое лакомство. Муж ее проглотил несколько кусочков и отложил вилку с ножом.

За обедом она не осмелилась ни о чем спросить его. Когда они поднялись из-за стола, Карл-Артур пробормотал, что у него болит голова и ему надобно прогуляться, и оставил ее наедине с печальными думами.

## II

Разве не удивительно, что так трудно добиться того, чего желаешь?

Если желаешь чего-нибудь неладного, тогда еще понятно, но когда не помышляешь ни о чем ином, как о том, чтобы человек, который тебе мил, приходил бы к тебе в гости вечером раз-другой в неделю посидеть, побеседовать или послушать музыку в маленькой гостиной, так неужто невозможно, чтобы твое желание исполнилось? Если хотеть непременно быть с ним наедине — это совсем иное дело, но этого и не требуется. Пусть себе Сундлер при сем присутствует. Им нечего скрывать. Ни ей, ни Карлу-Артуру.

Если бы ты избавилась от Шарлотты Левеншельд грубо и бессердечно и ей пришлось бы стать бедной учительницей либо экономкой, тогда можно было бы ожидать, что тебя постигнет наказание или разочарование. Но когда она благодаря тебе сделала лучшую партию во всем королевстве, получила богатство, положение в обществе, прекрасного мужа, неужто нельзя тебе самой насладиться скромным, маленьким счастьем, о котором ты так мечтаешь? Неужто из-за этого пасторша Форсиус должна стать твоим врагом? Ведь тебе-то все понятно. Хотя Карл-Артур и ссылается на то, что экзаменует детей по Закону Божьему и прочими делами занят, но ты-то знаешь, что пасторша, уж конечно, нашептала ему, что люди принялись судачить об их сердечной дружбе. Без сомнения, это из-за пересудов он и не бывал у нее по неделям прошлой осенью.

Когда бы она хоть самую малость была виновата в том, что Карлу-Артуру является в церкви милая тетушка Экенстедт, если бы она нарочно напугала его, надеясь, что это послужит возобновлению их сердечной дружбы, то ей можно было бы ожидать всяческих напастей. Но раз она только пыталась утешить его и успокоить, не вправе ли она рассчитывать на то, чтоб ее оставили в покое и не мешали помочь ему в беде? Неужто она заслужила, чтобы муж именно теперь принялся ревновать ее и устраивать сцены, так что стало почти невозможно принимать Карла-Артура у себя в доме? Карлу-Артуру теперь, как никогда, нужен близкий друг и наперсник. Да и ты не желаешь ничего иного на свете, кроме как помочь ему.

И если для того, чтобы успокоить ревнивого мужа, ты предложила Карлу-Артуру жениться, что ж в том грешного и предосудительного? Разумеется, тебе невозможно было открыть Карлу-Артуру истинную причину: ведь он человек не от мира сего, и дел такого рода ему не понять, однако что же дурного в том, что ты помогла ему осуществить заветную мечту его юности? А эта простая девка из глухомани разве не должна она радоваться, что живет у него в доме, стирает и стряпает? Кто бы мог подумать, что он может увлечься этой мужичкой и вернуться из свадебной поездки таким влюбленным, что не сможет думать ни о ком, кроме жены?

Как было отратно помогать ему устраивать этот домик, вместе с ним покупать домашнюю утварь, следить за ремонтом! Какие сладостные мечтания наполняли твою душу в то время! И неужели в наказание за это тебе суждено было почувствовать себя здесь лишней в тот самый миг, когда его законная жена переступила порог этого дома? Кто сделал эту дурочку женой пастора? Кто даровал ей в мужья благороднейшего, талантливейшего, одухотвореннейшего человека? И какова же была ее благодарность? Когда она вошла в этот домик, где ты все устроила своими руками, то ты сразу почувствовала, что те, кто поселился в нем, только и ждут, как бы от тебя избавиться.

И хотя ты ничуть не желала этого, ты не могла не почувствовать некоторого злорадства, когда видение снова явилось ему. Да ему и следовало этого ожидать, раз он пренебрег ее советами.

Нет, ты вовсе не желала этого, однако тебе трудно было им сочувствовать.

К тому же досадно, что кто-то украл твою воскресную шляпку. Впрочем, навряд ли ее в самом деле украли. Верно, кто-то подшутил над тобой и взял шляпку, чтобы помешать тебе пойти в церковь слушать проповедь Карла-Артура. Весьма досадно будет также, если это сделал тот, на кого она думает. Неужто это в самом деле твой собственный муж учинил такой подвох и спрятал шляпку?

Ты знала, что Карл-Артур придет, чтобы выразить свое сожаление, ты ждала его после обеда, однако тебе пришлось прождать не один час. За это время ты успела внушить себе, что он доверился своей жене, что он и тут стал искать у нее участия, а ведь прежде про то знали только вы двое.

Ты успела вспомнить все разочарования, все несбывшиеся желания, и когда он наконец пришел, тебе уже не хотелось принимать его. Ты провела его в маленькую гостиную, села в угол на диван и стала слушать его, однако ты была в скверном расположении духа. Ты слушала его жалобы и не испытывала сочувствия. Пришлось стиснуть зубы, чтобы сдержаться и не крикнуть ему, что тебе надоело, да, надоело все это, что ты не можешь быть всегда кроткой и покорной, что есть предел терпению, что ты не из тех, кого можно звать и гнать, когда вздумается.

Ты слушала, как он говорил, что совершил долгую прогулку, чтобы успокоиться и принять решение, но что он еще никак не может прийти в себя. Затем он сказал, что не выдержит этого преследования, что должен отрешиться от пасторского сана, что, видно, этого-то матушка и требовала от него.

В другое время ты постаралась бы изо всех сил утешить его. Но сегодня ты едва можешь заставить себя слушать его. Ты сидишь не шелохнувшись, однако у тебя свербят пальцы. Тебе хочется вцепиться ногтями в кожу, хочется царапаться. Ты не знаешь, хочется тебе вцепиться в его кожу или в свою собственную, знаешь только, что от этого тебе стало бы куда легче.

Он все говорит и говорит, покуда не замечает, что ты не отвечаешь ему, не выражаешь, как обычно, сочувствия. Тогда он удивляется и спрашивает, не захворала ли ты. И тут ты сухо отвечаешь ему, что чувствуешь себя превосходно, но удивлена, что он приходит к тебе жаловаться. Ведь у него есть собственная жена.

Вот что ты отвечаешь ему. И как это тебя вдруг угораздило сказать такое, глупее чего и выдумать невозможно. Быть может, ты надеялась, что он станет возражать, скажет, что жена его слишком неопытна и невежественна, что ему надобно побеседовать с женщиной образованной, которая может понять его. Однако того, на что ты надеялась, не случилось.

Вместо того он смотрит на тебя несколько удивленно и говорит, что сожалеет, что пришел не вовремя, и уходит.

Ты сидишь неподвижно и вдруг слышишь, как затворяется за ним дверь. Ты не веришь, что он и вправду ушел, ты уверена, что он вернется. И только когда дверь захлопывается за ним, ты вскакиваешь, начинаешь кричать и звать его. Что же ты наделала? Неужто он ушел



навсегда? Возможно ли это? Он был здесь, и ты указала ему на дверь. Ты не хотела выслушивать его жалобы. Ты дала ему совет искать помощи у жены. И надо же случиться этому сегодня — именно сегодня, когда все было поставлено на карту, когда ты могла завоевать его навсегда!

### III

Когда Карл-Артур поздним вечером возвращался от фру Сундлер, он, разумеется, не мог ощущать того удивительного спокойствия, того удовлетворения, которое испытывает каждый, приближаясь к своему дому. Завидев домишко на пригорке за садом доктора, он, конечно, не сказал себе, что во всем мире у него есть лишь этот крошечный уголок, где ему всегда рады, где его всегда готовы защитить, где он обрел свое пристанище и где он никому не мешает. Напротив, он думал, что ему ни за что не следовало жениться, не следовало покупать эту старую лачугу, не следовало впутываться в эту историю.

«Как это ужасно, — думал он. — Я так несчастен, и к тому же мне еще невозможно побыть одному. Жена сидела и скучала весь вечер. Мне надо было бы развлекать ее. Быть может, она раздосадована и станет упрекать меня. И у нее есть на то право, но каково мне будет слушать ее жалобы?»

Он ступил на шаткие камешки и с неохотой протянул руку, чтобы отворить дверь. Но не успел он дотронуться до замка, как отдернул руку. Из дома доносилось пение — детские голоса пели псалом.

Почти мгновенно он почувствовал облегчение. Ужасная тяжесть, которая давила ему на сердце с самого утра, словно заставляя его жить неполной жизнью, почти исчезла. Внутренний голос шепнул ему, что он может войти без опасения. Дома его ожидало то, чего он никак не смел представить себе.

Спустя мгновение он медленно открыл дверь в кухню и заглянул внутрь. Почти вся комната была погружена во мрак, но в печи еще догорали головни, и перед этим угасающим огнем сидела его жена, окруженная целой оравой ребятишек из дома Матса-торпаря.

Несмотря на тусклое освещение, а может быть, именно благодаря ему, эта маленькая группа выглядела восхитительно. Младшенькая

лежала на коленях у жены и спала сладко и спокойно. Остальные стояли, тесно прижавшись к ней, уставясь на ее красивое лицо, и пели: «От нас уходит божий день».

Карл-Артур затворил за собой дверь, но не подошел к ним, а остался стоять у стены в темноте.

И снова в его сердце, истомленное страхом и угрызениями совести, закралась целительная мысль о том, что женщина, сидящая здесь, ниспослана ему богом спасения ради. Может быть, она и не такова, какую он представлял ее себе в мечтах, но что он разумел? Вы только посмотрите! Вместо того чтобы досадовать на то, что его нет, она привела детей, которых он спас от нищеты, и принялась учить их петь псалмы. Он счел такой поступок весьма разумным и в то же время трогательным. «Отчего бы мне не обратиться к ней с открытой душой и не попросить помочь мне?» — подумал он.

Как только псалом был допет до конца, жена поднялась и отослала ребятишек домой. Может быть, она и не заметила мужа, во всяком случае она не стала ему докучать, и он остался стоять в углу. Мурлыкая вечерний псалом, который она только что пела с малышами, она подошла к кладовке, достала крынку, напилась молока, подкинула дров в очаг и поставила на угли трехногий чугунок, чтобы разогреть молока для пивной похлебки.

Потом она снова принялась ходить по комнате, постелила скатерть на столик у окна, поставила на стол масло и хлеб и придвинула стулья.

Было приятно смотреть на ее движения при этом слабом освещении. Яркие краски ее платья, казавшиеся при дневном свете немного резкими, сливались теперь в единую теплую гармонию. Жесткая ткань казалась парчой. Карлу-Артуру вдруг стало ясно, откуда взялся пестрый наряд крестьянок. Они старались, чтобы их платья походили на шелковую и бархатную одежду королей и знатных дам давних времен. Пестрый лиф, пышные белые рукава, чепец, почти совершенно скрывающий волосы, — он был уверен, что подобный наряд носили когда-то самые знатные женщины королевства.

Ему также казалось, что какая-то колдовская сила дала ей в наследство достоинство владелиц древних замков. То, что другие находили грубым в ее манерах и поведении, сохранилось на самом деле от старинных обычаев тех времен, когда королевы разводили огонь в очаге, а принцессы ходили на реку полоскать белье.

Жена налила пивную похлебку в две чашки, зажгла сальную свечку и поставила ее на середину стола, потом села на стул и молитвенно сложила руки. При свете свечи Карлу-Артуру показалось, что лицо ее в этот вечер стало как-то благороднее. Обычное выражение упрямства и самонадеянности юного существа сменилось мудростью женщины, познавшей жизнь, и спокойной серьезностью.

И он подумал, что вполне возможно посвятить такую женщину, какую она ему сейчас представлялась, в самые щекотливые и мудреные дела. «Как наивно было считать, что она не поймет меня, — подумал он. — Врожденное благородство подскажет ей верный путь».

Жена не успела еще прочитать молитву, а он уже сидел за столом против нее, как и она, благоговейно сложив руки.

Они ели молча. Ему нравилось, что она как-то по-особенному умела молчать за столом, будто трапеза для нее была нечто священное, дарованное богом для продления жизни человеческой.

Когда этот скромный ужин подошел к концу, Карл-Артур перенес стул на другую сторону стола, сел подле жены, обнял ее за плечи и притянул к себе.

— Ты уж прости меня, — сказал он. — Я погорячился днем и не сумел сдержаться, но ты не знаешь, как несчастен я был тогда.

— Не печалься из-за меня, муженек! Не думай о том, хорош ты был ко мне или плох. Все равно ты мне люб, что бы ты ни сделал.

В эту минуту, казавшуюся ей, без сомнения, весьма торжественной, она оставила свое далекарлийское наречие и говорила грамотно. И это приятно поразило его, Карл-Артур нашел, что слова ее прекрасны. В порыве благодарности он поцеловал ее.

Однако этот поцелуй несколько вывел его из равновесия. Ему, по правде говоря, захотелось в этот миг просто целовать жену и не думать более ни о чем.

«Я люблю ее до безумия, — подумал он. — Она принадлежит мне, а я ей. Видение это, наверное, будет являться мне каждый раз, как только я поднимусь на кафедру. Не бывать мне хорошим проповедником, но неужто это помешает мне быть счастливым с женой в моем собственном доме?»

А жена словно разгадала его мысли.

— И еще я скажу тебе, муженек, — продолжала она. — Тебе нечего будет больше бояться в церкви. Уж я о том позабочусь.

Карл-Артур улыбнулся в ответ на это заверение. Он прекрасно знал, что его неопытная и невежественная жена не могла помочь ему, однако сочувствие, звучащее в ее словах, успокаивало и облегчало.

— Я знаю, что ты очень любишь меня и желаешь снять с меня все тяготы, — сказал он тепло и еще раз поцеловал ее.

Это было прекрасное мгновение. Любовь влила в душу молодого человека радость и мужество. Ему представилось, как в будущем они с женой, навеки соединенные узами нежной любви, создадут в этом маленьком доме рай, который будет служить примером всему приходу.

— Жenuшка моя, — прошептал он, — жenuшка, все уладится, мы будем счастливы.

Едва он успел произнести эти слова, как входная дверь внезапно с шумом отворилась, и в прихожей загромыхали шаги.

Анна Сверд быстро поднялась, и когда посетители вошли, она убирала со стола масленку и оставшиеся ломти хлеба.

Карл-Артур остался сидеть, пробормотав, что остается только удивляться, как это людей не могут оставить в покое даже в такой поздний час. Но, увидев, что это был органист Сундлер с женой, он поднялся и пошел им навстречу.

Органист был высокий старик с взъерошенными седыми волосами, с одутловатым красным лицом, которое в этот вечер казалось еще более, чем обычно, распухшим и красным. Держа под руку жену, он прошествовал с нею на середину комнаты. И хотя на улице хозяйничала морозная зима, он не затворил за собой двери. Он не поздоровался и не протянул руки.

Можно было сразу увидеть, что он ужасно раздражен, и, верно, именно оттого казался почти величественным. Анна Сверд поняла, что он человек достойный, в то время как Тея, повисшая у него на руке, показалась ей старой, замызанной посудной тряпкой.

«Ей достался хороший муж, — думала она, — а ее самое слишком часто в грязь окунали. Ей уже теперь не отмыться».

Только она успела подумать об этом, как заметила, что на голове у Теи воскресная шляпка.

«Вот оно что, — сказала она себе, — сейчас начнется».

Она пошла затворить двери, решая, не разумнее ли будет сейчас улизнуть, однако одумалась и набралась мужества.

Органист пошел в наступление без церемоний и любезностей. Он рассказал, что жена его, собираясь в это утро идти в церковь, не могла найти своей воскресной шляпки. Она решила, что ее украли, однако после того как они весь вечер проискали ее, шляпка нашлась: она была засунута в медный котел, стоявший высоко на кухонной полке. Жена стала винить его, сказав, что это он запрятал шляпку, но он-то знал, что не виноват, что ему такое и во сне не могло присниться. Однако ему сообщили, что жена Карла-Артура пробыла у них накануне несколько часов. Вот он и пришел сюда, чтобы без обвиняков задать вопрос и получить правдивый ответ.

Анна Сверд тут же подошла к ним и рассказала, что все так и было, как он думает. Когда фру Сундлер спустилась в погреб за соком, она прокралась в переднюю, взяла шляпку и запрятала ее в котел.

Признаваясь в этом, она чувствовала, что падает все ниже и ниже. Она падала в глазах органиста, падала в глазах Карла-Артура. Фру Сундлер же, скосив глаза, глядела на нее с явным интересом.

— Господи боже мой, но отчего же вы повели себя таким образом? — спросил органист в полном замешательстве, и Карл-Артур повторил этот вопрос резким тоном:

— Господи боже, почему ты это сделала? Чего ты хотела? Что тебе было надобно?

Позднее Анна Сверд поняла, что ей лучше было бы не говорить правду, а придумать какую-нибудь отговорку. Но в тот момент ей доставило радость сказать все как есть. Она позабыла, что она не в Медстубюн и что говорит она не с матушкой Сверд и не с Иобсом Эриком. Она думала, что сейчас разорвет на части фру Сундлер, эту грязную тряпку.

— А я не хотела, чтоб она нынче приходила в церковь, — сказала она, показывая на фру Сундлер.

— Но почему же, почему?

— Потому что она знает, как отвести глаза моему мужу, чтоб ему виделось то, чего нет.

Все трое были несказанно удивлены. Они уставились на нее, словно это был мертвец, вставший из могилы.

— Да что она такое говорит? Как она могла такое подумать? Как могла такое вообразить?

Анна Сверд повернулась прямо к фру Сундлер. Она сделала несколько шагов, так что подошла к ней вплотную.

— Неужто ты станешь отпираться, что завораживаешь его? Да спроси пасторшу, спроси каждого, кто был в церкви, слыхивали ли они когда проповедь лучше той, что он сегодня говорил. А стоило тебе прийти, как он ничего путем сказать не мог.

— Но, фру Экенстедт, милая фру Экенстедт! Да как же я могла бы это сделать? А если б даже и могла, так неужто бы я захотела причинить вред Карлу-Артуру, моему лучшему другу и лучшему другу моего мужа?

— А кто тебя знает, что тебе в голову взбредет!

Карл-Артур крепко схватил ее за руку и потянул назад. Казалось, он испугался, что она набросится на Тею и ударит ее.

— Замолчи! — закричал он. — Ни слова больше!

Органист стоял перед нею, сжав кулаки.

— Думай о том, что говоришь, деревенщина!

Одна лишь фру Сундлер сохраняла спокойствие. Она даже засмеялась.

— Ради бога, не принимайте этого всерьез! Видно, фру Экенстедт немного суеверна. Но чего иного можно от нее ожидать?

— Неужто ты не понимаешь, — сказал ее муж, — что она считает тебя колдуньей?

— Да нет же. Вчера я рассказала ей, что Карлу-Артуру является в церкви его матушка, вот она и объяснила это по своему разумению. Она хотела спасти своего мужа как могла. Любая крестьянка из Медстубюн, наверное, поступила бы так же, как она.

— Тея! — воскликнул Карл-Артур. — Ты великолепна.

Фру Сундлер поспешила заверить его, что заслуга ее невелика. Просто она рада, что это небольшое недоразумение так быстро и легко разрешилось. А теперь, когда все уладилось, ей и ее мужу больше незачем здесь оставаться. Они сейчас же уйдут и оставят молодых супругов в покое.

Она очень ласково пожелала Карлу-Артуру и его жене доброй ночи и отправилась восвояси вместе с мужем, который был еще зол и ворчал оттого, что ему не дали излить всю накопившуюся в нем ярость.

Карл-Артур проводил их до дверей. Потом он подошел к жене, скрестил руки на груди и пристально посмотрел на нее. Он не стал упрекать ее, но лицо его выражало отвращение и крайнюю неприязнь.

«Он сейчас походит на того, кого сулили угостить сливками, а подали кислую сыворотку», — подумала Анна Сверд.

Под конец она, не выдержав этого молчания, сказала покорно:

— Видно, я теперь тебе вовсе не нужна?

— Можешь ли ты заставить меня поверить, что ты и есть женщина, которую Господь послал мне? — спросил он упавшим голосом.

Он снова бросил на нее долгий взгляд, полный гнева и скорби. Затем он вышел из комнаты. Она услышала, как, пройдя по коридорчику, он вошел в свою комнату и дважды повернул ключ в замке.

## **ВИЗИТ**

Без сомнения, старики в пасторской усадьбе пришли к мысли о том, что не за горами то время, когда им будет отказано в великом счастье видеться каждый день. И словно для того, чтобы не упускать эти драгоценные мгновения, они теперь проводили вместе гораздо больше времени, чем прежде. Случалось, что старая пасторша среди бела дня входила к мужу в кабинет и не думая объяснять зачем. Она опускалась на софу и сидела неслышно с вязаньем, а иногда и с прялкой, под жужжание которой работать было еще приятнее. А старик тем временем, не отвлекаясь от дела, приводил в порядок свой гербарий, посасывая трубку.

Так они сидели и в тот понедельник, когда Карл-Артур с женой нанесли им первый визит. Молодой пастор знал, какие порядки заведены в доме, и потому не стал искать хозяйку в зале или в гостиной, а прошел прямо в кабинет, где пасторша сидела за ленточным станком. Громоздившиеся на письменном столе пачки толстой серой бумаги и легкие клубы дыма, плавающие под потолком, придавали комнате еще больший уют.

Карл-Артур произнес краткую речь, в которой выразил благодарность за все хорошее, что ему довелось пережить в пасторской усадьбе, особенно благодарил он за последний прекрасный

подарок. Пастор сказал в ответ несколько теплых слов, а хозяйка поспешила отставить станок в угол и усадить новую пасторшу рядом с собой на диване.

Супруга пастора Форсиуса была падка на всякого рода торжественные церемонии, и когда Карл-Артур произнес красивую и высокопарную речь, она утерла слезинки в уголках глаз. Однако если кто-нибудь подумал бы, что она одобряла женитьбу Карла-Артура, это было бы величайшим заблуждением. Старая женщина с таким богатым жизненным опытом не могла, разумеется, не сожалеть о том, что неимущий помощник пастора женился, и то, что избранницей его была бедная крестьянская девушка, отнюдь не помогало делу. О нет, можете быть уверены, что она изо всех сил противилась этому безумству, однако фру Сундлер пожелала, чтобы Карл-Артур женился, а против фру Сундлер пасторша была бессильна.

Пасторша украдкой разглядывала бывшую коробейницу с некоторым любопытством. Она сидела на диване, порядком растерянная, и на вопросы, которые ей задавали, отвечала коротко и застенчиво. Чего-либо другого трудно было и желать и ожидать, однако пасторшу крайне удивило отношение Карла-Артура к жене. «Кабы я не знала, — подумала она, — то решила бы, что это не молодой муж пришел в гости со своей женой, а старый и ворчливый школьный учитель, который хочет показать нам нерадивого ученика».

Удивлялась она неспроста. Карл-Артур не давал своей жене вымолвить ни слова без того, чтобы не поправить ее.

— Уж вы, любезная тетушка, сделайте милость, извините Анну, — постоянно твердил он. — Что с нее возьмешь? Конечно, Медстубюн — превосходное место, однако его не сравнить с Корсчюркой, люди там отстали на сто лет от нашего времени.

Жена и не думала защищаться. Эта большая, сильная женщина была настолько уверена в своем ничтожестве по сравнению с мужем, что просто жаль было на нее смотреть.

«Так оно и есть, — думала пасторша, — этого я и ожидала. Покуда она молчит, это еще куда ни шло, однако придет и другое время».

Карл-Артур рассказывал со всеми подробностями о поездке в Медстубюн, о свадьбе и новой родне. Все это звучало весьма забавно,



и, безусловно, в его рассказе было немало такого, что должно было показаться обидным жене. Однажды она осмелилась возразить:

— Еще чего! Неужто ты, матушка пасторша, поверишь тому, что...

— Анна! — воскликнул Карл-Артур строго, и жена его оборвала фразу на полуслове. Супруг ее обратился к пасторше:

— Извините, бога ради, любезная тетушка. Я тысячу раз говорил Анне, что не годится говорить «ты» и «матушка пасторша». Не могут же люди из наших краев применяться к обычаям и порядкам в Медстубюн.

Он продолжал свой рассказ, но пасторша слушала его рассеянно. «Что же из этого выйдет? — думала она встревоженно. — А я-то надеялась, что у него будет жена, которая вызволит его из всех бед!»

Прежде всего пасторша, разумеется, думала о его отношениях с фру Сундлер. Она-то отлично понимала, что в этом не было ничего предосудительного, однако ей было весьма досадно, что о помощнике ее мужа ходили столь дурные слухи. Она пыталась уверить деревенских кумушек, что Тея Сундлер слишком умна для того, чтобы пускаться в подобные авантюры, что она не желала ничего иного, кроме как петь для Карла-Артура или на закате солнца гулять в его обществе вверх по Корпосену и любоваться облаками, окаймленными золотом. Но что толку? Они выслушивали ее — ведь ее звали Регина Форсиус и она была пятьдесят лет пасторшей в Корсчюрке, однако минуту спустя кумушки уже снова злословили всюю:

— Послушай-ка, сестрица. Уж нам-то ясно, для чего Тея затеяла эту женитьбу. Послушай-ка, послушай-ка! Это чтобы успокоить органиста. Послушай-ка, послушай-ка! А знаешь ли ты, сестрица, что его жена будет спать в кухне, как прислуга? Послушай-ка, послушай-ка! А видела ли ты диванчик? Послушай-ка, послушай-ка! Неужто ты думаешь, что это и в самом деле можно назвать женитьбой?

Об этом диванчике пасторша слышала уже так много, что решила привести в порядок старую парадную кровать, которая стояла у нее в комнате для гостей, и послать ее молодым супругам в новый дом. Она полагала, что это в какой-то мере защитит их от сплетен, однако если бы Карл-Артур любил свою жену и выказывал бы это на людях, это было бы лучшим средством против злых языков.

«Интересно, как судит обо всем этом Форсиус, — думала пасторша. — Когда Карл-Артур был у него в прошлую субботу, он говорил о своей жене с таким восторгом. Вот я и думаю, не была ли у него Тея Сундлер и не подстроила ли она какой новой каверзы?» Она испытывала неподдельное сочувствие к бедной далекарлийской девушке и ломала голову над тем, как бы ей помочь.

Понемногу гостья настолько преодолела свою застенчивость, что осмелилась поднять глаза и окинуть взором комнату. Казалось, ни книжный шкаф, ни гербарий пастора не привлекли ее внимания. Зато при виде ленточного станка лицо ее озарила восторженная улыбка.

— Подумать только, ленточный станок! — воскликнула она с такой неподдельной радостью, будто хотела заключить его в объятия.

Волшебное действие, которое оказала эта незатейливая вещица, было столь велико, что Анна не могла усидеть на месте. Она поднялась с уютного местечка на диване и осмелилась пройтись по комнате, подойти к ленточному станку, осмотреть его и потрогать.

— Ей-же-ей, я наткала много мотков в свое время, — сказала она мужу, словно извиняясь за свое поведение.

Видно, станок придал ей уверенности, и пасторша, решив, что любимое занятие еще более ободрит ее, спросила, не хочет ли она выткать несколько рядов.

— Вы, тетушка, слишком добры, — сказал Карл-Артур. — Моя жена вам только все перепутает. О том и речи быть не может, чтоб она согласилась принять ваше предложение.

— Да что ты, Карл-Артур! Пусть себе ткет, коли ей хочется.

Минуту спустя молодая пасторша уже сидела за станком, и то, что она сделала, привело в изумление даже Регину Форсиус. Она и оба мужчины окружили станок, пальцы ткачихи так и мелькали, как пальцы фокусника. Глаза не успевали следить за их движениями.

— Гина, душа моя, — сказал пастор, — а ты-то думала, что преуспела в искусстве ткать ленты. Теперь ты видишь, как тебе далеко до того, чтобы стать мастерицей.

Счастливая улыбка озарила лицо молодой жены. Можно было догадаться, что ей внезапно показалось, будто она перенеслась в свой родной дом. Все вокруг было ей знакомо: у плиты хлопотала матушка, за окном виднелись длинные серые строения, слышался певучий далекарлийский говор.

Она ткала так быстро, что через несколько минут на шпульке не осталось ниток. Обрадовавшаяся было ткачиха, увидав это, вздохнула. Она искала взглядом глаза мужа. Может быть, она опять повела себя неладно?

Муж молчал, словно выжидая. Но пасторша Регина Форсиус наклонилась над станком, потрогала ткань, кивнула одобрительно и сделала Карлу-Артуру реверанс.

— Уж поистине скажу тебе, весьма она меня поразила. Позволь поздравить тебя самым сердечным образом. Умелые руки, ничего не скажешь. Теперь-то уж я твердо знаю, что ты нашел именно такую жену, какая тебе нужна.

Молодой священник слегка поморщился.

— Любезная моя тетушка... — начал было он.

Но пасторша перебила его:

— Я знаю, что говорю. И не вздумай давать людям повод для разговоров, что Карл-Артур мог бы сделать лучший выбор.

Когда гости ушли, пасторша поднялась с дивана и подошла к письменному столу, чтобы спросить Форсиуса, каково же его впечатление об этом визите.

Старик отодвинул в сторону кипы серой бумаги и усердно выводил гусиным пером затейливые буквы на большом листке. Пасторша наклонилась над столом и увидела, что он сочиняет прошение его преосвященству епископу карлстадскому.

— И что ты это только вздумал, Форсиус! — воскликнула пасторша.

Муж прекратил писать, воткнул перо в маленькую баночку с дробью и повернулся к жене.

— Гина, душа моя, — сказал он. — Я прошу епископа перевести Карла-Артура в другой приход и назначить мне нового помощника. Я обещал Шарлотте быть к нему снисходительным и пытался делать это, покуда было возможно, но теперь ему надобно уехать. Сама подумай, друг мой: весь приход толкует о том, что он до того влюблен в жену органиста, что забывает все на свете, как только она появляется в церкви.

Пасторша перепугалась насмерть.

— Что ты, Форсиус, ведь Карл-Артур теперь женился, зажил своим домом у нас в приходе. Он надеется, что останется здесь, по

крайней мере покуда ты жив. А ты подумал о его жене?

— Душа моя, — сказал пастор. — Я питаю глубокое сострадание к этой достойной молодой женщине, которая покинула родной дом, чтобы последовать за своим мужем в наши края. Ради нее-то я и тороплюсь написать это письмо. Если Карл-Артур останется еще у нас в деревне, то можешь быть уверена, что она будет изгнана так же, как Шарлотта и как его родная мать.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### РАЙ

#### I

Карл-Артур Экенстедт, которого в течение полутора лет переводили из одного прихода в другой, так и не дав ему постоянного места, ехал однажды ненастным осенним днем по проселочной дороге. Он направлялся в Корсчюрку, где с месяц тому назад скончался пастор Форсиус. Вдовствующая пасторша Форсиус, которая издавна питала некоторую слабость к Карлу-Артуру и к тому же, весьма возможно, находилась под влиянием фру Шарлотты Шагерстрем, ходатайствовала перед епископом и соборным капитулом о том, чтобы ему предоставили место в Корсчюрке, покуда не назначат нового пастора, и просьба ее была удовлетворена, хотя и не без колебаний, ибо сын полковника Экенстедта отнюдь не пользовался благосклонностью высокого начальства.

Неудивительно, что мысли путника были обращены к тому времени, когда он полтора года назад только что женился и тут же был отослан из дома и разлучен с женой. По правде говоря, он тогда не был сильно опечален из-за того, что ему пришлось уехать. С несказанным разочарованием обнаружил он, что душа его жены преисполнена грубого суеверия, и это вызвало в нем отвращение и презрение, отравившее их совместную жизнь. Теперь же мрачное настроение исчезло. После долгой разлуки он не питал к жене никаких иных чувств, кроме любви, благодарности и, пожалуй, даже восхищения.

«Наконец-то, — думал он, — наконец-то наступило время, когда мы создадим на земле рай, о котором я всегда мечтал».

Ему казалось, что, скитаясь из одной пасторской усадьбы в другую, он узнал много полезного и необходимого. Теперь, как никогда, он был уверен в том, что его первоначальный план был правильным. Не что иное, как глупейшая приверженность людей к земным благам, причина большинства их несчастий. Нет, жить в

величайшей скромности, быть свободным от корыстолюбивых стремлений, возвыситься над мелочным желанием затмить себе подобных — это и есть верный путь к достижению счастья в этом мире и блаженства в мире ином.

Однако проповедовать и увещевать недостаточно для того, чтобы уверить людей в этой нехитрой истине. Здесь нужен пример для подражания, который лучше всяких трогательных речей может повести за собой.

Карл-Артур закрыл глаза. Он увидел перед собой жену, и душа его наполнилась нежностью и восторгом.

Уезжая из Корсчюрки, он заявил жене, что ей, вероятно, придется воротиться домой в Медстубюн. С ним ей ехать было нельзя — ведь ему предстояло жить на хлебах в пасторской усадьбе, куда его в ту пору посылали. Он сказал, что станет высылать ей маленькое жалованье, которое за ним сохранили, всего сто пятьдесят риксдалеров, но что ей будет легче прожить на эту сумму дома у своих, чем здесь, в Корсчюрке. Он отнюдь не был уверен в том, что она сможет жить в их маленьком доме одна, без помощи и защиты.

Однако жена не хотела уезжать.

— Уж верно, мне будет не хуже, чем другим женам, у кого мужья на заработки уезжают, — сказала она. — Как-никак будет у тебя и печь истоплена и чистая постель готова всякий раз, когда приедешь домой.

Уж и то благородно с ее стороны, что она оставалась ждать его, невзирая на одиночество и бедность. Большой заслуги, однако, тут не было: многие другие поступили бы точно так же на ее месте. Однако на том дело не кончилось.

Вскоре после того, как он покинул Корсчюрку, отказалась от места старая женщина, которая присматривала за ребятишками Матсаторпаря, и дамы-благотворительницы, принявшие на себя заботу о детях, тщетно хлопотали, чтоб найти кого-нибудь ей взамен. Они рассудили, что был лишь один выход — раздать детей людям поодиночке. Разумеется, аукциона решили не устраивать и доверить их намеревались только хорошо знакомым и порядочным людям, тем не менее бедные дети безутешно горевали, узнав, что их хотят разлучить. Они не пожелали мириться с неизбежным, и когда названные родители пришли забрать своих питомцев, они увидели, что дом пуст, а ребятишек и след простыл.

Не зная, где искать маленьких строптивцев, они, разумеется, зашли в соседний дом, чтоб расспросить, куда они подевались. Оказалось, что все десять ребятишек нашли прибежище именно здесь. Они сгрудились вокруг жены Карла-Артура, бедной далекарлийки, и та заявила вошедшим, что раз, мол, эти дети достались ее мужу на аукционе, стало быть теперь они — его собственность. Дескать, они находятся у себя дома, и тому не бывать, чтоб их забрали отсюда без его согласия.

Карл-Артур наслаждался, мысленно воспроизводя эту сцену, которую ему описывали в длинных письмах как пасторша, так и фру Сундлер. Дело дошло до весьма горячих пререканий, призвали кое-кого из дам-благотворительниц, и те дали понять молодой женщине, что, если она не отдаст детей, денег на их содержание отпускатся не будет. Но Анна Сверд из Медстубюн только рассмеялась в ответ. Кому нужна эта помощь? Дети сами могут заработать себе на прокорм. Ей-то приходилось делать это всю жизнь. И ежели они хотят раздать по чужим людям детей, которых ее муж взялся опекать, им сперва придется убить ее.

Муж, казалось, слышал ее звонкий далекарлийский говор и видел ее жесты. Жена представлялась ему героиней, взявшей под защиту стайку испуганных ребятишек. Ну как ему было не гордиться ею!

И она довела это дело до победного конца. Детям было позволено остаться на ее попечении, но она, разумеется, навлекла на себя немалые хлопоты. Угрозы дам-благотворительниц были не так уж серьезны, но его жена не позволила детям принимать подачки. Теперь для нее было делом чести, чтобы они с ребятишками прокормились своим трудом.

Ах, как сильно жаждал он воротиться домой, выразить ей свою благодарность, окружить нежной заботой, искоренить всякую память о том пренебрежении, которое он выказал ей однажды по своей самонадеянности.

Внезапно путник очнулся от своих мыслей. Кучер поспешно свернул к обочине, чтобы дать дорогу большому экипажу, запряженному четверкой черных лошадей, который промчался мимо них.

Карл-Артур тотчас же узнал и коляску и тех, кто сидел в ней. Не удивительно ли, что он непременно должен был встретить их,

возвращаясь к Корсчюрку!

На козлах сидела Шарлотта, она правила лошадьми, гордая, сияющая, а кучер сидел рядом, скрестив руки на груди. В самой коляске ехали Шагерстром с пасторшей Форсиус.

Шарлотта, сосредоточившая все свое внимание на лошадях, не заметила его, а пасторша и Шагерстром поклонились. Он не ответил на поклон. Он не мог понять самого себя. Увидев Шарлотту, он пришел в замешательство. Волна счастья и радости охватила все его существо. Но ведь он давно уже разлюбил Шарлотту.

Когда он вспомнил, как они встретились в последний раз, он разобрался наконец в своих чувствах. Любил он лишь свою жену, Шарлотта же была его добрым другом, его ангелом-хранителем. Оттого-то он и обрадовался, увидев ее.

Ему казалось, что эта встреча каким-то образом подтверждала радостные предчувствия, с которыми он смотрел на будущее.

## II

Никто никогда не слышал, чтобы у Адама и Евы были дети, когда они еще жили в раю. Не существует старых сказаний о том, как малолетние сыны человеческие бегали взапуски со львятами, или о том, как они катались на спине левиафана и бегемота.

Дети, должно быть, появились после изгнания из рая, а может быть, они-то и явились в большей степени, чем змий и прекрасные яблоки на древе познания, причиной того, что их родители были изгнаны из райского сада. Подобные истории можно, во всяком случае, наблюдать и по сей день.

Не надо далеко ходить за примером, взять хотя бы Карла-Артура Экенстедта. Ведь он вернулся домой с такими прекрасными намерениями, готовый создать новый рай в маленькой избушке за садом доктора. Он был твердо уверен, что сумеет осуществить свой замысел, однако не принял в расчет десяти ребятишек.

Ему, скажем, никогда не приходило в голову, что они будут находиться у него в доме круглые сутки. Он думал, что они по крайней мере ночью будут спать в своем доме, который был совсем рядом. Но



когда он спросил жену, не могут ли дети спать у себя дома, она подняла его на смех.

— Видно, ты, муженек, думаешь, что у нас с тобой денег хоть лопатой гребь. Не могут же ребятишки спать в нетопленной избе, а дрова-то, чай, денег стоят.

И пришлось ему примириться с тем, что в его кухню, которая благодаря стараниям фру Сундлер была такой опрятной, втащили огромную спальную скамью и два диванчика. На оставшееся место нагромодили всякую всячину: кросна и три прялки, два ленточных станка для плетения кружев, чесалку, мотовило и маленький столик, за которым жена его занималась поделками из волос. Словом, здесь было такое множество всякого инструмента, что он лишь с большим трудом мог пробираться по кухне. Но все это было им нужно, ибо его жена и ребятишки зарабатывали себе на пропитание, принимая заказы от жителей прихода на кружева, волосяные цепочки для часов, мотки тесьмы и тканье. Помимо того, им нужно было и свою одежду мастерить.

С каждым ударом челнока в поставе весь домишко содрогался до самого фундамента, а когда пускали в ход прялки и мотовила, жужжание и шум доносились даже в кабинет Карла-Артура, так что ему казалось, будто он сидит в мельничной каморе. Когда он выходил на кухню к обеду, то видел, что еда поставлена на крышку стола, положенную на скамью, где обычно спали дети. И если он намекал на то, что, мол, надо бы приоткрыть немного дверь, чтобы впустить свежего воздуха, жена заявляла, что дверь и так долго стояла отворенной, покуда она мела пол, и что они не могут выстуживать избу больше раза в день, потому как они денег лопатой не гребут.

Поскольку все десять ребятишек должны были жить у него в доме, ему приходилось мириться и с тем, что их праздничная одежда — кофты и сюртучки, юбки и штаны — висела в коридорчике и все, кто приходил по какому-либо делу в маленький дом пастора, имели возможность любоваться ею. В Корсчюрке ничего подобного не бывало, и он сказал жене, что одежду надобно отнести на чердак. Но тут он узнал, что на чердаке водятся и крысы и моль. Одежда там за какой-нибудь месяц изветшает, а новую взять будет неоткуда — деньги-то они лопатой не гребут.

Жена его стала еще красивее, чем прежде, она любила его нежнейшей любовью, она была горда и счастлива тем, что он вернулся домой. И он тоже любил ее. Не было ни малейшего сомнения в том, что он и она были бы счастливы, если бы не дети.

Он должен был признать, что никто не умел так обходиться с детьми, как его жена. Он ни разу не видел, чтобы она их ласкала. Бить их она тоже не била, но отчитывать умела хорошенько, а уж если что было неладно, им порядком доставалось от нее. Однако как бы она себя с ними ни вела, малышам она всегда была хороша. Да и не только дети Матса-торпаря любили ее. Если бы в кухне хватило места, все приходские ребятишки собирались бы сюда, стали бы часами следить за малейшим ее движением и терпеливо ждать, чтобы она сказала им доброе словечко.

Ну не диво ли, что она превратила десять ребят из страшнейших трутней в самых прилежных муравьишек. И хотя им теперь приходилось работать с утра до вечера, они стали краснощеками и пухленькими. Казалось, для них было величайшим счастьем жить рядом с ней, и оттого они и расцвели.

Когда Карл-Артур только что вернулся домой, все десятеро готовы были относиться к нему с таким же обожанием, какое они проявляли к его жене. Больше всех, непонятно отчего, к нему привязалась младшая девчушка. Она то и дело залезала к нему на колени и хлопала его по щеке. Откуда ей было знать, что у нее грязные пальцы и сопливый нос, она не могла понять, почему ее без жалости спускают на пол, и принималась реветь во все горло.

А видели бы вы в тот момент его жену! Она налетала, как буря, хватала ребенка, прижимала его к груди, словно хотела защитить от врага, и бросала на мужа такой взгляд, что он и вовсе приходил в замешательство.

В общем, надо сказать, что хотя жена его была по-прежнему красива, что-то в ней изменилось. С тех пор как ей пришлось командовать целой уймой малышей, она стала такой же властной особой, как заседательша. То покорное, девическое, озорное, что было присуще ей, ушло навсегда.

Никто не сказал бы про Карла-Артура, что он избалован. Ему было все равно, что есть и что пить, он привык работать целыми днями, он никогда не жаловался на то, что ему приходилось ездить в тряской повозке и читать проповеди в холодных, как лед, церквах. А вот без чего ему было трудно обойтись, так это без чистоты и порядка, без уюта и тишины в часы работы, но именно этого-то и не было в доме, покуда там жили дети.

Однажды утром, выйдя в кухню к завтраку, он увидел, что там сидит деревенский сапожник. Он поставил свой верстак у окна, как раз на том месте, где любил сидеть Карл-Артур. Вся кухня пропахла кожей и варом, и, вдобавок к обычному беспорядку, повсюду валялись пучки бересты, колодки и банки с сапожной мазью.

На обеденный стол, выдвинутый на середину кухни, жена поставила две тарелки с кашей-размазней и две больших оловянных миски, тоже наполненных кашей. Тарелки были, разумеется, поставлены ему и мастеру. Жена и дети должны были, как всегда, уплетать кашу из мисок.

Надо сказать, что он уже не раз выговаривал за это жене. Речь шла не о еде, хотя она была простая и скудная, — так оно и должно было быть. Однако он просил жену, чтобы дети ели каждый из своей тарелки. Он растолковал ей, что детей полезно с малолетства приучать понемногу вести себя за столом как подобает.

А она лишь спросила, в своем ли он уме, коли думает, что у нее есть время мыть по десять тарелок три раза на дню. Ему же она всегда будет подавать отдельную тарелку, раз он к тому привык.

Впрочем, он не мог не признать, что дети вели себя за столом вполне пристойно. Им не надо было напоминать, чтоб они прочитали молитву, они ели все, что им подавали, и не спорили из-за каши. Ему было не так уж неприятно есть вместе с ними, но садиться за один стол с сапожником ему было противно. Когда он бросил взгляд на его черные от вара, заскорузлые пальцы, у него и вовсе пропал аппетит.

Не вполне сознавая, что делает, он взял тарелку, ложку и ломоть хлеба и отнес все это к себе в кабинет. Здесь было его мирное пристанище, здесь воздух был чист, а пыль вытерта. Он, по правде говоря, немного стыдился своего бегства, но в то же время не мог не сознаться, что еда давно уже не казалась ему столь вкусной.

Когда он вскоре вернулся в кухню с тарелкой, здесь царил гробовая тишина. Мастер ел молча, нахмутив брови, жена и вся орава ребятишек сидели, опустив глаза, будто им было за него стыдно.

В этот день ему было как-то неуютно дома, минуто спустя он надел шляпу и вышел. Он бесцельно брел по проселочной дороге, не зная, где найти прибежище. К фру Сундлер он пойти не мог, так как органист страдал ревматизмом и жена его ухаживала за ним столь заботливо и нежно, что день и ночь не покидала комнаты больного. Пойти потолковать с пасторшей он тоже не мог: Шарлотта не желала, чтобы пасторша, ее старый друг, сидела бы одна со своими вдовьими горестями, и пригласила ее в Озерную Дачу на всю зиму.

Во всяком случае, когда он сейчас проходил мимо пасторской усадьбы, его охватила непонятная тоска по этому старому, прекрасному дому, возле которого он сейчас стоял. Он отворил калитку и пошел через двор к саду.

Неудивительно, что когда он бродил меж высоких подстриженных шпалер, ему снова вспомнилось, как он в последний раз гулял здесь с Шарлоттой. Он вспомнил, как они поссорились и как он заявил ей, что женится лишь на той, кого сам господь бог предназначит ему в жены.

И теперь он был женат на женщине, которую провидение послало ему навстречу на проселочной дороге, и он был уверен в том, что она именно та, которая нужна ему, что они вдвоем сумеют создать новый рай на земле. И неужели этому не суждено сбыться лишь из-за того, что у них на шее орава детей? Он не мог отрицать, что Шарлотта будет права, когда станет высмеивать его за то, что все его великие планы рухнули лишь из-за того, что он не сумел управиться с десятком ребятишек.

Было время обеда, когда он вернулся домой, но не успел он войти в кухню, как жена принесла ему еду на чистом подносе. Она была, как всегда, весела и приветлива.

— Знаешь, муженек, я думала, ты хочешь есть со всеми нами. А кабы ты раньше сказал, что не хочешь, я бы всегда приносила тебе еду сюда.

Он поспешил ответить, что вовсе не против того, чтоб есть с женой и детьми. Это черные от вара пальцы сапожника отпугнули его. Потом он предложил ей разделить с ним трапезу. Как славно было бы, если б они хоть раз отобедали вдвоем.

Нет, этого она сделать не может. Ей надобно сидеть за столом с ребятишками и следить за порядком. Однако она охотно посидит с ним, покуда он ест.

Она уселась в кресло у письменного стола и принялась рассказывать. Тут он узнал, что мастер останется у них только до вечера, так как он подрядился на работу в другом месте до самого Нового года. Ребятишкам не придется идти к рождественской заутрене в новых башмаках, как она им обещала.

Карл-Артур понял, что мастер уходит из-за того, что обиделся на него. Но чем он мог теперь помочь делу?

В этот миг ему представилось лицо Шарлотты: она смеялась над ним за то, что он не мог справиться с такою безделицей.

Жена унесла поднос, а он сидел задумавшись. Но вскоре он догадался, что нужно делать. Он взял сапоги, на которые надо было поставить набойки, вышел в кухню и уселся подле сапожного верстака. Он сказал, что хочет сам починить их, и попросил мастера научить его. Мастер не стал отказываться, и Карл-Артур надел большой передник жены и просидел весь вечер допоздна, обучаясь сапожному мастерству.

Однако за один вечер трудно обучиться как следует, и они сговорились с мастером, что продолжат урок на следующий день. Старик был человек приветливый и услужливый, к тому же они приятно провели вечер, и он сразу согласился.

#### *IV*

Мало того, что он ради этих детей был вынужден усесться за сапожный верстак. Это из-за них ему приходилось носить дешевую одежду из сермяги, в которой он походил на мельника. Однако он не мог не признать, что сочельник они провели прекрасно. Кухня была чисто вымыта, весь инструмент вынесен, пол устлан желтой душистой соломой, а посреди комнаты поставлен стол, покрытый белой скатертью. Дети тоже были чистые, вымытые, в новых башмаках, в новом платье, веселые и счастливые оттого, что наконец наступило Рождество. Почти из каждого двора принесли в этот маленький дом подарки: колбасы, масло, каравай хлеба, сыр и рождественские свечи.

Подарки к Рождеству не принять было нельзя, и кладовка была набита до отказа всякой снедью, а на столе выстроились в ряд двенадцать горок булочек, кренделей и яблок.

Карл-Артур прочитал краткую молитву и пропел вместе с женой и детьми рождественские псалмы. Потом он с ребятишками принялся играть и возиться на соломе, покуда жена мешала кашу в котле.

Когда вечер подошел к концу, он достал маленькие подарки. Дети получили коньки и санки, сделанные на заказ, а жена — старинную булавку для галстука, подаренную ему когда-то матушкой. Подарки всем пришлись по вкусу, и веселью не было конца.

Сам он не думал, не гадал, что его ждет подарок, но как только они поднялись из-за стола, к нему подошли двое старших, с трудом волоча тяжелый сверток материи. За ним целой процессией следовали жена и остальные дети, и он понял, что очередь дошла и до него.

— Уж так рады ребятишки-то, что смогли тебе подарок поднести, — сказала жена. — Они для того всю-то осень работали.

Это было не что иное, как штука серого домотканого сукна. Он быстро наклонился и пощупал его. Всякий знает, что сермяжное сукно — самая что ни на есть добротная, самая теплая и самая прочная материя, однако оно грубое, толстое и серое. А Карл-Артур всю свою жизнь носил одежду из тонкой, гладкой материи, которая была ему к лицу. Ему никогда и в голову не приходило, что он наденет сюртук из сермяги.

Этот подарок сделал его поистине несчастным; он думал теперь лишь о том, какой бы повод ему найти, чтобы не шить из нее платья и не ходить одетым, как простой мужик.

Жена и дети стояли перед ним в ожидании одобрений и похвал. Когда же таковых не последовало, они огорчились и встревожились.

Карл-Артур понимал, сколько им пришлось работать, чтобы раздобыть шерсть, чесать ее, прясть и ткать. Им пришлось трудиться над этим целую осень. И, уж верно, когда они чесали, мыли шерсть и ткали, они подбадривали себя, говоря о том, как он обрадуется и станет хвалить сукно. Он удивится, как у них достало денег на такой дорогой подарок, и скажет, что теперь, мол, у него будет одежда из толстого сукна и ему не придется больше мерзнуть ни в доме, ни на улице. Вот чего они ждали от него. Как же он должен был поступить?

Если бы он не сказал им что-нибудь приятное, долгожданный праздник был бы испорчен.

Он унаследовал от своей матери способность выходить из самого щекотливого положения и потому сразу догадался, что нужно сказать, хотя ему стоило труда заставить себя сделать это.

— Интересно, — сказал он, — станет ли портной Андерс отдыхать все Рождество. Надо бы непременно сходить к нему и разузнать. Быть может, он найдет время сшить мне что-нибудь из этой материи до того, как наступят сильные холода; хоть будет что теплое надеть.

Тут лица у всех просияли. Они поняли, что он просто поразился их умению, оттого и показался им вначале таким испуганным.

## V

С того самого воскресенья на масляной, когда Карл-Артур сбился, читая проповедь о любви, он более не делал попытки говорить экспромтом. Он сочинял все свои проповеди, сидя за письменным столом, и требовал, чтобы в доме было тихо, пока он работал.

И вот однажды утром он взял с жены и детей слово, что они не будут ни шуметь, ни петь, как всегда, так как он должен был писать проповедь. Они терпели не более получаса, а потом разразились безудержным смехом.

Он подождал минуты две, потом распахнул дверь в кухню, чтобы посмотреть, что случилось.

— Уж ты, муженек, не серчай на нас, — сказала жена и тоже зашлась так, что слезы потекли из глаз. — Котенок наш тут такое вытворял, мы старались не смеяться, да не сдержались, и еще хуже вышло.

Однако смех тут же замер, когда он строго заявил, что они своим поведением все ему испортили, что он готов уйти куда глаза глядят, лишь бы никогда более не слышать их вечный смех да крики.

— Извольте не шуметь. Чтобы никто до обеда не заходил в мою комнату и не мешал мне, — сказал он и сильно хлопнул дверью.

Желание его было исполнено, он работал в тишине до самого обеда. За обедом жена сказала ему, что у них недавно побывали

докторша Ромелиус и фру Шагерстрем — заказали волосяные цепочки для часов и браслетов. Она была очень рада их приходу — плохо ли получить большой заказ, и к тому же сестры были такие веселые и приветливые.

Карл-Артур знал, что докторша недавно вернулась домой и что она будто бы совершенно поправилась. И ничего в том не было удивительного, что Шарлотта, навестив сестру, нашла предлог для того, чтобы зайти к нему и посмотреть, как он живет. И все же эта новость совершенно потрясла его. Он стоял не переводя дыхания, не в силах сказать ни слова.

Шарлотта была здесь! Она находилась под его крышей, а он и не знал этого!

Он спросил с деланным равнодушием, не изъявляли ли гости желания повидать его.

Да, они много раз о нем спрашивали, но ведь он строго-настрого наказал, чтоб никто не мешал ему.

Ему нечего было на это ответить. Бранить было некого. Он только не мог понять, как это он не услышал, что они здесь, и не узнал их голосов. Он прикусил губы и не сказал ни слова.

Жена бросила на него испытующий взгляд.

— Сам понимаешь, что таких важных господ к тебе бы надо было провести, — сказала она. — Только я растерялась, когда они на кухне стояли посреди такого развала, да и не посмела зайти к тебе.

Одним словом, оставалось только молчать, но разочарование свинцовым грузом легло ему на грудь. Хоть бы было на кого свалить вину в этом несчастье! Еда показалась ему безвкусной. Он с трудом проглотил кусок-другой.

После обеда он бросился на диван в своей комнате, однако лежать не смог. В нем все клокотало и кипело. Сожаление и тоска терзали его.

Он сел и собрался было идти, но почувствовал, что не в состоянии сейчас спокойно разгуливать по дороге. Ему хотелось кричать, драться, размахивать руками.

Он вошел в дровяной сарай, схватил топор и постоял с минуту, играя им. Потом он вдруг принялся колоть поленья, что лежали в сарае. Он делал это вовсе не для того, чтобы принести пользу в доме, а просто чтобы найти выход тому, что бушевало, кипело и грохотало в его душе.



И это принесло ему облегчение. С первым же ударом топора он почувствовал, что успокаивается. Так он колот дрова часа два и стал совершенно спокоен, он победил эту боль.

Он стоял разгоряченный и вспотевший, когда в дверях показались ребяташки. Оказалось, что их прислала матушка спросить, не желает ли он выпить кофе.

Он пошел за ними. Видно, жена сварила кофе в честь того, что он нарубил дров.

Здесь его поразила непривычная обстановка. Дело было не только в том, что в кухне было проветрено, в комнате подметен пол и чашки поставлены на настоящий стол. Нет, суть была в том, что жена и дети смотрели на него теперь совсем по-иному. Раз он сумел наколоть дров, значит он, как и все они, может приносить пользу в хозяйстве, значит он настоящий работник.

Он вдруг сразу стал главой семейства, самым важным лицом в доме, с кого брали пример все остальные.

## ГРЕХОПАДЕНИЕ

### I

Однажды утром Карл-Артур, который взял за правило колот дрова по несколько часов в день, только что принялся за работу в сарае, как вдруг увидел тень, промелькнувшую в дверях. Он поднял голову, и ему показалось, что он узнал Тею Сундлер, которую не встречал целую зиму. Он поспешно бросил топор и выбежал из сарая. Это в самом деле была фру Сундлер, но она уже вышла за калитку и поспешила вниз по склону холма. Он закричал ей вслед, но она, вместо того чтобы остановиться, ускорила шаг. Он работал в одной рубашке, а сейчас поспешно накинул сюртук и побежал вслед за нею. Здесь было что-то непонятное, в чем он должен был разобраться.

Органист всю зиму так сильно страдал от приступов ревматизма, что с трудом мог двигаться. Однако для того, чтобы он мог отправлять свою службу, помощник органиста и церковный сторож с большим трудом помогали ему подняться по узкой лесенке на хоры. Тея всегда

поднималась туда и сидела рядом с мужем во время службы. Она не показывалась ни внизу в церкви, ни в ризнице.

Карл-Артур начал подозревать, что виной тому, что они теперь никогда не встречались, была не только болезнь ее мужа. Очевидно, у нее была другая причина избегать его, и поскольку он питал к ней искреннюю симпатию, то не хотел упускать случая объясниться с ней.

Ему удалось догнать ее, пока она не успела еще спуститься с холма и свернуть на деревенскую улицу.

— Тея! — воскликнул он и положил руку ей на плечо. — Остановись, бога ради! Что с тобой случилось? Неужто ты боишься меня?

Она не подняла глаз и оттолкнула его руку, пытаясь освободиться.

— Позволь мне пройти! — еле слышно пробормотала она.

Карл-Артур не послушался и загородил ей дорогу. Он заметил, что глаза у нее были красные от слез и что она похудела. Казалось, она, как и ее муж, перенесла тяжелую болезнь.

Он дал ей понять, что не отпустит ее, пока не узнает, отчего его давний верный друг и советчица не хочет более видеться с ним. Что он сделал дурного? Чем он провинился?

— Ты? — спросила она, и в голосе ее явственно прозвучала боль. — Ты? Чем ты мог провиниться передо мной?

Она подняла на него глаза, и он прочел на лице ее безграничное страдание. Карл-Артур смотрел на нее с удивлением. Тею никогда нельзя было назвать красивой, но ее откровенное отчаяние делало некрасивые черты выразительными и трогательными.

— Пусти меня! — вырвалось у нее. — Пасторша Форсиус взяла с меня обещание. Я поклялась, что никогда больше не буду встречаться с тобой. Только при этом условии ты мог вернуться домой к жене.

С этими словами она оттолкнула его и свернула в деревню. Карл-Артур не стал ее удерживать. Ее слова заставили его серьезно призадуматься, и он стоял совершенно потерянный.

На следующий день Карлу-Артуру довелось еще раз встретиться с фру Сундлер. Один из детей занемог в горячке, и он пошел к доктору Ромелиусу, чтобы привести его к постели маленького пациента. Оказалось, что в этот день доктор принимал больного, и его отослали в приемную. Там же сидела фру Сундлер, которая оживленно беседовала с пожилой крестьянкой.

Когда Карл-Артур вошел в комнату, она тут же поднялась, чтобы уйти, но потом передумала и снова села. Он молча поклонился, не делая попытки заговорить с ней, но вскоре она сама обратилась к нему:

— Мы вот с матушкой Пер-Эр немного растерялись, когда ты вошел, мы ведь как раз о тебе толковали. Однако нам, собственно говоря, теряться-то нечего — не было сказано ничего, кроме хорошего. Не правда ли, матушка Пер-Эр?

Большая и грузная крестьянка добродушно улыбнулась.

— Да, магистр мог бы слышать каждое слово.

— Ну, конечно, — подтвердила фру Сундлер, — мог бы. Мы только сказали, что не можем понять, как у тебя хватает сил выносить все это! Ты сидишь там круглые сутки с оравой горластых ребятишек, не зная ни минуты покоя. А еще мы сказали, что ты, верно, рожден не для того, чтобы быть в дровосеках и сапожниках у выводка Матсаторпаря. Но самое-то удивительное, что это тебе самому не надоедает.

— Магистру, видно, не во вред тяжелая работа, — вмешалась крестьянка. — Магистр всегда на вид такой бодрый и здоровый.

— А еще мы говорили, что с твоей стороны весьма разумно носить сермяжное платье. Ты показываешь людям, что всерьез порвал с прошлым. Ты хочешь вести жизнь бедняка и не желаешь даже выглядеть барином.

— Сперва, — сказала крестьянка, — сперва мы все думали, что это комедь одна с домишком этим да с бедностью. А теперь видим, это вовсе не так.

Карл-Артур почувствовал, как румянец сильной досады залил его щеки. Он считал, что Тея ведет себя бесцеремонно, и покачал головой, давая понять, что ей следовало бы выбрать другой предмет для разговора.

— Какая важность, что проповеди твои не так хороши, как прежде, — продолжала Тея. — Я только что сказала матушке Пер-Эр, что вся твоя жизнь — проповедь.

— Да уж, жизнь магистра и жены его для нас все равно что проповедь, — уверенно отозвалась крестьянка. — Как она по воскресеньям в церковь приходит, а за ней вся ватага ребятишек, все нарядные, румяные, послушные да ласковые, так мы, старухи, на них не налюбujemyся! Стоим да вспоминаем, как эти ребятишки прежде

бегали здесь по горушкам оборванные, беспризорные. Доброе дело пастор с пасторшей сделали.

— Да уж, это верно, — сказала Тея, — и знаете, матушка Пер-Эр, если бы и нашелся такой человек, что сумел бы положить конец их мытарствам с ребятишками, так он вряд ли решился бы на это. Ведь просто грех мешать столь благородному поступку, которым все восхищаются.

Карл-Артур сидел опустив голову, но тут он быстро глянул на них. На лице его появилось выражение ожидания и надежды.

— Неужто, по-вашему, найдется человек, который захочет взять ребятишек? — спросила крестьянка. — В Корсчюрке никто не слышал, чтоб у них была какая родня; есть дядя по отцу, так он такой же бедняк, как их покойный отец.

— Ну, а если их дядя теперь выгодно женился и у него своя усадьба и хорошая жена? Кабы он узнал, что брат его умер, весьма возможно, он захотел бы взять детей.

— Ну, разве что так, — сказала крестьянка.

Больше она ничего не успела сказать. В этот момент дверь в кабинет доктора отворилась, и вышел пациент: теперь был ее черед.

Когда Карл-Артур и Тея остались одни, на мгновение наступила тишина.

Потом Тея заговорила, но голос ее звучал теперь совсем не так, как несколько минут назад. Она вся трепетала от волнения.

— Я сидела дома и молила Господа, чтобы он помог тебе, — сказала она. — Я знала, что ты хочешь жить в бедности, отказаться от роскоши, но могла ли я подумать, что ты собственноручно станешь чинить башмаки и рубить дрова. Ведь так ты можешь погибнуть. Я считаю, что я за тебя в ответе. Мне бы надо было беречь тебя, а я не могу даже ни разу пригласить тебя в дом. О, как это ужасно, как ужасно!

Карл-Артур сделал движение рукой, словно хотел помешать ей продолжать, но она, словно не замечая, подошла к нему вплотную и стала говорить, подчеркивая каждое слово, как будто хотела, чтобы слова ее запали ему глубоко в душу.

— У Сундлера есть брат, — сказала она, — он органист в уезде Эксхерад. Сейчас он гостит у нас, и вчера, когда мы сидели и беседовали, разговор вдруг зашел о тебе и десяти ребятишках. И тут он

возьми да и скажи, что в Эксхераде живет один человек, он родом из Корсчюрки и, должно быть, приходится братом Матсу-торпарю. Человек этот много раз говорил моему деверю про своего брата, многодетного бедняка, однако он не знал, жив ли его брат. Деверь мой едет домой сегодня после обеда. Просить мне его сказать дяде этих ребятишек, что они живут из милости у тебя и твоей жены, или просить, чтобы он ничего не говорил?

Карл-Артур поднялся. Он выпятил грудь и расправил плечи. Все, что он выстрадал, все, что он вынес из-за этих детей за эту зиму, всплыло у него в памяти. Освободиться от них, освободиться от них по добру и честно!

— Ты не можешь размышлять в тишине и покое, — горячилась Тея. — Твои проповеди стали такие, что и школьник постыдился бы написать что-либо подобное. Прежде ты умел говорить, словно ангел, которому ведомы все тайны царства божьего. А теперь ты не знаешь ничего.

Карл-Артур продолжал сидеть молча. За последнее время он привык к своему убогому образу жизни. С детьми они были теперь добрыми друзьями. Ему казалось, что с его стороны все же будет трусостью отослать детей, не довести борьбу до конца.

— Скажи наконец что-нибудь! — молила фру Сундлер. — Ведь я должна знать, чего ты хочешь. Матушка Пер-Эр может войти сюда в любую минуту. Ну, хоть намекни!

Он рассмеялся. Разве можно было ждать другого ответа! Когда Тея говорила ему все это, он чувствовал, как ломаются оковы, как тает лед, как звучат песни свободы.

И тут он сделал то, чего не делал никогда. Он наклонился, обхватил Тею руками и в порыве бесконечной благодарности поцеловал эту маленькую безобразную женщину прямо в губы.

## II

Да кто она такая, чтобы судить собственного мужа, который знает куда больше, чем она, который умеет проповедовать слово божье и наставлять на путь истинный несчастных заблудших грешников? Видно, ей остается только верить, что он и на сей раз прав, что

позволил увезти детей. Позднее, поразмыслив обо всем, она поняла, что мужу ее нельзя было поступить иначе. Ведь это родной дядя приехал забрать ребятишек. Кабы их дядя был бедняком, то дело иное, но раз он теперь живет в достатке, раз у него своя усадьба, добрая жена, а детей нет, так мог ли Карл-Артур не дать ему увезти племянников к себе домой?

Сперва она только и думала, что человек этот всего-навсего обманщик, что он хочет сманить от нее детей. Однако двое старших признали его, припомнили его и другие люди на деревне. Просто раньше никто не знал, что ему так повезло. Ведь когда он уезжал из Корсчюрки, то был не богаче своего брата.

Приход, в котором жил этот дядюшка, был где-то далеко на севере, поэтому нечего и удивляться, что он не слыхал про то, что Матс-торпарь помер, а дети его живут в чужих людях. Когда же он узнал все как есть, то тут же отправился в Корсчюрку предложить всем десятерым ребятишкам поселиться у него в богатом доме.

Доброе дело сделал он. Она должна была поверить, что он человек достойный. Ни она, ни кто другой на свете не могли осудить ее мужа за то, что он позволил детям уехать с дядей.

Карл-Артур ни на чем не настаивал. Однако он так красиво говорил о том, что это само провидение привело к ним незнакомого человека, чтобы облегчить тяжкое бремя, которое им приходилось нести, в особенности ей, разумеется. Он растолковывал ей, что теперь, когда у нее в середине лета будет свой ребенок, она не сможет работать на них на всех, как прежде.

Она полагала, что он прав, и сама была в нерешительности, не зная, чего она хочет. Речи о боге сбили ее с толку. Ребятишки были такие славные. Может, богу было угодно, чтобы им жилось лучше, чем у нее. И Карлу-Артуру, видно, приходилось не сладко, хуже, чем она думала. И все же, слушая его, она понимала, что он говорит все эти красивые слова только ради того, чтобы уговорить ее отослать детей.

Просто удивительно, как мало были дети опечалены тем, что покидают ее. Они ведь уедут далеко и увидят много нового. У дяди есть лошади и коровы, поросята и куры, они будут ходить за ними и задавать им корм. А еще у него есть собака, она умеет благодарить за еду и передразнивать пономаря — показывать, как он затягивает

псалом в церкви. Дети, верно, никогда не думали, что им выпадет такое счастье — услышать, как собака распевает псалмы.

Когда они уехали, она уселась на шаткий камешек возле дома и сидела так долго-долго. Ей не было ни до чего дела. Уже несколько лет ей не доводилось сидеть вот так неподвижно, сложа руки, разве что по воскресеньям, да и то не всегда. Она сказала себе, что ей бы надо радоваться, — ведь наконец-то она могла хоть немного отдохнуть.

К ней подошел муж. Он сел рядом с ней, совсем близко, взял ее за руку и стал говорить, как они теперь будут счастливы. Он считал, что дети были ниспосланы им как испытание, и то, что теперь их взяли от них, было знамением божьим: видно, Господь был доволен тем, что они сделали для этих малюток.

Она знала, что она — ничто в сравнении с ним, что она ничего не смыслит в знамениях господних, что она даже грамоте не сумела выучиться, но все же она рассердилась на него. Она ответила, что дети были ниспосланы ей божьей милостью и что, видно, она в чем-то провинилась, раз их отобрали у нее.

Услышав ее ответ, муж поднялся и ушел, не сказав ни слова. А она не окликнула его и вовсе не раскаялась в своих словах. Она была словно сосуд, наполненный горькой желчью. Нелегко было прикоснуться к ней, не расплескав эту горечь через край.

Она знала, что ей надо было идти в кухню, убрать и вынести вещи ребятишек, но боялась войти туда. Боялась огромной пустоты, которая встретит ее.

Теперь она будет чувствовать себя такой же беспомощной и покинутой, как в первые дни после замужества, пока она не взяла к себе детей. С ними ей было хорошо и спокойно. Ведь надо же быть такой дурой, чтобы позволить кому-то отобрать у нее детей!

Она сидела, а перед глазами у нее стояла телега, на которой их увезли. Ребятишки погрузили на нее узелки с одеждой и прочий скарб, который мог им пригодиться. Младшие поехали на телеге, старшие пошли с дядей пешком. Дядя засмеялся и сказал, что люди примут их за цыган: ведь цыгане ездят обыкновенно с ребятишками да с узлами.

Удивительно, как легко дети простились с ней. Они только и думали про повозку, про лошадь и про то, что они возьмут с собой. Больше всего они жалели, что котенок не хотел ехать с ними. Они ни слезинки не проронили. Да и сама она тоже не плакала. Но едва они

уехали, как ей стало страшно. Ей представлялось лицо их дяди. Может, он вовсе и не такой кроткий и добросердечный, каким прикидывался у них в доме. Он, верно, двоедушный, злой и жадный. Детям у него придется несладко.

Она приняла это как нечто совершенно очевидное, в чем нельзя и сомневаться. Она ведь сразу хотела побежать им вслед и воротить их, да тогда она не успела еще прийти в себя. И зачем только она не сделала этого, покуда еще было время. Теперь мысль о том, что дети будут голодать и холодать, не давала ей покоя.

Дело уже шло к весне. Снег стаял, и солнце светило тепло и ласково. Дети могли бы скоро перебраться в свой дом, и Карлу-Артуру было бы не так трудно.

Она пыталась подбодрить себя, думая о том, что теперь ей придется стряпать только на одного. К тому же не надо будет сидеть до полуночи и штопать дырявые чулки.

Кабы только ей знать, что им станут штопать чулки там, куда они сейчас едут! Кабы знать, что им будет велено читать молитвы по вечерам! Меньшая-то ужас как боится темноты. Кабы только знать, что кто-то станет о ней заботиться! Ведь ей всего-навсего шесть годков, и она нипочем не заснет, если никто не будет сидеть с ней рядом и держать ее за руку!

## **ШКАФ**

В течение нескольких дней после того, как Анна позволила детям уехать, она чувствовала себя такой беспомощной и так сильно каялась, что не в силах была даже прибраться в избе за детьми. Она была уверена, что дети терпят у своей родни нужду и побои и что с нее и мужа строго спросится за то, что они позволили детям уехать к худым людям.

Мысль о том преследовала ее помимо ее воли, словно лихорадка. Она пыталась с этим бороться, но не могла. У нее не было ровно никакого повода так тревожиться, однако она не могла избавиться от мысли, что дядя, забравший детей, человек злой и опасный — по лицу угадать можно, — жена же его, о которой она ничего не знала, представлялась ей сущей ведьмой. Она уверилась в том, что кара прежде всего падет на голову младенца, которого она ждала. Он



родится на свет либо уродцем, либо слепым и глухим. А может быть, Анна помрет родами, и дитя ее будет расти сиротой.

Говорить о том с Карлом-Артуром не было толку. Он и слушать ее не хотел, когда она говорила, что дети, верно, терпят нужду и что их самих Бог накажет. Он был с ней, правда, ласков, однако все ее страхи считал пустыми, и ей пришлось самой справляться с ними.

Однажды утром Анна решила, что нашла средство для исцеления. Она принялась выносить из кухни кросно, прялки и прочий инструмент. Скамью и диванчики, принадлежавшие ребятишкам, она внесла к ним в дом и заперла там. Потом она выскоблила пол, промазала стены свежей клеевой краской, вымыла и высушила все в доме и вскоре уже сидела в кухне, такой же прибранной, чистой и пустой, какой она была в тот день, когда Анна в первый раз переступила ее порог.

Когда она убрала все, что наводило ее на мысль об ораве ребятишек, то сказала себе, что надо постараться представить себе, будто все идет, как в первые дни ее замужества. Детей здесь никогда и не было, ей это просто приснилось. Если ей удастся уверить себя в том, что они и вправду никогда не жили у нее в доме, все будет хорошо. Ведь ни один человек не станет горевать и убиваться из-за того, что ему приснилось.

— Будто ты не знаешь, что молодые жены как выйдут замуж, так только и знают, что сидят да думают о своих мужьях, — пробормотала она про себя. — Берись за пряжу да за спицы и свяжи ему пару рукавиц, то-то будет работа по сердцу! Думай лишь о том, что ты теперь пасторша, что тебя возвысили надо всеми другими коробейницами!

И она принялась вязать рукавицы, но успела сделать лишь несколько рядов, как заметила на краю стола фигурки, вырезанные острым ножом. Видно, это проделки мальчишек. Ведь знают озорники, что царапать стол не велено, да разве их отучишь вырезывать да чиркать по всему, что только есть в доме деревянного.

Она подняла голову и уже собралась было отчитать их как следует. Но белобрых головенок, на которые можно было излить свой гнев, не оказалось. Здесь было пусто, на нее глядели лишь побеленные стены: голые, ничего не выражающие.

Она долго сидела не шевелясь, со спицами в руках. Потом вдруг поднялась, достала нож и в сердцах струганула по краю стола, разом соскоблив все художества. Лицо ее исказилось, словно она вонзила нож в собственную плоть, но потом сразу же снова принялась вязать.

«Ну и дура же я! — думала она. — Ведь это Карл-Артур напроказничал, а не кто-нибудь другой. Он всегда ест на этом конце стола. Да в нашей кухне вовсе и не было никаких ребятишек. Как бы это такие бедняки, как мы, посмели взять к себе чужих детей? Быть того не может. Дай бог самих себя прокормить да малыша, которого ждем».

Она продолжала вязать, губы ее были плотно сжаты, глаза, не отрываясь, смотрели на вязанье. Она думала сейчас обо всем, что напоминало ей детей, которых спровадил Карл-Артур, так что она и теперь может вообразить, будто их никогда возле нее не было.

Немного погодя послышался шорох, потом что-то шлепнулось на стол. Это котенок, любимец всех десятерых ребятишек, с которым они так часто забавлялись, проснулся, сладко выспавшись на печи, и прыгнул оттуда поиграть с ее клубком.

Она быстро поймала котенка. Он больше всего наводил ее на мысль о тех, кто с ним играл, и она хотела вышвырнуть его за дверь. Но, почувствовав под рукой теплое, мягкое тельце, она не могла не приласкать его. Тут клубок шерсти свалился на пол, и котенок в два прыжка догнал его. Клубок покатился дальше. Котенок хотел остановить его, а клубок все ускользал от него. Анна тоже бросилась ловить клубок, чтобы пряжа не растрепалась, и поднялась кутерьма. Котенок гонялся из угла в угол, а клубок тоже резвился, как живой. Анна невольно смеялась, напрасно пытаясь остановить его. «То-то ребятишкам сейчас весело», — думала она, нарочно затягивая игру, чтобы позабавить малышей.

— Чего ж вы, ребятишки, идите сюда, помогите мне! — воскликнула она.

Не успела она вымолвить эти слова, как тут же опомнилась. Она быстро схватила котенка, шлепнула его по спине так, что он жалобно мяукнул, и вышвырнула его за дверь.

— Неужто я так и не выкину этих ребятишек из головы? — громко сказала она, сматывая пряжу. — Видно, мне никогда не успокоиться.

Она принялась ходить взад и вперед, ломая руки, словно ее мучила боль. Однако вскоре она снова села за работу. Она была рада, что сделала это; ведь не прошло и двух минут, как дверь отворилась и на пороге показалась старая Рис Карин из Медстубюн.

Рис Карин захаживала к ней передать поклоны из Медстубюн и в нынешнем году и в прошедшем. Только в те разы кухня была полна ребятишек, повсюду расставлены ленточные станки да прялки, работа шла так, что гул стоял. Увидев, какой тут наведен порядок, она вытаращила глаза от удивления.

— Ну и дела! — воскликнула она, оглядываясь по сторонам.

Вопросы посыпались градом на Рис Карин. Ей пришлось выкладывать, как поживают матушка Сверд и Иобс Эрик, семейство ленсмана и пастор с пасторшей, Рис Ингборг и пономарь Медберг. Ни один человек в Медстубюн не был забыт, про каждого надо было рассказать.

Когда первое любопытство было удовлетворено, Анна принялась варить кофе. Она побежала в сарай за дровами, потом к колодцу за водой. Затем она стала раздувать огонь, намолочила кофе, отрезала несколько ломтей свежего хлеба, поставила на стол чашки и блюдца. Она бегала и суетилась, гремела посудой и роняла все, что попадалось под руку. Рис Карин поняла, что надо повременить с расспросами про десятерых ребятишек, пока Анна не сядет спокойно пить кофе.

Когда же они наконец уселись за стол, положили за щеку по куску сахара и налили кофе остывать на блюдце, на Карин снова хлынул поток вопросов. Теперь разговор пошел о старых знакомых. Как там они все, и девушки и парни? Ходит ли все еще Ансту Лиза с коробом, ведь лет ей немало? Все такая же охотница до игры в карты, как прежде?

Но Ансту Лиза была закадычной подружкой Карин и соперницей по торговле, и потому они успели выпить не одну чашку кофе, толкуя обо всех ее проделках и уловках. Рис Карин считала, что такого человека и пускать-то на дорогу с коробом негоже. Честным людям, что своим горбом на хлеб зарабатывают, стыдно иметь дело с такой товаркой.

Но вот кофе был выпит, и пришло время старой далекарлийке отправляться восвояси. Она, не будь дурой, смекнула, что Анне не хочется рассказывать, куда подевались ребятишки, и не стала

досаждать ей расспросами, зная, что может все разузнать в любом доме по соседству.

Но когда Рис Карин уже взвалила мешок на свою согбенную спину, распрощалась и взялась за дверную ручку, она вдруг еще раз обернулась.

— Да, не забыть бы дело-то, по которому я к тебе пришла, — сказала она, нашаривая в кармане юбки кошелек с деньгами. — Ты меня и не спрашиваешь, не заработала ли я денег для тебя, — продолжала она и протянула Анне бумажку в пятьдесят риксдалеров.

Когда Карин прошлой весной была в Корсчюрке, Анна дала ей кипу мотков тесьмы да несколько локтей кружев, изготовленных ребятишками, и попросила продать их. Анна вовсе про то не позабыла, просто не хотела заводить речь о том, что касалось детей.

Пятьдесят риксдалеров было неслыханно много, и она спросила Карин, не найдется ли бумажки помельче. У нее нет сдачи.

— Не надо мне никакой сдачи. Все деньги твои. Сперва я продала то, что ты дала мне, а после пустила деньги в оборот, так что как раз пятьдесят набежало. На, бери. Тебе они пригодятся, ртов-то у вас больно много.

Хоть и стара была Рис Карин, а быстра на ногу. Она поспешила затворить за собой дверь, чтобы избежать выражений благодарности, и пошла чуть ли не бегом. Прошло минуты две, не больше, как Анна догнала ее. Сейчас она была больше похожа на себя, чем прежде, она не знала, как и благодарить Карин, и проводила ее до самого дома доктора, где Карин надеялась выгодно продать что-нибудь: ведь теперь докторша получила столько денег от богатой сестры, что ей не надо, как раньше, дрожать над каждым эре.

Анна долго сидела в кухне, держа в руках полсотни риксдалеров, и на губах ее играла счастливая улыбка. Она радовалась деньгам, как всегда, но на этот раз нежданная прибыль заставила ее так ликовать. Здесь речь шла о более важном — то было знамение, настоящее чудо. Она ожидала кары господней за то, что отдала детей, а вместо того получила от них такой дорогой подарок. Она и думать не думала о таком счастье. Опасения и страх покинули ее душу. То, чего она боялась, не случилось, вышло как раз наоборот.

Она не могла не поделиться своим счастьем и пошла к мужу, который сидел за письменным столом в господской комнате, показала

ему кредитку и попросила его спрятать ее у себя. У нее в кухне некуда было прятать.

Когда она вошла, Карл-Артур оторвался от работы и рассеянно взглянул на нее. Он не сразу понял ее объяснения, что это деньги, вырученные за поделки, изготовленные детьми. Им никто не помогал, они сами все сделали. И деньги эти они послали ей в благодарность за все и в знак того, что Бог не покарает ее за то, что она спровадила их из дому.

Карл-Артур не стал возражать, хотя ее доводы показались ему весьма туманными. Он видел, что жена его снова обрела уверенность и хорошее расположение духа, и этого ему было достаточно. Он даже предложил, чтобы она на эти деньги, которые ей достались так неожиданно, купила бы себе что-нибудь по душе.

Анна нашла, что это хорошая мысль, и сразу же пошла к себе, чтобы подумать на досуге, на что бы лучше употребить это сокровище, которое ей словно с неба свалилось. Ей не пришлось долго думать над тем, чего ей больше всего хотелось. Когда она впервые вошла в кухню, то сразу решила, что там не хватает большого кухонного шкафа с ящиками внизу и с полочками и дверцами наверху. Большой шкаф от полу до потолка хорош не только тем, что нужен в хозяйстве. Он к тому же придает приличный вид комнате, в которой стоит.

Анна не могла придумать, что могло бы им быть нужнее, и, коль скоро муж ее был с ней согласен, а деньги лежали у него в письменном столе, то она не видела, что могло бы помешать ей пойти к деревенскому столяру, искусному мастеру, и заказать шкаф.

Столяр жил в деревне на главной улице, через несколько домов от органиста, и когда она брела по дороге, ей повстречалась фру Сундлер, которая, видно вышла нарвать весенних цветов. Во всяком случае, она держала в руке несколько маленьких подснежников.

На фру Сундлер не было салопа, и Анна тому сильно подивилась. Сама она вовсе не заметила, что стало уже совсем тепло. С тех пор как дети уехали от нее, она ни о чем, кроме них, не думала. Ни на погоду, ни на что другое она вовсе не обращала внимания. Теперь она снова увидела, что сияет солнце, что высокое и голубое небо усеяно пушистыми облачками.

Ей показалось, что все это связано с той большой радостью, которую она испытывала в тот день, и когда фру Сундлер

поздоровалась с ней и протянула ей руку, она не поспешила уйти, как поступила бы в другой день, а остановилась. Она сказала себе, что нет ничего страшного, если она перемолвится с ней словечком. Нельзя же, в самом деле, вечно враждовать с человеком, который живет с тобой в одной деревне.

Фру Сундлер сказала, что она чувствует себя, как выпущенный на волю узник, оттого что ее мужу намного полегчало и теперь он может выходить из дому без ее помощи. Сама она провела несколько часов в лесу, и невозможно описать, как это было прекрасно. Казалось, душа у нее, как и сама природа, оттаяла и обрела новую жизнь.

Еще тогда, когда Анна только что приехала в Корсчюрку, она сразу почувствовала к фру Сундлер какую-то жалость. И сейчас она сказала ей, что понимает, какой тяжелой для нее была эта зима, и собралась было идти дальше.

Но фру Сундлер удержала ее. Ведь после того как ты просидела всю зиму взаперти, так приятно поговорить со старым другом, каким она всегда считала жену Карла-Артура. Не будет ли фру Экенстедт так добра заглянуть к ней домой и потолковать минутку-другую? Ведь отсюда всего два шага до ее дома.

Анна не хотела задерживаться, ибо спешила к столяру, и отказалась наотрез. С господами она всегда чувствовала себя немного неловко. Может быть, фру Сундлер разобиделась на то, что Анна не согласилась пойти к ней, не объяснив причины. Тут она принялась рассказывать, что нежданно-негаданно получила деньги и собралась идти к столяру, чтобы заказать шкаф. Фру Сундлер просияла и сказала в ответ, что не удивляется тому, что фру Экенстедт спешит, и поздравила ее с покупкой вещи, столь приятной и нужной в хозяйстве.

Она не стала более удерживать ее, и вскоре Анна очутилась в мастерской столяра. Здесь она уже спешить не стала, а застряла надолго. Прошел целый час, пока они со столяром решили, какой высоты будет шкаф и формы, какие у него будут ящики и замки, какой цвет и какие украшения. Не так-то легко было условиться и о цене, но в конце концов и о том они договорились.

Когда Анна, заручившись обещанием столяра, что шкаф будет готов через месяц и что цена ему будет не более сорока риксдалеров, воротилась домой, она была так рада, что не удержалась и зашла к Карлу-Артуру рассказать ему про этот уговор.

Но Карл-Артур, казалось, вовсе не обрадовался.

— Вот уж не думал, что ты так поспешишь, — сказал он. — Я бы сам сходил с тобой потолковать со столяром.

— Откуда мне было знать, что у тебя есть на то время.

— Вообще-то я занят, однако... — начал он, но замолчал, прикусив губу.

Жена испытующе посмотрела на него. Она увидела, что он смутился и покраснел, как девушка.

— Говори, муженек, чего ты хочешь, — сказала она.

— Чего я хочу? — сказал Карл-Артур. — Я полагаю, раз ты сама решила, что деньги достались нам чудом, так, может быть, следовало бы употребить их не на наши собственные нужды, а на какое-нибудь богоугодное дело.

— Уж не отдал ли ты кому мои деньги? — сказала она, нимало не подозревая, что так оно на самом деле и было.

Карл-Артур покашлял, прочистил горло, а потом объяснил, что к ним заходил органист Сундлер. Он был так счастлив, что может наконец ходить, ведь он прохворал целую зиму. Карл-Артур сказал, что ему надо полечиться летом, чтобы недуг этот снова не одолел его на следующую зиму; органист же ответил, что он не желал бы ничего лучшего, как поехать на воды в Локу и полечиться от подагры, только вот денег у него нет.

— Но ты уж, поди, не отдал ему деньги, что нам прислали дети?! — воскликнула Анна с упреком.

— Дорогой друг мой, — сказал Карл-Артур очень холодно и высокомерно, — известен ли тебе более достойный способ употребить деньги, дарованные нам Господом, нежели совершить доброе дело?

Анна подошла к нему вплотную. Она была бледна, а в ее глубоко сидящих глазах трепетали искры. Казалось, будто она и вправду хочет отнять у него деньги силой.

— Ты чего же, не понял, что я тебе сказала? Ведь это знамение, это же сами дети послали нам деньги, благодарят нас. Ты, видать, забыл, как этот человек обошелся со мной, когда был у нас в прошлый раз.

— Может быть, именно об этом-то я и подумал.

Анна разразилась громким безудержным смехом, но смех этот был безрадостен. Карл-Артур нетерпеливо повернулся к ней.

— Ты находишь это смешным?

— Да нет, я не над тем смеюсь. Мне пришло на ум другое. А когда же это органист приходил к тебе?

— Органист? Как тебе сказать, с полчаса тому назад. Он пробыл здесь недолго. Ты должна была с ним повстречаться по дороге домой.

— Я думаю, он не очень-то хотел попасться мне навстречу.

Она снова принялась хохотать страшно, безудержно. Карл-Артур выпрямился с еще большим достоинством.

— Не будешь ли ты так добра объяснить, над чем ты смеешься?

— Я не над тобой смеюсь, а сама над собой. До чего же я была глупа, когда сказала этой самой Тее про пятьдесят риксдалеров! И как это я не смекнула, что она выманит их у тебя.

Он немного испугался. Глаза жены сверкали таким злорадством, и он понял, что тут кроется нечто такое, чего он не знал. Однако он стукнул кулаком по столу, чтобы внушить к себе хоть какое-то уважение.

— Изволь же наконец вразумительно сказать, над чем ты смеешься!

В конце концов он узнал, как обстояло дело, но он никак не мог заставить себя поверить, что фру Сундлер послала к нему своего мужа, чтобы выманить у него полусотенную. Это было всего-навсего случайное совпадение.

— Это невозможно, — сказал он. — Так поступить было бы просто мошенничеством. Неужто Тея поспешила бы послать сюда своего мужа, узнав, что мы получили эти деньги? Тея, которая так благородна, так возвышенна, так щепетильна!

— Да уж не знаю, как там все это было, однако чудно, что он пришел брать деньги в долг как раз сегодня.

Хотя Карл-Артур и защищал фру Сундлер, он, казалось, был настолько поражен, будто на его глазах рухнула Вавилонская башня. Анна вспомнила тот воскресный вечер два года тому назад, когда Тея и органист пришли к ним, чтобы призвать ее к ответу за парадную шляпку. Может, и стоило полусотни риксдалеров увидеть, как ее муж теперь разочарован.

Однако долго торжествовать ей не пришлось. В коридорчике слышались шаги, затем сразу же раздался тихий и деликатный стук в дверь комнаты Карла-Артура, и вошла Тея.



Карл-Артур повернулся к письменному столу и, не глядя на нее, принялся рыться в бумагах. Фру Сундлер сделала вид, будто не замечает его, и обратилась к его жене.

— Милая фру Экенстедт, — сказала она, — я весьма огорчена. Я услышала от мужа, что Карл-Артур был столь великодушен, что одолжил ему пятьдесят риксдалеров. Я тут же сказала ему, что это, очевидно, те самые пятьдесят риксдалеров, которые заработала фру Экенстедт, и что мы не можем принять их. Фру Экенстедт собиралась купить на них шкаф, он ей в самом деле очень нужен. Что же тут приятного, когда посуда стоит на полке и пылится? И потому я попросила Сундлера отдать мне эти деньги, чтобы я могла пойти сюда и узнать правду. Я сказала ему, что если деньги принадлежат фру Экенстедт, то ему придется смириться со своей подагрой, потому что мы должны будем вернуть их назад. Но если это собственные деньги Карла-Артура, то он, разумеется, может взять их. Да, я заверяю фру Экенстедт, что мне его поистине жаль. Ведь он был так рад, что поедет в Локу и грязями вылечится от подагры. Но он сразу же признал, что я права.

Закончив свою тираду, она в тот же миг вынула из кармана кредитку и протянула ее Анне, точно так же, как ей подала ее Рис Карин несколько часов тому назад.

Но Анна едва обратила на это внимание. Она не смотрела на фру Сундлер, но не спускала глаз с мужа. Он все еще стоял молча у письменного стола, но после каждого слова, которое произносила Тея, он все более распрямлялся, становился выше и постепенно поворачивался к ней. Когда речь ее была окончена, чело его просветлело, веки приподнялись, и он бросил такой взгляд на маленькую женщину с рыбьими глазами, что жена его могла ей позавидовать. Потом он повернулся к ней, к Анне, которая протянула было руку, чтобы взять кредитку, и тут лицо его помрачнело, веки опустились, он скрестил руки на груди.

Делать было нечего. Уж лучше пожертвовать пятьюдесятью риксдалерами, чем позволить ей предстать перед ним чудом справедливости.

— Забирай себе бумажку! — сказала она фру Сундлер. — Это не та, что я поминала давеча утром, а совсем другая. Это деньги Карла-Артура.

— Неужто это возможно? Неужто это в самом деле возможно? — воскликнула Тея вне себя от счастья и благодарности. Однако она не стала больше задерживаться, а сразу отправилась восвояси, словно боялась, что случится что-нибудь такое, отчего ей придется отдать назад кредитку.

Жена не могла понять, как это Карл-Артур, который всегда так ратовал за правду, не сказал Тее, что это ложь, а на этот раз, казалось, был весьма доволен тем, что Анна солгала.

Он проводил Тею в прихожую и когда вернулся назад, то хотел заключить Анну в объятия.

— Ах, друг мой, — сказал он, — это было великолепно. Я не помню, чтоб мне довелось пережить что-либо подобное. Вы были обе неподражаемы — и ты, и Тея! Не знаю, кто из вас больше достоин восхищения!

Жена оттолкнула его и встала перед ним, крепко сжав кулаки, с лицом, искаженным гневом.

— Я все бы могла простить тебе, только не то, что ты позволил ей отобрать у меня эти деньги, — сказала она и вышла из комнаты.

## **КОЛОДА КАРТ**

### **I**

Так уж она была создана, она ничего не могла поделать, что уродилась такая. Не ее вина, что она была из тех, кто слова не вымолвит, если на кого осерчает. Да и самые упорные из таких и то через день-другой перестают дуться и молчать, но с ней обошлись столь несправедливо, что она могла только стиснуть зубы и молчать целую неделю.

И за работу она не в силах была приняться. Ей оставалось лишь сидеть скрючившись на лежанке как можно ближе к огню и раскачиваться взад и вперед, закрыв лицо руками. Единственное, на что она была способна, — это пить кофе. У нее был маленький чугунок на трех ножках, который она в годы своих странствий носила обыкновенно с собой на дне короба. Сейчас она не снимала котелок с огня и наливала из него чашку за чашкой.

Она делала кое-что по хозяйству и стряпала мужу обед, на том и дело кончалось. Она больше не могла садиться за стол вместе с ним, а только подавала ему еду и сразу же снова забиралась на печку и сидела раскачиваясь, даже не глядя в его сторону.

Муж, да что ей муж! Будь она только замужем за каким-нибудь далекарлийским парнем из Медстубюн, за таким, который понял бы, как ей сейчас тяжело, как ей нужна его помощь! Уж он, верно, зашвырнул бы ее котелок на горушку и заставил бы ее приняться за какое-нибудь рукоделие, и это только пошло бы ей на пользу.

А этот подходит к ней то и дело, спрашивает, здорова ли она, и просит так ласково, чтоб она сказала хоть словечко. А она молчит, как мертвая, и тогда он хлопает ее легонько по плечу, говоря, что ей скоро непременно полегчает, и отправляется восвояси.

Вот и вся помощь, какую она от него видит.

Она понимала, что у него на уме. Он, видно, слышал от кого-нибудь, что когда женщины ждут младенца, у них всегда бывают причуды. Вот он, видно, и вообразил, что на нее нашло что-нибудь в этом роде.

Но тут дело было совсем не в том, уж он-то должен был бы это понять, ведь он человек ученый. К тому же она была твердо уверена, что он знает, чего ей недостает, но делает вид, будто ничего не понимает. Он не любит этих ребятишек. Он не хочет, чтоб они воротились назад. Пусть лучше она сидит и мучается.

Нет, так уж она была создана, она ничего не могла поделать, что уродилась такая. Страх за детей без конца перемалывал ее душу, не давая ей ни минуты покоя.

Там, на севере, где сейчас живут дети, полным-полно бродяжек, которые слоняются вокруг по приходам да побираются. Они вечно таскают с собой целую ораву ребятишек, а если своих детей у них мало, они берут чужих. Она теперь была совершенно уверена, что шестерых младшеньких отдали такой вот побирушке. Их одели в лохмотья и мешковину, чтобы они походили на нищих. Им приходится ходить босиком, хотя снег там у них еще едва стаял, их морят голодом, бьют, словом — держат в черном теле. Ведь не годится, чтобы нищие ребятишки выглядели сытыми и веселыми.

Только бы ей увидеть детей живыми и здоровыми, она сразу бы стала прежней. Но как сказать о том Карлу-Артуру! Она не могла

заставить себя сделать это. Пусть сам до этого додумается.

Дома в Медстубюн любой парень догадался бы, что это-то ее и мучало. Он запряг бы лошадь и отправился в Эксхерад за ребяташками на другое же утро. А если бы он не захотел помочь ей таким манером, так схватил бы ее за волосы да стянул бы с печи на пол, и тут бы она поняла, в чем дело, и это тоже пошло бы ей на пользу. А этот только и знает, что придет да скажет ласковое слово да по плечу похлопает; на том дело и кончается.

Опостылил он ей. Прежде для нее никого не было милее, а теперь она с трудом терпела его, когда он приходил к ней в комнату.

Однажды в полдень, когда он пришел к обеду, она сидела с железной трубкой во рту и пускала большие клубы дыма. Она знала, что пасторше курить не пристало, но она должна было это делать. Словно кто-то ей приказал это. И теперь ее разбирало любопытство, что он скажет на то, что его жена сидит и курит, как старуха финка.

Видно было, что он испугался. Он тут же сказал, что не может мириться с тем, чтобы жена его курила табак.

Она посмотрела на него с надеждой. «Может, теперь-то он поймет, что должен помочь мне», — подумала она.

— Приготовься к тому, что я не стану обедать здесь, если ты будешь наполнять комнату табачным дымом, — сказал муж. — Коли ты намерена и впредь этим заниматься, тебе придется подавать мне еду в мою комнату.

Он даже не рассердился. Он был терпелив и добр к ней, как всегда. Она начала понимать, что ей никогда не видать от него помощи.

После того он всегда ел в своей комнате, однако же не забывал заглянуть к ней и справиться о ее здоровье. Он, по своему обыкновению, похлопывал ее по плечу и говорил ей ласковое словечко. И так проходил день за днем.

Все это время она много раз слышала, как открывалась входная дверь и в его комнате раздавались громкие оживленные голоса. Приход у него был большой, и многие заходили по делам, но она знала, что немало прихожан навещали к нему, чтобы поговорить с ним о спасении души. Вот уж нашли кого спрашивать! Какой из него советчик? Ведь он не мог помочь даже бедной своей жене.

Так прошла целая неделя, когда однажды, сидя на лежанке, она вдруг заметила, что под передником у нее спрятан нож. Словно кто-то

велел ей взять нож. Ей вовсе не показалось удивительным, что она это сделала, однако она не могла понять, почему взяла столовый нож. Ведь им нельзя причинить вред ни себе, ни кому-либо другому.

К полудню пришел муж и сказал, что ему надобно навеститься в приход по делу. Он поедет к одному торпарю в самую отдаленную часть прихода. Ехать туда по крайней мере две мили. С обедом для него ей хлопотать не надо, однако он будет ей признателен, если она приготовит ему что-нибудь перекусить к тому времени, как он воротится домой, часов в шесть пополудни.

Она, как всегда, ничего не ответила, но когда он добавил, что она, как ему кажется, выглядит нынче немного бодрее, чем вчера, и что она скоро непременно будет такою же, как прежде, она слегка приподняла передник. Когда же он протянул руку, чтобы, по обыкновению своему, похлопать ее по плечу, она вдруг резко отдернула передник, и он увидел, как сверкнуло лезвие ножа.

Он отшатнулся, будто на коленях у нее лежала гадюка. Долгое время он не мог вымолвить ни слова. Он стоял, покачивая головой, в полной нерешительности.

— Анна, Анна, — сказал он наконец, — ты, я вижу, тяжело больна. Нам надобно принять какие-то меры. Как только я вернусь сегодня домой, попрошу доктора, чтобы он выяснил, что с тобой случилось.

С этими словами он ушел. Но теперь она поняла все, что хотела понять. Теперь она знала, что этот человек никогда не поможет ее горю.

## II

Как отрадно уехать из дома и оставить повседневные заботы, даже если едешь всего-навсего в тряской крестьянской телеге! Ведь ты знаешь, что все твои мучения есть нечто преходящее и что скоро все снова будет хорошо, как только долгожданный маленький человечек увидит свет. Однако терпение твое в последнее время подверглось слишком тяжким испытаниям, и для тебя поистине благотворно вырваться хоть ненадолго на волю и увидеть, что может дать человеку жизнь, кроме озлобленности и недоброжелательства.

Карлу-Артуру довольно было миновать докторскую усадьбу и свернуть в деревню на главную улицу, чтобы его окружили радость и веселье. Он увидел, как в воздухе развеваются красные, белые и желтые платки. По обе стороны дороги были поставлены лари, битком набитые товарами, а на проезжей части толпилось такое множество людей, что лошади пришлось пробираться сквозь эту толпу шаг за шагом.

Одним словом, в Корсчюрке была ярмарка, правда не такая богатая, как осенняя, когда люди запасаются на всю зиму, но, во всяком случае, тоже весьма долгожданная и оживленная. Заезжие вестерйетландцы [\[113\]](#) предлагали ситцы, что впору носить красным летом, а оно было не за горами, далекарлийцы торговали лемехами да косами, без которых нет ни пахоты, ни жатвы. Корзинщики протискивались сквозь толпу, сплошь увешанные корзинами, которые так пригодны, когда ходишь по ягоды. Явились туда и бердники, [\[114\]](#) берда висели у них на спине большими связками, их товар был самый ходкий — ведь долгими летними днями в самый раз садиться за кросно.

И какое же это было прекрасное зрелище, а Карлу-Артуру более всего нравилось, что лица у всех сияли радостью. Именитые купцы из Кристинехамна, Карлстада и Эребру, которые не гнушались сами разъезжать со своими товарами, стояли за прилавками, одетые в богатые шубы, в шапках из тюленьего меха, и встречали покупателей самой радушной улыбкой. Далекарлийские девушки, веселые, в пестрых нарядах, разложили на простых лотках свои товары, а местные жители здоровались с друзьями и знакомыми и улыбались им радостно, от всей души, как улыбаются люди весною, когда пришел конец холодам, ненастью и сидению взаперти. Надо сказать, что вино тоже немало способствовало веселому расположению духа, однако в такую пору пьяных еще не было видно, просто люди расхрабрились и были не прочь посмеяться.

Кое-где образовалась такая давка, что проехать было никак нельзя, приходилось останавливаться и ждать. Карл-Артур на это не сетовал, а, напротив, с удовольствием смотрел на забавные сценки, которые разыгрывались в ярмарочной толчее. Перед одним прилавком, где продавалась преотличнейшая льняная домотканая материя из Вестерйетланда, стоял старик торпарь, изможденный, неказистый, в

потрепанной одежде; он держал за руку красивую девочку. Старик, видно, уже хватил рюмочку-другую, на весеннем солнце его разморило, им овладело блаженное состояние лихости и удачества, и он громко кричал приказчику:

— Бунандер, Бунандер, почему красная шапка? Почему красная шапка, Бунандер?

Но красная шапка, которую он хотел купить своей дочке, была на самом деле изящной соломенной шляпкой на шелку, с длинными розовыми шелковыми лентами. Торговец вывесил ее снаружи лавочки, чтобы привлечь самых знатных барынь, и когда старик торпарь захотел ее купить, он смутился и сделал вид, будто не слышит. Но это привело лишь к тому, что покупатель заорал еще громче:

— Бунандер, а Бунандер, почему красная шапка?

Толпа загоготала, мальчишки принялись передразнивать бедного старика, но Карла-Артура умилило, что торпарь решил, будто самая красивая шляпка на ярмарке подходит как нельзя лучше его дочери.

Не успела таратайка сдвинуться с места, как пришлось снова остановиться. На этот раз причиной остановки был горнозаводчик, человек средних лет, статный, изысканно одетый, с умным и красивым лицом, который собрал вокруг себя большую толпу. Он стоял очень серьезный и важный, но вдруг высоко подпрыгнул и прищелкнул пальцами.

— Ну и налился же я! — сказал он. — Вот здорово-то!

Потом он снова стал серьезным, постоял молча с важным лицом и совершенно неожиданно снова так же точно подпрыгнул, прищелкнул пальцами и повторил

— Ну и налился же я! Вот здорово!

Люди находили это весьма забавным, но Карл-Артур, который терпеть не мог пьянства, нашел его поведение непристойным и отвернулся. Тогда кучер его пояснил, что это всего-навсего шутка.

— Да он пьян не больше моего, — сказал он. — Он так кобенится на каждой ярмарке, он и приходит-то сюда, чтобы только людей потешить.

Карлу-Артуру стало жаль жену, которая сиднем сидела на печи, ничуть не подозревая, что совсем рядом идет такое веселье.

«Какая жалость, что она не придет сюда, — думал он. — Она, может быть, повстречала бы кого-нибудь из старых друзей, о которых

хранит добрую память. Ее нужно бы вырвать из этого мрачного состояния».

Меж тем мысли его скоро приняли иное направление. Как обыкновенно, на ярмарку является множество праздношатающихся — бродяг и прочего сброда, для которых мена лошадей или часов — первейший способ заработать на пропитание. Один из подобных мошенников и мчался сейчас по улице во весь опор, очевидно чтоб показать какому-нибудь барышнику, на что способна его лошадь. Карл-Артур увидел его еще издали — это был смуглый стройный человек, он стоял во весь рост на сиденье возка, чтобы сподручнее было погонять кнутом маленькую соловую клячу. Человек этот кричал и ругался, лошадь мчалась вперед, ошалев от страха, люди шарахались в стороны, чтобы не попасть под колеса. Кучер Карла-Артура тоже хотел было свернуть, да толпа ему помешала; казалось, еще мгновение, и повозки столкнутся.

В последнюю минуту бродяга усмирил лошадь, прикрикнув на нее, и подтянул поводья. Когда же после того его лошадь медленной рысцей пробежала мимо молодого пастора, он весьма вежливо приподнял картуз, у которого была оторвана половина козырька.

— Мое почтение, кузен! — крикнул он. — Черт побери, до чего же у тебя жалкий вид! Скидай-ка свой черный сюртук да ступай ко мне! Не жизнь будет, а малина!

Он хлестнул лошадь, и та пустилась рысью. Карлу-Артуру стало стыдно этой встречи, и он велел вознице постараться поскорее выбраться из ярмарочной толчеи.

Когда они были уже на проселочной дороге, молодой пастор задумался о своем кузене Йеране Левеншельде из Хедебю, который в молодые годы бежал из отцовского имения, связался с цыганами и прочим бродячим людом и ни разу не проявил желания вернуться к пристойному образу жизни.

До сих пор Карл-Артур всегда считал своего кузена человеком опустившимся и несчастным, позорным пятном всей его семьи, но в этот день он был менее склонен выносить ему, как обычно, суровый приговор. Возможно, такая вот бродячая жизнь не лишена своих прелестей. В ней была свобода, в ней было неизведанное. За каждым поворотом дороги таилось приключение. Такому человеку не надо было готовить проповеди к определенному дню, не надо вести нудные



журналы, не надо сидеть на скучных приходских собраниях. Возможно, кузен сделал не такой уж скверный выбор, променяв салон усадьбы на проезжую дорогу.

Карл-Артур сам насмотрелся на проселочные дороги. В годы учения, когда ему по четыре раза в год приходилось ездить из Карлстада в Упсалу, он и познакомился с ними близко. Здесь он провел много беспечальных дней. С радостью вспоминал он потом пестрые полосы цветов, окаймлявшие дорогу, прекрасные панорамы, открывающиеся с вершины холмов, скромные трапезы в уютных постоянных дворах, беседы с приветливыми возницами, которые, познакомившись с ним за эти годы, стали узнавать его и справляться, уж не собирается ли он учиться в Упсале, покуда не станет мудрым, как царь Соломон.

Он всегда любил жизнь, близкую к природе, и потому ему нравились длинные путешествия ради них самих. Когда другие жаловались на них, он всегда думал про себя: «Не понимаю, на что они сетуют. Дорога всегда была мне другом. Я люблю крутые холмы, которые так оживляют путешествия. Однообразные дремучие леса тоже имеют свойство пробуждать воображение. Скверная дорога мне тоже не так уж ненавистна. Из-за сломанной оси я однажды подружился с целой деревней. Из-за снежного бурана я был гостем в графском замке».

Пока он так сидел, погруженный в размышления, вызванные встречей с этим родственником, случилось нечто неожиданное. Ему вдруг пришла в голову совершенно новая мысль. Она поразила его, как гром среди ясного неба. Он был настолько взволнован, что даже привстал с сиденья и издал громкий возглас.

Кучер натянул вожжи и поглядел на него:

— Уж не забыл ли магистр взять рясу?

Карл-Артур вновь опустился на сиденье и успокоил его. Нет, разумеется, он ничего не забыл. Все в полном порядке. Напротив, он снова нашел то, что однажды потерял.

После этого он всю дорогу сидел со сложенными руками, и в глазах его сиял отблеск озарившей его мысли.

Как он и сказал кучеру, в том, что он придумал, не было ничего нового. Сотню, если не тысячу раз он читал в Евангелии от Матфея слова, которые говорил Господь, посылая своих учеников нести людям

весть о близком приходе царствия небесного. Однако он прежде не осознавал всей глубины этих слов. Только теперь он подумал о том, что Христос в самом деле наказал апостолам отправиться в путь как бедным странникам, без сумы и посоха, и приносить благовест во все придорожные дома, в хижины и во дворцы. Они должны были появляться на ярмарках и собирать вокруг себя народ, заговаривать с путниками, отдыхающими на постоялых дворах, затевать беседы с другими странниками, повсюду рассказывая о чудесном приходе царствия небесного.

Как могло случиться, чтобы он ранее не внял этому велению, которое было выражено столь ясно и отчетливо? Он, как и прочие священнослужители, стоял на кафедре проповедника, ожидая, что люди сами придут к нему.

Но Иисус желал совсем иного. Он хотел, чтобы ученики его сами ходили бы по дорогам и тропам и отыскивали путь к сердцу людей.

У него, у Карла-Артура, был свой план, придуманный им самим. Он хотел создать рай земной, который служил бы людям примером для подражания. В этот миг он понял, отчего это не удалось ему. Он понял, отчего он встретил на пути столь много препятствий, отчего лишился красноречия, отчего был виною столь тяжких несчастий. Господь желал показать ему, что он избрал неверный путь. Христу не было угодно, чтобы слуга его обитал постоянно в четырех стенах. Истинный его слуга должен быть перелетною птицею, вольным странником, человеком неимушим, живущим на лоне природы. Он должен есть и пить милостью небес, терпеть голод и холод по воле божьей... Он должен спать в постели, лишь когда это Богу угодно, а если однажды утром его найдут мертвым в сугробе, то это будет лишь означать, что Господь призвал усталого странника к себе в чертоги небесные.

«Это и есть путь совершенной свободы, — думал он в сладостном восторге. — Благодарю тебя, боже, за то, что ты наставил меня на этот путь, покуда еще не поздно».

— Когда я приеду домой, — пробормотал он про себя, — напишу епископу. Попрошу его освободить меня от должности в Корсчюрке и выйду из шведской государственной церкви. Пастором я, разумеется, останусь по-прежнему и не стану проповедовать какое-либо новое учение. Но я не могу более подчиняться церковному уставу, епископу и консистории. [\[115\]](#) Я хочу проповедовать учение Христово так, как он

мне сам повелел, я хочу быть бродягою во имя господа Бога нашего, пастором-нищим, скитальцем господним.

Совершенно очарованный, погрузился он в эти мечты. Жизнь, казалось, обрела для него новый смысл. Она вновь стала прекрасной и удивительной.

«Ведь жена моя может остаться в моем доме, — думал он. — Ей будет там хорошо, если она не станет видеться со мной. Она позовет назад детей. За нее мне нет надобности тревожиться. Все, что ей нужно, она раздобудет своим трудом».

Он почувствовал, что разом освободился от всех трудностей. Сердце его отбивало легкий, танцующий ритм, наполнявший его бесконечным блаженством.

### III

Карл-Артур не поспел домой к шести часам. Стрелка часов приближалась к восьми, когда он вылез из телеги возле своего жилища. Когда он спустя несколько мгновений отворил дверь в кухню — ах, как давно он не открывал эту дверь в столь радостном расположении духа! — то замер на пороге, так сильно он был поражен зрелищем, представившимся его глазам.

Жена покинула свое место на печи. Она перебралась к окну и, сидя за столом, играла в карты с двумя незнакомыми мужчинами. Как раз когда он вошел, она ударила картой по столу и воскликнула громко и весело:

— По пикам! Что, взяли?

— А не надо ли тебе, Анна, моего короля, вот и весь фокус! — сказал один из ее партнеров и тоже выбросил карту.

Тут игра прервалась. Они увидели Карла-Артура, который стоял, ошеломленный, в открытых дверях.

— Это два дружка моих с той поры, как я коробейничала. Проведать пришли, — сказала жена, не поднимаясь с места. — Вот мы и забавляемся, как прежде, бывало, когда встречались на постоянных дворах в ярмарочные дни.

Карл-Артур подошел ближе, и мужчины поднялись. На одном из них был черный плюшевый жилет, застегнутый на все пуговицы, а

поверх него сюртук из черного драпа. Это был румяный, плешивый, добродушный здоровяк. Карл-Артур узнал в нем того самого купца, который вывесил на ларьке красивую розовую шляпку. Другой был далекарлиец в долгополой овчине, красивый парень с правильными чертами лица; волосы на лбу у него были коротко острижены, а по бокам довольно длинные.

— Это Август Бунандер из Марка, — сказала Анна. — Из тех богатеев, что торгуют на ярмарке под навесом да возят товары на лошадях. Диво, что он не гнушается водиться с такой голью из Далекарлии, как я да Ларс Ворон, которым приходилось месить грязь по дорогам да надрываться с коробом на горбу.

Вестерйетландец сделал вежливый жест, словно отклонял чересчур нелепое предложение сбавить цену. Он начал было говорить, что всегда почитал для себя честью водить компанию с Анной Сверд, с самой что ни на есть красавицей из всех коробейниц. Но Карл-Артур прервал его.

— Друзья моей жены для меня всегда желанные гости, — сказал он. — Однако я должен сразу же сказать, что картежничать в моем доме не позволено.

Он сказал это дружелюбно, но с большим достоинством. Гости слегка смешались и стали нерешительно оглядываться по сторонам, но Анна не медлила с ответом.

— Еще чего! — воскликнула она. — Приходишь только да портишь людям все веселье. Ступай к себе. Я принесла тебе вечерять в комнату. Оставь-ка нас в покое!

Прежде жена никогда не разговаривала с ним в таком тоне, и Карлу-Артуру стало невыносимо больно, однако он овладел собой и сказал столь же вежливо и спокойно:

— Неужто нельзя просто посидеть и побеседовать? Ведь старым друзьям всегда есть что вспомнить.

— Ходи давай, Август! — сказала Анна. — Твой черед. Он ведь такой, что не уймется, покуда не отберет у человека все, что ему любо.

— Анна! — резко крикнул Карл-Артур.

— А что, или ты не отнял у меня свадьбу с гуляньем на три дня? Или ты не отнял у меня пасторскую усадьбу, которую мне бы должно иметь? Может, не отнял ты у меня ребятишек и пятьдесят риксдалеров? А теперь и карты отнять хочешь? Ходи, Август!

Вестерйетландец не послушал ее уговоров. Оба они — и он и далекарлиец — сидели не двигаясь и ждали, когда муж с женой перестанут ссориться. Ни один из них не был пьян, и весьма вероятно, что если бы Карл-Артур сумел сохранить спокойствие, ему удалось бы уговорить их отказаться от игры в карты. Но его раздосадовало, что жена осмелилась перечить ему, да еще в присутствии чужих людей. Он протянул руку, чтобы взять карты.

Тут Ларс Ворон, привыкший бродить по дорогам с огромным мешком, битком набитым скобяными товарами, повел рукой. Движение это было слабое, едва заметное, но Карл-Артур перелетел через всю кухню, как муха, от которой отмахнулись, и упал бы, но на пути ему подвернулся стул, стоявший у стены. Он посидел с минуту, чтобы отдышаться после внезапного нападения, но, поскольку он уже много недель рубил дрова по два-три часа в день, силы у него хватало. Он собрался было ринуться на противника, но тот крепко схватил его, прижав ему руки к телу, потом поднял и понес в комнату. Все было сделано так осторожно и медленно, что это вряд ли даже можно было назвать насилием. Дверь распахнулась от удара ногою, Карла-Артура бережно положили на кровать и оставили лежать, не говоря ни слова.

Он лежал там, скрипя зубами от гнева и унижения. Однако он с самого начала понял, что тут ничего не поделаешь. Человек этот был намного сильнее его. Бежать за ленсманом да созывать людей, чтобы они выдворили незнакомцев, ему не хотелось, а более ему предпринять было нечего.

Так он лежал несколько часов и ждал. Сквозь тонкие стены к нему доносились смех, болтовня и шлепанье карт по столу. В нем проснулась безумная ненависть к жене, он строил невысказанные планы мести, которые собирался осуществить, как только эти люди уберутся восвояси.

Наконец они ушли, и жена направилась в спальню. Наступила тишина.

Тогда он поднялся, прокрался по коридорчику к двери жены, но увидел, что ключ вынут из замочной скважины.

Он несколько раз громко постучал в дверь, но ответа не было. Он пошел назад в свою комнату, взял свечу и поспешил в кухню, в надежде найти какой-нибудь инструмент, чтобы взломать дверь.

Первое, что бросилось ему в глаза, была колода карт, забытая на столе. Ему пришло на ум воспользоваться случаем и уничтожить этого врага.

«Анной я еще займусь, — подумал он. — Она никуда не денется».

Он нашел ножницы в ящике стола и принялся резать карты. Он разрезал каждую карту на маленькие треугольнички, резал старательно, размеренно, но с неистовым рвением. Однако справиться с пятьюдесятью картами — работа немалая, и он закончил ее, лишь когда солнце глянуло в окно.

За это время неистовый гнев в нем утих. Ему было зябко, жутко и ужасно хотелось спать.

«Отложим до утра, — думал он. — Однако я оставлю ей подарочек на память».

Он взял всю кучу обрезков, лежащих перед ним, и, смеясь, принялся рассыпать их по комнате. Он кидал их пригоршнями, как сеятель разбрасывает зерна, стараясь не оставить свободным ни одного местечка. Когда он закончил, пол походил на землю после легкого снегопада.

Пол был старый, щербатый, с большими щелями. Жене придется немало потрудиться, прежде чем она выметет эти колючие снежинки, которые впились в каждую щелочку.

## **ВСТРЕЧА**

### **I**

Наконец наступил день, когда им суждено было встретиться и побеседовать, им, которые всего лишь три года назад еще жили в старой пасторской усадьбе в Корсчюрке и любили друг друга. Она стала теперь светской дамой, очаровательной женщиной, наделенной к тому же недюжинным умом, и приносила счастье всем окружающим. Он же был бедным священником, который вечно стремился идти непроторенными путями и которому, казалось, на роду было написано нести погибель всем, кто любит его.

И где же они могли встретиться, как не в том же самом пасторском саду, который был свидетелем не только их любви, но и

той злосчастной ссоры, которая разлучила их? Правда, сад еще не оделся в свое великолепное летнее убранство; напротив, оттого что он был расположен в тени, весна запоздала явиться сюда по крайней мере на месяц, кустарник еще не зазеленел, бурые осенние листья еще не сгребли с дорожек, даже кучки серого от грязи снега лежали еще кое-где, словно салфеточки, на дерновых скамьях. И все же их обоих властно манило сюда все, что было пережито и что забыть нельзя.

Шарлотта приехала в пасторскую усадьбу вместе с пасторшей Форсиус в тот самый день, когда в деревне была весенняя ярмарка и когда Карл-Артур ездил по приходским делам. Ей очень хотелось бы, чтобы ее милая приемная матушка осталась на Озерной Даче и на лето, однако было бы слишком жестоко помешать трудолюбивой старушке поехать домой в пасторскую усадьбу теперь, когда близилось прекрасное время года со всеми хлопотами и заботами.

Пасторша говорила, что ей хотелось хоть разок войти в комнату Форсиуса, опуститься на диван и созерцать кипы серой бумаги, кресло у письменного стола, полочку для трубки, все, что вызывало образ дорогого усопшего. Но Шарлотту было не так-то легко провести. Она знала, что не только это желание заставляет ее воротиться домой. Поскольку нового пастора еще не назначали, она добилась права еще год пожить в пасторской усадьбе, и теперь старушке нужно было поддержать честь ее дома, присмотреть, чтобы цветы на клумбах были столь же ухожены, дикий виноград столь же аккуратно подстрижен, гравиевые дорожки столь же искусно подправлены граблями, газоны столь же зелены, как и во времена ее мужа.

Шарлотта, собиравшаяся провести в пасторской усадьбе несколько дней, чтобы пасторша успела привыкнуть к одиночеству, решила доставить себе удовольствие, поселившись в своей девичьей светелке. Ей хотелось крикнуть этим старым стенам: «Глядите, вот какой я, Шарлотта, стала нынче. Вы, разумеется, не узнаете меня. Глядите на мое платье, на мою шляпку, на мои туфельки, а прежде всего на мое лицо! Вот так выглядит счастливый человек!»

Она подошла к зеркалу, которое висело здесь еще в пору ее девичества, и стала рассматривать свое отражение.

— Весь свет говорит, что я по крайней мере в три раза красивее прежнего, и мне кажется, что он прав.

И вдруг позади блистательной фру Шагерстрем она увидела бледное девичье лицо, освещенное глазами, горящими мрачным огнем. Она тотчас же стала совершенно серьезною.

— Ну, конечно, — сказала она, — я знала, что мы встретимся. Бедная девочка, как несчастлива ты была в ту пору! Ах, эта любовь, эта любовь!

Она поспешила отойти прочь от зеркала. Она приехала сюда вовсе не для того, чтобы погружаться в воспоминания о том ужасном времени, когда была расторгнута ее помолвка с Карлом-Артуром.

Впрочем, кто знает, считала ли она все, что ей довелось пережить в то лето, несчастием. Богатая фру Шагерстрем отлично знала, что наибольшую прелесть ей придавала именно печать неудовлетворенной тоски, говорившая о том, что жизнь обошла ее, раздавая самые щедрые дары свои, эта поэтическая грусть, заставлявшая каждого мужчину думать, уж не он ли призван даровать ей счастье, так и не познанное ею, — то, что она унаследовала от бедной отвергнутой Шарлотты Левеншельд.

Но это томление, эта грусть, отражавшиеся на лице ее, когда она была спокойна, могли ли они что-нибудь значить? Разве не была счастлива она — ослепительная, всегда веселая, всегда отважная, всегда жадная до развлечений Шарлотта Левеншельд? Сохранила ли она любовь к возлюбленному своей юности? Ах, сказать по правде, она и сама не могла ответить на эти вопросы. Она была счастлива со своим мужем, однако после трех лет замужества могла сказать себе, что никогда не испытывала к нему той сильной, всепобеждающей страсти, которая сжигала ее душу, когда она любила Карла-Артура Экенстедта.

С тех пор как она вышла в свет, она часто замечала, что требования ее к людям и ко многому другому стали строже. Она потеряла уважение и к красному пасторскому дому и к чопорному салону пасторши. Может быть, она также утратила интерес и к нищему деревенскому пастору, который женился на коробейнице и поселился в лачуге из двух комнаток.

Только один-единственный раз попыталась она вновь увидеться с ним после его возвращения в Корсчюрку. И, когда это не удалось, она была даже скорее довольна. Ей не хотелось, чтобы эта встреча



принесла разочарование, а если бы она не была разочарованием, тем менее Шарлотта желала, чтобы эта встреча состоялась.

Но, не желая встретиться с Карлом-Артуром, она не могла не следить за ним с истинно материнскою заботой. От пасторши она узнавала о внешней стороне его жизни — о его женитьбе и доме, об опасном влиянии Теи и о добродетелях его жены. Никто не радовался более, чем она, тому, что он за последнюю зиму, казалось бы, вернул уважение и преданность прихожан, и полагали даже, что он имеет немало заслуг и прослужил достаточно долго, чтобы занять в Корсчюрке место достопочтенного Форсиуса.

Шарлотта, у которой после замужества появилась дурная привычка поздно вставать, на следующий день вышла только к завтраку. Пасторша к тому времени была на ногах уже несколько часов. Она обошла усадьбу, постояла у калитки, созерцая любимый ею вид на озеро и церковь, потолковала с прохожими и разузнала все новости.

— Ты только подумай, Шарлотта, — сказала она, — что натворил этот Карл-Артур! Я люблю его, ничего не поделаешь, однако он, как всегда, верен себе!

Затем она рассказала, что Карл-Артур совершил ужасную глупость, позволив десяти ребятишкам уехать от него.

Шарлотта сидела, как громом пораженная. Она уже не раз убеждалась в том, что помогать Карлу-Артуру бесполезно. Какая-то сила неумолимо вела его к гибели.

— Ну, разве это не несчастье? — продолжала пасторша. — Что до меня, так я титулов не имею и даже самого жалкого экзамена на звание пастора не держала, однако понимаю, что я-то уж скорее бы в тюрьму села, чем позволила бы отобрать от меня детей.

— Он, верно, не вынес всего этого, — сказала Шарлотта, которая внезапно вспомнила свой визит в кухню Карла-Артура. — Тяжелый воздух, шум, сваленный в кучу инструмент, кровати и люди.

— Не вынес! — сказала пасторша с презрительной гримасой. — Будто люди не привыкают и к худшему! Каких бы глупостей он ни натворил, было похоже на то, что господь Бог хотел помочь ему. Истинно говорю тебе, если бы он не отдал детей, доживать бы ему дни свои пастором в Корсчюрке.

— А что его жена? — с живостью спросила Шарлотта. — Она тоже была согласна отослать детей?

— Разумеется, нет, — сказала пасторша. — Она всей душой желала оставить их у себя. Я повстречала у калитки матушку Пер-Эр. Она совершенно уверена в том, что это дело рук Теи.

— *Теи! Так ведь ты же запретила...*

— Легко сказать — запретила... Да, может, они и не встречаются ни у него дома, ни у нее, однако в таком крошечном захолустье им ведь трудно избежать встречи. Однажды матушка Пер-Эр сидела с Теей в приемной у доктора. Не прошло и пяти минут, как туда явился Карл-Артур. И тут она сразу же начала говорить с ним о том, чтобы он отослал детей.

Дамы взглянули друг на друга, испуганные и нерешительные. Всесторонне обдуманый ими план трещал по всем швам.

Было условлено, что несколько наиболее влиятельных в приходе лиц в это утро должны были созвать совещание на постоялом дворе. Дело касалось важных предложений. В Корсчюрке, где всегда пеклись о том, чтобы не отставать от века, начали поговаривать, что пора открыть народную школу. Однако и этого было мало. Число жителей прихода настолько увеличилось, что сочли невозможным, чтобы вся паства была на попечении у одного-единственного человека. Надумали учредить должность второго пастора, положить ему жалованье и дать казенное жилище. А чтобы все это было не слишком обременительно для прихода, имелось в виду, чтобы одно и то же лицо занимало должность второго пастора и место школьного учителя. И полагали, что им будет не кто иной, как Карл-Артур.

Конечно, дело это должно было решить приходское собрание, однако коль скоро это повлекло бы за собою большие расходы, созвали предварительное совещание, дабы выяснить, пожелают ли люди, от которых зависит многое, оказать вспомоществование.

Разумеется, никто и не подозревал, что весь этот план зародился в умной головке Шарлотты. Она сумела ловко воспользоваться тем, что простой народ очень любил Карла-Артура, и привела дело в исполнение, сама оставаясь в тени. Каждому было ясно, что, будучи еще столь молодым, он не мог занять место главного пастора в таком большом пасторате, и потому нашли самым подходящим учредить эти две должности, дабы удержать его у себя в приходе.

Можно ли удивляться тому, что Шарлотта была совершенно вне себя, услышав от пасторши эти новости? Ей на этот раз почти удалось выхлопотать ему постоянную должность с хорошим жалованьем, и тут Тея должна непременно чинить препятствия. Раз она любит его, то должна была бы понять, что он теперь завоевал расположение людей только из-за того, что все дивились этому чуду: бедный священник взял на себя заботу опекать целую ораву детей.

Она взглянула на высокие часы из Муры, что стояли в столовой, и слегка вздохнула.

— Сейчас без трех минут десять, — сказала она. — Скоро начнется собрание.

Только она одна знала, каких усилий ей стоило устроить это собрание, к каким хитростям приходилось прибегать. Не менее трудно было также заставить Шагерстрема дать обещание быть на этом собрании и поддерживать ее далеко идущие планы.

— Вот тебе и собрание! — сказала пасторша. — Я не удивлюсь, если все лопнет, как мыльный пузырь. Люди, что побывали в доме у Карла-Артура, уверяют, будто жена его сидит на печи целыми днями и не говорит ни слова. Ревнует его к Тее, понимаешь? В таких делах люди никак не могут совладать с собой. Между прочим, говорят, будто они назначают свидания в моем саду и будто я в том виновата.

— Эта матушка Пер-Эр всегда была сплетницей, — мрачно сказала Шарлотта.

И в то же время ее поразило, как былые чувства могут овладевать человеком. Она снова ощутила ненависть к Тее столь же сильную, как в тот день, когда она остригла ее красивые локоны.

За этой болтовней завтрак закончился, и Шарлотта, взволнованная и огорченная, набросила на плечи шаль и отправилась в сад.

Она шла, опустив глаза, словно хотела отыскать следы тех двоих, что якобы приходили сюда на любовные свидания. Место они и в самом деле выбрали удачное. Карл-Артур еще с давних пор знал все укромные уголки в зарослях кустарника и боскетах.

«Прежде-то он ее не любил, — думала она. — Да, видно, к тому дело пришло. Эта бедная далекарлийка наскучила ему. Он стал искать утешения у Теи, а коль скоро и органист ревнует, они могут встречаться только под открытым небом».

И все же, хотя это казалось ей вполне естественным, она принимала как неслыханное оскорбление то, что влюбленные избрали это место, чтобы встречаться здесь тайком.

«И как только они не боятся! — думала она. — Листья на кустах еще не распустились. Любой, кто проходит по дороге, может заметить их».

Она остановилась, чтобы поразмыслить над этим. За бурою листвою густого кустарника она разглядела очертания маленькой беседки.

«Именно здесь они и прятались, ну конечно же, здесь», — подумала она и поспешила к незатейливому обветшавшему строению, словно думала застать там обоих преступников.

Беседка была заперта, но Шарлотта без труда сорвала старый, заржавевший замок. Когда она вошла внутрь, ее окружила та неуютная обстановка, какая всегда царит раннею весной в подобных летних домиках; затхлый воздух, разбитые стекла в окнах, отставшие обои. В куче сухих листьев, которую сюда намело во время осенней бури, поблескивало что-то гладкое, серо-черное. Это добрый дух сада, огромный уж, устроился здесь на зимнюю спячку.

«Нет, здесь-то по крайней мере они не были, — думала Шарлотта. — Наша старая змея заставила бы Тею упасть в обморок».

Сама она не обратила ни малейшего внимания на обессиленную тварь. Она подошла к одному из разбитых окон, распахнула его и села на подоконник.

Отсюда открывался прекрасный вид на лабиринт кустарника, сейчас ветви его были полны сока и пестрели красками нежнейших оттенков. На земле между кустами зеленела трава, а из нее выглядывали островки одуванчиков, маргариток и желтых нарциссов.

Шарлотта, любившая это место, пробормотала:

— Право же, я не в первый раз сижу здесь и жду понапрасну.

Едва она успела вымолвить эти слова, как увидела человека, бредущего меж кустов. Он направлялся к беседке и скоро подошел так близко, что она смогла узнать его. Это был Карл-Артур.

Шарлотта сидела неподвижно. «Уж, конечно, он не один, — думала она. — Сейчас, верно, покажется и Тея».

Но вдруг Карл-Артур остановился. Он заметил Шарлотту и невольно провел рукою по глазам, как человек, которому кажется, что

перед ним видение.

Теперь он стоял всего в нескольких шагах от Шарлотты, и она видела, что он очень бледен, но что кожа на его лице все такая же нежная, мальчишеская. Он, пожалуй, немного постарел, черты лица стали резче, но та утонченность, которая отмечала лицо сына полковницы Экенстедт, не исчезла. Шарлотта нашла, что он в своей серой одежде из сермяги был похож на современного Пера Свинопаса, переодетого принца.[\[116\]](#)

Не прошло и секунды, как Карл-Артур понял, что на подоконнике в самом деле сидит Шарлотта. С распростертыми объятиями поспешил он вверх по склону пригорка, на котором стояла беседка.

— Шарлотта! — закричал он ликующе. — Шарлотта, Шарлотта!

Он схватил ее руки и принялся целовать их, а из глаз у него текли слезы.

Было ясно, что нежданная встреча так сильно взволновала его, что он был вне себя — то ли от радости, то ли от боли, этого она решить не могла. Он продолжал плакать горько, безудержно, словно накопившиеся за эти годы потоки слез прорвали запруды, преграждавшую им путь.

Все это время он крепко держал ее руки, целовал их и гладил, и она поняла, что слухи о его любовных похождениях с Теей — просто ложь. Вовсе не она, а другая владела его сердцем. Но кто была эта другая?

Кто же, как не она сама, отвергнутая им с презрением, которую он полюбил вновь? Никакое признание в любви не могло выразить этого яснее, чем его безудержные слезы.

Когда Шарлотта поняла его, она ощутила на губах странный вкус, словно давно мучивший ее голод был наконец утолен или словно неунимающаяся боль где-то в глубине сердца улеглась, как будто она наконец сбросила тяжкую ношу, которую несла бесконечно долго. От головокружительного счастья она закрыла глаза.

Но это длилось лишь одно мгновение. В следующую минуту она снова стала рассудительной и благоразумной.

«К чему это может привести? — думала она. — Ведь он женат, да и я замужем, и к тому же он пастор. Я должна попытаться успокоить его. Сейчас это самое главное».

— Послушай, Карл-Артур, право же, не надо так горько плакать. Ведь это всего лишь я, Шарлотта. Пасторша хотела непременно переехать сюда на лето, и я решила остаться с ней на несколько дней — помочь ей на первых порах.

Она говорила самым обыденным тоном, чтобы он перестал плакать, но Карл-Артур всхлипывал еще сильнее.

«Бедный мальчик! — думала Шарлотта. — Я понимаю, что ты плачешь не только из-за меня. Нет, разумеется, ты плачешь оттого, что ты лишен всего прекрасного, образованных людей, с которыми бы ты мог поделиться своими думами, матери и дома. Не будем же горевать о том, чего не исправишь, будем рассудительными».

Взгляд ее на миг устремился куда-то в глубину сада, потом она продолжала:

— Да, ты знаешь, истинное счастье побывать снова в нашем старом саду. Сегодня утром я подумала о том, как прекрасно гулять здесь меж кустов, покуда высокие липы еще не оделись листвою и не мешают солнцу освещать землю. Просто наслаждение смотреть, как жадно цветы и травы пьют солнечный свет.

Карл-Артур умоляюще поднял руку, но так как он не переставал всхлипывать, Шарлотта решила продолжать говорить о том, что, по ее мнению, могло его успокоить.

— Разве не удивительно, — сказала она, — что когда солнечному свету приходится пробиваться сквозь густое сплетение ветвей, чтобы коснуться земли, он становится кротким и мягким. И цветы, которые он вызывает к жизни, никогда не бывают крикливо яркими. Все они либо блекло-белые, либо бледно-голубые и светло-желтые. Кабы они не появлялись так рано и их не было так много, ни один человек не заметил бы их.

Карл-Артур обратил к ней заплаканное лицо. Ему стоило больших усилий вымолвить несколько слов.

— Я так тосковал... тосковал... всю эту зиму.

Было очевидно: ему не нравилось, что она спокойно говорила о цветах и солнечном свете. Он хотел, чтобы она почувствовала силу бури, бушевавшей в нем.

Но Шарлотта, зная, что есть много слов, которых лучше не произносить, начала снова, словно настойчивая нянька, которая хочет укачать раскапризничавшегося ребенка.

— Видно, у весеннего солнца поистине удивительная сила. Подумай только, оно пробуждает новую жизнь повсюду, куда посылает свои лучи. Это кажется каким-то волшебством. Его лучи так прохладны, и в то же время они намного могущественнее летних лучей, которые жгут слишком сильно, и осенних, несущих лишь увядание и смерть. Тебе никогда не приходило в голову, что бледный свет весеннего солнца подобен первой любви?

Казалось, Карл-Артур стал слушать ее внимательнее после того, как она произнесла эти слова. Она торопливо продолжала:

— Ты, верно, забыл о таком пустяке, а я мысленно часто возвращаюсь к тому весеннему вечеру в Корсчюрке — это было вскоре после того, как ты приехал сюда впервые. Мы с тобой ходили навещать бедняков, что жили в избушке далеко в лесу. Мы пробыли у них довольно долго и не успели вернуться домой, как солнце село, а на дне долины сгустился туман.

Карл-Артур поднял голову. Поток слез начал останавливаться. Он перестал целовать ее руки и ловил каждое слово, слетавшее с ее прелестных уст.

— Неужто ты в самом деле помнишь, как мы брели с тобой тогда? Дорога шла с холма на холм. Как только мы поднимались на вершину, нам светило солнце, а в ложбине нас окутывал туман. Мир, окружавший нас, исчезал.

Куда она клонит? Человек, который ее любил, не противился больше. Без малейшего возражения он дал увлечь себя в это удивительное странствие по холмам, освещенным солнцем.

— Ах, какая это была картина! — продолжала Шарлотта. — Кроткое тускло-красное солнце, мягкий сияющий туман изменили все вокруг. К своему удивлению, я увидела, что ближние леса стали светло-голубыми, а дальние вершины окрасились ярчайшим пурпуром. Нас окружала неземная природа. Мы не смели говорить о том, как это было прекрасно, чтобы не пробуждаться от своего зачарованного сна.

Шарлотта умолкла. Она ждала, что Карл-Артур что-нибудь скажет, но он явно не хотел прерывать ее.

— На вершине холмов мы шли медленно и чинно. А когда спускались в долину, устланную туманом, то начинали танцевать. Хотя, может быть, ты не танцевал, а только я одна. Я шла по дороге,

танцую, безгранично счастливая оттого, что вечер был так прекрасен. По крайней мере я думала, что из-за этого я не могла идти спокойно.

По лицу Карла-Артура скользнула улыбка. Шарлотта тоже улыбнулась ему. Она поняла, что приступ у него прошел. Он снова овладел собою.

— Когда мы опять поднялись на холм, — продолжала Шарлотта, — ты перестал говорить со мной. Я подумала, что пастор осуждает меня за то, что я танцевала на дороге, и несмело шла рядом с тобою. Но когда мы снова спустились в долину, и туман поглотил нас... Я больше не смела танцевать, и тогда...

— И тогда, — прервал ее Карл-Артур, — я поцеловал тебя.

Когда Карл-Артур произнес эти слова, он увидел человека, стоявшего за окном напротив них. Кто это был, он не разглядел. Человек этот исчез, как только Карл-Артур остановил на нем взгляд. Он даже не был уверен, видел ли он на самом деле кого-нибудь.

Он не посмел сказать об этом Шарлотте, чтобы не волновать ее. Они ведь только стояли у окна и беседовали. Что из того, если их видел кто-нибудь из семейства арендатора или садовник? Это ровно ничего не значило. Для чего омрачать это счастливое мгновение?

— Да, — сказала Шарлотта, — ты поцеловал меня, и я внезапно поняла, отчего лес стал голубым и отчего мне хотелось танцевать в тумане. Ах, Карл-Артур, вся жизнь моя преобразилась в этот миг. Ты знаешь, я испытывала такое чувство, будто могу заглянуть в глубь своей собственной души, где на просторных равнинах выросли весенние цветы. Повсюду, повсюду, блекло-белые, нежно-голубые, светло-желтые. Они пробивались из земли тысячами. За всю свою жизнь я не видела ничего прекраснее.

Этот рассказ взволновал ее. На глазах у нее блеснули слезы, и голос на мгновение задрожал, но она сумела подавить волнение.

— Друг мой, — сказала она. — Можешь ли ты теперь понять, отчего эти цветы напоминают мне первую любовь?

Он крепко сжал ее руку.

— Ах, Шарлотта! — начал он.

Но тут она встала.

— Вот потому-то, — сказала она, — мы, женщины, не можем забыть того, кто впервые заставил солнце любви сиять нам. Нет, его мы никогда не забудем. Но, с другой стороны, только немногие, да,



только очень немногие из нас остаются в царстве весенних цветов. Жизнь уносит нас дальше, туда, где нас ждет нечто более могущественное и большое.

Она кивнула ему лукаво и в то же время печально, сделала знак, чтобы он не следовал за ней, и исчезла.

## II

Когда Карл-Артур проснулся в это утро, солнце стояло как раз над его окном, давая знать, что он проспал чуть ли не до полудня. Он сразу же поднялся с постели. Голова у него была еще тяжелая ото сна, и он не сразу понял, отчего так поздно проснулся, а потом вспомнил, что просидел до самого восхода солнца, разрезая на кусочки колоду карт.

Все события прошлого вечера тут же представились ему, и он почувствовал величайший ужас и отвращение не только к жене, но, может быть, даже еще больше к самому себе. Как он мог разгневаться за оскорбление, нанесенное ему, до того, что собирался лишить жизни жену? Неужто он сам додумался до такой мерзости, чтобы изрезать карты и рассыпать обрезки по полу? Что за злые силы вселились в него? Что он за чудовище?

Накануне вечером он ничего не ел, и ужин, который подала ему жена, стоял нетронутый. Он набросился на холодную кашу с молоком, наелся досыта, потом надел шляпу и отправился в дальнюю прогулку. Он радовался, что может еще на несколько часов отодвинуть неизбежное объяснение с женою.

Он пошел по проселочной дороге к пасторской усадьбе. Подойдя к ней, он открыл калитку и свернул в старый сад, где минувшей зимою много раз находил приют, убегая от шума и сумятицы, царившей в домишке, битком набитом детворою.

И здесь он встретил Шарлотту, прекрасную и пленительную, как никогда. Неудивительно, что он не мог совладать со своими чувствами. В первое мгновение он желал лишь окликнуть ее, сказать ей, что любовь его вернулась, что он так долго, так страстно ждал ее и жаждет прижать ее к своему сердцу.

Но слезы не дали ему говорить, и Шарлотта, эта добрая, умная женщина, помогла ему тем временем прийти в себя. Он превосходно

понял, что она хотела сказать ему, вызывая в памяти образы времен их первой любви. Она хотела дать ему понять, что ей еще дороги воспоминания об этих днях, но что теперь ее сердце принадлежит другому.

Когда Шарлотта ушла, мрак и пустота воцарились на недолгое время в его душе. Однако он не ощущал бессильной ненависти человека униженного. Он слишком хорошо понимал, что сам виноват в том, что потерял ее.

В непроглядном мраке очень скоро блеснул слабый луч света. Вчерашние мысли, сладостные видения будущего, о которых он забыл из-за домашних раздоров, вновь явились ему, явственные и чарующие. Отраднее всей земной любви рисовалась ему возможность наконец-то служить Спасителю на единственно праведном пути — до конца дней своих блуждать по свету апостолом проселочной дороги, свободною перелетной птицей, несущей страждущему слово жизни, нищим во имя господа Бога нашего, в убожестве своем раздающим сокровища, что не боятся ни моли, ни ржавчины.

Медленно и задумчиво побрел он назад к деревне. Прежде всего ему хотелось заключить мир с женою. Что будет потом, он еще точно не знал, однако на душе у него было удивительное спокойствие. Господь позаботился о нем. Ему самому не надобно было ничего решать.

Когда он дошел до первого домика в деревне, до того самого домика с садом, из которого вышла Анна Сверд, когда он впервые встретил ее, дверь отворилась, и навстречу ему вышла хозяйка. Она была родом из Далекарлии, и Анна обыкновенно квартировала у своей землячки, когда еще ходила с коробом по дорогам.

— Уж ты, пастор, не серчай на меня, что я принесла тебе худые вести, — сказала она. — Только Анна была у меня давеча утром и просила, чтоб я тебе сказала, что она надумала уйти.

Карл-Артур уставился на нее, ничего не понимая.

— Да, — продолжала она. — Домой она ушла, в Медстубюн. Я говорила, что ни к чему ей идти. «Может, тебе до родов-то всего несколько недель осталось», — сказала я ей. А она ответила, что ей, дескать, надо идти. Анна строго наказывала, чтоб я сказала тебе, куда она пошла. «Пусть не думает, что я над собой чего сделаю, — сказала она. — Просто домой пойду».

Карл-Артур ухватился за изгородь. Если даже он теперь не любил свою жену, все же они так долго жили одною жизнью, что он почувствовал, будто что-то в его душе расколосось надвое. И к тому же это было ужасно досадно. Весь мир узнает теперь, что жена его была так несчастна, что предпочла по доброй воле оставить его.

Но пока он стоял, терзаемый новой мукой, ему в голову снова пришла утешительная мысль о великой манящей свободе. Жена, дом, уважение людей — все это ничего не значило для него на пути, который он избрал. Сердце его билось ровно и легко, невзирая на все, что случилось с ним. Бог снял с него обыденные людские печали и тяжкое бремя.

Когда он несколько минут спустя добрался до своего дома и вошел в комнату, его поразило, что здесь было прибрано. Кровать была застелена, поднос с посудой вынесен. Весьма удивленный, он поспешил в кухню и увидел, что и тут все было в полнейшем порядке. По полу ползала женщина: она собирала маленькие упрямые карточные снежинки, которые так крепко впились в щербатые половицы, что их не удалось вымести метлой. Она мурлыкала песню и, казалось, была в наилучшем расположении духа. Когда он вошел, она подняла голову, и он увидел, что это была Тея.

— Ах, Карл-Артур! — сказала она. — Я поспешила сюда, как только услышала, что жена тебя оставила. Я поняла, что тебе может понадобиться помощь. Надеюсь, ты не в обиде на меня.

— Ради Бога, Тея! Напротив, это весьма любезно с твоей стороны. Однако не стоит труда возиться с этими мерзкими картами! Пусть себе лежат.

Но Тее нелегко было помешать. Она продолжала напевать и собирать обрезки.

— Я собираю их на память, — сказала она. — Когда я недавно пришла сюда, то увидела, что она — ты знаешь, кого я имею в виду — попробовала было несколько раз провести веником, чтобы вымести их. Но когда она увидела, как крепко они впились, то отшвырнула веник, махнула рукой на все и ушла.

Тея засмеялась и запела. Карл-Артур глядел на нее почти с отвращением.

Тея протянула ему миску, в которую она собрала целую кучу маленьких бумажных обрезков.

— Ее нет, и это они прогнали ее, — сказала она. — Как мне было не собрать их и не спрятать?

— Что с тобой, Тея, в своем ли ты уме?

В голосе его звучало презрение и, пожалуй, даже ненависть. Тея подняла глаза и увидела, что лоб его нахмурен, но она только рассмеялась.

— Да, — сказала она, — это тебе удастся с другими, но не со мной. Бей меня, пинай! Я все равно вернусь. От меня тебе никогда не отделаться. То, что пугает других, меня привязывает еще крепче.

Она снова принялась напевать, и песня ее с каждым мгновением становилась все громче. Она звучала как победный марш.

Карл-Артур, у которого этот припадок вызвал неподдельный ужас, удалился в свою комнату. Как только он остался один, ощущение радости и свободы вернулось к нему. Он, не колеблясь, начал писать письмо епископу, в котором отказывался от должности.

## НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

### I

Шагерстром выехал утром из дому загодя, чтобы успеть на весьма важное собрание на постоялом дворе. Собрание, как и предполагалось, началось в десять часов, но поскольку оно прошло необычайно быстро, то уже около одиннадцати он смог выехать в пасторскую усадьбу, чтобы нанести визит госпоже Форсиус и повидать Шарлотту. Он истосковался по жене, хотя расстался с ней всего день назад, и втайне надеялся, что ему удастся уговорить ее поехать с ним домой.

«Мне, собственно говоря, надобно было бы сразу же ехать назад — поглядеть, что там стряслось с лесопилкой, — думал он. — Однако, может быть, не стоит так торопиться. Не повременить ли с отъездом до вечера? Часов в пять или шесть Шарлотта, наверно, сможет поехать со мной без малейших угрызений совести».

В усадьбе его встретила пасторша, которая тут же принялась расспрашивать его о собрании. Она так и думала, что из этой затеи

ничего не выйдет. Она слышала, что Карл-Артур позволил увезти десятерых ребятишек; подумать только, какая глупость!

Шагерстром поспешил заверить пасторшу, что это обстоятельство не сыграло никакой роли. Нет, все согласны были вверить ему народную школу и дать казенное жилище, как помощнику пастора, но тут поднялся горнозаводчик Арон Монссон и спросил, стоит ли приходу брать на себя столь большие расходы, чтобы удержать у себя пастора, поведение которого таково, что жене пришлось его оставить.

— Что ты говоришь! — воскликнула пасторша. — Неужто его жена ушла? Кто же тогда станет заботиться о нем?

Надо сказать, что все присутствовавшие на собрании, казалось, задавали себе тот же вопрос. К жене его все питали доверие. Похоже было на то, что это ее, а не мужа собирались назначить помощником пастора и школьным учителем, ибо как только узнали, что она вышла из игры, решение этого вопроса было отложено на неопределенный срок.

Пасторша, огорченная таким исходом дела, проронила неосторожные слова:

— Да разве я не говорила постоянно Шарлотте, что не стоит и пытаться помочь Карлу-Артуру.

Шагерстром, которому было неприятно слышать, что Шарлотта интересуется своим бывшим женихом, нахмурился, и пасторша, заметив, что поступила неосторожно, решила отвлечь его, сказав, что Шарлотта вышла в сад.

В другой раз ему говорить о том не пришлось. Он сразу же отправился искать Шарлотту в лабиринте шпалер. Ему показалось, что ее голос доносится из старой беседки. Он заглянул в окно и увидел, что это в самом деле была Шарлотта: она сидела у окна напротив, поглощенная разговором с Карлом-Артуром, и, не задержавшись ни на секунду, не успев услышать ни единого слова, он пошел прочь.

Он даже не остался в саду, а пошел к крыльцу пасторского дома, чтобы там дожидаться жену. То, что он увидел, привело его в состояние полного оупения. Ему казалось, что думает не он сам, а мысли являются ему откуда-то извне. Кто-то, он не мог вспомнить кто именно, передал ему разговор, услышанный им однажды. Говорили о докторше Ромелиус, удивляясь тому, что она продолжает любить своего мужа, предающегося безудержному пьянству.

— О, не удивляйтесь этому! — возразил кто-то. — Она ведь урожденная Левеншельд, а Левеншельды никогда не изменяют первой любви.

Он не знал, когда и где он это слышал. Он даже, вероятно, и не знал еще в ту пору Шарлотту, но сейчас воспоминание об этом поднялось из глубины его души и испугало его чуть ли не до безумия.

Вскоре он заметил, что стоит, держась за голову обеими руками, будто хочет помешать уйти разуму и сознанию. Он тут же опустил руки и выпрямился. «Я должен показать ей, что я спокоен, — подумал он. — Ведь Шарлотта может появиться в любую минуту».

И вскоре он увидел, что она возвращается. Она шла неторопливо, брови ее были сдвинуты, словно она пыталась разобраться в чем-то сложном и запутанном. Но, увидев мужа, она сразу же просияла и поспешила ему навстречу.

— Вот как, ты уже приехал! — закричала она восторженно, потом обвила его шею руками и поцеловала. Более теплого приема нельзя было и желать.

«Как хорошо у нее это выходит! — подумал он. — Вовсе не удивительно, что я дал себя обмануть, поверив, будто она и в самом деле меня любит».

Он ожидал, что Шарлотта с обычной своей чистосердечностью расскажет ему, как она встретила молодого Экенстедта, но ничего подобного не случилось. Она также не спросила, каково было решение собрания. Можно было подумать, что она совершенно забыла обо всем этом.

Шагерстрем сделал свои выводы из ее молчания. Сознание того, что он обманут и предан, укрепилось в нем.

Он думал лишь о том, как бы поскорее уехать и в одиночестве обдумать, насколько важно его открытие. Затею — попытаться уговорить Шарлотту поехать вместе с ним — он, разумеется, выбросил из головы.

Уехать отсюда, не выдав своего дурного настроения, ему помогла старая лесопилка на Озерной Даче. Он поспешил рассказать Шарлотте, что она остановилась накануне вечером, сразу же после того, как они с пасторшей уехали, и что как мастер, так и инспектор и управляющий тщетно пытались найти причину поломки. Пришлось им обратиться к нему, Шагерстрему, но и он тоже спасовал.

Шарлотта, зная, что ее мужу очень хочется прослыть великим механиком и что ничто не может доставить ему больше удовольствия, нежели возможность показать свои способности, приняла его известие спокойно.

— Я знаю эти старые лесопилки, — сказала она. — Иногда они любят отдохнуть несколько деньков, а потом, — на тебе, сами по себе начинают работать.

Тут к ним вышла пасторша; она сделала Шагерстрему глубокий реверанс и спросила, не окажет ли господин заводчик ей честь отобедать у нее. Но Шагерстрем отказался, сославшись на лесопилку. Он растолковал пасторше, что это не какая-нибудь обычная лесопилка, что у нее весьма своеобразный и довольно сложный механизм.

Старые рабочие на Озерной Даче уверяют, что ее построил сто лет назад сам Польхем, великий изобретатель.[\[117\]](#) И он охотно верит тому, ибо надобно в самом деле быть гениальным механиком, чтобы смастерить столь замысловатую штуку. Вчера он просто пришел в отчаяние, пытаясь ее наладить, но сейчас, по дороге в пасторскую усадьбу, у него возникла одна идея. Ему кажется, он знает, чего там недостает. И теперь он должен немедленно ехать домой.

Жена его и пасторша и впрямь решили, что раз он сейчас ни о чем, кроме загадочного механизма старинной лесопилки, помышлять не может, то самое лучшее отпустить его подобию-поздорову.

Едва он успел сесть в коляску, как взялся за бесполезный труд — пытался как-то объяснить или, еще лучше, изгнать из памяти то, что, как ему казалось, он видел в окне беседки. Но, к сожалению, наши глаза имеют пренеприятнейшее свойство запечатлевать определенные картины с неумолимою остротою и непрерывно вызывать их снова.

Правда, Шарлотта и Карл-Артур не целовались и даже не пытались приласкать друг друга. Он мог бы подумать, что они были поглощены обычным разговором, если бы не видел заплаканного лица молодого пастора и мечтательного, полного обожания взгляда, устремленного на Шарлотту, не говоря уже о том, что она смотрела на него с нежностью и состраданием.

Не следовало забывать и слов пасторши, из которых он понял, что Шарлотта все еще пыталась помочь Карлу-Артуру, и скрытность Шарлотты. Разве все это не было доказательством?

Конечно, он пытался внушить себе, что они с Шарлоттой были исключительно счастливы, что она ни разу не выдала даже выражением лица, что тоскует о другом, но все это отступало на задний план, стоило ему вспомнить, как они с Карлом-Артуром глядели друг на друга этим утром.

— Может быть, она вообразила, что старая любовь мертва, — бормотал он, — но как только она увидела его, любовь эта вспыхнула вновь.

Понемногу ему удалось окончательно уверить себя, что сердце Шарлотты принадлежит Карлу-Артуру, и он принялся обдумывать, какие меры ему сейчас надо предпринять.

Шарлотту было невозможно склонить к измене, это ему было приятно сознавать. Но разве этого достаточно? Может ли настоящий мужчина мириться с тем, что его жена вздыхает о другом? Нет, уж в тысячу раз лучше развод. Но при этой мысли весь мир померк для него. Как? Жить в разлуке с Шарлоттой? Не слышать больше ее смеха, не радоваться ее затеям, не видеть больше ее прелестного лица? По всему телу его пробежал озноб. Ему казалось, будто он бредет по колено в ледяной воде.

Приехав на Озерную Дачу, он отказался от обеда, велел позвать управляющего и отправился с ним на лесопилку.

— Должен сказать, господин управляющий, что по дороге у меня возникла идея. Я, кажется, знаю, в чем тут загвоздка.

Прибыв наконец на место, они прошли в машинное отделение, где гениальный мастер, казалось, просто всем назло нагромоздил в невероятной неразберихе колеса, шатуны и рычаги. Шагерстрем схватил одну из ваг и рванул ее к себе.

Видно, он не ожидал, что это возымеет немедленное действие, а может быть, мысли его были далеко. Когда могучий механизм вдруг пришел в движение, Шагерстрем не успел отскочить, и его затянуло в лесопилку.

## II

Шагерстрем очнулся от того, что его раскачивали взад и вперед. Ему было невыносимо больно. Он понял, что его несут на носилках.



Люди шли медленно и осторожно, но сотрясение на каждом шагу причиняло такую сильную боль, что он жалобно стонал.

Один из тех, кто нес его, увидел, что он пришел в сознание, и дал знак остановиться.

— Больно вам, хозяин? — сказал он и продолжал таким тоном, словно обращался к маленькому ребенку. — Ну, что, постоять нам малость?

— Теперь уже скоро придем, — старался утешить его другой. — Как ляжете в свою постель, так сразу полегчает.

Тут они снова двинулись вперед, и боль опять стала мучить его.

— Ладно еще обошлось, — сказал кто-то. — А я думал, что его расколется надвое, как бревно.

— Чуть было беды не вышло, — отозвался другой. — Но, слава богу, руки-ноги у хозяина целы.

— Может статься, несколько ребер и поломало, — вымолвил третий. — Да и не мудрено.

Шагерстрем понял, что эти простые люди хотят утешить его, и он был бесконечно тронут и благодарен им за их благожелательность. Он пытался бодриться и не стонать. Но в то же время его огорчало, что никто не удивлялся, как это ему удалось пустить в ход лесопилку. Ему хотелось, чтоб его похвалили.

Когда его пронесли еще несколько шагов, его охватила невероятная слабость. Он не мог более выносить этого. Если его будут так трясти, он умрет.

Если бы он мог, он приказал бы им остановиться, но у него не было сил. Он стал замечать, что одна часть тела за другой цепенела, словно отмирала. Происходило это невероятно быстро, от ног к голове...

Когда он снова очнулся, то ощутил слабый аромат засохших розовых лепестков и подумал, что, вероятно, находится в гостиной на Озерной Даче. Да, видно, его внесли сюда, чтобы не поднимать по лестнице. Его спальня была на втором этаже.

Кто-то принялся стаскивать с него сапоги, но этого он не смог вытерпеть. Он застонал так громко, что пришлось его оставить в покое.

— Не будем трогать, пока не приедет доктор, — услышал он голос управляющего.

— Да, — сказал другой, и ему показалось, что он узнал голос Юханссона, лакея, однако голос его так изменился от слез, что он с трудом узнал его. — Да, может статься, что в щиколотке какая кость поломалась.

Шагерстром открыл глаза, чтобы показать, что он находится в сознании. Он увидел, что лежит на широком диване в гостиной. Экономка и две служанки стлали постель, а управляющий и лакей попытались было снять с него одежду.

Он сказал, чтобы они оставили его в покое. Звук, вырвавшийся у него из горла, вовсе не походил на человеческий голос. Ему показалось, что голос этот был похож на хрипение смертельно раненного зверя, но, к счастью, они поняли, что он хотел сказать. Его оставили лежать в одежде и перестали стелить постель. Экономка принесла одеяло и хотела укрыть его. Он не смог бы вынести такую тяжесть. Он опять захрипел, и она отступилась от него. Потом она хотела подсунуть ему под голову подушку. Нет, и этого не надо.

Он досадовал на управляющего, который понимал, как сложен механизм Польхема, и, однако, не сказал ни слова в похвалу ему. Лесопилка могла бы так и стоять в бездействии, если бы ему не пришла в голову эта идея.

Он несколько раз взглядывал на управляющего, и тот подошел к нему, чтобы узнать, что он желает. Но и тут он не сказал ничего. Шагерстром шепотом велел заплатить как следует за труды добрым людям, что несли его. Управляющий понял его и кивнул. Он спросил, не прикажет ли хозяин еще чего.

Шагерстрему не хотелось самому говорить об этом. Он даже понимал, что его поведение может показаться управляющему ребяческим, однако слова эти жгли ему язык, и он должен был высказаться.

— Все-таки я пустил в ход лесопилку.

— Да, спаси нас господи, — сказал управляющий. — Ну, конечно, пустили, хозяин.

Шагерстрему показалось обидным, что именно в эту минуту управляющий растрогался и заплакал. Он ожидал более красноречивой похвалы.

Ему было весьма неприятно слушать сетования и всхлипывания, и он прохрипел, чтоб его оставили одного, после чего экономка,

управляющий и служанка исчезли. Только Юханссон остался за сиделку.

В тишине Шагерстрему полегчало. Он немного успокоился и стал менее раздражительным и капризным. «Ведь я не беспомощный ребенок, — думал он. — Люди слушаются, когда я им приказываю. Если бы мне только не мешали лежать спокойно, совершенно спокойно, я бы не чувствовал никакой боли. А уж приказать, чтобы вокруг меня была тишина, в моей власти».

Ему было ясно, что он умрет, и это вовсе его не огорчало. Он желал лишь одного — чтобы смерть подкралась к нему незаметно и он мог бы встретить ее спокойно, чтобы из-за ее прихода не поднимали бы много шума.

Он замигал Юханссону. Только сейчас он понял, какое счастье, что Шарлотты не было дома. Она ни за что не позволила бы, чтоб он умер, лежа в верхней одежде на диване. Он шепотом приказал Юханссону, чтобы ни в коем случае не давали знать хозяйке. Нельзя ее пугать. Надо послать за доктором и нотариусом, а хозяйку извещать совсем не надо. Юханссон опечалился, а Шагерстрем был весьма доволен. Он улыбался про себя, хотя по лицу его было трудно о том догадаться. Не правда ли, красиво звучит — хозяйку нельзя пугать? Он гордился тем, что придумал это. Неужели ему в самом деле удастся обмануть Шарлотту! Неужели он успеет умереть до того, как она узнает, что случилось!

Он услышал стук отъезжавшей почтовой кареты, которая должна была привезти доктора и нотариуса, и взглянул на настенные часы, висевшие напротив. Было половина четвертого, а ехать до деревни, слава богу, целых две мили. Лундман, конечно, будет гнать напропалую, однако пройдет не менее четырех часов, пока доктор приедет. Тишина, полнейшая тишина до половины восьмого!

Ему казалось, будто на него нашло какое-то мальчишество. Будто он задумал какую-то проказу. Словно с его стороны было нечестно умереть, не дав себя лечить. Но на это ему было равным счетом наплевать. Богачу Шагерстрему скоро придет конец. Неужто он не может быть теперь хозяином самому себе?

Шарлотта, верно, рассердится, но ему и на это наплевать. Помимо того, ему в голову пришла хорошая мысль. Он оставит ей все свое состояние. Она получит его взамен того, что лишилась возможности

шуметь, распоряжаться и командовать им, когда он лежал на смертном одре.

Ему казалось удивительным, что сейчас, когда через несколько часов ему предстоит умереть, он не думает о чем-либо важном и торжественном. Однако ни о чем подобном он думать не мог. Он хотел лишь избавиться от мучений, от вопросов, соболезнований и прочих неприятностей. Он жаждал покоя. Он походил на мальчишку, которого в школе ждало наказание и которому хотелось убежать в огромный темный лес и спрятаться там.

Он помнил все, что произошло утром, но это больше не волновало его. Подобные душевные страдания казались ему до смешного незначительными. Он вовсе не потому не желал видеть Шарлотту, что она нежно глядела на Карла-Артура. Нет, только потому, что лишь она одна не подумала бы повиноваться ему. Он мог совладать и с управляющим и с экономкой, но не с Шарлоттой. Даже доктора он надеялся урезонить, но Шарлотту — никогда. Уж она-то не выкажет ни жалости, ни уважения к нему.

Конечно, с его стороны малодушно так бояться мучений. Однако он не мог понять, для чего с ним спорят, раз он все равно умрет.

Примерно около половины восьмого он услышал стук колес. Ему вовсе не показалось, что время тянулось медленно, напротив, он вздохнул оттого, что доктор уже приехал. Ведь он надеялся, что тот будет занят где-нибудь в другом месте и поспеет сюда не раньше девяти часов. Но Лундман, разумеется, гнал лошадей совершенно безжалостно, чтобы доктор смог ему помочь. Невозможно было заставить их понять, что он вовсе не желает помощи.

Юханссон крадучись вышел из комнаты, чтобы встретить доктора. Вот ведь напасть-то какая. Доктор станет всюду надавливать, щупать, вправлять суставы. Он и сейчас, лежа, видел, что одна нога его была сильно вывихнута: пальцы были обращены к дивану, а пятка — к потолку. Но теперь это ему безразлично, ведь он все равно умрет. Только бы доктор не счел своим долгом вправлять ногу, куда он еще жив.

Ромелиус вошел в комнату уверенным шагом, держась очень прямо. Шагерстром, ожидавший, что доктор, по обыкновению, будет пьян, несколько разочаровался.

«Ой-ой-ой! Если он трезв, то, верно, сочтет своим долгом сделать что-нибудь», — подумал он.

Он сделал попытку уговорить врача оставить его в покое.

— Ты, братец, верно, сам видишь, что тут ничего не поделаешь. Через несколько часов конец.

Доктор склонился над ним. Шагерстрем увидел налитые кровью глаза, совершенно бессмысленный взгляд, почувствовал сильный запах спирта. «Да, он точно пьян, как всегда, — подумал он, — хотя считает, что торжественность момента требует держаться твердо. Нет, он не опасен».

— Да, милейший Шагерстрем, — услышал он слова доктора. — По правде говоря, похоже, что ты прав, братец. Здесь мне дела много не будет.

Однако Ромелиус не совсем оступел, он пытался не терять собственного достоинства и делал вид, будто пытается что-то предпринять. Он проверил пульс, послал лакея за водой со льдом и бинтами, чтобы наложить на лоб холодный компресс, очень осторожно провел рукой по вывихнутой ноге и пожал плечами.

— Итак, мы желаем отдохнуть, — сказал он. — Пожалуй, так будет лучше. Но не хочешь ли ты, братец, чтоб тебя уложили в постель? Ах, вот как, тоже не желаешь. Ну что ж, пусть будет, как ты хочешь.

Он опустился в кресло и сидел так некоторое время, погружившись в размышления. Потом он подошел к Шагерстрему и торжественно объявил:

— Я останусь здесь на ночь, чтобы быть под рукой, ежели дорогой братец передумает.

Он снова уселся и, очевидно, пытался уяснить себе, не требуется ли от него еще чего-нибудь.

Но вскоре он снова подошел к постели больного.

— Я положил себе за правило, Шагерстрем, и никогда в том не раскаивался, не делать ампутаций, когда пациент не дает своего согласия. Уверен ли ты, что не желаешь прибегнуть к помощи врача?

— Да, да, можешь быть совершенно спокоен, — сказал Шагерстрем.

Бедный доктор вернулся к креслу, исполненный все той же чопорной важности, и опять плюхнулся в него.

Шагерстром подмигнул Юханссону, и тот, как обычно, понял его. Доктора насильно, но весьма деликатно вывели из комнаты. Когда лакей воротился, он рассказал, что провел его в контору Шагерстрема, где он и заснул, сидя в углу на диване.

Юханссон, казалось, был еще более удручен. Он явно ожидал, что доктор Ромелиус сотворит чудо. Шагерстрему было радостно оттого, что мир и тишина вновь водворились в комнате. Ему стало почти жаль слугу — ведь он так сильно огорчился.

«Как счастлив был бы этот славный человек, если б я позволил этому пьянчужке резать меня!» — подумал он.

Через несколько минут вошла на цыпочках фру Сэльберг, экономка. Она шепотом что-то спросила у Юханссона, и тот подошел к хозяину.

— Фру Сэльберг не знает, что ей сказать людям. Они стоят возле дома, ждут чуть ли не целый день. Не хотят уходить, покуда не узнают, что говорит доктор.

Шагерстром понимал, что все эти люди, которые зарабатывали на хлеб благодаря ему, боялись за его жизнь. Выходит, и они тоже ждали, чтобы он дал себя пытать.

— Скажи фру Сэльберг, чтобы она сама спросила доктора, — ответил он.

Из-за всех этих беспокойств ему стало хуже. Его истерзанное тело снова заныло. Кровь прилиwała к ранам, давила на них и яростно пульсировала. Дышать становилось все тяжелее, голова ужасно горела.

«Видно, конец приходит», — думал он. Он снова услышал стук колес и понял, что на этот раз прибыл судья со своим писарем.

Лакей провел обоих господ в комнату. На столе разложили бумагу и перья, и Шагерстром принялся диктовать завещание.

Нотариус стоял, склонившись над Шагерстромом, чтобы лучше разбирать слова, произносимые медленным шепотом, и повторял их секретарю. Жене он отказал почти все свое состояние, о ином и речи быть не могло. Но оставалось еще множество заводских служащих, бесчисленное количество бедных вдов и сирот, которых тоже нельзя было обойти.

Это стоило ему страшного напряжения. Он чувствовал, как по щекам его струится пот. Он стиснул зубы, чтобы пересилить боль и слабость.

— Не можем ли мы предоставить фру Шагерстрем право сделать необходимые пожертвования? — спросил судейский, понимая, как Шагерстрем страдает.

Да, разумеется, он согласен. Но это было еще не все — оставались его родители, братья и сестры. Надо ведь показать, что он не забыл их в свой последний час.

Он тщетно напрягался, стараясь, чтобы его поняли, но должен был замолчать, чтобы снова не потерять сознание.

Судейские принялись составлять текст. Затем надлежало прочитать завещание вслух, и он должен был объявить свидетелям, что это его последняя воля и завещание. Достанет ли у него на это сил?

Было уже поздно, стемнело, и в комнату внесли свечи. Но Шагерстрему казалось, что вокруг все так же темно и от свечей не стало светлее. Тень смерти легла на его лицо.

Оставалось напрячь силы в последний раз, и долг его будет выполнен, он сможет умереть спокойно. Самого плохого не случилось — Шарлотта не приехала.

Но разве не послышался снова стук колес? Разве не подкатил к крыльцу экипаж? Разве не распахнулась наружная дверь так шумно, что только один человек на свете мог позволить себе подобное? Разве не наполнился внезапно весь дом жизнью и надеждой? Разве не послышался звонкий властный голос, расспрашивающий слуг о том, что случилось?

Лакей Юханссон поднял голову, глаза его засияли, он поспешил к двери. Экономка приоткрыла ее, чтобы объявить то, о чем знал уже весь дом.

— Хозяйка! — прошептала она. — Хозяйка приехала!

Да, теперь надо не поддаваться. Теперь ему предстоит самый страшный бой.

Когда Шарлотта вошла в комнату, она, казалось, первым делом должна была подойти к нему и осведомиться о его самочувствии. Но ничего подобного не случилось. Вместо того она обратилась к судье и твердо и довольно вежливо попросила его, чтобы он и его писарь немедленно покинули комнату.

— Мой муж уже несколько часов лежит без всякой помощи, — сказала Шарлотта. — С него надо немедленно снять одежду. Вы, господин судья, вероятно, понимаете, что сейчас это важнее всего.

Нотариус сказал что-то очень тихо. Видно, он уведомил Шарлотту, что, по словам доктора Ромелиуса, сделать ничего невозможно.

Шарлотта все еще сдерживалась. Но Шагерстрем понял, что она страшно разгневана, и надеялся, что судья не решится вступить с нею в спор.

— Должна ли я повторить свою просьбу о том, чтобы вы не мешали мне позаботиться о муже?

— Но позвольте, фру Шагерстрем, ведь мы здесь по приглашению вашего супруга. — Затем он добавил почти шепотом: — Вы, фру Шагерстрем, не пострадаете, если будет написано завещание.

Вслед за тем послышался звук разрываемой бумаги. Вот оно что, Шарлотта разорвала завещание! Да, видно, она разошлась вовсю.

— *Но, фру Шагерстрем, это по меньшей мере...*

— Если завещание будет составлено в мою пользу, его не надобно было и писать. Я бы все равно не приняла ни единого шиллинга.

— *Ну, раз дело обстоит таким образом...*

Шагерстрем понял, что судейский оскорблен так сильно, что согласен, чтобы Шарлотта лишилась состояния. Он предоставил ее собственной судьбе и покинул комнату. Но и теперь Шарлотта не подошла к дивану, на котором лежал Шагерстрем. Вместо того она строго приказала:

— Юханссон, ступай сейчас же за доктором!

Лакей ушел, а Шарлотта принялась шептаться с фру Сэльберг, которая рассказала ей, в какое отчаяние пришли она и все домашние оттого, что им не позволили послать за барыней.

— Так ведь моя сестра Мария-Луиза прибежала к нам в пасторскую усадьбу и рассказала обо всем, — сказала Шарлотта. — Я ехала домой в старой пасторской одноколке, на норвежской лошадке.

Шагерстрем лежал молча, не двигаясь. Он не мог сказать, что боль хоть немного унялась с тех пор, как приехала Шарлотта, нет, боль свирепствовала так же немилосердно, как и прежде, но теперь он меньше замечал ее. И так было всегда: когда Шарлотта находилась в комнате, он мог думать лишь только о том, чем она сейчас занята.

Вошел доктор, и в тот же миг, когда он показался на пороге, Шарлотта крикнула ему:



— Стало быть, ты, зятюшка, осмеливаешься дрыхнуть, когда мой муж лежит при смерти?

«Осмеливаешься!» — чуть не засмеялся Шагерстрем. Это слово она употребила в разговоре с ним, когда он посватался к ней в первый раз. В своем положении он не мог видеть ее, однако прекрасно представлял себе выражение ее лица.

Доктор отвечал ей с таким же достоинством, какое старался сохранять все время:

— Я заверяю тебя, дражайшая свояченица, что делать операцию, а тем паче ампутацию, против воли пациента противно моим принципам.

— Не желаешь ли ты прежде всего помочь нам снять с него одежду?

Ромелиус, разумеется, не пожелал.

— Мы с братцем Шагерстремом уже толковали об этом. Он не хочет, чтобы его тревожили. И я нахожу, что он прав. Согласно моим принципам, любезная свояченица.

Шагерстрем ждал с величайшим напряжением. Что теперь придумает Шарлотта? Может, она даст зятю пощечину? Или велит бросить его в чан с холодной водой?

— Юханссон! — приказала Шарлотта. — Принеси сюда бутылку шампанского и два бокала!

Покуда лакей бегал за шампанским, Шарлотта не обращалась больше к зятю, но Шагерстрем слышал, как она шепталась с фру Сэльберг.

Но вот Юханссон вернулся. Слышно было» как хлопнула пробка и шампанское зашипело в бокалах.

— Фру Сэльберг, ступайте вместе с Юханссоном и приведите все в порядок, как мы условились, — сказала Шарлотта. — А теперь, доктор и зять, — сказала Шарлотта, когда слуги вышли из комнаты, — теперь я предлагаю выпить за фабриканта Густава Хенрика Шагерстрема. Я заверяю тебя, что он настоящий Польхем. Он не только пустил в ход старую лесопилку на Озерной Даче, но и устроил так, что сам угодил в нее. И ни один человек не усомнился в том, что это несчастный случай. Выпьем, зять, за Густава Хенрика!

Шагерстрем как бы пропустил эти слова мимо ушей, не подав ни малейшего признака жизни. «В это она и сама не верит, просто хочет

припугнуть этого скотину доктора», — думал он.

Он слышал, как доктор пил большими глотками, а потом поставил бокал. Затем он откашлялся и сказал:

— Да что это ты говоришь, любезная свояченица? С какой же это стати?

Голос доктора уже не был больше невнятным и невыразительным.

Шагерстром снова услышал легкое шипение шампанского и понял, что Шарлотта снова наполнила бокал гостя.

— С твоего позволения, зять, — сказала Шарлотта, — мы сейчас поднимем бокал за меня. Сегодня утром встретила я бывшего жениха моего в пасторском саду и услышала, что он любит меня теперь так же сильно, как я любила его когда-то. И я рада была услышать это. Может, это и дурно с моей стороны — ведь я теперь живу счастливо с другим. Как вы находите, зятюшка? Но разве это не естественно для человека, которого некогда отвергли и оттолкнули? И если мы предположим, что Хенрик проходил по саду и увидел меня с Карлом-Артуром, разве не следовало ему сперва узнать, что я ответила возлюбленному моей юности, прежде чем отправиться домой и броситься под пилу?

— Ну конечно, ты права, душа моя, — сказал доктор. — Он будет иметь дело со мной, негодник. И он еще думал, что ему удастся избежать моего ножа! Выпьем за здоровье Шарлотты!

Голос доктора зазвучал совсем по-иному, в нем появились новые интонации. Шагерстром задыхался от волнения. Неужто Шарлотта одержит победу?

Бокал доктора был снова наполнен, и Шарлотта принялась опять за свое:

— Теперь выпьем за доктора Рикарда Ромелиуса. Его жена два с половиною года назад была при смерти, дом его был разорен, а дети бегали по улице, как дикие жеребята. Нынче все изменилось, но сегодня он отказывается...

Шагерстром услышал, как бокал стукнул по столу.

— Сегодня, — послышался голос доктора, — сегодня Рикард Ромелиус спасет жизнь человеку, который возвратил ему жену и дом, который помогает его детям. Не надо больше шампанского, свояченица. Я спасу, черт побери, этого человека с его согласия или без него.

С этими словами он поднялся и вышел из комнаты. Он, вероятно, пошел за своим саквояжем. Шагерстрем понял, что Шарлотта и шампанское одержали победу. Его будут оперировать, как бы он ни сопротивлялся.

В этот миг Шарлотта подошла к дивану, на котором он лежал. Она встала у изголовья и наклонилась над мужем. Он закрыл глаза.

— Хенрик, — сказала она, — ты понимаешь, что я говорю?

Еле заметное подергивание век — вот что было ей ответом.

— Знай же, что сегодня после полудня органист Сундлер пришел в пасторскую усадьбу жаловаться. Его жена хочет оставить его. Видишь ли, у Карла-Артура нынче новая идея. Он не хочет больше быть пастором государственной церкви, не хочет проповедовать ни в какой церкви. Он хочет следовать Христову завету и бродить по свету подобно апостолам, без сумы и посоха. Он будет проповедовать на проселочных дорогах и ярмарках, на постоянных дворах и почтовых станциях. И Тея хочет покинуть своего мужа и следовать за ним. Мой бедный друг, теперь ты понимаешь, что Карл-Артур потому прибегнул к подобной крайности, что сегодня утром услышал ответ от той, которую он любит, и ответ этот поверг его в отчаяние?

Шагерстрем не шевелился. Видно, она все еще не нашла нужных слов.

Шарлотта нетерпеливо вздохнула.

— Какая ты все-таки скотина! — сказала она. — Неужто надобно вынуждать меня говорить тебе, что я люблю только тебя, тебя, тебя и никого другого?

Шагерстрем открыл глаза. Он встретил взгляд Шарлотты, неистовый, нежный, затуманенный слезами. В душе его свершилась разительная перемена. Раздражительность, малодушие, ребячество, овладевшие им после несчастного случая, исчезли. Воля к жизни вернулась к нему. Он больше не страшился мучений. Он больше не искал смерти. Он горел лишь одним желанием — чтобы о нем заботились, чтобы его спасли.

## **МАДЕМУАЗЕЛЬ ЖАКЕТТА**

Однажды в полдень мадемуазель Жакетта, сидя, как обычно, подле углового окна в будуаре, читала матушке студенческие письма

брата.

Читала она весьма внятно и сосредоточенно, нарочито подчеркивая такие выражения, как «моя обожаемая матушка», «нежные мои родители», «мое сыновнее почтение и благодарность». Но более всего выделяла она те строки, в которых речь шла о восхищении Карла-Артура талантами полковницы и особенно ее стихотворством. Подобные излияния она читала и перечитывала вновь, потому что стоило полковнице услышать столь лестные изъявления сыновнего восторга, как щеки ее начинали мило румяниться.

Ни малейшего следа невнимательности или же утомления невозможно было уловить в голосе мадемуазель Жакетты. Но порой она отрывала глаза от бумаги и продолжала читать длинные послания, совершенно не заглядывая в рукописный текст, словно знала его наизусть.

Жакетта смотрела вниз, на реку Кларэльв; широкая и могучая, она катила свои воды прямо под окнами будуара. Жакетта следила за непрерывным потоком людей, не прекращавшимся на мосту Вестербру. Выгодно наторговавшись, крестьяне из Грава и Стура Киль возвращались домой. Школьники, за спиной которых болтались перевязанные ремешком книги, мчались на обед по своим квартирам. А иной раз поспешала в губернский город господская карета, запряженная горячими рысаками и со статным кучером на облучке.

В тот день мадемуазель Жакетта была в дурном расположении духа. Она думала о том, что год за годом проходят без всяких перемен, что ей не дано изведать тех радостей и горестей, какие бывают у живущих полной жизнью людей. Разумеется, не всякий день предавалась Жакетта подобной печали. Но порой она ничего не могла с собой поделать, и тогда ее одолевала грусть о своей жизни — простой и пустой.

Полковница слушала, не поднимая глаз от вязанья, и вовсе не замечала, что взгляд ее дочери неотрывно прикован к людскому потоку, который двигался по мосту. И все шло как нельзя лучше до тех пор, пока мадемуазель Жакетта не потеряла нить. Неожиданно она сбилась и стала читать вовсе не из того письма, которое держала в руках. Она перескочила вдруг из осеннего семестра прямо в весенний, а поскольку письма были весьма похожи одно на другое, то она и продолжала читать, все так же мастерски выделяя отдельные слова и

так же ревностно, покуда полковница не заплакала и не сказала, что хочет читать сама. Ведь Жакетта снова перескочила через семь-восемь писем. Она не желает доставить полковнице удовольствие этими письмами. Она хочет увильнуть от чтения. И ничего удивительного в этом нет, потому что Жакетта никогда не питала истинной любви к Карлу-Артуру, впрочем, так же, как Ева с ее мужем Аркером, и даже его родной отец.

Полковница вздыхала и горько оплакивала бездушие своего семейства, но Жакетта не дала себе труда оправдывать ни себя, ни других. Она позвонила горничной и велела принести варенья и печенья, чему полковница несказанно обрадовалась, позабыв немедля свои горести. Но не успела она отложить ложку, как уже спросила у Жакетты, не хочет ли та доставить своей матушке радость и немножко почитать ей письма Карла-Артура. Такие прекрасные письма, и она так давно ничего из них не слышала.

Тогда мадемуазель Жакетта снова достала связку писем и принялась их читать, все так же весьма прилежно и выразительно. Полковница с ее изящными манерами и благородной осанкой сидела рядом и внимала все с тем же благоговением, с каким вот уже почти целых три года выслушивала одни и те же письма.

Одета она была весьма изысканно и искусно причесана, а на ногах у нее, как всегда, были парчовые туфельки. Но сама полковница превратилась теперь в изжелта-бледную маленькую старушку, осунувшуюся и дряхлую. Можно было только смутно догадываться о былой прелести этого лица и о живом блеске милых глаз. Полковница походила теперь на отцветшую розу. Последние лепестки еще оставались, но достаточно было лишь легкого дуновения ветерка, чтобы они облетели.

В тот день, однако, мадемуазель Жакетта была совсем негодной лектрисой. Полковница только что мысленно перенеслась на публичное чтение поэта Аттербума и пыталась разобраться в философии романтиков, как вдруг она заметила, что Жакетта начала заикаться и запинаться на каждом слове и читает с совершенно отсутствующим видом. Полковница снова огорчилась и стала просить, чтобы ей дали читать самой, поскольку Жакетте явно не доставляет интереса следить за успехами брата на учебном поприще. Ей бы

только сидеть у окна и пожирать глазами молодых людей, которые слоняются по мосту Вестербру.

Жакетта и в самом деле не сводила глаз с моста Вестербру. Но она вовсе не высматривала там молодых людей. Ее внимание приковала далекарлийская крестьянка, рослая и статная, с черным кожаным мешком за плечами. Вот уже битый час она стояла, перегнувшись через перила моста и уставившись в воду.

«Не может быть, — думала мадемуазель Жакетта, — но разве она не в той же самой одежде? Ах, хоть бы она шевельнулась и перестала торчать над рекой».

Невзирая на сетования матушки по поводу ее скверного чтения, Жакетта не могла удержаться от того, чтобы время от времени не бросить взгляд на женщину, которая, стоя на мосту, неотрывно глядела вниз на реку Кларэльв. Большая река, которая теперь, в пору весеннего паводка, была в самой силе, во всем своем великолепии разливалась из-под арки моста. Но случилось ли кому когда-либо видеть, чтобы бедная коробейница, попусту тратя время, стояла бы часами, тешась веселой игрой волн?

«Нет, не нравится мне это. Попытался бы кто-нибудь поговорить с ней, узнал бы, отчего она там стоит», — размышляла мадемуазель Жакетта.

Жакетта уже стала подумывать, не попросить ли ей матушку позволить прекратить чтение, чтобы прогуляться в этот погожий весенний день. Но когда она снова подняла глаза, женщина уже исчезла.

Почти невольно взгляд Жакетты устремился вниз, к поверхности воды, желая высмотреть, не мелькает ли в белой пене красное и зеленое. К счастью, ничего похожего она не обнаружила, и последующие несколько минут, не отрываясь, занималась чтением, к величайшему удовлетворению полковницы.

Но увы! Странное заикание и запинание почти тотчас же возобновилось вновь. В тот день Жакетта была совершенно невыносима.

Мадемуазель Жакетта и в самом деле опять отвлеклась. Теперь она сидела, прислушиваясь к голосам, которые долетали к ней навверх из кабинета полковника, расположенного этажом ниже, как раз под самым будуаром полковницы.

Совершенно отчетливо услышала она ворчливый бас отца. Неожиданное ли известие, гнев ли были тому причиной, этого она знать не могла, одно несомненно — полковник ворчал сильнее обыкновенного. Вместе с тем Жакетте показалось, будто она различает также звуки какого-то женского голоса, который странно повышался и понижался, выдавая нездешний говор.

К невыразимому удивлению полковницы, Жакетта без всяких объяснений и извинений внезапно прекратила чтение изысканно составленных и обстоятельных отчетов брата. Она попросту позвонила горничной и, попросив ее недолго побыть с матушкой, быстро вышла из комнаты.

Мгновение спустя Жакетта уже появилась в кабинете полковника, занятого как раз беседой со своей снохой, прежней коробейницей Анной Сверд; имя этой особы в доме Экенстедтов упоминать не смели с того злосчастного и достопамятного дня, когда похоронили жену настоятеля собора Шеборга. Полковник сидел за письменным столом вполоборота к невестке. По его позе сразу было видно, что визит этот был ему не очень желателен. Анна Сверд стояла посреди комнаты почти что за спиной полковника. Сняв мешок, она распутывала ремни и тесемки, стараясь развязать его. Появление Жакетты ничуть им не помешало, и разговор продолжался.

— Хотела было я сперва пойти напрямиком к себе домой, в Медстубюн, — говорила Анна Сверд, — да тебе, чай, понятно, каково мне назад к матушке без единого скиллинга в кармане воротиться. Вот я и дала крюка через Карлстад, да и попросила купца Хувинга, чтоб он отпустил мне товару в долг; ровно столько, чтобы в этом мешке унести. Мне-то думалось, что он сделает это по старой дружбе, да он не захотел.

Мысли мадемуазель Жакетты были все еще заняты той картиной, которую она видела из окна кабинета, а также письмом, полученным в полдень от старой пасторши Форсиус из Корсчюрки. И она с величайшим любопытством разглядывала свою невестку. То, что она была чуть ли не на сносях, заметно было сразу; но при ее росте и стати это не очень безобразило ее. Лицом Анна была по-прежнему красива, но брови ее были так нахмурены, что образовали сплошную черную линию. Под ней непокорным, даже, пожалуй, недобрый блеском сверкали глубокие синие глаза.

Полковник не ответил сразу невестке, а обратился прежде к Жакетте.

— Твоя невестка, — довольно сухо пояснил он, — явилась к нам рассказать о том, что ей надоело жить в супружестве с твоим братом и она надумала вернуться к своему прежнему занятию.

Меж тем Анна Сверд наконец справилась со своими ремнями и тесемками. Приподняв мешок, который оказался битком набитым не чем иным, как сеном да соломой, она сунула его полковнику под нос.

— Видишь теперь, в мешке вовсе пусто. А как мне досадно по дорогам с пустым мешком ходить, так я и запихала в него сноп соломы.

Полковник, не скрывая крайнего раздражения и неудовольствия, откинул назад голову и оттолкнул мешок. Тогда коробейница обратилась к Жакетте:

— Прежде ты была добра ко мне, Жакетта! Замолви теперь за меня словечко отцу! Пусть одолжит мне две сотни риксдалеров. Я отдам их ему в будущем году, на ярмарке в день святого Миккеля.

Только что, сидя наверху, мадемуазель Жакетта вздыхала о том, как проста и пуста ее жизнь. Теперь же, когда от нее потребовалось заступиться за невестку, она смутилась и пришла в крайнее замешательство. Но прежде чем она нашлась что ответить, заговорил полковник.

— Не советую тебе ввязываться в это дело! — прорычал он. — Мы-то прекрасно понимаем, кто прислал вас сюда, — повернулся полковник к Анне. — Сам он явиться не смеет, и потому вместо него мы имеем удовольствие видеть вас.

— *Но, папенька...*

Однако Анну Сверд это обвинение не очень-то огорчило.

— Еще чего! — сказала она. — Тебе и самому-то стало невмочь терпеть этакого сына, так, поди, смекаешь, каково другому-то с ним. По горло сыта таким муженьком!

— Папенька! Нынче утром я получила письмо от вдовы пастора Форсиуса из Корсчюрки. Это истинная правда, что Анна с Карлом-Артуром расстались врагами.

— Ну что ж, вполне возможно! — ответил на это полковник. — Но мне вовсе не легче от того, что невестка моя с коробом по дорогам ходит.



— Думаешь, мне невдомек, что, по-твоему, это дрянное дело, — сказала Анна Сверд. — Но коли уж не хочешь пособить мне, как прошу, так, может, надумаешь чего получше! Вот пришло бы тебе на ум дать мне три тысячи риксдалеров, чтобы я купила себе домишко да завела бы лошадь с коровой. Сидела бы тогда я дома с дитем, и не надо было б мне по проселкам бродить. Уж тут бы я спорить не стала. Это уж будь спокоен!

Сделав полковнику такое предложение, Анна с минутку помолчала. Очевидно, она ждала ответа, но его так и не последовало.

— Ну, ничего такого не надумал? — с надеждой спросила она.

— Нет! — ответил полковник. — Этого я сделать не могу.

— Ну, коли так, — сказала его невестка, — коли ты не хочешь мне пособить, так найдутся, поди, другие, которые дадут мне денег в долг, чтобы мне снова торговлей промышлять. Август Бунандер, чай, нынче в городе, знаю. Не хотела я прежде с ним иметь дело — ведь он жулик, ну, да теперь придется!

Видно было, что Анна снова ждет ответа, но его так и не последовало, и она, склонившись над мешком, стала завязывать его. Пальцы Анны двигались с отчаянной быстротой, но застежек было слишком много. И тогда мадемуазель Жакетта поняла: если она пожелает сказать или сделать что-либо, чтобы смягчить сердце отца, то у нее есть еще на это время.

А мадемуазель Жакетта, конечно, очень бы желала помочь невестке, но она просто не знала, как подступиться к отцу. Слишком многое мешало ей.

Полковник был все еще силен и осанист. Он не высох и не одряхлел, как его супруга. Но множество глубоких морщин избородило его лоб, а в глазах мелькали отблески того жгучего, сведавшего его пламени, которое неугасимо полыхало в его груди. Подчас Жакетта испытывала более глубокое сострадание к отцу, нежели к матушке. Память — бесценный дар, но, быть может, лучше утратить ее, чем позволить ей питать ненависть, которая никогда не сможет ни смягчиться, ни угаснуть.

Был лишь один-единственный ключ к сердцу полковника, и мадемуазель Жакетта, конечно, знала, что это за ключ; но она не могла сообразить, как ей им воспользоваться.

И тут, по-видимому, все это наскучило мадемуазель Жакетте. Предоставив обе враждующие стороны самим себе, она удалилась.

Однако отсутствовала она недолго. В тот самый миг, когда невестка ее с мешком за спиной уже повернулась, собираясь уйти, на пороге снова показалась мадемуазель Жакетта, одетая на этот раз в салоп и шляпку. Поспешно подойдя к отцу, она протянула ему руку:

— До свиданья, папенька!

Полковник поднял глаза от своих бумаг и взглянул на дочь.

— Что это ты задумала? Куда ты собралась?

— Я пойду с Анной, папенька!

— Да в своем ли ты уме?!

— Разумеется, в своем, папенька! По когда мне в прошлом месяце минуло тридцать лет, вы, папенька, были так добры, что подарили мне свою прекрасную мызу под Карлстадом. Я знаю, что ваше желание, папенька, таково, чтобы я поселилась там, когда вас не станет. В доме так уютно, и даже полы навощены; есть там и скотина и сад, где можно поработать. Так что лучшего и желать нельзя. Но мне, верно, и без того найдется где жить, так что, с вашего позволения, папенька, я намерена подарить эту усадьбу моей невестке. Я собираюсь немедленно проводить ее туда и остаться там с ней первое время, по крайней мере до тех пор, пока не родится ребенок.

Полковник вскочил. Вид у него был отнюдь не благодушный.

— *Ну нет, клянусь...*

Полковник и его дочери были всегда друг с другом добрыми друзьями, и мадемуазель Жакетта несколько его не боялась. Ей только было совсем непривычно вмешиваться в чужие дела, принимать решения и распоряжаться. За всю свою жизнь ей никогда не приходилось делать ничего подобного.

— Вы, папенька, подарили мне имение с законной дарственной записью, так что отобрать его назад уже не сможете. Анна же будет управлять этим имением гораздо лучше, чем я. Вы, милый папенька, никогда не позволяете нам говорить о Карле-Артуре, потому-то и не знаете, какая рачительная хозяйка его жена. Нам с Евой не раз хотелось выказать ей наше дружеское расположение, но мы не смели из-за вас, папенька.

Мадемуазель Жакетта, на слегка поблекших уже щеках которой вдруг выступил яркий румянец, стояла перед отцом и с истинным

упоением развивала свои планы.

— А когда настанет лето, то вы, папенька, конечно, приедете с маменькой на лодке в Эльвснес навестить внука. Ах, как приятно будет вас там принять! Маменька снова оживет!

Лицо полковника дрогнуло. До сих пор он не подумал о том, как все устроится с полковницей, если Жакетта покинет родительский дом.

— Ты намерена пробыть там так долго? — спросил он. — Кто же станет тогда читать вслух маменьке?

— А вы, папенька, накажите Еве приходить сюда каждый день и читать вслух несколько часов до и после обеда. А может, вы, папенька, полагаете, что лучше нанять сиделку?

Засунув руки в карманы жилета, полковник засвистел. Думал же он том, какой это будет ужас, когда Еве придется читать вслух маменьке. И он знал, что ни одна сиделка в мире не выдержала бы ежедневного чтения студенческих писем Карла-Артура. Жакетта была единственной, у кого хватало на это терпения.

— Послушай-ка, Жакетта! — сказал полковник. — Что ты хочешь за то, чтобы отказаться от своего сумасбродства?

— Три тысячи риксдалеров, папенька!

Полковник выдвинул ящик письменного стола, вынул оттуда одну за другой три толстых пачки ассигнаций и передал их мадемуазель Жакетте. А она, сунув их в карман невестке, поцеловала ее.

— Дорогая Анна! — сказала мадемуазель Жакетта. — Я вижу, кто-то жестоко обидел тебя. Но когда ты вернешься домой и будешь мирно жить у себя в Медстубюн, вспоминай о том, что тебе все же довелось узнать, как дарит людей жизнь и как обделяет.

Затем она проводила невестку до садовой калитки. И тут мадемуазель Жакетте показалось, что, когда они расставались, взгляд Анны чуть смягчился и подобрел.

Потом мадемуазель Жакетта сняла салоп и шляпку, поднялась по лестнице наверх и села у окна будуара против матушки. Положив связку писем на колени, она снова начала читать вслух, читать красиво, мастерски выделяя отдельные слова. И сейчас ее все же время от времени постигал обычный афронт, когда она перескакивала с одного письма на другое. Но на сей раз в рассеянности мадемуазель Жакетты виноват был вовсе не людской поток на мосту Вестербру. На

сей раз она сидела, и ей чудилось, будто она вместе с невесткой перебралась на загородную мызу, будто родился маленький ее племянник и будто жизнь ее проходит теперь в труде ради чего-то молодого и растущего, а не только ради старого и увядающего.

## **АНСТУ ЛИЗА**

И вправду, кажется, что доброта мадемуазель Жакетты произвела большое впечатление на ее несчастную невестку.

«Вот видишь, Анна, — должно быть, сказала она самой себе, — не перевелась еще на свете честность да справедливость. И вовсе незачем тебе бежать до самой Медстубюн, чтобы сыскать добрых людей».

По правде говоря, когда она чуть пораскинула умом, у нее, пожалуй, совсем пропала охота возвращаться в родные края и выслушивать насмешки, без которых бы уж никак не обошлось.

«Ну, разве я не говорила, куда ей в пасторские жены!» — только и слышно было бы со всех сторон, начиная от ленсманши и кончая далекарлийскими мальчишками, обучавшимися грамоте за большим столом в классной пономаря Медберга.

К тому же Анна всегда любила деньги, и теперь три тысячи риксдалеров в кармане значительно облегчали ее путь; у нее появилось нечто, над чем стоило поразмыслить.

Собственно говоря, ей всегда по душе было жить в маленьком домишке над докторским садом, и тут ей пришло в голову: ну не глупость ли отступить от этого домишка? Не лучше ли прикупить несколько десятин пахотной земли, поставить хлев да обзавестись скотиной? А благословил бы Господь, так через несколько лет она смогла бы уж хозяйствовать в хорошей усадьбе и жить в достатке.

Как бы то ни было, Анна не пошла на север по долине реки Кларэльв, где прямая дорога вела в ее родные края. Она побрела на восток по берегу озера Венерн, по проселку, которым надо было идти в Корсчюрку, если хочешь поскорее туда попасть.

Что касается Карла-Артура, то Анна ничуть не сомневалась в том, что она, как обычно, застанет мужа за письменным столом в его по-господски убранной комнате. И вовсе не думала, что муж станет противиться возобновлению их супружеской жизни.

«Ему-то, поди, завсегда надо, чтобы кто ни есть убирался у него да стряпал ему. Так ему все одно, кому за то спасибо говорить — мне ли, другой ли», — думала Анна.

Как видно, ходьба на свежем воздухе весенней порой, а прежде всего доброта мадемуазель Жакетты пошли Анне на пользу. Волнение ее улеглось. Она была способна, не делая из мухи слона, видеть все вещи и явления такими, какими они были в действительности.

Милую за милей шла она мимо богатых пашен к востоку от Карлстада. Перед ней по всей равнине раскинулись господские поместья и деревни. Поля тянулись здесь одно за другим сплошняком, нигде не пересекаясь цепью горных хребтов. Лесам пришлось потесниться к самому горизонту. Имея три тысячи риксдалеров в кармане, Анна совсем иными глазами смотрела на все вокруг. «Может, лучше всего остаться тут, — думала она, — где еще сыщешь такую благодатную землю для плуга?»

А уж как придирчиво осматривала она каждую усадьбу, мимо которой проходила! И повсюду находилось для нее, чему поучиться и над чем поразмыслить. У Анны открылись глаза на окружающий ее мир. Мысли ее больше не вращались в узком кругу десятерых детей, Теи, Карла-Артура и ее собственного страха перед карой.

Миновав одну из белых церквей той округи, Анна попала прямо на маленькую ярмарку. Там были почти все те же самые торговцы и товары, те же лари и развевающиеся на ветру вывески, что и на ярмарке в Корсчюрке неделю назад. Но так как день клонился к вечеру, то ярмарочный люд, слонявшийся меж ларями, успел уже набраться хмельного. И веселье становилось все необузданнее и грубее. Со всех сторон слышались брань и крики. Особенно неистовствовали барышники и цыгане. Дело вот-вот могло кончиться жестокой потасовкой. Анна Сверд, выдавшая виды на ярмарках, ускорила шаг, стараясь побыстрее, покуда не затеялась драка, выбраться из толчеи.

Вскоре, однако, она услышала нечто такое, что заставило ее тут же остановиться и прислушаться. Среди людского гомона, визга шарманки, мычания скотины, стука колес, среди всего этого оглушительного ярмарочного шума раздался вдруг какой-то женский голос: он затянул псалом. Голос так и рвался ввысь; высокий, свежий, удивительно чистый и звучный, он разносился далеко вокруг. Всякий, кто слышал этот голос, должно быть, спрашивал себя, не чудом ли

небесным такое дивное песнопение раздается в этой грубой, ревущей рыночной сутолоке.

Ярмарочный люд и в самом деле оторопел от изумления. Самая оживленная беседа оборвалась на полуслове; все перестали покупать и торговаться, люди замерли со штофом водки в руках, так и не донеся его до рта.

Чтобы подняться над толпой, певица встала на так называемую цыганскую повозку — простую телегу без сиденья и без верха. Женщина эта была мала ростом, тучна и одета в простенький черный салоп; черты ее лица были безобразны, водянистые глаза навывкате.

Ее окружила уже целая толпа слушателей, несколько разочарованных тем, что та, которая пела так сладко, не была к тому же и хороша собой. Но очарование ее пения было столь велико, что никто не двигался с места, а все терпеливо стояли и слушали.

«Быть того не может... — подумала Анна. — Я, видно, обозналась».

Она не хотела верить своим глазам и сказала самой себе, что эту женщину, куда она пела, озаряло нечто прекрасное, нечто чистое и святое. У той же, другой, с которой певица была схожа лицом, Анна никогда ничего подобного не замечала.

Псалом был спет. Женщина сошла с повозки, а на ее место поднялся мужчина, который прежде стоял в толпе слушателей.

Одет он был в грубое сермяжное платье, а на голове носил широкополую шляпу. Шляпу он тотчас же сорвал с головы и бросил на дно повозки, затем постоял несколько секунд, сложив руки, закрыв глаза, погруженный в молитву. Ветер играл его волосами, сбивая их на лоб, отчего еще заметнее выступала ослепительная бледность его лица. Пока он так стоял, прорвавшийся внезапно солнечный луч ярко осветил его, сделал почти прозрачным его тонкое лицо, окружив его на несколько мгновений ореолом. Казалось, будто солнце хотело своим сиянием еще больше привлечь все взоры к этому человеку.

Анна Сверд, которая, конечно, не могла не узнать своего мужа, подумала, что никогда не видала его таким красивым. А народ, собравшийся было после окончания пения снова вернуться к торговле и штофам с водкой, тоже словно застыл на месте, ожидая, что скажет этот человек.

Карл-Артур не заставил себя долго ждать и заговорил. По-прежнему недвижимый, он открыл темные глаза и окинул взглядом толпу. В глубокой благоговейной тишине, воцарившейся над ярмарочной площадью, голос его разносился далеко вокруг.

Неудивительно, что кровь бросилась Анне в голову. Она не воспринимала ни единого слова из того, что говорил ее муж. Она только спрашивала себя, что все это значит. Что могут делать здесь, на ярмарке, Тея с Карлом-Артуром?

Но мало-помалу она пришла в себя и стала улавливать отдельные фразы. Она услышала, как Карл-Артур рассказывал людям, что он хочет следовать Христову завету и пойдет по дорогам и тропам, дабы проповедовать Евангелие. Он не хочет более говорить с церковной кафедры и потребовал отрешения от пасторского сана.

Толпа, которая сочла все это прекрасным и удивительным, слушала затаив дыхание. Тишину нарушал порою только какой-нибудь полупьяный забияка, который вопил, что ему-де осточертело слушать этого пустомелю на цыганской телеге. Все ведь пришли на ярмарку, чтобы веселиться, а не слушать нудные проповеди. Но таких горланов тут же унимали.

Потому что слушателей, желавших внимать новому откровению, было гораздо больше.

Можно было бы, пожалуй, сказать, что, кроме Анны Сверд, ни один человек из толпы не испытывал ни гнева, ни отвращения. Но она к тому же была крайне взволнована. Так, стало быть, муж ее больше не пастор! Неужто Карл-Артур с Теей собираются бродить по всей стране, как какие-нибудь цыгане? Она, Анна, его жена, тоже, верно, должна сказать свое слово! Вскоре она не могла уже совладать с собой и хотела пробиться сквозь толпу поближе, чтобы положить конец этой прекрасной речи. Она мужняя жена, да и он женатый! Потаскун и потаскуха — вот они кто! А еще праведниками прикидываются, проповедуют слово божье!

Но только было Анна собралась протиснуться вперед, как чья-то рука легла ей на плечо. Подняв глаза, она увидела, что рядом с ней стоит Ансту Лиза, самая старая и самая знатная из всех коробейниц. Ансту Лиза была высоченного роста, костлява, с темным, задубелым от непогоды и ветра лицом, с мутным, непроницаемым взглядом: вся она была тяжеловесна и непоколебима, словно каменная.

Ансту Лиза славилась своей хитростью и чрезмерным пристрастием к табаку, кофе и к картам; но, помимо этого, старуха имела еще и другой дар, о котором рассказывали не так охотно. Но Анна, разумеется, слыхала, как люди перешептывались о том, что Ансту Лиза, дескать, ясновидица и провидица. Что она каким-то манером может подстроит так, что люди станут покупать у нее в ларе и за ценой не постоят, дадут, сколько она запросит. И теперь, когда Анна увидела ее руку у себя на плече, она поняла, что та положила ее не без умысла.

Старуха не вымолвила ни слова, и Анне ничего не стоило тут же стряхнуть ее руку со своего плеча; но удивительнее всего, что Анна этого не сделала. Напротив того, она не двигалась с места и, как все в толпе, слушала проповедника.

Только один раз довелось ей прежде слышать, чтобы Карл-Артур говорил так, как нынче вечером на ярмарке; и это было в то самое воскресенье в Корсчюрке, когда он говорил проповедь с удивительными словами о любви.

Она прекрасно помнила, как все было в тот раз, как она горячо надеялась, что Тея не явится в церковь и не собьет Карла-Артура с толку своими колдовскими чарами, и каким несчастным почувствовал он себя, когда она все-таки наконец явилась и он тут же потерял нить проповеди.

Потому-то и смогла теперь Анна Сверд понять, какую, должно быть, он ощутил радость, когда к нему вернулся его великий дар. И если бы она, жена его, выступила теперь из толпы, то он наверняка сбился бы, как в прошлый раз, а большего вреда причинить ему, пожалуй, невозможно.

Но пока она так стояла, раздумывая, как бы ей хорошенько насолить ему, ей вдруг почудилось, будто рядом с ней стоит вовсе не Ансту Лиза, а старая пасторша Форсиус. И будто стоит она рядом неподвижно и благоговейно, всем своим видом показывая Анне, как надлежит вести себя жене пастора из Корсчюрки, когда супруг ее говорит проповедь с кафедры.

И внезапно Анна Сверд двинулась с места, но теперь уже не для того, чтобы протиснуться вперед к Карлу-Артуру. Напротив, теперь она пыталась выбраться из толпы, чтобы уйти с ярмарки, и это удалось



ей довольно легко благодаря Ансту Лизе, которая шла впереди, прокладывая путь.

Но лишь только они очутились на проселочной дороге, Анна почувствовала, что ее снова охватил гнев. И она повернулась к Ансту Лизе, ничуть не пытаясь скрыть охватившее ее возмущение.

— На кой тебе понадобилось соваться в это дело? — спросила она. — Зачем ты не дала мне им сказать, что они за птицы такие?

— Я видела, что ты чуть не накликала беду, — ответила старуха своим скрипучим громким голосом, — вот я и захотела пособить тебе. Ведь три года назад по осени ты ушла с ярмарки, чтоб не перебегать мне дорогу, и Рис Карин, и другим горемыкам. Люди нынче от хмельного совсем ума решились, и одному Богу ведомо, на что б ты их подбила!

Анна Сверд удивленно поглядела на старуху. Никогда, ни одной живой душе не обмолвилась она о том, что ушла тогда с осенней ярмарки ради своих товаров.

— Несмышленная ты, будто дите новорожденное, — продолжала старуха. — Вскорости три года будет, как ты повенчана с этим человеком, а и по сю пору не ведаешь, что твой путь и его врозь идут, а его пути и ее вместе сходятся. И не надейся: не спасись тебе от того, что на роду написано.

Когда Ансту Лиза вымолвила эти слова, в памяти Анны проснулось вдруг нечто давнее и полузабытое. Она вспомнила, что где-то на небесах предначертано все, что ей суждено претерпеть на своем веку, а что на роду написано, так тому и быть. И никто в мире не властен это изменить, даже сам господь Бог. В это верили матушка Сверд и Иобс Эрик, в это верили все крестьяне в Медстубюн. С этой верой они жили и умирали, бодрые и радостные духом.

Вскоре Анна обратилась к старухе, которая молча и терпеливо все еще шла рядом с ней, и сказала:

— Ну, а теперь спасибо тебе, Лиза, за все. Не так уж, поди, я проста, чтоб идти супротив того, что мне уготовано.

Ансту Лиза тут же остановилась и протянула ей руку; рука ее была на удивление огромна, но, несмотря на это, ограничивалась всегда лишь самым слабым рукопожатием.

— Ладно уж; ну я, пожалуй, пойду к себе, — сказала она.

Но, прежде чем расстаться, Анна Сверд спросила старуху:

— Раз уж ты столько про меня знаешь, Лиза, может, скажешь, куда мне теперь путь держать.

Ответ последовал незамедлительно:

— Иди напрямиком по этой дороге, а то, что тебе уготовано, встретится тебе нынче вечером.

Ансту Лиза быстро повернула назад и снова зашагала на ярмарку, а Анна Сверд долго еще стояла на дороге, глядя ей вслед. Немалую услугу оказала ей Ансту Лиза, не меньше, чем мадемуазель Жакетта.

Стоял чудесный весенний вечер, когда Анна вскоре снова двинулась в путь. Она шла, полная ожидания и глубокой уверенности в том, что ей суждено нечто радостное и приятное.

Долго, однако, пришлось ей идти, прежде чем это «нечто» сбылось. Под конец она устала и проголодалась; тогда она села на краю канавы и достала мешок с провизией.

Но тут, как на грех, случилось так, что только она собралась поднести ломоть хлеба с маслом ко рту, как на дороге показались две побирушки — седые и грязные, а за ними тянулась невероятно длинная вереница таких же оборванных и грязных ребятишек.

«Эти, того и жди, вырвут кусок изо рта», — подумала Анна.

Чуть отодвинувшись, она укрылась за большим валуном, надеясь, что нищая братия пройдет мимо, не заметив ее.

Невозможно даже описать то, что было надето на женщинах и детях. На головах у них были повязаны рваные тряпки для мытья посуды, юбки и штаны, кофты и куртки им заменяли старые мешки, которые все лето красовались на огородных пугалах, а башмаки были сработаны из кусков старой бересты.

Но обеих нищенок, казалось, ничуть не печалили ни грязь, ни лохмотья. Они смеялись и болтали так громко, что их слышно было издалека.

— Сроду не подумала бы, что будет так любо бродить по округе да побираться, — сказала одна.

— Да уж никому, поди, и во сне не снилось этакое счастье, какое тебе привалило! Десять душ ребятишек задарма отдали!

Анна Сверд начала подозревать, что тут дело нечисто. Ей доводилось уже слышать о том, будто в северных приходах Вермланда порой случалось, что к концу весны, когда амбары пустели, зажиточные крестьянки ходили по миру, чтобы добыть зерна на хлеб и

на посев. Эти, как видно, тоже христарадничали не напрасно. И сами женщины и ребятишки тащили на спине битком набитые котомки.

— Кабы еще не так далеко до дому добираться, — сказала первая побирушка и засмеялась. — Того и гляди, придется на постоялом почтовых нанимать, чтоб вернуться домой в Эксхерад.

Не успела она вымолвить это, как Анна Сверд, вскочив, выбежала на дорогу и уставилась на побирушек. Под слоем грязи и космами волос, свисавшими на глаза, Анна разглядела лица женщин и тотчас же узнала их. Одна жила на лесном торпе и была, верно, так бедна, что ей приходилось побираться. Другая же, когда Анна видела ее в последний раз, была богатой вдовой. Она угостила тогда коробейницу бобовым кофе и сторговала у нее гребень и шелковое платье.

Лишь только побирушки увидели Анну Сверд, как стали попрошайничать:

— Нет ли у вас в мешке какого старья, может, отдадите нам для ребятишек?

— Нешто не ты хозяйка в Нурвике? — с легкой насмешкой спросила Анна. — Как же ты так обеднела, что с сумой по дорогам таскаешься?

— Двор у меня сгорел, — ответила женщина, — коровы пали, зерно померзло...

Но больше она ничего не успела сказать, потому что внезапно раздался истошный детский крик. Десять ребятишек, отделившись от всей оравы, громко вопя, кинулись к Анне Сверд; они обхватили ее руками и чуть не опрокинули навзничь.

Поначалу Анна Сверд не уделила ни малейшего внимания детям; ее рука тяжело легла на плечо женщины.

— Вот оно что, так ты, стало быть, и есть жена ихнему дядюшке, — сказала она. — Ну, так пойдешь со мной к ленсману, а домой покатишь в арестантской телеге вместе с ребятишками!

Услыхав эти слова, побирушка подняла страшный вой. Сбросив с плеч котомку, она во всю прыть помчалась по дороге; ее примеру последовала вторая побирушка и все те ребятишки, которые шли за ней.

Анна Сверд осталась на проселочной дороге вместе со своими приемными детьми, окружившими ее; в душе ее царили радость и покой.

Но прежде чем заговорить с детьми и расспросить их о том, каково им жилось у дядюшки, Анна подумала, что и ей и им следовало бы возблагодарить Бога за то, что он соединил их вновь. И она затянула вечерний псалом, первый из тех, которым она их обучила:

От нас уходит божий день,  
и не вернется он.  
Нисходит вновь ночная тень,  
чтоб охранять наш сон.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### ЦЫГАНСКИЙ БАРОН

В сколь великой тревоге пребывали, должно быть, те господа, которые наследовали старинные усадьбы и заводы вдоль берегов узкого озера Левен! Господа, которые вспоминали еще рассказы о гордых подвигах «кавалеров»,[\[118\]](#) господа, которые правили в своих усадьбах как самодержавные властители и вершили все дела на приходских сходках! Господа, которых в дни их рождения чествовали как королей! В сколь великом страхе пребывали, должно быть, они, когда случилось так, что во всех усадьбах сряду Бог не благословил супружество сыновьями! Когда верноподданные их жены, во всем прочем покорные своим супругам, словно бы вступили в коварный сговор рождать на свет одних только дочерей!

В те годы, когда рождалась на свет уйма дочерей, господа эти наверняка не раз предавались раздумью о загадках бытия и о воле провидения. Они недоумевали, уж не замыслили ли предвечные силы выказать таким путем свое нерасположение людям; уж не вознамерились ли они наводнить землю множеством женщин, учинив всемирный потоп. Наводнение подобного рода, несомненно, уничтожило бы толпы грешников куда решительнее, нежели это было во времена Ноя.

Разумеется, причины для подобных опасений были немалые. Ибо хотя по сю пору не могло быть и речи о гибели всего рода человеческого, тем не менее дело могло коснуться дальнейшего существования многих старинных родов. Все это могло привести к вымиранию племени могущественных заводчиков Синклеров или же гордой череды майоров и полковников из дома Хеденфельтов. Это могло повлечь за собой угасание благородного, достопочтенного пасторского рода, который уже более ста лет правил пасторской усадьбой в Бру, и воспрепятствовать тому, чтобы еще один какой-нибудь отпрыск старого немецкого органиста Фабера играл своими гибкими пальцами на клавишах рычащих и гудящих органов в старинных церквах Вермланда.[\[119\]](#)

Стало быть, хотя резоны для тревог и были, на навряд ли столь внушительные, чтобы помешать большинству знатных господ из прихода Бру в мире и спокойствии наслаждаться жизнью. И лишь один из них был такого склада, что ни днем ни ночью не мог избыть страстной тоски по сыновьям. Куда охотнее стал бы он самым захудалым поденщиком, нежели бароном из знатного рода Левеншельдов, которому приходилось жить с постоянной мыслью о том, что род его перестанет существовать.

Адриан Левеншельд, этот богатый владелец Хедебю, неустанно благоустраивавший и украшавший свой дом и свои владения, этот справедливый хозяин, радевший о счастье подопечных ему, никогда не мог отделаться от чувства вины перед родиной, перед предками и, наконец, перед всем человечеством за то, что даровал миру лишь пятерых дочерей и ни одного сына! Ни одного из тех верных своему долгу, умелых трудолюбцев, которые в стародавние времена способствовали величию и могуществу Швеции. Разумеется, он пекся о справедливости и не пытался свалить вину на невинных; но что поделаешь, если жизнь становится тебе немила, когда ты вынужден влачить ее в обществе одних только женщин. Он прекрасно понимал, что ни жена его, ни старая тетушка, ни пятеро дочерей, ни их гувернантка не были повинны в его несчастье. И, однако, всякий день случалось так, что своим появлением он омрачал радость в их маленьком, тесном кругу, не будучи в состоянии простить, что вместо оравы проказливых, шумливых, прожорливых сорванцов мальчишек его окружают эти смиренные и безответные женщины и девочки.

Постоянная неудовлетворенность до времени состарила Адриана Левеншельда. В самом деле, немного осталось в нем от того юного, жизнерадостного рыцаря Солнечный Свет, который некогда женился на легендарной красавице Марианне Синклер. Немалую долю светлого жизнелюбия молодости он, должно быть, утратил, когда всего лишь спустя год после свадьбы Марианна умерла. Его вторая женитьба на богатой девице Вахтхаузен из Чюммельсты была браком по расчету; и новая супруга отнюдь не могла разогнать сведавшую его тоску. Но прежняя жизнерадостность непременно вернулась бы к нему, будь у него сын. С ним бы он ездил на охоту или же отправлялся далеко-далеко на рыбную ловлю. Как и в дни своей веселой юности, он рискнул бы еще раз провести несколько дней в пути только ради того,

чтобы проплясать всю ночь напролет. Теперь же он безвыходно сидел дома и бродил по комнатам, истомленный вконец всей этой кротостью, мелочностью, женственностью, подстерегавшими его на каждом шагу.

Сердце барона Адриана готово было окончательно ожесточиться. И вот тогда-то случилось так, что брат его Йеран, этот злополучный, презренный бродяга, чуждавшийся всего своего семейства, подкатил к парадному крыльцу в Хедебю.

Неслыханная дерзость! Правда, эта отпетая голова, этот странный человек, который жил среди цыган и барышников, да и сам был женат на цыганской девке, не раз, бывало, наезжал в другие господские усадьбы здешней округи. Он появлялся там в грязной повозке, битком набитой лохмотьями, ребятишками и всяческими смердящими узлами, чтобы выменять лошадей или сторговать тряпье. Но никогда прежде не случалось, чтобы он отважился постучать в дверь к своему брату.

Трудно сказать, насколько та жизнь, которую вел Йеран Левеншельд, изгладила из его памяти былое.

Уже много дней бушевала страшная пурга. И покуда маленькая соловая кляча Йерана медленно прокладывала себе путь через сугробы в заснеженной аллее, ведущей к господскому дому в Хедебю, может статься, злосчастный цыганский барон мысленно и перенесся назад в дни своей юности. Может статься, он вообразил себя снова мальчиком, который возвращается домой из школы в Карлстаде, а может статься, он ждал, что на пороге его, как желанного гостя, встречают с распростертыми объятиями батюшка с матушкой, такие видные собой. Ему грезилось, будто из дома ему навстречу вот-вот ринется челядь, чтобы снять у него с ног меховой мешок и санную полость. Усердные руки стянут с него шубу, сдернут с головы шапку, расстегнут ботфорты. Матушка, желая его обнять, не знает, как поскорее снять с него верхнее платье, потом она подведет его к пылающему камину, нальет ему чашку горячего, обжигающего рот кофе, а после молча сядет рядом и будет жадно пожирать его глазами.

Все знают, что зимой, когда снежные бури длинной чередой тянутся изо дня в день, когда все дороги занесены снегом и ни один проезжающий не отваживается продолжать путь, в окнах уединенных загородных усадеб всегда виднеются любопытствующие. В ожидании чего-то нового, чего-то несбыточного, часто сами не зная чего, они пристально всматриваются в глубь аллеи.

В такие дни даже появление цыганской кибитки — великое событие, весть о котором летит из одной комнаты в другую. И покуда маленькая соловая лошаденка, спотыкаясь, медленно двигалась по аллее, барону Адриану уже доложили о том, что за гость к нему пожаловал.

Лицо владельца Хедебю не предвещало ничего хорошего, когда он вышел на порог своего дома, готовый оказать брату такой прием, после которого тот не отважился бы уже ни шутки над ним шутить, ни прекословить ему. Но тут, намереваясь выпроводить незваного гостя, барон Адриан увидел, что Йеран, этот презренный тунеядец, этот блудный сын, всю жизнь навлекавший позор и бесчестье на родного брата, прикатил на сей раз не с оравой черноглазых цыганят и безобразных побирušек. Он прикатил с тем, чего барон Адриан жаждал более всего на свете, но в чем ему, такому праведному и преданному, было отказано.

И дитя, которое этот оборванный бродяга с испитым лицом висельника вытащил из кучи тряпья, валявшегося на дне цыганской кибитки, вовсе не было каким-нибудь там безродным подкидышем. Уж слишком походило оно на портрет отца барона Адриана, на тот самый портрет, что безраздельно владычествовал над диваном в гостиной Хедебю. Адриан узнал это кроткое, утонченное лицо с большими мечтательными глазами, которыми прежде столь часто любовался. Мало того, что у брата был сын! Так этот нищий пащенок мог еще похвалиться унаследованной от его прародителей красотой, которая не выпала на долю ни одной из дочерей барона Адриана!

Но в этот миг последнему из Левеншельдов мало было проку от его красоты. Когда отец вытащил ребенка из саней, тот почти без памяти повис у него на руках. Мальчик закатил глаза, руки и щеки его посинели от холода.

Из намерения барона Адриана выпроводить брата со двора крепкой бранью так ничего и не вышло. Напротив того, когда Йеран пошел к крыльцу с ребенком на руках и барон Адриан прочитал в его взгляде робкий вопрос, то он тотчас позабыл все, что ему пришлось претерпеть по милости своего брата. Позабыл он и все горести, которые Йеран причинил покойным батюшке с матушкой, и настужь распахнул перед ним двери родительского дома.



Однако дальше передней Йеран Левеншельд не пошел. Когда брат распахнул перед ним двери залы и цыганский барон увидел полыхающий огонь в камине, увидел мебель и штофные обои, знакомые ему с детства, он остановился и покачал головой.

— Нет! — сказал он. — Это не для меня! Дальше не пойду. Но, может быть, ты позаботишься о ребенке?

Как драгоценнейшее сокровище принял у него из рук ребенка барон Адриан и, желая отогреть маленькое тельце, начал гладить его и растирать. Ни одну из женщин своего дома не позвал он на помощь. Хоть он и знал, что в дальнейшем ему без них не обойтись, но в эти первые мгновения он жаждал владеть ребенком безраздельно. И вдруг торопливо, словно стыдясь своей слабости, он ласково прильнул щетинистой щекой к холодной и грязной щечке нищего ребенка.

— Он так походит на батюшку, — чуть дрогнувшим голосом сказал он. — Счастлив ты, Йеран, что у тебя есть сын.

Когда барон Йеран увидел, как брат его прижал к груди ребенка, ему бы тут же и понять, что владелец Хедебю готов отныне предоставить ему хлеб и кров до самого его последнего часа только за то, что ему выпало счастье иметь сына. Барону Йерану следовало бы понять и то, что отныне его брат будет необычайно снисходителен ко всему его глумливому балагурству, к его лености и картежничеству, к его бражничеству и никогда больше ни единым словом не попрекнет его.

Однако, невзирая на все это, Йеран, казалось, не испытывал ни малейшего желания остаться, а направился к двери.

— Ты, верно, понимаешь, что я бы сюда не явился, когда бы не заставила нужда, — сказал он. — Мы столько кружили в эту метель, что он чуть не замерз. Вот и пришлось везти его сюда, а не то б ему крышка! В пасторской усадьбе меня ждет работа, туда теперь и поеду. Я заберу его, как только утихнет непогода.

Йеран вымолвил эти слова, уже держась за дверную ручку. Барон Адриан не сразу отозвался на его речи. Может статься, он даже и не слышал, что сказал брат. Он всецело был поглощен ребенком.

— Послушай-ка, Йеран, — наконец сказал он, — у него руки совсем заоченели! Нужно растереть ребенка. Не принесешь ли немного снегу?

Пробормотав что-то невнятное, то ли слова благодарности, то ли прощания, Йеран отворил дверь. Барон Адриан подумал было, что брат по его просьбе отправился за снегом. Но через несколько мгновений он услышал звон колокольчика, а выглянув за дверь, увидел, что Йеран съезжает со двора. Он так нахлестывал соловую лошаденку, что она мчалась во весь опор, а вокруг нее, словно тучи пыли, кружился легкий снег.

Барон Адриан понимал, что в доме сохранилось множество мучительных для брата воспоминаний и не удивился бегству Йерана. Впрочем, мысли его занимал один лишь ребенок. Барон сам принес снегу, желая вдохнуть жизнь в заочневшие личико и ручки; и, растирая ребенка, он уже начал строить планы на будущее. Никогда он не допустит, чтобы последний из Левеншельдов возвратился к отцу и рос среди диких его сотоварищей.

А о чем помышлял Йеран Левеншельд, когда уезжал из Хедебю, сказать трудно. Может статься, спустя несколько часов он намеревался вернуться назад за ребенком и одновременно воспользоваться случаем насладиться бешенством брата, который опять позволил провести и одурачить себя. Еще уезжая из Хедебю, Йеран хохотал во все горло, вспоминая о том, как брат его прильнул щекой к щечке нищего ребенка и как величественно принял он на руки этого новоявленного носителя имени и продолжателя рода.

Но как бы там ни было, смех вскоре замер у него на устах. Нахлобучив на голову потертую меховую шапку, он сидел в своей кибитке и ехал, сам не зная куда. Тяжелые, странные засели в нем мысли — мысли, которые настоятельно требовали, чтобы их немедленно осуществили.

В пасторскую усадьбу в Бру, куда, по словам Йерана, лежал его путь, он вовсе не поехал; и когда наутро туда пришел нарочный из Хедебю, чтобы осведомиться о цыганском бароне, никто там толком ничего не знал. Но ближе к полудню в Хедебю явились несколько крестьян, которые еще с утра расчищали занесенную снегом дорогу. Они известили барона о том, что его бродягу-брата нашли мертвым в канаве у проселочной дороги. Угодил он туда, как видно, в темноте; кибитка опрокинулась, а у него, верно, не хватило сил приподнять ее; вот он и остался на дне канавы, да и замерз там.

Нигде не было так легко сбиться с пути, как на пустынной равнине вокруг церкви в Бру в эту темную, выюжную ночь. Поэтому вполне могло случиться, что Йерана Левеншельда — цыганского барона — погубила несчастная случайность.

И, конечно, не следовало думать, что он искал смерти по доброй воле, только лишь ради того, чтобы ребенок его мог обрести надежный приют, который барон Йеран раздобыл ему в припадке обычной своей злобной насмешливости.

Ведь он был, можно сказать, не в своем уме, этот Йеран Левеншельд, и, разумеется, нелегко правильно истолковать его поступки. Но люди знали, что он окружил поистине трогательной любовью свое меньшее дитя. В его лице он отыскивал фамильные черты Левеншельдов, и ему, вероятно, казалось, что с этим ребенком он связан совсем иными узами, нежели с ордой черноглазых цыганят, которые прежде подрастали вокруг него. Поэтому не лишено вероятности, что Йеран пожертвовал жизнью, чтобы спасти этого своего ребенка от бедности и несчастья.

Когда он прикатил в Хедебю, у него, верно, и помыслов иных не было, кроме как поиздеваться над своим достойным братцем, который исходил тоской по сыновьям. Но когда он вступил в старый отчий дом, когда почувствовал, какой добропорядочностью, надежностью и благорасположением веет от его стен, тогда он сказал самому себе: более всего на свете желал бы он, чтобы это его меньшее дитя, единственное, которое он по-настоящему почитал своей плотью и кровью, могло бы остаться в Хедебю. И что ему надобно так обставить свой отъезд, чтобы больше не возвращаться в Хедебю за ребенком.

Но никому не ведомо, как все обстояло на самом деле, — жизнь, вероятно, не была Йерану так дорога, чтобы он стал сомневаться, расставаться ли ему с ней или нет. А быть может, то было давным-давно взлелеянное желание, которое теперь сбылось. Быть может, он радовался, что наконец-то нашел предлог для того рокового шага, которого до сих пор не сделал, откладывая его по причине равнодушия или отупения.

И как знать! Быть может, даже в самый смертный час Йеран злорадствовал оттого, что снова сумел сыграть злую шутку со своим единственным братом, который всегда умел вести праведную, добропорядочную жизнь. Быть может, Йерану доставило удовольствие

обмануть брата в последний раз. Быть может, губы его скривило последней презрительной усмешкой при мысли о том, что ребенок, которого он положил брату на руки, был девочкой. И что только платье мальчика открыло двери дома предков несчастной цыганской девочке.

## **БАРОНЕССА**

В тот самый день, когда цыганский барон оставил своего ребенка в Хедебю, барон Адриан Левеншельд вышел к обеду в самом лучезарном расположении духа. Сегодня ему не придется сидеть за столом с одними только женщинами. Сегодня застолье с ним разделит мальчик. Барону Адриану казалось, будто даже атмосфера в комнате стала совсем иной. Он чувствовал себя помолодевшим, веселым и жизнерадостным. Да, он намеревался даже предложить жене распорядиться принести вина и выпить за здоровье нового члена семьи.

Барон Адриан прошел к своему месту за круглым обеденным столом, сложил руки и, склонив голову, стал слушать предобеденную молитву, которую читала младшая из его дочерей.

Когда молитва была прочитана, он окинул сияющим взглядом стол, желая отыскать племянника. Но как он ни напрягал зрение, он так и не увидел ни единой живой души в курточке и штанишках. За столом, как, впрочем, и всегда, ничего, кроме юбок и узких корсажей, не было.

Нахмутив густые брови, он сердито фыркнул. Конечно, ему пришлось передать племянника в детскую, чтобы его там вымыли и переодели; но неужели жена в самом деле так бестолкова, что не посадила ребенка за стол? Спору нет, это цыганенок, и повадки у него цыганские, но все пятеро его, барона Адриана, благонравных дочерей, вместе взятые, не стоят и мизинца этого малыша.

Не успел барон хотя бы одним словом выказать свое разочарование, как баронесса легким движением руки указала на маленькую, хорошо одетую и хорошо причесанную девочку, сидевшую рядом с ним на стуле.

Поспешно пересчитав детей, барон Адриан обнаружил, что в этот день за столом сидело шесть маленьких девочек. Ага! Он понял, что

мальчика нарядили в платьице одной из его дочурок. Ничего удивительного в том не было. В лохмотьях, в которых ребенок появился в Хедебю, его нельзя было посадить за стол, а во всем поместье никакого платья, кроме девичьего, не было. Но волосы, кудрявые золотистые волосы мальчика вовсе незачем было заплетать в крендельки, которые болтались над ушками ребенка, точь-в-точь как у его собственных дочерей.

— Вы что, не могли взять на время пару штанишек у управителя, чтобы не делать из мальчика чучело гороховое?

— Конечно! — отозвалась баронесса, и ответ ее прозвучал столь же невозмутимо, как и обычно, без малейшего намека на злорадство или насмешку. — Конечно. Я полагаю, что мы, вероятно, вполне могли бы это сделать. Но ведь она одета так, как ей и положено быть одетой.

Барон Адриан посмотрел на жену, посмотрел на ребенка, а потом снова перевел взгляд на жену.

— Боюсь, что Йеран снова сыграл с тобой шутку, — сказала баронесса.

И снова ни малейшее изменение голоса, ни блеск ее глаз не выдали того, что в этом деле она придерживалась совсем иного мнения, нежели ее супруг.

Собственно говоря, особого мнения у нее и не было. Она думала, разумеется, что поступок Йерана бесчестен и что он снова дал волю своей обычной гнусной злобности. А если в глубине ее души и шевелились совсем иные чувства, то это происходило совершенно помимо ее воли.

Но если человек превращен в коврик у дверей и всякий день его топчут ногами! В таком случае ничего нет удивительного, когда это самый коврик начинает испытывать чувство некоторого удовлетворения оттого, что тот, кто топчет его всех безжалостней и у кого сапоги подбиты самыми острыми железными гвоздями, внезапно запнется и безо всякого для себя вреда шлепнется на пол.

И когда баронесса увидела, как муж ее нахмурил брови, как отказался от жаркого, которым всех обносила горничная, отказался с таким видом, будто это досадное происшествие вконец лишило его аппетита, она начала трястись от смеха, хотя лицо ее по-прежнему оставалось неподвижным.

Впоследствии она не раз спрашивала себя, что случилось бы с ней самой и со старой тетушкой, с гувернанткой и всеми шестью девочками, если бы ее муж с грубым ругательством не вскочил вдруг со стула и не выбежал бы из комнаты. Сама же она ни секунды больше не смогла бы сохранить серьезность. Она поневоле была вынуждена расхохотаться, и то же самое сделалось с другими. Все они откинулись на спинки стульев, хохоча во всю мочь.

Они громко и до упаду хохотали, заглушая друг друга и в то же время совестясь своего смеха. Ну, не грешно ли насмеяться над тем, что отца семейства, супруга и хозяина дома так одурачили! Все они были смиренны и благодетельны и в высшей степени порицали самих себя. Но смех сам собой вырывался из глубины души, и сдержки они его, они бы задохнулись.

То был великий бунт. За несколько минут они сбросили с себя все, что тяготило и душило их. У них появилось чувство свободы и собственного превосходства, и они думали, что отныне никогда более не будут чувствовать себя такими угнетенными и запуганными, как прежде, хотя бы потому, что у них хватило духу осмеять порабощителя. Осмеянный, он утратил ореол своего ужасающего величия и стал таким же маленьким и заурядным человечком, как и они сами.

А баронесса, которая прежде всегда говорила о бароне Адриане как о лучшем из мужей, а о себе самой — как о счастливейшей из жен, баронесса, которая никогда не позволяла никому из посторонних, даже тетушке с гувернанткой, ни малейшего осуждения поступков своего супруга, теперь эта же самая баронесса дала зарок, что если когда-нибудь ей повстречается Йеран Левеншельд, она постарается, сделав для него что-нибудь, отблагодарить его за это веселое мгновение.

Однако когда на другой же день цыганский барон был найден замерзшим в канаве на пасторском лугу и привезен в отчий дом в Хедебю окоченевший и неподвижный, баронесса палец о палец не ударила, чтобы проявить приязнь, которую она ощутила к нему в недолгие минуты мимолетной веселости. Она предоставила мужу распоряжаться погребальным шествием и похоронами по его собственному усмотрению и без малейшего вмешательства с ее стороны.

Барон Адриан взял на себя все издержки — заказал саван и гроб; он велел также открыть фамильный склеп. Он уговорился с пастором

из Бру и со всем его причтом о дне похорон и сам, в сопровождении нескольких слуг, поехал на кладбище, чтобы присутствовать на погребении.

Но больше он ничего не сделал для брата.

Он не позволил завесить окна в Хедебю белыми простынями, не дал набросать на дорогу еловые ветки, а баронессе с дочерьми — одеться в траур. Он не пригласил никого из приходской знати проводить покойника в последний путь. Он не заказал кутью и не справил поминки в своем доме.

Во всем приходе Бру не нашлось бы ни одного человека, который не радовался бы смерти Йерана Левеншельда. Больше он не станет приставать к знатым господам на ярмарке в Бру, не станет хлопать их по плечу, тыкать им и панибратствовать с ними. А все только потому, что когда-то он был их однокашником в карлстадской школе. Каждому приятно было думать, что никогда не взбредет ему в голову выменять свою серебряную луковицу, всю во вмятинах, на первостатейные золотые часы или же старую клячу — на великолепную кобылу-четырёхлетку. Разумеется, хорошо, что Йерана не стало. Покуда он был жив, никогда нельзя было заранее поручиться, что ему вздумается потребовать и к какой мести он прибегнет, если ему откажут в его домогательствах.

Но как бы то ни было, все прихожане из Бру полагали, что барон Адриан вел себя как человек, одержимый чрезмерной жаждой мести. Говорили, что раз уж Йеран лишился жизни, то брату его следовало бы забыть старые распри и проводить Йерана в могилу достойно, со всеми почестями.

По правде говоря, баронессу порицали, пожалуй, еще сильнее, чем ее супруга, потому что от женщины ожидали большего милосердия. Подумать только, даже цветка на крышку гроба не положила! Ведь все в округе знали, что огромная калла, красовавшаяся в столовой зале имения Хедебю, цвела как раз в эту пору. А ведь цветок каллы как нельзя более подобает покойнику, когда он отправляется в последний путь. Но и цветка пожалела! Что тут скажешь! Поистине бесчеловечно не поступиться для деверя даже такой малостью, как цветок каллы!

Многие также полагали, что жену барона Йерана следовало бы известить о смерти ее мужа; и все удивлялись, как баронесса не

напомнила об этом супругу. А уж девочке, самому любимому ребенку Йерана Левеншельда, ей бы, во всяком случае, следовало сшить траурное платье. Неужто баронесса так зависит от мужа и так робеет перед ним, что не осмелилась даже взять в дом швею и справиться осиротевшему ребенку приличествующие случаю платья.

Баронесса из Хедебю слыла по всей округе дамой весьма разумной, которая, конечно, знала правила приличия. И ей бы следовало счесть своим долгом поправить мужа, если он заблуждался. Но ничего такого на сей раз никто не заметил.

Грязную цыганскую кибитку со всеми узлами и тряпьем, лудильным инструментом, бочонком водки и колодами засаленных игральных карт, а также цыганскую лошаденку, которая оставалась у трупа хозяина, покуда не явились люди и не откопали мертвеца из сугроба, доставили в Хедебю. Кибитку водворили в одну из пристроек, а лошаденку — в конюшню. Лошади задали корма, и на том вся забота об этой доле наследства цыганского барона кончилась. Но на другой день после похорон барон Адриан приказал подковать лошадь и перевести ее на особый рацион, из чего можно было заключить, что он собрался послать ее в дальнюю дорогу.

В то время в Хедебю служил управитель, который родился и вырос в одном из приходов северного Вермланда, где обычно зимовали бродячие цыгане. Знаком ему был и тот цыганский род, с которым породнился, женившись, барон Йеран; знал управитель также, где отыскать родичей Йерана. Управителю-то барон Адриан и поручил отвести к жене барона Йерана соловую клячонку вместе с кибиткой и всем скарбом, а также известить ее о смерти мужа.

Но в намерения барона входило отослать на север не только кибитку, не только лудильный инструмент, колоды игральных карт и прочее тряпье. Нет, управитель должен был увезти с собой и маленькую племянницу барона Адриана. Она не имела никакого права оставаться в Хедебю. Ее следовало отослать назад к тем людям, которые были ее соплеменниками.

Итак, на другой день после похорон барон Адриан предупредил жену о том, что завтра утром девочку следует отослать домой. Он распорядился также, чтобы на племянницу надели те самые лохмотья, в которых ее привезли в Хедебю, и добавил, что полагает, будто



баронесса должна быть довольна тем, что в доме и духу этого цыганского отродья не будет.

Баронесса не ответила мужу ни слова. Не протестовала она и против того, что ребенка увезут из Хедебю. Она молча поднялась и направилась в детскую, чтобы передать распоряжение няньке.

Однако весь этот день в поведении баронессы заметно было какое-то небывалое волнение. Она не могла усидеть на месте и бралась то за одно дело, то за другое. Губы ее непрестанно шевелились, хотя и не издавали ни звука.

Чаще обычного появлялась она в тот день в детской, где все так же безмолвно опускалась на стул, не замечая никого, кроме чужого ребенка. До тех пор, пока в детской было хоть немного светло, девочка стояла у окна, вглядываясь в глубь аллеи. Она стояла так все эти дни, с того самого времени, как приехала в Хедебю. Она стояла у окна, поджидая, что отец приедет и увезет ее с собой. Она дичилась и чуждалась людей и не очень тянулась играть с другими детьми. Уж конечно, она не очень огорчится, если ее отошлют домой.

Когда настала ночь, баронесса, лежа рядом с мужем на широкой супружеской кровати, почувствовала, что ею овладело прежнее беспокойство. Не будучи в состоянии уснуть, она сказала себе, что теперь она дошла до крайности, теперь настал час, когда она должна восстать против мужа. То, что он задумал, свершиться не должно.

Баронесса ничуть не сомневалась в том, что барон Йеран загнал лошадь в канаву и замерз умышленно, ради того, чтобы дочь его смогла остаться в Хедебю. Он любил ее и страстно желал, чтобы девочка выросла в добропорядочном доме и вышла в люди. Он мечтал, что дочь его будет воспитана, как подобает девице ее сословия, что она выйдет замуж за знатного господина, что она не станет какой-нибудь там цыганкой, которая, бранясь и горланя, колесит по округе в телеге с целой ордой бранчливых и горластых цыганят.

Чтобы достичь этого, он заплатил жизнью. Он-то понимал, что жертва обойдется ему дорого, но не постоял за ценой и расплатился сполна.

А вот понимал ли ее муж, чего желал его брат? Может статься, и понимал, но ему доставляло сейчас удовольствие отказывать брату в том, что тот пожелал купить ценой собственной жизни. И она, жена барона Адриана, должна воспротивиться этому.

Она должна найти такие слова, чтобы ее послушались. Ей нужно говорить властно, как полноправной хозяйке. Он не должен отсылать племянницу. Это было бы несправедливо. Она понимала, что такой поступок непременно навлек бы на них жестокую кару. До сих пор она, правда, молчала. Она позволила ему устроить похороны так, как он считал нужным. Она берегла силы. Мертвому она уже все равно ничем помочь не могла.

Баронесса вспомнила о том, как в последний раз видела деверя, когда он, согнувшись в санях, съезжал со двора. Она пыталась вообразить себе его мрачные предсмертные думы, когда он колесил в пургу по округе. Нечего и думать, что такой человек обретет покой в могиле, ежели ему откажут в том, чего он желал добыть ценой такой жертвы. Уж здесь-то, в Хедебю, хорошо знали, что мертвые могут отомстить за себя.

Она должна заговорить. Нельзя допустить, чтобы отказались исполнить желание покойника. Каков бы ни был он при жизни, теперь он завоевал себе право приказывать.

Она сжала кулаки и ударила себя, карая за трусость. Почему она не разбудила мужа? Почему не заговорила с ним?

Она с самого начала подозревала, что у мужа на уме, и приняла кое-какие меры предосторожности. В тот самый день, когда барона Йерана нашли замерзшим в канаве, она, взяв с собой его маленькую дочь, наведлась в одну бедную семью, в жалкой лачуге которой болело корью трое детей. Собственные дочери баронессы уже перенесли эту болезнь, а хворал ли корью чужой ребенок, она не знала; однако надеялась, что еще не хворал. С тех пор она ежедневно наблюдала девочку, выискивая признаки болезни. Но их пока еще не было. Вообще-то баронесса с прежних времен знала, что болезнь эта не обнаруживается ранее одиннадцати суток, а теперь шли только восьмые.

Она все оттягивала разговор с мужем, оттягивала с минуты на минуту, с часу на час. Она начала было уже опасаться, что вообще не соберется с духом заговорить.

Но как же ее тогда назвать? Почему она так жалко труслива? Ну что могло бы с ней случиться, если бы она вдруг заговорила? Не ударил бы ее муж, в конце концов! Об этом не могло быть и речи!

Но, увы, у него была привычка смотреть мимо нее, совершенно не обращая внимания на то, что она говорит. Беседовать с ним было для нее все равно, что читать проповедь глыбе льда.

И еще одна забота тяготила баронессу, причиняя ей крайнее беспокойство. Случилось так, что в прошлом году, на званом вечере в Карлстаде, муж ее встретился с дальней родственницей, Шарлоттой Левеншельд, которая была замужем за коммерции советником Шагерстремом. Шарлотта и барон Адриан были старинные знакомые — с той самой поры, когда Шарлотта была помолвлена с его кузеном Карлом-Артуром Экенстедтом; однажды она даже приезжала в Хедебю в обществе своего жениха. Так вот, на том вечере между Шарлоттой и бароном Адрианом завязалась доверительная беседа. Барон посетовал, что у него куча дочерей, а сына нет. Тогда Шарлотта спросила, не пожелает ли он отдать ей на воспитание одну из дочерей, потому что у нее в доме вовсе нет детей. Была у нее, правда, одна-единственная дочка, да и та умерла.

Естественно, что барон более чем охотно откликнулся на предложение Шарлотты; тогда Шарлотта сказала, что она, со своей стороны, переговорит с мужем и узнает, как он отнесется к ее плану. Вскоре после этой встречи в имение Хедебю пришло послание: в самом ли деле барон с баронессой Левеншельд согласны отдать одну из своих дочерей господам Шагерстрем, дабы те воспитали ее как родное дитя. Барон немедленно ответил согласием. Он даже не потрудился осведомиться, каково мнение жены на сей предмет. Ему казалось яснее ясного, что подобное предложение, исходившее от самого богатого семейства в Вермланде, не могло быть отвергнуто. Девочка росла бы как принцесса, и на долю тех, кто вступал в такие близкие отношения с могущественным человеком, пришлось бы неисчислимые выгоды.

Баронесса не стала открыто перечить мужу, но попыталась выиграть время. Шарлотта выразила желание приехать в Хедебю, чтобы выбрать из девочек ту, кто ей больше других придется по душе; но поездка ее в Хедебю вот уже скоро полгода все откладывалась. И промедление по большей части зависело от баронессы. Поначалу она написала Шарлотте, что материя на платьица у нее как раз в работе, а ей бы хотелось, чтоб материя была бы уже соткана и платьица сшиты, и когда Шарлотта приедет, чтобы посмотреть ее дочерей, у них будет во что принарядиться. Когда же Шарлотта захотела приехать в другой

раз, дети хворали корью, так что и тут визит пришлось отложить. А теперь о Шарлотте уже давно не было ни слуху ни духу, и баронесса втайне начала надеяться, что богатая дама, у которой столько хлопот по хозяйству в собственном огромном доме, должно быть и думать забыла о ее дочерях.

Но когда случилось так, что неожиданно умер барон Йеран, баронесса написала Шарлотте и просила ее приехать. Теперь, должно быть, она решилась отдать одну из своих дочерей Шарлотте. То была жертва, которую она приносила, уступая воле своего супруга. Она думала, что если она на сей раз пойдет ему навстречу, то сможет потребовать, чтобы чужой ребенок остался у них в доме.

Но жертва ее оказалась напрасной. Муж опередил ее. Ребенок так и не захворал корью. Шарлотта так и не приехала, а через несколько часов девочку увезут.

Баронесса лежала в кровати, высчитывая, сколько потребуется времени, чтобы доехать от Озерной Дачи до Хедебю. Письмо ее, вероятно, только что успело дойти. А еще эти лютые холода, которые настали с той поры, как утихли вьюги! И думать нечего, что Шарлотта пустится в дорогу в такую стужу! Всю ночь напролет баронесса слышала, как трещал от мороза старый дом, будто кто-то постукивал по толстым стенам тяжелой дубиной.

Баронесса слышала, как на кухне зашевелились. Кухарка затопила плиту и загремела чугунами. Из детской также послышались какие-то слабые звуки. Видимо, встала нянька, чтобы одеть цыганочку в ее старые лохмотья.

Баронесса несколько раз произнесла имя мужа, произнесла не очень громко, но достаточно внятно. Он слегка шевельнулся, но продолжал спать. Если бы он проснулся, она, быть может, заговорила бы с ним, однако попытаться еще раз разбудить его было выше ее сил.

Тут она услышала, как отворилась кухонная дверь. На дворе, должно быть, стояла лютая стужа. Дверь, повертываясь на петлях, заскрипела на весь дом. Баронесса поняла, что явился управитель, который должен был отвезти ребенка.

Вскоре горничная, чуть приотворив дверь спальни, спросила, изволили ли проснуться барон либо баронесса.

Барон Адриан тотчас же сел в кровати и осведомился, в чем дело.

— Управитель пришел, — сказала девушка. — Он просил меня пойти наверх и сказать вам, господин барон, что нынче так студено, что он боится выехать из дому. Он говорит, что у него кожа на руках слезла, когда он взялся за замок в конюшне. Дома у него замерзли ночью хлеб и масло, а наледь в ведре была такая крепкая, что пришлось разбивать ее топором. А еще он говорит, что раз здесь такая стужа, то на севере, куда ему ехать, верно еще хуже.

— Давай сюда огарок, — приказал барон Адриан горничной, — да зажги свечку в спальней.

Девушка вошла в комнату и витой восковой свечой зажгла сальную свечку на ночном столике. Барон встал с кровати, накиннул шлафрок и подошел к окну взглянуть на градусник. Все окно, точно лохматой звериной шкурой, было затянуто сплошным слоем инея; только перед самым градусником виднелась еще узенькая полоска прозрачного стекла. Барон взглянул на столбик ртути, но он сполз вниз, совершенно исчезнув в шарике.

Барон поводит свечой вверх и вниз перед градусником.

— Видимо, более сорока градусов холода, — пробормотал он.

— Управитель говорит, что сам-то он, верно, выдюжил бы, раз уж вы, господин барон, беспрерывно желаете отделаться от этой кибитки, — сказала горничная, — но брать с собою в кибитку дите в такую стужу он боится.

— Пусть убирается ко всем чертям! Так и скажи ему! — рявкнул барон и, снова улегшись, укрылся с головой одеялом.

Девушка не двинулась с места, не зная, как истолковать этот ответ, но баронесса тут же пояснила ей слова мужа.

— Господин барон велит тебе сказать управителю, что ему нет надобности ехать, пока не уймутся морозы. Можешь также подняться в детскую и сказать Марте, что ребенок не поедет.

Голос баронессы звучал столь же невозмутимо, как и всегда. Ничто не выдавало в нем того удивительного облегчения, которое она вдруг испытала.

Холода держались по-прежнему. Ни в этот день, ни на следующий ничего было и думать отсылать ребенка. Но на третий день к вечеру погода переменилась. И барон тотчас же приказал, чтобы на другое же утро и духу девчонки в доме не было.

Баронесса не перечила мужу прямо, однако несколько раз намекнула на то, что все эти дни, да и сегодня тоже, ребенок выглядел как-то странно. Она-де боится, не захворала ли малютка.

Барон Адриан холодно взглянул на жену.

— Все равно это бесполезно, — сказал он. — Этот ребенок не может оставаться в моем доме. По-твоему, я в таком восторге от девчонок, что только и мечтаю посадить себе на шею еще одну?

Но когда после ужина баронесса пошла в детскую, чтобы взглянуть на детей, она увидела, что чужая девочка лежит вся красная, в жару и кашляет не переставая.

— Знаете, госпожа баронесса, видать, у ней корь, — сказала нянька.

И баронессе пришлось согласиться, что когда ее дочери заразились осенью корью, болезнь начиналась у них примерно так же.

— Но это было бы просто ужасно, — сказала баронесса. — Барон как раз распорядился, чтобы завтра спозаранку ее отослали бы домой к родным.

Поразмыслив, она послала няньку к мужу: пусть зайдет на минутку в детскую и взглянет, что приключилось с чужим ребенком.

Барон явился, и хотя он не очень-то смыслил в болезнях, однако и ему пришлось признать, что с племянницей неладно. Он, разумеется, ничуть не усомнился в том, что девочка схватила корь. Ведь по всему было видно, что от этой цыганочки никак не избавиться.

И в самом деле, это была корь. Подозревал ли барон или нет, что без баронессы тут не обошлось и что это она заразила ребенка неопасной болезнью, но он вынужден был все-таки еще на целую неделю оставить малютку в своем доме. Однако он впал в отчаянное уныние. Миру в доме грозила опасность, но, к счастью, в Хедебю вскоре пришло письмо, которое помогло барону избавиться от дурного настроения. Письмо было от Шарлотты Шагерстрем, которая извещала, что она пустится в дорогу в середине марта, если санный путь еще продержится, а ожидать ее в Хедебю можно числа шестнадцатого или семнадцатого.

Каждый день барон являлся в детскую и проверял, лежит ли еще чужая девочка в постели, судя по этому, он и решал, как ему быть. А баронессе, которая видела, что ребенок легко перенес болезнь и кожа уже перестала шелушиться, стоило огромных усилий удержать

малютку в кроватке. Нянька уже начала было поговаривать, что больная давно могла бы одеться и подняться наверх. Баронессе с трудом удалось убедить ее, что ребенку следует полежать в постели еще несколько дней.

Невозможно описать, какая тяжесть спала с души баронессы, когда шестнадцатого марта после обеда она увидела, что сани Шарлотты въезжают во двор. Хозяйка дома так радушно приняла путницу, так обнимала ее и целовала, что та, казалось, была несколько удивлена. Ведь баронесса постоянно оттягивала ее приезд, и Шарлотта стала чуть подозрительна: ей думалось, будто баронесса видит в ней воровку, которая явилась, чтобы похитить драгоценнейшее сокровище ее дома.

Пять маленьких фрекен Левеншельд были так тщательно умыты, что их круглые румяные мордочки лоснились от мыла. Волосы им причесали гладко, волосок к волоску; потом заплели маленькие тугие косички, которые колечками торчали над ушками. На них надели домотканые, сшитые дома шерстяные платьица и крепкие самодельные башмачки. Во взгляде баронессы сквозила истинно материнская гордость, когда она ввела дочерей в гостиную. Ей казалось, что это самые прелестные маленькие девочки, каких только можно найти в нашем полушарии.

Они были здоровы, хорошо сложены и благодетельны, баронесса была в этом убеждена, и потому-то не без светлых надежд вышла в гостиную к Шарлотте в сопровождении вереницы малышей.

Шарлотта быстро оглядела всех девочек, одну за другой, и ничем не выдала своих чувств. Сияя дружелюбием и весельем, она протянула всем фрекен Левеншельд руку и спросила каждую, как ее зовут и сколько ей лет.

Но, быть может, она все-таки не выказала того подлинного восторга, какого ожидала баронесса.

Быть может, Шарлотте вспомнилась тонкая и одухотворенная красота полковницы Экенстедт, быть может, она подумала о сестре Марии-Луизе, а быть может, и о своем собственном крошечном ребенке... И потому-то ей трудно было вообразить, что эти маленькие девочки тоже носили имя Левеншельд.

Шарлотта тотчас же увидела, что все они добры, здоровы и веселого нрава и что из них непременно выйдут превосходнейшие

женщины и хозяйки дома, такие же, как и их мать, на которую они походили как две капли воды. Подобно баронессе, девочки были рыженькие, невысоки ростом, чуть пухленькие; ручки у них были широкие, с короткими пальчиками. Все пятеро были на один лад — круглощекие, курносенькие и голубоглазые. А когда вырастут и сравняются ростом, то их и вовсе друг от друга не отличишь.

Шарлотта, которой в ту пору исполнилось тридцать лет, была еще в расцвете красоты. Баронесса даже сочла ее куда красивее, нежели в те времена, когда та была на выданье и приезжала в Хедебю. К тому же теперь она была элегантна и повидала свет, и, быть может, у баронессы появилось легкое ощущение того, что дочери ее не совсем будут под стать Шарлотте в ее теперешнем обществе. Но эту мысль она отогнала прочь. Она была убеждена в том, что при любом положении в жизни ее дочери будут держать себя пристойно и просто.

Шарлотта, в свою очередь, думала почти то же самое. Она спрашивала себя, сможет ли она свыкнуться с тем, что бок о бок с ней в доме будет жить маленькая крестьяночка, некрасивая и неуклюжая, будь она даже истинным образцом добродетели.

Шарлотта вовсе не была капризна или чванлива. Боже сохрани, в этом-то уж никто бы не мог ее упрекнуть. И она умела ценить людей по достоинству. Она сказала себе, что, взяв на воспитание одну из этих маленьких добрых рыженьких девочек и внушив ей любовь к себе, приобретет друга, который ей никогда не изменит. Никогда не будет такая девочка эгоисткой и останется со своей приемной матерью, утешая ее в старости; ведь замуж она, такая дурнушка, разумеется, никогда не выйдет.

Шарлотта тут же призвала на помощь разум и поздравила себя с тем, что в приемных у нее будет дурнушка. Какая милость провидения! Если бы Шарлотте можно было распоряжаться самой, то она, верно, облюбовала бы себе какую-нибудь красоточку. А та стала бы своевольной и капризной и думала бы лишь о себе самой.

Шарлотта была не из тех, кому трудно на короткую ногу сойтись со взрослыми или же с детьми; через несколько мгновений она уже совершенно покорила всех пятерых фрекен Левеншельд. Десять блекло-голубых глаз смотрели ей в рот, ловя каждое ее слово, десять маленьких рученок так и норовили приютиться в ее руке, лишь только им удавалось дотянуться до нее. Шарлотта почувствовала, что любая



из этих девочек, какую она соблаговолила бы избрать себе в воспитанницы, безропотно и не раздумывая последовала бы за ней.

Та доверчивая манера, с которой дети отвечали на ее вопросы, очень понравилась Шарлотте; они произвели на нее наилучшее впечатление. Они и в самом деле были очень милы и веселы.

Все было точь-в-точь так, как и должно было быть. Барон Адриан весь вечер просидел в гостиной, изо всех сил стараясь быть обходительным с гостьей, а баронесса пыталась казаться веселой. Пыталась — поскольку дело клонилось к тому, что жертва ее будет принята.

Пять маленьких фрекен отнюдь не были навязчивы, но они все время держались как можно ближе к Шарлотте, пожирали ее глазами, терпеливо ожидая, что она одарит их ласковым кивком или улыбкой.

Она радовалась этому поклонению, но, странное дело, она совершенно не чувствовала своего родства с ними.

Когда они сидели за ужином и перед гостьей по-прежнему маячили пять рыжеволосых головок и пять пар блекло-голубых глаз, неотрывно смотревших на нее, тайный ужас внезапно обуял Шарлотту — вдруг она взваливает на себя непосильное бремя, вдруг ей не выдержать! А вдруг придется отослать ребенка назад к родителям оттого лишь, что он так дурен собой! Хотя она и сочла свои опасения чрезмерно преувеличенными, но все же решила на всякий случай быть поосмотрительнее. Она не станет делать выбор в первый же вечер, а подождет до завтрашнего дня.

Как раз когда ужин в семействе барона подходил к концу, в одной из соседних комнат раздался взрыв громкого хохота, а за ним последовал другой, а потом еще и еще. Шарлотта несколько удивилась, а баронесса поспешила объяснить, что барон Адриан перевел кухню из флигеля, где она находилась, когда Шарлотта в последний раз приезжала в Хедебю, в господский дом. Это было куда удобнее, хотя иногда оттуда в столовую и доносился шум. Но тут уж ничего не поделаешь!

Принялись во всех подробностях обсуждать это нововведение, а когда кончили ужинать, барон Адриан подал Шарлотте руку, чтобы показать гостье, как он все устроил и как распорядился в своем доме.

Сначала они прошли в буфетную, и барон объяснил ей, как он снес одну стенку здесь, а другую вывел там. Шарлотта слушала с

интересом, она понимала в этих делах.

Покуда они стояли в буфетной, взрывы хохота из кухни раздавались все громче и громче; и тут уж нельзя было сладить с общим любопытством. Фрекен Левеншельд побежали вперед и, прежде чем кто-либо успел им помешать, широко распахнули кухонную дверь.

На большом кухонном столе стояла четырехлетняя девочка в одной рубашонке и лифчике, без юбки и без чулок. В ручонке она зажала хлыст, который ей смастерили из половника и кудели от прялки, а перед ней на полу стояли две прялки, которые она погоняла, прищелкивая языком и усердно щелкая хлыстом. Ясно было, что прялки эти изображали пару в упряжке.

Всякому было также ясно, что сцена изображала бешеную скачку лошадей на ярмарочной площади. Погоняемые окриками и ударами хлыста, лошади с ужасающей быстротой мчались вперед, а толпившийся вокруг народ поспешно бросался в стороны.

— Эй, пади, Пей Улса! Плоць с дологи, делевенстина!

— Вот кто не боится ни ленсмана, ни исплавника!

— Эй, дологу цыганскому балону!

— Эй, гей, гей, гей, нынче ялмалка в Блу!

— Эй, гей, гей, гей, холосо зить на свете!

Кухню сотрясали взрывы веселого хохота. Взгляды зрителей были прикованы к ребенку, который, раздумываясь и сверкая глазенками, стоял на кухонном столе.

Он так вошел в свою роль, что окружающим почти казалось, будто они видят, как золотистые кудри ребенка развеваются на ветру. Им казалось, будто кухонный стол мчится сквозь ярмарочную толпу, словно тряская и дребезжащая цыганская телега.

Ребенок стоял на столе, вытянувшись в струнку и разгорячась, полный задора и жизнерадостности. Все на кухне, начиная с экономки и кончая конюхом, были ошеломлены. Все побросали работу и неотступно следили за бешеной скачкой ребенка.

То же творилось и с теми, кто стоял в дверях буфетной. Они были точно околдованы. Им тоже виделось, будто ребенок стоял вовсе не на столе, а на высокой повозке. Им тоже виделась толпа народа, рассыпавшаяся по сторонам, и лошади с развевающимися гривами; во весь опор неслись они меж ярмарочными ларями и повозками.

Первым очнулся от этого волшебства барон Адриан. Еще прежде он уговорился с женой, чтобы при Шарлотте даже не упоминали об истории с его братом и чтобы цыганочка ни в коем случае не попадалась ей на глаза. Баронесса, как всегда, во всем согласилась с мужем, но добавила, что раз малютка еще не совсем оправилась после кори, то, разумеется, ее следует держать в детской. Теперь же барон Адриан решительно выступил вперед и затворил кухонную дверь. Затем он подал Шарлотте руку, чтобы увести ее назад в господские покои.

Но Шарлотта стояла неподвижно, будто вовсе не замечая предложенной ей руки.

— Что это за ребенок? — спросила она. — И что у него за лицо? Он, должно быть, из нашего рода!

Она крепко обхватила руку барона Адриана, и всем показалось, будто в голосе ее слышались слезы, когда она продолжала:

— Вы, кузен, должны сказать мне, не нашего ли рода эта девочка. Я чувствую, что она мне родня.

Не ответив, барон Адриан отвернулся от Шарлотты. Тогда супруга его пояснила:

— Это дочка Йерана Левеншельда. Она хворала корью, а нянька без спросу пустила ее на кухню.

— Ты, кузина, верно, слышала о моем брате, цыганском бароне? — сурово спросил барон Адриан. — Так вот, мать девочки — цыганская девка.

Но Шарлотта, словно во сне, направилась прямо к кухонной двери, отворила ее и с распростертыми объятиями подошла к столу.

Цыганочка, которая, стоя на столе, уже играла в барышника, бросила на нее взгляд, и, должно быть, маленькая проказница увидела в Шарлотте что-то явно ей понравившееся. Отшвырнув в сторону хлыст, она отчаянным прыжком кинулась в объятия Шарлотты.

Шарлотта крепко прижала ее к себе и поцеловала.

— Возьму только тебя, — сказала она, — тебя, тебя, одну тебя!

То было спасение. Она облегченно вздохнула.

Безобразия, то ужасающее безобразие, отвращение к которому она пыталась превозмочь весь вечер, безобразие, в котором она старалась найти пользу и добродетель, — ну его, со всеми его достоинствами, которые она отлично сознавала. Она не знала, что скажет на это барон

и что скажет баронесса; но ведь это был тот самый ребенок, ради которого она выехала из дому.

Внезапно она попятилась. Сжав кулаки, к ней подступал барон Адриан; глаза его были налиты кровью. «Точь-в-точь бык, которому хочется поддеть меня на рога», — подумала Шарлотта.

Но тут меж нею и бароном встала баронесса; ее голос звучал как всегда спокойно и невозмутимо, но весьма настойчиво:

— Если ты возьмешь этого ребенка, Шарлотта, мы будем тебе благодарны всей душой, и я и муж.

— Я — благодарен?! — презрительно смеясь, воскликнул барон.

А баронесса продолжала с необычайной теплотой в голосе:

— Да, я буду благодарна тебе за то, что мне не придется расстаться с одной из моих любимых дочурок! Адриан же будет перед тобой еще более в долгу за то, что ты помешала ему совершить поступок, в котором он потом раскаивался бы всю свою жизнь.

Быть может, правда, открывшаяся в словах жены, а быть может, просто-напросто удивление оттого, что она осмелилась восстать против него, заставили барона Адриана онеметь. Как бы то ни было, он повернулся и молча вышел из кухни.

## **ЯРМАРОЧНЫЙ АПОСТОЛ**

Можно ли представить себе более сладостное пробуждение? Просыпаешься оттого, что слышишь, как детские ножки мелкими шажками семят вслед за горничной, которая входит утром в спальню затопить изразцовую печь. А что может быть приятнее на свете? Лежишь тихо-тихо, закрыв глаза, а потом чувствуешь, что крошечное созданыще, ничуть не заботясь о произнесенном шепотом предостережении — не тревожить спящую, упрямо дергает одеяло, желая забраться к тебе в постель. А какой раздается радостный, ликующий крик, когда ты внезапно протягиваешь руки и помогаешь маленькой шалунье взобраться на кровать. Когда она потом обрушивается на тебя и еще холодными после утреннего умывания ручонками хлопает тебя по щекам, щиплет тебя, брыкается и целует! И остается лишь смеяться вместе с ней и вместе с ней ликовать; начинаешь лепетать на ломаном детском языке, тут же вспоминаешь множество каких-то нелепых ласкательных имен. А горничной и в

самом деле вовсе незачем просить прощения за то, что она позволила ребенку войти вслед за нею. Все утро девочка только и делала, что приставала и просила, чтобы ее пустили к красивой даме, которую она видела вечером, и обещала вести себя тихо, как мышка, не болтать и не мешать.

Уходя из гостиной, горничная хочет увести с собой и ребенка, но об этом и речи быть не может. Малютка, которая, может статься, опасалась, что ее выпроводят, залезает под одеяло и притворяется спящей. Но лишь только дверь за горничной закрывается, девочка снова просыпается и начинает лепетать. Она рассказывает что-то о своем отце, но говорит быстро и невнятно, и Шарлотта не успевает ее понять. Но что из того! Одно лишь неотразимое очарование детского голоса пленяет Шарлотту.

Огонь уже ярко пылает в печи, когда снова отворяется дверь и входит горничная с кофейным подносом в руках. За ней следом — хозяйка дома, маленькая и пухленькая баронесса, которая пришла осведомиться, как почивала гостя. Она разливает кофе, подает чашечку гостю, а заодно берет и себе, затем усаживается поближе к огню и начинает болтать.

Девочка затихает, но, боясь, что ее уведут, судорожно сжимает руки Шарлотты. Вскоре она и вправду засыпает, а совершенно покоренная ею Шарлотта лежит и разглядывает розовое личико девочки. Она смеется сама над собой. Эта маленькая цыганочка, которая умудрилась полюбить Шарлотту, сделала ее своей послушной рабой. Что касается баронессы, то она хотела сказать следующее: пусть Шарлотта и не думает о том, чтобы в ближайшие дни покинуть Хедебю. Отчасти из-за того, что сама баронесса, да и все прочие домочадцы от души желают, чтобы она осталась и скрасила бы их уединение. Отчасти из-за того, что Шарлотта должна дать ей, баронессе, время заказать девочке, прежде чем та уедет, приличествующий гардероб. Как-никак она же фрекен Левеншельд, и ей необходимы несколько траурных платьиц и несколько перемен нижнего белья, чтобы она была не очень скудно экипирована, когда приедет на Озерную Дачу.

Ну, а разве это не ново и не трогательно, когда тебя по несколько раз на дню требует в детскую маленький тиран, который скучает по тебе. Дети, должно быть, обладают поразительным чутьем. А эта

малышка тотчас подметила, что ты такая же заправская лошадица, как и она сама. И подметила, что никто, кроме тебя, не умеет так прекрасно бежать рысью в упряжке из перевернутых скамеечек для ног, никто не держит вожжи с таким истинным знанием конского норова, никто не бывает так послушен, когда она прищелкивает языком и кричит «тпру!». Ну, а не смешно и не печально ли это, что такой малый ребенок посвящает тебя в тайны кочевой цыганской жизни, играя в игру, в которой один стул называется Экебю, а другой — Бьерне?!<sup>[120]</sup> Разъезжать меж этими стульями и спрашивать, нет ли работы, встречать в ответ грубость и отказ?! А затем с величайшим знанием дела рассуждать о видах на заработок в том или ином месте?!

Но самое восхитительное, пожалуй, это все-таки видеть, как малютка внезапно отшвыривает вожжи, забывает об игре и, встав у окна, высматривает того, кто навсегда уехал от своего ребенка. Она стоит так часами, безучастная ко всякого рода обещаниям и уговорам, вся в плену тоски по отцу. Слезы наворачиваются на глаза, когда видишь, как она стоит, прижавшись личиком к оконному стеклу и заслонившись от всех ручонками. И думаешь про себя, что какими бы недостатками ни обладал этот ребенок, все же он умеет любить. А что может быть важнее уверенности в этом?

Но судя по тому, как изобретательна девочка, когда придумывает свои игры и проказы, она, должно быть, так же богато одарена и умом. И в самом деле, это ее заслуга, что дни в Хедебю не тянутся так томительно долго и однообразно, ибо неоспоримо то, что некая унылость царит над этим старинным поместьем.

А виною всему — один лишь барон Адриан. Он брюзглив, вечно всем и вся недоволен и удручает тем свое семейство, в котором, не будь угрюмого хозяина, было бы куда приятнее.

На другой день после приезда Шарлотты в Хедебю барон призвал к себе того самого управителя, который был своим человеком в кочевьях цыган в северных приходах Вермланда. Он приказал ему запрячь соловую клячку Йерана Левеншельда и отправиться на север вместе с грязной цыганской кибиткой и всем ее содержимым. Прежде всего управитель должен был доставить это жалкое наследство вдове брата барона Адриана; затем он должен был сообщить ей, что муж ее, цыганский барон, замерз в канаве у

проселочной дороги, а под конец сказать, что их дочку взяли на свое попечение родственники.

Через несколько дней нарочный вернулся, и барон Адриан рассказал Шарлотте, что, судя по всему, управителю показалось, будто мать ребенка была рада сбыть девочку с рук. Вследствие чего он, барон Адриан, полагает, что Шарлотта может считать ее своей. Однако он советует еще некоторое время не предпринимать никаких мер, дабы в законном порядке утвердить свои права на ребенка. Все же это нищий ребенок с дурной наследственностью, и вполне может статься, что через какой-нибудь месяц Шарлотта сочтет себя вынужденной отослать девочку назад к матери.

Итак, во всем этом деле барон вел себя вполне учтиво. Впрочем, он не делал сколько-нибудь заметных усилий, чтобы подавить свое недовольство. К счастью, он почти всегда появлялся лишь за столом. Но и тогда бывало не очень легко найти предмет для беседы, которую он не прерывал бы презрительным смехом или же язвительным замечанием.

Тому, кто сам бесконечно, несказанно счастлив в супружестве и, помимо того, обладает врожденной склонностью помогать другим и полюбовно все улаживать, трудно мириться с таким положением вещей и даже не сделать ни малейшей попытки вмешаться. Но на сей раз приходится сознаться в собственном бессилии. Слишком уж жестока была шутка, которую Йеран Левеншельд сыграл со своим братом в их последнюю встречу. Барон Адриан не мог простить, что у него отняли мечту о мести, которую он так лелеял.

Но, чувствуя свою беспомощность в отношении барона Адриана, Шарлотта с тем большим рвением старается облегчить гнет, тяготеющий над его женой и малолетними дочерьми. При одной только мысли о том, что Шарлотта находится в их доме, несчастная баронесса, по-видимому, становится мужественнее и спокойнее. И мало-помалу Шарлотта добивается того, что за столом начинают звучать шутки и смех, а в сумерках у горящего камина — сказки и истории. Она затевает катание с гор на салазках, она приглашает баронессу с дочерьми в дальние санные прогулки на своих собственных лошадях, которые выстаиваются на конюшне. Она соблазняет баронессу сыграть несколько вещиц Генделя и Баха на клавесине. А когда ей удалось выведать, что у всех пяти рыженьких

малышек поистине приятные голосочки, она умудрилась так ободрить их, что они встали вокруг фортепьяно и под аккомпанемент баронессы запели: «Приди, весна, скорее, приди, веселый май!»

Меж тем настал день, когда наконец оказалось, что для цыганочки довольно нашито разных платьиц, белья и юбочек, и баронесса не противится долее отъезду Шарлотты. Отъезд необходим еще и по другой причине. С тех пор как Шарлотта приехала в Хедебю, все дни стояла великолепная, солнечная погода. Огромные снежные сугробы осели, а на дороге, которая ведет к церкви в Бру, кое-где показались проталины. Внизу же озеро Левен[121] все еще было покрыто толстым и крепким слоем льда, но на его ледяной поверхности уже виднелась талая вода; следы же полозьев, которые еще совсем недавно длинными вереницами пересекали озеро во всех направлениях, исчезли. Шарлотта не могла дольше мешкать с отъездом. Она должна была уехать, покуда еще был санный путь.

Накануне отъезда баронесса предложила Шарлотте прогуляться на кладбище в Бру и осмотреть фамильную гробницу, о которой столько говорили. Шарлотта тотчас же согласилась и сразу после обеда, который в Хедебю подавали в половине первого, они пустились в путь. Идти им было недалеко, но дорога в оттепель сделалась скользкой и трудной. Однако неудобство это легко искупалось удовольствием гулять на воле под яркими лучами солнца, приятностью ощущать, как теплый весенний воздух вновь овеивает щеки, радостью слышать звонкие трели первого жаворонка над еще заснеженными полями.

По дороге баронесса попыталась деликатно коснуться крайне щекотливой темы. Она завела разговор о Карле-Артуре Экенстедте. И хотя баронесса видела, что имя это словно бы заставило Шарлотту отшатнуться, она все же не отступалась от своего. Она пыталась возбудить сострадание в Шарлотте — Шарлотте, которая так богата и которой муж ни в чем не отказывает!

Шарлотта слегка пожала плечами. Разумеется, это правда, мужа лучше, нежели у нее, и быть не может, но именно поэтому... Старая лесопилка Польхема все еще стоит на Озерной Даче. Шарлотта не хочет ничем рисковать. Целых четыре года не позволила она себе ни разу подумать о Карле-Артуре, тем более попытаться помочь ему. Она тотчас постаралась перевести разговор на другое.



И баронесса, как обычно, уступила. Но когда они уже подошли к могильному холму с большим каменным саркофагом, она воспользовалась случаем и показала Шарлотте то место, где Мальвине Спаак удалось некогда опустить ужасный перстень в склеп, и при этом заметила:

— Ведь женщина, которая разъезжает теперь с Карлом-Артуром, должно быть, и есть дочь этой самой Мальвины Спаак?

— Да, разумеется, это она! — ответила Шарлотта. — Потому-то Карл-Артур и проникся к ней таким безграничным доверием. Но полно, не будем больше говорить об этих людях! Из-за них у меня и так было немало горестей.

Маленькая баронесса тотчас же послушалась. Но тут Шарлотта внезапно растрогалась: «Ах, вот как, — подумала она. — Я начинаю вести себя в точности, как ее муж, и не позволяю высказаться, как ей хочется».

— Я понимаю, у тебя что-то на сердце, и ты думаешь, что мне надо об этом узнать, — громко сказала Шарлотта.

И баронесса тотчас же заговорила. Прошлой осенью она побывала в Брубю, на ярмарке, что продолжается больше недели и куда стекаются тысячи людей. Переходя от ларя к ларю и покупая то одно, то другое, она вдруг услышала какой-то женский голос, затянувший псалом. И таким странным казалось это пение среди ярмарочного шума, что она невольно остановилась и прислушалась. Голос отнюдь не был красив, но песнь неслась с такой силой, что прямо-таки оглушала. Баронессе, которая вовсе не знала, кто эта певица, вскоре наскучило такое неблагозвучное пение, и она собралась было уже свернуть в другую сторону, но это оказалось не так-то легко.

На звуки этого ужасного пения со всех сторон стал сбегаться народ. Сбегались, громко смеясь, словно пение было вступлением к какому-то необыкновенно увлекательному ярмарочному увеселению. Баронесса, оказавшаяся посреди всей этой толкотни, не могла из нее выбраться; напротив, ее даже протолкнули вперед, так что неожиданно она очутилась прямо перед поющей. Баронесса увидела, что та стоит на обыкновенной цыганской повозке с кучей серых от грязи узлов на дне. Сама женщина была дурна собой и тучна. Была ли она молода или стара — сказать было невозможно, поскольку женщина была одета в длинный салоп на вате, хотя и латаный-перелатаный, но, уж конечно,

очень теплый. На голову она накинула большую грубую шаль, повязанную крест-накрест и стянутую узлом на спине. Она походила на зеленщицу за прилавком. У этой женщины не было заметно ни малейшего желания украсить свою внешность, стать привлекательнее.

Ей так и не дали допеть псалом до конца. Слушатели стали кричать, чтобы она бросила выть, а когда она не сразу послушалась, несколько проказников начали передразнивать ее пение. Тогда она тотчас же умолкла, повернулась спиной к толпе и уселась, скорчившись, среди узлов в повозке. Так она сидела тихонько, покачиваясь всем телом, и баронессе порой казалось, будто она вся дрожит не то от холода, не то от страха.

Меж тем, когда женщина замолчала, на повозку вспрыгнул какой-то мужчина и начал говорить; с той минуты баронесса забыла и думать о певице. У мужчины была длинная с проседью борода, и когда он сбросил с головы широкополую черную шляпу, баронесса заметила, что он почти лыс. Но она все равно сразу же увидела, что это Карл-Артур Экенстедт. Да, то был не кто иной, как он, хотя ужасающе худой и изнуренный. От былой его красоты не осталось и следа, но баронесса тотчас же узнала Карла-Артура по голосу и присущей ему манере опускать тяжелые веки. Кроме того, ведь ей было известно, что таким вот манером он разъезжает по округе и проповедует на ярмарках, да и повсюду, где только собирается народ.

— Но пусть Шарлотта не думает, — продолжала баронесса, — что Карл-Артур обращался к людям с какими-нибудь назидательными и серьезными речами. Начал он с нескольких изречений из Библии, а потом только и делал, что бранился. Казалось, с самого начала он был дико озлоблен. Он кричал и обвинял всех подряд. Он был в ярости оттого, что народ собрался вокруг него единственно для того, чтобы поохотать. Затем он повернулся к какой-то крестьянке и стал поносить ее за то, что она слишком богато одета, а указав на какого-то мальчонку, стал корить его за то, что он слишком толст и румян. Совершенно непонятно, по какой причине напускался он на тех или иных людей в толпе; скорее всего в душе его просто горел неугасимый гнев против всех и вся.

Он стоял, сжав кулаки, и с такой силой извергал слова, что они обрушивались на людей, будто буря с градом. И баронесса, разумеется, не стала бы отрицать, что он пользовался своего рода успехом. Вокруг

него собралась куча народа, и каждое слово Карла-Артура вызывало хохот. Людям, казалось, было невдомек, что в его намерения вовсе не входило возбуждать своими речами всеобщее веселье.

Но для баронессы, которая знала его с давних пор, самым удивительным было слышать, как он изливал свою желчь на бедность — ту самую бедность, которую дотоле не уставал превозносить. А тут она увидела, как он показывал толпе заплаты на своем рубище и проклинал всех, кто был повинен в его нищете. Прежде всего жаловался он на своего отца и на сестер. Его мать умерла, и он должен был бы наследовать ей, и был бы теперь богачом, но отец и лицемерные, алчные и вороватые сестры незаконно лишили его доли наследства.

Когда баронесса рассказала об этом, Шарлотта возразила:

— Быть того не может! Это не мог быть Карл-Артур!

— Но, дорогая моя. Он называл их всех по именам. Без сомнения, это был он!

— Помешался он, что ли?

— Нет, не помешался. В том, что он говорил, была какая-то крупница рассудка. Но я сказала бы, что он стал совсем другим человеком. От прежнего Карла-Артура ничего не осталось. Ну, а что ты скажешь на это? Ведь он похвалялся, что мог бы стать епископом, когда бы только пожелал. Во всей стране, дескать, нет никого, кто мог бы говорить такие проповеди, как он. Он-де мог бы стать и архиепископом, если бы злые люди не погубили его. Можешь себе представить, как должен был веселиться народ, когда этот жалкий, изнуренный оборванец уверял, что мог бы стать епископом. Все смеялись просто до упаду, а у меня было одно-единственное желание — поскорее выбраться оттуда.

Баронесса на секунду прервала свой рассказ, чтобы взглянуть на Шарлотту. Та стояла нахмутив брови и полуотвернувшись, будто ее поневоле заставили выслушать историю, которая, в сущности, нагнала на нее скуку.

— Остается добавить лишь немного, — со вздохом продолжала баронесса. — Я хочу только сказать, что когда Карл-Артур утверждал, будто он мог стать епископом Швеции, у женщины, сидевшей на дне повозки у его ног, вырвался легкий презрительный смешок. Он услышал этот смешок, и, вообрази, с этой минуты гнев его обратился

против нее. Топнув ногой по доскам повозки, он спросил, как посмела она смеяться. Та, что повинна во всех его несчастьях, что разлучила его с невестой, с матерью и женой! Та, которая была причиной его отрешения; того, что он больше не пастор и не смеет говорить проповеди в церквах! Та, что сидела у него на шее, змея подколотная, каждодневно источающая яд на его раны! Та, которая не перестанет изводить его, покуда не вынудит ударить ее ножом!

Баронесса снова замолчала, словно желая взглянуть, не произвели ли впечатление хотя бы эти слова. Но Шарлотта уже отвернулась от нее. Ни словом, ни жестом не проявила она интереса к рассказу. Точно с отчаяния от такого равнодушия, баронесса заговорила с величайшей поспешностью:

— Когда он начал обвинять эту женщину, он выражался весьма высокопарно; ты ведь его знаешь. Но, видимо, ничто ее не трогало, потому что она долгое время сидела совершенно молча. А тут, должно быть, его угораздило сказать нечто задевшее ее, как говорят, за живое, и она ему ответила. И тогда слово за слово они начали ругаться. Нет, у меня язык не поворачивается повторить, что они говорили друг другу! Это было просто ужасно! Они касались самых интимных подробностей. Казалось, будто они готовы вцепиться друг в друга и затеять драку. Я и вправду испугалась, что мне придется увидеть это собственными глазами. Сама не знаю, как мне это удалось, но я протолкалась сквозь толпу, которая, не помышляя ни о чем ином, только смеялась, и вырвалась вон. Но с той поры, Шарлотта, эти горемыки несчастные нейдут у меня из головы. Они, верно, и поныне еще все так же кочуют в своей повозке. А отец его и сестры — живы, а ты, Шарлотта...

— Ничего не понимаю, — перебила ее Шарлотта. В голосе ее звучало недовольство, будто она желала сказать, что сочла весь этот рассказ сильно преувеличенным и даже вроде бы вымышленным. — Я видела Карла-Артура четыре года тому назад. Хотя он и был одет в сермягу, но выглядел переодетым принцем. И чтобы за четыре года он так опустился, стал так непохож на самого себя!

— Ну, а страдания, дорогая Шарлотта, подумай о его страданиях, подумай обо всем, что пришлось ему претерпеть! Подумай обо всех его неудачах, обманутых надеждах, унижениях! Подумай о том, каково ему жить с этой женщиной! Подумай о безнадежности, об упреках

самому себе! Подумай о том, что ему, верно, пришлось вести такую же жизнь, как и моему деверю, цыганскому барону! А что, если он кончит тем, что убьет человека! Если ты когда-нибудь любила его...

— Если, — тихим голосом произнесла Шарлотта, — если я...

Неожиданно она быстро зашагала прочь. Не оглядываясь, миновала она кладбище и спустилась вниз, на дорогу, ведущую в Хедебю. Она закусила губу, чтобы не закричать. Она думала, что навсегда разделалась с этим человеком, а теперь он появляется снова, несчастный, пропащий человек, домогающийся ее милосердия своим падением, своей ужасной, горькой судьбой.

Почти весь обратный путь до самого Хедебю дамы шли врозь: Шарлотта чуть-чуть впереди, а ее гостеприимная хозяйка — на несколько шагов сзади. Ни одна из них не произнесла ни слова.

Но в самом начале аллеи, ведущей к дому, Шарлотта остановилась и подождала баронессу. Улыбнувшись грустной улыбкой, она покачала головой, но заговорила совсем не о том, о чем они только что беседовали.

— Знаешь, — с несколько наигранной веселостью в голосе сказала она, — пожалуй, я уходила не более как на час, а уже радехонька, что возвращаюсь назад. Можешь понять теперь, какую власть забрала надо мной эта нищая цыганочка. Я уже по-настоящему скучаю без моей девочки.

И пока они брели по аллее, Шарлотта поглядывала на окошко в детской, следя, не покажется ли там тесно прижатое к оконному стеклу маленькое личико. Войдя во двор, она так и ждала, что вот-вот широко распахнется дверь в сени и оттуда выбежит ребенок и, шлепая по лужам и талому снегу, ринется прямо к ней.

Но ничего подобного не случилось. Зато к возвращавшимся домой дамам уже спешил навстречу не кто иной, как сам барон Адриан. На бароне была шуба волчьего меха, подпоясанная в несколько рядов длинным разноцветным кушаком. На ногах у него дорожные сапоги, такие высокие и широкие, что каждый невольно подумал бы, уж не скроены ли они на каролинский манер, по образцу огромных ботфортов на портрете предка барона Адриана. Он явно собрался в путь и шел им навстречу, чтобы объяснить причину своего отъезда.

Баронесса тотчас же испугалась, не случилось ли какой беды в их отсутствие, и Шарлотта услышала, как она вздохнула:

— Ох, ох! Что там еще стряслось?

Между тем, кажется, ничего особо неприятного не случилось, скорее можно заподозрить обратное, потому что барон Адриан разом стряхнул с себя хмурь и стал весел и обходителен.

— А у меня новости, сейчас узнаете! — сказал он. — Прошло, пожалуй, с полчаса, как вы ушли, когда к крыльцу подкатила цыганская повозка. Она была, как водится, набита грязными узлами, а на них сидели мужчина с женщиной соответствующего вида. Женщина осталась в санях, а мужчина вылез оттуда и вскоре пришел ко мне в кабинет. И за каким, по-вашему, делом он ко мне пожаловал? Да всего-навсего потребовать для моей досточтимой невестки денежное возмещение за то, что она позволяет нам взять опеку над ее ребенком.

— Вон оно что! — воскликнула Шарлотта. — Впрочем, этого и следовало ожидать!

— Да, разумеется, следовало, — согласился барон Адриан. — Но самое удивительное вовсе не в этом. Человек, который приехал поговорить со мной, был дурно одет и выглядел так, как и положено такому сброду, и сперва я принял его за обыкновенного бродягу-цыгана. Однако в его голосе что-то показалось мне знакомым, и покуда он говорил со мной, я все ломал голову над тем, где я мог встречаться с ним раньше. Да и вел-то он себя, впрочем, не совсем так, как в обычае у людей такого сорта.

— О, боже мой!

— Ты, кузина Шарлотта, я вижу, догадываешься уже, кто это был. Но я-то тугодум и не сразу понял, кто он такой. Я перебирал в памяти все эти цыганские физиономии, которые обычно видишь на ярмарке в Бру. А тем временем ругал его на чем свет стоит за то, что он явился с таким бесстыдным домогательством. Я не поскупился ни на брань, ни на проклятия, потому что такие люди только это и понимают. Будь это обычный бродяга, он бы смолчал и стерпел мою ругань: ведь они все же немного почитают нас, господ. А этот за словом в карман не лез и выложил мне все, что обо мне говорят. Мне пришлось выслушать, что я подло обошелся со своим братом, что мне следовало бы пригласить на похороны невестку, и еще много всего в том же духе. Я ударил кулаком по столу и велел ему убираться, но толку не было.

— *Вы, кузен, говорили ему о том, что...*

— Ты, Шарлотта, очевидно, имеешь в виду, сообщил ли я ему, что ребенка берет себе богатая фру Шагерстрем. Нет, кузина, тут я поостерегся. Это только умножило бы притязания Карла-Артура. Между тем мой гость не унимался и честил меня по-прежнему так, будто это доставляло ему особенное удовольствие. И когда ему удалось настолько разозлить меня, что я готов был выбросить его за дверь, он пустил в ход последний козырь. Нимало не испугавшись, он напоследок заявил, что если я не желаю заплатить за девчонку, так она у меня и не останется.

Шарлотта слушала со все возрастающим страхом. Возвращаясь в Хедебю с кладбища, она твердо решила, что ничего не могла, да и не смела сделать для Карла-Артура. Так неужели теперь снова начнется ее борьба с самой собой?

— Но лишь только он захлопнул дверь, — продолжал свой рассказ барон, — меня будто осенило. Ведь я имел честь говорить со своим кузеном Карлом-Артуром Экенстедтом. Он, безусловно, немало времени проводил вместе с моим братом, да и разъезжал он также в цыганской повозке! А зимой он, верно, живет на севере, там, где обретаётся весь этот беспутный сброд. Совершенно естественно, что он взялся вымогать деньги в пользу этой цыганки, на которой угораздило жениться моего брата.

— Ну, а когда вы, кузен, узнали его, неужели вы позволили ему уехать?

— Да нет же; поняв, кто это был, я, разумеется, захотел потолковать с ним. Я выбежал на крыльцо, но он уже успел сесть в сани и съезжал со двора. Я крикнул ему изо всех сил: «Карл-Артур!», но это не возымело ни малейшего действия.

— А теперь, кузен, вы собираетесь нагнать его?

— Да, собираюсь. Видишь ли, кузина, как дело вышло. Отъехав довольно далеко по аллее, Карл-Артур внезапно осадил лошадь. Там как раз шла наша нянька со всеми детьми, надумав, видно, пойти вам навстречу. Женщина, сидевшая в повозке, тотчас узнала мою племянницу, я слышал, как она окликнула ее. Но когда ребенок подбежал к ней, она высунулась, подхватила девочку и втащила ее в сани. Карл-Артур хлестнул кнутом, лошадь понеслась. И вот таким-то манером, кузина, они, можно сказать, прямо на глазах у меня увезли ребенка.

— Как, моей девочки нет?

— А я стоял как беспомощный дурак! Я не мог нагнать их. Ведь все наши лошади в дальнем лесу, дрова возят.

— Ну, а мои?!

— Конечно же, кузина, я тотчас вспомнил, что есть еще и эти лошади, и поскольку ты, кузина, в этом деле лицо заинтересованное ничуть не менее, чем я, то я и позволил себе приказать кучеру заложить лошадей. Я как раз поджидал его, когда увидел, что вы с Амелией идете домой. Тебе, кузина, вовсе нет надобности тревожиться. Ребенок вскоре снова будет здесь. Ну, наконец-то! Вот и лошади!

Он уже хотел подбежать к саням, но Шарлотта удержала его за рукав.

— Пойдите, кузен Адриан! Нельзя ли мне поехать с вами?

Лицо барона Адриана побагровело. Но с прямой откровенностью, которая отличала его в дни молодости, он повернулся к Шарлотте:

— Тебе, кузина Шарлотта, нечего бояться. Я верну ребенка, даже если это будет стоить мне жизни! Я ходил тут, черт побери, целую неделю и мучился как проклятый! Должен же я отплатить тебе, кузина, за то, что ты помешала мне отослать эту бедную девочку.

— Ах, кузен Адриан, — сказала Шарлотта. — Не из-за того вовсе хочу я ехать. Но такая уж я — не верю даже самому дурному, что говорят о людях. Только теперь, когда он украл мою маленькую девочку, я поняла, как низко пал Карл-Артур. Возьмите меня, кузен, с собой, мне необходимо поговорить с ним!

## **ОТЪЕЗД...**

Между тем нагнать беглецов оказалось вовсе не так легко, как полагал барон Адриан. Отчасти оттого, что они намного опередили своих преследователей, отчасти оттого, что санный путь, как обнаружилось, был много хуже, нежели они ожидали. Великолепным лошадям Шарлотты приходилось напрягать все свои силы; там, где дорога была в проталинах, они не могли тащить тяжелые сани иначе как шагом. Шарлотте казалось, будто она прикована к месту, и она с досадой не отрывала глаз от узких следов цыганских саней, которые могли объезжать проталины по самой малой полоске снега на обочине.



Порой даже они давали крюку, объезжая их по еще заснеженным полям.

Но чем больше они удалялись от широкой равнины возле церкви к Бру, тем лучше становился санный путь, а к Шарлотте постепенно возвращалась надежда вскоре вернуть свою приемную дочку. Немало подбадривало ее и то, что барон Адриан и она неожиданно стали друзьями. Она и сама толком не знала, как это случилось. Должно быть, каждый из них со своей стороны обнаружил, что другой благороден и чистосердечен, быть может, чуть безрассуден, но зато человек замечательный, и общаться с таким — просто одно удовольствие. Барон даже сказал ей: он рад, что Шарлотта не уехала из Хедебю, прежде чем он сделал такое открытие.

Шарлотта не давала столь откровенных заверений, но поскольку она сомневалась, что сумеет склонить своего супруга помочь Карлу-Артуру, ей пришло в голову попросить позаботиться о нем барона Адриана. Ведь он доводился кузенom Карлу-Артуру, и, должно быть, ему не очень-то приятно, что столь близкий его родственник шатается по проселочным дорогам.

Но не успела она вымолвить и нескольких слов, как барон Адриан прервал ее.

— Нет, кузина Шарлотта, — смеясь, сказал он. — Дудки! Не желаю иметь никаких дел с такими людьми! И поистине, было бы разумнее всего, если бы и ты, кузина, последовала моему примеру.

Шарлотту немножко удивил этот резкий ответ, но ей показалось, будто она угадала его причину.

— Вы находите, вероятно, кузен, возмутительным, что Карл-Артур, человек женатый, разъезжает повсюду с чужой женой?

— Ха-ха-ха! Вон оно что! Ты, Шарлотта, принимаешь меня за такую ходячую добродетель? Нет, об этом я вовсе и не думал; тут другое, не менее скверное обстоятельство. Не понимаю, что за чертовщина творится с кузенom Карлом-Артуром. Неужто же ему невдомек, что такая спутница может вызвать лишь омерзение ко всем его проповедям?

— Я тоже считаю, что прежде всего следовало бы разлучить их.

— Разлучить их! — Повернувшись к Шарлотте, барон Адриан положил ей на плечо руку в большой лохматой рукавице волчьего

меха. — Разлучить их тебе удастся разве что на плахе или на холме висельников!

Шарлотта, тепло укутанная в медвежью полость, безуспешно пыталась заглянуть своему спутнику в лицо.

— Вы, кузен, верно, шутите? — спросила она.

Барон Адриан не дал прямого ответа на ее вопрос. Убрав руку с плеча Шарлотты, он уселся поудобнее в санях и в том же легком, полусаркастическом тоне, в каком говорил уже раньше, произнес:

— Могу ли я спросить, слышала ли ты, кузина, о том, что над Левеншельдами тяготеет проклятие?

— Да, кузен Адриан, слышала. Но должна признаться — не припомню, в чем там дело.

— Живя в большом свете, ты, кузина Шарлотта, разумеется, считаешь все это грубым суеверием

— Хуже того, кузен Адриан! У меня вообще нет ни малейшего интереса к явлениям сверхъестественным. Никакой склонности к этому я не питаю! А вот моя сестра Мария-Луиза — напротив...

Барон Адриан расхохотался.

— А раз ты, кузина Шарлотта, не веришь в это, тем лучше. Я уже давно собирался рассказать тебе об этом проклятии, да боялся тебя напугать.

— На этот счет, кузен, можете быть совершенно спокойны!

— Ну что ж, кузина, изволь, — начал было барон Адриан, но, внезапно прервав самого себя, указал рукой на кучера, который сидел прямо перед ним и мог слышать каждое их слово. — Отложим, пожалуй, до другого раза!

Шарлотта еще раз попыталась заглянуть барону Адриану в лицо. В его тоне все еще слышалось нечто саркастическое, словно он потешался над старинным семейным преданием. Но, уж конечно, ему не хотелось, чтобы кучер слышал его рассказ. Шарлотта поспешила рассеять его страхи:

— Вы плохо знаете моего мужа, кузен, если думаете, что он может нанять кучера, не удостоверившись прежде, что тот несколько туговат на ухо и не помешает седокам вести откровенную беседу.

— Бесподобно, кузина! Право же, возьму с него пример. Ну так вот что я хотел сказать. У нас, Левеншельдов, был когда-то враг, некая Марит Эриксдоттер — простая крестьянка. Отец ее, дядя и жених

были безвинно заподозрены в том, что украли перстень нашего пращура, и им пришлось кончить жизнь на виселице. И вовсе неудивительно, что несчастная женщина пыталась отомстить, и как раз с помощью все того же перстня. Мой родной отец чуть было не стал первой ее жертвой, но, к счастью, он был спасен Мальвиной Спаак. Ей удалось завоевать благосклонность Марит Эриксдоттер и с ее помощью опустить злополучный перстень в фамильную гробницу.

Нетерпеливым жестом Шарлотта прервала рассказчика:

— Ради бога, кузен Адриан! Не думайте, что я такая невежда. Историю перстня Левеншельдов я знаю, по-моему, слово в слово.

— Но одного ты, кузина, уж конечно, не слыхала. А именно: лишь только батюшка оправился от такого потрясения, как к бабушке моей, баронессе Августе Левеншельд, вдруг явилась Марит Эриксдоттер и потребовала, чтобы бабушка женила своего сына, стало быть, моего отца, на девице Спаак. Она уверяла, будто бы бабушка моя накануне вечером обещала ей это, и лишь одного этого обещания ради отступилась Марит от своей мести. Бабушка отвечала ей, что такого обещания она дать не могла, так как знала, что сын ее уже обручен. Она была готова одарить Мальвину Спаак, чем та только пожелает. Но то, чего требовала Марит, было попросту невозможно.

— Теперь, когда вы рассказываете эту историю, кузен, — перебила его Шарлотта, — мне кажется, будто я тоже слыхала нечто в этом роде. Впрочем, мне представляется вполне естественным, что Марит безоговорочно примирилась с тем, что произошло.

— Этого-то, кузина, она как раз и не сделала. Она продолжала настаивать на своем, и тогда бабушка приказала позвать девицу Мальвину, дабы та подтвердила, что баронесса не давала ей никакого обещания на брак с ее сыном. Девица Спаак подтвердила во всем слова хозяйки. Но тут неистовый гнев обуял Марит Эриксдоттер. Она, верно, раскаивалась в том, что безо всякой пользы отступилась от мести за великую неправду, которую претерпели ее родичи. И она заявила моей бабушке, что снова начнет мстить.

«Трое моих претерпели насильственную смерть! — воскликнула она. — Трое твоих тоже примут лютую скоропостижную смерть, потому как ты не держишь свое слово!»

— *Но, кузен Адриан...*

— Мне кажется, я знаю, что ты хочешь мне возразить, кузина Шарлотта. Бабушка моя, как и ты, кузина, считала, что несчастная женщина не может быть опасна. Ничуть не испугавшись, баронесса спокойно отвечала, что Марит теперь слишком стара для того, чтобы лишить жизни трех баронов Левеншельдов.

«Да, я стара и уже в гроб гляжу, — так будто бы ответила баронессе Марит. — Но где бы я ни была, живая ли, мертвая ли, — я смогу прислать человека, который отомстит за меня!»

Тут Шарлотта, не в силах дольше терпеть, с такой силой сорвала с себя медвежью полость, что ей удалось наконец заглянуть барону в лицо.

— Уж не хотите ли вы, кузен, сказать, что, по вашему мнению, слова бедной, темной крестьянки могут иметь какое-нибудь значение? — с величайшим хладнокровием спросила она. — Впрочем, я очень хорошо знаю всю эту историю. Припоминаю, что мой любимый друг полковница Экенстедт имела обыкновение рассказывать именно эту историю в пример того, как мало надо придавать значения такого рода предсказаниям. Она ни во что не ставила это пророчество.

— Не вполне убежден, что в настоящем случае тетушка была права, — возразил барон Адриан, привстав в санях, чтобы окинуть взглядом дорогу. — Не похоже, чтобы нам скоро удалось нагнать эту нежную парочку, — продолжал он, снова усаживаясь. — С твоего позволения, кузина, я хотел бы рассказать о небольшом странном происшествии, приключившемся в Хедебю еще при жизни моих родителей.

— Сделайте милость, кузен Адриан. Да и время пройдет тогда быстрее!

— Это было, кажется, летом тысяча восемьсот шестнадцатого года, — начал барон. — В Хедебю предстоял званый обед по случаю дня рождения моей матушки. За несколько дней до праздника родители мои, как всегда бывало в подобных случаях, послали за Мальвиной Спаак, чтобы она помогла им во всякого рода приготовлениях. В ту пору она была уже замужем, и звали ее, собственно говоря, Мальвина Турбергссон. Но у нас в Хедебю никак не могли привыкнуть называть ее каким-либо иным именем, нежели тем, которым называли ее все пятнадцать лет, когда она служила там

домоправительницей. Полагаю, что и ей самой оно было милее всякого другого. Полагаю также, кузина, что величайшей радостью в жизни фру Мальвины было приезжать в Хедебю и помогать матушке задавать пиры или же в другом каком важном деле. Замужем она была за бедным арендатором, и ей не представлялось случая проявить свой большой талант в приготовлении изысканных блюд дома. Только в Хедебю удавалось ей блеснуть своим умением.

— А не тянуло ли ее туда еще и нечто другое? — спросила Шарлотта, которой пришли на память кое-какие подробности из истории старинного рода Левеншельдов.

— Весьма справедливо, кузина Шарлотта. Я как раз намеревался рассказать об этом. Старые хозяева фру Мальвины — мой дед Бенгт-Йеран и моя бабушка баронесса Августа, о которой я только что говорил, были уже на том свете. Отец же мой, который унаследовал Хедебю, был, как всем известно, предметом любви фру Мальвины в девичестве. И хотя пыл юной страсти поохладел, у фру Мальвины все же сохранилась к нему маленькая слабость. Нам, детям, всегда казалось, будто батюшка с матушкой питали истинное дружеское расположение к Мальвине Спаак. Встречали они ее с откровенной радостью, сажали за свой стол и доверительно беседовали с ней обо всех своих горестях и радостях. Нам и в голову не приходило заподозрить, что скрытой причиной всех этих дружеских чувств могли быть угрызения совести.

— Полковница Экенстедт всегда говорила об искренней дружбе Мальвины Спаак ко всему семейству, — заметила Шарлотта.

— Да, она всегда была нам искренно преданным другом; во всяком случае, нет ни малейшего повода думать иначе. И ту привязанность, которую Мальвина питала к нашим родителям, она перенесла и на сыновей — Йерана и меня. Она всегда стряпала наши самые любимые кушанья, всегда совала нам какое-нибудь лакомство, припасенное для нас, когда мы навещали ее на поварню; ей никогда не надоедало рассказывать нам самые жуткие истории о привидениях. Но, быть может, следует оговориться, что любимцем ее, совершенно очевидно, был Йеран, и причиной тому была, видимо, его наружность. Я, румяный и белокурый, похож был на любого деревенского мальчишку и вряд ли мог пробудить в ее душе какие-либо нежные воспоминания. А с Йераном было иначе. Он был красив,

с большими темными глазами, и все считали, что он — вылитый отец. Поэтому весьма вероятно, что когда Йеран приходил в поварню и фру Мальвина отрывала взгляд от квашни или плошки с жарким, ей не раз чудилось, будто время остановилось и будто возлюбленный ее юности вновь вернулся к ней, чтобы попросить у нее совета, как найти средство заставить мертвеца упокоиться в могиле.

Лицо Шарлотты подернулось легкой грустью.

— Мне знакомы эти глаза, — словно самой себе сказала она.

— Такие вот добрые отношения между фру Мальвиной и нами, мальчиками, продолжались вплоть до тысяча восемьсот шестнадцатого года, — снова повел рассказ барон. — Но тут фру Мальвина имела неосторожность взять с собой в Хедебю свою дочку Тею. Девочке минуло в ту пору тринадцать лет, а мне было уже восемнадцать, Йерану шестнадцать, и мы считали себя слишком взрослыми, чтобы играть с нею. Если бы маленькая Тея обладала неотразимым очарованием, она заставила бы нас забыть разницу в возрасте, но бедняжка была неуклюжая коротышка с глазами навывкате, да к тому же еще и шепелявила. Мы находили ее отвратительной и всячески избегали ее, а фру Мальвина, считавшая маленькую Тею небывало одаренным ребенком, чувствовала себя немножко обиженной за нее.

— Ах, — прошепелявила Шарлотта, — как подумаю, что еду рядом с бароном Левеншельдом, сыном того самого барона Адриана Левеншельда, которого любила моя матушка и который взял на себя все расходы по моему воспитанию!

Но Шарлотта тут же оборвала свою речь.

— Нет, прошу прощения, кузен! Я не подумала о том, каково ей сейчас! Стыдно издеваться над несчастной!

Барон расхохотался.

— Жаль, что в тебе, кузина, заговорила совесть. У тебя, кузина Шарлотта, должно быть, большой талант. Мне почудилось, будто со мной рядом в санях сидит маленькая Тея. Но прежде чем продолжить свой рассказ, я позволю спросить, не наскучил ли я тебе, кузина? Ведь не каждый день доводится встретить кого-нибудь из нашего рода. А когда это случается, я будто снова чудом молодею. Все бывшее заново встает предо мной. Ты, кузина, наверняка была бы снисходительнее к нам за неучтивость к маленькой Тее, нежели наши собственные родители. Но матушка моя, заметившая, что фру Мальвина утратила

обычное доброе расположение духа, тотчас же угадала причину и строго-настрого наказала нам быть поучтивее с маленькой Теей, а батюшка тоже добавил от себя. Привычные к послушанию, мы несколько раз брали с собой девочку покататься на лодке, а с высоких яблонь натряхивали ей яблочко. Фру Мальвина, эта добрая душа, снова сияла от радости, и все шло наилучшим образом до самого праздника.

— Как вы только ее не утопили! — сказала Шарлотта.

— Тебе нетрудно представить себе наши чувства, кузина, — продолжал барон. — К нам съехались господа со всего уезда, мы встретились с девушками и юношами, которых знали сызмальства и любили, и поэтому нам и в голову не приходило, что и в такой день нам надобно оказывать внимание маленькой Тее. Матушка моя особо распорядилась, чтобы девочка присутствовала на празднике, и я припоминаю лишь, что одета она была вполне подобающим случаю образом. Но так как ее никто не знал, а внешность ее была поистине отталкивающей, то никто ей не уделял внимания. Мы не взяли ее с собой играть в саду, а когда поздним вечером в зале начались танцы, ее никто не пригласил. К несчастью, матушка была занята беседой со взрослыми гостями и забыла посмотреть, как чувствует себя маленькая Тея. Только за ужином она вспомнила о ее существовании, но, увы, было уже поздно. Матушка спросила горничную, где девочка, и узнала, что та сидит в поварне у своей маменьки и горько плачет. Никто с ней и словом не перемолвился! Ее не взяли ни играть, ни танцевать! Ну-с, маменьку это, конечно, немного встревожило, но не могла же она, в конце концов, оставить гостей, чтобы пойти утешать капризного ребенка. Говоря по правде, теперь-то я совершенно уверен в том, что она находила маленькую Тею не менее противной, нежели мы, мальчики.

— Тея всегда обладала удивительной способностью доставлять людям неприятности, — заметила Шарлотта.

— Да, не правда ли, кузина? Так вот, Мальвина Спаак, разумеется, оскорбилась за свою любимую дочку. Наутро, едва матушка успела проснуться, как к ней в спальню вошла горничная и доложила, что фру Мальвина желает уехать и велела спросить, не распорядятся ли заложить ей экипаж. Матушка была крайне удивлена. Еще раньше она уговорила с фру Мальвиной, что та останется в Хедебю еще на несколько дней, чтобы отдохнуть от праздничных хлопот. Матушка

тотчас же поспешила к ней и стала ее отговаривать, но та была непреклонна; тогда матушка догадалась призвать на помощь мужа. Батюшка сказал несколько слов о том, что накануне вечером он все время наблюдал за маленькой Теей и нашел, что она держалась очень мило и достойно. Фру Мальвина немедля сменила гнев на милость. Отъезд был отложен, и фру Мальвину удалось даже уговорить задержаться в Хедебю еще на целую неделю, чтобы мы, дети, успели бы познакомиться друг с другом поближе и стать добрыми друзьями.

— Это было уж слишком жестоко, кузен!

— Так вот, когда дело было улажено, батюшка велел позвать нас, мальчиков, к себе в кабинет. Он спросил, как мы смели ослушаться его приказаний, и дал каждому по оплеухе. Вообще-то батюшка мой был человек весьма благодушный и кроткий. Мы совершенно не в силах были уразуметь, отчего это батюшка питал такую слабость к маленькой Тее. Но тут он дал нам понять, что на всем белом свете нет человека, с которым мы должны были обращаться более бережно, чем с ней. И сообщил нам, что Тея останется в Хедебю еще на целую неделю, чтобы мы подружились с ней.

— И этого, разумеется, вы не смогли вынести?

— Я смолчал, но Йеран, который был нрава более пылкого и к тому же взбешен оплеухой, в страшной ярости вскричал: «Из того, что папенька был влюблен в Мальвину Спаак, вовсе не значит, что мы должны быть без ума от маленькой Теи». Я был уверен, что Йерана вышвырнут за дверь, но все вышло совсем иначе. Папенька сдержал свой гнев. Усевшись в большое кресло, он попросил нас подойти поближе. Мы встали перед ним рядом — слева и справа. Взяв наши руки в свои, он сказал, что настало время нам узнать семейную тайну. Он опасается, что с Мальвиной Спаак поступили весьма несправедливо. При неких обстоятельствах — а он был убежден, что мы знаем, на что именно он намекал, — он был на волосок от смерти. И он подозревает, что матушка его, баронесса Августа, если и не прямо, то все же каким-то манером дала понять Мальвине Спаак, что та станет ее снохой, если ей удастся спасти его жизнь. Обещание это, разумеется, выполнено быть не могло, и девица Мальвина вела себя наиделикатнейшим образом. Но батюшка тем не менее чувствовал, что он перед ней в неоплатном долгу. Оттого-то он и призвал нас обходиться с фру Мальвиной и ее дочерью как можно внимательнее.



— Какой благородный призыв, кузен!

— К сожалению, кузина, мы, мальчики, нашли все это скорее смехотворным, нежели трогательным.

Но в этот миг кучер Лундман обернулся к седокам и доложил, что ему показалось, будто на вершине одного из холмов, совсем близко от них, он приметил цыганскую повозку.

Барон привстал в санях. Он тоже увидел повозку, но тут же заявил, что до того холма еще не менее четверти мили, и к тому же определить, те ли это сани, которые они преследуют, или же другие, было невозможно. Все-таки он попросил Лундмана пустить лошадей елико возможно во всю прыть и поспешно составил план нападения.

— Как только мы поравняемся с санями, ты, кузина Шарлотта, бери вожжи, — сказал он, — Лундман выпрыгнет и схватит цыганскую лошадь под уздцы. Ну, а я подбегу к саням и заберу ребенка.

— Мы нападём на них, как заправские разбойники.

— По собаке и палка!

Барон Адриан высунулся из саней, чтобы лошади не мешали ему глядеть на дорогу. Им овладел настоящий охотничий азарт; он и думать забыл о старинной истории, которую только что рассказывал с таким пылом.

— Кузен Адриан, у нас наверняка есть еще с полчаса времени, покуда мы их нагоним. Не могла бы я дослушать конец этой истории?

— Разумеется, кузина, я доскажу ее с превеликим удовольствием. А конец был таков, что братец Йеран, который не в силах был стерпеть общество Теи еще целую неделю, надумал смастерить из воска, золотой фольги и капли красного сургуча огромный перстень с печаткой. Он показал перстень девочке и внушил ей, будто это и есть подлинный знаменитый перстень Левеншельдов, который он якобы нашел на кладбище. Теперь, стало быть, можно ожидать, что призрак мертвого генерала вот-вот начнет бродить по Хедебю и станет требовать назад свое сокровище. Маленькая Тея испугалась, фру Мальвина снова захотела уехать, и в усадьбе началось дознание. Братцу Йерану пришлось выложить и свой перстень из воска и всю эту историю, и тогда папенька задал ему трепку. Не стерпев экзекуции, Йеран бежал в лес, а потом его и след простыл — больше он домой никогда не возвращался. Целых двадцать шесть лет, до самой

нынешней зимы, не показывался он в Хедебю, а вел жизнь бродяги на проселочных дорогах, к великому горю моих родителей, навлекая позор и бесчестье на весь свой род.

— О, кузен Адриан, я и не знала, что злоключения его начались таким образом.

— Да, кузина, именно так все и случилось. И если уж поразмыслить хорошенько, то можно, по всей вероятности, сказать, что это маленькая Тея уготовила Йерану смерть в канаве у обочины. Тем самым, стало быть, она разделалась с одним из нас. Но взгляни-ка, вон они опять!

Барон снова высунулся из саней, разглядывая дорогу, но преследуемые сани быстро скрылись из виду, и он снова повернулся к Шарлотте.

— Ну, а что ты думаешь по этому поводу, кузина? Я уже забыл, для чего я заставил тебя выслушать всю эту историю. Ах да, я хотел предупредить, что нечего и пытаться разлучить Тею с Карлом-Артуром. Я полагаю, кузина, да, я полагаю, что у дочери фру Мальвины есть некое предназначение, а она сама ничего о нем не подозревает. Припоминаешь ли ты, кузина, как Марит Эриксдоттер говорила, что придет человека, который отомстит за нее Левеншельдам?

В тот же миг барон Адриан, повернувшись к Шарлотте, заглянул ей в лицо; в его застывшем от ужаса взгляде ей почудилось ожидание.

И Шарлотту в ту же минуту будто осенило. Конечно же, этот меланхолический мечтатель, не имевший в семейном кругу ни единой души, которой бы он мог довериться, в тоскливые часы уединения все снова и снова вызывал в памяти старинное проклятие. И мало-помалу дошел до того, что вообразил, будто Тея Сундлер и есть та, которая призвана стать мстительницей.

Правда, тут Шарлотта не могла не вспомнить ту злосчастную пору, когда помолвка ее с Карлом-Артуром была близка к разрыву и когда и сама она испытывала такое чувство, словно на стороне Теи стоит нечто грозное и неотвратимое, нечто препятствовавшее всем ее усилиям спасти возлюбленного. Тем не менее она никоим образом не желала согласиться с предположением барона Адриана. Потому-то и вопрошающий его взгляд она встретила с хорошо разыгранным удивлением.

— Не понимаю, — сказала она. — Какое отношение ко всему этому имеет Карл-Артур? Ведь он же не Левеншельд!

— В предсказании точно не говорится о том, что все три жертвы должны носить имя Левеншельд, они должны быть лишь потомками моей бабушки.

— И вы, кузен, полагаете, что из-за этой жалкой, мерзкой старой сказки я не попробую перемолвиться словом с Карлом-Артуром, если встречу с ним нынче вечером? И не посмею разлучить его с Теей, и вообще не посмею сделать ничего ради того, чтобы вернуть его к более пристойному образу жизни?

Взгляд барона Адриана все с тем же выражением ожидания и боязни был прикован к лицу Шарлотты, и даже голос его выдавал крайнее отчаяние.

— А я и не собираюсь запретить тебе, кузина Шарлотта, такую попытку. Я только говорю, что все равно это ни к чему не приведет. Я видел Карла-Артура несколько часов тому назад и могу заверить тебя, что он скоро кончит смертью в придорожной канаве, как мой брат. Лютая скоропостижная смерть во цвете лет!

— Не понимаю, как это вы, кузен, можете внушать себе такие нелепости.

Мрачным взглядом барон Адриан всматривался вперед.

— Ах, кузина Шарлотта, разве мы понимаем все, что творится вокруг нас? Почему у одного все идет плохо, а у другого хорошо? И сколько есть в мире неискупленной вины, которая вызывает об искуплении!

Несмотря на сострадание, которое испытывала Шарлотта, она начала уже терять терпение.

— Ну, а после того как Тея разделается с Карлом-Артуром, настанет, верно, ваш черед, кузен Адриан?

— Да, потом настанет мой черед, но это ровно ничего не значит. Заверяю тебя, что будь у меня сын, я охотно отдал бы свою жизнь ради искупления греха, тяготеющего над Левеншельдами. Мой сын, кузина, смог бы тогда жить счастливо, он возвеличил бы наш род. Ничто не помешало бы ему стать преуспевающим и всеми почитаемым человеком. Мы трое — мой брат, Карл-Артур и я сам — мы так ничего и не достигли, потому что над нами тяготело проклятие, а мой сын, кузина, мой сын не был бы отягощен этим бременем.

Лундман снова повернулся к седокам и, подняв кнут, указал на дорогу.

Барон Адриан даже не шелохнулся. Откинувшись назад, он молча сидел в своем углу саней, не выказывая ни малейшего интереса к погоне. Шарлотта могла видеть только его профиль, но ей все же показалось, будто выражение его лица стало снова таким же, каким было всю прошлую неделю — угрюмым, недовольным и суровым.

«Что мне делать? — подумала она. — На него снова нашла меланхолия».

Так они ехали довольно долго. Дорога, по которой катились сани, была на редкость ухабистой и извилистой. То она бежала вдоль самого берега озера Левен, то углублялась в лес, то теснилась меж прижавшимися друг к другу крестьянскими домишками. Нигде простор не открывался взгляду. Сани, которые они преследовали, показывались на миг и тут же исчезали.

Хотя Шарлотта почти не верила безумным фантазиям барона Адриана, однако ею все сильнее овладевало чувство сострадания к нему. И она поспешно решила прибегнуть к единственному средству, которое могла придумать ему в утешение. Правда, сделала она это, разумеется, без всякой надежды на успех, а лишь потому, что чувствовала непреодолимое стремление хотя бы что-нибудь сделать.

— Кузен Адриан!

— Что тебе угодно, кузина Шарлотта?

— Мне нужно поговорить кое о чем.

— Сделай милость, кузина! Ты выказала такое удивительное терпение, выслушав мою глупую историю!

Тон его был недружелюбен и ироничен, но Шарлотта была все же благодарна барону за то, что он ей ответил.

— Прости меня боже, если я поступаю дурно, но я должна рассказать об этом. Человек, которого вы, кузен, послали на север к цыганам, вернувшись в Хедебю, попросил разрешения побеседовать с баронессой с глазу на глаз. Он хотел сообщить ей, что у Йерана Левеншельда, вашего брата, кузен, остался сын.

Рука барона Адриана в огромной рукавице волчьего меха снова тяжело легла на плечо Шарлотты.

— Ты все это выдумываешь, кузина?

— Да надо быть чудовищем, чтобы тут солгать. Нет, кузен Адриан, там, в горах, и в самом деле есть мальчик. Ему шесть лет, он рослый и хорошо сложен. Не так красив, как его сестра, а больше похож на старого Бенгта на портрете. Так вот, управитель хотел прежде всего спросить баронессу, можно ли ему вообще рассказать вам, кузен, о том, что есть на свете такой мальчик. Но у него имеется изъян.

— Он идиот?

— Нет, кузен, разумом он не обижен, не хуже всякого другого, он весел и добр, но он...

Шарлотта была так взволнована, что ей изменил голос. Она не в силах была вымолвить это слово.

— Он слепой, кузен, — наконец прошептала она.

— Да как же так?

— Он слепой! — повторила Шарлотта, почти выкрикнув на сей раз это слово. — Потому-то управитель и не смел рассказать вам об этом. Амелия же попросила его молчать и впредь. Она полагала, что сейчас еще не время явиться к вам, кузен, с такой вестью. Она хотела рассказать об этом позднее, когда к вам вернется хорошее расположение духа.

— Как была она дура, так и останется!

— Мальчик родился слепым. И излечить его невозможно.

Барон Адриан принялся трясти Шарлотту, словно хотел вытряхнуть из нее истину.

— И это правда? И ты можешь поклясться, кузина, в том, что там, в горах, в самом деле есть мальчик?

— Конечно, есть! А зовут его Бенгт-Адриан! Маленькая девочка часто говорит о каком-то братце. Это, конечно, он! Но что такое с вами, кузен?

В безумном восторге барон Адриан обнял Шарлотту и расцеловал ее в щеки и в губы. Громко смеясь, он наконец отпустил ее.

— Да, прости меня, Шарлотта, но ты просто клад. Не неженка, а отважна, как настоящий мужчина! Сразу видно, что ты, кузина, нашего рода! Даю слово! Когда ты в следующий раз приедешь в Хедебю, там все будет по-иному.

— Я так рада, кузен, так бесконечно рада, но не следует забывать, что мальчик слепой!

— Слепой! Эка беда, у меня ведь пять дочерей, которым и делать-то нечего, кроме как водить его и кормить, если это потребуется. Нынче же вечером я еду на север. Только сперва надобно вернуть девчонку. Эй, Лундман, не видать их?

— Они недалече от нас, господин барон!

— Тогда погоняй, Лундман, что есть мочи! Сейчас мы поравняемся с ними. О, боже правый! Так как его зовут?

— Бенгт-Адриан!

— У Йерана все же сохранились какие-то чувства к прошлому. Так какой помощи Карлу-Артуру ты желала бы от меня, кузина?

— Но ведь ему суждено погибнуть!

— О черт! Неужто ты, кузина, и в самом деле веришь этой дурацкой фантазии, которую пытался внушить тебе меланхолический барон! С позволения сказать, наплевать нам на это проклятие! Стало быть, я позабочусь о Карле-Артуре. Ну, а что нам делать с Теей?

— Ее муж жив и тоскует по ней.

— Мы вернем ее ему, Шарлотта! А Карл-Артур прежде всего поедет в Хедебю и отъестся. Амелия позаботится о нем, ей по душе такие заботы. А вот и они! На следующем холме мы их схватим!

Шарлотта с бароном высунулись из саней, чтобы лучше видеть дорогу. Преследуемые находились как раз на крутом спуске холма, который вел прямо к берегу озера. Затем шла небольшая полоска ровной дороги, а потом снова начинался подъем. На этом-то холме барон и думал нагнать беглецов.

Карл-Артур все же опережал их. Он находился уже на гладкой дороге возле озера, в то время как лошади Шарлотты только еще мчались во весь опор по отвесному склону.

Меж тем беглецы, казалось, поняли, что их настигнут на ближнем холме, который уже круто вздымался перед ними. Карл-Артур резко повернул лошадь, съехал с дороги и очутился на льду озера.

— Ну, — сказал довольный барон Адриан, — тем легче мы схватим их там!

Лундман, недолго думая, также свернул на лед, который хотя и был покрыт вперемешку талой водой со снегом, но еще вполне держался.

Не успели они проехать и несколько сажень по льду, как барон Адриан испустил громкий крик:

— Стой, Лундман! Осади лошадей! О чем только думают эти господа! Ведь там же река!

Из саней Шарлотты, которые были довольно высоки, уже совершенно явственно можно было различить, как лед прямо перед ними стал гораздо темнее. По-видимому, это означало, что его разрушала бурливая речушка, струившаяся в озеро из лесной чащи.

Они остановились. Барон Адриан выскочил из саней и, сложив рупором ладони, стал кричать что есть мочи, предостерегая беглецов. Шарлотта дергала и рвала завязки медвежьей полости и наконец высвободилась. Теперь она могла двигаться.

Это произошло через несколько секунд. Послышался треск льда, и тут же лошадь Карла-Артура исчезла в полынье, а за нею последовали и сани.

Но в тот самый миг, когда лед подломился, Карл-Артур выскочил из саней, и сидевшая рядом с ним женщина последовала его примеру. Из саней Шарлотты можно было видеть, что они целые и невредимые стоят на краю полыньи.

Барон Адриан, рослый и тяжелый, как был в своей просторной шубе и огромных дорожных сапогах, пустился бежать к зияющей полынье.

— Ребенок! — кричал он. — Ребенок! Ребенок!

Шарлотта ринулась за бароном, а кучер Лундман, отбросив вожжи, тоже поспешил следом за ними. Барон опередил их. Он был уже почти у самой полыньи, и Шарлотте показалось, будто он крикнул, что видит девочку. И в этот же миг под ним подломился лед.

Шарлотта была так близко от него, что трещины в ломающейся ледяной коре протянулись почти к самым ее ногам. Но Шарлотта не обратила на это внимания, она думала лишь о том, как бы ей пробраться дальше и прийти на помощь барону Адриану и ребенку, но подоспевший Лундман обхватил ее сзади:

— Стойте, фру Шагерстрем! Ни шагу дальше. Ползите, ради бога, ползите!

Они оба бросились на лед и поползли на коленях к полынье. Но так ничего и не увидели.

— Течение тут уж какое сильное, вон оно как, — сказал Лундман. — Их уже затянуло под лед.

## ВОЗВРАЩЕНИЕ

Шарлотта едет по дороге в непроглядной тьме. Она все время плачет и всхлипывает. Носовой платок, которым она утирает слезы, мало-помалу промок насквозь. Ночь стоит морозная, и он совсем заледенел. Шарлотта поспешно сует его в шубу, чтобы он снова оттаял.

Но что ни делает Шарлотта — плачет ли, утирает ли слезы, прячет ли носовой платок, — все это происходит совершенно машинально и бессознательно. Все время она ждет только ответа на молитву, которую твердит без конца.

Рядом с ней нет больше барона Адриана, как при выезде из Хедебю. Вблизи вообще нет никого, кто мог бы быть ей опорой и утешением, никого — кроме кучера. Правда, Лундман и Шарлотта — добрые друзья, и он считает своим долгом время от времени, повернувшись на облучке, выказать ей свое участие.

— Да и то сказать, фру Шагерстрем, хуже такого я и не видывал.

Наверное, так оно и есть, но Шарлотта не позволяет себе ответить ему. Она все повторяет одну и ту же молитву и ждет ответа на нее.

Сани скользят совсем беззвучно. Лундман снял связки бубенчиков с коней и сложил их в ящик под сиденьем. На всех рытвинах и ухабах бубенчики дребезжат, но звон их — глухой и зловещий — под стать всей поездке. Они не наигрывают больше своих веселых мелодий, как тогда, когда висели на шеях коней.

Казалось, кони знают, что возвращаются домой, и хотят прибавить ходу, но Лундман считает это непристойным и сдерживает их прыть. Хотя никто этого не видит, сани тащатся почти так же медленно, как погребальные дроги.

— Эх и человек же был этот барон Адриан, — говорит Лундман, — да и смерть принял славную!

Но и эти слова не находят отклика у Шарлотты. Она думает о чем-то совсем ином и молится, молится неустанно и ждет ответа.

Лундман и Шарлотта — не одни в санях. Когда Шарлотта поворачивает голову, рядом с собой на сиденье она может разглядеть какой-то огромный узел, в котором, кажется, скрыт человек. Это, разумеется, не кто-либо из утонувших — не барон Адриан и не ребенок, а кто-то живой. Хотя оттуда, где он лежит, не доносится ни единого слова, хотя там не видно ни малейшего движения, но сани



скользят так беззвучно и вокруг стоит такая глубокая тишина, что Шарлотта порой явственно может слышать слабые хрипы дышащего рядом человека.

Она пытается думать о бароне Адриане и о маленьком ребенке. Это было бы облегчением. Они мертвы и ушли в мир иной, но воспоминание о них вызывает не ужас, а одну лишь скорбь. Шарлотте, однако же, нельзя отвлекаться, ей нужно по-прежнему молиться. Ей нужно пробиться со своей молитвой до самого престола господня. Ей нужно молиться о том, чтобы эта ужасная беда, которая стряслась нынче вечером, послужила бы началом какого-то благоденствия.

Когда Шарлотта с Лундманом достигли наконец края полыньи и тщетно пытались высмотреть там хотя бы малейшие следы утонувших, они услышали, как Карл-Артур крикнул им, что побежит на берег и позовет на помощь людей. Он так и сделал, а Тея последовала за ним. Маленький железоплавильный завод, приводимый в движение той самой речушкой — виновницей несчастья, находился совсем близко, и оттуда вниз, на лед, и ринулись люди. Они притащили с собой длинные багры и обшарили ими озеро под ледяным покровом, но с самого начала все было безнадежно. Сильное течение далеко унесло тела утонувших. Чтобы отыскать их, понадобилось бы, наверно, взломать весь лед на озере.

Тею Сундлер Шарлотта так больше и не видала, но Карл-Артур вернулся назад и был одним из самых ревностных среди тех, кто пытался оказать помощь, не раз даже по-настоящему рискуя собственной жизнью. Все это время он избегал Шарлотты, стараясь не приближаться к ней. Лишь когда все было кончено и многие из самых ретивых помощников, удрученные и павшие духом, побрели назад к берегу, он осмелился приблизиться к ней.

Шел он медленно и нерешительно, опустив, по своему обыкновению, веки. А подойдя вплотную, чуть приоткрыл глаза, так что смог увидеть платье и шубу, но отнюдь не лицо Шарлотты. Он произнес несколько слов, которые должны были, по-видимому, означать то ли утешение, то ли просьбу о прощении:

— Да, Йеран хотел, вероятно, вернуть свою девчонку! А еще, может, хотел поблагодарить своего богача брата за пышные похороны.

— Карл-Артур!

Тут он поднял глаза, и величайшее смятение отобразилось на его лице. Он явно не ожидал встретить здесь Шарлотту, думая, что дама, сопровождавшая барона Адриана, была его жена.

Карл-Артур не вымолвил больше ни слова, а лишь молча стоял, глядя Шарлотте в лицо; она так же молча глядела на него. Вся ее душевная боль и весь ужас, которые она испытала при виде его низости и грубости, были написаны у нее на лице, и ему невольно пришлось прочесть это.

Но в этот миг Карл-Артур вдруг так переменялся в лице, как это на памяти Шарлотты случалось с ним не раз при сердечных припадках. Взгляд стал диким и неподвижным, рот раскрылся, как будто Карлу-Артуру было не удержаться от крика, а руки он крепко прижал к груди.

Простояв так одно мгновение, он вдруг зашатался и непременно рухнул бы на землю, если бы Шарлотта не обхватила его обеими руками.

Еще несколько мгновений он шатался из стороны в сторону, но Шарлотта поспешила позвать на помощь; несколько человек подбежали к Карлу-Артуру, подняли его и понесли к ее саням. Когда Карла-Артура уложили на сиденье, он был уже в беспамятстве.

Шарлотта немедленно поехала с ним на берег и провела несколько часов на маленьком железоплавильном заводе. Карлу-Артуру нужен был уход. Лундман и Шарлотта промокли до нитки, ползая по льду в талом снегу. Им необходимо было обсушиться, а коней надо было покормить и дать им выстояться. Но из того, что происходило в эти часы, в памяти Шарлотты не сохранилось ни малейшей подробности. Все это время она только молилась Богу, умоляя его помочь ей спасти Карла-Артура и разлучить его с женщиной, навлекшей на него гибель.

Карла-Артура не удалось привести в чувство до самого отъезда, но было ясно, что он еще жив, и Шарлотта велела завернуть его в медвежью полость и отнести в сани.

Тихая мгlistая ночь, на небе ни звезды. Шарлотта вздыхает. Ни разу за всю свою жизнь не ждала она в такой страстной тоске ответа на свою мольбу. Но, окутанный ночным безмолвием, всемогущий молчит.

Совершенно неожиданно она замечает, что Карл-Артур, лежавший без чувств, чуть шевелится.

— Карл-Артур, — шепчет она, — как ты себя чувствуешь?

Сначала Шарлотта не получает ответа, но потом, стоит ей заметить, что Карл-Артур приходит в себя, ею вновь овладевает страх. Как он себя поведет? Будет ли говорить так же грубо и зло, как недавно на льду? Ей нельзя забывать о том, что перед ней совсем другой человек.

Вскоре Шарлотта услышала, как Карл-Артур слабым, едва слышным голосом задал ей вопрос:

— Кто сидит рядом со мной в санях? Это Шарлотта?

— Да! — ответила она. — Да, Карл-Артур, это я, Шарлотта!

Голос его звучит теперь совсем как прежде. Она слышит, что голос его очень слаб, но вовсе не груб. Он так же красив, как в былые времена, и, как ни странно, голос Карла-Артура звучит деланно и вкрадчиво, напоминая детский лепет.

— Я так и думал, что это Шарлотта, — сказал он. — От Шарлотты всегда так и веет жизнью и здоровьем. Я выздоровел только оттого, что сижу рядом с Шарлоттой.

— Стало быть, тебе лучше?

— Мне очень хорошо, Шарлотта. Сердце у меня сейчас совсем не болит. Никаких страданий; уже много лет я не чувствовал себя таким здоровым.

— Ты был, верно, очень болен, Карл-Артур?

— Да, Шарлотта, очень!

Потом он некоторое время не произносил ни слова, а Шарлотта тоже молча сидела и ждала.

Вскоре он снова завел разговор.

— Знаешь что, Шарлотта? — спросил он все тем же кротким, лепечущим голосом. — Я сижу и тешусь тем, что произношу самому себе надгробное слово.

— Что такое ты говоришь? Надгробное слово?

— Да, да, именно так, Шарлотта! Ты никогда не думала над тем, что скажет пастор над твоей могилой, когда ты умрешь?

— Никогда, Карл-Артур. Я и не думаю вовсе о смерти.

— Не попросишь ли ты пастора, Шарлотта, который станет держать речь над моей могилой, чтобы он сказал своим прихожанам так. Здесь, мол, покоится богатый юноша, который, повинувшись заповедям Христовым, расточил все свои имения и стал нищим.

— Да, да, конечно, Карл-Артур, но теперь ты не умрешь!

— Может быть, не теперь, Шарлотта! Редко чувствовал я себя таким здоровым. Но ты ведь можешь вспомнить об этом позже. И еще я хочу, чтобы пастор напомнил прихожанам о том, что я был тем апостолом, который вышел на дороги и тропы, дабы нести людям весть о царствии небесном прямо в их будничную жизнь, в их увеселения и в их труд.

Шарлотта не ответила. Она спрашивала себя, не глумится ли над ней Карл-Артур.

А он продолжал говорить тем же деланным тоном:

— Я полагаю также, что отлично было бы, если бы пастор сказал немного и о том, что я, подобно самому господу Иисусу Христу, выказал свое смирение, когда ел и пил вместе с мытарями и грешниками.

— Замолчи, ради бога, Карл-Артур! Ты и Христос!.. Ведь это же святотатство!

Прошло некоторое время, прежде чем Карл-Артур ответил Шарлотте:

— Мне вовсе не нравится такое возражение, — сказал он. — Но я могу примириться с тем, что пастор ничего не скажет о мытарях. Это могло бы быть ложно истолковано. А упоминания о грешниках, пожалуй, достаточно, дабы объяснить, почему я стал говорить проповеди на проселках проезжему люду. Разумеется, недостатка в возможностях распространить свою деятельность и на другие поприща у меня не было.

Шарлотта молча сидит в санях, и ей хочется громко крикнуть от ужаса. Неужто все это вправду? А может быть, он говорил так лишь для того, чтобы произвести на нее впечатление своим высокомерием? Неужели он утратил всякую способность рассуждать?

— Быть может, ты помнишь, Шарлотта, что у меня был друг, который стал потом миссионером?

— Понтус Фриман?

— Да, Шарлотта, совершенно верно! Он шлет письмо за письмом, уговаривая поехать к туземцам и помогать ему. Мне было очень соблазнительно! Я ведь так люблю путешествовать! Да и изучение языков меня тоже интересует. Мне всегда весьма легко давались разные науки. Ну, что скажешь на это, Шарлотта?

— Я все раздумываю, не насмехаешься ли ты надо мной, Карл-Артур. Если нет, то я полагаю, разумеется, что это превосходная идея.

— Я насмехаюсь над тобой? Нет, я всегда говорю правду, и тебе, Шарлотта, следовало бы знать об этом издавна. Но ты, видно, и впрямь не вполне меня понимаешь. Не ожидал я этого после такой долгой разлуки. Боюсь, что эта встреча принесет нам разочарование.

— Это было бы очень горько, Карл-Артур, — сказала Шарлотта, которая совершенно была сбита с толку неопишуемым высокомерием и самодовольством этого несчастного оборванца.

— Я знаю, Шарлотта, что ты очень богата, а богатый человек легко становится поверхностным и судит по внешнему виду. Ты не понимаешь, что я сам избрал бедность по доброй воле. У меня ведь есть жена...

Когда он упомянул о жене, Шарлотта сделала попытку вмешаться и заговорить с ним о том, что могло бы пробудить его интерес.

— А теперь послушай меня, Карл-Артур! Слыхал ли ты о том, что матушка твоя в последние годы своей жизни желала, чтобы ей читали лишь твои студенческие письма. Жакетта читала их ей вслух изо дня в день. Но однажды Жакетте это, должно быть, надоело, и знаешь, что она тогда сделала? Она поехала в Корсчюрку и отыскала там Анну Сверд и твоего маленького сына. Она увезла их с собой в Карлстад и показала полковнице ребенка.

— Необыкновенно прекрасно и трогательно, Шарлотта!

— С тех пор Жакетте больше не было нужды читать твои письма. Матушка твоя пожелала, чтобы ребенок всегда был при ней. Она играла с ним, она восхищалась им, она ни о чем больше не думала. Ее невозможно было разлучить с ребенком, и твоей жене пришлось перебраться в Карлстад. Кажется, к Анне теперь благоволят все и вся, а больше всех твой отец. Ну, а после того как матушка твоя умерла, Анна снова переехала назад в Корсчюрку. Она и все ее приемыши снова хозяйничают в твоей лачуге. Они превратили ее уже в добрый крестьянский двор. Ну, а твой собственный сын, кажется, по большей части находится у Жакетты, которая живет теперь в Эльвснесе. Он прелестный ребенок, У тебя нет желания увидеть сына, Карл-Артур?

— О, я прекрасно знаю, что жена моя чуть не извелась от тоски по мне, да и все другие мои родственники тоже. Но оттого, что ты,

Шарлотта, пробуешь говорить за них, толку не будет. Я люблю волю, люблю жизнь на проселочных дорогах, люблю разные приключения.

«В сердце у него нет места для добра, — подумала Шарлотта. — Он выскальзывает у меня из рук. Я никак не могу ухватить его».

Но она все же сделала еще одну попытку.

— Ты как будто всем доволен, Карл-Артур?

— Как же мне не быть довольным, когда я вновь нашел тебя, Шарлотта!

— Ты ничуть не раскаиваешься, что украл ребенка? Ведь из-за этого погибли две человеческие жизни!

— Две жизни! — повторил Карл-Артур. — Два человека! У тебя, Шарлотта, такие странные резоны. Что мне за дело, если даже два человека и погибли! Я ненавижу всех людей. Самое большое для меня удовольствие — это собрать вокруг себя толпу, чтобы изругать людей на чем свет стоит, чтобы сказать им, что все они жалкие скоты.

— Молчи, Карл-Артур! Ты просто страшен!

— Страшен? Я? Ну да, это вполне понятно, что ты так говоришь. Такова месть отвергнутой. Зелен виноград! Во всяком случае, тебе, Шарлотта, следовало бы признать, что тот, кто способен вызвать такую преданность к себе, как я... Знаешь ли, Шарлотта, я просто не понимаю, как это она до сих пор терпит. Я так и жду, что она явится и вырвет меня из твоих рук.

— Молчи ради бога, Карл-Артур!

— Но отчего же? Я так рад поговорить с тобой, Шарлотта!

— Ты мне мешаешь. Я молюсь богу. Я молилась не переставая с той самой минуты, как встретила с тобой после полудня.

— Весьма похвальное занятие! Но о чем же ты молишься, Шарлотта?

— Чтобы я могла спасти тебя от этой женщины!

— От нее? Бесполезно, Шарлотта! Ничто в мире не может поколебать ее преданность.

Склонившись к Шарлотте, он прошептал ей на ухо:

— Я сам испробовал все возможное. Но спасения нет. Нет спасения, кроме смерти! *Nemo nisi mors!*

— Тогда я буду молить о смерти для тебя, Карл-Артур!

— Ты, Шарлотта, всегда была так удручающе откровенна. Не очень-то приятно знать, что ты молишь бога о смерти для меня, но я,

разумеется, мешать не стану.

Довольно долго они ехали по дороге так же молча, как и раньше, покуда Карл-Артур не очнулся от беспамятства. Шарлотта пыталась собраться с мыслями, подумать о том, что ей делать с человеком, который так низко пал.

Но тут Лундман снова повернулся на козлах и сказал:

— Слышите, фру Шагерстром, за нами погоня? И те, что гонятся за нами, видать, близко! Скачут во весь опор, нахлестывают лошадей и орут, перекрикивая друг дружку: «Сейчас мы их схватим!» Хотите, фру Шагерстром, уйти от погони?

— Нет, Лундман, конечно, нет! Наоборот, мы остановимся. Мы их встретим, они нам кстати.

Спустя несколько мгновений преследователи уже настигли их. В ночной темноте перед Шарлоттой мелькнула пара небольших цыганских кибиток, которые вот уже поравнялись с ее санями. Темные фигуры выскочили из саней на дорогу. Двое людей подбежали и схватили коней под уздцы. Двое других — мужчина и женщина — подошли к ее саням.

— Это Шарлотта? Я хочу сказать: это коммерции советница Шагерстром? — спросил шепелявый голос. — Я желала бы лишь узнать, не можете ли вы, фру советница, сообщить мне, где находится сейчас Карл-Артур? Перед тем как Карл-Артур снова побежал на лед, мы уговорились встретиться с ним у одного из кузнецов. Вот я и прождала несколько часов в кузнице. Наконец я наведальась в заводскую контору и узнала там, что Карл-Артур захворал, а вы, фру коммерции советница, увезли его с собой в своих санях. Какая любезность! Как бишь это говорится: «Старая любовь не ржавеет».

— Ты явилась с целой армией, Тея, — совершенно спокойно заметила Шарлотта.

— Мне посчастливилось, что двое лучших наших друзей как раз нынче вечером проезжали по этой дороге. Они обещали мне помочь вернуть Карла-Артура. Ах, фру советница, вы даже не можете себе представить, как благотворно влиял Карл-Артур на бродячий люд и как все его полюбили. Его во что бы то ни стало хотят вернуть назад.

— Насколько я понимаю, ты собираешься взять его силой, если я откажусь выдать его по доброй воле.

— Зачем же силой, фру советница, это вовсе не входит в мои намерения. Но мы хотим убедиться в том, что Карл-Артур волен поступать, как он захочет, и может возвратиться к нам, если того пожелает.

— То, чего желает Карл-Артур, не подлежит ни малейшему сомнению, Тея. Целый час до встречи с вами он вел со мной учтивую беседу; но она ему весьма наскучила, и он страшно рад, что ты явилась. Разумеется, я не держу его! Так что скажи своим друзьям, что им вовсе незачем вытаскивать ножи, которые так и сверкают во тьме вокруг меня. Можешь забрать его!

Тея Сундлер, ожидавшая, по всей вероятности, упорного сопротивления, была просто потрясена и не нашлась, что ответить.

— Забирай его! — громким голосом повторила Шарлотта. — Забирай и дальше делай что хочешь. Я думала, что могла бы помочь ему, но этого я сделать не могу. Он совсем ума решился. У него на совести две человеческие жизни, а он сидит здесь и едва ли догадывается об этом. Пусть убирается! Прочь! Пусть погрязает во лжи, в преступлениях и в нищете! Пусть валяется в грязи! Он радуется тому, что натворил нынче вечером. Это не ужасает его. Он не желает изменить свою жизнь. Он желает жить по-прежнему. Пусть убирается!

Шарлотта наклонилась над Карлом-Артуром, сорвала у него с ног меховой мешок и откинула медвежьей полостью, чтобы он мог вылезти из саней.

— Убирайся! Возвращайся к ней, к той, что сделала из тебя такого, какой ты есть! Между нами все кончено!

Без единого слова подошла Тея Сундлер к саням с той стороны, где сидел Карл-Артур, и он приподнялся ей навстречу. Но когда Тея протянула руку, чтобы помочь ему выбраться из саней, он оттолкнул эту руку. Он повернулся к Шарлотте и упал к ее ногам.

— Помоги мне, спаси меня! — громко молил он.

Голос его неожиданно зазвучал убежденно и правдиво.

— Слишком поздно теперь, Карл-Артур!

Он обнял колени Шарлотты и не отпускал ее.

— Спаси меня от нее, Шарлотта! Никто, кроме тебя, не может мне помочь!

Шарлотта наклонилась к Карлу-Артуру, пытаясь заглянуть ему в глаза.



— Ты знаешь, чего это тебе будет стоить? — совсем тихо, с величайшей серьезностью в голосе спросила она.

— Да, я знаю, Шарлотта! — так же серьезно ответил ей он, стойко выдерживая ее взгляд.

— Лундман! — с внезапной радостью в голосе воскликнула Шарлотта. — Бери кнут и гони!

Кучер Лундман приподнялся на козлах, бородатый и могучий, такой, каким и подобает быть настоящему господскому кучеру; он стал хлестать своим длинным кнутом во все стороны. Темные фигуры с проклятиями метнулись прочь. Кони встали на дыбы и пустились вскачь. Те, кто держал их под уздцы, рванулись за ними, но кнут щелкал то по одному, то по другому, и они выпускали из рук поводья. Кони бешено мчали Шарлотту и ее спутников в Хедебю.

## **ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО**

Кто она такая, что должна помнить все то, что другие уже давно позабыли? Почему она должна вечно думать о том времени, когда он колесил по ярмаркам, как какой-нибудь бродяга? Почему она должна всякий миг видеть перед собой ту, которая тогда сопровождала его?

Она была убеждена, что он уехал как миссионер в 1842 году, а нынче шел лишь 1850 год. Стало быть, не прошло и восьми лет после его отъезда. И, однако, люди думали, что все должно быть забыто и прощено. Но ей, которая была его женой, нужно было бы, верно, иметь и собственное мнение на сей счет.

Да, подумать только, с той самой поры, как он недавно снова вернулся в Корсчюрку и нашел пристанище на Озерной Даче, к ней стали захаживать соседи из ближнего прихода и расспрашивать, не собирается ли она поехать с ним в Африку! Но такой уж был здесь на юге народ — ветреный да отходчивый, болтаются туда-сюда, точно дерьмо в проруби. Неужто же ей уехать с ним, ей, которая в довольстве и в почете жила теперь своим домом! Неужто она должна уехать из дому теперь, когда приемыши ее выросли и кормились уже сами, а она могла жить припеваючи, могла взять к себе матушку Сверд и покоить ее старость!

Она еще не встречалась с ним, хотя он приехал в Корсчюрку несколько дней тому назад. Настолько-то у него ума хватило, чтобы и

не пытаться к ней наведаться. А сейчас ей думалось: не ходить бы ей нынче в церковь да не слушать бы его проповедь. Ведь это могли бы истолковать так, будто она сама старалась увидеться с ним. Но она-то пошла туда не по своей охоте. Это все фру Шагерстрем, которая зашла за ней и взяла ее с собой. А уж фру Шагерстрем нелегко было в чем-либо отказать.

Кто она такая, что не может избавиться от мыслей обо всем, что было? Фру Шагерстрем сказала ей, что он уже совершил доброе дело среди язычников в Африке. Наконец-то он обрел свое настоящее место в жизни. Точно затравленного зверя, гнал его господь Бог в западню, все пути были ему заказаны, кроме этого — единственного. А потом оказалось, что путь этот и был истинный, тот, который ему следовало бы избрать с самого первого дня.

Фру Шагерстрем не сказала Анне открыто, что ей следовало бы бросить все имущество и последовать за ним. Она лишь как бы невзначай обронила, что там, среди дикарей, ему приходилось не сладко и что хорошо, если бы при нем кто-нибудь был, кто мог бы стряпать ему хороший обед. А сам Шагерстрем, который до сих пор помогал ему деньгами в его тамошней жизни, вероятно не постоит за расходами и на помощника, если только им удастся кого-нибудь найти.

А еще фру Шагерстрем сказала, что теперь он научился любить ближнего. И это очень важно, ибо как раз этого-то ему и не хватало. Он любил Христа и доказал, что может пожертвовать всем на свете, дабы следовать ему. Но истинной любви к ближнему он не знал никогда. А тот, кто, не любя ближнего, желает следовать Христу, тот непременно ввергает в беду и самого себя и других!

А еще фру Шагерстрем сказала, что если Анна захочет сопровождать ее в церковь и послушать его проповедь, то сразу же заметит великую перемену, которая в нем совершилась. И услышит тогда, что он полюбил тех самых чернокожих, которых пытался обратить в христианство. И это была та самая любовь, которая сделала его совсем другим человеком.

Словом, как бы то ни было, а ее все-таки заманили в церковь.

Когда он взошел на кафедру, она сперва даже не узнала его. Он облысел, а страдания избородили его лицо морщинами. Он уже не был красив собой и на кафедру взошел тихо и смиренно. Когда она увидела его, на нее нашло вдруг странное желание заплакать. И все же

он не казался удрученным, на лице его сияла кроткая улыбка — улыбка, которая озаряла всю церковь.

Нет, она вовсе не хочет сказать, что проповедь в тот день была какая-то особенная. На ее взгляд, в ней было мало слова евангельского. Он говорил лишь о том, каково жилось народу в языческих странах, но тогда это и надо называть не иначе, как отчет миссионера. И, конечно, она смогла понять, что он любил этих язычников в Африке, раз выдержал тамошнюю жизнь и снова хотел туда вернуться. Уж как туго ни приходилось ей и ее землякам в Медстубюн, все же их бедная жизнь была не в пример лучше африканской. У чернокожих не было в их лачугах ни дощатого пола, ни даже окон.

И покуда она так сидела, видя кроткую улыбку на его лице и слыша, как в каждом слове чувствовалась сердечная доброта, ей вдруг пришло на ум, что это и был тот самый человек, который честил людей на ярмарках и над которым все измывались. Потому что и с ней бывало так же. Она была не из Корсчюрки, а из Медстубюн, и к тому же приходилась племянницей Иобсу Эрику. Она была так же упряма и недоверчива, как и он.

Когда она вышла из церкви, она увидела, что перед входом поставлен стол, а на нем — медная кружка. Люди опускали в нее свои скудные пожертвования на обращение язычников.

Двое прихожан стояли рядом и караулили кружку, и ей показалось, будто они по-особому взглянули на нее, когда она проходила мимо. У нее не было при себе денег, потому что ей и в голову не приходило, что этому проповеднику удастся выманить у нее хотя бы эре. За неимением иного она быстро сняла с пальца обручальное кольцо и кинула его в кружку. Он подарил ей это кольцо, а теперь может с радостью взять его обратно.

И вот она сидела в одиночестве на кухне и раздумывала, что из этого выйдет.

Ведь он может все понять так, будто она считает, что брак их расторгнут и она знать его больше не желает.

А ежели он поймет это так, то не придет к ней; это она твердо знала. Тогда он, не обинуюсь, уедет назад.

Но ведь он может истолковать это и так, будто она желает напомнить ему, что здесь, в Корсчюрке, у него есть жена, которая сидит и ждет его.

Да, теперь она увидит, как он все это поймет. Поймет ли он это так, а не иначе, зависит от того, как он думает.

Ну, а если он поймет это так, будто она сидит и ждет его, и придет к ней, что ей тогда ему ответить?

Да кто она такая и чего желает? Знает ли она сама, чего желает?

Все же сердце у нее сильно забилося от волнения. Вот чудная-то! Никак не может забыть, что это тот самый человек, которому она некогда посылала поклоны с перелетными птицами!

Но вот кто-то прошел мимо окна. Неужто он? Да, он!

И вот он вошел в сени. Вот он взялся за ручку двери. Что же ей ответить ему?

---

**notes**

**1**

*Пробст* — старший пастор.

**2**

*Карлстад* — административный центр лена (губернии) Вермланд.

*...проезжал милю за милей.* — Шведская миля равна 10 км.

## 4

*Верmland* — лен в Западной Швеции. В административном отношении Швеция делится на 24 лена. Вместе с тем сохранилось и старое деление на 25 так называемых ландшафтов — исторических областей, возникших еще во времена существования отдельных феодальных владений.



## 5

*Финмарк* — область на севере Норвегии, на границе с Финляндией.

## 6

*Венерн* — самое большое озеро Швеции и всей Западной Европы. Его площадь составляет 5,6 тысяч кв. км.

7

*Ленсман* — должностное лицо, представитель власти на местах.

*...владельницей семи заводов...* — Имеются в виду так называемые «бруки» — металлургические мануфактуры, на которых производилось полосовое или прутковое железо. Так как для функционирования этих предприятий были необходимы крупные земельные участки и леса, владелец горного завода был одновременно и промышленником, и помещиком. На большинстве таких заводов насчитывалось всего по несколько работников. Плавильные печи работали на древесном угле.

# 9

*Эльвдален* — лесистый район (уезд) Вермланда в долине реки Кларэльвен.

# 10

*Торпарь* — безземельный крестьянин, арендующий участок земли, торп.

# 11

*Килле* — шведская карточная игра, получившая свое название по одной из карт — килле (арлекин); другой персонаж этой игры — бларен — шут в колпаке с бубенчиками.

*Бельман* Карл Микаэль (1740–1795) — выдающийся шведский поэт, импровизатор, сочинитель музыки к собственным произведениям, которые он исполнял под аккомпанемент цитры.



*Блокулла* — в скандинавской мифологии гора, где обитает нечистая сила.

*Игдрасил* — в скандинавской мифологии дерево мира, осеняющее вселенную. У него три корня, один из которых простирается в край великанов, второй — в мир людей, а третий — в мир смерти. Из-под корней этого дерева бьет ключ мудрости, у которого обитают три норны, девы судьбы — Минувшее, Настоящее и Будущее.

*Король Артур* — один из королей бриттов (V–VI вв.), успешно боровшийся с англосаксонскими завоевателями, герой цикла средневековых рыцарских романов. Согласно легенде, двор короля Артура был местом рыцарских собраний. В пиршественном зале стоял большой круглый стол (чтобы никто не счел себя обиженным) — отсюда и название цикла — «романы Круглого стола».

*...двенадцать паладинов, в армию Карла Великого...* — Карл Великий (742–814) — франкский король, с 800 г. — император, крупнейший представитель династии Каролингов, создатель одной из самых крупных империй в средневековой истории. Паладины — рыцари, сподвижники Карла Великого.

*Тор* — древнескандинавский бог грома, бури и плодородия.

*Вальгалла* — в скандинавской мифологии замок Одина, небесное жилище павших в бою героев, храбрых воинов.

## 19

*Локи* — один из асов — верховных богов скандинавской мифологии, отличавшийся хитростью и коварством.

*Мамзель* — искаженное мадмуазель, барышня.



*де Сталь* Анна Луиза Жермен (1766–1817) — французская писательница, оказавшая влияние на развитие французского романтизма. Роман «Коринна, или Италия» (1807) посвящен проблемам свободы женщины в буржуазно-аристократической среде.

*Кларэльвен* — самая большая река Скандинавского полуострова, берет начало в Норвегии и впадает в крупнейшее озеро Швеции Венерн.

*Вира* — популярная карточная игра начала XIX в., вариант ломберного бостона.

*La cachucha* — испанский танец, получивший широкое распространение в Европе в XIX в.

*Фрекен* — барышня, мадмуазель (перед фамилией, а также при обращении).

Перевод Д. Закса.

*Кнак* — азартная карточная игра.

*Скиллинг* — медная монета, бывшая в ходу в Швеции с 1776 по 1855 гг.



*Плеяды* — звездное скопление в созвездии Тельца. В греческой мифологии — дочери Атланта.

*...трофей, захваченный Бееренкройцем в 1814 году.* — Имеется в виду война с Норвегией 1814 г., последняя в истории война, в которой участвовала Швеция.

*Юнгфру* — (ист.) титул незамужней дворянки; в обращении — дева, девица.

*...на острове Рюген во время войны за Померанию.* — Имеется в виду борьба Швеции с наполеоновской коалицией за шведскую Померанию и высадка шведских войск в 1813 г. По Кильскому мирному договору от 14 января 1814 г. Швеция передала Дании Померанию и остров Рюген.

*Риксдалер* — шведская банкнота или монета весом в 25 г. Была в обращении с 1619 г. В 1873 г. риксдалер заменен кроной. 1 риксдалер равнялся 1,5 далерам.

*Дамаст* — камчатная ткань.

*Анкерок* (анкер) — старинная мера вместимости, равная 39,26 л.

*Патрон* — здесь помещик, заводчик, хозяин (при обращении).



Перевод Д. Закса.

*Карсус, Модерус, Мелузина* — персонажи шведских сказок.

Перевод Д. Закса

*...заводят игры «Поехали в Гренландию» или «Отгадай, у кого кольцо»...* — Игра «Поехали в Гренландию» представляет собой своего рода карту — схему. Каждый участник игры бросает фишку, чтобы первому попасть в Гренландию, расположенную в верхней части карты. «Отгадай, у кого кольцо» — старинная шведская игра. Несколько человек, садясь в круг, передвигают кольцо по шнуру, который они держат в руках, и по очереди отгадывают, кто зажал кольцо в руке.

*...побывало на конгрессе в Вене.* — Венский конгресс (1814–1815) завершил войны коалиции европейских государств с Наполеоном I.

*...летал со стаяй великого императора...* — Имеется в виду Наполеон I (Наполеон Бонапарт, 1769–1821).

*...после 1815 года ему пришлось улететь прочь из неблагодарного отечества.* — Имеется в виду отречение Наполеона I и ссылка его на остров Св. Елены.

*Он нашел приют у шведского кронпринца...* — Имеется в виду Жан Батист Бернадот (1763–1844), маршал Франции, занимавший в 1818–1844 гг. престол Швеции под именем Карла XIV Юхана, основатель династии Бернадотов.



45

*Шеппунд* — мера веса, равная 160 кг.

*Марка* — старинная мера веса, равная 425 г.

*Он вспоминает при этом гордого афинянина, спокойно осушившего чашу с ядом...* — Имеется в виду Сократ (ок. 470–399 до н. э.), древнегреческий философ, один из родоначальников философии диалектики. Был приговорен к смерти и умер, выпив яд цикуты.

*...святой Улоф в короне поверх шлема...* — Имеется в виду шведский король Улоф Шетконунг (ок. 995 — 1020), во время правления которого в Швеции было официально принято христианство.

*Эрик Святой* — шведский король (ум. ок. 1160), был после смерти объявлен католической церковью небесным покровителем шведских королей.

*Орден Меча* — шведский военный орден.

**51**

Любовь побеждает все (лат.)

Труд побеждает все (лат.)



*Мертвы и Бел, могучий воин, и непобедимый Тот с головой ястреба...* — Бел — один из главных богов в религии древней Месопотамии; Тот — древнеегипетский бог Луны и мудрости.

*Рагнарек* — в скандинавской мифологии гибель богов, конец света.

*...что шел с барабаном впереди шведской армии, когда она в 1813 году вступила в Германию...* — Имеется в виду высадка шведских войск в Померании, захваченной французскими войсками в 1811 г.

*Карл XII* (1682–1718) — шведский король (1697–1718). События, о которых упоминается далее, связаны с тем периодом его царствования, когда Швеция вела против Дании, Польши, Саксонии и России Северную войну (1700–1721) за господствующее положение на берегах Балтийского моря. Первый период войны складывался для Швеции удачно, однако военный поход Карла XII в Россию закончился полным разгромом шведской армии под Полтавой (1709). По словам Ф. Энгельса, после поражения в России Швеция утратила свое экономическое и политическое могущество и была низведена до положения второстепенной державы. Возвратившись на родину, Карл XII предпринял военный поход в Норвегию (1716–1718), где и погиб у стен норвежской крепости Фредрикстен.

*...он и в риксдаге бы заседал.* - Риксдаг возник в Швеции в 1617 г. и до 1867 г. являлся собранием представителей всех сословий, выполнявшим роль совещательного органа при короле. Риксдаг в современном значении — шведский парламент.

*...что под началом короля Карла XII проложили ему путь в Польшу и Россию.* — Военный поход Карла XII в Польшу начался в январе 1702 г. Нанеся ряд поражений польским войскам, захватив Краков и Варшаву, Карл XII добился низложения польского короля Августа, выхода Польши из антишведской коалиции и подписания мирного договора в Варшаве (18 ноября 1705 г.). Вторгшись затем в Саксонию и принудив ее к выходу из войны (Альтранштадтский мир 1706 г.), Карл XII предпринял военный поход в Россию (август 1707 г.). Рассчитывая на помощь своего тайного союзника, украинского гетмана Мазепы, Карл XII повел свою армию через Украину, но здесь встретил решительный отпор со стороны русских войск. Первое поражение шведской армии было нанесено в битве при Лесной (28 сентября 1708 г.), а затем она была полностью разгромлена в Полтавском сражении (27 июня 1709 г.). После бегства Карла XII в Турцию остатки его войска окончательно капитулировали 1 июля 1709 г. Ф. Энгельс отмечал, что своей попыткой завоевания России Карл XII погубил Швецию и показал всем неуязвимость России.

*Ведь немало довелось ему выслушать злых наветов на своего повелителя!* — После поражения шведской армии в России в разоренной войной Швеции возникла оппозиция, возглавляемая служилым дворянством и поддерживаемая другими сословиями, недовольными все растущим бременем налогов и повинностей, упорным стремлением короля продолжать войну. Его считали виновником всех бед, обрушившихся на Швецию. Вместе с тем среди части шведского населения бытовало идеализированное представление о Карле XII как о великом полководце и герое. Это двойственное отношение к Карлу XII нашло свое отражение и на страницах романа С. Лагерлеф.

*...все украшения и сосуды из благородного металла надлежало... сдавать в казну...* приходилось бороться с Гертцовыми далерами и с государственным банкротством... — Карл XII, возвратившись в Швецию после четырнадцатилетнего отсутствия (1715), застал страну в состоянии полного экономического краха, но, несмотря на это, решил собрать средства для продолжения войны. Натолкнувшись на сопротивление государственного совета и риксдага, он отстранил их от управления государством и передал всю полноту власти в руки гольштейн-готторпского министра Гертца (1668–1719), который провел ряд экономических мероприятий с целью выколачивания из населения средств для новых военных замыслов короля. В числе этих мероприятий были конфискация ценностей, а также выпуск обесцененных, так называемых фальшивых денег, прозванных в народе «Гертцовыми далерами». Период владычества ненавистного чужеземного министра считается одним из самых мрачных эпизодов шведской истории и известен под именем «Гертцова времени».



*Шеффель* — старинная шведская мера емкости для твердых и сыпучих тел, равная 20,9 литра.

*Лошадь-мертвяк.* — В Швеции существует предание о лошади, которая когда-то была погребена на кладбище вместо человека. Согласно поверью, дух ее, на трех ногах и без головы, бродит по ночам на кладбище, предвещая гибель всякому, кто его увидит, так как именно эта лошадь перевозит людей после смерти в царство мертвых.

*...стоило бы подумать о том, как разорена страна, сколько потеряно из завоеванных земель... все королевство окружено врагами.* — В последний период войны страны — участницы Северного Союза (Дания, Польша, Россия) усилили военные действия против Швеции. Король Август вернул себе польский престол, и шведские войска были изгнаны из пределов Польши. Датские войска вторглись в южную Швецию. Россия заняла Финляндию, Эстляндию, Лифляндию, Аландские острова.

*Он был солдатским королем и привык к тому, что солдаты охотно шли за него на смерть.* — Карл XII был весьма популярен среди солдат своего войска, которым импонировали его личные качества — храбрость, самообладание, сила воли.

*Пастор-адъюнкт* — второй священник, назначаемый в помощь пастору в некоторых приходах.

*...лишь только мы замирились с русскими...* — 30 августа 1721 г. был заключен мирный договор между Россией и Швецией (Ништадтский мир), согласно которому к России отошли Ингерманландия, Лифляндия, Эстляндия, Выборг и юго-западная Карелия.

*...ревностно участвовал в риксдаговских распрях... как сторонник партии приверженцев мира.* — В 1713 г., вопреки запрещению Карла XII, был созван риксдаг, на котором развернулись дебаты по поводу дальнейшего политического курса страны. Большинство членов риксдага решительно потребовало немедленного заключения мира.

*Сэттер* — небольшое поселение типа хутора на удаленных от жилья лесных пастбищах, обычно состоящее из нескольких деревянных построек.



*Гатенйельм* — Ларс (Лассе) Андерссон Гате (1689–1718), известный шведский моряк. Родился в крестьянской семье, плавал на шведских и иностранных торговых судах. Во время Северной войны снарядил каперскую флотилию (см. ниже). Нажил огромное состояние и частично субсидировал королевскую казну. В 1715 г. был удостоен дворянского титула, после чего стал называться Гатенйельмом. Возвышение его было неодобрительно встречено шведской аристократией, так как его подозревали в связях с пиратами. Погиб в морском сражении при Гетеборге.

*Капер* — владелец судна или флотилии, занимающийся в период войны морским разбоем в нейтральных водах. В отличие от пиратов, каперы нападали лишь на суда противника с ведома своего правительства, получая на это специальную грамоту. Каперство существовало в Европе до середины XIX в.

*...в онсальской церкви...* — Церковь в приходе Онсала, где находилась усадьба Гата, принадлежавшая родителям Гатенйельма.

*...в мраморном саркофаге, который он похитил у датского короля.* — Неточное изложение исторического факта. В действительности Гатенйельм обнаружил на одном из захваченных им датских судов два мраморных саркофага, предназначавшихся для датского короля Фредерика IV и его супруги. Датчане предложили за них большой выкуп, но Гатенйельм заявил, что намерен оставить их для себя и своей жены. Тогда по приказанию датского правительства были изготовлены два точно таких же саркофага с именем и гербом Гатенйельмов, и шведский капер согласился взять их в обмен на королевские. Эти саркофаги установлены в онсальской церкви, в усыпальнице Гатенйельмов, и в одном из них покоится прах Ларса Гате.

*...есть нечто от сыновей Лодброка,* — Рагнар Лодброк, или Рагнар Кожаные Штаны, — герой известной исландской саги и хроники Саксона Грамматика. Совершив множество подвигов, Лодброк попал в плен к английскому королю Элле, был брошен в змеиную яму и погиб. Его сыновья отомстили за него, вторгшись в Англию и убив короля Эллу. Прототипом Лодброка послужил датский предводитель викингов, живший в середине IX в. У него было пятеро сыновей, которые возглавили поход викингов в Англию.

*...поля его шляпы были загнуты на каролинский манер.* —  
Каролинами назывались солдаты армии Карла XII (от лат. Carolus —  
Карл).

*Ленсман* — должностное лицо, представитель королевской власти на местах.

*Король Фредрик* (1676–1751) — король Швеции (1720–1751). Был женат на Ульрике Элеоноре, сестре Карла XII, являлся его военным сподвижником и после его смерти добился права на наследование шведского престола.



*...готовы были ехать в дальние финские леса...* - Имеется в виду захолустный лесной район на севере Вермланда, место поселения финских колонистов, которые жили в большой нужде.

**78**

Клянусь честью! (фр.)

**79**

Боже мой! (фр.)

*Фру Леннгрен* - Анна Мария Леннгрен (1755–1817), известная поэтесса, автор сатирических стихов, эпиграмм, шуточных песен. Была одной из самых просвещенных женщин своего времени и пользовалась большой популярностью среди шведских читателей, которые обычно называли ее «фру Леннгрен».

*Епископ Тегнер* - Тегнер Эсайас (1782–1846), шведский поэт, уроженец Вермланда. Окончив Лундский университет, сделал блестящую ученую карьеру и получил звание профессора. В 1812 г. написал поэму «Свеа», принесшую ему первую премию и звание члена Шведской Академии. Автор поэмы «Сага о Фритьофе». В 1824 г. был назначен епископом в Векше.

*Кронпринц* — кронпринц Оскар (1799–1859), впоследствии король Швеции и Норвегии Оскар I. Сын французского маршала Бернадота, ставшего королем Карлом XIV Юханом. В 1818 г., после вступления отца на престол, был провозглашен наследным принцем. В том же году был избран канцлером Упсальского университета, где посещал публичные лекции Гейера (см. примеч. к с. 88) и других. Близко сошелся с преподавательской и студенческой средой и оказывал значительное влияние на культурную жизнь университета.

*Генерал фон Эссен* - граф Ханс Хенрик фон Эссен (1755–1824), отпрыск старинного аристократического рода. Государственный деятель и военачальник.

*Густав III* (1746–1792) — король Швеции (1771–1792). Получил гуманитарное образование, что обусловило в дальнейшем его интерес к литературе, искусству и театру. Двор Густава III был центром культурной жизни Швеции того времени.



*Эрик Густав Гейер* (1783–1847) — историк, поэт, философ, музыкант. Уроженец Вермланда. Профессор истории в Упсальском университете, автор трудов, снискавших ему славу лучшего историка Швеции. Член Шведской Академии. Гейер был центральной фигурой в культурных и литературных кругах Упсалы. В доме его обычно собирались наиболее просвещенные представители упсальского общества, в том числе и упоминаемые в романе полковница Сильверстоल्पе и поэт Аттербум.

*Упсальский университет* - В описываемое в романе время Упсала была крупным университетским и научным центром Швеции.

*Губернатор Йерта* - Ханс Йерта (1774–1847), политический деятель и литератор. Был государственным секретарем и губернатором. Директор государственного архива, член Шведской Академии. Издавал литературно-критический журнал.

*Полковница Сильверстольпе Магдалена* (Малла) (1782–1861) — жена полковника Давида Сильверстольпе, одна из наиболее просвещенных женщин своего времени, хозяйка широко известного в Упсале литературного салона. Опубликовала мемуары, в которых описала многих выдающихся представителей шведской культуры.

*...на лекции знаменитого поэта-романтика Аттербума...* — Пер Даниэль Амадеус Аттербум (1790–1855) — поэт, профессор философии и эстетики в Упсальском университете, член Шведской Академии. Автор монографического исследования по истории шведской поэзии. Основатель романтической школы в шведской поэзии.

*Карл Линней* (1707–1778) — выдающийся ученый, естествоиспытатель и натуралист, профессор медицины и естественной истории в Упсальском университете. Один из основателей шведской Академии наук и первый ее президент (1739). Создатель системы классификации растений и животного мира, автор всемирно известного труда «Системы природы», а также других выдающихся работ в области ботаники, зоологии и медицины.

*Шведская Академия* - Основана королем Густавом III по образцу Французской Академии с целью совершенствования отечественной словесности. Восемнадцать членов Академии избирались из числа выдающихся деятелей шведской культуры — писателей, поэтов, ученых. Раз в год, 20 декабря, происходила торжественная церемония избрания новых членов и вручения ежегодных премий, присуждаемых за выдающиеся работы в области искусства и науки. В период царствования Густава III Академия пользовалась большим почетом, но с возникновением романтической школы стала предметом нападков и обвинений в консерватизме со стороны романтиков.

*Губернатор фон Кремер* - Роберт фон Кремер (1791–1880), губернатор Упсалы. В 1866 г. опубликовал свои мемуары.



*...в Кавлосе у Гюлленхоллов...* - Гюлленхоллы — шведское аристократическое семейство. Вероятно, имеется в виду Леонард Гюлленхолл (1759–1840), крупный ученый-энтомолог, ученик Линнея, член шведской Академии наук. Кавлос — поместье, принадлежавшее графам фон Эссен.

**94**

сочинение (лат.)

**Фру Торслов** - Сара Торслов (1795–1858), выдающаяся шведская трагедийная актриса, игравшая в труппе своего мужа, известного актера Улофа Ульрика Торслова.

*Пиетизм* — религиозное течение внутри лютеранской церкви, возникшее в XVII в. в Голландии и окончательно оформившееся в Германии. Пиетизм проник также в другие страны, и в частности в Швецию (конец XVII в.). Теоретики пиетизма выступали против ортодоксальной церкви и, проповедуя идею «нравственного самоусовершенствования», ратовали за аскетизм в быту и отказ от всех мирских удовольствий — танцев, театра, курения, употребления спиртных напитков и чтения светских книг.

*Англез* — общее название для ряда танцев английского происхождения, модных в XVII–XIX вв.

*Далекарлия*, или Даларна, — область в центральной Швеции, граничащая на юго-западе с Верmlandом. Горная, малонаселенная местность с разбросанными в горах деревнями. Во многих деревнях Далекарлии жители долго сохраняли старинные обычаи и одежду.

*Альмквист* Карл Юнас (1793–1866) — крупнейший шведский писатель, философ и педагог. Хотя Альмквист и не примыкал к романтическому направлению, творчество его было близко романтикам по духу и пользовалось большой популярностью в упсальских литературных салонах Маллы Сильверстолепе и Густава Гейера. Наиболее известным и значительным в его творчестве является цикл повестей, поэм и романов, объединенных под общим названием «Книга шиповника» (1832–1851). Примечателен один из эпизодов биографии Альмквиста. В 1824 г. он под влиянием руссоистских идей уехал в деревню и женился на крестьянской девушке Анне Лундстрем. Однако брак оказался неудачным, и вскоре Альмквист, оставив жену, возвратился в Стокгольм. Не исключено, что этот факт, который был известен Сельме Лагерлеф, послужил поводом для написания истории Анны Сверд.

*Стагнелиус* Эрик Юхан (1793–1823) — выдающийся шведский поэт-романтик, автор ряда сборников стихов и драматических произведений. Поэзии Стагнелиуса были присущи богатая фантазия и необычайная мелодичность стиха.



*Тебя пошлют на север в нищие финские приходы.* — Имеется в виду захолустный лесной район на севере Вермланда, место поселения финских колонистов, которые жили в большой нужде.

*Фидеикомис* — семейное имущество, передаваемое последовательно ряду представителей одного рода или семьи, вступающих в наследство один после другого.

*Коронный фогт*, или фогт, — должностное лицо, исполнявшее в приходе функции полицейского.

*...они получили от нее столько-то цветков в котильоне...* —  
Приглашение на танец в котильоне (старинный бальный танец типа кадрили) обычно сопровождалось вручением цветка или какого-либо другого знака отличия (например, звезды, вырезанной из бумаги).

*...сын президента...* — Президентом в Швеции XIX в. назывался человек, занимавший одну из высших судебных должностей.

*Масонский приют, вдовьи кассы* - благотворительные организации. Масонский приют находился в Кристинеберге и существовал за счет шведского масонского ордена. Помощь нуждающимся детям была основной стороной благотворительной деятельности шведских масонов.

*...сочиняла стихи к рождественской каше... обряжала рождественского козла?* — Речь идет о рождественских обрядах, принятых в Скандинавии. Первый заключался в том, что сидящие за праздничным ужином сочиняли шуточные рифмованные двустишия в честь рождественской каши. Рождественский козел — одна из главных фигур-масок рождественских представлений, маскарадов, игр. Среди ходивших по дворам ряженных непременно был кто-нибудь, изображавший козла. Он обычно нес корзину с рождественскими подарками. Эта маска восходит к языческим временам празднования Рождества, когда козел символизировал плодородие и достаток.

*Она была истинная Кайса Варг.* — Кристина (Кайса) Варг (1703–1769) — составительница широко известной поваренной книги «В помощь молодой хозяйке» (1755).



*Лагман* — до 1849 г. административная должность в областях Швеции. Обычно лагманы назначались из числа самых знатных и родовитых семейств.

*Скилинг* — мелкая медная монета, бывшая в ходу в Швеции с 1776 по 1855 г.

*...где стояли шкафы, часы из Муры...* — Жители Далекарлии издавна были известны как искусные мастера-умельцы. Изготовленные ими мебель, предметы домашнего обихода, утварь, ткани, а также их резьба по дереву и настенная роспись славились по всей Швеции. Часы из Муры — напольные часы с расписным деревянным футляром, изготавливавшиеся в приходе Мура.

*Пивная похлебка* - старинное шведское блюдо: молочный суп из пшеничной муки, в который добавляют пиво или квас.

*Вестерйетландцы* — жители Вестерйетланда, одной из самых густонаселенных областей южной Швеции.

*Бердники* — мастера, изготавливающие берда, то есть гребни для ткацкого станка.

*Консистория* — церковный орган, ведавший делами церковной епархии.

*...он был похож на современного Пера Свинопаса, переодетого принца.* — Речь идет о герое известной скандинавской сказки, который, переодевшись свинопасом, сумел жениться на своенравной принцессе.



*...сам Польхем, великий изобретатель.* — Имеется в виду Кристоффер Польхем (1661–1751), выдающийся шведский инженер-механик.

*...рассказы о гордых подвигах «кавалеров»...* — Кавалеры — персонажи романа «Сага о Йесте Берлинге».

Заводчики Синклеры, майоры и полковники из дома Хеденфельтов, немецкий органист Фабер, рыцарь Солнечный Свет, который некогда женился на легендарной красавице Марианне Синклер — персонажи романа «Сага о Йесте Берлинге».

*Экебю и Бьерне* — названия усадеб, в которых жили герои «Саги о Йесте Берлинге». Под названием Экебю изображена усадьба Ротнерус.

*Озеро Левен.* — Под этим названием здесь, а также в романе «Сага о Йесте Берлинге» С. Лагерлеф описывает озеро Фрикен, находящееся в центральной части Вермланда.

# Table of Contents

Сельма Лагерлеф Перстень Левеншельдов

Сага о Йёсте Берлинге

Вступление

I. ПАСТОР

II. НИЩИЙ

Глава первая ЛАНДШАФТ

Глава вторая РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ

Глава третья РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД

Глава четвертая ЙЁСТА БЕРЛИНГ — ПОЭТ

Глава пятая LA SASNUSNA [24]

Глава шестая БАЛ В ЭКЕБЮ

Глава седьмая СТАРЫЕ ЭКИПАЖИ

Глава восьмая БОЛЬШОЙ МЕДВЕДЬ С ГОРЫ ГУРЛИТА

Глава девятая АУКЦИОН В БЬЁРНЕ

Глава десятая МОЛОДАЯ ГРАФИНЯ

Глава одиннадцатая СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ

Глава двенадцатая ИСТОРИЯ ЭББЫ ДОНЫ

Глава тринадцатая МАМЗЕЛЬ МАРИ

Глава четырнадцатая КУЗЕН КРИСТОФЕР

Глава пятнадцатая ДОРОГИ ЖИЗНИ

Глава шестнадцатая ПОКАЯНИЕ

Глава семнадцатая ЖЕЛЕЗО ИЗ ЭКЕБЮ

Глава восемнадцатая ЛИЛЬЕКРУНА И ЕГО ДОМ

Глава девятнадцатая ДОВРСКАЯ ВЕДЬМА

Глава двадцатая ИВАНОВ ДЕНЬ

Глава двадцать первая ГОСПОЖА МУЗЫКА

Глава двадцать вторая ПАСТОР ИЗ БРУБЮ

Глава двадцать третья ПАТРОН ЮЛИУС

Глава двадцать четвертая ГЛИНЯНЫЕ СВЯТЫЕ

Глава двадцать пятая СТРАННИК БОЖИЙ

Глава двадцать шестая КЛАДБИЩЕ

Глава двадцать седьмая СТАРЫЕ ПЕСНИ

Глава двадцать восьмая СМЕРТЬ-ИЗБАВИТЕЛЬНИЦА

Глава двадцать девятая ЗАСУХА

Глава тридцатая МАТЬ

Глава тридцать первая AMOR VINCIT OMNIA[51]

Глава тридцать вторая ДЕВУШКА ИЗ НЮГОРДА

Глава тридцать третья КЕВЕНХЮЛЛЕР

Глава тридцать четвертая ЯРМАРКА В БРУБЮ

Глава тридцать пятая ЛЕСНОЙ ХУТОР

Глава тридцать шестая МАРГАРЕТА СЕЛЬСИНГ

Перстень Левеншельдов

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Шарлотта Левеншельд

ПОЛКОВНИЦА

СВАТОВСТВО

ЖЕЛАНИЯ

В ПАСТОРСКОМ САДУ

ДАЛЕКАРЛИЙКА[98]

УТРЕННИЙ КОФЕ

САХАРНИЦА

ПИСЬМО

В ЗАОБЛАЧНЫХ ВЫСЯХ

ШАГЕРСТРЁМ

НОТАЦИЯ

ОБРЕЗАННЫЕ ЛОКОНЫ

БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ

НАСЛЕДСТВО

ДИЛИЖАНС

ОГЛАШЕНИЕ

АУКЦИОН

ТРИУМФ

ОБВИНИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ ПРОТИВ БОГА ЛЮБВИ  
ПОХОРОНЫ ВДОВЫ СОБОРНОГО НАСТОЯТЕЛЯ

СУББОТА: С УТРА ДО ПОЛУДНЯ

СУББОТА: С ПОЛУДНЯ ДО ВЕЧЕРА

ДЕНЬ СВАДЬБЫ

Анна Сверд

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПОЕЗДКА В КАРЛСТАД

ЛОШАДЬ И КОРОВА, СЛУЖАНКА И  
РАБОТНИК

ЖЕНА ЛЕНСМАНА

СВАДЬБА

НОВЫЙ ДОМ

УТРО ПАСТОРШИ

ВИДЕНИЕ В ЦЕРКВИ

ВОСКРЕСНАЯ ШЛЯПКА

ВИЗИТ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

РАЙ

ГРЕХОПАДЕНИЕ

ШКАФ

КОЛОДА КАРТ

ВСТРЕЧА

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

МАДЕМУАЗЕЛЬ ЖАКЕТТА

АНСТУ ЛИЗА

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЦЫГАНСКИЙ БАРОН

БАРОНЕССА

ЯРМАРОЧНЫЙ АПОСТОЛ

ОТЪЕЗД...

ВОЗВРАЩЕНИЕ

ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО



5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41

[42](#)  
[43](#)  
[44](#)  
[45](#)  
[46](#)  
[47](#)  
[48](#)  
[49](#)  
[50](#)  
[51](#)  
[52](#)  
[53](#)  
[54](#)  
[55](#)  
[56](#)  
[57](#)  
[58](#)  
[59](#)  
[60](#)  
[61](#)  
[62](#)  
[63](#)  
[64](#)  
[65](#)  
[66](#)  
[67](#)  
[68](#)  
[69](#)  
[70](#)  
[71](#)  
[72](#)  
[73](#)  
[74](#)  
[75](#)  
[76](#)  
[77](#)  
[78](#)

[79](#)

[80](#)

[81](#)

[82](#)

[83](#)

[84](#)

[85](#)

[86](#)

[87](#)

[88](#)

[89](#)

[90](#)

[91](#)

[92](#)

[93](#)

[94](#)

[95](#)

[96](#)

[97](#)

[98](#)

[99](#)

[100](#)

[101](#)

[102](#)

[103](#)

[104](#)

[105](#)

[106](#)

[107](#)

[108](#)

[109](#)

[110](#)

[111](#)

[112](#)

[113](#)

[114](#)

[115](#)

[116](#)

[117](#)

[118](#)

[119](#)

[120](#)

[121](#)